



М.Е. Салтыков-Щедрин

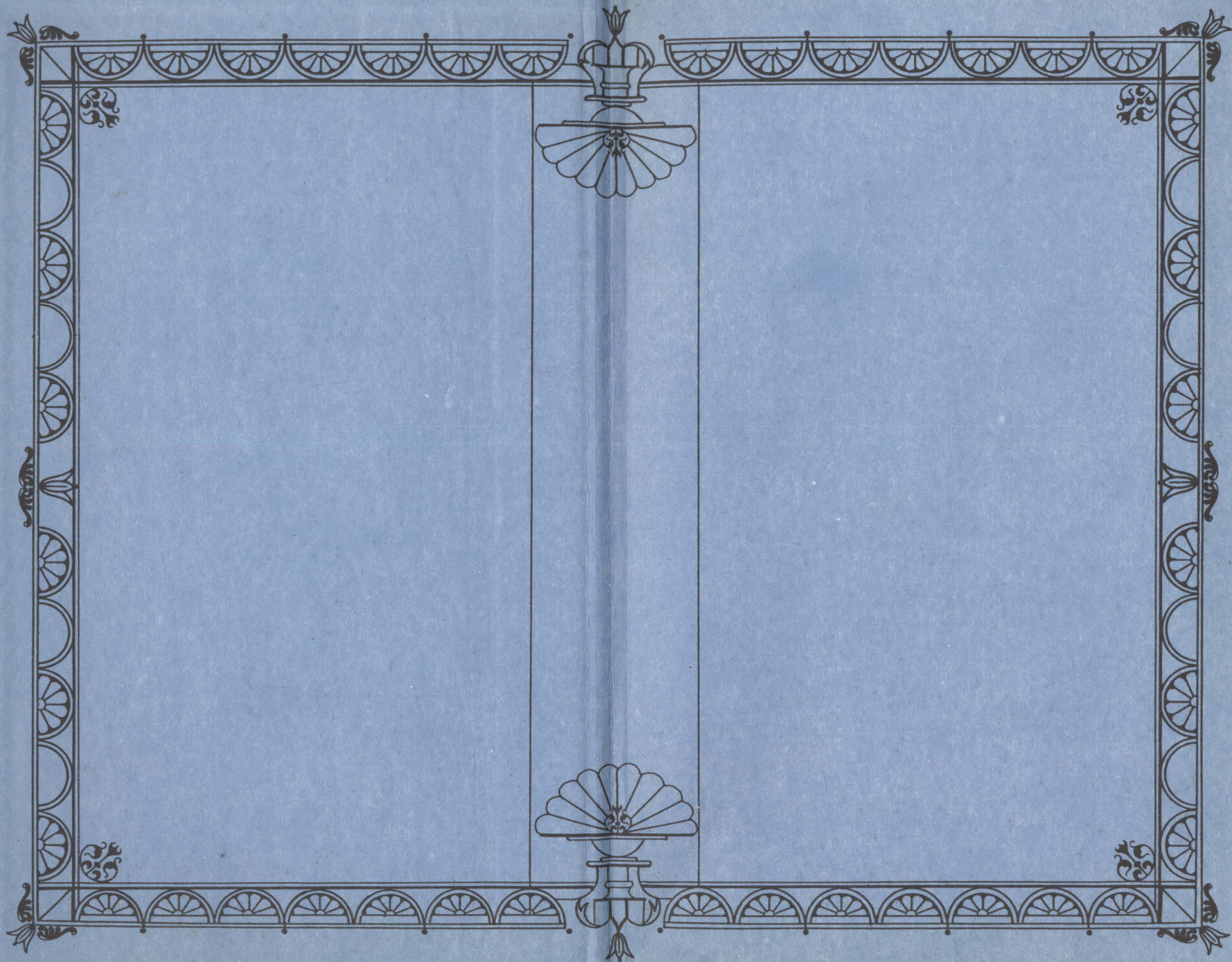


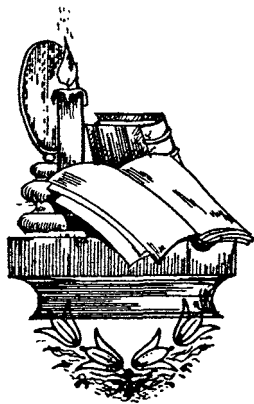
Библиотека
русской
классики



М.Е. Салтыков-Щедрин



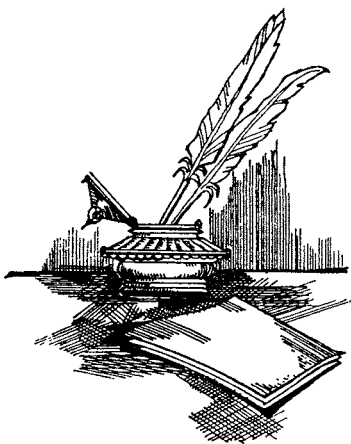




**библиотека
русской
классики**

М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН

1826 - 1889



М.Е.САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН



**ГУБЕРНСКИЕ
ОЧЕРКИ
•
ГОСПОДА
ГОЛОВЛЕВЫ
•
СКАЗКИ**

АССОЦИАЦИЯ
«КНИГА. ПРОСВЕЩЕНИЕ. МИЛОСЕРДИЕ»
Москва • 1995

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ КЛАССИКИ»

ИСАЕВ Е. А. — председатель

Лазарев В. Я.	Михайлов О. Н.
Степаненко А. Л.	Лобанов М. П.
Кошелев Б. В.	Числов М. М.
Дудинов В. Г.	Космин Н. Н.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИЗДАНИЯ
«БИБЛИОТЕКИ РОССИЙСКОЙ КЛАССИКИ»

КОШЕЛЕВ Б. В. — генеральный директор

Кошелев Д. Г.	Силаева Л. В.
Снитко Л. Г.	Соколов А. А.
Ульянова В. И.	Кузьминов Г. Б.
Пилипенко Н. В.	
Миронов А. Д.	Палюнин К. А.

Издание «Библиотеки» осуществляется
Ассоциацией «КНИГА. ПРОСВЕЩЕНИЕ. МИЛОСЕРДИЕ»
при участии ЦК профсоюза
работников госучреждений
и общественного обслуживания.

Генеральные дилеры — фирмы «ОПТИМУМ»
и «ОНИК»

Оформление серии
М. О С И П О В О Й

Генеральная дирекция БРК благодарит
фирму «Мустанг» (генеральный директор Мальсагов М. М.)
за оказание помощи в издании трехсоттомной серии
«Библиотеки российской классики»

С 4702010000—027 Без объявл.
63Б(03)-95



**ГУБЕРНСКИЕ
ОЧЕРКИ**



ВВЕДЕНИЕ

В одном из далеких углов России есть город, который как-то особенно говорит моему сердцу. Не то чтобы он отличался великолепными зданиями, нет в нем садов семирамидиных, ни одного даже трехэтажного дома не встретите вы в длинном ряде улиц, да и улицы-то всё немощеные; но есть что-то мирное, патриархальное во всей его физиономии, что-то успокаивающее душу в тишине, которая царствует на стогнах его. Въезжая в этот город, вы как будто чувствуете, что карьера ваша здесь кончилась, что вы ничего уже не можете требовать от жизни, что вам остается только жить в прошлом и переваривать ваши воспоминания.

И в самом деле, из этого города даже дороги дальше никуда нет, как будто здесь конец миру. Куда ни взглянете вы окрест — лес, луга да степь; степь, лес и луга; где-где вьется прихотливым извивом проселок, и бойко проскачет по нем телега, запряженная маленькою резвою лошадкой, и опять все затихнет, все потонет в общем однообразии...

Крутогорск расположен очень живописно; когда вы подъезжаете к нему летним вечером, со стороны реки, и глазам вашим издалека откроется брошенный на крутом берегу городской сад, присутственные места и эта прекрасная группа церквей, которая господствует над всею окрестностью, — вы не оторвете глаз от этой картины. Темнеет. Огни зажигаются и в присутственных местах и в остроге, стоящих на обрыве, и в тех лачужках, которые лепятся тесно, внизу, подле самой воды; весь берег кажется усыянным огнями. И бог знает почему, вследствие ли душевной усталости или просто от дорожного утомления, и острог и

присутственные места кажутся вам приютами мира и любви, лачужки населяются Филемонами и Бавкидами, и вы ощущаете в душе вашей такую ясность, такую кротость и мягкость... Но вот долетают до вас звуки колоколов, зовущих ко всенощной; вы еще далеко от города, и звуки касаются слуха вашего безразлично, в виде общего гула, как будто весь воздух полон чудной музыки, как будто все вокруг вас живет и дышит; и если вы когда-нибудь были ребенком, если у вас было детство, оно с изумительною подробностью встанет перед вами; и внезапно воскреснет в вашем сердце вся его свежесть, вся его впечатлительность, все верованья, вся эта милая слепота, которую впоследствии рассеял опыт и которая так долго и так всецело утешала ваше существование.

Но мрак все более и более завладевает горизонтом; высокие шпили церковей тонут в воздухе и кажутся какими-то фантастическими тенями; огни по берегу выступают ярче и ярче; голос ваш звонче и яснее раздается в воздухе. Перед вами река... Но ясна и спокойна ее поверхность, ровно ее чистое зеркало, отражающее в себе бледно-голубое небо с его миллионами звезд; тихо и мягко ласкает вас влажный воздух ночи, и ничто, никакой звук не возмущает как бы оцепеневшей окрестности. Паром словно не движется, и только нетерпеливый стук лошадиного копыта о помост да всплеск вынимаемого из воды шеста возвращают вас к сознанию чего-то действительного, не фантастического.

Но вот и берег. Начинается суматоха; вынимаются причалы; экипаж ваш слегка трогается; вы слышите глухое позвякиванье подвязанного колокольчика; пристегивают пристяжных; наконец все готово; в тарантасе вашем появляется шляпа и слышится: «Не будет ли, батюшка, вашей милости?» — «Трогай!» — раздается сзади, и вот вы бойко взбираетесь на крутую гору, по почтовой дороге, ведущей мимо общественного сада. А в городе между тем во всех окнах горят уж огни; по улицам еще бродят рассеянные группы гуляющих; вы чувствуете себя дома и, остановив ямщика, вылезаете из экипажа и сами идете бродить.

Боже! как весело вам, как хорошо и отрадно на этих деревянных тротуарах! Все вас знают, вас любят, вам улыбаются! Вон мелькнули в окнах четыре фигуры за четверугольным столом, предающиеся деловому отдохновению за карточным столом; вот из другого окна столбом валит дым, обличающий собравшуюся в доме веселую компанию

приказных, а быть может, и сановников; вот послышался вам из соседнего дома смех, звонкий смех, от которого вдруг упало в груди ваше юное сердце, и тут же, с ним рядом, произносится острота, очень хорошая острота, которую вы уж много раз слышали, но которая, в этот вечер, кажется вам особенно привлекательною, и вы не сердитесь, а как-то добродушно и ласково улыбаетесь ей. Но вот и гуляющие — всё больше женский пол, около которого, как и везде, как комары над болотом, роится молодежь. Эта молодежь иногда казалась вам нестерпимою: в ее стремлениях к женскому полу вы видели что-то не совсем опрятное; шуточки и нежности ее отзывались в ваших ушах грубо и матерьяльно; но в этот вечер вы добры. Если б вам встретился пылкий Трезор, томно виляющий хвостом на бегу за кокеткой Дианкой, вы и тут нашли бы средство отыскать что-то наивное, буколическое. Вот и она, крутогорская звезда, гонительница знаменитого рода князей Чебылкиных — единственного княжеского рода во всей Крутогорской губернии, — наша Вера Готлибовна, немка по происхождению, но русская по складу ума и сердца! Идет она, и издала несется ее голос, звонко командующий над целым взводом молодых вздыхателей; идет она, и прячется седовласая голова князя Чебылкина, высунувшаяся было из окна, ожигаются губы княгини, кушающей вечерний чай, и выпадает фарфоровая куколка из рук двадцатилетней княжны, играющей в растворенном окне. Вот и вы, великолепная Катерина Осиповна, также звезда крутогорская, вы, которой роскошные формы напоминают лучшие времена человечества, вы, которую ни с кем сравнить не смею, кроме гречанки Бобелины. Около вас также роятся поклонники и вьется жирный разговор, для которого неистощимым предметом служат ваши прелести. И все это так приветливо улыбается вам, всякому вы жмете руку, со всяким вступаете в разговор. Вера Готлибовна рассказывает вам какую-нибудь новую проделку князя Чебылкина; Порфирий Петрович передает замечательный случай из вчерашнего преферанса.

Но вот и сам его сиятельство, князь Чебылкин, изволит возвращаться от всенощной, четверней в коляске. Его сиятельство милостиво раскланивается на все стороны; четверня раскормленных лошадок влачит коляску мерным и томным шагом: сами бессловесные чувствуют всю важность возложенного на них подвига и ведут себя, как следует лошадям хорошего тона.

Наконец и совсем стемнело; гуляющие исчезли с улиц;

окна в домах затворяются; где-где слышится захлопывание ставней, сопровождаемое звяканьем засовываемых железных болтов, да доносятся до вас унылые звуки флейты, извлекаемые меланхоликом-приказным.

Все тихо, все мертво; на сцену выступают собаки...

Казалось бы, это ли не жизнь! А между тем все крутогорские чиновники, и в особенности супруги их, с ожесточением нападают на этот город. Кто звал их туда, кто приклеил их к столь постылому для них краю? Жалобы на Крутогорск составляют вечную канву для разговоров; за ними обыкновенно следуют стремления в Петербург.

— Очаровательный Петербург! — восклицают дамы.

— Душка Петербург! — вздыхают девицы.

— Да, Петербург... — глубокомысленно отзываются мужчины.

В устах всех Петербург представляется чем-то вроде жениха, приходящего в полночи; но ни те, ни другие, ни третьи не искренни; это так, *façon de parler*¹, потому что рот у нас не покрыт. С тех пор, однако ж, как двукратно княгиня Чебылкина съездила с дочерью в столицу, восторги немного поохладились: оказывается, «*qu'on n'y est jamais chez soi*»², что «мы отвыкли от этого шума», что «*le prince Курылкин, jeune homme tout-à-fait charmant, — mais que ça reste entre nous — m'a fait tellement la cour*»³, что просто совестно! — но все-таки какое же сравнение наш милый, наш добрый, наш тихий Крутогорск!»

— Душка Крутогорск! — пищит княжна.

— Да, Крутогорск... — отзывается князь, плотоядно улыбаясь.

Страсть к французским фразам составляет общий недуг крутогорских дам и девиц. Соберутся девицы, и первое у них условие: «Ну, *mesdames*, с нынешнего дня мы ни слова не будем говорить по-русски». Но оказывается, что на иностранных языках им известны только две фразы: *permettez-moi de sortir*⁴ и *allez-vous en!*⁵ Очевидно, что всех понятий, как бы они ни были ограничены, этими двумя фразами никак не выразишь, и бедные девицы вновь осуждены прибегнуть к этому дубовому русскому языку, на котором не выразишь никакого тонкого чувства.

¹ Манера говорить (фр.).

² Что там никогда не чувствуешь себя дома (фр.).

³ Князь Курылкин, совершенно очаровательный молодой человек — но пусть это останется между нами — так ухаживал за мной (фр.).

⁴ Позвольте мне выйти (фр.).

⁵ Убирайтесь вон! (фр.)

Впрочем, сословие чиновников — слабая сторона Крутогорска. Я не люблю его гостиных, в которых, в самом деле, все глядит как-то неуклюже. Но мне отраднo и весело шататься по городским улицам, особенно в базарный день, когда они кипят народом, когда все площади завалены разным хламом: сундуками, бураками, ведерками и проч. Мне мил этот общий говор толпы, он ласкает мой слух пуще лучшей итальянской арии, несмотря на то что в нем нередко звучат самые странные, самые фальшивые ноты. Взгляните на эти загорелые лица: они дышат умом и сметкою и вместе с тем каким-то неподдельным простодушием, которое, к сожалению, исчезает все больше и больше. Столица этого простодушия — Крутогорск. Вы видите, вы чувствуете, что здесь человек доволен и счастлив, что он простодушен и открыт именно потому, что не для чего ему притворяться и лукавить. Он знает, что что бы ни выпало на его долю — горе ли, радость ли, — все это его, его собственное, и не ропщет. Иногда только он вздохнет да промолвит: «Господи! кабы не было блох да станovyх, что бы это за рай, а не жизнь была!» — вздохнет и смирится пред рукою Промысла, соделавшего и Киферона, птицу сладкогласную, и гадов разных.

Купечества в Крутогорске нет. Коли хотите, проживают в нем так называемые негоцианты, но они пробубнили до такой степени, что, кроме ношебного платья и неплатных долгов, ничего не имеют. Сгубила их неосновательность рассудка да пристрастие к пиджакам и крепким напиткам. Пробовали было они поначалу, когда деньги еще кой-какие водились, на свой капитал торговать, да нет, не спорится! Сведет негоциант к концу года счета — все убыток да убыток, а он ли, кажется, не трудился, на пристани с лихими людьми ночи напролет не пропивывал, да последней копейки в картеж не проигрывал, все в надежде увеличить родительское наследство! — Не везет! Пробовали они и на комиссию закупы разного товара делать, и тут оказались провинности: купит негоциант щетины да для коммерческого оборота в нее песочку подсыплет, а не то хлебца такого поставит, чтоб хрусту побольше ощущалось — отказали и тут. Господи! совсем коммерцией заниматься нельзя.

Но вот наступает воскресенье: весь город с раннего утра в волнении, как будто томим недугом. На площадях шум и говор, по улицам езда страшная. Чиновники, не обуздываемые в этот день никаким присутственным местом, из всех сил устремляются к его превосходительству

поздравить с праздником. Случается, что его превосходительство не совсем благосклонно смотрит на эти поклонения, находя, что они вообще не относятся к делу, но духа времени изменить нельзя: «Помилуйте, ваше превосходительство, это нам не в тягость, а в сладость!»

— Сегодня отличная погода, — говорит Порфирий Петрович, обращаясь к ее превосходительству.

Ее превосходительство слушает с видимым участием.

— Только жарко немножко-с, — отзывается уездный стряпчий, слегка привставая на кресле, — я, ваше превосходительство, потею...

— Как здоровье вашей супруги? — спрашивает ее превосходительство, обращаясь к инженерному офицеру, с очевидным желанием замять разговор, принимающий слишком интимный характер.

— Она, ваше превосходительство, всегда в это время бывает в таком положении...

Ее превосходительство решительно теряется.

Общее смущение.

— А у нас, ваше превосходительство, — говорит Порфирий Петрович, — случилось на прошлой неделе обстоятельство. Получили мы из Рожновской палаты бумагу-с. Читали мы, читали эту бумагу — ничего не понимаем, а бумага, видим, нужная. Вот только и говорит Иван Кузьмич: «Позовемте, господа, архивариуса, — может быть, он поймет». И точно-с, призываем архивариуса, прочитал он бумагу. «Понимаешь?» — спрашиваем мы. «Понимать не понимаю, а отвечать могу». Верите ли, ваше превосходительство, ведь и в самом деле написал бумагу в палец толщиной, только еще непонятнее первой. Однако мы подписали и отправили.

Общий хохот.

— Любопытно, — говорит ему превосходительство, — удовлетворится ли Рожновская палата?

— Отчего же не удовлетвориться, ваше превосходительство? ведь им больше для очистки дела ответ нужен: вон они возьмут да целиком нашу бумагу куда-нибудь и пропишут-с, а то место опять пропишет-с; так оно и пойдет...

Но я предполагаю, что вы — лицо служащее и не заживаетесь в Крутогорске подолгу. Вас посылают по губернии обревизовать, изловить и вообще сделать полезное дело.

Дорога! Сколько в этом слове заключено для меня привлекательного! Особливо в летнее теплое время, если при-

том предстоящие вам переезды неуютительны, если вы не спеша можете расположиться на станции, чтобы переждать полуденный зной, или же вечером, чтобы побродить по окрестности, — дорога составляет неисчерпаемое наслаждение. Вы лежа едете в вашем покойном тарантасе; маленькие обывательские лошадки бегут бойко и весело, верст по пятнадцати в час, а иногда и более; ямщик, добродушный молодой парень, беспрестанно оборачивается к вам, зная, что вы платите прогоны, а пожалуй, и на водку дадите. Перед глазами вашими расстилаются необозримые поля, окаймляемые лесом, которому, кажется, и конца нет. Изредка попадается по дороге починок из двух-трех дворов или же одиноко стоящая сельская расправа, и опять поля, опять лес! земли-то, земли-то! то-то раздолье тут земледельцу! Кажется, и жил бы и умер тут, ленивый и беспечный, в этой непробудной тишине!

Однако вот и станция; вы утомлены немного, но это — то приятное утомление, которое придает еще более цены и сладости предстоящему отдыху. В ушах ваших еще остается впечатление звуков колокольчика, впечатление шума, производимого колесами вашего экипажа. Вы выходите из вашего тарантаса и немного пошатываетесь. Но через четверть часа вы снова бодры и веселы, вы идете бродить по деревне, и перед вами разворачивается та мирная сельская идиллия, которой первообраз так целно и полно сохранился в вашей душе. С горы спускается деревенское стадо; оно уж близко к деревне, и картина мгновенно оживляется; необыкновенная суeta проявляется по всей улице; бабы выбегают из изб с прутьями в руках, преследуя тощих, малорослых коров; девчонка лет десяти, также с прутиком, бежит вся впопыхах, загоня теленка и не находя никакой возможности следить за его скачками; в воздухе раздаются самые разнообразные звуки, от мычанья до визгливого голоса тетки Арины, громко ругающейся на всю деревню. Наконец стадо загнано, деревня пустеет; только кое-где по завалинкам сидят еще старики, да и те позевывают и постепенно, один за другим, исчезают в воротах. Вы сами отправляетесь в горницу и садитесь за самовар. Но — о чудо! — цивилизация и здесь преследует вас! За стеною вам слышатся голоса.

— Как тебя зовут? — спрашивает один голос.

— Кого? — отвечает другой.

— Тебя.

— Меня-то?

— Ну да, тебя.

— Зовут-то?

— Ах, чтоб тебя...

Раздаются аплодисменты.

— Аким, Аким Сергеев, — торопливо отвечает голос.

Ваше любопытство заинтересовано; вы посылаете разведать, что происходит у вас в соседях, и узнаете, что еще перед вами приехал сюда становой для производства следствия да вот так-то день-деньской и мается.

Вам внезапно делается грустно, и вы поспешно велите закладывать лошадей.

И снова перед вами дорога, снова свежий ветер нежит ваше лицо, снова обнимает вас тот прозрачный полумрак, который на севере заменяет летние ночи. А полный месяц кротко и мягко освещает всю окрестность, над которою вьется, как пар, легкий ночной туман...

Да, я люблю тебя, далекий, никем не тронутый край! Мне мил твой простор и простодушие твоих обитателей! И если перо мое нередко коснется таких струн твоего организма, которые издают неприятный и фальшивый звук, то это не от недостатка горячего сочувствия к тебе, а потому собственно, что эти звуки грустно и болезненно отдаются в моей душе. Много есть путей служить общему делу; но смею думать, что обнаружение зла, лжи и порока также не бесполезно, тем более что предполагает полное сочувствие к добру и истине.





ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА

ПЕРВЫЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО

Свежо предание, а верится с трудом...

«...Нет, нынче не то, что было в прежнее время; в прежнее время народ как-то проще, любовнее был. Служил я, теперича, в земском суде заседателем, триста рублей бумажками получал, семейством угнетен был, а не хуже людей жил. Прежде знали, что чиновнику тоже пить-есть надо, ну, и место давали так, чтоб прокормиться было чем... А отчего? оттого, что простота во всем была, начальственное снисхождение было — вот что!

Много было у меня в жизни случаев, доложу я вам, случаев истинно любопытнейших. Губерния наша дальняя, дворянства этого нет, ну, и жили мы тут как у Христа за пазушкой; съездишь, бывало, в год раз в губернский город, поклонись чем бог послал благодетелям и знать больше ничего не хочешь. Этого и не бывало, чтоб под суд попасть, или ревизии там какие-нибудь, как нынче, — все шло себе как по маслу. А вот вы, молодые люди, поди-ка, чай, думаете, что нынче лучше, народ, дескать, меньше терпит, справедливости больше, чиновники Бога знать стали. А я вам доложу, что все это напрасно-с; чиновник все тот же, только то ше, продувнее стал... Как послушаю я этих нынешних-то, как они и про экономию-то, и про благо-то общее на нут толковать, инда злость под сердце подступает.

Брали мы, правда, что брали — кто богу не грешен, царю не виноват? да ведь и то сказать, лучше, что ли, денег-то не брать, да и дела не делать? как возьмешь, оно

и работать как-то сподручнее, поощрительнее. А нынче, посмотрю я, всё разговором занимаются, и всё больше насчет этого бескорыстия, а дела не видно, и мужичок — не слышать, чтоб поправлялся, а кряхтит да охает пуще прежнего.

Жили мы в те поры, чиновники, все промеж себя очень дружно. Не то чтоб зависть или чернота какая-нибудь, а всякий друг другу совет и помощь дает. Проиграешь, бывало, в картишки целую ночь, всё дочиста спустишь — как быть? ну, и идешь к исправнику. «Батюшка, Демьян Иваныч, так и так, помоги!» Выслушает Демьян Иваныч, посмеется начальнически: «Вы, мол, сукины дети, приказные, и деньгу-то сколотить не умеете, всё в кабак да в карты!» А потом и скажет: «Ну, уж нечего делать, ступай в Шарковскую волость подать собирать». Вот и поедешь; подати-то не соберешь, а ребятишкам на молочишко будет.

И ведь как это все просто делалось! не то чтоб истязание или вымогательство какое-нибудь, а приедешь этак, соберешь сход.

— Ну, мол, ребятушки, выручайте! царю-батюшке деньги надобны, давайте подати.

А сам идешь к себе в избу да из окошечка посматриваешь: стоят ребятушки да затылки почесывают. А потом и пойдет у них смятение, вдруг все заговорят и руками замахают, да ведь с час времени этак-то прохлаждаются. А ты себе сидишь, натурально, в избе да посмеиваешься, а часом и сотского к ним вышлешь: «Будет, мол, вам разговаривать — барин сердится». Ну, тут пойдет у них суматоха пуще прежнего; начнут жеребий кидать — без жеребья русскому мужику нельзя. Это, значит, дело идет на лад, порешили идти к заседателю, не будет ли божецкая милость обождать до заработков.

— Э-э-эх, ребятушки, да как же с батюшкой царем-то быть! ведь ему деньги надобны; вы хошь бы нас, своих начальников, пожалели!

И все это ласковым словом, не то чтоб по зубам да за волосы: «Я, дескать, взяток не беру, так вы у меня знай, каков я есть окружной!» — нет, этак лаской да жаленьем, чтоб насквозь его, сударь, прошибло!

— Да нельзя ли, батюшка, хоть до покрова обождать? Ну, натурально, в ноги.

— Обождать-то, для че не обождать, это все в наших руках, да за что ж я перед начальством в ответ попаду? — судите сами.

Пойдут ребята опять на сход, потолкуют-потолкуют, да

и разойдутся по домам, а часика через два, смотришь, сотский и несет тебе за подожданье по гривне с души, а как в волости-то душ тысячи четыре, так и выйдет рублев четырехста, а где и больше... Ну, и едешь домой веселее.

А то вот у нас еще фортель какой был — это обыск повальный. Эти дела мы приберегали к лету, к самой страдной поре. Выедешь это на следствие и начнешь весь окольный народ сбивать: мало одной волости, так и другую прихватишь — всех тащи. Сотские же у нас были народ живой, тертый — как есть на все руки. Сгонят человек триста, ну, и лежат они на солнышке. Лежат день, лежат другой; у иного и хлеб, что из дому взял, на исходе, а ты себе сидишь в избе, будто взаправду занимаешься. Вот как видят, что время уходит — полевая-то работа не ждет, — ну, и начнут засылать сотского: «Нельзя ли, дескать, явить милость, спросить, в чем следует?» Тут и смекаешь: коли ребята сговорчивые, отчего ж им удовольствие не сделать, а коли больно много артачиться станут, ну и еще погодят денек-другой. Главное тут дело — характер иметь, не скучать бездельем, не гнушаться избой да кислым молоком. Увидят, что человек-то дельный, так и поддадутся, да и как еще: прежде по гривенке, дешевле не моги и думать. Покончивши это, и переспросишь их всех скопом:

— Каков, мол, такой-то Трифон Сидоров? мошенник?

— Мошенник, батюшка, что и говорить — мошенник.

— А ведь он лошадь-то у Мокея украл? он, ребята?

— Он, батюшка, он должн.

— А грамотные из вас есть?

— Нет, батюшка, какая грамота!

Это говорят мужички уж повеселее: знают, что, значит, отпуск сейчас им будет.

— Ну, ступайте с богом, да вперед будьте умнее.

И отпустишь через полчаса. Оно, конечно, дела немного, всего на несколько минут, да вы посудите, сколько тут вытерпишь: сутки двое-трое сложа руки сидишь, кислый хлеб жуешь... другой бы и жизнь-то всю проклял — ну, ничего таким манером и не добудет.

Всему у нас этому делу учитель и заводчик был уездный наш лекарь. Этот человек был подлинно, доложу вам, необыкновенный и на все дела преостроумнейший! Министром ему быть настоящее место по уму; один грех был: к напитку имел не то что пристрастие, а так — какое-то остервенение. Увидит, бывало, графин с водкой, так и задрожит весь. Конечно, и все мы этого придерживались,

да все же в меру: сидишь себе да благодумствуешь, и много-много что в подпитии; ну, а он, я вам доложу, меры не знал, напивался даже до безобразия лица.

— Я еще как ребенком был, — говорит, бывало, — так мамка меня с ложечки водкой поила, чтобы не ревел, а семи лет так уж и родитель по стаканчику на день отпускать стал.

Так вот этакой-то прѳйда и наставлял нас всему.

— Мое, — говорит, — братцы, слово будет такое, что никакого дела, будь оно самой святой пасхи святее, не следует делать даром: хоть гривенник, а слупи, рукѳ не порти.

И уж выкидывал же он колена — утешенье вспомнить! Утонул ли кто в реке, с колокольни ли упал и расшибся — все это ему рука. Да и времена были тогда другие: нынче об таких случаях и дел заводить не велено, а в те поры всякое мертвое тело есть мертвое тело. И как бы вы думали: ну, утонул человек, расшибся; кажется, какая тут корысть, чем тут попользоваться? А Иван Петрович знал чем. Приедет в деревню, да и начнет утопленника-то пластать; натурально, понятия тут, и фельдшер тоже, собака такая, что хуже самого Ивана Петровича.

— А ну-ка ты, Гришуха, держи-ко покойника-то за нос, чтоб мне тут ловчей резать было.

А Гришуха (из понятых) смерть покойника боится, на пять сажен и подойти-то к нему не смеет.

— Ослобони, батюшка Иван Петрович, смерть не могу, нутро измирает!

Ну, и освобождают, разумеется, за посильное приношение. А то другого заставляет внутренности держать; сами рассудите, кому весело мертвечину ослизую в руке иметь, ну, и откупаются полегоньку, — ан, глядишь, и наколотил Иван Петрович рубликов десяток, а и дело-то все пустяковое.

Однако и страх божий тоже имел: убийцу или душегуба не покроет.

— Вы, братцы, этого греха и на душу не берите, — говорит, бывало, — за такие дела и под суд попасть можно. А вы мошенника-то откройте, да и себя не забывайте.

— Да как же, мол, это так, Иван Петрович? — спрашиваем мы.

— А вот как. Убийца-то он один, да знакомых да сватовей у него чуть не целый уезд; ты вот и поди перебирать всех этих знакомых, да и преступника-то подмасли, чтоб он побольше народу оговаривал: был, мол, в таком-то часу

у такого-то крестьянина? не пошел ли от него к такому-то? а часы выбирай те, которые нужно... ну, и привлекай, и привлекай. Если умен да дело знаешь, так много тут божьего народа спутать можно; а потом и начинай распутывать. Разумеется, все эти оговоры вздор и кончатся пустяками, да ты-то дело свое сделал: и мужичка от напраслины очистил, и сам сердечную благодарность получил, и преступника уличил.

А то была у нас и такая манера: заведешь, бывало, следствие, примерно хоть по конокрадству; облупишь мошенника, да и пустить на волю. Строишь, через месяц опять попался — опять слупишь и опять выпустишь. До тех, сударь, пор этак действуешь, покуда на голубчике, что называется, лягушечьего пуха не останется. Ну, тогда уж шалишь, любезный, ступай в острог и взаправду. Оно, вы скажете, скверно преступника покрывать, а я вам доложу, что не покрывать, а примерно, значит, пользоваться обстоятельствами дела. Ведь мы знаем, что он наших рук не минует, так отчего ж и не потешить его?

Жил у нас в уезде купчина, миллионщик, фабрику имел кумачную, большие дела вел. Ну, хоть что хочешь, нет нам от него прибыли, да и только! так держит ухо востро, что на-поди. Разве только иногда чайком попотчует да бутылочку холоденького разопьет с нами — вот и вся корысть. Думали мы, думали, как бы нам этого подлнца купчишку на дело натравить — не идет, да и все тут, даже зло взяло. А купец видит это, смеяться не смеется, а так, равнодушествует, будто не замечает.

Что же бы вы думали? Едем мы однажды с Иваном Петровичем на следствие: мертвое тело нашли неподалеку от фабрики. Едем мы это мимо фабрики и разговариваем меж себя, что вот подлец, дескать, ни на какую штуку не лезет. Смотрю я, однако, мой Иван Петрович задумался, и как я в него веру большую имел, так и думаю: выдумает он что-нибудь, право выдумает. Ну, и выдумал. На другой день, сидим мы это утром и опохмеляемся.

— А что, — говорит, — дашь половину, коли купец тебе тысячи две отвалит?

— Да что ты, Иван Петрович, в уме ли? две тысячи!

— А вот увидишь; садись и пиши:

«Свиногорскому первой гильдии купцу Платону Степанову Троекурову. Вѣдение. По показаниям таких-то и таких-то поселян (валяй больше), вышепоименованное мертвое тело, по подозрению в насильственном убийтии, с таковыми же признаками бесчеловечных побоев, и при-

том рукою некоего злодея, в предшедшую пред сим ночь, скрылось в фабричном вашем пруде. А посему благоволите в оный для обыска допустить».

— Да помилуй, Иван Петрович, ведь тело-то в шалаше на дороге лежит!

— Уж делай, что говорят.

Да только засвистал свою любимую «При дороженьке стояла», а как был чувствителен и не мог эту песню без слез слышать, то и прослезился немного. После я узнал, что он и впрямь велел сотским тело-то на время в овраг куда-то спрятать.

Прочитал борода наше ведение, да так и обомлел. А между тем и мы следом на двор. Встречает нас, бледный весь.

— Не угодно ли, мол, чаю откушать?

— Какой, брат, тут чай! — говорит Иван Петрович, — тут нечего чаю, а ты пруд спускать вели.

— Помилуйте, отцы родные, за что разорять хотите?

— Как разорять! видишь, следствие приехали делать, указ есть.

Слово за словом, купец видит, что шутки тут плохие, хочь и впрямь пруд спущай, заплатил три тысячи, ну, и дело покончили. После мы по пруду-то маленько поехали, крючьями в воде потыкали, и тела, разумеется, никакого не нашли. Только, я вам скажу, на угощение, когда уж были мы все выпивши, и расскажи Иван Петрович купцу, как все дело было; верите ли, так обозлилась борода, что даже закоченел весь!

Чудовый это был человек, нечего и говорить. За что ни возьмется, все у него так выходит, что любо-дорого смотреть. Кажется, пустая вещь оспопрививанье, а он и тут сумел найтись. Приедет, бывало, в расправу и разложит все эти аппараты: токарный станок, пилы разные, подпилки, сверла, наковальни, ножи такие страшнейшие, что хоть быка ими резать; как соберет на другой день баб с ребятами — и пошла вся эта фабрика в действие: ножи точат, станок гремит, ребята ревут, бабы стонут, хоть святых вон понеси. А он себе важно этак похаживает, трубочку покуривает, к рюмочке прикладывается да на фельдшеров покрикивает: «точи, дескать, вострее». Смотрят глупые бабы да пуще воют.

— Смотри, тетка, ведь совсем ребенка-то изведет ножичком-то. Да и сам-то, вишь, пьяный какой!

Повоют-повоют, да и начнут шептаться, а через полчаса, смотришь, и выйдет всем одно решенье: даст кто

целковый — ступай домой, а не даст, так всю руку на-
прочь.

И ведь не то чтоб эти дела до начальства не доходили: доходили, сударь, и изловить его старались, да не на того напали — такие штуки отмачивал под носом у самого начальства, что только помираешь со смеху. Был у нас это рекрутский набор объявлен; ну, и Иван Петрович, само собой, живейшее тут участие принимал. Такие случаи, доложу вам, самые были для него выгодные, и он смеючись набор своим сенокосом звал. На ту пору был начальником губернии такой зверь, что у!!! (и в старину такие скареды прорывались). Вот и вздумал он поймать Ивана Петровича, и научи же он мещанинишку: «Поди, мол, ты к лекарю, объясни, что вот так и так, состою на рекрутской очереди не по сущей справедливости, семейство большое: ее будет ли отеческой милости?» И прилагательным снабдили, да таким, знаете, все полуимперьялами, так, чтоб у лекаря нутро разгорелось, а за оградой и свидетели, и все как следует устроено: погиб Иван Петрович, да и все тут. Только узнал он об этой напасти загодя, от некоторого милостивца, и сидит себе как ни в чем не бывало. Ну, и подлинно, приходит это мещанинишка, излагает все обстоятельно и прилагательное на стол кладет. Как он все это рассказал, как взбеленился мой Иван Петрович, да на него:

— Ка-а-к! ты подкупать меня! да разве я фальшивую присягу-то принял! душе, что ли, я своей ворог, царствия небесного не хочу!

Да как хватит кулаком по столу — золотушки-то и покатились по полу, а сам еще пуще кричит:

— Вон с моих глаз, анафема! гони его, вот так, в шею его, кулаками-то в загорбок!

Мещанинишку выгнали, да на другой день не смотря и забрали в присутствии. А имперьяльчики-то с полу подняли! Уж что смеху у нас было!

Женился он самым, то есть, курьезнейшим образом. Обещал ему тесть пять тысяч, а как дело кончилось — не дает, да и шабаш. И не то чтоб денег у него не было, а так, сквалыга был, расстаться с ними жаль. Ждет Иван Петрович месяц, ждет другой; каждой-то день жену бьет, а тестя непристойно обзывает — не берет. А деньги получать надо. Вот и слышим мы как-то: болен Иван Петрович, в белой горячке лежит, на всех это кидается, попадись под руку ножик — кажется, и зарежет совсем. И так, сударь, искусно он всю эту комедию подделал, что и нас всех жа-

лость взяла. Жену бил пуще прежнего, из окошка, сударь, прыгал, по улицам в развращенном виде бегал. Вот, покуролесивши этак с неделю, выходит он однажды ночью, и прямо в дом к тестю, а в руках у него по пистолету.

— Ну, — говорит, — подавай теперь деньги, а не то, видит бог, пришибу.

Старик перепугался.

— Ты, — говорит, — думаешь, что я и впрямь с ума спятил, так нет же, все это была штука. Подавай, — говорю, — деньги или прощайся с жизнью; меня — говорит, — на покаянье пошлют, потому что я не в своем уме — свидетели есть, что не в своем уме, — а ты в могилке лежать будешь.

Ну, конечно-с, тут разговаривать нечего: хочь и ругнул его тесть, может, и чести коснулся, а деньги все-таки отдал. На другой же день Иван Петрович как ни в чем не бывало. И долго от нас таился, да уж после, за пуншиком, всю историю рассказал, как она была.

И не себя одного, а и нас, грешных, неоднократно выручал Иван Петрович из беды. Приезжала однажды к нам в уезд особа, не то чтоб для ревизии, а так — поглядеть.

Однако пошли тут просьбы да кляузы разные, как водится, и всё больше на одного заседателя. Особа была добрая, однако рассвирепела. «Подать, говорит, мне этого заседателя».

А он, по счастью, был на ту пору в уезде, на следствии, как раз с Иваном Петровичем. Вот и дали мы им знать, что будут завтра у них их сиятельство, так имели бы это в предмете, потому что вот так и так, такие-то, мол, их сиятельство речи держит. Струсил наш заседатель, сконфузился так, что и желудком слабеть начал.

— А что, — говорит Иван Петрович, — что дашь? выручу из беды.

— Да жизни не пожалею, Иван Петрович, будь благодетель.

— Что мне, брат, в твоей жизни, ты говори дело. Выручать так выручать, а не то выпутывайся сам как знаешь.

Сторговались они, а на другой день и приезжают их сиятельство ранехонько. Ну и мы, то есть весь земский суд, натурально тут, все в мундирах; одного заседателя нет, которого нужно.

— А где заседатель Томилкин? — спрашивают их сиятельство.

— Имею честь явиться, — отвечает Иван Петрович. Мы так и похолодели.

А их сиятельство и не замечают, что мундир-то совсем не тот (даже мундира не переменял, так натуру-то знал): зрение, должно полагать, слабое имели.

— На вас, — говорят их сиятельство, — множество жалоб, и притом таких, что мало вас за все эти дела повесить.

— Невинно, видит бог, невинно оклеветали меня враги перед вашим сиятельством; осмелюсь униженно просить выслушать меня и надеюсь вполне оправдаться, но при свидетелях ощущаю робость.

Их сиятельство уважили; пошли они это в другую комнату; целый час он там объяснял: что и как — никому неизвестно, только вышли их сиятельство из комнаты очень ласковы, даже приглашали Ивана Петровича к себе, в Петербург, служить, да отказался он тем, что скромен и столичного образования не имеет.

А ведь и дел-то он тех в совершенстве не знал, о которых его сиятельству докладывал, да на остроумие свое понадеялся, и не напрасно.

Один был грех на его душе, великий грех — инородца загубил. Вот это как было. Уезд наш, известно вам, господа, лесной, и всё больше живут в нем инородцы. Народ простодушнейший и зажиточный. Только уж очень неопратно себя держат, и болезни это у них иностранные развелись, так, что из рода в род переходят. Убьют они это зайца, шкуру с него сдерут, да так, не потроша, и кидают в котел варить, а котел-то не чищен, как сделан; одно слово, смрад нестерпимый, а они ничего, едят всё это месиво с аппетитом. С одной стороны, и не стоит этаким народ, чтоб на него внимание обращать: и глуп-то, и необразован, и нечист — так, истукан какой-то. Вот ходил один инородец белку стрелять, да и угоразди его каким-то манером невзначай плечо себе прострелить. Хорошо. Само собой, следствие; ну, невзначай так невзначай, и суд уездный решил дело так, что предать, мол, это обстоятельство воле Божьей, а мужика отдать на излечение уездному лекарю. Получил Иван Петрович указ из суда — скучно ехать, даль ужасная! — однако вспомнил, что мужик зажиточный, недели с три пообождал, да как случилось в той стороне по службе быть, и к нему заодно заехал. А у того между тем и плечо-то совсем зажило. Приехал, теperича, прочитал указ.

— Раздевайся, — говорит.

— Да у меня, бачка, плечом савсем здоров, — говорит мужик, — уж пятым неделем здоров.

— А это видишь? видишь, идолопоклонник ты этакой, указ его императорского величества? видишь, лечить тебя велено?

Делать нечего, разделся мужик, а он ему и ну по живому-то месту ковырять. Ревет дурак благим матом, а он только смеется да бумагу показывает. Тогда только кончил, как тот три золотых ему дал.

— Ну, — говорит, — бог с тобой.

Понадобились Ивану Петровичу опять деньги, он опять к инородцу лечить, да таким манером больше году его томил, покуда всех денег не высосал. Исхудал мужичонка, не ест, не пьет — бредит лекарем. Однако как заметил, что тут взятки-то гладки, перестал ездить. Отдохнул мужик и смотреть веселее стал. Вот однажды и случилось какому-то чиновнику, совсем постороннему, проезжать мимо этой деревни, и спроси он у поселян, как, мол, живет такой-то (его многие чиновники, по хлебосольству, знавали). Вот и говорят мужику, что тебя, мол, какой-то чиновник спрашивал. Что ж, сударь? представься ему, что это опять лекарь лечить его хочет; пошел домой, ничего никому не сказал, да за ночь и удавился.

Ну, это, я вам доложу, точно грех живую душу таким родом губить. А по прочему по всему чудовый был человек, и прегостеприимный — после, как умер, нечем похоронить было: все, что ни нажил, все прогулял! Жена до сих пор по миру ходит, а дочки — уж бог их знает! — кажись, по ярмонкам ездят: из себя очень красивы.

Так вот-с какие люди бывали в наше время, господа; это не то что грубые взяточники или с большой дороги грабители; нет, всё народ-аматёр был. Нам и денег, бывало, не надобно, коли сами в карман лезут; нет, ты подумай да прожект составь, а потом и пользуйся.

А нынче что! нынче, пожалуй, говорят, и с откупщика не бери. А я вам доложу, что это одно только вольнодумство. Это все единственно, что деньги на дороге найти, да не воспользоваться... Господи!»

— Как же вы-то попались, Прокофий Николаич, если в ваше время все так счастливо сходило?

— Ох, уж и не говорите! на таком деле попался, что совестно сказать — на мертвом теле. Эта у нас музыка-то по нотам разыгрывалась, а меня на ней-то и попутал лукавый. Дело было зимнее; мертвое-то тело надо было оттаять; вот и повезли мы его в что ни на есть большую де

ревню, ну, и начали, как водится, по домам возить да отсталого собирать. Возили-возили, покуда осталась одна только изба: солдатка-вдова там жила; той и заплатить-то нечего было — ну, там мы и оставили тело. Собрали на другой день понятых, ну, и тут, разумеется, покорыстоваться желалось: так чтоб не разошлись они по домам, мы и отобрали у них шапки, да в избу и заперли. Только не совсем осторожно это дело состроили, больно многие это заприметили. А на ту пору у нас губернатор — такая ли собака был, и теперь еще его помню, чтоб ему пусто было. Сейчас это отрешили от должности, и пошла писать. Уличить-то меня доподлинно не уличили, а обпакостили всего да суду предали. И верите ли, ведь знаю я, что меня *уличят от дела свободным*, потому что улик прямых нет, так нет же, злодеи, истомили всего. Лет десять все волочат: то справки забирают, то следствие дополняют. А я вот сиди без хлеба да жди у моря погоды.

ВТОРОЙ РАССКАЗ ПОДЬЯЧЕГО

«А вот городничий у нас был — этот другого сорта был мужчина, и подлинно гусь лапчатый назваться может. Прозывался он Фейером, родом был из немцев; из себя не то чтоб видный, а больше жилистый, белокурый и суровый. То и дело, бывало, брови насупливает да усами шевелит, а разговаривает совсем мало. Уж это, я вам доложу, самое последнее дело, коли человек белокурый да суров еще: от такого ни в чем пардону себе не жди. Снаружи-то он будто и не злобствует, да и внутри, может, нет у него на тебя негодования, однако хуже этого человека на всем свете не сыщешь: весь как есть злющий. Уж что забрал себе в голову — не выбьешь оттоль никакими средствами, хошь режь ты его на куски. Уж на что Иван Петрович, а и тот его побаивался. Говорил он басом, как будто спросонья и все так кратко — одно-два слова, больше изо рта не выпустит. А на дела и на всю эту полицейскую механику был предошлый: готов не есть, не пить целые сутки, пока всего дела не приделает. Начальство наше все к нему приверженность большую имело, потому как, собственно, он из воли не выходил и все исполнял до точности: иди, говорит, в грязь — он и в грязь идет, в невозможности возможность найдет, из песку веревку совьет, да ею же кого следует и удавит.

По той единственной причине ему все его противоесте-

ственности с рук и сходили, что человек он был золотой. Напишут это из губернии — рыбу непременно к именинам надо, да такая чтоб была рыба, кит не кит, а около того. Мечется Фейер как угорелый, мечется и день и другой — есть рыба, да все не такая, как надо: то с рыла вся в именинника вышла, скажут: личность; то молоко мало, то пером не выходит, величественности настоящей не имеет. А у нас в губернии любят, чтоб каждая вещь в своем, то есть, виде была. Задумается Фейер да и засадит всех рыболовов в сибирку. Те чуть не плачут.

— Да помилуй, ваше благородие, где ж возьмешь эку рыбу?

— Где? А в воде?

— В воде-то, знамо дело, что в воде; да где ее искать-то в воде?

— Ты рыболов? говори, рыболов ли ты?

— Рыболов-то я точно что рыболов...

— А начальство знаешь?

— Как не знать начальства: завсегда знаем.

— Ну, следственно...

И являлась рыба, и такая именно, как быть следует, во всех статьях.

Или, бывало, желательно губернии перед начальством отличиться. Пишут Фейеру из губернии, был чтоб бродяга, и такой бродяга, чтобы в нос бросилось. Вот и начнет Фейер по городу рыскать, и все нюхает, к огонькам приглядывается, нет ли где сборища.

Попадаются всё больше бабы.

— Откуда? — спрашивает Фейер.

— Да я, ваше благородие, оттуда, из села из того...

— Откуда? — повторяет Фейер.

— А вот, ваше благородие, по сиротству: по четвертому годку от родителей осталась...

— Обыскать ее!

Однако от начальства настояние, а об старухе какой-нибудь, безногой, докладывать не осмеливается. Вот и нападёт уже он под конец на странника заблудшего, так, бродягу бесталанного.

— Ты, — говорит, — кто таков?

— А я, ваше благородие, с малолетства по своей охоте суету мирскую оставил и странником нарекаюсь; отец у меня царь небесный, мать — сыра земля; скитался я в лесах дремучих со зверьками дикими, в пустынях жил со львы лютыми; слеп был и прозрел, нем — и возглаголал. А более ничего вашему благородию объяснить не мо-

гу, по той причине, что сам об себе сведений никаких не имею.

— А это что?

Возьмет он сумку странническую, а там всё цветнички да записочки разные, а в записочках-то уж чего-чего не наврано! И «горнего-то Иерусалима жителю», и «райского жития ревнителю», и «паче звезд небесных добродетелями изукрашенному»!

— Это что? — спрашивает Фейер.

— А это так-с, ваше благородие; намердись на базаре ходил, так в снегу в тряпочке нашел-с.

— Марш!

Повлекут раба Божия в острог, а на другой день и идет в губернию пространное донесение, что вот так и так, «имея неусыпное попечение о благоустройстве города» — и пошла писать. И чего не напишет! И «изуверство», и «деятельные сношения с единомышленниками», и «плевели», и «жатва» — все тут есть.

Случалось и мне ему в этих делах содействовать — истинно-с диву дался. Выберем, знаете, время — сумеречки, понятых возьмем, сотских человек пяток, да и пойдем с обыском. И все врассыпную, будто каждый по своему делу. Как подходишь, где всему происшествию быть следует, так не то чтоб прямо, а бочком да ползком пробираться, и сердце-то у тебя словно упадет, и в роту сушить станет. Ворота и ставни — все наглухо заперто. Походит Фейер около дома, прищелкает скважинку и начнет высматривать, а мы все стоим, молчим, не шелохнемся. Собака начнет ворчать — у него и хлебца в руке есть, и опять все затихнет. Как все заприметит, что ему нужно, ну и велит в ворота стучаться, а сам покуда все в скважинку высматривает.

— Кто тут? — кричат изнутри.

— Городничий.

Известное дело, смятение: начнут весь свой припас прятать, а ему все и видно. Отопрут наконец. Стоят они все бледные; бабы, которые помоложе, те больше дрожат, а старухи так совсем воют. И уж все-то он углы у них обшарит, даже в печках полюбопытствует, и все оттоль по-вытаскивает.

Смолоду, однако, жизнь его совсем не такая была. Отец у него был человек богатый и дворянин, и нашему Фейеру, рассказывают, восемьсот душ оставил. Однако он не долго с ними носился: годика через два все спустил. И не то чтоб на что-нибудь путное, а так — все прахом пошло.

Служил он где-то в гусарах — ну, на жидов охоту имел: то возьмет да собаками жида затравит, то посадит его по горло в ящик с помоями, да над головой-то саблей и махает, а не то еще заложит их тройкой в бричку, да и разъезжает до тех пор, пока всю тройку не загонит. Таким-то родом и прожил он все, да как остался без хлеба, так откуда и ум взялся. Такой ли зверь сделался, что боже упаси.

Женат он не был, а жила с ним девица не девица, а просто мадам. Звали ее Каролиной, и уж, я вам доложу, этакой красоты я и не привидывал. Не то чтоб полная была или краснощекая, как наши барыни, а тонкая да беленькая вся, словно будто прозрачная. Глаза у ней были голубые, да такие мягкие да ласковые, что, кажется, зверь лютый — и тот бы не выдержал — укротился. И подлинно, грех сказать, чтоб он ее не любил, а больше так все об ней одной и в мыслях держал. Известно, могла бы она и попридерживать его при случае, да уж очень смирна была; ну, и он тоже осторожность имел, во все эти дрязги ее не вмешивал. Приедет, бывало, домой весь измученный и пойдет к ней. И делается такой, сударь, ласковый да нежный: «Каролинхен да Каролинхен», — и все это ей ручки целует и головку гладит. Или возьмет начнет немецкие песни петь — оба и плачут сидят. Выходит, у всякого человека есть пункт, что с своей дороги его сбивает.

Прислан был к нам Фейер из другого города за отличие, потому что наш город торговый и на реке судоходной стоит. Перед ним был городничий, старик, и такой слабый да добрый. Оседлали его здешние граждане. Вот приехал Фейер на городничество и сзывает всех заводчиков (а у нас их не мало, до пятидесяти штук в городе-то).

— Вы, мол, так и так, платили старику по десяти рублей, ну а мне, говорит, этого мало: я, говорит, на десять рублей наплевать хотел, а надобно мне три беленьких с каждого хозяина.

Так куда тебе, и слушать не хотят.

— Видали мы-ста эких щелкоперов, и не таких угоманивали; не хочешь ли, мол, этого выкусить!

Известно, народ все буян был.

— Ну, — говорит, — так не хотите по три беленьких?

— Пять рубликов, — кричат, — ни копейки больше.

— Ладно, — говорит.

Через неделю, глядь, что ни на есть к первому кожевенному заводчику с обыском: «Кожи-то, мол, у тебя кра-

деные». Краденые не краденые, однако откуда взялись и у кого купил, заводчик объяснить не мог.

— Ну, — говорит, — не давал трех беленьких, давай пятьсот.

Тот было уж и в ноги, нельзя ли поменьше, так куда тебе, и слушать не хочет.

Отпустил его домой, да не одного, а с сотским. Принес заводчик деньги, да все думает, не будет ли милости, не согласится ли на двести рублей. Сосчитал Фейер деньги и положил их в карман.

— Ну, — говорит, — принеси остальные триста.

Опять кланяться стал купец, да нет, одеревенел человек как одеревенел, твердит одно и то же. Попробовал еще сотню принес: и ту в карман положил, и опять:

— Остальные двести!

И не выпустил-таки из сибирки, доколе всё сполна не заплатил.

Видят парни, что дело дрянь выходит: и камнями-то ему в окна кидали, и ворота дегтем по ночам обмазывали, и собак цепных отравливали — неймет ничего! Раскаялись. Пришли с повинной, принесли по три беленьких, да не на того напали.

— Нет, — говорит, — не дали, как сам просил, так не надо мне ничего, коли так.

Так и не взял: смекнул, видно, что по разноте-то складнее, нежели скопом.

Как сейчас помню я, приехал к нам в город сынок купеческий к родным погостить. Ну, все это ему нипочем, сигары, теперича, не сигары, лошади не лошади, пальто не пальто — кути душа! Соберет это женский пол, натопит в комнате, да и дебоширствует. Не по нутру это Фейеру, потому что насчет чего другого, а насчет нравственности лев был! — однако терпит сидит. Видит купчик, что ничего, все ему поблажает, он и тон задавать начал. Стали доходить до городничего слухи, что он и там и в другом месте чести его касался. «Я, мол, говорит, и любовницу-то его куплю, как захочу; слышь вы, девки, желательно вам, чтоб городничий танции разные представлял? Это нам все наплевать; пошлем две сотни и сделаем себе удовольствие!»

Молчит Фейер, только усами, как таракан, шевелит, словно обнюхивает, чем пахнет. Вот и приходит как-то купчик в гостиный двор в лавку, а в зубах у него сигарка. Вошел он в лавку, а городничий в другую рядом: следил уж он за ним шибко, ну, и свидетели на всякий случай тут же. Перебирает молодец товары, и всё швыряет, всё не

по нем, скверно да непотребно, да и все тут; и рисунок не тот, и доброты скверная, да уж и что это за город такой, что, чай, и ситцу порядочного найти нельзя.

Ну, купец ему и то и се, и разные резоны говорит.

— Ты, — говорит, — молодец, не буянь, да сигарку-то кинь; не то, чего доброго, городничий увидит.

— А плевать я, — говорит, — на вашего городничего...

В эвто в самое время как быть к вечерне ударили.

— Ты бы, — говорит лавочник, — хоть Бога-то побоялся бы, да лоб-от перекрестил: слышь, к вечерням звонят...

А он, заместо ответа, такое, сударь, тут загнул, что и хмельному не выговорить.

Оборачивается, а Фейер тут как тут, словно из земли вырос.

— Не угодно ли, — говорит, — вам повторить то, что вы сейчас сказали?

— Я... я ничего не говорил, ей-богу, не говорил...

— Православные! слышали?

— Слышали, ваше высокоблагородие.

— Марш!

На другой день рассказывает нам городничий всю эту историю.

«Поздравьте, говорит, меня с крестником». Что бы вы думали? две тысячи взял, да из городу через два часа велел выехать: «Чтоб и духу, мол, твоего здесь не пахло».

Да и мало ли еще случаев было! Даже покойниками, доложу вам, не брезговал! Пронюхал он раз, что умерла у нас старуха раскольница и что сестра ее собирается похоронить покойницу тут же у себя, под домом. Что ж он? ни гугу, сударь; дал всю эту церемонию исполнить да на другой день к ней с обыском. Ну, конечно, откупилась, да штука-то в том, что каждый раз, как ему деньги понадобятся, каждый раз он к ней с обыском: «Куда, говорит, сестру девала?» Замучил старуху совсем, так что она, и умирая, позвала его да и говорит: «Спасибо тебе, ваше благородие, что меня, старуху, не покинул, венца мученического не лишил». А он только смеется да говорит: «Жаль, Домна Ивановна, что умираешь, а теперь бы деньги надобны! да куда же ты, старая, сестру-то девала?»

А то еще вот какой случай был. Умер у нас в городе купец, и купец, знаете, не из мелконьких. Служил он как-то в городе, головой ли, бургомистром ли, доподлинно теперь не упомяну, только мундирчика по закону не выслужил. Ну, родственники, сами изволите ведать, народ безобразнейший, в законе не искусились: где же им знать,

что в правиле и что не в правиле? Вот, сударь мой, и решили они семейным советом похоронить покойника во всем парате. Пронюхал сначала всю эту штуку стряпчий. Человек этот был паче пса голодного и Фейером употреблялся больше затем, что, мол, ты только задери, а я там обделаю дело на свой манер. Приходит он к городничему и рассказывает, что вот так и так, «желает, дескать, борода в землю в мундире лечь, по закону же не имеет на то ни малейшего права; так не угодно ли вам будет, Густав Карлыч, принять это обстоятельство к соображению?»

— Можно, — говорит, — валяй отношение.

А купчину тем временем и в церковь уж вынесли... Ну-с и взяли они тут, сколько было желательно, а купца так в парате и схоронили...

А впрочем, мы, чиновники, этого Фейера не любили. Первое дело, он нас перед начальством исполнительностью в сумненье приводил, а второе, у него все это как-то уж больно просто выходило, — так, ломит нахрапом сплеча, да и все. Что ж и за удовольствие этак-то служить!

Однако в городе эти купчишки да мещанишки лет десять с ним маялись-маялись и, верите ли, полюбили под конец. Нам, говорят, лучше городничего и желать не надо! Привычка-с».

НЕПРИЯТНОЕ ПОСЕЩЕНИЕ

Вы послушайте, ребята,
Как живали при Аскольде!

*(Из оперы
«Аскольдова могила»)*

Темно. По улицам уездного городка Черноборска, несмотря на густую и клейкую грязь, беспрестанно снуют экипажи самых странных видов и свойств. Городничий уже раз десять, в течение трех часов, успел побывать у подъезда ярко освещенного каменного дома, чтобы осведомиться о здоровье генерала. Ответ был, однако ж, всякий раз один и тот же: «Его высокородие изволят еще почи-вать».

— Так вы уж, пожалуста, им напомните, как они встанут, — говорил городничий Федору, камердинеру его высокородия.

— Уж это беспременно-с, — отвечивал Федор, — они завсегда у нас в послушаньи...

— Так я уж буду в надежде-с...

Городничий, Дмитрий Борисыч Желваков — добрый, крепенький и кругленький, но до крайности робкий старичок. Провинностей за ним особенных не водилось, кроме того, что за стол он садился всякий день сам-двадцат, по случаю непомерного количества дочек, племянниц и других сирот-родственников. За обедом всегда бывало весело, а после обеда вся семья отправлялась, на длинных дрогах, кататься по городу. Это бы еще ничего; Дмитрий Борисыч очень хорошо знал, что начальство не только разрешает, но даже поощряет невинные занятия, и потому не мешал предаваться им малолетним членам своего семейства. Но на беду вмешались тут пожарные лошади. Сами ли эти невинные твари получили на время дар слова, или осунувшиеся их ребра красноречивее языка докладывали о труженическом существовании, которое влачили владельцы их, — неизвестно. Известно только, что его высокородие каким-то образом об этом обстоятельстве проведал. Обозревая опрятность в городе, его высокородие счел долгом заехать и на пожарный двор.

— Это что? — спросил он, тыкая пальцем в воздухе, когда вывели лошадей.

Дмитрий Борисыч растерялся и озирался во все стороны, не сообразив вдруг вопроса.

— Это что? — повторил его высокородие.

— Это... лошади-с! — отвечал смущенный городничий.

— То-то «лошади»! — произнес его высокородие и, сделавши олимпийский жест пальцем, сел в экипаж.

Я всегда удивлялся, сколько красноречия нередко заключает в себе один палец истинного администратора. Городничие и исправники изведали на практике всю глубину этой тайны; что же касается до меня, то до тех пор, покуда я не сделался литератором, я ни о чем не думал с таким наслаждением, как о возможности сделаться, посредством какого-нибудь чародейства, указательным пальцем губернатора или хоть его правителя канцелярии.

Его высокородие был, в сущности, очень добрый господин. Телосложения он был хлипкого, имел румяные щеки и густые седые волосы. Это последнее обстоятельство, по моему мнению, однако же, сильно противоречило добродушному выражению лица Алексея Дмитрича (так звали его высокородие). Неизвестно почему, я с самого малолетства не могу себе вообразить добродетель иначе, как в виде плешивого старца с немного телячьим выражением в очах. По свойственной человечеству слабости, его высокородие не прочь был иногда задать головомойку и вообще

учинить такое невежество, от которого затряслись бы поджилки у подчиненного. Так было и в настоящем случае по делу о пожарных лошадях. Алексей Дмитрич очень хорошо сознавал, что на месте Желвакова он бы и не так еще упарил лошадей, но порядок службы громко вопиял о мыле и щелоче, и мыло и щелок были употреблены в дело.

Тем не менее, когда Дмитрию Борисычу объяснили добрые люди, по какой причине его высокородие изволил тыкать пальцем, он впал в ипохондрию. С ним приключился даже феномен, который, наверное, ни с кем никогда не приключался. А именно, ощущая себя в совершенно бодрственном состоянии, он вдруг увидел сон, ужасный, но настоящий сон. Случилось с ним это приключение в то самое время, когда он, после посещения его высокородия, стоял посреди пожарного двора, растопыривши, как следует, руки в виде оправдания. Впоследствии он сам любил рассказывать об этом необыкновенном случае, но, считая его за дьявольское наваждение, всякий раз отплевывался с глубоким омерзением.

— Стою я это, и вижу вдруг, что будто передо мною каторга, и ведут будто меня, сударь, сечь, и кнут будто тот самый, которым я стегал этих лошадей, — чтоб им пусто было! Только я будто пал, сударь, на колени, и прошу, знаете, пощады. «Нет, говорит, тебе пощады! сам, говорит, не пощадил невинность, так клади теперича голову на плаху!» Вот я и так и сяк — не проймешь его, сударь, ничем! Только мне и самому будто досадно стало, что вот из-за скотов, можно сказать, бессловесных такое поношение претерпеть должен... «Ну, секи, мол!» — говорю. На этом самом месте и разбудил меня Алексеев, а то бы, может, и бог знает что со мной было! Так вот-с какие приключения случаются!

И точно, все пятеро полицейских и сам стряпчий собственными глазами видели, как Дмитрий Борисыч стал на колени, и собственными ушами слышали, как он благим матом закричал: «секи же, коли так!»

Когда Дмитрий Борисыч совершенно прочухался от своего сновидения, он счел долгом пригласить к себе на совет старшего из пятерых полицейских, Алексеева, который, не без основания, слыл в городе правую рукой городничего.

— Слышал? — спросил Дмитрий Борисыч.

— Слышал, — отвечал Алексеев.

— Ну так то-то же! — сказал Дмитрий Борисыч и хотел было погрозить пальцем, по подобию его высокородия,

но, должно быть, не изловчился, потому что Алексеев засмеялся.

— Ты чему смеешься? — спросил Дмитрий Борисыч.

— Я не смеюсь... зачем смеяться! — отвечал Алексеев.

— То-то же! смотри, чтоб у меня теперь лошади... ни-ни... никуда... понимаешь! даже на пожар не сметь... слышишь? везде брать обывательских, даже для барышени!..

Распорядившись таким образом, он повернулся к окну и увидел на улицах такую грязь, что его собственные утки плавали в ней как в пруде.

— Это что такое? — спросил Дмитрий Борисыч.

— А что «что такое»? — спросил Алексеев.

— Не видишь? — спросил Дмитрий Борисыч.

— Вижу, — сказал Алексеев.

Вся запальчивость и ретивость Желвакова разбилась об это патриархальное равнодушие.

— Ты бы хоть тово, что ли, — произнес он немного сконфуженный и отворачиваясь от Алексеева, чтоб скрыть свое смущение.

И в самом деле, чего тут «тово», когда уж «грязь так грязь и есть» и «всё от Бога».

— Вот кабы мы этому делу причинны были, — глубокомысленно присовокупил Алексеев.

— Ишь его...

«Принесла нелегкая», — хотел было сказать Дмитрий Борисыч, но затруднился, потому что и в мыслях не осмеливался нанести какое-нибудь оскорбление начальству.

Но все это еще не беда. Ну, побранили его высокородие — не повесили же в самом деле! Даже *вы* не сказали, а продолжали по-прежнему говорить *ты* и *братец*. Дело в том, что в этот самый день случилось Дмитрию Борисычу быть именинником, и он вознамерился сотворить для дорогого гостя бал на славу. Каким образом пригласить его высокородие после такого происшествия? Ну, если да они скажут, что «я, дескать, с такими канальями хлеба есть не хочу!» — а этому ведь бывали примеры. Однако Дмитрий Борисыч приободрился и на обеде у головы, втянув в себя все количество воздуха, какое могли вместиать его легкие, проговорил приглашение не только смелым, но даже излишне звучным голосом. И его высокородие ничего: приняли и даже ласково посмотрели на Дмитрия Борисыча.

— Да, господин Желваков, — сказали его высокородие, — мы приедем, господин Желваков! хорошо, господин Желваков!

По этой-то самой причине и приезжал Дмитрий Борисыч несколько раз в дом купчихи Облепихиной узнать, как почивал генерал и в каком они находятся расположении духа: в веселом, прискорбном или так себе.

Между тем в доме купчихи Облепихиной происходила сцена довольно мрачного свойства. Его высокородие изволил проснуться и чувствовал себя мучительно. На обеде у головы подали такое какое-то странное кушанье, что его высокородие ощущал нестерпимую изжогу, от которой долгое время отплевывался без всякого успеха.

— Черт их знает, чем они там кормят! — бормотал Алексей Дмитрич, — масло, что ли, скверное — просто мочи нет!

И выпил стакан воды.

— Экой народ безобразный! зовет есть, словно не знает, кого зовет! Рыба да рыба — обрадовался, что река близко! Ел, кажется, пропасть, а в животе бурчит, точно три дня не едал! И изжога эта... Эй, Кшецынский!

Вошел господин не столько малого роста, сколько скрюченный повиновением и преданностью.

— Приезжал городничий?

— Никак нет-с.

— Ан, врете вы, приезжал! — раздалось из передней.

— Я не видал, ей-богу не видал, ваше высокородие! — бормотал скороговоркой Кшецынский.

— Приезжал уж раз десять! — произнес камердинер Федор, входя в комнату с стаканом чаю на подносе. — Известно, вы ничего не видите!

— Это правда, Кшецынский, правда, что ты ничего не видишь! Не понимаю, братец, на что у тебя глаза! Если б мне не была известна твоя преданность... если б я своими руками не вытащил тебя из грязи — ты понимаешь: «из грязи»?.. право, я не знаю... Что ж, спрашивал что-нибудь городничий?

— Спрашивал, что, дескать, генерал делают?

— Ну, а ты что?

— Спят, мол; известно, мол, что им делать, как не спать! ночью едем — в карете спим, днем стоим — на квартире спим.

— Ты так и сказал?

— Сказал... отчего не сказать!

— Ска-атина!

На губах Кшецынского появилась бледная улыбка. Очевидно, что между ним и Федором существовало соперничество такого же рода, какое может существовать

между хитрою, но забавною амишкой и неуклюжим, но верным полканом. Федор всегда брал верх; он, нимало не стесняясь, оказывал полное презрение к самым законным и неприхотливым требованиям несчастного выходца. Платье и сапоги его оставались нечищенными, а вместо чая подавалась ему какая-то странная смесь, более похожая на брагу, нежели на чай. За обедом Кшецынский не осмеливался оставить на своей тарелке нож и вилку, потому что Федор, без церемонии, складывал их тут же к нему на скатерть. Кшецынский при этом зеленел и вздрагивал, и во рту у него делалось скверно; но все это происходило лишь на одно мгновение, и он снова потуплял глаза в тарелку. Когда ему подавали кушанье (а подавали ему всегда последнему), Федор никогда не забывал толкнуть его в плечо, если Кшецынский, по его мнению, недостаточно проворно брал кушанье. Больше одного куска ему брать не дозволялось. Вообще, присутствие Кшецынского за барским столом составляло для Федора предмет постоянных и мучительнейших размышлений.

— И что это за барин такой! — говаривал он обыкновенно в таких случаях об Алексее Дмитриче, — просто шавку паршивую с улицы поднял и ту за стол посадил!

Но на этот счет Алексей Дмитрич оставался непреклонным. Кшецынский продолжал обедать за столом его высокородия, и — мало того! — каждый раз, вставая из-за стола, проходил мимо своего врага с улыбкою, столь не приметною, что понимать и оценить всю ее ядовитость мог только Федор. Но возвратимся к рассказу.

В передней послышалось шарканье.

— Да вот и он! — сказал Федор и, обращаясь к Дмитрию Борисычу, прибавил: — А вот меня из-за вас, сударь, обругали тут! Зачем только вас носит сюда!

— А! Это ты, господин Желваков! милости просим, господин Желваков! прошу садиться, господин Желваков! — молвил его высокородие, кротко улыбаясь.

— Осмелюсь просить ваше высокородие...

— Помню, господин Желваков! будем, будем, господин Желваков! Кшецынский! и ты, братец, можешь с нами! Смотри же, не ударь лицом в грязь: я люблю, чтоб у меня веселились... Ну, что новенького в городе? Как поживают пожарные лошадки?

Желваков побледнел.

— Ну, да ты не тово! я это так! А дать господину Желвакову чаю!

Федор явился с стаканом, который не столько подал, сколько сунул в руки Дмитрию Борисычу.

— Да ты попробуй прежде, есть ли сахар, — сказал его высокородие, — а то намеднись, в Окове, стряпчий у меня целых два стакана без сахару выпил... после уж Кшецынский мне это рассказал... Такой, право, чудак!.. А благонаравный! Я, знаешь, не люблю этих вот, что звезды-то с неба хватают; у меня главное, чтоб был человек благонаравен и предан... Да ты, братец, не торопись, однако ж, а не то ведь язык обожжешь!

— Помилуйте, ваше высокородие, мы всегда с полным нашим удовольствием...

Между тем для Дмитрия Борисыча питье чая составляло действительную пытку. Во-первых, он пил его стоя; во-вторых, чай действительно оказывался самый горячий, а продлить эту операцию значило бы снежежничать перед его высокородием, потому что если их высокородие и припускают, так сказать, к своей высокой особе, то это еще не значит, чтоб позволительно было утомлять их зрение исполнением обязанностей, до дел службы не относящихся.

— Да ты, братец, садись.

— Помилуйте, ваше высокородие...

— Садись, братец.

— Не в таких чинах, ваше высокородие...

— Ну, как хочешь.

— Исправник Маремьянкин! — провозглашает Федор.

— Так я буду в надежде-с, ваше высокородие! — говорит Дмитрий Борисыч, в последний раз обжигая губы и удаляясь с стаканом в переднюю.

— А! Живоглот! — говорит Алексей Дмитрич, — добро пожаловать! Молодец, брат, молодец! Ни соринки в суде нет! Молодец, господин Живоглот!

Исправник Маремьянкин мужчина вершков пятнадцати. Живоглотом он прозван по той причине, что, будучи еще в детстве и обуреваемый голодом, которого требованиям не всегда мог удовлетворить его родитель, находившийся при земском суде сторожем, нередко блуждал по берегу реки и вылавливал в ней мелкую рыбешку, которую и проглатывал живьем, твердо надеясь на помощь Божию и а чрезвычайную крепость своего желудка, в котором, по собственному его сознанию, камни жерновые всякий злак в один момент перемалывали. Замечательнейшею странностью в его лице было то, что ноздри его представлялись бесстрашному зрителю как бы вывороченными наизнанку, вследствие чего местные чиновники, кро-

ме прозвища Живоглот, называли его еще Пугачевым и «рваными ноздрями».

— Имею честь, — рапортует Живоглот.

— Откуда?

— Из уезда-с. Приключилось умертвие-с. Нашли туловище, а голову отыскать не могли-с.

— Как же, брат, это так?

— С ног сбились искамши, ваше высококорodie.

— Как же это? надо, брат, надо отыскать голову... Голова, братец, это при следствии главное... Ну, сам ты согласишься, не будь, например, у нас с тобой головы, что ж бы это такое вышло! Надо, надо голову отыскать!

— Будем стараться, ваше высококорodie.

— То-то, любезный! ты пойми, ты вникни в мои усилия... как я, могу сказать, денно и ночью...

— Это справедливо, ваше высококорodie.

— Ну, то-то же! Впрочем, ты у меня молодец! Ты знаешь, что вот я завтра от вас выеду, и мне все эта голова показываться будет... так ты меня успокой!

— Помилуйте, ваше высококорodie, будьте без сумления-с...

— Убийство, конечно, вещь обыкновенная, это, можно сказать, каждый день случиться может... а голова! Нет, ты пойми меня, ты вникни в мои усилия! Голова, братец, это, так сказать, центр, седалище...

— Найдем-с, — отвечал Живоглот с некоторым ожесточением, как бы думая про себя: «Чтоб тебя прорвало! эх привязался, проклятый!»

— Впрочем, по уезду благополучно?

— Благополучно, ваше высококорodie, — ревет Живоглот, раз навсегда закаявшись докладывать его высококорodie о чем бы то ни было неблагополучном.

— Воровства нет?

— Никак нет-с.

— Убийства нет?

— Никак нет-с.

— То есть, кроме этой головы... Эта, братец, голова, я тебе скажу... голова эта весь сегодняшний день мне испортила... я, братец, Тит; я, братец, люблю, чтоб у меня тово...

Живоглот потупился. В эту минуту он готов был отрезать себе язык за то, что он сболтнул сдуру этакую скверную штуку.

И хоть бы доподлинно эта голова была, думал он, тысячный раз проклиная себя, а то ведь и происшествия-то

никакого не было! Так, сдуру ляпнул, чтоб похвастаться перед начальством деятельностью!

— Ты думаешь, мне это приятно! — продолжал между тем его высокородие, — начальству, братец, тогда только весело, когда все довольны, когда все смотрят на тебя с доверчивостью, можно сказать, с упованием...

Молчание.

— Нет, ты поезжай... ты поезжай! Я не могу! Я спокоен не буду, пока ты в городе.

— Помещик Перегоренский! — докладывает Федор.

Входит Перегоренский, господин лет шестидесяти, но еще бодрый и свежий. Видно, однако же, что, для подкрепления угасающих сил, он нередко прибегает к напитку, вследствие чего и нос его приобрел все возможные оттенки фиолетового цвета. На нем порыжелый фрак с узенькими фалдочками и нанковые панталонцы без штрипок. При появлении его Алексей Дмитрич прячет обе руки к самым ягодицам, из опасения, чтоб господину Перегоренскому не вздумалось протянуть ему руку.

Перегоренский. Защиты! о защите взываю я к вашему высокородию! Защиты невинным, защиты угнетенным!

Алексей Дмитрич. Что же такое-с?

Перегоренский. Вы извините меня, ваше высокородие! я вне себя! Но я верноподданный, ваше высокородие, я христианин, ваше высокородие! я... человек!

Алексей Дмитрич. Позвольте, однако ж, что же такое случилось? И к чему тут «верноподданный»? Мы все здесь верноподданные-с.

Перегоренский. Не донос... нет, роля доносчика далека от меня! Не с доносом дерзнул я предстать пред лицо вашего высокородия! Чувство сострадания, чувство любви к ближнему одно подвигло меня обратиться к вам: добродетельный царедворец, спаси, спаси погибающую вдову!

Алексей Дмитрич. Но позвольте... мне сказали, что вы здешний помещик... зачем же тут вдова?.. я не понимаю.

Перегоренский (*вздыхая*). Да-с, я здешний помещик, это правда; я имею, я имею несчастье называться здешним помещиком... У меня семь душ... без земли-с, и только они, одни они поддерживают мое брэнное существование!.. Я был угнетен, ваше высокородие! Я был на службе — и выгнан! Я служил честно — и вот предстою нищ и убог! Я имел чувствительное сердце и сохранил его

до сих пор! За что же терпел я? За что все гонения судьбы на меня? Не за то ли, что любил правду выше всего! Не за то ли, что, можно сказать, ненавидел ложь и истину царям с улыбкой говорил! Защиты! О защите взываю к тебе, покровитель гонимых и угнетенных!

Алексей Дмитрич. Да помилуйте, что же я могу сделать?.. Объяснитесь, пожалуйста!

Перегоренский. Повторяю вашему высокородию: не донос, которого самое название презрительно для моего сердца, намерен я предъявить вам, государь мой! — нет! Слова мои будут простым извещением, которое, по смыслу закона, обязательно для всякого верноподданного...

Алексей Дмитрич. Но в чем же дело? Позвольте... я занят; мне надобно ехать...

Перегоренский. Коварный Живоглот...

Алексей Дмитрич (*строго*). Кто же этот Живоглот? Я не понимаю вас; вы, кажется, позволяете себе шутить, милостивый государь мой!

Перегоренский (*не слушая его*). Коварный Живоглот, воспользовавшись темнотою ночи, с толпою гнусных наемников окружил дом торгующего в селе Чернораменья, по свидетельству третьего рода, мещанина Скурихина, и алчным голосом требовал допустить его к обыску, под предлогом, якобы Скурихин производит торговлю мышьяком. Причем обозвал Скурихина непотребными словами; за оставление же сего дела втайне, взял с него пятьдесят рублей и удалился с наемниками вспять. Это первый пункт.

Алексей Дмитрич. Но где же тут вдова?

Перегоренский. Оный Живоглот, описывая, по указу губернского правления, имение купца Гламидова, утаил некие драгоценные вещи, произнося при этом: «Вещи сии пригодятся ребятишкам на молочишко». При сем равномерно не преминул обозвать Гламидова непотребно... (*Пристально смотрит на Алексея Дмитрича, который, в смущении, нюхает табак.*) Сей же Живоглот, придя в дом к отставному коллежскому регистратору Рыбушкину, в то время, когда у того были гости, усиленно требовал, для своего употребления, стакан водки и, получив в том отказ, разогнал гостей и хозяев, произнося при этом: *аллэ машир!*

Алексей Дмитрич. Но где же тут вдова?

Перегоренский. Но сим не исполнилась мера бесчинств Живогловых. В прошлом месяце, прибыв на ярмонку в село Березино, что на Новом, сей лютый зверь,

аки лев рыкай и преисполнившись вина и ярости, избил беспричинно всех торгующих, и доколе не положил сокрушительной десницы своей, доколе не приобрел по полтине с каждого воза... *(Торжественно.)* На все таковые противозаконные действия исправника Маремьянкина, в просторечии Живоглото́м именуемого, и лютостию своею таковое прозвище вполне заслужившего, имеются надлежащие свидетели, которых я, впрочем, к свидетельству под присягой допустить сомневаюсь.

А л е к с е й Д м и т р и ч. Позвольте, однако ж, я все-таки не могу понять, где тут вдова и в какой мере описываемые вами происшествия, или, как вы называете их, бесчинства, касаются вашего лица, и почему вы... нет, воля ваша, я этого просто понять не в состоянии!

П е р е г о р е н с к и й. Ваше высокородие! Во мне, в моем лице, видите вы единственное убежище общественной совести, Живоглото́м попранной, Живоглото́м поруганной. Смени Живоглота, добродетельный царедворец! Смени! вопиют к тебе тысячи жертв его зверообразной лютости!

А л е к с е й Д м и т р и ч. Но как же это... я, право, затрудняюсь... Свидетелей вот вы не допускаете... истцов тоже налицо не оказывается.

П е р е г о р е н с к и й *(смеется горько и потом вздыхает)*. Итак, нет правды на земле! Великий господи! zde предстоит раб лукавый и ленивый *(указывая на Алексея Дмитрича)*, который меня же обзывает ябедником и кляузником...

А л е к с е й Д м и т р и ч *(тревожно)*. Позвольте, однако, я не называл вас ни ябедником, ни кляузником!

П е р е г о р е н с к и й. Ябедником и кляузником за то единственно, что я принял на себя защиту невинности! *(К Алексею Дмитричу.)* Государь мой! Необходимость, одна горестная необходимость вынуждает меня сказать вам, что я не премину, при первой же возможности, обратиться с покорнейшею просьбой к господину министру, умолять на коленях его высокопревосходительство... *(Запальчиво.)* Ты узнаешь, да, ты узнаешь, коварный царедворец, что значит презирать советы добродетели! Вспомнутся тебе и рябчики и рыба, посылаемые Живоглото́м, яко дань твоей плотоядности! *(Уходит.)*

А л е к с е й Д м и т р и ч *(минут с пять стоит в некотором оупении, come una statua¹; просыпаясь)*. Черт знает что такое... Эй, Федор! одеваться!

¹ Как статуя *(ит.)*.

Между тем дом Желвакова давно уже горит в многочисленных огнях, и у ворот поставлены даже плошки, что привлекает большую толпу народа, который, несмотря ни на дождь, ни на грязь, охотно собирается поглазеть, как веселятся уездные аристократы. Гости уже собрались. Оркестр, состоящий из двух флейт и одного контрабаса, сыгрывается в лакейской, наводя нестерпимое уныние на сердца черноборцев извлекаемыми из флейт жалобными звуками. Сальные свечи в изобилии горят во всех комнатах; однако ж в одной из них, предназначенной, по-видимому, для резиденции почетного гостя, на раскрытом ломберном столе горят даже две стеариновые свечи, которые Дмитрий Борисыч, из экономии, тушит, и потом, услышав на улице движение, вновь зажигает. Девицы, взявшись под руку, вереницей ходят по зале, предназначенной для танцевания. Увивающийся около них протоколист дворянской опеки, должно быть, говорит ужасно смешные вещи, потому что девицы беспрестанно закрывают свои личики платками. В тревожном ожидании проходит два часа, в продолжение которых все бездействуют. Некоторые дамы начинают даже выказывать знаки нетерпения. В особенности отличается жена окружного начальника, курящая папирсы и составляющая в уезде постоянную оппозицию.

— Да помилуйте, Дмитрий Борисыч! — говорит она громко, — долго ли же нам дожидаться! Ведь нам-то он даже почти не начальник!

— Уж сделайте ваше одолжение, Степанида Карповна! повремените крошечку-с! Михайло Трофимыч! уговорите Степаниду Карповну! — умоляет Дмитрий Борисыч.

— *Stéphanie, mon ange!* — говорит Михайло Трофимыч, — *il faut donc faire quelque chose pour ces gens-là*¹.

— Однако ж, Michel! — отвечает Степанида Карповна.

В это время жена уездного судьи, не выражавшая доселе никаких знаков неудовольствия, считает возможным, в знак сочувствия к Степаниде Карповне, пустить в ход горькую улыбку, давно созревшую в ее сердце. Но Дмитрий Борисыч ловит эту улыбку, так сказать, на лету.

— Ну, вы-то что? — говорит он судейше, — ну, Степанида Карповна... это точно! а вы-то что?

И, махнув рукой, бежит дальше.

Однако же Дмитрий Борисыч далеко не спокоен. Два

¹ Стефания, мой ангел! надо же что-нибудь сделать для этих людей (*фр.*).

обстоятельства гложут его сердце. Во-первых, известно ему, что у его высокородия в настоящее время пропекается Перегоренский. «Опакостит он, opakостит нас всех, bestия!» — думает Дмитрий Борисыч. Во-вторых, представляется весьма важный вопрос: будет ли его высокородие играть в карты, и если не будет, то каким образом занять ихнюю особу? Партию для его высокородия он уже составил, и партию приличную: Михайло Трофимыч Сюртуков, окружной начальник, молодой человек, образованный и с направлением; ассессор палаты, Кшепшицюльский, тоже образованный и с направлением, и, наконец, той же палаты чиновник особых поручений Пшикшецюльский, не столько образованный, сколько с направлением. Все они согласны играть во что угодно и по сколько угодно.

— Господи! кабы не было хозяйственных управлений, — говорит про себя Дмитрий Борисыч, — пропала бы моя головушка!

И второпях, с размаху останавливается перед уездным судьей, скромно сидящим в углу, и, задумавшись, рассуждает во всеуслышание:

— Что, если бы всё этакие-то были! Вон он какой убогой! нищему даже подать нечего!

— Нет! куда нам! — говорит, махая руками, судья, который, от старости, недослышит, и думает, что Дмитрий Борисыч приглашает его составить партию для высокоименитого гостя.

Но вот вламывается в дверь Алексеев и изо всей мочи провозглашает: «Левизор! левизор едет!» Дмитрий Борисыч дрожащими руками зажигает стеариновые свечи, наскоро говорит музыкантам: «Не осрамите, батюшки!» — и стремглав убегает на крыльцо.

Его высокородие входит при звуках музыки, громко играющей туш. Его высокородие смотрит милостиво и останавливается в зале. Дмитрий Борисыч, скользкий около гостя боком, простирает руку в ту сторону, где приготовлена обитель для его высокородия, и торопливо произносит:

— Сюда пожалуйте, сюда, ваше высокородие!

— Зачем же? мне и здесь хорошо! — говорит его высокородие, окидывая дам орлиным взором, — а впрочем, делай со мною что хочешь! Извините меня, mesdames, — я здесь невольник!

И, шаркнувши ножкой, мелкими шагами удаляется в обитель, в дверях которой встречает его сама городничиха, простая старуха, с платком на голове.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, пожалуйста, не побрезгуйте! — говорит она, низко кланаясь.

— Извините, сударыня! я еще только «высокородие»! — отвечает Алексей Дмитрич и скромно потупляет глаза.

Его высокородие садится на приуроченном диване; городничиха в ту же минуту скрывается; именитейшие мужи города стоят по стене и безмолвствуют. Его высокородию, очевидно, неловко.

— Прикажете начинать музыке? — спрашивает Дмитрий Борисыч.

— Как же, как же! — отвечает его высокородие.

Музыка играет; до слуха его высокородия достигает только треск контрабаса.

— Да ты тут и музыку завел! — замечает его высокородие, — это похвально, господин Желваков! это ты хорошо делаешь, что соединяешь общество! Я это люблю... чтоб у меня веселились...

— Все силы-меры, ваше высокородие... то есть, сколько стаёт силы-возможности, — отвечает Дмитрий Борисыч.

Молчание.

— А вы, господа, разве не танцуете? — спрашивает Алексей Дмитрич, поводя глазами по стене.

Именитые чины, принимая эти слова в смысле приглашения выйти из комнаты, гурьбой направляются в залу. Его высокородие несколько озадачен.

— Что ж это они? — говорит он, хмуря брови, — разве мое общество... кажется, я тово...

Дмитрий Борисыч, в совершенном отчаянье, спешит догнать беглецов.

— Ну, куда же вы, ради Христа? куда вы! — говорит он умоляющим голосом. — Михайло Трофимыч! Мечислав Станиславич! Станислав Мечиславич! хоть вы! хоть вы! ведь это скандал-с! это, можно сказать, неприличие!

Но именитые лица упорствуют. Дмитрий Борисыч вновь прибегает в обитель.

— Ваше высокородие! не соблаговолите ли в карточки? Алексей Дмитрич затруднен.

— Я... да... я тово... но, право, я не могу придумать, с кем же ты меня... — говорит он.

— На этот счет будьте покойны, ваше высокородие! партия — самая благородная: всё губернские-с...

— Ну да... если партия приличная... отчего же...

Один из партнеров, Михаил Трофимыч, поспешно рас-

печатывает карты и весьма развязно подлетает к его высококородию.

— Votre Excellence!¹ — говорит он, подавая карточку.

— Mais... vous parlez francais?² — замечает его высококорodie с приятным изумлением.

— Они обучались в университете, — вступается Дмитрий Борисыч, — ихняя супруга первая дама в городе-с.

— А! очень приятно! J'espère que vous me ferez l'honneur...³ очень, очень приятно!

Между тем танцы в зале происходят обыкновенным порядком. Протоколист дворянской опеки превосходит самого себя: он танцует и прямо и поперек, потому что дам вдвое более, нежели кавалеров, и всякой хочется танцевать. Следовательно, кавалеры обязаны одну и ту же фигуру кадрили попеременно отплясывать с двумя разными дамами.

— Фу, упарился! — говорит протоколист, обтирая платком катящиеся по лбу струи пота, — Дмитрий Борисыч! хоть бы вы водочкой танцоров-то попотчевали! ведь это просто смерть-с! Этакого труда и каторжники не пертерпевают!

— И ни-ни! — отвечает Дмитрий Борисыч, махая руками, — что ты! что ты! ты, пожалуй, опять по-намеднишнему налижешься! Вот уедет его высококорodie — тогда хоть графин выпей... Эй, музыканты!

Музыка трогается, но танцоров урезонить не легко. Они становятся посреди залы в каре, устраивают между собой совет и решают не танцевать, покуда не будет выполнено справедливое требование протоколита.

— Что ж это за страм такой! хоть бы прохладительное какое-нибудь подали! — говорит протоколист.

— Не танцуй, братцы, да и баста! — подсказывает муж совета Петька Трясучкин.

— Не хотим танцевать! — раздается общий отголосок.

Происходит смятение. Городничиха поспешает сообщить своему мужу, что приказные бунтуются, требуют водки, а водки, дескать, дать невозможно, потому что вот еще намеднишь, у исправника, столоначальник Подгоняйчиков до того натенькался, что даже вообразил, что домой спать пришел, и стал при всех раздеваться.

Дмитрий Борисыч выбегает увещевать.

¹ Ваше превосходительство! (фр.)

² А... вы говорите по-французски? (фр.)

³ Я надеюсь, что вы окажете мне честь... (фр.)

— Бога вы не боитесь, свиньи вы этикие! — говорит он, — знаете сами, какая у нас теперича особа! Нешто жалко мне водки-то, пойми ты это!.. Эй, музыканты!

— Да нет; танцевать совсем невозможно... нам что водка-с! а совсем нам танцевать невозможно-с!

— Да почему же невозможно?

— Да так-с... оченно уж труд велик-с...

— Господи! Иван Перфильич! и ты-то! голубчик! ну, ты умница! Прохладись же ты хоть раз, как следует образованному человеку! Ну, жарко тебе — выпей воды или выдь, что ли, на улицу... а то водки! Я ведь не стою за нее, Иван Перфильич! Мне что водка! Христос с ней! Я вам всем завтра утром по два стаканчика поднесу... ей-богу! да хоть теперь-то ты воздержись... а! ну, была не была! Эй, музыканты!

На этот раз убеждения подействовали, и кадрили кой-как составилаь. Из-за дверей коридора, примыкавшего к зале, выглядывали лица горничных и других зрителей лакейского звания, впереди которых, в самой уже зале, стоял камердинер его высокородия. Он держал себя, как и следует камердинеру знатной особы, весьма серьезно, с прочими лакеями не связывался и, заложив руки назад, производил глубокомысленные наблюдения над танцующим уздом.

— Ну, а что, Федя, ведь и мы веселиться умеем? — спрашивал Дмитрий Борисыч, изредка забегая к нему.

— Веселиться — отчего не веселиться! — отвечал Федор.

— Ну, а как, Федя, против ваших-то балов: наш поди никуда, чай, не годится?

— Да, против наших... разумеется... а впрочем, мне ваш больше нравится... проще!

— Ты, Федя, добрый! Приходи ужо, я тебе полтинничек пожертвую... а чай пил?

— Пил-с, благодарим покорно.

— Ты, братец, трейбуи... знаешь, без церемоний... распорядись сам, коли чего захочется... леденчиков там, икорки, балычку... тебе, братец, отказу не будет...

В начале пятой фигуры в гостиной послышался шум, вскоре затем сменившийся шушуканьем. В дверях залы показался сам его высокородие. Приближался страшный момент, момент, в который следовало делать соло пятой фигуры. Протоколист, завидев его высокородие, решительно отказался выступить вперед и хотел оставить на жертву свою даму. Произошло нечто вроде борьбы, причинившей

между танцующими замешательство. Дмитрий Борисыч бросился в самый пыл сражения.

— Ну, полно же, братец, иди! — увещевал он заартачившегося протоколиста, — ведь его высокородие смотрит...

Но протоколист ни с места: и не говорит ни слова, и вперед не идет, словно ноги у него приросли к полу.

— Обробел, ваше высокородие! — восклицает Желваков, перебегая к Алексею Дмитричу, — они у нас непривычные-с... всего пугаются.

— Отчего же? — говорит Алексей Дмитрич, — я, кажется, не страшен! Нехорошо, молодой человек! Я люблю, чтоб у меня веселились... да!

И удаляется в обитель, чтоб не мешать общему веселью.

— А у меня сегодня был случай! — говорит Алексей Дмитрич, обращаясь к Михайле Трофимычу, который, как образованный человек, следит шаг за шагом за его высокородием, — приходит ко мне Маремьянкин и докладывает, что в уезде отыскано туловище... и как странно! просто одно туловище, без головы! *Imaginez-vous cela!*¹

— Сс! — произносит Дмитрий Борисыч, покачивая головой.

— Но вот что в особенности меня поразило, — продолжает его высокородие, — это то, что эту голову нигде не могут найти! даже Маремьянкин! *Vous savez, c'est un coquin pour ces choses-là!*²

— Сс! — произносит опять Желваков.

— Но я, однако, принял свои меры! Я сказал Маремьянкину, что знать ничего не хочу, чтоб была отыскана голова! Это меня очень-очень огорчило! *Ça m'a bouleversé!*² Я, знаете, тружусь, забочусь... и вдруг такая неприятность! Головы найти не могут! Да ведь где же нибудь она спрятана, эта голова! Признаюсь, я начинаю колебаться в мнении о Маремьянкине; я думал, что он усердный, — и что ж!

Бьет одиннадцать часов; его высокородие берется за шляпу. Дмитрий Борисыч в отчаянье.

— Ваше высокородие! осчастливьте! не откажите перекусить! — умоляет он, в порыве преданности почти осмеливаясь прикоснуться к руке его высокородия.

Алексей Дмитрич видимо тронут. Но вместе с тем воля

¹ Вообразите себе! (фр.)

² Вы знаете, он ведь мастак в этих делах! (фр.)

³ Это меня потрясло! (фр.)

его непреклонна. «У него болит голова», «он так много сегодня работал», «завтра ему надо рано выехать», и притом «этот Маремьянкин с своею головою»...

— Спасибо, господин Желваков, спасибо! — говорит его высокородие, — это ты хорошо делаешь, что стараешься соединить общество! Я буду иметь это в виду, господин Желваков!

И удаляется медленным шагом из обители.

Подсадивши как следует его высокородие в экипаж, Дмитрий Борисыч возвращается в зал и долго-долго жмет обе руки Михайле Трофимычу.

— Благодарю! — говорит он, растроганный до слез, — благодарю! если б не вы... Эй, водки! — восклицает он совершенно неожиданно.

Ночь. В доме купчихи Облепихиной замечается лишь тусклое освещение. Алексей Дмитрич уж раздет, и Федор снимает с него сапоги.

— Ну, а помнишь ли, Федор, как мы в Петербурге-то бедствовали? — спрашивал Алексей Дмитрич.

— Как не помнить? такое дело разве позабыть можно? — отвечает Федор угрюмо.

— Помнишь ли, как мы в Мещанской, в четвертом-то этаже, горе мыкали?

Федор трясет головой.

— У кухмистра за шесть гривен обед бирали, и оба сыты бывали? — продолжает Алексей Дмитрич, — а ждал ли ты, гадал ли ты в то время, чтоб вот, например, как теперича... Стоит перед тобой городничий — слушаю-с; исправник к тебе входит — слушаю-с; судья рапортует — слушаю-с... Так вот, брат, мы каковы!

— Это точно, что во сне не гадал.

— То-то же!

— Хорошо-то оно хорошо, — говорит Федор, — да одно вот, сударь, не ладно.

— А что такое?

— Да вот Кшецу-то эту (Кшецынского) выгнать бы со двора следовало.

— Опять ты... тово...

— Да нечего «тово», а продаст он вас, сударь.

— Что ты вздор-то городишь! только смущаешь, дурак!

— Мне зачем смущать! я не смущаю! Я вот только знаю, что Кшеца эта шестьсот шестьдесят шесть означает... ну, и продаст он вас...



МОИ ЗНАКОМЦЫ

ОБМАНУТЫЙ ПОДПОРУЧИК

Дело было весною, а в тот год весна была ранняя. Уже в начале марта полились с гор ручьи и прилетели грачи, чего и старожилы в Крутогорской губернии не запомнят. Время это самое веселое; вид возрождающейся природы благотворно действует на самого сонливого человека; все принимает какой-то необычный, праздничный оттенок; все одевается радужными цветами. В деревнях на улице появляется грязь; ребятишки гурьбами возятся по дороге и везде, где под влиянием лучей солнца образовалась вода; старики также выползают из душных изб и садятся на завалинах погреться на солнышке. Вообще, все довольны, все рады весне и теплу, потому что в зимнее время изба, наполненная какою-то прогорклою атмосферой, наводит уныние даже на привыкшего к ней мужичка.

Однако путешествовать в это время, и особенно по экстренной надобности — сущее наказание. Дорога уже испортилась; черная, исковерканная полоса ее безобразным горбом выступает из осевшего по сторонам снега; лошади беспрестанно проступаются, и потому вы волею-неволею должны ехать шагом; сверх того, местами попадают так называемые зажоры, которые могут заставить вас простоять на месте часов шесть и более, покуда собьют окольный народ, и с помощью его ваша кибитка будет перевезена или, правильнее, перенесена на руках по ту сторону колодца, образовавшегося посреди дороги. Это штука самая скверная; тут припомнишь всех, кого следует, и всех мысленно по-родственному обласкаешь. Не радуют сердца ни красоты природы, ни шум со всех сторон стре-

мящихся водных потоков; напротив того, в душе поселяется какое-то тупое озлобление против всего этого: так бы, кажется, взял да и уехал, а уехать-то именно и нельзя.

Ночью в такую пору ехать решительно невозможно; поэтому и бывает, что отъедешь в сутки верст с сорок, да и славословишь остальное время имя Господне на станции.

Подобную муку пришлось испытать и мне. Промаявшись, покуда было светло, в бесплодной борьбе со стихиями, я приехал наконец на станцию, на которой предстояло мне ночевать. В подобных обстоятельствах станционный домик, одиноко стоящий немного поодаль дороги, за деревьями, составляет истинную благодать. Уехал, кажется, всего верст сорок или пятьдесят, а истомеешь, отупеешь и раскиснешь так, как будто собственными своими благородными ногами пробежал верст полтораста. Разумеется, первое дело самовар, и затем уже является на стол посильная, зачерствевшая от времени закуска, и прилаживается складная железная кровать, без которой в Крутогорской губернии путешествовать так же невозможно, как невозможно быть станционному дому без клопов и тараканов.

На этот раз на станции оказался какой-то проезжий, что меня и изумило и огорчило. Огорчило потому, что мы, коренные крутогорцы, до такой степени привыкли к нашему безмятежному захолустью, что появление проезжего кажется нам оскорблением и посягательством на наше спокойствие. Кроме того, есть еще тайная причина, объясняющая наше нерасположение к проезжему народу, но эту причину я могу сообщить вам только под величайшим секретом: имеются за нами кой-какие провинности, и потому мы до смерти не любим ревизоров и всякого рода любопытных людей, которые любят совать свой нос в наше маленькое хозяйство. Мы рассуждаем в этом случае так: губерния Крутогорская хоть куда; мы тоже люди хорошие и, к тому же, приладились к губернии так, что она нам словно жена; и климат, и все, то есть и то и другое, так хорошо и прекрасно, и так все это славно, что вчуже даже мило смотреть на нас, а нам-то, пожалуй, и умирать не надо! Охота же какому-нибудь — прости господи! — кобелю борзому нарушать это трогательное согласие!

Проезжий оказывался нрава меланхолического. Он то и дело ходил по комнате, напевая известный романс «Уймись волнения страсти». Но страсти, должно полагать, не унимались, потому что когда дело доходило до «я пла-а-чу, я стра-а-жду!», то в голосе его происходила какая-

то удивительнейшая штука: словно и ветер воет, и в то же время сапоги скрипят до истомы. Этой штуки мне никогда впоследствии не приходилось испытывать; но помню, что в то время она навела на меня уныние. Замечательно было также то обстоятельство, что слова «плачу» и «стражду» безотменно сопровождались возгласом: «Эй, Прошка, водки!», а как проезжий пел беспрестанно, то и водки, уповательно, вышло немалое количество.

Однако ж я должен сознаться, что этот возглас пролил успокоительный бальзам на мое крутогорское сердце; я тотчас же смекнул, что это нашего поля ягода. Если и вам, милейший мой читатель, придется быть в таких же обстоятельствах, то знайте, что пьет человек водку, — значит, не ревизор, а хороший человек. По той причине, что ревизор, как человек злущий, в самом себе порох и водку содержит.

— Милостивый государы! милостивый государь... мой! — раздалось за перегородкой.

Воззвание, очевидно, относилось ко мне.

— Что прикажете?

— Не соблаговолите ли допустить побеседовать? тоска смертнейшая-с!

— С величайшим удовольствием.

Вслед за сим в мою комнату ввалилась фигура высокого роста, в дубленом овчинном полушубке и с огромными седыми усами, опущенными вниз. Фигура говорила очень громким и выразительным басом, сопровождая свои речения приличными жестами. Знаков опьянения не замечалось ни малейших.

— Рекомендуюсь! рекомендуюсь! «Блудный сын, или Русские в 18** году»...

— Очень рад познакомиться.

— Да-с; это так, это точно, что блудный сын — черт побери! Жизнь моя, так сказать, рраман и рраман не простой, а этак Рафаила Михайлыча Зотова, с танцами и превращениями и великолепным фейерверком — на том стоим-с! А с кем я имею удовольствие беседовать?

Я назвал себя.

— Так-с; ну, а я отставной подпоручик Живновский... да-с! служил в полку — бросил; жил в имении — пропил! Скитаюсь теперь по бурному океану жизни, как челн утлый, без кормила, без весла...

Я стра-ажду, я пла-ачу!

Заспанный Прошка стремительно, как угорелый, вбе-

жал с полштофом водки и стаканом в руках и спросонья полез прямо в окно.

— Куда? ну, куда лезешь? — завопил Живновский, — эко рыло! мало ты спишь! очумел, скотина, от сна! Рекомендую! — продолжал он, обращаясь ко мне. — Раб и наперсник! единственный обломок древней роскоши! хорош?

Прошка глядел на нас во все глаза и между тем, очевидно, продолжал спать.

— Хорош? рожа-то, рожа-то! да вы взгляните, полюбуйтесь! хорош? А знаете ли, впрочем, что? ведь я его выдрессировал — истинно вам говорю, выдрессировал! Теперь он у меня все эти, знаете, поговорки и всякую команду — все понимает; стихи даже французские декламирует. А ну, Проша, потешь-ка господина!

Прошка забормотал что-то себе под нос скороговоркой. Я мог разобрать только припев: *се мистигрис ке же ле номме, се мистигрис, се мистигрис.*

— А! каков каналья! это ведь, батюшка, Беранже! Два месяца, сударь, с ним бился, учил — вот и плоды! А приятный это стихотворец Беранже! Из русских, я вам доложу, подобного ему нет! И все, знаете, насчет этих деликатных обстоятельств... бестия!

Живновский залпом выпил стакан водки.

— Ну, теперь марш! можешь спать! да смотри, у меня не зевать — понимаешь?

Прошка вышел. Живновский вынул из кармана засаленный бумажник, положил его на стол и выразительно хлопнул по нем рукой.

— Извольте видеть? — сказал он мне.

— Вижу.

— Ну-с, так вот здесь все мои капиталы!.. То есть, кроме тех, которые хранятся вот в этом ломбарде!

Он указал на голову.

— Немного-с! всего-то тут на все пятьдесят целкачей... и это на всю, сударь, жизнь!

Он остановился в раздумье.

— Дда-с; это на всю жизнь! — сказал он торжественно и с расстановкой, почти налезая на меня, — это, что называется, на всю жизнь! то есть, тут и буар, и манже, и сортир!.. дда-с; не красна изба углами, а впрочем, и пирогов тут не много найдется... хитро-с!

Он начал шагать по комнате.

— А уж чего, кажется, я не делал! Телом торговал-с! собственным своим телом — вот как видите... Не вывезла! не вывезла шельма-кривая!

Молчание.

— Вот-с хоть бы насчет браку! чем не молодец — во всех статья! однако нет!.. Была вдова Поползновейкина, да и та спятила: «Ишь, говорит, какие у тебя ручищи-то! так, пожалуй, усахаришь, что в могилу ляжешь!» Уж я каких ей резонов не представлял: «Это, говорю, сударыня, крепость супружескую обозначает!» — так куда тебе! Вот и выходит, что только задаром на нее здоровье тратил: дала вот тулупчишку да сто целковых на дорогу, и указала дверь! А харя-то какая, если б вы знали! точно вот у моего Прошки, словно антихрист на ней с сотворения мира престол имел!

Живновский плюнул.

— А не то вот Топорков корнет: «Слышал, говорит, Сеня, англичане миллион тому дают, кто целый год одним сахаром питаться будет?» Что ж, думаю, ведь канальская будет штука миллиончик получить. Ведь это выходит ни много, ни мало, а так себе взял да на пряники миллиончик и получил! А мне в ту пору смерть приходилась неминуемая — всё просвистал! И кроме того, знаете, это у меня уж идея такая — разбогатеть. Ну-с, и полетел я сдуру в Петербург. Приехал; являюсь к посланнику: «Так и так, говорю, вызывались желающие, а у меня, мол, ваше превосходительство, желудок настоящий, русский-с»... Что ж бы вы думали? перевели ему это — как загопочет бусурманишка! даже обидно мне стало; так, знаете, там все эти патриотические чувства вдруг и закипели.

— Да, это действительно обидно.

— Но, однако ж, воротясь, задал-таки я Сашке трезвону: уповательно полагать должно, помнит и теперь... Впрочем, и то сказать, я с малолетства такой уж прожектер был. Голова, батюшка, горячая; с головой сладить не могу! Это вот как в критиках пишут, сердце с рассудком в разладе — ну, как засядет оно туда, никакими силами оттуда и не вытащишь: на стену лезть готов!

— А теперь что же вы располагаете делать?

— Теперь? ну, теперь-то мы свои делишки поправим! В Крутогорск, батюшка, едем, в Крутогорск! в страну, с позволения сказать, антропофагов, страну дикую, лесную! Нога, сударь, человеческая там никогда не бывала; дикие звери по улицам ходят! Вот-с мы с вами в какую сторонушку запропастились!

Живновский в увлечении, вероятно, позабыл, что перед ним сидит один из смиренных обитателей Крутогорска. Он быстрыми шагами ходил взад и вперед по комнате, по-

тирая руки, и физиономия его выражала нечто плотоядное, как будто в самом деле он готов был живьем пожрать крутогорскую страну.

— Спасибо Сашке Топоркову! спасибо! — говорил он, очевидно забывая, что тот же Топорков обольстил его на счет сахара. — «Ступай, говорит, в Крутогорск, там, братец, есть винцо tenerif — это, брат, винцо!» Ну, я, знаете, человек военный, долго не думаю: кушак да шапку или, как сказал мудрец, *omnia te cum te...* зарাপортовался! ну, да все равно! слава богу, теперь уж недалечко и до места.

— Однако ж я все-таки не могу сообразить, на что же вы рассчитываете?

— На что? — спросил он меня с некоторым изумлением, вдруг остановясь передо мной, — как на что? Да вы, батюшка, не знаете, что такое Крутогорск! Крутогорск — это, я вам доложу, сторона! Там, знаете, купец — борода безобразнейшая, кафтанишка на нем весь оборванный, сам нищим смотрит — нет, миллионщик, сударь вы мой, в сапоге миллионы носит! Ну, а нам этих негоциантов, что в кургузых там пиджаках щеголяют да tenerifцем отделываются, даром не надобно! Это не по нашей части! Нам подавай этак бороду, такую, знаете, бороду, что как давнул ее, так бы старинные эти крестовики да лобанчики из нее и посыпались, — вот нам чего надобно!.. А знаете, не хватить ли нам желудочного?

Я пла-ачу, я стра-ажду!

Но Прошка не являлся. Живновский повторил свой припев уже с ожесточением. Прошка явился.

— Что ж ты, шутить, что ли, собачий сын, со мной вздумал? — возопил Живновский, — службу свою забыл! Так я тебе ее припомню, ска-атина!

Он распростер свою длань и совершенно закрыл ею лицо ополоумевшего раба.

— Драться я, доложу вам, не люблю: это дело ненадежное! а вот память, скомкать этак мордасы — уж это наше почтение, на том стоим-с. У нас, сударь, в околотке помещица жила, девица и бездетная, так она истинная была на эти вещи затейница. И тоже бить не била, а проштрафится у ней девка, она и пошлет ее по деревням милостыню собирать; соберет она там куски какие — в застольную: и дворовые сыты, и девка наказана. Вот это, сударь, управление! это я называю управлением.

¹ Все свое ношу с собою (от искаж. лат. *omnia mea mecum porto*).

Он выпил.

— Знаете ли, однако ж, — сказал он, — напиток-то ведь начинает забирать меня — как вы думаете?

Я согласился.

— Стара стала, слаба стала! Шли мы, я помню, в восемьсот четырнадцатом, походом — в месяц по четыре ведра на брата выходило! Ну-с, четырежды восемь тридцать два — кажется, лопнуть можно! — так нет же, все в своем виде! такая уж компания веселая собралась: всё ребята были теплые!

На станционных часах пробило десять. Я зевнул.

— Да вы постоите, не зевайте! Я вам расскажу, был со мной случай. Был у меня брат, такой брат, что днем с огнем не сыщешь — душа! Служил он, сударь, в одном полку с неким Перетыкиным — так, жалконький был офицеришка. Вот только и поклялись они промеж себя, в счастье ли, в несчастье ли, вывозить друг друга. Брат вышел в отставку, а Перетычка эта полезла в гору, перешла, батюшка, к штатским делам и дослужилась там до чинов генеральских. В двадцатых годах, как теперь помню, пробубнился я жесточайшим манером — штабс-капитан Терпишка в пух обыграл! — натурально, к брату. Вот и припомнил он, что есть у него друг и приятель Перетыкин: «Он, говорит, тебя пристроит!» Пишет он к нему письмо, к Перетычке-то: «Помнишь ли, дескать, друг любезный, как мы с тобой напролет ночи у метресс прокучивали, как ты, как я... помоги брату!» Являюсь я в Петербург с письмом этим прямо к Перетыкину. Принял он меня, во-первых, самым, то есть, безобразнейшим образом: ни сам не садится, ни мне не предлагает. Прочитал письмо. «А кто это, говорит, этот господин Живновский?» — и так, знаете, это равнодушно, и губы у него такие тонкие — ну, бестия, одно слово — бестия!.. «Это, говорю, ваше превосходительство, мой брат, а ваш старинный друг и приятель!» — «А, да, говорит, теперь припоминаю! увлечения молодости!..» Ну, доложу вам, я не вытерпел! «А вы, говорю, ваше превосходительство, верно, и в ту пору канальей изволили быть!..» Так и ляпнул. Что ж бы вы думали? Он же на меня в претензии: зачем, дескать, обозвал его!

Молчание.

— И вот все-то я так маюсь по белу свету. Куда ни сунусь, везде какая-нибудь пакость... Ну, да, слава богу, теперь, кажется, дело на лад пойдет, теперь я покоен... Да вы-то сами уж не из Крутогорска ли?

— Да.

— Так-с; благодатная это сторона! Чай, пишете, бумагу переводите! Ну, и здесь, — прибавил он, хлопая себе по карману, — полагаательно, толстущечка-голубушка водится!

— Ну, разумеется.

— Так-с, без этого нельзя-с. Вот и я тоже туда еду; бородушек этих, знаете, всех к рукам приберем! Руки у меня, как изволите видеть, цепкие, а и в Писании сказано: овцы без пастыря — толку не будет. А я вам истинно доложу, что тем эти бороды мне любезны, что с ними можно просто, без церемоний... Позвал он тебя, например, на обед: ну, надоела борода — и вон ступай.

— По крайней мере, имеете ли вы к кому-нибудь рекомендацию в Крутогорск?

— Ре-ко-мен-да-цию! А зачем, смею вас спросить, мне рекомендация? Какая рекомендация? Моя рекомендация вот где! — закричал он, ударя себя по лбу. — Да, здесь она, в житейской моей опытности! Приеду в Крутогорск, явлюсь к начальству, объясню, что мне нужно... ну-с, и дело в шляпе... А то еще рекомендация!.. Эй, водки и спать! — прибавил он совершенно неожиданно.

И он побрел, пошатываясь, восвояси.

На другой день, когда я проснулся, его уже не было; станционный писарь сообщил мне, что он уехал еще затемно и все спешил: «Мне, говорит, пора; пора, брат, и делишки свои поправить». Показывал также ему свой бумажник и говорил, что «тут, брат, на всю жизнь; с этим, дружище, широко не разгуляешься!..»

Прошло месяца два; я воротился из командировки и совсем забыл о Живновском, как вдруг встретил его, в одно прекрасное утро, на улице.

— Ба! ну, как дела?

Подпоручик смотрел не весело; на нем висела шинель довольно подозрительного свойства, а сапоги были, очевидно, не чищены с самого приезда в Крутогорск.

— Надул Сашка! — проворчал он угрюмо.

— Чем же вы живете?

— А вот лотереи разыгрываем... намеднись Прошку на своз продал, и верите ли, бестия даже обрадовался, как я ему объявил.

— Ну, а являлись ли вы, как предполагали?

Он махнул рукой и пошел дальше.

Однако ж я мог расслышать, как он ворчал: «Ну, задам

же я тебе звону, бестия Сашка! дай только выбраться мне отсюда».

И тем не менее вы и до сих пор, благосклонный читатель, можете встретить его, прогуливающегося по улицам города Крутогорска и в особенности принимающего деятельное участие во всех пожарах и других общественных бедствиях. Сказывают даже, что он успел приобрести значительный круг знакомства, для которого неистощимым источником наслаждений служат рассказы о претерпенных им бедствиях и крушениях во время продолжительного плавания по бурному морю житейскому.

ПОРФИРИЙ ПЕТРОВИЧ

Человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.

Если вы не знакомы с Порфирием Петровичем, то советую как можно скорее исправить эту опрометчивость. Его уважает весь город, он уже двадцать лет старшиною благородного собрания, и его превосходительство ни с кем не садится играть в вист с таким удовольствием, как с Порфирием Петровичем.

Не высок он ростом, а между тем всякое телодвижение его брызжет нестерпимым величием. Баталионный командир, охотно отдающий справедливость всему великому, в заключение своих восторженных панегириков об нем всегда прибавляет: «Как жаль, что Порфирий Петрович ростом не вышел: отличный был бы губернатор!» Нельзя сказать также, чтоб и во всей позе Порфирия Петровича было много грации; напротив того, весь он как-то кряжем сложен; но зато сколько спокойствия в этой позе! сколько достоинства в этом взоре, померкающем от избытка величия!

Когда он протягивает вам руку, вы ощущаете, что в вашей руке заключено нечто неуловимое; это не просто рука, а какое-то блаженство или, лучше сказать, благоухание, принявшее форму руки. И не то чтобы он подал вам какие-нибудь два пальца или же сунул руку наизнанку, как делают некоторые, — нет, он подает вам всю руку, как следует, ладонь на ладонь, но вы ни на минуту не усумнитесь, что перед вами человек, который имел бы полное право подать вам один свой мизинец. И вы чувствуете,

что уважение ваше к Порфирию Петровичу возрастает до остервенения.

В суждениях своих, в особенности о лицах, Порфирий Петрович уклончив; если иногда и скажет он вам «да», то вы несомненно чувствуете, что здесь слышится нечто похожее на «нет», но такое крошечное «нет», что оно придает даже речи что-то приятное, расслабляющее. Он не прочь иногда пошутить и сострить, но эта шутка никого не компрометирует: напротив того, она доказывает только, что Порфирий Петрович вполне благонамеренный человек: и мог бы напакостить, но не хочет пользоваться своим преимуществом. Он никого, например, не назовет болваном или старым колпаком, как делают некоторые обитатели пустынь, не понимающие обращения; если хотите, он выразит ту же самую мысль, но так деликатно, что вместо «болвана» вы удобно можете разуть «умница», и вместо «старого колпака» — «почтенного старца, украшенного сединами».

Когда говорят о взятках и злоупотреблениях, Порфирий Петрович не то чтобы заступает за них, а только переминается с ноги на ногу. И не оттого, чтоб он всею душой не ненавидел взяточников, а просто от сознания, что вообще род человеческий подвержен слабостям.

Порфирий Петрович не поет и не играет ни на каком инструменте. Однако все чиновники и все знакомые его убеждены, что он мог бы и петь и играть, если б только захотел. Он охотно занимается литературой, больше по части повествовательной, но и тут отдает преимущество повестям и романам, одолженным своим появлением дамскому перу, потому что в них нет ничего «этого». «Дама, — говорит он при этом, — уж то преимущество перед мужчиной имеет, что она, можно сказать, розан и, следовательно, ничего, кроме запахов, издавать не может».

Говорят, будто у Порфирия Петровича есть деньги, но это только предположение, потому что он ими никого никогда не ссужал. Однако, как умный человек, он металла не презирает, и в душе отдает большое предпочтение тому, кто имеет, перед тем, кто не имеет. Тем не менее это предпочтение не выражается у него как-нибудь нахально, и разве некоторая томность во взгляде изобличит внутреннюю тревогу души его.

Очень великолепен Порфирий Петрович в мундире, в те дни, когда у губернатора бывает прием, и после того в соборе. Тут самый рост его как-то не останавливает ничьего внимания, и всякий благонамеренный человек необходимо

должен думать, что такой, именно такой рост следует иметь для того, чтоб быть величественным. Одно обстоятельство сильно угрызает его — это отсутствие белых брюк. Не ездил ли он верхом на Константине Владимирыче, не оседлал ли, не взнуздal ли он его до такой степени, что несчастный старец головой пошевелить не может? и между тем! — о несправедливость судеб! — Константин Владимирыч носит белые брюки, и притом так носит, как будто они у него пестрые, а он, Порфирий Петрович, вечно осужден на черный цвет.

Не менее величествен Порфирий Петрович и на губернских балах, в те минуты, когда все собравшиеся не осмеливаются приступить ни к каким действиям в ожидании его превосходительства. Он ласково беседует со всеми, не роняя, однако же, своего достоинства и стараясь прильнуть к губернским тузам. Когда входит его превосходительство, глаза Порфирия Петровича выражают тоску и как будто голод; и до той поры он, изнемогая от жажды, чувствует себя в степи Сагаре, покуда его превосходительство не приблизится к нему и не пожмет его руки. После этого акта Порфирий Петрович притопывает ножкой и, делая грациозный поворот на каблуках, устремляется всею сущностью к карточному столу, для составления его превосходительству приличной партии. За карточным столом Порфирий Петрович не столько великолепен, сколько мил; в целой губернии нет такого приятного игрока: он не сердится, когда проигрывает, не глядит вам алчно в глаза, как бы желая выворотить все внутренности вашего кармана, не подсмеивается над вами, когда вы проигрываете, однако ж и не сидит как истукан. Напротив того, он охотно позволит себе, выходя с карты, выразиться: «Не с чего, так с бубен», или же, в затруднительных случаях, крикнуть и сказать: «Тэ-э-кс». Вообще, он старается руководить своего партнера более взорами и телодвижениями; если же партнер так туп (и это бывает), что разговора этого не понимает, то оставляет его на произвол судеб, употребив, однако ж, наперед все меры к вразумлению несчастного.

Вообще, Порфирий Петрович составляет ресурс в городе, и к кому бы вы ни обратились с вопросом о нем, отовсюду наверное услышите один и тот же отзыв: «Какой приятный человек Порфирий Петрович!», «Какой милый человек Порфирий Петрович!» Что отзывы эти нелицемерны — это свидетельствуется не только тоном голоса, но и всею позою говорящего. Вы слышите, что у говорящего

в это время как будто порвалось что-то в груди от преданности к Порфирию Петровичу.

Однако не вдруг и не без труда досталось ему это завидное положение. Он, как говорят его почтенные сограждане, произошел всю механику жизни и вышел с честью из всех потасовок, которыми судьбе угодно было награждать его.

Папа Порфирия Петровича был сельский пономарь; татап — пономарица. Несомненно, что герою нашему предстояла самая скромная будущность, если б не одно обстоятельство. Известно, что в древние времена по селам и весям нашего обширного отечества разъезжали благодетельные гении, которые замечали природные способности и необыкновенное остроумие мальчиков и затем, по влечению своих добрых сердец, усердно занимались устройством судеб их.

На этот раз благодетель обратил внимание не столько на острого мальчика, сколько на его маменьку. Маменька была женщина полная, грудь имела высокую и белую, лицо круглое, губы алые, глаза серые, навывкате, и решительные. Полюбилась она старику благодетелю. Все ему мерещится то Уриева жена полногрудая, то купель силоамская; то будто плывет он к берегам ханаанским по морю житейскому, а житейское-то море такого чудно-молочного цвета, что гортань его сохнет от жажды нестерпимой. Наклонит он свою распаленную голову, чтобы испить от моря житейского, но — о чудо! — перед ним уж не море, а снежный сумет, да такой-то в нем снег мягкий да пушистый, что только любо старику. А пономарица только смеется, а дальше не допускает: «Дай, говорит, ваше благородие, место мужу в губернском городе!»

А муж — пьяница необрезанный; утром, не успеет еще жена встать с постели, а он лежит уж на лавке да распевает канты разные, а сам горько-прегорько разливается-плачет. И не то чтоб стар был — всего лет не больше тридцати — и из себя недурен, и тенор такой сладкий имел, да вот поди ты с ним! рассудком уж больно некрепок был, не мог сносить сивушьего запаха. Билась с ним долго жена, однако совладать не могла; ни просьбы, ни слезы — все нипочем: «Изыди, говорит, окаянная, в огонь вечный». Видит жена, что муж малодушествует, ее совсем обросил, только блудницей вавилонской обзывает, а сам на постели без дела валяется, а она бабенка молодая да полная, жить-то хочется, — ну, и пошла тоже развлекаться.

Стала она сначала ходить к управительше на горькую

свою долю жаловаться, а управительшин-то сын молодой, да такой милосердый, да добрый; живеешее, можно сказать, участие принял. Засидится ли она поздно вечером — проводить ее пойдет до дому; сено ли у пономаря все выдет — у отца сена выпросит, ржицы из господских анбаров отсыплет — и все это по сердолюбю; а управительша, как увидит пономарицу, все плачет, точно глаза у ней на мокром месте.

Вот идет однажды молодец поздно вечером, пономарицу провожает, а место, которым привелось проходить, глухое.

— Страшно мне чтой-то, Евсигней Федотыч, — говорит пономарица, — идите-ка поближе ко мне.

Он подошел и руку ей подал, да уж и сам не знает как, только обнял ее, а она и слышит, что он весь словно в лихорадке трясется.

— Не могу, — говорит, — воля ваша, Прасковья Михайловна, не могу дальше идти.

Сели они на пенек, да и молчат; только слышит она, что Евсигнейка дышит уж что-то очень прерывисто, точно захлебывается. Вот она в слезы.

— Все-то, — говорит, — меня, сироту, покинули да оставили; вот и вам, Евсигней Федотыч, тоже, чай, бросить меня желательно.

А он все молчит да вздыхает: глуп еще, молод был. Видит она, что малый-то уж больно прост, без поощренья ничего с ним не сделаешь.

— Чтой-то, — говорит, — мне будто холодно; ноженьки до смерти иззябли. Хошь бы вы, что ли, тулупчик с себя сняли да обогрели меня, Евсигней Федотыч.

Дело было весеннее: на полях травка только что показываться стала, и по ночам морозцем еще порядочно прихватывало. Снял он с себя мерлушчатый тулупчик, накинул ей на плеча, да как стал застегивать, руки-то и не отнимаются; а коленки пуще дрожат и подгибаются. А она так-то ласково на него поглядывает да по головке рукой гладит.

— Вот, — говорит, — кабы у меня муж такой красавчик да умница был, как вы, Евсигней Федотыч...

Пробыли они таким манером с полчаса и пошли домой уж повеселее. Не то чтоб «Евсигней Федотыч», или «Прасковья Михайловна», а «Евсигнеюшка, голубчик», «Параша, жись ты моя» — других слов и нет.

Долго ли, коротко ли, а стали на селе замечать, что управительский сын и лег и встал все у пономарицы. А она

себе на уме, видит, что он уж больно голову терять начал, ну, и попридерживать его стала.

— Я, — говорит, — Евсигнеюшка, из-за тебя, смотри, какой грех на душу приняла!

Ну, и в слезы.

А иногда возьмет его руками за голову да к груди-то своей и притянет словно ребенка малого, возьмет гребень, да и начнет ему волосы расчесывать.

— А хочешь, — говорит, — дитяtko, пряничка дам?

Таким образом, она все больше лаской да словами привораживала его к себе.

Однако в доме у управителя стали пропадать то вещи, то деньги. Всю прислугу перепороли; не отыскивается вор, да и все тут. Однажды и в господской кассе недосчитались ста рублей, нечего делать, поморщился старик управитель, положил свои деньги. И невдомек никому, что у пономарицы завелись чаи да обнови разные. Вот однажды, в темную осеннюю ночь, слышат караульщики, что к господской конторе кто-то ползком-ползком пробирается; затаили они дыхание, да и ждут, что будет. Подполз вор к двери, встал, стал прислушиваться: видит, что все кругом тихо, перекрестился и отворил дверь легонько. Проходит прихожую мимо караульщиков, и в горницу, прямо к сундуку. Вынул ключ и отпер кассу. А караульщики видят, что дело-то уж кончено и вору не уйти, смеются да пугают его. Кто чихнет, кто кашляет, кто застонет, будто во сне: «Ах, батюшки, воры!» А вор-то так и оцепенеет весь. Таким образом они с четверть часа над ним тешились; попритихли опять. Вдохнул вор и только что начал рыться в ящике, как две дюжие руки и схватили его сзади. Подняли управителя, засветили огня; да как увидал старик вора, так и всплеснул руками.

— Так вот, — говорит, — кто вор-от!

Да и повалился.

А Евсигнейка словно остервенился.

— Ну, вор так вор! что ж, что вор!

Однако сын не сын управительский, а надели рабу божьему на ноги колодки, посадили в темную, да на другой день к допросу: «Куда деньги девал, что прежде воровал?» Как ни бились, — одних волос отец две головы вытаскал, — однако не признался: стоит как деревянный, слова не молвит. Только когда помянули Парашку — побледнел и затрясся весь, да и говорит отцу:

— Ты ее, батька, не замай, а не то и тебя пришибу, и деревню всю вашу выжгу, коли ей какое ни на есть беспо-

койствие от вас будет. Я один деньги украл, один и в ответе за это быть должен, а она тут ни при чем.

Недели через две свезли его в рекрутское присутствие, да и забрали лоб.

В этой-то горести застала Парашку благотельная особа. Видит баба, дело плохо, хоть из села вон беги: совсем проходу нет. Однако не потеряла головы, и не то чтобы кинулась на шею благодетелю, а выдержала характер. Смекнул старик, что тут силой не возьмешь — и впрямь перетащил мужа в губернский город, из духовного звания выключил и поместил в какое-то присутственное место бумагу изводить.

Подрастает Порфирка и все около себя примечает. И в школу ходить начал, способности показал отменные; к старику благодетелю все ластится, тяткой его называет, а на своего-то отца на пьяного уж и смотреть не хочет. Все даже думает, как бы ему напакоstitь: то сонному в рот табаку напихает, то сальной свечой всю рожу вымажет, а Парашка знай себе сидит да хохочет. Жили они не то чтобы бедно, а безалаберно. У Парашки шелковых платьев три короба, а рубашки порядочной нет; пойдет она на базар, на рубль пряников купит, а дома хлеба корки нет. Сиживал-таки Порфирка наш голодом не один день; хаживал больше все на босу ногу, зимой и летом, в одном изодранном тулупчишке.

Нашел он как-то на дороге гривенник — поднял и схоронил. В другой раз благодетель гривенничком пожаловал — тоже схоронил. Полюбились ему деньги; дома об них только и разговору. Отец ли пьяный проспится — все хнычет, что денег нет; мать к благодетелю пристает — все деньгами попрекает.

— Эка штука деньги! — думает Порфирка, — а у меня их всего два гривенника. Вот, мол, кабы этих гривенников хошь эо место, завел бы я лавочку, накупил бы пряников. Идут это мальчишки в школу, а я им: «Не побрезгуйте, честные господа, нашим добром!» Ну, известно, кой пряник десять копеек стоит, а ты за него шесть пятаков.

Стал он и поворовывать; отец жалованье получит — первым делом в кабак, целовальника с наступающим первым числом поздравить. Воротится домой пьянее вина, повалится на лавку, да так и дрыхнет; а Порфирка между тем подкрадется, все карманы обшарит, да в чулан, в тряпчатку и схоронит. Парашка потом к мужу пристает: куда

деньги девал? а он только глазами хлопает. Известное дело — пьяный человек! что от него узнаешь? либо пропил, либо потерял.

По тринадцатому году отдали Порфирку в земский суд, не столько для письма, сколько на побегушки приказным за водкой в ближайший кабак слетать. В этом почти единственно состояли все его занятия, и, признаться сказать, не красна была его жизнь в эту пору: кто за волоса оттреплет, кто в спину колотушек надает; да бьют-то всё с маху, не изловчась, в такое место, пожалуй, угодит, что дух вон. А жалованья за все эти тиранства получал он всего полтора рубля в треть бумажками.

При помощи услужливости и расторопности втерся он, однако ж, в доверие к исправнику, так что тот и на следствия брать его стал. Способности оказал он тут необыкновенные: спит, бывало, исправник, не тужит, а он и людей опросит, и благодарность соберет, и все, как следует, исправит. По двадцатому году сам исправник его Порфирием Петровичем звать начал, а приказные — не то чтоб шлепками кормить, а и посмотреть-то ему в глаза прямо не смеют. Земский суд в такой порядок привел, что сам губернатор на ревизии, как ни ковырял в книгах, никакой провинности заметить не мог; с тем и уехал.

Однажды сидит утром исправник дома, чай пьет; по правую руку у него жена, на полу детки валяются; сидит исправник и блаженствует. Помышляет он о чине асессорском, ловит мысленно таких воров и мошенников, которых пять предместников его да и сам он поймать не могли. Жмет ему губернатор руку со слезами на глазах за спасение губернии от такой заразы... А у разбойников рожи-то, рожи!..

— Как это вы, Демьян Иваныч, подступились к таким антихристам? — говорит ему дворянский заседатель, бледнея от ужаса.

— Дело мастера боится, — отвечает Демьян Иваныч, скромно потупляя глаза.

Но сон рассеивается; входит Порфирий Петрович.

— Милости просим, милости просим, Порфирий Петрович! — восклицает Демьян Иваныч, — а я, любезный друг, вот помечтал тут маленько, да, признаться, чуть не соснул. За надобностью, что ли, за какой?

— Да, за надобностью, — отвечает Порфирий Петрович как-то не совсем охотно.

— Что же такое?

— Да то, что служить мне у вас больше не придется: жалованье маленькое, скоро вот первый чин получу. Ну, и место это совсем не по моим способностям.

— Жаль с тобою расстаться, Порфирий Петрович, жаль, право, жаль. Без тебя, пожалуй, не много тут дела сделаешь. Ну, да коли уж чувствуешь этокое призвание, так я тебе не злодей.

— Жаль-то оно, точно что жаль-с, Демьян Иваныч, и мне вас жалко-с, да не в этом дело-с...

— Что ж тебе надо?

— Да не будет ли вашей милости мне тысячки две-с, не в одолжение, а так, дарственно, за труды-с.

— А за какие бы это провинности, не позволите ли полюбопытствовать?

— Разные документы у нас в руках имеются...

Демьян Иваныч и рот разинул.

— Документы! какие документы! — кричит, — что ты там городишь, разбойник этокой, клязузу, чай, какую-нибудь соорудил!

— Разные есть документы-с, всё вашей руки-с. Доверием вы меня, Демьян Иваныч, облекали — известно, не драть же мне ваших записок-с, не деликатно-с: начальники! Извольте помнить, в ту пору купец работника невзначай зашиб, вы мне еще записку писали, чтоб с купца-то донять по обещанию... Верьте Богу, Демьян Иваныч, а таких документиков дешевле двух тысяч никто не отдаст! Задаром-с, совсем даром, можно сказать, из уважения к вам, что как вы мои начальники были, ласкали меня — ну, и у нас тоже не бесчувственность, а чувство в сердце обитает-с.

Исправника чуть паралич не прошиб; упал на диван да так и не встает; однако отлили водой — очнулся.

— Сподобил, — говорит, — меня Бог этокую змею выкормить, за грехи мои.

— Оно конечно-с, Демьян Иваныч, — отвечает Порфирий Петрович, — оно конечно, змея-с, да вы извольте милостиво рассудить — ведь и грехи-то ваши не малые. В те поры вон убийцу оправили, а то еще невинного под плети подвели, ну, и меня тоже, можно сказать, с чистою душой, во все эти дела запутали. Так вот коли этак-то посудись, оно и не дорого две тысячи. Особливо, как на всё это документики, да свидетели-с. А я вам доложу, что мне две тысячи беспременно, до зарезу нужно-с. Сами посудите: я в губернский город еду, место по способностям своим

иметь желаю-с, нельзя же тут без рекомендации, надо у всякого сыскать-с.

Делать нечего, Демьян Иваныч

...дал ему злата и проклял его.

По приезде в губернский город Порфирий Петрович вел себя очень прилично, оделся чистенько, приискал себе квартирку и с помощью рекомендательных писем недолго оставался без места. Сам губернатор изволил припомнить необычайную, выходящую из порядка вещей опрятность, замеченную в земском суде при ревизии, и тотчас же предложил Порфирию Петровичу место секретаря в другом земском суде; но герой наш, к общему удивлению, отказался.

— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, — отвечал он, слегка приседая, — осмелюсь доложить, что уж я сызмальства в этом прискорбии находился, формуляр свой, можно сказать, весь измарал-с. Чувства у меня, ваше превосходительство, совсем не такие-с, не то чтоб к пьянству или к безобразию, а больше отечеству пользу приносить желаю. Будьте милостивы, сподобьте принять в канцелярию вашего превосходительства.

Его превосходительство взглянули благосклонно.

— Ну, — говорят, — уж если тово, так я, таперича, благородство...

И махнули рукой.

Зажил Порфирий Петрович в губернском городе, и все думает, как бы ему в начальниках сыскать. Обратил он поначалу на себя внимание ясным пониманием дела. Другой смотрит в дело и видит в нем фигу, а Порфирий Петрович сейчас заметит самую настоящую «суть», — ну и развивает ее как следует. Вострепетали исправники, вздрогнули городничие, побледнели дворянские заседатели; только и слышится по губернии: «Ах ты, господи!» И не то чтоб поползновение какое-нибудь — сохрани бог! прослезится даже, бывало, как начнет говорить о бескорыстии. Вздумал было однажды какой-то исправник рыжичков своего соленья ему прислать — вознегодовал ужасно, и прямо к его превосходительству: «Так, мол, и так; за что такое поношение?» Рыжички разыграли в лотерею в пользу бедных, а исправника выгнали.

Однако все ему казалось, что он не довольно бойко идет по службе. Заприметил он, что жена его начальника не то чтоб балует, а так по сторонам поглядывает. Сам

он считал себя к этому делу непригодным, вот и думает, нельзя ли ему как-нибудь полезным быть для Татьяны Сергеевны.

Татьяна Сергеевна была дама образованная, нервная; смолоду слыла красавицей; сначала, скуки ради, пошаливала, а потом уж и привычку такую взяла. Муж у нее был как есть зверь лесной, ревнив страх, а временем и поколотит. Взяло Порфирия Петровича сердоболье; начал ездить к Татьяне Сергеевне и все соболезнует.

— Все-то, — говорит, — у меня, Татьяна Сергеевна, сердце изныло, глядя на вас, какое вы с этим зверем тиранство претерпеваете. Ведь достанется же такое блаженство — поди кому! Кажется, ручку бы только... так бы и умер тут, право бы, умер!

А Татьяна Сергеевна слушает это да смеется, и не то чтоб губами только, а так всем нутром, словно детки, когда им легонько брюшко пощекотишь.

Смекнул Порфирий Петрович, что по нраву бабе такие речи, что она и им, пожалуй, не побрезгует, да не входило это в его расчеты.

— Откройте, — говорит, — мне, Татьяна Сергеевна; душу за вас готов положить.

А сам за руку ее берет, королевой называет и проливает слезы сердоболия.

Вот и открылась она ему; любила она учителя, и он ее тоже любил — это ей достоверно известно было. Только свиданья им неспособно иметь было: все муж следил; ну, и людишки с ним заодно; записочки тоже любила она нежные писать — и те с великим затруднением до предмета доходят. Просто угнетение. Вечно муж подозревает, оскорбляет сомнением, а она? «Посудите сами, Порфирий Петрович, заслужила ли я такую пытку? виновата ли я, что это сердце жаждет любви, что нельзя заставить его молчать? Ах, если б кто знал, как горько ошибаются люди!»

Порфирий Петрович охотно взял на себя управление кормилом этой утлой ладьи, устраивал свиданья, а писем переносил просто без счета.

Однако, хоть письма и были запечатываемы, а он умел-таки прочитывать их и даже не скрывал этого от Татьяны Сергеевны.

— Вы меня извините, Татьяна Сергеевна, — говорил он ей, — не от любопытства, больше от жажды просвещения-с, от желанья усладить душу пером вашим — такое это для меня наслаждение видеть, как ваше сердечко глубоко все эти приятности чувствует... Ведь я по простоте,

Татьяна Сергеевна, я ведь по-французскому не учился, а чувствовать, однако, могу-с...

Она-то с дураков ему смеется — даже и запечатывать письма совсем перестала, а он нет-нет да и спрячет записочку, которая любопытнее.

Сидит однажды зверь лесной (это мужа они так шутя прозвали) у себя в кабинете запершись, над бумагой свирепствует. Стучатся. Входит Порфирий Петрович, и прямо в ноги.

— Виноват, — говорит, — Семен Акимыч, не погубите! Я, то есть, единственно по сердоболию; вижу, что дама образованная убивается, а оне... вот и письма-с!.. Думал я, что оне одним это разговором, а теперь видел сам, своими глазами видел!..

Ощутил лесной зверь, что у него на лбу будто зубы прорезываются. Взял письма, прочитал — там всякие такие неудобные подробности изображаются. Глупая была баба! Мало ей того, чтоб грех сотворить, — нет, возьмет да на другой день все это опишет: «Помнишь ли, мол, миленький, как ты сел вот так, а я села вот этак, а потом ты взял меня за руку, а я, дескать, хотела ее отнять, ну, а ты»... и пошла, и пошла! да страницы четыре мелко-намелко испишет, и все не то чтоб дело какое-нибудь, а так, пустяки одни.

Известно, остервенился зверь, жену избил на чем свет стоит, учителя в палки поставил, а к Порфирию Петровичу с тех пор доверие неограниченное питать стал.

Таким-то образом он лет около трех все только обставлял себя, покуда не почувствовал, что атмосфера кругом легче сделалась. Везде умел сделаться необходимым, и хотя не был образцом прелестных манер красоты, но и не искал этого, постоянно имея в виду более прочное и существенное. Однако, увидевши себя на торной дороге, он нашел, что было бы и глупо и не расчет не воспользоваться таким положением. Тут начался длинный ряд подвигов, летопись которых была бы весьма интересна, если бы не имела печального сходства с тою, которую я имел честь рассказать вам, читатель, в одном из прежних моих очерков¹. Результат оказался таков, что лет через десять Порфирия Петровича считали уже в двухстах тысячах.

Провинция странная вещь, господа! и вы, которые никогда не выставляли из Петербурга своего носа, никогда ни о чем не помышляли, кроме паев в золотых приисках

¹ См. «Прошлые времена». (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

и акций в промышленных предприятиях, не ропщите на это!

По мере большего плутовства Порфирий Петрович все большее и большее снискивал уважение от своих сослуживцев и сограждан. «Ну, что ж, что он берет! — говорили про него, — берет, да зато дело делает; за свой, следственно, труд берет».

Однажды пришла ему фантазия за один раз всю губернию ограбить — и что ж? Изъездил, не поленился, все закоулки, у исправников все карманы наизнанку выворотил, и, однако ж, не слышно было ропота, никто не жаловался. Напротив того, радовались, что первые времена суровости и лакедемонизма прошли и что сердце ему отпустило. Уж коли этакой человек возьмет, значит, он и защищать сумеет. Выходит, что такому лицу деньги дать — все равно что в ломбард их положить; еще выгоднее, потому что проценты больше.

И за всем тем чтоб было с чиновниками у него фамильярство какое — упаси бог! Не то чтобы водочкой или там «братец» или «душка», а явись ты к нему в форме, да коли на обед звать хочешь, так зови толком: чтоб и уха из живых стерлядей была, и тосты по порядку, как следует.

Наконец настала и для него пора любви: ему было уже под сорок. Но и тут он остался верен себе; не влюбился сдуру в первую встречную юбку, не ходил, как иной трезор, под окнами своей возлюбленной. Нет, он женился с умом, взял девушку хоть бедную, но порядочную и даже образованную. Денег ему не нужно было — своих девать некуда, — ему нужна была в доме хозяйка, чтоб и принять и занять гостя умела, одним словом, такая, которая соответствовала бы тому положению, которое он заранее мысленно для себя приготовил. Не боялся он также, что она выскользнет у него из рук; в том городе, где он жил и предполагал кончить свою карьеру, не только человека с живым словом встретить было невозможно, но даже в хорошей говядине ощущалась скудость великая; следовательно, увлечься или воспламениться было решительно нечем, да притом же на то и ум человеку дан, чтоб бразды правления не отпускать. И действительно, неизвестно, как жила его жена внутренне; известно только, что она никому не жаловалась и даже была весела, хоть при Порфирии Петровиче как будто робела.

Но, как хотите, взятки да взятки — а это и самого изощренного ума человеку надоест наконец. Беспрестанно

изобретай, да не то чтоб награду за остроумие получить, а будь еще в страхе: пожалуй, и под суд попадешь. Времена же настают такие, когда за подобную остроту ума не то чтобы по головке гладить, а чаще того за вихор таскают. Чин у Порфирия Петровича был уже изрядный, женился он прилично; везде принят, обласкан и уважен; на последних выборах единогласно старшиной благородного собрания выбран; губернатор у него в доме бывает: скажите на милость, ну, след ли такой, можно сказать, особе по уши в грязи барахтаться! Стал он вздыхать и томиться тоской, даже похудел и пожелтел. В перспективе ему виднелось местечко! Господи! инда задрожит Порфирий Петрович, как подумает об нем! местечко с доходами, «вот уж совершенно-то безгрешными!», местечко покойное, место значно, прохладно, как говорится...

В провинции о казне существуют между чиновниками весьма странные понятия. Она представляется чем-то отвлеченным, символическим, невесомым: так, пар какой-то, нечто вроде Фемиды в воображении секретаря уездного суда. Известное дело, что такую особу как ни обижай — все-таки ничем обидеть не можно; она все-таки сидит себе, не морщится и не жалуется никому. «Кому от этого вред! ну, скажите, кому? — восклицает остервенившийся идеолог-чиновник, который великим постом в жизнь никогда скромного не едал, ни одной взятки не перекрестясь не бирал, а о любви к отечеству отродясь без слез не говаривал, — кому вред от того, что вино в казну не по сорока, а по сорока пяти копеек за ведро ставится!»

И начнет вам доказывать это так убедительно, что вы и руки расставите.

Излишне было бы подсказывать догадливому читателю, что Порфирий Петрович желаемое место получил.

С этой-то поры разлилась в душе его та мягкость, та невозмутимая ясность, которой мы удивляемся в наших губернских Цинциннатах, пользующихся вполне безгрешными доходами.

Занятия его приобрели мирный и патриархальный характер: он более всего предается садоводству и беседам с природой, вызывающей в нем благочестивые размышления о беспредельном величии божием.

Усладительно видеть его летом, когда он, усадив на длинные дроги супругу и всех маленьких Порфирьичей и Порфирьевн, которыми щедро наделила его природа, отправляется за город кушать вечерний чай. Перед вами восстает картина Иакова, окруженного маленькими Рувима-

ми, Иосиями, не помышляющими еще о продаже брата своего Иосифа.

Там, на лоне матери-природы, сладко отдохнуть ему от тревог житейских, сладко вести кроткую беседу с своею чистою совестью, сладко сознать, что он — человек, казенных денег не расточающий, свои берегущий, чужих не желающий.

КНЯЖНА АННА ЛЬВОВНА

Княжне Анне Львовне скоро минет тридцать лет. Она уже довольно отчетливо сознает, что надежда — та самая, которая утешает царя на троне и земледельца в поле, — начинает изменять ей. Прошла пора детских игр и юношеских увлечений, прошла пора жарких мечтаний и томительных, но сладостных надежд. Наступает пора благоразумия. Княжна понимает все это и, по-видимому, покоряется своей судьбе; но это только по-видимому, потому что жизнь еще сильным ключом бьет в ее сердце и громко предъявляет свои права. По этой же самой причине положение княжны делается до крайности несносно. Она чувствует, что *должна* отказаться от надежды, и между тем надежда ни на минуту не оставляет ее сердца... Чаше и чаще она задумывается; глаза ее невольно отрываются от работы и пристально всматриваются в даль; румянец внезапно вспыхивает на поблекнувших щеках, и даже губы шевелятся. Должно полагать, что в эти минуты она бывает очень счастлива. Когда ее папá, князь Лев Михайлович, старичок весьма почтенный, но совершенно не посвященный в тайны женского сердца, шутя называет ее своею Антигоной, то на губах ее, сияющих изобразить приятную улыбку, образуется нечто кислое, сообщающее ее доброму лицу довольно неприятное выражение. Нередко также, среди весьма занимательного разговора с наиостроумнейшим из крутогорских кавалеров, с княжной вдруг делается нервный припадок, и она начинает плакать. «Антигоне мужа хочется!» — говорят при этом крутогорские остряки.

Княжна вообще отличная девушка. Она очень умна и приветлива, а добра так, что и сказать нельзя, и между тем — странное дело! — в городе ее не любят, или, лучше сказать, не то что не любят, а как-то избегают. Говорят, будто сквозь ее приветливость просвечивает холодность и принужденность, что в самой доброте ее нет той симпатичности, той страстности, которая одна и составляет всю

ценность доброты. Все в ней как будто не dokonчено; движения не довольно мягки, не довольно круглы; в голосе нет звучности, в глазах нет огня, да и губы как-то уж чересчур тонки и бледны. «А все оттого, что надо Антигоне мужа!» — замечают те же остряки.

Княжна любит детей. Часто она затевает детские вечеринки и от души занимается маленькими своими гостями. Иногда случается ей посадить себе на колени какого-нибудь туземного малютку; долго она нянчится с ним, целует и ласкает его; потом как будто задумается, и вдруг начнет целовать, но как-то болезненно, томительно. «Ишь как ее разобрало! — глубокомысленно замечают крутогорцы, — надо, ох, надо Антигоне мужа!»

Княжна любит природу — оттого что ей надо мужа; она богомольна — оттого что вымаливает себе мужа; она весела — потому что надеется найти себе мужа; скучна — оттого что надежда на мужа обманула ее... везде муж!

Слово «муж» точит все существование княжны. Она читает его во всех глазах; оно чудится ей во всяком произнесенном слове... И что всего грустнее, это страшное слово падает не на здоровый организм, а на действительную рану, рану глубокую и вечно болящую. Княжна усиливается забыть его, усиливается закалить свои чувства, потерять зрение, слух, вкус, обоняние и осязание, сделаться существом безразличным, но все усилия напрасны. «Кому ты дала радость? Кого наделила счастьем? Кого успокоила? Чье существование просветлено тобой? Кому ты нужна?» — шепчет ей и днем и ночью неотступный голос, сильнее голоса крутогорских остряков. И напрасно княжна хочет обмануть себя тем, что она нужна папаше. Тот же голос твердит ей: «Господи! как отраднo, как тепло горит в жилах молодая кровь! как порывисто и сладко бьется в груди молодое сердце! как освежительно ласкает распаленные страстью щеки молодое дыхание! Сколько жизни, сколько тепла... сколько любви!»

И княжна невольно опускает на грудь свою голову. «И как хорош, как светел божий мир! — продолжает тот же голос. — Что за живительная сила разлита всюду, что за звуки, что за звуки носятся в воздухе!.. Отчего так вдруг бодро и свежо делается во всем организме, а со дна души незаметно встают все ее радости, все ее светлые, лучшие побуждения!»

Очевидно, что такие сафические мысли могут осаждать голову только в крайних и не терпящих отлагательства «случаях». Княжна плачет, но мало-помалу источник слез

иссякает; на сцену выступает вся желчь, накопившаяся на дне ее тридцатилетнего сердца; ночь проводится без сна, среди волнений, порожденных злобой и отчаяньем... На другой день зеркало имеет честь докладывать ее сиятельству, что их личико желто, как выжатый лимон, а глаза покрыты подозрительною влагой...

Княжна попала в Крутогорск очень просто. Папаша ее, промотавши значительное состояние, ощутил потребность успокоиться от тревожений света и удалиться из столицы, в которой не имел средств поддерживать себя по табели о рангах. После идеи о муже идея о бедности была самою мучительною для княжны; наклонности к роскоши и всякого рода удобствам до того впились в нее и срослись со всем ее существом, что скромная действительность, которая ждала ее в Крутогорске, раздражала ее. Все здесь было как-то не по ней: общество казалось тяжелым и неуклюжим; в домах все смотрело неопрятно; грязные улицы и деревянные тротуары наводили уныние; танцевальные вечера, которые изредка назначались в «благородном» собрании, отличались безвкусицей, доходившим до безобразия...

Такая полная невозможность утопить гнетущую скуку в тех простых и нетрудных удовольствиях света, которые в столице так доступны для всякой порядочной женщины, вызвала в сердце княжны потребность нового для нее чувства, чувства дружбы и доверчивости.

К сожалению, хотя, быть может, и не без тайного расчета, выбор ее пал на сумрачнейшую из крутогорских сплетниц, вдову умершего под судом коллежского регистратора, Катерину Дементьевну Шилохвостову. Катерина Дементьевна с юношеских лет посвятила свою особу возделыванию вертограда добродетелей, к которым, как дама, оскорбленная судьбой, питала чрезмерную склонность. Добродетели эти заключались преимущественно в различного рода чувствах преданности и благоговения, предметы которых благоразумно избирались ею между губернскими тузами. Нет сомнения, что известная всему миру пресыщенность носов наших губернских аристократов, оказывающая чувствительность лишь к острым и смолистым фимиамам, всего более руководила Катерину Дементьевну в этом выборе. Удостоенная интимных сношений с княжной, она нашла, что ее сиятельство в себе одной соединяет коллекцию всех женских совершенств. Оказывалось, например, что «таких ручек и ножек не может быть даже у принцессы»; что лицо княжны показывает не более

восемнадцать лет; разобраны были самые сокровенные совершенства ее брэнного тела, мельчайшие подробности ее туалета, и везде замечено что-нибудь в похвалу благодетельницы.

И княжна потихоньку смеялась, а иногда и вздыхала, но как-то сладко, успокоительно, в несколько приемов, как вздыхают капризные, но милые дети, после того как вдоволь наплачутся.

Несмотря на всю грубость и, так сказать, вещественность этой лести, княжна поддалась ей: до того в ней развита была потребность фимиамов. От лести не далеко было и до сплетничанья. Княжна мгновенно, так сказать гальванически, была посвящена во все мелочи губернской закулисной жизни. Ей стали известны все скрытые безобразия, все сердечные недуги, все скорби и болячки крутогорского общества. Добытые этим путем сведения вообще пошлы и грязноваты. По большей части им служат канвою половые побуждения и самые серенькие подробности будничной жизни. В этом миниятюрном мире, где все взаимные отношения определяются в самое короткое время с изумительнейшею точностью, где всякая личность уясняется до малейшей подробности, где нахально выметается в публику весь сор с заднего двора семейного пандемониума — все интересы, все явления делаются до того узенькими, до того пошлыми, что человеку, имеющему здоровое обоняние, может сделаться тошно.

И между тем — замечательная вещь! — даже личность, одаренная наиболее деликатными нервами, редко успевает отделаться от сокрушительного влияния этой миниятюрной и, по наружности, столь непривлекательной жизни! Не вдруг, а день за день, воровски подкрадывается к человеку провинциальная вонь и грязь, и в одно прекрасное утро он с изумлением ощущает себя сидящим по уши во всех крошечных гнусностях и дешевых злодействах, которыми преизобилует жизнь маленького городка. Отбиться от них нет никакой возможности: они, как мошки в Барабинской степи, залезают в нос и уши и застилают глаза. И в самом деле, как бы ни была грязна и жалка эта жизнь, на которую слепому случаю угодно было осудить вас, все же она жизнь, а в вас самих есть такое нестерпимое желание жить, что вы с закрытыми глазами бросаетесь в грязный омут — единственную сферу, где вам представляется возможность истратить как попало избыток жизни, бьющий ключом в вашем организме. И вот провинциальная жизнь предлагает вам свои дешевые материальные удоб-

ства, свою лень, свои сплетни, свой нетрудный и незамысловатый разврат... И все это так легко, так просто достается! Вам начинает сдаваться, что вы нечто вроде сказочного паши, что стоит вам только пожелать, чтобы все исполнилось... Правда, залетает иногда мимоходом в вашу голову мысль, что и желания ваши сделались как будто ограниченнее, и умственный горизонт как-то стал уже, что вы легче, дешевле миритесь и удовлетворяетесь, что вообще в вас происходит что-то неловкое, неладное, от чего в иные минуты бросается вам в лицо краска... Но мало-помалу и эта докучная мысль начинает беспокоить вас реже и реже; вы даже сами спешите прогнать ее, как назойливого комара, и, к полному вашему удовольствию, добровольно, как в пуховике, утопаете в болоте провинциальной жизни, которого поверхность так зелена, что издали, пожалуй, может быть принята за роскошный луг.

Таким образом, и княжна очень скоро начала находить весьма забавным, что, например, вчерашнюю ночь Иван Акимыч, воротясь из клуба ранее обыкновенного, не нашел дома своей супруги, вследствие чего произошла небольшая домашняя драма, по-французски называемая *roman intime*¹, а по-русски потасовкой, и оказалось нужным содействие полиции, чтобы водворить мир между остервенившимися супругами.

— И после этого она решается показываться в обществе? — наивно вопрошает княжна.

— И, матушка! брань на вороту не виснет! — отвечала вдова Шилохвостова, — у наших барынь бока медные, а лбы чугунные!

В следующий раз предложен был рассказ о происшествии, случившемся в загородном саду. Повздорил стряпчий с каким-то секретарем. Секретарь пил чай, а стряпчий проходил мимо, и вдруг ни с того ни с сего хлысть секретаря в самую матушку-физиономию. Секретарь, не получавший подарков лет десять, возразил на это, что стряпчий подлец, а стряпчий отвечал, что не подлец, а тот подлец, кто платки из карманов ворует, и ударил секретаря вдругорядь в щеку. Кончилось дело, «ангел вы мой», тем, что в ссору вступился протоколист, мужчина вершков этак четырнадцати, который тем только и примирил враждующие стороны, что и ту и другую губительнейшим образом оттузил во все места.

И все это было передаваемо с тою бесцветною ясно-

¹ Интимный роман (фр.).

стию, которая составляет необходимую принадлежность всякого истинно правдивого деэписателя.

Княжна знала, какое количество ваты истребляет Надежда Осиповна, чтоб сделать свой бюст роскошным; знала, что Наталья Ивановна в грязь полезет, если видит, что там сидит мужчина; что Петр Ермолаич только до обеда бывает человеком, а после обеда, вплоть до другого утра, *не годится*; что Федору Платонычу вчерашнего числа прислал полорецкий городничий свежей икры *в презент*; что Вера Евлампьевна, выдавая замуж свою дочь, вызывала зачем-то окружных из уездов.

Однако ж в одно прекрасное утро княжна задумалась. Ей доложили, что Катерина Дементьевна рассказывала *там-то и там-то*, будто она, княжна, без памяти влюблена в секретаря земского суда Подгоняйчикова. Княжна не хотела верить, но впоследствии вынуждена была уступить очевидности. По произведенному под рукой дознанию оказалось, что Подгоняйчиков приходится родным братом Катерине Дементьевне, по муже Шилохвостовой, и что, по всем признакам, он действительно имел какие-то темные посягательства на сердечное спокойствие княжны. Признаки эти были: две банки помады и стклянка духов, купленные Подгоняйчиковым в тот самый период времени, когда сестрица его сделалась наперсницей княжны; гитара и бронзовая цепочка, приобретенная в то же самое время, новые брюки и, наконец, найденные в секретарском столе стихи *к ней*, писанные рукой Подгоняйчикова и, как должно полагать, им самим сочиненные.

Княжна пришла в ужас, и на другой день мадам Шилохвостова была с позором изгнана из дома, а Подгоняйчиков, для примера прочим, переведен в оковский земский суд на вакансию простого писца.

Весть эта с быстротою молнии разлилась по городу и произвела на чиновный люд какое-то тупое впечатление. Обвиняли все больше Подгоняйчикова.

— Слышал? — спрашивал Саша Дернов знакомого своего, Гирбасова, встретившись с ним на улице.

— Слышал, — отвечал Гирбасов, — что ж, сам виноват!

— Выходит, что надо держать язык за зубами...

— Да, этак-то, пожалуй, выгоднее. Недалеко ведь было ему и до станового!.. А не зайдешь ли к нам выпить водочки?

И затем Подгоняйчиков, со всею помадой и новыми брюками, навек канул в Лету.

Разочаровавшись насчет крутогорской дружбы, княжна решила заняться благотворительностью. Немедленно по принятии такого решения собраны были к ее сиятельству на совет все титулярные советники и титулярные советницы, способные исполнять какую бы то ни было роль в предложенном княжною благородном спектакле. Выбрана была пьеса «И хороша и дурна» и т. д. Главную роль должна была исполнить, *comme de raison*¹, сама виновница сего торжества; роль же Емельяна выпала на долю статского советника Фурначева. Статскому советнику думали польстить, дав ему эту роль, потому что его высокородие обладал действительным комическим талантом; однако, сверх всякого ожидания, это обстоятельство погубило спектакль. Статский советник Фурначев оскорбился; он справедливо нашел, что в Крутогорске столько губернских секретарей, которые, так сказать, созданы в меру Емельяна, что странно и даже неприлично возлагать такое поручение на статского советника. Спектакль не состоялся, но прозвище Емельяна навсегда упрочилось за статским советником Фурначевым. Даже уличные мальчишки, завидя его издали, поспешающего из палаты отведать горячих щей, прыгали и кричали что есть мочи: «Емельян! Емельян идет!»

Княжна этим утешилась.

После этой неудачи княжна попробовала благотворительной лотереи. К участию приглашены были все лица, известные своею благотворительностью на пользу ближнего. В разосланных на сей конец объявлениях упомянуты были слезы, которые предстояло отереть, старцы, обремененные детьми, которых непременно нужно было одеть, и даже дети, лишенные старцев. В одно прекрасное утро проснувшиеся крутогорские чиновники с изумлением увидели, что по улицам мирного Крутогорска журчат ручьи слез, а площади покрыты дрожащими от холода голыми малютками. И княжна не напрасно зывала к чувствительным сердцам крутогорцев. Первым на ее голос отозвался управляющий палатой государственных имуществ, как *grand seigneur*² и сам попечитель множества малюток, приславший табакерку с музыкой; за ним последовал непереманный член строительной комиссии, жена которого пожертвовала подушку с изображением турка, играющего на флейте. Через неделю кабинет княжны был наполнен

¹ Как и полагается (*фр.*).

² Вельможа (*фр.*).

всякого рода редкостями. Тут был и окаменелый рак, и вечная борзая собака в виде пресс-папье; но главную роль все-таки играли разного рода вышиванья.

Княжна была очень довольна. Она беспрестанно говорила об этих *милых* бедных и называла их не иначе, как *своими сиротками*. Конечно, «ее участие было в этом деле самое ничтожное»; конечно, она была только распорядительницей, «elle ne faisait que courir au devant des vœux de l'aimable société de Kroutogorsk»¹ — тем не менее она была так счастлива, так проникнута, «si pénétrée»², святостью долга, выпавшего на ее долю! — и в этом, единственно в этом, заключалась ее «скромная заслуга». Если бы nous autres³ не спешили навстречу de toutes les misères⁴, которые точат, oui qui rongent — c'est le mot⁵ — наше бедное общество, можно ли было бы сказать, что мы исполнили наше назначение? С другой стороны, если б не было бедных, этих *милых* бедных, — не было бы и благотворительности, некому было бы утирать нос и глаза, et alors où serait le charme de cette existence!⁶ Княжна распространилась очень много насчет удовольствий благотворительности и казалась до того пропитанною благовоением любви к ближнему, что девицы Фигуркины, тщательно наблюдавшие за нею и передразнивавшие все ее движения, уверяли, что из головы ее, во время розыгрыша лотереи, вылетало какое-то электричество.

Но, увы! кончилась и лотерея; брандмейстер роздал по два целковых всем безносым старухам, которые оказались на ту пору в Крутогорске; старухи, в свою очередь, внесли эти деньги полностью в акцизно-откупное комиссионерство — и снова все сделалось тихо.

Снова осталась княжна один на один с своею томительною скукой, с беспредметными тревогами, с непереносимым желанием высказаться, поделиться с кем-нибудь жаждой любви и счастья, которая, как червь, источила ее бедное сердце. Снова воздух насытился звуками и испареньями, от которых делается жутко сердцу и жарко голове.

Однажды княжне встретилась необходимость войти в

¹ Она только спешила навстречу пожеланиям милого крутогорского общества (*фр.*).

² Так проникнута (*фр.*).

³ Мы (*фр.*).

⁴ Всем бедствиям (*фр.*).

⁵ Да, которые точат — это подходящее слово (*фр.*).

⁶ И тогда в чем была бы прелесть этого существования! (*фр.*)

комнату, которая была предназначена для дежурного чиновника. На этот раз дежурным оказался Павел Семенович Техоцкий, молодой человек, отлично скромный и обладавший сверх того интересным и бледным лицом. Павел Семенович, при появлении княжны, несколько смутился; княжна, при взгляде на Павла Семеновича, слегка покраснела. В руках у нее был конверт, и конверт этот, неизвестно по какой причине, упал на пол. Техоцкий бросился поднимать его и... поднял. Княжна поблагодарила, но без всякого изменения и дрожания в голосе, как ожидают, быть может, некоторые читатели, сохранившие юношескую привычку верить во внезапные симпатии душ.

— Не можете ли вы отнести этот конверт на почту? — спросила княжна.

Техоцкий взял конверт и удалился из комнаты.

Несмотря на свою кажущуюся ничтожность, происшествие это имело чрезвычайное влияние на княжну. Неизвестно почему, ей показалось, что Техоцкий принадлежит к числу тех гонимых и страждущих, которые стоят целую голову выше толпы, их окружающей, и по этому самому должны каждый свой шаг в жизни запечатлеть жертвованиями и упорною борьбою. Она не имела времени или не дала себе труда подумать, что такие люди, если они еще и водятся на белом свете, высоко держат голову и гордо выставляют свой нахальный нос в жертву дерзким ветрам, а не понуривают ее долу, как это делал Техоцкий.

Княжна сама себя считала одною из «непризнанных», и потому весьма естественно, что душа ее жаждала встретить такого же «непризнанного». С двадцатипятилетнего возраста, то есть с того времени, как мысль о наслаждениях жизни оказалась крайне сомнительною, княжна начала уже думать о *гордом страдании* и мысленно создавала для себя среди вечно волнующегося океана жизни неприступную скалу, с вершины которой, она, «непризнанная», с улыбкой горечи и презрения смотрела бы на мелочную суетливость людей. Мудрено ли, что она и Техоцкого нарядила в те самые одежды, в которых сама мысленно любила красоваться: сердце так легко находит то, к чему постоянно стремится! Расстояние, которое лежало между ею и бедным маленьким чиновником канцелярии ее папаша, только давало новую пищу ее воображению, раздражая его и ежечасно подстрекая то стремление к неизвестному и неизведанному, которое во всякой женщине составляет господствующую страсть.

Княжна сделалась задумчивее и вместе с тем как-то деятельнее. Она чаще устраивала собрания и всякого рода общественные увеселения и чрезвычайно хлопотала, чтобы в них принимало участие как можно более молодых людей. Иногда ей удавалось встречать там Техоцкого, и хотя, по своему положению в губернском свете, она не могла ни говорить, ни танцевать с ним, но в эти вечера она была вполне счастлива. По возвращении домой она садилась к окну, и сердце ее делалось театром тех жгучих наслаждений, которые сушат человека и в то же время втягивают его в себя сверхъестественною силой. Слова любви, полные тоски и молений, тихо нежили ее слух; губы ее чувствовали чье-то жаркое прикосновение, а в жилах внезапно пробегала тонкая, разъедающая струя огня... Мучительные, но отменно хорошие мгновения!

Однако ж встречи с Техоцким не могли быть частыми. Оказалось, что для того, чтобы проникнуть в святилище веселия, называемое клубом, необходимо было вносить каждый раз полтинник, и это правило, неудобное для мелких чиновников вообще, было в особенности неудобно для Техоцкого, который был из мелких мельчайшим. Узнавши об этом, княжна рассердилась; по выражению Сафо, которая, по всем вероятностям, приходилась ей двоюродною сестрицей, она сделалась «зеленее травы». Сверх того, и в отношении к туалету у Техоцкого не все было в исправности, и провинности, обнаруживавшиеся по этой части, были так очевидны, что не могли не броситься в глаза даже ослепленной княжне. Фрак был и короток и узок; рукава как-то мучительно обтягивали руки и на швах побелели; пуговицы обносились; жилет оказывался с какими-то стеклянными пуговицами, а перчаток и совсем не было... вовсе неприлично! Хоть княжна и стремилась душой к гонимым и непризнанным, но ей было желательно, чтоб они были одеты прилично, имели белые перчатки и носили лакированные сапоги. Это так мило: Чайльд-Гарольд, с бледными щеками, высоким лбом — и в бесподобнейшем черном фраке! У княжны имелась небольшая сумма денег, сбережения от покупки разного женского тряпья: предстояло деньги эти во что бы то ни стало вручить Техоцкому.

Павел Семеныч был снова дежурным, и снова княжна посетила дежурную комнату. Оказывалось нужным написать какой-то адрес на конверте письма.

— Отчего вы не бываете в клубе? — спросила княжна совершенно неожиданно, и на этот раз с видимым волнением.

Техоцкий смутился и просто ни слова не ответил. — Вы хорошо пишете, — сказала княжна, рассматривая его почерк.

Но Техоцкий опустил глаза в землю и продолжал упорно молчать.

— Вы где учились?

— В училище детей канцелярских служащих, ваше сиятельство, — отвечал Техоцкий скороговоркой и покраснев как рак.

Княжна задумалась. При всей ее экзальтации, сочетание слов «сиятельство» и «училище детей канцелярских служащих» звучало так безобразно, что не могло не поразить ее.

— Хорошо, — сказала она, — приходите завтра; мне нравится ваш почерк, и я найду для вас работу.

Княжна откопала какую-то старую рукописную поэму; нашла, что она дурно переписана, и на другой день вручила ее Техоцкому.

— Вы можете разобрать эту руку? — спросила княжна.

— Точно так-с, ваше сиятельство, — отвечал Техоцкий.

— Отчего вы говорите мне «ваше сиятельство»?

Техоцкий молчал.

— Порядочные люди говорят просто «княжна», — продолжала она задумавшись и как будто про себя. — Вы читаете что-нибудь?

— Никак нет-с.

— Чем же вы занимаетесь?

— Служу-с.

— А дома?

Техоцкому сделалось неловко.

— Вы читайте, — сказала княжна и сделала знак головой, чтоб он удалился.

По уходе его Anne Львовне сделалось необыкновенно грустно: ничтожество и неотесанность Техоцкого так ярко выступили наружу, что ей стало страшно за свои чувства. В это время вошел в ее комнату папаша; она бросилась к нему, прижалась лицом к его груди и заплакала.

— Что ты! что с тобой, дурочка? — спросил его сиятельство, сильно перетревожившись.

— Мне скучно, папаша, — отвечала княжна, вдруг превращаясь в доверчивого и картавящего шестнадцатилетнего ребеночка.

Его сиятельство, откровенно сказать, был вообще про-

стоват, а в женских делах и ровно ничего не понимал. Однако он притворился, будто об чем-то думает, причем физиономия его приняла совершенно свиное выражение, а руки как-то нескладно болтались по воздуху.

— Уж, право, я не знаю, чего тебе, дурочка, хочется! — сказал он в сильнейшем раздумье, — кажется, ты первое лицо в городе... право, не знаю, чего тебе хочется!

И князь усиленно вздохнул, как будто вывез целый воз в гору.

— Папасецка! какое самое последнее место в свете? — вдруг спросила княжна.

— То есть как самое последнее?

— Ну да, самое последнее — такое вот, где все приказывают, а сам никому не приказываешь, где заставляют писать, дежурить...

Князь углубился.

— То есть, как же дежурить? — спросил он, — дежурят, дурочка, чиновники, *mais on n'en parle pas*...¹

— Ну, а какое место выше чиновника?

Князь чрезвычайно обрадовался случаю выказать перед дочерью свои административные познания и тут же объяснил, что чиновник — понятие генерическое, точно так же, как, например, рыба; что есть чиновники-осетры, как его сиятельство, и есть чиновники-пискари. Бывает и еще особый вид чиновника — чиновник-щука, который во время жора заглатывает пискарей; но осетры, *ma chère enfant, c'est si beau, si grand, si sublime*², что на такую мелкую рыбешку, как пискари, не стоит обращать и внимание. Княжна призналась, что она знает одного такого пискаря; что у него старушка-мать, *une gentille petite vieille et très propre*³ — право! и пять сестер, которых он единственная опора. И для того, чтобы эта опора была солиднее, необходимо как можно скорее произвести пискаря, по крайней мере, в щурята

Между тем Павел Семеныч, по свойственной человечеству слабости, спешил сообщить о постигшем его счастье испытанному своему другу Петьке Трясучкину. Трясучкин получал жалованья всего пять рублей в месяц и по этой причине был с головы до пяток закален в горниле

¹ Но о них не говорят... (фр.)

² Милое мое дитя, это так красиво, так крупно, так величественно (фр.).

³ Прелестная старушка и очень благовоспитанная (фр.).

житейских бедствий. Родители назвали его при рождении Петром, но обычай утвердил за ним прозвание Петуха, с которым он совершенно освоился. Некоторые называли его также принцем и вашим превосходительством: он и на эти прозвища откликался, и вообще выказывал в этом отношении полнейшее равнодушие. Только действительное его имя, Петр Иванович, несколько дико звучало в его ухе: до такой степени оно было изгнано из общего употребления.

Юные коллежские регистраторы и канцелярские чиновники избирали его своим конфидентом в сердечных случаях, потому что он по преимуществу был муж совета. Хотя бури жизни и порастрепали несколько его туалет, но никто не мог дать более полезного наставления насчет цвета штанов, который мог бы подействовать на сердце женщины с наиболее сокрушительной силой...

Трясучкин выслушал внимательно простодушный рассказ своего друга и заметил, что «тут, брат, пахнет Подгнойчиковым».

— Это, брат, дело надобно вести так, — продолжал он, — чтоб тут сам черт ничего не понял. Это, брат, ты по-приятельски поступил, что передо мной открылся; я эти дела вот как знаю! Я, брат, во всех этих штуках искусился! Недаром же я бедствовал, недаром три месяца жил в шкапу в уголовной палате: квартиры, брат, не было — вот что!

— Ну, так как же ты думаешь, Петух! ведь тут славною можно штуку сыграть!

Трясучкин замотал головой.

— Ты *меня* послушай! — говорил он таинственным голосом, — это, брат, все зависит от того, как поведешь дело! Может быть славная штука, может быть и скверная штука; можно быть становым и можно быть ничем... понимаешь?

— Да, оно хорошо, кабы становым!

— Ты сказал: становым — хорошо! Следовательно, и действуй таким манером, чтоб быть тебе становым. А если, брат, будешь становым, возьми меня к себе в письмоводители! Мне, брат, что! мне хлеба кусок да место на печке! я, брат, спартанец! одно слово, в шкапу три месяца выжил!

— Как в шкапу?

— Так, брат, в шкапу! Ты думаешь, может, делу обо мне в шкапу лежало? так нет: сам своею собственною персонею в шкапу, в еловом шкапу, обитал! там, брат, и ночевал.

— Так вот мы каковы! — говорил Техоцкий, охорашиваясь перед куском зеркала, висевшим на стене убогой комнаты, которую он занимал в доме провинциальной секретарши Оболдуевой, — в нас, брат, княжны влюбляются!.. А ведь она... того! — продолжал он, приглаживая начатки усов, к которым все канцелярские чувствуют вообще некоторую слабость, — бабенка-то она хоть куда! И какие, брат, у нее ручки... прелесть! так вот тебя и манит, так и подмывает!

— Что ручки! — отвечал Трясучкин уныло, — тут главное дело не ручки, а становым быть! вот ты об чем подумай!

И на дружеском совете положено было о ручках думать как можно менее, а, напротив того, все силы-меры направить к одной цели — месту станового.

Ваше сиятельство! куда вы попали? что вы сделали? какое тайное преступление лежит на совести вашей, что какой-то Трясучкин, гадкий, оборванный, Трясучкин осмеливается взвешивать ваши девственные прелести и предпочитать им — о, ужас! — место станового пристава? Embourbée! embourbée! Все воды реки Крутогорки не смоют того пятна, которое неизгладимо легло на вашу особу!

Княжна действительно томится и увядает. Еще в детстве она слышала, что одна из ее grandes-tantes, princesse Nina², убежала с каким-то разносчиком; ей рассказывали об этой истории, comme d'une chose sans nom³, и даже, из боязни запачкать воображение княжны, не развивали всех подробностей, а выражались общими словами, что родственница ее сделала vilenie⁴. И вдруг та же самая vilenie повторяется на ней! Потому что ведь разносчик и Техоцкий — это, в сущности, одно и то же, потому что и папа удостоверяет, что чиновники, ma chère enfant, ce sont de ces gens, dont on ne parle pas⁵.

И между тем сердце говорит громче, нежели все доводы рассудка; сердце дрожит и сжимается, едва заслышит княжна звуки голоса Техоцкого, как дрожит и сжимается мышонок, завидев для себя неотразимую смерть в образе жирного, самодовольного кота.

И чем пленил он ее? Что могло заставить ее, княжну, снизойти до бедного, никем не замечаемого чиновника?

¹ Запуталась! погрязла! (фр.)

² Тетушек, княжна Нина (фр.).

³ Как о неслышанной вещи (фр.).

⁴ Низость (фр.).

⁵ Милое дитя, это люди, о которых не говорят (фр.).

Рассудок отвечает, что всему виною праздность, полная бездеятельность души, тоска, тоска и тоска! Но почему же не Трясучкин, а именно Техоцкий дал сердцу ту пищу, которой оно жаждало! Княжна с ужасом должна сознаться, что тут существуют какие-то смутные расчеты, что она сама до такой степени *embourbée*, что даже это странное сборище людей, на которое всякая порядочная женщина должна смотреть совершенно бесстрастными глазами, перестает быть безразличным сбродом, и напротив того, в нем выясняются для нее совершенно определительные фигуры, между которыми она начинает уже различать красивых от уродов, глупых от умных, как будто не все они одни и те же — о, *mon Dieu, mon Dieu!*¹

И за всем тем княжна не может не принять в соображение и того обстоятельства, что ведь Техоцкий совсем даже не человек, что ему можно приказать любить себя, как можно приказать отнести письмо на почту.

Это для него все единственно-с.

В этой борьбе, в этих сомнениях проходит несколько месяцев. Техоцкий, благодаря новому положению, созданному для него княжной, новой паре платья, которую также княжна успела каким-то образом устроить для него на свой счет, втерся в высшее крутогорское общество. Он уже говорит о княжне без подобострастия, не называет ее «сиятельством» и вообще ведет себя как джентльмен, который, по крутогорской пословице, «сальных свеч не ест, стеклом не закусывает». Сама княжна, встречая его в обществе, помаленьку заговаривает с ним. Разговор их обыкновенно отличается простотою и несложностью.

— Читали вы Оссиана? — спрашивает княжна, которой внезапно припадает смертная охота сравнить себя с одною из туманных героинь этого барда.

Техоцкий краснеет и закусывает губы. Ему в первый раз в жизни приходится слышать об Оссиане.

— Вы прочтите, — говорит княжна, несколько раздосадованная, что разговор, обещавший сделаться интересным, погиб неестественною смертью.

Вообще, княжна, имевшая случай читать много и пристально, любит сравнивать себя с героинями различных романов. Более других по сердцу пришелся Жорж Санд и ей, без всяких шуток, иногда представляется, что она — *Valentine*, а Техоцкий — *Venoît*.

И вот они встретились, и встретились наконец один на

¹ О, боже мой, боже мой! (*фр.*)

один. Дело происходило в загородной роще, в которую княжна часто езжала для прогулок. Жаркое летнее солнце еще высоко стояло на горизонте, но высокие сосны и ели, среди которых прорезаны аллеи для гуляющих, достаточно защищали от лучей его. В воздухе было томительно сухо и жарко; сильный запах сосны как-то особенно раздражительно действовал на нервы; в роще было тихо и мертво. Крутогорские жители вообще не охотники до романтических прогулок, а в шестом часу и подавно. В это время все спешат отделаться от ежедневного посещения статского советника Храповицкого, а не то чтоб гулять. Княжна ходила много и покраснелась; в эти минуты она была даже недурна и казалась несравненно моложе своих лет. Глаза ее были влажны и вместе с тем блестящи; рот полуоткрыт, дыхание горячо; грудь поднималась и опускалась с какою-то истомой... И надо же, в таком чрезвычайном положении, встретить — кого же? — предмет всех тайных желаний, Павла Семеныча Техоцкого!

Что эта встреча была с ее стороны не преднамеренная — доказательством служит то, что ей сделалось дурно, как только Техоцкий предстал пред глазами ее во всем блеске своей новой пары.

Человека княжны вблизи не было, и Техоцкому волею-неволею пришлось поддержать ее и посадить на скамью. Неизвестно, как это случилось, но только когда княжна открыла глаза, то голова ее покоилась на плече у возлюбленного. Очнувшись, она было отшатнулась, но, вероятно, пары, наполнявшие в то время воздух, были до того отуманивающего свойства, что головка ее сама собой опять прильнула к плечу Техоцкого. Так пробыла она несколько минут, и Техоцкий возымел даже смелость взять ее сиятельство за талию: княжна вздрогнула; но если б тут был посторонний наблюдатель, то в нем не осталось бы ни малейшего сомнения, что эта дрожь происходит не от неприятного чувства, а вследствие какого-то странного, всеобщего ощущения довольства, как будто ей до того времени было холодно, и теперь вдруг по всему телу разлилась жизнь и теплота. Княжна даже не глядела на своего обожателя; она вся сосредоточилась в себе и смотрела совсем в другую сторону. Но если бы она могла взглянуть в глаза Техоцкому, если б талия ее, которую обнимала рука милого ей канцеляриста, была хоть на минуту одарена осязанием, она убедилась бы, что взор его туп и безучастен, она почувствовала бы, что рука эта не согрета внутренним огнем.

Техоцкий молчал; княжна также не могла произнести ни слова. В первом молчании было результатом тупости чувства, во второй — волнения, внезапно охватившего все ее существо. Наконец княжна не выдержала и заплакала.

— Ваше сиятельство! — произнес Техоцкий.

Но княжна не слышала и продолжала плакать.

— Ваше сиятельство! — вновь начал Техоцкий, — имею до вас покорнейшую просьбу.

Княжна вдруг перестала плакать и пристально посмотрела на него. Техоцкий упал на колени.

— Ваше сиятельство! — вопиял он, лоя ее руки, — заставьте Бога за вас молить! похлопочите у его сиятельства!

Княжна встала.

— Что вам нужно? — спросила она сухо.

— Мне-с?.. в Оковском уезде открывается вакансия станowego пристава.

— А!.. — произнесла княжна и с достоинством удалилась по аллее.

К сожалению, полная развязка этой истории не дошла до меня; знаю только, что с этого времени остроумнейшие из крутогорских чиновников, неизвестно с какого повода, прозвали княжну пауком-бабой.

ПРИЯТНОЕ СЕМЕЙСТВО

Если вы живали в провинции, мой благосклонный читатель, то, вероятно, знаете, что каждый губернский и уездный город непременно обладает своим «приятным» семейством, точно так же как обладает городничим, исправником и т. п. В приятном семействе все члены, от мала до велика, наделены какими-нибудь талантами. Первый и существеннейший талант принадлежит самим хозяину и хозяйке дома и заключается в том, что они издали в свет целый выводок прелестнейших дочерей и немалое количество остроумнейших птенцов, составляющих красу и утешение целого города. Затем, старшая дочь играет на фортепьяно, вторая дочь приятно поет романсы, третья танцует характерные танцы, четвертая пишет, как Севинье, пятая просто умна и т. д. Даже маленькие члены семейства и те имеют каждый свою специальность: Маша декламирует басню Крылова, Люба поет «По улице мостовой», Ваня оденется ямщиком и пропляшет русскую.

— Вы не поверите, мсьё NN, — говорит обыкновенно

хозяйка дома, — как я счастлива в семействе; мы никогда не скучаем.

— Да, мы никогда не скучаем, — отзывается хозяин дома, широко и добродушно улыбаясь.

В приятном семействе главную роль обыкновенно играет тамап, к которой и гости и дети обращаются. Эту тамап я, признаюсь откровенно, не совсем-то долблываю; по моему мнению, она самая неблагонамеренная дама в целом Крутогорске (ограничимся одним этим милым мне городом). Мне кажется, что только горькая необходимость заставила ее сделать свой дом «приятным», — необходимость, осуществившаяся в лице нескольких дочерей, которые, по достаточной зрелости лет, обещают пойти в семена, если в самом непродолжительном времени не будут пристроены. Мне кажется, что в то время, когда она, стиснув как-то зубы, с помощью одних своих тонких губ произносит мне приглашение пожаловать к ним в один из следующих понедельников, то смотрит на меня только как на искусного пловца, который, быть может, отважится вытащить одну из ее утопающих в зрелости дочерей. Когда я бываю у них, то уверен, что она следит за каждым куском, который я кладу в рот; тщетно стараюсь я углубиться в свою тарелку, тщетно стараюсь сосредоточить всю свою мысль на лежащем передо мною куске говядины: я чувствую и в наклоненном положении, что неблагонамеренный ее взор насквозь пронизывает меня. Разговаривая с ней за ужином, я вижу, как этот взор беспрестанно косит во все стороны, и в то время, когда, среди самой любезной фразы, голос ее внезапно обрывается и принимает тоны надорванной струны, я заранее уж знаю, что кто-нибудь из приглашенных взял два куска жаркого вместо одного, или что лакей на один из столов, где должно стоять кагорское, ценою не свыше сорока копеек, поставил шато-лафит в рубль серебром.

Вообще, посещая «приятное семейство» по понедельникам, я всегда нахожусь в самом тревожном положении. Во-первых, я постоянно страшусь, что вот-вот кому-нибудь не достанет холодного и что даже самые взоры и распорядительность хозяйки не помогут этому горю, потому что одною распорядительностью никого накормить нельзя; во-вторых, я вижу очень ясно, что Марья Ивановна (так называется хозяйка дома) каждый мой лишний глоток считает личным для себя оскорблением; в-третьих, мне кажется, что, в благодарность за вышеозначенный лишний глоток, Марья Ивановна чего-то ждет от меня, хоть бы,

например, того, что я, преисполнившись яств, вдруг сделаю предложение ее Sevigné, которая безобразием превосходит всякое описание, а потому менее всех подает надежду когда-нибудь достигнуть тех счастливых островов, где царствует Гименей.

Некоторые, впрочем, из моих добрых знакомых искусно пользуются этим обстоятельством, чтобы совершенно истерзать сердце Марьи Ивановны. Мой друг Василий Николаич¹, например, никак не упустит случая, чтобы не накласть себе на тарелку каждого кушанья по два и даже по три куска, и половину наложенного сдает лакею нетронутую. Точно так же поступает он и с вином, если оно оказывается уж чересчур кислым. В этом случае он подзывает лакея к себе и без церемонии приказывает ему подать вина с другого стола, за которым сидят женихи и статские советники. Однажды даже, когда подавали Василью Николаичу блюдо жареной индейки, он сказал очень громко лакею: «Э, брат, да у вас нынче индейка-то, кажется, кормленая!» — и вслед за тем чуть ли не половину ее стащил к себе в тарелку. Вследствие этого между Марьей Ивановной и Васильем Николаичем существует тайная вражда, и я даже сам слышал, как Марья Ивановна, обратясь к одному из статских советников, сказала: «Чего хочет от меня этот злой человек?»

Независимо от этих свойств, доказывающих ее материнскую заботливость, Марья Ивановна не прочь иногда и посплетничать, или, как выражаются в Крутогорске, вымыть ближнему косточки. Я положительно могу даже уверить, что она, в этом смысле, обладает весьма замечательными авторскими способностями. Главная ее тактика заключается в том, чтоб подойти к истязуемому предмету с слабой стороны: польстить, например, самолюбию, подъехать с участием и т. п. На молодежь это действует почти без промаха. Сказанное вовремя и кстати слово участия мгновенно вызывает наружу все, что таилось далеко на дне молодой души. Душа начинает тогда без разбора и без расчета выбрасывать все свои сокровища; иногда даже и привирает, потому что когда дело на откровенность пошло, то не приврать точно так же невозможно, как невозможно не наесться до отвала хорошего и вкусного кушанья. Но здесь-то и стережет вас Марья Ивановна; она кстати пожалеет вас, если вы, например, влюблены, кстати

¹ См. «Буеракин» и «Христос воскрес». (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

посмеется с вами, если вы, в шутливом русском тоне, рассказываете какую-нибудь новую штуку князя Чебылкина; но будьте уверены, что завтра же и любовь ваша, и проделка его сиятельства будут известны целому городу. На этот счет у Марьи Ивановны имеется также своя особая сноровка. Сохрани бог, чтоб она назвала вас или сказала кому-нибудь, что вы в том-то ей сознались или то-то ей рассказали. Нет, она подходит к какой-нибудь Анфисе Петровне и издалека начинает с ней следующего рода разговор.

— Вы знаете мсьё Щедрина? — спрашивает Марья Ивановна.

— Не имею этой чести, — отвечает Анфиса Петровна, построивши на лице бесконечно язвительную улыбку, потому что Анфисе Петровне ужасно обидно, что мсьё Щедрин, с самого дня прибытия в Крутогорск, ни разу не заблагорассудил явиться к ней с почтением. Замечу мимоходом, что Марья Ивановна очень хорошо знает это обстоятельство, но потому-то она и выбрала Анфису Петровну в поверенные своей сплетни, что, во-первых, пренебрежение мсьё Щедрина усугубит рвение Анфисы Петровны, а во-вторых, самое имя мсьё Щедрина всю кровь Анфисы Петровны мгновенно превратит в сыворотку, что также на руку Марье Ивановне, которая, как дама от природы неблагонамеренная, за один раз желает сделать возможно большую сумму зла и уязвить своим жалом несколько персон вдруг.

— Какой милый, прекрасный молодой человек! — продолжает Марья Ивановна, видя, что Анфису Петровну подергивает судорога, — если б в Крутогорске были всё такие образованные молодые люди, как приятно было бы служить моему Алексису!

— Их все хвалят! — ехидно произносит Анфиса Петровна, переполняясь оцтом и желчью.

— И между тем, представьте, как он страдает! Вы знаете Катерину Дмитриевну? — бедненький!

Анфиса Петровна чуть дышит, чтоб не проронить ни одного слова.

— Ведь вы знаете, *entre nous soit dit*¹, что муж ее... (Марья Ивановна шепчет что-то на ухо своей собеседнице.) Ну, конечно, мсьё Щедрин, как молодой человек... Это очень понятно! И представьте себе: она, эта холодная, эта бездушная кокетка, предпочла мсьё Щедрина — кого

¹ Между нами говоря (*фр.*).

же? — учителя Линкина! Vous savez?.. Mais elle a des instincts, cette femme!!!¹

И, несмотря на все свое сострадание к мсьё Щедрину, Марья Ивановна хохочет, но каким-то таким искусственным, деланным смехом, что даже Анфисе Петровне становится от него жутко.

— Этого всегда должно было ожидать, — отвечает кратко собеседница.

— Я его сегодня спрашиваю, отчего вы, мсьё Щедрин, такой бледненький? А он мне: «Ах, Марья Ивановна, если б вы знали, что в моем сердце происходит!..» Бедненький!

И тот же деланный смех снова коробит Анфису Петровну, которая очень любит рассказы Марьи Ивановны, но не может привыкнуть к ее смеху.

— Так вы думаете, что Катерина Дмитриевна?..

— Еще бы! — отвечает Марья Ивановна, и голос ее дрожит и переходит в декламацию, а нос, от душевного волнения, наполняется кровью, независимо от всего лица, как пузырек, стоящий на столе, наполняется красными чернилами, — еще бы! вы знаете, Анфиса Петровна, что я никому не желаю зла — что мне? Я так счастлива в своем семействе! но это уж превосходит всякую меру! Представьте себе...

Тут начинается шепот, который заключается словами: «Ну, скажите на милость!» И должно быть, в этом шепоте есть что-то весьма сатанинское, потому что Анфиса Петровна довольна полученными сведениями выше всякого описания.

Что касается до главы семейства, то он играет в своем доме довольно жалкую роль и значением своим напоминает того свидетеля, который, при следствии, на все вопросы следователя отвечает: запомнил, не знаю и не видал. Он очень счастлив по понедельникам, потому что устраивает в этот день себе копейную партию, и хотя партнеры его беспощадно ругают, потому что он в карты ступить не умеет, но он не обижается. Сверх того, в эти дни он имеет возможность наесться досыта, ибо носят слухи, что Марья Ивановна, как отличная хозяйка, держит обыкновенно и его, и всю семью впроголодь. Если кто-нибудь с ним заговаривает, а это случается лишь в тех случаях, когда желают потешиться над его простодушием, лицо его принимает радостно-благодарное выражение; участие же в

¹ Знаете?.. Ведь эта женщина не без темперамента!!! (фр.)

разговоре ограничивается тем, что он повторяет последние слова своего собеседника.

Василий Николаич не преминул воспользоваться и этим обстоятельством. Несколько понедельников сряду, к общему утешению всей крутогорской публики, он рассказывал Алексею Дмитричу какую-то историю, в которой одно из действующих лиц говорит: «Ну, положим, что я дурак», и на этих словах прерывал свой рассказ.

— Я дурак, — кротко повторял Алексей Дмитрич.

— Ах, что это какой ты рассеянный, Алексис! — отзывается вдруг Марья Ивановна, прислушиваясь к разговору.

Вообще, Василий Николаич смотрит на Алексея Дмитрича как на средство самому развлечься и других позабавить. Он показывает почтеннейшей публике главу «приятного семейства», как вожак показывает ученого медведя.

Говорят, будто Алексей Дмитрич зол, особенно если натравит его на кого-нибудь Марья Ивановна. Я довольно верю этому, потому что и из истории известно, что глупые люди и обезьяны всегда злы под старость бывали.

— Умный человек-с, — говаривал мне иногда по этому поводу крутогорский инвалидный начальник, — не может быть злым, потому что умный человек понятие имеет-с, а глупый человек как обозлится, так просто, без всякого резона, как индейский петух, на всех бросается. Вот хоть бы Алексей Дмитрич! за что они на меня сердятся? За то, что я коляски для них в мастерской не сделал? Точно мне жалко мастеровых-с, или я обязанности своей не понимаю-с! Докладывал я им сколько раз, что материалу у меня такого не имеется — так нет, сударь! заладил одно: не хочешь да не хочешь; ну, и заварили кашу. Посудите сами, я-то чем же тут виноват?.. Оно и выходит, что и перевернешься — бьют, и не перевернешься — бьют: вот она, какова гусарская служба!

О прочих членах семейства сказать определительного ничего нельзя, потому что они, очевидно, находятся под гнетом своей татап, которая дает им ту или другую физиономию, по своему усмотрению. Несомненно только то, что все они снабжены разнообразнейшими талантами, а дочери, сверх того, в знак невинности, называют родителей не иначе, как «папасецка» и «мамасецка», и каким-то особенным образом подпрыгивают на ходу, если в числе гостей бывает новое и в каком-нибудь отношении интересное лицо.

Приехавши, в один из таких понедельников, к Размановским, я еще на лестнице был приятно изумлен звуками музыки, долетавшими до меня из передней. Действительно, там сидело несколько батальонных солдат, которые грустно настраивали свои инструменты.

— Слышь, Ильин, — говорил старший музыкант Пахомов, — ты у меня смотри! Коли опять в аллегро отстанешь, я из тебя самого флейту и контрабас сделаю.

— А что, верно, я рано забрался? — спрашиваю я у Василия Николаича, одиноко расхаживающего по зале.

— Да; вот я тут с полчаса уж дежурю, — отвечает он с некоторым ожесточением, — и хоть ты что хочешь! и кашлять принимался, и ногами стучал — нейдет никто! а между тем сам я слышу, как они в соседней комнате разливаются-хохочут!

— Да по какому случаю сегодня бал у Размановских?

— Разве вы не знаете? Ведь сегодня день ангела Агриппины, той самой, которая на фортепьянах-то играет. Ах, задущат они нас нынче пением и декламацией!

И точно, в соседней комнате послышалась визгливая рулада, производимая не столько приятным, сколько усердным голосом третьей дочери, Клеопатры, которая, по всем вероятностям, репетировала арию, долженствовавшую восхитить всех слушателей.

В это время вошел в комнату сам Алексей Дмитрич, и вслед за тем начали съезжаться гости.

— Вы, верно, спали? — спросил Василий Николаич хозяина.

— Спали, — отвечал тот кротко.

— А ведь знаете, коли зовете вы к себе гостей, так спать-то уж и не годится.

— Уж и не годится, — повторил старец.

Мало-помалу образовались в зале кружки, и даже Алексей Дмитрич, желая принять участие в общем разговоре, начал слоняться из одного угла в другой, наводя на все сердца нестерпимое уныние. Женский пол скромно пробирался через зал в гостиную и робко усаживался по стенке, в ожидании хозяек.

— Ну что, вы как поживаете, господа? — спросил я, подходя к кучке гарнизонных офицеров, одетых с иголочки и в белых перчатках на руках.

— Слава богу, Николай Иваныч, — отвечал один из них, — нынешним летом покормились-таки; вот и мундирцы новенькие пошили.

— Как же это вы «покормились»?

— Да вот партию сводили-с, так тут кой-чего к ладоням пристало-с...

Я ужасно люблю господ гарнизонных офицеров. Есть у них на все этакой взгляд наивный, какого ни один человек в целом мире иметь не может. Нынче гитара и флейта даже у приказных вывелись, а гарнизонный офицер остается верен этим инструментам до конца жизни, потому что посредством их он преимущественно выражает тоску души своей. Обойдут ли его партией — он угрюмо насвистывает «Не одна во поле дороженька»; закрадется ли в сердце его вожделение к женской юбке — он уныло выводит «Черный цвет», и такие вздохи на флейте выделяет, что нужно быть юбке каменной, чтобы противостоять этим вздохам. На целый мир он смотрит с точки зрения пайка; читает ли он какое-нибудь «сочинение» — думает: «Автор столько-то пайков себе выработал»; слышит ли, что кто-нибудь из его знакомых место новое получил — говорит: «Столько-то пайков ему прибавилось». Вообще они очень добрые малые и преуслужливые. На балах, куда их приглашают целою партией, чтоб девицы не сидели без кавалеров, они танцуют со всем усердием и с величайшею аккуратностью, не болтая ногами направо и налево, как штатские, а выделявая отчетливо каждое па. Марья Ивановна очень любит эту отчетливость и видит в ней несомненный знак преданности к ее особе.

— Посмотрите, как ваш Коловоротов от души танцует! — относится она к инвалидному начальнику, который самолично наблюдает, чтобы господа офицеры исполняли свои обязанности неуклонно.

— Усердный офицер-с! — отвечает командир угрюмо. Но обращаюсь к рассказу.

— О чем же вы так смеялись тут, господа? — спрашиваю я того же офицера, который объяснял мне значение слова «покормиться».

— Да вот Харченко анекдот рассказывал...

Общий смех.

— Вот-с, изволите видеть, — подхватывает торопливо Харченко, как будто опасаясь, чтобы Коловоротов или кто-нибудь другой не посягнул на его авторскую славу, — вот изволите видеть: стоял один офицер перед зеркалом и волосы себе причесывал, и говорит денщику: «Что это, братец, волосы у меня лезут?» А тот, знаете, подумавши этак минут с пять, и отвечает: «Весною, ваше благородие, всяка скотина линяет...» А в то время весна была-с, — прибавил он, внезапно краснея.

Новый взрыв смеха.

— И ведь «подумавши» — вот что главное! — говорит прапорщик Коловоротов.

— «Линяет!» — повторяет другой прапорщик, едва удерживая порывы смеха, одолевающие его юную грудь.

Но этот анекдот я уже давно слышал, и даже вполне уверен, что и все господа офицеры знают его наизусть. Но они невзыскательны, и некоторые повествования всегда производят неотразимый эффект между ними. К числу их относятся рассказы о том, как офицер тройку жидов загнал, о том, как русский, квартируя у немца, неприличность даже на потолке сделал, и т. д.

Я подхожу к другой группе, где друг мой Василий Николаич показывает публике медведя, то есть заставляет Алексея Дмитрича говорить разную чепуху. Около них собралась целая толпа народа, в которой немолчно раздаётся громкий и искренний смех, свидетельствующий о необыкновенном успехе представления.

— Да нет, я что-то не понимаю этого, — говорит Василий Николаич, — воля ваша, а тут что-нибудь да не так.

— Помилуйте, — возражает Алексей Дмитрич, — как же вы не понимаете? Ну, вы представьте себе две комиссии: одна комиссия и другая комиссия, и в обеих я, так сказать, первоприсутствующий... Ну вот, я из одной комиссии и пишу, теперича, к себе, в другую комиссию, что надо вот Василию Николаичу дом починить, а из этой-то комиссии пишу опять к себе в другую комиссию, что, врешь, дома чинить не нужно, потому что он в своем виде... понимаете?

— Ну, и ладно выходит? — спрашивает Василий Николаич.

— Ну, и ладно выходит, — повторяет Алексей Дмитрич.

Хохот, в котором хозяин дома принимает самое деятельное участие.

— Нет, тут что-нибудь да не то, — продолжает Василий Николаич, — конечно, экилибр властей — это слова нет; однако тут кто-нибудь да соврал. Поговорим-ка лучше об статистике.

— Поговорим об статистике, — повторяет Алексей Дмитрич.

— Ну, каким же образом вы сведения собираете? я что-то этого не понимаю. Сами ведь вы не можете сосчитать всякую овцу, и, однако ж, вот у вас значится в сведе-

ниях, что овец в губернии семьсот одиннадцать тысяч шестьсот шестьдесят три... Как же это?

Алексей Дмитрич улыбается.

— Вот то-то и есть, — говорит он, — все это только по наружности трудно. Вам с непривычки-то кажется, что я сам пойду овец считать, а у меня на это такие ходоки в уездах есть — вот и считают! Мое дело только остановить их, коли заврут, или прикрикнуть, если лениться будут. Вот, например, намеднись оковский исправник совсем одной статьи в своих сведениях не включил; ну, я, разумеется, сейчас же запрос: «Почему нет статьи о шелководстве?» Он отвечает, что потому этой статьи не включил, что и шелководства нет. Но он все-таки должен был в сведениях это объяснить.

— Да, да, — замечает Василий Николаич, — иначе какая же это будет статистика! Вот я тоже знал такого точного администратора, который во всякую вещь до тонкости доходил, так тот поручил однажды своему чиновнику составить ведомость всем лицам, получающим от казны арендные деньги, да потом и говорит ему: «Уж кстати, любезнейший, составьте маленький список и тем лицам, которые аренды не получают». Тот сгоряча говорит «слушаю-с», да потом и приходит ко мне: «Что, говорит, я стану делать?» Ну, я и посоветовал на первый раз вытребовать ревизские сказки из всех уездных казначейств.

Взрыв хохота.

— Николай Иваныч! Николай Иваныч! — слышу я голос князя Льва Михайлыча, зовущего меня с другого конца залы.

Я устремляюсь всеми силами души своей и стараюсь придать своему лицу благодарное и радостное выражение, потому что имею честь служить под непосредственным начальством его сиятельства.

— Мы здесь рассуждаем об том, — говорит он мне, — какое нынче направление странное принимает литература — всё какие-то нарывы описывают! и так, знаете, все это подробно, что при дамах даже и читать невозможно... потому что дама — *vous concevez, mon cher!*¹ — это такой цветок, который ничего, кроме тонких запахов, испускать из себя не должен, и вдруг ему, этому нежному цветку, предлагают навозную кучу... согласитесь, что это неприятно...

Я молча кланяюсь.

¹ Вы понимаете, мой милый! (фр.)

— Знакомят с какими-то лакеями, мужиками, солдатами... Слова нет, что они есть в природе, эти мужики, да от них ведь пахнет, — ну, и опрыскай его автор чем-нибудь, чтобы, знаете, в гостиную его ввести можно. А то так со всем, и с запахом, и ломают... это не только неприлично, но даже безнравственно...

У князя показываются слезы на глазах, потому что он очень добрый человек.

— Вот пошла, например, нынче мода на взяточничество нападать, — продолжает он. — Ну, конечно, это не хорошо взятки брать — кто же их защищает? *mais vous s'opposez, mon cher*, делай же он это так, чтоб читателю приятно было; ну, представь взяточника, и изобрази там... да в конце-то, в конце-то приготовь ему возмездие, чтобы знал читатель, как это не хорошо быть взяточником... а то так на распутии и бросит — ведь этак и понять, пожалуй, нельзя, потому что, если возмездия нет, стало быть, и факта самого нет, и все это одна клевета...

— Это совершенно справедливо ваше сиятельство изволили заметить, — вступается Порфирий Петрович, которого очень радует изреченная князем аксиома, что безнаказанность есть синоним невинности, — это совершенно справедливо, что голословно можно и самого чистого человека оклеветать.

— Я и сам не прочь иногда посмеяться, — снова проповедует его сиятельство, — *il ne faut pas être toujours taciturne, c'est mauvais genre!*¹ мрачные физиономии бывают только у лакеев, потому что они озабочены, как бы им подноса не уронить; ну, а мы с подносами не ходим, следовательно, и приличие требует иногда посмеяться; но согласитесь, что у наших писателей смех уж чересчур звонок... Вот, например, я составил проект комедии, послушайте и скажите свое мнение. На сцене взяточник, он там обирает, в карманы лезет — можно обрисовать его даже самыми черными красками, чтобы, знаете, впечатление произвести... Зритель увлечен; он уже думает, что личность его не безопасна, он ощупывает свои собственные карманы... Но тут-то, в эту самую минуту, и должна проявиться благонамеренность автора... В то самое время, как взяточник снимает с бедняка последний кафтан, из задней декорации вдруг является рука, которая берет взяточника за волосы и поднимает наверх... В этом месте занавес опускается, и зритель выходит из театра успокоенный и не застегивает даже своего пальто...

¹ Не следует быть всегда молчаливым, это дурная манера! (*фр.*)

— Это справедливо, — говорит Василий Николаич, который как-то незаметно подкрался к нам, — комедия вышла бы хорошая, только вряд ли актера можно такого сыскать, который согласился бы, чтоб его тащили кверху за волосы.

— Можно на это время куклой подменить, — отзывается князь довольно сухо.

Но в зале вдруг делается тихо. Является Марья Ивановна под руку с именинницей; прочие цветки роскошного букета скромно следуют сзади.

Князь Лев Михайлыч, семена ножками, поспешает навстречу Марье Ивановне.

— Vous voilà comme toujours, belle et parée!¹ — говорит он, обращаясь к имениннице. И, приятно округлив правую руку, предлагает ее Агриппине Алексеевне, отрывая ее таким образом от сердца нежно любящей матери, которая не иначе как со слезами на глазах решается доверить свое дитя когтям этого оплешивевшего от старости коршуна. Лев Михайлыч, без дальнейших церемоний, ведет свою даму прямо к роялю.

— Начинается истязание, — шепотом говорит мне Василий Николаич, который, несмотря на все свое остроумие, несколько побаивается Марьи Ивановны и не решается говорить вблизи ее громко.

Агриппина Алексеевна садится к роялю, отряхивает свои кудри и, приняв вид отчасти вдохновенный, отчасти полоумный, начинает разыгрывать какой-то «Rêve»². Я совершенно убежден, что в эту сладкую минуту она отнюдь не сомневается, что стихотворение Шиллера «Laure am Klavier»³ написано к ней и что имя Лауры есть не что иное, как грустная опечатка.

— Прекрасно! превосходно! с каким чувством! — слышится со всех сторон во время игры, а под конец пиесы зала наполняется громом аплодисментов.

Надо сказать здесь, что у Марьи Ивановны имеется в запасе свой *entrepreneur de succès*⁴, детина рыжий и с весьма развитыми мускулами, который не только сам аплодирует, но готов прибить всякого другого, кому вздумалось бы не аплодировать. Эта ехидная гадина, порождение провинциального клиентизма, угрюмо озирается во все стороны, как бы выискивая в толпе жертву, на которую можно

¹ Вот и вы, как всегда, красивая и нарядная! (фр.)

² «Греза» (фр.).

³ «Лаура у клавесина» (нем.).

⁴ Устроитель успеха (фр.).

было бы ему нашептать в уши Марье Ивановне. За этот бдительный надзор и за разные другие послуги, преимущественно по предмету заднекрылечного знакомства с уездными чиновниками и подрядчиками, совершающегося под печатью ненарушимой тайны, клиент пользуется чрезвычайно благосклонностью Марьи Ивановны и, кроме процентов в общих прибылях, имеет всегда готовый куверт за столом ее.

Марья Ивановна в восторге от похвал, отсюду раздающихся ее дочери, но вместе с этим она грустно потрясает головой.

— Если бы вы знали, — говорит она князю Льву Михайлычу, — если бы вы знали, *mon cher prince*¹, чего нам стоили все эти уроки: ведь Агриппина — ученица Герке.

— Шш... — раздается по зале, и все скромно рассаживаются по стульям, расставленным вдоль стен.

В середину залы выступает вторая дочь Марьи Ивановны, Аглаида, и звучным контральтовым голосом произносит стихи:

Тебя с днем ангела, сестра, я поздравляю,
Сестра! любимица зиждителя небес!
От сердца полноты всех благ тебе желаю,
И чтоб коварный ветр малютку не унес...

— Коварный ветр — это муж, — замечает Василий Николаич, — а малютка — сама виновница настоящего торжества!.. и заметьте: «небес» — «не унес».

Аглаида продолжает:

С гнезда родимого, от отческа крыла
Судьбина жесткая малютку унесла.
Мать безутешная! лети скорее, плачь:
Невинного птенца задушит сей палач...

— Да не вы ли «сей палач»? — обращается ко мне опять Василий Николаич, — а я думал, что долго не дождаться Агриппине «сего палача».

Прими ж, сестра, мое ты поздравленье,
И да услышит Бог последнее моление:
Да ниспошлет тебе он сердца чистоту
И да низвержет в прах злодеев клевету.

— А ведь «клевету»-то на ваш счет сказано, — говорю я, в свою очередь, Василию Николаичу.

¹ Дорогой князь (фр.).

— Может быть, — отвечает он, — а это она хорошо сделала, что пожелала Агриппине чистоты: опрятность никогда не мешает.

Гости начинают уже стучать стульями, в чайные, что испытание кончилось и что можно будет приступить к настоящим действиям, составляющим цель всякого провинциального праздника: танцам и висту. Но надежда и на этот раз остается обманутою. К роялю подходят Клеопатра и Агриппина.

— Эти же стихи, переложенные на музыку Агриппиной Алексеевны, будет петь Клеопатра Алексеевна, — объясняет рыжий клиент, проходя мимо нас.

— Выходит, что именинница сама себя поздравляет, — пополняет Василий Николаич: — *Никем же не мучими сами ся мучаху...*

Именинница аккомпанирует, а Клеопатра Алексеевна разливается. В патетических местах она оборачивается к публике всем корпусом, и зрачки глаз ее до такой степени пропадают, что сам исправник Живоглот — на что уж бестия! — ни под каким видом их нигде не отыскал бы, если б на него возложили это деликатное поручение. Пение кончается, и на этот раз аплодисманы раздаются с учетверенною силой, потому что все эти колодники, сидевшие вдоль стены, имеют полную надежду, что сюрпризы прекратились и они могут отправиться каждый по своему делу. И действительно, разносится слух, что поздравительный танец, предназначенный к исполнению через малолетних членов «приятного семейства», отложен до следующего понедельника.

— А очень жаль, очень жаль, — говорит Порфирий Петрович, подходя к Марье Ивановне, — очень было бы приятно полюбоваться, как эти ангельчики...

Марья Ивановна готова уже дать знак клиенту, чтобы исполнить желание гостей, но Порфирий Петрович, сам испугавшийся своего успеха, прибавляет:

— Впрочем, это удовольствие еще не ушло от нас: в следующий понедельник...

— Ну, то-то же! — шепчет Василий Николаич, — а то проврался было, старик!

В соседней комнате карточные столы уже заняты, а в передней раздаются первые звуки вальса. Я спешу к княжне Анне Львовне, которая в это время как-то робко озирается, как будто ища кого-то в толпе. Я подозреваю, что глаза ее жаждут встретить чистенького чиновника Техоц-

кого¹, и, уважая тревожное состояние ее сердца, почтительно останавливаюсь поодаль, в ожидании, покуда ей самой угодно будет заметить меня.

— Ah, c'est vous², мсьё Щедрин? — говорит она наконец, подавляя вздох, созревший в ее груди.

И мы несемся как вихрь по зале.

Княжна вообще очень ко мне внимательна, и даже не прочь бы устроить из меня поверенного своих маленьких тайн, но не хочет сделать первый шаг, а я тоже не поддаюсь, зная, как тяжело быть поверенным непризнанных страданий и оскорбленных самолюбий. В этот вечер она как-то ожесточена, смеется лихорадочным смехом и все будто хочет о чем-то спросить меня, но не придумает, как это сделать. Я знаю, что она хочет спросить, почему нет в числе гостей Техоцкого; но я не объясняю ей истинных причин этого отсутствия, потому что это могло бы огорчить ее. Мне известно, что Техоцкий не приглашен Марьей Ивановной именно в пику княжне и в видах сохранения добрых нравов в городе Крутогорске.

— Помилуйте, — говорила мне сама Марья Ивановна, — ведь она такая exaltée³, пожалуй, еще на шею ему вешаться станет, а у меня дочери-девицы!

— Как вам кажется эта фантазия угощать произведениями своей домашней кухни? — спрашивает меня княжна, когда мы уселись с ней рядом в кадрили. Очевидно, что она намекает на выставку талантов, производившуюся перед открытием танцев.

— Вы знаете, княжна, — отвечаю я, — что я не имею никакого мнения на этот счет.

Но княжна, очевидно, меня не слушает.

— И заметьте, — продолжает она, — как все это самодовольно навязывается вам! и эта Клеопатра с своим маринованным голосом, и этот идиот Алексис, и нахальная Марья Ивановна...

Княжна слегка вздрагивает, произнося это ненавистное для нее имя.

— Вам начинать, — говорю я.

— А вы не знаете... — спрашивает она, когда мы сели на места, и вдруг останавливается.

— Что?

— Нет, так... я хотела, кажется, сказать какую-то

¹ См. «Княжна Анна Львовна». (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

² А, это вы (фр.).

³ Экзальтированная (фр.).

глупость... вы не знаете, отчего здесь всегда пахнет скукой?

— Я опять-таки повторяю вам, княжна, что не имею здесь никакого мнения...

— Да, я и забыла, что вы человек осторожный... однако, в самом деле, вы не знаете, отчего...

И опять спотыкается, и неизвестно почему, мне вдруг становится ужасно жалко ее.

— ...Здесь нет Техоцкого? — продолжает она, начиная третью фигуру.

В провинции лица умеют точно так же хорошо лгать, как и в столицах, и если бы кто посмотрел в нашу сторону, то никак не догадался бы, что в эту минуту разыгрывалась здесь одна из печальнейших драм, в которой действующими лицами являлись оскорбленная гордость и жгучее чувство любви, незаконно поправанное, два главные двигателя всех действий человеческих.

— Бедная княжна! — повторяю я мысленно.

— Мы и позабыли позвать мсьё Техоцкого! — говорит Марья Ивановна, подходя к нам.

— А! — восклицает княжна, смотря на нее с изумлением.

— А он такой милый молодой человек! — продолжает Марья Ивановна спокойно, но таким голосом, что княжна непременно должна расслышать хохот, затаившийся в груди этой «неблагоданмеренной» дамы.

— Очень жаль, — отвечает княжна.

— Вы не знаете, где он живет? — спрашивает Марья Ивановна, как будто ошибкой обращаясь к княжне, — ах, *pardou, princesse*¹, я хотела спросить мсьё Щедрина... вы не знаете, мсьё Щедрин, где живет *господин* Техоцкий?

— Не имею этого удовольствия.

— Очень жаль, потому что за ним можно было бы послать... он сейчас придет: он такой жалкий! Ему все, что хотите, *велеть* можно! — И, уязвив княжну, неблагоданмеренная дама отправляется далее язвить других.

Но танцам, как и всему в мире, есть конец. Наступает страшная для Марьи Ивановны минута ужина, и я вижу, как она суетится около Василия Николаича, стараясь заранее заслужить его снисходительность.

— Будьте любезны с Василием Николаичем, — говорю я княжне.

Она понимает меня и улыбается. Я тоже улыбаюсь,

¹ Простите, княжна (*фр.*).

потому что вижу впереди богатое развлечение. Княжна подходит к моему другу и в несколько минут исключительно завладевает его вниманием. Надобно сказать, что Василий Николаич, происходя от «бедных, но благородных родителей», ужасно любит, чтобы за ним ухаживали сильные мира сего. Впрочем, он вообще всегда бывал как-то особенно и бескорыстно снисходителен к княжне, за что я очень уважал его. Марья Ивановна с судорожным беспокойством следит за ними; она с ужасом видит, что уехало всего два человека, а все остальные стоически дожидаются ужина.

— Не протанцевать ли еще польку до ужина, *princesse*? — говорит она, в чайнии, что кто-нибудь уедет тем временем.

Но грозной судьбе не угодно споспешествовать намерениям Марьи Ивановны. В то самое время, как она кончает свою фразу, лакеи, каким-то чудом ускользнувшие из-под ее надзора, с шумом врываются в залу, неся накрытые столики.

— Милости просим, милости просим, господа, ужинать! — невпопад кричит Алексей Дмитрич, широко разевая рот.

— Уж хоть бы ты-то молчал! — вполголоса говорит Марья Ивановна, в досаде не скрывая даже своих чувств. — *Mesdames!* — прибавляет она с кислую улыбкой.

Но на первом же шагу встречается препятствие. Приборов подано на тридцать персон, а желающих ужинать оказывается налицо сорок человек. Десяти человекам решительно нет места на «жизненном пире», и в числе этих исключенных обретается Василий Николаич. Он приходит в неистовство и громко протестует против исключения. Марья Ивановна чувствует беду и выгоняет из-за стола Алексиса, который уже уселся и не прочь, пожалуй, вступить в бой с Марьей Ивановной за право ужинать. Сей достопочтенный муж, жертва хозяйственных соображений своей супруги, до такой степени изморен голодом, что готов, как Исав, продать право первородства за блюдо чечевицы.

Но Василий Николаич за все радушие хозяйки отплачивает самую черную неблагодарностью. Он тут же выпускает слух, что собственными глазами видел, как собирали с полу упавшее с блюда желе и укладывали вновь на блюдо, с очевидным намерением отравить им гостей. Марья Ивановна терпит пытку, потому что гарнизонные офицеры, оставшиеся за штатом и больше всех других за-

служившие право на ужин, в голодной тоске переглядываются друг с другом.

— Что, брат! — говорит Василий Николаич прапорщику Коловоротову, — видно, не заслужил! а мы вот, видишь, какую индейку тут кушаем!

— Вам сейчас подадут, господа! — лебезит Марья Ивановна, — уж вы покушайте стоя, как бог послал!

— Дождись — подадут! — отзывается Василий Николаич.

И действительно, блюда проходят мимо «сверхштатных» совершенно опустошенными, и ужин оканчивается, не уделив им ни единой крупички.

Надо отдать полную справедливость Марье Ивановне: она тоже ничего не ела.

— Ух, скуки-то, скуки-то! — говорит господин Змеищев, сходя по лестнице.

— А каков ужин-то? — спрашивает Василий Николаич у Харченки, который идет понуриив голову...

— В самом деле... ах, срам какой! — замечает Порфирий Петрович.

— А я-то старался, всех удерживал, — говорит Василий Николаич.

Все смеются.

— Ну, уж «приятное» семейство! — раздаётся чей-то голос в толпе.





БОГОМОЛЬЦЫ, СТРАННИКИ И ПРОЕЗЖИЕ

ОБЩАЯ КАРТИНА

Утро. Спят еще чиновники крутогорские, утомленные тянувшимся за полночь преферансом; спят негоцианты, угоревшие от излишнего употребления с вечера водки и тене-рифа; откупщик разметал на постели нежное свое тело, и снится ему сон... Снится ему, будто чиновникам не нужно давать ни денег, ни водки, а кабаки по-прежнему открываются до обеда и закрываются далеко за полночь. Частный пристав Рогуля выполз на минуту из-под стеганого одеяла, глянул мутными глазами на улицу, испил кваску, молвил: «Рано!» — и побрел опять на кровать досыпать веселый сон.

Однако на улице уже шумно и людно; толпы женщин всякого возраста, с котомками за плечами и посохами в руках, тянутся длинными вереницами к соборной площади. Уже показалось веселое солнышко и приветливо заглянуло всюду, где праздность и изнеженность не поставили ему искусственных преград; заиграло оно на золоченых шпилях церквей, позолотило тихие, далеко разлившиеся воды реки Крутогорки, согрело лучами своими влажный воздух и прогнало, вместе с тьмою, черную заботу из сердца... Солнышко, солнышко! как не любить тебя!

Май уж на исходе. В этот год как-то особенно тепел и радостен; деревья давно оделись густою зеленью, которая не успела еще утратить свою яркость и приобрести летние тусклые тоны. В воздухе, однако ж, слышится еще весенняя свежесть; реки еще через край полны воды, а земля хранит еще свою плодотворную влажность на благо и крепость всякому злаку растущему.

Соборная площадь кипит народом; на огромном ее просторе снуют взад и вперед пестрые вереницы богомолок; некоторые из них, в ожидании благовестного колокола, расположились на земле, поближе к полуразрушенному городскому водоему, наполнили водой берестяные бураки и отстегнули запыленные котомки, чтобы вынуть оттуда далеко запрятанные и долгое время береженные медные гроши на свечу и на милостыню. Тут же, между ними, сидят на земле группы убогих, слепых и хромых калек, из которых каждый держит в руках деревянную чашку и каждый тянет свой плачевный, захватывающий за душу стих о пресветлом потерянном рае, о пустынном «нужном» житии, о злой превечной мучке, о грешной душе, не соблюдавшей ни среды, ни пятницы... Тут же, около воткнутой в землю колышков, изображающих собою временные ярмарочные помещения, толкаются расторопные мещане и подгородные крестьяне, притащившиеся на ярмарку с бураками, ведерками, горшками и другим деревенским припасом. И весь этот люд суетится, хлопочет и беспрерывно обновляется новыми толпами богомолок, приходящими бог весть из каких стран. Гул толпы ходит волнами по площади, принимая то веселые и беззаботные, то жалобные и молящие, то трезвые и суровые тоны.

У меня во пустыни много нужи прияти,
У меня во пустыни постом попоститися,
У меня во пустыни скорбя поскорбети,
У меня во пустыни терпя потерпети... —

голосит заунывно одна группа нищих, и десятки рук протягиваются с копеечками к деревянным чашкам убогих калек.

— Помолись, родимый, за меня! помолись, миленький! — говорит молодая бабенка, опуская свою копеечку в чашку слепенького старика, сидящего на корточках; но он, не обращая на это внимания, продолжает тоскливо тянуть свою песню:

Не страши мя, пустыня, превеликими страхами...

— Издалеча, касатка, пришли? — спрашивает молодуху сгорбленная и сморщенная старуха, тут же остановившаяся с суковатою клюкой своей.

— Из Зырян, родимая, верст полтысячи боле будет; с самого с егорьева дни идем угоднику поклониться¹.

¹ Из Зырян, в Зыряны. Таким образом простой народ называет Усть-Сысольский уезд и смежные ему местности Вологодской, Пермской и Вятской губерний. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

— По обещанью, что ли?

— Пообещались, баушка; вот третий год замужем, а деток все бог не дает...

Старуха вздыхает.

— А мы так вот тутощные, — говорит она, шамкая губами, — верст за сто отселева живем... Человек я старый, никому не нужный, ни поробить, ни в избе посмотреть... Глазами-то плохо уж вижу; намеднись, чу, робенка — правнучка мне-то — чуть в корыте не утопила... Вот и отпустили к угоднику...

— Чай, пешком пришла, баунька? — спрашивает молодуха, покачивая головой.

— На своих все на ногах... охромела я нонече, а то как бы не сходить сто верст!.. больно уж долго шла... ох, да и котомка-то плечи щемит!

Молодуха молчит, поглядывая, пригорюнившись, на старуху.

— Чтой-то уж и смерть-то словно забыла меня, касатка! — продолжает старуха, — ровно уж и скончания житию-то не будет... а тоже хлеб ведь ем, на печи чужое место залеживаю... знобка я уж ноне стала!

— Чай, и грошика-то у тебя, баушка, нету?

— Нет, таки дал внучек грошик... Сынок-от у меня, видно, помер, так внучек в дому хозяйствует... дал грошик... как же! свечу поставить надо...

Новая толпа богомолков прерывает начатой разговор.

Всякиим грешникам
Будет мука разная... —

раздается в одной группе нищих...

Народился злой антихрист,
Во всю землю он вселился,
Во весь мир он вооружился,
Стали его волю творити:
Власы, бороды стали брिति,
Латынскую одежду носити... —

раздается в другой группе.

«Порадейте, православные! на церковное строение! святому угоднику на встречу!» — так взывает небольшой, колченогий мужичок, бойко пробираясь на своей деревяшке сквозь густую толпу богомольцев. Через плечо у него перекинута ременная перевязь, с прикрепленным к ней небольшим деревянным ящичком, в который православные опускают свои посильные жертвы.

— Здравствуйте, барин миленький! — говорит мне добрая гражданка Палагея Ивановна, встречаясь со мной.

— Здравствуйте, Палагея Ивановна! скажите, пожалуйста, отчего нищие только и поют, что про антихриста да про муки разные?

— И, барин! это уж заведение у них такое, не замай их!

Палагея Ивановна ходит по площади с мешком медных денег и раздает их нищим и бедным богомолкам, вроде той старухи, о которой упомянуто выше. За ней плетется шестилетняя племянница с калачиком в руках и по временам отламывает от него воробьиную дачу.

— Тетонька! дать слепенькому калачика? — спрашивает она всякий раз Палагею Ивановну.

— Дай, умница, слепенький за тебя Богу помолит.

И воробьиная дача, вместе с копеечкой Палагеи Ивановны, опускается в чашку убогого.

— А ведь ваша Сашенька будет предобрая, — говорю я Палагее Ивановне.

— Ничего, барин, пушай приучается.

Палагея Ивановна продолжает свой обход и всех надевает грошиками; Сашенька тоже вынимает из узелка третий калачик и, по мере своего разумения, подражает делу благотворения своей тетки.

Есть люди, которые думают, что Палагея Ивановна благотворит по тщеславию, а не по внутреннему побуждению своей совести, и указывают в особенности на гласность, которая сопровождает ее добрые дела. Я, с своей стороны, искренно убежден, что это мнение самое неосновательное, потому что достаточно взглянуть на ее милое, сияющее добродушием и искренностью лицо, чтоб убедиться, что этой свежей и светлой натуре противна всякая ложь, всякое притворство. Если все ее поступки гласны, то это потому, что в провинции вообще сохранение тайны — вещь материяльно невозможная, да и притом потребность благотворения не есть ли такая же присущая нам потребность, как и те движения сердца, которые мы всегда привыкли считать законными? Следовательно, и она так же, как эти последние, должна удовлетворяться совершенно естественно, без натяжек, без приготовлений, без задней мысли, по мере того как представляется случай, и Палагея Ивановна, по моему мнению, совершенно права, делая добро и тайно и открыто, как придется.

Я вообще чрезвычайно люблю наш прекрасный народ и с уважением смотрю на свежие и благодушные типы, которыми кишит народная толпа. Конечно, мы с вами, мсьё Буеракин, или с вами, мсьё Озорник, слишком хорошо образованны, чтоб приходить в непосредственное со-

прикосновение с этими мужиками, от которых пахнет печеным хлебом или кислыми овчинами, но издали поглядеть на этих загорелых, коренастых чудаков мы готовы с удовольствием. Я даже с гордостью сознаюсь, что когда на театре автор выводит на первый план русского мужичка и рекомендует ему отхватить вприсядку или же, собрав на сцену достаточное число опрятно одетых девиц в телогреях, заставляет их оглашать воздух звуками русской песни, я чувствую, что в сердце моем делается внезапный прилив, а глаза застилаются туманом, хотя, конечно, в камаринской нет ничего унылого.

«Grands dieux¹, — говорю я себе, выходя из театра, — как мы, однако ж, выросли, как возмужали! Давно ли русский мужичок, *set ours mal léché*², является на театральный помост за тем только, чтоб сказать слово «кормилец», «шея лебединая, брови соболиные», чтобы прокричать заветную фразу, вроде «идем!», «бежим!», или же отплясать где-то у воды полуиспанский танец — и вот теперь он как ни в чем не бывало семенит ногами и кувыркается на самой авансцене и оглашает воздух неистовыми криками своей песни! Grands dieux! как мы выросли!»

Но я оставляю свои размышления до более удобного времени и продолжаю свое странствование по площади.

На бревнах, наваленных в одном углу ее, я вижу несколько странниц, севших для отдыха.

— Житье-то у нас больно неприглядное, Петровна, — говорит одна из них, пожилая женщина, — земля — тундра да болотина, хлеб не то родится, не то нет; семья большая, кормиться нечем... ты то посуди, отколь подать-то взять?.. Ну, Семен-от Иваныч и толкует: надо, говорит, выселяться будет...

— Поди, чай, старого-то места жалко? — спрашивает ее собеседница.

— Как не жалеть? известно, жалко! Кабы не нужда, так коли же от родителей без ума бежать!

— Да ноне чтой-то и везде жить некорыстно стало. Как старики-то порасскажут, так что в старину-то одного хлеба родилось! А ноне и земля-то словно родить перестала... Да и народ без христианства стал... Шли мы этта на богомолье, так по дороге-то не то чтоб тебе копеечку или хлеба, Христа ради, подать, а еще тебя норовят оборвать... всё больше по лесочкам и ночлежничали.

¹ Великий боже! (фр.)

² Этот сиволапый (фр.).

— Что говорить, Петровна! В нашей вот сторонке и не знавали прежде, каков таков замок называется, а нонче пошли воровства да грабительства... Господи! что только будет!

— А далече ли переселенье-то вам будет?

— Да бает старик, что далече, по-за Пермь, в сибирские страны перетаскиваться придется... Ты возьми, сколько одной дорогой-то нужи примешь!..

— А вот от нас тоже в те стороны переселенцы бывали, так пишут, что куда там хорошо: и хлеб родится, и скотинка живет...

— Так-то так, Петровна, да уж больно родителей жалко! Ведь их здесь и помянуть будет некому...

Рассказчица тяжело вздыхает, собеседница вторит ей, и разговор, по-видимому, стихает. Я говорю «по-видимому», потому что этой боли сердечной, этой нужде сосущей, которую мы равнодушно называем именем ежедневных, будничных явлений, никогда нет скончания. Они бесконечно зреют в сердце бедного труженика, выражаясь в жалобах, всегда однообразных и всегда бесплодных, но тем не менее повторяющихся непрерывно, потому что человеку невозможно не стонать, если стон, совершенно созревший, без всяких с его стороны усилий, вылетает из груди его.

— Так-то вот, брат, — говорит пожилой и очень смиренный с виду мужичок, встретившись на площади с своим односельянином, — так-то вот, и Матюшу в некруты сдали!

В загорелых и огрубевших чертах лица его является почти незаметное судорожное движение, в голосе слышится дрожание, и обычный сдержанный вздох вырывается из груди.

— А добрый парень был, — продолжает мужичок, — какова есть на свете муха, и той не обидел, рóбил непрекословно, да и в некруты непрекословно пошел, даже голосу не дал, как «лоб» сказали!

Воображению моему вдруг представляется этот славный, смиренный парень Матюша, не то чтоб веселый, а скорей боязный, трудолюбивый и честный. Я вижу его за сохой, бодрого и сильного, несмотря на капли пота, струящиеся с его загорелого лица; вижу его дома, безропотно исполняющего всякую домашнюю нужду; вижу в церкви божией, стоящего скромно и истово знаменующегося крестным знамением; вижу его поздним вечером, засыпающего сном невинных после тяжелой дневной работы, для него никогда не кончающейся. Вижу я и старика отца, и старуху мать, которые радуются не нарадуются на нена-

глядное детище, вижу урну с свернутыми в ней жеребьями, слышу слова: «лоб», «лоб», «лоб»...

— Что ж, помолиться, что ли, ты пришел, дядя Иван? — спрашивает у мужичка его собеседник.

— Да, вот, к угоднику... помиловал бы он его, наш батюшка! — отвечает старик прерывающимся голосом, — никакого, то есть, даже изъяну в нем не нашли, в Матюше-то: тело-то, слышь, белое-разбелое, да крепко таково. . .

И вся эта толпа пришла сюда с чистым сердцем, храня, во всей ее непорочности, душевную лепту, которую она обещала повергнуть к пречестному и достохвальному образу божьего угодника. Прислушиваясь к ее говору, я сам начинаю сознавать возможность и законность этого неудержимого стремления к душевному подвигу, которое так просто и так естественно объясняется всеми жизненными обстоятельствами, оцепляющими незатейливое существование простого человека. На меня веет неведомою свежестью и благоуханием, когда до слуха моего долетает все то же тоскливое голошение убогих нищих:

Придет мать — весна-красна,
Лузья, болота разольются,
Древа листьями оденутся,
И запоят птицы райски
Архангельскими голосами;
А ты из пустыни вон изыдешь,
Меня, мать прекрасную, покинешь!

— Нет, не покину! — готов я воскликнуть вместе с Осафьем-царевичем:

Разгуляюсь я во пустыни, во зеленой во дубраве,
Насмотрюсь во пустыни на различные светы...

Но вот раздался благовест соборного колокола; толпа вдруг заколыхалась и вся, как один человек, встала...

В третьем часу пополудни площадь уже пуста; кой-где перерезывают ее нехитрые экипажи губернских аристократов, спешащих в собор или же в городской сад, чтобы отсюда поглазеть на народный праздник. Народ весь спустился вниз к реке и расселся на бесчисленное множество лодок, готовых к отплытию вслед за великим угодником. На берегу разгуливает праздная толпа горожанок, облаченных в лучшие свои одежды.

— Марья Матвевна-с, может, вам прохладиться угодно-с? — говорит канцелярский чиновник Потешкин полной и краснощекой девице, идущей рядом с своею сухощавой родительницей.

Потешкин, рослый мужчина, одет по последней крутогорской моде; шея у него повязана желтым батистовым платком, а в руках блестит стальная тросточка, которою он эффектно помахивает. Эта тросточка стоила ему месячного жалованья, но нельзя не сознаться, что в ней Потешкин приобрел вещь действительно полезную, потому что она в некоторых местах разнимается и позволяет ему сооружать походный стальной чубук и обжигать им губы сколько душе угодно.

— Да чем же прохладиться, Петр Никитич? — томно отвечает Марья Матвеевна, имеющая виды на руку и сердце Потешкина.

— Прохладительные разные бывают-с, можно этта в питейный сбегать, пива купить...

— Да вы уж на свой счет, Петр Никитич!

— Помилуйте-с... на что же-с! Павел Иваныч! Павел Иваныч! побереги, брат, Марью Матвевну, покуда я в питейный за пивом сбегаяю!

— Преуслужливый кавалер Петр Никитич! — замечает Марья Матвеевна вслед удаляющемуся Потешкину, — вот вы бы никогда не поступили так благородно, Павел Иваныч.

— Это он по несообразности своей, — сонно отвечает Павел Иваныч.

— И как завсегда чисто одет! даже за канцеляриста признать нельзя.

— Всё в долг, Марья Матвевна-с...

— Это нужды нет; образованному человеку завсегда свою чистоплотность наблюдать следует... вот зато и невесту хорошую себе найдет, а вы не найдете!

— Я скорее найду-с.

— Вот любопытно! уж не думаете ли вы, что из себя очень занимательны?

— Нет-с, я найду не по красоте, а по своей основательности-с... Он что найдет? он горечь какую-нибудь найдет! а я желаю за себя купеческую дочь взять, чтоб за ней, по крайности, тысяча серебра числилась...

— Да! отдадут за вас!

— За меня отдадут-с... У меня, Марья Матвевна, жалованье небольшое, а я и тут способы изыскиваю... стало быть, всякий купец такому человеку дочь свою, зажмура

глаза, препоручить может... Намеднись иду я по улице, а Сокуриха-купчиха смотрит из окна: «Вот, говорит, солидный какой мужчина идет»... так, стало быть, ценят же!.. А за что? не за вертопрашество-с!

— Ну, уж нашли кого! Сокуриху! право, смех!

Эта группа сменяется другою, состоящею из четырех женщин и равного числа мужчин.

— А мы вот так, Петр Федорыч, сделаем, — говорит один из мужчин, — мы махнем на перепутье к Пазухину на завод, да там такую лихорадку отзвоним, что на целую неделю после того угорим!

— Да Пазухин-то нонче не больно разгуляться дает! — говорит со вздохом Петр Федорыч.

— Что ты! да как он осмелится! да я ему в лицо наплюю, если он всю нашу прихоть не исполнит...

— Разве уж для вас, Николай Тимофеич!

— Еще бы он посмел! — вступается супруга Николая Тимофеича, повисшая у него на руке, — у Николая Тимофеича и дела-то его все — стало быть, какой же он подчиненный будет, коли начальников своих уважать не станет?

— Я, брат Петр Федорыч, так тебе скажу, — продолжает Николай Тимофеич, — что хотя, конечно, я деньгами от Пазухина заимствуюсь, а все-таки, если он меня, кроме того, уважать не станет, так я хоша деньги ему в лицо и не брошу, однако досаду большую ему сделаю.

— Еще бы! — отзывается супруга.

— И если у него за обедом уха подается розная, лучше гостям со стерлядями, а похуже — с окунями, так он мне с окунями не подавай, потому что я сделаю ему невежество...

— Что говорить, Николай Тимофеич! вы человек нужный, властный!

— Я у него в доме что хошь делаю! захочу, чтоб фрукт был, будет и фрукт... всякий расход он для меня сделать должен... И стало быть, если я тебя и твоих семейных к Пазухину приглашаю, так ты можешь ехать безо всякой опасности.

— Хорошо вам на свете жить, Николай Тимофеич, — говорит со вздохом Петр Федорыч, — вот и в равных с вами чинах нахожусь, а все счастья нет.

— Этот, брат, ты сюжет оставь... всякое место своего обладателя знает, а потому оно и дается такому человеку, который свой предмет в существе веществ понимает.

Эту компанию сменяет парочка: муж с женой, тоже в гражданских костюмах.

— Ты мне вот и платишка-то порядочного сделать не можешь! — говорит жена, — а тоже на гулянье идет!

— Молчи, сударыня, молчи!

— Мне на что молчать, мне на то Бог язык дал, чтоб говорить... только от тебя и слов, что молчать... а тоже гулять идет!

— Вот уж погоди, домой придем!

— Ишь гуляльщик какой нашелся! жене шляпки третий год купить не может... Ты разве голую меня от родителей брал? чай, тоже всего напасено было.

— Молчи, говорят тебе, молчи, змея!

— Что уж ты, видно, бить меня хочешь за то, что я тебе справедливость свою высказываю?.. что ж, бей! По крайности, пусть на народе посмотрят, каково мне с тобой житье... со сквалыжником!

Пара проходит мимо.

— А что наши господа! — говорит лакей одного из знакомых мне губернских аристократов, — только разве что понятие одно, что господа... да и понятия-то нет!

— Господа бывают разные, — вступается другой лакей, — один господин своего понятия не имеет, так от слуги понятием заимствуется, другой, напротив того, желает, чтоб от него слуга понятием заимствовался.

— А вот у наших господ так и своего-то понятия нет, да и от нашего брата заняться ничем не хотят, — замечает третий лакей.

— Это, брат, самое худое дело, — отвечает второй лакей, — это все равно значит, что в доме большого нет. Примерно, я теперь в доме у буфета состою, а Петров состоит по части комнатного убранства... стало быть, если без понятия жить, он в мою часть, а я в его буду входить, и будем мы, выходит, комнаты два раза подметать, а посуду, значит, немытую оставим.

— Господин хошь и господин, а тоже зря выговаривать не должен, — благоразумно замечает первый лакей.

— Как можно зря выговаривать! это значит человека только запугать и в неспособность его произвести.

— А слышал, Михей, что с Петрушкой с Порфирьевским намеднись случилось... Барин-от пришел, а он спал на лавке, да вскочивши спросонье, и ну в холодной печке кочергой мешать...

— Во сне, должно быть, видел, что печку топит!

— Что другого и видеть-то! всякий свою ремеслен-

ность видит! Вот я нонче три ночи сряду все во сне сапоги чищу...

— Господа! расступитесь, расступитесь, сделайте ваше одолжение! — кричит частный пристав Рогуля, протискиваясь брюхом в толпу, — ты, мужик, чего тут стал? разве здесь твое место?

Последние слова относятся к зазевавшемуся субъекту, обладающему бородой и облаченному в серый кафтан. Толпа раздается, и на сцену является генеральша Дарья Михайловна Голубовицкая. Генеральша очень видная и красивая женщина; в ее поступи и движениях замечается та неробкость, которая легко дается всякой умной женщине, поставленной обстоятельствами выше общего уровня толпы; она очень хорошо одета, что также придает не мало блеску ее прекрасной внешности. Впереди идут два маленькие сына генеральши, но такие миленькие, «такие душки», как говорят в провинции, что их скорее можно признать за хорошие конфетки, нежели за мальчиков. Генеральша окружена целою толпою придворных льстецов, которые наперерыв усиливаются очаровать ее своим остроумием, любовью и преимущественно щегольским французским языком. В особенности же суетится и хлопочет кругленький и пузатенький помещик Загржембович, который то забежит вперед и полюбуется на детей, то опять поравняется с Дарьей Михайловной, и всегда найдется сказать что-нибудь лестное и приятное. Губернская молодежь без ума от Дарьи Михайловны.

— *Quel charme, que cette femme!*¹ — говорит Леонид Сергеич Разбитной, который, по смерти князя Чебылкина, охотно пристроился под крыло генерала Голубовицкого. Дарья Михайловна слышит это и слегка улыбается тою сладкою улыбкой, которая принадлежит только хорошеньким женщинам, вполне уверенным в своем торжестве.

Шествие замыкается самим генералом Голубовицким, одетым в вицмундирный фрак и идущим, как прилично высокому губернскому сановнику, с заложенными за спину руками. Сановитость генерала такова, что никакое самое обстоятельное описание не может противостоять ее лучам; высокий рост и соответствующее телосложение придают ему еще более величия, так что его превосходительству стоит только повернуть головой или подернуть бровью, чтобы тьма подчиненных бросилась вперед, с целью провозвести порядок. Генерал также окружен своим штатом,

¹ Как очаровательна эта женщина! (*фр.*)

но это не вертопрахи какие-нибудь, а люди солидные, снискавшие общее уважение через доказанную ими преданность или же способность к приобретениям всякого рода. Тут вижу я и знакомого моего Порфирия Петровича, который, по мелкости своего роста, обязывается делать два шага там, где его превосходительству приходится делать только один. Тут же и добродушный глава «приятного семейства», господин Размановский, отпущенный своею супругой погулять и по этому случаю улыбающийся до самого затылка. Тут же и величественный директор народного училища, у которого на лице начертано: «Аз есмь уныние и тошнота, ибо корни учения горьки, и лишь плоды его сладки», и много других еще, высоких и маленьких, пузатеньких и щедушных, горделивых и смиренных.

Генеральша пожелала отдохнуть. Частный пристав Рогуля стремглав бросается вперед и очищает от народа ту часть берегового пространства, которая необходима для того, чтоб открыть взорам высоких посетителей прелестную картину отплытия святых икон. Неизвестно откуда, внезапно появляются стулья и кресла для генеральши и ее приближенных. Правда, что в помощь Рогуле вырос из земли отставной подпоручик Живновский, который, из любви к искусству, суетится и распоряжается, как будто ему обещали за труды повышение чином.

Судя по торжественному виду, с которым Живновский проходит мимо генеральши, нельзя не согласиться, что он должен быть совершенно доволен собой. Он как-то изгибает свою голову, потрясает спиной и непременно прикладывает к козырьку руку, когда приближается к ее превосходительству.

— Мсьё Загржембович, сядьте подле меня, — говорит Дарья Михайловна, — я хочу, чтоб вы были сегодня моим чичероне.

Загржембович устремляется к генеральше, садится на стул несколько боком и всю особу свою приветливо наклоняет по направлению к ее превосходительству.

— Скажите, пожалуйста, в ваших местах таких процессий не бывает? — спрашивает Дарья Михайловна.

— Oh, madame, mais comment donc! le peuple est dans l'enfance chez nous comme ailleurs. Mais c'est bien plus beau chez nous!¹

— Вы несправедливы, мсьё Загржембович, вы личную

¹ О, сударыня, как же! народ у нас в таком же младенчестве, как и повсюду. Но у нас это гораздо красивее! (фр.)

свою досаду переносите на нас, бедных крутогорских жителей...

— Только не на вас, Дарья Михайловна!

— Посмотрите на эту толпу, одетую в пестрые праздничные свои наряды, — продолжает генеральша, не обратив внимания на комплимент своего усердного поклонника, — *mais je vous demande un peu, si ce n'est pas joli?*

— *Oui, c'est joli, mais chez nous c'est imposant, c'est beau!*¹ разница между этим зрелищем и теми, которые я когда-то имел случай видеть, та же самая, как между женщиной, которую мы называем не более как миленькою, и женщиной... *mais vous savez: il y a de ces femmes qui par leurs traits, leur port vous rappellent ces belles statues de l'antiquité!*²

Загржембович масляно взирает на Дарью Михайловну, которая, с своей стороны, чувствуя, что комплимент сказан ей, так сказать, в упор, впадает по этому поводу в задумчивость и предается самым сладостнейшим мечтаниям. И она тоже *belle âme incomprise*³; принуждена влачить *son existence manquée*⁴ в неизвестном Крутогорске, где о хорошенькой женщине говорят с каким-то неблагоприятным причмокиванием, где не могут иметь понятия о тех тонких, эфирных нитях, из которых составлено все существо порядочной женщины... И перед глазами ее наяву проносится сон... сон, которого горячая атмосфера полна зовущих звуков и раздражающих благоуханий. Глаза ее ласково жмурятся, на губах показывается улыбка, и все ее хорошенькое тело лениво опускается на спинку неудобного кресла, которое принесено сюда, благодаря услужливости подпоручика Живновского.

— А все-таки это мило! — говорит она медленно, как бы просыпаясь от сна.

— Русский народ благочестив — это хорошо! — ораторствует, в свою очередь, супруг ее, генерал Голубовицкий.

— Благочестие — основание всякого знания, ваше превосходительство! — замечает директор училища.

— Всякого знания! — добродушно повторяет Размазовский.

¹ Но скажите, пожалуйста, разве это не красиво? — Да, это красиво, но у нас это величественно, это прекрасно! (*фр.*)

² Ну, вы знаете: есть такие женщины, которые своими чертами, своей осанкой напоминают вам эти прекрасные античные статуи!.. (*фр.*)

³ Прекрасная непонятная душа (*фр.*).

⁴ Свое жалкое существование (*фр.*).

— Это чувство в нем надо поддержать! — продолжает генерал, гордо озираясь.

Частный пристав Рогуля, который это озирение принимает за желание со стороны его превосходительства, чтоб где-нибудь произведен был порядок, стремглав бросается в сторону и начинает толкаться.

— Рогуля! не надо! — величественно замечает генерал.

— Тут многие есть такие, ваше превосходительство, — вступается Порфирий Петрович, — которые целые тысячи верст прошли, чтоб поклониться угоднику!

— Это весьма любопытно! — замечает генерал.

— Губерния эта самая отличная, — говорит Порфирий Петрович, — это, можно сказать, непочатой еще край...

— В одних недрах земли сколько богатств скрывается! — перебивает директор.

— Постараемся развить! — отвечает генерал.

Но вот снова понеслись из всех церквей звуки колоколов; духовная процессия с крестами и хоругвями медленно спускается с горы к реке: народ благоговейно снимает шапки и творит молитву... Через полчаса берег делается по-прежнему пустынным, и только зоркий глаз может различить вдали флотилию, уносящую пеструю толпу богомольцев.

ОТСТАВНОЙ СОЛДАТ ПИМЕНОВ

На завалинке, у самого почтового двора, расположился небольшого роста старичок в военном сюртуке, запыленном и вытертом до крайности. Он снял с плеча мешок, вынул оттуда ломоть черного, зачерствевшего хлеба, достал бумажку, в которую обыкновенно завертывается странниками соль, посолил хлеб и принялся за обед.

— Куда бредешь, старик? — спрашиваю я, садясь возле него на завалинку.

— А вот, сударь, ко святым местам собрался, да будто попристал маленько.

Солдат очень стар, хотя еще бодр; лицо у него румяное, но румянец этот старческий; под кожей видны жилки, в которых кровь кажется как бы запекшеюся; глаза тусклые и слезящиеся; борода, когда-то бритая, давно запущена, волос на голове мало. Пот выступает на всем его лице, потому что время стоит жаркое, и идти пешему, да и притом с ношею на плечах, должно быть, очень тяжело.

— Давно ты в отставке, старик?

— А как бы вам, сударь, не солгать? лет с двадцать

пять больше будет. Двадцать пять лет в отставке, двадцать пять в службе, да хоть двадцати же пяти на службу пошел... лет-то уж, видно, мне много будет.

— Тяжело, чай, тебе идти?

— Тяжелина, ваше благородие, небольшая. Не к браге, а за святым делом иду: как же можно, чтоб тяжело было! Известно, иной раз будто солнышко припечет, другой раз дождичком смочит, однако непереносного нету.

— Куда же идешь?

— И сам, сударь, еще не знаю. Желанье такое есть, чтоб до Святой Горы дойти, а там как бог даст.

Старик доел свой ломоть, перекрестился и вздохнул.

— Вот теперь кваску бы испить хорошо, — сказал он, — да отдохнуть бы, пока жара поспадет.

Подали по моему приказанию кружку квасу, к которой старик припал с видимым наслаждением.

— Ну вот, этак-то ладно будет, — сказал он, переводя дух, — спасибо, баринушко, тебе за ласку. Грошиков-то у меня, вишь, мало, а без квасу и идти-то словно не повадно... Спасибо тебе!

— Как же ты, старина, в такой дальний путь без грошиков собрался?

— Дойду, сударь: не впервой эти походы делать. Я сызмалетства к странническому делу приверженность имею, даром что солдат. Значит, я со всяким народом спознался, на всякие светы нагляделся... Известно, не без нужи! так ведь душевное дело нужей-то еще больше красится!

— Они все, ваше высокоблагородие, таким манером доверенность в человеческое добросердечие питают! — вступился станционный писарь, незаметно приблизившись к нам, — а что, служба, коли, не ровен час, по дороге лихой человек ограбит? — прибавил он не без иронии.

— Где меня грабить! я весь тут как есть! — отвечал старик и вздохнул.

— Это именно удивления достойно-с! — продолжал философствовать писарь, — сколько их тут через все лето пройдет, и даже никакой опаски не имеют! Примерно, скажем хочь про разбойников-с; разбойник, хошь ты как хошь, все он разбойник есть, разбойничья у него душа... по эвтому самому и называется он кровопийцею... так и разбойника даже не опасаются-с!

— Что его опасаться? Разбойник денежного человека любит... денежного человека да грешного! а бедного ему не надо... зачем ему бедный!

— Я так, ваше высокоблагородие, понимаю, что все это больше от ихней глупости, потому как с умом человек, особливо служащий-с, всякого случаю опасаться должен. Идешь этта иной раз до города, так именно издрожись весь, чтоб кто-нибудь тебя не избидел... Ну, а они что-с? так разве, убогонькие!

— Разве ты не в первый раз ходишь? — спросил я старика, дав время уняться потоку писарского красноречия.

— Нет, сударь, много уж раз бывал. Был и в Киеве, и у Сергия-Троицы был, ходил и в Соловки не одна... Только вот на Святой Горе на Афонской не бывал, а куда, сказывают, там хорошо! Сказывают, сударь, что такие там есть пустыни безмолвные, что и нехотящему человеку не спастись невозможно, и такие есть старцы-постники и подражатели, что даже самое закоснелое сердце словесами своими мягко яко воск соделывают!.. Кажется, только бы бог привел дойти туда, так и живот-то скончать не жалко!

— Эх, Антон Пименыч! все это анекдот один, — сказал писарь, — известно, странники оттелева приходят, так надо же побаловать языком, будто как за делом ходили...

— Разве ты знаешь его? — обратился я к писарю.

— Как же, ваше высокоблагородие! он тутошний, верст пятнадцать отсель жительствоует.

— Тутошний я, сударь, тутошний. Только ты это не дело, писарек, говоришь про странников-то! Такая ли это материя, чтоб насчет ее, одного баловства ради, речь заводит!

— Так неужто ж и в сам-деле против каждого их слова уши развесить надобно? Они, ваше высокоблагородие, и невесть чего тут, воротимшись, рассказывают... У нас вот тутотка всё слава богу, ничего-таки не слышать, а в чужих людях так и реки-то, по-ихнему, молочные, и берега-то кисельные...

— Кисельные не кисельные, а это точно, что ты, писарек, только по неразумению своему странников обхаиваешь... Странник человек убогой, ему лгать не по што.

— Чай, и ты, старина, не мало видал на своем веку? — спросил я.

— Как, сударь, не видать? видал довольно, видал, как и немощные крепость получали, и недужные исцелялися, видел беса, из жены изгоняемого, слышал звоны и гулы подземные, видал даже, как озеро внезапно яко вихрем волнуемое соделывается, а ветру нет. Много я, сударь, видал!

— Порасскажи-ка, пока отдыхаешь.

— Да что, сударь, вам рассказать! расскажешь, да вы не поверите; значит, в соблазн вас ввести надо... Коли уж писарь зубы скалит, так благородному господину и подавно наша глупость несообразна покажется?

— Мне, однако ж, было бы приятно послушать тебя.

— Вот как я вашему благородию скажу, что нет того на свете знамения, которое бы, по божьему произволению, случиться не могло! Только заверить трудно, потому как для этого надобно самому большую простоту в сердце иметь — тогда всякая вещь сама тебе объявится. Иной человек ума и преизбыточного, а идет, примерно, хоть по полю, и ничего не замечает. Потому как у него в глазах и ширина, и долина, и высь, и травка, и былие — все обыдень-дело... А иной человек, умом незлокозненным, сердцем бесхитростным действующий, кроме ширины и долины и выси, слышит тут гласы архангельские, красы бестелесные зрит... Потому-то, смеаю я, простому человеку скрижалъ божья завсегда против злохитрого внятнее...

— Нет, не потому это, Пименыч, — прервал писарь, — а оттого, что простой человек, кроме как своего невежества, натурального естества ни в жизнь произойти не в силах. Ну, скажи ты сам, какие тут, кажется, гласы слышать? известно, трава зябёт, хошь в поле, хошь в лесу — везде одно дело!

— Скажу, примерно, хошь про себя, — продолжал Пименыч, не отвечая писарю, — конечно, меня Господь разумением выпреним не одарил, потому как я солдат и, стало быть, даров прозорливства взять мне неоткуда, однако истину от неправды и я различить могу... И это именно так, что бывают на свете такие угодные Богу праведники и праведницы, которые единым простым своим сердцем непроницаемые тайны проницаемыми соделывают, и в грядущее, яко в зеркало, очами бестелесными прозревают!

Пименов на минуту задумался и потом продолжал:

— Обзнакомился я, например, в Киеве, у мощей святой Варвары-великомученицы, с некою подобною праведницей, и много мне от нее приятных слов довелось услышать. И такая это была жена благочестивая, что когда Богу молилася, так даже пресветлым облаком вся одевалась и премногие радостные слезы ко Всевышнему проливала. И рассказывала мне она, как одна стояла она в церкви божией, в великом сокрушении о грехах своих, а очи, будто по недостойнству своему, к земле опустила... И вдруг слышит она вблизи себя некий тихий глас, вещающий: «Мавро! Мавро! почто, раба, стужаешься! воздвигни очи

свои горе и возрадуйся!» И что ж, сударь, взглянула она на алтарь, а там над самым-таки престолом сияние, и такое оттуда благоухание исходит, что и рещи трудно... Так она после этого три дня без слов как бы немая пребывала, и в глазах все то самое сияние, так что стерпеть даже невозможно! Так ведь были же тут, сударь, и другие, а никто, oprичь ее, видения не удостоился! Вот оно, стало быть, и выходит по-моему, что только простое, незлокозненное сердце святыней растворяться может!

— Так, похвальбишка какая-нибудь! — сказал писарь, но Пименыч даже не обратил на него внимания и продолжал:

— Сказывала она мне также, сударь, какие чудеса от нетленных мощей преподобного Сергия Радонежского соделываются. Пришел, ваше благородие, к раке его человек некий неверующий, и похвалялся тот человек, что хоша он и нарочито не поверует, а ничего якобы от этого ему худого не сделается. И едва, сударь, он это вымолвил, как почувствовал, что у него словно язык отнялся, так что последних-то слов даже и выговорить путем не мог. Ну, тогда и подлинно уведал *господин* неверующий, что в мощах преподобного великая сила сокрыта, и не токмо поверовал, но и в чернецы тут же постригся, а язык стал у него попрежнему...

— Из простых была, что ли, эта Мавра?

— Была она, сударь, из преславного града Тюменя, из мещан; родителей имела сильных и именитых, которые суету мирскую превыше душевного подвига возлюбили. Она же по стопам родителей не пошла, и столь много даже сыздетска к Богу прилепилась, что ни о чем больше не помышляла, разве о том, чтобы младые свои страсти сокрушить и любить единого Господа и спаса своего. Таким, сударь, родом дожила она до такого времени, когда в совершенный возраст пришла, и начали родители добывать ей мужа. Она же об этом ни разу не только не помыслила, но даже со слезами к стопам родительским припадала, да не изгубят души ее занапрасно. Однако они младого ее разуму не послушали и выдали ее замуж почти полмертвую... И что ж, сударь? не прошло полгода, как муж у ней в душегубстве изобличен был и в работы сослан, и она осталась одинокою в мире сиротой... вот как Бог-то противляющихся ему родителей наказывает! И с тех с самых пор дала она обет в чистоте телесной жизнь проводить и дотоле странничать, доколе тело ее грешное подвиг душевный переможет. И столь смиренна была эта

жена, что даже и мужа своего погубление к своим грехам относила и никогда не мыслила на родителей возроптать!

Пименов снова погрузился в думу, между тем как писарь потихоньку посмеивался и иронически мне подмигивал.

— А Расскажи-ка, Пименыч, барину, как ты в пустынях странствовал, — сказал он.

— Бывал, сударь, я и в пустыне. Пустыня дело большое, и не всякий его вместить может. Доложу вам так: овый идет в пустыню, чтоб плоть свою соблюсти: работать ему не желается, подати платить неохота — он и бежит в пустыню; овый идет в пустыню по злокозненному своему разуму, чтобы ему, примерно, не Богу молиться, а кляузничать да стадо Христово в соблазн вводить. А есть и такие, которые истинно от страстей мирских в пустыню бегут и ни о чем больше не думают, как бы душу свою спасти. Это именно старцы разумные и великие постники! Дотоле плоть в себе умерщвляют, что она у них прозрачна и суха соделывается, так что видом только плоть, а существом и похожего на нее нет...

— И ты знавал лично таких?

— Знавал, ваше благородие, — отвечал Пименов решительным голосом, — сам своими глазами видал. Лет с пяток тому будет, спознался я с одним таким старцем — Вассианом прозывался. Жил он в пустыне более сорока лет, жил в строгости и тесноте великой, и столько полюбилось ему ее безмолвие, что без слез даже говорить об ней не мог. Об одном только и тосковала душа его, чтобы те претесные евангельские врата сыскать, чрез которые могла бы прейти от мрачн्या и прегорькия темницы в присносущий и неумирающий свет райского жития... Сказывал он мне житие свое прежнее, и именно удивления это достойно, как батюшка-то небесный тварь свою безотменно к тайному концу приводит и самый даже нечистый сосуд очищает. Был, сударь, он до того времени и татем и разбойником, не мало невинных душ изгубил и крови невинной пролиал, однако, когда посетила его благодать Господня, такая ли вдруг напала на него тоска, что даже помышлял он руки на себя наложить. Начал он скучать и томиться и не знал, где для себя место найти, потому что все душегубства его прежние непрестанно пред глазами его обьявлялись и всюду за ним преследовали. И указал ему Бог путь в пустыню... Пришел он в лес дремучий, темный, неисходимый, пал на землю и возрыдал многими слезами: «О прекрасная мати-пустыня! прими мя грешно-

го, прелестью плотскою яко проказою пораженного! О матери-пустыня! прими мя кающегося и сокрушенного, прими, да не изыду из тебя вовек и не до конца погибну!» И что ж, сударь! едва лишь кончил он молитву, как почувствовал, что страсти его внезапно укротились, и был он лют яко лев, а сделался незлобив и кроток яко агнец.

— Да, может быть, он просто от наказания скрывался? — спросил я.

— Об этом, сударь, сказать я вам ничего не могу. Известно, что наказание разбойнику следует; однако, если человек сам свое прежнее непотребство восчувствовал, так навряд и палач его столь наказать может, сколько он сам себя изнурит и накажет. Наказание, ваше благородие, не спасает, а собственная своя воля спасает... Не на радость и не на роскошество старец Вассиан в пустыню вселился, а на скорбь и на нужу; стало быть, не бежал он от наказания, а сам же его искал. И на каторге хлеб добрый и воду непорченную дают, а в пустыне он корнями да травами питался, а воду пил гнилую и ржавую. Была у него в самой лесной чаще сложена келья малая, так истинно человеку в ней жить невозможно, а он жил! Стоять в рост нельзя, а можно только лежать или на коленках стоять... точно как гробу подобно! Окошечко вырублено малое, да и то без стекла, печки нет. Как только жил!

— Да ведь одежду-то нужно было ему как-нибудь доставать? — сказал я.

— А какая у него одежда? пониток чорпный да вериги железные — вот и одежда вся. Известно, не без того, чтоб люди об нем не знали; тоже прихаживали другие и милостыню старцу творили: кто хлебца принесет, кто холстеца, только мало он принимал, разве по великой уж нужде. Да и тут, сударь, много раз при мне скорбел, что, по немощи своей, не может совершенно от мира укрыться и полным сердцем всего себя Богу посвятить!

— Каким же образом ты-то дошел до него?

— Кто много ищет, ваше благородие, тот безотменно находит. Сам я, по неразумию своему, хотя не силен духовного подвига преодолеть, однако к подражателям Христовым великое почитание имею. Стало быть, того поспрошаю, у другого наведуясь — ну, и дойду как-нибудь до настоящего. Так-то было и тут. Пришел я к нему, по милости добрых людей, в летнее время, потому что зимой и жилья поблизости нет, а с старцем поселиться тоже невозможно. Не малое-таки время и искал-то я его, потому что лес большой и заплутанный, а тропок никаких нету;

только вот проходимши довольно, вдруг вижу: сидит около кучи валежника старец, видом чуден и сединами благолепными украшен; сидит, сударь, и лопотиночку ветхую чинит. А это он самый и был, Вассиан, а куча-то валежника для того, вишь, им сюда снесена, чтоб от непогод укрыть его келью тесную... И много я в ту пору от него слов великих услышал, и много дивился его житию, что он, как птица небесная, беззаботен живет и об одном только Господе и спасе радуется. «Как же ты зимой тут живешь, старче?» — спросил я его. «А отчего мне-ка не жить. — отвечал он, — снегом келейку мою занесет, вот и тепло мне, живу без нужды, имя Христово прославляючи». И чудо, сударь, сказывал он мне: даже звери дикие и те от сладкого его гласа кротки пребывали! Пришла, сударь, по один день зимой к его келье волчица и хотела старца благочестивого съести, а он только поглядел на нее да сказал: «Почто́, зверь лютой, съести мя хочещи?» — и подал ей хлеба, и стала, сударь, волчица лютая яко ягня кротка и пошла от старца вспять!

— Ведь чего не выдумают! — прервал писарь. — Ну, статочное ли дело, чтобы волчица человека не задрала! Ведь она, Пименыч, только аппетит свой знает, а разуму в ней настоящего нет!

— Стало быть, есть, коли вот простого старцева слова послушалась!.. И еще рассказывал мне, сударь, старец Вассиан, какие в пустынях подвижникам Христовым искушения великие бывают. Стоит, сударь, он однажды в келье на молитве, и многие слезы о прегрешениях своих пред Господом проливает. И вдруг является пред ним юница добрая, одежды никакия не имуща, а телом яко снег сверкающа; является пред ним, бедрами потрясает, главою кивает, очами помавает. И взговорила ему та юница: «Старче убогий, Вассиане! прислал меня к тебе князь мой, да услажду тя от красоты моея!» Только он, сударь, плюнул и отвернулся, а знамения крестного, по неосторожности, не сотворил. И взяла его та юница за руки, и взглянула ему в самые очи, и ощутил Вассиан, яко некий огонь в сердце его горит, и увидел пламень злой из очей ее исходящ, и зрел уже себя вверженным в пропасть огненную... Но тут десница божия поддержала и вразумила его: освободил он кое-как руки от когтей диавольских и сотворил крестное знамение... И стало место это опять пусто, только слышал он, как некто вблизи его сказал: «Подождем мало, теперь еще не время»... И долго-таки не отставал от него враг человеческий; и на другой, и на тре-

тий день все эта юница являлася и думала его прелестьми своими сомустить, только он догадался да крест на нее и надел... так поверите ли, сударь? вместо юницы-то очутился у него в руках змей преогромный, который, пошипев мало, и пополз из келии вон... Так вот какие соблазны и в пустынном житии подвижников великих преследуют!

Кончив этот рассказ, Пименыч пристально посмотрел мне в лицо, как будто хотел подметить в нем признаки того глумления, которое он считал непременно принадлежностью «благородного» господина. Но этого глумления не было. Пускай станционный писарь, пункт за пунктом, доказывает несбыточность показаний Пименова, но я с своей стороны не имею силы опровергнуть их. Передо мною ярко и осязательно выступает всемогущее действо веры, и, под обаятельным влиянием этой юной и свежей народной силы, внятную делается для меня скрижаль божия...

Вероятно, Пименыч замечает это, потому что глядит на меня как-то особенно ласково и весело.

— Так как же тут не поверуешь, сударь! — говорит он, обращаясь уже исключительно ко мне, — конечно, живем мы вот здесь в углу, словно в языческой стороне, ни про чудеса, ни про знамения не слышим, ну и Бога-то ровно забудем. А придешь, например, хошь в Москву, а там и камни-то словно говорят! пойдут это сказы да рассказы: там, послышишь, целение чудесное совершилось; там будто над неверующим знамение свое Бог показал: ну и почувствуешь, и растопится в тебе сердце, мягче воску делается!..

В это время подошла пожилая женщина тоже в странническом одеянии и остановилась около нас. Пименов узнал ее.

— А что, Пахомовна, — спросил он, — видно, тоже богу помолиться собралась?

— Собралась, голубчик, да чтой-то уж и не знаю, дойти ли: ничто разломило всеё!

— А посиди с нами, касатка; барин добрый, кваску велит дать... Вот, сударь, и Пахомовна, как не я же, остатнюю жизнь в странничестве препровождает, — обратился Пименов ко мне, — да и других много таких же найдется!..

Пахомовна набожно перекрестилась.

— Нашего брата, странника, на святой Руси много, — продолжал Пименов, — в иную обитель придешь, так даже сердце не нарадуется, сколь тесно бывает от множества странников и верующих. Теперь вот далеко ли я от дому отшел, а и тут попутчицу себе встретил, а там, что ближе

к святому месту подходить станем, то больше народу прибывать будет; со всех, сударь, дорог всё новые странники прибавляются, и придешь уж не один, а во множестве... так, что ли, Пахомовна?

— Так, голубчик, на народе и Богу молиться веселее.

— Лето-то все таким родом проходишь, а зиму прозимуешь у мощей святых или у образа чудотворного, а потом опять лето пространствуешь, да уж на другую зиму домой воротиться... И чего-чего тут не наслышишься, и каких божиих чудес не насмотришься! Довольно того, например, что в Соловках об летнюю пору даже и ночи совсем нет! И такова, сударь, благодать господня, что только поначалу и чувствуешь, будто ноги у тебя устают, а потом даже и усталости никакой нет, — все бы шел да шел. Идешь, этта, временем жарким, по лесочкам прохладным, пташка божья тебе песенку поет, ветерочки мягкие главу остужают, листочки звуками тихими в ушах шелестят... и столько становится для тебя радостно и незаботно, что даже плакать можно!.. Идем, что ли, Пахомовна!

Пименов встал, снял шапку, поклонился мне и писарю, потом несколько раз перекрестился и заковылял по дороге рядом с Пахомовной.

ПАХОМОВНА

Собралася Федосьюшка свет-Пахомовна в путь во дороженьку, угодникам божиим помолиться, святым преславным местам поклониться. Оболокалася Пахомовна в ризы смиренные страннические, препоясывалась она нуждой да терпеньем, обувалася она в чёботы строгие. «Уж вы, чёботы мои, чёботы строгие, сослужите мне службу верную, доведите меня до святых угодников, до святых угодников, их райских обителей! Ты прости, государь-батюшка, ты прости, государыня-матушка! Помолитесь вы за мою душеньку грешную, чтобы та душа грешная кресту потрудилася, потрудившись в светлые обители вселилася!»

Идет Пахомовна путем-дороженькой первый день, идет она и другой день; на третий день нет у Пахомовны ни хлебца, ни грошика, что взяла с собой, всё поистеривала на бедных, на нищих, на убогих. Идет Пахомовна, закручинилась: «Как-то я, горькая сирота, до святого града доплетусь? поести-испити у меня нечего, милостыню сотворить — не из чего, про путь, про дороженьку поспросать — не у кого!»

И видит Пахомовна, впереди у нее стоит дубравушка;

стоит свет-дубравушка веселая, а муравушка в ней зеленая. Садится Пахомовна середь той дубравушки, садится и горько плачется: «Ты взмилуйся надо мной, государыня дубрава зеленая! приюти ты мое недостоинство, ты насыть меня алчную, ты напои меня жадную!» Вдруг предстал перед ней медведь — лютый зверь; задрожала-испужалась Пахомовна того зверя лютого, зверино его образа невиданного; взговорила она ему: «Ты помилуй меня, лютый зверь, ты не дай мне помереть смертью жестокою, не вкусимши святого причастия, в прегрешениях не успокаившись!»

И держал ей медведь такую речь: «Ты на что, божья раба, испужалась! мне не надобно тело твое худое, постом испощенное, трудом изможденное! я люблю ести телеса грешные, вынеженные, что к церкви божьей не хаживали, середи-пятницы не имывали, великого говенья не гавливали, постом не постилися, трудом не трудилися! А тебе принес я, странница, медвяный сот, твою нужу великую видючи, о слезах твоих сокрущаючись!»

И дивилась много Пахомовна той божией милости, благому божиему произволению!

Идет Пахомовна путем-дороженькой, призастигла ее ночка темная. Не видит Федосьюшка жила человеческого, не слышит человечьего голосу; кругом шумят леса неисходные, приутихли на древах птицы воздушственные, приумеркли в небесах звезды ясные; собираются в них тучи грозные, тучи грозные собираются, огнем-полымям раскаются... Раздалися гулы-громы подземные, стонет от них матушка сыра-земля, стонет, дрожит, хочет восколыбнуться. Растужилась Пахомовна от великого страха и ужаса: «Не страши мя, государь небесный царь, превеликими ужасами; ты не дай мне померети безо времени, не дай скончать живота без святого причастия, без святого причастия, без слезного покаяния!»

По молитве ее в лесу место очищается; стоят перед нею хоромы высокие, высокие рубленые, тесом крытые; в тех хоромах идет всенощное пение; возглашают попы-диаконы славу божию, поют они гласы архангельские, архангельские песни херувимские, величают Христа царя небесного, со отцем и святым духом спокланяема и сславима. А на самом пороге у хором хозяин стоит, хозяин муж честен и праведен, сединами благолепными изукрашенный. Он убогую старицу зазывает, свет-Пахомовну ночевать унимает, за белые руки ее принимает. «Ты, хозяйюшка молодая, и вы, детки малые! упокойте вы старицу

божию, старицу божию, странницу убогую!» — «Отдохни ты здесь, Федосьюшка! услади, свет-Пахомовна, душу твою гласами архангельскими, утоли твой глад от ества небесного!» И брала свет-Пахомовну за руки хозяйка младая, в большое место ее сажала, нозе ее умывала, питьями медвяными, ествами сладкими потчевала. Наслушалась Пахомовна архангельских голосов, насладились честных песней херувимских, а от сладкого ества и медвяного пошла отказалась.

И взговорила она ко хозяину, прощаячись: «Кто же ты еси, человече, что меня гладную воскормил, жаждущу воспоил, в дебрях блуждающую приютил? Как помянуть мне на молитве святое твое имя богоданное?» Отвещал ей старец праведный: «Ты почто хочещи, раба, уведати имя мое? честно имя мое, да и грозно вельми; не вместити его твоему убожеству; гладну я тебя воскормил, жаждущу воспоил, в дебрех, в вертепах тебя обрел — иди же ты, божья раба, с миром, кресту потрудися! уготовано тебе царство небесное, со ангели со архангели, с Асаком-Обрамом-Иаковом — уготована пища райская, одежда веки неизносимая!»

И дивилася много Пахомовна той божией милости, благому божиему произволению!

Идет Пахомовна путем-дороженькой; идет-идет, кручинится: «Как же я, горькая сирота, во святой град приду! масла искупити мне не на что, свещу поставить угоднику не из чего, милостыню сотворить нищему и убогому — нечем!» И предстал перед ней змей-скорпий, всех змиев естеством злейший, от бога за погубление человеческое проклятый. И рек ей тот змей: «Не страшись мя, старица убогая, приполз я к тебе не своим хотением, а невольным повелением, притупилося у меня жало лютое, острое!» — «Что же хочешь ты от меня, государь лютой змей, поскудна, злющая ты гадина?» — «А хошу я показать тебе мою сокровищницу; стерегу я ту сокровищницу денно и ночью многие тысячи лет, ни единому человечьему глазу невидимо, ни единому человечьему уху неслышимо! Много тамо смарагдов, яхонтов самоцветных; злата, серебра тамо мешки полные, услаждай свою душеньку досыта, насыпай свою котомочку странническую!» И привел ее змей к пещерам глубоким, к земным рассединам; отвалил он от пещер тех камень зело велик, отворил сокровищницу тайную. Показалось оттудова пламя огненное; возопили бесы льстивыми голосами, восплакали лукавыми слезами, не хотели (якобы) Пахомовну до злата допускать. А Пахомовна-то

перекрестилась, бесовскую силу крестом победила; первый-то мешок взяла — в пропасть кинула огненную, а другой-то мешок взяла — по ветру золото развеяла; насчитала она мешков число зверино шестьсот шестьдесят шесть, и все-то раскидала, развеяла.

И взговорила она тут змею-скорпию: «Захотел ты, слуга антихристов, великим богатством мое сердце уязвить; притворился ты, сосуд диавольский, агнцем кротким, послушливым! Так не будет же по-твоему, гадина пресмыкающая: со мною сила крестная, со мною святых угодников пречестное воинство!» И, сказавши такую речь, загнала она поганого змея в земную расседину и наваливала камнем великим. Застонали бесы стопами великими, заскрежетали они скрежетами зубовными и взмолилися такою убогой страннице Пахомовне: «Отпусти ты нас, Федосьюшка, на вольной свет, на вольной свет, в прелестный мир! что-то мы скажем нашему батюшке, нашему батюшке самому сатане!»

А Пахомовна идет путем-дороженькой, клюкою своею помахивает, погублению бесовскому посмеивается да святым крестом ограждается. И вдруг слышит она, словно в котомочке у нее стук-стук, а котомочка (знает она) была допреж того пустехонька; дивится Пахомовна, котомку отвязывает, и вдруг обретает тамо золотую копеечку. «Ты отколе, золотая копеечка, проявилась? не из диавольских ли рук, сатанинских?» — «Не из диавольских я из рук сатанинских, появилась я Христовым повелением, на благие дела на добрые, на масло на лампадное, на свещу воску ярого, на милостыню нищему-убоному!»

И дивилась много Пахомовна той божьей милости, благу божиему произволению!

Распыхался же и сатана от погрому Пахомовнина; распалился он гневом на странницу худую, бессильную, что эдакая ли странница бессильная, а над хитростью его геенскою посмеялась, верных слуг его, сатаны, в земную расседину запрятала, а казну его незаконную всю развеяла. Воссел он на престоле на огненном, на главу воздел венец змииный и позвал перед себя слуг своих верных: «Гой вы, слуги мои, слуги-беси проклятии! сослужите вы мне службу верную; избидела меня странница худая Пахомовна, посмеялась над моим сатанинским величеством!»

И по тому его сатанинскому повелению разлетались бесы послушные; разлетались они по вольному свету, прелестному миру, умышляли, како уловить им свет-Пахомовну.

Пришла она на ту пору на распутие: лежат перед нею три дороженьки, и не знает старица, по которой идти.

Повстречался с ней тут младый юнош прекрасный (а и был он тот самый злохитрый слуга сатанин), он снимал перед ней свою шапочку, ниже пояса старице кланялся, ласковые речи разговаривал. «Уж ты, матушка ли моя свет-Пахомовна! истомилася ты во чужой во сторонушке, истомилася-заблудилася, настоящую праву дороженьку позапамятовала!» Взмолилася ему тут Пахомовна: «Ты младый юнош прекрасный! Укажи мне правую дороженьку, что ведет к преславным градам, где пророки пророчествовали, где святии мученики кровь честную пролили, где святители православные прехвальное житие свое провозждали». Повел ее млад юнош по средней дороженьке, по той торной дороженьке, где ходят люди грешные. Расстилается перед ней дороженька широкая, грешными стопами убитая, любодеевыми одеждами выметенная. Усумнилася странница свет-Пахомовна: «Разгони ты, младый юнош, мое неразумье, отчего наша дорога торна́-широка, а в Писании про райский путь так не сказано?» Отвещал ей тогда добрый молодец: «Пожди мало, Пахомовна! впереди еще будет узок путь, будет узок путь и ужасен путь!»

И привел он ее к лесу темному; в тьмим лесе одни только древа-осины проклятые: листьями дрожат, на весь мир злобствуют. Догадалася тогда Пахомовна, что пришла она в место недоброе; изымал ее сам злой дух сатана со своими проклятыми деймонами; помутился у нее свет в очах, и дыханье в груди замерло, подломилися ноги скорые, опустилися руки белые. Вокруг лежат болота смрадные, поднимаются кверху от них туманы зловонные, застилаючи солнце праведное, насылаючи безо времени ночь ужасную. Хочет она крест сотворить — руки отнялись; хочет молитву сказать — язык онемел; хочет прочь бежать — ноги не слушаются.

Расступилася вдруг под нею мать сыра-земля, и разверзлася вся преисподняя огненная. Сидит сам сатана, исконный враг человеческий, сидит он на змее трехглавном огненном; проворные бесы кругом его грешников мучают, над телесами их беззаконными тешатся, пилят у них руки-ноги пилами острыми, бьют их в уста камнями горячими, тянут из них жилы щипцами раскаленными, велят лизать языком сковороды огненные, дерут им спины гребенками железными... А по воздуху летают огнекрылатые змии-аспиды, образ девичий имущи, хобот скорпиев, а

по полу скачут жабы проклятые, мечутся крысы злые огненные, ползут черви ядовитые... Вопиют грешники и грешницы ко Господу: «Господи, избавь нас от реки огненной, от реки огненной, муки вековечных, от скрежета ужасного зубовного и от тьмы несветимья! Господи! не веди палить наших лиц огню-жупелу, остуди наши гортани росой небесною! И вы, великие божи угодники! пророцы, апостолы, страстотерпцы Христовы мученики и святии святители! не можно ли вам за нас помолитися!»

Чует Пахомовна: волокут и ее злые деймоны ко престолу сатанинскому огненному. Распалилась она вдруг ревностью многою, благочестием великим, восплакала слезами горькими, взговорила словесами умиленными: «Господи спасе Христос истинный, почто оставил ты рабу свою! почто предал меня на погубление бесу лукавому!»

От того ее гласа молитвенного отшатнулись злые деймоны, отшатнулись, яко вихрем гонимые, и низвергнулись в преисподнюю. И потухло вдруг пламя геенское, затворилась пропасть огненная, опустились туманы зловонные, и засияло вновь солнце праведное!

И видит Пахомовна: перед нею святая обитель стоит, обитель стоит тихая, мужьями праведными возвеличенная, посреде ее золотые главы на храмах светятся, и в тех храмах идет служба вечная, неустанная. Поют тамо гласами архангельскими песни херувимские, честное и великолепное имя Христово прославляючи со отцем и святым духом и ныне и присно и во веки веков. Аминь.

ХРЕПТЮГИН И ЕГО СЕМЕЙСТВО

На постоялый двор, стоящий в самом центре огромного села, въезжают четыре тройки. Первая, заложённая в тарантас чудовищных размеров, везет самих хозяев; остальные три заложены в простые кибитки, из которых в одной помещаются два господина в гражданском платье; в другой приказчик Петр Парамоныч, тучный мальч, в замасленном длиннополом сюртуке, и горничная девушка; в третьей повар с кухней.

— Архип! а Архип! смотри-кось, брат, какую машинищу Иван Онуфрич изладил! — кричит Петр Парамоныч, выскочив из кибитки и указывая на четвероместный тарантас, поворачивающийся в глубине двора.

Хозяин, он же и Архип, мужик, раздувшийся от чрезмерного употребления чая, с румяным лицом, украшенным

окладистою бородкой и парюю маленьких и веселых глаз, в одной александрийской рубашке, подпоясанной ниже пупка, подходит к тарантасу Ивана Онуфрича, окидывает взглядом кузов, потом нагибается и ощупывает оси и колеса, потряхивает легонько весь тарантас и говорит:

— Барская штука! в Москве, что ли, ладили?

— Где в Москве! своими мастерами делали! тут одного железа пятнадцать поди пудов будет!

— Да; ладная штука!.. На богомолье, что ли, господа собрались?

— Да, на богомолье! то есть, больше, как бы сказать, для блезиру прогуляться желательно.

— Так-с... а нечего нонче сказать: на богомолье много господ ездит, а черного народу да баб так и ужаси сколько!

В это время проходит по двору женщина, засучивши сарафан и неся в одной руке ведро воды, а другую, вероятно для равновесия, держа наотмашь.

— Феклинья! брось ведро, да подь сюда! посмотри-кось, какую корету Иван Онуфрич изладил! — кричит ей тот же Петр Парамоныч.

Феклинья не смеет послушаться; она ставит ведро на-земь, но, подошедши, только покачивает головой и шепчет: «Ишь ты!»

— Да ты что ж ничего не говоришь! ты посмотри, какковы оси-то!.. глупая!

— Где ей, батюшка, Петр Парамоныч, в этакое деле смыслить! — вступается Архип и, обращаясь к Феклинье, прибавляет: — Ты смотри самовар скорее ставь для гостей дорогих!

— А я было воду-то для странниц несла: больно уж испить им хочется! кваску бы им дать, да ты не велел...

— До них ли теперь! видишь, господа купцы наехали! обождут, не велики барыни!

— А что, Демьяныч, видно, на квас-то скупенек, брат, стал? — говорит ямщик, откладывая коренную лошадь, — разбогател, знать, так и прижиматься стал!.. Ну-ко, толстобрюхий, полезай к хозяевам да скажи, что ямщикам, мол, на чай надо! — прибавляет он, обращаясь к Петру Парамонычу.

Между тем предмет этих разговоров, Иван Онуфрич Хрептюгин, расположился уж в светелке с своим семейством, состоящим из супруги, дочери и сына, и с двумя товарищами, сопутствующими ему в особом экипаже. Хрептюгин, купец первой гильдии, потомственный почет-

ный гражданин, зевает и потягивается. Дорога утомила и расслабила его нежное тело; в особенности же губительно подействовала она на ноги почетного гражданина, несмотря на то что ноги эти, по причине необыкновенной тонкости кожи, обуты в бархатные сапоги. Причина этого губительного действия заключается в том, что, соорудив себе «корету», Иван Онуфрич не столько думал об удобствах, сколько об том, чтоб железа и дубу было вволю, и чтоб вышла *корета* «православным аханье, немцам смерть и сухота». Хрептюгин — мужчина лет сорока пяти, из себя видный и высокий, одетый по-немецкому и не позволяющий себе ни малейшего волосяного украшения на лице. Походку имеет он твердую и значительную, хотя, по старой привычке, ходит, большею частию, заложивши руки назад. Многие еще помнят, как Хрептюгин был сидельцем в питейном доме и как он в то время рапортовал питейному ревизору, именно заложивши назади руки, но стоя не перпендикулярно, как теперь, а потолику наклоненно, поколику позволяли это законы тяготения; от какового частного стояния, должно полагать, и осталась у него привычка закладывать назади руки. Многие помнят также, как Иван Онуфрич в ту пору поворовывал и как питейный ревизор его за волосяное царство таскивал; помнят, как он постепенно, тихим манером идя, снял сначала один уезд, потом два, потом вдруг и целую губернию; как самая кожа на его лице из жесткой постепенно превращалась в мягкую, а из загорелой в белую... Но, разумеется, все эти воспоминания передаются только шепотом, и присутствие Хрептюгина вмиг заставляет умолкнуть злые языки.

Супруга его, Анна Тимофевна, дама весьма сановитая, но ограниченная, составляет непрестанно болящую рану Хрептюгина, потому что сколько он ни старался ее обшлифовать, но она еще и до сих пор, тайком от мужа, объедается квашеною капустой и опивается бражкой. Нередко также обмолвливается она неприятными словами, вроде «взопреть», «упаточиться», «тошнехонько» и т. п., и если это бывает при Иване Онуфриче, то он мечет на нее столь суровые взгляды, что бедная мгновенно утрачивает всю свою сановитость, теряется и делается способною учинить еще более непростительную в образованном обществе обмолвку.

Зато Аксиныя Ивановна (о! сколь много негодовал на себя Иван Онуфрич за то, что произвел это дитя еще в те дни, когда находился в «подлом» состоянии, иначе нарекли бы он ее столь неблагозвучным именем!) представляет

из себя тип тонной и образованной девицы. Она столько во всех науках усовершенствована, что даже и *rara* своему не может спустить, когда он, вместо «труфель», выговаривает «трухель», а о *taman* нечего и говорить: она считает ее решительно неспособною иметь никакого возвышенного чувства. Иван Онуфрич, имея в виду такую ее образованность, а также и то, что из себя она не сухопара, непременно надеется выдать ее замуж за генерала. «Хоть бы с улицы, хоть бы махонького какого-нибудь генералика!» — частенько думал он про себя, расхаживая взад и вперед по комнате, с заложенными за спину руками. «Ах, что это вы, папá, всё за спиной руки держите, точно «чего изволите?» говорите!» — скажет Аксинья Ивановна, прерывая его попечительные размышления. «Слушаю-с, ваше превосходительство!» — ответит Иван Онуфрич, погладит Аксюту по головке и станет держать руки по швам.

Совершенную противоположность с своей сестрицей составляет рожденный уже по приобретении Иваном Онуфричем благ цивилизации осемилетний сын его, *Démétrius* Иваныч. Хотя он одет в бархатную курточку, но так как «от свињи родятся не бобренки, а все поросенки», то образ мыслей и наклонностей его отстоит далече от благоуханной сферы, в которой находятся его родители. Сыздетска головку его обуревают разные экономические операции, и хотя не бывает ни в чем ему отказа, но такова уже младенческая его жадность, что, даже насытившись до болезни, все о том только и мнит, как бы с отческого стола стащить и под комод или под подушку на будущие времена схоронить. К изучению французского языка и хороших манер не имеет он ни малейшего пристрастия, а любит больше смотреть, как деньги считают, или же вот заберется к подвальному и смотрит, как зеленое вино по штофикам разливают, тряпочкой затыкают да смолкой припечатывают. «Брысь, слякоть!» — скажет ему подвальный Потапыч, а он ничего, даже не обидится, только сядет в уголок, да и наслаждается оттуда полегоньку. «Лютая бестия из тебя выдет, Митька!» — скажет Потапыч и примется снова за свое дело. В настоящее время Митька беспрестанно вынимает из карманов своих шаровар что-нибудь съедобное и меланхолически пожевывает.

Один из спутников Хрептюгина — армянин Халатов. Он принадлежит к числу тех бель-омов, которых некоторые остроумцы называют отвратительно-красивыми мужчинами. Говорит он по-русски хорошо, но уже по той отчетливости, с которою выговаривается у него каждое сло-

во, и по той деятельной роли, которую играют при произношении зубы и скулы, нельзя ошибиться насчет происхождения этого героя. Впрочем, он нрава малообщительного, больше молчит, и во время всей последующей сцены исключительно занимается всякого рода жеваньем, в рекреационное же время вздыхает и пускает страстные взоры в ту сторону, где находится Аксинья Ивановна, на сердце которой он имеет серьезные виды.

Другой спутник — птица небольшая, да и не малая, той самой палаты столоначальник, которая и Хрептюгина, и Халатова, и всех армян, еллинов и иудеев воспитывает, «да неглядны и беспечальны пребывают». Прозывается он Прохор Семенов Боченков, видом кляузен, жидок и зазорен, непрестанно чешет себе коленки, душу же хранит во всей чернильной непорочности, всегда готовую на послугу или на пакость, смотря по силе-возможности. Его тоже разломило в дороге, потому что он ходит по комнате аки ветром колыхаемый, что возбуждает немалую, хотя и подобострастную веселость в Хрептюгине. Везет его Иван Онуфрич на свой счет.

— Видно, Богу помолиться собрались, Иван Онуфрич? — спрашивает вошедший хозяин.

— Да, надо молиться. Он нас милует, и мы ему молиться должны, — отвечает Иван Онуфрич отрывисто.

— Из сидельцев... — начинает Анна Тимофеевна, но Иван Онуфрич бросает на нее смертоносный взгляд, и она робеет.

— Вы вечно какую-нибудь глупость хотите сказать, тапан, — замечает Аксинья Ивановна.

— Что ж за глупость! Известно, папенька из сидельцев вышли, Аксинья Ивановна! — вступает Боченков и, обращаясь к госпоже Хрептюгиной, прибавляет: — Это вы правильно, Анна Тимофеевна, сказали: Ивану Онуфричу денно и ночью Бога молить следует за то, что он его, царь небесный, в большие люди произвел. Кабы не Бог, так где бы вам родословной-то теперь своей искать? В червивом царстве, в мушином государстве? А теперь вот Иван Онуфрич, поди-кось, от римских цезарей, чай, себя по женской линии производит!

Хрептюгин от души ненавидит Боченкова, но боится его, и потому только сквозь зубы цедит:

— Хоть бы при мужике-то не говорил!

— А корету важную изладили, Иван Онуфрич! — начинает опять Демьяныч, с природной своей сметливостью догадавшийся, что положение Хрептюгина неловко.

— Карета не дурна — так себе! — отвечает Хрептюгин, — что ж, не в телегах же ездить!

— Ай, какие ужасы! — пищит Аксинья Ивановна.

— Как же можно в телегах! — рассуждает Демьяныч, — вам поди и в корете-то тяжко... Намеднись Семен Николаич проезжал, тоже у меня стоял, так говорит: «Я, говорит, Архипушко, дворец на колеса поставлю, да так и буду проклажаться!»

— Ну, уж ты там как хочешь, Иван Онуфрич, — прерывает Боченков, почесывая поясницу, — а я до следующей станции на твое место в карету сяду, а ты ступай в кибитку. Потому что ты как там ни ломайся, а у меня все-таки кости дворянские, а у тебя холопские.

От этой речи у Ивана Онуфрича спина холодеет, и он спотыкается на ровном месте.

— В Москве, что ли, корету-то делать изволили? — выручает опять Демьяныч.

— Своими мастеравыми! — отрывисто отвечает Хрептюгин.

— Слышал, батюшка, слышал; сказывают, такой чугуный заводище поставили, что только на удивленье!

— Я люблю, чтоб у меня все было в порядке... завод так чтоб завод, карета так карета... В Москве делают и хорошо, да все как-то не по мне!

— Ишь ведь как изладили! да что, по рисункам, что ли, батюшка? Не мало тоже, чай, хлопот было! Вот намеднись Семен Николаич говорит: «Ресунок, говорит, Архипушко, вещь мудреная: надо ее сообразить! линия-то на бумаге все прямо выходит: что́ глубина, что́ долина! так надо, говорит, все сообразить, которую то есть линию в глубь пустить, которую в долину́, которую в ширь...» Разговорился со мной — такой добреющий господин!

— Зато хорошо и выходит!

— Что говорить, сударь; известно, худо не хорошо, а хорошо не худо; так лучше уж, чтоб все хорошо было!.. Что ж, батюшка, самоварчик, что ли, наставить прикажете?

— Да; там у меня свой... серебряный самовар есть... Петр Парамоныч знает.

— Ах, как жалко, что наш большой серебряный самовар дома остался! — замечает Анна Тимофевна.

— Почему же жалко-с? — спрашивает Боченков.

— Да уж я не знаю, Прохор Семеныч, как вам сказать, а все-таки как-то лучше, как большой самовар есть...

— А оттого это жалко, — обращается Боченков к Ар-

хипу, — чтобы ты знал, борода, что у нас, кроме малого серебряного, еще большой серебряный самовар дома есть... Понял? Ну, теперь ступай, да торопи скорее малый серебряный самовар!

— Не мешало бы теперича и закусить, — говорит Халатов по уходе хозяина.

— Тебе бы только жрать, — отвечает Боченков, — дай прежде горло промочить! Мочи нет как испить хочется! с этим серебряным самоваром только грех один!

— Нельзя же нам из простых пить! — возражает Анна Тимофевна, — мы не какие-нибудь!

Однако самовар готов и ставится на стол: вынимаются шкатулочки, развязываются кулечки, и на столе появляются разные печенья. Démétrius смотрит на них исподлобья и норовит что-нибудь стащить.

— Насилу и воды-то допросился! — докладывает Петр Парамоныч, — эти каверзные богомолки так и набросились, даже из рук рвут!

— Ты бы, любезный, сказал им, что эта вода для нас нужна...

— Да что с ними говорить! они одно ладят, что мы, дескать, пешком шли...

В это время опять входит хозяин.

— Как же это, любезный, — обращается к нему Хрептюгин, — у тебя беспорядки такие! воду из рук мужички рвут!

— Уж извините, сударь! работница, дура, оплошала.

— То-то же! это не хорошо! везде нужен порядок!

— Иван Онуфрич, чай готов!

Хрептюгин принимает из рук своей супруги чашку изумительнейшего ауэрбаховского фарфора и прихлебывает, как благородный человек, прямо из чашки, не прибегая к блюдечку. Но Анна Тимофевна, несмотря на все настояния Ивана Онуфрича, не умеет еще обойтись без блюдечка, потому что чай обжигает ей губы. Сверх того, она пьет вприкуску. Халатов и Боченков закуривают сигары; Хрептюгин, с своей стороны, также вынимает сигару, завернутую в лубок — столь она драгоценна! — с надписью: *bayadère*¹, и, испросив у дам позволения (как это завсегда делается в благородных опчествах), начинает пускать самые миниятурные кольца дыма.

— Ведь вот, кажется, пустой напиток чай! — замечает благодушно Иван Онуфрич, — а не дай нам его китаец, так суматоха порядочная может из этого выйти.

¹ Баядерка (фр.).

— А какая суматоха? — возражает Боченков, — не даст китаец чаю, будем и липовый цвет пить! благородному человеку все равно, было бы только тепло! Это вам, брюханам, будет худо, потому что гнилье ваше некому будет сбывать!

— Фи, Прохор Семеныч! — говорит Аксинья Ивановна, — какие вы выраженья всё употребляете!

— А правда ли, батюшка Иван Онуфрич, в книжках пишут, будто чай — зелие, змеиным жиром кропленное? — спрашивает хозяин.

Хрептюгин благосклонно улыбается.

— В каких же это, Архип, книжках написано?

— А вот, сударь, письменные таки книжки есть. «Слово от старчества об антихристовом пришествии» называется... Так там, сударь, именно сказано: «От китян сие...»

— Пустяки, Архип, это все по неразумию! рассуди ты сам: змея гадина ядовитая, так может ли быть, чтоб мы о сю пору живы остались, жир ее каждый день пимши!

— «Пимши»! фуй, папá, как вы говорите несносно!

— Так-то так, сударь, а все как будто сумнительно маненько!.. А правду ли еще, сударь, в народе бают, некрутина должна быть вскорости объявлена?

— По палате не слыхать, — отвечает Боченков.

— Пустяки все это, любезный друг! известно, в народе от нечего делать толкуют! Ты пойми, Архип-простота, как же в народе этакому делу известным быть! такие, братец, распоряжения от правительства выходят, а черный народ все равно что мелево: что в него ни кинут, все оно и мелет!

— Так-с... Это справедливо, сударь, что народ глуп... потому-то он, как бы сказать, темным и прозывается...

— Ну, а если глуп, так, стало быть, нужно у вашего брата за такие слухи почаще под рубашкой смотреть!

— Ах, папá, вас уважать совсем нельзя!

В это время Митька стащил со стола такой большой кусок хлеба, что все заметили. Он силится запрятать его в карман, но кусок не лезет.

— Ишь семя анафемское! — говорит Боченков, — мал-мал, а только об том и в мыслях держит, как бы своровать что-нибудь!

— Ну, куда, куда тебе столько хлеба, Démétrius? — спрашивает Иван Онуфрич.

Он силится отнять хлеб, но руки Митьки заоченели, и сам он весь обозлился и позеленел. Анна Тимофевна внешне принимает сторону ненаглядного детища.

— Чтой-то уж вам, видно, хлеба для родного сына стало жалко! — говорит она с сердцем.

— Не жалко, сударыня, хлеба; а дожدهшься ты того, что он у тебя объестся!

— Я есть хочу! я есть хочу! — визжит Démétrius.

— А и в самом деле закусить бы не худо, Иван Онуфрич! — замечает Халатов.

— Ну, что ж с вами будешь делать! вели, брат Архип, там повару что-нибудь легонькое приготовить... цыпляточек, что ли...

— Ах вы, с своими цыпляточками! — возражает Боченков, — а ты вели-ка, Архипушка, первоначально колбасы подать, там в кулечке уложена... Станешь, что ли, колбасу, Иван Онуфрич, есть?

— Нет, я колбасы есть не могу!

— Что ж так?

— Да так... желудок у меня что-то тово... Так я, братец ты мой, его в последнее время усовершенствовал, что кроме чего-нибудь легонького... трухеля, например...

— Ну, а помнишь ли времечко, как травы сельные пожевывал, камешки переваривал?..

Боченков произносит каждое слово с расстановкой и смотрит Хрептюгину в глаза, наслаждаясь его смущением.

— Ну, по крайности хошь водочки хватим! — продолжает он.

— Не могу, Прохор Семеныч, и водки не могу... разве уж пеперментовой!

— Эк ты на себя вельможества-то напустил!

Подают закуску. Боченков прежде всего принимается за шпанскую водку и заедает ее огромным куском языковой колбасы; потом по очереди приступает и к другим яствам, не минуя ни одного. Халатов и Анна Тимофевна подражают ему и едят исправно. Митька десять раз уж подавился и наконец в одиннадцатый раз давится до такой степени, что глаза у него почти выскочили и Аксинья Ивановна вынуждена бить его в загорбок. Но Иван Онуфрич ест полегоньку, только отведывает, но и то самых нежных кушаньев: крылышко цыпленка, страсбургского пирога, оленьего языка, копченой стерляди и т. п. Все это стоит дорого и, следовательно, должно быть легко и равносильно крылышку цыпленка.

— Подать шампанского! — равнодушно говорит он, обглодавши цыпленка. — Да холодного!

— Ах, папá, вы все-таки говорите «холодного»!.. Точно вам не все равно сказать: «холодного»?

Парамоныч и Демьяныч суетятся, приносят шампанское «розовое» и разливают его по бокалам.

— Вот этот напиток я люблю! — говорит Хрептюгин, медленно смакуя вино, — потому что это напиток легкий...

— Ишь ты, и шампанское-то у него не как у людей, — замечает Боченков, — розовое!

— Розовое, братец, нынче в большом ходу! в Петербурге на всех хороших столах другого не подают!.. Я, братец, шампанское вино потому предпочитаю, что оно вино нежное, для желудка необременительное!

— Так, дружище, так... Ну, однако, мы теперича на твой счет и сыти и пьяни... выходит, треба есть нам соснуть. Я пойду, лягу в карете, а вы, мадамы, как будет все готово, можете легонько прийти и сесть... Только, чур, не будить меня, потому что я спросоньев лют бываю! А ты, Иван Онуфрич, уж так и быть, в кибитке тело свое белое маленько попротряси.

Боченков удаляется.

— Прегрубиян этот Прошка! — замечает Иван Онуфрич немедленно по удалении Боченкова.

— Вольно же вам со всяким мове-жанром связываться, — вступается Аксинья Ивановна.

— Что ж станете делать, Аксинья Ивановна! — говорит Халатов, — если Иван Онуфриевич Прохору Семеновичу уваженья не сделают...

— Ах ты господи!.. есть же на свете счастливы! вот, например, графы и князья: они никаких этих Прошек не знают!

Аксинья Ивановна тяжело вздыхает и, сев у окна, устремляет свои взоры в синюю даль, в которой рисуется ей молодой князь Чебылкин в виде

Жука черного с усами
И с курчавой головой...

— Пора, однако ж, и на боковую! — возглашает Хрептюгин. — Ты разбуди меня, Парамоныч, часа через два, да смотри, буди полегоньку... Да скажи ямщикам, чтоб они все эти бубенчики сняли... благородные люди так не ездят!

Между тем внизу, в черной избе, происходит иного рода сцена. Там обедают извозчики, и идет у них разговор дружный, непрережающийся.

— Слышал, Еремей, сказывают, что и в здешнем месте чугунка пойдет?

— Что врать-то! еще накличешь, пожалуй!

— А чего врать; ты слушай, голова! намеднись ехал я ночью в троечных с барином, только и вздремнул маленько, а лошади-то и пошли шагом. Почуял, что ли, он во сне, что кони не бегут, как вскочит, да на меня! «Ах ты сякой!» да «Ах ты этакой!» Только бить не бьет, а так, знаешь, руками помахивает! Ну, я на него смотрю, что он ровно как обеспамятел: «Ты что ж, мол, говорю, дерешься, хозяин? драться, говорю, не велено!» Ну, он и поприутих, лег опять в карандас да и говорит: вот, говорит, ужо вам будет, разбойники этакие, как чугунку здесь поведут!

— Чай, постращать только!

— Чего постращать! Сам, говорит, я в эвтим месте служу, и доподлинно знаю, что чугунке здесь быть положено.

— А и то, ребята, сами мы виноваты! — вступается третий голос, — кабы по-христиански действовали, так, может, и помиловал бы бог... а то только и заботушки у нас, как бы проезжего-то ограбить!

— Ах ты голова-голова нечесаная! так ведь откуль же ни на будь надо лошадям корму-то добывать! да и хозяйка тоже платочка, чай, просит!

— Да все же надо бы по сообразности...

— Намеднись вот проезжал у нас барин: тихий такой... Ехал-то он на почтовых, да коней-то и не случилось, а сидеть ему неохота. Туда-сюда — вольных... Только и заломил я с него за станцию-то пять серебра, так он ажно глаза вытаращил, однако, подумамши, четыре серебра без гривенника за двадцать верст дал... Ну, приехали мы на другую станцию, ан и там кони в разгоне... Пытали мы в ту пору промеж себя смеяться!..

В это время входят ямщики, везшие Хрептюгина с свитою.

— Кого приволокли? — спрашивает первый голос.

— Кого привезли? черта привезли! — отвечает один из ямщиков, раздеваясь и с сердцем кидая на полати армяк и кнут.

— Разве на чай не дали?

— Дали... двугривенный на всех!

Общий хохот.

— Ой, Ванюха! купи у меня: лошадь продаю! только уж добавь что-нибудь к двугривенному-то, сделай милость! Новый хохот.

— Ишь ты, голова, как человек-от дурашлив бывает! вон он в купцы этта вылез, денег большое место нагрел,

так и на чай-то уж настоящего дать не хочет!.. Да ты что ж брал-то?

— А и то хотел толстобрюхому в рыло кинуть!

— Что ж не кинул?

— Заела меня Агашка! все говорит: платок купи, а на́ что купишь!

— Да кому вперед-от их везти? Пятрухе, что ли?

— Мне и есть, — отзывается Петруха.

— Смотри же ты, шажком поезжай, баловства им делать не надо! А коли фордыбачить станут, так остановись середь поля, отложи лошадей, да и шабаш!

Через два часа доедали еще извозчики гороховый кисель, а Парамоныч уже суетился и наконец как угорелый вбежал в избу.

— Кому закладывать? чья очередь? — спрашивал он впопыхах. — Господа ехать желают.

— Поспеешь! — было ему ответом.

— Ах вы черти этакие! вот вам ужо барин даст!

Но никто не трогается с места, и извозчики продолжают разговаривать о посторонних предметах. Иван Онуфрич находит себя вынужденным лично вступить в это дело.

— Кому закладывать? — спрашивает он, выпрямляясь во весь рост.

— Поспеешь еще, господин двугривенный! — отвечает голос из толпы.

— Как ты смеешь? — кричит Хрептюгин, бросаясь вперед с протянутыми дланями.

— Не шали, руками не озорничай, купец! — говорит один ямщик.

— Что ж, разве и пообедать нельзя? — продолжает другой, — вольно ж тебе было три часа дрыхнуть здесь!

— Закладать, что ли, дядя Андрей? — спрашивает Петруха.

— Погоди, поспеет!

Иван Онуфрич весь синь от злости; губы его дрожат; но он сознает, что есть-таки в мире сила, которую даже его беспспорное и неотразимое величие сломить не может! Все он себе покорил, даже желудок усовершенствовал, а придорожного мужика покорить не мог!

— Да закладывайте же, голубчики! — говорит он умоляющим голосом.

— То-то «голубчики»! этак-то лучше будет! Ин заклад дай поди, Пятруха: барин хороший, по целковому на чай дает!

— Батюшка! не будет ли вашей милости грошик пожаловать! три дня, кормилец, не едала! — жалобно вопиет старуха старая, сгорбленная и сморщенная.

— Пошла, пошла прочь! — кричит Хрептюгин, чувствуя вдруг новый прилив гнева в груди, — ишь дармоедки какие со всех концов земли собрались!

ГОСПОЖА МУЗОВКИНА

Перенесемся опять на постоялый двор. На этот раз постоялый двор стоит не на почтовом тракте и не среди большого и богатого села, а на боковой, малопроезжей дороге, в небольшой и весьма некрасиво выстроенной деревне. Постоялый двор, о котором идет речь, одноэтажный; в распоряжение проезжающих отдаются в нем всего две комнаты, да и те частенько остаются праздными. В сущности, это не столько постоялый двор, сколько просторная крестьянская изба, выстроенная зажиточным хозяином для своей семьи и готовая к услугам только немногих, да и то лично знакомых ему проезжих господ и купцов. Поэтому самая отделка горниц совершенно отличная от отделки их в настоящих постоялых дворах, в которых встречаются уже дешевые обои по стенам, створчатые окна, ломберные столы и стулья под красное дерево, покрытые волосяною материей или кожей. Тут, напротив того, стены мшѐные, оконницы отворяются не иначе, как вверх и с подставочкой, вместо мебели в стены вделаны лавки, которые лоснятся от давнишнего употребления; стол всего один, но и тот простой, с выдвижным ящиком, в котором всегда валяются корки хлеба. Зато в переднем углу поставлен кивот с образами, чего в щегольских и украшенных обоями постоялых дворах уже не бывает.

Но и постоялый двор, и самая дорога, на которой он стоит, как-то особенно любезны моему сердцу, несмотря на то что, в сущности, дорога эта не представляет никаких привлекательных качеств, за которые следовало бы ее любить... По всему протяжению ее идет жестокий и по местам, в полном смысле слова, изуродованный мостовник, на котором и патентованные железные оси ломаются без малейших усилий. В тех немногих местах, где тиранство мостовника исчезает, колеса экипажа глубоко врезаются или в сыпучие пески, или в глубокую, клейкую грязь. Одним словом, это именно такая дорога, от которой, при частой езде, можно поглупеть, вследствие сильных толчков в

темя и в затылок. И за всю эту пытку путник ниоткуда не получает никакого вознаграждения; ничто не привлекает его взора, ничто не ласкает его уха, а обоняние поражается даже весьма неприятно. По сторонам тянется тот мелкий лесочек, состоящий из тонкоствольных, ободранных и оплешивевших елок, который в простонародье слывет под именем «паршивого»; над леском висит вечно серенькое и вечно тоскливое небо; жидкая и бледная зелень дорожных окраин как будто совсем не растет, а сменяющая ее по временам высокая и густая осока тоже не ласкает, а как-то неприятно режет взор проезжего. По лесу летает и поет больше птица ворона, издавна живущая в разладе с законами гармонии, а над экипажем толпятся целые тучи комаров, которые до такой степени нестерпимо жужжат в уши, что, кажется, будто и им до смерти надоело жить в этой болотине. И если над всем этим представить себе неблагоприятные туманы, которые, особливо по вечерам, поднимаются от окрестных болот, то картина будет полная и, как видится, непривлекательная.

А тем не менее я люблю ее. Я люблю эту бедную природу, может быть, потому, что, какова она ни есть, она все-таки принадлежит мне; она сроднилась со мной, точно так же как и я сжилась с ней; она лелеяла мою молодость, она была свидетельницей первых тревог моего сердца, и с тех пор ей принадлежит лучшая часть меня самого. Перенесите меня в Швейцарию, в Индию, в Бразилию, окружите какую хотите роскошною природой, накиньте на эту природу какое угодно прозрачное и синее небо, я все-таки везде найду милые мне серенькие тоны моей родины, потому что я всюду и всегда ношу их в моем сердце, потому что душа моя хранит их, как лучшее свое достояние.

Хозяин постоянного двора, Аким Прохоров, знаком мне с детства. Хотя ему, как он сам выражается, с небольшим сто годков, однако он сохраняет еще всю свою память и бродит довольно бойко, хоть и упирается при этом руками в коленки. Теперь у него шесть сынов, из которых младшему не менее пятидесяти лет, и у каждого из этих сынов тоже свое многочисленное потомство. Если б большая часть этого потомства не была в постоянной отлучке из дому по случаю разных промыслов и торговых дел, то, конечно, для помещения его следовало бы выстроить еще, по крайней мере три такие избы; но с Прохорычем живет только старший сын его, Ванюша, малый лет осьмидесяти, да бабы, да малые ребята, и весь этот люд он содержит в ежовых рукавицах.

— А Аким жив? — спросил я, вылезая из тарантаса, въехавшего в знакомый мне двор.

— Славу богу, батюшка! милости просим! — отвечал мне осьмидесятилетний Ванюша, подхватывая меня под руки, — давненько, сударь, уж не бывали у нас! Как папынька? мамынька? Слава ли богу здравствуют?

— Слава богу, Иван.

— «Слава богу» лучше всего, сударь!

На верху крыльца встретил меня сам старик.

— Да, никак, это Щедринский барчонок? — сказал он, глядя на меня из-под руки.

Надобно сказать, что Аким звал меня таким образом еще в то время, когда, бывало, я останавливался у него ребенком, проезжая домой на каникулы и с каникул в гимназию.

— Да как же ты, сударь, остепенел! видно, уж вышел из ученья-то?

— Вышел, Аким.

— Так, сударь; стало быть, на лето-то в деревню погостить собрался?

— Да, месяца с три пробуду здесь.

— Это ты, сударь, хорошо делаешь, что папыньку с мамынькой не забываешь... да и хорошо ведь в деревне-то! Вот мои ребятки тоже стороною-то походят-походят, а всё в деревню же придут! в городе, бат, хорошо, а в деревне лучше. Так-то, сударь!

— Что, у тебя комнаты-то порожние?

— Порóзы, сударь, порóзы! Нонче езда малая, всё, слышь, больше по Волге да на праходах ездят! Хошь бы глазком посмотрел, что за праходы такие!.. Еще зимой нешто́, бывают-таки проезжающие, а летом совсем нет никого!

— Здоров ли ты, по крайней мере?

— Больше все лежу, сударь! Моченьки-то, знаешь, нету, так больше на печке живу... И вот еще, сударь, како со мной чудо! И не бывало никогда, чтобы то есть знобило меня; а нонче хошь в какой жар — все знобит, все знобит!

— Ты, дедушко, и теперь бы на печку шел! — сказала молодуха, пришедшая за ними прибрать кое-что в горнице, в которую мы вошли.

— Не замай! вот маленько с барчонок побеседуем... Старинные мы с тобой, сударь, знакомые!

— Внучка, что ли, это твоя?

— Мнукова, сударь, жена... Петрушу-то моего, чай, знаешь? так вот его-то сына — мнука мне-то — жена...

У меня, сударь, шесть сынов, и у каждого сына старший сын Акимом прозывается, и не сообразишь их!

— А где же теперь твои сыновья? — спросил я, зная наперед, что старик ни о чем так охотно не говорит, как о своих семейных делах.

— Старшой-ет сын, Ванюша, при мне... Второй сын, Кузьма Акимыч, графскими людьми в Москве заправляет; третий сын, Прохор, сапожную мастерскую в Москве у Арбатских ворот держит, четвертый сын, Петруша, у Троицы в ямщиках — тоже хозяйствует! пятой сын, Семен, у Прохора-то в мастерах живет, а шестой, сударь, Михеюшко, лабаз в Москве же держит... Вот сколько сынов у меня! А мнуков да прамнуков так и не сосчитать... одной, сударь, своею душой без двух тридцать тягол его графскому сиятельству справляю, во как!

— Что ж, сыновья-то от себя, что ли, торгуют?

— Покуда я живу, так все будто я торгую... только стали они ноне отбиваться от меня: и глаз ко мне не кажут, да и денег не шлют... старшенькому-то, Ванюшке-то, и обидненько!

— Стар ты уж, видно, стал, Аким!

— Вестимо, не прежние годы! Я, сударь, вот все с хорошим человеком посоветоваться хочу. Второй-ет у меня сын, Кузьма Акимыч, у графа заместо как управляющего в Москве, и граф-то его, слышь, больно уж жалует. Так я, сударь, вот и боюсь, чтоб он Ванюшку-то моего не обидел.

— А ты бы их при жизни в раздел пустил.

— Так я, сударь, и пожелал; только что ж Кузьма-то Акимыч, узнавши об этом, удумал? Приехал он ноне по зиме ко мне: «Ты, говорит, делить нас захотел, так я, говорит, тебе этого не позволю, потому как я у графа первый человек! А как ты, мол, не дай бог, кончишься, так на твоём месте хозяйствовать мне, а не Ивану, потому как он малоумный!» Так вот, сударь, каки ноне порядки!

— Да разве Иван-то малоумный?

— Какой он малоумный! Вестимо попроче против других будет, потому что из деревни не выезжает, а то какой же он малоумный? как есть хрестьянин!

— Так что же ты хочешь сделать?

— А вот, сударь, думал я было сначала к нашему графу писемцо написать... да и боязно словно: боюсь, как бы не обиделся на меня его сиятельство!

— Что ж тут обидного?

— Как! — скажет, — ты, мой раб, хочешь меня, твоего господина, учить? коли я, скажет, над тобой сына твоего

начальником сделал, значит, он мне там надобен... Нет тебе, скажет, раздела!

Следует заметить, что когда дело доходило до передачи речей Кузьмы Акимыча, Акима Кузьмича и графа, Аким вставал с лавки и, вставши в позицию, декламировал эти речи, принимая возможный, при его дряхлости, величественный и повелительный вид.

— Разве у вас граф-то сердитый?

— А кто ж его, сударь, знает, какой он? Только вот Кузьма-то Акимыч говорит, будто уж очень он грозен.

— Да Кузьма-то, может быть, только застращать тебя хочет?

— Думал я, сударь, и так; да опять, как и напишешь-то к графу? по-мужицки-то ему напишешь, так он и читать не станет... вот что! Так уж я, сударь, подумавши, так рассудил, чтоб быть этому делу как бог укажет!

— Ну, а если Кузьма-то в самом деле Ивана обидит?

— Обидит, сударь, это уж я вижу, что беспреренно обидит! Жалко, уж и как жалко мне Иванушка! Пытал я тоже Кузьму-то Акимыча вразумлять! «Опомнись, мол, говорю, ты ли меня родил, или я тебя родил? так за что ж ты меня на старости-то лет избидеть хочешь!»

— Что ж он?

— Ну, он сначала было и вразумился, словно и помирнел, а потом сходил этта по хозяйству, все обсмóтрил: «Нет, говорит, воля твоя, батюшка, святая, а только уж больно у тебя хозяйство хорошо! Хочу, говорит, надо всем сам головой быть, а Ванюшку не пущу!»

Аким уперся руками в коленки и закручинился.

— И в кого это он у меня, сударь, такой лютый уродился! Сына вот — мнука мне-то — ноне в мясоед женил, тоже у купца дочку взял, да на волю его у графа-то и выпросил... ну, куда уж, сударь, нам, серым людям, с купцами связываться!.. Вот он теперь, Аким-то Кузьмич, мне, своему дедушке, поклониться и не хочет... даже молодуху-то свою показать не привез!

— Однако Кузьма-то у тебя, видно, неладный вышел...

— Что станешь с ним, сударь, делать! Жил-жил, все радовался, а теперь вот ко гробу мне-ка уж время, смотри, какая у нас оказия вышла! И чего еще я, сударь, боюсь: Аким-то Кузьмич человек ноне вольной, так Кузьма-то Акимыч, пожалуй, в купцы его выпишет, да и деньги-то мои все к нему перетащит... А ну, как он в ту пору, получивши деньги-то, отцу вдруг скажет: «Я, скажет, папынька, много вами доволен, а денежки, дескать, не ваши, а мои...»

прощайте, мол, папынька!» Поклонится ему, да и вон пошел!

— Вас, сударь, барынька тут одна спрашивает, — доложил мне вошедший в это время Иван.

— Какая барынька?

— А кто ее, сударь, ведает! побиральщица должна быть! она у нас уж тут трои суток живет, ни за хлеб, ни за тепло не платит... на богомолье, бает, собиралась... позвать, что ли, прикажете?

— Не пушай, сударь... чай, гривенничка выпросить хочет! — предостерег меня Аким.

Но барынька, вероятно, предчувствовала, что найдет мало сочувствия в Акиме, и потому, почти вслед за Иваном, сама вошла в горницу. Это была маленькая и худощавая старушка, державшаяся очень прямо, с мелкими чертами лица, с узенькими и разбегающимися глазками, с остреньким носом, таковым же подбородком и тонкими бледными губами. Одета она была в черный коленкоровый капот, довольно ветхий, но чистый; на плечах у нее был черный драдедамовый платок, а на голове белый чепчик, подвязанный у подбородка.

— Я, милостивый государь, здешняя дворянка, — сказала она мне мягким голосом, но не без чувства собственного достоинства, — коллежская секретарша Марья Петровна Музовкина, и хотя не настоящая вдова, но по грехам моим и по воле божией вдовею вот уж двадцать пятый год...

— Что же вам угодно, сударыня?.. да садитесь, пожалуйста.

— Мне, милостивый государь, чужого ничего не надобно, — продолжала она, садясь возле меня на лавке, — и хотя я неимущая, но, благодарение богу, дворянского своего происхождения забыть не в силах... Я имею счастье быть лично известною вашим папеньке-маменьке... конечно, перед ними я все равно, что червь пресмыкающийся, даже меньше того, но как при всем том я добродетель во всяком месте, по дворянскому моему званию, уважать привыкла, то и родителей ваших не почитать не в силах...

— Ах, Марья Петровна! — прервал ее старик Аким, — уж ты бы лучше прямо, сударыня, у барчонка гривенничка попросила, нечем околесицу-то эту городить!

— Вот, милостивый государь, каким я, по неимуществу моему, грубостям подвержена, — сказала Музовкина, несколько не конфузясь, — конечно, по христиански я должна оставить это втуне, но не скрою от вас, что если бы не

была я разлучена с другом моим Федором Гаврилычем, то он, без сомнения, защитил бы меня от напрасных обид...

— Ох, сударыня! ты, чай, киятры-то эти перед всяким проезжающим представляешь!

— А хоша бы и представляла, Аким Прохорыч, то представляю киятры я, а не вы... следовательно, какой же вам от того убыток? Хотя я и дворянка званием, Аким Прохорыч, но как при всем том я сирота, то, конечно, обидеть меня всякому можно...

— Ну, да бог с тобой! говори, я тебе не препятствую.

— Что же вам угодно? — повторил я.

— Я чужого не желаю, милостивый государь, — опять начала она, — я прошу только об одном, чтобы вы милостиво меня выслушали.

— В таком случае, уж распорядись, Аким, чтобы там самовар скорее подали, да закусить что-нибудь... ведь вы не откажетесь закусить со мною, Марья Петровна?

— Я сыта, сударь. Но если вам непременно угодно, чтоб я ела, я должна исполнить ваше желание...

— Помилуйте, сударыня! как вам будет угодно.

— Я прошу вас, милостивый государь, только выслушать меня. Родители мои, царство им небесное, были происхождения очень хорошего и имели в здешнем месте своих собственных десять душ-с. Папенька мой держали меня очень строго, потому что человек в юношестве больше всего всякими соблазнами, как бы сказать, обуреваем бывает, и хотя сватались за меня даже генералы, но он согласия своего на брак мой не дал, и осталась я после их смерти (маменька моя еще при жизни ихней скончалась) девицею. Имела я тогда всего-навсе двадцать пять лет от роду и, по невинности своей, ничего, можно сказать, не понимала: не трудно после этого вообразить, каким искушениям я должна была подвергнуться! А больше еще и по тому особливому случаю искушения сделались для меня доступными, что в это время в нашем селе имел квартирование полк, и следовательно, какую ж я могла иметь против этого защиту? Конечно, я, как дочь, не смею против родителя роптать, однако и теперь могу сказать, что отдай меня в ту пору папенька за генерала, то не вышло бы ничего, и не осталась бы я навек несчастною... Папенька в ту пору говорили, что будто бы генерал, который за меня сватался, пьют очень много, однако разве не встречаем мы многие примеры, что жены за пьяными еще счастливее бывают, нежели за трезвыми?

Едва она успела предложить мне этот вопрос, как при-

несли самовар, и я должен был оторваться от нее на минутку, чтобы сделать чай.

— Уж если будет ваше одолжение, милостивый государь, — сказала она, — то позвольте чашечку и мне, но без сахара, потому что я, по моим обстоятельствам, вынуждаюсь пить вприкуску... Я остановилась, кажется, на том, что осталась после папеньки сиротою. Много мне стоило слез, чтобы женскую слабость мою преодолеть, однако я ее не пересилила и, по молодости моей, не устояла против соблазна. Был тут, в этом полку, один поручик; покорывствовался он, сударь, на мое родительское достояние и вовлек меня с собою в любовь. Из себя он был столько хорош, что даже в картинах нынче уж таких мужчин не пишут, обращение имел учтивое и одевался навсегда очень чисто. Следовательно, могла ли я, при моей неопытности, против льстивых его уверений устоять? Уговаривал он меня, за такую ко мне его любовь, заемное письмо ему дать, и хоша могла я из этого самого поступка об его злом намерении заключить, однако ж не заключила, и только в том могла себя воздержать, что без брака исполнить его просьбу не согласилась. Ну, это точно, что он желанию моему сопротивления не сделал и брачную церемонию всю исполнил как следует, я же, по своей глупости, и заемное письмо ему в семь тысяч рублей ассигнациями в тот же вечер отдала... Только что ж бы думали он со мной, сударь, сделал? Первое дело, что избил меня в то время ужаснейшим образом, за то будто бы, что я не в своем виде замуж за него вышла; да это бы еще ничего, потому что, и при строгости мужниной, часто счастливые браки бывают; а второе дело, просыпаюсь я на другой день, смотрю, Федора Гаврилыча моего нет; спрашиваю у служанки: куда девался, мол, Федор Гаврилыч? отвечает: еще давеча ранехонько на охоту ушли. И вот, милостивый государь, с самого этого времени и до сей минуты Федор Гаврилыч все с охоты не возвращается!

Она остановилась и устремила взоры свои на меня, как бы выжидая, чтоб я высказался.

— Что ж, — сказал я, — быть может, это и к лучшему для вас, сударыня, потому что, судя по началу, едва ли вы могли ожидать чего-нибудь хорошего от Федора Гаврилыча.

— И я, милостивый государь, по началу точно так думала, однако вышло совсем напротив. Вы забыли об заемном-то письме, а Федор Гаврилыч об нем не забыл. На другой день сию я и, как следует молодой женщине, го-

рюю, как вдруг входит ко мне ихней роты капитан и самое это заемное письмо в руке держит. И что ж, сударь, я от него узнала? что Федор Гаврилыч этому самому капитану состоял еще прежде того одолженным четыре тысячи рублей, и как заплатить ему было нечем, то и отдал в уплату заемное письмо на меня!.. Ну, конечно, я сразу обидеть себя не дала, а тоже судом с капитаном тягалась, однако ничего против него сделать не могла!.. И таким, сударь, родом, в одну, можно сказать, ночь лишилась я и Федора Гаврилыча, и всего моего имущества!

— Вы, быть может, желаете, чтоб я помог вам, сударыня?

— Я, милостивый государь, чужого ничего не желаю; я прошу вас только выслушать меня... Осталась я, после этого происшествия, при одной рабе да при трех десятинах земли, которые капитан мне из милости предоставил. Конечно, и с трех десятин я могла бы еще некоторую поддержку для себя получать, но их, сударь, и по настоящее время отыскать нигде не могут, потому что капитан только указал их на плане пальцем, да вскоре после того и скончался, а настоящего ничего не сделал. Пришлось, сударь, идти после этого в люди!

Марья Петровна пожелала отдохнуть и опять остановилась, и хотя я убежден был, что рассказ ее был заученный, однако не без любопытства следил за ее болтовней, которая для меня была делом совершенно новым. Она, впрочем, не сидела даром и в течение отдыха, а как-то прискорбно и желчно вздрагивала губами и носом, приготовляясь, вероятно, к дальнейшему рассказу своих похождения.

— Уговорила меня, сударь, к себе тутошняя одна помещица к ней переселиться: «Живите, говорит, при мне, душенька Марья Петровна, во всем вашем спокойствии; кушать, говорит, будете с моего стола; комната вам будет особенная; платьев в год два ситцевых и одно гарнитуровое, а занятия ваши будут самые благородные». Я, однако ж, остереглась и выговорила тут ей, что я, мол, Анфиса Ивановна, роду не простого, так не было бы у вас для меня обиды... Только она, сударь, против этого и забожилась и заклалась. И жила я у ней таким манером лет пять, и точно, грех сказать, кроме хорошего, обиды от нее никакой не видала. Чай ли, бывало, кофий ли пьют, я свою чашку безотменно получала, а занятия только у меня и было, что после обеда в карты Анфисе Ивановне, бывало, погадаешь. Только замешалась тут дочка Анфисы Иванов-

ны, и с нее-то пошло у нас все дело. При поступлении моем в дом моей благодетельницы, было ихнему дитяти всего лет двенадцать, а потом стали они постепенно подрастать и достигли наконец совершенного возраста. Но, достигши таким манером законных лет, выказали они при этом чувства совершенно не господские, а скорее, как бы сказать, холопские. Полюбился им, с своей стороны, наш становой Дмитрий Михайлыч: в этом, конечно, они имели резон, потому что Дмитрий Михайлыч был из себя мужчина очень видный, но для чего ж они меня тут припутали? Разве я тут в чем-нибудь, сударь, виновата, что Дмитрий Михайлыч не Вере Павловне, а мне предпочтение оказывал? Однако они этому не вняли, и пошла тут мне от них во всем обида большая. Анфиса Ивановна тоже не желала такую партию для дитяти своего упустить, и начали меня попрекать всем-с: даже куски, которые я в пять лет съела, и те, кажется, пересчитали! Однако как видела я свою правоту, то терпела до последнего, и прожила у них до тех пор, покуда они сами меня не выгнали... Тогда я, заявивши пред добрыми людьми о моей невинности, хоша, как христианка, в душе и простила Анфисе Ивановне ее обиду, однако, как дворянка, не могла свое звание позабыть и стала искаться на ней судом в личной обиде-с...

Марья Петровна, сказавши это, посмотрела на меня как-то особенно пронизательно.

«Уж не хочет ли она застращать меня или вызвать на какое-нибудь оскорбление?» — подумал я и потом прибавил вслух:

— Что ж, выиграла вы ваше дело?

— Нет-с; выиграть я не могла, потому что не имела средств вести его, однако Анфисе Ивановне большую через это неприятность сделала, так что, после того, не только Дмитрий Михайлыч, но и никто другой к Вере Павловне касательства иметь не захотел, и пребывают они и до настоящей минуты в девичестве...

— Ну, а вы-то сами что через это выиграла?

— Выиграла я или не выиграла, это дело стороннее-с, а должна же я была за оскорбление моей чести вступить-ся, потому что друга моего Федора Гаврилыча со мной нет, и следственно, защитить меня, сироту, некому... Но я прошу вас сделать мне одолжение, выслушать меня. Расставшись с Анфисой Ивановной, я отправилась к соседке ее по имению, госпоже Говорковой. Госпожа Говоркова была вдова и весьма страдали нервами, а так как я очень искус-

на в обращении с чувствительными дамами, то она приняла меня к себе с величайшим удовольствием. Откровенно сознаюсь вам, милостивый государь, много видала я на своем веку нервных дам, и сама даже до сих пор этим очень страдаю, однако столько расстроенной госпожи, сколько была расстроена Дарья Григорьевна, я никогда и не знавала. Бывало, начнут она страдать, так это именно жалости подобно; только один Иван Карлыч, учитель ихних детей, и имели возможность эти припадки усмирять! Прожила я таким родом и у Дарьи Григорьевны три года с лишком и обиды для себя никакой от них не видала. Да и не случился бы у нас с ними никогда разрыв, если бы не Иван Карлыч. Соскучились, что ли, ими Дарья Григорьевна, или показался им очень приятен ихний новый управляющий, Карл Иваныч, только она во всем мне открылась и просили моего посредничества. Согласитесь, милостивый государь, могла ли я в чем-нибудь благодетельнице моей отказать? а если не могла отказать, то, следственно, в чем же тут моя вина состоит? Однако Иван Карлыч об этом узнали, пришли в восторженность и всячески меня при людях раскостили! И такова была слабость Дарьи Григорьевны, что она меня же, свою покорную слугу, по настоянию Ивана Карлыча из дому своего выгнали...

— Что ж, вы, я думаю, и об этом происшествии просьбу в суд подали?

— Подала, сударь, и хотя опять дело мое проиграла, однако не могла же я не подать просьбы, потому что дворянскую свою честь очень знаю, и защищать ее, по закону, завсегда обязываюсь... После того...

— Нет, позвольте... для меня этого достаточно. Я желал бы только знать, чем вы в настоящее время занимаетесь и по какому случаю находитесь здесь?

— Позвольте мне, милостивый государь, попросить вас выслушать меня...

— Извините, но для меня весьма достаточно сказанного вами, и я желал бы знать, на какой конец вы удостоили меня своею доверенностью?

— В настоящее время, пришедши в преклонность моих лет, я, милостивый государь, вижу себя лишенною пристанища. А как я, с самых малых лет, имела к божественному большое пристрастие, то и хожу теперь больше по святым монастырям и обителям, не столько помышляя о настоящей жизни, сколько о жизни будущей...

— Что же вам от меня угодно, сударыня?

Она встала с лавки, призвала на помощь всю сумму

чувства собственного достоинства, какая была у нее в распоряжении, и сказала:

— Милостивый государы! я чужого ничего не желаю, но если бы вам угодно было одолжить мне заимообразно хотя пять рублей, то я весьма была бы вами благодетельствована!

Я готовился уже вынуть из бумажника требуемые деньги, как в то же самое время, гремя бубенчиками и колокольцами, к ворота подъехал экипаж, и я услышал в сенях знакомый мне голос Семена Иваныча Призорова, соседа моего по имению, а Марья Петровна, при первых звуках этого голоса, заметно сконфузилась.

— Милостивый государы! позвольте вас поторопить, потому что я не желала бы, чтоб заклятой мой враг видел мое унижение! — сказала она.

Но было уже поздно, потому что дверь в эту минуту отворилась, и Призоров вошел в горницу.

— Ба! да и ты здесь, Скорпиона Аспидовна? — обратился он к Музовкиной, поздоровавшись со мной, — по какому же ты случаю становище свое переменила? верно, в Михайловском уже ремесло-то твое сделалось невыгодно?

— Я не знаю, что вам угодно сказать, Семен Иваныч, а как я никаким ремеслом не занимаюсь, — стало быть, слова ваши ничего больше, как обида мне...

— Уж не просила ли она и у вас денег? — продолжал между тем Призоров, — упаси вас боже дать что-нибудь.. ну-с, Скорпиона Аспидовна, налево кругом, марш!

— Помилуйте, Семен Иваныч, я чужого ничего не желаю, а прошу только заимообразно...

Но Семен Иваныч ничего не хотел слышать и, повернув Марью Петровну довольно бесцеремонно, выпроводил ее из комнаты.

Дня через три, будучи в деревне, я получил от Призорова записку следующего содержания:

«Любезнейший Николай Иваныч! После того, как мы с вами расстались, известная вам Скорпиона Аспидовна сочла нужным подать на вас прошение, с которого препровождая при сем копию, прошу вас принять уверение, и пр.»

В прошении было изображено:

«Такого-то числа, месяца и года, собравшись я, по усердию моему, на поклонение св. мощам в *** монастырь, встречена была на постоялом дворе, в деревне Офониной,

здешним помещиком, господином Николаем Иванычем Щедриным, который, увлекши меня в горницу... (следовали обвинительные пункты).

И потому о таком насильственном со мною поступке господина помещика Щедрина, доводя до сведения*** уездного суда»...

«Однако ж это, черт возьми, скверно!» — подумал я, прочитавши прошение, и приказал закладывать лошадей, чтоб ехать немедленно в город.





ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ И МОНОЛОГИ

ПРОСИТЕЛИ

Провинциальные сцены

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Князь Лев Михайлыч Чебылкин, старец, украшенный сединами, с кротким и благосклонно улыбающимся лицом; походка медленная, голос мягкий, почти младенческий.

Княжна Анна Львовна, дочь его, высокомерная девица, лет тридцати пяти.

Самуил Исакович Шифель, неизвестных лет; медик, обладающий походкой так называемых австрийских камергеров, с перевальцем; с трудом скрывает свое иудейское происхождение. Шифель доверенное лицо князя.

Отставной капитан Пафнутьев, проситель, шестидесяти лет, с подвязанною рукою и деревяшкой вместо ноги: вид имеет не столько воинственный, сколько наивный, голова плешивая, усы и бакенбарды от старости лезут; напротив того, на местах, где не должно быть волос, как-то: на конце носа, оконечностях ушей, — таковые произрастают в изобилии. До появления князя стоит особняком от прочих просителей, по временам шмыгает носом и держит в неповрежденной руке приготовленную заранее просьбу.

Отставной подпоручик Живновский. Об этом лице зри рассказ: «Обманутый подпоручик».

Петр Федоров Забиякин, тридцати пяти лет, проситель, в венгерке и широких шароварах, носит усы и говорит тенором. Комплекции плотной. Сентиментальный буян.

Александр Петрович Налетов, двадцати пяти лет, помещик. Смотрит очень гордо, и до появления князя бѣспокойно ходит взад и вперед по комнате. С так называемыми *gens de rien*¹ говорит отрывисто, прибавляя букву э и подражая голосом и манерами начальственным лицам.

¹ Низшими людьми (*фр.*).

Фома Белугин, купец 3-й гильдии; в поношенном сюртуке и шелковой жилетке; физиономия замасленная; тучен или, лучше сказать, жирен от спанья; бороды не бреет.

Егор Скопищев — тоже; ходит в русской одежде; страдает одышкой и потому вздыхает.

Петр Долгий
Семен Малявка } пейзазе.
Алексей Сыч }

Анна Ивановна Хоробиткина, двадцати лет, жена канцеляриста, разодетая в пух, декольте и тщательно напомаженная.

Вдова, коллежская секретарша Шумилова, сорока лет; физиономии имеет оскорбленную; до появления князя стоит молча в углу и нередко вытирает слезящиеся глаза и сморкает нос.

Разбитной, двадцати двух лет, чиновник при его сиятельстве; баловень фортуны, из породы тех, которых губернские дамы любят за *comme il faut*¹; ходит очень прямо и надменно, но в сущности добрый малый, хотя и пустой.

Дежурный чиновник.

Действие происходит в губернском городе Крутогорске.

СЦЕНА I

Театр представляет приемную комнату в доме князя Чебылкина. При открытии занавеса просители стоят небольшими группами: Живоносский с Забиякиным, Белугин с Скопищевым, Хоробиткина с Шумиловой; один Пафнутьев стоит особняком. Долгий, Малявка и Сыч стоят по стенке и по временам испускают глубокие вздохи.

Забиякин (*Живоноскому*). И представьте себе, до сих пор не могу добиться никакого удовлетворения. Уж сколько раз обращался я к господину полицеймейстеру, наконец даже говорю ему: «Что ж, говорю, Иван Карлыч, справедливости-то, видно, на небесах искать нужно?» (*Вздыхает.*) И что же-с? он же меня, за дерзость, едва при полиции не заарестовал! Однако, согласитесь сами, могу ли я оставить это втуне! Еще если бы честь моя не была оскорблена, конечно, по долгу христианина, я мог бы, я даже *должен* бы был простить.

Живоносский. Да... да... христианский долг прощать повелевает... это, знаете, у русских в обычае...

Забиякин. Но, сознайтесь сами, ведь я дворянин-с; если я, как человек, могу простить, то, как дворянин, не имею на это ни малейшего права! Потому что я в этом случае, так сказать, не принадлежу себе. И вдруг какой-нибудь высланный из жительствова, за мошенничество, иудей проходит мимо тебя и смеет усмехаться!

¹ Светскость (*фр.*).

Ж и в н о в с к и й. А позвольте спросить, эту усмешку кто-нибудь видел?

З а б и я к и н. Как же-с, были благородные свидетели: Павел Иваныч Техоцкий, Дмитрий Николаич Подгоняйчиков — все именно видели, как он с *презрительным видом* усмехнулся. Так что ж бы вы думали, Иван Карлыч-то? «Да я, говорит, тебя, скотина, в бараний рог согну; да ты, говорит, еще почище будешь, гадина, нежели еврей Гиршель»... Ну, и тут были тоже свидетели-с, как он меня таким манером обзывал! А Иван Карлыч на то намекают, что я здесь нахожусь под надзором по делу об *избитии якобы* некоего Свербило-Кржемпоржевского, так я на это имел свои резоны-с; да к тому же тут есть еще «якобы», стало быть, еще неизвестно, кто кого раскровенил-с.

Ж и в н о в с к и й. Да, да, по-моему, ваше дело правое... то есть все равно что божий день. А только, знаете ли? напрасно вы связываетесь с этими подьячими! Они, я вам доложу, возвышенности чувств понять не в состоянии. На вашем месте, я поступил бы как благородный человек...

Движение со стороны Забиякина...

То есть вы не думайте, чтоб я сомневался в благородстве души вашей — нет! А так, знаете, я взял бы этого жидочка за пейсики, да головенкой-то бы его об косяк стук-стук... Так он, я вам ручаюсь, в другой раз смотрел бы на вас не иначе, как со слезами признательности... Этот народ ученье любит-с!

Г - ж а Х о р о б и т к и н а (*обмахиваясь и обиженным голосом*). Их сиятельство, кажется, изволили забыть, что их ожидают просители.

Ж и в н о в с к и й (*подмигивая Забиякину*). Лакомый кусочек! а! посмотрите-ко, тела какие!

Б е л у г и н (*озлобленно*). Да-с, часочка поди два уж дожидаемся!

Скопищев вздыхает; ему вторят Долгий, Малявка и Сыч;
Пафнутьев усиленно шмыгает.

Кому делать нече, оно в охотку здесь разговаривать-то... (*Смотрит на Живновского и Забиякина.*)

З а б и я к и н (*Живновскому*). Ведь этакой жестокий, необразованный народ! Даже подождать не может! даже не постигает, что образованные люди могут найти высокое наслаждение в откровенной беседе!.. Это у них, изволите видеть, не дело!

Белугин (*усмехаясь*). А неужто ж и дело — слушать, как вы сквернословите?

Забиякин (*не слушая его*). А знаете ли, что по-ихнему дело называется? продать связку-другую баранков, надуть при этом на копейку — вот это дело-с!.. Принадлежит к высшему классу общества, знаете, даже как-то совестно за них, совестно за отечество.

Живновский. А вот, дайте срок, мы их маленько переберем-с... у меня это такая уж манера: до страсти люблю трепать ихние бороды...

Белугин (*язвительно, но с легким оттенком сомнения в справедливости своих собственных слов*). Ну, это еще как удастся бороды-то трепать! Эва! не убивши еще медведя, уж шкуру продает!.. только чудо, право!

Живновский. Ладно, брат, еще так вычешем, что твой стланец! (*К Забиякину.*) Так вы, собственно, по делу о жиде сюда пожаловали?

Забиякин. Да-с, вот и просьба в этом смысле написана... тут вот сбоку покрупнее написано вкратце содержание: *о медленности кругогорского полицеймейстера Крапихгартена по делу об обиде евреем Гиришелем отставного прапорщика Забиякина* — знаете, чтоб его сиятельству сразу было видно, в чем дело.

Живновский. Так вы тоже военная косточка?.. Очень рад, очень рад быть знакомым.

Забиякин. Как же-с; служил шесть месяцев в Крапивенском егерском полку; только в атаках быть не удостоился — что делать-с? всякому свое счастье!

Живновский. Очень приятно. Но знаете ли, я вам, как старый товарищ, правду-матку должен сказать: едва ли вы получите удовлетворение по просьбе...

Забиякин. Почему же-с?

Живновский. Потому что тут, знаете, шахер-махер, рука руку моет... (*Шепчет Забиякину на ухо и потом продолжает вслух.*) После этого, каким же образом? ну, я вас спрашиваю, будьте вы сами на месте князя!

Забиякин (*пожимая плечами и обращая сентиментально глаза к небу*). После ваших слов, что ж остается делать, как не склониться перед волею провидения!

Живновский. Тут, батюшка, толку не будет! То есть, коли хотите, он и будет, толк-от, только не ваш-с, а собственный ихний-с!.. Однако вы вот упомянули о каком-то «якобы избитиш» — позвольте полюбопытствовать! я, знаете, с молодых лет горячность имею, так мне такие истории... знаете ли, что я вам скажу? как посмотрись

иной раз на этакого гнусного штафирку, как он с камешкá на камешóк пробирается да боится даже кошку задеть, так даже кровь в тебе кипит: такая это отвратительная картина!

З а б и я к и н (*конфузась*). Да вы, поручик, быть может, полагаете, что тут...

Ж и в н о в с к и й. И, полноте! уж, верно, тут найдутся всякие милые мордасы, любезные зуботычины... ха-ха!

З а б и я к и н. Извольте видеть, были мы как-то в трактирном заведении, ну, и Свербило-Кржемпоржевский тут же...

Ж и в н о в с к и й. И фамилия-то какая анафемская! Ну, как же таких людей не бить-то!

З а б и я к и н. Я, знаете, давно этого господина недолюбивал, потому что он хоть и не то чтобы совсем жид, а все-таки жидом припахивает... смесь, знаете, жида с меделянскою собакой...

С к о п и щ е в (*вполголоса*). Ведь эва что выдумал!

З а б и я к и н. Только он сидит и прихлебывает себе чай... ну, взорвало, знаете, меня, не могу я этого выдержать! Пей он чай, как люди пьют, я бы ни слова — бог с ним! а то, знаете, помаленьку, точно бог весть каким блаженством наслаждается... Ну, я, конечно, в то время его раскровенил.

Ж и в н о в с к и й. Ха-ха! отлично! Знаете, вы напомнили мне мою молодость! (*Жмет ему руку.*)

З а б и я к и н (*с чувством*). Ну, а вы, поручик, вы по какому случаю... здесь?

Ж и в н о в с к и й. У меня дело верное. Жил я, знаете, в Воронежской губернии, жил и, можно сказать, бедствовал! Только Сашка Топорков — вот, я вам доложу, душа-то! — «скатай-ко, говорит, в Крутогорск; там, говорит, винцо tenerиф есть — так это точно мое почтение скажешь!» — ну, я и приехал!

З а б и я к и н. Какие же ваши намерения, если позволено будет полюбопытствовать?

Ж и в н о в с к и й. А намерения мои — городишко какой-нибудь получить... так, знаете, немудреный — чтоб река была судоходная, ну, или там раскольники, что ли... одним словом, чтобы влачить существование было возможно.

З а б и я к и н. Да, это статьи хорошие-с; не знаешь даже, которой отдать преферанс (*подумав*), а всего бы лучше, кабы обе вместе соединить... не правда ли, поручик?

Пафнутьев, который в это время прислушивался к разговору, вдруг прискакает со смеху от одной идеи возможности осуществления предположений Забиякина.

Ж и в н о в с к и й. Ишь его разобрало! (*Тихо Забиякину.*) Верно, совместник-с... раненый...

З а б и я к и н. Не имею удовольствия знать. А впрочем, осмелюсь вам доложить, поручик, что нынче места подобного рода ужасно как туго даются. Был у меня знакомый... ну, самый, то есть, милый человек... и образованный и с благородными чувствами... так он даже целый год ходил, чтобы только место станового получить, и все, знаете, один ответ (*подражая голосу и манере князя Чебылкина*): «Нет места, нет, мой милый, нет места! подождите, любезный!» Так он, знаете ли, какую штуку удрал! «Коли, говорит, нет у вашего сиятельства места станового, так, по крайней мере, позвольте хоть в жены станового!»

Ж и в н о в с к и й. Ха-ха! а ведь, знаете, он не глупо выдумал, ваш приятель! бывают случаи, что женой станового даже выгоднее быть, нежели самим становым!

Б е л у г и н (*вполголоса*). Ишь наругатели какие!

З а б и я к и н. И что ж бы вы думали? Этой, можно сказать, блистательной фразе приятель мой обязан был местом! Его сиятельство улыбнулись: «Ну, уж, говорит, коли так тебя забрало, дать ему место станового!» Оно выходит и справедливо, что с вельможами нужно быть всегда откровенным, — потому что вельможа, вы понимаете, так воспитан, что благородство чувств ему доступно... Вот был у нас начальник — Бенескриптов (*из прискорбных-с*), так этот, бывало, и разговаривать не станет: «Давай, говорит, мне прежде наличными». Ну, а сами знаете, где же благородному человеку наличных взять? благородный человек является как есть с открытой душой... Другое дело впоследствии, когда, знаете, оперится... ну, тогда точно что было бы неблагодарно не уделить начальству.

Ж и в н о в с к и й (*задумчиво*). Ну, нет, от меня уж не отвергнется... я, пожалуй, и за горло ухвачу. (*Поднимает руки и расставляет пальцы граблями.*)

З а б и я к и н. Конечно-с; такого подчиненного, как вы, иметь приятно.

Ж и в н о в с к и й. Еще бы! насчет этой исполнительности я просто не человек, а огонь! Люблю, знаете, распорядиться! Ну просто, я вам вот как доложу: призови меня к себе его сиятельство и скажи: «Живновский, не нравится

вот мне эта борода (указывает на Белугина), задуши его, мой милый!» — и задушу! то есть, сам тут замру, а задушу.

Белугин плюет.

Не плюйся, не плюйся, борода! погоди плеваться-то!

С Ц Е Н А И I

Т е ж е и Н а л е т о в .

Н а л е т о в (входит с шумом; в одном глазу у него стеклышко; он останавливается посреди залы и окидывает взглядом просителей. Пафнутьев ему кланяется). Э... скажите, пожалуйста, князь принимает?

Ответа нет; только Пафнутьев подается вперед, но и тот шмыгает.

Э... это удивительно! в передней никого нет... что за генерл! (Ходит по зале.)

Б е л у г и н (вынимает из жилетки серебряную луковцу). Да-с; теперича будет часика три, как ожидаемся... (К Скопищеву.) А что, Егор Иваныч, видно, убраться отселева за добра-ума.

С к о п и щ е в (вздыхая). Дело-то наше такое... нет, уж заодно, видно, подождать, Фома Савич.

Б е л у г и н. А и то ин подождать; дело-то у нас больно уж ровно очень несообразное затеялось... никогда и не слыхивано: такое, братец ты мой, дело!

С к о п и щ е в. А что?

Б е л у г и н. Да такое, братец ты мой, дело, что даже заверить трудно. Задумал я, братец ты мой, строиться, воображение свое то есть соблюсти... (Продолжает рассказывать шепотом.)

Н а л е т о в (очень громко). Э... однако ж я не привык так долго дожидаться... (Обращается к Забиякину.) Сделайте одолжение, доложите хоть вы князю, скажите ему, что помещик Налетов приехал.

З а б и я к и н (с сладкою улыбкою и жмуря глаза). Извините меня, Александр Петрович, но я не имею права, я не осчастливлен доверенностью князя. (Показывает на дверь, ведущую во внутренние покои, как бы желая сказать, что он не смеет войти туда.)

Н а л е т о в. Какая это, однако ж, досада! Но скажите, пожалуйста, почему ж вы меня знаете?

З а б и я к и н. Помилуйте-с... вы довольно по губернии известны своим просвещением.

Н а л е т о в. Э... однако ж князь, кажется, этого не знает.

З а б и я к и н (*улыбается, мотает головой и показывает на лоб*). Не взыщите-с.

Н а л е т о в. Д-да? ну, это другое дело!

Входит дежурный чиновник очень смирной наружности.

Э... скажите, пожалуйста, мой любезный, скоро князь принимать будет?

Ч и н о в н и к. Неизвестно-с.

Н а л е т о в. Э... в таком случае доложите, пожалуйста, князю, что помещик Налетов приехал засвидетельствовать им свое почтение... помещик Налетов.

Ч и н о в н и к. Я не смею докладывать; их сиятельство завтракать изволят.

Б е л у г и н (*вполголоса*). Так-то вот все ест! Давеча чай с кренделями кушал, теперича завтракает, ужо, поди, за обед сядет — только чудо, право, как и дела-то делаются!

Н а л е т о в. Э... однако ж это странно! скажите, пожалуйста, где я могу, по крайней мере, найти Леонида Сергееча Разбитного? хоть бы он объяснил князю, что я не кто-нибудь...

Б е л у г и н (*тихо Скопищеву*). Подождешь, брат; больно высоко крылья подымаешь!

Ч и н о в н и к. Леонид Сергееч с князем кушают... прикажете сказать им?

Н а л е т о в. Да, пожалуйста.

Чиновник выходит; Налетов продолжает ходить по зале и напевает вполголоса, а по временам и довольно громко, какую-то арию.

Ж и в н о в с к и й (*вполголоса Забиякину*). Это что за птица?

З а б и я к и н. Налетов, Александр Петрович, здешний помещик... образованнейший.

Ж и в н о в с к и й. А, понимаю, фюрлю-мюрлю... В одном кармане пусто, в другом ни алтына, а в голове *ветры северные ду...ют, гулять не пойдут*.

З а б и я к и н. Нет, поручик, Александр Петрович помещик достаточный. С ними, можно сказать, все здешние власти в духовном свойстве обретаются.

Ж и в н о в с к и й. А не знаете вы, зачем он сюда приехал?

З а б и я к и н. А, право, не могу вам доложить... Должно полагать, что по делу об умертвии чернорборской мещанской девки Пучеглазовой.

Ж и в н о в с к и й. А что? видно, тово... *(Делает движение рукою сверху вниз.)*

З а б и я к и н *(улыбаясь)*. Должно быть, что не без того-с. По человечеству, знаете... А ведь прискорбно будет, поручик, если вы, с вашими познаниями, с вашими способностями, с вашим патриотизмом — потому что порядочный человек не может не быть патриотом — прискорбно будет, если со всем этим вы не получите себе приличного места...

Ж и в н о в с к и й. Кто? Я не получу? нет-с, уж это аттанде-с; я уж это в своей голове так решил, и, следовательно, решения этого никто изменить не может! Да помиуйте, черта же ли ему надобно! Вы взгляните на меня! *(Протягивает вперед руки, как будто держит вожжи.)*

З а б и я к и н. Да, конструкция настоящая полицейская... однако случаи бывают всякие... Вот третьего года приезжал сюда в полицеймейстеры проситься... мужчина без малого трех аршин был, даже страшно смотреть машиница какая! однако ему отказали, а дали место этому плюгавому Кранихгартену.

Ж и в н о в с к и й. Да нет! да вы поймите, ведь этого нельзя! на меня посмотреть так картина! А у этого трехаршинного, верно, изъян какой-нибудь был. *(Решительным тоном.)* Нельзя этого!

З а б и я к и н. А что вы думаете? может быть, и в самом деле изъян... это бывает! Я помню, как-то из Пермской губернии проезжали здесь, мещанина показывали, с лишком трех аршин-с. Так вы не поверите... точный ребенок-с! до того уж, знаете, велик, что стоять не в силах. Постоит-постоит для примеру — да и сядет: собственная это, знаете, тяжесть-то его так давит.

Ж и в н о в с к и й. Как же вот и не сказать тут, что природа-то все премудро устроила... вот он готов бы до небес головой-то долезти, ан ему природа говорит: «Шалишь! молода, во Саксоньи не была! изволь-ка посидеть!» Ахти-хти-хти-хти! все, видно, мы люди, все человеки!

З а б и я к и н *(крепко сжимая ему руку)*. Именно так, поручик, именно так! Святую вы истину сказали: все мы люди, все человеки!

Ж и в н о в с к и й. Однако ж и в самом деле сиятельный-то князь что-то долго поворачивается! У меня, значит, и в животе уж дрожки проехали — не мешало бы, знаете,

выпить и закусить... А вы, чай, с Настояем Ерофеичем тоже знакомы?

З а б и я к и н. У нас в полку его Настасьей Ерофевной прозывали... как же-с, пью.

Ж и в н о в с к и й. Ха-ха! Настасья Ерофевна! А надо правду сказать, что наш брат военный, как уж скажет что, так именно, можно сказать, помелом причешет!

Н а л е т о в (*в нетерпении останавливаясь посреди залы*). Э... однако это просто терпенья никакого недостает! быка, что ли, они там едят! Даже Разбитной не идет. (*Становится против Хоробиткиной и устремляет на нее свое стеклышко. В сторону.*) А недурна! есть над чем позаняться. (*Вслух ей.*) Э... вы, сударыня, верно, тоже с просьбой к князю?

Х о р о б и т к и н а (*потупляя глаза и зарумяниваясь*). Точно так-с; только их сиятельство чтой-то уж очень долго держут...

Н а л е т о в. Да вы бы сели, сударыня. (*Подает стул Хоробиткиной, которая жеманится.*)

Ж и в н о в с к и й (*Забиякину*). Это значит, пошел наш сокол по клюкву по ягоду!

Х о р о б и т к и н а. Помилуйте-с, вы слишком учтивы, граф!

Н а л е т о в. Это наш долг служить прекрасному полу. (*Садится возле нее.*) Э... а у вас, верно, какое-нибудь важное дело? Мамаша обидела? (*подражая произношению маленьких детей*) платица хорошенького не купила? куклку не подарила? конфетки не дала?

Х о р о б и т к и н а (*рдея*). Ах, какие вы насмешники! разве я маленькая, чтобы мне в куклы играть?

Н а л е т о в. Еще бы! ну, признайтесь, давно ли вы ходить начали? все, чай, «мамаса», «папаса»! Ну, признайтесь!

Х о р о б и т к и н а (*наивничая*). Помилуйте-с, как это возможно! Я уж два года замужем!

Н а л е т о в. Э... не может этого быть! вы на себя клеветете! да, впрочем, это известная замашка детей прибавлять себе лета... (*Детским произношением.*) Ну, пызнайтесь, большой очень хочется быть?

Ж и в н о в с к и й (*Забиякину*). Ишь, шельма, как та-ет! молодец он, а все, знаете, не то, что в наше время бывало... орлы! Налетишь, бывало, из-за сизых туч, так все эти курочки словно сожмутся, даже взглянуть не смеют: просто, трепет какой-то!

СЦЕНА III

Те же и Шифель, который, несколько избочившись по-камергерски и забегая вперед правой ногою, намеревается перейти через приемную комнату во внутренние покои.

Налетов (*быстро устремляясь навстречу Шифелю*). А! Самуил Исакович! спаситель! хоть бы вы нашему князю диету предписали! шутка ли! целых полчаса здесь изнываю, покуда его сиятельство изволит завтракать.

Шифель. Да, князь любит покушать. Знаете, *mens sana in corpore sano*¹, а у кого тело в добром здравье да совесть чиста, так желудок ужасно какую массу переваривает... а у нашего князя именно чистая совесть!

Налетов. А вы к нему?

Шифель. Нет, я к княжне: она у нас что-то прихварывает. Я и то уж сколько раз ей за это выговаривал: «Дурно, ваше сиятельство, себя ведете!», право, так и выразился, ну и она ничего, даже посмеялась со мною. Впрочем, тут наша наука недостаточна (*тихо Налетову*): знаете, там хоть княжна, хоть не княжна, а все без мужа скучно; (*громко*) таков уж закон природы.

Налетов. Не можете ли вы хоть намекнуть князю, что я его ожидаю?

Шифель. С удовольствием, отчего же! только я вам скажу, что у князя пищеварение очень, очень трудно всегда совершается!..

Налетов. Ну, хоть Разбитного. Я уже посылал за ним, да что-то нейдет.

Шифель. То есть Леонида Сергеича, хотите вы сказать?

Налетов. Ну да.

Шифель. Так он у нас Разбитным уж не называется, а называется Леонидом Сергеичем... отношения, знаете...

Налетов. А что же такое?

Шифель (*вполголоса*). Он нынче доверенное лицо у князя, а особливо у княжны... знаете, после этой истории с Техоцким...

Налетов. Гм.

Шифель. То-то. Вы не вздумайте его по-прежнему, Разбитным называть... то есть вы, однако ж, не подумайте, чтоб между ним и княжной... нет! а знаете, невинные этак упражнения: он вздохнет, и она вздохнет; она скажет:

¹ В здоровом теле здоровый дух (*лат.*).

«Ах, как сегодня в воздухе весной пахнет!», а он отвечает: «Да, весна обновляет человека», или что-нибудь в этом роде...

Хохочут оба.

Только вы, смотрите, не выдавайте меня!

Налетов. Помилуйте, как можно! Однако вы проказник, Самуил Исакович! (*Хохочет.*)

Шифель. А вы здесь, верно, по тому делу?

Налетов. Ну да, надоело уж оно мне. Да и ваше-то губернское начальство хорошо! из-за какой-нибудь девки столько embarras¹ подняли, точно сыр-бор загорелся!

Шифель. Шалун! а зачем же было поступать так неосторожно?.. ну, да бог милостив, как-нибудь дело устроится: князь у нас человек души необыкновенной; это, можно сказать, ангел, а не человек...

Налетов. Помогите хоть вы мне как-нибудь. Сами согласитесь, за что я тут страдаю? ну, умерла девка, ну, и похоронили ее: стоит ли из-за этого благородного человека целый год беспокоить! Ведь они меня с большого-то ума чуть-чуть под суд не отдали!

Шифель (*грозя пальцем*). Шалун! а что по свидетельству-то оказалось?

Налетов. Нет, позвольте, Самуил Исакович, уж если так говорить, так свидетельства было два: по одному точно что «оказалось», а по другому ровно ничего не оказалось. Так, по-моему, верить следует последнему свидетельству, во-первых, потому, что его производил человек благонамеренный, а во-вторых, потому, что и закон велит следователю действовать не в ущерб, а в пользу обвиненного... Обвинить всякого можно!

Шифель. Ну да, ну да (*смеется*); а скажите-ка по совести, wieviel haben sie...² за последнее-то свидетельство?

Налетов (*горячась*). Ну, нет, Самуил Исакович, ни-ни! Этого вы, пожалуйста, и не подозревайте! Да помогите же вы мне, мой многоуважаемый! Я вот только хотел его сиятельству почтение сделать, и от него к вам...

Шифель. А! приезжайте! Можно будет направо-налево переметнуть... ну, и поговорим. (*Уходит.*)

Налетов (*вслед ему*). Так вы, пожалуйста, напомните князю, что я его здесь дожидаюсь. (*Возвращается на свое место подле г-жи Хоробиткиной.*)

¹ Шума (*фр.*).

² Сколько вы... (*нем.*)

СЦЕНА IV

Т е ж е, кроме Шифеля.

Ж и в н о в с к и й (*Забиякину*). Кажется, нам с вами ночевать здесь придется. Проходимец должен быть этот лекаришка! И как он дал тонко почувствовать: «Ну, и поговорим!» Общиплет он этого молодчика! как вы думаете? ведь тысячкой от этого прощельяги не отделается?

З а б и я к и н (*поднимая глаза к небу*). Поручик! хотите вы мне верить?

Утвердительный знак со стороны Живновского.

Так я вас честью заверяю, что если у Александра Петровича не заложено имение, то он вынужден будет заложить его *в самом непродолжительном времени...* верите мне?

Ж и в н о в с к и й. Отчего не верить! вы, батюшка, меня об этом спросите, как благородные люди на эти удовольствия проживаются! Я сам, да, сам, вот как вы видите!.. ну, да что об этом вспоминать... зато пожили, сударь!..

З а б и я к и н. Оно, коли хотите, меньше и нельзя. Положим, хоть и Шифель: человек он достойный, угнетенный семейством — ну, ему хоть три тысячи; ну, две тысячи... (*Продолжает шептаться, причем считает на пальцах; по временам раздаются слова: тысяча... тысяча... тысяча.*)

Б е л у г и н. Эва, брат Егор Иваныч, сколь много нынче тысяч-то развелось!

С к о п и щ е в (*вздыхая*). Нам, брат, с тобою не дадут!

Б е л у г и н. Ин и впрямь торговлю бросать да и в чиновники идти... оказия!

Н а л е т о в (*Хоробиткиной*). А скажите, пожалуйста: по вашему мнению, какое чувство выше: любовь или дружба?

Х о р о б и т к и н а. А вам какое до этого дело-с?

Н а л е т о в. Да так; хотелось бы узнать, к которому из двух чувств вы склоннее?

Х о р о б и т к и н а. Как же возможно сравнить-с?

Н а л е т о в. То есть, что же выше-то?

Х о р о б и т к и н а. Уж разумеется, дружба-с.

Н а л е т о в. Почему же вы так полагаете?

Х о р о б и т к и н а. Потому, что любовь, известно, одни пустяки-с, так, мечтанье-с.

Н а л е т о в. А мне, напротив, кажется, что дружба мечтанье, а любовь существенное.

Х о р о б и т к и н а. Ах, нет-с! (*Напыщенно и впадая в*

фистулу.) Влюбленный мужчина — это пожар-с, друг — это... это друг-с, одно слово! Влюбленный человек ни на какие жертвы не способен, а друг — совсем напротив-с.

Налетов. Нет, как хотите, а любовь все-таки слаще. Конечно, дружба имеет достоинства — этого отнять нельзя! но любовь... ах, это божественное чувство! (*Хочет обнять ее, но она выскользает.*)

Белугин. Ишь ты!

Семен Малявка (*стоявший до сих пор смиренно, вдруг начинает суетиться, махает руками и обращается скороговоркою к Долгому*). Смотри, Пятруха, смотри! ишь ты! барышня-то! барышня-то! ах ты, господи!

Но Долгий хранит суровое молчание, а Сыч моргает глазами.

Живновский. Это, что называется, пришпорил.

Хоробиткина (*обижаясь*). Какой вы, однако ж, дерзкий, граф! (*К Малявке.*) Ну, а ты, мужик, чему обрадовался?

Налетов. Ну, полноте, я это так, в порыве чувств... никак не могу совладеть с собою! Коли женщина мне нравится, я весь тут... не обижайтесь, пожалуйста, будемте говорить, как друзья... Мы ведь друзья? а?

Хоробиткина (*тяжело дыша от волнения*). Право, граф, я не знаю, как вам отвечать на ваши слова!.. Я бы желала знать, что́ они означают?

Налетов (*тихо*). Вы где живете, душенька?

Хоробиткина (*так же и кобенясь*). Я живу с мужем у Федосьи Петровны... вдова такая есть...

Налетов. Слушаю-с. (*Громко.*) Ну, а как полагаете, кто может сильнее чувствовать: мужчина или женщина?

Хоробиткина. Как же можно сравнить? разумеется, женщина-с!

Налетов. Почему же вы так думаете?

Хоробиткина. Потому что женщина все эти чувства бессравнительнее понимать может... ну, опять и то, что женщина, можно сказать, живет для одной любви, и кажется, нет еще той приятности, которою не пожертвовала бы женщина, которая очень сильно влюблена. (*Смотрит томно на Налетова.*)

Живновский. Да бабеночка-то, батюшка, хоть куда! Ишь какие турусы подпускает! Облупит она его! Шифель облупит, и она тоже маху не даст — легок выедет молодец!

За дверью слышится шум.

Шш... кажется, сам идет...

Становится в позицию; Шумилова сморкается; Забиякин закладывает одну руку за пуговицы венгерки, а в другой держит прошение, стараясь принять вид сколь можно любезный и развязный; Пафнутьев вздрагивает и подается всем корпусом вперед; Хоробиткина встает и поправляет на груди выбившийся из-под платья шнурок; купцы и пейзаже переминаются и вздыхают; один Налетов, развалившись, сидит на стуле. Картина. Однако тревога оказывается фальшивою, потому что, вместо князя Чебылкина, в дверях появляется Леонид Сергеич Разбитной.

СЦЕНА V

Те же и Разбитной.

Разбитной (*останавливаясь в дверях*). Кто меня здесь спрашивал?

Налетов (*поспешно вставая*). Ah! vous voilà, enfin, cher Леонид Сергеич! charmé! charmé!¹

Разбитной (*подавая ему руку*). Так это вы меня спрашивали, мсье Налетов? А мне этот болван дежурный назвал какого-то Пролетаева! Mille pardons², что заставил вас дожидаться... А я был занят... у нас, знаете, князь — пренеутомимый старикашка! все чтобы у него горело, загонял совсем!

Живновский (*выступая вперед*). Губерния точно что, можно сказать, обширная — это не то что какое-нибудь немецкое княжество, где плюнул, так уж в другом царстве ногой растереть придется! Нет, тут надо-таки кой-что подумать. (*Вертит пальцем по лбу.*)

Разбитной (*холодно осматривая Живновского, к Налетову*). Ну, как у вас там, в Черноборске, проживают? Как Желваков? Маремьянкин? Добрые, преданные старики! Особливо первый!

Живновский. А позвольте узнать, об каком Желвакове изволите говорить? у нас был в полку Желваков, лихой малый, так тот, кажется, опился... Может быть, это брат его?

Разбитной (*смотря на него с изумлением, в сторону*). Вот пристал! (*Громко.*) Нет, это дедушка того Желвакова... (*К Налетову.*) Et voici notre existence, mon cher! tous les jours nous sommes exposés aux sottises questions de ce tas de gens qui puent, mais qui puent... pouah!³

¹ А! вот вы наконец, дорогой... очень рад! очень рад! (*фр.*)

² Тысяча извинений (*фр.*).

³ Вот каково наше существованье, дорогой мой! каждый день нас осаждает глупыми вопросами эта толпа людей, от которых воняет, так воняет... фу! (*фр.*)

Ж и в н о в с к и й. Надо, надо будет скатать к старику; мы с Гордеем душа в душу жили... Однако как же это? Ведь Гордею-то нынче было бы под пятьдесят, так неужто дедушка его до сих пор на службе состоит? Ведь старику-то без малого сто лет, выходит. Впрочем, и то сказать, тогда народ-то был какой! едрёный, коренастый! не то что нынче...

Р а з б и т н о й (*пожимая плечами, к Налетову*). Князь сейчас должен выйти: у старика, знаете, изжога сделалась — покушать он любит, так насилу дышит...

Н а л е т о в. Какой неприятный случай!

Р а з б и т н о й. А он об вас очень помнит... как же! Часто, знаете, мы сидим en petit comité¹: я, князь, княжна и еще кто-нибудь из преданных... и он всегда вспоминает: а помнишь ли, говорит, какие мы ананасы ели у Налетова — ведь это, братец, чудо! а спаржа, говорит, просто непристойная!.. Препамятливый старикашка! А кстати, вы знакомы с княжной?

Н а л е т о в. Как же-с, как же-с, имел удовольствие быть ей представленным.

Р а з б и т н о й. Mais n'est-ce-pas, quelle charmante petite femme?

Н а л е т о в. Oh, tout-à-fait charmante!²

Р а з б и т н о й. Есть в ней, знаете, эта простота, эта мягкость манер, эта женственность, это je ne sais quoi enfin³, которое может принадлежать только аристократической женщине... (*Воодушевляясь*.) Ну, посмотрите на других наших дам... ведь это просто совестно, ведь от них чуть-чуть не коровьим маслом воняет... От этого я ни в каком больше доме не бываю, кроме дома князя... Нет, как ни говорите, чистота крови — это ничем не заменимо...

Н а л е т о в. О, кто же в этом сомневается!

Р а з б и т н о й. И при всем этом доброта! Во сне даже видит своих милых бедных... Согласитесь сами, в наше время ведь это редкость!

Н а л е т о в. О, без сомнения!

Ж и в н о в с к и й (*вступаясь в разговор*). Вот вы изволили давеча выразиться об ананасах... Нет, вот я в Воронеже, у купца Пазухина видел яблоки — ну, это точно что мое почтение! Клянусь честью, с вашу голову каждое будет! (*Налетову*.) Хотите, я семечек для вас выпишу?

¹ В маленькой компании (*фр.*).

² Не правда ли, какая очаровательная женщина? — О, совершенно очаровательная! (*фр.*)

³ Не знаю, наконец, что (*фр.*).

Налетов пожимает плечами, а Разбитной смотрит на Живновского, так сказать, в упор.

Разбитной (к Налетову). А вы всё по этому делу... как бишь его?..

Налетов (улыбаясь). Да, об этой девке... est-ce que ça vaut la peine d'en parler!¹

Разбитной. Д-да... eh bien, mon cher, je dois vous dire que votre cause est perdue...² князь просто неумолим. Он у нас, знаете, преупрямый старик, lorsqu'il s'agit de ces choses...³ вы понимаете? Это очень, очень неприятно, а тем более мне, который до сих пор помнит ваш милый прием в вашем великолепном château...⁴ (Жмет ему руку.) А скажите, пожалуйста, не имеете ли вы в виду какой-нибудь belle châtelaine?⁵ а? ну, тогда я вам за себя не ручаюсь... les femmes, voyez-vous, c'est mon faible et mon fort en même temps...⁶ без этого я существовать не могу... будем, будем вас навещать!

Живновский (в сторону). Ну, этот сокол, кажется, еще почище будет помещика.

Налетов (сконфуженный). Очень рад, очень рад... Только как же это? вы говорите, что мое дело проиграно... стало быть, знаете... Ах, извините, мысли мои мешаются... но, воля ваша, я не могу взять этого в толк... как же это?.. да нельзя ли как-нибудь *направить* дело?

Разбитной. Mais je vous dis, qu'il est inexorable...⁷

Живновский (в сторону). Облупит и этот!

Налетов. Но, скажите сами, как же я вдруг... нельзя же меня, как какого-нибудь последнего каналью... нет, это невозможно!

Разбитной. Que voulez-vous?⁸ мы употребляли все меры... (Стучит по стене.) Вот!

Налетов. Да нет, это невозможно! Я, извините меня, не понимаю, как вы это так говорите, Леонид Сергеич! Я сам служил и, следовательно, знаю, что нет такого дела, которое нельзя бы было *направить*... Нет, мне самому нуж-

¹ Разве стоит об этом говорить! (фр.)

² Так вот, дорогой мой, я должен вам сказать, что ваше дело проиграно... (фр.)

³ Когда дело идет о подобного рода вещах... (фр.)

⁴ Замке... (фр.)

⁵ Прекрасной хозяйки замка? (фр.)

⁶ Женщины, видите ли, это в одно и то же время и моя слабость, и моя сила... (фр.)

⁷ Но я вам говорю, что он неумолим... (фр.)

⁸ Что тут поделаешь? (фр.)

но говорить с князем, он поймет... да, он поймет, что я дворянин... у него русская душа... у меня было два свидетельства... (*Начинает горячиться.*) Нет, вы не то чтобы не могли, вы не *хотите* сделать мне снисхождение! Я, наконец, малолетний был, когда это сделал, мне не было двадцати лет! я сделал это по глупости, по неопытности...

Разбитной. Ayez donc conscience, mon cher¹, ведь это случилось всего полгода тому назад — какое же тут малолетство?

Налетов (*не слушая его и все более и более разгораясь*). Наконец, это дело мне денег стоило! Я это докажу! Что ж, в самом деле, разве уж правосудия добиться нельзя!.. Это, наконец, гнусно! я жаловаться буду, я дворянин!

Живновский (*Забиякину*). А ведь знаете, с ним, в самом деле, свинство сделали! Ну, взял — так удовлетвори же! у-до-вле-тво-ри же, наконец! Нет, это уж, воля ваша, грабеж!

Забиякин поднимает глаза к небу.

Разбитной. Tout ce que j'ai à vous conseiller d'abord, c'est de ne pas crier parce que les cris, voyez-vous, ça ne vous mène à rien...² Будете вы у Шифеля?

Налетов (*утихая*). Да, буду; он звал.

Разбитной. Приходите запросто, прямо к обеду... мы, знаете, люди нецеремонные, живем по-деревенски. Там, может быть, и изыщем какие-нибудь способы... так придете?

Налетов (*повеселее*). Помилуйте... за величайшую для себя честь почту!

Живновский (*Забиякину*). Облупит он его, жестоко облупит!

Забиякин утвердительно кивает головой.

Разбитной (*обращаясь к Хоробиткиной*). Сударыня, позвольте узнать, в чем заключается ваша просьба? (*В сторону.*) А недурна, черт побери!

Хоробиткина. Помилуйте-с, я не к вам, а к его сиятельству, господину князю-с.

Разбитной. Дело в том, сударыня, что князь любит, чтобы просители излагали свое дело *просто, ясно,*

¹ Имейте же совесть, дорогой мой (*фр.*).

² Единственное, что я могу вам прежде всего посоветовать, это не кричать, потому что крики, видите ли, ничем вам не помогут... (*фр.*)

без околичностей... Следовательно, это мой долг, моя обязанность, сударыня, опросить всех заранее, чтобы князь не затруднялся... (*Скороговоркою.*) Сознайтесь сами, сударыня, вы можете заикаться, у других бывает неприятная привычка жевать — я не про вас это говорю, сударыня! Я, разумеется, по долгу службы, обязан вынести все эти неприятности, ну, а князь... Следовательно, говорю я, в подобном неприятном случае, находясь, так сказать, при самой особе князя, я могу объяснить его сиятельству...

Б е л у г и н (*в сторону*). Ишь как гладко расписывает!

Хоробиткина молчит.

Р а з б и т н о й (*любезно*). Позвольте, по крайней мере, узнать ваш чин, имя и фамилию? Сделайте одолжение, вы же конфузьтесь... мы не людоеды, хотя чиновники вообще бывают мало любезны... однако мы людей не едим... (*вполголоса*) особенно таких хорошеньких...

Х о р о б и т к и н а (*опуская глаза*). Жена канцеляриста, Анна Ивановна Хоробиткина.

Р а з б и т н о й. Ну-с, Анна Ивановна, так в чем же состоит *наша* просьба?

Н а л е т о в (*окончательно повеселев*). Анну Ивановну мамаша обидела, им хотелось куколку, а она не купила.

Х о р о б и т к и н а. Вы все смеетесь, граф.

Р а з б и т н о й (*к Налетову*). Как, вы уж и в графы попали! вот что значит дамский кавалер! (*Хоробиткиной.*) Так в чем же *наша* просьба, любезная Анна Ивановна?

Х о р о б и т к и н а. Это секрет-с... (*Снова потупляет глаза.*)

Р а з б и т н о й. Я должен вам сказать, милая Анна Ивановна, у князя нет секретов. Наш старик любит говорить à *s'oeur ouvert*... с открытым сердцем — проклятый русский язык! (*Вполголоса ей.*) И притом неужели вы от меня хотите иметь секреты?

Х о р о б и т к и н а. Нет-с... я не могу... я должна объясниться перед его сиятельством.

Р а з б и т н о й. Отчего же перед князем, а не передо мной? поверьте, милая Анна Ивановна, что я сумею вполне оценить...

Х о р о б и т к и н а. Помилуйте, как же это можно-с! Князь особы семейные-с, они понимать это могут-с...

Ж и в н о в с к и й. Ну, должна же быть просьбица!

Д е ж у р н ы й ч и н о в н и к (*стремительно вбегает*). Господа, князь идет, князь идет! по местам!

Повторяется та же картина, что и в предыдущей сцене. Воцаряется глубокое молчание. Входит князь, старик почтенной наружности, но вида скорее доброго, нежели умного; особенно заметно отсутствие всякой пронизательности. За ним, в некотором отдалении, ковыляет Ш и ф е л ь.

СЦЕНА VI

Т е ж е, князь Чебылкин и Шифель.

Князь Чебылкин (*Шифелю*). Так ты полагаешь, мой милый, что это у нее нервное?

Шифель (*которого все туловище находится сзади князя, а голова выдалась вперед*). Точно так-с, ваше сиятельство, опасного тут ничего нет; две-три пилюлочки в день, и все как рукой снимет-с.

Князь Чебылкин. Да ты у меня смотри, ты мне за нее отвечаешь.

Шифель. Только я осмелюсь доложить вашему сиятельству, что их сиятельство очень уж сильно преданы умственным упражнениям... головка у них очень занята-с...

Князь Чебылкин (*улыбаясь нежно*). Да; она у меня тово... не то что обыкновенная женщина...

Шифель. Как же, ваше сиятельство, можно! это и по сложению видно! У других натура крепкая, совершенно как топором вырубленная, а у их сиятельства сложеньице, можно сказать, самое легонькое, зефирное-с... Да и ткани не те-с, ваше сиятельство!

Князь Чебылкин. Так ты думаешь, что усиленные умственные упражнения ей вредны?

Шифель. Точно так-с, ваше сиятельство. Сами изволите знать, нынче весна-с, солнце греет-с... а если к этому еще головка сильно работает... Ваше сиятельство! наша наука, конечно, больше простых людей имеет в виду, но нельзя, однако ж, не согласиться, что все знаменитые практики предписывают в весеннее время моцион, моцион и моцион.

Князь Чебылкин. Н-да!

Шифель. Так, ваше сиятельство, прикажете мне теперь отправиться домой?

Князь Чебылкин (*задумчиво*). Н-да! ну, поезжай, поезжай! или вот что: ты уж сходи к ней, скажи, что ей моцион необходим... а то меня-то она, пожалуй, не послушается... Скажи ей, что я сам с ней пойду пройтись...

Шифель. Слушаю-с. (*В сторону.*) Ах, чтоб тебя черт побрал, безголовый старикашка! (*Уходит.*)

СЦЕНА VII

Т е ж е, кроме Шифеля.

Н а л е т о в (*любезно расшаркиваясь перед князем и округляя свои руки*). Ваше сиятельство... mon prince...¹ очень счастлив, что имею честь засвидетельствовать вам свое почтение. (*Князь не может припомнить.*) Налетов, черноборский помещик... прошлое лето изволили еще осчастливить своим посещением...

Р а з б и т н о й (*следующий за князем шаг за шагом*). Ананасы большие, ваше сиятельство!

К н я з ь Ч е б ы л к и н. Ах, да! очень рад, очень рад! прекрасные, отличные ананасы... где бишь мы их ели?

Р а з б и т н о й. У господина Налетова, князь; вот он стоит перед вами.

К н я з ь Ч е б ы л к и н. Ах, да! charmé!² Налетов! скажите, пожалуйста, знакомая что-то фамилия... Кажется, что-то было?

Налетов раскрывает рот, но Разбитной делает ему жест.

Разбитной! mon cher, не помнишь ли ты?

Р а з б и т н о й. Никак нет, князь; такого дела у нас никогда не бывало... по крайней мере, я не припомню.

Б е л у г и н (*в сторону*). Когда, чай, припомнить... стрекулисты вы этикие!

К н я з ь Ч е б ы л к и н. Ну, в таком случае очень рад, очень рад познакомиться с образованным человеком... Ба! да, помнится, я уж знаком с вами! еще ананасы такие прекрасные?

Р а з б и т н о й (*в сторону*). Ах ты, господи! (*Громко.*) Да это тот самый Налетов и есть, князь...

К н я з ь Ч е б ы л к и н. А! ну, очень хорошо! прошу обедать! княжна будет очень рада... elle s'ennuie, la pauvre enfant!³

Н а л е т о в. Не позволите ли, mon prince, мне теперь же засвидетельствовать почтение княжне?

К н я з ь Ч е б ы л к и н. Что ж, очень рад! она, кажется, принимает! а меня уж извините, у меня есть священные обязанности! Очень рад.

Налетов уходит.

¹ Князь (*фр.*).

² Очень рад! (*фр.*)

³ Она скучает, бедное дитя! (*фр.*)

СЦЕНА VIII

Те же, кроме Налетова.

Князь Чебылкин, А кажется, он порядочный молодой человек! и смирный! Нынче молодые люди все дерзкие, вольнодумцы... а этот, как бишь его?

Разбитной. Налетов, князь.

Князь Чебылкин. Ну, да, Налетов... он, кажется, смирный?

Разбитной. Отличный молодой человек, князь. И в каком порядке у него имение!

Князь Чебылкин. А! в порядке! Ну, это хорошо! порядок во всяком устроенном обществе главное; потому-то такие общества и называются благоустроенными... (*Вздыхает. Подходя к Хоробиткиной.*) Ну, сударыня, что вам угодно?

Хоробиткина (*исполняясь возвышенными чувствами*). Князь, я пришла просить вашей защиты! Если вы не защитите меня, то я погибшая женщина!

Князь Чебылкин (*Разбитному*). Qu'est-ce qu'elle dit donc, qu'est-ce qu'elle dit? est-ce que c'est une femme perdue, par exemple?¹

Разбитной. Она говорит, что ее обижают, князь, что она погибнет, если вы ее не защитите. (*К Хоробиткиной.*) Извольте объяснить ваше дело просто, ясно, без околичностей.

Князь Чебылкин. Ну-с, сударыня?

Хоробиткина. Муж мой, канцелярский чиновник Хоробиткин, имеющий счастье служить под высоким начальством вашего сиятельства, поступает со мной... (*Останавливается.*)

Живновский (*тихо Забиякину*). Каково баба-то режет! а! хоть бы нашему брату так объясниться!

Князь Чебылкин. Уховерткин! я что-то такого не помню. Продолжайте, сударыня.

Хоробиткина (*потупляя глаза*). Позвольте, князь, просить у вас секретного разговора-с...

Князь Чебылкин (*Разбитному*). Qu'est-ce qu'elle a donc, cette femme?

Разбитной. Elle vous demande un entretien particulier².

¹ Что такое она говорит, что она говорит? это погибшая женщина, что ли? (*фр.*)

² Что ей надо, этой женщине? — Она просит у вас секретного разговора (*фр.*).

Князь Чебылкин. Зачем же, душенька, нам секретничать? У меня, душенька, секретов нет с просителями... и я, наконец, не вижу никакой надобности... и зачем вы, душенька, так оделись? вам, должно быть, холодно?

Хоробиткина. Ваше сиятельство! я не могу! я не могу изъяснить перед целым светом мой стыд... потому что я опозорена, ваше сиятельство, я несчастнейшая из женщин!

Князь Чебылкин. В чем же дело, сударыня?

Хоробиткина. Ваше сиятельство! довольно, если я вам осмелюсь доложить, что муж мой... но нет-с, я не могу это выговорить-с.

Живновский (*вполголоса Забиякину*). А! понимаю! стало быть... (*Шепчет Забиякину на ухо*.)

Пафнутьев, прислушивавшийся к их разговору, неожиданно фыркает, князь обращает взоры в ту сторону.

Князь Чебылкин. Кажется, кто-то из вас, господа, забывает, что просителю следует вести себя скромно. (*К Хоробиткиной*.) Что ж такое делает муж ваш, сударыня?

Пафнутьев опять фыркает.

Господа, я должен буду приказать вывести нарушителей тишины!.. Продолжайте, сударыня.

Хоробиткина. Нет, князь, вы защитите меня! вы позвольте мне объясниться перед вами секретно.

Князь Чебылкин. Извольте, сударыня, извольте. Снисходя на вашу просьбу, я согласен вас выслушать. Я не могу потакать злоупотреблениям, даже супружеским, я люблю правду... (*Усилил голос*.) Я вас выслушаю, сударыня, приходите завтра утром. (*Хоробиткина приседает. Князь обращается к вдове Шумиловой*.) Ну-с, а вы, сударыня?

Шумилова (*внезапно заливается целым потоком слез; прерывающимся голосом*). Вдова, батюшка, ваше сиятельство, вдова, коллежская секретарша Шумилова... защитите вы нас, бедных сирот...

Князь Чебылкин (*Разбитному*). Je crois que c'est du ressort de la princesse?¹

Разбитной. Вы о пособии, что ли, просите?

Шумилова. Ой, батюшка, ваше благородие...

Разбитной. Обращайтесь к князю, сударыня.

¹ По-моему, это относится к ведению княжны? (*фр.*)

Шумилова. Батюшка, ваше сиятельство! хорошо, кабы пособие-то... да нет уж моей моченьки, ваше сиятельство! Сироты больно одолели... Моченьки-то моей нет!

Князь Чебылкин. Что ж вам угодно, сударыня?

Шумилова. Да я насчет дому-то... домишко, ваше сиятельство, старый... так, разваливающий от покойника остался. Ну, вот только приходят вчерась землемеры... *(Заливается.)* Тут, говорит, какую-то линию вести надо... ой, батюшки!

Князь Чебылкин. Землемеры, сударыня... это следует по закону... *(Разбитному.)* Expliquez-lui¹.

Разбитной. Ваш дом, верно, не на месте стоит, сударыня?

Шумилова. Как не на месте! На месте, ваше сиятельство, на земле стоит... и дедушки и прадедушки наши так владели... как не на месте!

Разбитной. То есть я хотел сказать, что ваш дом не на плановом месте выстроен?

Шумилова. Помилуйте, ваше благородие...

Разбитной. Обращайтесь к князю, вам говорят.

Шумилова. Помилуйте, ваше сиятельство, ведь еще наши дедушки дом-от строили... как не на месте?

Разбитной. Стало быть, не на месте, если землемеры говорят, что через него линию вести надобно.

Шумилова. Помилуйте, ваше благ... ваше сиятельство, да как же это возможно, чтоб через живого человека линию вести... просто зубоскалят они... два рублика серебром просят... *(Заливается.)*

Разбитной. Она ничего не понимает, ваше сиятельство.

Князь Чебылкин *(строго)*. Не хорошо, сударыня, не хорошо! Прежде нежели решаться утруждать начальство, надо вникнуть в предмет... не хорошо-с... *(Переходит мимо купцов и крестьян на другую сторону зала, где стоят благородные просители. Купцы и крестьяне вздыхают.)*

Шумилова *(плача)*. Господи! что ж это такое с нами будет!

Живновский *(не переводя духа и без знаков препинания)*. Ваше сиятельство! наслышавшись столько о необыкновенных качествах души вашего сиятельства и имея твердое намерение по мере моих сил и способностей

¹ Объясните ей *(фр.)*.

быть полезным престол-отечеству я не смел бы утруждать ваше сиятельство моею покорнейшею просьбой если б не имел полной надежды оправдать лестное ваше для меня доверие. (*Переводя дух.*) Проходя службу два года и три месяца в Белобородовском гусарском полку в чине корнета уволен из оногo по домашним обстоятельствам и смерти единственной родительницы в чине подпоручика и скитаюсь после того как птица небесная где день где ночь возымел желание отдохнуть в трудах служебных... (*Выставляет ногу вперед и начинает декламировать.*) Ваше сиятельство! благородной душе вашей будет понятна жажда деятельности, согревающая душу благородного дворянина! Вы сами дворянин, ваше сиятельство! вы, следовательно, сами изволите понять, сколь великие обязанности возложены самую природою на это сословие! Будучи дворянином, нельзя не служить! Скажу более: не служить, будучи дворянином, — это величайшая, постыднейшая неблагодарность против престол-отечества.

Князь Чебылкин (*Разбитному*). Mais il n'est pas bête cet homme!¹ (*Живновскому.*) Отчего же вы так долго собирались вступить на службу?

Живновский. Ваше сиятельство! заблудшая овца, и в Писании сказано, дороже...

Князь Чебылкин. То есть кающаяся, хотите вы сказать?

Живновский. Точно так, ваше сиятельство!

Князь Чебылкин. Очень рад, очень рад... мне люди нужны, я ищу людей...

Живновский. Ради стараться, ваше сиятельство!

Князь Чебылкин. Очень рад, очень рад. Подайте просьбу.

Живновский (*вынимая сложенную бумагу, торчавшую между расстегнутых пуговиц сюртука*). Позвольте вручить, ваше сиятельство!

Князь берет и хочет удалиться.

Разбитной (*смотря пронизательно на Живновского*). Позвольте, ваше сиятельство! Господин Живновский, вы бывали под судом?

Живновский (*смущаясь*). Как под судом?

Разбитной. Ну да, под судом, под уголовным судом, обыкновенно какой суд бывает!

Живновский. Был-с.

¹ А он не глуп, этот человек! (*фр.*)

Разбитной. Бывших под судом дозволяется определять только под личную ответственностью, князь.

Князь Чебылкин (*Живновскому*). Как же вы, любезный друг, идете просить места? Ведь вы знаете закон? Нет, вы мне скажите, знаете ли вы закон?

Живновский. Помилуйте, ваше сиятельство, если б вам известно было, за какие дела я под судом находился — самые пустяки-с! Можно сказать, вследствие благородства своих чувств, как не могу стерпеть, чтоб мне кто-нибудь на ногу наступил...

Князь Чебылкин. Вот видите, любезный друг, стало быть, в вас строптивость есть, а в службе первое дело дисциплина! Очень жаль, очень жаль, мой любезный, а вы мне по наружности понравились...

Живновский. Да помилуйте же, ваше сиятельство!

Князь Чебылкин. Нельзя, любезный друг, нельзя. (*Подходит к Забиякину. Сухо.*) Ну, вы с чем еще?

Живновский (*в сторону*). Не вывезла кривая! (*Задумывается и, опустивши голову, начинает кусать усы.*)

Забиякин. Я, ваше сиятельство, о личной обиде.

Разбитной. На это полицеймейстер есть, князь.

Князь Чебылкин. Ну да, полицеймейстер... обратитесь к нему, он вас разберет. (*Хочет удалиться.*)

Забиякин. Князь, позвольте! князь! и без того я угнетен уже судьбою! и без того я, так сказать, уподобился червю, которого может всякая хищная птица клевать... конечно, против обстоятельств спорить нельзя, потому что и Даниил был ввержен в ров львиный, но ведь я погибаю, князь, я погибаю!

Разбитной. Ну, вас и спасет полицеймейстер!

Живновский (*в сторону, задумчиво*). Ведь тысячи полторы верст откатал, черт возьми!

Забиякин. Ваше сиятельство изволите говорить: полицеймейстер! Но неужели же я до такой степени незнаком с законами, что осмелился бы утруждать вас, не обращавшись прежде с покорнейшею моею просьбой к господину полицеймейстеру! Но он не внял моему голосу, князь, он не внял голосу оскорбленной души дворянина... Я старый слуга отечества, князь; я, может быть, несколько резок в моей откровенности, князь, а потому не имею счастья нравиться господину Кранихартену... я не имею утонченных манер, князь...

Князь Чебылкин (*нетерпеливо*). К делу, сударь, к делу.

З а б и я к и н. Вчерашнего числа, в третьем часу пополудни, шедши я с отставными чиновниками: Павлом Ивановичем Техоцким и Дмитрием Николаичем Подгоняйчиковым, по Миллионной улице для прогулки, встретили мы сосланного сюда под надзор на жительство, за обманы и мошенничество, еврея Гиршеля. Как перед Богом, так и перед вашим сиятельством объясняюсь, что ни я, ни товарищи мои не подали к тому ни малейшего повода, потому что мы шли, разговаривая тихим манером, как приличествует мирным гражданам, любящим свое отечество... Но Гиршель, проходя мимо, не внял долгу совести и словам закона, повелевающего оставлять мирным гражданам беспрепятственно предаваться невинным занятиям, и, тая на меня злобу, посмотрел на нашу сторону и *презрительно* улыбнулся. Конечно, князь, другой на моем месте, как благородный человек, произвел бы тут дебоширство, но я усмирил волнение негодующего сердца и положил всю надежду на Бога... Одним словом, князь, я, как благородный человек, только засвидетельствовал дерзость презренного еврея и...

Р а з б и т н о й. Ну, вот видите, о каких пустяках вы утруждаете его сиятельство!

К н я з ь Ч е б ы л к и н (*Разбитному*). Calmez-vous, mon cher, calmez-vous... lorsqu'on est haut placé, il faut bien boire le calice...¹

З а б и я к и н. Вот вы изволите говорить, Леонид Сергеич, что это пустяки... Конечно, для вас это вещь не важная! вы в счастье, Леонид Сергеич, вы в почестях! но у меня осталось только одно достояние — это честь моя! Неужели же и ее, неужели же и ее хотят у меня отнять! О, это было бы так больно, так грустно думать!

Р а з б и т н о й. Пожалуйста, объясняйте князю, не впутывая посторонних обстоятельств!

З а б и я к и н. Это не постороннее обстоятельство, Леонид Сергеич... (*Строго и закусывая нижнюю губу, как бы желая удержать рыдания.*) Это... честь моя!

К н я з ь Ч е б ы л к и н. Дальше, сударь, дальше!

З а б и я к и н. Засвидетельствовав, как я сказал, нанесенное мне оскорбление, я пошел к господину полицеймейстеру... Верьте, князь, что, не будь я дворянин, не будь я, можно сказать, связан этим званием, я презрел бы все это... Но, как дворянин, я не принадлежу себе и в нанесен-

¹ Успокойтесь, дорогой мой, успокойтесь... занимающему высокий пост приходится пить свою чашу... (*фр.*)

ном мне оскорблению вижу оскорбление благородного со-
словия, к которому имею счастье принадлежать! Я слиш-
ком хорошо помню стихи старика Державина:

Собой пример он должен дать,
Что звание его священно...

И что ж? господин Кранихгартен не только не принял
моей просьбы, но меня же еще осмелился назвать шаве-
рой.

Князь Чебылкин. У вас это, вероятно, все на
бумаге написано?

Забиякин. Как же-с, ваше сиятельство... *(Подает
прошение.)*

Князь Чебылкин. Разберем, сударь, разберем.
(Передает бумагу Разбитному. Подходя к Пафнугьеву.)
А! почтенный ветеран!

Но Пафнугьев, к общему удивлению, вероятно вспомнив о госпоже Хоро-
биткиной и ее муже, вместо объяснения своего дела, внезапно фыркает.

Милостивый государь! вы, кажется, забыли, где вы находи-
тесь? *(Вырывает из рук его просьбу и отдает ее Разбит-
ному.)* Извольте, сударь, идти! *(Пафнугьев уходит; князь
вслед ему.)* Вы где потеряли руку?

Пафнугьев останавливается, но, вместо ответа, опять фыркает.

Вон!

Живновский. Смешливый час нашел-с!

Князь Чебылкин *(Разбитному)*. Подите, топ
сег, узнайте, где этот почтенный ветеран руку потерял.
(Разбитной выходит. К Белугину.) Ну, ты что?

Белугин. А вот, ваше сиятельство, такое у нас слу-
чилось дело, что даже не привидано...

Разбитной *(возвращаясь)*. На охоте с лошади
упал, князь!

Общий смех.

Белугин. Затеял я эта, ваше сиятельство, стро-
иться. Что ж, думаю, и в городе украшение, ну, и нам тоже
с старухой поваляться где будет... палаты затеяли камен-
ные-с, и плант свой преставили... Только вот, сударь, чудо
какое у нас тут вышло: чиновник тут — искусственник,
что ли, он прозывается — «плант, говорит, у тебя не как
следственно ему быть надлежит». — «А как, мол, сударь,
по-вашему будет?» — «А вот, говорит, как: тут у тебя, го-
ворит, примерно, зал состоит, так тут, выходит, следует...

с позволения сказать...» И так, сударь, весь плант сконфузил, что просто, выходит, жить невозможно будет.

Князь Чебылкин. Как же это? я что-то не понимаю...

Белугин. Да и мы, ваше сиятельство, пытались об этом толковать... просто умпостиженье выходит!

Разбитной. Сколько я могу понимать, князь, его план составлен несогласно с правилами по искусственной части...

Белугин. И он то же говорил, чиновник-то! да помилосердуйте же, батюшки вы наши! ведь это, значит, жить невозможно будет... я материалы припас...

Князь Чебылкин (*Разбитному*). Expliquez-lui!

Разбитной. Если тебе архитектор сказал, что план твой сделан не по правилам, стало быть, надо сделать другой план.

Белугин. Помилосердуйте, ваше сиятельство!

Князь Чебылкин. Нельзя, любезный, нельзя... ты слышал, закона нет! (*Подходит к Скопищеву*.) Ты зачем?

Белугин (*в сторону*). Вот тебе и резолюция!

Скопищев (*вздыхает*). Я все насчет того дела...

Князь Чебылкин. Нельзя, братец, нельзя...

Скопищев (*вздыхает*). Ох, я бы еще полтинничек спустил.

Князь Чебылкин. Нельзя, любезный друг; закон прямо говорит... нельзя!

Скопищев. Для нас бы подряд-то этот уж очень сподручен.

Разбитной. Русский человек, князь, задним умом крепок.

Скопищев (*вздыхая*). Кто ж его душу знал, что он после торгов' станет... Я бы, ваше сиятельство, и еще полтинничек скинул...

Разбитной. Ваше сиятельство! с ним говорить — только время тратить.

Скопищев вздыхает. Разбитной подходит к Долгому; князь беспрекословно следует за ним.

Князь Чебылкин. Ну, ты что?

Долгий (*мрачно и отрывисто*). Писарь дерется, ваше благородие.

Князь Чебылкин. Ну, так что ж? стало быть, ты стоишь этого, любезный друг.

¹ Объясните ему! (*фр.*)

Долгий. Стою не стою, а в законах того не написано, чтобы драться.

Князь Чебылкин. За что ж он, любезный? (*К Разбитному.*) Nous allons rire...¹

Долгий. А вот за что! Идем мы, слышь ты, этта с Обрамом, по улице... ну, ничего! Только идем мы это, и начал меня вдруг Обрам обзывать: и такой-то ты и сякой-то ты... Только я ему говорю: Обрам, мол, Сергеич, за что, мол, вы меня обзываете? А он меня по зубам: я, говорит, что хочу, над тобой изделаю... Только я от него побег к писарю: «Иван Павлыч, говорю, за что, мол, Обрам Сергеич меня искровенил?» А писарь-то — уж почудилось ему, что ли, что-нибудь! — как размахнется, да и ну меня по зубам лущить... Так что ж это у нас за порядки будут!

Разбитной. Что ж ты не жаловался по начальству?

Долгий. А кому жалиться-то? Уж сделайте ваше распоряжение, прикажите мне Обрамке сдачи дать.

Князь Чебылкин. Хорошо, любезный, хорошо; мы обсудим! (*Подходит к Малявке.*) Ну, ты?

Малявка. А я, ваше сиятельство, об корове (*вздыхает*)... Была, то есть, у нас буренькая коровушка, такая ли, слышь, гладкая да смирная...

Разбитной. Объясни без околичностей.

Малявка. Ну! вот я и говорю, то есть, хозяйке-то своей: «Смотри, мол, Матренушка, какая у нас буренушка-то гладкая стала!» Ну, и ничего опять, на том и стали, что больно уж коровушка-то хороша. Только на другой же день забегает к нам это сотский. «Ступай, говорит, Семен: барин² на стан требует». Ну, мы еще и в ту пору с хозяйкой маленько посумнились: «Пóшто, мол, становому на стан меня требовать!..»

Князь Чебылкин. Да ты, любезный, не мажь...

Малявка. Только прихожу я это на стан, а барин в ту пору и зачал мне говорить: «Семенушка, говорит, коровушка у тебя моей супружнице очень понравилась, так вот, говорит, тебе целковый, будто на пенное; приводи, говорит, коровушку завтра на стан...»

За дверьми слышится шум и раздаются голоса. Входят: княжна, Шифель и Налетов. Живновский и Забиякин стараются принять грациозные позы.

¹ Мы сейчас посмеемся... (*фр.*)

² В некоторых губерниях крестьяне называют станового пристава *баринном*. (*Примеч. Салтыкова-Щедрина.*)

СЦЕНА IX

Те же, княжна, Шифель и Налетов.

Налетов. Vous me permettrez de vous accompagner, princesse?

Княжна. Mais oui...¹ Папá, скоро?

Князь Чебылкин. Сейчас, ma chère, сейчас кончим.

Налетов вставляет стеклышко и смотрит гордо на просителей.

Малышка. Только я ему говорю: помилосердуйте, мол, Яков Николаич, как же, мол, это возможно за целковый коровушку продать! у нас, мол, только и радости! Ну, он тутотка только посмеялся: «ладно», говорит... А на другой, сударь, день и увели нашу коровушку на стан. (*Плачет.*)

Княжна (*томно*). Pauvres gens!²

Князь Чебылкин. Хорошо, любезный, не плачь! твоя корова будет тебе возвращена!

Княжна (*подбегая к князю*). Папá, сделаем подписку в пользу этого бедного семейства.

Налетов. Quel sœur!³

Князь Чебылкин. Хорошо, хорошо, моя Антигона! бери его в свое распоряжение... Тут есть еще бедная женщина. (*Показывает Шумилову.*)

Малышка (*внезапно повеселев*). Когда ж за деньгами-то приходиться нужно?

Княжна. Quelle naïveté!⁴

Князь Чебылкин (*подходя к Сычу*). Ты зачем?

Сыч молчит и только усиленно моргает глазами.

Ты говори, любезный, не бойся! ты представь себе, что перед тобою не князь, а твой добрый староста...

Шифель. Ангел, а не человек!

Князь Чебылкин. Говори же, мой друг!

Сыч, однако ж, продолжает упорно молчать.

Разбитной. Говори же, любезный!

¹ Вы позволите мне сопровождать вас, княжна? — Пожалуйста... (*фр.*)

² Бедные люди! (*фр.*)

³ Какое сердце! (*фр.*)

⁴ Какая простота! (*фр.*)

М а л я в к а (толкая Сыча в бок). Сказывай же, сказывай, дядя Лексей!

Все усилия остаются тщетными.

К н я з ь Ч е б ы л к и н (Разбитному). Велите его расспросить там. (К просителям.) Прощайте, господа!.. Ну, кажется, теперь я всех удовлетворил!

Занавес опускается.





ВЫГОДНАЯ ЖЕНИТЬБА

СЦЕНА I

Театр представляет комнату весьма бедную; по стенам поставлено несколько стульев под красное дерево, с подушками, обтянутыми простым холстом. В простенке, между двумя окнами, стол, на котором разбросаны бумаги. У одной стены неубранная кровать. Вообще, убранство и порядок комнаты обнаруживают в жилище ее отсутствие всякого стремленья к чистоте и опрятности.

Д е р н о в. Долго-таки заставил он меня дожидаться: с час времени проморил в передней. Потом выходит, да без парика и без зубов, в какой-то полосатой поддевочке — и не узнал я его совсем. «Ну что ж, говорит, жениться, что ли, хочешь?» — «Точно так-с, говорю я, коли будет от вашего высокородия милость, разрешите». А он мне: «У меня, братец, на этот счет своя идея есть: вам, подьячим, без крайней надобности жениться не следует». — «Сделайте, говорю, ваше высокородие, такую милость! кабы не крайность моя, я бы и утруждать не осмелился». — «А что за невестой дают?» — «Пять платьев да два монто, одно летнее, другое зимнее; из белья тоже все как следует; самовар-с; нас с женой на свой кошт год содержать будут, ну и мне тоже пару фрашную, да пару сертушную». — «А из денег: ничего?» — «Ничего», — говорю. «Ну, так и нет тебе разрешенья; вы, говорит, подьячие, все таковы: чуть попал в столоначальники, уж и норовит икру метать. Вашего крапивного семени столько развелось, что деваться некуда». Я было рот разинул, чтоб еще попросить, так куда тебе повернул спину, да и был таков.

Г и р б а с о в. Что ж ты намерен теперь с этим делать, Саша?

Д е р н о в. А уж, право, и сам не знаю. Пойду завтра к Порфирию Петровичу, паду им в ноги; пусть что хотят со мной делают, а без женитьбы мне невозможно.

Г и р б а с о в. Да, без жены какая же и жизнь!

Несколько секунд молчания.

Д е р н о в. Ты посуди сам: ведь я у них без малого целый месяц всем как есть продовольствуюсь: и обед, и чай, и ужин — все от них; намеднись вот на жилетку подарили, а меня угоразди нелегкая ее щами залить; к свадьбе тоже все приготовили и сукна купили — не продавать же. На той неделе и то Вера Панкратьевна, старуха-то, говорит: «Ты у меня смотри, Александра Александрыч, на попятный не вздумай; я, говорит, такой счет в правление представлю, что угоришь!» Вот оно и выходит, что теперича все одно: женись — от начальства на тебя злоба, из службы, пожалуй, выгонят; не женись — в долгу неоплатном будешь, каждый обед из тебя тремя обедами выйдет, да чего и во сне-то не видал, пожалуй, в счет понапишут. Нет, уж воля начальства, а не жениться мне никак нельзя — все одно что в петлю лезть.

Г и р б а с о в. Ну, а у Якова Астафьича был?

Д е р н о в. Был.

Г и р б а с о в. Что ж он?

Д е р н о в. Да что он! мычит, да и все тут. Я ему говорю: «Помилуйте, Яков Астафьич, ведь вы мои прямые начальники». — «И, братец! говорит: какой я начальник!..» Такая, право, слякоты!

Молчание.

И ведь все-то он этак! Там ошибка какая ни на есть выдет: справка неполна, или законов нет приличных — ругают тебя, ругают, — кажется, и жизни не рад; а он туда же, в отделение из присутствия выдет да тоже начнет тебе надоедать: «Вот, говорит, всё-то вы меня под неприятности подводите». Даже тошно смотреть на него. А станешь ему, с досады, говорить: что же, мол, вы сами-то, Яков Астафьич, не смотрите? — «Да где уж мне! — говорит, — я, говорит, человек старый, слабый!» Вот и поди с ним!

Г и р б а с о в. Да, уж с таким начальником маяться не дай господи! Вот и у нас председатель такой был; сядет, бывало, в карты играть — ступить не умеет. С короля козырять начнет, а у партнера туз-от бланк — вот и взъест-

ся на него партнер, особливо если Порфирий Петрович. «Вы, говорит, ваше превосходительство, в карты лапти изволите плестъ; где ж это видано, чтоб с короля козырять, когда у меня туз один!» А он только ежится да приговаривает: «А почему же я знал!» А что тут «почему знал», когда всякому видимо, как Порфирий Петрович с самого начала покрикивал в знак одиночества... Ну, а кто у тебя в посажёных будет?

Д е р н о в. А, право, не знаю. Вот старуха говорит, чтоб, по крайности, Якова Астафьича. Оно, коли хочешь, и дело, потому что он все-таки прямой начальник; ну а знаешь ты сам, как он в ту пору Чернищеву отвечал, как тот его к своей дочери в посажёные звал? «Я, говорит, человек не общественный, дикий, словесности не имею, ни у кого не бываю; деньги у меня, конечно, есть, да ведь это на черный день — было бы с чем и глаза закрыть. Вот, говорит, намердись сестра пишет, корова там у нее пала — пять целковых послал; там брат, что в священниках, погорел — тому двадцать пять послал; нет, нет, брат, лучше и не проси!» С тем Чернищев-то и отъехал. Одно слово, дрянь — дрянь и есть. Господи! у других начальники как начальники, а у нас, что называется, ни кожи, ни рожи. Я уж удумал к Порфирию Петровичу.

Г и р б а с о в. А не пойдет Порфирий Петрович — градского голову за бока тащи!

Д е р н о в. И то правда. Да что, брат! нонче уж и они рыло воротить стали. Только слава, что столоначальники, а хошь бы одна-те свинья головой сахару поклонилась; нас, мол, Федор Гарасимыч защитит, он наш по всей губернии купечеству сродственник и благодетель. Намеднь к откупщику посылал, чтоб, по крайности, хошь ведро водки отпустил, так куда тебе: «У нас, говорит, до правленья и касательства никакого нет, а вот, говорит, разве бутылку пива на бедность»... Такая, право, bestия! Не знаешь, как тут и быть — такие времена настали. Начальство не то чтоб тебя защитит, а еще пуще крапивным семенем обзывает, жалованье на сапоги все изведешь, а работы-то словно на каторге. Уж и подлинно, должно быть, нас ровно блох развелось. Выгоняют-выгоняют нашего брата, выгоняют, кажется, так, что и места нигде не найдешь, а смотришь: все-таки место свято пусто не будет; куда! на одно-то место человек двадцать лезет.

Г и р б а с о в. Да, большую ловкость нужно иметь, чтоб нонче нашему брату на свете век изжить. В старые годы этой эквилибристики-то и знать не хотели.

Д е р н о в. Вот хоть бы про столоначальника! Ты думаешь, задаром мне это место досталось? как бы не так! Иду я это к секретарю, говорю ему: «Иван Никитич! состоя на службе пятнадцать лет, я хоша не имею ни жены, ни детей, но будучи, так сказать, обуреваем... осмеливаюсь»... ну, и так далее. А он, ты думаешь, что мне в ответ? Ты! говорит, да я! говорит... Прослезился я, да так и ушел от него, по той причине, что он был на ту пору в подпитии, — ну, а в этом виде от него никаких резоннов, кроме ругательства, не услышишь. Вот выбрал я другой день, опять иду к нему. «Иван Никитич, — говорю ему, — имейте сердоболие, ведь я уж десять лет в помощниках изнываю; сами изволите знать, один столом заправляю; поощрите!» А он: «Это, говорит, ничего не значит десять лет; и еще десять лет просидишь, и все ничего не значит». — «Да что ж, говорю я, надобно сделать, я на все готов». — «А знаешь ли ты, говорит, эквилибристику?» — «Нет, мол, Иван Никитич, не обучался я этим наукам: сами изволите знать, что я по третьему разряду». — «А эквилибристика, говорит, вот какая наука, чтоб перед начальником всегда в струне ходить, чтобы ноги у тебя были не усталые, чтоб когда начальство тебе говорит: «Кривляйся, Сашка!» — ну, и кривляйся! а «сиди, Сашка, смирно» — ну, смирно и сиди, ни единым суставом не шевели, а то неравно у начальства головка заболит. Я, говорит, всю эту механику насквозь произошел, так и знаю. Да и считай ты себя еще счастливым, коли тебе говорят: «Кривляйся!» Это значит, внимание на тебя обращают. Вот и выходит, значит, что кривляк этих столько развелось, что и для того, чтоб подличать-то тебе позволили, нужен случай, протекция нужна; другой и рад бы, да случая нет.

Г и р б а с о в. А умный человек этот Иван Никитич, хошь и шельма.

Д е р н о в. Да ты слушай. Высказал он мне все это, да и смотрит прямо в глаза, точно совесть наизнанку выворотить хочет. Вот и поклялся я ему быть в повиновении; и мучил же он меня, мучил до тех пор, пока его самого, собаку, за нетрезвое поведение из службы не выгнали — чтоб ему пусто было! Напьется, бывало, пьян, да и посылает за мной. «Пляши, говорит, Сашка», или «пой, говорит, Сашка, песни». Делать-то нечего: и пляшешь и поешь, а он-то, со своей развратной компанией, над тобой безобразничает. Однажды растворил это двери на балкон, а жил во втором этаже. «Скачи», — говорит. Я на колени было, так куда? «Скачи, говорит, а не то убью». А глаза-то у него,

как у быка, кровью налились — красные-раскрасные. Делать нечего, прыгнул я, да счастье еще, что в ту пору грязь была, так тем и отделался, что весь, как чушка, выпачкался. Так вот, брат, какие труды понес! А говорят еще: счастье; без году неделю, мол, служит, а уж столоначальник!

Г и р б а с о в. Это точно, что бестия был этот Иван Никитич: никакого человечества в нем не было. И ведь диво! кажется, сам через все это прискорбие произошел; сам, значит, знает, каково выносить эту эквилибристику-то.

Д е р н о в. То-то вот и есть, что наш брат хам уж от природы таков: сперва над ним глумятся, а потом, как выдет на ровную-то дорогу, ну и норовит все на других выместить. Я, говорит, плясал, ну, пляши же теперь ты, а мы, мол, вот посидим, да поглядим, да рюмочку выкушаем, покедова ты там штуки разные выкидывать будешь.

Входит сторож.

С т о р о ж. Господин Дернов; извольте идти к его высокородию.

Д е р н о в. А зачем?

С т о р о ж. А мне почем знать.

Д е р н о в. Да кто-нибудь есть у него?

С т о р о ж. Была ихняя экономка, а потом старик со старухой приходили, с ними была дочь, что ли, — кто их знает?

Д е р н о в. А зачем приходили — не знаешь?

С т о р о ж. А господь их знает!

Д е р н о в. Ну, а каков он-то?

С т о р о ж. Известно, ругается.

Г и р б а с о в (*Дернову*). Однако ж прощай; забеги-ка к нам завтра, расскажи, как у вас там все будет; а Раиса Петровна водочки поднесет — у нас, брат, некупленная.

Д е р н о в. Да, я и позабыл спросить тебя про Раису Петровну, как оне себя чувствуют?

Г и р б а с о в. Уж известно, какие у ней чувства; у меня эти чувства-то вот где сидят (*показывает на затылок*). Что ни девять месяцев — смотришь, ан и пищит в углу благословение божие, словно уж предопределение али поветрие какое. Хочешь не хочешь, а не отвертишься.

Выходят.

СЦЕНА II

Театр представляет комнату с претензиями на великолепие. Мебель уставлена симметрически; посредине диван, перед ним стол и по бокам кресла; диван и кресла крыты ярко-голубым штофом, но спинки у них обтянуты коленкором под цвет. В простенках, между окнами, зеркала, на столах недорогая бронза: лампы, подсвечники и проч. **Петр Петрович Змеищев**, старик лет шестидесяти, в завитом парике и с полною челюстью зубов, как у щуки, сидит на диване; сбоку, на втором кресле, на самом его кончике, обитает **Федор Герасимыч Крестовоздвиженский**. Проникнутый глубоким умилением по случаю беседы с **Петром Петровичем**, Крестовоздвиженский обнаруживает сильное беспокойство во всех оконечностях своего бренного тела, беспрестанно привскакивает и потягивает носом воздух.

Крестовоздвиженский. Осмелюсь уверить ваше высокородие, самый, то есть, пустейший он человек, просто именно пустейший человек-с!

Змеищев (зевая). Ну, а коли так, разумеется, что ж нам смотреть на него, выгнать, да и дело с концом. Вам, господа, они ближе известны, а мое мнение такое, что казнить никогда не лишнее; по крайней мере, другим пример. Что, он смертоубийство, кажется, скрыл?

Крестовоздвиженский. Никак нет-с, смертоубийство — это другой, это Гранилкин-с. А Овчинину было предписано исполнить приговор над одним там мещанином, розгами высесть-с, так он, вместо того мещанина, высек просто именно совсем другого. Оно конечно, он оправдывается тем, что по ошибке, потому, дескать, что фамилии их сходные, и призванный, во время экзекуции, не прекословил. Спору нет, что сходные, да ведь, извольте сами согласиться, это и до начальства дойти может... Кто его знает? может, он нарочно и не прекословил, чтоб после жаловаться. У нас уж был такой пример, что мы ограничились одним внушеньем-с, чтоб впредь поступал осторожнее, не сек бы зря, так нас самих чуть-чуть под суд не отдали, а письма-то тут сколько было! целый год в страхе обретались.

Змеищев. Ну, конечно, конечно, выгнать его; да напишите это так, чтоб энергии, знаете, побольше, а то у вас все как-то бесцветно выходит — тарá да барá, ничего и не поймешь больше. А вы напишите, что вот, мол, так и так, нарушение святости судебного приговора, невинная жертва служебной невнимательности, непонимание всей важности долга... понимаете! А потом и повесьте его!.. Ну, а того-то, что скрыл убийство...

Крестовоздвиженский потупляется.

Однако ж?..

Крестовоздвиженский. Оно конечно, ваше высококорodie, упущение немаленькое-с.

Змеищев. Какое тут упущение, помилуйте! Ведь этак по большим дорогам грабить будут... ведь он взятку, чай, с убийцы-то взял?

Крестовоздвиженский. Уж куда ему, ваше высококорodie, взятку! просто именно от неведенья и простодушия; я его лично знаю-с, он у меня еще писцом служил: прекраснейший чиновник-с, только уж смирен очень; его бы, ваше высококорodie, куда-нибудь, где поспокойнее, перевести; хоть бы вот в заседатели.

Входит лакей.

Лакей. Господин Дернов пришел.
Змеищев. Пусть войдет.

Дернов входит и становится у стены.

(Вставая и подходя к нему.) Ну, так ты все еще жениться хочешь?

Дернов. Имея намеренье вступить в законный брак с дочерью коллежского регистратора...

Змеищев. Знаю, знаю; я сегодня видел твою невесту: хорошенькая. Это ты хорошо делаешь, что женишься на хорошенькой. А то вы, подьячие, об том только думаете, чтоб баба была; ну, и наплодите там черт знает какой чепухи.

Крестовоздвиженский (подобострастно улыбаясь). Это справедливо, ваше высококорodie, изволили заметить, что приказные больше от скуки, а не то так из того женятся, что год кормить обещают или там сюртук сошьют-с.

Змеищев (смеется). Ну да, ну да. Так ты смотри, меня пригласи на свадьбу-то; я тово... а вы, Федор Гарасимыч, велите ему на свадьбу-то выдать... знаете, из тех сумм.

Дернов низко кланяется.

СЦЕНА III

Комната в квартире господина и госпожи Рыбушкиных. Марья Гавриловна (она же и невеста) сидит на диване и курит папироску. Она высокого роста, блондинка, с весьма развитыми формами; несколько подбелена и вообще сооружена так, что должна в особенности нравиться сохранившимся старичкам и юношам с потухшими сердцами.

Марья Гавриловна. Господи! что ж это и за жизнь за такая! другие, посмотришь, то по гостям, то в

клуб, а ты вот тут день-деньской дома сиди. Только и утешенья, как папироску-другую выкуришь. Куришь-куришь до того, что в глазах потемнеет. А все Мишель приучил! Странно, однако, что он на мне не женится. Выходите, говорит, замуж за Дернова, тогда и нам свободно будет. Свободно? а кто его знает, свободно ли? в душу-то к нему никто не ходил. Вот прошлого года Варенька выходила замуж, тоже думала, что будет хозяйка в доме, а вышло совсем напротив. Запер ее, да еще колотит. А это одно какво мученье — такого плюгавого целовать-то — даже вчуже тошно. Да уж хоть бы этот поскорее женился — все бы один конец, а теперь сиди вот дома, слушай все эти безобразия, да еще себя наблюдай. Все говорят: красавица, красавица, а что в этом проку-то! А какие, право, эти мужчины смешные! Намеднись, вечером, была я у Марьи Петровны; ну, конечно, декольте; подходит это Трясучкин, будто разговаривает, а самого его так и подергивает, и глаза такие масляные-премасляные, словно косые. Вот и Змеищев давеча: глядел-глядел, мне даже смешно стало. «Вы, говорит, украшение Крутогорска; Дернов недостойн обладать таким розаном». Да, розан, — держи карман! Нынче, верно, не розан нужен. Вот тоже третьева дни сию я вечером у окна, будто погодой занимаюсь, а сама этак в кофточке и волосы распущены. Подходит этот прапорщик — как бишь его? ну, да все равно. «Как вы, говорит, прелестны, сударыня». — «А вам что за дело?» — говорю я. «Я, дескать, не могу без волнения видеть». — «А коли не можете, так женитесь», — говорю я. Так куда тебе, — наострил лыжи, да и не встречается с тех пор... Господи! скука какая! хоть бы поскорее все это кончилось.

Входит Б о б р о в, очень молодой человек, высокого роста и цветущий здоровьем; на нем коротенькое серое пальто, которое в приказном быту слывет под названием зефирки; жилет и панталоны пестроты изумительной. Под мышкой у него бумаги.

Б о б р о в. Вы одне, Машенька?

М а р ь я Г а в р и л о в н а. Ну да, одна; насилу-то ты пришел.

Б о б р о в. Нельзя было — дела; дела — это уж важнее всего; я и то уж от начальства выговор получил; давеча секретарь говорит: «У тебя, говорит, на уме только панталоны, так ты у меня смотри». Вот какую кучу переписать задал.

М а р ь я Г а в р и л о в н а. Ну, а Дернова видел?

Б о б р о в. Видел, как же; у него все кончено; на свадь-

бу пятьдесят целковых дали; он меня и в дружки звал; я, говорит, все сделаю отменным манером.

Марья Гавриловна. Да, дожидайся от него. Ну, а тебе поди, чай, и не жалко, что я за Дернова выхожу.

Бобров. Посудите сами, Машенька-с, статочное ли мне дело жениться. Жалованья я получаю всего восемь рублей в месяц... ведь это, выходит, дело-то наплевать-с, тут не радости, а больше горести.

Марья Гавриловна. Удивляюсь я, право; такой ты молодой, а говоришь — словно сорок лет тебе.

Бобров. Ничего тут нет удивительного, Марья Гавриловна. Я вам вот что скажу — это, впрочем, по секрету-с — я вот дал себе обещание, какова пора ни мера, выйти в люди-с. У меня на этот предмет и план свой есть. Так оно и выходит, что жена в евдаком деле только лишнее бревно-с. А любить нам друг друга никто не препятствует, было бы на то ваше желание. *(Подумавши.)* А я, Машенька, хотел вам что-то сказать.

Марья Гавриловна. Что еще?

Бобров. А вы поцелуйте меня.

Марья Гавриловна. Ах, ты дурачок! а я думала, что он и взаправду дело скажет.

Целуются.

Бобров. Ах ты господи! *(Вздыхает.)*

Марья Гавриловна. Ну, чего вздыхаешь-то?

Бобров. Да как же-с; ведь вот, кажется, целый бы век сидел тут подле вас да целовался.

Марья Гавриловна. Это ты не глупо вздумал. В разговоре-то вы все так, а вот как на дело пойдет, так и нет вас. *(Вздыхает.)* Да что ж ты, в самом деле, сказать-то мне хотел?

Бобров. А вот что-с. Пришел я сегодня в присутствие с бумагами, а там Змеищев рассказывает, как вы вчера у него были, а у самого даже слюнки текут, как об вас говорит. Белая, говорит, полная, а сам, знаете, и руками разводит, хочет внушить это, какие вы полненькие. А Федор Гарасимыч сидит против них, да не то чтоб смеяться, а ровно колышется весь, и глаза у него так и светятся, да маленькие такие, словно щелочки или вот у молодой свинки.

Марья Гавриловна. Ну, так что ж?

Бобров. А я к тому это, Машенька, говорю, что если вы не постоите, так и Дернову и мне хорошо будет. Ведь

он влюблен, именно влюблен-с; не махал бы он этак руками-то, да и Дернову бы позволения не дал... (*Ласкается к ней. Марья Гавриловна задумывается.*)

Марья Гавриловна (*томно*). Однако ты добру меня тут учишь.

Бобров. Ведь оно только спервоначала страшно кажется, а потом и в привычку взойдет... Что ж вы так задумались, Машенька?

Марья Гавриловна. Ах, отстань, пожалуйста!

Бобров. Вот вы какие! а еще говорите, что любите.

Марья Гавриловна. Ну, ну, полно вздор-то говорить; а ты расскажи лучше, что ты вчера делал, что тебя целый день не видать было.

Бобров. Поутру, известно, в присутствии был, а по вечеру в городской сад с Трясучкиным ходил. Идем мы, Машенька, по аллее, а впереди нас Змеищева экономка с квартального женой. Идем мы по аллее, а экономка-то оглядывается, все на меня посматривает, да и говорит квартальной-то: «Ктой-то это такой красивый молодой мужчина?» — а жена-то квартального: «Это, говорит, Бобров; он у вас служит». — «А должно быть, интересный мужчина, — говорит экономка-то, — и как себя хорошо держит». А Трясучкин-то злится; вот, говорит, счастье тебе! завтра же куплю, говорит, себе новой материи на брюки.

Марья Гавриловна. А ты, чай, и обрадовался?

Входит Рыбушкин в нетрезвом виде; за ним Дернов.

Рыбушкин (*поет*). Во-о-озле речки, возле мосту жил старик... с сестарухой... Дда! с сестарухой... и эта старуха, чтоб ее черти взяли... (*Боброву.*) Эй ты, пошел вон!

Дернов. Да вы, папенька, не извольте убиваться так. Марья Гавриловна, позвольте ручку-с!

Марья Гавриловна. Это вы его так накатили? нече сказать... Господи! да когда ж все это кончится? (*Дает Дернову руку, которую тот целует.*)

Дернов. Что ж мне, Марья Гавриловна, делать, когда папенька просят; ведь они ваши родители. «Ты, говорит, сегодня пятьдесят целковых получил, а меня, говорит, от самого, то есть, рожденья жажда измучила, словно жаба у меня там в желудке сидит. Только и уморишь ее, проклятую, как полштофика сквозь пропустишь». Что ж мне делать-то-с? ведь я не сам собою, я как есть в своем виде-с.

Марья Гавриловна. Ладно, ладно; безобразничайте с ним.

Рыбушкин. Цыц, Машка! я тебе говорю цыц! Я тебя знаю, я тебя вот как знаю... вся ты в мать, в Палашку, чтоб ей пусто было; заела она меня, ведьма!.. Ты небось думаешь, что ты моя дочь! нет, ты не моя дочь; я коллежский регистратор, а ты титулярного советника дочь... Вот мне его и жалко; я ему это и говорю... что не бери ты ее, Сашка, потому она как есть всем естеством страмная, вся в Палагею... в ту... А ты, Машка, горло-то не дери, а не то вот с места не сойти — убью; как муху, как моль убью...

Марья Гавриловна (*Дернову*). Хоть бы увели вы его!

Рыбушкин. Увести! меня увести! Сашка! смотри на него! (*Указывая на Боброва*.) Это ты знаешь ли кто? не знаешь? Ну, так это тот самый титулярный советник... то есть, для всех он писец, а для Машки титулярный советник. Не связывайся ты, Сашка, с нею... ты на меня посмотри: вот я гуляю, и ты тоже гуляй. (*Поет*.) Во-о-озле речки...

Марья Гавриловна. А вот погодите, я мамаше скажу; она вам даст титулярного советника... Да уведите же его, Александра Александрыч.

Дернов. Полноте же, папенька, вы лучше усните...

Бобров. Да вы что на него смотрите, Александр Александрыч. Известно, пьяный человек; он, пожалуй, и ушибет чем ни на есть, не что с него возьмешь.

Рыбушкин (*почти засыпает*). Ну да... дда! и убью! ну что ж, и убью! У меня, брат Сашка, в желудке жаба, а в сердце рана... и все от него... от этого титулярного советника... так вот и сосет, так и сосет... А ты на нее не смотри... чаще бей... чтоб помнила, каков муж есть... а мне... из службы меня выгнали... а я, ваше высоко... ваше высокопревосходительство... ишь длинный какой — ей-богу, не виноват... это она все... все Палашка!.. ведьма ты! ч-ч-ч-е-орт! (*Засыпает; Дернов уводит его*.)

Марья Гавриловна. Вот такие-то штуки каждый день слушать!

СЦЕНА IV

Квартира Дерновых; после свадьбы прошло две недели. По комнате разбросаны юбки и другие принадлежности женского туалета.

Общий беспорядок.

Дернов (*один*). Ну, вот и женился. Вместо того чтобы встать пораньше да на базар сходить, а она до сих

пор в постели валяется! я, говорит, не кухарка тебе далась, вот и разговаривай с ней. Мне бы теперича на службу уж пора, а до сих пор самовару нет; пожалуй, и без чаю уйти придется. (*Задумывается.*) А какая она, однако ж, белая да полная, я и не ожидал. Оно, конечно, с первого разу было видно, что не сухарь, а все-таки... Только не нравится мне этот Бобров; ну, чего он сюда каждый день таскается! Попросить разве Ивана Васильевича, чтоб арестовал его сутки на трои. Вот и его высокородие тоже на свадьбе сконфузили: сели около Маши, да и не отходят... А те-то, дурачье, и из комнаты вон повышли, а и случится которому надобность по комнате пройти, так все норовит по стенке, словно они зачумленные. Впрочем, и самому мне будто совестно стало; думаю, невежливо его высокородие одних оставлять, а подойти не смею. Да и его высокородие увидели, что я все около двери стою: «Ступай, говорят, любезный, я тебя не стесняю». Так и просидели они весь вечер вдвоем. А уж папенька-то, Гаврило Осипыч, что ж это и за человек такой! не успели мы из церкви приехать, а он уж нализался, и кричит тут! И диви бы штоф, а то одну рюмку выпьет, и уж не годится. Хорошо еще, что маменька их в чулан заперли, а то, кажется, они и стекла-то бы все повышибли!

Входит купец Скопищев, человек немолодых лет.

В продолжение разговора он испускает частые и продолжительные вздохи.

Д е р н о в. А, Егор Иваныч! добро пожаловать! садись, брат, гость будешь!

Скопищев вздыхает.

Да ну, садись! Чего вздыхаешь-то!

С к о п и щ е в (*садится*). Ох!.. что садиться-то! я за делом.

Д е р н о в. Знаю, что за делом, да ведь не стоя же нам разговаривать. Что ж ты скажешь?

С к о п и щ е в. Что сказать-то? ты скажи прежде сам.

Д е р н о в. Хорошего-то, брат, не много; ведь он просьбу подал...

С к о п и щ е в. Ну?

Д е р н о в. Сбавляет против тебя сто целковых...

С к о п и щ е в. Ну?

Д е р н о в. Чего ж тебе еще? стало быть, утвердить за тобой нельзя никоим манером.

С к о п и щ е в. А торги?

Д е р н о в. Мало ли что торги! тут, брат, казенный

интерес. Я было сунулся доложить Якову Астафьичу, что для пользы службы за тобой утвердить надо, да он говорит: «Ты, мол, любезный, хочешь меня уверить, что стакан, сапоги и масло все одно, так я, брат, хошь и дикий человек, а арифметике-то учился, четыре от двух отличить умею».

Скопищев. Ох!.. так как же?..

Дернов. Делать нечего, подавай и ты прошение; сбавь хошь полтину против его цены — ну, и утвердим за тобой.

Молчание, в продолжение которого Скопищев рассчитывает и усиленно вздыхает.

Скопищев. Ну, а просьбу-то, чай, на гербовой?

Дернов. А то на простой! Эх ты! тут тысячами пахнет, а он об шести гривенниках разговаривает. Шаромыжники вы все! Ты на него посмотри: вот он намерднись приходит, дела не видит, а уж сторублевою в руку сует — посули только, да будь ласков. Ах, кажется, кабы только не связался я с тобой! А ты норовишь дело-то за две головы сахару сладить. А хочешь, не будет потвоему?

Скопищев (с испугом). Что ты? что ты? а кто же тебе кровать-то подарил под свадьбу?

Дернов. То-то кровать! Подарил кровать, да и кричит, что ему вот месяц с неба сыми да на блюде подай. Все вы, здешние колотырники, только кляузы бы да ябеды вам сочинять... голь непокрытая! А ты затеял дело, так и веди его делом, широкой, то есть, рукой.

Входит Марья Гавриловна, заспанная и растрепанная,
в одной кофте.

Марья Гавриловна (мужу). Ты еще не ушел на службу? а-а-а! (Зевает и потягивается.)

Дернов. Когда ж было уйти; я чаю хочу.

Марья Гавриловна. Ну, ну, пожалуйста, комедий-то не разыгрывай! Ишь граф какой выискался! без чаю ему жить невозможно! (Скопищеву.) А ты, борода, какую кровать-то прислал?

Скопищев. Какую? известно какую!

Марья Гавриловна (передразнивая). Известно какую! Пошевелиться нельзя, на весь дом скрипит.

Дернов. Это точно, что скрипит.

Марья Гавриловна. Катерина! а Катерина!

Является кухарка.

Приготовь ты водки да закуски подай, балычку, что ли.

Д е р н о в. Это зачем?

М а р ь я Г а в р и л о в н а. А у меня Бобров будет.

Д е р н о в. Нет, уж это тово... я чаю не пил, так вы эти закуски-то до завтра оставьте... Я этого Боброва по шеям вытолкаю, я ему бока переломаяю... да что тут? я и тебя, слякоть ты этакая, так отделаю, что ты... (*Воодушевляясь.*) Да ты что думаешь? ты что думаешь? я молчать буду?..

М а р ь я Г а в р и л о в н а. А ты не храбрись! больно я тебя боюсь. Ты думаешь, что муж, так и управы на тебя нет... держи карман! Вот я к Петру Петровичу пойду, да и расскажу ему, как ты над женой-то озорничаешь! Ишь ты! бока ему отломаю! Так он и будет тебе стоять, пока ты лопать-то их ему будешь!

С к о п и щ е в. А ты бы, Александра Александрыч, по-преж ее-то самоё маленько помял... У меня вот жена-покойница такая же была, так я ее, бывало, голубушку, возьму, да всю по суставчикам и разомну... (*Вздыхает.*) Такая ли опосля шелковая сделалась! Кровать, вишь, скрипит! а где ж это видано, чтоб кровать не скрипела, когда она кровать есть!

Д е р н о в (*жене*). Слышишь ты у меня! чтоб здесь бобровского и духу не пахло... слышишь! а не то я тебя, видит бог, задушу! своими руками задушу!

Входит сторож.

С т о р о ж. Ваше благородие! пожалуйста, Яков Астафьич в присутствие зовет.

Д е р н о в. Чего там ему еще нужно?

М а р ь я Г а в р и л о в н а. Ладно, ладно, ступай-ка! там еще увидим, как это ты меня задушишь! Вишь, храбрец! откуда это выехать изволили! (*Скопищеву.*) А ты, борода, у меня припомнишь, припомнишь, припомнишь!

С Ц Е Н А V

Квартира Змеищева. Марья Гавриловна стоит у окна.
Змеищев входит в халате и с шапочкой на голове.

З м е и щ е в. Ну, вот вы и пришли, душенька...

Занавес опускается.



ЧТО ТАКОЕ КОММЕРЦИЯ?

С Ц Е Н А I

Действие происходит в уездном городе Полорецке. Театр представляет общую залу в трактирном заведении. За одним столом сидят трое купцов и пьют чай. Купцы эти: Палахвостов, Ижбурдин и Сокуров. Палахвостов — старик седой и угрюмый; пьет чай молча и крестится двумя перстами. Ижбурдин — средних лет, нрава до крайности сообщительного, говорит много, но как-то, по временам, неприятно размазывает. Сокуров — молодой купчик, не отделенный от «родителя» и сильно мечтающий о возможности сделаться со временем «негоциантом». За особым столом сидит Праздношатающийся, господин подозрительного свойства, занимающийся отчасти изучением торговли и промышленности, отчасти же композицией нравоописательных статей á la Тряпичкин. Во время разговора купцов он сначала прислушивается, а потом незаметным образом сам впадает в их речь.

И ж б у р д и н. А позвольте узнать, почем изволили, Савва Семеныч, хлебца покупать? Эй, малый! кипяточку! *(Стучит ложкой по стакану.)*

П а л а х в о с т о в. Да по полтине пуд.

И ж б у р д и н. Так-с, это точно-с, цена сходственная; а вот намерюсь так мне вотячок по сороку копеечек кулей с пяток в анбары свалил... этак-то будет, пожалуй, еще поавантажнее-с...

П а л а х в о с т о в. Да ты разве по хлебной-то части торгуешь, что ли?

И ж б у р д и н. Как же-с; наше, Савва Семеныч, дело маленькое; капиталов больших не имеем, по крохам, можно сказать, свое благосостояние собираем... И если бы да не воздержанность наша да не труды — выходит, были бы мы теперича и совсем без капиталу-с... Мы точно завсегда

всем торгуем; главная у нас статья, конечно, леса-с, потому что нам по этой части сподручнее...

П а л а х в о с т о в. Воровать то есть.

И ж б у р д и н. Зачем же обижать, Савва Семеныч? Лесное дело, вы, чай, сами изволите знать, возможно ли там без сноровки-с? Нам, Савва Семеныч, без барышнов быть невозможно-с, наше дело коммерческое: тем только и живешь, что оборотишься не столько капиталом, сколько изворотцем-с. Ну, а по лесной части одни угощенья чего стоят! Было время, что и горское пили, а нынче горского-то и в подпитии ему не подашь, давай, говорит, шинпанского, да еще за бороду ухватить тебя норовит. Одной обиды да наругательства сколько на твою голову упадет! с пристани-то выедешь ровно обстрелянный. Вот хошь бы онамеднись. Пили они это, пили; кажется, ничего не жалел, лишб бы глотку-то его поганую залить — так нет вот, мало ему и того. В нутро-то ему не лезет, так он — что бы ты думал — выкинул? «Ну, говорит, мы теперича пьяни; давай, говорит, теперича реку шинпанским поить!» Я было ему в ноги: «За что ж, мол, над моим добром наругаться хочешь, ваше благородие? помилосердуй!» И слушать не хочет... «Давай, кричит, шинпанского! дюжину! мало дюжины, цельный ящик давай! а не то, говорит, сейчас все твои плоты законфескую, и пойдешь ты в Сибирь гусей пасти!» Делать-то нечего: велел я принести ящик, так он позвал, антихрист, рабочих, да и велел им вино-то в реку бросить. Вы посудите, Савва Семеныч, каково мне-то тут было смотреть на свое добро... А он только икает: «Вот, говорит, это тебе, значит, трессировка, чтоб ты знал, что в моей власти и по шерсти тебя погладить, и за вихор драть... весь ты, говорит, в моих руках, и ты и потомство твое!» Так вот она какова, наша-то коммерция!

П а л а х в о с т о в (смеется). Это точно, что коммерция плохая, если мордой отвечать приходится.

И ж б у р д и н. А не дай я ему этого ящика, и невесть бы он мне какой тут пакости натворил! Тут, Савва Семеныч, уж ни за чем не гонись, ничем не брезгуй. Смотришь только ему в зубы, как он над тобой привередничает, словно баба беременная; того ему подай, или нет, не надо, подай другого. Только об одном и тоскует, как бы ему такое что-нибудь выдумать, чтобы вконец тебя оконфузить.

С о к у р о в (стучит в стакан). Тенерифу бутылку! да архангельского, слышишь!

П а л а х в о с т о в. Это, брат, зачем?

С о к у р о в. Пожалуйте! ваше здоровье-с!

Подают бутылку вина; Праздношатающийся приметно подвигает свой стул к столу собеседников.

И ж б у р д и н. Так-то вот день-деньской мы и маемся: где полтина, где рубль. А вы вот, Савва Семеныч, говорите, чтобы насчет того, одним товаром торговать! Намеднись вот и Порфирий Петрович тоже. Пришел я к ним на торги по арестантской части: «Чтой-то, говорит, тебя, Павел Прокофьич, ровно шакала, во все стороны черти носят; ты, говорит, свою бы часть знал, а то от тебя только казенному делу поношенье!.. Да куды же я с одним-то предметом сунусь! Нонече вон пошли везде выдумки — ничего и сообразить-то нельзя. Цена-то сегодня полтина, а завтра она рубль; ты думаешь, как бы тебе польза, ан выходит, что тебе же шею наколотят; вот и торгуй! Теперича, примерно, кожевенный товар в ходу, сукно тоже требуется — ну, мы и сукно по малости скупаем, и кожи продаем: все это нашей совести дело-с. Намеднись, доложу я вам, был я в Лежневё на ярмонке — и что-что там комисинеров наехало, ровно звезд небесных: всё сапожный товар покупать. Конечно-с, ихнее дело простое. Казна им примерно хошь рубль отпускает, так ему надо, чтоб у него полтина или там сорок копеек пользы осталось. А с мужиком ему дело иметь неподручно! Этот хошь, может, и больше пользы даст, да оно беспокойно; не ровен час, следствие или другая напасть — всем рот-от не зажмешь. Опять же и отчетностью они запутаны: поди да каждого расписываться заставляй, да урезонивай, чтоб он тебе, вместо полтины, рубль написал. А как с оптовым-то дело заведет, оно и шито и крыто; первое дело, что хлопот никаких нет, а второе, что предательству тут быть невозможно, почему как купец всякий знает, что за такую механику и ему заодно с комисинером несдобровать. Эта штука для нас самая выгодная; тут, можно сказать, не токма что за труд, а больше за честь пользу получаешь.

С о к у р о в (*важничая*). Да; с казной дело иметь выгоднее всего; она, можно сказать, всем нам кормилица... (*Наливает вино в бокалы. К Праздношатающемуся.*) Не прикажете ли, не имеем счастья знать по имени и по отчеству...

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. С охотою. (*Пьет.*) А где вы это, господа, такой здесь тенериф достаете?.. отличный! И жжет и першит... славно! точно водка.

И ж б у р д и н. Из Архангельска-с; мы тоже и тамотки дела имеем-с.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я (*к Сокурову*). Вот-с вы

изволили выразиться, что с казною дело иметь выгодно. Не позволите ли узнать, почему вы так заключаете?

С о к у р о в. Да-с, это точно-с; сами изволите знать... казна... выгодно...

П а л а х в о с т о в. Вот то-то, молодец! брешешь: выгодно, а почему, объяснить не умеешь.

И ж б у р д и н. А вот позвольте... вы, верно, комиссионер?

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я (обижаясь). Почему же комиссионер?.. Я просто для своего удовольствия... желательно, знаете, этак по торговой части заняться...

И ж б у р д и н. Так вы приказный? понимаем-с! Это точно, что нонче приказные много насчет торговли зáyмуются — капиталы завелись... Так вот, изволите ли видеть, с казной потому нам дело иметь естественнее, что тут, можно сказать, риску совсем не бывает. В срок ли, не в срок ли выставишь — казна всё мнет. Конечно-с, тут не без расходов, да зато и цены совсем другие, не супротив обыкновенных-с. Ну, и опять-таки оттого для нас это дело сподручно, что принимают там всё, можно сказать, по-божески. Намеднись вон я полушубки в казну ставил; только разве что кислотиной от них пахнет, а по прочему и звания-то полушубка нет — тесто тестом! Поди-ка я с такими полушубками не токмо что к торговцу хорошему, а на рынок — на смех бы подняли! Ну, а в казне все изойдет, по той причине, что потребление там большое. Вот тоже случилось мне однажды муку в казну ставить. Я было в те поры и барки уж нагрузил: сплыть бы только, да и вся недолга. Ан тут подвернулся приказчик от купцов заграничных — цену дает хорошую. Думал я, думал, да перекрестимшись и отдал весь хлеб приказчику.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. А как же с казной-то?

И ж б у р д и н. С казной-то? А вот как: пошел я, запродавши хлеб-от, к писарю станового, так он мне, за четвертак, такое свидетельство написал, что я даже сам подивился. И наводнение и мелководие тут; только нашествия неприятельского не было.

Все смеются.

Так оно и доподлинно скажешь, что казна-матушка всем нам кормилица... Это точно-с. По той причине, что если б не казна, куда же бы нам с торговлей-то деваться? Это все единственно, что деньги в ланбарт положить, да и сидеть самому на печи сложа руки.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я (глубокомысленно). Да,

это так... недостаток предприимчивости... Это, так сказать, болезнь русского купечества... Это, знаете...

Палахвостов улыбается.

Вы смеетесь? Но скажите, отчего же? Отчего же англичане, например, французы...

И ж б у р д и н. А оттого это, батюшка, что на все свой резон есть-с. Положим, вот хоть я предприимчивый человек. Снарядил я, примерно, карась, или там подрядился к какому ни на есть иностранцу выставить столько-то тысяч кулей муки. Вот-с, и искупил я муку, искупил дешево — нече сказать, это все в наших руках, — погрузил ее в барки... Ну-с, а потом-то куда ж я с ней денусь?

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Как куда?

И ж б у р д и н. Да точно так-с. Позвольте полюбопытствовать, изволили вы по Волге плавать? Нет-с? Так это точно, что вы на этот счет сумнение иметь можете; а вот как мы в эвтом деле, можно сказать, с младенчества произошли, так и знаем, какая это река-с. Это река, доложу я вам, с позволения сказать-с; сегодня вот она здесь, а на другой, сударь, год, в эвтом-то месте уж песок, и она во куда побегла. Никак, тут и не сообразишь. Тащишься-тащишься этта с грузом-то, инда злость тебя одолеет. До Питера-то из наших мест года в два не доедешь, да и то еще бога благодари, коли угодники тебя доехать допустят. А то вот не хочешь ли на мели посидеть или совсем затонуть; или вот рабочие у тебя с барок поубегут — ну, и плати за всё втридорога. Какая же тут, сударь, цена? Могу ли я теперича досконально себя в эвдаком деле рассчитывать? Что вот, мол, купил я по том-то, провоз будет стоить столько-то, продам по такой-то цене? А неустойка? Ведь англичанин-то не казна-с; у него нет этих ни мелководий, ни моровых поветриев, ему вынь да положь. Нет-с; наша торговля еще, можно сказать, в руках божьих находится. Вывезет Волга-матушка — ну, и с капиталом; не вывезет — зубы на полку клади. (*Обращаясь к Палахвостову.*) А вот вы еще, Савва Семеныч, говорите, чтобы одним предметом торговать!

П а л а х в о с т о в (*самодовольно*). Да, оно конечно; тут большой нужно капитал иметь, чтоб не треснуть.

И ж б у р д и н. Вот-с со мной случай был. Сплавляли мы ленное семя к Архангельскому; речонка эта — Луза прозывается — препакостная: дней восемь или десять только и судоходство по ней, а плыть приходится до Устюга целую неделю: пропустил тут час, ну и бедствуй. Да

и не пропустишь свое время, так и то плыть по ней наказанье; затопит это кругом верст на пять — и не знаешь, где берега. Плыл я, кажись, благополучно; еще бы немножко, выплыл бы в безопасное место. Так нет же; нанесло меня, сударь, на такую колоду, что ни взад, ни вперед. Куда деваться? А мимо меня, знаешь, проходят барки других торговцев, и хошь бы один те глазом мигнул. Я было к ним: помогите, дескать, родимые! — так куда тебе! Только смеются... Принужден был искать рабочих вольных, а там и людей-то совсем нет. Что ж бы вы думали взяли с меня эти зыряне? Да по три рубля в сутки на человека, да сутки с трои тут и проработали. Вот тебе и барыш.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Да отчего ж, однако ж, вам не помогли товарищи?

И ж б у р д и н. Какие они, батюшка, товарищи? Вот выпить, в три листа сыграть — это они точно товарищи, а помочь в коммерческом деле — это, выходит, особь статья. По той причине, что им же выгоднее, коли я опоздаю ко времени, а как совсем затону — и того лучше. Выходит, что коммерция, что война — это сюжет один и тот же. Тут всякий не то чтоб помочь, а пуще норовит как ни на есть тебя погубить, чтоб ему просторнее было. *(Вздыхает.)*

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Как же это по-вашему называется?

И ж б у р д и н. А как бы вам объяснить, ваше благородие? Называют это и мошенничеством, называют и просто расчетом — как на что кто глядит. Оно конечно, вот как тонешь, хорошо, как бы кто тебе помог, а как с другого пункта на дело посмотришь, так ведь не всякому же тонуть приходится. Иной двадцать лет плавает, и все ему благополучно сходит: так ему-то за что ж тут терять? Это ведь дело не взаимное-с.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Ну, а скажите, пожалуйста, вот вы начали говорить о судорабочих: каким образом вы их нанимаете?

И ж б у р д и н. По контрактам, батюшка, по контрактам; нынче без контракта по земле, сударь, ходить невозможно.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Каким же образом и с кем заключаете вы эти контракты?

И ж б у р д и н. А с помещиком или, всего чаще, с начальством. С начальством-то, знаете, для нас выгодней, почему что хошь и есть там расход, да зато они народ уж больно дешево продают! Дашь писарю сто рублей, так он

хоть всю волость за тобой укрепит. Ну, и выходит, что и сам ты над ними будто помещик. Что бога гневить, тягости нам не сколько! А все потому, осмелюсь вам доложить, что начальство выгод наших доподлинно определить себе не может. Кабы знало оно их, стами рублями тут бы не отделаться, а теперича вот, с малого-то ума, ему и сто рублей за медведя кажутся. Оно конечно, сударь, отчего бы иногда и не прибавить, да испытали мы уж на себе это средство; дал ты ему нынче полтора ста, он на будущий год уж двести запросит, да так-то разбалуется, что каждую зиму будет эту статью увеличивать. А как определено ему спокон веку, словно заповедь, сто рублей, так они у него уж заранее в приходную книжку так записаны.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Ну, а как вы полагаете, например, насчет железных дорог? ведь это, по моему мнению, могло бы значительно подвинуть нашу торговлю...

Палахвостов крестится.

И ж б у р д и н (*в сторону*). Э, брат! да ты, видно, вон из каких сторон выехал!

С о к у р о в (*важно и с расстановкой*). Да-с, это точно... чугунки, можно сказать, нонче по России первой сюжет-с... Осмелюсь вам доложить, ездили мы с тятенькой летось в Питер, так они до самого, то есть, Волочка молчали, а как приехали мы туда через девять-ту часов, так словно закатились смеючись. Я бы к ним: Христос, мол, с вами, папынька! — так куда! «Ой, говорят, умру! эка штука: бывало, в два дни в Волочок-от не доедешь, а теперь, гляди, в девять часов, эко место уехали!» А они, смею вам объясниться, в старой вере состоят-с!

П а л а х в о с т о в. Да, это точно, что родитель твой в старой вере; ну, а ты, щенок, в какой состоишь?

С о к у р о в. Что ж, Савва Семеныч, мы, конечно, люди молодые; желаем в образованном обществе пребывание иметь — вот хочь бы, примерно, с их благородным сиятельством... Почему что нам ихний сюжет очень интересен-с. Мы, Савва Семеныч, благодарение господу, завсегда благородных делов не гнушаемся, и насупротив того с нашим полным удовольствием к ним привержены... Вот хочь бы касательно родителя-с: оно конечно, они нам родители, а известно, супротив нас уж не придутся. Кабы да не власть ихняя, что они нас, можно сказать, в табак истереть могут, что ж бы они против нас могли сделать?

П а л а х в о с т о в. Знаю, брат, знаю. Знаю, что умри вот сегодня у тебя отец, так ты бы и прах-от его завтра

по ветру развеял. А вот уже лишит он тебя родительского благословенья!

С о к у р о в. Благословенья он нас не лишит; это вы напрасно, Савва Семеныч, беспокоиться изволите. За свои грехи они нонче зрения уж лишились, так им теперича впору Богу молиться, а не то что дела делать. А уж коли вы нас, Савва Семеныч, неуваженьем попрекаете, так вам самим, уповательно, известно, какими порядками наш родитель свой капитал нажил-с. Кабы не сжег он в ту пору питейный дом со всем, и с целовальником, да не воспользовался бы тутотка выручкой, какой же бы он был теперича капиталист? За это, может, и зрение-то у них Бог отнял. Какое же тут, Савва Семеныч, почтение в сердце воспитывать можно, когда он сызмальства таким делом занимался? а мы и то завсегда против них с нашим уважением-с.

П а л а х в о с т о в. Ладно; вот тебе черти-то на том свете язык-от вытянут!

Несколько минут молчания.

И ж б у р д и н. Вот-с, ваше благородие, все-то так у нас нынче в расстрой пошло.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Ну, а как вы насчет улучшенных путей сообщения полагаете?

И ж б у р д и н молчит.

Однако ж?

И ж б у р д и н (*решительно*). Для нас, ваше благородие, эти чугунки все одно что разорение. Вот как я вам скажу.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Отчего же? ведь вы сами сейчас высчитывали, какие несете убытки от тысячи неудобств, которые терпит каждая ваша операция вследствие затруднительности путей сообщения.

И ж б у р д и н. Да-с, это точно; я говорил. Да мы к этому, сударь, делу испокон веку привычны; для нас коли дело обошлось без ухабов да без бурлаков, так ровно оно и не дело. Это все единственно, что без клопов спать, без тараканов щи хлебать. На все на это резонт есть. Давно вот, кажется, почту завели, а наш брат и доселе ее обегает, все норовит на вольных проехать. Эти вольные берут с нас втридорога, а везут-то так, что, кажется, душу всю вытянут, проклятые! Летось ездил я с парнем в Нижний, так ямщик-от стал на полдороге от станции и не едет вперед: «Прибавьте, говорит, хозява, три целковеньких, так поеду». Ну, и прибавили. А отчего мы, сударь, на почте не ездим?

Оттого всё, не нашего это малого разума дело, а дело оно дворянское. Да и чиновник там такой есть, что на каждой тебе станции словно в зубы тычет: «Ты, мол, за честь почитай, что сподобил тебя создатель на почте ехать!» Станешь это лошадей торопить, ну, один только и есть ответ ото всех: «Подождешь, мол, борода, не великого чина птица». Ну, и стоишь у завалинки. Выходит, совсем мы и обрббели по той причине, что всяк тебе говорит: куда ты лезешь? Уж чего, кажется, деньги по повестке получить — а и тут, сударь, измаешься, ждамши в передней; не пускают дальше, да и все тут. Полтинник тебе стоит, чтоб пред лицо-то почтмейстерское стать, а он тебе тоже: «Не время, приходи завтра». И хошь бы со всеми они так-ту — все бы не больно надсадно было, а то ведь под носом у тебя деньги отдают, под носом сторонние люди через переднюю проходят... А об мужичках и говорить нече; случалось мне самолично видеть, как иной по месяцу ходит за каким-нибудь целковым и все решенья получить не может. По эвтой самой причине и капитал свой бережешь, даже от сёмьи-то прячешь, потому что не ровен час — деньги-то всякому ведь по нраву. Как в этакое-то, сударь, переделе побываешь, так и не до чугунок тебе: это первое дело. А второе дело будет то, что для нашего брата купца что чугунок завести, что гильдию совсем снять — это все один сюжет, все вокруг одного пальца вертится. Если б вот хочь теперь кто сказал, что нет, мол, гильдии, всяк, дескать, волен торговать чем и как пожелает — разве можно было бы оставаться в купцах? Ведь это для нас было бы все единственно, что в петлю лезти, почему как в то время всякая, можно сказать, щель тебе сотню супостатов выставит: «Сам-то, мол, я хошь и проторгуюсь, да по крайности весь торг перепакую». Ну, и чугунок то же-с.

Тягостное и продолжительное молчание.

Это, ваше благородие, всё враги нашего отечества выдумали, чтоб нас как ни на есть с колеи сбить. А за ними и наши туда же лезут — вон эта гольтепа, что негоциантами себя прозывают. Основательный торговец никогда в экое дело не пойдет, даже и разговаривать-то об нем не будет, по той причине, что это все одно, что против себя говорить.

П а л а х в о с т о в. Это точно, что эти щелкоперы (указывает на Сокурова) на всю нашу операцию мораль напустили.

И ж б у р д и н. Нынче вот молодость всеми, сударь,

делами завладеть желает. Оно бы и ничего: что ж, если царь в голове есть, да руку себе набил — действуй на здоровье. Так нет: он все нарохтитя тебе с наругательством, да не то чтоб тебя уважить, а пуще в бороду тебе наплевать желает. «Я, говорит, негоциант, а не купец; мы, говорит, из Питера от Руча комзолы себе выписываем — вот, мол, мы каковы!» Ну-с, отцам-то, разумеется, и надсадно на него смотреть, как он бороду-то себе оголит да в кургузом кафтанишке перед людьми привередничает. Вот и тянут старики, как бы достояние-то свое тоже зря разбросать. А который не успел умереть, не растративши капитала, молодцы мигом этому делу подсобят. Так оно и идет все колесом. Вот летось помер у нас купец, так и сынокот — что бы вы думали? — только что успел старика схоронить, первым долгом нализался мертвецки, на завод поехал и перебил тамotka все стекла: «Я, говорит, давно эту мысль в голове держал». Да с тех-то пор и идет у них дебош: то женский пол соберет, в горнице натопит, да в чем есть и безобразничает, или зазовет к себе приказного какого ни на есть ледащего: «Вот, говорит, тебе сто рублей, дозвожь, мол, только себя выпороть!» Намеднись один пьянчужка и согласился, да только что они его, сударь, выпустили, он стал в воротах, да и кричит караул. Насилу уж городничий дело сладил, что на пяти стах помирились: «Не хочу, говорит, давай тысячу; у меня, мол, и поличное завсегда при себе». А не то вот выехал он третьеднись пьяный-ропьяный в санбчках; сидит себе один да сам и лошадь правит. Да в глазах-то у него, прости господи, видно, черти уж скачут: только едет он один-от, а впереди ему Ванька-кучер показывается; вот он и покрикивает: «пошел, Ванька», «молчать, Ванька подлец»... Подивились мы только в ту пору, как его бог помиловал, что лошадь в прах не расшибла.

Все смеются.

Так неужто ж эки-то сорванцы лучше нас, стариков! (К Сокурову.) Так-то вот и ты, парёнок, коли будешь родительским благословением брезговать, пойдет на ветер все твое достояние.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Отчего же нибудь да происходит этот разлад между старым и молодым поколением? Воспитание тут, что ли?

И ж б у р д и н. Какое тут, батюшка, воспитание! Вот он бороду себе выбрил, так разве поэтому только супротив нас лучше будет, а грамота-то и у него не бог весть какая!

аз-ангел-ангельский-архангел-архангельский-буки-бабаки... А то еще воспитания захотели! Нет-с, тут, признательно доложить, другого сорта есть причинность. Старые порядки к концу доходят, а новых еще мы не доспелись. Вот-с хошь бы их тятенька; грех сказать, они человек почтенный, а только это сущая истина, что они целовальника-то сожгли да с тех пор и жить зачали. Прежде как мы торговали? Привезет, бывало, тебе мужичок овса кулей десяток или рогожи сот пять, ну, и свалишь, а за деньгами приходи, мол, через неделю. А придет он через неделю — и знать не знаю, ведать не ведаю, кто ты таков. Уйдет, бедняга, и управы никакой на тебя нет, потому что и градоначальник, и вся подьячая братия твою руку тянет. Таким-то родом и наживали капиталы, а под старость грехи пред Богом замаливали. Да опять-таки, даже промеж самих себя простота была: ни счетов, ни книг никаких; по душе всякий торговал — кто кого, можно сказать, переторгует. *(Вздыхает.)* Теперь же, сударь, все это, видно, к концу приходит. Не оттого чтобы меньше на этот счет от начальства вольготности для нас было — на это пожаловаться грех, а так, знать, больше свой же брат, вот этакой-то проходимец кургузый, норовит тебя на весь народ обхаять. Его-то самого обциплют кругом, так он и надеется на стариках сердце сорвать! «Вы, мол, богатеете оттого, что мошенники, а я вот честный, так и бедный»...

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Странно, однако ж...

И ж б у р д и н. Как этакую-то мораль он пустит, так оно и точно, что в оба глядеть станешь... Ну, а ему тоже проку от этого мало: стариков-то он опакостил, а сам выдумать ничего не выдумал. Вот оно и выходит, что старые порядки к концу пришли, а новых мы не доспелись. По той причине, что выдумывать еще мы не горазды, не выросли разума в меру. А приходится, видно, своей головой жить. *(К Сокурову.)* А ну-ка, паренек, вот ты востёр больно; расскажи-кась нам, как это нам с тобой, в малолетствии, без отца-матери век прожить, в чужих людях горек хлеб снедаючи, рукавом слезы утираючи?..

Палахвостов смеется.

С о к у р о в *(с досадой)*. Известно, мы теперь в руках Божиих, по стопам родительским, можно сказать, ходим... Вот другой манер, кабы мы своим капиталом действовали...

И ж б у р д и н. Эка, подумаешь, приключилась над нами штука! жили мы доселе словно в девичестве, горя не ведали, а теперь во куда дело-то пошло! Поди-ка лет пят-

надцать назад, как плывет, бывало, по реке конная-то машина, так и что диву! А ноне выезжай-ко с ней на Волгу-то, всяк норовит тебя оконфузить: «Эхма, говорит, куда-те запропастило; верст, чай, с десяток, дяденька, в сутки уедешь!» Завелись везде праходы — просто хошь торговлю бросай, а тут еще об каких-то чугунках твердят! А мы, сударь, этого дела и понять-то не можем, почему как оно для нас вместо забавы. Ну, и овладеют нами немцы заезжие... ин и подлинно светопреставленью скоро быть надоть!..

С о к у р о в. Тятенька бает, что быть этому делу в 1860 году; ему, вишь, старик какой-то сказывал, с Чердынских пустынь оноmnись приходил.

И ж б у р д и н. Вот, сударь, сами изволите судить, какая тут может статья коммерция, коли мы антихриста с часу на час поджидаем.

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я. Вы представили мне довольно странную картину. Признаюсь вам даже, я мало тут что-нибудь понимаю. С одной стороны, старая система торговли, основанная, как вы говорили сами, на мошенничестве и разных случайностях, далее идти не может; с другой стороны, устройство путей сообщения, освобождение торговли от стесняющих ее ограничений, по вашим словам, неминуемо повлечет за собой обеднение целого сословия, в руках которого находится в настоящее время вся торговля... Как согласить это? как помочь тут?

И ж б у р д и н. А кто его знает! мы об таком деле разве думали? Мы вот видим только, что наше дело к концу приходит, а как оно там напредки выдет — все это в руке Божией... Наше теперича дело об том только думать, как бы самим-то нам в мире прожить, беспечальну пробыть. *(Встает.)* Одначе, мы с вашим благородием тутотка забавляемся, а нас, чай, и бабы давно поди ждут... Прощенья просим.

Все встают и уходят.

С Ц Е Н А П

П р а з д н о ш а т а ю щ и й с я *(в раздумье)*. Чего он мне тут нагородил, ничего и не поймешь!.. ба! мысль! *(вынимает из кармана записную книжку и пишет)* мошенничество... обман... взятки... невежество... тупоумие... общее безобразие!.. что выйdet, не знаем, а подадим горячо!



СКУКА

«Скучно! крупные капли дождя стучат в окна моей квартиры; на улице холодно, темно и грязно; осень давно уже вступила в права свои, и какая осень! Безобразная, гнилая, с проникающею насквозь сыростью и вечным туманом, густою пеленой встающим над городом...

Свеча уныло и как-то слепо освещает комнату; обстановка ее бедна и гола: дюжина стульев базарной работы да диван, на котором жутко сидеть, — вот и все. Как хотите, а комфорт славная вещь! Вот теперь бы мягкое кресло, да камин, да хорошую сигару — забыл бы и грязь и дождь. Воображение разгорелось бы, представило бы картинку заманчивого свойства; в струйках сигарочного дыма показались бы нимфы, генеральские эполеты, звезды, груды золота, общее уважение и так далее; одним словом, все, что только может вместить в себе тонкая струйка табачного дыма... А потом? потом сон, сладкий сон наложил бы на все это свою всеильную руку; полногрудые нимфы пустились бы в обольстительнейший танец с генеральскими эполетами, звезды — с общим уважением; одни груды золота остались бы по-прежнему неподвижны, иронически поглядывая на всю эту суматоху.

А сон великое дело, особливо в Крутогорске. Сон и водка — вот истинные друзья человечества. Но водка необходима такая, чтобы сразу забирала, покоряла себе всего человека; что называется вор-водка, такая, чтобы сначала все вообще твои суставчики словно перешибло, а потом изныл бы каждый из них в особенности. Такая именно водка подается у моего доброго знакомого, председателя. Носятся слухи, будто бы и всякий крутогорский чиновник

имеет право на получение подобной водки. Нужно справиться: нет ничего мудреного, что коварный откупщик употребляет во зло мою молодость и неопытность.

Странная, однако ж, вещь! Слыл я, кажется, когда-то порядочным человеком, водки в рот не брал, не наедался до изнеможения сил, после обеда не спал, одевался прилично, был бодр и свеж, трудился, надеялся, и все чего-то ждал, к чему-то стремился... И вот в какие-нибудь пять лет какая перемена! Лицо отекло и одрябло; в глазах светится собачья старость; движения вялы; словесности, как говорит приятель мой, Яков Астафьич, совсем нет... скверно!

И как скоро, как беспрепятственно совершается процесс этого превращения! С какою изумительною быстротой поселяется в сердце вялость и равнодушие ко всему, потушает огонь любви к добру и ненависти ко лжи и злу! И то, что когда-то казалось безобразным и гнусным, глядит теперь так гладко и пристойно, как будто все это в порядке вещей, и так ему и быть должно.

Это примирение совершается вообще очень просто. Оглядишься вокруг себя, всмотришься в окружающих людей, и поневоле сознаешь, что все они, право, недурные ребята. Они не глупы — и это первый пункт; они гостеприимны и общежительны, а стало быть, и добры — это второй пункт; они бедны и сверх того снабжены семействами, и потому самое чувство самосохранения вынуждает их заботиться о средствах к существованию, каковы бы ни были эти средства, — это третий пункт. Рассудок без труда принимает эти причины и удовлетворяется ими. Ибо что сказать против них? Как бы вы ни были красноречивы, как бы ни были озлоблены против взяток и злоупотреблений, вам всегда готов очень простой ответ: человек такое животное, которое, без одежды и пищи, ни под каким видом существовать не может. Понятно? следовательно...

Отчего же, несмотря на убедительность этих доводов, все-таки ощущается какая-то неловкость в то самое время, когда они представляются уму с такою ясностью? Несомненно, что эти люди правы, говорите вы себе, но тем не менее действительность представляет такое разнообразное сплетение гнусности и безобразия, что чувствуется невольная тяжесть в вашем сердце... Кто ж виноват в этом? Где причина этому явлению?

— В воздухе, — отвечает мне искреннейший мой друг, Яков Петрович, тот самый, который изобрел *хвещов* и мазь для рращения конских волос на человеческих головах.

В воздухе! да не может же быть, чтоб весь воздух был до такой степени заражен гнилыми миазмами, чтоб не было никаких средств очистить его от них. Прочь их, эти испарения, которые не дают дохнуть свободно, которые заражают даже самого здорового человека!

— Э, батюшка, нам с вами вдвоем всего на свой лад не переделать! — отвечает мне тот же изобретатель растительной мази, — а вот лучше выпьем-ка водочки, закусим селедочкой да сыграем пулечку в вистик: печаль-то как рукой снимет!

Ну, и выпьем...

Сегодня утром принес ко мне секретарь бумагу. Надо, говорит, затребовать по ней дополнительных сведений.

— Да зачем же их требовать? ведь они все есть у вас под руками?

— Есть-с.

— Так что же?

— Да помилуйте, за что ж я опять под ответственность попасть должен?

— Как под ответственность?

— Да точно так-с. Теперь конец месяца, а сами вы изволите помнить, что его высокородие еще в прошлом месяце пытал меня бранить за то, что у меня много бумаг к отчетности остается, да посулил еще из службы за это выгнать. Ну, а если мы эту бумагу начнем разрешать, так разрешим ее не раньше следующего месяца, а дополнительных-то сведений потребуешь, так хоть и не разрешена она досконально, а все *как будто* исполнена: его высокородие и останутся довольны.

Нечего делать, исполнил по желанию Ивана Никитича: не попадать же ему, в самом деле, под ответственность из-за какой-то непонятной щепетильности.

— Это уж у них, у канальев, так истари заведено, — отвечал мне Яков Петрович, когда я рассказал ему этот анекдот, — этого, батюшка, нам с вами и селитряню кислотой не вывести!

Выпили мы по рюмочке, и подлинно, я прозрел.

А всему виной моя самонадеянность... Я думал, в кичливом самообольщении, что нет той силы, которая может сломить энергию мысли, энергию воли! И вот оказывается, что какому-то неопрятному, далекому городку предоставлено совершить этот подвиг уничтожения. И так просто! почти без борьбы! потому что какая же может быть борьба с явлениями, заключающими в себе лишь чисто отрицательные качества?

А мне ли не твердили с детских лет, что покорностью цветут города, благоденствуют селения, что она дает силу и крепость недужному на одре смерти, бодрость и надежду истомленному работой и голодом, смягчает сердца великих и сильных, открывает двери темницы забытому узнику... но кто исчислит все твои благодеяния, все твои целения, о мать всех доблестей?

— Загляните в скрижали истории, — говаривал мне воспитатель мой, студент т — ской семинарии, — загляните в скрижали истории, и вы убедитесь, что тот только народ благоденствует и процветает, который не уносится далеко, не порывается, не дерзает до вопроса. Процветают у него искусства и науки; конечно, и те и другие составляют достояние только немногих избранных, но он, погруженный в невежество, не знает, как налюбоваться, как нагордиться тем, что эти избранные — граждане его страны: «Это, — говорит он, — мои искусства, мои науки!» Произведения его фабрик, его промышленности первенствуют на всех рынках; нет нужды, что он сам одет в рубище: он видит только, что его торговля овладела целым миром, все ему удивляются, все завидуют, и вот, в порыве законной гордости, он восклицает: «О, какой я богатый, довольный и благоденствующий народ!»

Посмотрите на этого юношу: он только что сошел с школьной скамьи; вид его скромн, щеки розовы, поступь плавна и благонравна, глаза опущены вниз... Он получил чудесный аттестат от своих наставников и воспитателей; успехи его были отличные, нравственность беспримерная; нет того балла, нет той цифры, которою можно было бы выразить удовольствие начальников. Где же ключ ко всему этому? где, как не в том, что этот юноша — покорный юноша? Он беспрекословно выучивал наизусть заданные странички, от «мы прошлый раз сказали» до «об этом мы скажем в следующий раз»; он аккуратно в девять часов снимал с себя курточку, и хотя не всегда имел желание почивать, но, во всяком случае, благонравно закрывал глазки и удерживал свое ровненькое дыханье, чтобы оно как-нибудь не оскорбило деликатного слуха его наставника... О, это преблаговоспитанненькое дитя, самое покорненькое дитя на свете! Для него не существовало ни стола, ни стула, ни книги, а было: «стульчик», «столик», «книжечка»; он никогда не бегал, не суетился, его не видали ни распотевшим, ни раскрасневшимся... В глазах его, правда, не видно блеску, не видно огня молодости... но зато какая покорность! Боже, какая покорность! О, дайте мне расце-

ловать его, дайте обнять его, это милое, *покорное* дитя!

Но вот он сделался чиновником; с каким вниманием, с каким простодушием выслушивает он наставления начальника и благодетеля! Как удивляется его пронизательности, глубокомыслию, обширности взгляда! Не недостойный ли, не презренный ли он сосуд... извините, сосудик! — и между тем его считают достойным — да, достойным! — вмещать в себе все премудрости бюрократии! И зато с каким трепетом берет он в руки бумажку, очинивает ножичком перышко, как работает его миниятурное воображеньице, как трудится его крохотная мысль, придумывая каждое слово, каждое выраженьице замысловатого отношеньица, в котором должны быть умещены громаднейшие помыслы, величайшие начинания, необъятнейшие планы!

— Главное дело, будь краток, — говорит ему начальник, — только в выражении чувств преданности и покорности краткость неприлична и даже вредна; во всем же прочем краткость, краткость и краткость!

И он слепо следует этому наставлению: излагает дело кратко, почитает плодовито. И после этого можно ли изумляться, что этот маленький, чистенький, усерденький чиновничек делается в свою очередь источником помыслов, начинаний и планов!

Нет, покорность не значит подлость, не значит искаительство и низкопоклонничество, не значит слабоумие и апатия; покорность не наушничество, не лукавство исподтишка, не лицемерие... Это особая, своеобразная добродетель, с помощью которой человек многое выигрывает и ровно ничего не проигрывает.

Теперь все это представляется мне ясно, как дважды два; странно даже, как я когда-нибудь мог мыслить иначе.

Когда я ехал в Крутогорск, то мне казалось, что и я должен на деле принести хоть частичку той пользы, которую каждый гражданин обязан положить на алтарь отечества. Думалось мне, что в самой случайности, бросившей меня в этот край, скрывается своего рода предопределение... Юношеские мечты! тщетные мечты! сколько в них, однако ж, свежести и чистоты, сколько жажды добра и истины!

Что же я сделал, какие подвиги совершил?

.
О провинция! ты растлеваешь людей, ты истребляешь всякую самодеятельность ума, охлаждаешь порывы сердца, уничтожаешь все, даже самую способность желать! Ибо можно ли называть желаниями те мелкие вожделения, ис-

ключительно направленные к материяльной стороне жизни, к доставлению крошечных удобств, которые имеют то неоцененное достоинство, что устраняют всякий повод для тревог души и сердца? Какая возможность развиваться, когда горизонт мышления так обидно суживается, какая возможность мыслить, когда кругом нет ничего вызывающего на мысль? Когда человек испытывает горькую нужду, когда вместе с тем все вокруг него свидетельствует о благах жизни, все призывает к ней, тогда нет возможности не пробуждаться даже самой сонной натуре. Воображение работает, самолюбие страждет, зависть кипит в сердце, и вот совершаются те великие подвиги ума и воли человеческой, которым так искренно дивится покорная гению толпа. Что нужды, что подготовительные работы к ним смочены слезами и кровавым потом; что нужды, что не одно, быть может, проклятие сорвалось с уст труженика, что горьки были его искания, горьки нужды, горьки обманутые надежды: он жил в это время, он ощущал себя человеком, хотя и страдал...

Да; жалко, поистине жалко положение молодого человека, заброшенного в провинцию! Незаметно, мало-помалу, погружается он в тину мелочей и, увлекаясь легкостью этой жизни, которая не имеет ни вчерашнего, ни завтрашнего дня, сам бессознательно делается молчаливым поборником ее. А там подкрадетя матушка-лень и так крепко сожмет в своих объятиях новобранца, что и очнуться некогда. Посмотришь кругом: ведь живут же добрые люди, и живут весело — ну, и сам станешь жить весело.

О вы, которые живете другою, широкою жизнью, вы, которых оставляют жить и которые оставляете жить других, — завидую вам! И если когда-нибудь придется вам горько и вы усомнитесь в вашем счастье, вспомните, что есть иной мир, мир зловоний и болотных испарений, мир сплетен и жирных кулебяк — и горе вам, если вы тотчас не поспешите подписать удовольствие вечному истцу вашей жизни — обществу!

А все-таки странно, что я сегодня целый вечер сижу дома, и один. Где бы они могли быть все? У Порфирия Петровича — не может быть: он так мил и любезен, что всегда меня приглашает; Александр Андреич тоже души во мне не слышит: «Ты, говорит, только проигрывай, а то хоть каждый день приезжай».

Верно, у князя Льва Михайловича! Станный человек этот князь! Рассердился на меня не на шутку за то, что я выразился, якобы он, в удобное для охоты время, коман-

дирует своего секретаря, под видом дел службы, собственно для стрельяния дичи к столу его сиятельства. «Что ж, говорит, тут дурного? разве это взятка? вы мне скажите, взятка ли это? Разве я вымогал, сделал какую-нибудь подлость, разве это деньги? Деньги ли дичь, спрашиваю я вас? и имел ли он право, этот молокосос, осуждать действия начальства, подрывать доверие к нему, он, который каждое воскресенье обедает у меня?»

Князь вообще знаменит строгостью своей логики, и Порфирий Петрович очень смеялся, рассказывая мне про негодование его сиятельства.

Вообще я знаю очень много примеров подобного рода логики. Есть у меня приятель судья, очень хороший человек. Пришла к нему экономка с жалобой, что такой-то писец ее избил: встретившись с ней на улице, картуза не снял. Экономка — бабенка здоровая, кровь с молоком; судья человек древний и экономок любит до смерти. Подать сюда писца.

— Ты по какому это праву не поклонился Анисье?

— Да помилуйте, ваше высокоблагородие...

— Нет, ты отвечай, по какому ты праву не поклонился Анисье?

— Да помилуйте, ваше высокоблагородие...

— Ты мне говори: отвالتها у тебя руки? а? отвالتها?

— Да помилуйте, ваше высокоблагородие...

— Нет, ты не вертись, а отвечай прямо: отвالتها у тебя руки или нет?

La question ainsi carrément posée¹, писец молчит и переминается с ноги на ногу. Приятель мой — во всем блеске заслуженного торжества.

— Что ж ты молчишь? ты говори: отвالتها или нет?

— Нет, — отвечает подсудимый с каким-то злобным шипеньем.

— Ну, следственно...

И логика, как и всегда, осталась победительницею анархии.

А может быть, «они» и у доктора. Милейший человек этот доктор и преостроумный. Когда придет к нему крестьянин или мещанин «за своею надобностью» или проще по рекрутской части и принесет все нужные по делу документы, он никогда сразу не начнет *дела*, а сначала заставит просителя побожиться пред образом, что других докумен-

¹ На вопрос, так прямо поставленный (фр.).

тов у него нет, и когда тот побожится, «чтоб и глаза-то мои лопнули» и «чтоб нутро-то у меня изгнило», прикажет ему снять сапоги и тщательно осмотрит их. Понеже научен доктор долголетним опытом и практикою, что у мужика сапоги все одно что ломбард.

И за всем тем доктор предрагоценный человек. Выпить ли, сыграть ли в «любишь не любишь» — на все это он именно душа. Особливо как на ту пору подойдет рекрутский набор.

• • • • •
Были, однако ж, и у меня иные времена, окружали меня иные люди — все иное! Были глубокие верования, горячие убеждения, была страсть к добру... куда все это девалось?

Где-то вы, друзья и товарищи моей молодости? Ведете ли, как и я, безрадостную скитальческую жизнь или же утонули в отличиях, погрязли в почестях и с улыбкой самодовольствия посматриваете на бедных тружеников, робко проходящих мимо вас с понуренными головами? Многие ли из вас бодро выдержали пытку жизни, не смирились перед гнетущею силою обстоятельств, не прониклись духом праздности, уныния и любоначала?

Господи! неужели нужно, чтоб обстоятельства вечно гнели и покалывали человека, чтоб не дать заснуть в нем энергии, чтобы не дать замереть той страстности стремлений, которая горит на дне души, поддерживаемая каким-то неугасаемым огнем? Ужели вечно нужны будут страдания, вечно вопли, вечно скорби, чтобы сохранить в человеке чистоту мысли, чистоту верования?

Помню я и долгие зимние вечера, и наши дружеские, скромные беседы, заходившие далеко за полночь. Как легко жилось в это время, какая глубокая вера в будущее, какое единодушие надежд и мысли оживляло всех нас! Помню я и тебя, многолюбимый и незабвенный друг и учитель наш! Где ты теперь? какая железная рука сковала твои уста, из которых лились на нас слова любви и упования?

И отчего все эти воспоминания так ясно, так отчетливо воскресают передо мной, отчего сердцу делается от них жутко, а глаза покрываются какою-то пеленой? Ужели я еще недостаточно убил в себе всякое чувство жизни, что оно так назойливо напоминает о себе, и напоминает в такое именно время, когда одно представление о нем может поселить в сердце отчаяние, близкое к мысли о самоубийстве!

А потом фантазия незаметно переносит меня к далеким временам моего детства. Встают передо мной и сельский наш дом, и тополи в саду, и церковь на небольшом пригорке, и фруктовый сад, о котором мы, дети, говорили не иначе, как «тот сад», потому что он был разведен особняком от усадьбы и потому что нас пускали в него весьма редко. И как тихо становилось во всем доме по субботам, после всенощной, когда священник, окропив святою водой все комнаты и дав всем нам благословение, уходил домой! Говор и шум умолкали и в девичьей, и в детской, и везде, где в течение дня было так суетливо илюдно; все как будто сосредоточивалось и углублялось в себя; все ждало грядущего праздника...

Помню я и школу, но как-то угрюмо и неприветливо воскресает она в моем воображении... Нет, я сегодня настроен так мягко, что все хочу видеть в розовом свете... прочь школу!

Но отчего же вдруг будто дрогнуло в груди моей сердце, отчего я сам слышу учащенное биение его?

Там, вдали, вижу я, мелькают два серенькие платица... Боже! да это они, они, мои девочки, с их звонким смехом, с их непринужденною веселостью, с их вьющимися черными локонами! Как хороши они и сколько зажгли сердец, несмотря на свои четырнадцать только лет: они еще носят коротенькие платица, они могут еще громко говорить, громко смеяться; им не воспрещены еще те несколько резкие, угловатые движения, которые придают такой милый, оригинальный смысл каждому их слову! Но в особенности вы, моя маленькая, миленькая Бетси, вы, радость и утешение всего живущего, волнуете всю кровь в молодом человеке, изо всех сил устремляющемся к вам... Но что же я вижу? Кажется, и вы покраснели и даже чуть-чуть не споткнулись на ровном месте; и у вас зажглись глазки, и вся ваша миниятурная фигурка внезапно приняла какой-то томный и немного ленивый характер?

То была первая, свежая любовь моя, то были первые сладкие тревоги моего сердца! Эти глубокие серые глаза, эта кудрявая головка долго смущали мои юношеские сны. Все думалось: «Как хорошо бы погладить ее, какое бы счастье прильнуть к этим глазкам, да так и остаться там жить!»

Вокруг меня мгла и туман; Порфирии Петровичи, Яковы Астафьичи, Федоры Герасимычи жадно простирают ко мне голодные руки и не дают мнедохнуть...

Где я, где я, господи!»



ПРАЗДНИКИ

ЕЛКА

На дворе очень холодно; мороз крепко сковал и угладил дорогу и теперь что есть мочи стучится в двери и окна мирных обитателей Крутогорска. Наступил уж вечер, и на улицах стало пустынно и тихо. Полный месяц глядит с заоблачных высот, глядит добродушно и весело, и светит так ясно, что на улицах словно день стоит. Бежит вдали маленькая лошадка, бойко неся за собою санки с сидящим в них губернским аристократом, спешающим на званый вечер, и далеко разносится гул от ее копыт. В окнах большей части домов зажигаются огни, которые сначала как-то тускло горят, а потом мало-помалу разрастаются в великолепные иллюминации. Я иду по улице и, всматриваясь в окна, вижу целые снопы света, около которых снуют взад и вперед милые головки детей... «Ба! да ведь сегодня сочельник!» — восклицаю я мысленно.

Просвещение проникает все более и более на восток, благодаря усердию господ чиновников, которые препоясали себя на брань с варварством и невежеством. Не знаю, имеется ли елка в Туруханске, но в Крутогорске она во всеобщем уважении — это факт для меня несомненный. По крайней мере, чиновники, которые в Крутогорске плодятся непомерно, считают неременною обязанностью купить на базаре елку и, украсив ее незатейливыми сюрпризами домашнего приготовления, презентовать многочисленным Ванечкам, Машенькам, а иногда и просто Ванькам и Машкам.

Иду я по улице и поневоле заглядываю в окна. Там целые выводки милых птенцов, думаю я, там любящая подруга жизни, там чадолюбивый отец, там так тепло и

уютно... а я! Я один как перст в целом мире; нет у меня ни жены, ни детей, нет ни кола ни двора, некому ни приютить, ни приголубить меня, некому сказать мне «папасецка», некому назвать меня «брюханчиком»; в квартире моей холодно и неприветно. Гриша вечно сапоги чистит или папирсы набивает... Господи, как скучно!

И я как-то инстинктивно останавливаюсь перед каменными хоромами одного крутогорского негодянта, выписывающего себе «камзолы» от Руча. И тут тоже елка, отличающаяся от чиновничьих только тем, что богаче украшена и что по поводу ее присутствует в доме многочисленное стечение как большого, так и малого люда. В просторной зале горит это милое дерево, которое так сладко заставляет биться маленькие сердца. Я застаю еще ту минуту, когда дети чинно расхаживают по зале, только издалека поглядывая на золотые яблоки и орехи, висящие в изобилии на всех ветвях, и нетерпеливо выжидая знака, по которому елка должна быть отдана им на разграбление. В боковой комнате присутствуют взрослые мужчины; не смотря на то что на сборной колокольне только что пробило шесть часов, круглый стол, стоящий перед диваном, ломится под тяжестью закусок и фиалов с водкой и тенерифом. В Крутогорске это называется «не терять золотых мгновений», и господа негодянты действительно не теряют их, потому что я вижу их непрерывно подступающих к круглому столу, и, разумеется, не за тем, чтоб проводить время праздну. В зале владеет хозяйка; в гостиной — хозяин. Я вижу его с улицы, подходящего даже к знакомому мне сидельцу, который скромно стоит у окна, заложивши руки назад и не осмеливаясь присесть при «хозяевах». Хозяин, простирая длань по направлению к закуске, сначала словесно уговаривает его вкусить от плода хлебного, но сиделец, как видно, оказывает сопротивление, потому что негодянт берет его за руку и силой подводит к столу.

Но куда я занимаюсь наблюдениями над взрослою компанией, рядом со мной незаметно становится другой наблюдатель, в лице маленького и шустрого мальчугана, который подскакивает с ноги на ногу в своем дубленом полушубке.

— Чай, скоро и рушить начнут! — беззастенчиво обращается он ко мне.

И снова начинает подплясывать на одном месте, изо всех своих детских сил похлопывая ручонками, закоченными на морозе.

— Вона, вона! ишь как Оську-то задрали! — продолжает он как будто про себя.

Я смотрю внимательнее в окно и вижу, что действительно какие-то два мальчика подрались, и один из них, как должно полагать по его оскорбленному лицу, испускает пронзительнейшие стоны.

— Ты знаешь этого мальчика? — спрашиваю я моего маленького товарища.

— Это Оська рядский, — отвечает он мне, — вишь раззевался, смерд этакой! Я бы те не так еще угостил!

— А тот мальчик, который прибил Оську?

— Это сын ихнего хозяина, он завсегда его так бьет, — отвечал он, всхлипывая от смеха, — намеднись песком так глаза засорил, что насилу отмыли... Эка нюня несообразная! — прибавил он с каким-то презрением, видя, что Оська не унимается.

Около обиженного мальчика хлопотала какая-то женщина, в головке и одетая попроще других дам. По всем вероятностям, это была мать Оски, потому что она не столько ублажала его, сколько старалась прекратить его всхлипыванья новыми толчками. Очевидно, она хотела этим угодить хозяевам, которые отнюдь не желали, чтоб Оська обижался невинными проказами их остроумных деточек. Обидчик между тем, пользуясь безнаказанностью, прохаживался по зале, гордо посматривая на всех.

— Вот кабы этакая-то елка... — задумчиво произнес мой собеседник.

Вероятно, он хотел сказать «у нас», но остановился, не докончив фразы, как это часто бывает с детьми, когда они о чем-нибудь серьезно задумаются.

— Вона! вона! рушат! ломают! — вскричал он вдруг таким неестественным голосом, что я вздрогнул. — Ах ты батюшки! смотри-ка, Оська-то, Оська-то!

В окнах действительно сделалось как будто тусклее; елка уже упала, и десятки детей влезали друг на друга, чтобы достать себе хоть что-нибудь из тех великолепных вещей, которые так долго манили собой их встревоженные воображеньица. Оська тоже полез вслед за другими, забыв внезапно все причиненные в тот вечер обиды, но ему не суждено было участвовать в общем разделе, потому что едва завидел его хозяйский сын, как мгновенно поверг несчастного наземь данною с размаха оплеухой.

Началась прежняя сцена увещеванья и колотушек, и мне сделалось невыносимо тяжело.

— Я бы еще не так тебе рожу-то насалил! — произнес

мой товарищ с звонким хохотом, радуясь претерпенному Оськой поражению.

— Отчего ты не любишь Оську? — спросил я.

— А пошто его любить-то! вишь, как он нюни распустил... козявка этакая!

— А если б тебя так прибили?

— Ну, это, видно, после дожидка в четверг будет! я сам сдачи не займую. А вот, ей-богу, я здесь останусь... хошь, из-за угла эту плаксу шаракну.

Однако он не остался и, простояв еще несколько минут, с глубоким и сосредоточенным вздохом стал отходить от окна. Я тоже пошел с ним рядом.

— Да ты чей? — спросил я.

— Кузнеца Потапыча сын.

Я знаю Потапыча, потому что он кует и часто даже заковывает моих лошадей. Потапыч старик очень суровый, но весьма бедный и живущий изо дня в день скудными заработками своих сильных рук. Избенка его стоит на самом краю города и вмещает в себе многочисленную семью, которой он единственная поддержка, потому что прочие члены мал меньше.

— А ведь тебе далеконько идти, — говорю я.

— Ничего-таки, будет! только вот тятка непременно заругает.

— За что?

— А я еще утрось из дому убог, будто в ряды, да вот и не бывал с тех самых пор... то есть с утра с раннего, — прибавил он, и вдруг, к величайшему моему изумлению, пискливым дискантом запел: — «На заре ты ее не буди...»

— Кто тебя научил этой песне?

— А что, песня важнецкая! наш учитель приходский только и дела, что мурлычет ее.

— Неужто ты с самого утра по городу шатаешься?

— А то нет? сказано: с утра раннего... неужто ж пропустить экой праздник!

— А дома у вас разве нет елки?

— Какая елка! У нас и хлеба поди нет... чем еще разговеемся завтра!

Имея душу чувствительную, я вдруг проникаюсь состраданием к бедному мальчику, которому, может быть, завтра разговеться нечем. Если я чему-нибудь в мире завидовал, то это именно положению герцога Герольштейна, который, не щадя, можно сказать, своей изнеженной особы, заходил в *tapis francs*¹ и запанибрата разговаривал

¹ Притоны (фр.).

с шуриными. Но Крутогорск не представляет никакого поприща для моей филантропической деятельности, и я тщетно ищу в нем Fleur-de-Marie, потому что проходящие мимо меня мещанки видом своим более напоминают тех полногрудых нимф, о которых говорит Гоголь, описывая общую залу провинциальной гостиницы. Мысленный взор мой внезапно устремляется на бегущего рядом со мною мальчугана, и я начинаю видеть в нем достаточную жертву для своих благотворительных затей.

— Хочешь ко мне пойти? — спрашиваю я мальчика.

Он вопросительно смотрит мне в глаза.

— Я тебе пряников дам, — продолжаю я.

— Мне что пряники! — говорит он, — я, пожалуй, и вино пью.

Такая откровенность и столь раннее развитие несколько смущают меня; но я дал себе слово провести этот вечер не одиноко и настойчиво преследую свою цель.

— Что ж, я и вина дам, — говорю я.

Мальчуган с минуту колеблется, но потом беспрекословно следует за мной.

Нас встречает Гриша, которому тоже, вероятно, скучно сидеть одному, потому что он злобно смотрит то на меня, то на мальчишку.

— Это еще кого привели? — сердито ворчит он.

Надо сказать, что я несколько трушу Гриши, во-первых, потому, что я человек чрезвычайно мягкий, а во-вторых, потому, что сам Гриша такой бесподобный и бескорыстный господин, что нельзя относиться к нему иначе, как с полным уважением. Уже дорогой я размышлял о том, как отзовется о моем поступке Гриша, и покушался даже бежать от моего спутника, но не сделал этого единственно по слабости моего характера.

— Есть у нас пряники, Гриша? — спрашиваю я.

— Какие у нас пряники! разве к нам мужики ходят? К нам, сударь, большие господа ездят! — говорит он мне в виде поучения, как будто хочет дать мне почувствовать: «Эх ты, простота! не знаешь сам, кто у тебя бывает!»

— Ну, нет ли хоть яблок, винограду? — говорю я, несколько смущенный.

— Этому-то слюняю я винограду дам? — восклицает Гриша, вытаращив на меня глаза, и, перевернувшись всем корпусом, быстро удаляется в переднюю, причем сильно хлопает дверью.

Мальчуган смотрит на меня и тихонько посмеивается. Я нахожусь в замешательстве, но внутренне негодную на

Гришу, который совсем уж в опеку меня взял. Я хочу идти в его комнату и строгостью достичь того, чего не мог достичь ласкою, но в это время он сам входит в гостиную с тарелкой в руках и с самым дерзким движением — не кладет, а как-то неприлично сует эту тарелку на стол. На ней оказывается большой кусок черного хлеба, посыпанный густым слоем соли.

— Будет с него, что и хлеба полопает, не велик барин! — говорит Гриша, — а то еще винограду выдумали!

— Однако принеси же, братец, яблок и винограду, если я этого требую, — говорю я твердым голосом и не роняя своего достоинства.

— Да и вина уж кстати подай, холоп! — прибавляет от себя мальчуган, который взлез между тем на диван и уселся на нем с ногами.

— Ах ты мозглец ты этакой! — кричит Гриша, взволнованный самоуверенным видом маленького наглеца, — ишь ты, скажите на милость! на диван с ногами въехал! брысь, слякоть!

Мне самому и смешно и досадно, но я решаюсь выдержать характер.

— Я тебе сказал, принеси винограду и яблок, — говорю я, возвышая голос.

— Ну, что же! — отвечает Гриша, — пожалуй! заставляйте меня всякой козявке служить! известно, вы господа, а мы холопы!

Я вижу, что самолюбие моего дядьки страдает, и спешу успокоить его.

— Да и ты с нами посидишь, Гриша; знаешь, завтра праздник какой!

Чело его при слове «праздник» действительно разглаживается, и я вижу, что прихоть моя будет исполнена.

Через пять минут являются на столе яблоки и виноград и бутылка тенерифа, того самого, от которого и жжет и першит в горле. Мальчуган, минуя сластей, наливает рюмку вина и залпом выпивает ее.

— Ишь шельмец какой! — замечает Гриша.

Я всматриваюсь между тем в мальчика. Лицо его очень подвижно и дышит сметкою и дерзостью; карие и, должно быть, очень зоркие глаза так быстры, что с первого взгляда кажутся разбегающимися во все стороны; он очень худощав, и все черты лица его весьма мелки и остры; самая кожа, тонкая и нежная, ясно говорит о чрезвычайной впечатлительности и восприимчивости мальчугана. Я вижу, что он начинает нравиться даже Грише, потому

что тот, поглядывая на него, изредка проговаривается: «Ишь постреленок!», что доказывает, что он находится в хорошем расположении духа.

— Что ж ты не берешь яблок? — спрашиваю я.

— На что мне?.. Разве сестрам взять?

— А много у тебя сестер?

— А кто их знает? я не считал...

— Ишь пострел! — отзывается Гриша.

— Как же они теперь праздник встречают?

— Спят, чай... Намеднись тятка приговаривался, что свинью убить надо...

— Ну, а велики ли у тебя сестры?

— Одна есть большая, а другие — мелюзга.

— И мать у вас есть?

— Как же! этого добра где не водится! только, надо быть, тятенька ей скоро конец сделает... Больно уж он ноне зашибаться зачал — это, пожалуй, и не ладно уж будет!

— За что ж он ее бьет?

— За что бьет! пришла — не так, и ушла — не так! вот и бьет!

Мне становится грустно; я думал угостить себя чем-нибудь патриархальным, и вдруг встретил такую раннюю испорченность. Мальчишка почти пьян, и Гриша начинает смотреть на него как на отличную для себя потеху.

— Вели закладывать поскорее лошадей, — говорю я Грише.

— А что-с! видно, наскучили мы вашему благородию? — спрашивает мальчуган.

— Скажи, пожалуйста, откуда ты выучился называть меня «благородием»? откуда перенял все эти романсы?

— Нешто мы образованного опчества не знаем?

— Скажите на милость! тоже об образовании заговорил! — удивляется Гриша.

Через четверть часа докладывают, что лошади готовы, и я остаюсь один. Мне ужасно совестно перед самим собою, что я так дурно встретил великий праздник. Зато Гриша очень весел и беспрестанно смеется, приговаривая: «Ах ты постреленок этакой!» Я уверен, что в сердце его не осталось ни тени претензий на меня и что, напротив, он очень мне благодарен.

Я ложусь спать, но и во сне меня преследует мальчуган, и вместе с тем какой-то тайный голос говорит мне: «Слабоумный и праздный человек! ты праздность и вялость своего сердца принял за любовь к человеку, и с эти-

ми данными хочешь найти добро окрест себя! Пойми же наконец, что любовь милосердна и снисходительна, что она все прощает, все врачует, все очищает! Проникнись этою деятельною, разумною любовью, постигни, что в самом искаженном человеческом образе просвечивает подобие божие — и тогда, только тогда получишь ты право проникнуть в сокровенные глубины его души!»

Душа моя внезапно освежается; я чувствую, что дыханье ровно и легко вылетает из груди моей... «Господи! дай мне силы не быть праздным, не быть ленивым, не быть суетным!» — говорю я мысленно и просыпаюсь в то самое время, когда веселый день напоминает мне, что наступил «великий» праздник и что надобно скорее спешить к обедне.

«ХРИСТОС ВОСКРЕС!»

Скажите мне, отчего в эту ночь воздух всегда так тепел и тих, отчего в небе горят миллионы звезд, отчего природа одевается радостью, отчего сердце у меня словно саднит от полноты нахлынувшего вдруг веселия, отчего кровь приливает к горлу, и я чувствую, что меня как будто поднимает, как будто уносит какую-то невидимую волною?

«Христос воскрес!» — звучат колокола, вдруг загудевшие во всех углах города; «Христос воскрес!» — журчат ручьи, бегущие с горы в овраг; «Христос воскрес!» — говорят шпили церквей, внезапно одевшиеся огнями; «Христос воскрес!» — приветливо шепчут вечные огни, горящие в глубоком, темном небе; «Христос воскрес!» — откликается мне давно минувшее мое прошлое.

Я еще вчера явственно слышал, как жаворонок, только что прилетевший с юга, бойко и сладко пропел мне эту славную весть, от которой сердце мое всегда билось какою-то чуткою надеждой. Я еще вчера видел, как добрая купчиха Палагея Ивановна хлопотала и возилась, изготавливая несчетное множество куличей и пасх, окрашивая сотни яиц и запекая в тесте десятки окороков.

— Куда вам такое множество куличей, Палагея Ивановна? — спросил я ее.

— И, батюшка, все изойдет для «несчастненьких»! — отвечала она, набожно осеняя себя крестным знамением.

Ужасно люблю я Палагею Ивановну. Это именно почтеннейшая женщина! «Несчастненькими» она называет

арестантов и, кажется, всю жизнь свою посвятила на то, чтоб как-нибудь усладить тесноту и суровость их заключения. Она не спрашивает, кто этот арестант, которому рука ее подает милостыню Христовым именем: разбойник ли он, вор или просто «прикосновенный». В глазах ее все они просто «несчастненькие», и вот каждый воскресный день отправляются из ее дома целые вязки калачей, пуды говядины или рыбы, и «несчастненькие» благословляют имя Палагеи Ивановны, зовут ее «матушкой» и «кормилицей»... И я того мнения, что если кто-нибудь на сем свете заслужил царствие небесное, то, конечно, Палагея Ивановна больше всех.

Еще вчера свечеру я чувствовал, что в городе делалось что-то необычайное. В половине двенадцатого во всех окнах забегали огни, и вслед за тем потянулся по всем улицам народ, и застучали разнородные экипажи крутогорской аристократии.

И я тоже с каким-то особенным, давно непривычным мне чувством радости выслушал утреню и вышел из церкви, вынося с собою безотчетное и светлое чувство дружеской любви, милосердия и снисхождения.

«Христос воскрес!» — думал я. — Он воскрес для всех; большие и малые, иудеи и еллины, пришедшие рано и пришедшие поздно, мудрые и юродивые, богатые и нищие — все мы равны пред его воскресением, пред всеми нами стоит трапеза, которую приготовила победа над смертью.

Недаром существует в народе поверье, что душа грешника, умершего в светлый праздник, очищается от грехов и уносится в райские обители.

Может ли быть допущена идея о смерти в тот день, когда все говорит о жизни, все призывает к ней? Я люблю эти народные поверья, потому что в них, кроме поэтического чувства, всегда разлито много светлой, успокоивающей любви. Не знаю почему, но, когда я взгляну на толпы трудящихся, снискивающих в поте лица хлеб свой, мне всегда приходит на мысль: «Как бы славно было умереть в этот великий день!..»

Для всех воскрес Христос! Он воскрес и для тебя, мрачный и угрюмый взяточник, для тебя, которого зачерствевшее сердце перестало биться для всех радостей и наслаждений жизни, кроме наслаждений приобретения и неправды. В этот великий день и твоя душа освобождается от тяготевших над нею нечистых помыслов, и ты делаешься добр и милостив, и ты стираешь объятия, чтобы заключить в них брата своего.

Он воскрес и для вас, бедные заключенники, несчастные, неузнанные странники моря житейского! Христос, сходявший в ад, сошел и в ваши сердца и очистил их в горниле любви своей. Нет татей, нет душегубов, нет прелюбодеев! Все мы братья, все мы невинны и чисты перед гласом любви, всё прощающей, всё искупающей... Обнимем же друг друга и всем существом своим возгласим: «Други! братья! воскрес Христос!»

Он воскрес и для тебя, бедный труженик, кроткая жертва свирепой бюрократии! Добрый начальник Сергей Александрыч велел выдать всем чиновникам пособие из «остаточков» на праздник — и вот является у тебя на столе румяный кулич и рядом с ним красуется добрая четверть телятины. Не велик твой угол, не веселит ничьего взора твое убожество, но в этот день и твоя бедная комната вымыта и прибрана по-праздничному, дети одеты в чистеньких ситцевых рубашонках, а жена гордо расхаживает в до невозможности накрахмаленной юбке. Дети твои беспрестанно подходят и к румяному куличу, и к заманчивой телятине: они ждут не дождутся, когда все эти великолепные вещи сделаются их достоянием. Но ты ласково сдерживаешь их нетерпение; ты знаешь, что в этот день придут к тебе разговеться такие же труженики, как и ты сам, не получившие, быть может, на свою долю ничего из «остаточков»; сердце твое в этот день для всех растворяется; ты любишь и тоскуешь только о том, что не можешь всех насытить, всех напитать во имя Христа-искупителя.

Он воскрес и для тебя, серый армяк! Он сугубо воскрес для тебя, потому что ты целый год, обливая потом кормилицу-землю, славил имя его, потому что ты целый год трудился, ждал и все думал: «Вот придет светлое воскресенье, и я отдохну под святою сенью его!» И ты отдохнешь, потому что в поле бегут еще веселые ручьи, потому что земля-матушка только что первый пар дала, и ничто еще не вызывает в поле ни твоей сохи, ни твоего упорного труда!

Для всех воскрес Христос! Все мы, большие и малые, богатые и убогие, иудеи и еллины, все мы встанем и от полноты душевной обнимем друг друга!

Когда я проснулся, солнце стояло уже высоко, но как светло оно сияло, как тепло оно грело! На улицах было сухо; недаром же говорят старожилы, что какая ни будь дурная погода на шестой неделе поста, страстная все дело исправит, и к светлomu празднику будет сухо и тепло. Мне

сделалось скучно в комнате одному, и я вышел на улицу, чтоб на народ поглядеть.

— Христос воскрес! — кричит мне Порфирий Петрович, влекомый парой кауреньких лошадок, — там будете?

И, не дождавшись моего ответа, прибавляет:

— То-то же! сегодня грех! сегодня не такой день, чтоб в карты играть! Сегодня, по древнему обычаю, пораньше спать лечь следует.

Я иду дальше и в скором времени равняюсь с домиком «матушки» Палагеи Ивановны, у которой все окна, по случаю великого праздника, настежь.

— Ну, что, как «несчастненькие»? — спрашиваю я у этой милой женщины, которой кроткое лицо отрадно и освежительно действует на мою душу.

— А что? Все слава богу! чуть не затискали меня, старуху, совсем! Да не побрезгуй, барин любезный, зайди ко мне разговеться! Поди, чай, тебе, сердечному, одному-то в такой праздник как скучно!

И мне действительно делается внезапно так грустно и горько, что я чувствую, как слезы душат и давят меня. Я в самом деле припоминаю, что мне чего-то недостает, что я как будто лишний на белом свете, что я один, всегда один. И я вдвое начинаю любить эту милую Палагею Ивановну за то, во-первых, что она назвала меня «сердечным», а во-вторых, за то, что она от всей души пригрела и приютила меня в великий праздник. Неизвестно почему, но Палагея Ивановна всегда как-то особенно вздыхает и покачивает головой, когда со мной говорит. Иногда мне случается подметить ее взор, устремленный на меня в то время, как я разговариваю с ее племянниками и племянницами, с ее сиротками, которых у нее полон дом, и взор этот всегда бывает полон какой-то тихой, любящей грусти. Нет сомненья, что она и во мне видит одного из толпы «несчастненьких», что она охотно полюбила бы меня, как любит своих сироток, если бы я, на мое несчастье, не был чиновником. Чиновнический вицмундир во многих случаях лишал меня возможности наслаждаться бездною приятных вещей. Палагея Ивановна высокая и полная женщина; должно полагать, что смолоду она была красавицей, потому, во-первых, что черты лица ее и доселе говорят еще о прошедшей красоте, а во-вторых, потому, что женщина с истинно добрым сердцем, по мнению моему, должна, непременно должна быть красавицей.

Между тем я вхожу во двор, на котором взапуски веселится и резвится молодое поколение. Палагею Ивановну

эта резвость очень утешает. Как женщина истинно добрая, она сама очень весела, и потому любит, когда другие веселятся. С той минуты, как я вхожу в ее двор, моя хандра исчезает мгновенно. Малолетние племянники и племянницы со всех сторон обступают меня и хвастаются передо мною своими обновками, потому что Палагея Ивановна всех для праздника наделила. В стороне, у забора, положено бревно, поперек которого брошена доска, и две девушки, лет по двенадцати, делают величайшие усилия, чтобы подскануть как можно выше. Около служб мирно пасется стая индеек, и несколько мальчишек усердно дразнят огромного индюка, который из всех сил топырится, а по временам и наскакивает стремительно на обидчиков, мгновенно рассыпающихся в разные стороны.

— Ваня! а Ваня! что петуха, голубчик, дразнишь? — кричит Палагея Ивановна, вышедшая навстречу мне на крыльцо.

Но дети так тесно обступают меня, что я не имею никакой возможности пробраться к моей хозяйке. Они громко и деспотически требуют гривенника на пряники, который и получают с знаками всеобщего и шумного удовольствия.

— Ишь пострелята, как завладели барином! — говорит Палагея Ивановна, но слово «пострелята» выходит у ней как-то совсем не бранно.

Я наконец освобождаюсь и вхожу в горницу, в которой присутствует уж большая компания. В переднем углу сидит дедушка Иван Гаврилыч; он уж лет десять ничего не видит и не слышит, и лицо его от старости покрылось каким-то мохом. Однако ж Палагея Ивановна и до сих пор никакого дела не затевает, не испросивши наперед его благословения, и мне положительно известно, что ключи от денежного сундука до сих пор хранятся у «дедушки», который выдает деньги с величайшею скупостью. Рядом с ним сидит старуха, свекровь хозяйкина, и эта почтенная фигура напоминает мне о муже Палагеи Ивановны. Муж этот еще жив, но он куда-то услан за дурные дела, и нет сомнения, что это обстоятельство имеет большой вес в том сострадании, которое чувствует Палагея Ивановна к «несчастеньким». Тут же присутствует и спившийся с кругу приказный Трофим Николаич, выдавший когда-то лучшие дни, потому что был он и исправником, и заседателем, и опять исправником, и просто вольнонаемным писцом в земском суде, покуда наконец произойдя через все медные трубы, не устроил себе постоянного присутствия в кабаке,

где, за шкалик «пенного», настроичить может о чем угодно, куда угодно и какую угодно просьбицу захмелевшему мужичку. Но в этот великий праздник и Трофим Николаич считает за грех идти в кабак и отправляется с поздравлением к разным благодетелям, которых у него очень много в купеческом и мещанском сословии. Он, впрочем, очень редко подходит к большому столу, на котором стоят куличи и другие пасхальные принадлежности, а больше придерживается малого стола, стоящего у стенки, на котором красуются рюмки и графины с водкой. Несколько молодых бабенок и парней дополняют картину.

— Пожалуйста! просим покорно побеседовать! — говорит Палагея Ивановна, вводя меня в комнату. — Батюшка! Николай Иваныч пришел!

Но «дедушка» не слышит и только чавкает.

— Вы старика-то моего не обессудьте, барин любезный, — продолжает Палагея Ивановна, — что он, по старости лет, почтения вам отдать не в силах.

Меня усаживают подле старика, хотя мне скорее желалось бы побыть с молодухами; с другой стороны, молодухи, по всем вероятностям, подметили мою кислую физиономию, потому что я вижу, как они смеются втихомолку.

— Кушай, батюшка, кушай! — говорит Палагея Ивановна приказному, который, подняв рюмку, не может ничего уже выразить словесно и только устремляет на нее долгий, умоляющий взор.

Беседа, прерванная моим приходом, возобновляется, но весьма умеренно.

— Так-то, — шамкает дедушка, — так-то вот, детки, стар, стар, а все пожить хочется... Все бы хоть годиков с десяток протянул, право-ну!

Молодухи смеются.

— Да тебе бы, дедушка, и жениться так в ту же пору, — говорит одна из них побойчее, — какой ты еще старик!

— Ась? — спрашивает дедушка.

Палагея Ивановна подходит к нему и на ухо, как можно громче объясняет, что вот Варвара от живого мужа за него, старика, замуж собирается.

— Да, да, — отвечает дедушка, — я еще старик здоровенный... здоровенный старик, только вот ноженьки плохо ходят... плохо, куда плохо ходят ноженьки...

Молодушки смеются пуще прежнего.

— А что, как торги, дедушка? — спрашивает свекровь, наклоняясь к самому уху старика.

— Плохо, сударыня, плохо! совсем ноне плохо стало; сам я вот недослышу что-то, а Палагеюшка у меня еще молода... Об ину пору так разнеможешься, словно и взаправду старость пришла. А пуще всего ноженьки! мозжат это, знаешь, мозжат, словно вот винтом тебе кость-ту винтит!

Трофим Николаевич подходит, пошатываясь, к бабушке и, наклонясь к его уху, хочет, вероятно, пожелать ему доброго здравия, но только икает и как-то неблагоприятно сопит, что чрезвычайно смешит молодущек; бабушка же, почуяв носом сильный запах сивухи, пятится ближе к стене.

— Батюшка! Трофим Николаич доброго здоровья тебе желает! — кричит Палагея Ивановна и, обращаясь к приказному, прибавляет, — кушай, батюшка, кушай на здоровье!

— Ой ли! — шамкает старик, — а я было думал, что из соседнего кабака дверь отворилась... право-ну! А как-то ты, крыса приказная, век доживаешь, винцо попиваешь?

— С-с-с-лав-ва вввсе-ввышнему! — успеваает, не без больших усилий, проговорить Трофим Николаич.

— Чего, чай, «слава всевышнему»! — замечает Иван Гаврилыч, — поди, чай, дня три не едал, почтенный! все на вине да на вине, а вино-то ведь хлебом заедать надо.

— Это п-п-правильно! — произносит Трофим Николаич.

— То-то! а еще благородный прозывается!

— Да что ж вы-то, любезненький, ничего не прикушаете? — обращается ко мне Палагея Ивановна, — хошь бы tenerифцу пожаловали или вот орешками с молодущками позабавились! А может, вам и скучненько со стариками-то? Пожалуйте, барин, хошь в ту горницу: там наши молодухи сидят!

Я выхожу в другую комнату, но и там мне не весело. Есть какой-то скверный червяк, который сосет мою грудь и мешает предаваться общему веселью. Я сижу с четверть часа еще и ухожу от Палагеи Ивановны.

Уж два часа; на улицах заметно менее движения, но около ворот везде собираются группы купчих и мещанок, уже пообедавших и вышедших на вольный воздух в праздничных нарядах. Песен не слышать, потому что в такой большой праздник петь грех; видно, что все что ни есть перед вашими глазами предается не столько веселию, сколько отдохновению и какой-то счастливой беззаботности.

— Что вы всё одни да одни! зайдите хоть к нам, отобе-

даем вместе! — говорит мне мой искреннейший друг, Василий Николаич Проймин, тот самый, которому помещик Буеракин в великую заслугу ставит его наивное «хоть куда!»¹.

И я отправляюсь, совершенно счастливый, что мне есть с кем разделить трапезу этого великого дня. Василий Николаич окончательно разгоняет мою хандру своим добродушием, которому «пальца в рот не клади»; супруга его, очень живая и бойкая дама, приносит мне истинное утешение рассказами о давешнем приеме князя Льва Михайловича; детки их, живостью и юркостью пошедшие в тапан, а добродушием и тонкою наблюдательностью в рара, взбираются мне на плечи и очень серьезно убеждают, что я лошадка, а совсем не надворный советник.

Я счастлив, я ем с таким аппетитом, что старая экономка Варвара с ужасом смотрит на меня и думает, что я, по крайней мере, всю страстную неделю ничего не ел.

¹ См. «Влад. Конст. Буеракин». (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)





ЮРОДИВЫЕ

НЕУМЕЛЫЕ

Как-то раз случилось мне быть в Полорецком уезде по одному весьма важному следствию. Так как по делу было много прикосновенных из лиц городского сословия, то командирован был ко мне депутатом мещанин Голенков, служивший ратманом в местном магистрате. Между прочим, Голенков оказался отличнейшим человеком. Это был один из тех умных и смиренных стариков, каких нынче мало встречается; держал он себя как-то в стороне от всякого столкновения с уездною аристократией, исключительно занимался своим маленьким делом, придерживался старины, и в этом последнем отношении был как будто с норовом. Во время наших частых переездов с одного места на другое мы имели полную возможность сблизиться, и, само собою разумеется, разговор наш преимущественно касался тех же витязей уездного правосудия, о которых я имел честь докладывать в предшествующих очерках. В особенности же обильным источником для разного рода соображений служил знакомец наш Порфирий Петрович, которого быстрое возвышение и обогащение служило в то время баснею и поучением чуть ли не для целой губернии.

— Оно точно, — сказал мне однажды Голенков, — точно, что Порфирий Петрович не так чтобы сказать совсем хороший человек, да с ним все-таки, по крайности, дело иметь можно, потому что он резонен и напрямки тебе скажет, коли дело твое сумнительное. А вот, я вам доложу, тогда-то, как видишь, что человек-от и честной и хороший, а ни к чему как есть приступить не может — все-то у него из рук валится. С таким связаться — не приведи господи!

Начнешь ему резон докладывать, так он не то чтоб тебе благодарен, а словно теленок всеми четырьмя ногами брыкается. «Вы, мол, скоты, чего понимаете! Не смыслите, как и себя-то соблужи, а вот ты на меня посмотри — видал ли ты эких молодцов?» И знаете, ваше благородие, словами-то он, пожалуй, не говорит, а так всей фигурой в лицо тебе хлещет, что вот он честный да образованный, так ему за эти добродетели молебны служить следует. Вот, мол, до чего вы, скоты, дожили, что честный-то человек у вас словно жар-птица!

Николай Федорыч вздохнул.

— А вся эта ихняя фанаберия, — продолжал он, — осмелюсь, ваше благородие, выразиться, именно от этого им сумления выходит. Выходит по-ихнему, что они нас спасать, примерно, пришли; хотим, дескать, не хотим, а делать нече — спасайся, да и вся недолга. Позабудь он хоть на минуточку, что он лучше всех, поменьше он нас спасай, — может, и мог бы он дело делать.

— Про кого же вы это говорите, Николай Федорыч?

— А я, ваше благородие, больше к слову-с; однако не скрою, что вот нынче пошел совсем другой сорт чиновников: всё больше молодые, а ведь, истинно вам доложу, смотреть на них — все единственно одно огорченье. На словах-то он все тебе по пальцам перечтет, почнет это в разные хитрости полицейские пускаться, и такую-то, мол, он штуку соорудит, и так-то он бездельника кругом обведет, — а как приступит к делу, — и краснеет-то, и бледнеет-то, весь и смешался. И диви бы законов не знали или там форм каких; всё, батюшка, у него в памяти, да вот как станет перед ним живой человек — куда что пошло! «тово» да «тово» да «гм» — ничего от него и не добьешься больше. Извольте вы знать Михайла Трофимыча?

— Как не знать.

— Ну, вот-с, извольте прислушать. Ездили мы с ним, этта, на следствие. Хорошо. Едем мы этак, разговариваем промеж себя, вот хошь, примерно, как с вами. «Этих, говорит, старых мерзавцев да кляззников всех давно бы уж перевешать надо. От них, говорит, и правительству тень; оно, вишь, их, бездельников, поит-кормит, а они только мерзости тут делают!» И знаете, все этак-то горячо да азартно покрикивает, а мне, пожалуй, и любо такие речи слушать, потому что оно хоша не то чтоб совсем невтерпеж, а это точно, что маленько двусмыслия во всех этих полицейских имеется. Вот-с и говорю я ему: какая же, мол, нибудь причина этому делу да есть, что все оно через пень колоду идет, не

по-божески, можно сказать, а больше против всякой естественности? «А оттого, говорит, все эти мерзости, что вы, говорит, сами скоты, все это терпите; кабы, мол, вы разумели, что подлец подлец и есть, что его подлецом и называть надо, так не смел бы он рожу-то свою мерзкую на свет божий казать. А то, дескать, и того-то вы, бараны, не понимаете, что не вы для него тут живете, чтоб брюхо его богомерзкое набивать, а он для вас от правительства поставлен, чтоб вам хорошо было!» Ладно. Дал я ему поуспокоиться — потому что он даже из себя весь вышел — да и говорю потом: «Ведь вот ты, ваше благородие (я ему и ты говорил, потому что уж больно он смирен был), баешь, что, мол, подлеца подлецом называть, а это, говорю, и по христианству нельзя, да и начальство, пожалуй, не позволит. Этак ты с своего-то ума, пожалуй, и меня подлецом назовешь, а я и не подлец совсем, так на что ж это будет похоже? Да и подлец, коли уж он, то есть, настоящий подлец, за лишнюю ругачкой на тебя и не полезет: это ему все одно, что ковшик воды выпить. А ты вот мне что скажи: говоришь ты, что не мы для него, а он для нас поставлен, а самих-то ты нас, ваше благородие, и скотами и баранами обзываешь — как же это так? Теперича я, примерно, так рассуждаю: коли у скотского, то есть, стада пастух, так пастух он и будь, и не спрашивай он у барана, когда ему на водопой рассудится, а веда, когда самому пригоже. Коли мы те же бараны, так, стало, и нам в эвто дело соваться не следует: веда, мол, нас, куда вздумается!» Что ж бы вы думали, ваше благородие! уткнулся он в кибитку, да только надулся словно петух, раскраснелся весь — не понравилось, видно, что «баранами» попрекнул. Уж куда как они все не любят, как им в чем ни есть перечить станешь: «Ты, мол, скотина, так ты и слушай, покелева я там разговаривать буду». Сидел он этак уткнувшись и молчал всю станцию; ну, и я ничего, стало даже совестно, что божьего младенца будто избидел. Однако спустя немного опять повеселел, словно и забыл совсем. Едем мы другую станцию, дело было ночью, ямщик-от наш и прикурнул маленько на козлах. «Пошел!» — кричит Михайло Трофимыч. Не тут-то и было! пошевелил вожжами и опять плетется трух-трух. «Пошел!» — кричит, слышу, опять мой Михайло Трофимыч, а сам уж и в азарт вошел, и ручонко у него словно сучатся, а кулачонки-то такой миниятюрененький, словно вот картофелина: ударить-то до смерти хочется, а смелости нет! Совестно ему, что ли, или боится он — и сам не разберу. Только как это закричал диким манером, так и ямщик-от, доложу вам, обернулся на него, будто удивился, а лакей их-

ний сидит тоже на козлах, покачивается, да говорит ему: «Вы бы, Михайло Трофимыч, не изволили ручек-то своих беспокоить». Именная умора была!..

Голенков рассмеялся, я тоже не мог не улыбнуться.

— Так вот оно как-с! — продолжал он, — разберите же, ваше благородие, это дело как следует, так какая же у него от других-то отличка? Нет-с, верно, так уж они все сформированы, что у всякого, то есть, природное желание есть руками-то вперед совать, а который не тычет, так не потому, чтоб дошел он до того, что это не христианских рук дело, а потому, что силенки нет. Так, пожалуй, ударит, что и не почувствуешь, — ну, и выдет один страм! Я, ваше благородие, знавал таких, что уж и больно на руку невоздержны; вот как силенки-то у него нет, так он и норовит изобрать такое место, чтоб почувствительнее, примерно хочь в зубы, али там в глаза... Ну, этот народ уж совсем злущий, эких немного. Этот как бьет, весь побледнеет, словно мертвый, и зубы стиснет, и дышит как-то трудно... А большая часть дерется откровенно, без злобы, наотмашь, куда попало... так, чтоб порядок только соблюсти.

— Так вы приходите к тому заключенью, что Михайло Трофимыч хуже какого-нибудь Фейера или Порфирия Петровича? Так, что ли?

— Нет, я этого не скажу, чтоб он сам по себе хуже был, потому что и сам смеаю, что Михайло Трофимыч все-таки хороший человек, а вот изволите ли видеть, ваше благородие, не умею я как это объясниться вам, а есть в нем что-то неладное. Словно вот как у нас баба робенка не доносит: такой слабый да хилый ходит, точно он в половину только живой, а другой-то половиной уж мертвый. Живого матерьялу они, сударь, не понимают! им все бы вот за книжкой, али еще пуще за разговорцем: это ихнее поле; а как дойдет дело до того, чтоб пеньки считать, — у него, вишь, и ноженьки заболели. Примется-то он бойко, и рвет и мечет, а потом, смотришь, ан и поприутих, да так-то приутих, что все и бросил; все только и говорит об том, что, мол, как это его, с такими-то способностями, да грязь таскать запрягли; это, дескать, дело чернорабочих, станových, что ли, а его дело сидеть там, высоко, да только колеса всей этой механики подмазывать. А того и не догадается, что коли все такую мысль в голове держать будут, — ведь почем знать! может, и все когда-нибудь образованные будут! — так кому же пеньки-то считать?

Николай Федорыч умилился.

— Вот и приехали мы с ним на следствие. Следствие-то

было важное. В помещичьем имении, управляющего сын, об масленице, с пьяной компанией забавлялись, да кто их знает? невзначай, что ли, али и для смеху, пожалуй, только и зашибли они одну девку совсем до смерти. Однако, как ни были пьяни, а сделавши такое дело, опомнились; взяли и вывезли тело на легких саночках, да пооббок дороги и положили. Известно, наехало Отделение; туда-сюда — угощение, разумеется; чуть-чуть и другую тут девку не убили. Оказалось, что умертвия тут нет никакого, а последовала смерть от стужи, а рана на голове оттого, мол, что упала девка в гололедь и расшибла себе голову. Только чудно, что она это словно нарочно на самый, то есть, висок упала. Оно бы так и кончилось, да был на ту пору с исправником не в ладах писец какой-то, так ледащий. Донес. Прислали другого чиновника, уж из губернии; оказалось, что смерть произошла истинно от умертвия и что в умертвии подозревается сын управляющего. Однако, стой! был тутотка лекарь и говорит, что умертвия опять-таки нет, а просто смерть как смерть. Этого чиновника отозвали, прислали другого; тот посмотрел-посмотрел, пишет: точно — смерть. Судили там, рядили, кому тут верить: один говорит: смерть, другой говорит: умертвие; вот и прислали к нам Михайла Трофимыча, хуже-то, знать, не нашли. Приехал он к нам форсистый такой; известно, игрушки-с; чуть не зараньше радуется, что ему начальство крест за такое дело вышлет. А выехал он теперича с тем, чтобы в пользу умертвия, потому, говорит, что уж это так и быть должно. Вот-с, и приехали мы на место, и говорю я ему, что ведь эти дела надо, Михайло Трофимыч, с осторожностью делать; не кричи, ваше благородие, а ты полегоньку, да с терпеньем. «Как же! как же!» — говорит. И точно вижу я, это, достал он зипун себе, бороду приклеил, парик надел и пошел — куда бы вы думали? — пошел в кабак-с! Ну, разумеется, речи то у него крестьянской все-таки нет; как он там ни притворялся, а обознали его; паричок-от и всю одежду сняли, да так как есть по морозу и пустили. Право-с. Даже бить не били, потому что до экого мизерного и дотронуться-то никому неохота; так разве шлепка легонького дали, чтоб дело совсем в порядке было, не без хлеба-соли домой отпустить. Пришел он на квартиру: и плачет-то и ругается. Однако не унялся. Слышал он еще в школе, должно быть, что в народе разное суеверие большую роль играет: бояться это привидений и всякая там у них несообразность. Возьми да и оденься он в белую простыню; дал, знаете, стряпке управительской три целковых, чтоб пропустила куда ему нужно, да и пошел ночью в горницу к обвиненному.

А тот лежит себе, будто ничего и не знает. Вылез Михайло Трофимыч весь в белом из-под кровати, да и говорит ему басом: «Сказывай, говорит, как ты убил Акулину?» Только тот-то плут изначала притворился, будто и взаправду обробел, бросился привидению в ноги. «Я, говорит, убил, я! грешный человек!» — «Покайся же, — говорит Михайло Трофимыч, — рассказывай, как ты ее убил?» Тот вдруг как вскочит: «Вот как бил! вот как бил!» — да такую ли ему, сударь, встрепку задал, что тот и жизни не рад. «Коли ты, говорит, не смыслишь, так не в свое дело не суйся!» А за перегородкой-то смех, и всех пуще заливается та самая стряпка, которой он своих собственных три целковых дал. Хотел было он и жаловаться, так уж я насилу отговорил, потому что он сам не в законе дело делал, а только как будто забавлялся. Примись за это дело другой — вся эта штука беспрерывно бы удалась, как лучше нельзя, потому что другой знает, к кому обратиться, с кем дело иметь, — такие и люди в околотке есть; ну, а он ко всем с доверенностью лезет, даже жалости подобно. Ну-с, и маялись мы с ним, с убийцей-то; Михайло Трофимыч ему вопрос, а он ему два, да уж не то чтоб Михайло Трофимыч убийцей, а убийца-то им же и командует. Начнет это околесицу ему рассказывать, тот станет его оставливать, так куда тебе! «Вы, говорит, ваше благородие, должны предоставить мне все средства к оправданию». А не то вот свидетелей привели: того не допускает по хлебо-сольству, того по вражде — даже свидетели-то смеются, как он им помыкает! Так и не допустил никого до присяги, кого нужнее, а вот, говорит, спрости такого-то: он в евто самое время на селе был. И привели к нам старика древнего, слепого и глухого; ну, того об чем ни спрашивали, кроме «асиньки» ничего не добились. А Михайло-то Трофимыч этаким манером попросивши всех: «Ну, говорит, теперь дело, славу богу, кажется, округлено!» Сел он писать донесение, кончил и мне прочитал. Ну уж чудо, ваше благородие! этакое я и не привидывал! Все-то он туда понаписал: и переодеванья-то свои, и историю о привидениях! и ведь как это у него там гладко уложилось — читать удивлень! Кажется, так бы и расцеловал его: такой он там хитрый да смышленный из бумаги-то смотрит! «Однако, — говорю я ему, — как бы тебе этак, ваше благородие, Бога не прогневить!» — «А что?» — «Да так, уж больно ты хорошо себя описал, а ведь посмотреть, так ты дело-то испортил только». — «Ничего, говорит, ладно будет!» И точно-с! убийца-то и до сих пор здравствует!

— Что ж это доказывает, Николай Федорыч? Это дока-

зывает только, что Михайло Трофимыч глуп или к полицейской службе не способен — вот и все.

— Нет-с, это, я вам доложу, не от неспособности и не от глупости, а просто от сумленья, да от того еще, что терпенья у него, прилежности к делу нет. Все думает, что дело-то шутки, что ему жареные рябцы сами в рот полетят, все хочет на свой манер свет-от исковеркать! Так врешь! ты сначала поучись, да сам к естеству-то подладься, да потом и владей им на здоровье; в ту пору, как эким-то манером с ним совладаешь, оно и само от себя не уйдет. Вы думаете, Михайло-то Трофимыч поедет в другой раз на следствие? Нет-с, его уж на сто верст туда не заманишь! Он и в первой-от раз поехал, потому что не знал, что за штука такая; думал, что будет свои фантазии там разыгрывать, а убийца, дескать, будет его слушать да помалчивать. Ан и выходит, что во всяком деле мало одной честности да доброй воли: нужна тоже добросовестность, нужно знание. Грязью-то не гнушайся, а разбери ее, да, разобравши хорошенько, и суй в ту пору туда свой нос. А то, вишь, ручки у тебя больно белы, в перчатках ходишь, да нос-от высоко задираешь — ну, и ходи в перчатках.

Последние слова Николай Федорыч произнес с некоторым ожесточением.

— Вот-с, — продолжал он, — этот самый Михайло Трофимыч приехал к нам в другой раз думу ревизовать. Собрал он все наше общество, да и ну нас костить: все-то у нас скверно да мерзко! Затеял это торговлю поверять, все лавчонки исходил, даже ходябщиков всех обшарил и все, говорит, не так. Тебе, говорит, следует торговать иголками, тебе благовонием, всех расписал. По заводам пошел — число работников стал поверять, чины пересчитал и везде, сударь, нашел, что обхаять. «Ты, говорит, мещанин, так у тебя работников должно быть меньше». — «Да помилуй, ваше благородие, ведь с меньшим-то числом работников экова дела и начинать нельзя!» Так куда тебе, и слышать ничего не хочет: мне, говорит, до этого дела нет. Вот и выходит, что в эвдаком-то деле и Фейра добром помянешь. Тому хочь и предписано, да если он видит, что и впрямь торговцу-то тесно, так и в предписании-то отыщет такую мякоть, что все пойдет как будто по-прежнему. А этот просто никаких резонов понимать не хочет. И ведь всё-то они так! Окружили нас кругом, так что дыхнуть нельзя: туда ступай, или врешь, не ступай, а сиди, или врешь не сиди... совсём и мы-то смешались. Лужаечки у нас какие были — поотняли: бери, дескать, с торгов, а нам под выгон отвели гарь — слов-

но твоя плешь голо, ну и ходит скотинка не емши. Лесок какой есть, и в тот не пускают, вот эконькой щепочки не дадут; да намеднись еще спрашивают, нельзя ли, мол, и за воду-то деньги брать!.. А ведь дело-то оно наше, кровное наше — чего бы еще, кажется! Ну, и выходит, что тут уж не служба, а просто озорство какое-то, прости господи!

Николай Федорович плюнул.

— Как же вы полагаете, отчего все это происходит-то, Николай Федорыч?

— А вот, сударь, отчего. Первое дело, много вы об себе думаете, а об других — хоть бы об нас, грешных, — и совсем ничего не думаете: так, мол, мелюзга все это, скоты необрезанные. Второе дело, совсем не с того конца начинаете. Ты, коли хочешь служить верой, так по верхам-то не лазий, а держись больше около земли, около земства-то. Если видишь, что плохо — ну и поправь, наведи его на дорогу. А то приедет это весь как пушка заряжённый, да и стреляет в нас своею честностью да благонамеренностью. Ты благодетельствуй нам — слова нет! — да в меру, сударь, в меру, а не то ведь нам и тошно, пожалуй, будет... Ты вот лучше поотпусти маленько, дай дохнуть-то! Может, она и пошла бы, машина!

ОЗОРНИКИ

*Vir bonus, dicendi peritus*¹.

«Если вы думаете, что мы имеем дело с этою грязью, *avec cette saignée*, то весьма ошибаетесь. На это есть писаря, ну, и другие там; это их обязанность, они так и созданы... Мы все слишком хорошо воспитаны, мы обучались разным наукам, мы мечтаем о том, чтобы у нас все было чисто, у нас такие опрятные взгляды на администрацию... согласитесь сами, что даже самое *comme il faut* запрещает нам мараться в грязи. Какой-нибудь Иван Петрович или Фейер — это понятно: они там родились, там и выросли; ну, а мы — совсем другое. Мы желаем, чтоб и формуляр наш был чист, и репутация не запятнана — *vous comprenez?*²

Повторяю вам, вы очень ошибаетесь, если думаете, что вот я призову мужика, да так и начну его собственными руками обдирать... фи! Вы забыли, что от него там бог знает

¹ Муж добродетельный, в речах искусный (*лат.*).

² Вы понимаете? (*фр.*)

чем пахнет... да и не хочу я совсем давать себе этот труд. Я просто призываю писаря или там другого, et je lui dis: «Mon cher, tu me dois tant et tant»¹, — ну, и дело с концом. Как уж он там делает — это до меня не относится.

Я сам терпеть не могу взяточничества — фуй, мерзость! Взятки опять-таки берут только Фейеры да Трясучкины, а у нас на это совсем другой взгляд. У нас не взятки, а администрация; я требую только *должного*, а как оно там из них выходит, до этого мне дела нет. Моя обязанность только исчислить статьи: гоньба там, что ли, дорожная повинность, рекрутство... Tout cela doit rapporter.

Je suis un homme comme il faut²; я дитя нынешнего времени; я хочу иметь и хорошую сигару, и стакан доброго шатодикема; я должен — вы понимаете? — *должен* быть прилично одетым; мне *необходимо*, чтоб у меня в доме было все комфортабельно — le gouvernement me doit tout cela³. Я человек холостой — j'ai besoin d'une belle⁴; я человек с высшими, просвещенными взглядами — нужно, чтоб мысль моя была покойна и не возмущалась ни бедностью, ни какими-нибудь недостатками — иначе какой же я буду администратор? Каким образом буду я заниматься разными филантропическими проектами, если голова у меня не свободна, если я должен всечасно о том только помышлять, чтобы как-нибудь наполнить свой желудок? Для того, чтобы приносить действительную пользу, я должен быть весел, бодр, свеж и беззаботен — все это очень просто и понятно; и если судьба забила меня в какой-нибудь гнусный Полорецк, то из этого вовсе не следует, что я должен сделаться Зеноном.

Нет, Dieu merci⁵, нынче на Зенонов посматривают косо. Это всё народ желчный и беспокойный; страдают, знаете, печенью; ну, а я, слава богу, просто благонамеренный человек — и больше ничего. Entre nous soit dit⁶, я даже немножко эпикуреец. Я убежден, что без материяльных удобств жизнь не может представлять ничего привлекательного. Хороший обед, хорошее вино проливают в душу спокойствие, располагают ее к дружелюбию, сообщают мысли ясность и прозрение. Сами согласитесь, могли ли бы мы с вами так хорошо беседовать, если б мы наелись, как ямщики на по-

¹ И я ему говорю: «Дорогой мой, ты мне должен столько-то и столько-то» (фр.).

² Все это должно приносить доход. Я человек порядочный (фр.).

³ Правительство должно мне все это (фр.).

⁴ Мне необходима красивая женщина (фр.).

⁵ Благодарение богу (фр.).

⁶ Между нами говоря (фр.).

стоялом дворе, до отвала шей и каши? Да тут одна изжога такой бы кутерьмы наделала, что и не развязался бы с ней. Кажется, это ясно.

От этого-то я и не люблю ничего такого, что может меня расстроить или помешать моему пищеварению. А между тем — что прикажете делать! — беспрестанно встречаются такие случаи. Вот хоть бы сегодня. Пришел ко мне утром мужик: у него там рекрута, что ли, взяли, ну, а они в самовольном разделе...»

— Да; скажите, пожалуйста: я так часто слышу об этом разделе — что это такое?

«— Самовольный раздел? ну да, это значит, что они там разделились, брат, что ли, с братом или отец с сыном, потому что есть у них на это свои мужицкие причины, *des raisons de moujik*. Подерутся там бабы между собой или свекор войдет в слишком приятные отношения к снохе — вот и пойдут в раздел... Ну, а этого нельзя, потому что высшие хозяйственные соображения требуют, чтобы рабочие силы были как можно больше сосредоточены. Мужик, конечно, не понимает, что бывают же на свете такие вещи, которые сами себе целью служат, сами собою удовлетворяются; он смотрит на это с своей матерьяльной, узенькой, так сказать, навозной точки зрения; он думает, что тут речь идет об его беспорядочных поползновениях, а не о рабочей силе — ну, и лезет... Но не в этом дело. Пришел ко мне мужик и говорит, чтоб я вошел в его положение. «У тебя, братец, свое там начальство есть, — отвечаю я ему, — сход там, что ли, голова, писаря». — *Tout cela est fait pour leur bien*¹. Что ж бы вы думали? повалился ко мне в ноги, целует их, плачет — даже совестно, *parce que c'est un homme pourtant!*² «Везде, говорит, был; на вас только и надежда; нигде суда нет!» Вот, видите ли, он даже не понимает, что я не для того тут сижу, чтоб ихние эти мелкие дрызги разбирать; мое дело управлять ими, проекты сочинять, *pour leur bien*, наблюдать, чтоб эта машина как-нибудь не соскочила с рельсов — вот моя административная миссия. А какая же мне надобность, что там Кузёмка или Прошка пойдет в рекруты: разве для государства это не все равно, *je vous demande un peu?*»³

— Однако что же вы сделали с мужиком?

«— Конечно, прогнал... Но вы заметьте, как они еще

¹ Все это сделано для их блага (*фр.*).

² Потому что это ведь все-таки человек! (*фр.*)

³ Я вас спрашиваю (*фр.*).

мало развиты, comme ils sont encore loin de pouvoir jouir des bienfaits de la civilisation¹. Вот им дали сходы, дали свой суд — это уж почти selfgovernment², а он все-таки лезет. А почему он лезет? спрашиваю я вас: не потому ли, что он хоть инстинктивно, но понимает, что он ничего, что и сход его ничего; что только просвещенный взгляд может осветить этот хаос, эту, так сказать, яичницу, которую все эти Прошки там наделали.

Вы спросите меня, быть может, зачем же я не разобрал его просьбы, если только за собой одним признаю возможность и право сделать зависящее распоряжение к наилучшему устройству всех этих дел? Mais entendons-nous, mon cher³. Нет сомнения, что я не люблю этих сходов; нет сомнения, что там только руками махают, а говорят так грубо и непонятно, что даже неприятно слушать. Но, с одной стороны, я прежде всего и выше всего уважаю форму, и тогда только, когда она предстанет пред мое лицо, вооруженная всеми подписями, печатями и скрепами, я позволяю себе дать ей легкий щелчок по носу, чтобы знала форма, что она все-таки ничто перед моими высшими соображениями. И притом у меня есть такие там особенные лилипуты, которые смотрят на все моими глазами и все слышат моими ушами: должен же я и им что-нибудь предоставить! Эти лилипуты — народ самый крохотный, с булавочную головку, но препонятливый. Они с таким успехом разбирают всех этих Прошек, что даже смотреть люблю.

Вообще я стараюсь держать себя как можно дальше от всякой грязи, во-первых, потому, что я от природы чистоплотен, а во-вторых, потому, что горделивая осанка непременно внушает уважение и некоторый страх. Я знаю очень многих, которые далеко пошли, не владея ничем, кроме горделивой осанки. И притом, скажите на милость, что может быть общего между мною, человеком благовоспитанным, и этими мужиками, от которых так дурно пахнет?

Когда я был очень молод, то имел на предстоявшую мне деятельность весьма наивный и оригинальный взгляд. Я мечтал о каких-то патриархальных отношениях, о каких-то детях, которых нужно иногда вразумлять, иногда на коленки ставить. Хороши дети! Согласитесь, по крайней мере, что

¹ Как они еще далеки от возможности пользоваться благами цивилизации (*фр.*).

² Самоуправление (*англ.*).

³ Но давайте, дорогой мой, сговоримся (*фр.*).

если и есть тут дети, то, во всяком случае, *ce ne sont pas des enfants de bonne maison*¹.

Теперь, при бóльшей зрелости рассудка, я смотрю на этот предмет несколько иначе. В моих глазах целый мир есть не что иное, как вещество, которое, в руках искусного мастера, должно принимать те или другие формы. Я уважаю только чистую идею, которая ничему другому покориться не может, кроме законов строгого, логического развития. Чистая идея — это нечто существующее *an und für sich*², вне всяких условий, вне пространства, вне времени; она может жить и развиваться сама из себя: скажите же на милость, зачем ей, при таких условиях, совершенно обеспечивающих ее существование, наткаться на какого-нибудь безобразного Прошку, который может даже огорчить ее своим безобразием? Чистая идея — нечто до того удивительное по своему интимному свойству все проникать, все перерабатывать, что рассудок теряется и меркнет при одном представлении об этом всеильном могуществе. Нет той козявки, нет того атома в целой природе, который ускользнул бы от влияния ее. Она все в себя вбирает, и это *все*, пройдя сквозь неугасимые и жестокие огни чистого творчества, выходит оттуда очищенное от всего случайного, «прошкватого» (производное от Прошки), выглаженное, вычищенное, неузнаваемое. Каким образом, или, лучше сказать, каким колдовством происходит там эта работа, эта чистка — никому не известно, но не подлежит никакому сомнению, что работа и чистка существуют, что машина без отдыха работает своими колесами и никакие человеческие силы не остановят ее...

Говорят, будто необходимо изучить нужды и особенности края, чтобы уметь им управлять с пользой. *Mon cher, je vous dirai franchement que tout ça — c'est des utopies*³. Какие могут быть тут нужды? Нет, я спрашиваю вас? Знает ли он, для чего ему дана жизнь? Может ли он понять, *se faire une idée*⁴ о том, что такое назначение человека? *Non, non, non et cent fois non! Je vous le donne en mille*⁵, соберите вы тысячу человек и переспросите у каждого из них поодиночке, что такое государство? — ни один вам не ответит. Они знают

¹ Это не дети из хорошей семьи (фр.).

² В себе и для себя (нем.).

³ Дорогой мой, я скажу вам откровенно, что все это — утопии (фр.).

⁴ Составить себе представление (фр.).

⁵ Нет, нет, нет и сто раз нет! Я ручаюсь вам за тысячу (фр.).

там своих коров, своих баб, свой навоз. Какие же тут нужды, какие тут особенности края!

Говорят также некоторые любители просвещения, что нужно распространять грамотность, заводить школы, учить арифметике. *Eh bien, je vous dirai*¹, что если мы их образуем, выучим арифметике, конец нашим высшим соображениям, *c'est sûr et certain comme deux fois deux font quatre*². Тут наплодится целое стадо ябедников, с которым и не сладишь, пожалуй. *Entre nous soit dit*³, как человек молодой, я почти обязан сочувствовать *à toutes ces idées généreuses*⁴, но — скажу вам по секрету — в них тьма-тьмущая опечаток. Сивилизация — это такое тонкое, нежное вещество, которое нельзя по произволу бросать в грязь; грязь от этого не высохнет, а только даст зловредные испарения *qui empesteront le monde entier*⁵. Это всё оттуда, с Запада, все эти выдумки к нам прилезают, а то и невдомек никому, что грамотность еще не пришлось по нашему желудку. Есть умная русская пословица: «Что русскому здорово, то немцу смерть»; по нужде, эту пословицу и наоборот пустить можно. Я, знаете, люблю иногда прибегать к русским пословицам, потому что они ко всему как-то прилаживаются. Конечно, есть и другая пословица: «Ученье свет, а неученье тьма», — но тут, очевидно, говорится о *настоящем* ученье, то есть о таком, которое... *vous concevez?*..⁶ Я опять-таки не обскурант; я желаю, я изо всех сил требую учения и просвещения, но *настоящего* просвещения, то есть такого, о котором говорится в выше-приведенной пословице.

Вы мне скажете, что грамотность никто и не думает принимать за окончательную цель просвещения, что она только средство; но я осмеливаюсь думать, что это средство никуда не годное, потому что ведет только к тому, чтобы породить целые легионы ябедников и мироедов. Только истинно просвещенный плотник может пользоваться топором, истинно просвещенный повар ножом, ибо, не имея они этого «истинного» просвещения, они непременно зарежутся этими полезными инструментами. Слесарь, которого души коснулось истинное просвещение, поймет, что замок и ключ изобретены на то, чтобы законный владелец ящика, шкафа или сундука мог запирать и отмыкать эти казнохранилища; напро-

¹ Так вот я вам скажу (фр.).

² Это столь же несомненно, как дважды два — четыре (фр.).

³ Между нами говоря (фр.).

⁴ Всем этим благородным идеям (фр.).

⁵ Которые заразят весь мир (фр.).

⁶ Вы понимаете?.. (фр.)

тив того, слесарь-грамотей смотрит на это дело с своей оригинальной точки зрения: он видит в ключе и замке лишь средство отмыкать казнохранилища, принадлежащие его ближнему. Итак, прежде нежели распространять грамотность, необходимо распространить «истинное» просвещение. Вам, может, странно покажется, что тут дело как будто с конца начинается, но иногда это, так сказать, обратное шествие необходимо и вполне подтверждается русскою половицей: «Не хвались идучи на рать...»

Но довольно о грамотности, возвратимся к прежнему предмету. Многие восстают на принцип чистой творческой администрации за то, что она стремится проникнуть все жизненные силы государства. Но, спрашиваю я вас, что же тут худого, какой от этого кому вред, и может ли, наконец, быть иначе, чтобы принцип, всеобщий и энергический, не поработил себе явлений случайных и преходящих? Восставать против этого не значит ли вопиать против истории, отказываться от своего прошлого, от своего настоящего? Оглянитесь кругом себя — все, что вы ни видите, все это плоды администрации: областные учреждения — плод администрации, община — плод администрации, торговля — плод администрации, фабричная промышленность — плод администрации. Как соединишь, знаете, все это в один фокус, так оно делается виднее. *Vous allez me dire que c'est désolant*¹, а я вам доложу, что совсем напротив. Все это идет, и идет довольно стройно; стало быть, все имеет свой *raison d'être*². Если бы мы самобытно развивались, бог знает, как бы оно пошло; может быть, направо, а может быть, и налево.

Вообще у нас в моде заниматься разными предположениями, рассуждать о покорении и призвании и проч... Вот и вы теперь вышли из школы, так тоже, чай, думаете, что все это вопросы первостепенной важности!

Да вы поймите, поймите же наконец, что нечего рассуждать о том, что было бы, если б мы вверх ногами, а не головой ходили! А потому все эти нелепые толки о самобытном развитии в высшей степени волнуют меня.

Надо пожить между них, в этом безобразии, вот как мы с вами живем, побывать на всех этих сходках, отведать этой яичницы — тогда другое запоешь. Самобытность! просвещение! Скажите на милость, зачем нам тревожить их? И если они так любят отдыхать, не значит ли это que *le sommeil leur est doux*?³

¹ Вы скажете мне, что это печально (*фр.*).

² Основание (*фр.*).

³ Что сон им сладок? (*фр.*)

Слова нет, надо между ними вводить какие-нибудь новости, чтоб они видели, что тут есть заботы, попечения, и все это, знаете, неусыпно, — но какие новости? Вот я, например, представил проект освещения изб дешевыми лампами. Это и само по себе полезно, и вместе с тем удовлетворяет высшим соображениям, потому что *l'armée, mon cher, demande des soldats bien portants*¹, а они там этой лучиной да дымом бог знает как глаза свои портят.

*Mais vous n'avez pas l'idée*², как у них все это тупо прививается. Вспомните, например, про картофель. Согласитесь, что это в крестьянском быту подспорье! Подспорье ли это, спрашиваю я вас? А коль скоро подспорье, следовательно — вещь полезная; а коль скоро это полезно, то надобно его вводить — *est-ce clair, oui ou non? Et bien, je vous jure sur mes grands dieux*³, у нас было столько *tracas*⁴ с этим картофелем! точно мы их в языческую веру обращали.

И после этого говорят и волнуются, что чиновники взятки берут! Один какой-то шальной господин посулил даже гаркнуть об этом на всю Россию. Конечно, я этого не оправдываю: *c'est vilain, il n'y a rien à dire*⁵, но почему же они берут? Почему они берут, спрашиваю я вас? Не потому ли, что чиновник все-таки высший организм относительно всей этой массы? Ведь как вы себе хотите, а если б было в ней что-нибудь живое, состоятельное, то не могли бы существовать и производить фурор наши приятные знакомцы: Фейеры, Техоцкие и проч. и проч. Следовательно, все это, что ни существует, оправдывается и исторически, и физиологически, и этнографически... *tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes*⁶, как удостоверяет наш общий приятель, доктор Панглосс.

Поверьте мне, я много обдумывал этот предмет и не на ветер вам говорю. Все это именно точно так, как я вам докладываю, и если кто-нибудь будет удостоверить вас в противном, кланяйтесь ему от меня.

А впрочем, не распить ли нам бутылочку старенького? у меня есть такое, что пальчики оближешь!»

¹ Армия, дорогой мой, требует здоровых солдат (фр.).

² Но вы не представляете себе (фр.).

³ Ясно это или нет? Так вот, кланюсь вам всеми святыми (фр.).

⁴хлопот (фр.).

⁵ Это гадко, что и говорить (фр.).

⁶ Все идет к лучшему в этом лучшем из миров (фр.).

НАДОРВАННЫЕ

«Если вы захотите узнать от крутогорских жителей, что я за человек, вам наверное ответят: «О, это собака!» И я не только смиренно преклоняюсь перед этим прозвищем, но, коли хотите, несколько даже горжусь им.

Репутация эта до такой степени утвердилась за мной, что если моему начальнику не нравится физиономия какого-нибудь смертного, он ни к кому, кроме меня, не взывает об уничтожении этого смертного. «Любезный Филовверитов, — говорит он мне, — у такого-то господина NN нос очень длинен; это нарушает симметрию администрации, а потому нельзя ли, *carissimo*...¹» И я лечу исполнить приказание моего начальника, я впиваюсь когтями и зубами в ненавистного ему субъекта и до тех пор не оставляю его, пока жертва не падает к моим ногам, изгрызенная и бездыханная.

Мягкость сердца не составляет моего отличительного качества. Скажу даже, что в то время, когда я произвожу травлю, господин NN, который, в сущности, представляет для меня лицо совершенно постороннее, немедленно делается личным моим врагом, врагом тем более для меня ненавистным, чем более он употребляет средств, чтобы оборониться от меня. Я внезапно вхожу во все виды моего начальника; взор мой делается мутен, у рта показывается пена, и я грызу, грызу до тех пор, пока сам не упадаю от изнеможения и бешенства... Согласитесь сами, что в этом постоянном, неестественном напряжении всех струн души человеческой есть тоже своя поэтическая сторона, которая, к сожалению, ускользает от взора пристрастных наблюдателей.

И не то чтоб я был, в самом деле, до того уж озлоблен, чтобы несчастье ближнего доставляло мне неизреченное удовольствие... совсем нет! Но я строго различаю мою обыденную, будничную деятельность от деятельности служебной, официальной. В первой сфере я — раб своего сердца, раб даже своей плоти, я увлекаюсь, я умиляюсь, я делаюсь негодным человеком; во второй сфере — я совлекаю с себя ветхого человека, я отрешаюсь от видимого мира и возвышаюсь до ясновиденья. Если злоба и желчь недостаточно сосут мое сердце, я напрягаю все силы, чтоб искусственными средствами произвести в себе болезнь печени.

В большей части случаев я успеваю в этом. Я столько получаю ежедневно оскорблений, что состояние озлобления не могло не сделаться нормальным моим состоянием. Кроме

¹ Дражайший (*ит.*).

того, жалование мое такое маленькое, что я не имею ни малейшей возможности расплыться в материальных наслаждениях. Находясь постоянно впроголодь, я с гордостью сознаю, что совесть моя свободна от всяких посторонних внушений, что она не подкуплена брюхом, как у этих «озорников», которые смотрят на мир с высоты гастрономического величия.

Фамилия моя Филоверитов. Это достаточно объясняет вам, что я не родился ни в бархате, ни в злате. Нынешний начальник мой, искавший для своих домашних потребностей такую собаку, которая сочла бы за удовольствие закусать до смерти других вредоносных собак, и видя, что цвет моего лица отменно желт, а живот всегда подобран, обратил на меня внимание.

— Чувствуешь ли ты в себе столько силы, — сказал он мне, — чтоб быть всегда озлобленным, всегда готовым бодро и злокачественно следовать указанию перста моего?

Я сошел в свою совесть и убедился, что в состоянии оправдать возложенные на меня надежды. Я посредством целого ряда ясных и строгих силлогизмов дошел до убеждения, что человек официальный не имеет права обладать ни одним из пяти чувств, составляющих неотъемлемую принадлежность обыкновенного человека. Что я такое и что значу в этой громаде администрации, которая пугает глаза, поражает разум сложностью и цепкостью всех частей своего механизма? Я не больше как ничтожный атом, который фаталистически осужден на те или другие отправления и который ни на пядь не может выйти из очарованного круга, начертанного для него невидимой рукой! Какое право предъявляю я, чтоб иметь свое убеждение? И кому оно нужно, это убеждение? Однажды я как-то осмелился заикнуться перед моим начальником, что *по моему мнению*... так он только поглядел на меня, и с тех пор я более не заикался. И он был прав...

С этой поры все у нас идет ладно и гладко. Не скрою от вас, что это постоянное заказное озлобление иногда утомляет меня. Бывают времена, что вся спинная кость как будто перешибена, и ходишь весь сгорбленный... Но это только на время: почуеться в воздухе горечь, получается новое приказание, вызывающее к деятельности, и я, как почтовая лошадь, распрямляю разбитые ноги и скачу по камням и щебню, по горам и оврагам, по топям и грязи. Ноги у меня искривлены, дыханье делается быстро и прерывисто, как у пойманной крысы, но я все-таки останавливаюсь только затем, чтобы вновь скакать, не переводя духу.

Эта скачка очень полезна; она поддерживает во мне жизнь, как рюмка водки поддерживает жизнь в закоснелом пьянице. Посмотришь на него: и руки и ноги трясутся, словно весь он ртутью налит, а выпил рюмку-другую — и пошел ходить как ни в чем не бывало. Точно таким образом и я: знаю, что на мне лежит долг, и при одном этом слове чувствую себя всегда готовым и бодрым. Не из мелкой корысти, не из подлости действую я таким образом, а по крайнему разумению своих обязанностей, как человека и гражданина.

Деятельность моя была самая разнообразная. Был я и следователем, был и судьей; имел, стало быть, дело и с живым материалом, и с мертвою буквой, но и в том и в другом случае всегда оставался верен самому себе или, лучше сказать, идее долга, которой я сделал себя служителем.

Следственную часть вы знаете: в ней представляется столько искушений, если не для кармана, то для сердца, что трудно овладеть собой надлежащим образом. И я вам откровенно сознаюсь, что эта часть не по нутру мне; вообще я не люблю живого материяла, не люблю этих вздохов, этих стонов: они стесняют у меня свободу мысли. Расскажу вам два случая из моей полицейской деятельности, — два случая, которые вам дадут понятие о том, с какими трудностями приходится иногда бороться неподкупному следователю.

Первый случай был в Черноборском уезде. В селе Березине произошел пожар; причина пожара заключалась в поджоге, признаки которого были слишком очевидны, чтобы дать место хотя малейшему сомнению. Оставалось раскрыть, кто был виновником поджога и был ли он умышленный или неумышленный. Среди разысканий моих по этому предмету являются ко мне мужик и баба, оба очень молодые, и обвиняют себя в поджоге избы. При этом рассказывают мне и все малейшие подробности поджога с изумительною ясностью и полнотою.

— Что ж побудило вас решиться на этот поджог?

Молчание.

— Вы муж и жена?

Оказывается, что они друг другу люди посторонние, но что оба уже несвободны: он женат, а она замужем.

— Знаете ли вы, чему подвергаетесь за поджог?

— Знаем, батюшка, знаем, — говорят оба, и говорят довольно весело.

Одно только показалось мне странным: по какому случаю баба и мужик, совершенно друг другу посторонние, вместе совершают столь тяжкое преступление. Если б не это сомнение, то оставалось бы только поверить их показанию

и отослать дело в судебное место. Но я не могу успокоиться до тех пор, пока не разберу дело от *a* до *z*. И действительно, по проверке показания, оно оказалось вполне согласным с обстоятельствами, в которых совершился поджог; но когда я приступил к разъяснению побудительных причин преступления — что бы вы думали я открыл? Открыл я, что два поименованные субъекта давным-давно находятся в интимной связи.

— К чему же тут поджог? — спрашиваю я обвиненных, предварительно уличив их в неправомерной связи.

Оба молчат. Я увещаю их, объясняю, что побудительные причины часто имеют влияние на смягчение меры наказания.

— А какое будет нам наказание? — спрашивает мужик.

Я объяснил ему, и вижу, что оба поникли головами. После многих настояний оказывается наконец, что они любили друг друга, и, должно быть, страстно, потому что задумали поджог, в чаянье, что их сошлют за это на поселенье в Сибирь, где они и обвенчаться могут.

Надо было видеть их отчаянье и стоны, когда они узнали, что преступление совершено было ими напрасно. Я сам был поражен моим открытием, потому что, вместо повода к смягчению наказания, оно представляло лишь повод к усугублению его...

Признаюсь вам, мне было тяжело бороться с совестью; с одной стороны представлялось мне, что поджог тут обстоятельство совершенно постороннее, что самое преступление, как оно ни велико, содержит в себе столько наивных, столько симпатичных сторон; с другой стороны вопил иной голос, — голос долга и службы, доказывавший мне, что я, как следователь, не имею права рассуждать и тем менее соболезовать...

Что бы вы сделали на моем месте? Может быть, оправдали бы виновных или, по крайней мере, придумали для них такой исход, который значительно бы облегчил их участь? Я сам был на волос от этого, но восторжествовал...

Другой случай был в Оковском уезде. Жили муж с женой, жили лет пять мирно и согласно. Детей у них не было; однако ж это не мешало тому, что в семействе мужа сноху любили, а муж, бывало, не надыхнется красоткой женой. Вдруг, ни с того ни с сего, стала жена мужа недолюбливать. То перечит мужу беспричинно, то грозит известить его. Дурит баба, да и полно. Впоследствии я очень старался раскрыть это обстоятельство, однако ж, с какой стороны ни принимался за дело, не мог дознаться ничего даже приблизительно-

ного. Бил я и на то, что какая-нибудь скрытая связушка у бабы была; однако и семьяне, и весь мир удостоверили, что баба во всех отношениях вела себя примерно; бил и на то, что, быть может, ревность бабу мучила, — и это оказалось неосновательным. Сам даже мужик, когда она ему сулила извести, только смеялся: все думал, что баба обсеменилась, да и привередничает от этого. Только рано ли, поздно ли, а эти привередничанья начали принимать серьезный характер. Думали-думали семейные — принялись бабу лечить от «глазу». Наговаривали на воду, сыпали в пищу порошок из какого-то корня. А баба все говорит: «Свяжите мне, родимые, рученьки, смерть хочется зашибить Петрунку». Однако они предосторожностей особенных не приняли, и вот, в одно прекрасное утро, бабенка, зная, что муж на дворе колодезь копать зачал, подошла к самой яме и начала его звать. Только что успел он высунуть из ямы свою голову, как она изо всей силы хватъ ему острием косы по голове. К счастью, удар пришелся вскользь, и мужик отделался только глубокою раной и страхом.

Когда я производил это следствие, муж в ногах у меня валялся, прося пощадить жену; вся семья стояла за нее; повальный обыск так же одобрил. Но каким же образом объяснить это преступление? Помешательством ума? Но где же тот авторитет, на который я мог бы опереться?

И я принял это дело в том виде, как мне представляли его факты. Я не умствовал и не вдавался в даль. Я просто раскрыл, что преступление совершено, и совершено преднамеренно. Я не внял голосу сердца, которое говорило мне: «Пощади бедную женщину! она не знала сама, что делает; виновата ли она, что ты не в состоянии определить душевную болезнь, которою она была одержима?» Я не внял этому голосу по той простой причине, что я только следователь, что я *tabula rasa*¹, которая обязана быть равнодушною ко всему, что на ней пишется.

Впоследствии времени я увидел эту самую женщину на площади, и, признаюсь вам, сердце дрогнуло-таки во мне, потому что в частной жизни я все-таки остаюсь человеком и с охотою соболезную всем возможным несчастьям...

Но я вам сказал уже, что следственной части не люблю, по той главной причине, что тут живой материал есть. То ли дело судейская часть! Тут имеешь дело только с бумагою; сидишь себе в кабинете, никто тебя не сму-

¹ Чистая доска (лат.).

щает, никто не мешает; сидишь и действуешь согласно с здорово логикой и строгою законностью. Если силлогизм построен правильно, если все нужные посылки сделаны, — значит, и дело правильное, значит, никто в мире кассировать меня не в силах.

Я не схожу в свою совесть, я не советуюсь с моими личными убеждениями; я смотрю на то только, соблюдены ли все формальности, и в этом отношении строг до педантизма. Если есть у меня в руках два свидетельские показания, надлежащим порядком оформленные, я доволен и пишу: *есть*; если нет их — я тоже доволен и пишу: *нет*. Какое мне дело до того, совершено ли преступление в действительности или нет! Я хочу знать, *доказано* ли оно или *не доказано*, — и больше ничего.

Кабинетно-силлогистическая деятельность представляет мне неисчерпаемые наслаждения. В нее можно втянуться точно так же, как можно втянуться в пьянство, в курение опиума и т. п. Помню я одну ночь. Обвиненный ускользал уже из моих рук, но какое-то чутье говорило мне, что не может это быть, что должно же быть в этом деле такое болото, в котором субъект непременно обязан погрязнуть. И точно; хотя долго я бился, однако открыл это болото, и вы не можете себе представить, какое наслаждение вдруг разлилось по моим жилам...

Вы можете, в настоящее время, много встретить людей одинакового со мною направления, но вряд ли встретите другого *меня*. Есть много людей, убежденных, как и я, что вне администрации в мире все хаос и анархия, но это большею частью или горлопаны, или эпикурейцы, или такие младенцы, которые приступить ни к чему не могут и не умеют. Ни один из них не возвысился до понятия о *долге*, как о чем-то серьезном, не терпящем суеты, ни один не возмог умертвить свое *я* и принести всего себя в жертву своим обязанностям.

Делают мне упрек, что манеры мои несколько жестки, что весь я будто сколочен из одного куска, что вид мой не внушает доверия и т. п. Странная вещь! от чиновника требовать грациозности! Какая в том польза, что я буду мил, любезен и предупредителен? Не лучше ли, напротив, если я буду стоять несколько поодаль, чтобы всякий смотрел на меня если не со страхом, то с чувством неизвестности?

В губерниях чиновничество и без того дошло до какого-то странного панибратства. Для того, чтобы выпить лишнюю рюмку водки, съесть лишний кусок лакомого блюда, а главное — насытить свой нос зловонными испа-

рениями лести и ласкательства, готовы лезть почти на преступление. «Это не взятка», — говорят. Да, это не взятка, но хуже взятки. Взятку берет чиновник с осмотрительностью, а иногда и с невольным угрызением совести, а едучи на обед, он не ощущает ничего, кроме удовольствия. Рассудите сами, можете ли вы отказать в чем-нибудь человеку, который оказывал вам тысячу предупредительностей, тысячу маленьких услуг, которые ценятся не деньгами, а сердцем? Нет, и тысячу раз нет. Деньги можно назад отдать, если дело оказывается чересчур сомнительным, а невесомые, моральные взятки остаются навеки на совести чиновника и рано или поздно вылезут из него или подлость, или казнокрадством.

А между тем посмотрите вы на наших губернских и уездных аристократов, как они привередничают, как они пыжятся на обеде у какого-нибудь негоцианта, который только потому и кормит их, чтобы казну обворовать поделкатнее. Фу-ты, что за картина! Сидит индейский петух и хвост распустил — ну, не подступишься к нему, да и только! Ан нет! покудова он там распускает хвост, в голове у него уж зреет канальская идея, что как, мол, не прибавить по копеечке такому милому, преданному негоцианту!

Скажите же на милость, каким тут образом не сделаться желчным человеком, когда кругом себя видишь только злоупотребления или такое нахальное самодовольство, от которого в груди сердце воротит!..

А впрочем, знаете ли, и меня начинает уж утомлять мое собственное озлобление; я чувствую, что в груди у меня делается что-то неладное: то будто удушье схватит, то начнет что-то покалывать, словно буравом сверлит... Как вы думаете, доживу ли я до лета или же, вместе с зимними оковами реки Крутогорки, тронется, почуввав весеннее тепло, и душа моя?...»





ТАЛАНТЛИВЫЕ НАТУРЫ

КОРЕПАНОВ

В провинции печоринство приняло совершенно своеобразные формы; оно утратило свой демонический характер, свою прозрачность и нежность, которыми в особенности привлекает к себе симпатии дам, и облеклось в свой будничнейший, плотяной наряд, вполне соответственный нашему северному климату, который, как известно, ничего прозрачного и легкого не терпит. Провинциальных Печориных такое множество разных сортов и видов, что весьма трудно исчерпать этот предмет подробно. Одни из них занимаются тем, что ходят в халате по комнате и от нечего делать посвистывают; другие проникаются желчью и делаются губернскими Мефистофелями; третьи барышничают лошадьми или передергивают в карты; четвертые выпивают огромное количество водки; пятые переваривают на досуге свое прошедшее и с горя протестуют против настоящего... Общее у всех этих господ: во-первых, «червяк», во-вторых, то, что на «жизненном пире» для них не случилось места, и, в-третьих, необыкновенная размахистость натуры. Но главное — червяк. Этот глупый червяк причину тому, что наши Печорины слоняются из угла в угол, не зная, куда приклонить голову; он же познакомил их ближайшим образом с помещиками: Полежаевым, Сопиковым и Храповицким. К сожалению, я должен сказать, что Печорины водятся исключительно между молодыми людьми. Старый, заиндевевший чиновник или помещик не может сделаться Печориным; он на жизнь смотрит с практической стороны, а на терния или неудобства ее как на неизбежные и неисправимые. Это блохи и

клопы, которые до того часто и много его кусали, что сделались не врагами, а скорее добрыми знакомыми его. Он не вникает в причины вещей, а принимает их так, как они есть, не задаваясь мыслью о том, какими бы они могли быть, если бы... и т. д. Молодой человек, напротив того, начинает уже смутно понимать, что вокруг его есть что-то неладное, разрозненное, неклеящееся; он видит себя в странном противоречии со всем окружающим, он хочет протестовать против этого, но, не обладая никакими живыми началами, необходимыми для примирения, остается при одном зубоскальстве или псевдотрагическом негодовании. Коли хотите, тут и действительно есть червяк, но о свойствах и родопроисхождении его до сих пор не преподавали еще ни в одном университете, а потому и я, пишущий эти строки, предоставляю другим, более меня знающим, и в другой, более удобной для того форме, определить причины его зарождения и средства к исцелению.

У княжны Анны Львовны был детский бал, в котором, однако ж, взрослые принимали гораздо большее участие, нежели дети. Последние были тут, очевидно, ради одного спектакля, который мог доставить вящее удовольствие взрослым. Тут находились дети всех возможных сортов и видов, начиная от чумазных и слюнявых и кончая так называемыми «душками», составляющими гордость и утеху родителей. Чумазные веселились довольно шумно, нередко даже дрались между собою; они долгое время сначала сидели около маменькиных юпок, не решаясь вступить на арену веселия, но, однажды решившись, откровенно приняли княжеский зал за скотный двор и предались всей необузданности своих побуждений; напротив того, «душки» вели себя смиренно, грациозно расшаркивались сперва одною ножкой, потом другою, и даже весьма удовлетворительно лепетали французские фразы. На этом же бале встретился со мной незнакомый молодой человек (я в то время только что прибыл в Крутогорск), Иван Павлыч Корепанов, который держал себя как-то особняком от взрослых и преимущественно беседовал с молодым поколением. Он был высокого роста, носил очки и длинные волосы, которые у него кудрявились и доходили до плеч. Лицо у него было довольно странное; несмотря на то что его нельзя было назвать дурным, оно как-то напоминало об обезьяне, и вследствие того скорее отталки-

вало от себя, нежели привлекало. Впрочем, быть может, это казалось еще и потому, что все мускулы этого лица были до такой степени подвижны, что оно ни на секунду не оставалось в покойном состоянии. Я заметил, что сидевшие по стенам залы маменьки с беспокойством следили за Корепановым, как только он подходил к их детищам, и пользовались первым удобным случаем, чтобы оторвать последних от сообщества с человеком, которого они, по-видимому, считали опасным.

— Вы не знакомы с мсьё Корепановым? — спросила меня княжна, заметив, что я вглядываюсь в него, — хотите, я вас друг другу представлю?

Через минуту мы уже были знакомы и беседовали.

— Итак, вы тоже удостоились побывать в Крутогорске, — сказал он мне, — поживите, поживите у нас! Это, знаете, вас немножко расколодит.

— А вы давно здесь?

— Обо мне говорить нечего: я человек отпетый!.. А вас вот жалко!

— Вы говорите о Крутогорске, точно это и бог знает какое страшилище!

— Страшилище не страшилище — нет у него достаточно данных, чтоб быть даже порядочным страшилищем, — а помойная таки яма порядочная!.. И какие зловонные испарения от нее поднимаются, если б вы знали!

— Чем же вы здесь занимаетесь?

— А у меня занятие очень странное... это даже, коли хотите, уж и не занятие, а почти официальная должность: я крутогорский Мефистофель...

— Действительно, это странно.

— Вы удивляетесь, но это только теперь, покуда вы не обжились у нас... Поживите, и увидите, что здесь всякий человек обязывается носить однажды накиннутую на себя ливрею бессменно и неотразимо. У нас все так заранее определено, так рассчитано, такой везде фатализм, что каждый член общества безошибочно знает, что думает в известную минуту его сосед... Вот я, например, наверно знаю, что Анфиса Ивановна — вот эта дама в полосатой шали, которую она в прошлом году устроила из старых панталон своего мужа, — совершенно уверена, что я в настоящую минуту добела перемышляю с вами косточки наших ближних...

— Только уж не со мною, потому что я тут ни при чем...

— Ну, положим, хоть и ни при чем, но все-таки она

вас уже считает моим соучастником... Посмотрите, какие умоляющие взоры она кидает на вас! так, кажется, и говорит: не верь ему, этому злему человеку, шаль моя воистину новая, взятая в презент... тьфу, бишь! купленная в магазине почетного гражданина Пазухина!

— Я думаю, что эти ближние не должны чувствовать к вам особенного сердечного влечения?

— Не скажу этого; они знают, что ругать их мое назначение, моя служба, так сказать... Конечно, иногда не обходится без того, чтоб посердиться, но мы ведь свои люди и действуем по пословице: «Милые дерутся — только тешатся». Я уверен, что если б я оставил свое ремесло, они перестали бы уважать меня; мало того, они бы соскучились! Иногда мне случается быть несколько времени в отсутствии по делам службы — не этой, а действительной службы, — так, поверите ли, многие даже плачут: скоро ли-то наш Иван Павлыч воротится? спрашивают.

— Однако ж это незаметно, потому что вас, по-видимому, здесь обегают.

— Это только по-видимому, а в сущности, верьте мне, все сердца ко мне несутся... Они только опасаются моих разговоров с детьми, потому что дети — это такая неистощимая сокровищница для наблюдений за родителями, что человеку опытному и благонамеренному стоит только слегка запустить руку, чтоб вынуть оттуда целые пригоршни чистейшего золота!.. Иван Семеныч! Иван Семеныч! пожалуйте-ка сюда!

К нам подбежал мальчик лет пяти, весь завитой, в бархатной зеленой курточке и таковых же панталонцах.

— Рекомендую вам! Иван Семеныч Фурначев, сын статского советника Семена Семеныча Фурначева, который, двадцать лет живя с супругой, не имел детей, покуда наконец, шесть лет тому назад, не догадался съездить на нижегородскую ярмарку. По этому-то самому Иван Семеныч и слывет здесь больше под именем антихриста... А что, Иван Семеныч, подсмотрел ты сегодня после обеда, как папка деньги считает?

— Нельзя, — отвечал мальчик.

— Отчего же нельзя? я тебя учил ведь: спрятаться под кресло, которое в углу, и оттуда подсмотреть... Как вы осмелились меня слушаться, милостивый государь?

— Нельзя; папка видел.

— Стало быть, ты спрятался?

— Спрятался.

— Стало быть, ты все-таки что-нибудь видел?

— Сначала папка вынул много бумаг, и всё считал, потом вынул много денег — и всё считал!

— А потом, верно, и тебя увидел, да за уши из-под кресла и вытащил? Ну, теперь отвечай: какая на тебе рубашка?

— Батистовая.

— Хорошо. А какую рубашку носил твой папка в то время, когда к отческому дому гусей пригонял?

— Посконную.

— А откуда взял папка деньги, чтоб тебе батистовую рубашку сшить?

— Украл.

— Жан, пойдем со мной, — сказала госпожа Фурначева, подходя к нам, — он, верно, надоедает вам своими глупостями, господа?..

— Помилуйте, Настасья Ивановна, может ли такое прелестное дитя надоесть?.. Он так похож на Семена Семеныча!

— Скажите, однако ж, неужели у вас не найдется других занятий? — спросил я, когда от нас отошла госпожа Фурначева.

— А чем мои занятия худы? — спросил он в свою очередь, — напротив того, я полагаю, что они в высшей степени нравственны, потому что мои откровенные беседы с молодым поколением поселяют в нем отвращение к тем мерзостям, в которых закоренели их милые родители... Да позвольте полюбопытствовать, о каких это «других» занятиях вы говорите?

— Да вы где женибудь и чему-нибудь да учились?

— Учился, это правда, то есть был в выучке. Но вот уже пять лет, как вышел из учения и поселился здесь. Поселился здесь я по многим причинам: во-первых, потому, что желаю кушать, а в Петербурге или в Москве этого добра не найдешь сразу; во-вторых, у меня здесь родные, и следовательно, ими уж насижено место и для меня. В Петербурге и в Москве хорошо, но для тех, у кого есть бабушки и дедушки, да сверх того родовое или благоприобретенное. Но у меня ничего этого нет, и я еще очень живо помню, как в годы учения приходилось мне бегать по гостиному двору, и из двух подовых пирогов, которые продаются на лотках официантами в белых галстуках, составлять весь обед свой... Конечно, как воспоминание, это еще может иметь свою прелесть, но смею вас уверить, что в настоящее время я не имею ни малейшего желанья, даже в течение одной минуты, быть впроголодь... И ведь

какие это были подовые пироги, если б вы знали! чстью вас заверяю, что они отзывались больше сапогами, нежели пирогами!

— Но разве и в провинции нельзя найти для себя более дельного занятия?

— На этот вопрос я отвечу вам немедленно, а покуда позвольте мне познакомить вас еще с одним милым молодым человеком... Николай Федорыч! пожалуйста-ка, милостивый государь, сюда!..

Николай Федорыч мальчик лет семи и, в сущности, довольно похож на Ивана Семеныча, только одет попроще: без бархатов и батиста.

— Позвольте мне вас спросить, Николай Федорыч, какое самое золотое правило на свете?

— Не посещай воров, ибо сам в скором времени можешь сделаться таковым, — пролепетал скороговоркою мальчик.

— Отлично-с; вот вам за это конфетка. Этим мудрым изречением, почерпнутым из прописей, встретил меня Николай Федорыч однажды, когда я посетил его папашу, многоуважаемого и добрейшего Федора Николаича, — сказал Корепанов, обращаясь ко мне.

— Теперь я буду продолжать с вами прерванный разговор, — продолжал он, когда мальчик ушел, — вы начали, кажется, с вопроса, учился ли я чему-нибудь, и я отвечал вам, что, точно, был в выучке. Какая была тому причина — этого я вам растолковать не могу, но только ученье не впрок мне шло. Я, милостивый государь, человек не простой; я хочу, чтоб не я пришел к знанию, а оно меня нашло; я не люблю корпеть над книжкой и клевать по крупнице, но не прочь был бы, если б нашелся человек, который бы знание влил мне в голову ковшом, и сделался бы я после того мудр, как Минерва... Все, что я в молодости моей от умных людей с кафедры слышал, все это только раззадорило меня или, лучше сказать, чувственно растревожило мои нервы... Потом, как я вам уже докладывал, оставил я храм наук и поселился, по необходимости, в Крутогорске... И вы не можете себе представить, в каком я был сначала здесь упоении! Молодой человек, кончивший курс наук, приехавший из Петербурга, бывавший, следовательно, и в аристократических салонах (ведь чем черт не шутит!), нагладевшийся на итальянскую оперу — этого слишком достаточно, чтобы произвести общий фурор. И бабё это действительно до такой степени на меня накинuloсь, что даже вспомнить тошно! И вот-с, сел я в эту

милую колясочку и катаюсь в ней о сю пору... Что прежде знал, все позабыл, а снова приниматься за черепословие — головка болит.

Сказав это, он взглянул на меня как-то особенно выразительно, так что я мог ясно прочитать на лице его вопрос: «А что! верно, ты не ожидал встретить в глуши такого умного человека?»

— Знаете, — продолжал он, помолчав с минуту, — странная вещь! никто меня здесь не задевает, все меня ласкают, а между тем в сердце моем кипит какой-то страшный, неистощимый источник злобы против всех их! И совсем не потому, чтобы я считал их отвратительными или безнравственными — в таком случае я презирал бы их, и мне было бы легко и спокойно... Нет, я злобствую потому, что вижу на их лицах улыбку и веселие, потому что знаю, что в сердцах их царствует то довольство, то безмятежие, которых я, при всех своих благонамеренных и высоко-нравственных воззрениях, добиться никак не могу... Мне кажется, что самое это довольство есть доказательство, что жизнь их все-таки не прошла даром и что, напротив того, беснование и вечная мнительность, вроде моих, — признак природы самой мелкой, самой ничтожной... вы видите, я не щажу себя! И я ненавижу их, ненавижу всеми силами души, потому что желал бы отнять в свою пользу то уменье пользоваться дарами жизни, которым они вполне обладают...

— А мне кажется, вы все это напустили на себя, — отвечал я, — а в сущности, если захотите, можете сделать и вы много полезного в той маленькой сфере, которая назначена для нашей деятельности.

— Если вы поживете в провинции, то поймете и убедитесь в совершенстве, что самая большая польза, которую можно здесь сделать, заключается в том, чтобы делать ее как можно меньше. С первого раза вам это покажется парадоксом, но это действительно так.

— Докажите же мне это, потому что я не могу и не имею права верить вам на слово.

— Доказательства представит вам за меня самая жизнь, а я, признаюсь вам, даже не в состоянии правильно построить вам какой-нибудь силлогизм... Для этого необходимо рассуждать, а я давно уж этим не занимался, так что и привычку даже потерял.

— Ну, теперь, благодаря мсьё Корепанову, вы, верно, уж достаточно знакомы со всем крутогорским общест-

вом? — перебила княжна Анна Львовна, садясь возле меня.

— Нет еще, княжна, — отвечал Корепанов, — Николай Иваныч покамест более познакомился со мной, нежели с здешним обществом... Впрочем, здешнее общество осязательно изобразить нельзя: в него нужно самому втравиться, нужно самому пожить его жизнью, чтоб узнать его. Здешнее общество имеет свой запах, а свойство запаха, как вам известно, нельзя объяснить человеку, который никогда его не обонял.

— Вы злой человек, мсьё Корепанов!

— Это мой долг, княжна. И притом вы не совсем благодарны; если б меня не было, кто бы мог доставить вам столько удовольствия, сколько доставляю, например, я своим злоречием? Согласитесь сами, это услуга немаловажная! Конечно, я до сих пор еще не принес никакой непосредственной пользы: я не вырыл колодца, я не обжигал кирпичей, не испек ни одного хлеба, но взамен того я смягчал нравы, я изгонял меланхолию из сердец и посеял в них расположение к добрым подвигам... вот прямые заслуги моей юмористической деятельности!

— А что он обо мне сказал, мсьё Щедрин?

— До вас еще не дошла очередь, княжна... До сих пор мы с Николаем Иванычем об том только говорили, что мир полон скуки и что порядочному человеку ничего другого не остается... но угадайте, на чем мы решили?

— Умереть?

— Гораздо проще: отправиться домой и лечь спать...

И он действительно встал, зевнул, посмотрел лениво по сторонам и побрел из залы.

— Странный человек! и, однако ж, с большими способностями!.. une bonne tête!¹ — задумчиво сказала княжна, провожая его взором.

ЛУЗГИН

Господи! как время-то идет! давно ли, кажется, давно ли! Давно ли в трактире кипели горячие споры об искусстве, об Мочалове, о Гамлете? давно ли незабвенная С*** приводила в неистовство молодые сердца? давно ли приводили мы в трепет полицию?

Лузгин! мой милый, бесценный Лузгин! каким-то я застану тебя? все так же ли кипит в тебе кровь, так же ли

¹ Хорошая голова! (фр.)

ты безрасчетно добр и великодушен, по-прежнему ли одолевает тебя твоя молодость, которую тщетно усиливался ты растратить и вкривь и вкось: до того обильна, до того неистощима была животворная струя ее? Или уходили сивку крутые горки? или ты... но нет, не может это быть!

Так, или почти так, думал я, подъезжая к усадьбе друга моей молодости, Павла Петровича Лузгина. Прошло уж лет пятнадцать с тех пор, как мы не видались, и я совершенно нечаянно, находясь по службе в Песчанолесье, узнал, что Лузгин живет верстах в двадцати от города в своей собственной усадьбе. Признаюсь откровенно, при этом известии что-то мягкое прошло по моей душе, как будто до такой степени пахнуло туда весной, что даже нос мой совершенно явственно обонял этот милый весенний запах, который всегда действует на меня весело. Весна и молодость — вот те два блага, которые творец природы дал в утешение человеку за все огорчения, встречающиеся на жизненном пути. Весною поют на деревьях птички; молодостью, эти самые птички поселяются на постоянное жительство в сердце человека и поют там самые радостные свои песни; весною, солнышко посылает на землю животворные лучи свои, как бы вытягивая из недр ее всю ее роскошь, все ее сокровища; молодостью, это самое солнышко просветляет все существо человека, оно, так сказать, поселяется в нем и пробуждает к жизни и деятельности все те богатства, которые скрыты глубоко в незримых тайниках души; весною, ключи выбрасывают из недр земли лучшие, могучие струи свои; молодостью, ключи эти, не умолкая, кипят в жилах, во всем организме человека; они вечно зовут его, вечно порывают вперед и вперед... Отлично, что весна каждый год возвращается, и с каждым годом все как будто больше и больше хорошеет, но худо, что молодость уж никогда не возвращается. Самый ли процесс жизни нас умаивает, или обстоятельства порастрясут дорогой кости, только сердце вдруг оказывается такое дрябленькое, такое робконькое, что как начнешь самому о себе откровенно докладывать, так и показывается на щеках, ни с того ни с сего, девический румянец... Да хорошо еще, если румянец; худо, что иногда и его-то не оказывается в наличности.

Когда я вошел в залу, Лузгин и семейство его сидели уж за обедом, хотя был всего час пополудни.

— Щедрин!

— Лузгин!

Мы бросились друг к другу в объятия; но тут я еще

больше убедился, что молодость моя прошла безвозвратно, потому что, несмотря на радость свидания, я очень хорошо заметил, что губы Лузгина были покрыты чем-то жирным, щеки по местам лоснились, а в жидких бакенбардах запутались кусочки рубленой капусты. Нет сомнения, что, будь я помоложе, это ни в каком случае не обратило бы моего внимания.

— По углам, бесенята! — закричал он на детей, которые, повыскакав из-за стола, обступили нас, — жена! рекомендую: Щедрин, друг детства и собутыльник!

Я взглянул на его жену; это была молодая и свежая женщина, лет двадцати пяти; по-видимому, она принадлежала к породе тех женщин, которые никогда не стареются, никогда не задумываются, смотрят на жизнь откровенно, не преувеличивая в глазах своих ни благ, ни зол ее. Взгляд ее был приветлив, доверчив и ясен; он исполнялся какой-то кроткой, почти материнской заботливости, когда обращался на Лузгина; голос был свеж и звонок; в нем слышалась еще та полнота звука, которая лучше всего свидетельствует о неиспорченной и неутомленной натуре. Она никогда не оставалась праздною, и всякому движению своему умела придать тот милый оттенок заботливости, который женщине, а особенно матери семейства, придает какую-то особенную привлекательность. Вообще, такие женщины составляют истинный клад для талантливых натур, которые в семействе любят играть, по преимуществу, роль трутней.

— Очень рада, — сказала она, протягивая мне маленькую ручку, — Полинке очень приятно будет провести время с старым товарищем!

— Полинке! Сколько раз просил я тебя, Анна Ивановна, не называть меня Полинкой! — заметил он полусуто, полудосадуя и, обратясь ко мне, прибавил: — Вот, брат, мы как! в Полинки попали!

Тут я в первый раз взглянул на него попристальнее. Он был в широком халате, почти без всякой одежды; распахнувшаяся на груди рубашка обнаруживала целый лес волос и обнаженное тело красновато-медного цвета; голова была не прибрана, глаза сонные. Очевидно, что он вошел в разряд тех господ, которые, кроме бани, иного туалета не подозревают. Он, кажется, заметил мой взгляд, потому что слегка покраснел и как будто инстинктивно запахнул и халат и рубашку.

— А мы здесь по-деревенски, — сказал он, обращаясь ко мне, — солнышко полдничает — и мы за обед, солныш-

ко на боковую — и мы хр-хр... — прибавил он, ласково поглядывая на старшего сынишку.

Дети разом прыснули.

— Эй, живо! подавать сначала! — продолжал он. — Признаюсь, я вдвойне рад твоему приезду: во-первых, мы поболтаем, вспомним наше милое времечко, а во-вторых, я вторично пообедаю... да, бишь! и еще, в-третьих, — главное-то и позабыл! — мы отлично выпьем! Эх, жалко, нет у нас шампанского!

— Ах, Полинька, тебе это вредно, — сказала жена.

— Ну, на нынешний день, Анна Ивановна, супружеские советы отложим в сторону. Вредно ли, не вредно ли, а я, значит, был бы свинья, если б не напился ради приятеля! Полюбуйся, брат! — продолжал он, указывая на стол, — пусто! пьем, сударь, воду; в общество воздержания поступил! Эй вы, олухи, вина! Да сказать ключнице, чтоб не лукавила, подала бы все, что есть отменнейшего.

— Скажи, Николай, Маше, — прибавила от себя Анна Ивановна, — чтоб она то вино подала, которое для Мишенькиных крестин куплено.

— Мишенька — это пятый, — сказал Лузгин, — здесь четверо, а то еще пятый... сосуночек, знаешь...

Дети снова прыснули.

— Вы чего смеетесь, бесенята? Женись, брат, женись! Если хочешь кататься как сыр в масле и если сознаешь в себе способность быть сыром, так это именно масло — супружеская жизнь! Видишь, каких бесенят выкормили, да на этом еще не остановимся!..

Он взял старшего сынишку за голову и посмотрел на него с особенною нежностью. Анна Ивановна улыбалась.

— А папка вчера домой пьяный пришел! — поспешил сообщить мне второй сын, мальчик лет пяти.

— Да, пьян был папка вчера! — отвечал Лузгин, — свинья вчера папка был! От этих бесенят ничего не скроешь! У соседа вчера на именинах был: ну, дома-то ничего не дают, так поневоле с двух рюмок свалился!

— Ай, папка! сам сказал мамке, что две бутылки выпил! — вступилась девочка лет трех, сидевшая подле Анны Ивановны, — папка всегда домой пьян приезжает! — прибавила она, вздыхая.

— Женись, брат, женись! Вот этакая ходячая совесть всегда налицо будет! Сделаешь свинство — даром не пройдет! Только результаты все еще как-то плохи! — прибавил он, улыбаясь несколько сомнительно, — не действует! Уж очень, что ли, мы умны сделались, да выросли, только со-

весть-то как-то скользит по нас. «Свинство!» — скажешь себе, да и пошел опять щеголять по-прежнему.

— А главное, что это для тебя, Полинья, нездорово, — сказала Анна Ивановна.

— Ну, а ты как?

— Да что, служу...

— Слышал, братец, слышал! Только не знал наверное, ты ли: ведь вас, Щедриных, как собак на белом свете развелось... Ну, теперь, по крайней мере, у меня протекция есть, становой в покое оставит, а то такой стал озорник, что просто не приведи бог... Намеднишь град у нас выпал, так он, братец ты мой, следствие приехал об этом делать, да еще кабы сам приехал, все бы не так обидно, а то писаришку своего прислал... Нельзя ли, дружище, так как-нибудь устроить, чтобы ему сюда въезду не было?

Принесли ботвиньи; Лузгин попросил себе целую тарелку и начал сызнова свой обед.

— Ты, брат, ешь, — сказал он мне, — в деревне как поживешь, так желудок такую деятельною бестией делается, просто даже одолевает... Встанешь этак ранним утром, по хозяйству сходишь...

— Ах, какой папка лгун стал! — заметила девочка.

— Вот, дружище, даже поврать не дадут — вот что значит совесть-то налицо! У меня, душа моя, просто; я живу патриархом; у меня всякий может говорить все, что на язык взбредет... Анна Ивановна! потчуй же гостя, сударыня! Да ты к нам погостить, что ли?

— Нет, я на следствии в Песчанолесье, должен сегодня же быть там...

— Ну, стало быть, ночевать у нас все-таки можешь. Я, брат, ведь знаю эти следствия: это именно та самая вещь, об которой сложилась русская пословица: *дело не волк, в лес не убежит*... Да, друг, вот ты в чины полез, со временем, может, исправником у нас будешь...

Совершенно против моего желания, при этих словах Лузгина на губах моих сложилась предательская улыбка.

— А что, видно, нам с тобой этого уж мало? — сказал он, заметив мою улыбку, — полезай, полезай и выше; это похвально... Я назвал место исправника по неопытности своей, потому что в моих глазах нет уж этого человека выше... Я, брат, деревенщина, отношений ваших не знаю, я Цинциннат...

— А как мы давно не видались, однако ж? — прервал я.

— Да, пятнадцать лет! это в жизни человеческой тоже что-нибудь да значит!

— Вы, верно, не ожидали встретить Полинку таким? — спросила Анна Ивановна.

— Да, было, было наше время... Бывали и мы молодые, и мы горами двигали!.. Чай, помнишь?

— Как не помнить! хорошее было время!

— А впрочем, и теперь жару еще пропасть осталась, только некуда его девать... сфера-то у нас узка, разгуляться негде...

Раззудись, плечо!
Размахнись, рука!

вот, брат, нам чего бы нужно!

— Вот Полинка все жалуется, что для него простора нет, а я ему указываю на семейство, — прервала Анна Ивановна.

— Семейство, Анна Ивановна, это святыня; семейство — это такая вещь, до которой моими нечистыми руками даже и прикасаться не следует... я не об семействе говорю, Анна Ивановна, а об жизни...

— Да ты это так только, Полинка, говоришь, чтоб свалить с себя, а по-моему, и семейная жизнь — чем же не жизнь?

— Размеры не те, сударыня! Размеры нас душат, — продолжал он, обращаясь ко мне, — природа у нас широкая, желал бы захватить и вдоль и поперек, а размеры маленькие... Ты, Анна Ивановна, этого понимать не можешь!

— Признаюсь, и я что-то мало понимаю это.

— Да ты, братец, чиновник, ты, стало быть, удовлетворился — это опять другой вопрос; ты себя сузил, брюхо свое подкупил, сердце свое посолил, прокоптил и разменял на кредитные билеты...

— Однако ты не щадишь-таки выражений!

— Другое дело вот мы, грешные, — продолжал он, не слушая меня, — в нас осталась натура первобытная, неиспорченная, в нас кипит, сударь, этот непочатой ключ жизни, в нас новое слово зреет... Так каким же ты образом этакую-то широкую натуру хочешь втянуть в свои мизерные, зачерствевшие формы? ведь это, брат, значит желать протащить канат в игольное ушко! Ну, само собою разумеется, или ушко прорвет или канат не влезет!

— Однако ж надобно же иметь какой-нибудь выход из этого!

— Ищите вы! Наше дело сторона; мы люди непричастные, мы сидим да глядим только, как вы там стараетесь и как у вас ничего из этого не выходит!

— И я вот часто говорю Полиньке, чтоб он чем-нибудь занялся... предводитель наш очень нас любит... сколько раз в службу приглашал!

— Нет, Анна Ивановна, это не по нашей части; ты мне об этом не говори...

— Однако могут же быть и другие занятия?

— А какие это, позвольте спросить? в торговлю броситься — на это есть почтенное купеческое сословие; земледельцем быть — на это существуют мирные поселяне... Литература! наука! а позволь, брат, узнать, многому ли мы с тобой выучились? Да предположим, что и выучился я чему-нибудь, так ведь тут мало еще одного знания, надобен и талант... А если у меня его нет, так не подлец же я в самом деле, чтобы для меня из-за этого уж и места на свете не было... нет, любезный друг, тут как ни кинь, все клин! тут, брат, червяк такой есть — вот что!

— А что, каков у вас предводитель? — спросил я, чтоб переменить разговор.

— Да что, любезный друг, человек он хороший: свеч салных не ест, ездит часто в Крутогорск, там с кем следует нюхается... хороший человек! Только вот тут (он указал на лоб) не взъщите!

— Ну, полно же, Полинька! Алексей Петрович так любезен к тебе, а ты еще его вечно бранишь!

— Еще бы он не был любезен! он знает, что у меня горло есть... а удивительное это, право, дело! — обратился он ко мне, — посмотришь на него — ну, человек, да и все тут! И говорить начнет — тоже целые потоки изливает; и складно, и грамматических ошибок нет! Только, брат, бесцветность какая, пресность, благонамеренность!.. Ну, не могу я! так, знаешь, и подымаются руки, чтоб с лица земли его стереть... А женщинам нравиться может!.. Да я, впрочем, всегда спать ухожу, когда он к нам приезжает.

— Вот видишь, как он добр! он ведь знает, что ты его не любишь и не хочешь даже занять его, а между тем все-таки навещает нас!

— А знаешь ли, почему он приезжает к нам, почему он извиняет мне мое пренебрежение? — сказал Лузгин, обращаясь ко мне, — ведь он меня за низший организм считает!.. так, дескать, мужик какой-то! Он, изволишь ты видеть, человек просвещенный, с высшими взглядами, а я так себе, невежда, не могу даже понять, что предводители из

пшеничной муки пекутся! И надобно видеть, как он принимается иногда поучать меня — ну, точь-в-точь он патриарх, а я малый ребенок, который, кроме «папы» да «мамы», говорить ничего не умеет... так, знаешь, благосклонно, не сердясь.

— И ты выслушиваешь?

— Нет, братец, надоело. Прежде еще забавлялся, даже сам его на нравоученья натравливал, а нынче нет — очень уж он глуп! Опротивел.

Обед приходил к концу; мы выпили-таки достаточно, и надо сказать правду, что вино было недурное. Начали подавать пирожное.

— Ну, это не по нашей части! — сказал Лузгин, — пойдем ко мне в кабинет, а ты, Анна Ивановна, на сегодняшний день уж оставь нас. Легко может статься, что мы что-нибудь и такое скажем, что для твоих ушей неудобно... хотя, по-моему, неудобных вещей в природе и не существует, — обратился он ко мне.

Мы пришли в кабинет. Впрочем, я и до сих пор не могу себе объяснить, почему приятель мой, говоря об этой комнате, называл ее кабинетом. Тут не было ни одной из обыкновенных принадлежностей кабинета: ни письменного стола, ни библиотеки, ни чернильницы. По стенам стояли диваны, называемые турецкими, которые, по всей вероятности, более служили для спанья, нежели для беседы, так что и комнату приличнее было назвать опочивальнею, а не кабинетом. В одном углу торчала этажерка с множеством трубок, а в другом шкаф, но и в нем хранились не книги, а разбитые бутылки, подсвечники, сапожная щетка, бог весть откуда зашедшая, синяя помадная банка и вообще всякий хлам.

— Здесь мое царство! — сказал Лузгин, усаживая меня на диван.

— Эй, Ларивон! скажи барыне, чтоб прислала нам бутылочки три шипучки... Извини, брат, шампанского нет. Так-то, друг! — продолжал он, садясь подле меня и трепля меня по коленке, — вот я и женат... А что бы это подумал? кто бы мог предвидеть, что Павлушка Лузгин женится и остепенится?.. а порядочные-таки мы были с тобой ёрники в свое время!

— Однако ж расскажи, пожалуйста, как ты женился?

— А как, братец, очень простым манером. Вышел я тогда, как у нас говорят, из ученья, поехал, разумеется, к родителям, к папеньке, к маменьке... Отец стал на службу нудить, мать говорит: около меня посиди; ну, и соседи

тоже лихие нашлись — вот я и остался в деревне. Тут же отец помер... а впрочем, славное, брат, житье в деревне! я хоть и смотрю байбаком и к лености с юных лет сердечное влечение чувствую, однако ведь на все это законные причины есть... Приедешь иной раз в город — ну, такая, братец, там мерзость и вонь, что даже душу тебе воротит! Кляузы, да сплетни, да франтовство какое-то тупоумное!.. А воротиться в деревню — какая вдруг божья благодать всю внутренность твою просветлит! выйдешь этак на лужайку или вот хоть в лесок зайдешь — так это хорошо, и светло, и покойно, что даже и идти-то никуда не хочется! Сядешь под дерево, наверху тебе птичка песенку споет, по траве мурашка ползет, и станешь наблюдать за мурашкой...

— Однако все это не объясняет мне, каким образом ты женился?

— А женился я, братец, вот таким образом, — сказал Лузгин скороговоркой, — жила у соседей гувернантка, девочка лет семнадцати; ну, житье ее было горькое: хозяйка капризная, хозяин сладострастнейший, дети тупоголовые... Эта гувернантка и есть жена моя... понимаешь?

«Брак по состраданию!» — подумал я и продолжал громко:

— Неужели же ты с тех пор, как мы расстались, жил все в деревне?

— Какое, братец! ездил, ездил и в Петербург, только все это как-то не по мне! У меня натура цельная, грубая, — ну, а там всё выморозки... ты давно оттуда?

— Да лет с восемь.

— И не ездил туда никогда. Там и людей-то нет, а так, знаешь, что-то холодное, ослизлое — возьмешь в руку и бросишь: такая это дрянь! Ходят, братец, слоняются целый день, точно время-то у них на золотники продается, а посмотришь, в результате оказывается, что в таком-то месте часа три прождал, чтоб иметь счастье поганым образом искривить рот в улыбку при виде нужного лица, в другом месте два часа простоял, но и этого счастья не дождался. А провинциальное простодушие смотрит на эту толкотню, да только рот разевает: вот, мол, деловой-то город! Как же!

Произнося эту филиппику, Лузгин столь искренно негодовал на Петербург, что и мне самому вдруг начало казаться, что в руках у меня какая-то слизь, и перед глазами деревянные люди на пружинах ходят.

— Помнишь ты Пронина? ведь уж на что, кажется,

славный парень был! Ну, так слушай же. Приезжаю я в Петербург; туда-сюда, справляться, отыскивать старых знакомых, — между прочим, отыскался и Пронин. Прихожу к нему — он женат, однако переменялся мало и принял меня с распростертыми объятиями. Я, разумеется, очень рад, ну и говорю: хоть один человек! Однако, как бы ты думал? говорил он, говорил со мною, да вдруг, так, знаешь, в скобках, и дал мне почувствовать, что ему такой-то действительный статский советник Стрекоза внучатым братом приходится, а княгиня, дескать, Оболдуй-Тараканова друг детства с его женою, а вчера, дескать, у них раут был, баронесса Оксендорф приезжала... И всё, знаешь, этак в скобках: ты, дескать, не думай, любезный друг, что это для меня составляет важность, а так, надо же связи поддерживать! Так вот какими там прихвостнями самые порядочные люди делаются! Ну, с тех пор я и не ездил...

Принесли шипучку.

— Барыня приказала сказать, — обратился флегматически Ларивон к Лузгину, — что вам, сударь, пить не приказано.

— Ну, поди скажи барыне, что я потому-то именно и буду пить, что не приказано... Вот, братец, возится со мной, точно с малым ребенком...

— Да если в самом деле тебе вредно?

— Предрассудок, любезный друг! загляни в русскую историю, и увидишь, что не только бояре, но и боярыни наши вино кушали, и от этого только в теле раздавались, а никакого иного ущерба для здоровья своего не ощущали... Выпьем!

Мы выпили.

— Помянем, брат, свою молодость! Помянем тех, кто в наши молодые души семя добра заронил!.. Ведь ты не изменил себе, дружище, ты не продал себя, как Пронин, баронессе Оксендорф и действительному статскому советнику Стрекозе, ты остался все тот же сорвиголова, которому море по колено?

Мне показалось, что последние слова он произнес с легким оттенком иронии, и я внезапно ощутил какую-то неловкость во всем существе, как будто бы вдруг сделался виноват перед ним.

— А впрочем, как бы то ни было, а это достоверно, что Лузгин Павлушка остался тем же, чем был всегда, — продолжал он, — то есть душевно... Ну, конечно, в других отношениях маленько, быть может, и поотстали — что делать! всякому своя линия на свете вышла...

— Да, хорошо было прежде, — сказал я, оправляясь от своего смущения.

— Уж так-то, брат, хорошо, что даже вспомнить грустно! Кипело тогда все это, земля, бывало, под ногами горела! Помнишь ли, например, Катю — ведь что это за прелесть была! а! как цыганские-то песни пела! или вот эту: «Помнишь ли, мой любезный друг»? Ведь душу выплакать можно! уж на что селедка — статский советник Кобыльников из Петербурга приезжал, а и тот двадцатипятирублевую кинул — камни говорят!

— Да, Катя действительно отличная была девушка.

— Или помнишь ли Мочалова в «Гамлете»? *Умереть* — уснуть... *башмаков еще не износила...* и этот хохот, захватывающий дыханье в груди зрителя... Вот это жизнь, это сфера безграничная, как самое искусство, разнообразная, как природа!.. А что мы теперь?.. выпьем!..

Он впал в раздумье, уперся руками в колени и минуты две оставался молчаливым.

— Чего ж теперь-то тебе недостает? — спросил я, — ты, кажется, счастлив, у тебя семейство...

— Да, брат, я счастлив, — прервал он, вставая с дивана и начиная ходить по комнате, — ты прав! я счастлив, я любим, жена у меня добрая, хорошенькая... одним словом, не всякому дает судьба то, что она дала мне, а и за всем тем, все-таки... я свинья, брат, я гнусен с верхнего волоска головы до ногтей ног... я это знаю! чего мне еще надобно! насущный хлеб у меня есть, водка есть, спать могу вволю... опустился я, брат, куда как опустился!

— От тебя зависит и опять подняться...

— Нет, не говори этого! Пробовал я — и не идет. Кто привык каждый день пшеничные пироги есть, тому ржаной хлеб только оскомину набьет; кто привык на пуховиках отдыхать, тот на голом полу всю ночь проворочается, а не уснет! Я привык уж к праздности, я въелся в нее до такой степени, что даже и думать ни о чем не хочется, точно, знаешь, все мыслящие способности пеленой какою-то подернуты: не могу, да и все тут! И если я с тобой теперь разговорился, так это именно частный случай! А впрочем, что об этом толковать! видно, есть какой-нибудь нор в нас, что *все люди как люди, один черт в колпаке...* Молодость-то мы свою погано провели! Не столько лекциями, сколько безобразничеством да ухарством занимались — ведь помянуть, брат, ее нечем, молодость-то! *Satis!*¹ выпьем!

¹ Довольно! (лат.)

Мы выпили.

— Нет, — начал он снова, — тут что-нибудь да есть такое, какая-нибудь да вкралась тут опечатка, что нет вот да и нет тебе места на свете! Я, кажется, человек и честный, и не то чтобы совсем глупый — напротив, добрые люди еще «головой» зовут, — а ни за что-таки приняться не могу. Начнешь этак иногда сам с собой разговаривать, так даже во рту скверно делается: как ни повернешь делом, а все выходит, что только чужой век заедаешь. И добро бы жару, горячности, любви не было — есть, братец, есть все это! да так, верно, и суждено этому огню перегореть в груди, не высказавшись ни в чем... Нет, ты скажи: кто виноват-то, кто виноват-то в этом?

— Я полагаю, что это от того происходит, что ты представляешь себе жизнь слишком в розовом цвете, что ты ждешь от нее непременно чего-то хорошего, а между тем в жизни требуется труд, и она дает не то, чего от нее требуют капризные дети, а только то, что берут у нее с боя люди мужественные и упорные.

— Это отчасти правда; но ведь вопрос в том, для чего же природа не сделала меня Зеноном, а наградила наклонностями сибарита, для чего она не закалила мое сердце для борьбы с терниями суровой действительности, а, напротив того, смягчила его и сделала способным откликаться только на доброе и прекрасное? Для чего, одним словом, она сделала меня артистом, а не тружеником?.. Природа-то ведь дура, выходит!

Я вспомнил то, что слово «артист» было всегдашним коньком Лузгина, по мнению которого, «артистическая натура» составляла нечто не только всеобъемлющее, но и все извиняющее. Артистической натуре, на основании этого своеобразного кодекса, дозволяется сидеть сложивши руки и заниматься разговором сколько душе угодно, дозволяется решать безапелляционно вопросы первой важности и даже прорицать будущность любого народа. Артистической натуре отпускаются наперед все грехи, все заблуждения, ибо уму простых смертных могут ли быть доступны те тонкие, почти эфирные побуждения, которыми руководствуются натуры гениальные, исключительные, и может ли быть, следовательно, применен к ним принцип вменения? Артистическая натура вправе быть невежественною; *à la rigueur*¹, она может даже презирать самый процесс мышления, потому что ее назначение не мыслить,

¹ В сущности (фр.).

а прорицать, что несравненно выше и глубже. Итак, слова Лузгина не только не были для меня новостью, но даже напомнили мне целый ряд шумных и нескончаемых споров, которыми украшалась моя молодость; но, несмотря на это, как-то странно подействовало на меня это воспоминание. Привычка ли обращаться преимущественно с явлениями мира действительного, сердечная ли сухость, следствие той же практичности, которая приковывает человека к факту и заставляет считать бреднями все то, что ускользает от простого, чувственного осязания, — как бы то ни было, но, во всяком случае, мне показалось, что я внезапно очутился в какой-то совершенно иной атмосфере, в которой не имел ни малейшего желания оставаться дольше. Лузгин, вероятно, заметил это, потому что поспешил переменить разговор.

— Ну, а ты как? — сказал он.

— Да вот служу, как видишь.

— Служи, брат, служи. Дослужишься до высоких чинов, не забудь и нас, грешных.

— А разве ты тоже желал бы служить?

— Нет, брат, куда нам! А все, знаешь, как-то лучше, как есть протекция, как-то легче на свете дышится.

В эту самую минуту послышался шум подъезжающего к дому экипажа.

— Василий Иванович приехали, — доложил Ларивон, и вслед за тем ввалилась в кабинет толстая и неуклюжая фигура какого-то господина, облеченного в серое пальто.

— Вот кстати! — сказал Лузгин, бросившись навстречу новопришедшему.

— Честной компании мира и благоденствия желаем, — отвечал Василий Иванович, утирая пот, катившийся по лицу. — Мир вам, и мы к вам!

— Рекомендую! мой задушевный друг, Василий Иванович Кречетов, — сказал Лузгин, обращаясь ко мне, и затем представил Кречетову и меня.

— Много наслышан-с, — заметил Кречетов.

— Ну что, как дела? что в Крутогорске делается?

— А как бы вам доложить, благодетель? денег поистряс довольно, а толку не добился.

— Что ж говорят-то?

— Да просто никакого толку нет-с. Даже и не говорят ничего... Пошел я этта сначала к столоначальнику, говорю ему, что вот так и так... ну, он было и выслушал меня, да как кончил я: что ж, говорит, дальше-то? Я говорю: «Дальше, говорю, ничего нет, потому что я все рассказал». —

«А! говорит, если ничего больше нет... хорошо, говорит». И ушел с этим, да с тех пор я уж и изымать его никак не мог.

— Ах ты, простыня без кружева! Да разве денег у тебя с собой не было?

— Помилуйте, Павел Петрович, как не было-с. Известно, в губернский город без денег нельзя-с. Только очень уж они мудроно говорят, что и не поймешь, чего им желательно.

— Помоги, брат, ты ему! — обратился ко мне Лузгин.

— А в чем дело?

— Содержал я здесь на речке, на Песчанке, казенную мельницу-с, содержал ее двенадцать лет... Только стараниями своими привел ее, можно сказать, в отличнейшее положение, и капитал тут свой положил-с...

— Ну, капиталу-то ты немного положил, — заметил Лузгин.

— Нет-с, Павел Петрович, положил-с, это именно как пред богом, положил-с, — это верно-с. Только вот приходит теперь двенадцатый год к концу... мне бы, то есть, пользу бы начать получать, а тут торги новые назначают-с. Так мне бы, ваше высокоблагородие, желательно, чтоб без торгов ее как-нибудь...

— То есть вам желательно бы было, чтобы в вашу пользу смошенничали?

— Э, брат, как ты резко выражаешься! — сказал Лузгин с видимым неудовольствием, — кто же тут говорит о мошенничествах! а тебя просят, нельзя ли *направить* дело.

— Да я-то что ж могу тут сделать?

— А ты возьми в толк, — человек-то он какой! золото, а не человек! для такого человека душу прозакладывать можно, а не то что мельницу без торгов отдать!

— Да я-то все-таки тут ничего не могу.

— Э, любезный! дрянь ты после этого!

Он отвернулся от меня и обратился к Кречетову:

— Брось, братец, ты все эти мельницы и переезжай ко мне! Тебе чего нужно? чтоб был для тебя обед да была бы подушка, чтоб под голову положить? ну, это все у меня найдется... Эй, Ларивон, водки!

Прошло несколько минут томительного молчания; всем нам было как-то неловко.

— А какие, Павел Петрович, нынче ржи уродились! — сказал Кречетов, — даже на удивление-с...

— Гм... — отвечал Лузгин и несколько раз прошелся

по комнате, а потом машинально остановился перед Кречетовым и посмотрел ему в глаза.

— Так ты говоришь, что ржи хорошие? — произнес он.

— Отменнейшие-с. Поверите ли, даже человека не выдать — такая солома...

— Может быть, колосом не выдут? — спросил Лузгин.

— Нет-с, и колос хорош, и зерно богатое-с.

Принесли водки; Лузгин начал как-то мрачно осушать рюмку за рюмкой; даже Кречетов, который должен был привыкнуть к подобного рода сценам, смотрел на него с тайным страхом.

— А ты не будешь пить? — спросил меня Лузгин.

— Нет, я не пью.

— Разумеется, разумеется — куда ж тебе пить? Пьют только свиньи, как мы... выпьем, брат, Василий Иваныч!

Мне приходилось из рук вон неловко. С одной стороны, я чувствовал себя совершенно лишним, с другой стороны, мне как-то неприятно было так разительно обмануться в моих ожиданиях.

— Мне надо бы в город, — сказал я.

Лузгин пристально посмотрел на меня.

— Ты, может быть, думаешь, что я в пьяном виде буйствовать начну? — сказал он, — а впрочем... Эй, Ларивон! лошадей *господину* Щедрину!

Через полчаса мы расстались. Он сначала холодно пожал мне руку на прощанье, но потом не выдержал и обнял меня очень крепко.

Я поехал по пыльной и узкой дороге в город; ржи оказались в самом деле удивительные.

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНЫЧ БУЕРАКИН

— Дома? — спросил я, вылезая из кибитки у подъезда серенького деревянного домика, в котором обитал мой добрый приятель, Владимир Константиныч Буеракин, владелец села Заовражья, живописно раскинувшегося в полуверсте от господской усадьбы.

— Дома, дома! — отвечал Буеракин, собственною особой показываясь в окошке.

Но прежде нежели я введу читателя в кабинет моего знакомого, считаю долгом сказать несколько слов о личности Владимира Константиныча.

Буеракин был сын богатых и благородных родителей.

Отец его был усердным помещиком, но вместе с тем ни наружностью, ни цивилизацией нисколько не напоминал того ленивого и несколько заспанного типа помещика, который, неизвестно почему, всего чаще является нашему воображению. Нет, старик считал себя одним из передовых людей своего времени, не прочь был повольнодумствовать в часы досуга и вообще был скептик и вольтерьянец. Заметно было, однако ж, что все эти аналитические стремления составляли в жизни старика не серьезное убеждение, а род забавы или отдохновения или, лучше сказать, игру *casse-tête*¹, не имевшую ничего общего с его жизнью и никогда не прилагавшуюся на практике. Тем менее могли быть они не только прилагаемы, но даже высказываемы при Володе. В отношении к сыну старик Бугракин являлся в шкуре старого грешника, внезапно понявшего, что грешить и не время и не к лицу. Поэтому, если когда-нибудь и прорывалось у него при Володе что-нибудь сомнительное, то он немедленно спешил поправить свой промах. Вообще Володя был воспитываем в правилах субординации и доверия к папашиному авторитету, а о старых грехах почтенного родителя не было и помину, потому что на старости лет он и сам начал сознавать, что вольтерьянизм и вольнодумство не что иное, как дворянская забава.

Несмотря на это, с Володей приключилось странное происшествие. Слушая лекции в школе, вдали от надзора родительского, он хотя твердо помнил советы и наставления, которыми нашпиговали его юную голову, однако, к величайшему своему изумлению и вполне неприметным для себя образом, пошел по иному пути. Не то чтоб в голове его выработались какие-нибудь положительные результаты, а просто ему нравилась атмосфера, царствовавшая в аудитории, нравились слова, произносимые в нецеремонных товарищеских беседах, и мало ли что еще! Возвращаясь домой поздно вечером, он принимался сводить в одно целое все говоренное и слышанное в течение дня, и хотя не успевал в этом, но чувствовал себя как-то отлично хорошо и легко. В чем именно заключалось это хорошее и легкое, он определить не мог, а просто хорошо, да и все тут.

Всякому из нас памятно, вероятно, эти дни учения, в которые мы не столько учимся, сколько любим поговорить, а еще больше послушать, как говорят другие, о раз-

¹ Головоломку (фр.).

ных взглядах на науку и в особенности о том, что надо во что бы то ни стало идти вперед и развиваться. Под словом «развиваться» разумеются нередко вещи весьма неопределенные, но всегда привлекательные для молодежи. Если немногие, вследствие этих разговоров, получают положительный вкус к науке, зато очень многие делаются дилетантами и до глубокой старости стоят за просвещение и за *comme il faut*, которое они впоследствии начинают не шутя смешивать с просвещением.

— *C'est un homme si savant, si instruit!*¹ — говорят обыкновенно девицы, слегка при этом вздрагивая и сжимаясь.

— *Et si comme il faut!*² — прибавляют дамы.

— *O, c'est une tête bien organisée!* — замечают мужчины, принимая дипломатический вид, — *ça fera son chemin dans le monde... surtout si les dames s'y prennent...*³

И вот пошел дилетант гулять по свету с готовою репутацией!.. Но к делу.

Как дитя благовоспитанное и благородное, Володя, несмотря на увлечение, которому поддался наравне с прочими, не мог, однако ж, не вспоминать родительских наставлений, тем более что родители обращались с ним не столько как с рабом, сколько как с милым ребенком, имеющим чувствительное сердце. Это дало им право на полную благодарность и привязанность с его стороны. Ему было всегда так весело, что родители у него такие миленькие, чистенькие родители, что папá отчасти даже вольтерьянец, *un tout petit peu*⁴, и вообще сочувствует порывам, а маман всегда так мило одета, *toujours causante, affable*⁵. Поэтому-то он из всех сил хлопотал и бился о том, чтобы как-нибудь согласить несколько старческий скептицизм папаши, по какому-то странному обстоятельству легко мирившийся и с авторитетом и с субординацией, с автономическими стремлениями школьного кружка, в котором он поневоле вращался.

Тогда произошел в Володе тот разлад, который необходимо происходит в детях благовоспитанных, имеющих несчастье долгое время тереться между детьми сапожников и других господ прискорбно-огорченного свойства.

¹ Это такой ученый, такой образованный человек! (*фр.*)

² И такой порядочный! (*фр.*)

³ О, это хорошо организованная голова! он проложит себе дорогу в свете... особенно если за это возьмутся дамы... (*фр.*)

⁴ Чуть-чуть (*фр.*)

⁵ Всегда разговорчива, мила (*фр.*)

С одной стороны, не подлежало сомнению, что в душе его укоренились те общие и несколько темные начала, которые заставляют человека с уважением смотреть на всякий подвиг добра и истины, на всякое стремление к общему благу. Но, с другой стороны, рядом с этими убеждениями воспиталось в нем и другое чувство — чувство исключительности, заставлявшее его думать, что цивилизация, со всеми ее благами и плодотворными последствиями, может принадлежать в полную собственность лишь ему и другим Буеракиным. Поэтому, если он и ладил с школьной молодежью, которая, по обыкновению, густою толпой окружала благовидного и богатого барича, то тайные, живые его симпатии стремились совсем не к ней, а к господам Буеракиным, которые близки было его сердцу и по воспитанию, и по тем стремлениям к общебуеракинскому обновлению, которое они считали необходимым для поправления буеракинских обстоятельств. В сущности, Владимир Константиныч был весьма близко к своему папá, по пословице: «От свиньи не родятся бобренки, а всё поросенки». В нем обретался тот же дилетантизм, то же бессилие к чему-нибудь определенному и положительному; только формы были несколько мягче и общедоступнее.

В то время, как я познакомился с ним, ему было уже лет тридцать, и он обладал приличною помещичьему званию тучностью. Папá его давно лежал уж в могиле; тапан тоже вскоре последовала за своим супругом. Оба они покоились рядышком под великолепными памятниками на кладбище села Заовражья. Нельзя сказать, чтобы Владимир Константиныч, приняв в свои руки кормило правления, не старался сделаться полезным для своих крестьян, но роль благодетельного и просвещенного помещика не далась ему. Сам ли он был с изьянцем, или крестьяне у него оказались оболтусами — неизвестно; но он должен был оставить административные поползновения свои. В результате оказалось, что, живучи в деревне, он достиг только того, что обрюзг и страшно обленился, не выходя по целым дням из халата.

— Насилу-то вас занесло в нашу сторону, — сказал он, протягивая мне обе руки, — а я было не на шутку начинал думать, что становые ведут себя примерно.

— Какую же связь имеет мой приезд к вам с поведением становых?

— Ну, не хитрите, не скрывайте же, милейший мой Немврод, велий ловец становых пред губернатором! разве мы не знаем, зачем вы в наши страны жалуете!

И он начал похаживать по комнате, посматривая на меня и улыбаясь несколько иронически.

— Ну, слава богу! кажется, все обстоит по-старому! — продолжал он, весело потирая руки. — Немврод в движении, — стало быть, хищные звери не оставили проказ своих... Ну, а признайтесь, вы, верно, на ловлю собрались?

Я сознался.

— То-то же! я на это имею уж взгляд... А знаете ли, ведь вы отличнейший человек... Это я вам говорю без комплиментов...

Я поблагодарил.

— Только жаль, что донкихотствуете, — прибавил он.

— Это почему?

— Да потому, что вот задумали всех блох переловить... Сами согласитесь, что ведь на это порошок такой нужен и что с одними пальцами, как бы они ни были прытки, тут не уедешь далеко... А ну, покажите-ка мне ваш порошок!

— Я делаю, что могу, — возразил я.

— То-то что могу! вот вы одну какую-нибудь крохотную блошинку изловите, да и кричите что мочи есть, что вот, дескать, одной блошицей меньше, а того и не видите, что на то самое место сотни других блох из нечистоты выскакивают... такое уж, батюшка, удобное для этой твари место...

— Согласитесь, однако ж, что если бы все смотрели на это так же равнодушно, как вы смотрите; если б никто не начинал, а все ограничивались только разговорцем, то куда ж бы деваться от блох?

— Так вы серьезно верите в злодеев, верите в злоупотребления? — спросил он, останавливаясь передо мной.

— Как нельзя более серьезно.

— И думаете, что все эти действия, которые вы называете злодействами и злоупотреблениями, что вся эта галиматья, одним словом, проникнута какую-нибудь идеей, что к ней можно применить принцип «вменения»?

— Да.

— Да это потеха, и вы истинно наивный молодой человек! Я очень желал бы, чтоб вы покорооче сошлись с нашим милейшим Иваном Демьянычем, чтобы вы лично удостоверились, как он кротко пьет водку, как благодушно с вами беседует, как он не знает, чем угостить, где усадить вас... А между тем не безызвестно и вам, господин губернский чиновник, что тот же самый Иван Демьяныч с удовольствием и совершенно спокойною совестью оберет догла добродушного субъекта, который попадетсЯ ему в

вёршу... И вы называете преступником этого прекраснейшего отца семейства, этого добродетельного гражданина?

— А вольно же ему ставить верши!

— А ставит он их потому, что так инстинкт ему велит: ставит потому, что он животное плотоядное... Слышали вы когда-нибудь о танце, называемом «комаринскою»?

— Слышал.

— Это такой, сударь, танец, в котором ни связи, ни системы, ни смысла ни под каким видом добиться нельзя. Разве можете дать себе отчет, почему он танцуется так, а не иначе? Точно таким же образом течет и жизнь Ивана Демьяныча: он не умствует, не заносится, танцует себе комаринскую, покуда ноги носят. И каким образом, спрашиваю я вас, прекратите вы этот танец, если он в нравах, если в воздухе есть что-то располагающее к нему? Ну, положим, вы его остановили, вы размяли ему надлежащим образом руки и ноги, научили становиться в пятую позицию, делать *chassé en avant, pas de cosaque* и проч. Но что же из этого? Выпустили вы его из-под вашей ферулы, смóтрите, — а он опять отплясывает комаринскую... Так-то, мой милейший!

Разговор этот, однако ж, тяготил меня.

— Ну, а вы что поделываете? — спросил я после некоторого молчания, чтобы переменить тему.

— Да вот как видите. Ленюсь и отчасти мечтаю о том, как вы, бедняги, люди молодые и задорные, желаете луну с неба селитряною кислотой свести, душу станового наизнанку выворотить, как вы черненькое хотите сделать сереньким, и как это черненькое изо всех сил протестует против ваших администраторских поползновений...

— Это занятие очень милое, — сказал я, — действительно, оно легче, если я буду в халатике похаживать да показывать добрым людям, какие у меня зубы белые, нежели дело делать.

— А что вы думаете? и в самом деле, показывать зубы весело, особливо если они белые и вострые... Все смотрят на тебя и думают: о, этому господину не попадайся на зубы: как раз раскусит! Это я на себе испытал! знаете ли вы, что я здесь слышу за отменно злого и, следовательно, за отменно умного человека?

— Знаю... что ж, это и справедливо... отчасти...

— Вы мне льстите. Я вам скажу, напротив, что я отменно добрый, и хотя действительно не совсем глупый, но совершенно негодный человек... знаете ли вы, чем я занимаюсь?..

— Нет, но догадываюсь...

— Например?

— А вот похаживаете из угла в угол и думаете, что кругом вас все так скверно, так растленно, так неопратно, что никакая панацея этого ни изменить, ни исправить не может...

— Угадали. Но от вас ускользнули некоторые подробности, которые я и постараюсь объяснить вам. Первое дело, которым я занимаюсь, — это мое искреннее желание быть благодетельным помещиком. Это дело не трудное, и я достигаю достаточно удовлетворительных результатов, коль скоро как можно менее вмешиваюсь в дела управления. Вы, однако ж, не думайте, чтоб я поступал таким образом из беспечности или преступной лени. Нет, у меня такое глубокое убеждение в совершенной ненужности вмешательства, что и управляющий мой существует только для вида, для очистки совести, чтоб не сказали, что овцы без пастыря ходят... Поняли вы меня?

— Ну, тут еще не много работы...

— Больше, нежели вы предполагаете... Однако ж в сторону это. Второе мое занятие — это лень. Вы не можете себе вообразить, вы, человек деятельный, вы, наш Немврод, сколько страшной, разнообразной деятельности представляет лень. Вам кажется вот, что я, в халате, хожу бесполезно по комнате, иногда насвистываю итальянскую арию, иногда поплеываю, и что все это, взятое в совокупности, составляет то состояние души, которое вы, профаны, называете праздностью.

— Почти что так, — заметил я мимоходом.

— Вы меня извините, но вы глубоко заблуждаетесь. Все это происходит от вашей близорукости, от того, что вы, господа Немвроды, не умеете читать за строками, что вас поражает только то, что хлещет вам прямо в глаза. Вы не в состоянии понять, что никогда деятельность души не бывает так напряженно сильна, как в то время, когда я сплевываю или мурлыкаю под нос арию: *Oh, per che non posso odiar ti!*¹ Вы не можете постигнуть, какая страшная работа происходит тогда во мне, какие смелые утопии, какие удивительнейшие панацеи рождаются в моем возбужденном воображении. Вы люди практические и, следовательно, ограниченные; вам бы вот только блоху поймать, да и сжечь ее на свечке; вы даже не хотите посмотреть, как она дрыгает ножками, палимая огнем, потому что

¹ О, почему не могу я тебя ненавидеть! (ит.)

вдали мелькает перед вами другая блоха, которую вам также настойт изловить... Ну, а мы, люди мысли, люди высших взглядов и общих соображений, мы смотрим на это дело иначе: нас занимают мировые задачи... так-то-с!

Последние слова он произнес не без иронии.

— И вы не можете себе представить, — продолжал он, — какая втягивающая, почти одурманивающая сила заключается в этой лени! Ходишь этак по комнате, ходишь целый день, а мысли самые милые, самые разнообразные так и роятся, так и роятся в голове... Иная даже как-то особенно пристанет к тебе, словно вот пчела жужжит, да так сладко, так успокоительно. Ну, и доволен, да еще так доволен, что на приезд постороннего — я не говорю этого об вас — смотришь как на что-то вроде наказания... Знаете, я все добиваюсь, нельзя ли как-нибудь до такого состояния дойти, чтоб внутри меня все вконец успокоилось, чтоб и кровь не волновалась, и душа чтоб переваривала только те милые образы, те кроткие ощущения, которые она самодеятельно выработала... вы понимаете? — чтоб этого внешнего мира с его прискорбием не существовало вовсе, чтоб я сам был автором всех своих радостей, всей своей внутренней жизни... Как вы думаете, достигну я этого?

— Но позвольте мне заметить, — сказал я, — блаженством, которого вы так добиваетесь, обладают очень многие...

— Сумасшедшие, хотите вы сказать?.. договаривайте, не краснейте! Но кто же вам сказал, что я не хотел бы не то чтоб с ума сойти — это неприятно, — а быть сумасшедшим? По моему искреннему убеждению, смерть и сумасшествие две самые завидные вещи на свете, и когда-нибудь я попотчую себя этим лакомством. Смерть я не могу себе представить иначе, как в виде состояния сладкой мечтательности, состояния грез и несокрушимого довольства самим собой, продолжающегося целую вечность... Я понимаю иногда Вертера.

Приятель мой начал ходить большими шагами по комнате, и лицо его действительно приняло какое-то болезненно-довольное выражение.

— Знаете ли вы, какой предмет занимал меня перед вашим приездом? — спросил он, останавливаясь передо мной, — бьюсь об заклад, что ни за что в свете не угадаете.

— Очень может быть.

— Да; а между тем вещь очень простая. Вот теперь

у нас конец февраля и начинается оттепель. Я хожу по комнате, посматриваю в окошко, и вдруг мысль озаряет мою голову. Что такое оттепель? спрашиваю я себя. Задача не хитрая, а занимает меня целые сутки.

Оттепель — говорю я себе — возрождение природы; оттепель же — обнажение всех навозных куч.

Оттепель — с гор ручьи бегут; бегут, по выражению народному, чисто, непорочно; оттепель же — стекаются с задних дворов все нечистоты, все гнусности, которые скрывала зима.

Оттепель — воздух наполнен благоуханьем весны, ароматами всех злаков земных, весело восстающих к жизни от полугодового оцепенения; оттепель же — все миазмы, все гнилые испаренья, поднимающиеся от помойных ям... И все это: и миазмы и благоухания — все это стремится вверх к одному и тому же небу!

Оттепель — полное томительной неги пение соловья, задумчивый свист иволги, пробуждение всех звуков, которыми наполняется божий мир, как будто ищет и рвется природа вся в звуках излиться после долгого насильственного молчания; оттепель же — карканье вороны, наравне с соловьем радующейся теплу.

Оттепель — пробуждение в самом человеке всех сладких тревог его сердца, всех лучших его побуждений; оттепель же — возбуждение всех животных его инстинктов.

Ведь это, батюшка, почти стихи выходят!

Вы скажете, что меня занимают пустые вопросы, но объясните мне на милость: вы-то, вы-то решением каких мировых задач занимаетесь? Я, по крайней мере, изошряю свои диалектические способности, у меня, следовательно, есть самостоятельная деятельность; ну, а вы что? Строчите бумаги, ездите по губернии, ловите блох, но как вы там ни разглагольствуйте о разных высших взглядах, а все это делается у вас без всякого участия мысли, машинально, совершенно независимо от ваших убеждений. Для вас это ли делать, в карты ли играть — все одно! Ну, не во сто ли, не в тысячу ли крат моя участь завиднее вашей, а моя деятельность полезнее вашей? Я, по крайней мере, хожу, гляжу в окно, умиляюсь, размышляю... В недавнее время вот точно таким же образом я разрешил вопрос о том, что было бы, если б вместо болота, которое тянется, как вам известно, сзади моей усадьбы, вдруг очутился зеленый луг, покрытый душистыми и сочными травами?.. И вышли соображения довольно оригинальные и даже, можно сказать, философические...

— Любопытно было бы знать их.

— Теперь не время, а впоследствии я не отказываюсь объяснить их вам... В настоящее время я хотел вам доказать только ту истину, что, несмотря на мою кажущуюся лень и беспечность, я работаю отнюдь не менее, нежели вы, люди практические, и если результаты моих невинных работ незаметны, то и ваши усилия не приносят плодов более обильных... Хотите водки?

— Пожалуй.

— Эй, Павлуша! Отчего ты водку не подаешь? Разве не видишь, чиновник наехал?

Павлуша засмеялся.

— Чему ты смеешься?

— Да разве они чиновники?

— Ты неразвит еще, Павлуша! Ты думаешь, что чиновник непременно должен быть дикобраз... Вы его извините!

Павлуша вышел.

— А странный народ эти чиновники! — продолжал он, снова обращаясь ко мне, — наемни приехал ко мне наш исправник. Стал я с ним говорить... вот как с вами. Слушал он меня, слушал, и все не отвечает ни слова. Подали водки; он выпил; закусил и опять выпил, и вдруг его озарило наитие: «Какой, говорит, вы умный человек, Владимир Константиныч! отчего бы вам не служить?» Вот и вы, как выпете, может быть, тот же вопрос сделаете.

— Ну, а кроме шуток, отчего вы не служите?

— А позвольте вас спросить, почему вы так смело полагаете, что я не служу?

— Да потому, что не служите — вот и всё.

— А в таком случае позвольте вам доказать совершенно противное. Во-первых, я каждый месяц посылаю становому четыре воза сена, две четверти овса и куль муки, — следовательно, служу; во-вторых, я ежегодно жертвую десять целковых на покупку учебных пособий для уездного училища, — следовательно, служу; в-третьих, я ежегодно кормлю крутогорское начальство, когда оно благоволит заезжать ко мне по случаю ревизии, — следовательно, служу; в-четвертых, я никогда не позволяю себе сказать господину исправнику, когда он взял взятку, что он взятки этой не взял, — следовательно, служу; в-пятых... но как могу я объяснить в подробности все манеры, которыми я служу?

— Однако это легкая манера служить...

— Вы думаете? Это все зависит от взгляда. Я сам убежден, что легкая, но не для всякого. У вас в Крутогор-

ске есть господин — он тоже чиновник, — которого физиономия напоминает мне добродушно-насмешливое лицо Крылова. Вся служба этого чиновника или, по крайней мере, полезнейшая часть ее состоит, кажется, в том, что когда мимо его проходит кто-нибудь из ваших губернских аристократов, во всем величии, свойственном индейскому петуху, он вполголоса произносит ему вслед только два слова: «Хоть куда!» — но этими двумя словами он приносит обществу неоцененную услугу. Во-первых, эти слова очищают воздух от тлетворных испарений, которые оставляет за собой губернский аристократ, а во-вторых, они огораживают самого аристократа, который поспешно подбирает распущенный хвост, и из нахального индюка становится хоть на время скромною индейкой... Одним словом, это именно полезнейший сорт чиновника, потому что действительно и положительно смягчает нравы и искореняет дикость!.. Итак, за здоровье крутогорского Крылова и всех чиновников, подобно ему служащих обществу бескорыстно и нелицеприятно! — продолжал Буеракин, выпивая рюмку водки.

Я тоже выпил.

— Эту фанаберию, то есть жажду практической деятельности, — продолжал он, — долго носил и я в своей голове — и бросил. Такой уж у меня взгляд на вещи, что я не желаю ничем огорчаться и алкаю проводить дни свои в спокойствии. Другой на моем месте помчался бы по первопутке в Петербург, а я сижу в Заовражье, и совсем не потому, что желаю подражать Юлию Цезарю; другой читал бы книжки, а я не читаю; другой занялся бы хозяйством, а я не занимаюсь; другой бы женился, а я не женюсь... А ведь я не совсем-таки еще стар, чтобы уж тово...

— Так, напустили на себя дурь, — заметил я, — выдумали, что вам надоело, да и все тут.

— Может быть, может быть, господин Немврод! Это вы справедливо заметили, что я выдумал. Но если выдумка моя так удачна, что точка в точку приходится по мне, то полагаю, что не лишен же я на нее права авторской собственности... А! Пашенька-с! и вы тоже вышли подышать весенним воздухом! — прибавил он, отворяя форточку, — *знать, забило сердечко тревогу!*

Я тоже подошел к окну. На крыльце флигеля сидела девочка лет пятнадцати, но такая хорошенькая, такая умница, что мне стало до крайности завидно, что какой-нибудь дряблый Буеракин может каждый день любоваться ее веселым, умным и свежим личиком, а я не могу.

— Ваша? — спросил я.

— Дочь моего кучера. Желаете познакомиться? По этому случаю я вам предварительно анекдот расскажу. Был у меня товарищ, по фамилии господин Крутицын, добряк ужаснейший, но простоват, до непристойности безобразен и при этом влюбчив как жаба — все бы ему этак около юпочек. Вот и сыграл же с ним штуку другой товарищ, Прозоров, тоже малый простодушнейший, но побойчее. Уверили Крутицына, что к Прозорову приехала сестра, богатая наследница, которая до того влюблена в него, Крутицына, что его только и спит и видит. Устроили нарочно обед, чтоб доставить случай любовникам видеться, и одели крепостную девку Прозорова барышней. Нужно было видеть, как рассыпался перед ней Крутицын! Эта комедия продолжалась около часа, и когда уж всем надоело забавляться, посреди самых красноречивых объяснений Крутицына вдруг раздался голос хозяина: «Ну, будет, Акулька! марш в девичью!» Заверяю вас, что на наших глазах Крутицын поглупел на пол-аршина...

— Да, анекдот не дурен.

— А что вы думаете? Вы не обижайтесь, а, право, и с вами можно бы такую штуку сыграть, хоть вы и не Крутицын... Пашенька! бегите-ка сюда поскорей: я вам жар-птицу покажу!

Последовало несколько секунд молчания.

— А знаете ли, отличная вещь быть помещиком! — обратился он ко мне, — как подумаешь этак, что у тебя всего вдоволь, всякого, что называется, злаку, так даже расслабнешь весь — так оно приятно!

И он действительно опустил в вольтеровское кресло, будто ослаб.

— А впрочем, и то сказать, какие мы помещики! Вот у вас, в Крутогорске, я видел господина — это помещик! Коли хотите, крепостных у него нет, а станет он этак у окошечка — ан у него в садике арестантики работают: грядки полют, беседки строят, дорожки чистят, цветочки сажают... Посмотрит он на эту идиллию и пригорюнится. Подойдет к нему супруга, подползут ребятишки, мал мала меньше... «Как хорош и светел божий мир!» — воскликнет Михайло Степаныч. «И как отделан будет наш садик, душечка!» — отвечает супруга его. «А у папки денески всё валёванные!» — кричит старший сынишка, род *enfant terrible*¹, которого какой-то желчный господин научил повто-

¹ Сорванца (фр.).

рять эту фразу. «Цыц, постреленок!» — кричит Михайло Степаныч, внезапно пробужденный от идиллического сновидения... А вот он и не помещик!

В это время Пашенька вбежала в комнату, и, как видно, застенчивость не была одним из ее привычных качеств, потому что она, не ожидая приглашения, уселась в кресло с тою же непринужденностью, с какою сидела на крыльце.

— Пашенька! — сказал Буеракин, — известно ли вам, отчего у нас на дворе сегодня птички поют, а с крыш капель льется? Неизвестно? так знайте же: оттого так тепло в мире, оттого птички радуются, что вот господин Щедрин приехал, тот самый господин Щедрин, который сердца станowych смягчает и вселяет в непрременном заседателе внезапное отвращение к напитку!

— Какой вы все вздор городите! — сказала Пашенька, — какие там еще становые!

— Но нужно же вам знать, Пашенька, кто такой господин Щедрин... посудите сами!

— Известно, чиновники...

— Конечно, чиновники; но разные бывают, Пашенька, чиновники! Вот, например, Иван Демьяныч¹ чиновники и господин Щедрин чиновники. Только Иван Демьяныч в передней водку пьют и закусывают, а господин Щедрин исполняет эту потребность в собственном моем кабинете. Поняли вы, Пашенька?

— А зачем же вы их пускаете, если они чиновники?

— Нельзя, Пашенька! Они вот в Крутогорск поедут, его превосходительству насплетничают, что, мол, вот, ваше превосходительство, живет на свете господин Буеракин — опаснейший человек-с, так не худо бы господина Буеракина сцапцарапать-с. «Что ж, — скажет его превосходительство, — если он подлинно опасный, так сцапцарапать его таперича можно».

— Да и то бы пора: всё глупости говорите.

— Ну, а вы, моя умница, что сегодня делали?

— А какие мои дела? Встала, на кухню сбегала, с теткой Анисьей побранилась; потом на конюшню пошла — нельзя: Ваньку-косача наказывают...

— Вы, кажется, заврались, душенька?

— А что мне врать? известно, наказывают...

— И у вас, кажется, свой enfant terrible есть, как у Михайлы Степаныча! — сказал я.

Буеракин сконфузился.

¹ См. очерк «Порфирий Петрович». (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

— Потом домой пошла, — продолжала Пашенька, — на крыльчке посидела, да и к вам пришла... да ты что меня все рассматриваешь?.. ты лучше песенку спой. Спой, голубчик, песенку!

— Так вот вы каковы, Владимир Константиныч! — сказал я, — и песенки поете?

Буеракин покраснел пуще прежнего.

— Да ты, никак, застыдился, барин? — продолжала приставать Пашенька.

Но Буеракин молчал.

— А еще говоришь, что любишь! Нет, вот наша Арапка, так та точно меня любит!.. Арапка! Арапка! — кликнула она, высовываясь в форточку.

Арапка завилыла хвостом.

— Любишь меня, Арапка? любишь, черномазая? вот ужо хлебца Арапке дам...

— А хотите, я вам спою песенку? — спросил я.

— А пойте, пожалуй! мне что за надобность!

— Как что за надобность! Ведь вы сейчас просили Владимира Константиныча спеть песню...

— Да то *барин!* он вот никому песен не поет, а мне поет... *Барин* песни поет!

Сцена эта, видимо, тяготила Буеракина.

— Ну, полно же, полно, дурочка! — сказал он, стараясь улыбнуться, а в самом деле изображая своими устами гримасу довольно кислого свойства.

Павлуша, вошедший с докладом о приходе старосты, выручил его из затруднения.

— А! здравствуй, брат! здравствуй, Абрам Семеныч! давненько не изволили к нам жаловать! ну, как дела?

Пашенька скрылась.

— Да что, батюшка, совсем нам тутотки жить стало невозможно.

— А что?

— Да больно уж немец осерчал: сечет всех поголовно, да и вся недолга! «Не то, говорит, и сиденье у тебя, чтоб его стегать»... Помилосердуйте!

— Странно!

— Я ему говорил тоже, что, мол, нас и барин николи из своих ручек не жаловал, а ты, мол, колбаса, поди како дело завел, над христианским телом наругаться! Так он пуще еще осерчал, меня за бороду при всем мире оттаскал: «Я, говорит, всех вас издеру! мне, говорит, не указ твой барин! барин-то, мол, у вас словно робенок малый, не смыслит!»

— А он не пьян, Абрам Семеныч?

— Коли бы пьян! Только тем и пьян, стало быть, что с ручищам своим совладать не может... совсем уж мужикам неспособно стало!.. пожалуй, и ушибет кого ненароком: с исправником-то и не разделаешься в ту пору.

— Ну, хорошо, Абрам Семеныч! это я тебе благодарен, что ты ко мне откровенно... Ступай, пошли за Федором Карлычем, а сам обожди в передней.

— Как же вы говорите, что у вас управляющий только для вида? — сказал я, когда Абрам Семеныч вышел из комнаты.

— Да; я с тем и нанимал его... да что прикажете делать? самолюбив, каналья. Беспрестанные эти... превышения власти — так, кажется, у вас называются?

— Да.

— То выпорет, что называется, вплотную, сколько влезет, то зубы расшибет... Того и гляди, полиция пронюхает — ну, и опять расход... ах ты господи!

Говоря это, Владимир Константиныч действительно озирался, как будто бы полиция гналась по пятам его и с минуты на минуту готова была настичь.

— Уж я ему несколько раз повторял, — продолжал он встревоженным голосом, — чтоб был осторожнее, в особенности насчет мордасов, а он все свое: «Во-первых, говорит, у мужичка в сиденье истома и геморрой, если не тово... а во-вторых, говорит, я уж двадцать лет именьями управляю, и без этого дело не обходилось, и вам учить меня нечего!..» Право, так ведь и говорит в глаза! Такая грубая шельма!

— Отчего ж вы его не смените?

— Несколько раз предлагал, да нейдет! То у него, как нарочно, Амальхен напоследях ходит, то из деток кто-нибудь... ну, и оставишь из жалости... Нет, это верно уж предопределение такое!

Буеракин махнул рукой.

— А ведь мизерный-то какой! Я раз, знаете, собственными глазами из окна видел, как он там распоряжаться изволил... Привели к нему мужика чуть не в сажень ростом; так он достать-то его не может, так даже подпрыгивает от злости... «Нагибайся!» — кричит. Насилу его уняли!..

— А староста у вас каков?

— Он у меня по выбору...

— Зачем же вы ему не поручите управления, если он человек хороший?

— Да всё, знаете, говорят, свой глаз нужен... вот и навяжали мне этого немца.

— Федор Карлыч пришли! — доложил Павлуша.

Вошел маленький человек, очень плешивый и, по-видимому, очень наивный. По-русски выражался он довольно грамотно, но никак не мог овладеть буквою *л* и сверх того *наперсника* называл *соперником*, и наоборот.

— А! Федор Карлыч! — сказал Буеракин, — ну, каково, *mein Herr*, поживаете, каково прижимаете? Как Амалия Ивановна, в *ихнем* здоровье?

— Gut, sehr gut¹.

— Это хорошо, что гут, а вот было бы скверно, кабы ниht гут... Не правда ли, Федор Карлыч?

Буеракин видимо затруднялся приступить к делу. Я взялся было за фуражку, чтоб оставить их вдвоем, но Владимир Константиныч бросился удерживать меня.

— Нет, вы пожалуйста! — шептал он мне торопливо, — вы не оставляйте меня в эту критическую минуту. Я остался.

— Ну, так как же, Федор Карлыч? кофеек попиваем? а?

— На все свое время, — отвечал Федор Карлыч.

— Да, да; это правда... Немцы, знаете, народ пунктуальный; во всем им порядок нужен...

— Вам угодно было меня видеть? — перебил Федор Карлыч сухо.

— Да; знаете, Абрам Семенов ваш *соперник*...

Абрам Семенов, наскучив дожидаться в передней, вошел в это время в комнату.

— Я уж распорядился, — сказал Федор Карлыч.

— То есть как же вы распорядились?

— Он весьма требует розга, — отвечал Федор Карлыч хладнокровно, — розга и получит...

— Нет, уж это, видно, отдумать надобно, — заметил Абрам Семеныч, злобно мотая головой, но как-то сомнительно улыбаясь.

— Розга и получит! — повторил Федор Карлыч твердым и ясным голосом.

— Однако за что же? — проговорил Буеракин, видимо смущенный решительным тоном немца.

— Он меня «колбаса» сказал! — угрюмо сказал Федор Карлыч.

— Это уж больно что-то тово, — рассуждал Абрам

¹ Хорошо, очень хорошо (*нем.*).

Семеныч, — размахист стал оченно... Это, брат колбаса, больно уж вольготно тебе будет, коли начальников стегать станешь.

— Он получит розга, — повторил Федор Карлыч.

— Однако ж, согласитесь сами, мой почтеннейший! — сказал Буеракин, — разве приятно было бы, например, вам, если б, по чьему-нибудь крайнему убеждению, розга эта следовала вашей особе?

— О, если я заслужил — очень приятно!

— Que voulez-vous que je fasse! — обратился ко мне Буеракин, — ce n'est pas un homme, c'est une conviction, voyez-vous!¹

Федор Карлыч стоял совершенно бесстрастно, не шевеля ни одним мускулом.

— Нет, уж это оченно что-то размахисто будет! — повторил Абрам Семеныч, но как-то слабым голосом. Очевидно, злое сомнение уже начинало закрадываться в его душу.

— Он заслужил, и получит! — сказал Федор Карлыч.

— А если я попрошу вас оставить меня!.. — высказался вдруг Буеракин.

— О, я оставлю, но он все-таки розга получит: заслужил, и получит!

— Но я вас прошу оставить меня сейчас же... вы понимаете? то есть не комнату эту оставить, а мой дом, мое имение... слышите?

Немец взглянул с изумлением.

— О, это быть не может! — проговорил он через секунду совершенно равнодушно, — Абрам! марш!

Абрам Семеныч нехотя повиновался; Федор Карлыч медленно последовал за ним. Буеракин долгое время пребывал в изумлении с растопыренными руками.

— Ну, что же тут прикажете делать? — сказал он, обращаясь ко мне.

ГОРЕХВАСТОВ

Горехвастов преспокойно развалился на диване, между тем как Рогожкин и я скромно сидели против него на стульях.

Горехвастову лет около сорока; он, что называется,

¹ Что прикажете делать! это не человек, это убеждение, как вы видите! (фр.)

видный мужчина, вроде тех, которых зрелище поселяет истому в организме сорокалетних капиталисток и убогих вдов-ростовщиц. Росту в нем без малого девять вершков, либо белое, одутловатое, украшенное приличным носом и огромными, тщательно закрученными усами; сложенье такое, о котором выражаются: «на одну ладонку посадит, другою прикроет — в результате мокренько будет»; голос густой и зычный; глаза, как водится, свиные. Вообще заметно, что здесь материя преобладает над духом и что страсти и неумеренные увеселения плоти, говоря языком старинных русских романов, «оставили на нем свои глубокие бразды». Он заметно любит щеголять; на нем надето что-то круглое: сюртук не сюртук, пальто не пальто, фрак не фрак, а что-то среднее, то, что в провинции называют «обеденным фраком»; сапоги лаковые, перчатки палевые, жилет кашемировый, пестроты ослепительной; на рубашке столько складок, что ум теряется. Но несмотря на все это, несмотря на множество колец, украшающих его пухлые руки, и на нем самом, и на его одежде лежит какая-то печать поношенности, как будто и сам он, и все, что на нем, полиняло и выцвело. Когда я смотрю на него, мне, не знаю почему, всегда кажется, что вот передо мной человек, который ночи три сряду не спал и не снимал с себя ни «обеденного фрака», ни рубашки. Складки на рубашке смяты и на сгибах покрыты какою-то подозрительно тенью, платье на швах поистерлось, самые щеки одрябли и как-то неприятно хрящевато-белы. Словом, это один из тех субъектов, которые называются «жуирами»: живали и в роскоши, живали и в нищете, заставляли других из окна прыгать, но и сами из оного прыгивали.

В нравственном отношении он обладает многими неценными качествами: отлично передергивает карты, умеет подписываться под всякую руку, готов бражничать с утра до вечера, и исполняет это без всякого ущерба для головы, лихо поет и пляшет по-цыгански, и со всем этим соединяет самую добродушную и веселую откровенность. Одно только в нем не совсем приятно: он любит иногда приходить в какой-то своеобразный, деланный восторг, и в этом состоянии лжет и хвастает немилосердно.

В Крутогорск попал он совершенно случайно, и хотя это совершилось недобровольно, но он не показывал ни малейших признаков уныния или отчаяния.

— Произошло это дело вот каким образом, — рассказывал он мне однажды, в минуту откровенности, когда я попросил его объяснить, по каким коммерческим или слу-

жебным делам он осчастливил наш город, — затеяли мы этак штуку, знаете, en grand¹. Собралась нас целая компания, всё народ голодный, и притом жаждущий деятельности, жизненных бурь... Собрались мы и начали обдумывать строго свое положение... А надо вам сказать, что до этого времени мы большую игру вели, а потом как-то вдруг так случилось, что никто с нами играть не стал. «Нет, черт возьми! — сказал (как сейчас это помню) Петр Бурков, лихой малый и закадычный мой друг, — в таком положении нам, воля ваша, оставаться нельзя; мы, господа, люди образованные, имеем вкус развитой; мы, черт возьми, любим вино и женщин!» В это время — может быть, слышали вы? — имел в Петербурге резиденцию некоторый Размахнин, негодник тупоумнейший, но миллионер. Сын у него был — ну, этого никогда в трезвом виде никто не видывал; даже во сне, если можно так выразиться, пьян был, потому что спал все урывками, и не успеет, бывало, еще проспаться, как и опять, смотришь, пьян. Пробовали мы его в свою компанию залучить, однако пользы не оказалось никакой; первое дело, что отец отпускал ему самую малую сумму, всего тысяч десять на серебро в год, и, следовательно, денег у него в наличности не бывало; второе дело, что хотя он заемные письма и с охотой давал, но уплаты по ним приходилось ждать до смерти отца, а это в нашем быту не расчет; третье дело, чести в нем совсем не было никакой: другой, если ткнуть ему кулаком в рожу или назвать при всех подлецом, так из кожи вылезет, чтобы достать деньги и заплатить, а этот ничего, только смеется. Следовательно, надо было действовать на отца. А старик хоть и держал своего сына в черном теле, однако ж любил его, но любил, если можно так выразиться, утробою. Вот эту-то утробную любовь и решились мы эксплуатировать. В один прекрасный вечер двое из нас переоделись в официальное платье и, перекрестившись, отправились к Размахнину. Старик перепугался, особенно как мы ему объяснили, что цель нашего посещения заключается в том, чтобы сына его, за такие-то и такие-то дебоширства, взять и отвезти в такое место, куда, можно сказать, ворон костей не нашивал... Проливает слезы, валяется в ногах: «Батюшки, говорит, что хотите возьмите, только Алешку моего не трожьте! я, говорит, его сею минутою через чухонских контрабандистов за границу отправлю». И смиловались мы над положением

¹ В крупном размере (фр.).

злополучного старца — взяли сто тысяч и ушли. Только тут случилась с нами самая скверная штука: выходим мы на подъезд, потихоньку даже посмеиваемся, как вдруг перед нами, словно из земли выросли, три кавалера ужаснейших размеров... Уж, кажется, я не могу назваться слабонервным, а даже и со мной дурно сделалось... И вот, как видите, я в Крутогорске, прочие в других тихих городах переплывают многоволнистое житейское море... Что делать! *il faut que jeunesse passe!*¹

Такого рода добродушная откровенность делала отношения к Горехвастову чрезвычайно легкими и приятными. В крутогорских салонах было решено, что молодой человек «увлекался» — кто же не увлекался в молодости? — но что, во всяком случае, нельзя же увлеченья в порок ставить. И на совете губернских аристократов было решено Горехвастова принимать, но в карты с ним не играть, и вообще держать больше около дам, для которых он, своими талантами, может доставить приятное развлечение. А так как я также (говорю это не без некоторой гордости) был всегда одним из ревностнейших посетителей крутогорских салонов, то, следуя за общим движением умов, тоже в скором времени сблизился с Горехвастовым, и он даже очень полюбил меня.

— *Entre nous soit dit*², — говаривал он мне по этому случаю, — мы одни только и можем понимать друг друга. Посмотрите кругом: что это за чудачки, что за рожи, что за костюмы! Один из своего фрака точно из брички выглядывает; другой курит сигары, от которых воняет печеными раками; третий прибегает к носовому платку только для того, чтобы обтереть им пальцы; четвертый, когда карты сдает, оба пальца первоначально в рот засунет... Господи! какое безобразие! Поэтому вы не удивляйтесь, Николай Иванович, если я предпочитаю быть с вами.

И я действительно, по врожденной мне скромности, с терпением взирал на его посещения, которые иногда не на шутку меня одолевали.

Что касается до Рогожкина, то это маленький человек, совершенно кругленький. Он, когда-то служил в военной службе, но вскоре нашел, что тут только одно расстройство здоровья, вставать надо рано, потом часов пять ходить, а куда идешь — неизвестно, и потому решился приютиться по гражданской части, где, по крайности, хоть

¹ Надо, чтобы молодость прошла! (*фр.*)

² Между нами говоря (*фр.*).

выспаться вволю дают. В настоящее время он имеет тот несколько томный вид, который невольным образом приобретают искатели мест, не снабженные достаточно убедительными рекомендательными письмами. Но когда разговор заходит о каком-нибудь вакантном месте, то в глазах его внезапно зажигается плотоядный огонь и на устах показывается слюнотечение. Говорит он довольно вразумительно, но с околичностями, и усердно смеется, когда того требуют обстоятельства или когда видит, что другие смеются. Впрочем, он малый добрый и привязанный, а на Горехвастова смотрит как на высшее существо и охотно исполняет его маленькие поручения, как-то: набивает и закуривает ему трубку, распоряжается насчет питейного и съедобного и сопутствует ему везде, где только может. Голос у него самый тоненький, можно сказать, детский, глазки маленькие и с глянцем, точно у пшеничных жаворонков, которым вставляют, вместо глаз, можжевеловые ягодки.

В утро, когда начинается мой рассказ, Горехвастов был как-то особенно разговорчив. Он разлегся на диване, закурив одну из прекрасных сигар, которые я выписывал для себя из Петербурга, и ораторствовал. Перед диваном, на круглом столе, стояла закуска, херес и водка, и надо отдать справедливость Горехвастову, он не оставлял без внимания ни того, ни другого, ни третьего, и хотя хвалил преимущественно херес, но в действительности оказывал предпочтение зорной горькой водке. Рогожкин, с своей стороны, не столько пил, сколько, как выражаются, «потюкивал» водку.

— А скажите, пожалуйста, Николай Иванович, — сказал мне Горехвастов, — откуда у вас берутся все эти милые вещи: копченые стерляди, индеечья ветчина, оленьи языки... и эта бесценная водка! — водка, от которой, я вам доложу, даже слеза прошибает! Да вы Сарданапал, Николай Иванович!.. нет, вы просто Сарданапал!

Я сообщил ему, как умел, требуемые сведения.

— А что ни говорите, — продолжал он, — жизнь — отличная вещь, особливо если есть человек, который тебя понимает, с кем можешь сказать слово по душе! Я вам доложу про себя, Николай Иванович: я век свой прожил шутя... Бывали у меня, конечно, происшествия, бывали неприятности — ну, бывали! что ж из этого! разве следует от этого унывать духом, приходить в отчаяние? Живал я и в Петербурге, ездил и в каретах, и сотнями тысяч ворочал, и игру вел, и француженок содержал — ну, было, бы-

ло все это! Ну, а теперь живу в Крутогорске, езжу на безобразной долгуше, играю по копейке в ералаш и, получая от казны всего шесть целковых в месяц содержания, довольствуюсь, вместо француженки, повивальной бабкой! И между тем, как видите, не унываю и даже не отчаиваюсь в своем будущем!

Он привстал на диване и налил себе рюмку зорной.

— А все оттого, что вот здесь, в этом сердце, жар обитает! все оттого, хочу я сказать, что в этой вот голове свет присутствует, что всякую вещь понимаешь так, как она есть, — ну, и спокоен! Я, Николай Иванович, патриот! я люблю русского человека за то, что он не задумывается долго. Другой вот, немец или француз, над всякою вещью остановится, даже смотреть на него тошно, точно родить желает, а наш брат только подошел, глазами вскинул, руками развел: «Этого-то не одолеть, говорит: да с нами крестная сила! да мы только глазом мигнем!» И действительно, как почнет топором рубить — только щепки летят; гениальная, можно сказать, натура! без науки все науки прошел! Люблю я, знаете, иногда посмотреть на нашего мужичка, как он там действует: лежит, кажется, целый день на боку, да зато уж как примется, так у него словно горит в руках дело! откуда что берется!

— Да-с... это точно... приятное зрелище! — пролепетал Рогожкин, — вот я однажды...

— Гениальная натура, доложу я вам, — перебил Горехвостов, — науки не требует, потому что до всего собственным умом доходит. Спросите, например, меня... ну, о чем хотите! на все ответ дам, потому что это у меня русское, врожденное! А потому я никогда и не знал, что такое горе!

Он задумался. Рогожкин в это время умильно поглядывал на него и выражал свое наслаждение тем, что усиленно терся спиной о спинку стула.

— А бывали-таки у меня случаи — такое сцепление, что даже описания достойно! Надо вам сказать, что состояние у меня было небольшое; отец и мать мои, бесспорно, были благородного звания, но при настоящем развитии цивилизации, при колоссальности нашего кругозора, это благородство, можно сказать, только путает. Воспитание получил я отличное; в заведении, которое приютило мою юность, было преимущественно обращено внимание на приятность манер и на то, чтобы воспитанники смотрели приветливо и могли говорить — *causer* — обо всем. Воспитывались со мной вместе и графы и бароны; следо-

вательно, мы в самом заведении вели жизнь веселую; езжали, знаете, по воскресеньям к француженкам и там приобрели мало-помалу истинный взгляд на жизнь и ее блага. Можете, стало быть, представить себе мое положение, когда я, по выходе из заведения, должен был затеяться куда-то в четвертый этаж, где вороны чуть не на самой лестнице гнезда вьют! Конечно, я, как водится, поступил и на службу, но, между нами, это материя скучная. Я понимаю, что можно служить, как служат, например, князя Патрикеевы, Щенятевы, Ижеславские, Оболдуи-Таракановы. Они, я вам доложу, посостоят крошечку, а потом и катают внезапно в государственные мужи. Этак служить приятно, *il n'y a rien à dire*¹. Но сидеть каждый день семь часов в какой-то душной конуре и облизываться на место помощника столоначальника — *се n'est pas mon genre*...² Других карьер также в виду не имеется, то есть, коли хотите, они и есть, но все это скучная материя, черепословие, а я, вы понимаете, славянин, хочу жить, хочу жуировать: *homo sum et nihil humani a me alienum puto*³. Положение мое было, следовательно, прескверное... И вот встречается со мною однажды на жизненном пути тот самый Петр Бурков, о котором я уж вам как-то говорил. Встречается и держит такую речь: «Грегуар, — говорит он мне, — я вижу по твоим глазам, что ты жадеешь фортуна сделать!» Я ему сознался, и сознался со всею откровенностью. Я был честолюбив, Николай Иваныч! я чувствовал, что стою выше общего уровня! Я сознавался, что тут, в этом сердце, есть достаточно жару, чтобы сделать из меня и поэта, и литератора, и прожектера, и капиталиста — *que sais-je enfin*⁴ Оставалось только выбрать поприще, потому что, как я вам уже сказал, русский человек на всё способен. Поэтом или литератором сделаться легко, но не выгодно — это народ всё млекопитающийся; прожектером быть тоже не трудно, но тут опять нужно ждать, прохаживаться, знаете, по передним... Я решил быть капиталистом. И вот тот же самый Бурков свел меня с людьми... но что это за народ был, Николай Иваныч! просто я не умею даже выразить... Ах! да что об этом и вспоминать — только себя дразнить!

Он залпом выпил рюмку хересу и так сильно ударил ею о поднос, что ножка отвалилась.

¹ Что и говорить (фр.).

² Это не для меня... (фр.)

³ Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо (лат.).

⁴ Не знаю кого еще! (фр.)

— Я вам скажу, например, Флоранс — что это за женщина, что это за огонь была! Сгорала, милостивый государь! сгорала и вновь возрождалась, и вновь сгорала! Однажды приезжаю к ней и вижу, что есть что-то тут неладное; губки бледные, бровки, знаете, сдвинуты, а в глазах огоньки горят.

— Ah, c'est toi, monstre! — говорит она, увидев меня, — viens donc, viens que je te tue!..¹ Поверите ли, насилию даже урезонить мог — так и бросается! И вся эта тревога оттого только, что я на каком-то бале позволил себе сказать несколько любезных слов Каролине! Вот это так женщина! А! Николай Иваныч! ведь в Крутогорске таких не найдешь, сознайтесь?

Я вынужден был согласиться.

— Да-с... аппетитная штука эта Флоранчик была!.. хе-хе! — проговорил Рогожкин. — А что, Григорий Сергеевич, если бы этот Флоранчик... так сказать, на место Марины Ферапонтовны... хе-хе! сюжет был бы тово-с... подходящий-с!

Горехвастов свирепо посмотрел на него.

— А впрочем, Григорий Сергеевич, вам бога гневить нечего, — продолжал Рогожкин, — Марина Ферапонтовна тоже-с... дама плотная-с... хе-хе!..

— Ну, ты что понимаешь!

— Помилуйте-с, Григорий Сергеевич! как не понимать-с: это и малый ребенок понимает-с... счастличик вы, Григорий Сергеевич!.. однако ж, извините-с, извольте продолжать.

— Были у меня тогда деньги, — начал снова Горехвастов, — коммерсан такой проявился, которого мы, можно сказать, без малейшего напряжения мышц обобрали — деньги были, следовательно, большие. Ну, что такое деньги? спрашиваю я вас — что такое деньги, как не презренный металл? Ну, и точно, бросал я тогда этот металл пригоршнями, так что у Флоранс, бывало, только глазки светятся. В кружевах ее утопил, мебели *incrusté* завел; на столах бронзы, фарфор, на стенах — Тинторетт, Поль Поттер, Ван-Дейк. Словом сказать, *en grand*² жили, черт побери! Приедешь, бывало, ночью с работы домой, измученный, и прямо к ее постели. А она, знаете, ручонки протягивает, глазенки открывает, и глазенки, знаете, томные, влажные: «Eh bien, mon farceur d'homme, as-tu beaucoup gagné ce soir?»³ — «Выиграл, жизнь ты моя, выиграл, толь-

¹ А, это ты, изверг, подойди, подойди-ка, я тебя убью!.. (фр.)

² Широко (фр.).

³ Ну, как, шалопаи ты эдакий, много ли выиграл за этот вечер? (фр.)

ко любви ты меня! любишь, что ли?» А она, знаете, как кошечка, потянется этак в постельке: «Lioubliou», — говорит... ах! да вы поймите, как это нежно, как это воздушно lioubliou!.. А знаете ли, черт побери, не выпить ли нам с горя по бокальчику!

— Ах, сделайте одолжение, — сказал я, смущенный несколько моею недогадливостью, — Петр Васильич! распорядитесь, пожалуйста.

— Да ты, братец, скажи человеку, чтоб завертел хорошенько! — прибавил от себя Горехвастов, — а то они его так теплое и подают — *vous n'avez pas l'idée comme ils sont brutes, ces gens-là!* Признаюсь вам я, грешный человек, люблю этак и поесть и выпить — в меру, знаете, в меру... Если бы вы сделали мне честь, побывали у меня в Петербурге в то время, когда я был в счастии, я попотчевал бы вас таким винцом, перед которым и ваше, пожалуй, сконфузится. В горле оно, знаете, точно атлас, а между тем в нос бьет! Но возвращусь к Флоранс. Я принял ее у барона Оксендорфа — знаете, известный магнат есть, на острове Эзеле. Беловолосый сын Эстонии сначала было заартачился, начал было там свои *was soll das heissen*², но я показал ему кулак такого колоссального размера, о котором на острове Эзеле не имеют никакого понятия. «Барон, — сказал я ему, — у меня течет в жилах кровь, а у вас лимфа; и притом видите вы эту машину?» — «Вижу», — сказал он мне. «А если видите, — сказал я ему, — то знайте, что эта машина имеет свойство, в один момент и без всяких посредствующих орудий, обращать в ничто человеческую голову, которая, подобно вашей, похожа на яйцо! *Hepp Wagen! разойдетесь!*» — «Разойдетесь, *Hepp Graf*», — сказал он мне, хотя я и не граф. И мы разошлись... разошлись потому, что барон понял, что одна минута более — и остров Эзель лишился бы лучшего своего украшения...

Горехвастов самодовольно обнажил свою жилистую, покрытую волосами руку и протянул ее, как будто хотел, чтобы мы понюхали, как она пахнет.

— Да-с, устройство благонадежное, — пролепетал Рогожкин.

— И надо было видеть, как она любила меня! этак могут любить только француженки! обовьется, бывало, около меня — и не выпускает...

¹ Вы не можете себе представить, как они тупы, эти люди! (фр.)

² Что это значит (нем.).

— Эх, канальство! — сказал Рогожкин и, сказавшись это, как-то сладострастно хикнул и, неизвестно вследствие каких соображений, запел: «Ой вы, уланы!»

— Или вот на диване раскинется...

— Нет уж, Григорий Сергеич, сделайте ваше одолжение, — прервал Рогожкин, поспешно разливая по стаканам принесенное вино, — мы тоже ведь люди, тоже человеки-с... чувствовать можем...

— Мастерица она была тоже гривуазные песни петь: «Un soir à la barrière»¹ выходило у ней так, что пальчики облизать следует... Вот такую жизнь я понимаю, потому что это жизнь в полном смысле этого слова! надо родиться для нее, чтобы наслаждаться ею как следует... А то вот и он, пожалуй, говорит, что живет! — прибавил он, указывая на Рогожкина.

Рогожкин обиделся.

— Что же вы, Григорий Сергеич, в сам-деле обижаете? — сказал он. — Конечно, нам до вас далеко, потому как и размер у нас был не такой, однако, когда в полку служили, тоже свои удовольствия имели-с...

— Ну, какие твои удовольствия! чай, кошку камнем на улице зашибить!..

— Нет-с, не кошку зашибить-с, а тоже жидов собаками травливали-с... Капитан Полосухин у нас в роте был: «Пойдемте, говорит, господа, шинок разбивать!» — и разбивали-с.

— Ну, это еще туда-сюда...

— Или вот тот же капитан Полосухин: «Полюбилась, говорит, мне Маша Цыплятева — надо, говорит, ее выкрасть!» А Марья Петровна были тоже супруга помещика-с... И, однако, мы ее выкрали-с. Так это не кошку убить-с... Нет-с! чтоб одно только это дело замазать, Полосухин восемьсот душ продал-с!

— Ну уж и восемьсот! верно, вдесятеро приврал! ну, куда же армейскому офицеру, да еще пехотинцу, восемьсот душ иметь!

— Нет-с, Григорий Сергеич, не говорите этого! Этот Полосухин, я вам доложу, сначала в гвардейской кавалерии служил, но за буйную манеру переведен тем же чином в армейскую кавалерию; там тоже не заслужил-с; ну и приютился у нас... Так это был человек истинно ужаснейший-с! «Мне, говорит, все равно! Я, говорит, и по дорогам

¹ «Как-то вечером у заставы» (фр.).

разбивать готов!» Конечно-с, этому многие десятки лет прошли-с...

— Ну, а что же Флоранс? — спросил я.

Горехвастов, который совсем было и забыл про Флоранс, посмотрел на меня глазами несколько воспаленными, на минуту задумался, провел как-то ожесточенно рукою по лбу и по волосам и наконец ударил кулаком по столу с такою силой, что несколько рюмок полетело на пол, а вино расплескалось на подносе.

— Извините, — сказал он угрюмо, — д-да... Флоранс... гм... Флоранс...

Последовало несколько минут молчания, в продолжение которого Горехвастов то беспрестанно и усиленно вздыхал, то судорожно стискивал между пальцами какую-нибудь несчастную прядь своих собственных волос, то искривлял свои губы в горькую и презрительную улыбку. Очевидно, что он готовился произвести эффект.

— Обманула! — закричал он наконец, вскакивая из-за стола, визгливым голосом, выходящим из всяких границ естественности, — вы это понимаете: обманула! Обманула, потому что я в это время был нищ; обманула, потому что в это время какая-то каналья обыграла нашу компанию до мозга костей... Обманула, потому что без денег я был только шулер! я был только гадина, которую надо было топтать, топтать и...

Он с ожесточением рвал на себе волосы и наконец упал в изнеможении на диван.

— Пускай отдохнут, — шептал между тем Рогожкин, — любопытнейший ихний роман-с!

И действительно, минут через десять Горехвастов был уже спокоен: кровь, которая прилила было к голове, опять получила естественное обращение, и минутное раздражение совершенно исчезло. Вообще он не выдерживал своей игры, потому что играл как-то не внутренностями, а кожей; но для райка это был бы актер неоцененный.

— В одно прекрасное утро, — продолжал он, — я очутился без хлеба, без денег и без любовницы. Я вышел на улицу, выгнанный из собственной моей квартиры, из той самой квартиры, где накануне еще какой-то шутник, желая заискать мое расположение, написал на стене: *ману-текел-фарес*. Ночь была зимняя и морозная, но я ничего не чувствовал, ничего не понимал. Передо мною все мелькала бледная улыбка банкюмета, который бил карту за картой и постепенно лишал меня жизни... Эта улыбка затемняла всю мою мысль; она мешала прийти в себя! Я мог

только с изумлением смотреть на эту воображаемую улыбку и бессознательно следить за белыми художавыми руками, которые как-то бездушно щелкали по столу, высасывая ежемгновенно все мое существо... В эту минуту я был близок к отчаянию, я готов был стать среди улицы на колени и просить прощения. Я был похож на того жалкого пропойца, который, пробезобразничав напролет ночь в дымной и душной комнате, выбегает утром, в одном легоньком пальтишке, на морозный воздух и спешит домой, бессознательно озираясь по сторонам и не имея ни единой мысли в голове... Но я, быть может, надоедаю вам, господа, своими похождениями?

— Помилуйте, как это можно! — поспешил я сказать.

— И если б не Бурков, то кто знает, имел ли бы я теперь удовольствие беседовать с вами, господа. Наше несчастье было общее; я шел к нему, твердо решившись перенести все удары, все ругательства, потому что показал себя в этом деле не только опрометчивым, но даже глупым и, следовательно, заслуживал самых тяжких обид и истязаний. Но он поступил иначе... он победил мою покорность своим великодушием. Он не только не избил меня, как я был того достоин, но и поделился со мною тою небольшою суммой, которая у него осталась в целости. «Будем жить en artistes!»¹ — сказал он мне. И мы действительно наняли скромную квартиру и начали жить en artistes... Так вот-с какие со мной бывали переходы, господа! Жизнь мою можно уподобить петербургскому климату: сегодня оттепель, с крыш капель льет, на улицах почти полая вода, а завтра двадцатиградусный мороз гвоздит... И, однако ж, живут-ухитряются люди!

— Да-с, это точная истина, что живучее человека нет на свете твари, — вступился Рогожкин. — Вот хоть бы тот же капитан Полосухин, об котором я уж имел честь вам докладывать: застал его однажды какой-то ревнивый старец... а старец, знаете, как не надеялся на свою силу, идет и на всякий случай по пистолету в руках держит. Ну-с, капитан точно что сконфузился и живым манером полез под кровать. «Выходи, подлец!» — говорит старец. «Не выйду», — кричит Полосухин. И точно-с, три дня там лежал, покуда старец сам, что называется, плюнул. После мы его спрашивали, как он этакую пытку вытерпел? «Ничего, говорит, облежался...»

— А если хотите, — продолжал Горехвастов, расплы-

¹ Как художники! (фр.)

ваясь и впадая в сентиментальность, — коли хотите, и житье en artistes — славное житье. Конечно, тут трюфелей не ищи, но зато есть эта беспечность, cet imprévu¹, это спокойствие совести, которое, согласитесь сами, дороже всех земных благ...

Рогожкин подмигнул мне глазом, как будто хотел сказать: «Знаем мы это спокойствие совести!» Но за всем тем в этом подмигивании выражалось не осуждение, а, напротив того, безгранично нежное сочувствие к подвигам Горехвастова.

— Поселились мы в четвертом этаже, на дворе... Конечно, и высоко оно... ну, и запах, знаете... одним словом, нехорошо, очень нехорошо. Но счастье не в каменных палатах обитает, сказал какой-то философ, и это мудрое изречение оправдалось на нас. Буркова полюбила Саша, а меня полюбила Катя. Немудреные были эти девочки — il n'y a rien à dire², однако в них был тот запах дикого, нелепая растения, который на охотника, пожалуй, слаще всякого оранжерейного цветка действует. И притом, знаете, эта преданность, эта готовность на всякого рода жертвы... Согласитесь, что в нашем грустном положении такая находка была просто бесценна. Звания наши возлюбленные были не высокого: всего-навсего горничные каких-то господ, живших в одном с нами доме. Ходили они к нам урывками, но об этих урывках я и до сих пор вспоминаю с наслаждением. Я даже думаю, что тот, кто хочет испытать всю силу пламенной любви, тот именно должен любить урывками: это сосредоточивает силу страсти, дает ей те знойные тоны, без которых любовь есть не что иное, как грустный философический трактат о бессмертии души.

— Истинная правда! — прервал Рогожкин, — вот у нас в полку служил поручик Живчиков, так он как залучит, бывало, метреску, да станет она ему свои резоны рассказывать: «Ты, говорит, мне *момо*-то не говори, а подавай настоящее дело»... Погубители вы! — продолжал он, обращаясь к Горехвастову и трепля его по ляжке.

— Однажды приходит Катя и объявляет, что ее госпожа очень заинтересована мной. Как ни мила идиллия, как ни прекрасны «ручейки и мурава зеленая», но для широких натур существует на свете своего рода фатум, который невольным образом увлекает их из тесных сфер на

¹ Эта неожиданность (фр.).

² Что и говорить (фр.).

иное, блестящее поприще. Коли хотите, я освоился с своею скромною долей, то есть склонил голову перед судьбой, но все-таки чувствовал, что место мое не здесь, не на этой маленькой тесной арене, где я имел вид рыбы, выброшенной бурею из воды. Одним словом, я задыхался в четвертом этаже, я жаждал блеску и света, меня давила эта умеренность, с которою могут ужиться только убогие, посредственные натуры... Был у нас сосед по квартире, некто Дремилов: этот, как ни посмотришь, бывало, — все корпит за бумагой; спросишь его иногда: «Что же вы, господин Дремилов, высидели?» — так он только покраснеет, да и бежит скорее опять за бумажку. Ну что это за жизнь? спрашиваю я вас, и может ли, имеет ли человек право отдавать себя в жертву геморрою? И чего, наконец, он достигнет? «Я, говорит, буду ученым, хочу принести пользу науке!» Хорош ученый, который не имеет понятия о жизни! Да я на первом слове докажу ему, что все его затеи не что иное, как грустное черепословие, потому что нам, наконец, не умозрения эти тусклые нужны, а жизнь, вы понимаете ж-ж-изнь!.. Телемахидисты они все!..

Вся фигура Горехвастова, во время этой выходки, выражала такое полное, глубокое презрение к бедному Дремилову, что мне сделалось даже вчуже совестно за несчастного труженика.

— Да вы, Григорий Сергеич, к делу-с, — сказал Рогожкин, притопывая ногой.

— Надо вам сказать, *messieurs*, — продолжал Горехвастов, — что барыня, которой я имел честь понравиться, была очень безобразна... Признаюсь вам, я даже несколько затруднился. Однако Бурков и тут меня выручил. «Что ж, сказал он мне, надо быть снисходительным к человеческим слабостям; ведь эта милая капиталистка представляет для нас единственную надежду выйти из скверного положения... Пожертвуй собой священным узам дружбы!» И я пожертвовал. Пришел я к ней, по приглашению, вечером; она сидела, как сейчас помню, на диване, во всем величии своего безобразия, и когда я вошел, то осмотрела меня в лорнет с головы до ног как товар. Должно быть, я очень ей пришелся по вкусу, потому что она то и дело повторяла: «*Charmant! charmant!*»¹ Но я был нестерпимо глуп в этот вечер; сердце у меня не то чтобы билось, а как-то, знаете, неприятно колотило грудь. Одним словом, я был робок, застенчив, нелеп. Однако это ей, по-видимому, еще более

¹ Очаровательно! очаровательно! (*фр.*)

понравилось, потому что слово «charmant» не переставало сходиться с ее языка. И в самом деле, без хвастовства скажу, я был очень недурен собой. В то время, знаете, все это было не измято, кровь обращалась быстро... А старушки все эти подробности разбирают по-аматёрски: их сентиментальничаньем да томными взглядами не удивишь... Конечно, я и теперь могу нравиться, но все, знаете, нет этого огня, который в одну минуту зажигает пожары...

— Знают себе цену! — прервал Рогожкин, — полно-те-с, Григорий Сергеич, скромничать-то! об этом надобно допросить у Марины Ферапонтовны, как у вас огня яко-бы нет.

— В одно прекрасное утро я увидел себя обладателем небольшого капитала, и счел уже возможным бросить тяжелый образ жизни, который положительно расстраивал мое здоровье. «И конечно! — сказал Бурков, которому я сообщил о моих намерениях, — ну, потешил старуху — и черт с ней!» Оставалось решить, какое употребление сделать из приобретенного капитала. «Знаешь, mon cher, — сказал Бурков, — мне надоел уж Петербург; все как-то здесь холодно, неприветливо, нет этой поэзии, этой милой простоты, которой просит душа... После жизненных треволений нам нужно успокоиться, освежиться на лоне природы — будем ездить по ярмонкам!»

— Ай да молодец Петька Бурков! — воскликнул Рогожкин, прыснув со смеха, — нашел же природу... слышите ли, где? на ярмонке! Ах ты шельма!

— Во-первых, такая скотина, как ты, — отвечал Горехвастов сурово, — должна выражаться о генияльных людях с почтением; во-вторых, следовало бы тебя, за твою продерзость, выбросить из окошка, а в-третьих, если тебе и прощается твой поступок на первый раз, то единственно из уважения к слабости твоего рассудка... Цыц! молчать!

Рогожкин хотел было оправдаться; он уже лепетал, что слово «шельма» употреблено им не в осуждение, но Горехвастов взглянул на него так грозно, что он присел.

— Однако мы не нашли покоя, которого искали, — продолжал Горехвастов несколько сентиментально, — однажды я метал банк, и метал, по обыкновению, довольно счастливо, как вдруг один из понтеров, незнакомец вершков этак десяти, схватил меня за руки и сжал их так крепко, что кости хрустнули. «Вы, сударь, подлец», — сказал он мне. Я обиделся; но он так сжал мои руки, что я чувствовал себя совершенно в клещах. «Вы подлец, — продолжал он, — и я сейчас это докажу». Ну, и доказал...

«Вы, говорит, должны сейчас выйти вон отсюда, через это окошко». Дело было во втором этаже, а в этих проклятых провинциях вторые этажи бог знает как высоко от земли строятся. Я было протестовал, но тут поднялись такие дикие крики, что я внезапно озяб, несмотря на то что в комнате было даже душно. «Выбросить его, каналью!» — кричали одни. «Да головой вниз, а руки сзади связать!» — предлагали другие. «Нет, господа, — возразил незнакомец, — такое важное дело надо в порядке устроить: сначала оберем все капиталы у господина промышленника, а потом предложим ему выпрыгнуть из окна самому...»

Горехвастов остановился и углубился на минуту в горестные размышления.

— Вина, Рогожкин! — сказал он, как бы просыпаясь от неприятного сновидения и приходя в деланный азарт, — вина, черт побери, вина!

Рогожкин засуетился.

— И такова несправедливость судеб, — продолжал Горехвастов, — что мне же велено было выехать из города...

— Сс, — произнес Рогожкин, качая головой.

— Что уж со мной после этого было — право, не умею вам сказать. Разнообразие изумительное! Был я и актером в странствующей труппе, был и поверенным, и опять игроком... Даже удивительно, право, как природа неистощима! Вот, кажется, упал, и так упал, что расшибся в прах, — ан нет, смотришь, опять вскочил и пошел шагать, да еще бодрее прежнего.

— Нет-с, Григорий Сергеич, воля ваша, а вы расскажите про Машеньку-то! — сказал Рогожкин.

— Да, это было чудное, неземное существо! — отвечал сентиментально Горехвастов, — она любила меня, любила так, как никто никогда любить не будет... Была она купеческая жена... Казалось бы, «купеческая жена» и «любовь» — два понятия несовместимые, а между тем, знаете ли, в этом народе, в этих gens de rien¹, есть много хорошего... право! Бедная Мери! она пожертвовала мне всем: «Ты и хижина на берегу моря!» — говорила она мне, и я уверен, что она была искренняя, и в крайнем случае могла бы даже обойтись и без моря. Я в то время принадлежал к странствующей труппе актеров, и мы видались довольно часто. Но что это были за свиданья, Николай Иванович, я даже приблизительно не могу описать вам! Это было нечто знойное, душное, саднящее... почти нестерпимое! Я бла-

¹ Простых людях (фр.).

женствовал. Однако ж, в одно прекрасное утро, она приходит ко мне совершенно растерянная. «Знаешь ли, говорит, мой идол, мы открыты!» Оказалось, что ее гнусный муж, эта сивая борода, заметил ее посещения и туда же вздумал оскорбляться! Я задумался. «Мери, — сказал я ей, — хочешь навеки быть моею?» Ну, разумеется, клятвы, уверения; положили на том, чтобы ей захватить как можно больше денег и бежать со мной... Но нет, я не в силах продолжать...

Горехвастов поник головой и начал горько подергивать губами, а через несколько времени сдержанным и дрожащим голосом произнес:

— И я ее оставил.. я взял все ее деньги и бросил ее на первой же станции!

Он вскочил с дивана и, обхватив обеими руками голову, зашагал по комнате, беспрестанно повторяя:

— Нет! я подлец! я не стою быть в обществе порядочных людей! я должен просить прощения у вас, Николай Иванович, что осмелился осквернить ваш дом своим присутствием!

В это самое время мой камердинер шепнул мне на ухо, что меня дожидается в передней полицеймейстер. Хотя я имел душу и сердце всегда открытыми, а следовательно, не знал за собой никаких провинностей, которые давали бы повод к знакомству с полицейскими властями, однако ж встревожился таинственностью приемов, употребленных в настоящем случае, тем более что Горехвастов внезапно побледнел и начал дрожать.

— Извините, Николай Иванович, — начал господин полицеймейстер, — но у вас в настоящее время находится господин Горехвастов.

— Точно так-с, — отвечал я, невольным образом робея, — но какое же отношение между господином Горехвастовым и вашим посещением?.. ах, да не угодно ли закусить?..

— Благодарю покорно, я сыт-с. У меня до господина Горехвастова есть дельце... Вчерашний день обнаружилась в одном месте пропажа значительной суммы денег, и так как господин Горехвастов находился в непозволительной связи с женщиною, которая навлекает на себя подозрение в краже, то... Извините меня, Николай Иванович, но я должен вам сказать, что вы очень неразборчивы в ваших знакомствах!

Я поник головой.

— Я как отец говорю вам это, — продолжал господин полицеймейстер (мне даже показалось, что у него слезы навернулись на глазах), — потому что вы человек молодой еще, неопытный, вы не знаете, как много значат дурные примеры...

— Помилуйте, ведь и князь Лев Михайлыч принимает господина Горехвастова! — решил я сказать.

— Князь Лев Михайлыч особа престарелая-с; они, так сказать, закалены в горниле опытности, а у вас душа мягкая-с!.. Вы все равно как дети на огонь бросаетесь, — прибавил он, ласково улыбаясь.

— Так вам угодно...

— Да-с; я бы желал произвести арест-с... Господин Горехвастов! — сказал он, входя в комнату, — вы обвиняетесь в краже казенных денег... благоволите следовать за мной!

Горехвастов не прекословил; он внезапно упал духом до такой степени, как будто потерял всякое сознание. Мне даже жалко было смотреть на его пожелтевшее лицо и на вялые, как бы машинальные движения его тела.

— А! и ты здесь, Рогожка! — продолжал господин полицеймейстер, заметив Рогожкина, который забился в угол и трясся всем корпусом.

Рогожкин начал усиленно топтаться на одном месте.

— Захватить кстати и его, — сказал господин полицеймейстер, обращаясь в переднюю, из которой вылезли два кавалера колоссальных размеров.

Я невольным образом вспомнил возвращение от Размахнина.





В ОСТРОГЕ

ПОСЕЩЕНИЕ ПЕРВОЕ

Вид городской тюрьмы всегда производит на меня грустное, почти болезненное впечатление. Высокие, белые стены здания с его редкими окнами, снабженными железными решетками, с его двором, обнесенным тыном, с платформой и мрачною кордегардией, которую туземцы величают *каррегардией* и *каллегардией*, — все это может навести на самого равнодушного человека то тоскливое чувство недовольства, которое внезапно и безотчетно сообщает невольную дрожь всему его существу.

Что привело сюда их, этих странников моря житейского? Постепенно ли, с юных лет развращаемая и наконец до отупения развращенная воля или просто жгучее чувство личности, долго не признаваемое, долго сдерживаемое в разъедающей борьбе с самим собою и наконец разорвавшее все преграды и, как вышедшая из берегов река, унесшее в своем стремлении все — даже бедного своего обладателя? Мы, люди прохожие, народ благодушный и добрый; мы, по натуре своей, склонны более оправдывать, нежели обвинять, скорее прощать, нежели карать; притом же мы делом не заняты — так мудрено ли, что такие вопросы толпами лезут в наши праздные головы?..

Нам слышатся из тюрьмы голоса, полные силы и мощи, перед нами воочию развиваются драмы, одна другой запутаннее, одна другой замысловатее... Как ни говорите, а свобода все-таки лучшее достояние человека, и потому как бы ни было велико преступление, совершенное им, но лишение, которое его сопровождает, так тяжело и противоестественно само по себе, что и самый страшный злодей

возбуждает наше сожаление, коль скоро мы видим его в одежде и оковах арестанта. Нам дела нет до того, что такое этот человек, который стоит перед нами, мы не хотим знать, какая черная туча тяготеет над его совестью, — мы видим, что перед нами арестант, и этого слова достаточно, чтоб поднять со дна души нашей все ее лучшие инстинкты, всю эту жажду сострадания и любви к ближнему, которая в самом извращенном и безобразном субъекте заставляет нас угадывать брата и человека со всеми его притязаниями на жизнь человеческую и ее радости и наслаждения.

Находившись, по обязанности, в частом соприкосновении с этим темным и безотрадным миром, в котором, кажется, самая идея надежды и примирения утратила всякое право на существование, я никогда не мог свыкнуться с ним, никогда не мог преодолеть этот смутный трепет, который, как сырой осенний туман, проникает человека до костей, как только хоть издали послышится глухое и мерное позвякиванье железных оков, беспрерывно раздающееся в длинных и темных коридорах зámка. Атмосфера арестантских кáмор, несмотря на частое освежение, тяжела и душлива: серовато-желтые лица заключенников кажутся суровыми и непреклонными, хотя, в сущности, они по большей части выражают только тупость и равнодушие; однообразие и узкость форм, в которые насильственно втиснута здесь жизнь, давит и томит душу. Чувствуется, что здесь конец всему, что здесь не может быть ни протеста, ни борьбы, что здесь царство агонии, но агонии молчаливой, без хрипения, без стонов...

И между тем там, за этими толстыми железными затворами, в этих каменных стенах, куда не проникает ни один звук, ни один луч веселого Божьего мира, есть также своего рода жизнь; там также устанавливаются своеобразные отношения, заводятся сильные и слабые, образуется свое общее мнение, свой суд — посильнее и подействительнее суда смотрительского. Проникнуть в эту жизнь, освоиться с ее маленькими интересами — нет почти никакой возможности. Надо быть или очень благодушным, или очень хитрым человеком, чтобы овладеть доверием людей, которые имеют свои причины, чтобы на всякую такого рода попытку смотреть подозрительно, как на попытку воспользоваться этим доверием в ущерб их интересам. Странное дело! эти люди, для которых преступление составляет привычку, с необыкновенным инстинктом умеют отличить истинное благодушие от хитрости и лукавства и даже от простого праздного любопытства!

У меня был в Крутогорске хороший знакомый, — назовем его хоть Яковом Петровичем, — который обладал особенным искусством вызывать доверие арестантов. Обязанный посещать тюрьму почти ежедневно, он знал не только историю преступления, но и характер, и даже привычки каждого арестанта. Человек он был простой и малограмотный до наивности; убежден был, что Лондон стоит на устье Волги и что есть в мире народ, называемый *хвезы*, который исключительно занят выделкой мази для рощения волос. По словам его, он сам мазал свою лысину этим составом, и волосы точно выросли, но такие толстые, как в лошадином хвосте, и больших усилий и страданий ему стоило, чтоб их оттуда повыдергать. Несмотря на это, он все-таки был отличнейший человек: в нем в высшей степени было развито то высокое благодушие, которое претворяет чиновника в человека, которое, незаметно для них самих, проводит живую и неразрывную связь между судьей и подсудимым, между строгим исполнителем закона и тем, который, говоря отвлеченно, составляет лишь казус, к которому тот или другой закон применить можно. Поэтому не покажется странным, если и между арестантами были у него своего рода фавориты, возбуждавшие в нем если не сочувствие, то, по крайней мере, живое участие к их положению.

Его-то обязательное содействие поставило меня в возможность поделиться с читателем рассказами, которые рекомендуются здесь его благосклонному вниманию.

Стоявший перед нами арестант был не велик ростом и довольно сухощав; но широкая грудь и чрезвычайное развитие мускулов свидетельствовали о его физической силе. Лицо у него было молодое, умное и даже кроткое; высокий лоб и впалые, но еще блестящие глаза намекали на присутствие мысли, на возможность прекрасных и благородных движений души; только концы губ были несколько опущены, и это как будто разрушало гармонию целого лица, придавая ему оттенок чувственности и сладострастия. Он вообще вел себя скромно и никогда не роптал, но частые вздохи и постоянно тоскливое выражение глаз показывали, что выпавшее ему на долю положение тяжелым камнем легло ему на сердце.

«А попал я, сударь, — начал он, — сюда вот каким родом. Жил я до того времени в своей семье и ничем по крестьянству от Бога избужен не был. Сторона наша ле-

систая, болотистая и непривольная; куда ни глянешь — все лес, да вода, да тундра непроходимая; однако лучше этой стороны, кажется, на всем свете не сыщешь: все там хорошо. Известно дело, к чему кто сызмальства приобьк, то и любо, особливо нашему брату, мужику. Возьмем, примерно, хоть службу солдатскую — чем не служба? — а идти туда мало охочих сыщешь, разве уж у кого ни роду, ни племени. Худого мне в ту пору и во сне не снилось, не то что наяву; однако вот теперь в остроге. Оно и выходит, что кому какая линия написана, той и не миновать. Меня и на деревне знали; и не пьяница я был, и не вор, а вот сделал же такое дело... ну, да уж бог с ним! из сказки слова не выкинешь...

Жила у нас на деревне солдатка, Паранькой звали. Бабенка она была молодая, из себя пригожая, белая, крепенькая. Только и полюбись она мне. Деревня, известно, не город; и у колодца, и в поле, и в лесу — везде встречаешься; там слово скажешь, там глазом мигнешь — ну, и понятно. А я, как увижу, бывало, ее, так словно тебе нутро знобить начнет; взял бы, кажется, ее в охалку, да так бы и закоченел весь тут. Это, барин, бывает. А не то бывало и так, что под окошком избы целый вечер сидишь, и все только ждешь, не пройдет ли Параня по улице. А пройдет, так и в глазах словно светлее делается... Не веселая, я вам доложу, эта жизнь, по той причине, что и говорить будто совсем забыл, и работатъ не хочется, а как вспомнишь прошлое, так и теперь бы, пожалуй, хоть маломальски так пожил. Выходит, что всякому человеку такое время бывает, что вот, кажется, пройдет да только сарафаном тебя заденет, так словно дрожь тебя всего проберет. А сами знаете, какой у наших баб сарафан!

Свиделись мы с нею сперва-наперво у колодца; деревенские были все на работе; стало быть, никого при этом и не было. Будто теперь вижу; опустила она в колодец бадью, а вытащить-то и не по силам.

— Что, — говорю, — Параня, али тяжело?

— Да, — говорит, — тяжело.

Только и разговору у нас в этот раз было. Хотел я подойти к ней поближе, да робостно: хотенье-то есть, а силы нетутка. Однако, стало быть, она заприметила, что у меня сердце по ней измирает: на другой день и опять к колодцу пришла. Пришел и я. Известно, стою у сруба да молчу, даже ни слова молвить не могу: так, словно все дыханье умерло, дрожу весь — и вся недолга. В этот раз она уж сама зачала.

— Что ты, — говорит, — какой смешной ходишь, али кто тебя избидел?

Ну, а я все молчу.

— Ты, — говорит, — мне скажи, коли у тебя что болит: я ведь лекарка.

А сама нагибается, чтоб взяться за коромысло, а грудь-то у нее высокая да белая, словно пена молочная: света я, сударь, невзвидел. Бросился к ней, выхватил коромысло из рук, а сам словно остервенел: уж не то что целовать, а будто задушить ее хотел; кажется, кабы она не барахталась, так и задушил бы тут. Очень для меня этот день памятен.

Не по нраву ей, что ли, это пришлось, или так уж всем естественном баба пагубная была — только стала она меня оберегаться. На улице ли встретит — в избу хоронится, в поле завидит — назад в деревню бежит. Стал я примечать, что и парни меня будто на смех подымают; идешь это по деревне, а сзади тебя то и дело смех да шушуканье. «Слышь, мол, Гаранька, ночесь Парашка от тоски по тебе задавиться хотела!» Ну и я все терпел; терпел не от робости, а по той причине, что развлекаться мне пустым делом не хотелось.

Раз как-то изымал я, однако, ее; изымал, да и говорю:

— Что ж, мол, ты, Параня, к колодцу ходить перестала? али не люб стал?

А она, знаешь, легла у меня голбвонькой-то на грудь, глаза закрыла, вся словно помертвела и не дышит.

— Что ж, — говорю, — Параня! молви хоть словечко!

А сам, знаешь, по голове ее глажу... Очнулась она маленько, я опять к ней.

— Полюби, — говорю, — меня, Параня; горько мне без тебя и на свет-то глядеть.

А она — что бы вы, сударь, думали? — вырвалась у меня из рук.

— Что, — говорит, — на мученье, на тиранство, что ли, я тебе досталась, разбойник ты этакой, что ты надо мной властвовать задумал! Я, говорит, хочу — люблю, не хочу — не люблю.

И убежала.

Пришел и я, ваше благородие, домой, а там отец с матерью ругаются: работать, вишь, совсем дома некому; пошли тут брань да попреки разные... Сам вижу, что за дело бранят, а перенести на себе не могу; кроме злости да досады, ничего себе в разум не возьму; так-то тошно стало, что взял бы, кажется, всех за одним разом зарубил,

да и на себя, пожалуй, руку наложить, так в ту же пору.

Время это было осеннее; об эту пору наши мужички в заводы на заработки уходят: руду копать, уголье обжигать, лес рубить; почесть что целую зиму в лесах живут. Однако как я один был сын в семье, то на эти работы еще не хаживал, да и недостатками мы, супротив других, были поисправнее. Вот и вздумал я проситься у родителей в заводы. Отпустили. Пришлось на мой пай уголье обжигать; работа эта самая тяжелая; глаза дымом так и изъедает, а на лице не то чтоб божьего, а и человеческого образа не увидишь. Принялся я горячо, потому что думаю, как бы мне хоть за работой, что ли, свою дурость забыть. И точно, всю эту зиму я словно в раю блаженствовал; только вечером, отработавшись, как сядешь этак перед костром, так словно Параня из огня тоненькими струйками выходит... что ж? плюнешь, перекрестишься, и опять ничего.

Пришла опять весна, пошли ручьи с гор, взглянуло и в наши леса солнышко. Я, ваше благородие, больно это времечко люблю; кажется, и не нарадуешься: везде капель, везде вода — везде, выходит, шум; в самом, то есть, пустом месте словно кто-нибудь тебе соприсутствует, а не один ты бредешь, как зимой, например.

Пошли наши по домам; стал и я собираться. Собираюсь, да и думаю: «Господи! что, если летошняя дурость опять ко мне пристанет?» И тут же дал себе зарок, коли будет надо мной такая пагуба — идти в леса к *старцам* душу спасать. Я было и зимой об этом подумывал, да все отца-матери будто жалко.

Прибрел я домой, а на улице встречает меня Паранька. Встретила, да сама смеется. Я было отвернуться, так нет, сударь, так и тянет; подошел к ней.

— Здравствуй, — говорю, — Параня!

— Здравствуй! а много заработал?

— Что ж ты смеешься-то? — спрашиваю я.

— А мне что не смеяться? разве уж и смеяться нельзя? Ишь строгой какой!

— Да ты не смейся, — говорю я, — а скажи мне толком: согласна ли ты меня любить — вот, мол, что!

Села она на скамеечку и молчит; только словно из-под платка потихоньку посмеивается; сел и я тут же возле.

— Полно, — говорю я, — не дурачься, Параня; стало быть, не миновать этому делу, если вот хотел себя перемочь, да ишь нету... перестань же, Параня!

— А разве ты за тем в работы ходил, чтоб меня забыть?

— Да...

— Ну, так и забывай же...

Хотела она тут встать, да я не пустил; схватил ее в охапку, да и усадил уж силóm.

— Нет, — говорю, — не уйду, доколе ты не ответишь, как мне желательно.

— Да что ты, проспись! ведь у меня муж есть: что я тебе скажу?

— Знаю я, что муж есть! да ведь он солдат!

— Так что ж, что солдат! вот годков через пятнадцать воротится, станет спрашивать, зачем, мол, с Гаранькой дружбу завела — даст он тебе в ту пору встрепку...

А сама все смеется и на меня глазами косит; а у меня зло так и подступает; так бы, кажется, и изорвал ее всю, да боюсь дело напортить.

— А что, — говорит, — никак, ты меня и взаправду любишь?

Я было к ней, так куда? понесла опять старое: муж да муж — только и слов.

Вот и стал я ей припоминать, все припомнил: и Михейку рыжего, и татарина-ходебщика, и станового — всех тут назвал... что ж, мол, хуже я их, что ли?

А она, сударь, хоть бы тебе поморщилась.

— Ишь, — говорит, — сколько набрал!

С тем я и ушел. Много я слез через эту бабу пролил! И Христос ее знает, что на нее нашло! Знаю я сам, что она совсем не такая была, какою передо мной прикинулась; однако и денег ей сулил, и извести божился — нет, да и все тут. А не то возьмет да дразнить начнет: «Смотри, говорит, мне лесничий намеднись платочек подарил!»

Дразнила она меня таким манером долго, и все я себя перемогал; однако Бог попутал. Узнал я как-то, что Параня в лес по грибы идет. Пошел и я, а за поясом у меня топор: не то чтоб у меня в то время намерение какое было, а просто потому, что мужику без топора быть нельзя. Встретился я с ней, а она — верно, забыла, как я ее у колодца-то трепал, — опять надо мной посмеивается.

— Что, — говорит, — знать, в лесу тоску разогнать пришел...

.....

Бог свидетель, барин, не чуял я в эту пору и сам, что делаю; не знаю и теперь. Помню только, что выхватил я топор из-за пояса и бил им, куда попало, бил дотоле, доколе сам с ног не свалился. Потемнело у меня в глазах, и вся кровь в голову так и хлынула. Однако я тут уснул и

спал этак с полсутки. Только выпавшись и увидевши подле себя Парашку уж мертвую, я будто очнулся и начал тут припоминать все, как было. Сначала я было испужался и хотел бежать, а потом махнул на все рукой и объявился становому. У него, сударь, в это самое время лесничий в гостях сидел — тот самый, что платок-от ей подарил; начал было он меня бить, да мне уж что!.. Надели на меня тут колодки и привезли сюда».

Арестант вздохнул.

— Что ж, объяснял ты об этом подробно при следствии? — спросил я.

— А об чем это, ваше благородие?

— Ну, да об том, как она тебя почти сама на преступленье вызвала?

— Сначала объяснял, а потом бросил.

— Отчего же?

— Да становой сказывает, что это все лишнее: «Почти-то, говорит, не считается; ты, говорит, дело показывай, а окоlesiцу-то не городи!»

Арестант потупился.

— Что ж, — продолжал он, — виноват я; правда, что виноват... А коли по правде-то рассудить, так ведь истинно, ваше благородие, я не в своем разуме тогда был; оттого что, будь я в своем разуме, зачем бы мне экое дело делать? Я ведь знаю, что нашего брата за эти дела не похвалят... Вот их благородие довольно меня знают: сделал ли я когда дурное дело? согрубил ли кому-нибудь; а вот уж пятый год здесь! Ну, и мир весь за меня стоял: всякому ведомо, что я в жизнь никого не обидел, исполнял свое крестьянство как следует — стало быть, не разбойник и не душегуб был! Однако вот я в тюрьме, да и то, видишь, еще мало, потому, говорят, у тебя на душе убийство! Оно, конечно, убийство, да ведь, надо его сообразить — убийство-то!

На последних словах голос его задрожал, и щеки заметно побледнели.

— Мне не то обидно, — говорил он почти шепотом, — что меня ушлют — мир везде велик, стало быть, и здесь и в другом месте, везде жить можно — а то вот, что всяк тебя убийцей зовет, всяк пальцем на тебя указывает! Другой, сударь, сызмальства вор, всю жизнь по чужим карманам лазил, а и тот норовит в глаза тебе наплевать: я, дескать, только вор, а ты убийца!..

В следующей камере было несколько арестантов; при нашем появлении они все встали с нар и обступили Якова Петровича.

Впереди всех стоял молодой парень лет двадцати, не более, по прозвищу Колесов; он держал себя очень развязно, и тогда как прочие арестанты оказывали при расспросах более или менее смущения и вообще отвечали не совсем охотно, он сам вступал в разговор и вел себя как джентельмен бывалый, которому на все наплевать.

— Смирно он себя ведет? — спросил Яков Петрович у зрителя.

— С тех пор, как высидел в темной...

— Конечно-с, — вступается арестант, — находясь, можно сказать, в несчастьи, от природы преследуем, от властей гоним; претерпев все кораблекрушения и бури житейские и будучи при всем том воспитан от родителей в мещанском состоянии, сам собой просвещение получил...

— А что у тебя в руках? — спрашивает Яков Петрович, беря у него из рук книгу.

— Гражданские истории-с. Имея с малолетства жажду к просвещению и будучи отторгнут от светского общества, единственную нахожу для себя отраду в своей невинности и в чтении назидательных историй.

Книжка оказалась какой-то переводный роман Дюма.

— Ну, а расскажи-ка нам, за что ты тут сидишь?

— Вашему высокоблагородию известно, что, собственно, от моей невинности-с; по той причине, что можно и голубицу оклеветать, и чрез это лишит общества образованных людей... Однако сам господин становой видели мою невинность и оправдали меня, потому как я единственно из-за своей простоты страдаю-с...

— Да; становой за это уж и суду предан.

— Конечно-с, мы с ним ездили на лодке, с хозяином-с; это я перед вашим высокоблагородием как перед Богом-с... А только каким манером они утонули, этого ни я, ни товарищ мой объяснить не можем-с, почему что как на это их собственное желание было, или как они против меня озлобление имели, так, может, через эвто самое хотели меня под сумнение ввести, а я в эвтом деле не причастен.

Товарищ, на которого ссылался Колесов, стоял тут же и обнаруживал полнейшее равнодушие. Он тоже был мещанин, огромного роста и, по-видимому, весьма сильный. Изредка, вслушиваясь в слова Колесова, он тупо улыбался, но вместе с тем хранил упорное молчание; по всему видно было, что он служил только орудием для совершения преступления, душою же и руководителем был в этом деле Колесов.

— Ну, а как же утопленник-то очутился с связанными назади руками?

— Ничего я об этом, ваше благородие, объяснить не могу... Это точно, что они перед тем, как из лодки им выпрыгнуть, обратились к товарищу: «Свяжи мне, говорит, Трофимушка, руки!» А я еще в ту пору и говорю им: «Христос, мол, с вами, Аггей Федотыч, что вы над собой задумываете?» Ну, а они не послушали: «Цыц, говорит, собака!» Что ж-с, известно, их дело хозяйское: нам им пережить разве возможно!

— Разумеется, разумеется... А дело вот в чем, — продолжал Яков Петрович, обращаясь ко мне, — нужно было ихнему хозяину съездить из городу на фабрику; поехал он на лодке, а гребцами были вот эти два молодца. Хозяин купец богатейший — вот и задумали они его утопить и деньги, которые при нем были, ограбить. Только, должно быть, купцу-то умирать еще не больно хотелось, так они ему и руки связали, чтоб не барахтался, да так в реку и кинули... Ну, разумеется, следствие. Что ж бы вы думали? Становой нашел, что все это произошло очень натурально — вот хошь бы таким образом, как он сейчас рассказывал...

Колесов вздохнул.

— Оно конечно-с, — сказал он, — ваше высокоблагородие над нами властны, а это точно, что я перед Богом в этом деле не причинен. Против воли хозяйской как идти можно? сами вы извольте рассудить.

— Ну, а ты что? — обратился мой путеводитель к маленькому мужичонке, тут же стоявшему.

— Много довольны, много довольны, ваше благородие! — отвечал мужичонка, беспрестанно кланяясь и торопясь говорить, — скоро ли, батюшка, решенье выдет?

— А ты разве давно сидишь?

— Четвертый год, ваше благородие! четвертый годок вот после второго спаса пошел... не можно ли, ваше благородие, поскорей решенье-то? Намедни жена из округи приходила — больно жалится: «Ох, говорит, Самсонушко, хошь бы тебя поскорей, что ли, отселева выпустили: все бы, мол, дома способнее было». Право-ну!

— Скоро, скоро будет и решенье; однако вряд ли тебя домой отпустят...

— Ну! стало быть, слышь, в Сибирску губернию?

— Не знаю; только вряд ли домой попадешь... А знаете ли вы, за что он под суд попал? Дело очень простое: му-

жичонка он простоватый, несмышленный, и жил в большой бедности...

— Правда эта сущая, ваше благородие, правда, — заговорил арестант, — такая-то бедность, что и господи! в дому вот эконькой корочки хлебца не сыщешь — сущая это правда!

— Между тем пришло время подать за полугодие платить. Что тут делать? денег дома нет ни копейки, достать негде, а сборщик требует настоятельно...

— Истинно так, ваше благородие! — опять перебил арестант, — я, говорит, тебя нагишом в снег посажу, доколе всё до копейки не заплатишь... и посадил бы, ваше благородие, именно посадил бы...

— Вот и задумал он в бурлаки... а впрочем, рассказывай сам, коли перебиваешь.

— Иду я, ваше благородие, в волостное — там, знашь, всех нас скопом в работу продают; такие есть и подрядчики, — иду я в волостное, а сам горько-разгорько плачу: жалко мне, знашь, с бабой-то расставаться. Хорошо. Только чую я, будто позаде кто на телеге едет — глядь, ан это дядя Онисим. «Куда, говорит, путь лежит?»

— А вот, — говорю, — в волостное.

— Почто в волостное?

— Продаваться в бурлаки; а ты, говорю, куда?

— А я, мол, в Опенино, полведра купить.

А мне, ваше благородие, только всего и денег-то нужно, что за полведра заплатить следует... Вот и стал мне будто лукавый в ухо шептать. «Стой, кричу, дядя, подвези до правленья!» А сам, знаешь, и камешок за пазуху спрятал... Сели мы это вдвоем на телегу: он впереди, а я сзади, и все у меня из головы не выходит, что будь у меня рубль семьдесят, отдай мне он их, заместо того чтоб водки купить, не нужно бы и в бурлаки идти...

Арестант задрожал и заплакал.

— Кончилось тем, — договорил Яков Петрович, — что он швырнул в дядю Онисима камнем и, взявши у него ни больше ни меньше, как рубль семьдесят копеек, явился в волостное правление и заплатил подать.

ПОСЕЩЕНИЕ ВТОРОЕ

На этот раз камора, в которую ввел меня Яков Петрович, заключала в себе лиц все чиновной породы. Их было трое, и кровати их стояли по углам. Один был в замасленном

форменном сюртуке, с красным стоячим воротником, два другие — в халатах. При нашем появлении форменный сюртук и один из халатников встали, но другой халатник продолжал лежать, растянувшись на постели. Форменный сюртук обладал довольно замечательной физиономией. Он был плотно сложен и небольшого роста; лицо его не поражало с первого взгляда ни чрезмерною глупостью, ни чем-либо особенно порочным или злым; но, взглядевшись в него пристальнее, нельзя было не изумиться той подавляющей ограниченности, той равнодушной ко всему пошлости, о которых свидетельствовали: и узкий, покатый лоб, окаймленный коротко обстриженными, но густыми и черными волосами, и потупленные маленькие глаза, в которых светило что-то хитрое, но как бы недоконченное, недодуманное, и, наконец, вся его фигура, несколько сутуловатая, с одною рукою, отделенною от туловища в виде размышления, и другою, постоянно засунутою в застегнутый сюртук. Очевидно, то был, что называется, рассудительный человек, один из тех, которые никогда не скажут положительной глупости, но от которых, при всяком их слове, веет неотразимою тошнотою и унынием. Встретится такой господин с вами на улице, и если вы не принадлежите к породе Дерновых, Гирбасовых и т. п. и не заговорите с ним сами, то он посмотрит вам, как собака, умильно в глаза, потопчется на одном месте, вздохнет, пожмет вам руку и отправится восвояси. Но если вы называетесь Гирбасовым, то разговору не будет конца — и какому разговору!

— А что, брат, как дела идут? — спросит вас форменный сюртук.

— Да что, брат, хорошо, — ответите вы.

— Это ладно, что хорошо, — скажет сюртук.

— Да, брат; хорошо не худо, худо не хорошо...

И так далее. Можно исписать целые страницы подобными наставительными речами. У этих господ всегда имеются готовые афоризмы, которыми они любят кстати щегольнуть, вроде того, что «брат, надо это дело вести с осторожностью», или «ты когда чего захотел, так того уж и хоти». Такие образчики встречаются везде, во всех слоях общества, только афоризмы бывают различные. Божий мир кишит ими — это несомненно. Это люди ограниченные, с сплюснутыми черепами, пришибенные с детства, что не мешает им, однако же, считать себя столпами общественного благоустройства и спокойствия и с остервенением лаять на всякого, у кого лоб оказывается не сплюснутым. Я имел огорчение познакомить читателя с ними в

свободном состоянии; теперь приходится познакомить с ними же в тюрьме.

Второй субъект был молодой человек довольно красивой наружности, высокий и стройный. Он носил усы, что давало ему вид отставного военного, и держал себя даже излишне приветливо. По всему было видно, что, на свободе, он пользовался особенным благоволением со стороны дамского пола, прикосновение к которому везде и всегда смягчает сердца и нравы. С другой стороны, нельзя было не заметить и того, что это же прикосновение отчасти вредоносно подействовало на здоровую и могучую натуру субъекта, потому что, несмотря на его молодость, щеки его несколько опухли и сделались уже дряблыми, а в глазах просвечивало что-то старческое.

Третий субъект был длинный и сухой господин. Он несколько не обеспокоился нашим приходом и продолжал лежать. По временам из груди его вырывались стоны, сопровождаемые удушливым кашлем, таким, каким кашляют люди, у которых, что называется, печень разорвало от злости, а в жилах течет не кровь, а желчь, смешанная с оцтом.

— Ну, ты что, Пересечкин? — спросил Яков Петрович у форменного сюртука.

— Ничего-с, ваше высокоблагородие, живем по малости-с вашими молитвами, — отвечал он, тупо улыбаясь и отставляя руку, как бы декламируя.

— Чего им делается! — вступился усач, — они этого огорчения и понять не могут-с!

— Скоро ли же эту каналью отсюда выведут? — отозвался желчный господин, — я ведь господина министра утруждать буду, свиньи вы этакие!

Эта апострофа, смутившая меня своею откровенностью, не оказала никакого действия на Якова Петровича. Очевидно, что ему не в первый раз пришлось подвергать свою особу подобного рода ласкам.

— За что вы здесь содержитесь? — спросил я Пересечкина.

Он молчал и все держал руку наотвес, как бы разговаривая сам с собой.

— Ну, говори же, за что ты здесь посажен, — сказал Яков Петрович.

Пересечкин совершенно неожиданно фыркнул.

— Ишь животное! — отозвался голос с кровати, — даже самому смешно... скот!

— Что же-с, сказывайте! — понуждал усач.

Пересечкин с минуту помялся и потом скороговоркою отвечал:

— Статистику собирал-с...

— Как статистику?

— Точно так-с, ваше высокоблагородие! от начальства наистрожайше было предписано-с: то есть чтоб все до точности-с, сколько у кого коров-с, кур-с; даже рябчиков-с пересчитать велено было-с...

— Да ты сказывай, животное, как ты собирал-то статистику? пчел-то позабыл, подлец?

— Ваше высокоблагородие! — сказал Пересечкин, обращаясь к Якову Петровичу, — вот-с, изволите сами теперича видеть, как они меня, можно сказать, денно и ночью обзывают... Я, ваше высокоблагородие, человек смиренный-с, я, осмелюсь сказать, в крайности теперича находился и ежели согрешил-с, так опять же не перед ними, а перед Богом-с...

— Да ты не вилай, скот, а рассказывай, как ты статистику-то собирал!

Пересечкин опять замялся и через несколько секунд снова фыркнул. Видно было, что он сам внутренно был совершенно доволен собой.

— Известно-с, у мужичка был, — сказал он наконец, — количество пчел надлежало дознать со всею достоверностью...

— Ну, продолжай же, продолжай!

Но Пересечкин только фыркнул.

— Э, брат, да ты, верно, только на пакости боек, — отозвался желчный господин, — а дело очень простое. Призвал он мужика. «Сколько, говорит, у тебя пчел?» Тот показывает ему улья. «Нет, говорит, мне начальство пишет дознать, сколько именно у тебя пчел — так ты, говорит, не поленись, сосчитай!» Мужик, сударь, остолбенел. «Где же, мол, их считать?» — «Знать, говорит, ничего не хочу — считай»... Ну, и взял он с него по целковому с улья, а в ведомости и настроил: «У такого-то, Пахома Сидорова, лошадей две, коров три, баранов и овец десять, теленок один, домашних животных шестнадцать, кур семь, пчел тридцать одна тысяча девятьсот девяносто семь».

Молчание.

— А ведь рожа-то какая! — продолжал желчный господин, — глуп-то ведь как! а выдумал! Только выдумать-то выдумал, а концы схоронить не сумел.

— Каким же образом это открылось? — спросил я.

— Исправник-с злодей! — наивно отвечал Пересечкин.

— Это точно, что злодей... и такая же ракаля, как и ты; только поумней тебя будет... Увидал, что эта скотина весь предмет таким манером обработать хочет, — ну и донес, чтоб самому в ответе не быть... Эко животное!

— А вы за что? — спросил я усача.

Молодой человек, глядевший до сих пор весело, в свою очередь опустил глаза и начал обдергивать опояску у халата.

— Что же-с, сказывайте и вы-с,— заметил Пересечкин. Усач взглянул на него свирепо.

— Нет-с, уж когда сказывать, так сказывать всем-с, — настаивал Пересечкин.

— По причине женского пола-с, ваше высокоблагородие! — отвечал усач умильно, — как я к этому предмету с малолетствия привычен-с.

— Да вы чиновник?

— Точно так-с: канцелярский служитель Боровиков-с.

— Что же вы сделали?

— Сделал ли я, нет ли — на это еще достоверных доказательств не имеется, а это точно-с, что тело ихнее в овраге нашли в бесчувствии-с...

— Чье же тело?

— Ихнее-с, мещанина Затрапезникова-с.

— Ну, так что же?

— Их благородие, господин следователь, настаивают, что будто бы мы это тело... то есть телом их сделали-с, а будто бы до тех пор они были живой человек-с... а только это, ваше благородие, именно до сих пор не открыто-с...

— Как же случилось это происшествие?

— Были мы, ваше высокоблагородие, в одном месте-с...

Боровиков потупился и потом продолжал:

— Был с нами еще секретарь из земского суда-с, да столоничальник из губернского правления... ну-с, и они тут же... то есть мещанин-с... Только были мы все в подпитии-с, и отдали им это предпочтение-с... то есть не мы, ваше высокоблагородие, а Аннушка-с... Ну-с, по этой причине мы точно их будто помяли... то есть бока ихние-с, — это и следствием доказано-с... А чтоб мы до чего другого касались... этого я, как перед Богом, не знаю...

— А как же осмотр тела-то? — спросил Яков Петрович.

— Об эвтим я вашему высокоблагородию доложить не в состоянии-с, а что он точно от нас пошел домой в целости-с — на это есть свидетели-с... Может быть, они в дороге что ни на есть над собой сделали...

— Да кто же эти свидетели?

— Конечно, ваше высокоблагородие, свидетели наши творец небесный-с... они видели...

— И тебе не стыдно? — сказал Яков Петрович.

Боровиков смутился.

— Вот он самый, — продолжал Яков Петрович, — до этой истории был в обществе принят! в собрание на балах танцевал!.. взойди ты ему в душу-то!

— На твоей дочери сватался! — заметил желчный господин.

Яков Петрович плюнул.

— Ну, а по совести, — сказал я, — признайтесь! точно вы Затрапезникова убили?

Боровиков молчал.

— Здесь нет следователя.

— Это единому Богу известно-с, — отвечал он, бросивши на меня угрюмый взгляд.

— Где же прочие-то? — спросил я.

— А где! чай, в карточки поигрывают, водочку попивают, — отозвался желчный господин, — их сделали только свидетелями: как же можно такую знатную особу, господина секретаря, в острог посадить... Антихристы вы! — присовокупил он, глухо кашляя.

— А это что за господин? — спросил я у Якова Петровича вполголоса, указывая на говорящего.

Яков Петрович дернул меня за фалду фрака и не отвечал, а как-то странно потупился. Я даже заметил и прежде, что во все время нашего разговора он отворачивал лицо свое в сторону от лежащего господина, и когда тот начинал говорить, то смотрел больше в потолок. Очевидно, Яков Петрович боялся его. Однако дерганье за фалды не ускользнуло от внимательного взора арестанта.

— Что за фалду-то дергаешь? — спросил он злобно.

— Оставьте... оставьте... буйный человек-с! — прошептал Яков Петрович.

— То-то буйный! — сказал арестант, медленно вставая на постели, — вашему брату, видно, не по шкуре пришелся!

Яков Петрович хотел было удалиться.

— Нет, ты меня выслушай, не верти хвостом! Пришел, так слушай! Вы спрашиваете, государь мой, кто я таков? — продолжал он, обращаясь ко мне. — Я, государь мой, поклонник правды и ненавистник лжи! вот кто я — бездельца! Имя мое не легион, как вот таким (указательный перст устремлен на Якова Петровича, который пожи-

мается), а Павел Трофимов сын Перегоренской — не *ский*, а *ской* — звание же мое отставной титулярный советник. С юных лет, государь мой, я получил страсть к истине, всосав ее, могу сказать, с млеком матери. Будучи еще секретарем в магистрате, изобрел следующие науки: *правдистику*, *патриотистику* и *монархоманию*. Тщетно я обращался ко всем властям земным о допущении меня к преподаванию наук сих; тщетно угрожал им карою земною и небесною; тщетно указывал на растление, царствующее в сердцах чиновнических — тщетно! Овые отвечали молчанием, овые — презрением и ругательством... Плоды моих усилий выразились лишь в гербовых пошлинах, коих в течение двадцати лет выплатил до тысячи серебром...

Он закашлялся.

— Что оставалось мне? Чем мог насытить я глад истины, терзавший мою душу? Оставались исправники, оставались становые... ну, и ябедник.

Он вознамерился встать, и перед нами взвилось нечто безобразно длинное, вроде удава.

— Ябедник, государь мой! вы понимаете: ябедник!

— Да вы расскажите, за что вы здесь-то сидите? — неожиданно прервал Пересечкин.

— Приступаю к тягостнейшему моменту моей жизни, — продолжал Перегоренский угрюмо, — к истории переселения моего из мира свободного мышления в мир авторитета... Ибо с чем могу я сравнить узы, в которых изнываю? зверообразные инквизиторы гишпанские и те не возмыслили бы о тех муках, которые я претерпеваю! Глад и жажда томят меня; гнусное сообщество Пересечкина сокращает дни мои... Был я в селе Лекминском, был для наблюдения-с, и за этою, собственно, надобностью посетил питейный дом...

— Чай, просьбицу настрочить, — сказал Пересечкин, — известно, зачем ваш брат...

— Зашедши в питейный дом, увидел я зрелище... зрелище, относящееся к двум пунктам-с... Мог ли я, вопрошаю вас, государь мой, мог ли я оставить это втуне? мог ли не известить предержавшую власть?

Общее молчание.

— Но здесь, здесь именно и открылась миру гнусность злодея, надменностию своею нас гнетущего и нахальством обуревающего... Получив мое извещение и имея на меня, как исконный враг рода человеческого, злобу, он, не помедлив даже мало, повелел псом своим повлечь меня в тюрьму, доколе не представлю ясных доказательств вы-

мышленного якобы мною злоумышления... где и до днесь пребывание имею...

— Что ж, так и по закону следует, — заметил нерешительно Яков Петрович.

— Следует! а следует ли, спрашиваю я тебя, раб лукавый и неверный, следует ли оставлять страждущих заключенников в жертву лютому мrazу и буйствующим стихиям?

Он указал на разбитое окно. Дело происходило в июле, и дни стояли знойные.

— Они сами беспрестанно в окнах стекла бьют, — возразил бывший с нами смотритель замка, — не успеешь нового вставить, смотришь, оно уж и разбито...

— А следует ли оставлять узника боса и сира? — продолжал Перегоренский, указывая на свои ноги, которые действительно лишены были всякой обуви.

— Они уж третьи сапоги нарочно бросают в сортир...

— А следует ли того же узника оставлять без пищи, томимого голодом и жаждой? — перебил Перегоренский.

— Они требуют вафель-с, а вафель у нас не положено... посудите сами, ваше высокоблагородие! — возразил смотритель.

— Все эти вопросы, и множество других, возымел я твердое намерение предложить господину министру, и не далее как с первую же почтой... И тогда — трепещи, злодей!

— Вот этакая-то у нас целый день каторга! — сказал смотритель, когда мы вышли из каморы, — хошь бы реши-ли его, что ли, поскорей!

— Чего же вы-то боитесь? — спросил я Якова Петровича.

Он махнул рукой.

— Ведь вы человек чистый, — продолжал я, — какая же вам надобность позволять говорить себе дерзости арестанту, и притом ябеднику? разве у вас нет карцера?

— И-и-и! — произнес только Яков Петрович и пуще прежнего замахал руками.

— Да как же тут свяжешься с эким каверзником? — заметил смотритель, — вот намердись приезжал к нам ревизор, только раз его в щеку щелкнул, да и то полегоньку, — так он себе и рожу-то всю раскровавил, и духовника потребовал: «Умираю, говорит, убил ревизор!» — да и все тут. Так господин-то ревизор и не рады были, что дали рукам волю... даже побледнели все и прощенья просить

начали — так испужались! А тоже, как шли сюда, похвалялись: я, мол, его усмирю! Нет, с ним свяжись...

— Верно, он из породы «хвещов», Яков Петрович? — спросил я.

— Хуже!

— Здорово, ребята! — крикнул Яков Петрович, входя в просторную комнату, в которой находилось человек до тридцати арестантов.

— Здравия желаем, ваше высокоблагородие! — закричали все в один голос.

Яков Петрович улыбнулся. Он видимо был доволен, что между арестантами прививается дисциплина и что они скандуют приветствие не хуже, чем в ином гарнизонном батальоне.

— Всем довольны? — спросил он.

— Много довольны! — отвечали голоса.

Один арестант выступил робко вперед с засаленною бумажкой в руках. То был маленький, жалконький мужичонка, вроде того, которого я имел уже случай представить читателю в первом остром рассказе.

— Ты по какому делу? — спросил Яков Петрович.

— Да вот об корове-то, ваше благородие...

— Господи! неужто еще не кончено?

— Не кончено, ваше благородие, да вот бают, словно и никогда ему кончанья не будет...

— А за что ты содержишься? — спросил я.

— А Христос е знает за что! бают, по прикосновенности, что, мол, видел, как у соседа корову с двора сводили...

— Разве ты не объявил кому следует?

— Пошто не объявил! да вот бают, зачем объявил, а зачем корову с ворот в полицу не преставил? А когда его преставишь! Он, чай, поди-ка троих эких, как я, одной десною придавит... известно, вор!

— А где же вор-то?

— А вор, батюшка, говорит: и знать не знаю, ведать не ведаю; это, говорит, он сам коровушку-то свел да на меня, мол, брешет-ну! Я ему говорю: Тимофей, мол, Саввич, Бога, мол, ты не боишься, когда я коровушку свел? А становой-ет, ваше благородие, заместо того-то, чтобы меня, знашь, слушать, поглядел только на меня да головой словно замотал. «Нет, говорит, как посмотрю я на тебя, так точно, что ты корову-то украл!» Вот и сижу с этих пор в

остроге. А на что бы я ее украл? Не видал я, что ли, коровы-то!

— А ты точно сам видел, как Тимофей Саввич корову-то сводил?

— Коли не сам! Да вот словно лукавый, прости господи, мне в ту пору на язык сел: скажи да скажи... Ну, вот теперь и сиди да сиди...

Арестант вздохнул.

— И хошь бы науки, сударь, не было, а то и наука была. Вдругорядь со мной эка дело случается. Впервой-ет раз, поди лет с десяток уж будет, шел, знаешь, у нас по деревне парень, а я вот на улице стоял... Ну, и другие мужички тоже стояли, и все глазами глядели, как он шел... Только хмелен, что ли, парень-ет был, или просто причинность с ним сделалась — хлопнулся он, сударь, об землю и прямо как есть супротив моей избы... ну, и вышло у нас туточка мертвое тело... Да хошь бы я пальцем-то до него дотронулся, все бы легче было — потому как знаю, что в эвтом я точно бы виноват был, — а то и не подходил к нему: умирай, мол, Христос с тобой!.. Так нет, ваше благородие, года с три в ту пору высидел в остроге, в эвтой в самой горнице... Какое же тут будет хозяйство!

— Да уж и нас тоже пора бы, кажется, решить чем-нибудь, — сказал, выступая вперед, арестант, вида не столько свирепого, сколько нахального и довольного.

— А ты кто таков?

— Да мы по делу о барышнях-с... Жили у нас, ваше благородие, в городе барышни, а мы у них в кучерах наймовались; жили старушки смирно, Богу молились, капитал сберегали-с... Как мы в эвтом деле уж и сознание учинили, так нам скрываться для че-с?.. Только вот и думаем мы, что живут, дескать, это барышни, а и душа-то, мол, в них куриная, а капиталами большими владеют-с. Кабы да этакие капиталы да в хорошие они руки — тут что доброто сделать можно! Ну-с, и выбрали мы этта ночку, ночку темную, осеннюю... Ломаем, знаешь, окно как следует, а барышенки-то и проснулись... Видят, что вор к ним лезет, встали с постелек, да только дрожат от страху... Ну, а мы, знаешь, и в комнату: «Здравствуйте, мол, барышни! Каково поживаете, каково прижимаете! ну, и мы тоже, мол, слава богу, век живем, хлеб жуем!» А они, сердешные, встали на коленки да только ровно крестятся: умирать-то, вишь, больно не хочется... Ну, это точно, что мы им Богу помолиться дали, да опосля и прикончили разом обеих... даже не пкнули-с!

Он оглядел нас торжествующим взглядом.

— Только надули-с! как ни бился искамши, — больше пяти целковых во всем доме не нашел-с!

АРИНУШКА

Идет-идет Аринушка, идет полем чистым, идет дорогой большою-торною, идет и проселочком, идет лесом дремучим, идет топью глубокою, глубокою неисходною, идет и по снегу рыхлому, и по льду звончатуму, идет-идет не охает...

Свищут ей ветры прямо в лицо, дуют буйные сзади и спереду... Идет Аринушка, не шатается, лопотинка¹ у ней развевается, лопотинка старая-ветхая, ветром подбитая, нищетою пошिताя... Свищут ей ветры: ходи, Аринушка, ходи, божья рабынька, не ленися, с убожеством своим обживися; глянь, кругом добрые люди живут, живут ни тошно, ни красно, а хлеб жуют не напрасно...

Журчат Аринушке ручьи весенние, весенние ручьи непорочные, чистые: жалко нам тебя, божья старушенька! лопотиночка у тебя — решето дырявое, ноженьки худые, иззяблые; обмолоча их гололедь строгаая, призастыла на них кровинка горячая...

И все идет Аринушка...

Видит она: впереди у ней Иерусалим-град стоит; стоит град за морями синиими, за туманами великиими, за лесами дремучиими, за горами высокиими. И первая гора — Арарат-гора, а вторая гора — Фавор-гора, а третья-то гора — место лобное... А за ними стоит Иерусалим-град велик-пригож; много в нем всякого богачества, много построено храмов божиих, храмов божиих христианских; турка пройдет — крест сотворит, кизил-баш пройдет — храму кланяется.

«Ты скажи мне-ка, куку-кукушенька, ты поведай мне-ка, божья птахонька! уж когда же я до свят-града дойду-доплетусь, у престола у спасова отдохну-помолюсь: ты услышь, господине, мое воздыханьице, уврачуй, спасе, мои ноженьки, уврачуй мою бедну головоньку!»

Промеж всех церквей один храм стоит, в тьим храме златкован престол стоит, престол стоит всему миру красота, престол христианским душам радование, престол — злым жидовем сухота. Столбы у престола высокие кованые, изумрудами, яхонтами изукрашенные... на престоле сам спас Христос истинный сидит.

¹ Лопотинка — одежда. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

«Ты почто, раба, жизнью печалуешься? Ты вспомни, раба, господина твоего, господина твоего самого Христа спаса истинного! как пречистые руце его гвоздями проби-вали, как честные нозе его к кипаристу-древу пригвожда-ли, тернов венец на главу надевали, как святую его кровь злы жидове пролияли... Ты вспомни, раба, и не печалуй-ся; иди с миром, кресту потрудися; дойдешь до креста ки-парисного, обретешь тамо обители райские; возьмут тебя, рабу, за руки ангели чистые, возьмут рабу, понесут на лоно Авраамлее...»

«Ты скажи мне-ка, куку-кукушенька, ты поведай мне-ка, божья птахонька, божья птахонька — птичка вещая! Сколь идти мне еще до честного деревца, честна дере-ва — кипариста-креста? Отдохнут ли тогда мои ноженьки, понесут ли меня ангели чистые на лоно светлое Авраам-лее!..»

Идет-идет Аринушка; идет полем чистым, идет доро-гой большой-торною, идет и проселочком; идет лесом дре-мучиим, идет топью глубокою; идет, клюкою помахивает, изяблыми ноженьками по льду постукивает...

«Было это, братец ты мой, по весне дело; на селе у нас праздник был большой; только пришла она, стала посередь самого села, мычит: «ба» да «ба» — и вся недолга. Сидел я в ту пору у себя в избе у самого окошечка; гляжу, баба посередь дороги рёвмя ревет.

— Глянь-ко, — говорю жене, — глянь, Василиса, никак ведь баба-то ревет?

— А и то, говорит, ревет! Подь, мол, сюда, подь, баунь-ка! подь, корочку подадим! изябла, чай, любезенькая!

Подошла она к окошечку, взяла пирога кусок, а сама вся дрожит словно: вешняком-то ее, знать, прохватило очень. Дрожит, и ни шагу, тоись, ступить нету ей мо-ченьки.

— Что ж, мол, — говорит Василиса, — нечем тебе на морозе-то холодеть, ин милости просим к нашему хозяину.

Пришла она в избу, уселась в угол и знай зубами сту-чит да себе под нос чего-то бормочет, а чего бормочет, и господь ее ведает. Ноженьки у ней словно вот изорваны, все в крове, а лопотинка так и сказать страсти! — где лос-куток, где два! и как она это совсем не измерзла — поди-вились мы тутотка с бабой. Василиса же у меня, сам зна-ешь, бабонька милосердая; смотрит на нее, на убогую, да только убивается.

— Откуда шагаешь, касатка? — спрашиваю я.

— С Воргушина, — говорит.

— Ну что, мол, как ваша барынька тамотки перевертывается?

А барыня ихняя не взаправду была барыня, а немцова, слышь, жена управителя. И слух был про нее такой, что эку бабу охаверную да наругательницу днем с огнем пощи — не сыщешь. Разогнала она народ весь, кормить не кормит, а работы до истомы всякой — с утра раннего до вечера позднего рук не покладывай: известно, не свои животы, а господские!

Только как напомнил я ей про барыню, так ее словно задёрьгало всю; берется поскорее опять за клюку, мычит чего-то и шагает, знашь, вон из избы.

— Куда же ты, баушка? — говорит Василиса.

А она знай шагает и на нас не смотрит, ровно как, братец ты мой, в тумане у ней головушка ходит. Только взялась она за дверь, да отворить-то ее и не переможет... Сунулась было моя баба к ней, а она тут же к ногам-то к ее и свалилася, а сама все мычит «пора» да «пора», да барыню, слышь, поминает... эка оказия!

— А поди-кось, Нилушко, положи ее на печку! — говорит моя баба, — ишь божья старушенька: инно перемерзла вся.

Положить-то я ее на печку положил, а сам так и трясусь. Вот, думаю, кака над нам беда стряслась; поди, чай, сотской давно запах носом чует да во стан лыжи навастривает... Добро как оживет убогая, а не оживет — ну, и плачь тутотка с нею за свою за добродетель. Думаю я это, а хозяйка моя смотрит на меня, словно в мыслях моих угадывает.

— Перекрестись, — говорит, — Нилушко! никак, ты чего-то задумал! Ты бы лучше вот приголубил ее, сиротинушку: душа-то ведь в ней христианская! а ты, заместо того, и не знай чего задумал!

— Ну, — говорю, — баба! ин быть по-твоему! а все, — говорю, — пойтить надо к соседу (Влас старик у нас в соседах жил, тоже мужичок смиренный, боязливый): может, он и наставит нас уму-разуму.

— Подь, подь к Власу, голубчик!

Иду я к Власу, а сам дорогой все думаю: господи ты боже наш! что же это такое с нам будет, коли да не оживет она? Господи! что же, мол, это будет! ведь засудят меня на смерть, в остроге живьем, чать, загибнешь: зачем,

дескать, мертвое тело в избе держал! Ин вынести ее за околицу в поле — все полегче, как целым-то миром перед начальством в ответе будем.

— Дедушко Влас! а дедушко Влас!

— Здорово, — говорит, — али у тебя в дому-то что по-притчилось?

— А что?

— Да так, мол; на тебе, мотри, ровно лица нетути.

— А и то, дедушко, ведь попритчилось.

— Что таково?

— Подь к нам, сам увидишь.

Пришел дедушко, и повел я его прямо на печь: мотри, мол, како детище Бог для праздника дал.

— Ой! да это, никак, — говорит, — Оринушка! да, слышь ты, она, никак, уж и дьхать-то перестала... Как же она это, паренек, на печку-то взлезла?

— Коли бы взлезла! сам встацил...

Стал я ему сказывать сызначала до конца, что и как.

— Ну, — говорю, — выручай, дедушко.

— Жалко мне тебя, паренек! парень ты добрый, душа в тебе христианская, а поди каку сам над собой беду со-строил! Чай, теперь и себя в полон отдай, так и то тутотка добром от начальников не отъедешь.

— Что ж, по-твоему, загубить, что ли, христианскую душу? — завопила на него Василиса, — старик ты, дедушко, старый, а каки речи говоришь!

— Стар-то я стар, больно уж стар, оттого, мол, и речи таки говорю... Ну, Нилушко, делай, как тебе разум указывает, а от меня вам совет такой: как станут на дворе сумеречки, вынесите вы эту Оринушку полегоньку за околицу... все одно преставляться-то ей, что здесь, что в поле...

— Слышишь, — говорю бабе, — слышишь, что старики говорят!

В это время застонала наша гостья на печке. Бросился я к ней, да и думаю: «Только бы ты, баунька, до сумеречек дожила, а там умирай, как тебе надобно».

— Да кто же такая она, эта Оринушка, на нас насла-лась? — спрашивает моя баба.

— А Христос ее знает! Бает, с Воргушина, от немки от управительши по миру ходит! Летось она и ко мне эк-ту наслалась: «Пусти, говорит, родименькой, переночевать». Ну, и порассказала же она мне про ихние распорядки! Хошь она и в ту пору на язык-то не шустра была, а наслушался я.

— А что?

— Да так-то истомно у них житье, что и сказать страсти! Ровно не христианский народ эти немцы! Не что уж дворовые — этот народ точно что озорливый, — а и мужички-то у них словно в заключение на месячине сидят: «Этак-то, говорит, будет для меня сподрушнее...» Ишь, подлец, скотину какú для себя сыскал!

— И-и, как, чай, мужички-то его ругают!

— Коли не ругаться! ругаться-то ругают, а не что станешь с ним делать! А по правде, пожалуй, и народ-от напоследях неочеслив становиться стал! «Мне-ка, говорит, чего надобе, я, мол, весь тут как есть — хочь с кашей меня ешь, хочь со щами хлебай...» А уж хозяйка у эвтого у управителя, так, кажется, зверя всякого лютого лютее. Зазевает это на бабу, так ровно, прости господи, черти за горло душат, даже обеспамятует со злости!

— Да ты разве видел ее, дедушко?

— Видел. Года два назад масло у них покупал, так всего туточка насмотрелся. На моих глазах это было: облюте-ла она на эту самую на Оринушку... Ну, точно, баба она ни в какую работу не подходящая, по той причине, что убогая — раз, да и разумом Бог избидел — два, а все же христианский живот, не скотина же... Так она таскала-таскала ее за косы, инно жалость меня взяла.

— Да чего ж муж-от глядит?

— А ему что! Он в эвто дело и входить не хочет! Это, говорит, дело женское; я ей всех баб и девок препоручил; с меня, мол, и того будет, что и об мужиков все руки обшаркал... право! така затейная немчура...

— Да чего ж господа-то воргушинские на него смотрят?

— А что господа? Господа-то у них, может, и добрые, да далече живут, слышь. На селе-то их лет, поди, уж двадцать не чуть; ну, и прокуратит немец, как ему желается. Года три назад, бают, ходили мужики жалобиться, и господа вызывали тоже немца — господа, нече сказать, добрые! — да коли же этака выжига виновата будет! Насказал, поди, с три короба: и разбойники-то мужики, и нерадивцы-то! А кто, как не он, их разбойниками сделал?

— А разве и вправду разбойники?

— Есть тако дело. Двадцать лет назад эта вотчина изо всех вотчин первейшая была, ну а теперь точно... Таки даже душегубы сделались, что и проезжать мимо ихней деревни опасно. А все этот управитель!

— Да управитель-то тут при чем?

— А как бы тебе это в толк дать, бабонька! Оно точно,

что он словно ни при чем тут, а как вот хошь бы и тебя, примерно, ноне муж потаскал да завтра потаскал, так и тебе бы, чай, тасканцы-то приелись... Так вот и они ко всему пригляделись, да такі ли звери сделались, что прости господи! Велит ему управитель за вину сотню, что ли, отсчитать, так наказчик-то уж от себя норовит полсотни всыпать! Кровь-то у них заместо удовольствия сделалась — своего даже брата не жалко... Варвар же ведь и мужик, как его разожгут — что твой зверь!..

— Ну, а за что же они в ту пору Оринушку-то измучивали?

— А вот видишь, положенье у них такое есть, что всяка душа свою, тоись, тяготу нести должна; ну, а Оринушка каку тяготу нести может — сам видишь! Вот и удумали они с мужем-то, чтоб пущать ее в мир; обрядили ее, знашь, сумой, да от понедельника до понедельника и ходи собирай куски, а в понедельник непременно домой приди и отдай, чего насобирала. Как не против указанного насобирает — ну, и тасканцы.

— Эко, подумаешь, бывают же на свете злодеи! Ну, а как же ты, дедушко, одумал: как же нам с ней-то быть, чтобы в ответ моему мужику не попастьись?

— Я тебе сказывал уж, бабонька, что надо ее сумеречками полегоньку за околицу вынести, а по прочему как хотите! Мне-ка что тут! я для вас же уму-разуму вас учу, чтоб вреды вам какой от этова дела не было... Мотри, брат Нил, кабы розыску какого не случилось, — не рад будешь и добродетели своей.

Уж на что была мягка моя баба, а урезонилась. «Ин быть, говорит, дедушко, по-твоему». А гостья-то знай на печке стонет.

— А что, тетонька? — говорит Василиса, — тошно, что ли, тебе, испить хочется? Али пирожка дать поесть?

А она все стонет. Дала ей баба воды испить; полежала она с часочек, ну, и вздохнула словно маленько.

— Что, тетонька, али полегше стало?

Вдруг она, знашь, взговорила, да так-то внятно, словно совсем у ней отлегло.

— А что, — говорит, — до Ерусалим-града далече отсель будет?

— Что ты! Христос с тобой, тетонька. Какой такой Ерусалим-град, мы и не слыхивали!

— А Ерусалим-град Христов, — говорит, — мне сегодня повечеру непременно поспеть туда надоть.

И опять на печке растянулась и обеспамятела. Губы-то

у ней шевелятся, а чего она ими бормочет — не сообразишь! То Ерусалим опять называет, то управительшу поминает, то «Христа ради!» закричит, и так, братец ты мой, жалостно, что у меня с бабой ровно под сердце что подступило.

— Ну, — говорю, — Василисушка, видно, кончается.

— А и то кончается, — говорит.

Помыкалась она, раба божия, таким родом с полчаса и замолчала совсем. Полез я к ней на печку — не дышит... Ну, пропала, думаю, моя головушка!

— А что, — говорю, — Василиса, — ин и взаправду старуха-то совсем замерла!

И говорю это, знашь, не то чтобы громко, а потихоньку, словно чудится мне, что за дверью кто-нибудь меня слушает! Говорю, а у самого сердце-то так и дрожит в груди. Поставила Василиса свечку к образу, начала над старухой молитвы читать, а мне ровно не до того. И жалко-то мне и зло-то меня берет, а пуще зло. «Вот, думаю, занесли-те лешие!» И опять же и то думаю, что зачем старуху убогую обижать... Сижу, слышь, на лавке, а перед глазами-то у меня и становой мерещится, и острог, и всякая напасть. Пошел опять к дедушке Власу.

— Что, — говорю, — никак, померла, дедушко!

— Ну, царство небесное, — говорит, — много убогая кресту потрудилася!

— Как же, мол, теперь мне быть-то с ней?

— А снеси, как сказывал, на гумно! На лбу-то у ней не написано, где она спала-ночевала! Заблудилась, да и вся недолга...

Пришел опять домой; жена обедать собирает.

— Ну тебя, — говорю, — до обедов ли мне теперя! Ты мне-ка эту петлю на шею навязала!

— Бога ты не боишься, Нил Федотыч! — говорит баба, — божью тварь призрел-обогрел, а поди-ка ругаешься, словно на большую дорогу на разбой ходил!

Пришли это сумеречки; изладил я санишки; обвязали мы бауньку вожжами, чтоб не болталась, и тронулся я с нею в поле. Бегу, знашь, с санишками-то, а сам все оглядываюсь. И что я в это время муки принял — рассказать не умею. Из каждого словно окошечка голова выглядывает, даже месяц сверху светит, и тот будто смотрит: что, дескать, ты, злодей, делаешь!.. Сапожнишки-то я загода скинул, в одних портянках пошел — и те скрипят проклятые, словно звон по улице раздается. Бегу я это и не думаю ничего; все это одна у меня в голове дума: «Куда же,

мол, это поле запропастилось! было, кажется, рукой подать, а теперь вот словно час бегу — не добегу, да и полно»... Однако прибежал-таки к гуменникам, свалил свою ношу и драло домой...

Сижу я дома, а меня словно лихоманка ломает: то озноб, то жарынь всего прошибает; то зуб с зубом сомкнуть не могу, то весь так и горю горма. Целую ночь надо мной баба промаялась, ни-ни, ни одной минуточки не сыпал. На другой день, раным-ранехонько, шасть ко мне дядя Федот в избу.

— Слышал? — говорит.

— Нет, мол, не слыхал.

— У Куземки тело, говорит, по-за гумном оказалось.

— Ой ли? — говорю, а самого так и ломит лихоманка.

— Да, — говорит, — тело; сотский уж к становому угнал, да что ты словно трясешься весь?

— Да что, — говорю, — лихоманка всего истрепала: и то за всю ночь ни на минутую не сыпал... Да како же, мол, тако тело, Потапыч, оказалось?

— А старушонка кака-то, Христос ее знает! Воргушинская, сказывают ребята. Только вот что чудно, парень, что лежит она, а руки-ноги у ней вожжами перевязаны... Уж мы и то хотели развязать ее да посмотреть, чьи вожжи, да сотский не пускает: до станового нельзя, говорит.

А я, знашь, в ту пору, как ее бросил на гуменнике, и развязать-то второпях позабыл... Гляжу, к обеду и становой прикатил; поволокли нас всех туда миром; сняли с нее вожжи, со старухи.

— А чьи это вожжи, ребята? — спрашивает становой, — не признаёте ли?

Посмотрели ребята на вожжи, посмотрели на меня.

— Нилкины вожжи, — говорят.

Я было в заперительство — так куда! Тот же Потапыч дохнуть не дал.

— Нет, брат, это, — говорит, — уж дело не следственное, чтоб кашу наварить, да потом на мир сваливать.

Подумал-подумал я; вижу, точно мои вожжи; ну, и мир, знашь, лаяться на меня зачал: вспомнили туточки, что какая-то старуха накануне по селу шаталась, что она и в избу-то ко мне заходила — как тут запрешься?

Да вот с той поры и сижу, братец ты мой, в эвтим месте, в остроге каменном, за решетками за железными, живу-поживаючи, хлеб-соль поедаючи, о грехах своих размышляючи... А веселое, брат, наше житье — право-ну!»



КАЗУСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

СТАРЕЦ

«Я старец. Старцем я прозываюсь потому, первое, что греховную суету оставил и удалился в пустынножительство, а второе потому, что в Писании божественном искуснее, нечем прочие христиане. Прочие христиане в темноте ходят, Бога только по имени знают; спросишь его «какой ты веры?» — он тебе отвечает «старой», а почему «старой» и в чем она состоит, для него это дело темное.

Родители мои исстари «христиане» были; лет около сотни будет назад, еще дедушка мой бежал из Великой России и поселился в Пермской губернии на железном заводе. Жалко, сказывают, было ему с родной стороной расставаться! Известно, там наши родители в землю легли; там вся наша святыня; там гробы чудотворцев, гробы благоверных князей российских и первосвятителей православной церкви... Кому неволя от таких святых мест идти в сторону глухую, неизвестную, дикую! Стало быть, теснота была велика, коли уж перемочь было не можно.

Бежали они в те поры целыми селеньями, кто в Поморье, кто в Сибирский край. Однако хошь и дикая была эта сторона, а точно господня благодать осенила ее. Всего было довольно: и зверя лесного, и рыбы всякой, и угодий — ни в чем нужды мы не видели. А всего пуще общение и дружба между селянами была. Еще на моей памяти жили мы тут словно в райских обителях. Не было ни раздору, ни соблазну, ни пьянства; кабак и другие там заведения пошли только в недавних годах. Ну, и подлинно: не сломила сила, не сломило слово, а кабак сломил — это

точно. Кои селенья богаты были, в тех теперь словно разоренье прошло: всё в кабак снесли.

Помню я свое детство, помню и родителя, мужа честна и праведна; жил он лет с семьдесят, жил чисто, как младенец, мухи не избидел и многая возлюбил... Теперь он видит лицо создателя и молится за нас, грешных. Памятен он мне так, словно сейчас его вижу: седой и строгий, а в глазах кротость и благость господня. Как вы хотите рассудите, ваше благородие, а какая-нибудь причина тому есть, что между «мирскими» таких стариков не бывает. Весь он будто святой, и всяк, кто его видит, поневоле перед ним шапку снимет и поклонится... Почтенный был старик!

Сердце у меня сызмальства уже к Богу лежало. Как стал себя помнить, как грамоте обучился, только о святом деле и помышление в уме было. Начитаешься, бывало, на ночь, какие святии отцы мучения претерпевали, какие подвиги совершали, на сердце ровно сладость какая прольется: точно вот плывешь или вверх уносишься. И уснешь-то, так и во сне-то видишь все, как они, наши заступники, в лютых мучениях имя Божие прославляли и на мучителей своих божеское милосердие призывали. А другой раз случалось и так, что голова словно в огне горит, ничего кругом не видишь, и все будто неповинная кровь перед тобою льется, и кроткие речи в ушах слышатся, а в углу будто сам Деоклитиян-царь сидит, и вид у него звероподобный, суровый.

Еще тогда, сколько припомню, только об том и думалось, чтоб в пустынножительстве спасение найти, чтоб уподобиться древним отцам пустынникам, которые суету мирскую хуже нечем мучения адовы для себя почитали... Ну, и привел Бог в пустыню, да только не так, как думалось.

Лет за пятнадцать до смерти принял родитель иночество от некоего старца Агафангела, приходившего к нам из стародубских монастырей. С этих пор он ничем уж не занимался и весь посвятил себя Богу, а домом и всем хозяйством заправляла старуха мать, которую он и называл «посестрией». Помню я множество странников, посещавших наш дом: и невесть откуда приходили они! и из Стародуба, и с Иргиза, и с Керженца, даже до Афона доходили иные; и всех-то отец принимал, всех чувствовал и отпускал с милостыней.

Между христианами в то время большое смятение было; не только от мирских гоненья терпели, а и промеж себя все были раздоры да неурядицы; кто хотел священ-

ства, а кто его и вовсе отвергал¹. Родителя моего это сильно печалило. Беспреданно получали мы письма и послания то от той, то от другой стороны, и всяк уговаривал не слушать противника, у всякого противник супостатом и отщепенцем св. церкви назывался. Странники, бывшие на Москве, тоже немного хорошего пересказывали: там, на этих соборах, доходило чуть не до убийства.

Горько сделалось родителю; своими глазами сколько раз я видал, как он целые дни молился и плакал. Наконец он решился сам идти в Москву. Только Бог не допустил его до этого; отъехал он не больше как верст сто и заболел. Вам, ваше благородие, оно, может, неправдой покажется, что вот простой мужик в такое большое дело все свое, можно сказать, сердце положил. Однако это так.

Дали нам знать, что родитель умирает. Приехали мы с матушкой в Ножовку (село такое есть), где он лежал у одного старинного благоприятеля; приехали, а у него уж и руки и ноги отнялись. Принял он, сударь, и схиму, перед кончиной, по той причине, что перед лицо Божие похотел предстать в ангельском всеоружии; об одном только жалел, что не сподобил его Бог мученический венец воспринять, что вот он на свободе преставляется, а не в узах и не в тесноте. Смекаю, что он затем больше и в путь отправлялся, что чаял за Христа душу положить.

Умер он в полной памяти и светлом разуме, с молитвой и благословением... Это-то самое воспоминание, об его, то есть, тихой и праведной смерти, еще более утвердило меня. Может ли статья, думал я, чтобы наше дело было не правое, когда вот родитель уж на что был большого разума старик, а и тот не отступился от своей старины: как жил в ней, так и умер. К тому же и такая была у меня мысль, что перед смертью каждый человек сокровенным ведением просвещается; стало быть, если б совесть его была чем ни на есть замарана, зачем же бы ему не примириться с ней перед смертью: там ведь не человеческий суд, а божий!

Случился в это самое время в Ножовке заседатель. Как ни секретно мы свое дело устраивали, однако он пронюхал, что вот, дескать, помер старик без покаяния; пришел к нам в дом.

— От какой, — говорит, — причины помер здесь ста-

¹ Любопытствующих узнать более подробные сведения об этих смутах отсылаем к сочинению протоиерея Андрея Иоаннова: «Полное историческое известие о древних стригольниках» и пр., а также к «Истории русского раскола» преосвященного Макария, епископа винницкого. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

рик, да и чтой-то за старик таков? давайте, — говорит, — мне его вид.

А вида у отца точно что никакого не было, по той причине, что паспорт считал он делом сугубо греховным. У нас насчет этого такой разговор был, что паспорт ли, печать ли антихристова — все это едино. Есть книга такая, Трифология прозывается, и в ней именно наказано: «Опасаться трех вещей: звериного образа, карточек и наипаче всего душепагубные печати». Опять-таки и Зиновий мних на вопрос: «Которыми вещьми хочет увязати человеком ум сопровтивник божий?» — прямо отвечает: «Повелит творити некая письмена на карточках, с тайным именем, да не могут без тех в путь шествовать». Ну, и выходит, что карточки паспорт и есть.

Однако заседатель всего этого разговору не понимает. «Мне, говорит, подавай паспорт».

— Да где ж его возьмешь, коли нетути? — говорим мы ему.

— Так нет, стало, паспорта? — ладно; это пункт первый. А теперь, — говорит, — будет пункт второй: кто бишь из вас старика отравил? и в каких это законах написано, чтоб смел человек умереть без напутствия?

Мы так, сударь, и помертвели все.

— Да, — говорит, — это надлежит дело исследовать, потому что и законами не повелено без напутствия умирать!

А сам, знашь, подошел к мертвому-то, да еще надругаться над ним норовит. Я в те поры еще молоденок был: кровь-то во мне играла — ну, и обидно мне это показалось.

— А что, — говорю, — много жалованья, ваше благородие, получаешь за то, чтоб над праведником надругаться?

Так он только засмеялся, антихрист, да в щеку мне легонько потрафил.

Истрясли мы в ту пору рублей больше тысячи на тогдашние еще деньги и схоронили-таки родителя по своему обычаю. Однако с этих пор словно знобит у меня все нутро, как увижу полицейского: так и представляется мне покойник, как он его резать и потрошить хотел.

Остался я после отца по двадцатому году; ни братьев, ни сестер не было: один как перст с матушкой. Года были подходящие; матушка стала стара; хозяйство в расстрой пошло... вот и стала ко мне приставать старуха: женись да женись.

Конечно, сударь, и отец и дед мой, все были люди

семьянистые, женатые; стало быть, нет тут греха. Да и Бог сказал: «Не добро быти единому человеку». А все-таки какая-нибудь причина тому есть, что Писание, коли порицает какую ни на есть вещь или установление, или деяние, не сравнит их с мужем непотребным, а все с девкой жидовкой, с женой скверной. Да и Адам не сам собой в грехопадение впал, а все через Евву. Оно и выходит, что баба всему будто на земле злу причина и корень.

К тому же и отец, на смертном одре, не больно желал, чтоб я осемьянился, даже матери наказывал, чтоб она меня к этому делу не нудила. Припомнил я это старухе — так куда? и святых-то всех помянула, и отца перетревожила: такая уж их бабья природа. «Он, говорит, и жив-то был, так ровно его не было, только слава, что муж, а умер — одно разоренье оставил». А то и забыла, что и дом, и все, что в нем ни было, все трудов отцовских дело. Крепился я года с три, однако она меня одолела. Как с утра да до ночи к тебе пристают, так и невесть чего сделаешь.

Вот я и женился. Жила у нас на селе девка не девка, вдова не вдова, а так женщина сумнительная. Словно диво случилось какое, полюбилась она моей старухе. Слух у нас был, будто она с старцами дружбу водит, которые неподалеку от нас в лесах спасались; старцы были всё молодые да здоровенные, зачастую к нам на село за подаяньем прихаживали, и всё, бывало, у ней становятся. Стал я говорить про это матери, так и то все прахом пошло: «Что ж, говорит, разве старцы люди простые? от них, окромя благодати, ничего и быть-то не может». Ну, и обвенчали нас, обвенчали в церкви. Я былю хотел, чтоб дело просто стало, по родительскому, то есть, благословению, по той причине, что и учителя наши сказывают: «Не в том-де замыкается сила тайны брака, чтоб через попа оную отправить»¹; однако и тут мать-старуха не допустила. Это, говорит, ты хочешь, чтоб меня засудили на старости лет; мало, что ли, я в те поры с покойничком денег истрясла?

Оно и точно, ваше благородие, тяжкие времена тогда были. От самой, то есть, утробы материнской и до самой смерти земская полиция неотступно за нами следила. Как пастырь верный и никогда не спящий, стерегла она стадо наше и получала от того для себя утеху великую. Первая была мзда за нехождение, вторая за сожительство, третья за неокрещение, четвертая за погребение не по

¹ См. Известие о стригольниках и пр., соч. Андрея Иоаннова. Изд. 5-е, ч. II, стр. 36. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

чину. Удивляешься нынче, как на все это их ставало, откуда деньги у стариков брались. И не то чтоб помаленьку, по-христиански брали — отчего ж и не взять бедному человеку, коли случай есть? — нет, норовит, знашь, с маху ограбить вконец. Бывали случаи, как поважнее дело — вот хошь бы насчет совращенья, — так в доме-то после полиции словно после погрому.

Ну, и подлинно повенчали нас в церкви; оно, конечно, поп пóсолонь венчал — так у нас и уговор был — а все-таки я свое начало исполнил: воротился домой, семь земных поклонов положил и прощенья у всех испросил: «Простите, мол, святии отцы и братья, яко по нужде аз грешный в еретической церкви повенчался»¹. Были тут наши старцы; они с меня духом этот грех сняли.

Не долго мы пожили в согласии. Первое дело, что брань промеж баб пошла, а второе дело — эти старцы больно уж одолевать меня зачали. Каждый-то день всё они к нам да к нам, и пошло у них это бражничанье да хлебо-сольство, словно кабак какой у нас в доме завелся. Старуха мать только сидит да плачет, а я... мне, сударь, полюбилась такая жизнь. Соберемся мы, бывало, в кружок, поставит нам жена браги, и пошел разговор, старцы эти были народ хошь не больно грамотный, однако из этих цветников да азбуков понабрались кой-чего; сидит себе, знай пьет, да кажный глоток изречением из Святого писания будто закусывает, особливо один — отцом Никитой прозывался. Стал я в ту пору и хмелем зашибаться; понимал я, конечно, что это дело нехристианское, да удержаться никак не возможно: так и тянет и тянет в этот разврат.

Таким-то родом пропили мы и последние денежки. Думал я, думал, куда девать мне свою головушку, и решился наконец. Решился я, сударь, идти в поверенные на винный завод. Владелец его знавал еще нашего родителя, и хочь, может, доходили до него слухи, что сын не в отца пошел, однако принял меня и жалованье большое положил. Не дошел бы я, сударь, до этой крайности: лучше бы с голоду умер, чем в экое поганое место служить идти, да жена и тут сомустила. «Что ж, говорит, разве ты тут при чем-нибудь будешь? Их, мол, дело особь статья, а твое особь статья: вот кабы твой завод был, это точно что грех, а то и родитель твой с ними дела имел, не гнушался». Ну, и старцы тоже приговорили, что ничего закону противного

¹ См. Известие о стригольниках и пр., соч. Андрея Иоаннова. Изд. 5-е, ч. II, стр. 36. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

нет; только старуха мать ровно по покойнике голосила, как я на завод отправлялся.

В заводе этом пробыл я лет восемь: какую жизнь я тем тем временем вел, даже вспомнить стыдно. Довольно сказать, что по постным дням скоромное ел, водку пил, табачище курил! И где-где не перебивал я в эти восемь лет! И в Астрахани, и в Архангельском, всю Россию почесть вдоль и поперек изъездил. Подивился я, барин, в ту пору, что такое есть Русское царство! Куда ни приедешь, все новый обычай, новая речь, даже одежда новая. Много узнал я слез, много нужды, много печали, и, однако, все это будто мимо меня прошло. Нажил я денежек, поприсмотрелся кой к чему и сам стал поторговывать, сначала исподволь, а потом все больше да шире. Торговал я, знаете, книжками, лестовками да образками, а какая это была торговля — одному богу известно. Овладел мною дух неправды и любостяжания; стал я обманывать, бедный народ притеснять, свою братию продавать, от христианства отказываться — все в чайные приобретения благ земных.

И ведь чудо! не поразил же меня в то время Господь, как пса смрадного, когда я невесть до какого кощунства доходил. Обман, сударь, конечно, дело простое, потому как на нем у нас, пожалуй, весь торговый промысел состоит, да я-то ведь на чем обманывал? Я ведь именем Христовым, можно сказать, торговал! Особливо есть у нас, в нашем быту, собраньица такие рукописные — цветнички прозываются — там, знаете, изо всех книг собрано, что нам на потребу. Эти тетрадки самый для нас выгодный промысел; покупает их народ больше неграмотный, которому и невесть чего тут насажешь: вот он, наслушавшись-то, и точно готов на стену лезти.

Помощник был у меня на все такие дела предешлый. Прозывался он по-простому Андрияшкой, и как бы вам сказать, не ошибиться, за полтину серебра душу свою готов был на всякое дело продать. Где и в каких он делах не бывал, этого я вам и объяснить не умею: довольно сказать, что у комедиянтов подсказчиком был... извольте знать, что по городам комедиянты бывают. Он и стихи слагать умел, особливо про пустынножителство или вот насчет антихристова пришествия. Одно слово, остроумный, живой парень был. Конечно, промеж нас-то он будто заместо шуток состоял, а в темном народе тоже свою ролю разыгрывал. Часто самому мне случалось слышать, как его величали «горняго жития ревнителем», ну, и он ничего, даже глазом не моргнет. Так вот этакой-то проходимец и вызвался

быть моим помощником. И точно: подделать ли что под старый манер, рассказать ли так, чтоб простой человек уши развесил, — на все на это у него такой талант был, что, кажется, если бы да на хорошую дорогу его поставить, озолотил бы, не расстался бы с ним.

Как пошла у меня эта торговля, я и место бросил. Слухом земля полнится; стали и на Москве знать, что есть де такой-то ревнитель; ну, и засылать ко мне зачали. Получаю я однажды писемцо, от одного купца из Москвы (богачейший был и всему нашему делу голова), пишет, что, мол, так и так, известился он о моих добродетелях, что от Бога я светлым разумом наделен, так не заблагорассудится ли мне взять на свое попеченье утверждение старой веры в Крутогорской губернии, в которой «христиане» претерпевают якобы тесноту и истязание великое. А средством к утверждению предлагалось открытие постоянного двора, в котором могли бы иметь пристанище все «христиане». Ну, разумеется, и деньги на обзаведение тут же посулил, десять тысяч рублей на бумажки... «А мы, говорит, Богу прозволющу, надеемся в скором времени и пастыря себе добыть доброго, который бы мог и попов ставить, и стадо пасти духовное: так если, мол, пастырь этот к вам обратится когда, так вы его, имени Христова ради, руководствуйте, а нас, худых, в молитвах пред Богом не забывайте, а мы за вас и за всех православных христиан молимся и наперед молиться готовы».

Ну, что ж, думаю, это дело хорошее. Поехал в Крутогорск, взял с собой Андрияшку, снюхался там с кем следует и открыл въезжий двор. Крутогорская эта сторона, доложу я вам, сплошь населена нашим братом; только все это там у них, с позволения сказать, какая-то тарабарщина. От дикости ли этой ихней, а только что ни деревня у них, то толк новый, даже в одном и том же селенье по несколько бывает. Одни на воду веруют; соберутся, знашь, в избе, поставят посреди чан с водой и стоят вокруг, доколе вода не замутится; другие девку нагую в подполье запирают, да потом ей кланяются; третьи говорят: «Не согрешивый спасенья не имеет», — и стараются по этой причине как возможно больше греха на душу принять, чтоб потом было что замаливать. Есть даже такие изуверы, что голодом себя измаривают, только ноне этих стало мене заметно.

Надлежало, стало быть, всех этих разнотолков в одно согласить, и задача трудненька-таки была. Писал я об этом в Москву к своему благодетелю, так он отвечал, что

это ничего, лишь бы были все «християне». Ну, я так и действовал.

Конечно, сударь, как теперь рассудить, так оно точно выходит, что в этих делах много сумнительного бывает. На этот счет, доложу я вам, трех сортов есть люди. Одни именно сердцем это дело понимают, и эти люди хорошие, примерно вот как родитель мой. Правы они или не правы, это статья особенная, да по крайности они веруют. И вы, барин, не подумайте, что они из-за сугубой аллилуйи или из-за перстов так убиваются. Нет, тут совсем дело другое; тут, сударь, вот антихрист примешался, тут старина родная, земство, и мало ли еще чего. Известно, Андрея Денисова ученики. Эких людей немного, а ноне, пожалуй, и совсем нет. Эти на все готовы: и смерть принять, и поругание претерпеть — все это даже за радость себе почитают. А вот другой есть сорт, так эти именно разбойники и святотатцы. Это больше всё люди богатые или хитрые; заводят смуты не для чего другого, как из того, чтобы прибыль получить, или еще для того, чтоб честь ему была. Хуже, злее этих людей на свете нет: готов полсвета зарезать, чтоб прихоть свою исполнить. Сам он не только в старую, а, просто сказать, ни в какую веру не верует; знали бы ему только, что, мол, вот он каков: слово скажет, так четь России этого слова слушает. Ну, и подлинно слушают, потому что народ не рассуждает; ему только скажи, что так, мол, при царе Горохе было или там что какой ни на есть папа Дармос был, которого тело было ввержено в реку Тивирь, и от этого в реке той вся рыба повымерла, — он и верит. Это третий сорт.

И еще доложу вам, сударь, такой, примерно, предмет, что сколько вот я ни бродил по свету, сколько ни знавал «особников», а истинной, настоящей, то есь, любви в них не видал. Все они как есть «особники». Нет того, чтоб душу свою за ближнего положить, а пуще горло ему перегрызть готовы. Мало в них общительности, мало и радушия и милосердия. Кто больше их подает милостыни? Кто больше их жертвует на общее дело? А все как-то сразу замечаешь, что тут истинного мало, что все это: и жертва и приношения — один хазовый конец. Конечно, есть же какая-нибудь этому причина, что сердце в них словно зачерствело, что они на свет божий сурово глядят, а только это истинная истина, что к общению их мало тянет. Иной богатый купец тысячи бросит, чтоб прихоть свою на народе удовлетворить, а умирай у него с голоду на дворе душа христианская — он и с места не двинется...

Дела мои шли ладно. На дворе, в бане, устроил я моленную, в которой мы по ночам и сходились; анбары навалил иконами, книжками, лестовками, всяким добром. Постояльцев во всякое время было множество, но выгоднее всех были такие, которых выгоняли в город для увещаний. Позовут их, бывало, в присутствие, стоят они там, стоят с утра раннего, а потом, глядишь, и выйдет сам секретарь.

— А вы, мол, кто такие?

— А мы, батюшка, вот такие-то; нельзя ли, кормилец, над нами скорее конец сделать?

— А, — скажет секретарь, — ну, теперь поздно, пора водку пить, приходите завтра.

Придут и завтра; тоже постоят, и опять: «Приходите завтра». Иной раз таким-то манером с месяц томят, пока не догадаются мужички полтинничек какой-нибудь приказной крысе сунуть. Тут их в один день и окрутят — известно, остались все непреклонны, да и вся недолга. И диво бы не остались, барин! Дома-то он один; видит ли, нет ли перед собой такого же сиволапа, как и сам, а тут придет в город, остановится, примерно, хошь у меня или у другого такого же — и чего-чего ему в уши-то тут не нашепчут. Как из деревни-то он шел, совесть-то у него, может, шаталася, а тут, гляди, совсем другой человек сделался. «Не хочу, да не хочу!» да и полно: а почему «не хочу» — молчит: просто, говорит, не хочу! — что ж с ним станешь делать!

Ну, а для нас, крохоборцев, оно и хорошо. Простоят они этак с месяц — глядишь, ан на коем тридцать, на коем сорок бумажками. А расходу для них не бог знает сколько: только за тепло да за ласку, потому что хлеб у него за всегда свой, и такой, сударь, хлеб, что нашему брату только на диво, как они его едят. Как приходится домой идти да объявишь каждому расчет, так он только вздыхает. И денег-то у него нет, и припас-от весь извел, потому что сбирался на неделю одну, а продержали месяц. Ну, мы насчет этого не прекословим; тут же и условимся, чтоб вместо денег хлебом, или медом, или холстом по ихней, то есть, цене, и доставка тоже ихняя. Это дело очень выгодное и обманов тут не бывает — чего? еще гостинцу всякий раз присылают!

Однажды получаю я письмо от своего милостивца, что вот добыли они себе пастыря, мужа честна и добра, и что похотел он овцы своя ўзрети и даже наш город предположил посетить.

Вот и подлинно приехал он. Приехал ночью, с возами,

будто извозчик; одет словно мещанин простой в кафтанчике и в желетке, и волосы в кружок обстрижены, и паспорт при нем — только чужой али фальшивый, доложить не могу. Приняли мы его с честью великою, под благословенье, как следует, подошли: только сам он словно необычно держал себя: чуть немного не по нем, он не то чтоб просто забранить, а все норовит обозвать тебя непотребно. Служил он (такая при нем церковь походная была) и за службой уставщика то и дело ругал азартно, словно не в церкви, а в кабаке он действует. Смотрел я на него, смотрел: сам вижу, словно морда у него знакомая, а припомнить не могу. Что ж, сударь, открылось? Кончил он всю эту комедию, поломался-таки перед нами досыта и остался со мной уж один на один.

— Что ж, — говорит, — или не признаешь меня, Александра Петрович?

— Нет, мол, не признаю; это точно, что сдается, будто тебя знаю, а где и когда видал — доподлинно сказать не умею.

— А не припомнишь ли, — говорит, — Степку, казанского дворника?

— Да что ты, шутишь, что ли?

— Нет, не шучу; вот мы теперь решим и вяжем и какое хошь таинство творим.

— Господи ты боже мой! Так вот, мол, ты кто таков!

А знаете ли вы, сударь, кто этот Степка? В Казани он был дворником и за блудную жизнь да за воровство в некруты присужден был от общества.

Вот он и бежал; старую веру, слышь, принял, да потом нашими благоприятелями и уставлен к нам пастырем! И ума-то даже хитрого не имел, да, видно, по этой причине и полюбился нашим милостивцам, что на нем подозренья держать было нельзя; весь он был в их руках.

Только наказал же меня за него Бог! После уж я узнал, что за ним шибко следили и что тот же Андрияшка-антихрист нас всех выдал. Жил я в Крутогорске во всем спокойствии и сомнения никакого не имел, по той причине, что плата от меня, кому следует, шла исправно. Сидим мы это вечером, ни об чем не думаем; только вдруг словно в ворота тук-тук. Посмотрел я в оконце, ан там уж и дом со всех сторон окружен. Обернулся, а в комнате частный. «Что, говорит, попался, мошенник!»

Только я к нему: «Помилосердуйте, говорю, ваше благородие, за что ж конфузить! Кажется, с меня и то сходит

не мало, а это, мол, наш приятель; человек заезжий, и паспорт при нем. За что его-то беспокоить».

— Да, — говорит, — это точно, что от тебя приношение бывает, и мы, говорит, оченно за это тебе благодарны; да то, вишь, приношение вообще, а Степка в него не входит. Степка, стало быть, большой человек, и за такового человека с другого три тысячи целковых взять нельзя: мало будет; ну, а тебя начальство пожаловать желает, полагает взять только три. Так ты это чувствууй; дашь — твой Степка, не дашь — наш Степка.

А Степка сидит в углу словно неживой.

Я поначалу заупрямился было.

— Ну, — говорит, — жаль мне тебя, Александр Петрович, а делать нечего — надевай, брат, кандалы. А разоришься-то ты, все-таки разоришься...

Ну, и Андрияшка тут смеется, сосуд сатанин, словно от того ему радость сердечная, что вот благодетеля своего погубил. Бывают, сударь, экие скареды, что просто тебя из-за ничего, без всякой, то есть, выгоды загубить готовы.

Делать нечего, отдал я тут все деньги, какие через великую силу всякими неправдами накопил; он и покончил дело. Сам даже Степку при себе снарядил и со двора выпроводил: ступай, говорит, на все четыре стороны, да вперед не попадайся, а не то, не ровён час, не всякий будет такой добрый, как я.

Ну, да это все бы еще ничего. Сижу я на другой день один, будто горюю; смотрю, частный опять ко мне на двор едет: что бы это за оказия такая?

И, главное, ведь вот что обидно: они тебя, можно сказать, жизни лишают, а ты, вишь, и глазом моргнуть не моги — ни-ни, смотри весело, чтоб у тебя и улыбочка на губах была, и приветливость в глазах играла, и закуска на столе стояла: неровно господину частному выпить пожелается. Вошел он.

— Ну, — говорит, — ты теперича, пожалуй, собираться в дорогу можешь.

— Как, — говорю, — собираться? куда?

— Ну, да вот хоть туда, откуда к нам приехал.

— А дом-то как?

— А дом продашь наўскори: у меня уж и покупатель такой сыскался.

— Да помилуй, ваше благородие, за что же ты три-то тысячи вчера взял?

— Это, — говорит, — не твое дело; нынче порядок такой. Мы вот начальству докладывали, что Степка, мол,

неизвестно куда из дому твоего скрылся, так начальство изволит говорить: если уж так, что Степку изловить не могли, так, по крайности, чтоб духу твоего в городе не пахло: развращаешь ты весь народ.

— Господи ты боже мой! да что ж, ограбить, что ли, вы меня, удавить, что ли, хотите?

Он, знашь, вспыхнул.

— Как, — говорит, — ограбить? Кто здесь грабит?

Да ногами так и затоптал, и ручищи вперед выпятил — знамо для чего.

— Счастлив твой бог, — говорит, — что человек-то я добрый: вижу, что ты больно уж огорчен, не в своем будто уме такие дела говоришь.

Ну, и представили мне покупщика на дом, а покупщик-от Андрияшка. Выложил он мне тут же тысячу серебряных рублей, однако и те частный взял: «Ты, говорит, пожалуй, с деньгами-то здесь останешься, да опять смуту заводит станешь, а вот, говорит, тебе на дорогу двадцать целковеньких, ступай восвояси». Я было попросить хотел — так куда? «Ты, говорит, видно, брыкаться задумал, так ведь у нас дело-то еще не кончено; пожалуй, и теперь еще в каземат уговорить можно, яко пристанодержателя и развратителя — это все в наших руках».

В ту же ночь я отправился пешком на родину, а Андрияшка и доселе в моем дому хозяйствует.

Что уж не передумал я дорогой — этого вашему благородию и пересказать не могу. А пуще того голова у меня словно онемела; вижу, поля передо мной, снег лежит (тогда первопутка была), лес кругом, с возами мужики едут — и все будто ничего не понимаю: что лес, что снег, что мужик — даже различить не могу. А не то вот словно дурость найдет: все еще думается, что я богат, что скоро обедать надо, что свечи дома все вышли, что с такого-то вот рубль донять следует, а Мокея оковского и постращать не лишнее. И всякая, знаете, в голову чепуха лезет, точно сам-то не думаешь, а одни прежние остатки сами собой в тебе дорабатываются.

Пришел я домой нищ и убог. Матушка у меня давно уж померла, а жена даже не узнала меня. Что тут у нас было брани да покоров — этого и пересказать не могу. Дома-то на меня словно на дикого зверя показывали: «Вот, мол, двадцать лет по свету шатался, смотри, какое богатство принес».

К тому же и болезнь в это время посетила меня. От огорченья, что ли, или просто от простуды — только сде-

лался я словно ребенок, ни одним, то есть, суставом пошевелить не могу. По телу пошли струпья, и чувствовал я, будто весь живой истлеваю. Господи! чего уж я в это время не передумал, чего не перестрадал. Голова не болит, а словно перед тобой в тумане все ходит. То будто кажется, что вдруг черти тебя за язык ловят, то будто сам Ведекос на тебя смотрит и говорит тебе: «И придут вси людие со тщанием...» В глазах у него свет и тьма, из гортани адом пышет, а на главе корона змеиная. Вся моя прежняя блудная жизнь встала передо мной, все эти грехи: и святотатство, и наругательство, и любострастие, и обманы, и кривда, и прелюбодеяние, и разбой. То будто за руку меня повесили, или вот каленым железом глаза и уста прижигают. Однажды даже вся преисподняя мне открылась: сидит Вельзевул на престоле огненном, а кругом престола слуги его хвостами помагают, а крыле у них словно у мыши летучей. Завидел он меня еще издалека и завопил: «Се грядет верный слуга наш, он нашу паству добре приумножил, примем его с честью великою». Подхватили меня тут бесы под руки и поволокли к самому престолу. Оглянулся я, сзади ровно знакомые всё лица: и точно, все тут были, которых я в свою жизнь на пагубу настроил.

Однако, сударь, случилось тут со мной чудо. Стал я выздоровливать; кровь словно отошла маленько, и хошь вставать я с печки не мог, да по крайности черти в глазах не вертелись. И вдруг, знаете, сию я один, будто сном забывшись, слышу, что по избе благовоние разливается: фимиам не фимиам, а такого запаху я и не слыхивал — одно слово, по душе словно мягким прошло: так оно сладко и спокойно на тебя действует. Открыл я глаза — это точно я помню, что открыл, — и вижу перед собой старца, ликом чудна и облаком пресветлым озаренного. Трепет объял меня. Порывался я броситься на землю, чтобы облобызать честные нозе его, и не мог: словно тайная сила оковала все суставы мои и не допустила меня, недостойного, вкусить такого блаженства. «Господи! — мог я только произнеть, — грешен я, грешен я, господи!»

Что со мной потом случилось, я рассказать не могу. Должно быть, больно я испужался, что и в памяти-то у меня ничего не осталось. Однако, проснувшись, ощутил себя здрава и тут же положил сбросить с себя суету греховную и удалиться в пустынножителство.

Сказывали мне странники, что такие есть места в Чердынском уезде, в самом, то есть, углу, где божьи люди душу свою спасают. Там по рекам: «Лупье, Нильве, Лёле и

Колве, в лесах дремучих, построены, дескать, кельи и в них не мало-таки народу живет. Сказывают, что даже из Москвы в те места благочестивые старцы спасаться ходят, что много там есть могил честных и начальство про то не знает и не ведает. А то вот и про другое тоже место сказывали. В Оренбургской губернии, около Златоуста, в горах, такие же пустынники обитают, и всё больше в пещерах, и одна такая пещера есть, что в ней денно и ночью свеча горит, а чьей рукой возжигается — неизвестно. В этих, барин, пещерах люди без одежды ходят, питаются злаками земными, и даже промеж себя редко общение имеют. Ну, к этакой жизни я еще не считал себя готовым, по той причине, что спервоначала надлежало плоть в себе добре умертвить. К тому же и на места эти не все одинако указывают; один говорит: «Дойдешь до Златоуста, вороти на сивер»; другие: «От Златоуста на восход ступай». Вот и удумал я идти сперва на Лупью, а там, буду, мол, жив, постепенно душу спасти стану.

И подлинно, только начал я силами владеть, не сказал никому ни слова, взял с собою Часослов древний да тулупчик и скрылся из дому, словно тать ночью.

Шел я туда с месяц места, потому что от нас будет туда верст боле шестисот. Шел я Христовым именем, словно сам он с небеси меня подкреплял на подвиг душевный. Сказали мне, что там деревнишка такая есть — пермяки в ней живут — оттуда, мол, всякой мальчишка тебе укажет, как пройти к пустынникам. И точно, пришел я туда, спросил только старцев, мне и проводника ту ж минуту дали, и *маточкой* — такой канпасик есть крестьянский — снабдили¹. Пермяки эти к старцам большое почитанье имеют, и не только сами их не трогают, а даже от полиции всячески укрывают. Причина тому, сударь, простая. У старцев и хлеб завсегда водится, и порох, и припас всякий, всего этого им довольно из окольных мест в милостыню присылают, ну, а пермяки народ бедный, хлеба у них или совсем не родится, или родится такая малость, что только по праздникам им лакомятся. Едят они совсем мало, а больше пьют: такая у них брага из овса делается: и хмельно, и

¹ *Маточкой* называется небольшой компас или, лучше сказать, грубо сделанная коробочка с крышечкой; внутри коробки, под самую крышечку, вделывается бумажный кружок, на котором означены страны света, на дне же ее прикрепляется железная шпилька, на которой вращается магнитная стрелка. Эта *маточка* составляет необходимую принадлежность всякого охотника между пермяками и зырянами. (*Примеч. Салтыкова-Щедрина.*)

питают. Хмель тем для него хорош, что словно как себя при нем забываешь, а болтушка эта мучнистая хоть и не больно сытна, а живот от нее довольно-таки пучит: ему это тоже на руку, потому что он хошь и не сыт взаправду, а все будто сыт. Одежи они тоже почти не знают; в самый сильный мороз на нем пониток из холста, только и всего. Какая же им, стало быть, причина старца тревожить, когда он от него, можно сказать, и продовольствие и промысел свой получает за то только одно, чтоб не мешать ему душу спасать?

Шли мы этак с час времени, и шли всё на лыжах, потому что простыми ногами в таких снегах и ходить невозможно. Хоть зима была уж на исходе (под Благовещенье почти подходило дело), однако в тех местах снег даже не тронулся совсем. Шли мы сначала полем — этак с версту, — а потом пошел лес, да такой частый, запутанный, что даже пройти трудно, не то что проехать. Дивное это дело; кажется, вот и жило тут не далеко, человек, стало быть, действует, а в этих местах словно ноги человеческой не бывало: кроме звериного следу, все ровно и гладко.

Там, в самой чаще, наткнулись мы под конец на лачужку. Стояла она неподалеку от оврага, в котором речка Ворчан бежит; позади ее, саженях этак в двадцати, полянка расчищена; на речке меленка маленькая, по-нашему мutowка. Кажись бы, все хозяйство тут — как бы жилья не найти? Однако ж без проводника именно не сыщешь, по той причине, что уж очень лес густ, а тропок и совсем нет: зимой тут весь ход на лыжах, а летом и ходить некому; крестьяне в работе, а старцы в разброе; остаются дома только самые старые и смиренные.

Старец Асаф, к которому я пристал, подлинно чудный человек был. В то время, как я в лесах поселился, ему было, почитай, более ста лет, а на вид и шестидесяти никто бы не сказал: такой он был крепкий, словоохотный, разумный старик. Лицом он был чист и румян; волосы на голове имел мягкие, белые, словно снег, и не больно длинные; глаза голубые, взор ласковый, веселый, а губы самые приятные.

Он меня согрел и приютил. Жил он в то время с учеником Иосифом — такой, сударь, убогонький, словно юродивый. Не то чтоб он старику служил, а больше старик об нем стужался. Такая была уж в нем простота и добродетель, что не мог будто и жить, когда не было при нем такого убогонького, ровно сердце у него само пострадать за кого ни на есть просилось.

Никому из пустынников не было ведомо, откуда он пришел и когда в лесах поселился, а сам он никому об этом не сказывал. Раз как-то, однако же, стал я об этом, любопытства ради, его спрашивать, так старик и невесть как растужился.

— Кая для тебя польза, — отвечал он мне (а говорил он все на манер древней, славянской речи), — и какой прибыток уведать звание смиренного раба твоего, который о том только и помыслу имеет, чтоб самому о том звании позабыть и спасти в мире душу свою? И кая тебе польза от того, что очам твоим раны мои душевные объявятся и гноище мое узриши? И станешь ли ты вестника, глашающего тебе весть добрую, вопрошать о том, откуда он, и не посадишь ли его, вместо того, за стол и не насытишь ли глад его? Аз есмь для тебя вестник добрый, аз душу твою обрел и из пламени адова исхитил ю, а ты мене же вопрошаешь, откуда я!

— Да хотелось бы узнать, отче святой, — отвечал я, — какими, то есть, путями ты ангельского жития похотел и суетою многомятежною и прелестями житейскими возгнушался, возлюбив всем сердцем Христа и спаса нашего.

Но он только головой потряс да сказал мне, что житие его, яко сон блудницы, во мраке ночи преиде, и сам он, яко скоморох бесстыдный, во тьме метакся.

— Да по крайности, скажи мне, как ты иночество получил? — спросил я.

— А как бы тебе сказать? — отвечал он, — пришед в пустыню, пал ниц перед господом вседержителем, проливал пред ним печаль сердца моего, отрекся от соблазна мирского и стал инок... А посвящения правильного на мне нет.

На том мы с ним и покончили.

Время, которое я провел с Асафом в пустыне, самое для меня памятное. В ту пору не завелось еще в тех местах ни бесчинств, ни разврату; проводили мы дни в тишине, труде и молитве. А труд был один: книги божественные переписывали. Придет, бывало, весна, старцы, кои помоложе, сплывут с книгами вниз, да и продадут их там, а по осени домой с выручкой возвращаются. Разговоров промеж себя у нас было мало, разве что поучения отца Асафа слушали. Говорил он очень складно, особливо про антихристово пришествие. Он и выкладки такие делал, и выходило, что быть тому делу вскорости, однако вот и до сей поры не дождались.

Насчет антихриста, доложу я вам, вещь эта подлинно

любопытная. У «особников» всякое почесть слово антихрист выходит, потому что вся эта механика, можно сказать, у него в руках. Недостанет у него в слове числа, он тебе прибавит букву, какую ему нужно; лишняя есть буква, он и отсечет, не задумается. А не то возьмет, примерно, хоть русское слово; не выходит оно по выкладке, он погречески переведет, и опять в числа. Бывает, что и так не выходит — он титул прибавит: господин, или граф, или князь, или дух тьмы. До тех пор этак действует, покуда и подлинно антихрист выдет. На простой народ это большое действие имеет.

А впрочем, живучи в пустыне, и не до разговору, барин. Там человек совсем будто другой делается. Особливо летом. Выдешь это на лужайку: сверху синё, кругом лес неисходный; птица всякая тебе поет, особенно кукушечка; там будто заяц пробежит, а вдалеке треск: значит, медведь себе дорогу прокладывает. И ведь все слышно; слышно даже будто, как травка растёт... Запах такой мягкий, милый, потому что все это дичь, все словно лесом, землю пахнет. И на сердце ни печали, ни досады, ни заботы нет; тут и неверующий в Бога поверует. Это нужды нет, что край там холодный, что в нем больше тундра да мокрое место: лето прежаркое, и такие места боровые случаются, что, кажется, и не расстаться бы с ними.

Или вот опять ветер гудёт; стоишь в лесу, наверху гул и треск, дождик льет, буря вершины ломит, а внизу тихо, ни один сучок не шелохнется, ни одна капля дождя на тебя не падет... ну, и почудись тут божьему строению!

Как поживешь этак в пустыне да приходит иное время, что месяц-другой живого лица не увидишь, так именно страсть можно к такой жизни получить. Никто тебя не трогает, никакой тебе, стало быть, ниоткудова досадности нет, значит, бодр, не тосклив, всегда в своем виде. Древние отцы пустынноики даже отвращение к миру получали: так оно хорошо в пустыне бывает. Оглядишься кругом, все так пространно: и в высь, и в ширь, и в глубь идет; всяка былинка малая и та, сударь, жизнь имеет: ну, и восчувствуешь тут, что и сам ты словно былинка.

Хорошо тоже весной у нас бывает. В городах или деревнях даже по дорогам грязь и навоз везде, а в пустыне снег от пригреву только пуще сверкать начнет. А потом пойдут по-под снегом ручьи; снаружи ничего не видно, однако кругом тебя все журчит... И речка у нас тут Ворчан была — такая быстрая, веселая речка. Никуда от этих радостей идти-то и не хочется.

И как все оно чудно от Бога устроено, на благость и пользу, можно сказать, человеку. Как бы, кажется, в таких лесах ходить не заблудиться! Так нет, везде тебе дорога указана, только понимать ее умей. Вот хошь бы корка на дереве: к ночи она крепче и толще, к полдню тоньше и мягче; сучья тоже к ночи короче, беднее, к полудню длиннее и пушистее. Везде, стало быть, указ для тебя есть.

И народ-то там словно лучше, добрее. Напоследях и в нем порча заводиться начала, потому что стали там проходить возы с товарами на *Вочевскую* пристань¹: ну, знамо дело, постоялые двory завелись, пошли барыши да расчеты, а допрежь того, кроме звериного промысла, никаких других делов народ этот и не знал. Зверя там всякого множество: олени, лоси, лисицы, медведи, горностайки, даже соболи попадают. А белка да зайцы просто кишмя кишат. И птица всякая стадами летает: рябцы, курочки

¹ Устьвочевская пристань (Вологодской губернии) находится в верховьях Северной Кельтмы, впадающей в Вычегду. Товары, сплавляемые с этой пристани, преимущественно заключаются в разного рода хлебе и льняном семени, привозимом туда гужем из северо-западных уездов Пермской губернии: Чердынского, Соликамского и отчасти Пермского и Оханского. Вообще, Вологодская губерния изобилует судоходными сплавными реками, особенно в северо-восточной части (уезды: Устьсыольский, Никольский и Устюжский), которые приносят пользу не столько для Вологодского края, в этой части безлюдного и негостеприимного, сколько для соседних губерний: Вятской и Пермской. Известно, например, что вся торговля северной части Вятской губернии почти исключительно направлена к Архангельскому порту, куда товары (хлеб и лен) сплавляются по рекам: Лузе (пристань: Ношульская и Быковская), Югу (пристань Подосиновская) и Сыsole (пристань Кайгородская). Ко всем этим пристаням ведут коммерческие тракты, весьма замечательные по своему торговому движению. К сожалению, должно сознаться, что этот факт, узаконенный естественною силою обстоятельств, обратил на себя еще слишком мало внимания. Так, например, дорога от городов: Орлова, Слободского и Вятки до Ношульской пристани находится в самом печальном состоянии, а от тех же городов до Быковской пристани почти вовсе не существует дороги, между тем как проложение до нее удобного тракта, по причине выгоднейшего ее положения, сравнительно с Ношульскою пристанью, было бы благодеянием для целого края. Вообще, изучение торгового движения по коммерческим трактам северо-восточной России, и в особенности Вятской губернии, и сравнение его с движением, совершающимся по трактам официальным (почтовым), представило бы картину весьма поучительную. На первых — деятельность и многолюдство, на последних — пустыня и мертвенная тишина. Чтобы убедиться в этом, достаточно проехать по коммерческому тракту, издревле существующему между городами и уездами: Глазовским и Нолинским, и потом прокатиться по почтовому тракту, соединяющему губернский город Вятку с тем же Глазовом. На первом беспрестанно встречаете вы длинные ряды обозов, нагруженных товарами; там же лежат богатые и торговые села: Богородское, Ухтым, Укан, Уни, Вожгалы

белые (куропатки) — всего, кажется, и в жизнь не перестреляешь. Пермьяки и зыряне целую зиму по лесам ходят; стрельба у них не с руки, а будто к дереву прислонясь; ружья длинные, по-ихнему *туркой* прозываются; заряд в него кладется маленький, и пулька тоже самая мелконькая: вот он и норовит белке или горностаике в самый, то есть, конец мордочки попасть. Эта статья самая любопытная.

Прожили мы в этом спокойствии года три; все это время я находился безотлучно при Асафе, по той причине, что должен был еще в вере себя подкрепить, да и полюбил он меня крепко, так что и настоятельство мне передать думал. Однако этому делу стать было нельзя потому, что другие пустынные смотрели на нашу приязнь злобно. Человек их было с десятков и жили все от Асафа неподалечку: у кого в двух, у кого в трех верстах кельи были. Особенно отец Мартемьян был — старец преехиднейший — большую он над прочими силу имел, и даже против Асафа нередко их сомущал. Выходит, что вся эта братия только и держалась, покуда жив был старик.

Однажды приходит к нам в келью мужик — а привел его Мартемьян.

— Откудов, мол, и зачем? — спрашивает наш старик.

— А вот, — говорит, — с Зюздина¹.

— Зачем же к нам пожаловал?

— Да поселиться бы здесь желательно, отец святой. Подати добре одолели, да вот и парнишку ноне в некрут² тащат, а идти ему неохота, да и грех.

— Так ты семьянистый?

— Да, мол, семья есть; жена-старуха, две дочери-девки да трое сынов.

— Где ж ты поселишься?

(последние два немного в стороне) — это центры местной земледельческой промышленности; на втором все пустынно, торговых сел вовсе нет, и в течение целой недели проедет лишь почтовая телега, запряженная парой и везущая два предписания и сотню подтверждений местным дремтствующим властям, да письмо к секретарю какого-нибудь присутственного места от губернского его кума и благодетеля. Нельзя сомневаться, что торговые обороты много терпят от продолжительности времени, которая сопровождает сношения частных лиц. (*Примеч. Салтыкова-Щедрина.*)

¹ Бывшая Зюздинская, ныне Порубовская, волость находится в Глазовском уезде Вятской губернии, неподалеку от описываемого здесь места действия, которое составляет как бы угол, где сходятся границы трех обширнейших в Русском царстве губерний: Вологодской, Вятской и Пермской. (*Примеч. Салтыкова-Щедрина.*)

— Здесь вот, около вас бы желательно; я уж и на деревню к пермякам ходил; они говорят: «Пожалуй, заводись: куды нам эко место!»

— Так ты, стало, от податей бегаешь?

— Да оно точно, что тово... подати больно уж совсем одолели...¹

— Да что, святой отец, — вступился тут Мартемьян, — словно ты к допросу его взял! Если ты об вере радеешь, так не спрашивай, от какой причины в твое стадо овца бежит, потому как тебе до этого дела касательства нет.

Начался у нас совет. Сколько ни отстаивал Асаф свою правду, а Мартемьян перемог. Крупненько-таки они, сударь, поговорили, и если б не я, так, может, этот Мартемьяшка, сосуд сатанин, и руку бы на старика поднял.

— Ты, — говорит, — вот семьдесят годов здесь живешь, а какой от тебя святой вере прибыток? Этакое дело большое затеяли, а чихнуть здесь боимся; еще где становой запах даст, а мы уж в леса бежим, от него, от антихриста, хоронимся. Нет, отец, стар ты стал. По-нашему, это дело так вести следует, чтоб он носу своего здесь не показал, а показал — так чтоб турка его в разум привела. Вот, посмотришь, на Пильве старцы живут: и видно, что народ крепкий. По этой причине они и стороной всей завладели, а ты только сумненье кругом посеял. Какие же это дела?

Старик только стонал да крестился.

— Ну, — сказал он под конец, — вижу, что и подлинно я стар стал, а пуще того вам не угоден... Знаю я, знаю, чего тебе хочется, отец Мартемьян! К бабам тебе хочется, похоть свою утолить хочешь у сосуда дьявольского... Коли так, полно вам меня настоятелем звать; выбирайте себе другого. Только меня не замайте, Христа ради, дайте перед Бога в чистоте предстать!

Начали было уговаривать его не оставлять братию: иные искренно, а бóльшая часть только для виду, потому что всем им из лесу вон хотелось. Кончилось, разумеется,

¹ Ревизские сказки Порубовской волости Глазовского уезда и Юксеевской — Чердынского могут засвидетельствовать о чрезвычайном количестве крестьян, находящихся в безвестной отлучке. Замечательно, что в Вятской губернии, где подати везде выплачиваются бездоимочно, только Порубовская и Трушниковская (Слободского уезда) волости считают за собой постоянную недоимку. Впрочем, накопление недоимок в последней волости зависит от причин особых, сюда не относящихся. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

тем, что выбрали из среды своей того же Мартемьяна, который всю смуту завел.

Вскоре после того и преставился старец Асаф. Словно чуяло его сердце, что конец старой вере, конец старым людям пришел.

После него все пошло по-новому. Сперва поселился Мокей зюздинский с бабами, а за ним семей еще боле десятка перетащилось. Старцы наши заметно стали к ним похаживать, и пошел у них тут грех и соблазн великий. Что при старике Асафе было общее, — припасы ли, деньги ли, — то при Мартемьяне все врозь пошло; каждый об том только и помыслу имел, как бы побольше милостыни набрать да поскорее к любовнице снести.

Надо было и мне подумать, как себя пропитать. Пришлось впервой с пустыней расстаться, и уж куда мне тяжело это показалось. Думал я и жить и умереть тут, думал душу свою спасти, нарочно от родных, от своих мест бежал — и тут нет удачи. Собрал я свои писанья, сдал Иосифа мужичку на деревню и сплыл по весне вниз по Каме, на плотах. Домой идти мне не хотелось, да и не след, потому что схватят, пожалуй; вот и высадился я в Лёнве¹.

Здесь, сударь, начались мои странствия: где ночь, где день. Там канунчик прочитаешь, в другом месте младенцу молитву дашь, в третьем просто побеседуешь. И все-таки, доложу вам, тут я еще больше уверился, что рушилась старая вера, что все это обман один сделался в руках нечестивых. Главное у меня место, в котором я жил и откудова направлял свои странствия, было село Ильинское². Жил там крестьянин такой — Захвateeвым прозывался — и чем-чем не промышлял он! Сынишка у него Миколка был, так тот и пашпорты фальшивые подделывал, и буквы гражданские откудова-то достал. Принесут это ему негодящий пашпорт, так он старую-то печать вытравит, да но-

¹ Лёнва — большое село, принадлежащее графине Строгановой в Соликамском уезде, Пермской губернии. Оно находится в шести верстах от обширного села Усоля, знаменитого своими соляными варницами и принадлежащего пяти владельцам: графу и графине Строгановым, князю Голицыну, графине Бутера и гг. Лазаревым. Эти два села и лежащее между ними село Веретня (графини Строгановой), также весьма большое, составляют как бы сплошное местечко, которое, по обширности и количеству народонаселения, едва ли уступает губернскому городу Перми, а в торговом и промышленном значении стоит несравненно выше его. (*Примеч. Салтыкова-Щедрина.*)

² Пермской губернии и уезда; принадлежит графине Строгановой. (*Примеч. Салтыкова-Щедрина.*)

вое, что ему нужно, и вставит. Чертить тоже искусник был, особливо Апокалипсис разрисовывать.

Раз как-то и разговорились мы с стариком об нашем деле. То есть я будто напомнил ему тут, что не след в святое дело такую, можно сказать, фальшь пущать. Посмотрел он на меня, ровно глаза вытаращил.

— А ты откудава, — говорит, — с такими речью сюда приехал, приятель?

Стал я ему объяснять, что вот и старик Асаф этого не одобрял, что он наставлял бежать от суеты в пустыню, а не то чтоб зазорным делом заниматься, фальшивые пашпорты сочинять.

— Вспомни, мол, ты, — говорю, — что в книгах про пашпорты-то написано! Сам спас Христос истинный сказал: *странна мя примите*: а какой же я буду странник, коли у меня пашпорт в руках? С пашпортом-то я к губернатору во дворец пойду! А ты не токма что пашпорт, а еще фальшивый сочиняешь!

А он, сударь, только засмеялся.

— Это, — говорит, — вы с Асафом бредили. Вы, — говорит, — известно, погубители наши. Над вами, мол, и доселева большего нет; так если вы сами об себе промыслить не хотите, мы за вас промыслим и на́большего вам дадим, да не старца, а старицу, или, по-простому сказать, солдатскую дочь... Ладно, что ли, этак-то будет?

— Чем не ладно, — говорю, — поди, чай, она и с девками к нам на епархию прибудет?

— А хошь бы и с девками? Это вы только там в лесах спросонков-то бредите, а нам нужно дело. Нам до того касательства нет, что вы там делаете, блудно или свято живете; нам надобны старцы, чтоб мы всякому указать могли, что вот, мол, у нас пустынные в лесах спасаются; а старцы вы или жеребцы, про то знаете вы сами. Ну, и окромя того, надобен нам и приют про черный день, чтоб было где уберечься. Нонче жить на селе совсем неспособно стало: то управляющий графский, то полицейские тебя беспокоят. После обыску-то каждый раз дня три словно шальной ходишь: овое растащут, овое туда запехают, что и не сыщешь. Вот я и к церкви пристал, а какой в этом прок? Только от своих сумненье, что будто веру свою продал, а начальство тоже в оба глядит: врешь, мол, все, притворствуешь. А мы вот ноне какую штуку придумали, чтоб быть в ваших лесах скитам великим и чтоб всякому там укрыться способно было. У нас и пошта такая будет от деревни до деревни: чуть что прослышим, вам ту ж минуту

и слух подадим. Покедова они там собираются да едут, у вас и след уж простыл. А с бреднями-то, приятель, хошь и далеко уедешь, да, пожалуй, не туда, куда хочется.

Полюбопытствовал я узнать, кто такова эта Артемида-богиня, и проведал, что прозывается она Натальей, происхождением от семени солдатского и родилась в Перми. Жила она, слышь, долгое время в иргизских монастырях, да там будто и схиму приняла.

И точно, воротился я к Михайлову дню домой и вижу, что там все новое. Мужички в деревнишке смутились; стал я их расспрашивать — ничего и не поймешь. Только и слов, что, мол, генеральская дочь в два месяца большущие хоромы верстах в пяти от деревни поставила. Стали было они ей говорить, что и без того народу много селится, так она как зарычит, да пальцы-то, знашь, рогулей изладила, и все вперед тычет, да бумагу каку-то указывает.

— Вы, — говорит, — знаете, собаки, что мне и губернатор приятель: захочу, — говорит, — всех вас в Сибирь вышлют.

— Кто же хоромы-то ей ставил? — спрашиваю я.

— Да мы же; старшина, слышь, и место сам отводил и доподлинно всем настрою наказывал, что нас и неведомо куда вышлют, если мы какое ни на есть прекословие сделаем енаральской дочери.

— А много с ней народу приехало?

— Да с десятков девок будет; одна только старая, будто у ней помощница, смиренная такая, все Богу молится, а прочие — таки здоровенные девки.

Пошел я в свою келью, а дорогой у меня словно сердце схватило; пойду, думаю, к отцу Мартемьяну; он хошь и не любил меня, а все же старика Асафа, чай, помнит: может, и придумаем с ним что-нибудь на пользу душе.

Однако понадеялся я, выходит, понапрасну. У Мартемьяна застал я девок зюздинских: сидят бесстыжие и тоже духовные песни распевают, словно молитвой занимаются. Промеж них, вижу, сидит мужчина, здоровенный такой, лицо незнакомое.

— А это, — говорит Мартемьян, — новый у нас старец прибыл, отец Иаков прозывается; он для нас сколь хошь всякой манеты наделает — мастер.

А у мастера в руках гармония.

— Зачем же, — говорю, — гармония-то? разве пустыньнику на то руки даны, чтоб на богомерзкой гармонии девок забавлять?

— А это, мол, кимвалы. И в Писании сказано, что царь

Давид в кимвалы играл... Да ты, мол, теперича не ломайся, а вот хочешь ли я тебе штуку покажу? Такая, отче святой, штука, что и на ярмонке за деньги не увидишь.

И ударил его ладонью-то по лбу, а там буква такая белая и объявилась — клейменный, значит.

— А что, мол, — промолвил я, — чай, и на спине начальническое подареньице есть?

— Как же, — говорит, — во всех местах; сказано: по океану житейскому происходил, все, значит, бури-напасти претерпел.

— Откудова же ты к нам экой меченый проявился? — спрашиваю я.

— А тут неподалеку, — говорит, — был, в Иркутской губернии, около Нерчинска, в том в самом месте, где солнце восходит великое...

— Зачем же к нам?

— Да проведал про ваши добродетели многие, и думаю, чем душегубством мне займаться, так стану, мол, я ин душу спасать.

— Да разве ты посвящен, что чин иноческий на себе носишь?

— А я тут их всех гуртом окрутил, — говорит Мартеньян, — чего нам ждать? указу нам нету, а слуги Христовы надобны. Вот другой еще у нас старец есть, Николой зовется: этот больше веселый да забавный. Наши девки все больно об нем стужаются. «У меня, говорит, робят было без счету: я им и отец, и кум, и поп; ты, говорит, только напусти меня, дяденька, а я уж христианское стадо приумножу». Такой веселый.

На другой день посетил я и девичий скит.

Все, думаю, распознать прежде надо, нечем на что-нибудь решиться. Да на что ж и решаться-то? думаю. Из скитов бежать? Это все одно что в острог прямо идти, по той причине, что я и бродяга был, и невесть с какими людьми спознался. Оставаться в лесах тоже нельзя: так мне все там опостылело, что глядеть-то сердце измирает... Господи!

Встретила меня сама мать игуменья, встретила с честью, под образа посадила: «Побеседуем», — говорит. Женщина она была из себя высокая, сановитая и взгляд имела суровый: что мудреного, что она мужикам за генеральскую дочь почудилась? Начал я с ней говорить, что не дело она заводит, стал Асафа-старика поминать. Только слушала она меня, слушала, дала все выговорить, да словно головой потом покачала.

— Ну, — говорит, — сказал ты свою речь, честной отец, выслушай же теперь мою. Все это точно истина, что ты говоришь; в леса люди бегут, известно, не за тем, чтоб мирским делом заниматься, а за тем, чтоб душу спасать. Это сущая правда. Да ты вот только то позабыл, что ты или я, мы, слова нет, душу спасти хотим: мы с тобой век-от изжили, нам, примерно, суета уж на ум нейдет. Ну, а другому еще пожить хочется; оно ведь и не грех какой, что ему пожить желательно. Сам ты знаешь, что, если всякий душу спасать начнет, кто же в мире-то жить станет? А как тут жить, сам ты посуди, когда на тебя словно на зверя лесного поглядывают. Коли ты жил в мире, так знаешь, чай, какова наша жизнь? Ты вот трудился, капитал, сказывают, нажил, а куда все это девалось?

— За грехи мои Бог меня наказал, — говорю я.

— Это ты говоришь «за грехи», а я тебе сказываю, что грех тут особь статья. Да и надобно ж это дело порешить чем-нибудь. Я вот сызмальства будто все эти каверзы терпела: и в монастырях бывала, и в пустынях жила, так все-го насмотрелась, и знашь ли, как на сердце-то у меня нагорело... Словно кора, право так!

Говорит она, сударь, это, а сама бледная-разбледная, словно мертвая сделалась; и губы у ней трясутся, и глаза горят.

— Намеренья у меня покудова нет, а знаю только, что сердце мне сорвать надоть. Это уж я себе обещаю такое дала, и сделаю. И опять вот говоришь ты, что надо, мол, Богу молиться да душу спасать, а я тебе сказываю, что не дело ты языком болтаешь. И Богу молиться, и душу спасать — все это не лишнее, да от этого только для одного тебя, можно сказать, польза, а мы желаем, чтоб всему христианству благодать была... И вот тебе моя последняя заповедь: хочешь за нас стоять — живи с нами; не хочешь — волён идти на все четыре стороны; мы нудить никого не можем. А нас не мути.

С тем она меня и отпустила. Пошел я к черницам, а они сидят себе сложа руки да песни под нос мурлыкают.

— Что ж вы тут делаете? — спрашиваю я.

— Как что? песни поем, спим да хлеб жуем. Вот ужо старцы придут.

— И весело вам так-ту жить?

— Для-че не весело! Ужо Николка «пустынюшку» сплет: больно эта песня хороша, даже мать Наталья из кельи к нам ее слушать выходит. Только вот кака с нами напасть случилась: имен своих вспомнить не можем. Больно

уж мудрено нас игуменья прозвала: одну Синефой, другую — Полинарией — и не сообразишь.

— А грамоте знаете?

— Какая грамота — поди ты с грамотой! У нас так и условие выговорено, чтоб грамоте не учить. Известно, песни петь можем — вот и вся грамота.

Объявлено было в ту пору по нашим местам некрутство; зовут меня однажды к Наталье. Пришел.

— Ну, — говорит, — ступай ты в город.

— Зачем?

— А вот, — говорит, — там некрутство сказано, так я мужичку обещала сына из некрут выкрасть. Там у меня и человек такой есть, что это дело беспрременно сделает.

— Да я-то при чем тут буду?

— А ты будешь ему в этом деле помощником... А может, там и другие некрута объявятся, что в скиты охочи будут, так ты их уговаривай. А охочим людям сказывай, что житье, мол, хорошее, работы нет, денег много, пища — хлеб пшеничный.

— Воля твоя, мать игуменья, а на такое дело мне идти не приходится.

— Нет, — говорит, — приходится. Я тебя нарочито выбрала, чтоб узнать, крепок ли ты; а не крепок, так мы и прикончим с тобой: знаешь *турку!*

Вижу я, что дело мое плохое: «Что ж, думаю, соглашусь, а там вышел в поле, да и ступай на все четыре стороны». Так она словно выведала мою душу.

— Ты, — говорит, — сбежать не думаешь ли? так от нас к тебе такой человек приставлен будет, что ни на пядь тебя от себя не отпустит.

И точно, вышел я от нее не один, а с новым старцем, тоже мне неизвестным; молодой такой, крепкий парень. Уехали мы с ним в ночь на переменных. Под утро встречаем мы это тройку, а в санях человек с шесть сидят.

— Здорово! — кричит мой провожатый, — куда путь лежит?

Сани остановились.

— А мы к вам в скиты; охочих людей везем.

— Неужто некрута?

— Какие некрута? Подымай выше — узники!

— Как так?

— Да вот как видишь! какая еще штука-то уморная была! Поймали, знашь, вот этих трех молодцов у кассы вотчинной: понюхать им, вишь, захотелось, какой в ней есть дух. Однако управляющий не верит: «В кандалы

их», — говорит. Только проведали мы об этом с Захвате-евым Миколкой и думаем, вот кабы эких бы робят в ски-ты, да они, мол, душу свою за нас извести готовы, нечем в Сибирь шагать. Узнали мы, что повезут их с тремя де-сятскими — что ж, попытать разве счастья, расступись, мол, мать сыра-земля, разгуляйся, Волга-матушка! Съез-дили мы в Очёру¹, взяли у человека три тройки, и шабаш. Село нас в сани человек с двенадцать, приготовили, для осторожности, на головы такие мешки с дырками и ждем у лесочка. Вот только, видим, катят будто наши, скоро не шибко, а так трюх-трюх. Вскочили мы в сани и пустили лошадей во все, то есть, колокола. Нам кричат встречу: «Сторонись!» — а у нас будто уши заложило: наехали на них с маху, санишки ихние выворотили, а молодцов по-хватили... вот и едем теперь.

— Подь-ка, чай, Васька злится?

А Васька-то, сударь, ихний управитель.

Так вот какие дела на свете делаются.

Приехали мы в город и остановились у мещанина. На-чал тут к нам разный народ приходить, а больше всё не-крута. Мещанин этот ту же должность в городе справлял, какую я в Крутогорске; такой же у него был въезжий дом, та же торговля образами и лестовками; выходит, словно я к себе, на старое свое пепелище воротился. Стали было они меня понуждать поначалу, чтоб я вместе с ними в уговорах часть принял; однако так сердце у меня силь-но растужилось, что я не похотел принять на душу но-вый грех. Так они меня, звери этакие, в холодный чу-лан на день запирали, чтобы я только голоса своего не подал.

Чудно́е, сударь, это дело! и доселе понять не могу, зачем она меня в город выслала. В этом деле, за которым они поехали, нужен был человек усердный, а, разумеется, от меня она не могла усердья ждать. Вот и сдается, что затем она мне это препорученье сделала, чтобы из скитов меня сбуть. Стал я подумывать, прикидывать разумом, куда мне идти. Домой на завод ворочаться — стыдно; в пустыню — изгубят злодеи; в другие места, где тоже наша братья пустытники душу спасают, — горше прежнего житье будет. Какая же это, думаю, старая вера и что ж это с нами будет?

Вот и порешил я, сударь, таким манером, что выбрал

¹ Железодельный завод в Пермской губернии, принадлежащий гг. Лазаревым. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

время сумеречки, как они все на базар пошли, сказался, что за ворота поглядеть иду, а сам и был таков. Дошел до первого стана и объявился приставу».

МАТУШКА МАВРА КУЗЬМОВНА

Предлагаемый рассказ заимствован из записок, оставшихся после приятеля моего, Марка Ардалионыча Филоверитова, с которым читатель имел уже случай отчасти познакомиться¹. Они показались мне, несмотря на небрежность отделки, достаточно любопытными, чтобы предложить их на суд публики.

Я не намерен возобновлять здесь знакомство читателя с Филоверитовым, тем не менее обязываюсь, однако ж, сказать, что он одною своею стороною принадлежал к породе тех крошечных Макиавеллей, которыми, благодаря повсюду разливающемуся просвещению, наводнились в последнее время наши губернские города и которые охотно оправдывают все средства, лишь бы они вели к достижению предположенных целей.

Город С***, о котором идет речь в этом рассказе, не имеет в себе ничего особенно привлекательного; но местность, среди которой он расположен, принадлежит к самым замечательным. Коли хотите, нет в ней ни особенной живописности, ни того разнообразия, которое веселит и успокоивает утомленный взор путника, но есть какая-то девственная прелесть, какая-то привлекательная строгость в пустынном однообразии, царствующем окрест. Необозримые леса, по местам истребленные жестокими пожарами и пересекаемые быстрыми и многоводными лесными речками, тянутся по обеим сторонам дороги, скрывая в своих неприступных недрах тысячи зверей и птиц, оглашающих воздух самыми разнообразными голосами; дорога, бегущая узеньким и прихотливым извивом среди обгорелых пней и старых деревьев, наклоняющих свои косматые ветви так низко, что они беспрестанно цепляются за экипаж, напоминает те старинные просеки, которые устроены как бы исключительно для насущных нужд лесников, а не для езды; пар, встающий от тучной, нетронутой земли, сообщает мягкую, нежную влажность воздуху, насыщенному смолистым запахом сосен и елей и милыми, свежими благоуханиями многообразных лесных злаков...

¹ См. «Надорванные». (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

И если над всем этим представить себе палящий весенний полдень, какой иногда бывает на нашем далеком севере в конце апреля, — вот картина, которая всегда производила и будет производить на мою душу могучее, всесильное впечатление. Каждое слово, каждый лесной шорох как-то чутко отдаются в воздухе и долго еще слышатся потом, повторяемые лесным эхом, покуда не замрут наконец бог весть в какой дали. И несмотря на тишину, царствующую окрест, несмотря на однообразие пейзажа, уныние ни на минуту не овладевает сердцем; ни на минуту нельзя почувствовать себя одиноким, отрешенным от жизни. Напротив того, в себе самом начинаешь сознавать какую-то особенную чуткость и восприимчивость, начинаешь смутно понимать эту общую жизнь природы, от которой так давно уж отвык... И тихие, ясные сны проносятся над душой, и сладко успокоивается сердце, ощущая нестерпимую, безграничную жажду любви.

Но вот лес начинает мельчать; впереди сквозь редкие насаждения деревьев белеет свет, возвещающий поляну, реку или деревню. Вот лес уже кончился, и перед вами речонка, через которую вы когда-то переезжали летом вброд. Но теперь вы ее не узнаете; перед вами целое море воды, потопившей собою и луга и лес верст на семь. Вы подъезжаете к спуску, около которого должен стоять дощаник, но его нет.

— Неужто это Уста так разлилась, ребята? — спрашиваете вы мужичков, которые, должно быть, уже много часов греются на солнышке, выжидая дощаника.

— Пошто не Уста? Уста и есть! — отвечает один из ожидающих, не только не привставая, но даже не оборачивая к вам своей головы, — а кма ноне воды, паря, травы поди важные будут!

— Скоро ли дощаник будет? — спрашиваете вы.

— А кто его знает! ноне он поди верст семь за один конец ходит. К вечеру, надо быть, придет...

Скрепя сердце вы располагаетесь на берегу, расстилаете ковер под тенью дерева и ложитесь; но сон не смыкает глаз ваших, дорога и весенний жар привели всю кровь вашу в волнение, и после нескольких попыток заставить себя заснуть вы убеждаетесь в решительной невозможности такого подвига.

Вы встаете и садитесь около самой воды, неподалеку от группы крестьян, к которой присоединился и ваш ящик, и долгое время бесцельно следите мутными глазами за кружками, образующимися на поверхности воды. Ло-

шади от вашей повозки отложены и пущены пастись на траву; до вас долетает вздрагиванье бубенчиков, но как-то смутно и неясно, как будто уши у вас заложило. В группе крестьян возобновляется прерванный вашим приездом разговор.

— Эх, братец ты мой, да ты пойми, любезный, — говорит один голос, — ведь она, старуха-то, всему нашему делу голова; ну, он к ней, стало быть, и представился, становой-ет... «Коли вы, говорит, матушка Уалентина, захочете, так и делу этому конец будет, какой вам желательно». Ну, а она поначалу тоже думала, что он ее заманивает, чтобы как ни на есть в острог угодить: «Я, говорит, ваше благородие, тут ни при чем, я человек мертвый, ветхий, только именем человек, а то ноги насилу таскаю...» Однако он от своего плану не отступился и начал со всею откровенностью: «Я, говорит, матушка, не притязатель какой. Потому как знаю, что не сегодня, так завтра, во всякое время дебош могу сделать и вас избидеть... А я, говорит, по усиленной только необходимости это делаю, потому как деньги мне уж очень нужны...» Ну, и она тоже ему: «Коли ты, говорит, ваше благородие, со всею откровенностью, так, пожалуй, станем беседовать. Сколь же, мол, вашему благородию денег нужно?» — «Да сотни кабы три, говорит, так я бы и уехал...» — «Ну, это, говорит, много: неравно облопаешься: ты, мол, и без того три дня у нас тутотка живешь, всю снедь от нас тащишь, так, по этому судя, и полторы сотни тебе за глаза будет...» Только он было ее и застращивать, и просить примался — уперлась баба, да и вся недолга, а без ее, то есть, приказу видит, что ему никакого дела сделать нельзя. Ну, и порешил на том, что дали... Так она у нас теперь и стоит, часовня-то, исправленная, да такая ли, парень, едрёная, что, кажется, и скончанья ей никогда не будет... В ту пору вот, как исправлять-то ее примались, так плотник Осип начал накаты было рубить: такие ли здоровенные, что, слышь, и топор не берет, а нутро-то у бревна словно желток, желтое скипелось... во как отцы-то наши на долгие века строились, словно чуяли, что и про нас будет надобе...

— Когда же не надобе?.. Да чтой-то, парень, словно он дешево больно от вас отступился? — вступается другой голос.

— И то, голова, дешево. Уж пытали и мы сомневаться, что бы тако значило, что вот прежний становой за это же самое дело по пятисот и больше с нас таскал... уж и

на то, брат, думали, что, може, приказ у него есть, чтобы нас, то есть, не замать...

— А что думаешь, може, и взаправду есть!

— А кто его знает? може, и так, а може, и оттого, что в те поры, как пятьсот-то давали, не было у нас старицы нашей, некому было, стало быть, и говорить-то с ним толком.

— Да, благодатная эта старица... да что ж она в кельи, что ли, у вас живет?

— А у дяди Онуфрия на дворе в бане... чай, знаешь дядю Онуфрия? Ну, и мы к ней с полным нашим уважением, — только заступись за нас, матушка.

Разговор на несколько минут прекращается, и до вас долетают только вздохи, которые испускает ветхий старик, сидящий в самом центре группы, да хлест кнута, которым ямщик, для препровождения времени, бьет себя по сапогу.

— Ну, а ты, дедушка, какво перевертываешься? — спрашивает рассказчик, обращаясь к старику.

— Да вот к Онисиму на Заводь ходил хлебушка попросить... только чтой-то он уж ноне больно сердит стал: ничего-таки не дал.

— Что ж снедать-то будете?

— А чего снедать? — нечего!

Снова наступает молчание, и снова слышатся вздохи старика.

— Да ты, дедушко, опять сходи попроси, — вступается ямщик, — дядя Онисим старик любезный: ты уважь его, сходи в другой раз; он даст, как не дать!

— Известно, дядя Онисим любит, чтоб перед ним за- всегда с почтением пребывали, — объясняет рассказчик.

— Ин и взаправду сходить придется, — отвечает старик, вздыхая, — только ноженьки-то у меня больно уж ходимши примаялись... словно вот вертма вертит в косте- то... а сходить надо будет: не емши веку не изживешь!

— Ну, а у вас как, все ли на порядках? — спрашивает рассказчик у ямщика.

— А что! ничего, живем. Вот опомнясь вятские купцы в Москву проезжали.

— Ну?

— Ну, и проехали, — отвечает ямщик, нахлестывая себя слегка по ноге.

— Эх тебя вывезло! а ты говори дело!

— Да что говорить-то? известно, живем. Да чу! не как дощаник-от пловет?

Действительно, вдали из-за кустов, показывается чуть

заметная точка, которая мало-помалу разрастается, и через несколько минут вы уже начинаете ясно различать очертания лодки.

— Да-а-вай! — кричит ямщик, устроивши из кулака своего подобие трубы.

— По-о-спеешь! — долетает издали ответный голос лодочников.

— Вона! вона! мотри-ка, никак, наши старочки из лесу выходят! — вскрикивает внезапно молодой парень с добродушной физиономией, доселе не принимавший никакого участия в разговоре.

— Ишь тебя разобрало! — говорит ямщик, — спал небось, соня, а девок увидел — во как зазевал. А и то старки! да, никак, и Полинария (Аполлинария) тут! — продолжает он, всматриваясь пристально в даль, — эка ведь вористая девка: в самую, то есть, в пору завсегда поспеет.

Действительно, из леса выходит группа молодых баб, которые спешат к реке. Одна из них, побойчее, опережает прочих и подбегает к группе мужиков.

— А и то, девки, в пору пришли! сказано: стань передо мной, как лист перед травой! — говорит она, как бы отвечая на замечания ямщика, — а вы тут, поди-чай, с утра раннего ждете-поджидаете...

— Ну, где же ты, чтица, была-побывала? — спрашивает рассказчик.

— Над дедушкой Парфентьем читать ходила, да больно уж от покойника-то нестройно смердит...

— Чего, чай, над дедушкой читала, — замечает ямщик, — поди, Омельке, чай, на печи сказки сказывала.

— А и Омельке сказывала, — отвечает бойкая баба, не конфузясь, — тебе, стало быть, завидно, что ли?

— Мне-ка чего! — говорит ямщик, делая полуоборот и пристально уставляя глаза на сапог, — не видался я, что ли, сказок-ту?

— То-то чего!.. Верно, чего-нибудь да надобе, коли только об Омельке да об Омельке и речи на языке.

— Мне чего Омелько! — продолжает ямщик, — мне Омелько плюнуть да растереть — вот что! а только это точно, что как встретимся мы с ним, не пройдет без того, чтоб не обломать ему бока: право слово, обломаю.

Аполлинария хохочет.

— Да так-таки обломаю, что тебе и взаправду читать придется... Да-а-вай! — кричит он перевозчикам, как будто желая на них сорвать свое сердце.

Дощаник приближается; это небольшая лодка, поперек

которой перекинут дощатый накат. Тарантас едва может устоять на нем, и задние колеса, только вполовину уместившиеся на накате, ежеминутно угрожают скатиться в воду и увлечь за собою весь экипаж. Лошадей заставляют спрыгнуть на корму, и только испытанное благонравие этих животных может успокоить ваши опасения насчет того, что одно самое ничтожное, самое естественное движение лошади может стоить жизни любому из пассажиров, кое-как приютившихся по стенкам и большею частью сидящих не праздно, а с веслом в руках.

Русло речки переплывается очень скоро, и затем дощаник вступает в лес. Зрелище это поражает вас своею новизной и оригинальностью; вы плывете по аллеям, которые в иных местах делаются до того узкими, что дощаник только с помощью величайших усилий протаскивается вперед. Случается, что на поворотах течение воды столь быстро, что даже совокупное действие всех наличных сил, сопровождаемое дружными и одобрительными криками, на некоторое время делается тщетным. Напрасно командирится одна партия гребцов в воду и там, схватившись руками за ветви деревьев и кустов, тянет всем корпусом веревку, прицепленную к дощанику: лодка как будто бы топчется на одном месте, не подвигаясь ни на пядь вперед, и только слышно, как вода не то чтобы шумит, а как-то сосредоточенно жужжит кругом, поминутно угрожая перевернуть вверх дном утлую скорлупу. Такого рода препятствия встречаются на каждом шагу, и оттого переправа совершается до такой степени медленно, что переезд этих шести-семи верст отнимает, по крайней мере, пять-шесть часов. Но вот наконец виднеется за туманами берег, образуемый пригорком, на котором привольно растет все тот же неисходный лес; говор и шум стихают, весла опускаются, и дощаник потихоньку и плавно подступает к берегу...

И опять зазвенел колокольчик, опять потянулись направо и налево леса; только тишина сделалась как-то глубже, торжественнее, потому что и звери, и птицы, и растения — все это заснуло чутким сном под прозрачным покровом весенней ночи.

Понятно, что необычайная простота и незатейливость этой природы должна сурово действовать и на человека, в ней обитающего. И действительно, поселяне, живущие в деревнях, которые, как редкие оазисы, попадают среди лесов, упорно держатся так называемых старых обычаев и неприязненно смотрят на всякого проезжего, если он

видом своим напоминает чиновника или вообще барина. Живут они очень зажиточно и опрятно, но на всех их действиях, на всех движениях лежит какая-то печать формализма, устраняющая всякий намек на присутствие идеала или того наивно-поэтического колорита, который хоть изредка обливает мягким светом картину поселянского быта. Коли хотите, есть у них свои удовольствия, свои отклонения от постоянно суровой, уединенно-эгоистической жизни, но эти удовольствия, эти увлечения принимают какой-то темный, плотяный характер; в них нет ни мягкости, ни искренней веселости, и потому они легко превращаются в безобразный и голый разврат. И до сих пор в лесах этой местности попадаются одинокие скиты, в которых нередко находит убежище не жажда молитвы и спасения душевного, а преступление и грубое распутство. Но поселяне не только с тупым равнодушием смотрят на такое явление, но даже, некоторым образом, способствуют развитию его.

Таков народ, такова местность, окружающие город С***. Город этот, сам по себе ничтожный, имеет, впрочем, весьма важное нравственное значение как центр, к которому тянет не только вся окрестность, но многие самые отдаленные местности России. В особенности замечательно в нем преобладание женского элемента над мужским. На улицах и у ворот почти исключительно встречаются одни женщины, в неизменных темно-синих сарафанах, с пуговицами, идущими до низу, и с черными миткалевыми платками на головах, закалявающимися у самого подбородка, вследствие чего лицо представляется как бы вставленным в черную рамку. Встречаются дома (а таких чуть ли даже не большинство), в которых живут исключительно одни женщины. И весь этот женский люд движется как-то чинно и истово по улицам, вследствие чего и самый город приобретает церемонно-унылый характер. Ни пьянства, ни драк не заметно, почему даже самый откупщик, обыкновенно душа и украшение уездного общества, угрюмо и озлобленно выглядывает из окон каменных палат своих.

Но обращаюсь к запискам Филоверитова.

I

— Ваше высокоблагородие немедленно приступить изволите? — спросил меня исправник Маслобойников в ту самую минуту, как я вылезал из тарантаса с намерением

направиться к станционному дому, расположенному в самом центре города С***.

Маслобойников — небольшой, но коренастый мужчина, рябой и безобразный, с узеньким лбом, чрезвычайно развитым затылком и налитыми кровью глазами. Он беспрестанно оттирает пот, выступающий на его лице, но при этом всякий раз отворачивается и исполняет это на скорую руку. Когда ему сообщают что-нибудь по делу, в особенности же секретное, то он всем корпусом подается вперед, причем мнет губами, а глазами разбегается во все стороны, как дикий зверь, почуявший носом добычу. Впрочем, он не прочь иногда прикинуться простачком и рассказать игривый анекдотец, особенно если дело касается его служебной деятельности; но все эти анекдоты приобретает, в устах его, какой-то мрачный характер.

Меня изумило, во-первых, то, каким образом Маслобойников очутился у станционного двора в такую именно минуту, когда я подъехал к нему, во-вторых, то, каким образом он вызнал не только о характере моего поручения, но, по-видимому, и о самом предмете его. Я не мог воздержаться, чтобы не выразить моего изумления.

— Помилуйте, ваше высокоблагородие, мы вас уж с утра поджидаем, — отвечал он весьма хладнокровно, — с час назад и гонец с последней станции прискакал, где вы изволили чай кушать.

И при этом на лице его показалась какая-то бесцветная, но отвратительно-проницательная улыбка, которая привела меня в невольное смущение.

— Странно! — сказал я, чтобы сказать что-нибудь.

— Помилуйте-с, по мере силы-возможности стараемся облегчать вашим высокоблагородиям-с, — произнес он скороговоркой, глядя на меня исподлобья и как-то странно извиваясь передо мною, — наш брат народ серый, мы и в трубу, и в навоз сходим-с... известно, перчаток не покупаем.

— Да ведь здесь город, — сказал я, — каким же образом вы, а не городничий...

— Они, ваше высокоблагородие, человек слабый, можно сказать, и в уме даже повредившись по той причине, что с утра, теперича, и до вечера в одном этом малодушестве спокойствие находят... Да и дело-то оно такое-с, что хоша они (то есть скитницы) и не в уезде, а все словно из уезда порядком в город не водворены, так мы, то есть земский суд-с, по этому самому случаю и не лишаем их своего покровительства... Мы насчет этого имели уж с

Иваном Макарычем (городничим) материю, что будто бы их супруга очень уж оскорбляются, что этим делом не они, а мы заправляем-с... ну, да ихнее дело дамское; им, конечно, оно и невдомек, почему и как обращение земли совершается... Так прикажете приступить? — повторил он, возвращаясь к делу.

— Да я полагаю, что можно и завтра...

— Помилуйте, ваше высокоблагородие, — произнес он с таинственным видом, наклонившись ко мне, — часа через два у них, можно сказать, ни синя пороха не останется... это верное дело-с.

— Да ведь теперь и ночь скоро...

— Это нужды нет-с: они завсегда обязаны для полиции дом свой открытым содержать... Конечно-с, вашему высокоблагородию почивать с дорожки хочется, так уж вы извольте мне это дело доверить... Будьте, ваше высокоблагородие, удостоверены, что мы своих начальников обмануть не осмелимся, на чести дело сделаем, а насчет проворства и проницательности, так истинно, осмелюсь вам доложить, что мы одним глазом во всех углах само-малейшее насекомое усмотреть можем...

— Нет, уж у меня свой расчет есть, чтобы начать дело завтра.

— Слушаю-с.

— Только если вы что-нибудь с своей стороны узнаете относящееся до дела, то предупредьте меня.

— Слушаю-с.

— Да вот еще: завтра к ночи должны сюда прибыть люди, так вы поставьте кого-нибудь у заставы... понимаете? чтоб их в городе не видали.

— Слушаю-с.

Он встал, чтобы откланяться, и направил было к двери шаги свои, но с половины комнаты воротился.

— Имею сообщить вашему высокоблагородию нечто весьма секретное, — сказал он, подходя ко мне, и потом шепотом прибавил: — Ваше высокоблагородие до Мавры Кузьмовны дело иметь изволите?

— Да ведь вы знаете: зачем же спрашивать?

— Извините, это точно-с... Я тоже до нее хоша в настоящий момент и не имею касательства, однако на сих днях безотменно иметь таковое намерен.

— По какому же случаю?

— По предмету о совращении, так как по здешнему месту это, можно сказать, первый сюжет-с... Вашему высокоблагородию, конечно, неизвестно, что народ здесь

живет совсем необнатуренный-с, так эти бабы да девки такое на них своим естеством влияние имеют, что даже представить себе невозможно... Я думал, что ваше высокоблагородие прикажете, может, по совокупности...

— А у вас заведено разве уж дело?

— Никак нет-с; дело это, так сказать, еще в воображении...

— Почему же вы думаете, что оно из области вашего воображения непременно должно перейти в область действительности?

— Следим... шестую неделю, можно сказать, денно и ночью следим... так как же ему не быть-то-с? Это все одно что бабе понести, да в девятый месяц не родить-с...

— В таком случае, если что-нибудь будет, то сообщите мне, а я приобщу к своему делу... да вы об моем-то деле знаете?

— Помилуйте-с, ваше высокоблагородие.

— Однако ж?

— Помилуйте-с, ваше высокоблагородие.

— А Мавра Кузьмовна знает?

— В этом, ваше высокоблагородие, будьте без сомнения-с; гонец прямо к ней в дом и прискакал.

— Однако ж это неприятно.

— Ничего, ваше высокоблагородие.

— Как ничего? Она может принять свои меры, будет запирается.

— Меры она точно что принять может-с, да и запирается будет непременно, однако на это обращать внимания не следует, потому как с ними один разговор — под арест-с, а там как бог рассудит... А впрочем, вашему высокоблагородию насчет этого дела и опасаться нельзя-с, потому как тут и истцы налицо...

— Ну, а ваше дело в чем же состоит?

— Нет-с, уж извольте до завтра... по той причине, что у вашего высокоблагородия уж и глазки слипаются, а наша история длинная и до завтра не убежит.

Мы расстались.

II

Город С***, в котором мне пришлось производить следствие, принадлежит к числу самых плохих городов России. Если он расположился, или, лучше сказать, разлезся на довольно большом пространстве, то нельзя ска-

зять, чтобы к этому была какая-либо иная побудительная причина, кроме того, что русскому человеку вообще простор люб. Например, дом мещанина Карпущенкова занимает всего-навсе двадцать пять квадратных сажен, но зато под дворовым участком, принадлежащим тому же мещанину, наверное отыщется сажен тысячу. Спросите у Карпущенкова, зачем ему такое пространство земли, из которой он не извлекает никакой для себя выгоды, он, во-первых, не поймет вашего вопроса, а во-вторых, пораздумавши маленько, ответит вам: «Что ж, Христос с ней! разве она кому в горле встала, земля-то!» — «Да ведь нужно, любезный, устраивать тротуар, поправлять улицу перед домом, а куда ж тебе сладить с таким пространством?» — «И, батюшка! — ответит он вам, — какая у нас улица! дорога, известно, про всех лежит, да и по ней некому ездить».

Таким образом прозябает это грустное племя, вне всяких понятий о красоте и удобстве прямых линий. Вообще, в редких еще городах России земля имеет какую-нибудь ценность. Мещане и даже крестьяне приобретают огромные дворовые участки за бесценок, а часто и задаром, то есть самовольно, и все последствия такого приобретения ограничиваются выстройкой какой-нибудь бани, в которой ютятся хозяин с семейством, и обнесением участка плетнем или забором. От этого такое множество пустырей, которые придают нашим городам нестерпимо тоскливый вид.

Многие благонамеренные начальники старались превозмочь это тупое равнодушие жителей к их собственным выгодам и удобствам. Когда князь Лев Михайлыч¹ приехал в губернию, то первым делом его было написать, «чтобы в городах непременно были заведены мостовые и чтобы дома возводимы были в два этажа и, по возможности, каменные». Однако успех не соответствовал ожиданиям, потому что князь все-таки кроток очень. Тут надобно льва, который, невзирая ни на что, мог бы настоять.

Только к центру, там, где находится и базарная площадь, город становится как будто люднее и принимает физиономию торгового села. Тут уже попадаются изредка каменные дома местных купцов, лари, на которых симметрически расположены калачи и баранки, тут же снуют приказные, поспешающие в присутствие или обратно, и,

¹ См. выше. Филоверитов был один из фаворитов князя. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

меланхолически прислонясь где-нибудь у ворот, тупо поглядывают на базарную площадь туземные мещане, в нагольных тулупах, заложив одну руку за пазуху, а другую засунув в боковой карман.

На другой день по приезде в С*** я ранним утром отправился к Мавре Кузьмовне.

У меня был свой план; к сожалению, я должен был отказаться от выполнения некоторых частей его. Я хотел остановиться в городе инкогнито, прикинуться этак мещанином, желающим получить «просвещение», и выведать все дело исподволь. На этот конец было у меня припасено и соответственное одеяние, как-то: тулупчик дубленый, азия, сапоги русские и проч.; но появление Маслобойникова и заверение, что Кузьмовна меня ожидает, рассеяли в прах мои надежды. Во всяком случае, я вынужден был если не совершенно отказаться от своего плана, то подвергнуть его изменениям. Но и теперь, прежде всего, я рассчитывал на то обстоятельство, что хотя, быть может, и знает Мавра Кузьмовна, что имеет наехать чиновник, но знает это смутно, не имея настоящего понятия ни о цели приезда, ни о намерениях чиновника. В таком случае, думаю я, можно будет сказать, что я имею поручение сделать дознание об истинном состоянии раскола или что-нибудь подобное. Руководители и руководительницы этого дела охотно подаются на эту удочку, если взяться за нее умеючи. Натура человеческая до крайности самолюбива, и если ловко набросив на свое лицо маску добродушия и откровенности, следовательно обращается к всемогущей струне самолюбия, успех почти всегда бывает верен. Тут охотно выкладываются на стол все самые сокровенные вещи, а ради красного словца даже и приляется малость; следовательно, остается только на ус мотать. Тут же могут быть кстати употреблены и другие невинные средства, внушающие доверенность. Таким образом можно, например, направить речь издалека о собственных делах Мавры Кузьмовны, поприласкать ее (посадить), начать слегка соболезновать и вообще «беседовать разумно», сбросив с себя всякую официальность и пригнув себя к одному уровню с почтенною старухой. Я знал следователей весьма благонамеренных, которые своим неумением обращаться с живым материялом, щекотливостью, с которою они относились к темным сторонам жизни, с первого же шагу возбуждали полное недоверие подсудимого и, разумеется, не достигали никаких результатов. С другой стороны, знавал я и таких следователей, которые были, что называется,

до мозга костей выжиги, и между тем сразу внушали полное доверие к себе потому только, что умели к стати вернуть слово «голубчик», или потрепать подсудимого по брюху, или даже дать ему, в *шутливом русском тоне*, порядочную затрещину в спину — полицейская ласка, имеющая равносильное значение с словом «голубчик».

Я следовательно благонамеренный и добиваюсь только истины, не имея при этом никаких личных видов; следовательно, я не только имею право, но и обязан изыскать все средства, чтобы достигнуть этой истины. Конечно, я не стану давать любезных затрещин — на это я не способен, — но и кроме затрещин есть целый ряд полицейских хитростей, который может быть употреблен в дело. Мне скажут, может быть, что это нравственное вымогательство (другие, пожалуй, не откажутся употребить при этом и слово «подлость»), но в таком случае я позволю себе спросить, какие же имеются средства к открытию истины?

Итак, мне нужна была доверенность Мавры Кузьмовны; необходимо было вызвать ее на откровенность, и если бы она, в частном и любезном разговоре (особливо же при свидетелях), высказала то, что для меня потребно, в таком случае я не прочь был бы оформить эту любезную откровенность законным порядком. Само собою разумеется, что в дальнейшем развитии дела могут быть пущены в ход разного рода неожиданные: чтение некоторых писем, появление из задних дверей интересных лиц и т. п. И все это в пользу истины, только истины...

Полный этих намерений, я решился лично посетить Мавру Кузьмовну, чтобы ее, так сказать, сразу ошеломить моею благосклонною внимательностью. Сверх того не лишне было ознакомиться и с характером моей новой пациентки, чтобы приспособиться к нему и заметить ту струнку, на которую удобнее можно действовать.

Дом Мавры Кузьмовны, недавно выстроенный, глядел чистенько и уютно. Дверь из сеней вела в коридор, разделявший весь дом на две половины. Впоследствии я узнал, что этот коридор был устроен не случайно, а вследствие особых и довольно остроумных соображений.

Дело в том, что по обеим сторонам коридора были расположены горницы, из которых каждая имела свой особый ход и образовала род кельи, не имевшей с соседнею комнатою иного сообщения, как через коридор. Первые и ближайшие к сеням, а следовательно и к свету, горницы имели хозяйственное назначение; тут были: стряпушная, кладовые и т. д. Но чем далее нужно было углублять-

ся в коридор, тем тусклее достигал свет, так что с трудом можно было распознать даже двери; тут-то и были покои самой Мавры Кузьмовны, жившей вместе с племянницей и несколькими посторонними старухами, которых она пропитывала на старости лет. Затем, в самой глубине коридора, там, куда свет совершенно почти не досягал, было нагорожено множество мелких чуланчиков, которых не было возможности даже днем нащупать без помощи свечи.

— Как же вы-то успеваете вдруг осмотреть все эти закоулки? — спрашивал я у Маслобойникова, когда, впоследствии, сам ближе познакомился с устройством этого рода домов.

— Это точно-с, что поначалу дело было трудное, — отвечал он, — в первый раз, как был я еще неопытен, они меня лихо надули. Пришел я к ним этта с обыском; ну, она меня и встречает, такая, знаете, ласковая... «Милости просим, говорит, Иван Демьяныч, удостойте старуху своим посещением», — а сама, ваше высокоблагородие, и отворяет мне первую-то дверь. Ну, я с дураков-то и вошел — кухня-с; разумеется, чумички, лохани, ведра, все как следует. «Да ты показывай, говорю, мне настоящее дело». — «А вот, говорит, пожалуйте». И привела меня насупротив в кладовую. Ну, точно, вижу полная горница сундуков и мешков — надо все это свидетельствовать. С час я тут бился, рассматривал: ну, разумеется, кроме солоду, муки да крупы, ничего не нашел, а покуда я тут копался, в других-то комнатах и поприбрали... С тем и ушел, что ничего найти не мог... «Ну, говорю, спасибо, голубушка, за науку». — «Ничего, говорит, на здоровье, родимый!» А у самой от смеху даже нутро все колыхается, у поганки. Ну, да добро, мол, за мной не за кем другим: наука не пропадет. Пришел и опять случай: «Нет, думаю, шалишь, баба!» — и прямо, знаете, как ворвался, в самую, что называется, в глубь, покуда в стену лбом не наткнулся... тут и замер-с... А между тем на прочих пунктах свое распоряжение идет; двери все настезь, и как кого смертный час застал, так и пребывай; застынь, не шевелись... Ну и точно-с, диковинные иногда вещи в этих чуланчиках находишь...

Но возвращаюсь к рассказу. Встретила меня в сенях какая-то старуха, должно быть стряпка, которая, взглянув на мои пуговицы, побледнела и как-то странно вся всколыхалась. Испуг, очевидно, парализировал всю ее мыслящую силу, потому что она безотчетно топталась на одном месте, как бы недоумевая, оставаться ей или бежать.

— Дома Мавра Кузьмовна? — спросил я.

— Ась? — закричала она во всю мочь, с очевидным намерением, чтобы голос ее как-нибудь дошел по назначению.

Я повторил вопрос.

Она опять затопталась на месте, а губы ее начали судорожно подергиваться.

— Дома Мавра Кузьмовна? — крикнул я ей в самое ухо.

— Не упомяну я, батюшка, не упомяну... кажется, не бывала... стара я, ваше сиятельное благородие, больно стара да чтой-то нынче и памятью-то бог избидел... об ком это изволишь спрашивать?

Сознавая бесполезность дальнейших расспросов, я хотел было идти далее, в тот знаменитый коридор, о котором говорено выше, как вдруг, совершенно для меня неожиданно, старуха, как сноп, повалилась поперек двери.

— Батюшки! спасители! режут! — вопила она, уцепившись за фалды моего вицмундира, — отец родной! не ходи, не губи своей душеньки!

На этот крик выбежала баба высокая и плотная, в синем сарафане, подвязанная черным платком. Это была сама хозяйка дома, которая вмиг поняла, в чем дело.

— Мать Меропея, мать Меропея! — сказала она ласковым, но твердым голосом, подходя к нам, — полно, не блажи, пусти его благородие.

Старуха встала, глухо кашляя и злобно поглядывая на меня. Она одною рукой уперлась об косяк двери, а другою держала себя за грудь, из которой вылетали глухие и отрывистые вопли. И долгое еще время, покуда я сидел у Мавры Кузьмовны, раздавалось по всему дому ее голошение, нагоняя на меня нестерпимую тоску.

— Милости просим, ваше благородие! — говорила между тем Мавра Кузьмовна, — милости просим к нам в горницу... Аннушка! отворь-ка дверь: посветлее барину идти будет! Уж вы нас, сударь, не обессудьте за старуху-то! Здесь мы собрались народ всё старый да пуганный; мужчин никого нет — ну, и думается, что лихой человек старух сырых избидеть хочет... А таким гостям, как ваше благородие или хочь и Иван Демьяныч (Маслобойников), мы очень всегда рады... Или, может, ваше благородие, изначально с обыском пройдете? — прибавила она, как-то масляно засматривая мне в глаза.

— Нет... да разве ты не видишь, что и понятых со мной нет?

— Так-с; а то мы завсегда готовы... У нас, ваше благородие, завсегда и ворота, и горницы все без запору... такое уж Иван Демьяныч, дай бог им много лет здравствовать, заведение завел... А то, коли с обыском, так милости просим хошь в эту горницу (она указала на кладовую), хошь куда вздумается... Так милости просим в наши покои.

— А эта Меропея у тебя в стряпках, что ли, живет? — спросил я.

— В стряпках, сударь, в стряпках... что ж, это, кажется, сударь, не запрещается?..

Мы вошли в это время в горницу, чистую и светлую. На полу разостлан белый холст, а стены гладко выструганы; горница разделена перегородкой, за которой виднелась кровать с целою горой перин и подушек и по временам слышался шорох. Перед диваном, на столе, стояла закуска, которую впопыхах, очевидно, забыли прибрать. Закуска была так называемая дворянская, то есть зачерствелый балык, колбаса твердая как камень и мелко нарезанные куски икры буроватого цвета; на том же подносе стоял графин с белою водкой и бутылка тенерифа.

— Милости просим беседовать! — сказала Мавра Кузьмовна, усаживая меня на диван.

Но мы были не одни; кроме лиц, которые скрылись за перегородкой, в комнате находился еще человек в длинном узком кафтане, с длинными светло-русыми волосами на голове, собранными в косичку. При появлении моем он встал и, вынув из-за пояса гребенку, подошел, пошатываясь, к зеркалу и начал чесать свои туго связанные волосы.

Бледно-желтое, отекавшее лицо его, украшенное жиденькою бородкой, носило явные следы постоянно невоздержанной жизни; маленькие голубые и воспаленные глаза смотрели как-то слепо и тупо, губы распустились и не смыкались, руки, из которых одна была засунута в боковой карман, действовали не твердо. Во все время, покуда продолжалось причесыванье волос, он вполголоса мурлыкал какую-то песню и изредка причмокивал языком и губами.

— Это что за человек? — спросил я хозяйку.

Мавра Кузьмовна желала улыбнуться, но губы ее только судорожно двигались и никак не складывались в улыбку; она постоянно заглядывала мне в глаза, как бы усиливаясь уловить мою мысль, а своим собственным глазам старалась придать выражение беспечности и даже наивной веселости.

— Это, ваше благородие, так... уволенный, ваше благородие... он перед вами только что выпить зашел... это ведь, кажется, можно?

Последние слова были сказаны не без иронии.

— Да чтой-то, Михеич, хошь бы ты почтение его благородию отдал, — продолжала Мавра Кузьмовна, — а то мурлыкаешь там невесть что.

Неизвестный обернулся, подошел к столу и уставил бессмысленный взор на водку.

— А что, благодетельница, повторить можно? — спросил он сиплым голосом и слабо трясясь всем телом.

— Что ты за человек? — спросил я его.

Он посмотрел на меня мутными глазами.

— То есть... ваше благородие желаете знать, каков я таков человек есть? — сказал он, спотыкаясь на каждом слове, — что ж, для нас объясниться дело не мудреное... не принц же я, потому как и одеяния для того приличного не имею, а лучше сказать, просто-напросто, я исключенный из духовного звания причетник, сиречь овца заблудшая... вот я каков человек есть!

Он остановился, сначала глубоко вздохнул, но потом вдруг фыркнул и, изобразив из себя ферт, внезапно перешел из довольно густого баритона в самый тонкий, маслянистый тенор.

— Не возмогу рещи, — продолжал он, вздернув голову кверху и подкатив глаза так, что видны делались одни воспаленные белки, — не возмогу рещи, сколь многие претерпел я гонения. Если не сподобился, яко Иона, содержаться во чреве китове, зато в собственном моем чреве содержал беса три года и три месяца... И паки обуреваем был злою женою, но вся дни износившею предо мной звериный свой образ... И паки обуян был жаждою огненною и не утолил гортани своей до сего дня...

— Вы его не обессудьте, ваше благородие, — прервала Мавра Кузьмовна, — он у нас уж такой от рождения, в уме оченно уж недостаточен... Полно, полно, Михеич; пора, чай, и к домам.

— Нет, Мавра Кузьмовна, уж коли язык сам возговорил, стало быть, говорить ему надо, и вы мне не препятствуйте... Ваше высокоблагородие! вот как пред Богом, так и перед вами... наг и бос, ниц и убог предстою. Прошу водки — не дадут! Прошу денег — не дадут! Стало быть, за что же я, за что же...

— Да; не дадут тебе водки! и то уж почесть кабака

внутре-то у тебя завелся! — прервала его хозяйка, стараясь улыбнуться, но с очевидным озлоблением.

— Не препятствуйте, Мавра Кузьмовна! я здесь перед их высокоблагородием... Они любопытствуют знать, каков я есть человек, — должен же я об себе ответствовать! Ваше высокоблагородие! позвольте речь держать! позвольте как отцу объявиться, почему как я на краю погибели нахожусь, и если не изведет меня оттуда десница ваша, то вскорости буду даже на дне оной! за что они меня режут?

И он неожиданно подбежал к окну и, отворив его, неистовым голосом закричал:

— Православные! режут!

Мавра Кузьмовна побледнела. Сцена эта видимо ее беспокоила с самого начала; но при таком неожиданном окончании она до такой степени смутилась, что как будто бы совершенно позабыла обо мне.

— Ах ты, господи! Вот уж шестую неделю так-то с ним маемся! ин искать уж другого! — повторяла она про себя, — одною этою водкой всю келью испоганил, антихрист ты этакой!

И, уцепившись за полы его кафтана, она тянула его от окна. Во время этой суматохи из-за перегородки шмыгнули две фигуры: одна мужская, в вицмундирном фраке, другая женская, в немецком платье. Мавра Кузьмовна продолжала некоторое время барахтаться с Михеичем, но он присмирел так же неожиданно, как и пришел в экстаз, и обратился к нам уже с веселым лицом.

— Ну, полноте, полноте, Мавра Кузьмовна, — сказал он, с улыбкою глядя на хозяйку, которая вся тряслась, — я ничего... я так только покуражился маленько, чтоб знали его высокоблагородие, каков я человек есть, потому как я могу в вашем доме всякое неистовство учинить, и ни от кого ни в чем мне запрету быть невозможно... По той причине, что могу я вам в глаза всем наплевать, и без меня вся ваша механика погибёт.

Старуха была ни жива ни мертва; она и тряслась, и охала, и кланялась ему почти в ноги и в то же время охотно вырвала бы ему поганый его язык, который готов был, того и гляди, выдать какую-то важную тайну. Мое положение также делалось из рук вон неловким; я не мог не предъявить своего посредничества уже по тому одному, что присутствие Михеича решительно мешало мне приступить к делу.

— Что ты за человек и по какому случаю находишься здесь? — спросил я снова Михеича, — отвечай!

Он улыбнулся и поглядел на Мавру Кузьмовну, которая с пытливым беспокойством смотрела ему в глаза.

— А хочешь расскажу? — сказал он.

Прошло несколько минут томительного ожидания.

— Ну, не трясись! так уж и быть, не скажу! только завтра смотри у меня! перевертываться живей! теперь уж всего два денька и погулять-то осталось! Прощай, старуха! припасай водки!

И, взявши картуз, он тут же в комнате надел его на голову и побрел, пошатываясь, к двери. Мавра Кузьмовна вздохнула свободнее и начала креститься.

— А хорош буду архиерей? — спросил он, останавливаясь в дверях и растопырив руки фертном.

Мавра Кузьмовна снова заохала.

— Ну, ну, добро, не трясись! прощенья просим, ваше высокоблагородие! как буду архиереем, безотменно отпущу вам вольная и невольная...

— Что ж это за человек? — спросил я Мавру Кузьмовну, когда он вышел.

Она уже оправилась от страха, который нагнала было на нее выходка Михеича, и стояла передо мной довольно спокойно.

— Не пожалуете ли водочки? — сказала она, не отвечая на мой вопрос, — али, может, виноградного... или чайку угодно?

— Хитришь ты со мной, Мавра Кузьмовна.

— Зачем, кажется, мне с тобой хитрить, барин! Кажется, хитрить мне с тобой не надо... да просим милости откушать... Аннушка! Аннушка!

— Отчего ж ты не хочешь сказать, что за человек этот Михеич?

— Да что сказать-то, ваше благородие? так, празднотающий, пьяница... его и оттолева-то уж выгнали... где ему настоящее место есть. Ходит по домам да водку пьет... это хоть у кого в городе спросите...

— Зачем же ты его к себе в дом пускаешь?

— А коли не пустишь! Сами, чай, видели, каков он есть человек... не пусти, так, пожалуй, и гнездо-то наше огнем разорит. Да выкушайте хоть виноградного-то!

В это время вошла Аннушка, девка лет двадцати пяти, шумя великим множеством туго накрахмаленных юпок; на ней было ситцевое платье декольте, а на руках перчатки, у которых пальцы наполовину обрезаны. Девка, как все

вообще русские мещанки, воспитанные на пуховиках и чае, отличалась с виду тою дряблостью тучностью, которая почему-то напоминает о китовом жире; лицо у нее было, что называется, форменное: мясистое, круглое, плоское, мягкое, сильно избеленное и с крепко приглаженными волосами, намазанными мусатовскою помадой.

— Вы меня, тетонька, кликали? — спросила она, потупляя глаза и произнося слова в нос.

— Подь, подь сюда, умница, — сказала Мавра Кузьмовна, которой лицо расцвело при виде этого жирного, белого выкормка, — вот, батюшка, какую красавицу вырастила... племянница мне будет.

— Ах, тетонька, вы меня завсегда в конфузию приводите, — проговорила девица, как будто нехотя подвигаясь вперед.

— Подь, чего стыдиться-то! подь, касатка, — барин доброй! Мы здесь, ваше благородие, в дикости живем, кроме приказных да пьяного народу, никого не видим... Было и наше времечко! тоже с людьми важивались; народ всё чистый, капитальный езживал... ну и мя, глядя на них, обхождения перенимали... Попроси, умница, его благородие чайком.

— Я чаю не буду пить, Мавра Кузьмовна, теперь уже поздно, да и дело мне есть до тебя.

— Что-то, батюшка, уж будто дело горит! дело делом, а чай чаем: выкушай, родимый.

— Уж сделайте такое ваше одолжение, господин граф, — пролепетала Аннушка, складывая губы на манер сердца, — мы завсегда с приезжими учтивыми кавалерами компанию иметь готовы, по той самой причине, что и сами обхождением заимствоваться очень желаем...

— Просим выкушать! — настаивала, с своей стороны, Кузьмовна, — у меня, сударь, и генералы чай кушивали... Тоже, чай, знаете генерала Гореглядова, Ардальона Михайлыча — ну, приятель мне был. Приедет, бывало, в скиты, царство ему небесное: «Ну, говорит, Кузьмовна, хоть келью мы у тебя и станем ужотка зорить, а чаю выпить можно»... Да где же у тебя жених-то девался, Аннушка? Ты бы небось позвала его сюда: все бы барину-то попопаднее было.

— А у вас в доме и свадьба? — спросил я.

— Как же, сударь; тоже за благородного Аннушку выдаю: больно уж смирен парень-эт... да позови же Алексея-то Иваныча.

— Они, тетонька, в присутствии пошли: сказывают, делов очень много.

— Как же ты отдаешь племянницу за чиновника? ведь он не позволит ей в старых-то обычаях оставаться.

— И, батюшка! об нас только слава этта идет, будто мы кому ни на есть претим... какие тут старые обычаи! она вон и теперича в немецком платье ходит... Да выкушай же чайку-то, господин чиновник!

Нечего делать, я должен был согласиться выпить чаю среди бела дня.

— Однако признайся, Кузьмовна, — сказал я, когда Аннушка вышла, — знала ты, что я сегодня у тебя буду?

Мавра Кузьмовна пристально взглянула на меня и как будто призадумалась.

— Почему же я тако дело знать могу? — сказала она немного погодя.

— Однако вспомни: может быть, и знала.

— Нет, ваше благородие, нам в мнениях наших начальников произойти невозможно... Да хоша бы я и могла знать, так, значит, никакой для себя пользы из этого не угадала, почему как ваше благородие сами видели, в каких меня делах застали.

— Это-то меня и удивляет, что ты знала, что я должен у тебя быть, и не приготовилась...

— Кабы знать, отчего бы не приготовиться.

— А к кому же вчера вечером шалдежский Афанасий приезжал?

Она посмотрела на меня с таким наивным изумлением, что я не мог не расхохотаться. Она тоже улыбнулась.

— Какой же это такой Афонасий? Кажется, я никакого Афонасья словно и не знаю.

— Полно, старуха, ведь Афанасий-то у исправника в арестантской сидит; он уж сознался.

— Нет, батюшка ваше благородие, уж коли на то пошло, так я истинно никакого Афонасья не знаю... Может, злые люди на меня сплётки плетут, потому как мое дело одинокое, а я ни в каких делах причинна не состою... Посещению твоему мы, конечно, очень ради, однако за каким ты делом к нам приехал, об эвтом мы неизвестны... Так-то, сударь!

— Мне нужно бы кой об чем спросить тебя.

— Спрашивай, сударь, спрашивай, я завсегда готова. Известно, ваше дело спрашивать, а наше отвечать. Только об чем же ты спрашивать-то будешь?

— Да нужно мне кой об чем узнать... Изволишь ты видеть, много уж вашего стада здесь прибывает...

— Кто же это прибывает... кажется, мы все старые: мы, сударь, никого ведь неволить ни к себе, ни от себя не можем... Да что ж ты ко мне-то, сударь? Ведь тут, кажется, и мужчины есть — вот хоть бы Иван Мелентьич...

— Да ведь ты, Мавра Кузьмовна, в скитах живала, начальницей была.

— Оно конечно, живала... игуменьей тоже прозывали... Ну, что ж, спрашивай, сударь, я отвечать тебе могу.

— Нет, об этом надо ладком поговорить — приходи как-нибудь ко мне, а теперь некогда, другие дела есть... А что, Кузьмовна, кабы ты эти дела-то оставила? — прибавил я как будто стороною.

— Какие же это дела, сударь? — спросила она с наивным изумлением.

— Ну, да известно какие: раскол. За тобой бы — поди вся здешняя сторона старину бы оставила.

— Чтой-то, будто я этому делу причинна стала? Кажется, и до меня люди были, и после меня будут... чай, у всякого свой ум есть.

— А славно было бы...

— Нет уж, сударь, этот разговор нужно оставить, — сказала она серьезно.

— Да ведь я жалеючи тебя говорю, старуха.

— Оно так... может, и добрый ты барин, да об этом разговаривать нам уж не приходится, потому как, значит, слова занапрасно терять будем... а вот порассказать как и что — это дело возможное...

III

Я воротился домой, предварительно условившись с Маврой Кузьмовной насчет «нового свидания». Но загадочное лицо Михеича мучило меня, и я непременно хотел объяснить себе его. В это самое время вошел ко мне Маслобойников, но вошел на цыпочках и, предварительно за-свидетельствования мне почтения, заглянул в замочную скважину двери, ведущей в комнату, в которой помещались хозяева.

— Изволили видеть? — спросил он меня шепотом.

— Кого?

— А Михеича-с?

— Да; скажите, пожалуйста, что это за человек такой?

— Наш-с... уж шесть недель в предмете имеем-с... только говорить-то здесь неудобно-с... хозяева-с...

И он снова на цыпочках перешел через всю комнату к враждебной двери, отворил ее и посмотрел. Оказалось, что соседняя комната пуста.

— Осмелюсь доложить вашему высокоблагородию, — начал он, воротившись на прежнее место, — что нам все ихние прожекты в самой подробности завсегда известны, потому что мы от этих ихних прожектов, можно сказать, все наше пропитание имеем. Теперича главный у них сюжет в том состоит, чтобы как можно попа себе добыть. Беглых не наворачивается, старые повымерли, — вот-с они и истаевают. Прошел нынче слух, будто бы у них и архиереи завелись, и ездят якобы эти архиереи скрытно по всем местам, где этот разврат коренится; сказывают, что и к нам посулил быть. По здешнему месту, всему ихнему делу голова эта самая Мавра Кузьмовна, которую вы давеча видеть изволили. Жила она прежде в скитах и была в котором-то из них чуть ли не настоятельницей обители. Баба подлинно умная и всем этим стадом вертит, как ей желается. В недавнее время, с тех пор как скиты эти разогнали, приписалась она сюда в мещанки и завела здесь свою фабрику. Только смею доложить, что если эти скиты не будут опять в скором времени сформированы, так можно поручиться, что и весь этот край разврата не минует, по той причине, что эти «матери» по всем деревням, можно сказать, как воробны разлетелись и всюду падаль клюют-с. В прежнее время, как они все в одном гнезде каркали, оно конечно, пейзаж был не пригож, да, по крайности, все на виду и на счету были. Приедет, бывало, к ним с ярмарки купчина какой — первое дело, что благодарности все-таки не минем (эта у нас статья, как калач, каждый год бывала), да и в книжку-то, бывало, для памяти его запишем: ну, и пойдет он на замечание по вся дни живота. А нынче совсем и надзору за ними не может быть, потому что везде они, во всяком месте, словно черви расплозились. Только и пропитываешься, что частными случаями... там, слышишь, книжки проявились, там ночным временем для своих делов соберутся, в другом месте брак совершили гнусным манером без повенчания — ну, и действуешь, смотря по силе-возможности.

Говоря это, Маслобойников смотрел мне в глаза как-то особенно искательно, как будто усиливаясь угадать, какое впечатление производят на меня его слова. Очевидно, он желал повеселить меня, но вместе с тем оставлял у себя,

на всякий случай, в запасе оговорку: «Помилуйте, дескать, ваше высокоблагородие, я только к слову пошутить желал».

— Так вот-с эта Мавра Кузьмовна, — продолжал он, — и задумала учредить здесь свою епархию. Скитов ей, пожалуй, не жалко, потому что в ту пору хоть и была она в уваженье, да все как-то на народе ее не видать было; там, что ни выдет, бывало, все-таки больше не к ней, а ко всем скитам сообща относят, ну, а теперь она действует сама собой, и у всех, значит, персонально на виду. Я даже думаю, ваше высокоблагородие, что со временем из нее отличный полицейский сыщик выдет. Этих примеров видали по нашему месту очень довольно, потому как и народишко этот дрянной, и дозволю тебе ему только свои барыши наблюдать, так он, пожалуй, и Христа-то продать готов, не токма что своего брата, — самые то есть алтынники. Скажу к слову хошь про себя. Познакомился я этта с матерью Варсонофией — тоже преехидная баба и в скитах большим почтеньем пользовалась. Было как-то у меня до нее небольшое дело касательно совращения, только очень уж она ловка, на мякину никак не подденешь. Вот-с я и надумал: если нельзя ее по-христиански облупить, так, по крайности, хошь бы на будущее время от нее польза была. Окончивши спросы, подхожу это к ней.

— А что, — говорю, — мать, ведь мы с тобой, кажется, друг дружку понимать можем?

— Можем, — говорит.

— Тебе, мол, будет, чай, сподручнее, как ни от кого в твоей промышленности помешательства не будет?

— Это точно, что сподручнее.

— Ну, а мне, — говорю, — сподручнее, коли у меня по вашей части делов больше будет... Понимаешь?

— Понимаю, — говорит, — только уж не будет ли это очень зазорно, да и другие-то чтоб не заприметили, что ты будто одну меня в покое оставляешь?

— На этот счет, — говорю, — будь без сомнения, потому что мы и у тебя примерные тревоги делать будем... ладно, что ли?

— Право, — говорит, — не знаю: как-то уж очень оно зазорно будет...

А через два дня и дала, сударь, знать, что у них на селе у такого-то мужичка «странник» остановился...

Вот-с эта же самая Варсонофия уведомила меня месяца с два тому назад, что к Мавре Кузьмовне какой-то купчина московский участил ездить и что свиданья у них

бывают на дому у ней, Варсонофии, в селе версты за три отсюда. Хорошо-с. Дал я им время снюхаться, войти, так сказать, во вкус, да, выбравши этак ночку потемнее, и отправился самолично в это самое село. Верьте совести, ваше высокоблагородие, что собственными ногами весь вояж сделал, даром что дело было зимнее. И чего я, сударь, шомши дорогой, не передумал! Первое дело, что никто ей, этой Варсонофии, в душу не лазил: стало быть, дело возможное, что она и продаст; второе дело, что весь я, как есть, в одном нагольном тулупишке, и хоша взял с собою пистолет, однако употребить его невозможно, потому как убийство совершать законом запрещается, а я не токмо что на каторгу, а и на покаянье идти не желаю; третье дело, стало быть, думаю, они меня, примерно, как тухлое яйцо раздавить там могут вгорячах-то... Однако, перекрестившись, не назад, а вперед-с пошел. А там у Варсонофии мне и местечко такое было приуготовлено, около печки, так, чтобы только стать было можно, а дышать уж как бог помилует. Одних тараканов, ваше высокоблагородие, такое гам множество увидел, что даже удивительно как они живого меня не съели. Часов этак, по-нашему, около одиннадцати приходит это купец, а следом за ним и Мавра Кузьмовна и еще человек с ней, этот самый Михеич, которого вы видеть изволили.

— А не знаете ли вы, как купца звали? — спросил я.

— По фамилии не могу знать-с, а величали его тут Михайлом Трофимычем. (Скажу здесь мимоходом, что я доискивался некоего Михаила Трофимыча Тебенькова, который, давши, по сношению моему с NN полицией, недостаточное показание, неизвестно куда потом скрылся. Можно себе представить мое радостное изумление при словах Маслобойникова.)

— Продолжайте, продолжайте, — сказал я Маслобойникову.

— Только пришли они это, поздоровались.

— Ну вот, — говорит Мавра Кузьмовна, — и еще новобранца привела, и в грамоте *доволен*, и с книгами обращение иметь может, и по крюкам знает, и демественному обучался — молодец на все руки: какого еще к черту попа желать надоть!

— В семинарии до реторики досягал, — вступился тут Михеич, — и если бы не воля родителей, которые уже в престарелых летах обретаются, то вероятия достойно, что был бы теперь человек...

— Да чем же ты и теперь не человек, братец? — сказал купец, — во всех статьях...

— Это точно, что человек, но не смею скрыть пред лицом столь почтенной особы, что имею единую слабость...

— Водку, что ли, пить любишь?

— Справедливо сказать изволили... Но ныне, будучи просвещен истинным светом и насыщен паче меда словами моей благодетельницы Мавры Кузьмовны, желаю вступить под ваше высокое покровительство... Ибо не имею я пристанища, где преклонить главу мою, и бос и наг, влачу свое существование где ночь, где день, а более в питейных домах, где, в качестве свидетеля, снискиваю себе малую мзду.

— А как же насчет водки-то, молодец? — спросил купец, — ведь это малодушество, чай, бросить придется?

— Об этом предмете у нас с моей благодетельницей такой уговор был: чтоб быть мне в течение шести недель всем довольну, на ихнем коште, да и в водке б отказу мне не было, потому как, имея в предмете столь великий подвиг, я и в силах своих должен укреплен быть.

— Да ты уж и нынче, кажется, на ногах-то не больно тверд, молодец?

— По милости благодетельницы, точно что горло будто промочил маленько...

— Да заодно и сам уж промок, — прибавила весело Мавра Кузьмовна, — так вот, отцы вы наши, как я об нашем деле радею, каких вам слуг добываю, что из-за рюмки сивухи, а уж не из чего другого, рад жизнь потерять.

— Это точно, что готов по первому повелению... да вот, отцы вы наши, денег бы триста рублей надо...

— Уж и триста! вот мать Магдалина (Мавра Кузьмовна) по двугривенному выдавать будет.

— Нет уж, честной господин, по двугривенному обидно будет.

— Так ты говори дело, а то триста рублей!..

И условились они тут на полтора рубля: половину вперед отдать, а половину по совершении.

— А вы еще ладите, чтоб быть здесь архиерею, — сказала Кузьмовна, — мать Варсонофия! своди-тко молодца-то в светелку, а мы здесь втроем по душе потолкуем.

Михеича действительно увели, и остались они втроем. Тут я всего, ваше высокоблагородие, наслушался, да и об архиерее-то, признаться, впервой узнал. Знал я, что они, с позволения сказать, развратники, ну, а этого и во сне не чаял. И кто ж архиерей-то! Андрюшка Прорвин, здешний,

ваше высокоблагородие, мещанин, по питейной части служил, и сколько даже раз я его за мошенничества стегал, а у них вот пастырь-с! Даже смеху достойно, как они очки-то втирают!

— Позвольте, однако ж, — прервал я, — по какой же причине они выбрали себе такого бездельника? неужели у них получше людей нет?

— Как не быть-с! вот хоть бы здесь купец есть, Иван Мелентьев прозывается, — ну, этот точно что человек, однако, видно, ему не рука — по той причине, что этому архиерею, будь он хошь семи пядей во лбу, годик, много два поцарствовать, а потом, известно, в тюрьме же гнить придется. Да и для них-то самих, пожалуй, через два-то года корысть в нем не велика, потому как он свою пакость уже исполнит, попов им наставит, так они и сами его хошь с руками выдадут. Никто хороший-то на такой карьер и не соблазняется. Только вот-с купец-от, объявивши Мавре Кузьмовне, что такого-то они архиерея для себя добыли, все, знаете, настаивает, чтоб жить ему в здешнем месте.

— Здесь, — говорит, — нашего христианства вся колыбель состоит, так и пастырю быть тут пригоже.

Ну, а Кузьмовна тоже свой расчет в голове держит: «Не дело, говорит, вы, отцы, затеваете».

— Помилуйте, матушка Мавра Кузьмовна, да почему же вам теперича этот сюжет поперек стал-с?

— А потому поперек, что для нас, старинных ваших радетелей, этак-ту, пожалуй, и обидно будет.

— Почему ж обидно-с? Будьте удостоверены, матушка, что мы насчет содержания не постоим-с, потому как мы, собственно, для христианства тут рассуждение имеем и очень хорошо понимаем, какие ваши в этом предмете заслуги состоят.

— Вы вот тамotka все насчет христианства заботу имеете... А ты сперва расскажи, чем оно теперь-то, потвоему, не хорошо, христианство-то?

— Да как же-с, матушка! известно, овцы без «просвещения» ходят-с, оно даже и со стороны зазорно!

— А какого им ляду «просвещения»! ты вот говоришь «просвещение», а они, пожалуй, и приобькли без «просвещения»-то, так им оно поди и за ересь еще покажется.

— Помилуйте, как же это возможно? Да уж одно то во внимание примите, что служба какая будет! На одни украшения сколько тысяч пошло-с, лепирии золотые, и всё одно к одному-с...

— Так-то так... ну, и пушай к нам в побывку ездит:

это точно, что худого тут нет. Только оставаться ему здесь не след, и вот тебе мое последнее слово, что не бывать этому, какова я на этом месте жива состою.

— Да в чем же вы сомневаться изволите, Мавра Кузьмовна?

— Господи! жили-жили, радели-радели, и ну-тка, ступай теперь вон, говорят! да вы, отцы, жирны, что ли, уж больно стали, что там обесились! Теперича хоть и я: старастара, а все же утроба, чай, есть просит! я ведь, почтенный, уж не молоденькая постничать-то! А то, поди-тка, Андрюшке свое место уступи! ведь известно, не станет он задаром буркулами-то вертеть, почнет тоже к себе народ залучать, так мы-то при чем будем?

Стал было он ее еще уговаривать, однако старуха укрепилась. Сколь ни говорил, обещал даже капитал в ланбарт положить, ничем не пронял. Твердит себе одно: «Не хочу да не хочу!» — «Я, говорит, не за тем век изжила, чтоб под конец жизни в панёвщицы произойти; мне, говорит, окромя твоего капитала, тоже величанье лестно, а какой же я буду человек за твоим за Андрюшкой? — просто последний человек!» На том и порешили, что быть в здешнем месте Андрюшке только наездом и ни во что, без согласия Мавры Кузьмовны, не вступаться. И диво бы они так не решились: купец-от знал, что эта ехидная Маврушка такую власть над этой яичницей имеет, что стоит ей только слово в народ кинуть, так, пожалуй, и Андрюшку-то в колья примут-с.

Тут я узнал, что должен он быть сюда через шесть недель и что к этому времени Мавра Кузьмовна и людей таких должна приискать, чтобы грамотны были... Верьте богу, ваше высокоблагородие, что, когда они ушли, я в силу великую отдохнуть даже мог. Прибежал домой и в ту же минуту послал секретно за Михеичем; привели мне его, что называется, мертвецки.

— А что, — говорю, — рыло ты пьяное, тоже в попы хочешь?

Как ни был он пьян, однако тут отрезвел и оставил на меня сонные глаза.

— Ну, — говорю, — у меня цыц! пей и блажи сколько душе угодно, а из-под моей власти не выходить! слышишь! Как выдет у вас что-нибудь новенькое, а пуще всего даст свой дух Андрюшка — живым манером ко мне!

Пал он мне, сударь, в ноги и поклялся родителями обо всем мне весть подавать. И точно-с, с этих пор каждую ночь я уж знаю, об чем у них днем сюжет был... должен

быть он здесь, то есть Андрюшка-с, по моему расчету, не завтра, так послезавтра к ночи беспременно-с.

И диковинное это дело, ваше высокоблагородие! человек я, кажется, к этим делам приобвыкший, всякого, что называется, пороху нанюхался, даже самые побои принимал, а теперь вот словно новичок какой, весь кураж потерял-с. В груди будто теснота, спину ломит, даже губы сохнут-с... И чем ближе подступает время, тем все больше и больше будто естество в тебе все вверх поднимается. Точно те времена воротились, как, бывало, около Глафиры Николавиной юпки прохаживался. Ходишь, знаете, бывало, заденешь только, так словно озноб всего прошибет... Даже во сне вижу, как я их всех накрою, как они, знаете, собрались, и свечи горят-с...

— Ну, а если не удастся накрыть? — спросил я.

Маслобойников испугался и даже побледнел.

— Помилуй бог, ваше высокоблагородие, как же этому быть возможно?.. да у меня даже теперь поясница отнялась от одних ваших слов.

— А как же вы предполагаете распорядиться, если вам это дело удастся?

Маслобойников вздохнул и задумался.

— Придется по начальству представить, — сказал он угрюмо и опять задумался.

— Ведь они, ваше высокоблагородие, — продолжал он, — многих тысяч не пожалели бы, только чтоб это дело как ни на есть покрыть! а от начальства какую отраду, кроме огорченья, получишь, сами изволите знать! Да скрыть-то нельзя-с! потому что кто его знает? может, он и в другом месте попадется, так и тебя заодно уж оговорит, а наш брат полицейский тоже свинья не последняя: не размыслит того, что товарища на поруганье предавать не следует — ломит себе на бумагу все, что ни сбрежут ему на допросе! ну, и не разделаешься с ним, пожалуй, в ту пору... Нет, видно, уж по начальству придется.

Сказав это, Маслобойников впал в какое-то меланхолично-сентиментальное настроение духа, глаза уставил в землю, руками начал «тужить» и все дальнейшее произносил тоненьким головным тенором:

— И добро бы доподлинно не служили! А то, кажется, какой еще службы желать! Намеднишь его высокоблагородие говорит: «Ты, говорит, хапанцы свои наблюдай, да помни тоже, какова совесть есть!» Будто мы уж и «совести» не знаем-с! Сами, чай, изволите знать, про какую их высоко-

родие «совесть» поминают-с! так мы завсегда по мере силы-возможности и себя наблюдали, да и начальников без призрения не оставляли... Однако сверх сил тяготы носить тоже невозможно-с.

IV

На другой день вечером все было уже готово; недоставало только депутата, ратмана Половникова, который, заслышав о предстоящем депутатстве, с утра сбежал из дома и неизвестно куда скрылся.

Время, предшествующее началу следствия, самое тягостное для следователя. Если план следствия хорошо составлен, вопросы обдуманы, то нетерпение следователя растет, можно сказать, с каждою минутой. Все мыслящие силы его до такой степени поглощены предметом следствия, что самая малейшая помеха выводит его из себя и заставляет горячиться и делать тысячу промахов в то самое время, когда всего нужнее хладнокровие и расчет.

Я ходил по комнате и, признаюсь откровенно, неоднократно-таки посылал куда следует Половникова и всех этих депутатов, которые как будто для того только созданы, чтобы на каждом шагу создавать для следователя препятствия. Я вообще люблю дела делать беспрепятственно, потому что оно как-то ловче, прохладнее распорядиться на просторе. Шум у дверей прервал мои размышления; я оглянулся и увидел полицейского солдата, который держал за веревочку человека с бородой, одетого в русский кафтан. У человека в руках была печать, которую он как-то ожесточенно мял пальцами.

— Привел, ваше благородие, — сказал полицейский.

— Что это за человек?

— Мещанин Половников, ваше благородие.

— Где ты пропадал? нет, ты скажи, где ты пропадал? — закричал я, вдруг почувствовав в сердце новый прилив гнева и нетерпения при виде этого господина, который своею медленностью мог порвать всю нить соображений, обуревавших мою голову.

Половников мялся на одном месте и продолжал вертеть печать в руках.

— На чердаке, за старым хламом спрятавшись нашли, ваше благородие! пытали мы с ним маяться-то, — продолжал солдат.

— Ваше благородие... ваше превосходительство... ваше сиятельство!.. помилуйте, сударь, не погубите!

Говоря это, Половников то и дело протягивал руку с печатью и потом снова ее отдергивал.

— Секлетарь-с, ваше благородие... они против меня злобу питают... потому как я человек бедный-с и поклониться мне нечем-с... по той причине я и обществом выбран, что в недоимщиках был: семья очень уж угнетает, так общество и присудило: по крайности, мол, он хоть службу отбудет...

— Так что ж секретарь-то?

— Да вот все наряжает-с; а у меня, ваше благородие, семья есть, тоже работишка-с, ложечки ковыряю, а он все наряжает: я, говорит, тебя в разоренье произведу... Господи! что ж это такое с нам будет!

— Что ж у тебя в руках-то?

— Да тамга, ваше благородие, тамга: неученый ведь я, сударь, так вот и прикладываю, где господа укажут.

— Посмотри, пришла ли Кузьмовна? — сказал я полицейскому.

— Ваше благородие! — обратился ко мне Половников, когда полицейский вышел, — другие господа бывают добрые...

— А что?

— Да вот, кабы была ваша милость меня отпустить, так я бы, вместо себя, тамгу-то свою здесь оставил.

— А вот посмотрим, как Кузьмовна скажет.

В это время вошла Мавра Кузьмовна. Она не обнаруживала ни в лице, ни в фигуре своей ни малейшего признака смущения. Напротив того, очень спокойно перекрестилась старинным обычаем и поклонилась мне как-то сухо и чванливо, а на Половникова не обратила даже ни малейшего внимания, хотя он несколько раз сряду поклонился ей.

— Вот ратман-то просит, чтоб я отпустил его, — сказал я.

— Что ж, сударь, это ваше уж дело; коли без свидетелей спрашивать хотите, так отчего же и не отпустить, — отвечала Мавра Кузьмовна, — а, кажется, в законе этого не написано, чтоб без свидетелей спрашивать.

— Ну, нечего делать; садись, Половников.

— Помилуйте, матушка Мавра Кузьмовна, — взмолился Половников, — что ж, значит, я перед господином чиновником могу?.. если бы я теперича сказать что-нибудь от себя возможность имел, так и то, значит, меня бы в шею отселе вытолкали, потому как мое дело молчать, а не говорить... рассудите же вы, матушка, за что ж я, не буду-

чи, можно сказать, вашему делу причинен, из-за него свою жизнь терять должен... ведь я, все одно, тамгу свою господину чиновнику оставлю.

— Как знать-то: может, его благородию и притязание заблагорассудится объявить, — сказала Мавра Кузьмовна, насильственно улыбаясь, — а впрочем, мы люди подчиненные!

— Да ведь я с тобой просто, по душе поговорить желаю, — сказал я.

— А что ж, сударь, и по душе говорить будем, все лишний человек не помеха... Да и что ему сделается — не сахарный!

— Помилосердствуйте, матушка!

Но Мавра Кузьмовна, по какому-то капризу, осталась непреклонною и только улыбалась на мольбы Половникова, хотя ей очень хорошо было известно, что печать Половникова имела здесь точно то же значение, как сам он.

— Так-то вот, ваше благородие, едма нас едят эти шельмы! — сказал Половников, злобно запахивая свой азам, — целую зиму, почитай, чиновники из городу не выезжали, все по ихней милости!.. анафемы! — прибавил он, огрызаясь в ту сторону, где стояла Мавра Кузьмовна, — ну, да ладно же!

V

— Так ты думаешь, что прежде вам лучше житье было? — спросил я Мавру Кузьмовну, когда заметил, что она достаточно обручнела.

Кузьмовна сидела передо мной, несколько наклонившись, и рассказывала тихим, но вняттым голосом, размахивая нередко одною рукой, между тем как другою комкала носовой платок.

— Когда же сравнить можно! да ты послушай, сударь, в моей одной обители что девок было, и всё от богатых отцов, редконькая так-то с улицы придет. Всякая, значит, и с собой по возможности принесет, да и по времени тоже присылают. Ну, и все эти деньги старшим матерям шли... так как же сравнивать-то можно! Теперь мы что? вдовы беззащитные; живем где ночь, где день; кабы старых крох не было, так и пропитаться-то бы не знаю чем. Купцы-то, бывало, с ярмонки в скиты приедут, так ровно разахаются, как оно благочинно у нас там было, — ну, тоже всякий по силе-возможности и жертву приносил; а нынче в нашу

сторону нѣ по что и ездить; разве другой на «святыя» места поглядеть полюбопытствует, прослезится, да и уедет... так-то, сударь.

— И ученые девки бывали?

— Как же, сударь, по-церковному-то все уж умели, а были и такие начетчицы, что послушать, бывало, любо; я вот и сама смолоду-то куда востра на грамоту была... Господа тоже большие к нам в скиты посмотреть на наш обиход езживали.

— Ты, чай, грамоте-то и теперь знаешь?

— Как не знать: могу мало; что ж бы я была за настоящая, кабы грамоте не могла?

— А что, разве прежде вас не тревожили?

— Бывало, сударь, бывало всякое. Да прежние-то больше на деньги падки были; ну, а как деньгами довольны, так и тревоги нам нет. Был у нас, сударь, исправник — молода я еще в ту пору была — Петром Михайлычем прозывался, так это точно что озорник был; приедет, бывало, в скит-от в карандасе, пьяной-распьяной: «Ну, говорит, мать Лександра (игуменья наша была), собирай, говорит, девок поедрѣнее, я, говорит, кататься желаю». Ну и соберут этта девок, а он их и велит запрягчи, кого в корню, кого на вынос, да так-ту и прокладается по скитам. Так вот, сударь, как заслышишь, бывало, что Петр Михайлыч приехал, так от страху даже вся издрожисься, зароешься где-нибудь в сено, да и лежишь там, доколе он не выедет совсем из скита. Ну, этот точно обидчик был; давай ему и того, и сего, даже из полей наших четвертую часть отделил: то, говорит, ваше, а эта часть моя; вы, говорит, и посейте, и сожните, и обмолотите, и ко мне в город привезите. Или вот придет в келью к матери игуменье, напьется пьян, да и заставит девок плясать да песни петь... ну, и пляшут, — не что станешь делать-то! Однако даже и этот трогать нас не трогал, а только озорство свое соблюдет, да и уедет... Ну, а прочие были, тоже человечество понимали: приедут, бывало, оберут деньги, и не показываются до времени. Одно для нас, сударь, тяжеленько бывало: больно уж часто начальников нам меняли, не успеет еще один накорыстоваться довольно, глядишь, его уж и сменили — ну, и стараются за один раз свою выгоду соблюсти.

— Да ты-то как в скиты попала?

— А я, сударь, от родителей, в Москве, еще маленька осталась, ну, братья тоже были, торговлю имели; думали-думали, куда со мной деваться, и решили в скиты свезти.

Конечно, они тут свои расчеты держали, чтобы меня как ни на есть от наследства оттереть, ну, да по крайности хоть душе моей добро сделали — и на том спасибо!

— А живы они и теперь?

— Как не живы — живут; только один-от, на старости лет, будто отступился, стал вино пить, табак курить; я, говорит, звериному образу подражать не желаю, а желаю, говорит, с хорошими господами завсегда компанию иметь; а другой тоже прощенья приезжал ко мне сюда просить, и часть мою, что мне следовало, выдал, да вот и племянницу свою подарил... я, сударь, не из каких-нибудь...

— Кому ж тебя в скитах-то отдали?

— Игуменья, сударь, матери Лександре; тоже ведь хошь и обидели меня братья, а бесприданницей пустить не захотели, тысячу рублей бумажками матушке отдали. Жила я у ней в послушанье с десятого годка и до самой их кончины: строгая была мать. Довольно сказать, что в колодки нашу сестру запирала, на цепь саживала, и не за что-нибудь, сударь, такое, чтобы уж зазорно было, а просто или поклон не по чину сделала, или старшим уваженья не отдала. Совсем другое это время было. Теперича хошь и это сказать: приедут, бывало, купцы с ярмонки; в других скитах посмотришь, самые старшие матери встречать их бегут, да и игуменья-то с ними, ровно они голодные, а мать Лександра скоро ли еще выдет, а и выдет, так именно можно сказать, что игуменья вышла: из себя высокая да широкая, голос резкой. Ну, купцам-то это и любо: этакую, говорят, мать и не уважить невозможно, потому как она и себя соблюдает строго. И в обхожденье тоже сноровку имела: с богатым человеком и поговорит ласково, и угощенье сделает, с средним обойдется попроще, а с бедным и разговаривать, пожалуй, не станет: эти мужики да мещанишки только стоят, бывало, да издальки на нее крестятся. Привередлива она тоже была, покойница, особливо под конец жития: платок это или четки там подле, кажется, лежат, а она сама ни в свете руки за ними не подымет, все Маврушка подай; натерпелась-таки я с ней. Бывало, даже молиться начнет, так и то и нагни ты ее, и подними ты ее, а она только знает командует. Или вот гулять выдет: на крыльчке маленечко постоит, ручки скламши, посмотрит на нас, как мы в горелки бегаем, да и домой. Ни за что в свете даже шагу не сделает. Так другие-то матери при ней и языка развязать не смели, а только глядят, бывало, на нее да усмеваются, потому что она тоже любила, чтоб у ней все некручинно смотрели.

И прожила она, сударь, таким родом лет за сотню, и хоша под конец жизни очень уж стара была, даже ноги едва волочила, а строгость свою всю соблюдала, так что я и в сорок-то лет ее, словно маленькая, страшилась.

— Ишь анафема какая! — сказал Половников, но Мавра Кузьмовна не только не удостоила его ответом, но даже и не взглянула на него.

— Кого же после нее игуменьей сделали?

— Дай бог ей здоровья, сама меня еще при жизни назначила, а другие матери тоже попротивиться этому не захотели: так я и оставалась до самого конца, то есть до разоренья... только плохое, сударь, было мое настоятельство...

— Да за что же эту Александру так любили, коли она была такая строгая?

— А как же, сударь, не любить-то? Ну, хошь бы ты, сударь, человек подначальный — разве возможно тебе своих начальников не любить? Первое дело, что у нее везде свой глаз был: стало быть, тут не только разговору, да и мысли ни единой скрыть было невозможно. Были, примерно, и между нами такие сестры, которые обо всем ей весть подавали. Шушукали тоже ей в уши-то: такая-то, мол, Дорофея такими-то зазорными словами твою милость обозвала, такая-то Ириарха то-то сказала. Ну, а старуха тоже была властная, с амбицией, перекоров не любила, и хочь, поначалу, и не подаст виду, что ей всякое слово известно, однако при первой возможности возместит бесприменно: иная вина и легкая, а у ней идей за тяжелую; иной сестре следовало бы, за вину, сто поклонов назначить, а она на цепь посадит, да два дни не емши держит... ну, оно не любить-то и невозможно. А второе было дело, что мы все наше пропитанье, можно сказать, через нее получали, потому что ни в одном скиту столько милостыни не бывало, как в нашем: и деньгами и припасом — всем изобильны бывали. А тягости нам не что было: только одну наружность соблюсти, так из-за этого много разговаривать не приходилось, потому что и сами-то мы не бог знает какие дворяне. Пища бывала завсегда в лучшем виде, труда немного, так за зиму-то иные матери так, бывало, отъедятся, что даже смотреть зазорно.

— Да купцам-то почему эта Александра так по нраву пришлась, что они ей больше других милостыню подавали?

— А как же, ваше благородие, — вступился Половников, — кто же, как не мать Александра, ихние блудные

дела обдывала! Девка там у них согрешит — куда девать? в скит к Александре под начал отдать; жену муж взненавидит — тоже в скиты везет; даже такие бывали случаи, что купцы и больших сыновей, под видом убогонких, к этой Александре вживали. Это, ваше благородие, такая уж у них материя была, чтоб погублением душ человеческих заниматься... Вот и то опять: увидят, который из нашего брата совестью шатается — ну, и привлекают...

— Уж и тебя не привлекали ли? — спросила его Мавра Кузьмовна, оглядывая его с головы до ног.

— А то не привлекали небось?.. В ту пору, годов этак с десяток будет, был я, ваше благородие, помоложе, к хмельному тоже приверженность большую имел, потому как жена каждый год все таскает да таскает... ну, стало быть, неумоготу пришлось, а христианства в нас мало, и стал я с печали в вине забываться... Так тоже приходила из ихнего скита одна гадина: «Подь, мол, Филат Финагеич, к нам в веру, пшенисный хлеб будешь есть». Как только бог тогда спас! Да и ты ведь сплетница известная! — прибавил он, обращаясь к Мавре Кузьмовне, — из-за твоих из-за сплетен сиди тут, слушай твои рассказы!

— Неужто и вправду к вам в скиты девок в неволю отдавали?

— Какая, сударь, неволя! он, сударь, чай, и теперь еще с похмелья не проспался.

— Да, с похмелья! а Варсонофью-то небось позабыла? кажется, на последних временах это было, при твоём честном игуменстве... позабыть-то бы еще рановато!

Сказавши это, Половников даже повернулся на месте: до такой степени кипела в нем досада на Кузьмовну за то, что она не отпустила его.

— Вы ее, ваше благородие, не слушайте, — обратился он ко мне, — она все врет... А ты Расскажи-ка про Варсонофью-то, как ты ее ублажала!

Я стал прислушиваться, потому что здесь именно выступал на сцену главный предмет моих поисков. Я боялся даже взглянуть на Кузьмовну, потому что взгляд мой мог выразить невольное любопытство и вместе с тем заставить ее сделаться осторожнее.

— А что ж Варсонофия? — сказала Мавра Кузьмовна совершенно спокойно, — как пришла к нам, так от нас и ушла Варсонофия...

— Нет, ты Расскажи-ка барину, как она пришла-то к вам, то есть к тебе в обитель; вот ты что Расскажи.

— Что ж, пришла! известно, пришла, как приходят: родитель привез, своею охотой привез... да ты что больно вступаешься? тут, чай, господин чиновник разговаривает, а не ты с суконным своим с рылом.

— Ну, а как, в самом деле, зачем привез к вам отец Варсонофию? — спросил я, стараясь сколько возможно смягчить голос.

Мавра Кузьмовна посмотрела на меня как-то сомнительно, однако ж, видя, что передо мною нет чернильного припаса и что сам я сию совершенно невинно, успокоилась.

— А что, барин, коли по истинной правде сказать, — начала она, — так это точно, что она не своей охотой у нас жила. Лет с пяток назад — была уж я в ту пору игуменьей — приезжает к нам по осени знакомый купец из Москвы. Время было самое ненастное, глухое, а приезжает он ночью и требует меня настоятельно. Стало быть, думаю, уж больно велика нужда, коли в такую пору себя беспокоит Михайло Трофимыч. И точно; вышла я это к нему, а он не дал мне даже поздороваться, прямо в ноги. «Али что у вас, Михайло Трофимыч, случилось?» — говорю. А он стоит это передо мной бледный, ровно сам не свой: «Помоги, говорит, мать Магдалина (в «чине»-то я Магдалиной прозывалась); с еретиком, говорит, Варька-то моя связалась, с приказным». — «Что ж, говорю, разве уж больно худо дело?» — «Да так-то, говорит, худо, что через неделю, много через две, разрешенью быть надо; ты, говорит, подумай, матушка, одно только детище и было, да и то в крапиву пошло! А сам, знаешь, говорит это, да так-то, сердечный, льется-разливается. «Про кого, говорит, я деньги-то копил!..» Ну, это точно, что мы тогда с ним условие сделали, чтобы она у меня под началом выпросталась... Так ведь на это он, сударь, и родитель, чтобы своим детищем располагаться как ему угодно: в чем же я могу ему тут препятствие сделать?

— Так он навсегда ее в скиты отдал?

— На житье, сударь, на житье... точно, что старик он суровый, непреклонный; я, говорит, теперича и на глазах-то ее держать не хочу, и если, говорит, пропадет она, так жалеть не об чем...

— И поди, чай, — прервал Половников, — сделавши такое доброе дело, стал на молитву, выпустил рубаху, опояску ниже пупа спустил... и прав, думает... Ну, а робенка-то куда вы девали? ты говори да досказывай! — продолжал он, обращаясь к Кузьмовне.

— Что ж ребенок? — отвечала Кузьмовна совершенно равнодушно, — ребенок мертвенький родился: тут его и схоронили — это точно.

— Да, как придушить человека, оно точно что мертвенький будет.

Мавра Кузьмовна позеленела; она никак не рассчитывала ни на вмешательство Половникова, ни на то, что разговор примет столь неприятный для нее оборот.

— Ваше благородие! — сказала она, вставая со стула и вся дрожа от злости, — прикажите этому псу молчать!

Но Половников разгорячился и с своей стороны встал со стула и начал наступать на нее.

— Нет, ты зачем же его благородие обманываешь? нет, ты скажи, как ты Варьку-то тиранила, как ты в послушанье-то ее приводила! ты вот что расскажи, а не то, какие у вас там благочиния в скитах были! эти благочиния-то нам вот как известны! а как ты била-то Варьку, как вы, скитницы смиренные, младенцев выдавливаете, как в городе распутство заводите, как вы с Александрой-то в ту пору купеческого сына помещанным сделали — вот что ты расскажи!

— Тетонька! пожалуйста-ка сюда! — раздался в это самое время из передней голос племянницы, с которою я познакомился еще вчера утром.

— Можно, ваше благородие? — спросила Кузьмовна голосом, в котором слышалось сильное волнение.

Я отпустил ее и между тем поспешно отворил дверь в соседнюю комнату, из которой вышла другая женщина, высокая, бледная, но очень еще красивая. Я поставил ее в угол комнаты, так чтобы Кузьмовна не могла ее с первого раза заметить. В то же самое время я перенес с окна чернильницу и все нужные по делу бумаги.

VI

— Не можно ли мне домой отлучиться, ваше благородие? — сказала Кузьмовна, входя в комнату.

Она была сильно взволнована и тряслась всем телом.

— Разве что-нибудь случилось? — спросил я.

— Да что случиться-то! вот девка рассказывает, что Иван Демьяныч в дому шарит — только чудо, право!.. Отпустите, сударь, по крайности хошь бы посмотрела, как гнездо-то мое разоряют.

— Нет, Кузьмовна, теперь домой не время идти: ты отвечать должна.

— В чем же я отвечать буду? Я, сударь, тебе наперед говорю, что ничего не знаю.

— Посмотрим; как тебя зовут?

— А как зовут — Маврой зовут.

Я сделал здесь обычные вопросы, которыми начинается всякий допрос.

— Знаешь ли ты Варвару Михайлову Тебенькову, она же скитница Варсонофия?

— Да ты как же, сударь, это спрашиваешь: просто, что ли, или записать хочешь?

— Ты видишь, что я первый твой ответ (об имени и т. д.) записал: стало быть, это не разговор, а следствие.

— Так, сударь... Не припомню, сударь, чтой-то я, никакой Варвары Михайловой не припомню.

И она делала вид, как будто старалась припомнить.

— Может быть, Варсонофию припомнишь?

Она снова задумалась.

— Ну, и Варсонофии никакой не припомню; может быть, и была у нас Варсонофия, да уж, право, не знаю, про какую ты спрашиваешь... Была у нас Варсонофия кривая, была Варсонофия горбуша, а Тебеньковой Варсонофии что-то и не бывало.

— А Тебенькова Михайла Трофимыча, московского купца, знаешь?

— Н... не знаю... какой же это такой Трофим Тебеньков? что-то и не слыхала я про такого...

— Не Трофим, а Михайло Трофимов Тебеньков... знаешь ты его или нет?

— Нет, сударь, не знаю я Тебенькова...

— А грамоте умеешь?

— Какая, сударь, у нас грамота? печать церковную читать коё-как еще могу... да и то ноне глазами ослабла. Намеднись вот Петр Васильевич канунчик прочитатель просил, так и то, сударь, не могла: даже Дарья Семеновна, хозяйка ихняя, удивилась — вот, сударь, какова наша грамота... Это хошь у кого хотите спросите.

— А писать не умеешь?

— Не умею, сударь, не стану лгать; не умею: даже молода была, никогда писать не могла.

— Слушай.

ПО МОЛИТВЕ

Ангельского жития подражательнице, горнего Иерусалима ревнительнице, добродетелей небесных поборнице, девственныя чистоты охранительнице, матушке и. Магда-

лине, аз, грешный раб ваш Михаил, земно кланяюсь, здравия и всякого благополучия желаю; как вы там, матушка, в своей честной обители, благополучно ли проживаете?.. А что вы, матушка, насчет Варвары пишете, так вы на ее злонравное прекословие не смотрите, а стригите ее как вам пожелается. Я свои капиталы распорядил; богатство наше, матушка, тленное, надо тоже и о душе подумать, чтоб было с чем пред Создателя предстать. Нынче же мы большое для христианства дело затеваем, однако докà ничего об нем не пишу, потому что и известного ничего еще нет. Так вы бы на нее, матушка, не смотрели, а внушали бы ей, что на родителей надеяться нечего, потому как сама себя соблюсти не умела, стало быть, и надеяться не на кого. И еще вы пишете, что и за косу ее привязывали, и другими средствами начали, и все якобы проку от этого нет... Так вы бы ее еще, матушка, маленько, яко мать, повымучили, а буде, какова пора ни мера, и за тем противничать станет, в холоднем бы чулане заперли, доколе не восчувствуется, или и иную меру одумали. А мне с Варварой деваться некуда, по той причине, что я и в сердце своем положил остальное время живота своего посвятить богоугодным делам. Даже и об том помышляю, чтобы, на старости лет, совсем от мирския прелести удалиться, и сказывали мне, будто для того в закамской стороне и места удобные обретаются, и живут в них старцы великие постники и подражатели; так вы бы, матушка, от странников, в ваши места приходящих, об том узнавали, где тех великих старцев сыскать, и мне бы потом отписали. А у нас на Москве горше прежнего; старец некий из далеких стран сюда приходил и сказывал: видели в египетской стране звезду необычную — красна яко кровь и хвост велик. И тамошний египетский салтан с звездочеты зело таковому чуду дивляхуся... Уж и подлинно, матушка, не быть ли вскорости второму пришествию! увы нам, беззаконным! Матушкам: Манефе, Евфалии, Уалентине нижайше кланяюсь: напрасно вы, матушки, себя беспокоите, гостинцы нам высылать; помолитесь за нас, грешных, а мы вам завсегда, по силе-помощи, всем служить рады.

Раб ваш смиренный

Михаил Тебенков.

— К тебе это писано?

— Какое же это письмо? Чтой-то будто я ни от кого таких писем не получивала!

— Да ты говори прямо: к тебе или не к тебе это письмо писано?

— А кто ж его, сударь, знает: ведь писать никому не запрещается — может, кому и вздумалось написать, только я ничего этого не получивала, и об чем там сказано, не знаю...

— Так и записать прикажешь?

— Так, батюшка, и запиши. Это точно что не знаю, не стану на себя лгать. Да и обычая у нас такого не бывало, чтоб переписываться: мы, батюшка, старухи старые, слепенькие, нам в пору божественные книжки читать, а не то чтоб переписываться.

— Ну, слушай же еще.

ПО МОЛИТВЕ

Доброжелателю нашему, добродетелями яко смарагд изукрашенному, батюшка Михайло Трофимыч, аз, смиренная и. Магдалина, со всеми нашими матушками нижайше кланяюсь, спаси вас бог, а паче всего приумножь нетленные богатства души вашей... А что вы нам про девицу Варвару пишете, так об ней много беспокоиться не извольте: уж она не Варвара, а и. Варсонофия, смирилась и стричь себя допустила. Много было у нас с ней в этом разговору; все прежняя прелестная жизнь смущала, да я, положившись на ваше родительское благословение, стала ее усиленно к богоугодному делу нудить, а если бы не то, так и в жизнь бы, кажется, не дозволила: такого твердого нраву девица. Насчет того дела, про которое вы секретно пишете, и у нас прошли было слухи, и мы очень этому возрадовались, а сестры-старухи даже прослезились все, что древнее благочестие не токмо не изведется, но паче солнца воссиять должно. Спаси вас господи за ваши труды, почтеннейший муж Михайло Трофимыч; мы, что можем, с своей стороны на общую пользу готовы, только сами знаете, старухи сироты что в таком великом деле могут, кроме молитв? А когда вы, батюшка, одумаете от прелести мирской уклониться, так прежде не худо бы вам в нашем скиту погостить, около дочки вашей; наши старушки за вами походили бы и вашу старость бы упокоили. Все они нижайше вам, нашему доброжелателю, кланяются и все, благодаря бога, благополучны, только престарелая мать Палинария неделю тому назад преставилась, так многие старушки сильно об ней растужились. Посылаем вам, батюшка, нашей работы ложечек: примите, и нас, сирых скитниц, не оставьте. Доброжелательница ваша

и. Магдалина.

— Ты писала это письмо?

— Нет, батюшка, какое такое письмо, я и не знаю... верно, какой-нибудь враг на меня эту напраслину взводит, а я, сударь, вот что тебе скажу, что я и писать-то не учена... да уж нельзя ли, ваше благородие, до завтра спросы-то покинуть: больно мне что-то неможется, а завтра, может, и припомню что.

— Так ты решительно утверждаешь, что никакой Варсонофии или Варвары Тебеньковой не знаешь?

— Не знаю, батюшка, не знаю.

— Вспомни, однако ж, что не далее как за полчаса перед этим ты сама подробно рассказала всю историю своих отношений к Тебенькову и созналась, что Варвара точно жила у тебя в обители.

— Не знаю, сударь, может, с испугу и точно я что солгала, а теперь даже просто, что и говорила-то, позабыла... вот я тебе как, сударь, скажу...

— Господин ратман, вы можете засвидетельствовать, что Кузьмовна созналась в том, что она знает Тебенькову?

— Да помилуй, сударь, разве ты судом меня спрашивал? ведь тот разговор у нас по душе был.

— Здравствуйте, матушка Мавра Кузьмовна! — сказала в это самое время Варвара Тебенькова, подошедшая, по знаку моему, к допрашиваемой.

Если бы в эту минуту слетел огонь с неба, то и он не поразил бы Мавры Кузьмовны в такой степени, как слабый и тихий голос Тебеньковой. Кузьмовна растерялась и как будто совсем ослабла; первым ее движением было перекреститься, вторым — опуститься на стоявший вблизи стул. Казалось, впечатление было полное, подавляющее; Кузьмовна задышалась, стонала и беспрестанно крестилась. Я ожидал, что вот-вот вырвется у нее признание. Однако, минуты через две, она немного успокоилась, встала и не только не созналась, но продолжала запыряться еще с большим ожесточением.

— Извините, ваше благородие, — сказала она голосом еще неуспокоившимся, — очень уж я испужалась... словно из земли незнакомый человек вырос... Да кто ж ты такая, голубушка, что я словно не припомню тебя? — продолжала она, обращаясь к Тебеньковой.

— Чтой-то, матушка, будто уж смиренной Варсонофии не припомните? чай, не день и не два с вами жили.

— Какая же ты, голубушка, Варсонофия? была у нас горбуша Варсонофия, так неужто ты та самая и есть?

— Вишь, как пришло ей узлом, вишь, какую чушь

городить начала! Память, что ли, у те отшибло, старая, что Варвару не узнаешь? — сказал Половников.

— Куда, чай, узнать? — отозвалась Варвара с горечью, — мы люди темные, подначальные, поколь в глазах, дотоль нас и знают... А вспомните, может, матушка, как вы меня в холодном чулане без пищи держивали, за косы таскивали... али вам не в диковину такие-то дела, али много за вами этого водилось, что и на памяти ничего не удержалось?..

— Повтори свое показание, — сказал я.

VII

— Осталась я после мамыньки по восьмому годку; родитель наш не больно чтобы меня очень любил, а так даже можно сказать, что с самых детских лет, кроме бранных слов, ласки от них я не видывала. Должно полагать, что на мамыньку они неудовольствие питали, потому что и меня часто ею попрекали, что будто бы я как не ихняя дочь, а какого-то приказного. По этой самой причине родитель наш меня с собой и не держал, а соблюдал больше на кухне с рабочими людьми. Родитель наш человек суровый, словно как даже без души совсем...

— Вот как нынче об родителях-то говорят, — отозвалась Кузьмовна, язвительно улыбаясь.

— Конечно, ихние добродетели вам больше известны, матушка, потому как ихнее к вам большое пристрастие было, особливо насчет Манефы Ивановны...

— Еще и Манефу Ивановну какую-то приплела... ну, плети, плети свои сплётки, голубушка.

— В девóчках я точно что больно шустра была, ваше благородие. Известно, без призору, как крапива у забора росла, так и норовишь, бывало, озорство какое ни на есть сделать. Добру учить было некому, а и начнет, бывало, родитель учить, так все больше со злом: за волосы притаскает либо так прибьет, а не то так и прищемить норовит... как еще жива осталась... Вот матушка Мавра Кузьмовна сказывала вам, будто родитель наш плакался, как меня в скиты привез, так это они напрасно сказали. Родитель наш такое сердце в себе имеют, что даже что такое есть слезы не знают... А если и в сáм-деле плакали, так это потому, что по обычаем в таком деле слезы следуют, а без слез люди осудят. Была у нас суседка, старуха старая, так она только одна и жалела меня, даже до госпо-

дина надзирателя доходила с жалобой, как родитель со мной обходится, только господин надзиратель у родителя закусил и сказал, что начальство в эти дела не входит. Так старуха-то, бывало, только дивится, как это я жива состою: вот какое житье было...

Тебенькова закручинилась и утирала концом платка, которым повязана была ее голова, катившиеся из глаз слезы. Кузьмовна, напротив, стояла совершенно бесстрастно, сложивши руки и изредка улыбаясь.

— Конечно, сударь, может, мамынька и провинилась перед родителем, — продолжала Тебенькова, всхлипывая, так я в этом виноватою не состою, и коли им было так тошно на меня смотреть, так почему ж они меня к дяденьке Павлу Иванычу не отдали, а беспременно захотели в своем доме тиранить? А дяденька сколько раз их об этом просили, как брат, почитая память покойной ихней сестры, однако родитель не согласился ихней просьбы уважить, потому что именно хотели они меня своею рукой загубить, да и дяденьке Павлу Иванычу прямо так и сказали, что, мол, я ее из своих рук до смерти доведу...

Половников вздохнул.

— Вот они каковы все, — сказал он, — по наряду, где написано плакать, во всякое время плакать готовы, а христианскую душу загубить ничего не значит.

— Что делать! каковы уродились, таковы и есть, не посетуй, родимый! — заметила иронически Кузьмовна, — у тебя бы поучиться, да ты, вишь, только ложечки ковырять умеешь, а немца наймовать силы нетутка.

— Жила я таким родом до шестнадцати годков. Родитель наш и прежде каждый год с ярмонки в скиты езживал, так у него завсегда с матерями дружба велась. Только по один год приезжает он из скитов уж не один, а с Манефой Ивановной — она будто заместо экономки к нам в дом взята была. Какая она уж экономка была, этого я доложить вашему благородию не умею...

— Будто уж и не умеешь? — прервала Кузьмовна.

— А ты почему знаешь, что умеет? — спросил я.

— Да ведь и по виду, сударь, различить можно, что девка гулящая, — сказала она.

— Только стало мне жить при ней полегче. Начала она меня в скиты сговаривать; ну, я поначалу-то было в охотку соглашалась, да потом и другие тоже тут люди нашлись: «Полно, говорят, дура, тебя хотят от наследства оттереть, а ты и рот разинула». Ну, я и уперлась. Родитель было прогневался, стал обзывать непристойно, убить по-

сулил, однако Манефа Ивановна их усовестили. Оне у себя в голове тоже свой расчет держали. Ходил в это время мимо нашего дому...

Тебенькова потупилась и покраснела. Несколько секунд стояла она таким образом, не говоря ни слова, но потом оправилась и продолжала свой рассказ тем мягко-застенчивым голосом, в котором слышались слезы молодой и не испорченной еще души.

— Ходил в это время мимо нашего дому молодой барин. Жили мы в ту пору на Никольской, в проулке, ну, и ходил он мимо нас в свое присутствие каждой день... Да это нужно ли, ваше благородие?

— Ничего, продолжай.

— Только больно уж полюбился мне этот барин. Девчонка я была молодая, не балованная, а он из себя казал такой смиренный да тихонький. Идет, бывало, мимо самых окошек, а сам в землю глядит, даже на окошко-то глаза поднять не смеет. Одет, бывало, чистенько, из лица бледный, глазки большие, и все песенку про себя мурлычет. Поначалу хаживал он только утром, в присутствие и назад, а потом начал и вечером учашать. И столько я любила смотреть, как он, бывало, идет по улице, что даже издальки завидишь, так словно в груди у тебя похолодеет.

Тебенькова задумалась, несколько минут крепилась и потом вдруг горько и сосредоточенно зарыдала.

— Ничего, матушка, бог даст, соединитесь с своим предметом, — заметил, в виду утешения, Половников.

— Только раз, сию я это вечером под окошком, и вижу, что идет мой барин милый. Поравнялся он с моим окошечком, да и стал тутотка; говорить ничего не говорит, а словно замешался... Я тоже сию, будто в пальцах работаю, а сама даже ничего не вижу, только дрожу вся. Вот он постоял-постоял и пошел, однако, своею дорогой, не сказавши слова. А мне и невдомек, что в этой же горнице Манефа Ивановна сидели и все за нами выслеживали; только тогда и догадалась, как оне заговорили со мной. «А что, говорит, Варвара Михайловна, или вам господин приказный по ндраву пришел?» Только я испужалась, даже дыханье у меня захватило. «Нет, говорю, никакого приказного я не знаю». — «Ну, полноте же, моя голубушка, от меня скрываться вам нечего; я, говорит, давно за вами примечаю, и хотя в иночестве нахожусь, однако слабость человеческую понимать могу; так вы, говорит, лучше во всем мне откройтесь — может, заодно как-нибудь и устроимся». Ну, я тоже на это ей говорю: «Коли вы уж

так, говорю, Манефа Ивановна, так я перед вами скрыться не могу: давно уж я в Митрия Филипыча очень влюблена». Ну, и точно-с, на другой это день, родителя нашего дома не было, идет Митрий Филипыч мимо, а Манефа Ивановна в окошко глядит. «Позвольте, говорит, вас просить, господин приказный, не угодно ли побеседовать». Он и вошел; натурально, угощение тут подали. «Верно, — говорит Манефа-то Ивановна, — вам наши горницы полюбились, что очень часто мимо нас ходите». Ну, он точно сознался, что влюблен. «А коли так, — опять говорит Манефа Ивановна, — я вам препятствия делать не стану». И оставила нас вдвоем. Только что у нас тут с ним было, доподлинно сказать вашему благородию не могу, потому как я даже рассудка своего ровно как лишилась. Больно уж он меня любил; стал это меня обнимать да целовать: «Варенька, говорит, жизнь вы моя, очень я по вас сокрушаюсь». А сам это, знаете, все ласкается да целует. Однако я поначалу виду не подавала: «Мужчины, говорю, все обманщики, и вы тоже обманете». Ну, и все такое...

— Да хошь бы ты покороче, что ли, рассказывала, — прервала Мавра Кузьмовна с худо скрытою досадой.

— Прикажете, что ли? — спросила меня Тебенькова.

— Разумеется, продолжай.

— Таким родом пробыли мы с полгода места, и хоша и был у нас разговор, чтобы наше дело законным порядком покончить, однако Манефа Ивановна отговорила родителя этим беспокоить, а присоветовала до времени обождать. Только в полгода времени можно много и хорошего и худого дела сделать; стало быть, выходит, что я не сильна была свою женскую слабость произойти и...

Тебенькова опять вспыхнула и потупилась.

— Что ж, чай, тоже забеременела, скитница?! — заметила Кузьмовна, — такое хорошее дело и не в месяц сделать можно!

— Ваше благородие! прикажите мне одной говорить, — сказала Тебенькова.

— Замолчи, Кузьмовна, твоя речь впереди.

— Вот как этакое-то дело со мной сделалось, и стали мы приступать к Манефе Ивановне, чтоб перед родителем открыться. «А что, говорит, разве уж к концу дело пришло?» И заместо того чтоб перед родителем меня заступить и остороженько ему рассказать, что вот господин хороший и поправить свой грех желает, она все, сударь, против стыда и совести сделала. Сама меня, можно сказать, в грех ввела, да и сама же с руками родителю и

выдала. Стал он допрашивать меня, что и как, и столько я, сударь, в то время побоев и ругательства приняла, что, кажется, не помни я завсегда, что христианская во мне душа есть, так именно смертью умереть следовало. Порешили они на том, чтоб в скиты меня на всю жизнь погребсти. Ну, наше дело детское: что над нами родители захотят сделать, то и сделают, потому как мы и слов против них не имеем. Меня хошь за вину в скиты сослали, а то вот у Мавры Кузьмовны в обители купеческая дочь Арина Яковлевна жила, так та просто молодой мачихе не по нраву пришлась, ну и свезли в скиты. Вот тоже и Филат Финагеич вашему благородию истинную правду про купеческого сына рассказывал, которого родители малоумным захотели сделать; нашей власти тут нет, чего старики захотят, то мы и исполнять должны.

— Какую-то там еще Арину Яковлевну приплела — только чудо, право! — заметила Мавра Кузьмовна, улыбаясь и покачивая головой.

— Видно, старые грехи гвоздем выходят, Мавра Кузьмовна; откуда слез ни брать, а, стало быть, плакать приходится, — сказал Половников.

— В скитах чего уж со мной не делали! вот эта самая Мавра Кузьмовна надо мною тешилась: и в холодный-то чулан запирала, и голодом морила, и на цепь саживала. Думаю я так, что оне с Манефой Ивановной извести меня захотели, чтоб я, значит, померла, и им после того родительский капитал вничек получить. Только, видно, Бог не попустил до этого; хошь и больно я от ихних побоев захворала, однако разрешилась благополучно младенцем...

— Куда ж младенца-то девали?

— А сказывали, что на деревню к мужичку в сыновья отдали, да после будто бы помер, — отвечала Тебенькова, но потом, обратившись к Кузьмовне, как будто внезапная мысль озарила ее голову, прибавила: — Нет, ты скажи, куда ты Мишутку-то девала?

Кузьмовна все так же улыбалась, а изредка даже пожимала плечами.

— Нет, ты скажи, однако, — приставала к ней Тебенькова, — ведь ты, может, его в помойную яму выкинула — у вас в обители на это мода была...

— Отвечай же, Кузьмовна, — сказал я.

— Да что же я, сударь, скажу, когда уж я показала раз, что и ее-то совсем не знаю... об каком она Мишутке еще спрашивает? право, чудо!

— Ну, слушай же.

«18** года, марта... дня, нижеименованные лица, быв спрошены, по расколу и прикосновенности, без присяги, показали:

1) Михайлом зовут меня, сыном Трофимовым, по прозванию Тебеньков, от роду имею лет, должно полагать, шестьдесят, а доподлинно сказать не умею; веры настоящей, самой истинной, «старой»; у исповеди и св. причастия был лет восемь тому назад, а в каком селе и у какого священника, не упомню, потому как приехали мы в то село ночью, и ночью же из него выехали; помню только, что село большое, и указал нам туда дорогу какой-то мужичок деревенский; он же и про священника сказывал. Под судом бывал ли, не знаю, а по следствиям тоже волочили, без этого не бывает; об штрафах тоже сказать не умею; разве что в консисторию гоняли, так это точно бывало. Дочь моя Варвара, точно, ушла от меня в скиты своею охотой и с моего благословения, и жила там в обители у игуменьи Магдалины, которая ныне мещанкой в городе С*** приписана и зовется Маврой Кузьмовной. Чтобы она теперь того была беременна, того я не знаю, и где она теперь находится, также не умею сказать, потому что с тех пор, как скиты разогнали, никаких известий оттуда не имею. Манефа Ивановна, старушка, точно у меня живет, однако не в любовницах, а в домоправительницах. Что показал по сущей справедливости и пр.

2) Манефа Ивановна Загуменникова, от роду имею тридцать лет; состою по расколу и жила в скитах, в обители у игуменьи Магдалины, где пострижена в иноческий образ под именем Маремьяны. Варвара Тебенькова, дочь моего хозяина, точно ушла от родителя своего в скиты, где и жила в той же самой Магдалининой обители, но про беременность ее ничего не знаю. Какая причина заставила ее идти в скиты, сказать не умею, потому как хотя я в то время и жила у Михайла Трофимыча в ключах, однако в ихние дела не вступалась, и любовницей у хозяина моего тоже не бывала, и с чего это взято, мне не известно. Что показав справедливо и пр.

3) Лжеинокини Иринарха, Дорофея, Павлина, Аполлинария и другие, ныне мещанки разных городов, быв спрошены, каждая порознь, показали, что означенная Варвара Тебенькова прибыла в их скиты, в Магдалинину обитель, ночью, и в скором времени родила мальчика, но куда девала его настоятельница, того они не знают. Они же сознались, что Магдалина действительно вынуждала Тебенькову различными истязаниями остричься, что последняя

наконец и исполнила, и даже как будто примирилась с настоятельницей, почему, не за долгое время до разогнания их из скитов, была даже послана в разные места за сбором милостыни».

— Из всех этих показаний ясно, *во-первых*, что ты напрасно запираешься в знакомстве с Тебеньковым и в укрывательстве дочери его; *во-вторых*, что Варвара Тебенькова действительно родила в твоей обители, и сын ее неизвестно куда пропал... Куда девала ты этого сына?

— Что ж, сударь, вся ваша власть: хочь в железы меня куйте, хочь бейте, хочь в куски режьте — я вся тут, — отвечала Кузьмовна по-прежнему с бесстрашием, в котором даже проглядывало еще более решимости.

— Приходится прочитать тебе и еще документец.

ПО МОЛИТВЕ

Почтеннейшему благодетелю Михайле Трофимычу аз, грешная и. Магдалина, земно кланяюсь. Дочка ваша на вчерашнюю ночь распросталась благополучно сынком, и я насчет его поступила по вашему желанию, а Варваре Михайловне матушки сказали, что отдали его в деревню в сыны к мужичку, и она очень довольно об этом тужила, что при ней его не оставили. После можно будет сказать, что он и помер, и вы бы, наш благодетель, были в том без сомнения, что это дело в тайности останется, и никто об том, кроме матушки Меропеи, не знает...

— Позвать сюда Меропею! — сказал я полицейскому и потом, обращаясь к Кузьмовне, прибавил: — Ну, что ж ты на это скажешь?

— А что сказать? что прежде говорила, то и теперь скажу: не знаю я ничего; хочь что хотите со мной делайте, а чего не знаю, так не знаю.

— Ишь скарעד какой! — заметил Половников, терявший терпение, — так тебя и послушают, незнайка!

— Так, видно, и взаправду Мишутку-то в яму свалили! — сказала Тебенькова, всхлипывая, и потом, обращаясь к Кузьмовне, прибавила: — Черт ты этакой, че-орт!

— Продолжай свое показание, — сказал я.

— Да чего больше сказывать-то! жила я, сударь, в этой обители еще года с два, ну, конечно, и поприобыкла малость, да и вижу, что супротивничеством ничего не возмешь, — покорилаь тоже. Стали меня «стричься» нудить — ну, и остриглась, из Варвары Варсонофией сдела-

лась: не что станешь делать. В последнее время даже милостыню собирать доверили, только не в Москву пустили, а к сибирским сторонам...

— Как же тебя такую молоденькую отпустили?

— Да по-ихнему, сударь, что моложе, то лучше: купцы больше денег дают. Уж, конечно, тут больше грех один, да по скитскому правилу то и хорошо, что грех, потому что «не согрешивши возмечтаешь, не согрешивши не покаешься, а не покайся не спасешься». Вот я и ходила таким родом месяцев с семь, покуда до Камы не дошла; там, сударь, город есть такой, в котором радетелей наших великое множество проживает. Стала я оттуда писать в скиты, что пачпорту срок вышел, а тут, заместо пачпорта-то, весть пришла, что и скиты все разогнали...

— Ваше высокоблагородие! извольте сюда пожаловать! — кликнул показавшийся в дверях полицейский.

Я вышел.

— В ихнем доме господин исправник с понятыми — архиерея изловили, сейчас сюда будут-с!

— А Меропея?

— Мерошка в бесчувствии-с.

VIII

В эту самую минуту на улице послышался шум. Я поспешил в следственную комнату и подошел к окну. Перед станционным домом медленно подвигалась процессия с зажженными фонарями (было уже около 10 часов); целая толпа народа сопровождала ее. Тут слышались и вопли старух, и просто вздохи, и даже ругательства; изредка только раздавался в воздухе сиплый и нахальный смех, от которого подирал по коже мороз. Впереди всех, приплясывая, шел Михеич и горланил песню.

— Господи! что такое с нами будет? — бормотала ветхая старушонка, ковыляя мимо окна и размахивая руками.

— А то, матушка, будет, что, видно, умирать наше время пришло! — отвечал какой-то старик, стоявший у ворот, и, вздрогнув всем телом, прибавил: — Ишь ты, господи!

— Прочь с дороги! — кричал Михеич, который, по видимому, распорядился всей процессией, — эй, вы! стойте тут, на дворе, покедова я его высокоблагородию доложу.

— Соколов привели, ваше высокоблагородие! — сказал он, входя в мою комнату, — таких соколов, что сам Иван

Демьяныч, можно сказать, угорел. А! Маремьяна-старица, обо всем мире печальница! — продолжал он, обращаясь к Мавре Кузьмовне, — каково, сударушка, поживаешь? ну, мы, нече сказать, благодаря богу, живем, хлеб жуем, а потроха-то твои тоже повычистили! да и сокола твоего в золотую клетку посадили... фю!

Я взглянул на Мавру Кузьмовну; она была совершенно уничтожена; лицо помертвело, и все тело тряслось будто в лихорадке; но за всем тем ни малейшего стоны не вырвалось из груди ее; видно было только, что она физически ослабла, вследствие чего, не будучи в состоянии стоять, опустилась на стул и, подпершись обеими руками, с напряженным вниманием смотрела на дверь, ожидая чего-то. Приветствие Михеича не коснулось слуха ее. Очевидно, ей было не до него и его цинических выходок, что все ее мысли, все чувства были сосредоточены на этой драме, которой последний акт так неожиданно разрешился без всякого участия с ее стороны.

— А именно, ваше высокоблагородие, понял я теперь, что мне в полицейской службе настоящее место состоит! — продолжал между тем Михеич, — именно, в самой, можно сказать, тонкой чистоте всю штуку обрабатывали... Ваше высокоблагородие! не соблаговолите ли, в счет будущей награды и для поощрения к будущим таковым же подвигам, по крайности стакан водки поднести? Сего числа, имея в виду принятие священнического сана, даже не единыя росинки чрез гортань не пропускал.

— Имею честь поздравить ваше высокоблагородие с крестничком! — сказал Маслобойников, входя в комнату, — кончили все благополучно-с. Даже со всеми онёрами изловили-с. И тот самый здесь, про которого изволили спрашивать... Прикажете позвать-с?

Лицо Маслобойникова сияло; он мял губами гораздо более прежнего, и в голосе его слышались визгливые перекатистые тоны, непременно являющиеся у человека, которого сердце до того переполнено радостью, что начинает там как будто саднить. Мне даже показалось, что он из дому Мавры Кузьмовны сбегал к себе на квартиру и припомадился по случаю столь великого торжества, потому что волосы у него не торчали вихрами, как обыкновенно, а были тщательно приглажены.

— Стало быть, этот купец и был Тебеньков? — спросил я.

— Так и родитель наш тут же схвачен... Господи помилуй! — вскричала Тебенькова.

— Точно так-с, моя красавица! и ему тоже бонжур сказали, а в скором времени скажем: мусьё алё призо!¹ — отвечал Маслобойников, притопывая ногой и как-то подло и маслено подмигивая мне одним глазом, — а что, Мавра Кузьмовна, напрасно, видно, беспокоиться изволили, что Андрюшка у вас жить будет; таким большим людям, в нашей глухой стороне, по нашим проселкам, не жительство: перед ними большая дорога, сибирская. Эй, Андрюшка! поди, поди сюда, любезный!

Вошел мужчина лет сорока, небольшого роста, с лицом весьма благообразным и украшенным небольшою русою бородкой. Одет он был в длинный сюртук, вроде тех, какие носят в великороссийских городах мещане, занимающиеся приказничеством, и в особенности по питейной части; волосы обстрижены были в кружок, и вообще ни по чему нельзя было заметить в нем ничего обличающего священный сан.

— Вот-с, имеем честь рекомендовать — крестничек! каков телец упитанный! Ну, сказывай же его высокоблагородию, как ты в архиереи попал?

Но Андрюшка молчал и без малейшего смущения ясно смотрел в глаза Маслобойникову.

— Ну, что ж ты, сударь, не отвечаешь? а ты не стыдись! ведь тебя, сударь, и заставить можно разговаривать-то!

Андрюшка по-прежнему молчал упорно.

— Вот-с, сколь жесток человек сделаться может! — обратился ко мне Маслобойников, — верите ли, ваше высокоблагородие, полчаса я его усовещивал, даже рук для него не пожалел-с, и, однако ж, ни одного слова добиться не мог.

— Ваше благородие! да ушли ты исправника-то! ведь зазорно! — вступилась Кузьмовна, вставая со стула и подходя ко мне.

Я сам начинал сознавать, что Маслобойников зашел слишком далеко, и дал ему понять, что было бы не лишнее оставить меня одного.

— Здравствуйте, батюшка Андрей Ларивоныч, — сказала Мавра Кузьмовна, когда мы остались одни, кланяясь Ларивонову до земли, — видно, не на радость свиделись!

И крупные слезы полились ручьями из глаз ее.

— Здравствуйте, сударыня Мавра Кузьмовна! — отвечал он тихим, но твердым голосом, — много мы, видно,

¹ Пожалуйте, сударь, в тюрьму! (искаж. фр.)

с вами пожил; пора и на покой, в лоно предвечного Христа спаса нашего, иже первый подъял смерть за человеки.

— Прости и ты мне, Варвара Михайловна! много я пред тобой согрешила! — продолжала Кузьмовна, склоняясь перед Тебеньковой, — ну, видно, нечего делать, растопило у меня сердце... ваше благородие! записывай уж ин поскорей.

С своей стороны Тебенькова тоже повалилась в ноги к Мавре Кузьмовне, и за глухими ее рыданиями нельзя было даже разобрать ее слов.

— Позовите сюда Тебенькова, — сказал я, чтоб кончить поскорее эту сцену, которая тяготила меня.

Вошел Тебеньков. То был высокий и с виду очень почтенный старик с окладистой бородой и суровым выражением в лице. При виде его Варвара быстро поднялась и задрожала всем телом.

— А! ну, здравствуй, доченька! давно ли своих родителей продавать научилась?! — сказал Тебеньков, улыбаясь холодно, но не без горечи, — здравствуй и ты, Кузьмовна; пришли, видно, наши часы... что ж, ваше благородие, если спросить желаете, так спрашивайте, а насчет того, чтобы нашу чувствительность растревожить, так это лишнее будет — так-то-с...

— Нет, ты прости ее, батюшка Михайло Трофимыч, — вступилась Мавра Кузьмовна, — она тоже ведь невольным делом...

— Бог ее простит, матушка, а мы прощать не можем, потому как это божье дело, а не наше...

— Батюшка! — вскрикнула Варвара, почти без чувств падая к ногам его и обнимая их.

Тебеньков задумался и посмотрел на нее; я даже заметил, что в его холодных, суровых глазах блеснул на минуту луч нежности. Но это чувство, осветившее внезапно его существо, столь же внезапно уступило место прежней суровости.

— Нет, доченька, — сказал он, вздохнувши и махнув рукой, — нам теперича об эвтом разговаривать нечего; живи с богом да не поминай нас лихом, потому как мы здешнего света уж не жильцы... что ж, ваше благородие, спрашивать, что ли, будете или прямиком на казенную фатеру прикажете?

.
И тут началось у меня следствие...

ПЕРВЫЙ ШАГ

Передо мною стоял молодой человек лет двадцати пяти, в потасканном вицмундире. Физиономия его не представляла ничего особенно замечательного; это была одна из тех тусклых, преждевременно пораженных геморроем физиономий, какие довольно часто встречаются в чиновническом мире. Взор его был мутен и как-то болезненно сосредоточен, что не мешало, впрочем, мне, как наблюдателю, подметить в нем что-то вроде робкого поползновения на мольбу, но такую мольбу, которая замечается в глазах барана, кротко испускающего дух под ножом мясника. Молодой человек попался, и попался весьма замечательным образом, со всеми онёрами, как выражаются в провинции. Он сочинил фальшивый указ, с целью получить, за неисполнение его, приличное вознаграждение, но не соблюл притом никаких предосторожностей, которые поставили бы его поступок вне законных преследований и привели его к тихому пристанищу, выражающемуся в официальной форме словами: «А за неотысканием виновного в сочинении фальшивого указа, обстоятельство сие предать воле Божией, а дело кончить и сдать в архив». Напротив того, тут было все, что могло служить к улике преступника: и поличное, и соучастники, и обдуманый план, и свидетели; одним словом, обвиняемый как бы нарочно все таким образом устроил, чтоб отрезать себе всякий путь к спасению.

Положение следователя, вообще говоря, очень тяжелое положение. Разумеется, оно далеко не может сравниться ни с положением фельдмаршала во время военной кампании, ни даже с положением гарнизонного прапорщика во время осады Севастополя; но личный взгляд следователя может придать всякому мало-мальски важному делу интерес, не изъятый своего рода тревожных ощущений. Бывают, конечно, следователи, которые смотрят на свои обязанности с тем же спокойствием, с каким смотрят на процесс пищеварения, дыхания и тому подобные фаталитические отправления своего организма; но до такого олимпийского равнодушия не всякий может дойти. Иногда случается, что в голову нахлынут тысячи самых разнообразных и даже едва ли не противозаконных соображений и решительно мешают вышеозначенному спокойствию. Шевельнется, например, ни с того ни с сего в сердце совесть, взбунтуется следом за нею рассудок, который начнет, целым рядом самых строгих силлогизмов, доказы-

вать, как дважды два — четыре, что будь следователь сам на месте обвиняемого, то... и так далее. Ну, и раскиснешь совсем...

А если следствие предстоит серьезное и запутанное, сколько самых разнородных ощущений теснится в сердце, как тонко делается чутье, как настораживаются все чувства! В воздухе пахнет преступлением; миазмы его не дают дышать свободно; руки осязают преступление; слух беспрестанно оскорбляется нестройными звуками вакханалии преступления. Вам чудится преступление в пище, которую вы вкушаете, и в воде, которую вы пьете. Следователь перестает на время быть человеком и принимает все свойства бесплотного существа: способность улетучиваться, проникать и проникаться и т. д. И сколько страха, сколько ожиданий борется в одно и то же время в его сердце! Поймаю или не поймаю? спрашивает себя следователь каждую минуту своего существования и видимо истаевает на медленном огне отчаянья и надежды. Если же присовокупить к этому, с одной стороны, ожидаемые впереди почести, начальственную признательность и, главное, репутацию отлично хитрого чиновника, в случае удачного ловления, и, с другой стороны, позор и поношение, репутацию «мямли» и «колпака», в случае ловления неудачного, то без труда сделаются понятными те бурные чувства, которых театром становится сердце мало-мальски самолюбивого следователя.

Что касается до меня лично, то преступление производит на мою душу подавляющее действие. Я вообще человек нрава мягкого и скромного, спокойствие своей души ставлю выше всего и ненавижу, когда какое-нибудь обстоятельство назойливо тревожит мою совесть. То ли, дело сидеть себе дома, пообедать в приятном обществе и, закурив отличную сигару, беседовать «разумно» с приятелями о предметах, вызывающих на размышление, — хоть бы о том, как трудны бывают обязанности следователя! Но когда мне, волею или неволею, приходится облечь себя в броню следователя (а это, к истинному моему прискорбию, случается довольно часто), то, сознаюсь откровенно, я делаюсь немного идеалистом. Все эти великолепные соображения об олимпийском равнодушии, о путях, которыми благоразумный следователь обязан окружать обвиняемого, неизвестно куда испаряются, и я остаюсь один на один с своею совестью, один на один с некоторым знакомым мне господином, носящим имя Щедрина и забывающим даже о чине надворного советника, укра-

шающем его безукоризненный формуляр. Странная вещь! когда я имею дело с преступником, кара составляет для меня предмет второстепенной важности, и главное, к чему я стремлюсь, — это пробуждение в преступнике сознания нарушенного долга, нарушенной правды.

«Mais c'est incroyable! vous divaguez, mon cher!»¹ — слышится мне отовсюду голос его превосходительства, который, несмотря на мои идеалистические наклонности, очень меня любит, потому что я говорю по-французски и довольно удачно полькирую с его дочерью. И однако ж, несмотря на восклицание его превосходительства, результаты моего идеального обращения с обвиненным субъектом оказывались иногда поразительные. Случалось, что закоснелый преступник вдруг зальется слезами и начнет рыдать, но так болезненно, сосредоточенно, что и мне все сердце изорвет своими рыданиями...

Иной, судя по моим действиям и по тем усилиям, которые я употребляю, чтобы овладеть доверием обвиняемого, подумает, что я в некотором роде крошечный Макиавелль, а между тем я действительно только идеалист, и больше ничего. Если я прост и ласков, то это потому, что природе не благорассудилось наделить меня ничем «внушающим» или, так сказать, юпитеровским; если я вижу человека в самом преступнике, то это потому, что мысль о том, что я сам человек, никак не хочет покинуть мою ограниченную голову. Одним словом, я каюсь, я прошу прощения: я идеалист, я человек негодный, непрактический, но не бейте меня, не режьте меня за это на куски, потому что я в состоянии этим обидеться.

И меня действительно никто не бьет и не режет. Только его превосходительство изредка назовет «размазней» или «мямлей», и то единственно по чувствам отеческого участия к моей служебной карьере. Когда дело пойдет уже слишком далеко, когда я начинаю чересчур «мямлить», его превосходительство призывает меня к себе.

— Ты, любезный друг, не проповедуй, — говорит он мне таким голосом, который тщетно усиливается сделать строгим, — это, братец, безнравственно, потому что тебя, чиновника, ставит в какие-то панибратские отношения с какою-нибудь канальей — фи!.. А ты проникнись, ты исполни все, что нужно по форме — ну, и жамкни его, чтоб не забывал он, что между ним и тобою общего только одна случайность, что он каналья, а ты чиновник...

¹ Но это невероятно! вы заговариваетесь, дорогой мой! (фр.)

— Слушаю-с, — отвечаю я обыкновенно на такое отеческое наставление, и все-таки не могу отстать от несчастной привычки симпатизировать...

Иногда эта добродетельная склонность вознаграждается самым обидным образом. Трудисься-трудисься иной раз, выбиваешься из сил, симпатизируя и стараясь что-нибудь выведать из преступника — разумеется, *pour son propre bien*¹, — и достигнешь только того, что обвиняемый, не без горькой иронии, к тебе же обращается с следующими простыми словами:

— Да что ж ты не бьешь меня, ваше благородие?.. а ты бей!.. може, и скажу что-нибудь...

Признаюсь откровенно, слова эти всегда производили на меня действие обуха, внезапно и со всею силой упавшего на мою голову. Я чувствую во всем моем существе какое-то страшное озлобление против преступника, я начинаю сознавать, что вот-вот наступает минута, когда эмпирик возьмет верх над идеалистом, и пойдут в дело кулаки, сии истинные и нелицемерные помощники во всех случаях, касающихся человеческого сердца. И много мне нужно бывает силы воли, чтобы держать руки по швам.

С другой стороны, случалось мне нередко достигать и таких результатов, что, разговаривая и убеждая, зарпортуешься до того, что начнешь уверять обвиненного, что я тут ничего, что я тут *так*, что я совсем не виноват в том, что мне, а не другому поручили следствие, что я, собственно говоря, его *друг*, а не гонитель, что если... и остановишься только в то время, когда увидишь вытаращенные на тебя глаза преступника, несколько не сомневающегося, что следователь или хитрейшая бестия в подлунной, или окончательно спятил с ума.

Все это я счел долгом доложить вам, благосклонный читатель, затем, чтобы показать, как трудно и щекотливо бывает положение следователя, а отчасти и затем, чтобы вы могли видеть, какой я милый молодой человек. А затем приступаю к самому рассказу.

«Я сын приказного. Родитель мой умер, состоя на действительной службе и достигнув, на пятьдесят седьмом году от рождения, чина губернского секретаря. Чины в ту пору очень туго шли, да и подсудности разные препятствовали повышению. Родитель женился рано, жалованье получал малое, и в скором времени имел целую охапку детей, из которых я был самый младший. В нашем кругу

¹ Ради его собственного блага (фр.).

такое уж это обыкновение, что приказные рано женятся; известное дело, мы не то что большие господа — нам беречь нечего. Мы думаем: коли нас самих царь небесный пропитал, так и детей наших без хлеба не оставит. Да и то опять, что у нашего брата столько нонче дочерей, да сестер, да своячениц развелось — надо же и их к месту пристроить, — вот и заманивает тебя всякий в сети. От бедности или просто с горя, только отец мой запивал шибко: случилось ли нам видеть его в месяц раз или два тверёзым, доподлинно сказать не могу.

Растет наш брат, можно сказать, как крапива растет около забора: поколь солнышко греет — ну, и ладно; а не пригреет — худая трава из поля вон. Рос и я таким же порядком лет до двенадцати, а как и что — хоть что хошь, не припомню. Помню только, что отца иногда на ночь в бесчувствии домой из кабака приводили и что матушка — царство ей небесное! — горько на судьбу плакалась. Был у отца милостивец, человек в силе; поэтому только и не выгоняли его из службы. Этот же самый милостивец и меня призрел, и как только стал я приходить в разум, определил на службу под свое начальство.

Примеров хороших перед собой видим мы мало. Много народа служит и пьяного, совсем отчаянного, много и такого, что взятку за самое обыкновенное дело считают. Стало быть, подражать тут некому. А житье наше, осмелюсь вам доложить, самое незавидное: как есть узник. Придешь в присутствие часов с восьми, сидишь до двух; сходишь куда ни на есть перекусить, а в пять часов опять в присутствие, и сиди до одиннадцати. Выходит, в сутки проработаешь этак не меньше двенадцати часов, и все нагнувшись... Как кончится день, в глазах рябит, грудь ломит, голова идет кругом — ну, и выходишь из присутствия, словно пьяный шатаешься. Летом всего тяжелее бывает. Иной раз сходил бы за город, посмотрел бы, что такая за зелень в лугах называется, грудь хоть бы расшатал на вольном воздухе — и вот нет да и нет! Смотришь иногда: едут начальники, или другие господа, на больших долгушах, едут с самоварами, с корзинами — и позавидуешь... Или вот возвращаешься ночью домой из присутствия речным берегом, а на той стороне туманы стелются, огоньки горят, паром по реке бежит, сонная рыба в воде заполощется, и все так звонко и чутко отдается в воздухе, — ну и остановишься тут с бумагами на бережку, и самому тебе куда-то шибко хочется.

Выходит, что наш брат приказный как выйдет из своей

конуры, так ему словно дико и тесно везде, ровно не про него и свет стоит. Другому все равно: ветерок шумит, трава ли по полю стелется, птица ли поет, а приказному все это будто в диковину, потому как он, кроме своего присутствия да кабака, ничего на свете не знает.

Взятки я не брал, вина тоже не знал. По летам моим, интересных дел в заведыванье у меня не бывало, а к вину тоже склонности никогда не имел, да и жалованье у нас самое маленькое.

Невеселая это жизнь, а привыкаешь и к ней. Иногда случается, что совсем даже ничего другого не хочется, потому что днем домой придешь — думаешь, что через три часа опять в присутствие идти нужно; вечером придешь — думаешь, как бы выспаться, да утром ранёхонько опять в присутствие идти. Выходит, что в голове у тебя ничего, кроме присутствия, нет. Придет это воскресенье, так день-то такой длинный-раздлинный тебе покажется: сидишь-сидишь руки склавши — словно одурь тебя возьмет. По той причине, что мы ни к какому другому делу способности в себе не имеем: все нам кажется, что оно равно не так, не по форме глядит, — ну, и тоскуешь до понедельника. По этой же самой причине, сколь понимать могу, и пьянства между приказными много бывает; потому как в воскресенье ему девать себя некуда — вот он и закурил, глядишь.

Сапоги нас очень одолели, ваше высокоблагородие! Народ мы не брезгливый, не неженный. Для нас бы все одно и в лаптишках сбегать, а тут опять начальство не велит, требует, чтоб ты завсегда в своем виде был. Вот хошь бы судья у нас был, так тот прямо тебе говорит: «Мне, говорит, наплевать, как ты там деньги на платье себе достаешь, а только чтоб был ты всегда в своем виде». Ну, и изворачиваешься как-нибудь в ущерб брюху, потому что в долг нашему брату не верят, а взятки взять негде. Иногда, знаете, придешь домой, и все раздумываешь, нет ли где-нибудь сорвать что ни на есть, с тем и уснешь. И какую, кажется, осторожность соблюдаешь! Идешь, да об том только и думаешь, чтоб как-нибудь в грязь не попасть или на камень не наступить, а все никак не убережешься. Большим господам оно, конечно, смешно показывается, что вот приказный с камешка на камешок словно вор пробирается: им это наместо забавы. Потому что им неизвестно, что тут жизнь человеческая, можно сказать, совершается: износи я сегодня сапоги, завтра, может быть, и есть мне нечего будет.

Смотришь иногда, как мужик в базарный день по площади шагает — и горя ему мало! Идет себе, не думает: только в луже сапоги пополощет и прав. А все оттого, что положение у него на свете есть, что он человек как человек: собой располагать, значит, может! А ты вот словно отребье человеческое: ни об чем другом и помышления не имей, как только об том, как бы на сапогах дырьев не сделать. Уж на что сторож в суде — и тому житье против нашего не в пример лучше; первое дело, жалованье он получает не меньше, да еще квартиру в сторожовской имеет, а второе дело, никто с него ничего не требует...

Родитель мой получал жалованье малое, да и я разве немногим против него больше. Сначала посадили меня на целковый в месяц, да и то еще, сказывают, много. Иные на первых порах и совсем ничего не получают. Как я в ту пору жил — этого и объяснить даже вашему высокоблагородию не умею. Конечно, если б не помнил я завсегда, что христианин называюсь, так, кажется, и не снести бы ни в жизнь этакой нужды. Эти семь месяцев словно во сне у меня прошли, словно я в лихорадке или в другой несносной болезни вылежал. Матушка у меня вскоре померла, а отец не то чтобы мне помочь, а еще у меня норовит, бывало, денег выманить. И встречался-то я с ним мало; разве что идешь домой из присутствия и видишь, что в грязи на дороге родитель в бесчувствии валяется. Однако после семи месяцев пришлось мне уж тошно. Собрался я с духом, пошел к начальнику, доложил ему, что так и так, не только в приличном виде себя содержать, но и пропитаться досыта способов не имею. Начальник был у меня человек добрый; посмотрел на меня, словно в первый раз увидел, не сказал ни слова, а в следующий месяц и назначил пять целковых. Зато я за этого начальника и до сей поры Бога молю.

В том суде, где я служил, немало-таки бывало случаев, чтоб попользоваться. Просители бывают: один желает, чтоб просьбицу ему написали, другой — чтоб секретарю об нем доложили, и за всякую посылку презентуют по силе-возможности. Иной смышленный писец таким манером полтинник в одно утро выработает, ну, и можно ему без нужды прожить. А я никак не мог к этому делу приспособиться; робок я, что ли, или сноровки нет, только двугривенные как-то нейдут в мой карман. В других судах кружки такие бывают, что всякий проситель туда приношение свое класть должен: это заведение очень хорошее. Потому как тут никому не завидно, и всякий свою часть заранее

знает. Однако для меня и пяти целковых было бы предвременно, и не попутай меня лукавый, так, кажется, и желать больше не надо. Жизнь в нашем городе очень уж дешева. Об ину пору, особливо зимой, пуд говядины только двадцать копеек стоит; конечно, говядина арестантская — так она и называется, — однако все-таки жить можно. За квартиру с едой и с мытьем платил я хозяйке два с полтиной в месяц; разумеется, *бламанже* не давали, а сыт, впрочем, бывал завсегда. Полтора рубля в месяц откладывал на платье и на сапоги, а рубль оставался на прихоти... Жить можно.

В суде у нас служба хорошая, только запах иногда несноснейший, особливо в канцелярской каморе. Комната маленькая, а набьется туда приказных да просителей — видимо-невидимо. Иной с похмелья, винищем от него несет, даже сердце воротит: так нехорошо! Выйдешь оттуда на вольный воздух, так словно в тюрьме целый год выси-дел: глаза от света режет, голова кружится, даже руки-ноги дрожат. Служат всякие люди, а больше пьяница или озорник. Бывают и хорошие люди, только им не род, да и не долговечны они: сейчас какую ни на есть каверзу сочинят или такие подкопы подведут, что беспреречно погибнуть следует.

Для примера доложу хошь об одном заседателе. Служил он у нас, и был человек честный и непьющий. Сам губернатор его таким знал, да затем и в суд определил, будто заместо своих глаз. Стало быть, и сила на его стороне была, а все-таки долго не выдержал: угомонили так, что в силу великую и дело-то затушили. Дело это очень любопытное. Случилась в нашем уезде лесная порубка; ну, разумеется, следствие. Порубка была важная, и назначили целую комиссию, а презусом в нее этого заседателя. Подходили к нему со всех сторон: и на деньги и на величанье пробовали — нейдет, да и все тут. Видят парни, что кругом попались, а надо как-нибудь дело направить. Вот и задумали они председателя таким манером опакостить, чтоб ему следователем оставаться было невозможно. Прочие члены были все на их стороне; приговорили они к себе еще одного мужика богатого и выкинули сообща преехиднейшую штуку. Едет как-то Петр Гаврилыч — заседатель-то — мимо села, в котором жил тот мужик; время было вечернее, чай пить надо — он и заехал к мужику, а с ним и вся комиссия. Только тот очень рад, не знает, как угостить, чем употчевать дорогих гостей; достает он бутылку шипучего и подает чиновникам в золотых стаканчиках.

Выпили они; напились и чаю; только депутат тут один был: все около Петра Гаврилыча лабзится; и душкой-то его называет, и христианскою-то добродетелью, — целоваться даже лезет. Петр Гаврилыч и поддался; сам стал с ними дружелюбничать да обниматься, а депутат, не будь прост, возьми да и сунь ему, во время обниманья, из своего рукава в задний карман один стаканчик. Хорошо. Сидят они, жуируют; только как надо уж им собираться, входит хозяин и объявляет, что у него один стаканчик пропал. Гости переглянулись между собой, а Петр Гаврилыч, по горячности своей, даже вспыхнули.

— Что ж, говорит, разве ты нас, что ли, подозреваешь, подлец ты этакой?

— Вас не вас, — отвечает хозяин, — а воля ваша, стаканчика, кроме ваших благородий, украсти некому.

— А и точно, — подхватил тут тот самый депутат, который все обнимался да целовался с Петром Гаврилычем, — и точно я будто видел, как Петр Гаврилыч в карман чтой-то хоронил.

Стали его тут, ваше высокоблагородие, обыскивать, и, разуемется, стакан в заднем кармане сыскался. Тут же составили акт, а на другой день и пошло от всей комиссии донесение, что так, мол, и так, считают себе за бесчестие производить дело с воров и мошенником. Ну, разумеется, устранили.

Так вот какие иногда подкопы бывают, что и сильный человек не выдержит и предусмотреть ничего не может.

Начальники были у меня всякие. Иной и так себя держал, что и себя не забывает, и совесть тоже знает; а другой только об себе об одном и думает, как бы, то есть, свою потребность во всем удовлетворить. Вот теперь у нас исправник Иван Демьяныч, Живоглотом прозывается, так этот, пожалуй, фальшивую бумажку подкинуть готов, только бы дело ему затеять да ограбить кого ни на есть. А был до него и другого сорта исправник, тот самый, который мне жалованье прибавил, — этот только и пользы имел, что с откупа, да и то потому, что откуп откуп и есть; с него не взять нельзя.

А иногда и такие бывали, что никакого, то есть, дела не понимает; весь земский суд с ног собьет, бегаёт, кричит — а дело все-таки ни на пядь вперед не подвигается. С таким служить хуже всего, потому что у него просто никакого понятия нет. Вот хоть бы Михайло Трофимыч: «я вас» да «я вас» — только, бывало, и слышишь от него, а ни научить, ни наставить ничему не может, даже объяс-

нить не в силах, чего ему желается. Пришла к нам однажды в суд девка. Еще было ли ей двенадцать лет, как пришлось ей давать какое-то свидетельское показание при следствии. Обробела, что ли, девóчка или просто из-за своей глупости — только показала она совсем не то, что по делу следует, и достаточно в этом изобличена. Следствие это, должно полагать, очень важное было, потому что тем временем, пока дело шло, девóчке стукнуло уж осьмнадцать лет, и присватал ее за себя человек хороший. На ту пору как быть и решение вышло такого рода, что девóчку, по малолетствию ее, за фальшивое показание подвергнуть наказанию розгами семью ударами. Пришла девка в суд, воеет голосом; и раздеваться-то ей не хочется, да и жених отказывается: «Не хочу, говорит, сеченую за себя брать». Известно, к Михайле Трофимычу: нельзя ли, мол, явить божескую милость, от стыда избавить. Михайло Трофимыч — человек он, нечего сказать, сердечный — стал на дыбы, зарычал на всю канцелярию: «И такие-то вы, и сякие-то», — точно мы и в самом деле тут виноваты. Твердит одно: представить в губернское правление, да и все тут.

— Да помилуйте, Михайло Трофимыч, — говорит ему секретарь, — с чем же это сообразно-с? ведь нас за такое неподлежательное представление оштрафуют!

Так куда! затопал ногами и слышать никаких резонов не хочет! И точно, представили. Расписал он это самым наижалостнейшим образом: и про женитьбу-то упомянул, и про стыд девический, и про лета молодые, неопытные — все тут было; только в настоящую точку, в ту самую, в которую спервоначала бить следовало, попасть забыл: не упомянул, что приговор на предмет двенадцатилетней, а не осьмнадцатилетней девки написан. Ну, и вышло точно так, как секретарь сказывал. Девку велели высесть, а суду, за обременение начальства вопросами, не представляющими никакой важности, сделали строгое замечание, с внушением, дабы впредь посторонними и до дела не относящимися предметами не увлекался, а поступал бы на точном основании законов. Даже сам Михайло Трофимыч изумился, как оно там складно было написано.

Другой бы — не Михайло Трофимыч, а примерно хоть Живоглот — это дело тихим манером бы сделал: девку-то бы не высек, а начальству бы донес, что высек. А Михайло Трофимыч все, знаете, хочет вверх дном перевернуть. Уж сколько его сами родители этой девóчки просили, чтоб он из себя не выходил, так нет! Еще счастье девке, что на

ту пору Михайла Трофимыча в окружные от нас переманили, а к нам Живоглота прислали. Этот как посмотрел на дело, так даже обругал Михайла Трофимыча: «Экая, говорит, этот Сертуков слякоть!» Разумеется, девку не высекли; только на этот раз уж без приношения не обошлось.

Так вот каково наше житье-бытье. Разумеется, и у нас не без того, чтоб иногда не поразвлечься: тоже собираемся друг у дружки, да нельзя сказать, чтоб весело на этих собраниях было. Первое дело, что все мы друг дружку уж больно близко знаем; второе дело, что нового ничего почесть не случается, следственно, говорить не об чем; а третье дело, капиталов у нас никаких нет, а потому и угощений не водится. Вас вот, ваше высокоблагородие, оно, может, и рассмешит, как рассказать вам, каким манером лекарь наш, в холеру, мужичков с одним сифоном лечить ездил, да по двугривенному с души отступного брал, а нас оно и не смешит, потому как мы к этому делу уж сызмальства привычны. Во грехе, говорят, человек рожден, ну и мы, значит, в клязуе рождены, кляузой повиты, с кляузой и в гроб пойдём. Значит, для нашего брата что разговором заниматься, что из пустого в порожнее переливать — все один сюжет. Пожалуй иной и начнет рассказывать что ни на есть, однако, кроме «таперича» да «тово», ничего из него по времени и не вышибешь, потому как у него и в голове ничего другого не обретается. Вот мы, значит, посидим-посидим, помолчим-помолчим, да и разойдемся по домам, будто и бог знает какое веселье у нас было.

Думывал я иногда будто сам про себя, что бы из меня вышло, если б я был, примерно, богат или в чинах больших. И, однако, бьешься иной раз целую ночь думавши, а все ничего не выдумаешь. Не лезет это в голову никакое воображение, да и все тут. Окромé нового вицмундира да разве чаю в трактире напиться — ничего другого не сообразишь. Иное время даже зло тебя разберет, что вот и хотенья-то никакого у тебя нет; однако как придет зло, так и уйдет, потому что и сам скорее во сне и в трудах забыться стараешься.

И за всем тем ухитрился-таки я жениться. Видно, уж это в судьбах так записано, что человеку из мученья в мученье произойти нужно, чтобы каким ни на есть концом решиться. Как посужу я теперь, я причины-то никакой жениться не было, потому что нравиться она мне не нравилась, а так, баловство одно.

Жил на одном со мной дворе приказный отставной, такая ли горькая пьяница, что и господи упаси. Жена у него померла, а семья осталась после нее большая, и всё мал мала меньше; старше всех была дочь, да и той вряд ли больше семнадцати лет было. Пропитать ему семью было нечем, потому что если и строчил он кому просьбы или ябеды, так деньги получал за это самые малые, да и те почесть без остачи в кабаке пропивал. Одно слово, в отчаянности жил. Уж на что бывал я в нужде и скорби, а этакой нужды и я не видывал: в доме иной раз даже корки черствой не увидишь. А собирать ходить им тоже не приводилось, потому что каковы ни на есть, а всё же оберофицерские дети. Приведут, бывало, самого старика из кабака почти мертвого, так он проспится ночью, а на другой день и сидит на крыльчке, ровно мутный весь, ни одним суставом не шевелит. Кажется, кабы оставили его, он так бы и закоченел тут не емши: тоска, знаете, на него такая находила, что смотреть даже невозможно. Поглядят-поглядят домашние, что он таким манером и час, и другой, и третий сидит, себя не понимаючи, — ну, и сведут опять в кабак, чтобы по крайности хошь душа в нем показалась. Там и отойдет за шкаликом.

Дочка у него в дома рукодельничать хаживала. Однако в маленьком городишке это ремесло самое дрянное, потому что у нас и платьев-то носить некому. Выработаешь ли, нет ли, три целковых в месяц — тут и пей и ешь. Из себя она была разве молода только, а то и звания красоты нет. Я с ней почесть что и не встречался никогда, потому что ни ей, ни мне не до разговоров было.

Однако сию я однажды, в воскресный день, у окна; смотрю, идет она по двору, остановилась, маленько будто раздумалась, да потом и подошла прямо ко мне.

— А что, — говорит, — Алексей Васильич, нет ли у вас хорошего человека на примете?

— Нет; а зачем вам?

— Да так...

— Бога вы не боитесь, Авдотья Петровна! — говорю я, — неужто уж бедность-то в вас и христианство погубила?

— Хорошо вам, Алексей Васильич, так-ту говорить! Известно, вы без горя живете, а мне, пожалуй, и задавиться — так в ту же пору; сами, чай, знаете, каково мое житье! Намеднись вон работала-работала на городничиху, целую неделю рук не покладывала, а пришла нонче за расчетом, так «как ты смеешь меня тревожить, мерзавка

ты этакая! ты, мол, разве не знаешь, что я всему городу начальница!». Ну, и ушла я с тем... а чем завтра робят-то накормлю?

— Воля ваша, Авдотья Петровна, — говорю я, — а в намеренье вашем я вам не помощник.

На том мы с ней и разошлись. Однако после этого разговора девка у меня вот тут засела. Больно стало мне ее жалко. «Вот, думаю, мы жалуемся на свою участь горькую, а каково ей-то, сироте бесприютной, одной, в слабости женской, себя наблюдать, да и семью приизирать!» И стал я, с этой самой поры, все об ней об одной раздумывать, как бы то есть душу невинную от греха избавить. Жениться мне на ней самому? — нечем жить будет; а между тем и такой еще расчет в голове держу, что вот у меня пять рублей в месяц есть, да она рубля с три выработает, а может, и все пять найдутся — жить-то и можно. Конечно, семья у ней больно уж велика, ну, да бог не без милости: может, и рассуем куда-нибудь мальчиков.

Надумался я таким манером, и как увидел однажды, что идет она по двору:

— А что, — говорю, — Авдотья Петровна, за меня замуж пойдете?

Так она, ваше высокоблагородие, даже в слезы ударились и сказать-то ничего не могла.

.

Пошел я на другой день к начальнику, изложил ему все дело; ну, он хошь и Живоглот прозывается (Живоглот и есть), а моему делу не препятствовал. «С богом, говорит, крапивное семя размножить — это, значит, отечеству украшение делать». Устроил даже подписку на бедность, и накидали нам в ту пору двугривенными рублей около двадцати. «Да ты, говорит, смотри, на свадьбу весь суд позови».

Ну, и точно, сыграли мы свадьбу как следует. Прекословить начальнику я не осмелился; всех приказных позвал, даже сам приехал. Только по этому случаю и угощение нужно было такое сделать, чтоб не стыдно гостям было, — и вышло, ваше высокоблагородие, так, что не только из двадцати-то рублей ничего нам не осталось, а и сам еще я сделался рублей с пяток одолженным.

Стали мы жить все сообща, и нече сказать, на Дуню пожаловаться грех было. Бабеночка она оказалась смиренная, работающая, хоть куда. Одни бы мы без нужды прожили, да вот семья-то ее больно нас одолевала, да и родитель Петр Петрович тоже много беспокойствия делал. Ну, и то опять: покуда жена с хозяйством возится, прибирает,

обмывает да стряпает, — работать-то и некогда. Вместо пяти-то рублей, выходит, что и трех словно мы не насчитали, и дошло у нас до того, что есть нечего стало. Это, ваше высокоблагородие, даже не всякому понять возможно, как это ничего-таки есть в доме нет, а между тем это истинная правда. И дошли мы до этой истинной правды очень скоро: не дальше как за другую половину месяца перевалились. Другой подумает, что мы сами этому делу причинны, что вот, дескать, крапивное семя, на первых порах пожуировать захотел, обленился, обабился — так и того не было! Просто само собой так подошло. Пытал я раздумывать, каким бы манером делу этому пособить, однако ничего не выдумал. Вы, сударь, извольте это понять, как оно прискорбно в такое положение попасть через три недели после женитьбы. Тут бы, кажется, и пожить-то в спокойствии, а у нас хлеба нет.

Однажды иду я из присутствия и думаю про себя: «Господи! не сгубил я ничьей души, не вор я, не сквернослов, служу, кажется, свое дело исполняю — и вот одолжаюсь помереть с голода». Иду я это, и река тут близко: кажется, махнуть только, и обедать не нужно будет никогда, да вот силы никакой нету; надежда не надежда, а просто, как бы сказать, боюсь, да и все тут, а чего боюсь — и сам не понимаю. Шел я и мимо кабака — там тятенька Петр Петрович присутствует; увидел меня в окошко и манит. Я было призадумался, да потом вижу, что ждатель-то, видно, нечего, перекрестился и пошел. Тятенька просьбу или акт там какой-то сочиняли; нужно было им свидетеля — ну, и попал я во свидетели за четвертак. Это бы еще ничего, пожалуй, да вот что не хорошо: получивши четвертак, я на гривенник выпил и тятеньку угостил. Только с непривычки, что ли, у меня словно все кости с первого же шкалика перешибло, и пошел я домой ровно сам не свой.

Вино, ваше высокоблагородие, тем не хорошо, что раз его выпьешь, так и в другой раз бесприменно выпить надо, а остановиться никак невозможно, потому что оно словно кругом тебя окружит.

Курил я таким родом с месяц — больше: только и трезв был, покуда утром на службе сидишь. Жена, известное, убиваться стала; пошли тут покоры да попреки.

В это самое время производилось у нас в суде дело. То есть дело это и бог знает когда началось, потому что оно, коли так рассудить, и не дело совсем, а просто надзор полицейский. Надзор этот такая, сударь, вещь, что насчет его, можно сказать, все полицейские десятки годов про-

довольствуются. Жил в нашем уезде мужик, и промышлял он, ваше высокоблагородие, «учительским» ремеслом, или, попросту сказать, старыми книгами торговал и был у прочих крестьян заместо как отца духовного. Мужик он был богатый, и уличить его, следовательно, никаким образом было нельзя, потому что ответ у него завсегда был на ассигнациях. Исправник наш был с ним первейший друг и приятель; ходили даже слухи, что и в торговле мужика часть живоглотовского капитала имеется.

Сию я однажды в суде, занимаюсь; только подходит ко мне наш столоначальник Коревилов и отзывает меня в сторону.

— Хочешь, — говорит, — хороший куш получить?

Ну, конечно, хорошего куда для-че не получить!

— Ну, так, — говорит, — слушай. Знаешь Селифонта Гаврилова?

— Как не знать!

— Следственно, знаешь ты и то, что он под надзором находится, и хоша ему все с рук сходит, однако он ежечасно пребывает в надежде, что возьмут его в тюрьму. Вот и удумали мы с Иваном Кирилычем (тоже столоначальник был), чтобы его, то есть, постращать... Только нам вдвоем это дело соорудить невозможно: первое, потому что он нас обоих довольно знает; а второе, потому что тут Иван Демьянычевым (Живоглотовым) именем действовать нельзя — не поверит — а надо ли, нет ли действовать, так уж от имени губернского начальства.

— А я-то при чем тут буду?

— А вот слушай. Удумали мы это таким манером, что тебя в уезде никто не знает, ну, и быть тебе, стало быть, заместо губернского чиновника... Мы и указ такой напишем, чтоб ему, то есть, предъявить. А чтоб ему сумненья насчет тебя не было, так и солдата такого приговорили, который будет при тебе вместо рассыльного... Только ты смотри, не обмани нас! это дело на чести делай: что даст — всё чтобы поровну!

И точно; меня же заставили написать и указ, и дали мне его в руки. А в указе только и изображено было: «*Слушали:* Рапорт чернорборского земского исправника Маремьянкина от 12 ноября 18.. года, за № 6713, и *справку. Приказали:* Велеть ему, Маремьянкину, для дальнейших действий, ожидать чиновника особых поручений Сабуневича, а вам, господину Сабуневичу, предписать, немедленно прибыв в село Березино, что на Новом (Чернорборского уезда), и изловив там оного совратителя Селифона-

та Гаврилова Щелкоперова, произвести о всех означенных обстоятельствах наистрожайшее следствие, подвергнув, буде встретится надобность, самого Щелкоперова тюремному заключению».

Под вечер пришел ко мне тот самый солдат, которого они рекомендовали, и лошадей тройку привел.

— А что, — говорю я, — служба! как бы не прорваться нам на этом деле!

— Ничего, — говорит, — ваше благородие! и не в таких переделках бывали. Только вы посмелее наступайте.

Приехали мы в село поздно, когда там уж и спать легли. Остановились, как следует, у овинов, чтоб по деревне слуху не было, и вышли из саней. Подходим к дому щелкоперовскому, а там и огня нигде нет; начали стучаться, так насилу голос из избы подали.

— Кто там? — кричит из окна работница.

— Отворяй калитку, — говорит солдат, — видишь, губернаторский чиновник за хозяином приехал.

Засветили в доме огня, и вижу я с улицы-то, как они по горницам забегали: известно, прибрать что ни на есть надо. Хозяин же был на этот счет уже нахустрен и знал, за какой причиной в ночную пору чиновник наехал. Морили они нас на морозе с четверть часа; наконец вышел к нам сам хозяин.

— Добро пожаловать, — говорит, — гости дорогие! добро пожаловать; давненько-таки нас посещать не изволили.

И сам, знаете, смеется, точно и взаправду ему смешно, а я уж вижу, что так бы, кажется, и перегрыз он горло, если б только власть его была. Да мне, впрочем, что! пожалуй, внутре-то у себя хоть как хочешь кипятись! Потому что там хочь и мыши у тебя на сердце скребут, а по наружности-то всё свою музыку пой!

— Ты Щелкоперов? — спрашиваю я, как мы вошли в горницу.

— Я, — говорит, — Щелкоперов. Да вы, верно, ваше благородие, в первый раз наши места осчастливили, что меня не признаете?

— Да, — говорю, — в первый раз; я, мол, губернский!

— Так-с; а не позволите ли поспрошать вашу милость, за каким, то есть, предметом в нашу сторону изволили пожаловать?

— А вот вели поначалу водки да закусить подать, а потом и будем толковать.

Выпил я и закусил. Хозяин, вижу, ходит весь нахму-

ренный, и уж больно ему, должно быть, невтерпеж приходится, потому что только и дела делает, что из горницы выходит и опять в горницу придет.

— А не до нас ли, — говорит, — ваше благородие, касательство иметь изволите?

— А что?

— Да так-с; если уж до нас, так нечем вам понапрасну себя беспокоить, не будет ли такая ваша милость, лучше зараз объявить, какое ваше на этот счет желание...

— Да желание мое будет большое, потому что и касательство у меня не малое.

— А как, например-с?

— Да хоша бы тебя в острог посадить.

Он смешался, даже помертвел весь и словно осина затрясся.

— Да, — говорит, — это точно касательство не малое... И документы, чай, у вашего благородия насчет этого есть?.. Вы меня, старика, не обессудьте, что я в эвтом деле сумнение имею: дело-то оно такое, что к нам словно очень уж близко подходит, да и Иван Демьяныч ничего нас о такой напасти не предуведомляли...

Я подал ему бумагу; он раза с три прочел ее.

— Больно уж мудрено что-то нонче пишут, — сказал он, кладя бумагу на стол, — *слушали* — ровно ничего не слушали, а *приказали* — ровно с колокольни слетели. Что ж это, ваше благородие, с нами такое будет?

— А вот поговорим, как бог по душе положит.

— Да об чем же ты следствие-то производить будешь? Ведь тут ничего не сказано.

— Это уж мое дело, — говорю я, — ты только *сказывай*, согласен ли ты в острог идти?

— Что ж, видно, уж Господу Богу так угодно; откупаться мне, воля ваша, нечем; почему как и денег брать откуда не знаем. Эта штука, надзор, самая хитрая — это точно! Платишь эта платишь — ин и впрямь от своих делов отставать приходится. А ты, ваше благородие, много ли получить желаешь?

— Да сот с пяток больше получить следует.

Он почесался.

— Ну, уж штука! — говорит, — платим, кажется, и Ивану Демьянычу, платим и в стан; нет даже той собаки, которой бы платить не приходилось, — ну, и мало!

Говорит он это, и сам опять на бумагу смотрит, словно расстаться ему с нею жаль.

— Да что, — говорит, — разве у вас нонче другой советник, что надпись словно тут другая?

— Нет, — говорю, — советник тот же, да это указ-от не подлинный, а копия...

Только сказал я это, должно быть, неестественно, потому что он вдруг сомневаться начал.

— Как, — говорит, — копия! тут вот и скрепы все налицо, а нигде копии не значится.

Да и смотрит сам мне в глаза, а я сижу — чего уж! ни жив ни мертв.

— А ведь ты мошенник! — говорит.

Пал я тут на колени, просил простить: сказывал и про участь свою горькую; однако нет. Взяли они меня и с солдатом, да на тех же лошадях и отправили к Ивану Демьянычу».

ДОРОГА

(Вместо эпилога)

Я еду. Лошади быстро несутся по первому снегу; колокольчик почти не звенит, а словно жужжит от быстроты движения; сплошное облако серебристой пыли подымается от взбрасываемого лошадиными копытами снега, закрывая собою и сани, и пассажиров, и самых лошадей... Красивая картина! Да, это точно, что картина красива, однако не для путника, который имеет несчастье в ней фигурировать. Эта снежная пыль, которая со стороны кажется серебристым облаком, влечет за собою большие неудобства. Во-первых, она слепит и режет путнику глаза; во-вторых, совершенно лишает его удовольствия открыть рот, что для многих составляет существенную потребность; в-третьих, вообще содержит человека в каком-то насильственном заключении, не позволяя ему ни распахнуться, ни высморкать нос... Господи! да скоро ли же станция?

Еду я и думаю, что на этой станции у зрителя жена, должно быть, хорошенькая. Почему я это думаю — не могу объяснить и сам, но что он женат и что жена у него хорошенькая, это так для меня несомненно, как будто бы я видел ее где-то своими глазами. А зритель непременно должен быть почтенный старик, у которого жена не столько жена, сколько род дочери, взятой для украшения его одинокого существования...

— Гриша! ром у нас взят с собою? — восклицаю я, обуреваемый какою-то канальскою идеей.

— А когда же мы без рому ездим? — отвечает Гриша, огрызаясь от холода.

— И чай есть? — спрашиваю я Гришу не без тайного намерения побесить его; но он только жметя на облучке и не считает даже за нужное отвечать.

Между тем спускаются на землю сумерки, и сверху начинает падать снег. Снег этот тает на моем лице и образует водные потоки, которые самым неприятным образом ползут мне за галстук. Сверх того, с некоторого времени начинаются ухабы, которые окончательно расстраивают мой дорожный туалет.

— Стой! — кричу я ямщику и привстаю в санях, чтобы покрепче запахнутья, — отчего тут столько ухабов пошло?

— Да вот черти с хлебом в Богородско тянутся — всю дорогу с первопуга исковеркали! — отвечает ямщик и, злобно грозя кнутом тянущемуся мимо нас обозу, прибавляет: — Счастлив ваш бог, шельмы вы экие, что барин остановиться велел: насыпал бы я вам в шею горячих!

Но я уже закутался; колокольчик опять звенит, лошади опять мчатся, кидая ногами целые глыбы снега... Господи! да скоро ли же станция?

«Отчего же, однако, он назвал их шельмами, — думаю я, — и чем они провинились перед ним, что хлеб в Богородское везут?» Вопрос этот сильно меня интересует, и я вообще нахожу, что ямщик поступил крайне неосновательно, обругав мужиков. «Почему же он обругал их? — спрашиваю я себя, — может быть, думает, что вот он в ямщики от начальства пожалован, так уж, стало быть, в некотором смысле чиновник, а если чиновник, то высший организм, а если высший организм, то имеет полное право отводить рукою все, что ему попадается на дороге: «Ступай, дескать, топ cher, ты в канаву; ты разве не видишь, топ cher, что тут в некотором смысле элѐфант едет». И так все это тихо, вежливым манером... Но скажите, однако ж, на милость, отчего мужик, простейший мужик, так легко претворяется в чиновника? Оттого ли, что чиновнику веселее жить на свете? Или оттого, что прежде сотворен был чиновник, а потом уже человек, и по этой причине самый инстинкт или, лучше сказать, естество заставляет человека тяготеть в чиновника?»

«That is the question!»¹ — сказал Гамлет, а Гамлет был отличный человек и не поладил с людьми потому только,

¹ Вот в чем вопрос! (англ.)

что был слишком страстный сторонник правды... вот хоть бы как Перегоренский¹. Хороший был человек Гамлет, а заколол же его Лаэрт! Так и тебя заколют, друг Перегоренский, и кто же заколет! тот самый злодей, которого ты называл рабом лукавым и прелюбодейным в просьбе, адресованной на имя его превосходительства, господина начальника губернии.

И опять-таки ведь это точно нельзя! нельзя, мой любезный, нельзя употреблять такие выражения! Скажи ты это помягче, выразишь, так сказать, боком, ну, тогда дело другое! а то — злодей блудодейный! нельзя, братец, этого, нельзя!

И я сам чувствую, что лицо у меня принимает напряженно-убеждающее выражение, и даже руки расходятся врозь. И внезапно в уме моем проносится просьба, и так отчетливо, так ясно проносится!..

«Сего числа, в десятом часу вечера, — пишет некий истязуемый субъект, — пришел в занимаемую мною в городе Черноборске квартиру, крестьянин села Лекминского Иван Савельев Бунчуков, и будучи он мне одолженным двадцать рублей серебром, стали мы разговаривать о разных предметах, как приличествует в мирном и образованном обществе, *без всякой азартности и шума*. Посреди сего занятия ворвался в мою квартиру *с шумом и азартностью* городничий Желваков и, мня себя быть в непристойном месте (почему он сие возмнил — неизвестно), вскричал: «А что вы тут делаете.....?»² На что я с умеренностью и улыбкой отвечал: «Занимаемся беседою, как прилично кротким гражданам». Но господин Желваков, не вняв словам моим, вновь повторил.....³ и обозвал меня при этом ябедником, давая тем чувствовать, якобы я для Ивана Савельева ябеду сочиняю. «А хоша бы и точно я писал жалобу для Ивана Савельева?» — возразил я, не теряя присутствия духа, но с прежнею кротостью. Тогда господин Желваков, расстегнув на себе, дабы не стесняться в движениях, мундир, начал Ивана Савельева бить из своих рук, окровенив при этом ему все лицо, и, исполнив сию прихоть, сказал мне: «А до тебя я доберусь еще..... ты...»⁴ и уехал на именинный бал к стряпчему. А дабы не претерпе-

¹ См. «Прошлые времена», рассказ третий, и «В остроге», посещение второе. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

² Точки в подлиннике. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

³ Точки в подлиннике. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

⁴ Точки в подлиннике. (Примеч. Салтыкова-Щедрина.)

вать мне и на будущее время подобных со стороны господина городничего наездов, оскорбляющих честь гражданина... Ваше превосходительство! воззрите на стоны несчастного отца, глаза которого полны слез от нанесенного господином Желваковым оскорбления (и сам не вижу, что пишу), и оправдайте сим репутацию благодетельного гения, которую весь обширный Крутогорский край с превеликим удовольствием вам преподносит».

— Отчего же, братец, ты не пишешь вот таким образом? — говорю я Перегоренскому, — у тебя, братец, печень болит — вот что! а ты лечись, топ шер, лечись!

— Сторонись! — кричит навстречу пьяный голос.

— Сам сторонись! — отвечает мой ямщик, — не видишь, пошта едет!

— Сторонись! — повторяет тот же голос, как-то взвизгивая, — сторонись! убью!

— Что такое? что такое? — спрашиваю я, очнувшись.

— Да вот писарь волостной едет, ваше благородие, да ишь, шельма, как ревет с пьяных-то глаз!

— Что ж ты не сторонисься? — кричу я ямщику встречной повозки.

— А как тут сторониться будешь? вишь, писарь пьяный за руки держит!

Вышел я из повозки и вижу: точно, человек стоит на коленках в повозке и держит ямщика за руки.

— Что же ты это делаешь, пьяница? — спрашиваю я, подходя к повозке.

— Еду-еду, не свищу, а наеду не спущу! — отвечает писарь силным от перепоя голосом, — сторронись!

— Послушай, Иван Гарасимыч, — вступается мой ямщик, — чиновник ведь едет!.. не хорошо, Иван Гарасимыч! ты над своими куражься, любезный друг, а чиновник, хошь как хошь, все он тебе чиновник...

— Чиновник! а что мне чиновник! я здесь главный! я здесь что хочу... Сторронись!

— Сторонись! — говорю и я своему ямщику скрепя сердце.

— Ах, вы! — восклицает невольно Гриша, взглядывая на меня с каким-то сожалением.

И я действительно сконфужен; я чувствую себя совершенно уничтоженным, и, между тем как в ушах моих снова начинает раздаваться скрип полозьев, мне все мерещится: что подумает ямщик? и как это народ такую волю взял?

И вот опять передо мною дорога — дорога с ее березо-

выми аллеями, с ее раскинутыми по сторонам равнинами, бог весть куда тянущимися. Как приятно смотрят эти аллеи летом, как роскошно цветут и зеленеют за ними равнины! А теперь сучья на березах поникли и оцепенели; ни ветер, ни стаи тетеревов, с шумом опускающиеся на них, не в состоянии разбудить их. Равнины тоже не дышат; где-где всколышется круговым ветром покрывающий их белый саван, и кажется утомленному путнику, что вот-вот встанет мертвец из-под савана... Грустно.

А грустно потому, что кругом все так тихо, так мертво, что невольно и самому припадает какое-то страстное желание умереть...

Я оставляю Крутогорск окончательно: предо мною растворяются двери новой жизни, той полной жизни, о которой я мечтал, к которой устремлялся всеми силами души своей... И между тем внутри меня совершается странное явление! Я слышу, я чувствую, что какое-то неизъяснимое, тайное горе сосет мое сердце; я чувствую это и припадаю головой к кибитке, а слезы, невольные слезы, так и бегут, так и льются из глаз. Неизвестно почему, неизвестно откуда, в ушах моих раздаются звуки анданте пасторальной сонаты Бетховена... Я огорчен, я подавлен и уничтожен, я положительно не знаю, куда деваться от снедающей меня тоски... Все темные горести, все утраченные надежды, все душевные недуги, все, что так болезненно назревало в моем сердце, все это мгновенно встает передо мною... Мне кажется, что меня тяжело оскорбили, что внезапно погибло все, что я любил, чем был счастлив, что я неожиданно очутился один, совершенно один, отторгнутый от всего живого... «Ужели я в Крутогорске оставил часть самого себя?» — спрашиваю я себя мысленно. Но текущие по щекам слезы, но вырывающиеся из груди вздохи красноречивее слов отвечают на этот вопрос! Да! не мог же я жить даром столько лет, не мог же не оставить после себя никакого следа! Потому что и бессознательная былинка и та не живет даром, и та своею жизнью, хоть незаметно, но непременно воздействует на окружающую природу... ужели же я ниже, ничтожнее этой былинки?

Или, быть может, в слезах этих высказывается сожаление о напрасно прожитых лучших годах моей жизни? Быть может, ржавчина привычки до того пронизала мое сердце, что я боюсь, я трушу перемены жизни, которая предстоит мне? И в самом деле, что ждет меня впереди? новые борьбы, новые хлопоты, новые искательства! а я так устал уж, так разбит жизнью, как разбита почтовая ло-

шадь ежечасною ездою по каменистой твердой дороге!

И не то чтоб я в самом деле много жил, много изведаль, много выстрадал... нет, я чувствую, что в этом отношении я еще свеж и непорочен, как девственница, и между тем сознаю, что душа моя действительно огрубела, а в сердце царствует преступная вялость. «Ужели же я погибну, не живши?» — спрашиваю я себя, и вдруг чувствую нестерпимый прилив крови в жилах. Мне хочется бежать-бежать, кричать-кричать-кричать... Но вместе с тем я, как выздоравливающий больной, ощущаю, что мне сильный моцион еще не по силам, что одно желание моциона порождает уже расслабление и усталость во всех моих членах. Почему же я устал, однако ж?

— Оттого, вероятно, что не было давно практики, — отвечает какой-то недоброежелательный голос.

Но от недостатка ли практики или от другой какой причины, только я чувствую, что веки мои отяжелевают от сна, что видимый мир покрывается для меня дымкою.

Какая-то странная, бесконечная процессия открывается передо мной, и дикая, нестройная музыка поражает мои уши. Я вглядываюсь пристальнее в лица, участвующие в процессии... ба! да, кажется, я имел удовольствие где-то видеть их, где-то жить с ними! кажется, всё это примадонны и солисты крутогорские!

И точно, впереди всех выступает князь Лев Михайлыч, под руку с княжной Анной Львовной, но как одряхлели, как постарели они! У князя на лице та же приятная улыбка, с которою он истолковывал княжне тайные пружины бюрократического устройства, но на ней лежит уже какой-то грустный оттенок. «Les temps sont bien changés!»¹ — говорит он, поникая головой. Очевидно, что, говоря это, князь думает о каких-то новых требованиях, перед которыми ощущает себя несостоятельным. За ним спешит, семеня ногами, Порфирий Петрович, тоже с лицом, озабоченным горьким сомнением насчет прочности *безгрешных* доходов, которых он с такою натугой добивался. За ними следуют: Фейер, с своей Каролинхен, Иван Петрович, под руку с заседателем Томилкиным, Ижбурдин, Крестовоздвиженский, Пересечкин, Бобров, Гирбасов, Живновский, и вся эта компания странников моря житейского, с которою читатель познакомился на страницах настоящих очерков... Позади всех бредет в одиночестве бедная Аринушка, безустанно помахивая клюкою... Бедная Аринушка! отдох-

¹ Времена сильно переменялись! (фр.)

нули ли твои ноженьки? Дошла ли ты до Иерусалима горного, пролила ли печаль у светлого престола Спасова?

На всех лицах написана забота и испуг; все чего-то ждут, чего-то трепещут.

— Порфирий Петрович! куда же вы так поспешаете? — спрашиваю я.

Но он только машет рукою, как бы давая мне знать: «До тебя ли мне теперь! видишь, какая беда над нами стряслась!» — и продолжает свой путь.

«Что это значит?» — спрашиваю я себя.

— Неужели вы ничего не слышали? — говорит мне мой добрый приятель Буеракин, внезапно отделяясь от толпы, — а еще считаетесь образцовым чиновником!

— Нет, я не слышал, не знаю...

— Разве вы не видите, разве не понимаете, что перед глазами вашими проходит похоронная процессия?

— Но кого же хоронят? Кого же хоронят? — спрашиваю я, томимый каким-то тоскливым предчувствием.

— «Прошлые времена» хоронят! — отвечает Буеракин торжественно, но в голосе его слышится та же болезненная, праздная ирония, которая и прежде так неприятно действовала на мои нервы...

1856—1857





Из цикла очерков
«ПРИЗНАКИ ВРЕМЕНИ»
(1863—1869)

**РУССКИЕ «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ»
ЗА ГРАНИЦЕЙ**

Сомневаюсь, чтоб сатирическое перо могло сыскать для себя сюжет более благодарный и более неистощимый, как «Русские за границей». Тут все дает пищу, и, с какими бы намерениями вы ни приступили к этому предмету, все будет хорошо. Не говоря уже о том энергическом, беспощадном остроумии, которым обладали великие юмористы, подобные Гоголю, — остроумии, относящемся к предмету во имя целого строя понятий и представлений, противоположных описываемым, даже такой незлобивый, невинный сатирик, каким был, например, Загоскин, — и тот находил возможность относиться к этому богатому сюжету если не глубоко, то, по крайней мере, искренно и весело. Говорят, будто Гоголь имел намерение изобразить впечатления русского воина старых времен, путешествующего за границей. Действительно, трудно себе представить что-нибудь соблазнительнее, грандиознее подобной темы! Тут было целое стройное мирозерцание, хотя не имевшее с внутренней стороны строго человеческого характера, но наружными своими признаками не позволявшее сомневаться, что обладатель его принадлежит к человеческой семье; одним словом, тут было нечто такое, что носило на себе человеческий образ, но мысль имело не человеческую; тут вочию повторялся миф сирены, только наоборот, то есть

брался человеческий хвост и приставлялась к нему рыба голова. Задача величественная и для сатирического пера весьма лестная.

Я не бывал за границей, но легко могу вообразить себе положение россиянина, выползшего из своей скорлупы, чтобы себя показать и людей посмотреть. Все-то ему ново, всего-то он боится, потому что из всех форм европейской жизни он всецело воспринял только одну — искусство, не обдирая рта, есть артишоки и глотать устрицы, не проглатывая в то же время раковин. Всякий иностранец кажется ему высшим организмом, который может и мыслить, и выражать свою мысль; перед каждым он ежится и трусит, потому что кто ж его знает? а вдруг недоглядишь за собой и сделаешь невесть какое невежество! В России он ехал на перекладных и колотил по зубам ямщиков; за границей он пересел в вагон и не знает, как и перед кем излить свою благодарную душу. Он заигрывает с кондуктором и стремится поцеловать его в плечико (потому что ведь, известно, у нас нет середины: либо в рыло, либо ручку пожалуйста!); он заговаривает со своим *vis-à-vis* и все-то удивляется, все-то удивляется, все-то ахает! «Я россиянин, следовательно, я дурак, следовательно, от меня пахнет», — говорит вся его съездившаяся фигура.

— Vous êtes russe, monsieur?¹ — спрашивают его.

— Oui-c; dà-cl! — бормочет сконфуженный россиянин. — Ne désirez-vous pas du champagne?²

И рад-радехонек, если предложение его принято, ибо тут представляется ему случай предпринять целый ряд растленных рассказов о том, что Россия — страна антропофагов, что в России нельзя жить, что в России не имеется образованного общества, и проч., и проч. И откуда что ползет! откуда явятся и юмор, и игривость, и развязные манеры! Да назовите самого заклятого врага, посулите ему какую угодно награду за то, чтоб изобразить гнусность, — никто, ей-богу, никто не устроит этого так живо и осязательно, как путешествующий, ради бездельничества, россиянин. Эти господа из ёрничества умеют создавать художественную картину; они прилгут, прихвастнут даже, лишь бы краски ложились погуще, лишь бы никто и сомневаться не смел, что они действительно гнусны и растленны. Послушать их, так все они сплошь курицыны дети, что на этом зиждутся их политические принципы и что это

¹ Вы, сударь, русский?

² Не хотите ли шампанского?

же служит краеугольным камнем их союза семейственного и гражданского.

— Я курицын сын — куда же мне с этакой рожей в люди лезть! — резонно размышляет вояжер-россиянин и, в силу этого рассуждения, извиняется, лезет целоваться и потчует шампанским.

Многие объясняют это явление отчасти легкостью и общительностью славянской природы, отчасти живую потребность самооплевания, которая будто бы составляет основную черту россиян; но я, с своей стороны, думаю, что, помимо двух этих признаков, имеется еще и другая, более глубокая причина, заставляющая наших путешественников соотечественников пребывать, так сказать, в непрерывном стыде. Я согласен, что общительность есть в своем роде похвальное качество, но не в силах себе представить, чтоб она могла возвышаться до перенесения побоев и пощечин, потому что тут даже и общительности-то никакой нет. Я согласен также, что и потребность самооплевания есть очень живая и притом законная потребность, но не в состоянии вообразить себе, чтоб она могла доходить до наслаждения своим безобразием и до привлечения к такому же наслаждению лиц совершенно посторонних. Не вернее ли видеть в этом явлении некоторый протестующий писк, некоторую самолюбивую, но застенчивую мысль, что «я-то, дескать, парень лихой, а вот соотечественники-то мои — куда плохой народ!». Но об этом я поговорю впоследствии, а теперь расскажу те факты, которые навели меня на изложенные выше размышления.

Меня навело на них письмо г. Касьянова, напечатанное в 16 № «Дня» и рассказывающее несколько весьма характеристических черт о способах времяпрепровождения русских *гулящих людей* за границей. Представьте себе, оказывается, что эти ребята ездят за границу совсем не затем, чтобы людей посмотреть и ума-разума набраться, а затем единственно, чтоб стыдиться самих себя и своего отечества! Даже немец, даже какой-нибудь гессен-филиппсталь-баркфельден, говорит г. Касьянов, и тот скажет вам с гордостью, ткнув себя пальцем в грудь: hier pocht ein hessen-philippstahl-barkfeldsches Herz¹, а русский *гулящий человек* не только не говорит этого, не только не тыкает себя в грудь, но даже не чувствует в этом ни малейшей потребности, ибо, по-видимому, уверен, что там, в этой груди, у

¹ Здесь бьется гессен-филиппсталь-баркфельдское сердце.

него заключается не сердце, а что-то вроде голубиной погадки. Скромность мрачная и даже не имеющая в себе ничего отрезвительного; но если подобная скромная уверенность уже есть, если она однажды уже засела, то я не вижу ничего удивительного в том, что *гулящий человек* не тыкает себя пальцем в грудь: во-первых, незачем, во-вторых, замараешь палец...

И представьте себе, за такую-то скромность *гулящие люди* не только что наград не получают, а, напротив того, довольствуются оплеухами и подзатыльниками! И где же? в столице всемирного просвещения, в том самом Париже, который русские *гулящие люди* до сих пор совершенно наивно принимали за второе и даже чуть ли не за первое свое отечество, ибо Россия... что такое Россия? Россия — это не что иное, как несносная и прискорбная оболочка, горьким насильством судеб накинута на просвещенного *гулящего человека*, тогда как Париж... Париж!

Русских обвиняют в космополитизме; по крайней мере, наши публицисты уже несколько лет сряду убиваются, доказывая, как это вредно и как это стыдно, но убиваются, как кажется, с успехом довольно сомнительным. Я не беру на себя права судить, в какой степени справедливо это мнение относительно большинства русских, я думаю даже, что оно совершенно голословно и безосновательно, однако относительно *гулящих* русских людей в нем есть известная доля правды. То есть не то чтобы люди эти были космополитами в серьезном значении этого слова; гораздо будет правильнее, если мы скажем, что глаза у них прожорливые и завистливые: где бы ни увидали хорошую еду или по части юпок угодыя привольные, так туда сейчас и прильнут. Прильнут туда таким образом, что никак их оттолкнуть не отскоблишь: ни физическими репримандами, ни нравственными подзатыльниками. Это космополитизм желудочно-половой, имеющий в предмете кровавый ростбиф, Шеве, Вефура и всех стран лореток, и совершенно чуждый какого-либо политического оттенка. То есть, коли хотите, он и есть, этот политический оттенок, но исключительно направленный в одну сторону: в сторону целования плечиков. Был во Франции Карл X — русский гулящий человек называл его королем-рыцарем и боготворил; был король Людовик-Филипп — гулящий человек называл его образцом семейных добродетелей и боготворил; наконец, теперь есть император Наполеон III — гулящий человек называет его великим племянником и боготворит. Тут идет речь совсем не о политике, а о том, чтобы около кого-нибудь

потереться. Говорят, многие из гулящих людей, ценою невероятных усилий, проникали даже до Гарибальди, и я этому совсем не удивляюсь. Тут вся штука в том, чтобы около кого-нибудь потереться — это уж такое особенное удовольствие.

И после таких-то сверхъестественных доказательств сочувствия к великим принципам цивилизации вдруг потерпеть поражение самое постыдное, и потерпеть его даже не в Париже, а в самом Баль-Мобиле, этом третьем и едва ли не самом любезном отечестве русского гулящего человека! Вот что пишет об этом предмете корреспондент газеты «День» г. Касьянов:

«Баль-Мабиль очень сочувствует полякам — очень; все гризетки преклоняются пред общественным мнением, вся канканирующая и неканканирующая публика повторяет, как истину, о которой уже и не спорят, что Франция, *toujours si libérale, si généreuse*¹, должна помочь «народу-мученику» и освободить его от варваров... Варвар! Чего ни делали мы, чтоб попасть в другой чин, сколько поклонов и миллионов потрачено, чтобы заслужить повышения в европейцы, чтобы своими сочла нас Европа, — ничто не берет! Чуть что заденет ее за живое, все старое выплывает вновь, и опять — «казак», «кнут», «варвар» на языке у каждого француза, от пляшущего на балах в Тюильери до пляшущего в Баль-Мабиле. Недавно, говорят, на бале в этом знаменитом заведении толпа окружила одного господина, который почему-то подал ей повод думать, что он русский. «Вон его, вон! — заревела публика, — мы не хотим видеть русских, пусть убирается он к своим казакам, на родные снега» и пр. и пр. Господину этому грозила серьезная опасность: шляпу с него сбили, пинки посыпались в него со всех сторон. «Я не русский, я не русский», — завопил он жалостливым голосом... «Не русский, так кричите: да здравствует Польша!» Господин прокричал, но как-то нерешительно. «Громче, громче!» — повелела толпа. Господин повиновался. «Кто же вы?» — продолжали подозрительно допрашивать его баль-мабильские гости. «Я... поляк...» — «Поляк? Зачем же вы здесь, отчего вы не уехали драться с русскими?» — «Я поеду, непременно поеду». — «Вон его, вон, вон поляка, который пляшет в Париже в то время, как в Польше дерутся, вон!»... И господина выгнали.

После этого изгнания русских из Баль-Мабиля постиг,

¹ Всегда столь либеральная, столь великодушная.

как слышно, русских таковой же остракизм и в Прадо, и в Шатоде-Флёр, и в некоторых театрах. Бедные! Пришлось-таки страдать за национальность, от которой всю жизнь отрекались и которой пуще греха стыдились!.. С мальчишками, с воспитанниками политехнической школы — не советую теперь встречаться на улице ни одному русскому. И не только в Париже, даже в Германии; немцы, как картофель на сковороде, горячатся и шипят «симпатиями» к Польше; за табльдотами в отелях происходят иногда очень и очень неприятные сцены. Рассказывают, что в Дрездене дети одного русского поселившегося там помещика были вывалены в грязи мальчишками по наущению какой-то польской патриотки. Одним словом, дело дошло до того, что русским, пребывающим за границей и вращающимся не в самом высшем кругу, приходится на каждом шагу испытывать всевозможные унижения и оскорбления. Конечно, русский человек на обиду снослив, да и брань на вороту не виснет — но всему есть пределы. Остается или бежать домой, в Россию, или же отречься, стократ отречься от своей народности — от всякой солидарности с своим народом и своим отечеством!»

Г-н Касьянов из всего этого выводит довольно меланхолические заключения; я же, напротив того, более склонен выводить заключения веселые, потому что положительно-таки не понимаю, какое дело России до русских гулящих людей. Я представляю себе физиономию этого господина, который «жалостливым голосом вопил: я не русский! я не русский!» и в сердце мое закрадывается змий сомнения: а что, если парень-то солгал! ах, срам какой! И не потому меня так ужасает эта идея, чтобы я вообще не одобрял лганья, — нет, я, на основании многих свидетельств истории, очень понимаю, что лганье, употребляемое в приличном количестве, придает даже речи особенный острый вкус, — а потому, что как же это человек до того растерялся, что и солгать-то как следует не сумел! «Я... поляк...» — пропищал этот странствующий рыцарь, когда за него принялись поплотнее, и, конечно, не только не оправдался в глазах канканирующего мира, но еще более обвинил себя. «Ты поляк... и танцуешь!» — воскликнули негодующие гризетки и, само собой разумеется, принялись за него еще плотнее. Сбили с него шляпу и не забыли наградить пинками: «это за то, что ты варвар и угнетатель русский, а вот это за то, что ты танцующий поляк». Одним словом, человек, по милости своей опрометчивости, едино временно получил возмездие за две национальности. То-

то он изумился! А между тем дело могло бы кончиться весьма просто и даже не безвыгодно для него, если бы он не лгал, а просто-напросто заявил канканирующему миру настоящую истину. Например, если бы он сказал: «messieurs! я не русский и не поляк — я просто желудочно-половой космополит»; он сказал бы сущую правду и в то же время обезоружил бы негодующих гризеток. В самом деле, ведь это все равно как бы он сказал: Господа! вы ошибаетесь, я просто гороховый шут! Разве есть такая нация? разве есть такой народ, который бы называл детей своих гороховыми шутами? Увы! даже в географии Арсеньева такой нации не замечено, а потому никто об ней не знает, никто по поводу ее не тревожится. Не потревожились бы и гризетки. Они потолковали бы между собою, переглянулись бы, да и пошли бы себе канканировать как ни в чем не бывало. И бока были бы целы, и отечество осталось бы в стороне.

Вот как вредно и невыгодно бывает лгать без размышления, лгать, не взвесивши предварительно, какие может иметь для нас последствия ложь, по-видимому даже самая правдоподобная.

Воображаю я себе, какую ужасную ночь должен был провести этот русско-угнетающий-поляко-канканирующий космополит! Как он явился без шляпы в свой отель? Что он должен был отвечать на вопрос строгого прислужника: «Каин! куда ты девал свою шляпу?» Упорствовал ли он в системе лганья, отвечал ли: «служитель! я потерял мою шляпу в борьбе за отечество!» — или же предпочел быть откровенным: «так и так, братец, солгал — и за то пострадал!» — и при этом подарил служителю сто франков, чтоб только он молчал? Есть ли у этого гулящего человека семейство? с какими глазами явился он, без шляпы, к жене и детям после такого неожиданного реприманда? Слег ли он горячкой в постель или на другой день, встрепенувшись как ни в чем не бывало, отправился, взамен Мабиля, в Шато-де-Флёр или в Прадо и там в другой раз получил потасовку?

Все эти вопросы невольно толпятся в моей голове, и если я не разрешаю их, то вовсе не потому, чтобы они не были интересны с психологической точки зрения, и не потому, чтобы мне было чего-то совестно, а просто потому, что такое разрешение увлекло бы меня слишком далеко.

Но, независимо от изложенных выше поучительных выводов, рассказанный г. Касьяновым факт наводит еще и на

другие мысли. Признаюсь откровенно, он даже оскорбляет меня. Я очень хорошо понимаю, что русские гулящие люди времен Фонвизина и даже Гоголя имели какой-то повод стыдиться, млеть и вообще относиться к своему отечеству с обидным равнодушием. У них были на это свои резоны — положим, ложно понятые — но, все-таки резоны. У них не было гласности, а об самоуправлении в то время и понятия никто не имел. Самая устность была, так сказать, в зародыше, по которому нельзя было даже судить, что́ из нее выйдет: что-нибудь благопотребное или же совсем непотребное. Лишенный всех этих благ, оставленный на произвол всем ветрам, человек чувствовал себя одиноким, оторванным от своей родины. Он не имел сочувствия ни к успехам, ни к бедствиям ее, потому что и те и другие равно до него не касались. Он говорил себе: разве я тут при чем-нибудь состою? разве это *мое* дело, что я из-за него распинаться должен? — и этими размышлениями оправдывал себя. Положение жалкое, безнравственное, почти невероятное, но его можно было объяснить.

Возьмите, например, путешествующего англичанина: он везде является гордо и самоуверенно и везде приносит с собой свой родной тип, со всеми его сильными и слабыми сторонами. Вы чувствуете, что эти стороны его собственные и что он правильно поступает, не утаивая их. Почему он так поступает? а потому именно, что знает, во-первых, что тип этот нечто выработал не только для своей родной страны, но и в общечеловеческом смысле, и, во-вторых, что он сам лично в этой общей работе совсем не пятая спица в колеснице, а, напротив того, прямой ее участник и делатель.

Подобное же явление, разумеется, в более своеобразной сфере, повторяется и у нас, а именно в сфере мужицкой. Русский мужик точно так же является самим собою, то есть простым, непринужденным, и точно так же не придет ему в голову стыдиться того, что он русский. Почему? А все потому же, что он занят делом, что он чувствует себя не только не лишним, а совершенно необходимым деятелем в русской семье.

Один *гулящий* русский человек шатается без дела и потому не может ни к чему себя приурочить. В отношении к иностранцам он чувствует, что как будто что́-то украл; в отношении к своим чувствует, что как будто что́-то продал. Одинок и безучастно носится он с своим чревом по Европе, приводя в изумление своей плотоядностью и веселой похотливостью своих нравов...

Повторяю: все это было понятно во времена Фонвизина и даже не лишено смысла во времена Гоголя. Но теперь это просто даже оскорбительно. Теперь у нас существует гласность, существует земство и суд; у нас совершилась, без разговоров, одна из величайших реформ, какие в других странах никогда без разговоров не совершались; чего еще надо? Какие можем мы принести оправдания? Можем ли сказать, что у нас скучно, — нет, нам укажут, что в одном Петербурге развелось прошлой зимой до 60 танцклассов и что никто не препятствует завести таковые в Корчеве и в Арзамасе! Можем ли мы сказать, что стеснены, — нет, мы имеем право хоть целый день проводить в халате! Можем ли сказать, что наше возрождение дело нам чуждое, что нас не привлекают и т. д., — нет, мы имеем право и беседовать, и даже излагать свои мысли письменно, хотя, конечно, не без осторожности.

Да-с; однако и за всем тем, по свидетельству г. Касьянова, русский гуляющий человек продолжает вести себя столь же неодобрительно, как бы ничего сего не произошло. Неужели же не проймешь его никакими гласностями, никакими реформами? Неужели никакие возрождения, никакие усилия не прольют живительного луча в его занемевшее сердце?

Что бы такое сделать, чтобы удовлетворить скучающих гуляющих русских людей, — я просто недоумеваю... Реформу, что ли, какую-нибудь новую сочинить или какую-нибудь из старых реформ уничтожить — право, уж и не знаю. Но, принимая в соображение, что здесь нужно иметь в виду преимущественно элемент чревно-половой, я полагаю, что самым лучшим способом удовлетворения представляется еда какая-нибудь необыкновенная, или же вот если б всю Россию можно было превратить в сплошной танцкласс. Тогда, надо думать, *гулящие* русские люди сидели бы дома и не носились бы с своим чревом по чужим странам, а ездили бы в Калязин или в Пошехонье.

Но факт этот до такой степени замечателен, что я решительно не могу отстать от него, не разъяснивши его до конца. Известно, что с некоторого времени современное русское общество распалось на две половины: «отцов» и «детей»; поэтому для меня очень любопытно знать, к которой из этих двух враждующих сторон принадлежал тот русский, который в Баль-Мабиле понес наказание за грех двух национальностей. К сожалению, г. Касьянов ни слова не говорит об этом, но, за всем тем, я все-таки

надеюсь, с помощью некоторых наведений, восстановить истину в действительном ее виде.

Первый признак, который останавливает мое внимание, — это место происхождения, Баль-Мабиль. Кто из русских оказывает более склонности посещать подобные увеселительные собрания? Говоря по совести, таковую склонность преимущественно оказывают «отцы» или же такие «дети», которые, так сказать, сделались «отцами» в самую минуту своего рождения. Догадку эту я основываю на том общеизвестном факте, что в «отцах» в особенности и во все времена было развито чувство изящного, развито даже в ущерб другим деятелям человеческого организма. Рядом с этою потребностью изящного и как бы последствием ее являлась чувствительность сердца, способность воспламеняться при малейшем намеке на существо другого пола. Само собой разумеется, что такой воспламеняемости весьма много способствовало крепостное право, которое давало возможность удовлетворять ей почти без всяких препятствий. Постоянно питаемая и изощряемая, она наконец приобретала тот характер устойчивости и чуткости, который делал «отцов» способными и достойными во всякое время и во всяком месте. Теперь представьте себе такого способного человека, вдруг очутившегося вне сферы крепостного права, где-нибудь за границей. Как должен он поступить, чтобы и туда перенести весь тот комфорт, которым привык наслаждаться у себя дома, где-нибудь в сельце Загигеевке? Красноречием он не обладает, убеждать не умеет, шаркать ножкой не обучен. Чтоб выполнить все это, он должен действовать посредством денег и обращаться с своими предложениями туда, где таковые принимаются с охотою. Более злчного в этом смысле места, как Баль-Мабиль, едва ли найдется что-либо в целом мире: это уж такой приют, где изящное добывается во всякое время и без всяких затруднений, с помощью одного презренного металла. Поэтому русские «отцы» издревле так и любили посещать это место; оно напоминало им родную Загигеевку, с тем только различием, что в Загигеевке для них достаточно было мания руки, а в Баль-Мабиле они были обязаны предъявлять доказательства более уважительные. Во всяком случае, «отцы» доказывали совершенно осязательно, что с помощью ли одного мания руки или с присовокуплением денег, но устроить крепостное право где бы то ни было для них ничего не значит.

Никакими подобными качествами «дети» не обладают:

ни сильно развитым чувством изящного, ни чрезвычайными в этом смысле способностями. Крепостное право, которого благами они не успели насладиться, подействовало на них отрицательно, то есть возбудило отвращение к началу, питавшему его, в каких бы формах оно ни высказывалось. Это народ, не только не посещающий танцклассов, вроде Мабилы, но вообще мало общительный. Они больше всего любят беседовать с приятелями, и преимущественно беседуют об осуществлении «невидимого», или, говоря иначе, о светопреставлении. Это последнее занятие до такой степени неподозрительно, что даже люди сведущие и опытные, специально занимающиеся устранением подозрительных занятий, и те находят, что это ничего, допустить можно! «Лишь бы о текущих-то вопросах не рассуждали, лишь бы на практическую-то арену не выходили!» — говорят эти опытные люди и успокоительно вздыхают, видя, как кротко выносят «дети» невзгоды жизни и как они убиваются над поднятием таинственной завесы будущего. Как бы то ни было, составляет ли эта скромность достоинство «детей» или их недостаток, во всяком случае, происшествие, случившееся в Баль-Мабиле, касается не их, потому что их там, наверное, не было.

Второй признак, останавливающий мое внимание, заключается в том, что неизвестный отрекся от своей национальности. Во-первых, это ложь, к которой «дети», по наивности и сердечной простоте, совсем неспособны, во-вторых, это наконец глупость. Уверять в глаза целый канканирующий мир, что я не я — воля ваша, а это даже не просто ложь, но ложь глупая и притом бесполезная. «Дети» не в состоянии прибегнуть к ней уже по тому одному, что такая штука совершенно противна очевидности. Отцы в этом отношении были гораздо в более выгодном положении; они от рождения могли притворяться чем угодно, во-первых, потому, что никто с них за это не взыскивал, во-вторых, потому, что и власть у них большая была. — Ванька! я шах персидский? — Шах персидский-с. — Ан врешь, я турецкий султан! — Турецкий султан-с. — И таким образом они могли воображать себя чем хотели, и никто им на это не возражал — мудрено ли, что это обратилось им наконец в привычку? Напротив того, «дети» лишены этого подспоря, потому что его у них нет, и, следовательно, поневоле обязываются быть тем, чем их создали обстоятельства. «Дети» не стыдятся своего отечества уже по тому одному, что относятся к нему рационально, то есть принимают его так, как оно есть, со всем

его хорошим и дурным. Как то, так и другое они и себе объясняют и другим объяснить могут, а известно, что при помощи объяснений все излишнее, напускное — все ореолы, равно как и мраки, — исчезает само собою, и остается одна истина, которая никогда человеку противна быть не может. «Дети» не скажут, что мы, дескать, шапками всех забросаем, но вместе с тем и не полезут целовать плечико...

Да, это «отцы», это они — те *гулящие* русские люди, которые даже в Баль-Мабиле не умеют канканировать с достоинством, это те самые, которые всякому кондуктору на железной дороге готовы сказать: «ваше превосходительство», это те самые, которые потчуют шампанским и из ёрничества умеют создавать живые и художественные картины.

Другой анекдот из жизни русских *гулящих людей* за границей рассказывает «Современная летопись». Дело идет о двух знатных русских дамах, которые до того увлеклись каким-то доктором сомнамбулизма, уроженцем русской Польши, Ольцинским, называвшим себя Лондинским, что в течение каких-нибудь шести лет (шесть лет сряду быть глупым!) доверили ему сумму, превышающую 2 миллиона франков. Да не подумает, однако ж, читатель, что такая почтенная цифра была вручена Лондинскому так, ради приятных его манер; нет, русские дамы руководились при этом глубоким расчетом; они страстно желали разбогатеть и потому отдавали свои деньги *верному человеку*, точно так же не задумываясь, как во время оно другие люди, не задумываясь же, затратили бы значительные суммы на отыскание философского камня!

Желание приумножить капиталы может иметь и выгодные и невыгодные последствия для лица, которое им обуреваются. Но для того, чтоб эти последствия были выгодны, необходимо прежде всего в подробности рассмотреть, в чем заключается то предприятие, на которое решаешься. Например, если б в настоящее время воскресло знаменитое в свое время «общество для заводской обработки животных продуктов» и если б сам Василий Александрович Кокорев заверял, что это предприятие отличное, я никак не решился бы рискнуть своим капиталом даже в том случае, если б таковой у меня и был. Потому не натуральное это дело. Во-первых, завода или совсем не выстроят,

или выстроят такой, в котором ни дверей, ни окон, ни печей, ни труб нет; во-вторых, скота или совсем не купят, или купят такой, который не имеет ни жиру, ни мяса, ни костей, ни кожи; в-третьих, наконец, если и пустят кой-как дело в ход, то прибыли от него пойдут на обеды и на овации, а мне, как акционеру, все-таки не попадет ничего в карман, да и обедать, пожалуй, меня не позовут. Зная все это очень твердо и принимая притом в соображение, что «миллиард в тумане» (знаменитая, в своем роде, статья г. Кокорева) все-таки еще не «миллиард в руках», я всякой сирене, которая бы предприняла уещать меня подобными предложениями, отвечал бы кратко, но сильно: *vade retro, satanas!*¹ Или, говоря другими словами: быть может, я и дам что-нибудь этой сирене на бедность, но дальше гривенника и в этом смысле все-таки не пойду.

Знатные русские дамы все это забыли и — что большее всего — выказали себя самыми сомнительными патриотками. Если они непременно желали потратить свои два миллиона франков, если потеря эта составляла для них удовольствие, то почему они не отдали своих денег в упомянутое мною общество заводской обработки животных продуктов, или в общество водопроводов, или в общество «Кавказ и Меркурий»? Я совершенно уверен, что общества эти не только приняли бы их вклады с благодарностью, но тут же проглотили бы их так, что и следа потом не сыскать.

Но они предпочли истратить деньги в столице цивилизации и вверили их Лондинскому, который, как славянин по происхождению, поспешил доказать им, что, имея с ним дело, они поступают точно так же, как бы находились в своем отечестве.

И действительно, предприятия, которыми Лондинскому удалось увлечь русских дам, имеют характер совершенно отечественный. Это серебристо-свинцовые рудники на острове Сардинии (*Domus nova* и *Domus di Maria*), это несуществующий банкирский дом в улице Рише (не те ли же общества обработки животных продуктов или разработки лесов?). Надувательство поражает своею легкостью и простотою. Никто ни о чем не спрашивает, никто ни в чем не сомневается. Лондинский приходит к некоторому проходимцу Лемете и откровенно говорит ему: хочешь получить несколько миллионов русских рублей? Разумеется, Лемете соглашается, является с Лондинским, под видом

¹ Изыди, сатана!

капиталиста, к знатым русским дамам, получает от них несколько миллионов рублей, а им, взамен того, объявляет, что они имеют честь быть основательницами несуществующего банкирского дома Лемете и Лондинского, № 26, улица Рише.

Пришли, понюхали и ушли. Ждут русские знатные дамы день, ждут другой — нет Лондинского, нет Лемете! Что ж, может быть, они удержаны нездорбьем, а может быть, даже заботами об интересах своих клиенток? Увы! оказывается нечто худшее: оказывается, что и тот и другой — переодетые мошенники, что *Domus nova* — пух, *Domus di Magia* — заблуждение, а банкирский дом в улице Рише — просто милая шутка, имеющая целью исследовать, до каких границ может простираться простодушие русских дам за границей.

И вот в исправительном трибунале департамента Сены разыгрался последний акт этой драмы. Лондинский бежал в Россию и, к довершению всего, пишет оттуда успокоительные письма, удостоверяющие, что все его кредиторы будут удовлетворены. Однако на сей раз русские дамы не поверили и подали на доктора сомнамбулизма жалобу. Исправительный трибунал решил: 1) Лондинского заключить на 5 лет в тюрьму и взыскать с него пени 3000 фр. (заочно); 2) Лемете заключить в тюрьму на 15 месяцев и взыскать 500 фр. пени и 150 000 фр. в пользу истец. О прочих дамских претензиях трибунал предоставил ведаться особо.

Вот какое происшествие случилось с русскими знатыми дамами в столице цивилизованого мира. Оказывается, что русские дамы, настолько гордые в своем отечестве, что считают для себя унижительным сообщество людей среднего рода, за границей оставляют свою кичливость и являются более ласковыми. Это и естественно, потому что ведь за границей не то, что у нас; за границей каждый колбасник есть урожденный философ, а каждый парфюмер — урожденный политико-эконом. А куаферы! душки куаферы! эти естественные производители грядущего русского поколения! а этот милый французский жаргон, посредством которого можно всякую пакость таким образом выразить, что от нее повеет совсем не пакостью, а благоуханием! Согласитесь, что ведь нельзя же и не ласкать подобных людей!

Я не знаю, что сказали, прочитав этот факт, учредители бывших воскресных школ и члены общества распространения бесполезных книг; я не знаю, облизнулись ли

они, подумали ли: «Эх, кабы этакую-то сумму да нам! каких бы мы дел наделали!» Но я знаю наверное, что учредители русских «*Domus di Maria*» именно облизнулись и совсем не шутя возроптали, что вот все иностранцам да иностранцам, а нас все-таки мимо да мимо!

СИЛА СОБЫТИЙ

Что такое «патриотизм»?

До последнего времени¹ очень немногие задавали себе этот вопрос: до такой степени он казался ясным и бесспорным. Большинство понимало под словом «патриотизм» что-то врожденное, почти обязательное. Начальство, соглашаясь с этим определением, прибавляло, что наилучшее выражение патриотизма заключается в беспрекословном исполнении начальственных предписаний.

Определение большинства имеет тот порок, что ничего не определяет и, следовательно, оставляет вопрос открытым. Это все равно как если бы кто сказал, что патриотизм есть любовь к отечеству, — какую пользу можно вынести из такого объяснения? Второе, начальственное определение несколько яснее, но имеет другой недостаток, а именно: исключает из области патриотизма целую категорию лиц, известных под общим наименованием «начальства». Не получая ни от кого предписания, на чем же оно может упражнять свой патриотизм?

Исследователи более смелые шли несколько далее и объясняли обязательность патриотизма тем, что нигде человек не может так успешно достигать своих целей и вообще проявлять свою личность, как в той среде, которая знакома ему со всем ее добрым и злым материалом. Но и это толкование нимало не специализирует рассматриваемого явления, потому что удобствами, доставляемыми знанием среды, можно объяснить не только патриотизм, но и другие инстинкты несомненно дурного свойства. И карманному вору удобнее проявлять свою личность в среде знакомой и исследованной, однако едва ли кто-нибудь решится утверждать, что инстинкт воровства есть инстинкт врожденный, невольный и обязательный.

Кажется, что вся эта путаница произошла оттого, что для объяснения некоторых жизненных явлений мы слыш-

¹ Писано в 1870 году, вслед за развязкою французско-прусской войны. (Примеч. М. Е. Салтыкова-Щедрина.)

ком бесцеремонно пользуемся такими определениями, которые сами требуют ближайших определений. Необходимы были такие тяжкие искушения опыта, какие доставили последние события военного и политического мира (война Германии с Францией), чтоб нанести окончательный удар бессодержательности фразы и навсегда очистить сущность интересующего нас явления от сети лицемерия и хвастовства, которые опутывали его.

Первый вопрос, который разъясняют последние события, — это вопрос об отношении к идее патриотизма бесчисленных паразитов, наполняющих мир. Могут ли, например, именоваться патриотами подрядчики, поставляющие вместо ружей шасспо простые ударные, или кремневые, или, наконец, такие кремневые, у которых вместо кремня фигурирует разрисованная на манер кремня чурка, а также градоначальники и военачальники, поощряющие такие поставки? Могут ли именоваться патриотами проходимцы вроде папских швейцарцев, или тюркосов, или гулящих немцев, охотно внедряющихся всюду, где имеется мясистая поверхность, защищенная шерстью и волосами? Могут ли именоваться патриотами всякие другие паразиты, хотя бы и высшей школы?

Все эти вопросы на первый взгляд кажутся праздными, но если взглянуть в дело пристальнее, то выйдет, что разрешение их составляет потребность далеко не призрачную. Почти на каждом шагу приходится выслушивать суждения вроде следующих: «правда, что N ограбил казну, но зато какой патриот!» или: «правда, что N пустил по миру множество людей, но зато какой христианин!» — и суждения эти не только не убивают нашу совесть, но даже не удивляют нас. Стало быть, несовместимость таких явлений, как казнокрадство и патриотизм, вовсе не настолько ясна, чтобы можно было считать поставленные выше вопросы окончательно упрздненными.

Причина сближений столь странных и неожиданных бесспорно заключается в общей путанице наших обыденных воззрений на жизнь. Благодаря обилию фантастических элементов, переполняющих наше воспитание, жизнь с детства кажется нам разделенною на две половины, из которых в одной складываются интересы высшего порядка, в другой — интересы порядка низшего. Связи между этими двумя половинами не полагается, а следовательно,

не может быть речи и о взаимном питании. Если низшие интересы представляют сброд неосмысленных мелочей, очутившихся рядом без всякого порядка, то интересы высшие представляют совершенно призрачный мир, доступный всевозможным толкованиям и перестановкам. Пользуясь этой разрозненностью, человек может свободно переходить из одной половины в другую и, не возбуждая ни в ком удивления, уравнивать самые гнусные поступки высокопарными и бессодержательными фразами. Заведомый шулер может утверждать, что человек без добродетели — все равно что тело без души; заведомый прелюбодей может удостоверить, что человек, не соблюдающий семейной чистоты, — все равно что пламя, горящее тусклым и пегреющим светом; заведомый казнокрад может объясняться в любви к отечеству.

Сомнения относительно правильности такого воззрения на жизнь возникли давно, но, к сожалению, возникли лишь путем умозрительным. Большинство редко убеждается умозрительными доводами и требует доказательств осязаемых, вещественных. Вот это-то вещественное доказательство и дано ныне, и притом дано в таких обстоятельствах, что не осталось ни одной утаенной подробности, ни одного невыясненного эпизода. Если б обязанность представления вещественных доказательств выпала на долю стране, играющей в цивилизованном мире роль скромной фиалки, очень может быть, что истина или, по крайней мере, большая ее часть осталась бы под спудом. Но в настоящем случае пропагандистом является самый нахальный народ в мире, до того нахальный, что считает свои давние заслуги перед человечеством настолько существенными, что перед ними бледнеют даже те язвы, которые наложило двадцатилетнее недоразумение, сделавшее его добычею проходимцев.

Бедная Франция! и на этот раз ты являешься искупительною жертвою! Тебя, на которую мир смотрел как на пламя, согревавшее историю человечества, — тебя в настоящую минуту каждый мекленбург-стрелицкий обыватель, не обинуясь, называет собранием «думкопфов»! И благо ему, этому скромному мекленбург-стрелицкому обывателю. Он получил от тебя все, что ему было нужно. В конце XVIII столетия ты дала ему позыв к свободе; в 1848 году ты дала ему позыв к осуществлению идеи о «великом отечестве». Но и за всем тем ты все-таки виновата. Ты виновата тем, что не сумела создать «порядка»; тем, что твои почты и железнодорожные поезда лишены правильности

отчетливого механизма; тем, что ты не выдумала ретур-билетов; тем, что ты даже по части почтовых марок оказалась недостаточно твердою. Все это выдумали, устроили, создали зигмарингенцы, гессенцы и мекленбуржцы, и они, ни за что в свете, не простят тебе этого пропуска. Покуда ты выдумывала свободу и на свой страх выводила жизнь на почву общественных вопросов, мекленбуржец, не имея надобности изобретать изобретенное, предпочитал «некоторую узость взглядов ширине их». Под защитою твоих политических и социальных конвульсий он втихомолку выработывал вопрос, гораздо более близкий его пониманию, а именно — вопрос об отношении проходимства и жульничества к патриотизму, и, надо сказать правду, выработал его (в обычном, родственном ему среднем уровне) довольно удовлетворительно. Теперь он уверен, что письмо его дойдет по назначению, что каждый чиновник его бесчисленных почтовых контор в совершенстве знает географию и не зашлет в Кронштадт письма, адресованного в Капштат, что для неукоснительного избияния думкопфов ему дадут настоящее игольчатое ружье, а не подобие его, и что реквизиция на земле думкопфов будет производиться неуклонно, по строго обдуманному плану, а не как-нибудь без системы: сперва в зубы, а потом рюмка водки на мировую.

Да, ты виновата. Занявшись преследованием мировых задач, ты забыла, что существуют миллионы домашних подробностей, устройство которых обеспечивает жизнь от неожиданностей. Мекленбуржцы, гессенцы, гогенцоллернцы поняли это лучше тебя, хотя, с другой стороны, быть может, они недостаточно уразумели, что в некоторых случаях даже самое лучшее устройство подробностей, без гарантии выработанных тобою общих идей, все-таки не больше как здание, выстроенное на песке. Твоя свобода бессодержательна — это так; твои социальные движения несостоятельны — и в этом нельзя сомневаться, ибо весь Липпе-Детмольд поголовно провозглашает эту истину; но не существуй их, не держи они мир в некотором напряжении, какой гессенец поручится, что не придут проходимцы и не перестроят все по-старому? Проходимцы чутки и внимательно подстерегают случаи, дающие возможность что-нибудь стянуть. Прежде всего они стянут бессодержательную свободу, а потом созовут всех гессенцев, шаумбургцев и зигмарингенцев и при громе пушек скажут им: нет вам ни почт, ни почтальонов, ни почтовых марок, нет ни ретур-билетов, ни игольчатых ружей, ни нарезных пу-

шек; нет вам литературы, кроме «Wacht am Rhein»! Живите как Бог даст и изнемогайте без литературы, без политики, без писем от родных, как изнемогают обыватели какого-нибудь Боброва или Острогожска!

Все это дело очень возможное (увы! многое возможно, что с первого взгляда кажется даже фантастическим), а стало быть, те, которые так охотно «предпочитают некоторую узость взглядов ширине их», едва ли вполне правы в своих предпочтениях. Они забывают, что ширина взглядов, в большинстве случаев, защищает подробности, достигаемые узостью их. И притом, как определить эту «некоторую» узость, как отличить ее от не «некоторой»? Где кончается граница узости, которой можно с грехом пополам присвоить название разумной, и где начинается граница той узости, которой ни на каком языке нет другого названия, кроме пошлости, ограниченности, тупоумия! Это склонность до того покатая, что, кажется, было бы всего благоразумнее, если бы каждому индивидууму и каждому народу предоставлено было оставаться тем, чем он есть. Глупый да пребудет глупым, дальнзоркий и проницательный пусть остается дальнзорким и проницательным. Не примерами, вроде синицы, собирающей зажечь море, следует встречать политическую и общественную самоотверженность, а сознанием, что без этой самоотверженности история, быть может, остановила бы свое движение.

И представьте себе, читатель: несмотря на то что честь разработки вопроса об отношениях мелкого жульничества к патриотизму принадлежит шаумбургцам и детмольдцам, все-таки сдается, что популяризация и утверждение даже этой простой идеи будет принадлежать не им, а все тем же «думкопфам», над которыми весь Саксен-Мейнинген в настоящее время во все горло хохочет. Мейнингенец до того скромн, что даже крошечную идею вырабатывает исключительно для собственного употребления. Напротив того, «думкопф» нахален (недаром немецкие публицисты так настойчиво упоминают о гальском петухе) и, в качестве наглеца, даже великие идеи бросает на съедение нищих духом: пускай, дескать, и они, под сению этих идей, насладятся хорошими почтмейстерами и познают употребление почтовых марок. Что же ему будет стоить поделиться с миром такую маленькую идейкой, как несовместимость карманных воров с патриотизмом? Конечно, ровно ничего, и мекленбургцы могут оставаться на этот счет совершенно спокойны: при содействии гальского петуха эта идея не только не замрет среди их, но получит еще

большее развитие, благодаря элементу сознательности, который проникнет в нее. Галльский петух сумеет поставить принцип на принадлежащую ему высоту, сумеет выставить паразитство к позорному столбу, сумеет наконец указать подлинные пределы паразитства, не ограничиваясь одним сословием коллежских регистраторов, и разоблачить даже те его признаки, которые может наметить лишь зоркий и вполне опытный глаз. Вот тогда-то поймут зигмарингенцы, что паразитами называются не только те, кои не доставляют писем по адресу или засылают их в Кяхту вместо Вятки, но и те, которые скрадывают в свою пользу политическую и общественную свободу под предлогом ее бессодержательности, и те, которые все обещают в минуту опасности и все отбирают в момент торжества.

Все это так; все это, наверное, так и сбудется. Наступит минута, когда мейнингенцы, даже на поприще ретурбилетов, не будут считать себя передовою нацией относительно Франции. Но каким образом могло случиться, что Франция, по инициативе которой, на наших глазах, произошло возрождение целой Европы, пропустила между рук такой простой, но вместе с тем и необходимый вопрос, как вопрос о недопущении паразитов к участию в управлении почт и телеграфов? Каким образом случилось, что проходимцы самые несомненные, общеизвестные и всесветные целое двадцатилетие стояли во главе ее?

Кажется, это произошло оттого, что всякое проходимство является на сцену не иначе как в блеске, свойственном бесстыжеству. Бесстыжество отуманивает; оно на весь мир смотрит в упор и при этом лжет, хвастает, обманывает в глаза. При виде этой беззаветной наглости мнится, что за нею стоит что-то несокрушимое, что у нее есть какая-то роль в истории. Но кроме того, бесстыжество обладает еще одним качеством: где бы оно ни появилось, около него сейчас же группируется плотная масса негодяев. Все праздное, буйное, все буруемое страстью легкой наживы, живущее хищничеством и набегами, — все с непреодолимою силой влечется к бесстыжеству, устраивается под сению его и в свою очередь образует оплот. На глазах у всех формируется бесшабашное скопище, и формируется тем легче, что ему не нужно никаких пособий, кроме навыка и быстроты. Быстрота, оказывающая губительное влияние во всех других человеческих предприятиях, составляет единственный операционный базис в делах жульничества. Замыслите облагодетельствовать человечество — вы в самой вашей совести встретите тысячи преткновений. Она

представит целые тьмы сомнений, заставит шаг за шагом следить за вашим предприятием, обдумывать каждую подробность, обеспечивать от возможности ошибок. Задумайте ограбить, зарезать, перервать горло — нет ничего легче. Будьте лишь настолько быстры в действиях, чтобы предупредить возможность сопротивления со стороны облюбованной жертвы. Застать врасплох, удивить неожиданностью — вот что требуется. Покуда человек протирает глаза, можно переменить всю его обстановку и даже его самого поставить вверх ногами. А этого-то результата только и домогается бесстыжество.

Галльский петух не один раз пытался оградить себя от подобных сюрпризов, не один раз смотрел бесстыжеству в глаза, но решительного успеха все-таки не имел. Безусловно ли он виновен в этой неуспешности, или же есть для его вины какое-нибудь оправдание? — на это все детмольдцы в один голос отвечают: да, виновен, и не хотят даже прибавить: но по обстоятельствам заслуживает снисхождения. За что, однако ж, такой строгий приговор? за то ли, что галльский петух недостаточно рисковал своими судьбами, недостаточно предстательствовал перед небом за них, детмольдцев? за то ли, что он подарил зигмарингенцам только ту долю свободы, которая достаточна для избречения почтовых марок, но недостаточна для того, чтоб обладающие ею сознавали себя вполне людьми? — нет, не за это сердит мейнингенец. Он сердит за то, что галльский петух все еще не может сказать «довольно», тогда как все шаумбургцы и нассаусцы давным-давно опочили от трудов и сколачивают копейка по копейке свое благополучие. «Посмотрите, — говорит мейнингенец, — какие эти пошлые думкопфы! десятки лет волнуются, шумят и гремят на весь мир, а следующие десятки лет выносят постыднейшее иго из всех иг!» И забывает притом, что и он сам, и вся Европа трепетали при одном напоминании об этом иге, хотя ни на него, ни на Европу не могли непосредственно действовать ни кастеты, ни сорти-де-баль наполеоновских городовых.

Как бы то ни было, но несомненно, что идея о несовместимости паразитства и патриотизма, благодаря французской популяризации, в самом ближайшем времени найдет себе место в ряду афоризмов, наиболее усвоенных общественною совестью. Как скоро Франция убедится — убедится и мир.

Но все-таки сдается, что Франция убедится по-своему, а не на манер гогенцоллернских обывателей. Несмотря на

горечь постигшего ее бедствия (есть ли бедствие горше того, как чувствовать себя раздавленным пятою лихтенштейнца?), она не сумеет «предпочесть некоторую узость взглядов ширине их». Это ее органический порок, порок очень капитальный, но которому она фаталистически должна подчиниться.

В последние двадцать лет французы действовали совершенно по-мекленбургски. Они были уверены, что спокойствие их обеспечено, и, кажется, имели даже больше оснований, нежели, например, ганноверцы или франкфуртцы, думать, что никто не потревожит их. Хотя почты их действовали не так исправно, как по ту сторону Рейна, тем не менее так как они не были лишены права жалобы на неисправность почтальонов, то право это до известной степени смягчало горечь негодующих сердец. Конечно, они знали, что некоторым из их граждан было не без неприятностей, но их заверили, что неприятности эти, в форме административных ссылок в Ламбессу и Кайенну, касаются только людей беспокойных, то есть тех самых, которые страдали «шириною идей». «Будьте гессенцами, — твердили им на каждом шагу, — и вы убедитесь, что все пойдет как по маслу!» И они вняли уверениям и сделались гессенцами. И вот, в ту самую минуту, когда они чуть-чуть не изобрели каких-то совершенно неотразимых почтовых марок, вдруг грянул гром. Оказалось, что эти призывы к мекленбургскому спокойствию исходили из стана паразитов, для которых затишье было необходимо, чтоб под сенью общего безмолвия упитывать свои тела. Оказалось, что эти паразиты были не только хищниками, но и глупыми людьми, которых способно было заставить врасплох всякое обстоятельство, не имеющее ближайшего отношения к процессу питания.

А ведь и они, конечно, не пропускали случая, чтоб называть себя патриотами, и они до надсады кричали: «Vive la France!»¹ — и в то же время систематически ослабляли Францию, обезоруживали ее и делали неспособной для какой бы то ни было защиты. И вот теперь, в минуту расчета, оказывается, что они были не патриотами, а только паразитами, и что идея, согревающая патриотизм, и идея, дающая жизнь паразитству, совершенно различны и несколько друг на друга не похожи.

Идея, согревающая патриотизм — это идея общего блага. Какими бы тесными пределами мы ни ограничивали

¹ Да здравствует Франция!

действие этой идеи (хотя бы даже пространством княжества Монако), все-таки это единственное звено, которое приобщает нас к известной среде и заставляет нас радоваться такими радостями и страдать такими страданиями, которые во многих случаях могут затрогивать нас лишь самым отдаленным образом. Воспитательное значение патриотизма громадно: это школа, в которой человек развивается к восприятию идеи о человечестве.

Напротив того, идея, согревающая паразитство, есть идея, вращающаяся исключительно около несытого брюха. Паразит настолько подавлен инстинктами личного эгоизма, что не может сознавать себя в связи ни с какою средою, ни с каким преданием, ни с каким порядком явлений. Хотя же и случается, что он предпочитает одну территорию другой и начинает называть ее отечеством, но это не отечество, а только оседлость. Воспитательное значение паразитства тоже громадно: в этой школе вор мелкий развивается в вора всесветного.

До сих пор произвольное деление жизни на две половины мешало сознавать это различие, но практика взяла на себя труд обозначить его с определительностью почти осязательною. Отныне нет больше сомнений. Нельзя быть паразитом и патриотом ни в одно и то же время, ни по очереди, то есть сегодня патриотом, а завтра проходимцем. Всякий должен оставаться на своем месте, при исполнении своих обязанностей.

Другой вопрос, разрешением которого угрожает разыгрывающаяся под стенами Парижа драма, — это вопрос об отношении к идее патриотизма людей необразованных и неразвитых.

Доселе существовало мнение, что, чем менее развит человек, тем больше он способен быть патриотом. Каждый начальник, хотя бы и лыком шитый, неизменно выражался так:

— Не люблю я этих умников, которые на бобах разводят, а дела не делают!

Теория эта по прямой линии исходила из той же теории бессознательности и врожденности. Последняя *implicite*¹ предполагала, что всякий вновь родившийся человек есть уже патриот, а так как новорожденный не грубит, не

¹ Тем самым.

возражает, а только портит пеленки, то и казалось, что выше этого патриотизма не может существовать.

Кроме того, существовало еще и другое соображение. Смешивали патриотизм с исполнением начальственных предписаний, и так как последние не всегда и не для всех вразумительны, то приходили к заключению, что вразумительность может быть с успехом заменена дисциплиною. Но понятия о дисциплине разнообразны до крайности. Есть дисциплина свободная, которую устанавливают свободные люди, по взаимному соглашению, в видах достижения условленных целей, и есть дисциплина несвободная, которую устанавливает, например, В и делает ее обязательною для Z, находящегося в совершенном неведении насчет целей, для которых учреждена дисциплина. До сих пор самую благонадежную признавалась именно эта последняя форма дисциплины. Она устраняла разговоры. А так как развитой человек не может минуты прожить без разговора и сверх того раздражается всякою таинственностью, то из этого естественно вытекало заключение, что выносить дисциплину, а следовательно, и быть совершенно надежным патриотом может только человек совсем невежественный.

Исполнитель глупый, но буквально напирательный или неукоснительно отступающий, считался идеалом исполнителя (патриота). Все стремились куда глаза глядят, и было великой заслугой не знать, куда стремишься. Подобного рода идеал мог быть подорван только таким положением вещей, в котором потребность рассуждать являлась бы неотразимою. В так называемой последовательности явлений минуты полной сознательности приходят чрезвычайно медленно, и издали может казаться, что в массах таится неистощимый источник всевозможных дисциплин. Но вдруг оказывается, что рассуждать необходимо, что предстоит одно из двух: или рассуждать, или пропасть...

Одна из таких истинно замечательных в истории человечества минут наступила теперь.

Невозможно сказать уверительно, до какой степени основательны восторги публицистов, повествующие о немцах-пастухах, читающих в подлиннике Еврипида, и о немцах-офицерах, пишущих с театра войны родным грамотки на санскритском языке, но нельзя не согласиться, что человек развитой уже потому является лучшим патриотом, что, обладая идеею общего блага и знанием элементов, его составляющих, может целесообразнее действовать в пользу торжества своей идеи.

Во-первых, только человек развитой способен обладать

представлением об общем строе явлений и об отношениях, между ними существующих; невежественный же человек сознает лишь явления ближайшие, касающиеся его собственной личности или личностей тех людей, которые связаны с ним узами крови и непрерывными столкновениями на одном и том же поле интересов. Так называемый *patriotisme du clocher*¹ гораздо сильнее действует в невежественном человеке, нежели в развитом, и по временам ограничивается районами почти микроскопическими. У нас, например, в некоторых местностях соседние селения аккуратно выходят друг на друга с дреколием в руках по самым ничтожным поводам и бьются в кровь до тех пор, пока голос капитан-исправника не вразумит враждующих, что все они дети одного отечества. Курский мужик наверное ничего не знает об Орловской губернии; орловский мужик не имеет никаких сведений о Курской губернии. Они не понимают, зачем им нужны эти «другие» губернии, и, следовательно, еще меньше могут интересоваться вопросом об окраинах. Им известно, что до них не только из Калиша, но и из Воронежа, «как до звезды небесной, далеко». Если курскому мужику говорят: «поляк бунтует», или «немец блудит», то в этих словах ему сказывается не вопрос о целости или величии отечества, а вопрос о рекрутчине. Будет рекрутчина — стало быть, будет надобность идти неведомо куда. Куда идти? — он даже и этого не может определить, потому что, говоря по совести, и развитому человеку определить это не всегда бывает легко. Бунтуют поляки, а его ушлют задавать страх уездному городу Соликамску. Соликамск, Лодейное Поле, Бендеры, Верхнеудинск, Свенцяны, Белебей, Таммерфорс, Лодзь, Ахалцых, Ахалкалаки, Вольмар, Корчева — вот сколько неизвестных величин он обязан любить. С нами бог! да он в первый раз в жизни слышит про эти имена! Он знает только город Щигры; он слышал, что по соседству с Щиграми существуют еще города Фатеж и Короча и что в городе Курске сидит губернатор, который вразумляет бунтующих и только по неизреченному своему милосердию оставляет невинных без взыскания. Все остальное для него миф, а вы хотите, чтоб ради этого мифа он сознательно и самоотверженно жертвовал своей головой и своими в поте лица собранными грошами! Слова нет, что и он может сделаться горячим патриотом и смело ползет в огонь и воду для исправления границ своего отечества, но

¹ Патриотизм своей колокольни.

это случится только тогда, когда его внезапный патриотизм будет неуклонно согреваться дисциплиною. Затем, может ли патриотизм дисциплинированный вполне заменить патриотизм свободный — это еще вопрос, и, кажется, в разрешении этого вопроса и заключается вся сущность дела.

Почти наверное можно сказать, что попытки заменить патриотизм дисциплиною никогда не увенчивались успехом. Происходит это оттого, во-первых, что никакими мерами нельзя вложить душу живую в человека, который может действовать только как автомат, и, во-вторых, оттого, что всякая дисциплина представляет машину, столь сложную, что строгое применение ее непременно увлечет патриотов-руководителей совсем в другую сторону от главных целей. Человек, который не знает, куда он идет, весь, со всеми своими мыслительными способностями, подавлен этою неизвестностью. Он, как самый простой поденщик, может работать со штуки, но, не зная ни значения этой работы, ни ее применений, будет все-таки действовать наугад, а чаще всего невпопад. Сработает он мало, да и эту недостаточную работу, пожалуй, необходимо будет исправлять или начинать сызнова. Но и это еще не все: самое существо дисциплины таково, что требует и непрерывного смотрения, и множества таких действий, которые угрожающим или унижающим своим характером оскорбляют даже неразвитого человека. Устраивается целая корпорация лиц с единственным назначением поддерживать дисциплину, созываются комитеты, члены которых получают прекраснейшее жалование и производят обмен мыслей, имеющий в виду ту же цель. Форма вытесняет сущность, призрак приобретает плоть и кровь.

Совсем иные черты представляет дисциплина свободная, которую добровольно связывает себя человек развитой. В его глазах отечество не просто бессвязный агрегат селений, городов, сословий и т. д., а цельный и живой организм, в котором каждая пядь территории защищает и питает следующую пядь. Если он успел доказать себе, что развитие страны находится на ложной дороге, то он не обязывается идти с ним об руку и не лишается через то наименования патриота. Бывают минуты, когда борьба против ложного общественного настроения считается признаком высшего и безукоризнейшего патриотизма, хотя, конечно, бывают и иные минуты, когда развитой человек подчиняет свой высший патриотизм патриотизму необходимости и добровольно связывает себя дисциплиною.

Как ни тяжел этот подвиг подчинения, но так как он предпринимается сознательно, то нет надобности ни следить за каждым шагом этого человека, ни входить с ним в многословные объяснения. Он ответствен не перед шпицрутеном, а перед судом своей собственной совести. Сообразите же, насколько удобнее, проще и достойнее подобная дисциплина, и подведите итог капиталам и силам, которые страна приобретет оттого только, что в идею патриотизма будет введен элемент сознательности и умственной развитости.

Во-вторых, развитой человек и в исключительной сфере практических применений имеет возможность действовать с большим успехом, нежели человек невежественный. Предложите ему вопрос о народном образовании — он укажет на лучшие методы обучения; предложите вопрос о земледелии — он укажет на лучшие способы обработки земли. Мнение, утверждающее, что рутинисты суть самые лучшие практики и дельцы, может пользоваться кредитом только в таких странах, в которых нет истинно развитых людей, а существуют лишь люди полуразвитые и круглые невежды, прикрывающие свою невежественность одними внешними формами. Такие люди действительно уступают на поприще практики людям просто невежественным, потому что, не обладая, наравне с последними, никаким реальным знанием, они, сверх того, пользуются еще общественным положением, которое освобождает их от применения даже грубой силы мышц. Но это все-таки нисколько не свидетельствует в пользу невежественности, ибо отнюдь не следует упускать из виду, что невежественность обречена всякое дело начинать с начала и только путем долгих и разорительных опытов достигать тощих результатов. Даже в деле избияния людей услуги развитого человека являются гораздо более ценными, нежели услуги человека невежественного. Дайте ружье в руки мужику, ничего не знающему, кроме сохи, — и вы измучитесь в ожидании, пока он убьет хоть одного думкопфа; дайте то же ружье в руки «умнику» — вы не успеете оглянуться, как он уже пристрелил полдюжины думкопфов. Мужик колет зря, не зная, зачем и кого колет; «умник» не только сам колет с рассуждением, но даже может начальству дать недурной по сему предмету совет.

Итак, не может подлежать сомнению, что подлинными патриотами могут считаться только развитые люди; невежды же обязываются любить деревню, село, город, а патриотами могут делаться лишь с помощью дисциплины.

И эту истину пришлось несчастной Франции популяризовать своими боками, и ей же, а не Германии, достанется честь повсеместного ее распространения. До сих пор Франция жила лихорадочною, перемежающеюся жизнью: то освещала мир лучами, то погружала его в тьму. Это происходило, по-видимому, оттого, что действительною политическою и социальною жизнью жил только Париж и другие немногие центры, уровень же развития остального населения был весьма невысок. Теперь Франции предстоит такая задача: привить Париж к остальному национальному организму. И ежели она выполнит эту задачу, то мейнингенцам едва ли удастся еще раз топтать поля ее.

Зигмарингенцам и гессенцам, конечно, очень ловко говорить: мы образованные, а вы думкопфы; наши солдаты Еврипида читают, а ваши и азбуке обучались с грехом пополам. Они забывают, что и возможность наслаждаться Еврипидом все-таки до некоторой степени обеспечивается тою же Францией, то есть Парижем. Представьте себе такое положение: Франция обратилась в Испанию, Париж — в Мадрид. Что тогда будет? — А вот что: придут паразиты, соберут всех гессенцев и при громе пушек объявят: нет вам ни школ, ни университетов, ни Еврипида! живите без наук и литературы, как живут жители уездного города Пудожя!

Для нас, русских, это открытие не новость, хотя нельзя не сознаться, что с полною основательностью мы знаем только одну половину его. Нам известно, конечно, что невежды суть невежды, но здесь и прекращаются наши сведения по этой части. Вопрос о том, можно ли сделать из невежественных людей какое-нибудь употребление, остается открытым. Мы не думали об этом по недостатку элементов для сравнений, по невозможности определить, на что способна умственная развитость. Наше народное образование находится в зачаточном положении, наше высшее образование прогрессирует задним ходом. При таком положении дела весьма естественно, что не может существовать ни верного понятия о сущности вещей, ни твердых и ясных убеждений. Одно убеждение, по-видимому, сложилось прочно — это убеждение, что знание есть рассадник бунтов, но если мы взглянем в дело ближе, то увидим, что даже и это убеждение наносное. Хладные теоретики проповедают эту quasi-истину с чужих слов. Они

слышали, что где-то, в тридевятом царстве, Иван, получив просвещение, чуть было не ограбил Петра, и в ужасе за свои карманы вопиют: вот хваленое просвещение! научили человека грамоте, а он на большую дорогу пошел! Но и у этой теории нет твердого, реального основания, потому что, не обладая самым фактом просвещения, мы не можем даже судить, какая в нем заключается сила: разрушающая или зиждущая.

Такое положение могло бы, впрочем, иметь свои удобства, если отнестись к нему откровенно, без предубеждений. Если нет просвещения, то надобно водворить его; если школы до того редки, что всякое известие об открытии нового расадника первых четырех правил арифметики заставляет открывать удивленные глаза, то надобно устроить так, чтобы подобные известия не удивляли, а казались обыденными. Говорят, что этого трудно достигнуть по недостатку материальных средств; но возражение это в значительной степени утратит свою силу, ежели мы сообразим, сколько употребляется материальных средств на устранение тех недоразумений, которые приводит за собой отсутствие просвещения. В военном отношении просвещение наполовину заменяет шасспо; на попроще гражданских доблестей — оно делает почти ненужными так называемые расходы взимания. Стало быть, поднявши умственный уровень масс, можно, без вреда для воинственных упражнений, уменьшить наполовину комплект ружей и пушек, ибо оставшаяся половина будет палить целесообразнее. Затем можно будет также наполовину сократить армию чиновников, так как последним даже палить не будет предстоять надобности. Сколько получится экономии от этих сокращений, можно судить уже по тому, что если бы, например, уменьшить наполовину только число полицейских управлений (по росписи государственных расходов на этот предмет по всей империи, за исключением Финляндии, исчисляется около шести с половиной миллионов рублей), то получится круглая цифра с лишком в три миллиона рублей. Какую массу людей можно напитать просвещением на эту сумму! А там пойдут еще акцизные надзиратели, чиновники для составления, чиновники для пересоставления, смотрители, председатели и даже чуть-чуть не губернаторы! И всего этого мы лишимся, во всем этом не будем чувствовать надобности, как только нас коснется благодать просвещения! Какая волшебная перспектива! Какая масса денег во всех карманах, какое довольство на всех лицах — и ни тени беспорядка.

Напротив, порядка будет еще больше, потому что пример Германии осязательно доказывает, что непосредственный результат просвещения совсем не бунты, а расположение читать греческих классиков в подлиннике.

Не попробовать ли?

Есть еще и третий вопрос, разрешение которого должно значительно подвинуться вперед вследствие откровений настоящей войны. Это вопрос об отношении к идее патриотизма людей, не принимающих участия в делах своей страны.

Наиболее распространенная из теорий, определяющих отношения отдельного человека к интересам страны, имеет девизом очень простое и краткое изречение — «не твоё дело». Все, что ни видится кругом, все очерчено чертой, преступить за которую — значит обнаружить поползновение очень опасного свойства. В громадных перегородах, разделяющих вселенную, мечутся мириады единиц, из которых каждая для каждой составляет запovedную область. Чем меньше связи между людьми, тем меньше столкновений. Тем тише. Тишина внутри и неприступность извне — вот идеал страны сильной и благоденствующей. Под защитой этой тишины и неприступности делается какое-то дело, но делается как-то само собой, как будто над сонмищем разрозненных единиц, присвоивающим себе название общества, парит совсем независимая сила, живущая собственной жизнью и не ведающая иных условий, кроме тех, которые заключены в ней самой. Это сила, которая устроит и дисциплинирует тишину. С изумительной настойчивостью преследует она свою цель и в конце концов действительно достигает того, что девиз «не твоё дело» не только становится внешним правилом, определяющим человеческие действия, но входит в нравы. Задачи администрации упрощаются до бесконечности; наступает минута, когда начинает даже казаться, что нечем управлять; перед глазами волнуется море людей, и хотя эти люди не связаны между собой никакой общей идеей, но все их движения поражают точностью, все приливы и отливы совершаются с правильностью, которой может позавидовать бессознательная правильность стихии. Это чудо достигается дисциплиною.

Этим все сказано. Дисциплина творит тишину, тишина обеспечивает дисциплину. Это замкнутый круг, в который

не входит иных элементов, кроме взаимного творчества дисциплины и тишины. Таковы требования теории, и они, без сомнения, достигали бы известных целей, если бы в практических применениях была возможна та же математическая точность, какая предполагается теорией. Но слабая сторона теории «не твоё дело» именно в том и заключается, что практические её применения не только не отвечают ожиданиям теоретиков, но на каждом шагу раскрывают такого рода опасности, к которым может остаться нечувствительным разве слепой и безусловный фанатизм.

Самый грубый практический способ устранения человека от деятельного участия в делах страны, к которому всего охотнее прибегали теоретики тишины, заключается в насильственном обречении массы в жертву невежественности и обеднения. По наружности это средство действительно кажется неотразимым, потому что ведь и в самом деле трудно представить себе другую силу, которая могла бы так всецело гарантировать равнодушие к общественным интересам, как гарантируют невежественность и бедность. Но, в сущности, заключение это все-таки не больше, как отвлеченное построение. Начать с того, что даже при систематическом распространении невежества невозможно обезличить человека до такой степени, чтобы он сделался скотом весь, без остатка. Да и не всегда выгодно окончательно обезличить человека, ибо даже в сфере самой грубой исполнительности встречается множество случаев, когда необходимы услуги не скотов, а людей. Затем, идя далее, мы встречаемся еще с одною случайностью, которая тоже не свидетельствует в пользу невежественности, как гарантии общественной тишины. Не подлежит сомнению, что всякий умственный уровень, от высшего до низшего, имеет минуты, когда он выбивается из обычной колеи и предъявляет требования, выходящие из ряда обыкновенных, а потому и не легко предусматриваемые. Очень возможно, что эти отклонения нежелательны, что необходимо всячески их отвращать и отдалять, но так как все-таки факт существует, то было бы непростительным легкомыслием не принимать его в расчет. Спрашивается: в каком случае факт отклонения должен облекаться в формы более мягкие — в том ли, когда он исходит из среды, стоящей на высшем уровне, или в том, когда его создает среда, находящаяся под исключительным давлением непосредственного чувства?

Это вопрос очень серьезный, и от разрешения его бесспорно зависят будущие судьбы теории, имеющей деви-

зом «не твое дело». Что, ежели окажется, что соответствие между равнодушием к общественным интересам и тишиною, которым мы так охотно задаемся, есть только призрачное соответствие? Что, ежели для уничтожения этого призрака достаточно одного случайного движения невежественной массы, — движения тем менее отвратимого, чем больше мы возлагаем упований на невозможность его? Издали нам сдается, что невежественная и обнищавшая толпа занимается только равнодушием, а она между тем требует хлеба и зрелищ. И не справляется при этом ни с положением бюджета, ни с сведениями об урожаях, ибо все это «не ее дело». Непрерывный ряд внешних стеснений ограничил «ее дело» одними требованиями желудка; она приняла это ограничение, но зато ухватилась за оставленную ей сферу тем с большею цепкостью, чем больше сделано урезок и сокращений во всех других сферах ее жизни. Спрашивается: в каких формах она выразит то единственное требование, которое она успела выяснить себе, не выяснивши при том никаких средств для удовлетворения?

Другую, менее резкую, но тоже очень решительную форму устранения от участия в общественных делах представляет так называемая административная централизация. Путем более сложным и искусственным она достигает тех же результатов, каких достигает и невежественность, то есть полнейшей безучастности ко всем интересам, кроме интересов желудка. В строгом смысле, централизация даже не может существовать, если рядом с нею не накоплена достаточная сумма невежественности, и пример стран, считающихся высокоцивилизованными, подобно Франции, нимало не опровергает этой истины.

Немыслимо, чтоб человек развитый добровольно отказался от права управлять своими действиями в пользу стороннего лица, потому что подобный отказ был бы равносителен низведению себя на степень низшего организма, а для такой прихоти не имеется никакого разумного объяснения. Существование крепкой централизации в странах цивилизованных ничего не доказывает в ее пользу, а убеждает лишь в том, к каким постыдным результатам может привести неравномерность в распределении благ, которые приносит с собой высокая степень умственного развития. Если центры настолько богаты просвещением, что могут, по справедливости, считать себя стоящими во главе человечества, и ежели и затем политическая и общественная жизнь страны томится под игмом обезличивающих ее форм, то это значит, что тут существует глубокий

перерыв, которого не может наполнить даже богатое содержание центров. Даже такие существенные выгоды, как, например, народное представительство, утрачивают все значение, благодаря изнуряющему влиянию централизации. Вопросы, разрабатываемые народным представительством, могут получать очень верное разрешение, но для масс это все-таки будут вопросы сторонние, нимало их не затрагивающие. Нет посредствующих живых звеньев, которые служили бы применителями и разъяснителями работы, совершающейся в центрах, — следовательно, не может быть и жизненного ее применения. Вместо этих живых звеньев посредником является армия чиновников, которая действует, конечно, не в смысле прилаживания общих вопросов к требованиям жизни, а совершенно наоборот, в смысле прилаживания жизни к требованиям общих вопросов. Отданная в жертву этим прилаживаниям, масса или загрубеваает, или же протестует непрерывным рядом волнений и беспокойств. И таким образом равнодушие, на которое возлагалось так много надежд, не только перестает быть источником тишины, но становится творческою силой, производящею ее нарушения.

Но пусть будет так. Пускай высказанные выше доводы останутся необедительными для теоретиков тишины во что бы то ни стало. При чем же тут, однако ж, патриотизм? каким образом вяжется он с общественным индифферентизмом? когда он требуется? в каких формах имеет возможность проявлять себя?

В том-то и дело, что тут нет и не может быть никакой связи, потому что нельзя ограничить индифферентизм исключительно одною сферою жизни и остановить его наплыв во все остальные сферы. Нельзя сказать человеку: «вот здесь, в сфере внутренних интересов, ты будешь индифферентен и скуден инициативой, а вот там, в сфере внешней безопасности, ты обязываешься быть пламенным и изобретать все, что нужно на страх врагам». Это невозможно, во-первых, потому, что внутренние интересы всегда ближе касаются человека, и, во-вторых, потому, что дух инициативы не с неба сваливается, а развивается воспитанием и практикою. Нельзя передвигать его из одной сферы в другую, смотря по надобности, особенно из такой сферы, где он встречается применение непрерывное, в такую, где предстоит применять его только, так сказать, в табельные дни. Отсутствие повседневной работы ума малопомалу доводит способности человека до нуля: с чем же он пойдет на защиту отечества, когда в этой защите встретит-

ся надобность? Где он найдет элементы для энтузиазма? Он наг снаружи и наг внутри; он ничего не знает; он игнорирует даже ту «вещь», во имя которой ему приводится расточать энтузиазм.

Но все эти соображения нимало не смущают теоретиков молчания, и причина тому очень простая. В глубине души патриотизм столько же противен им, как и вообще всякое проявление человеческой самодеятельности, и только свидетельство истории (и то в таких примерах, как Иоанна д'Арк, но отнюдь не в таких, как Вильгельм Телль) заставляет их признать в этом явлении некоторые небесполезные свойства. Поэтому выражения патриотизма хотя и допускаются, но при таких условиях, осуществление которых возможно только с помощью теории еще более искусственной, нежели изложенная выше теория повсеместного водворения безмолвия.

И тут бессознательность и врожденность служат исходным пунктом для дальнейших построений. Принятые однажды на веру, они облегчают дело настолько, что независимость патриотизма, от практических применений кажется истиною вполне доказанною и неопровержимою. Патриотизм врожден, следовательно, он всегда налицо, следовательно, его можно вызвать на сцену во всякую минуту, когда в нем есть надобность. Вот краткий, но немудрый кодекс, которым руководятся теоретики народного обезличения. Все равно как графин с водкой. Покуда нет в водке надобности, графин стоит в шкапу; как только есть надобность, графин ставится на стол, наливается рюмка или две, а затем водка опять препровождается в шкаф, а рюмки выполаскиваются и вытираются, чтоб не воняли.

Такой взгляд представлял бы несомненные удобства, если б можно было отыскать в человеческом организме такой орган, который исключительно занимался бы пристанодержательством патриотизма. Тогда представлялась бы возможность действовать по усмотрению: нужен патриотизм — приподнял клапан и выпустил пары: не нужен — завернул кран и спи спокойно без патриотизма. Но такого органа до сих пор еще не открыто...

Настоящая война практически доказала, что патриотизм более, нежели всякое другое проявление человеческого духа, находится в зависимости от воспитания и навыка. До сих пор приходилось только догадываться по справедливости этой истины, и притом догадываться по фактам изолированным и недостаточно ясным. Понятно, что и результаты таких догадок были недостаточны. Нас

не могло не поражать спокойствие и чувство собственного достоинства, которое приносит с собой, например, англичанин или американец всюду, где бы он ни появился, но мы приписывали эти свойства интимным особенностям расы и успокаивались на этом объяснении. Всякая раса, по принятому нами преданию, снабжена особою этикеткою, на выполнение которой она осуждена самою судьбой. Один народ должен быть от природы воспламенителен и хвастлив, другой — от природы туп и склонен к изобретению почтовых марок, третий — от природы смирен и не склонен ни к каким изобретениям. Но такая замкнутость расовых особенностей слишком противоречит идее человеческого прогресса, чтобы можно было примириться с нею. Только комедия, да и то плохая, может представить отверженную хвастливость, отверженное тупоумие или смиренность, в жизни же все эти качества точно так же подлежат законам разложения, как и всякое другое жизненное явление. Влияние расовых особенностей в известных случаях ослабевает и уступает место влиянию воспитания. Недостаток этого последнего объясняет все проявления дикого фанатизма с одной стороны и презренной приниженности с другой. И хвастливость, и приниженность одинаково свидетельствуют, что человек, обладающий одним из этих качеств, никогда не ощущал себя деятельным членом общества, а следовательно, никогда не мог возвыситься до идеи, что общество, независимо от своей развитости или неразвитости, есть организм настолько сильный, что выдержит всякую правду и с презрением отнесется к хвастливости и приниженности. Если этот субъект имеет способность раздражаться наносною идеей, то тем хуже для него. Это докажет только, что он во всякую минуту способен сделать себе убеждение, свободное от какой бы то ни было внутренней работы. Это паразит гораздо более опасного свойства, нежели даже другой паразит из смиренных, который доводит свое смиренномудрие до того, что охотнее назовет себя курицыным сыном, нежели признает свою национальность. Чтобы достичь этой степени смиренномудрия, нужно очень многое: быть может, нужна даже ненависть. Но, во всяком случае, ни тот, ни другой не могут называть себя патриотами по той простой причине, что ни у того, ни у другого нет органической связи с тем, что они называют своим отечеством.

Франция первая сообщила силу достоверности этому факту, доселе имевшему только характер догадки. Она практически доказала, на что была способна централиза-

ция конца XVIII столетия и на что́ она сделалась способною теперь, послужив двадцать лет послушным орудием в руках наезжих людей. В конце концов оказывается, что, как ни противоположно было действие этой силы в том и другом случае, все-таки оно не снимает с нее характера явления противообщественного, которое вредными результатами превосходит даже осадное положение. Осадное положение убивает жизнь общества временно, централизация отравляет самые корни этой жизни. Факты фанатизма и апатии, которые доносятся до нас с театра войны, — все это не что иное, как последствия того стройного административного механизма, которым гордилась Франция и которому удивлялся весь мир. Сегодня сжигают живьем человека и чуть-чуть не вздергивают на виселицу представителя страны за то, что он высказывает свободное мнение, завтра — уходят с арены военных действий толпы гард-мобилей, объявляя, что им лучше дома, чем на войне. Ясно, что такого рода проявления могут исходить только из такой среды, которая не имеет ясного понятия ни об отечестве, ни о долге и способна подчиняться лишь паническим побуждениям преувеличенного страха и не менее преувеличенных надежд.

Но ежели Франция так неожиданно познала на себе все последствия деморализации, которую влечет за собой искусственное обезличение страны, то нет сомнения, что она вынесет из этого испытания урок, поучительный не только для нее, но для всех соединенных зигмарингенцев и мекленбуржцев. Положение Франции имеет ту выгоду, что ее неудачи слишком ярко бросаются в глаза, чтоб можно было скрыть их и упорствовать на ложном пути, впредь до новых неудач. Несмотря на свое обезличение, это все-таки народ, выработавший Париж, а в нем и ту арену политических и общественных вопросов, на которую один за другим выступают все члены человеческой семьи. Для такого народа устранение причин, породивших неудачи, обязательно, и притом не частное или измороченное, а коренное, немедленное. Мекленбуржцы не понимают этой обязанности; судя по прежним примерам, они думают, что и с неудачами можно жить спокойно, если имеются ретурбилеты, а на почте не вскрывают посылки. Их войска побивают в настоящую минуту думкопфов, и вот они спешат вывести из этого лестные для себя заключения. Мы, дескать, и образованнее, и чиновники у нас честнее, и свободы больше — а все это нам пожаловано! Очевидно, однако ж, что тут упускается из вида, что то положение вещей,

которое во Франции было лишь плодом исключительного недоразумения, для многих стран, не столь взыскательных, есть положение хроническое, а для других даже желательное.

Во всяком случае, не может подлежать сомнению, что громадные события, совершающиеся на наших глазах, будут обильны не менее громадными результатами. И галльский петух, наверно, популяризирует эти результаты, и притом не суммарно, а во всей прискорбной их полноте.





Из цикла
«ДЛЯ ДЕТЕЙ»
(1869)

ДОБРАЯ ДУША

Часто я думаю: что на свете всего милее? и как ни гадаю, всегда выходит один ответ: нет на свете милее доброй души человеческой. Конечно, не всегда хорошо живется доброму человеку; конечно, он даже чаще страдает, нежели другой, который смотрит, выпучив глаза, на мир божий, и нет ему дела ни до чьих великих горестей, но и страдает-то он как-то тихо, сладко, любяще...

Хорошо встретиться в жизни с добрым человеком: во-первых, он всегда много видел, мыслил и испытал, а следовательно, и рассказать и объяснить многое может; во-вторых, самая близость доброй души человеческой просветляет и успокаивает все, что бы ни прикоснулось к ней. Как доходят люди до того, что делаются совсем-совсем добрыми, что не обвиняют, не негодуют, а только любят и жалеют — это объяснить сразу довольно трудно. Однако можно почти без ошибки сказать, что достигнуть этого нельзя иначе, как путем постоянной работы мысли. Когда человек много мыслит, когда он рассматривает не только внешние признаки поступков и действий своих ближних, но и ту внутреннюю историю, которая послужила подготовкой для них, то очень трудно бывает оставаться в роли обвинителя, хотя бы внешние признаки известного действия и возбуждали негодование. Коль скоро мысль объясняет и очищает действие от запутывающих его примесей, сердце не может

не растворяются и не оправдывать. Преступники исчезают; их место занимают «несчастные», и по поводу этих «несчастных» горит, томится и изнывает добрая человеческая душа...

Много встречаем мы на свете людей, но, к сожалению, большая часть их принадлежит именно к числу таких, которые ходят с выпученными глазами и ни о чем слышать не хотят, кроме своих маленьких личных интересов. Эти люди самые несчастные, несчастнее даже тех, кого мы называем собственно преступниками. У настоящего «преступника», может быть, вся душа переболит прежде, нежели он решится на преступление, а этот, что ходит с выпученными глазами по улице, на каждом шагу делает свои маленькие гадости и даже не чувствует, что эти гадости — те же преступления и что из их темной массы исходят все мирские несчастья.

Но встречается немало и добрых людей, и вы, милые дети, всегда скорее всех успеваете отличить их. Когда вы чувствуете, что вам легко и приятно около какого-нибудь человека; когда ваши лица расцветают улыбкою при виде его, когда вас инстинктивно манит приласкаться к нему... знайте, что это такой же чистый и милый человек, как и вы сами; знайте, что около вас бьется именно то самое доброе человеческое сердце, о котором я хочу повести здесь речь.

Нигде так много не встречается добрых душ, как между женщинами. Мужчина почти всегда по горло занят мелкими своими житейскими делами; он больше на народе, он чаще вынуждается вести борьбу, видеть и терпеть несправедливости. Поэтому у него более поводов воспитывать в себе чувство досады и нет времени соображать свои выводы с выгодами других, нет времени и прощать. Сверх того, известная доля самостоятельности сообщила его действиям несколько хищнический характер, вследствие чего любимыми его пословицами стали: «На то война!» да «Затем в море щука, чтоб карась не дремал!» Напротив того, женщина с самых малых лет почти всегда одна и всегда в загоне; действительная роль, на которую — по крайней мере, в настоящее время — осуждена женщина, — это роль безмолвия и исполнения чужих желаний и прихотей. Вот она и молчит, но в то же время думает, много думает. И чем больше она думает, чем томительнее тянется ее собственная одинокая жизнь, тем более растворяется любящее, доброе сердце. Она видит, как суетится и кололится весь свой век мужчина, как он лукавит и изворачивается из-за куска насущного хлеба, и мысль о «несча-

стии», которое как бы сетью какую опутало весь людской род, сама собой возникает в ее голове. Муж ли вернется домой злой и хмельной, она думает: «Господи! какой он несчастный!» Сын ли окажется уличенным в незаконных делах, она думает: «Господи! как он должен страдать и как нужно, как нужно ему любящее сердце, которое могло бы вселить мир в его тоскующую душу!»

И когда женщина захочет утешить скорбящего человека, то можно сказать наверное, что в целом мире не найдется слаще и лучше того утешения. Нет татя, у которого не открылся бы источник слез при виде умиротворяющей женской ласки; нет душегуба, которого сердце не дрогнуло бы перед любящим женским словом. И не потому только, чтобы эта ласка или слово усыпляли человека или заставляли его забыть что-нибудь, а потому, что эта ласка, это слово восстанавливают искаженный человеческий образ, что они вдруг очищают его душу от наносной житейской грязи, что они хотя и не уничтожают прошлого, но делают невозможным возврат к нему...

Когда я был в той труппе, о которой вам недавно рассказывал, то случай свел меня именно с одною беспредельно доброю женщиной, воспоминание о которой будет благословенно для меня до конца моей жизни. Об ней-то я и поведу с вами речь.

Это была вдова мещанина, Анна Марковна Главщикова. Муж ее когда-то был достаточным купцом, но потом прожился, разорился и умер в мещанах, оставивши Анне Марковне самое ограниченное состояние. Как теперь помню, жила она в своем маленьком одноэтажном, об трех окнах на улицу, домике, около которого стоял довольно поместительный анбар с большими створчатыми дверьми. В этом анбаре, наполненном всяким мелочным товаром, обыкновенно торговал Марк Гаврилыч, отец Анны Марковны, старичок древний, словно мохом покрытый, который уже почти ничего не слышал и не видел, но выпустить из рук бразды правления не соглашался. В помощь ему был определен Сережа, довольно бойкий мальчуган, приходившийся Анне Марковне чем-то вроде племянника, и совокупными усилиями они как-то успевали вести дела не в ущерб, хотя отец протопоп соседней церкви всякий раз, как проходил мимо лавки Главщиковых, никак не мог утерпеть, чтоб не сказать:

— Старость да младость в союз вступили; обе вопиют: «Помози!»

Когда я зазнал Анну Марковну, она была уже женщи-

на лет за пятьдесят. Лицо у нее, по-видимому, и в прежние, молодые годы нельзя было назвать красивым, но добродушие и какое-то счастливое спокойствие так и светились во всех его чертах. Часто чувствительность заставляла ее плакать, но она плакала без всяких усилий; брызнут сами собой слезы из глаз и потекут по старчески румяным щекам; и видно было, что ей легко плачется и сладко плачется. Часто она тоже вздыхала, но это были не настоящие вздохи, а какое-то тихое всхлипывание, совершенно подобное детскому. Вообще некрасивость ее была такого рода, что к ней очень скоро можно было привыкнуть, и чем больше с нею свыкаешься, тем лучше и свободнее при ней себя чувствуешь, так что под конец, пожалуй, это лишенное всякого изящества лицо покажется краше любой красы.

На дворе у ней всегда бегало великое множество детей. Тут были и дети бедных родственников Анны Марковны, и сироты бездомные, которых она как-то умела всюду отыскивать. Поэтому возня на дворе и у ворот, около лавки, была всегда страшная. Кто на доске скачет, кто в песке копается, кто пироги из глины месит, кто с индейским петухом разговаривает, кто, наконец, подкрадывается к дедушке Марку Гаврилычу и норовит снять у него с носа толстые серебряные очки.

— Кшш... пострелята! — крикнет на них бабушка; но крикнет так незлобиво, что «пострелята» с звонким хохотом брызнут во все стороны и тут же начинают совещаться, какой бы сочинить новый поход против бабушки.

Эта любовь Анны Марковны к детям послужила соединительною связью между ею и мною. Я не могу пройти мимо маленького ребенка без того, чтоб не погладить его по головке или не дать ему пряничка. Анна Марковна сразу заприметила это мое свойство, и стал я ей люб. А еще любее я сделался ей, когда она узнала, что я принадлежу к числу «несчастеньких», что я тоже в своем роде «узник», хотя и хожу каждый день на службу в губернское правление, чтобы, как выражался Марк Гаврилыч, «всякую вреду строить». А в глазах Анны Марковны после младенца не было в свете краше человека, как «несчастенький» или «узник».

И вот однажды, когда я, настроив в течение утра сильное количество «вреды», возвращался из губернского правления домой и, остановившись около лавки, беседовал с обступившими меня «пострелятами», из калитки ворот вышла сама Анна Марковна.

— Да вы, барин миленький, хоть бы чайку чашечку выкушать зашли! — сказала она мне, — а то уж как-то и стыдно мне, старухе! Все-то вы эту вольницу-то мою ласкаете да дарите, а мне вас и побаловать-то ничем еще не удалось! пожалуйста, миленький, познакомимтесь!

Я пошел за нею, и с той минуты, как переступил порог этого дома, на душе у меня как-то повеселело. Как будто кто-то издали улыбнулся мне и прилепел меня, как будто давно затерянный и вдруг снова обретенный друг крепко-крепко прижал меня к груди своей.

Часто, почти каждый день я беседовал с нею, и все, что я уже знал, о чем говорила мне книга, все это как будто бы я во второй раз понял, понял и сердцем, и мыслью, и всем существом. Книга жизни, в которой каждое слово как будто дышало и билось, раскрылась передо мной со всеми своими болями, со всей жадной счастья, которое, словно мираж, манит и трепещет на горизонте, понапрасну только изнуряя и иссушая грудь бедного странника моря житейского. Эта простая, но беспредельно добрая женщина много потрудилась на своем веку и много думала, но додумалась только до любви и прощения. Она не получила никакого образования и потому не всегда умела уяснить себе причины того или другого явления; но так как, в ее лета и при ее обстановке, помочь этому недостатку было уже невозможно, то она совершенно естественно возмещала его тем усиленным горением сердца, которое доступно даже наиболее простому человеку и которое в то же время так много способствует увеличению в мире суммы добра.

Особенными фаворитами ее были: во-первых, дети, во-вторых, мужики, и в-третьих, преступники, или, как она всегда выражалась, узники.

— Не знаю, как ты, дружок, — говаривала она мне (она очень скоро подружилась со мной и начала говорить мне «ты»), — а я так до страсти этих ребятишек люблю! Первое, умны и заняты они очень, второе — зла в них вот ни на эстолько нет! И не думай ты, друг мой, чтобы этакой малец чего бы нибудь не понял! Нет, он, плутяга, от земли на аршин вырос, а уж все смекнул! Ведь он тот же большой человек, только в малую формочку вылит; все равно как вот солнышко в капельке играет, так и в него настоящий-то человек смотрится.

Говоря это, она гладила маленького внука Сережу, который фыркал от удовольствия, слушая бабушкины речи, и тем несомненно подтверждал справедливость их.

— А расскажите-ка, Анна Марковна, что-нибудь про

крестьянскую нужду? — спрашивал я ее иногда, зная, что это один из любимых ее предметов и что ничем нельзя сделать ей большего удовольствия, как доставив случай побеседовать об нем.

— Ах, какая это нужда, мой друг! какая это тяжкая нужда! Кажется, и сердце-то все сгореть должно, как бы настоящим манером подумать об этой нужде!

— И полноте, Анна Марковна! живут они себе припеваючи, только тесненько немножко! — скажешь ей на это, чтоб подстрекнуть и пошутить над ее горячностью.

— Нет, не говори, даже не шути ты этим! Ты взойди только в избу-то крестьянскую, ты попробуй хлеба-то, который они едят, так она, нужда-то ихняя, сама так в глаза тебе и кинется. И опять подумай ты, что для этого ихнего хлеба мякинного да для пустых щей должен он целый век, до самой смерти своей, все работать, все работать! Как только Бог души их держит, как только сила-то в них еще остается! Ведь по-настоящему-то, от этих пустых щей бока у человека промыть должно, а он все-то скрипит, все-то работает! И не для себя все работает... да, не для себя!

— А вот в газетах, Анна Марковна, пишут, что мужик оттого беден, что пьет не в меру! — опять пошутишь над нею.

— Врут все они, врут твои газеты! — вскинется она на меня, — вот кабы и ты поменьше этих враньев-то писал, и ты бы в этой трущобе-то не жил, а, пожалуй бы, в звездах да в лентах мостовые гранил! Ты подумай, какое они слово, эти газетчики-то твои, говорят! Пьет мужик! А сколь часто он пьет, спросила бы я тебя? В неделю, а не то и в месяц раз, на базаре бывши! А слышал ли ты, как мужик на базар-то едет, с чем едет и что он там делает?

— Нет, Анна Марковна, признаться, мало я эти дела знаю.

— Так вот я тебе расскажу. Едет мужик на базар ночью, чтобы поспеть ему в город раным-рано, чуть брезжить начнет. Не спит он, все около воза идет и так-то ноги свои отколотит, что они у него словно из лаптей вырастать станут. И идет он таким манером верст десятки, и в мокреть, и в пыль, и в снег, и во вьюгу, и в дождик. И лицо-то у него от мороза белеет, и ноги мозжат, и сон-то его валит, а он все идет, все идет, словно у него и невесть впереди какая радость стоит. А везет он, мой друг, на возу-то на своем... знаешь ли, что он везет? Душу свою, друг мой, он везет! душу свою, которая цельную неделю день-деньской надрывалася, недопивала, недоедала, а все

думала: «Господи! как бы мне на соль да на щи пустые осталось, чтобы мне христианскою смертью помереть, а не околеть с голоду, как собаке!» Ну, вот, приехал он, продал свою душу-то на базаре... как ты думаешь, куда он деньги-то свои наперед всего понес? В подати, мой друг, в подати!

— Однако, Анна Марковна, согласитесь, что ведь и казна должна же чем-нибудь жить!

— Знаю, дружок, знаю, что подати платить, — самое есть первое дело, да не про то я с тобой и говорю! Я говорю, как мужику-то больно, как у него сердце-то его бедное щемит! И назябнется-то он, и недоспит-то, и обманут-то его, и оберут-то! Что делать-то ему! ты скажи, что ему делать-то?

— И все-таки не резон в кабак ходить!

— Ну, брат, я вижу, что ты меня только нарочно в сердце вводить хочешь! Ин, прощай лучше, бог с тобой!

— Ну, полноте, Анна Марковна! вы видите, что я шуточки шучу. Не пошуту я с вами, вы бы не расходились так, да и я бы не знал, как мужики на базар ездят.

— То-то, мой друг, надо эту жизнь знать, чтобы об ней говорить, а тем паче народ смущать своими речами! Я сама хоть и купчихой росла, а тоже недалеко от этого звания выросла. Вот и ты как станешь вникать, тоже будешь знать, благо наука эта не очень мудреная. И помяни ты мое слово, запомни ты эту приметку: как взглянешь ты на нашего мужика, да затоскует в тебе сердце твое, тогда говори смело: знаю, мол, я нашего русского мужика, потому что без жалости смотреть на него не могу! И будет он тебе так мил, так мил, что и пониток-то его рванный краше ризы нешвенной покажется!

Много рассказывала в этом роде Анна Марковна, и я никогда не уставал наслушаться рассказов ее. Говорила она, как родится русский мужик, как он, словно крапива у забора, растет, покуда в меру разума войдет; говорила, как пашет, боронит, косит, молотит, веет русский мужик, и все куда-то везет, все везет! говорила, как умирает русский мужик кротко, покорно, истово... Рассказы эти не разжигали меня, не поднимали во мне горечи, но, напротив того, как будто смягчали мое сердце. И мне кажется, что действительно бывали в жизни моей такие моменты, когда при взгляде на мужика сердце мое начинало тосковать, и что этими моментами я обязан никому иному, как именно милой моей Анне Марковне.

— Ну, а «несчастненьких»-то ваших за что вы любите?

ведь не за добродетели же они, а за преступления свои узниками-то сделались!

— Да ты, дружок, подумай крошечку, так и увидишь, может быть, что настоящие-то преступники не в остроге сидят, а тут вот, промеж нас с тобой, в миру в вольном веселятся да благодуществуют!

Ответ этот несколько смутил меня. Конечно, думалось мне, есть такие ответы... есть! Но как могла дойти до них простодушная мещанка города Крутогорска? Какую такую свою собственную теорию неменяемости соорудила она в голове своей? Ведь при помощи одних внешних признаков, которые только и доступны той степени развития, на которой она находилась, нельзя же прийти к таким нешуточным обобщениям!

На поверку, однако ж, оказалось, что вопросы жизненные, даже наиболее мудреные, суть именно такие вопросы, относительно которых процесс мысли самый простой и процесс самый сложный очень часто сходятся между собой и приводят к одинаковым результатам. Единственное при этом условие, которого нельзя обойти, заключается в том, чтобы мысль шла прямо, чтобы она не увлеклась изворотами и честно и посылно разрешала вопросы, которые представляются ее вниманию.

— Как ты думаешь, — продолжает между тем Анна Марковна, — от сытости, что ли, вор ворует, от хорошего житья грабитель на дорогу выходит? Или, по-твоему, человек так и родится злодеем? Так вот они, — дети-то! гляди на них! Вот их тут охапка целая, как хочешь, так их и поверни!

Взгляну я на детей, и в самом деле убеждаюсь, что все они такие бравые, добрые и умные, что никак даже вообразить себе нельзя, чтоб из них вышли когда-нибудь злодеи и грабители. Правда, что маленький Петя постоянно ведет упорную борьбу с старым козлом, который греется у конюшни на солнце, и даже нередко обижает старика, но ведь у него на это свои резоны есть.

— Тетенька! Васька возить меня не хо-о-чит! — оправдывается он всякий раз, как Анна Марковна принимает сторону разобиженного козла.

— Да ведь он, голубчик, старенькой! — увещевает его тетенька.

— Дедушка тоже старенькой, а вот возит!

Во всяком случае, этот признак вовсе не столь решительный, чтобы из него можно было выводить заключение. Да и житье Васьки-козла, в сущности, совсем не ху-

дое: сколько раз в сутки тот же самый забияка Петя, натешившись над ним, и хлебца ему даст, и молочка принесет...

— Узы, мой друг, везде есть, — продолжает свою речь Анна Марковна, — и как тяжелы... ах, как тяжелы эти узы! Только понять их нелегко, потому что ищем мы их не там, где искать следует, и на то только горе бежим, которое само нам в глаза тычется! Как думаешь ты, под забором-то расти — не узы это? большую-то дорогу своими ногами обколачивать — и это тоже не узы? А кабак-то! а воровства, да грабительства, да убийства — ведь это, коли хочешь, даже не просто узы, а из всех уз узы! Вот они где, наши мужицкие-то узы, зреют-назревают, а ты их в остроге да между заключенными ищешь! Там ведь, дружок, уж развязка одна, а ты подумай только, какими путями-дорогами до этой развязки-то дойдено!

И от слова Анна Марковна немедленно переходила к примерам, которых знала немало.

— А ты вот попробуй-ко с лаской к нему подойти, к тому, которого ты душегубом-то называешь, так и увидишь, как его, сердечного, от душевной-то муки перевертывать начнет!

— А вы, верно, пробовали, Анна Марковна?

— Пробовала, сударь, не хвастаясь скажу: не однажды пробовала. Был, я тебе расскажу, у нас в здешнем остроге большой грешник перед Богом, Василий Топор назывался. Сколько этот Васютка душ христианских безвременно сгубил — так это и сказать невозможно. Читали это, читали, как на эшафот-то его вывели — даже и на народ-то словно бы страх напал! А он стоит этак, руки назад к столбу связавши, и даже в лице нисколько не изменился! И начали его полысать... Я сама тут, мой друг, была, и хоть мне не впервые эти страсти человеческие видеть, однако и я удивилась, какую он в своем сердце, даже под плетьюми, отвагу сохранил! Только ворочаюсь я с торговой-то площади домой, словно пьяная, и думаю: «Господи! да неужто ж есть на свете такой человек, который не видел бы лица твоего!» И решила я тогда же пойти к нему в больницу и утешить его...

Анна Марковна останавливалась и несколько мгновений не могла продолжать от волнения.

— Вот и пришла я к нему в больницу... Много ли, мало ли говорили мы между собой, — не мудреные, мой друг, наши речи! — только стал он понемногу смягчаться. «Васенька! — говорю я, — сердце у тебя, друг мой, горя-

чье, укроти ты его, утоли ты вредную строптивость свою!» Посмотрел он на меня, и словно как бы в первый раз ему в голову что пришло. «Не стерпел ты уз своих тесных, говорю, в лесах да по дорогам горе свое большое разнести захотел!» — «Не стерпел», — прошептал он. «А ты бы, говорю, подумал, какие узы другие-то христиане терпят; может, горше твоих!» — «Горше», — говорит. И вижу я, стал он напряживаться, и пот по нему проступать начал. И вдруг он хлынул. Только какая это горесть, друг мой, была, я даже выразить тебе это не могу! Уж не то что плачет или рыдает, а просто криком кричит!.. И мучится... и мучится... Так мне после этого пятна-то, которые у него на щеках да на лбу напаянны были, краше честного девичьего румянца показались!

Признаюсь откровенно, когда я выслушал этот рассказ, из глаз моих полились невольные слезы. Мне почуялось, что я вдруг сделался чище и лучше, нежели был прежде, и что за всем тем, я и пяди не стою этой простой и милой женщины, которой голос, точно горнило всеочищающее, умеет проникать в самые темные тайники души и примирять с совестью самые упорные и закаленные натуры.

— Так вот как насмотришься этаких примеров, — продолжала она, — так и посовестишься сказать про человека: вот вор! а этот вот убийца! Ведь и убийце Христос сердце растворил, ведь и в ад он, батюшка, сходил... а мы!

Давно нет уж на свете Анны Марковны, но я до сих пор благословляю ее память. Я убежден, что ей я обязан большею частью тех добрых чувств, которые во мне есть. Я мог бы привести здесь много разговоров, которыми мы коротали с нею долгие зимние вечера; я мог бы рассказать, как она учила детей идти прямою и честною дорогой и даже под страхом смерти не сворачивать с нее, но предпочитаю возвратиться к этому предмету в особом рассказе.

Скончалась она тою самою «крестьянскою» смертью, о которой столько раз говорила и которой сильно желала. В один из теплых, весенних дней, возвращаясь из церкви, она промочила ноги и простудилась. Вечером я ее еще видел, и хотя тут был лекарь, который запрещал ей говорить, но такая уж она была словоохотливая старушка, что удержаться никак не могла. На другой день утром я узнал, что Анна Марковна уснула...

Марк Гаврилыч жив и до сих пор, но от старости уж

ничего не говорит, а только все плачет. Сережа, старший внук, достиг двадцати лет и управляет дедушкиным капиталом, которого, за добродетель Анны Марковны, набралось очень довольно. Часто проходя мимо знакомого дома об трех окошках, я видел, как в одном из них улыбалось личико хорошенькой мещаночки, добрым выражением своим напоминавшее лицо покойной тетеньки. Я знал, что это личико принадлежит жене Сережи и что в доме все счастливы, как будто живет еще в нем и приголубливает всех и каждого вечно любимая тень Анны Марковны.





Из цикла рассказов
«ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ»
(1863—1874)

**ПОМПАДУР БОРЬБЫ,
ИЛИ ПРОКАЗЫ БУДУЩЕГО**

Я с детских лет знаю Феденьку Кротикова. В школе это был отличный товарищ, готовый и в форточку покурить, и прокатиться в воскресенье на лихаче, и кутнуть где-нибудь в задних комнатах ресторанчика. По выходе из школы, продолжая оставаться отличным товарищем, он в каких-нибудь три-четыре года напил и наел у Дюссо на десять тысяч рублей и задолжал несколько тысяч за ложу на Минерашках, из которой имел удовольствие аплодировать m-lle Blanche Gandon. Это заставило его взглянуть на свое положение серьезнее. Роль доброго товарища обходилась слишком дорого; надо было остепениться и избрать карьеру. И вот, не прошло четырех лет — слышим, что он, прямо из-под ферулы Дюссо, вдруг выказал необыкновенный административный блеск. Еще немного — и Феденька был уже помпадуром в городе Навозном...

Каким образом все это случилось — никто не мог дать себе отчета. Все видели, что Феденька сидит у Дюссо, но никто не подозревал, что он сидит неспроста, а изучает дух времени. У Дюссо же, кстати, собираются наезжие помпадуры и за бутылкой доброго вина развивают виды и предположения, какие кому бог на душу пошлет, а следовательно, для молодых кандидатов в администраторы луч-

шей школы не может быть. И Феденька воспользовался ею вполне, то есть прислушивался и смекал. И вот, когда он понял, что для современного администратора ничего больше не требуется, кроме свободных манер, то тотчас же сообразил, что и он в этом отношении не лыком шит. Проникнув в известные сферы, из которых, как из некоего водохранилища, изливается на Россию многоводная река помпадурства, Феденька, не откладывая дела в долгий ящик, сболтнул хлесткую фразу, вроде того, что Россию губит излишняя централизация, что необходимо децентрализовать, то есть эмансипировать помпадуров, усилив их власть; что высшая администрация слишком погружена в подробности и мелочи; что мелочи отвлекают ее от главных задач, то есть от внутренней политики и т. д. Одним словом, высказал все, что говорится у Дюссо за стаканом доброго вина наезжими и жаждущими эмансипироваться помпадурами. Сболтнул — и понравился; понравился — и был признан способным уловлять вселенную...

Я первый порадовался возвышению Феденьки. Во-первых, я знал, что у него доброе сердце, а, по моему мнению, в помпадуре это главное. Если помпадур настолько простодушен, что ничем другим, кроме внутренней политики, заниматься не может, и если при этом он еще зол, то очевидно, что он не сумеет дать другого употребления своему досугу, кроме угнетения обывателя. Злая праздность подозрительна и ревнива. Лишенная знания и тех ограничений, которые оно приносит с собой, она заменяет его простым нахальством, и потому всюду вмешивается, во всем сознает себя компетентною, всем мешает, везде видит посягательство, покушение, оскорбление. Она с утра до вечера хлопает глазами и все ищет, как бы кого истребить, скрутить, согнуть в бараний рог. Клянусь, ничего тут хорошего нет. Напротив того, праздность невежественная, но соединенная с добродушием, не только не вредит, но даже представляет некоторые выгоды. Добрый помпадур застенчив; он никому не мешает и даже избегает лишних объяснений, потому что боится сболтнуть что-нибудь несообразное и выказать несостоятельность. Сознывая себя осужденным исключительно на внутреннюю политику, он все значение последней полагает в том, чтобы не препятствовать другим. Он посещает клуб — и всех призывает к согласию. Он ездит на пироги, обеды и ужины — и всем желает благополучия. Хороши добрые, невежественные помпадуры! При них обыватель с доверием смотрит в глаза завтрашнему дню, зная, что он встретит его в своей

постели, а не на съезжей и что никто не перевернет вверх дном его существования по обвинению в недостаточной теплоте чувств. И вот этого именно, этой незлобивой невежественности, соединенной с доброжелательным отношением к обывателю, ждал я и от Феденьки.

Во-вторых, мне было известно, что Феденька имеет и другое драгоценное качество, — что он либерал. Это было время либерализма почти повального, то время, когда вдруг всем сделалось тошно и душно. Феденька отлично выразил это чувство в особенной докладной записке, представленной им по этому случаю. «Воспрещение курить на улицах, — писал он в этой записке, — ограничения относительно покроя одежды, в особенности же истинно-диоклетиановские гонения противу лиц, носящих бороды и длинные волосы, — все это, вместе взятое, не могло не оказать пагубного воздействия на общественную самодеятельность. Чувствуя себя на каждом шагу под угрозой мероприятий, большею частью направленных противу невиннейших поползновений человеческого естества, общество утратило веру в свои творческие силы и поникло под игом постыдного равнодушия к собственным интересам. Посему, и в видах поднятия народного духа, я полагаю бы необходимым всенародно объявить: 1) что занятие курением табака свободно везде, за нижеследующими исключениями (следовало 81 п. исключений); 2) что выбор покроя одежды предоставляется личному усмотрению каждого, с таковым, однако ж, изъятием, что появление на улицах и в публичных местах в обнаженном виде по-прежнему остается недозволительным, и 3) что преследование за ношение бороды и длинных волос прекращается, а все начатые по сему предмету дела передаются забвению, за исключением лишь нижеследующих случаев (поименовано 33 исключения)». Как хотите, а человек, начинавший свой административный бег с такими смелыми задатками, не мог не заслуживать некоторого доверия. Притом же, излагая столь ясно свои либеральные убеждения, он ведь и рисковал. Он ставил на карту все свое административное будущее, ибо ежели смелость его могла понравиться, то она же могла и не понравиться и, следовательно, наделать ему хлопот. Мало того: он мог прослыть опасным мечтателем. К счастью, он попал в такую минуту, когда смелые начинания нравились...

Как бы то ни было, но Феденька достиг предмета своих вожделений. Напутствуемый всевозможными пожеланиями, он отправился в Навозный край, я же остался у

Дюссо. С тех пор мы виделись редко, урывками, во время наездов его в Петербург. И я с сожалением должен сознаться, что мои надежды на его добросердечие и либерализм очень скоро разрушились.

Первое время административных подвигов Феденьки было лучшим его временем. Это было время либерализма безусловного, которому не только не служило помехой отсутствие мудрости, но, напротив того, сообщало какой-то ликующий характер. Феденька рвался вперед, нимало не думая о том, какие последствия будет иметь его рвение. Он писал циркуляры о необходимости заведения фабрик, о возможности, при добром желании, населить и оплодотворить пустыни, о пользе развития путей сообщения, промыслов, судоходства, торговли, и изъявлял надежду, что земледелие, споспешествуемое, с одной стороны, садоводством, а с другой, разведение улучшенных пород скота, принесет желаемые плоды и, таким образом, оправдывает возлагаемые на него надежды. Он призывал к себе для совещания купцов и доказывал им неотложность учреждения кожевенных и мыловаренных заводов, причем говорил: прошу вас, господа, а в случае надобности, даже требую. Он приглашал дворян и говорил, что дворянское сословие всегда было опорой, а потому и теперь должно первое подать пример. В ожидании же результатов этой судорожной деятельности, он делал внезапные вылазки на пожарный двор, осматривал лавки, в которых продавались съестные припасы, требовал исправного содержания мостовых, пробовал похлебку, изготовляемую в тюремном замке для арестантов, прекращал чуму, холеру, оспу и сибирскую язву, собирал деньги на учреждение детского приюта, городского театра и публичной библиотеки, предупреждал и пресекал бунты и в особенности выказывал страстные порывы при взыскании недоимок.

Но увы! из всех этих либеральных затей Феденька достиг относительного успеха лишь по части пресечения бунтов и взыскания недоимок. Ко всем прочим его запросам общество отнеслось тупо, почти безучастно. Фабрики не учреждались, холера не прекращалась, судоходство не развивалось, купцы продолжали коснеть в невежестве, а земледелие, споспешествуемое сибирскою язвою, давало в результате более лебеды, нежели истинного хлеба. Это тем более озадачило Феденьку, что он, как вообще все администраторы, кончившие курс наук в ресторане Дюссо, не имел надлежащей выдержки и был скорее

способен являть сердечную пылкость, нежели упорство в преследовании административных целей.

Тогда наступил второй период кротиковского либерализма, либерализма меланхолического, жалующегося, укоряющего. Хотя Феденька еще не пришел к отрицанию самого либерализма, но он уже разочаровался в *либералах* и довольно громко выражал это разочарование.

— Любезный друг! — говорил он мне в один из своих приездов в Петербург, — я просил бы тебя ясно представить себе мое положение. Я приезжаю в Навозный и вижу, что торговля у меня в застое, что ремесленность упала до того, что *à la lettre*¹ некому пришить пуговицу к скюртуку, что земледелие, это опора нашего отечества, не приносит ничего, кроме лебеды... *J'espère que c'est assez navrant, ça? hein! qu'en diras-tu?*

— *Mais oui... le tableau n'est pas de plus agréables...*²

— *Eh bien*, я вижу все это — и, разумеется, принимаю меры. Я пишу, предлагаю, настаиваю — и что ж? Хоть бы одна каналья откликнулась на мой голос! Ничего, кроме какого-то подлого сопения, которое раздается изо всех углов! Вот они! вот эти либералы, на которых мы возлагали столько надежд! Вот тот либеральный дух, который, по отзывам газет, «охватил всю Россию!» Черта с два! Охватил!!

Тем не менее Феденька не сразу уныл духом; напротив того, он сделал над собой новое либеральное усилие и по всем полициям разослал жалостный циркуляр, в котором подробно изложил свои огорчения и разочарования.

«Неоднократно замечено было мною, — писал он в этом циркуляре, — что в нашем обществе совершенно отсутствует тот дух инициативы, с помощью которого великие народы совершают великие дела. Но раз указывал я, что путей сообщения у нас, можно сказать, не существует, что судоходство наше представляет зрелище в высшей степени прискорбное для сердца всякого истинного патриота, что в торговле главным двигателем является не благородная и вполне согласная с предписаниями политико-экономической науки потребность быть посредником между потребителем и производителем, а гнусное

¹ Буквально.

² Надеюсь, это достаточно печально, а? что ты на это скажешь? — Ну, конечно... картина не из приятных...

желание наживы, что земледелие, этот главный источник благосостояния стран, именующих себя земледельческими, не радует земледельца, а землевладельцу даже приносит чувствительное огорчение. Указывая на все вышеизложенное, я питал надежду, что голос мой будет услышан и что здоровые силы страны воспрянут от многолетнего безмятежного сна, дабы воспользоваться плодами оного. Скажу более: я был уверен, что отечество наше, искони превосходя государства Западной Европы беспрекословным исполнением начальственных предписаний и непреборимым благочестием, станет наряду с ними и с точки зрения промышленности и полезных изобретений. И тогда, думалось мне, то есть если б все сие осуществилось, не имели ли бы мы полное основание воскликнуть: с нами Бог — кто же на ны?!

Но, к великому и душевному моему огорчению, я усматриваю, что наше общество продолжает коснеть все в том же бездействии, в каком я застал его и в первое время по приезде моем в Навозный край. А именно: путей сообщения не существует, судоходство в упадке, торговля преследует цели низкие и неблагородные, а при взгляде на земледелие единственная мысль, которая приходит в голову, есть следующая: все труждаются зиждущие! К сему, с течением времени, присоединились: процветание кабаков и необыкновенный успех сибирской язвы. Спрашивается: при всем преыдущем и при деятельном пособничестве последующего, какое имеем мы основание восклицать: кто же на ны?!

Уже умственному моему взору без труда представляется удручающая сердце картина будущего. Край пустынен; полезные и кроткие породы птиц и зверей уничтожились, а вместо оных господствуют породы хищные и неполезные; благочестие упразднилось, а вместо оного царствуют пьянство и разврат! Какое сердце патриота не содрогнется при виде столь ужасного зрелища, даже если бы оно было лишь плодом моей предусмотрительной фантазии?!

А между тем из архивных дел достоверно усматривается, что некогда наш край процветал. Он изобиловал туками (как это явствует из самого названия «Навозный»), туки же, в свою очередь, способствовали произрастанию разнородных злаков. А от сего процветало сельское хозяйство. Помещики наперерыв стремились приобретать здесь имения, не пугаясь отдаленностью края, но думая открыть и действительно открывая золотое дно.

Теперь — нет ни туков, ни злаков, ни золотого дна. Какая же причина такого прискорбного оскудения?

Я знаю, что упразднение крепостного права многие надежды оставило без осуществления, а прочие и совсем прекратило; я, вместе с другими, оплакиваю сей факт, но и за всем тем спрашиваю себя: имеется ли законное основание, дабы впадать, по случаю оногo, в уныние или малодушие?

Тем не менее я не вхожу в подробное рассмотрение этого вопроса, ибо рассмотрение привело бы меня к расследованию, которое, в свою очередь, повлекло бы за собою полемику, которой, в моем положении, я всячески должен избегать. Ограничиваюсь лишь следующим кратким замечанием. Помещики, под влиянием досады, возбужденной в них упразднением крепостного права, бросились вырубать принадлежащие им леса и продавать оные за бесценок. К сожалению, ощутительной выгоды от сего они не получили никакой, а стране между тем причинили несомненный ущерб. С истреблением лесов надолго, если не навсегда, утвердилось господство иссушающих ветров, которые, не встречая преград в своем веянии, повсюду производят пагубнейшее действие. Обмеление рек уже возымело начало, а в близком будущем предвидится и недостаток влажности в воздухе. Поля угрожают хроническим бесплодием, а человеческие легкие будут лишены возможности вдыхать животворную влажность воздуха. В каком же положении, среди всего сего, нахожусь я, на которого доверие начальства возложило заботы по обеспечению народного продовольствия, равно как и по охранению народного здоровья?!

Ввиду всего вышеизложенного, я вновь и в последний раз предлагаю принять решительные меры (не прибегая, однако ж, до времени, к экзекуциям) к поднятию общественного духа и возбуждению в оном наклонности к деяниям смелым и великим. С этою целью имеете вы непрестанно увещевать купцов, разночинцев и мещан; помещикам же и прочим благородным людям кротко, но убедительно доказывать, что временные лишения должны быть переносимы безропотно, с надеждой на милость Божию в будущем. Всем же вообще внушать за достоверное, что я, с своей стороны, готов везде и во всякое время оказывать деятельнейшее содействие всякому благову начинанию.

Об успехе ваших увещаний, внушений и собеседований обяжитесь вы сообщать мне через каждые две недели всенепременно и неупустительно».

Один экземпляр этого циркуляра Феденька прислал мне при письме, в котором говорил: «Ты видишь, душа моя, что я еще бодрюсь; но если и за сим наше судоходство останется в прежнем жалком положении, тогда — *ma foil*¹ — я не остановлюсь даже перед экзекуцией». На что я с первой же почтой ответил: «Мы все удивляемся экспрессии твоего циркуляра: это своего рода *chef d'oeuvre*². Ах! если б ты жил во времена Великой французской революции! Теория, отыскивающая в помещичьей мстительности причину происхождения ветров и обмеления рек, смела и нова. Но не слишком ли, однако ж, смела? Подумал ли ты об этом, мой друг? Смотри, чтобы не было запроса!»

Увы! это был последний пароксизм Феденькина либерализма. Вскоре после этого я на долгое время уехал за границу и совершенно потерял Феденьку из виду. Затем, по возвращении в Петербург, встретившись с одним приезжим из Навозного (то был Рудин, которого Феденька взял к себе в чиновники для особых поручений, несмотря на его крайний образ мыслей), я услышал от него следующую краткую, но выразительную аттестацию о Кротикове: «порет дичь». Это вдвойне меня огорчило: во-первых, потому, что я искренне любил Феденьку и мне всегда казалось, что он может сделать свою карьеру только на либеральной почве, а во-вторых, и потому, что меня в это время уже сильно начали смущать будущие судьбы русского либерализма. Одновременно с Кротиковым, стезю свободомыслия покинули: Иван Хлестаков, Иван Тряпичкин и Кузьма Прутков. Все это было тем более горько, что и до этого времени наш либерализм существовал лишь благодаря благосклонному попустительству некоторых просвещенных лиц.

И вот теперь — еще одним просвещенным попустителем меньше!

Под влиянием этого горького чувства я не выдержал и написал к Кротикову письмо, исполненное укоризн. А через два месяца получил следующий сухой ответ:

«Извини, что не скоро ответил, да и теперь пишу лишь несколько строк: в моем положении, право, не до переписки с бывшими товарищами и друзьями. На вопросы твои, впрочем, считаю долгом объяснить, что, кроме либеральных идей, о которых ты так много и красноречиво напи-

¹ Честное слово!

² Шедевр.

сал, есть еще идеи консервативные, о которых ты вовсе умалчиваешь. Вот что ты упустил из вида и что я нелишним считаю тебе напомнить. Каким образом я пришел к убеждению, что либеральные идеи скрывают в себе пагубное заблуждение — здесь объяснять не место. Надеюсь, однако ж, что ты без труда поймешь, что в моем положении заблуждаться не только неприлично, но и непозволительно. Из всех зол, которые до сих пор известны, нет зла более ужасного, как заблуждающийся помпадур, ибо с его заблуждением неизменно связывается заблуждение целого края. Я думаю, это довольно ясно и прибавлять к этому нечего. Затем, моля подателя всех благ, дабы он просветил тебя, остаюсь не разделяющий твоих заблуждений, но все еще любящий тебя *Феодор Кротиков*».

Однако я не только не вразумился этим наставлением, но, возгорев вящею ревностью по либерализму, попытался вразумить самого Феденьку.

«Феденька! — писал я ему, — когда ты был либералом, как резюмировалась твоя политическая программа? — Она резюмировалась следующим образом: учреждение фабрик и заводов, устройство путей сообщения, развитие торговли, процветание земледелия, неустанная разработка недр земли, устность, гласность и т. д. Теперь, когда ты сделался консерватором, какая возможна для тебя программа? — Очевидно, следующая: отсутствие фабрик и заводов, разрушение путей сообщения, застой в торговле, упадок земледелия, господство иссушающих ветров, обмеление рек и т. д. Ибо ты желаешь сохранить то, что есть, а есть именно то, что сейчас мною исчислено. Или, быть может, ты надеешься на кабаки и сибирскую язву? Но, в таком случае, выразишь прямо. Вместо прежних блестящих циркуляров издай новый, в котором категорически объяви, что впредь воспрещается какое бы то ни было развитие, кроме развития сибирской язвы».

Ответа на это письмо не последовало.

После того я имел о Кротикове лишь смутные сведения. Я слышал, что первым поводом к отречению его от либерализма было появление гласных судов и земских управ. Это навело его на мысль, что существуют какие-то корни и нити, которые надобно разыскать и истребить, ибо, в противном случае, ему, Кротикову, не будет житья. Затем наступили известные события в Западной Европе: интернационалка, франко-прусская война, Парижская коммуна и т. д., и все это сильно заботило его, потому что он видел в этих событиях связь с новыми судами и

земскими учреждениями. Он внимательно следил за газетами, предполагая, сообразно с тем или другим исходом событий, дать и своей внутренней политике более решительное направление. В ожидании же того, какие идеи восторжествуют, здравые или так называемые сюбверсивные, он волновался и угрожал.

— Если восторжествуют здравые идеи, — говорил он, — я, конечно, буду очень рад. Да-с, очень рад-с. Но, признаюсь откровенно, с политической точки зрения, я был бы не недоволен, если б восторжествовала и революция... разумеется, временно... По крайней мере мы, без всякой опасности для себя, могли бы узнать, кто наши внутренние враги, кто эти сочувствователи, которые поднимают голову при всяком успехе превратных идей, как велика их сила и до чего может дойти их дерзость. Et alors, messieurs...¹

Феденька умолкал и загадочно грозился в ту сторону, где помещались земская управа, окружной суд и акцизное управление.

Но здравые идеи восторжествовали; Франция подписала унижительный мир, а затем пала и Парижская коммуна. Феденька, который с минуты на минуту ждал взрыва, как-то опешил. Ни земская управа, ни окружной суд даже не шевельнулись. Это до того сконфузило его, что он бродил по улицам и придирался ко всякому встречному, испытывая, обладает ли он надлежащею теплотою чувств. Однако чувства были у всех не только в исправности, но, по-видимому, последние события даже поддали им жару...

Феденька недоумевал. Он был убежден, что тут есть какая-то интрига, но в чем она состоит — объяснить себе не умел. Бедный! Он, видимо, следовал старой рутине и все искал каких-то фактов, которые дали бы ему повод объявить поход. Он не подозревал, что система фактов есть система устаревшая, что нарождается и даже народилась совершенно иная система, которая позволяет без всякого повода, без малейшего факта бить тревогу и ходить войною вдоль и поперек, приводя в трепет оторопелых обывателей...

И вот, как бы для того, чтоб вывести его из недоразумения, в газетах появилось известие, что в версальском национальном собрании образовалась партия, которая на развалинах любезного отечества водрузила знамя «борьбы»...

¹ И тогда, господа...

Слово это было для Феденьки целым откровением. Да, это оно, это то самое слово, до которого он столько лет так тщетно додумывался. Все, что бессвязно копошилось в нем с той самой минуты, когда он внезапно объявил себя консерватором, все, к чему он порывался и к обретению чего делал тщетные попытки, — все нашло для себя осуществление в слове «борьба». Не то чтобы он понял смысл этого слова, но он достиг результата еще более существенного: он понял, что ему нет надобности что-нибудь понимать. До сих пор он отыскивал корни и нити; теперь он убедился, что ни в чем подобном нет надобности и что на будущее время он окончательно освобожден от труда что-нибудь отыскивать.

Это было очень удобно, ибо давало возможность объявить поход, не уяснив себе даже цели его. Отсутствие ясно сознанный цели — вот ахиллесова пята всех администраторов, получавших воспитание у Дюссо и в заведении искусственных минеральных вод. И Феденька почувствовал себя как-то необыкновенно легко и свободно, когда убедился, что ему не нужно ни фактов, ни целей, а нужен только «дух», «направление», «превратные толкования» — и ничего больше. Что означают эти слова — это до него не касается; он рад уже и тому, что есть такие слова, которые хоть и черт знает что означают, но дают исходную точку для борьбы. Борьба, сама себе дающая начало, сама себя питающая и сама себя имеющая пожрать (Феденька, впрочем, не рассчитывал на эту последнюю особенность), борьба против привидений прошлого, настоящего и будущего, борьба необъяснимая в своих источниках и неуловимая в своих последствиях — вот программа, которую предстояло ему разрабатывать в будущем. Она страдает отсутствием содержания, но зато легче ее ничего нельзя вообразить. Не нужно ни ума, ни изобретательности, ни предусмотрительности; нужен только темперамент да еще кой-какой внешний церемониал, который помог бы скрыть бессодержательность системы и отсутствие целей.

Темпераментом Феденька обладал в избытке; но хотя этого одного было вполне достаточно для совершения великого дела борьбы, однако он почему-то решил, что нужно прибавить кой-что и еще. Задача, предстоявшая ему, была слишком нова, чтоб приступить к ней сплеча, подобно тому как приступали к разрешению *своих* задач его предшественники-помпадур. Все бывшие до него пом-

падурства заимствовали свои определения от которого-нибудь из семи смертных грехов; его же помпадурство должно быть исключительно помпадурством борьбы. «Да-с, это не то, что брать хапанцы или бить по зубам-с; эта штучка будет пограндиознее-с», — хвастался Феденька и, весь исполненный жажды славных дел, решился прежде всего поразить воображение обывателей Навозного.

Церемониал, который придумал по этому случаю Феденька, был очень сложен. Он перебрал в своей памяти весь курс истории Смараглова, весь репертуар театра Буфф и все газетные известия о чудесах в решетке, происходящих в современной Франции. Образовалось нечто волшебное. Крестовые походы, Иоанна д'Арк, храбрый рыцарь Дюнуа, лурдские богомолья, отречение от сатаны в Парэ-ле-Мониале — все нашло себе место в этом громадном плане. Ввиду предстоящего нравственного возрождения Навозного, он не щадил ничего. Пусть завистники утверждают, что его план «борьбы» напоминает оперетту Леккока «Le beau chevalier Dunois»¹ и не имеет никакого отношения к Навозному; он знает, что в Навозном уже давно прорываются факты, свидетельствующие, что яд, погубивший Францию, проник и туда и что, следовательно, именно теперь план его как нельзя более уместен и своевременен. Не дальше как вчера председатель земской управы в клубе публично рассуждал о какой-то независимости и утверждал, что он сам по себе, а Феденька сам по себе. Вот факт. Скажут, что в этом факте еще нет настоящих корней и нитей — допустим, что это и так! Нет корней и нитей, но есть яд! «Понимаете ли: яд-с!» И надо этот яд истребить. «Да-с».

Душою задуманного заговора будет, конечно, он сам. Он — рыцарь без страха и упрека; он — Баяр из истории Смараглова и Дюнуа из театра Буфф. Пособниками у него будут: правитель канцелярии, два чиновника особых поручений, отрекшиеся от либерализма, и все частные пристава. Для большего эффекта можно будет еще прихватить Ноздрева, Тараса Скотинина и Держиморду. Ассистенты: предводитель и командир гарнизонного батальона. По окончании похода городской голова, в мундире, поднесет ему хлеб-соль. А дабы сообщить предстоящему походу вполне волшебный характер и вместе с тем обеспечить его успех, предстояло еще отыскать что-нибудь вроде Иоанны д'Арк (без нее немислимо чудесное возрождение

¹ «Прекрасный рыцарь Дюнуа».

Навозного), очистить администрацию от плевел и торжественно отречься от сатаны и всех дел его. Тогда «борьба» пойдет как по маслу.

Иоанну д'Арк он имел уже в виду. То была девица Анна Григорьевна Волшебнова, дочь начальника одной из местных команд, с которою Феденька находился в открытой любовной связи, но которая, и за всем тем, упорно продолжала именовать себя девицею.

Положение m-lle Волшебновой было очень фальшивое. Феденька увлек ее обещанием жениться, но впоследствии не только забыл о своих клятвах, но даже прямо объявил, что звание помпадурши и само по себе достаточно почтенно. Вероломство Кротикова не обошлось, однако ж, без скандала, ибо штабс-капитан Волшебнов счел долгом протестовать. Чтоб усмирить его, Феденька был вынужден утвердить какие-то неслыханные цены на провиант и фураж и только этим актом великодушия достиг того, что оскорбленный отец явился к нему с повинною и объявил, что отныне и навсегда все недоразумения между ними покончены.

Обзаведясь помпадуршей, Феденька предназначал ей очень блестящую роль. Он желал, чтоб она блистала на балах и имела салон, который служил бы средоточием внутренней политики и в котором она царила бы, окруженная толпою почтительных поклонников и пленяя всех остроумием, любезностью и грацией. Но Анна Григорьевна была простая и робкая девушка, которая очень серьезно привязалась к своему помпадуру и, в то же время, никак не могла освоиться с таким положением, в котором было слишком много блеска. При всей ее миловидности и грации, ей было далеко до настоящей, заправской помпадурши. Природа не дала ей ни величественного роста, ни роскошного бюста, перед которым бы в умилении останавливался прохожий. Не блистала она и нарядами и как-то наивно краснела, когда навозные Севинье и Рекамье заводили при ней разговор на тему о мужчине и его свойствах. Самое возвышение ее произошло совершенно неожиданно, так что предводительши и советницы, с нетерпением ждавшие, на ком остановится Феденькин выбор, были изумлены и сконфужены таким странным исходом дела.

Феденька очень хорошо видел недостатки Анны Григорьевны и душою скорбел о них. Но некоторое время он все еще не терял надежды и почти насильно навязывал ей политическую роль.

— Vous devez être à la hauteur de votre position, ma chère!¹ — непрерывно твердил он ей и, чтоб не слышать никаких отговорок, выписал для нее на свой счет несколько дорогих нарядов от Минангуа из Москвы.

Но как ни была она малоопытна, однако ж поняла, что два-три хороших наряда (Феденька не был в состоянии дать больше) в таком обществе, где проматывались тысячи и десятки тысяч, с единственной целью быть как можно более декольте — все равно что капля в море. В угоду ему она сделала, однако ж, несколько попыток, но — боже! — сколько изобретательности нужно ей было иметь, чтоб тут пришить новый бант, там переменить тюник — и все для того, чтоб отвести глаза публике и убедить, что она является в общество не в «мундире», как какая-нибудь асессорша, а всегда в новом и свежем наряде! И как бесплодны были эти усилия! Как быстро разлетались они перед пронизательностью этих дам, с первого же взгляда, без ошибки угадывавших однажды виденное платье, под какими бы сложными комбинациями оно ни являлось на сцену во второй раз!

Ей было почти страшно, когда она в первый раз шла с предводителем во второй паре в польском (в первой паре шел он с предводительшей). Она видела, что кругом дебетые дамы шушукуются, что ей дают место с какой-то нахальной торжественностью, что сам предводитель, ведя ее за руку, чуть не напрямки высказывает, что он никогда не снизошел бы до дочери штабс-капитана Волшебнова, если б не требования внутренней политики. Но вот польский кончился; не успела она занять свое место, как музыка заиграла вальс; к ней подлетает приехавший в отпуск гусар и с утонченной любезностью, в которой она, однако ж, угадывает худо скрываемую развязность, приглашает ее на тур. Затем, точно в сновидении, одни за другими следуют: кадрили, полька, опять кадрили, опять вальс и, наконец, мазурка. И все время, с упорством, достойным лучшего дела, следит за нею Феденька и как-то невыразимо страдает, когда она, с добросовестностью недавней институтки, выделяет шассе-круазэ.

— Ma chère! vous êtes par trop La Vallière!² — шепчет он, подходя к ней в один из танцевальных промежутков, — я желал бы, чтоб вы взяли себе за образец madame de Maintenon!

¹ Вы должны быть на высоте своего положения, дорогая!

² Дорогая! вы слишком похожи на Ла Вальер!

И вот, опять-таки в угоду ему, она решается сказать несколько слов об усилении власти и о том, что на помпадурах должен лежать лишь высший надзор, а не подробности; но она делает это так нерешительно и с таким множеством оговорок, что Феденька чувствует свою власть не только не усиленную этим наивным вмешательством, но даже значительно умаленною.

К счастью, все эти промахи имели место в самый разгар Феденькина либерализма и потому сошли Anne Григорьевне с рук довольно легко. Испытав неудачу в своих предположениях относительно блестящего салона, в котором он мог бы, с полною искренностью, развивать свои виды и предположения, Феденька дал своей фантазии более буржуазное направление. Небольшая, уютная гостиная, тесный кружок друзей-либералов, скромная беседа о том, что Россия быстрыми шагами стремится на пути к преуспеянию, и, наконец, беспредельно любящее сердце женщины — ужели это недостаточно завидная обстановка даже для наиболее взыскательного помпадура? Феденька решил, что, в крайнем случае, это будет еще очень недурно, а пожалуй, даже лучше, нежели тщетный блеск, который требует значительных денежных издержек и, сверх того, почти всегда сопровождается скандалами...

Когда она узнала об этом решении, то радости ее не было пределов. Две вещи она ненавидела: представительность и внутреннюю политику — и вот он, ее *roi-soleil*¹, навсегда освобождает ее от них. Отныне она будет иметь возможность без помехи удовлетворять своим нетребовательным вкусам: своей набожности и любви к домашнему очагу.

Она еще в институте была набожна (законоучитель, указывая на нее, говорил: вот истинная дочь церкви!), а теперь эта склонность еще более усилилась, ибо у нее есть предмет для молитв. Она молится *за него*; она просит у неба успеха его благим начинаниям и прощения невольным его прегрешениям. Скромно одетая в темненькое платье, она становится у клироса в женском монастыре, и с ее появлением делается словно светлее и приютнее среди этих темных стен. Молодые монахини юрче перебегают от клироса к клиросу и на бегу с добродушным лукавством приветствуют ее. Сама мать игуменьи, при виде ее, смягчает постоянно строгое выражение своего лица. Все ее любят здесь, все готовы оказать ласку и привет, не справ-

¹ Король-солнце.

ляясь, согласно или не согласно это будет с видами внутренней политики. Когда она подает любимой своей крылошанке бархатную поминальную книжку, — монашка не дает ей даже сказать, кого следует помянуть.

— Знаю, сударыня! знаю, за кого молитесь! — говорит она с выражением добродушного себе на уме и почти бегом бежит сообщить на ухо отцу протоиерею имя раба божия Феодора.

Как хорошо, как спокойно ей здесь, под сению этих мирных стен! Какое прекрасное варенье подают у матери игуменьи, какой вкусный квас! Она готова по целым дням болтать с молодыми монашками; у нее есть между ними фаворитки, которые даже вступают с ней в разговор *об нем*, и она нимало не чувствует себя при этом сконфуженною. Все хвалят *его* ум, все утверждают, что никогда не бывало такого помпадура в Навозном. Даже в те горькие минуты, когда она убеждалась, что Феденька изменяет ей (а это случалось нередко, потому что он далеко не был равнодушен к сверкающим плечам и бюстам навозных львиц) — она спешила сюда, чтоб излить свое горе на груди одной из юных затворниц. Она была уверена, что услышит здесь не насмешку и злорадство, а слова ободрения и надежды. В этих случаях она молилась еще усерднее и пламеннее, и все кругом, казалось, молилось вместе с ней о просвещении раба божия Феодора светом истины. И когда, успокоенная и умиротворенная, она возвращалась домой и встречала там раскаявшегося Феденьку, то ни единым движением не давала ему знать, что замечает его проделки, а только говорила:

— Théodore! помните, что нигде вы не найдете той преданности, той беззаветной любви, какую нашли здесь, в этом сердце! И потому, когда вам наскучат дурные наслаждения, когда вы убедитесь, что за ними таятся коварство и обман — возвратитесь ко мне и отдохните на этой груди!

Дома она чувствовала себя счастливою. Она любила стряпню и предпочитала блузу всякому другому платью. Днем, покада «он» распоряжался по службе, она хлопотала по хозяйству и всю изобретательность своего ума употребляла на то, чтоб Феденька нашел у нее любимое блюдо и сладкий кусок. Вечером, управившись с делами, он являлся к ней, окруженный блестящей плеядой навозных свободных мыслителей, и читал свои циркуляры.

Он был либерален, и она была либеральна. Оба выписали из Петербурга двух товаров ее по институту, ходив-

ших с стриженными волосами и отрицавших авторитеты, и ездили с ними в открытых экипажах по городу. Оба страстно желали, чтоб торговля развивалась, а судоходство оправдывало надежды начальства. Оба верили, что кредит возродит земледелие и даст толчок нашей заснувшей промышленности. И в ожидании всего этого оба сладко вздыхали...

Иногда, на интимных вечерних собраниях, присутствовал и папá Волшебнов, и тогда вечер принимал окончательно семейный характер. Анна Григорьевна ласкалась то к отцу, то к Феденьке, то у одного, то у другого спрашивала, достаточно ли сладок чай. Читали статьи В. П. Безобразова и удивлялись, что такая плодотворная вещь, как кредит, не только не оплодотворяет Навозного, но даже служит как бы к запустению. Упивались передовыми статьями «С.-Петербургских ведомостей», в которых доказывалось, что нет ничего легче, как отрицать и глумиться над прогрессом, и что, напротив того, нет задачи более достойной истинного либерала, как с доверием ожидать дальнейших разъяснений.

И пока в гостиной шли либеральные разговоры, папá Волшебнов хлопотал около закуски и, залучив под шумок чиновника особых поручений Веретьева, выкушивал с ним по «предварительной».

Но вдруг черт дернул Феденьку сделаться консерватором, и он сразу оборвал с своими прежними сподвижниками по либерализму. Не стало интимных вечеров, замолкли либеральные разговоры, на сцену опять выступила внутренняя политика, сопровождаемая сибирскою язвою и греческим языком. Феденька отыскивал корни и нити и, не находя их, был беспокоен и зол.

Перемена эта до того озадачила Анну Григорьевну, что она поначалу даже сделала несколько либеральных промахов. Ей казалось странным, что чиновники особых поручений Рудин и Волохов, еще так недавно проповедовавшие в ее квартире теорию возрождения России посредством социализма, проводимого мощною рукою администрации, вдруг стушевались, прекратили свои посещения и уступили место каким-то двужилым ретроgrадам, которые большую часть времени проводили в каморке у папá Волшебнова и прежде, нежели настоящим образом приступить к закуске, выпивали от пяти до десяти «предварительных». Но вскоре Феденька раскрыл перед нею загадочность своего поведения. Он объяснил ей, что общество в опасности, что покуда остается неразоренным очаг революций, до тех

пор Европа не может наслаждаться спокойствием, что в самом Навозном существует громадный наплыв неблагонадежных элементов, которые, благодаря интриге, всюду распространяют корни и нити, и что он, Феденька, поставил себе священнейшею задачей объявить им войну, начав с акцизного ведомства и кончая судебными и земскими учреждениями.

— Je ferai une guerre à outrance! — гремел он, потрясая кулаками, — une guerre sans merci... oui, c'est ça!¹

— Однако какой ты строгий, Thèodore!

— Нельзя, ma chère! вспомни, сколько времени они нас морочили! вспомни этих двух нигилистов, которых мы возили по городу! га! я никогда им не прощу этого!

— Но они были миленькие, Thèodore!

— Миленькие! Vous perdez la tête, ma chère! Des gueuses! des pétroleuses! des filles sans foi ni loi!² Девчонки, которые не признавали авторитетов, которые мне... мне... прямо в глаза говорили, что я порю дичь!.. Нет, дальнейшая слабость была бы уж преступлением! Миленькие! D'un seul coup elles vous demandent cent milles têtes à couper! Excusez du peu!³

И он метался из стороны в сторону, отыскивая хоть какой-нибудь факт, который дал бы ему повод приступить к расследованию корней и нитей. Но фактов не было. Никогда еще с таким рвением не снимали перед ним шляпы акцизные чиновники; никогда окружной суд не обнаруживал большей строгости относительно лиц, дозволявших себе взлом с заранее обдуманном намерением воспользоваться чужим пятаком; никогда земская управа с большею страстностью не приобретала для местной больницы новых умывальников и плевальниц, взамен таковых же, пришедших в ветхость. Все как бы сговорилось усердием и прилежанием радовать сердце опечаленного помпадура...

Это было самое тяжелое время для Анны Григорьевны. Феденька ходил сумрачный и громко выражался, что он — жертва интриги. Дни проходили за днями; с каждым новым днем он с бóльшим и бóльшим усилием искал фактов и ничего не находил.

¹ Я буду вести войну до конца! войну без пощады... да, именно!

² Вы теряете голову, моя милая! Дряни! петролейщицы! бесчестные девчонки!

³ Они сразу требуют ста тысяч голов! Ни больше, ни меньше!

— A la fin ça devient monstrueux¹, — говорил он ей, — везде есть факты, даже Петька Толстолобов, Соломенный помпадур, — и тот нашел факт! И вдруг у одного меня — nenni!² Кто ж этому поверит!

Дошло до того, что он даже ее однажды упрекнул в тайном содействии интриге. Ее, которая... Ах! это была такая несправедливость, что она могла только заплакать в ответ на обвинение. Но и тут она не упрекнула его, а только усерднее стала молиться, прося у неба о ниспослании Феденьке фактов.

И вот, в ту самую минуту, когда Феденька уже думал погибнуть, он прочел в газетах слово «борьба». Он понял. Он понял, что ему ничего не нужно понимать, что не нужно ни фактов, ни корней, ни нитей, что можно с пустыми руками, с одной доброй волей, начать дело нравственного возрождения Навозного, сопровождаемое борьбою à grand spectacle³, с истреблениями, разорениями, расточениями и другими принадлежностями возрождающей власти. Невольным образом мысль его обратилась к Анне Григорьевне, и тут только он сообразил, как хорошо, что она не сделалась Ментеноншей, как он когда-то настаивал, а осталась простою и скромною Лавальершей.

— Elle sera ma Jeanne d'Arc!⁴ — воскликнул он и, как озаренный, побежал к ней.

А она уже ждала его, как будто знала, что ему нужна ее помощь.

— Ah ça! vous serez ma Jeanne d'Arc!⁵ — сказал он ей, простирая руки, — я всегда видел, что роль, которую вы до сих пор играли, не по вас! Наконец ваша роль нашлась. Но, конечно, вы знаете, кто была Jeanne d'Arc?

Она без запинки прочла ему то место из истории Смарагда, где говорится об Иоанне д'Арк и ее подвиге.

— Oui, c'est cela même!⁶ в случае надобности, вы сядете на коня... знаете, как изображают ее на картинах... и тогда... gare à vous, messieurs les communalistes de la zemsskaïa ouprava!⁷

Феденька сделался веселее и забавнее — уж и это был выигрыш для Анны Григорьевны. Покончивши с Иоанной

¹ Это в конце концов становится чудовищным!

² Ничего!

³ Весьма эффектной.

⁴ Она будет моей Жанной д'Арк!

⁵ Ах! вы будете моей Жанной д'Арк!

⁶ Так и будет!

⁷ Берегитесь, господа коммуналисты из земской управы!

д'Арк, он необыкновенно деятельно принялся за осуществление других частей церемониала борьбы.

Прежде всего он бросился очищать персонал своей собственной администрации. Покуда он был только консерватором, в действиях его замечалась некоторая осторожность. Он еще как бы стыдился. Он выказывал холодность в обращении с бывшими сподвижниками по либерализму, избегал иметь с ними дела, но открыто преследовать их не решался. С своей стороны, либералы хотя и заметили перемену в образе мыслей Феденьки, но не только не приняли ее к руководству, а напротив того, как бы в пику ему, даже усугубили свое рвение к интересам казны. И таким образом, дело продолжало идти, как говорится, ни шатко, ни валко, ни на сторону. Но теперь он разом потерял всякий стыд. Он был не просто консерватор, а представитель принципа нравственного возрождения, и потому долее терпеть не мог. Начав с своих приближенных, он выказал при этом такую решимость, что многие тут же раскаялись и только этим успели избежать заслуженной кары. Первым принес покаяние правитель канцелярии Лаврецкий и увлек за собой чиновников особых поручений Райского и Веретьева. Лаврецкий в это время уже являл собой только жалкое подобие прежнего Лаврецкого. Он до того ожирел, что лишь с трудом понимал, какие идеи — либеральные и какие — консервативные. Притом же, имея большое семейство и мотовку-жену, он не мог пренебрегать и жалованьем, тем больше что Дворянское Гнездо, приносившее при крепостном праве прекрасный доход, теперь ровно ничего не давало. Поэтому, когда Феденька объявил ему, что отныне им предстоит борьба, то он как-то апатически пожевал губами и, сказав: «Что ж... по мне, пожалуй», отправился в канцелярию писать циркуляр о благополучном вступлении Феденьки в новый фазис административной проказливости. Что же касается до Райского и Веретьева, то первый из них не решался выйти в отставку, потому что боялся огорчить бабушку, которая надеялась видеть его камер-юнкером, второй же и прежде, собственно говоря, никогда не был либералом, а любил только пить водку с либералами, какового времяпровождения, в обществе консерваторов, предстояло ему, пожалуй, еще больше. Из остальных либералов Марк Волохов отнесся к Феденькиным проказам как-то загадочно, сказав, что ему кто ни поп, тот батька и что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возрождать можно. Затем остался Рудин, который,

подобрал небольшую шайку «верных», на скорую руку устроил комитет общественного спасения и в полном его составе отправился агитировать страну в тот край, где помпадурствовал Петька Толстолобов.

Но так как административная машина не имела права останавливаться, то всех выбывших из строя либералов Феденька немедленно заменил шалопаями, определив множество таковых и сверх штата, на случай, если б Лаврецкий и другие раскаявшиеся, подвергшись угрызениям, снова не сделались либералами. Тут прежде всего фигурировали: Ноздрев, Тарас Скотинин и Держиморда (разыскивали и Сквозника-Дмухановского, но оказалось, что он умер, состоя под судом), которые и сделались главными исполнителями всех Феденькиных предначертаний. Шалопаи сновали по улицам, насупивши брови, фыркая во все стороны и не произнося ни единого звука, кроме «го-го-го!». Вид их навел в либеральном лагере такую панику, что даже либералы посторонних ведомств («независимые», как они сами себя называли) — и те струсили. Уныло бродили они по улицам, копя вздохами твердь небесную, не решаясь оставить ни службы, ни либерализма, путаясь между зависимостью и независимостью и ежемгновенно терзаясь надеждой, что их простят. Но шалопаи не прощали. С зоркостью коршуна намечали они скрывающегося в кустах либерала и тотчас же ощипывали его, испуская при этом злорадно-ироническое цырканье. Ряды либералов странным образом поредели, и затем в течение какого-нибудь месяца погибли все молодые насаждения либерализма. Земская управа прекратила покупку плевалниц, ибо Феденька по каждой покупке входил в пререкания; присяжные выносили какие-то загадочные приговоры, вроде «нет, не виновен, но не заслуживает снисхождения», потому что Феденька всякий оправдательный или обвинительный (все равно) приговор, если он был выражен ясно, считал внушенным сочувствием к коммунизму и гадел об этом по всему городу, зажигая восторги в сердцах предводителей и предводительш. Вдали показывался грозный призрак сибирской язвы.

Феденька знал это, и по временам ему даже казалось, что шалопаи, в диком усердии своем, извращают его мысль. Как ни скромно держала себя Анна Григорьевна, но и ее утратила перспектива сибирской язвы. Марк Волохов подметил в ней этот спасительный страх (увы! она против воли чувствовала какое-то неопределенное влечение к этому змию-искусителю, уже успевшему погубить

родственницу Райского) и всячески старался эксплуатировать его.

— Съедят они и вас и вашего помпадура, и водку всю у вас вылакают! — угрожал он ей. — Это, сударыня, сила! Берегитесь, да и помпадура-то поберегите! Мне что! Я уложил чемодан — и был таков! А мне вас жалко! Вас я жалеючи говорю — вот что, красавица вы наша!

— Ах, нет! уж вы пожалуйста! Пожалуйста, хоть вы не оставляйте Феденьку! — всполошилась она и однажды, преодолев природную робость, очень настоятельно стала доказывать Феденьке, что нельзя жить без плевалыниц, без приговоров, с одною только сибирскою язвою.

— Шалопай погубят вас, Théodore! — сказала она, — а вместе с вами погубят и меня! Pensez-у, mon ange¹, прогоните их, покуда еще есть время! Возвратите Рудина (il était si amusant, le cher homme!²) и прикажите Лаврецкому, Райскому и Веретьеву быть по-прежнему либералами.

Феденька на минутку задумался: в нем шевельнулись проблески недавнего либерализма и чуть-чуть даже не одержали верх. Но фатум уж тяготел над ним.

— Que voulez-vous, ma chère!³ — ответил он как-то безнадежно, — мне мерзавцы необходимы! Превратные толкования взяли такую силу, что дольше медлить невозможно. После... быть может... когда я достигну известных результатов... тогда, конечно... Но в настоящее время, кроме мерзавцев, я не вижу даже людей, которые бы с пользою могли мне содействовать!

— Как хотите, мой друг! Вы знаете: что бы с вами ни случилось, я всегда разделю вашу участь! Но все-таки... отчего бы не обратиться вам, например, к Волохову? Я не знаю... мне кажется, что он преданный!

— Я знаю это и не раз об этом думал, душа моя! Но Волохов еще так недавно сделался консерватором, что не успел заслужить полного доверия. Не моего, конечно, — я искренно верю его раскаянию! — но доверия общества... C'est un conservateur du lendemain, ma chère, tandis que les autres... les chénapans... sont des vrais conservateurs, des conservateurs de la veille!⁴ Вот что для меня важно. Что же касается до сибирской язвы, то ты можешь

¹ Подумайте об этом, мой ангел.

² Он был так забавен, милый человек!

³ Ничего не поделаешь, дорогая!

⁴ Это консерватор завтрашнего дня, моя милая, тогда как другие... мерзавцы... это настоящие консерваторы, консерваторы вчерашнего!

быть на этот счет спокойна: ни меня, ни тебя она коснуться не посмеет.

Одним словом, умопомрачение, по обыкновению, восторжествовало. То злое и проказливое умопомрачение, которое находит для себя смягчающие вину обстоятельства лишь в невменяемости помрачившихся.

К этому времени как раз подоспело известие о публичном отречении от сатаны и всех дел его, происшедшем во Франции в Парэ-ле-Мониале. Прочитав об этом в газетах, Феденька сообразил, что необходимо устроить нечто подобное и в Навозном. А дабы облечь свое намерение надлежащею торжественностью, он отправился за советом к Пустыннику.

В Навозном, среди мирского круговорота, спасался Пустынник. Несмотря на свое звание и на преклонные лета, это был мужчина веселый, краснощекий, кровь с молоком. Любил он в меру поесть и в меру же выпить, а еще более любил других угостить. Любил петь духовные и светские стихи (последние всегда старые, сочиненные до «Прощаюсь, ангел мой, с тобою») и терпеть не мог уединения. Почему он назывался Пустынником, этого никто, и всего меньше он сам, не мог объяснить; известно было только, что ни у кого не пекутся такие вкусные рыбные пироги, ни у кого не подается такой ядреный квас, такие вкусные наливки, соленья и варенья, как у него. Все лучшее в губернии по части провизии стекалось у него и ставилось на стол на радость и утешение посещавшим его гостям.

— Люблю радоваться! — говаривал он, — и сам себе радуюсь, а еще больше радуюсь, когда другие радуются! Несть места для скорбей в сердце моем! Все приидите! все насладитесь! — вот каких, сударь, правил я держусь! Что толку кукситься да исподлобья на всех смотреть! И самому тоска, да и на других тоску нагонишь!

Феденька застал Пустынника в обществе целого хора домашних певчих, которые пели:

Не дивитесь, друзья,
Что не раз
Между вас
На пиру веселом я
Призадумывался!

— «Призадумывался!» — вздохнул Пустынник, грузно поднимаясь с дивана и идя навстречу Феденьке, — до зде задумывались, а днесь возвеселимся! Мы было пирог рушить собирались, да я думаю: кого, мол, это недостает —

ан ты и вот он! Накрывать на стол — живо! Да веселую — что встали! «Ах вы, сени мои, сени!»

Но Феденька охладил порывы Пустынника, сказав, что имеет сообщить нечто важное.

— Вы, гражданские, вечно с делами! А посмотришь, дела-то ваши все вместе выеденного яйца не стоят! Ну, сказывай, что еще накуролесил?

— Слышали ли вы, Пустынник, что во Франции делается?

Пустынник удивленно взглянул на Феденьку.

— Не любопытен я; а впрочем, почтмейстер заезжает — сказывает.

— О том, что почти вся палата, в полном составе, ездила в город Парэ-ле-Мониаль и от сатаны отреклась — слышали?

— Что ж, пусть лучше Богу молятся, нечем шалберничать!

— Не в том дело, Пустынник! а каков факт!

— Хоть иноверцы, а тоже по-своему Бога почитают. Ничего это. Да скажи ты мне на милость, к чему ты эту канитель завел? Мне что-то даже скучно стало.

— А к тому, что я эту самую церемонию хочу здесь устроить!

Это было до того удивительно, что Пустынник ничего не нашелся ответить, а только хлопнул Феденьку по ляжке и сказал:

— Закусим!

— Нет, Пустынник, я без шуток хочу это здесь устроить.

— Да ты опомнись, сударь! ведь мы здесь, в Навозном, даже ведать не ведаем, кто таков он есть, сатана-то!

— Ну нет-с! вы не знаете! вы здесь сидите, а о том и не знаете, какие везде пошли превратные толкования!

— Чего не знаю, о том и говорить не могу!

— А я так знаю. Свобода-с! несменяемость-с! независимость-с! Вот оно куда пошло!

— Слышал, сударь.

— Надо все это истребить!

— Сделай милость, закусим!

Феденька наконец обиделся.

— Я думал, что вы содействие окажете, а вы с закуской!

— Да какое же я тебе содействие оказать могу? Зависимые вы или независимые, сменяемые или несменяе-

мые — это ваше, гражданское дело! Вот свобода — это точно, что яд! Это и я скажу.

— Я вот что придумал, слушайте. На этих днях, как только будет хорошая погода, я, во главе благонамеренных, отправляюсь в подгородную слободу и там произношу обет...

— Убедительнейше тебя прошу: закусим!

— Отстаньте вы с вашей закуской! Говорите, можете ли вы рассуждать или нет?

— Ну, давай рассуждать натошак!

— Итак, я иду в подгородную слободу и произношу обет...

— По примеру, значит?

— Ну да, по примеру. Оттого мы, благонамеренные, и слабы, что все врозь идем. Нет чтобы хорошему примеру подражать, а всё как бы на смех друг друга поднять норовим!

— Не смеяться-то нельзя!

— Что же тут, однако, смешного?

— Ну, как же не смешно — посуди ты сам. Идешь ты невесть куда, с сатаной полемику вести хочешь! А я так думаю, что из всего этого пикник у вас, у благонамеренных, выйдет! Делать тебе нечего — вот что!

Феденька даже вспыхнул весь.

— Это о ком-нибудь другом можно сказать, что делать нечего, только не обо мне! — произнес он иронически, — я не закусываю, как другие, а с утра до вечера точно в котле киплю!

— Если ты это на мой счет сказал, что некто закусывает, — так что ж! Нечего мне делать — это я и сам скажу! Сижу, песни пою, закушу малость — конечно, не бог знает какое государственное это дело, однако и вреда от него никому нет. А ты, извини ты меня, завистлив очень. Своего-то у тебя дела нет, так ты другим помешать норовишь. Ан вот и вред. Изволь, спрошу я тебя: управа ли, суд ли — чем они тебе поперек горла встали? пошто ты на всяк час их клянeshь? Дело свое они делают — достоверно знаю, что делают! тебя не замают — чего еще нужно! Да и люди отменные! Заговорят — заслушаешься: ровно на гуслях играют! Скажи ты мне, Христа ради, какую такую строптивость ты в них заметил?

— Ну, Пустынник, с вами говорить — пожалуй, и до ссоры недалеко. Скажите-ка лучше прямо: с нами вы или нет?

— Это на пикник-то? — нет, уж меня уволь: у меня плоть немощна.

— А еще Пустынником называетесь!

— А почему ты знаешь, как я в Пустынники-то попал? Может, мне петля была! Может, по естеству-то, мне вот так же, как и тебе, по пикникам бы ездить хорошо! А я сию да сохну!

— Ну-с, так прощайте-с.

— Да закуси ты, сделай милость! Авось у тебя сердцето отойдет!

— Нет уж, увольте.

— Ну, не хочешь, как хочешь. А то закусил бы ин! Это все у тебя от думы. Брось! пушай другие думают! Эку сухоту себе нашел: завидно, что другие делами занимаются — зачем не к нему все дела приписаны! Ну, да уж прощай, прощай! Вижу, что сердисься! Увидишь с сатаной — плюнь ему от меня в глаза! Только вряд ли увидишь ты его. Потому, живем мы здесь в благочестии и во всяком благом поспешении, властям предержавшим повинуемся, старших почитаем — неповадно ему у нас!

Феденька вышел от Пустынника опечаленный, почти раздраженный. Это была первая его неудача на поприще борьбы. Он думал окружить свое вступление в борьбу всевозможною помпой — и вдруг, нет главного украшения помпы, нет Пустынника! Пустынник, с своей стороны, вышел на балкон и долго следил глазами за удаляющимся экипажем Феденьки. Седые волосы его развевались по ветру, и лицо казалось как бы закутанным в облако. Он тоже был раздражен и чувствовал, что нелепое объяснение с Феденькой расстроило весь его день.

— И черт тебя баламутит! — бормотал он, тряся головой, — именно он, дух праздности, уныния и любоначалия, вселился в тебя!

Несмотря на неудачу с Пустынником, Феденька не оставил своей затеи. На другой же день (благо время случилось красное), он, в сопровождении правителя канцелярии, чиновников особых поручений и частных приставов, с раннего утра двинулся в подгородную слободу. Шествие открывал Ноздрев, а замыкал Держиморда; Тарас же Скотинин шел рядом с Феденькой и излагал программу будущего. Лаврецкий с прочими раскаявшимися рассеялись по сторонам и притворились, что рвут цветы. Придя в подгородную слободу, Феденька выбрал пустопорожнее пространство, где было не так загажено, как в прочих местах, велел удалить кур и поросят и подвергнул себя двухчасо-

вому воздержанию. Затем встал и пред лицом неба проклял свои прежние заблуждения; а дабы запечатлеть эту клятву самым делом, тут же подписал заранее изготовленный Лаврецким циркуляр. В циркуляре этом описывался церемониал проклятия и выражалась надежда, что все подчиненные поспешат последовать этому примеру. Кроме того, излагалось, что наука есть оружие обоюдоострое, с которым необходимо обращаться по возможности осторожно. Что посему, ежели господа частные пристава не надеются от распространения наук достигнуть благонадежных результатов, то лучше совсем оные истребить, нежели допустить превратные толкования, за которые многие тысячи людей могут в сей жизни получить законное возмездие, а в будущей лишиться спасения...

Исполнив все это, Феденька громко возопил: сатана! покажись! Но, как это и предвидел Пустынник, сатана явиться не посмел. Обряд был кончен; оставалось только возвратиться в Навозный; но тут сюрпризом приехала Иоанна д'Арк во главе целой кавалькады дам. Привезли корзины с провизией и вином, послали в город за музыкой, и покаянный день кончился премиленьким пикником, под конец которого дамы поднесли Феденьке белое атласное знамя с вышитыми на нем словами: борьба.

Таким образом исполнилось и другое предсказание Пустынника относительно пикника...

Я знаю: прочитав мой рассказ, читатель упрекнет меня в преувеличении. Помилуйте! — скажет он, — разве мы не достаточно знаем Федора Павлыча Кротикова? Никто, конечно, не станет отрицать, что это — малый забавный, а отчасти даже и волшебный, но ведь и волшебность имеет свои пределы, которые даже самый беспардонный человек не в силах переступить. Ну, с какой стати Феденька будет отрекаться от сатаны? Не пожелает ли он скорее познакомиться с ним? С какой стати придет ему в голову возводить девицу Волшебнову в сан Иоанны д'Арк? Зачем ему Иоанна д'Арк? Не поспешит ли он, наоборот, и настоящую-то Иоанну д'Арк, если б таковая попала ему под руку, поскорее произвести в сан девицы Волшебновой?

Как ни вески могут показаться эти возражения, но я позволяю себе думать, что они не больше как плод недоразумения. Очевидно, что читатель ставит на первый план форму рассказа, а не сущность его, что он называет пре-

увеличением то, что, в сущности, есть только иносказание, что, наконец, гоняясь за действительностью обыденную, осязаемую, он теряет из вида другую, столь же реальную действительность, которая, хотя и редко выбивается наружу, но имеет не меньше прав на признание, как и самая грубая, бьющая в глаза конкретность.

Литературному исследованию подлежат не те только поступки, которые человек беспрепятственно совершает, но и те, которые он несомненно совершил бы, если б умел или смел. И не те одни речи, которые человек говорит, но и те, которые он не выговаривает, но думает. Развяжите человеку руки, дайте ему свободу высказать *всю* свою мысль — и перед вами уже встанет не совсем тот человек, которого вы знали в обыденной жизни, а несколько иной, в котором отсутствие стеснений, налагаемых лицемерием и другими жизненными условностями, с необычайною яркостью вызовет наружу свойства, остававшиеся дотоле незамеченными, и, напротив, отбросит на задний план то, что на поверхностный взгляд составляло главное определение человека. Но это будет не преувеличение и не искажение действительности, а только разоблачение той *другой* действительности, которая любит прятаться за обыденным фактом и доступна лишь очень и очень пристальному наблюдению. Без этого разоблачения невозможно воспроизведение *всего* человека, невозможен правдивый суд над ним. Необходимо коснуться всех готовностей, которые кроются в нем, и испытать, насколько живуче в нем стремление совершать такие поступки, от которых он, в обыденной жизни, поневоле отказывается. Вы скажете: какое нам дело до того, волею или неволею воздерживается известный субъект от известных действий; для нас достаточно и того, что он не совершает их... Но берегитесь! *сегодня* он действительно воздерживается, но завтра обстоятельства благоприятствуют ему, и он *непременно* совершит все, что когда-нибудь лелеяла тайная его мысль. И совершит тем с большею беспощадностью, чем больший гнет сдавливал это думанное и лелеянное.

Я согласен, что в действительности Феденька многого не делал и не говорил из того, что я заставил его делать и говорить, но я утверждаю, что он *несомненно* все это *думал* и, следовательно, сделал бы или сказал бы, если б умел или смел. Этого для меня вполне достаточно, чтоб признать за моим рассказом полную реальность, совершенно чуждую всякой фантастичности.

Многое потому только кажется нам преувеличением,

что мы без должного внимания относимся к тому, что делается вокруг нас. Действительность слишком примелькалась нам, да и мы сами как-то отвыкли отдавать себе отчет даже в тех наблюдениях, которые мы несомненно делаем. Поэтому, когда литература называет вещи не совсем теми именами, с которыми мы привыкли встречаться в обыденной жизни, нам думается уже, что это небывальщина.

Но на самом деле небывальщина гораздо чаще встречается в действительности, нежели в литературе. Литературе слишком присуще чувство меры и приличия, чтоб она могла взять на себя задачу с точностью воспроизвести карикатуру действительности. Напрасно усиливалась бы она опошлять и искажать действительность — в последней всегда останется нечто, перед чем отступит самая смелая способность к искажениям. Исказители! карикатуристы! возглашают близорукие люди. Но пускай же они укажут пределы глупого и пошлого, до которых не доходила бы действительность, пусть хоть раз в жизни сумеют понять и оценить то, что на каждом шагу слышит их ухо и видит их взор!

Если б я рассказал жизнь Феденьки в форме обнаженной летописи выдающихся фактов его деятельности, я думаю, что читатель был бы более вправе упрекнуть меня в искажении, хотя бы в моем рассказе не было на горчичное зерно вымысла. Нет ничего несогласнее с истиной, как истина в том смысле, в каком ее понимает большинство людей. Ежели судить по рассказам летописцев, передающих только голые факты, то Феденьку пришлось бы, пожалуй, назвать злодеем. Такова истина большинства. Но это уже по тому одному неправда, что если б Феденька был заправский злодей, то обывателю Навозного невозможно было бы существовать. Сверх того: злодей имеет систему, а у Феденьки в распоряжении находится лишь яичница; злодей не выступит на арену, не подготовившись заранее, не просондировав те места, где удобнее класть отраву, Феденька же не только ни к чему не подготовлен, но имеет все свойства молодого жеребчика, вырвавшегося на волю из стойла. Он гогочет и роет землю, сам не зная зачем. Поэтому, присматриваясь к нему, я убеждаюсь, что главное его качество есть простодушие, усугубленное неразвитостью, и что вследствие этого голова его полна бредней, которые, смотря по обстоятельствам, принимают благоприятный или неблагоприятный для обывателя характер. Многие из этих бредней до того фантастичны, что

он сам старается скрыть их, но я ловлю его на полуслове, я пользуюсь всяким темным намеком, всяким минутным изливанием, и с помощью ряда усилий вступаю твердой ногой в храмину той другой, не обыденной, а скрытой действительности, которая одна и представляет верное мерило для всесторонней оценки человека. Не знаю, в какой степени усилия мои увенчаются успехом, но убежден, что прием мой, во всяком случае, должен быть признан правильным.

Говорят о карикатуре и преувеличениях, но нужно только осмотреться кругом, чтоб обвинение это упало само собою.

Чего стоит борьба с привидениями, на которую так легко решается даже простодушнейший из помпадуров!

Чего стоит мысль, что обыватель есть не что иное, как административный объект, все притязания которого могут быть разом рассечены тремя словами: не твое дело!

Это ли не карикатура?

Но кто же пишет эту карикатуру? не сама ли действительность? не она ли на каждом шагу обличает самоё себя в преувеличениях?

«Из Егорьевска пишут»... «из Белебея пишут»... «из Пронска пишут»... умеете же, наконец, читать, господа!

Возьмите для себя исходным пунктом хоть известие: «из Пронска пишут: вчера наш помпадур, будучи на охоте, устроенной в честь его одним из подгородных землевладельцев, переломил пастуху ребро»... и идите дальше. Ежели сегодня оказывается возможным и безнаказанным такое-то очевидно волшебное действие, то спросите себя, какие размеры примет это волшебство завтра? Не останавливайтесь на настоящей минуте, но прозревайте в будущее. Тогда вы получите целую картину волшебств, которых, *быть может*, еще нет в действительности, но которые несомненно придут...

Как бы то ни было, но повторяю: карикатуры нет... кроме той, которую представляет сама действительность.

Если смотреть на дело с разумной точки зрения, то можно было ожидать, что, совершив все вышеизложенное, Феденька кончит тем, что встанет в тупик. Однако ж, к удивлению, ничего подобного не случилось.

Водрузив знамя борьбы, он почувствовал, что у него словно гора с плеч свалилась. Никогда ему не было так

легко и привольно. Он весь устремился куда-то вдаль, а на прошедшее взглянул как на дурной бред, который перестал быть для него обязательным. Отныне нет ни устности, ни гласности, ни постройки умывальников при посредстве принципа самоуправления — все это будет заменено одним словом «фюить». Даже несомненно консервативные «корни и нити», которыми он еще так недавно щеголял, показались ему мелкими и презренными. Все это пустая и лишняя процедура. Ему нужно совсем не то; ему нужен не факт, а «дух»...

— Я этот «дух» уничтожу! — вопиал он на всех перекрестках и распутиях. — Я этот «дух» из них выбью!

И вслед за тем давал Ноздреву поручение поднюхать, чем пахнет.

Но ни он, ни Тарас Скотинин не могли определить, в чем состоит тот «дух», который они поставили себе задачей сокрушить. На вопросы по этому предмету Феденька мялся и отвечал: *mais comment ne comprenez-vous pas cela?*¹ Скотинин же даже не отвечал ничего, а только усиленно вращал зрачками. Поэтому оба в конце концов рассудили за благо употребить это слово, как нечто, не требующее толкований, но вполне ясное и твердое.

Скотинин до того очаровал Феденьку, что совершенно оттеснил Лаврецкого. Он всякое утро представлял Кротикову доклад, под которым, за неумением его грамоте, подписывался Кутейкин. В докладе никаких других фраз не было, кроме: «а дабы сей пагубный дух истребить» и: «а дабы обуздать злокозненный оный дух». В заключение предлагалась мера: фюить! Феденька выслушивал эту длинную иеремиаду, без умолку болтая всякий вздор и лишь изредка, ради приличия, делая попытку что-нибудь возразить. Но обыкновенно заключения доклада принимались всецело и тут же передавались Ноздреву и Держиморде, которые со всех ног бросались исполнять их.

Вообще Феденька сделался необыкновенно бодр и деятелен. Вставал он чрезвычайно рано и тотчас принимал Скотинина, Ноздрева и Держиморду, которые в ожидании его призыва сидели в передней, беседуя с камердинером Яшкою. Отдав нужные приказания по части истребления «духа», он призывал Веретьева (единственного из прежних сподвижников, к которому он сохранил доверие) и заставлял его представлять, как жужжит муха, комар, пчела и т. п. Если и затем оставалось свободное время,

¹ Ну, как вы этого не понимаете?

то приглашался Митрофан Простаков, на котором Феденька изучал, каков должен быть натуральный, неиспорченный человек. Таким образом незаметно летели часы за часами. Перед обедом он отправлялся гулять по улицам и тут делал так называемые личные распоряжения, то есть тарачил глаза, гоготал и набрасывался на проходящих.

— Что ты? да как ты? да зачем ты? — задыхался он, — я из тебя этот «дух» выбью! Я этот «дух» уничтожу. Ого-го!

Затем, сделав все «распоряжения» и завершив их словом «фюить!», Феденька возвращался домой и садился за обед.

— J'espère que j'ai bien gagné mon diner!¹ — говорил он Веретьеву, — надеюсь, что я могу потребовать для себя хоть одной минуты спокойствия!

И он действительно имел основание спокойно есть свой обед, потому что Скотинин в это время уже обдумывал свой завтрашний доклад, а Ноздрев и Держиморда неутомимо блюли, чтоб сегодняшние скотининские предначертания были выполнены неукоснительно. В продолжение целого дня они врывались в частные жилища, делали выемки, хватали, ловили, расточали и к ночи являлись к Скотинину с целыми ворохами захваченных книг и бумаг, которые Кутейкин принимал для дальнейшего рассмотрения. Ноздрев, по свойственной ему пылкости нрава, не раз пырвался взять взятку, но Держиморда постоянно его удерживал.

— Рано! — увещевал он, — надобно сначала хорошенько себя зарекомендовать! Потом наверстаем!

А Феденька, видя, что у него день и ночь кипит деятельность, утешался этим и говорил:

— On me dit que ce sont des chenapans — est-ce que j'et doute! Mais ils font à merveille mes affaires, et c'est tout ce qu'il me faut!²

Да и Анна Григорьевна, по мере сил, усердствовала. С тех пор как она побывала на покаянном пикнике, с ней совершилось словно перерождение. Она не только вошла в роль Иоанны д'Арк, но, так сказать, отождествилась с этою личностью. Глаза у нее разгорелись, ноздри расширились, дыхание сделалось знойное, волосы были постоянно распущены. В этом виде, сидя на вороном коне,

¹ Мне кажется, что я заработал право на обед!

² Мне говорят, что это мерзавцы, — разве я в этом сомневаюсь! Но они чудесно обделывают мои дела, а это все, что мне нужно!

она, перед началом каждой церковной службы, галопировала по улицам, призывая всех к покаянию и к войне против материализма. Нельзя, впрочем, умолчать, что успеху ее проповеди немало содействовали частные пристава, которые употребляли все меры кротости, дабы обыватели Навозного не погрязали в материализме, но наполняли храмы божию. Учтиво брали они прохожего за шиворот и говорили ему:

— Ну, сделай ты хоть пример! ну, не молись, а только пример сделай!

И прохожие, видя, что их «просят честью», с удовольствием бросали дела и устремлялись в храмы.

Феденька не только выполнил программу, изложенную им в покаянном циркуляре, но даже пошел дальше. «Лучше совсем истребить науки, нежели допустить превратные толкования», — писал он в циркуляре, а Скотинин, как дважды два четыре, доказал ему, что всякое усилие, делаемое человеком, с целью оградить себя от каких-либо случайностей, есть бунт против неисповедимых путей. А посему: не следует ни пожаров тушить, ни принимать какие-либо меры против голода или повальных болезней. Все это посылается не без цели, но или в видах наказания, или в видах испытания. Следовательно, и в том и в другом случае не требуется ничего, кроме покорности и твердости в перенесении бедствий.

— Я, вашество, сам на себе испытал такой случай, — говорил Тарас. — Были у меня в имении скотские падежи почти ежегодно. Только я, знаете, сначала тоже мудровал: и ветеринаров приглашал, и знахарям чертову пропасть денег просадил, и попа в Егорьев день по полю катал — все, знаете, чтоб польза была. Хоть ты что хочешь! Наконец я решился-с. Бросил все, пересек скотниц и положил праздновать ильинскую пятницу. И что ж, сударь! С тех пор как отрезало. Везде кругом скотина, как мухи мрет, а меня Бог милует!

Доктрина эта пришлась Феденьке очень по нраву. Во-первых, в ней было что-то возвышенное, а во-вторых, она освобождала его от многих обязанностей, которые мешали исключительно предаться делу истребления ненавистного ему «духа». Не дерзость ли предотвращать болезни, голод, пожары, когда все это посылается свыше, по заслугам людей? Чаша нечестий до того переполнилась, что самое лучшее средство спасти это гнездилище неключимостей (так называл Феденька Навозный) — это погубить его. Пусть голод, холера и огонь делают свое губительное дело;

пусть истребляют виновных, невинных же подвергают испытанию. Феденька без сожаления оставит этот новый Содом и готов променять его даже на пустыню. При слове «пустыня» воображение Феденьки, и без того уже экзальтированное, приобретало такой полет, что он, не в силах будучи управлять им, начинал очень серьезно входить в роль погубителя Навозного. Ангел смерти, казалось ему, парит над нечестивым городом; пожар истребил все дома, по улицам валяются распухшие трупы людей и распространяют смрад. А он, Феденька, одетый по-дорожному (поодаль виднеется заложенный дормёз, из окна которого выглядывает Иоанна д'Арк), стоит на базарной площади и провозглашает грандиозный поход в пустыню. Послушные его голосу, со всех сторон стекаются уцелевшие обыватели, посыпают свои головы пеплом и, разодрав на себе одежды, двигаются, под его покровительством, в степь Сахару (Феденька так давно учился географии, что полагал Сахару на границе Тамбовской и Саратовской губерний). Пришедши туда, он предложит обывателям принести покаяние, валяться на голой земле и питаться диким медом и акридами, сам же разобьет шатер, выпишет Дорота в качестве метрдотеля и, в обществе Иоанны д'Арк, предводительш и предводителей, будет вкушать изысканные яства. По вечерам избранники будут играть в карты, танцевать и говорить дамам *amabilités*...¹

— Мне и в пустыне будет хорошо-с! — говорил Феденька, — меня хоть на край света ушлите — я и там отлично устроюсь-с!

— Еще как, вашество, устроимся-то! — прибавлял, с своей стороны, Скотинин, — возьмем с собою Еремеевну да Вральмана, заставим сказки сказывать или вот Митрофанушке велим голубей гонять — и театров не надо.

— *Le brave homme!*¹ — в умилении восклицал Феденька и, трепля Скотинина по плечу, присовокуплял: — Возьмем, старик! всех возьмем! Уложим чемоданы, захватим Еремеевну и Митрофанушку и поедем на обывательских куда глаза глядят!

Итак, новый фазис административной проказливости, в который вступил Феденька, не только не принес ему никаких затруднений, но даже произвел в нем довольно приятную экзальтацию. И прежняя жизнь его была бредом, и теперь она продолжала быть бредом, с тою лишь разницею, что прежний бред имел сначала либеральный,

¹ Любезности.

² Молодчина!

потом консервативный характер, а теперь он принял форму бреда борьбы. Но эта последняя форма была даже приятнее двух первых, потому что не признавала никаких границ и, следовательно, легко наполнялась всякого рода содержанием.

Но не столько было замечательно то, что Феденька не почувствовал в своем положении никакой против прежнего перемены, сколько то, что самый объект его административных воздействий нисколько не изменил своей физиономии. Казалось, что Навозный даже не заметил, что Кротиков, вместо Рудина и Волохова, приблизил к себе Скотинина и Ноздрева, что, перестав писать циркуляры о необходимости учреждения заводов, он ударился в административный мистицизм. Обыватели не знали ничего ни о недавнем либерализме Феденьки, ни о настоящем его умоисступлении. Они как ни в чем не бывало продолжали есть пироги (а в случае неимения таковых, довольствовались и хлебом из лебеды), платить дани, жениться и посягать. Это было до такой степени необыкновенно, что даже Волохов удивился, он, который некогда выразился, что таких курицыных детей, как обыватели Навозного, всяко возрождать можно. Ясно было, что большинство находится в том завидном положении, когда оно, ни в каком случае, ни от каких перемен ни выиграть, ни проиграть ничего не может.

Собственно говоря, от легкомыслия Феденьки пострадали только навозные либералы. Из них многие подверглись расточению, а многие распоролы себе животы, предпочтя напрасную смерть постыдному «фюить!», которое раздавалось в их ушах, беспрерывно угрожая их существованию. Но, во-первых, в глазах большинства это были единичные жертвы, от исчезновения которых городу было ни тепло, ни холодно, а во-вторых, Феденька старался своим преследованиям придать характер борьбы с безверием и непризнанием властей. А так как обыватели Навозного искони боялись вольнодумства пуще огня, то они не только не обращали внимания на вопли жертв, но, напротив, хвалили Феденьку и подстрекали его к новым подвигам.

Казалось, однако ж, что было одно обстоятельство, которое не могло не тронуть навозенцев. Как сказано выше, Феденька возвел теорию фатализма до такой крайности, что не хотел ни пожаров тушить, ни принимать мер против голода и повальных болезней. Это уж слишком близко касалось навозных животов, чтобы не произвести

в них некоторого переполоха. Но на деле оказалось, что теория, до которой Феденька додумался лишь трудным процессом либеральных разочарований, была во все времена основанием всех верований обывателей, всей их жизни. Исстари они безропотно помирали, исповедуя, что против беды да попущения, как ни мудрствуй, ничего не поделаешь. Исстари повелось у них так, что сегодня человек пироги с начинкой ест, а завтра он же, под окнами у соседей, куски выпрашивает. При всем своем простодушии, Феденька отлично постиг это свойство навозенцев. Он понял, что если край будет и вконец разорен вследствие набегов Ноздрева и Держиморды, то у него все-таки останется мужицкая спина, которая имеет свойство обрастать гуще и пушистее по мере того, как ее оголяют.

Итак, и Феденька, и Навозный край зажили на славу, проклиная либералов за то, что они своим буйством накликали на край различные бедствия. Сложилась даже легенда, что бедствия не прекратятся, покуда в городе существует хоть один либерал, и что только тогда, когда Феденька окончательно разорит гнездо нечестия, можно будет не страховать имущество, не удобрять полей, не сеять, не пахать, не жать, а только наполнять житницы...





Из цикла очерков
«БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ»
(1872—1876)

СТОЛП

В прежние времена, когда еще «свои мужички» были, родовое наше имение, Чемезово, недаром слыло золотым дном. Всего было у нас довольно: от хлеба ломились сусеки; тальками, полотнами, бараными шкурами, сушеными грибами и другим деревенским продуктом полны были кладовые. Все это скупалось местными т-скими прасолами, которые зимою и глухою осенью усердно разъезжали по барским усадьбам.

Между этими скупщиками в особенности памятен мне т-ский мещанин, Осип Иванов Дерунов. Я как сейчас вижу его перед собою. Человек он был средних лет (лет тридцати пяти или с небольшим) и чрезвычайно приятной наружности. Из лица бел, румян и чист; глаза голубые; на губах улыбка; зубы белые, ровные; волосы белокурые, слегка вьющиеся; походка мягкая; голос — ясный и звучный тенор. В доме у нас его решительно все как-то особенно жаловали. Папенька любил за то, что он был словоохотлив, повадлив и прекрасно читал в церкви «Апостола»; маменька — за то, что он без разговоров накидывал на четверть ржи лишний гривенник и лишнюю копейку на фунт сушеных грибов; горничные девушки — за то, что у него для каждой был или подарочек, или ласковое слово. Поэтому, когда наезжал Дерунов, то все лица просветлялись. Господа видели в нем, так сказать, выразителя их

годового дохода; дворовые люди радовались из инстинктивного сочувствия к человеку оборотливому и чивому. Позовут, бывало, Дерунова в столовую и посадят вместе с господами чай пить. Сидит он скромно, пьет не торопко, блюдечко с чаем всей пятерней держит. Рассказывает, где был, что у кого купил, как преосвященный, объезжая епархию, в К-не обедню служил, какой у протодьякона голос и в каких отношениях находится новый становой к исправнику и секретарю земского суда. Рассказывает, что нынче на все дороговизна пошла, и пошла оттого, что «прежние деньги на сигнации были, а тепериче на серебро счет пошел»; рассказывает, что дело торговое тоже трудное, что «рынок на рынок не потрафишь: иной раз дорого думаешь продать, ан ни за что спустишь, а другой раз и совсем, кажется, делов нет, ан вдруг Бог подходящего человека послал»; рассказывает, что в скором времени «объявления набору ждать надо» и что хотя набор — «оно конечно»... «одначе и без набору быть нельзя». Слушает папенька все эти рассказы и тоже не вытерпит — молвит:

— Башка, брат, у тебя, Осип Иваныч! Не здесь бы, не в захолустье бы тебе сидеть! Министром бы тебе быть надо!

Так за Деруновым и утвердилась навсегда кличка «министр». И не только у нас в доме, но и по всей округе, между помещиками, которых дела он, конечно, знал лучше, нежели они сами. Везде его любили, все советовались с ним и удивлялись его уму, а многие даже вверяли ему более или менее значительные куши под оборот, в полной уверенности, что Дерунов не только полностью отдаст деньги в срок, но и с благодарностью.

В то время Дерунов только что начинал набираться силы. В Т*** у него был постоянный двор и при нем небольшой хлебный лабаз. Памятен мне и этот постоянный двор, и вся обстановка его. Длинное одноэтажное строение выходило фасадом на неоглядную базарную площадь, по которой кружились столбы пыли в сухое летнее время и на которой тонули в грязи мужицкие возы осенью и весной. Крыт был дом соломой под щетку и издали казался громадным ощетинившимся наметом; некрашенные стены от времени и непогод сильно почернели; маленькие, с незапамятных времен не мытые оконца подслеповато глядели на площадь и, вследствие осевшей на них грязи, отливали снаружи всевозможными цветами; тесовые почерневшие ворота вели в громадный темный двор, в кото-

ром непривычный глаз с трудом мог что-нибудь различать, кроме бесчисленных полос света, которые врывались сквозь дыры соломенного навеса и яркими пятнами пестрили навоз и улитый скотскою мочою деревянный помост. Приезжий въезжал в ворота и поглощался двором, словно пропастью. Слышались: фыркание лошадей, позвякивание колокольцев и бубенчиков, гулкий лет голубей, хлопанье крыльями домашней птицы; где-то, в самом темном углу, забранном старыми досками, хрюкал поросенок, откармливаемый на убой к одному из многочисленных храмовых праздников. Обдавало запахом дегтя, навоза, самоварного чада и вареной убоины, пар от которой валил во двор через отворенную дверь черной избы. Направо от ворот спускалось во двор крыльцо с колеблющимися ступеньками и с небольшими сенцами вверху, в которых постоянно пыхтел самовар с вечно наставленною трубою. Выйдя из сеней, вы встречали нечто вроде холодного коридора с чуланчиками и кладовушками на каждом шагу, в котором царствовала такая кромешная тьма, что надо было идти ощупью, чтоб не стукнуться лбом об какую-нибудь перекладину или не споткнуться. Из этого коридора шли двери, прежде всего в черную избу, в которой останавливались подводчики и прочий серый люд, и затем в «чистые покои», где останавливались проезжие помещики. Черная изба была довольно обширная о трех окнах комната, в которой, за перегородкой, с молодою женой (женился он довольно поздно, когда ему было уже около тридцати лет) ютился сам хозяин. «Чистые покои» были маленькие, узенькие комнатки; в них пахло затхлостью, мышами и тараканами; половицы шатались и изобиловали щелями и дырами, прогрызенными крысами; газетная бумага, которою обклеены были стены, местами висела клочьями, местами совсем была отодрана. Оконные рамы чуть держались на петлях и при всяком порыве ветра с шумом отворялись или захлопывались. И сколько тут было мух, тараканов, клопов!

Несмотря на эту незавидную обстановку, проезжий люд так и валил к Осипу Иванову. Для черного люда у него были такие щи, «что не продуешь», для помещиков — приветливое слово и умное рассуждение вроде того, что «прежде счет на сигнации был, а нынче на серебро пошел». Мне, юноше лет тринадцати-четырнадцати, было столько раз говорено об уме Осипа Иваныча, что я даже побаивался его. Когда я останавливался на его постоялом дворе, проездом, во время каникул, в родное гнездо, он обращал-

ся со мною ласково и в то же время учительно. Войдет, бывало, в занятую мною комнату, сядет, покуда я закусываю, у стола против меня и начнет экзаменовывать.

— В побывку, паренек, собрался?

— На каникулы, Осип Иванович.

— Гм!.. каникулы... это когда песьи мухи одолевают? Ну, надо экзамент тебе сделать. Учителям потрафлял ли?

— Потрафлял, Осип Иванович.

— Это хорошо, что учителям потрафляешь. В науку пошел — надо потрафлять. Иной раз и занапрасно учитель побьет, а ты ему: «Покорно, мол, благодарю, Август Карлыч!» Ведь немцы поди у вас?

— Немцы, Осип Иванович; только у нас учителям бить не позволяется.

— И не позволяется, а всё же, чай, потихоньку исправляются. И нас царь побивать не велел, а кто только нас не побивает!

— Ей-богу, Осип Иванович, у нас не бьют!

Но Осип Иванович только покачивает в ответ головой, что меня всегда очень обижало, потому что я воспитывался в одном из тех редких в то время заведений, где действительно телесное наказание допускалось лишь в самых исключительных случаях.

— А заповедям учился? — продолжает между тем экзаменовывать Осип Иванович.

— Знаю.

— А коли знаешь, так, значит, прежде всего Бога люби да родителей чти. Почитаешь ли родителей-то?

— Почитаю, Осип Иванович.

— Чти родителей, потому что без них вашему брату деваться некуда, даром что ты востер. Вот из ученья выйдешь — кто тебе на прожиток даст? Жениться захочешь — кто невесту припасет? — всё родители! — Так ты и утром и вечером за них Бога моли: спаси, мол, Господи, папыньку, мамыньку, сродственников! Всех, сударь, чти!

— И то чту!

— То-то, говорю: чти! Вот мы, чернядь, как в совершенные лета придем, так сами домой несем! Родитель-то тебе медную копеечку даст, а ты ему рубль принеси! А и мы родителей почитаем! А вы, дворяна, ровно малолетные, до старости все из дому тащите — как же вам родителей не любить!

— Выйду из ученья, на службу поступлю, сам буду жалованье получать.

— Велико твое жалованье — в баню на него сходить!

Жалованья-то дадут тебе алтын, а прихотей у тебя на сто рублев. Тут только тебе подавай!

Я не возражал; наступало несколько минут затишья, в продолжение которых Осип Иваныч громко зевал и крестил свой рот. Но не такой он был человек, чтобы скоро отстать.

— Я тоже родителей чтил, — продолжал он прерванную беседу, — за это меня и Бог благословил. Бывало, родитель-то гневается, а я ему в ножки! Зато теперь я с домком; своим хозяйством живу. Всё у меня как следует; пороков за мной не состоит. Не пьяница, не тать, не прелюбодей. А вот братец у меня, так тот перед родителями-то фордыбаченьем думал взять — ан и до сих пор в кабале у купцов состоит. Курицы у него своей нет!

— Может быть, его обделили?

— Не кто обделил, сам себя обделил. Сама себя раба бьет, коли плохо жнет. На все, сударь, воля родительская!

Прозкзаменовавши меня таким родом и оставшись испытанием доволен, Осип Иваныч предлагал мне отдохнуть с дороги и уводил в баньку, где расстилалось душистое одворичное сено и куда ни одна муха, ни один клоп не смели проникнуть. Там я засыпал тем глубоким и освежительным сном, которым может засыпать только юноша, испытавший сряду несколько дней тряской и бессонной дороги. Часа через три меня, полусонного, поднимали с мягкого ложа, укладывали в тарантас и увозили из Т*** в Чемезово, где ждали меня новые экзамены в том же роде и духе, как и сейчас выдержанный экзамен Осипа Иваныча.

Но тогда было время тугое, и, несмотря на оборотливость Дерунова, дела его развивались не особенно быстро. Он выписался из мещан в купцы, слыл за человека зажиточного, но долго и крепко держался постоянного двора и лабаза. Может быть, и скопился у него капиталец, да по тогдашнему времени пристроить его было некуда.

Рисковать было не в обычае; жили осторожно, прижимисто, как будто боялись, что увидят — отнимут. Конечно, и тогда встречались аферисты и пройдохи, но чтобы идти по их следам, нужно было иметь большую решимость и несомненную готовность претерпеть. Человек робкий, или, как тогда говорилось, «основательный», неохотно ввязывался в операции, которые были сопряжены с риском и хлопотами. Богатства приобретались терпением и неустанным присовокуплением гроша к грошу, для чего

не требовалось ни особой развязности ума, ни той канальской изворотливости, без которой не может ступить шагу человек, изъявляющий твердое намерение выбрать из карманов своих ближних все, что в них обретаётся.

С тех пор прошло около двадцати лет. В продолжение этого времени я вынес много всякого рода жизненных толчков, странствуя по морю житейскому. Исколесовал от конца в конец всю Россию, перебивал во всевозможных градах и весях: и соломенных, и голодных, и холодных, но не видал ни Т***, ни родного гнезда. И вот, однако ж, судьба бросила меня и туда...

Приезжаю в Т*** и с первого же взгляда убеждаюсь, что умы развязались. Во-первых, к самым, так сказать, воротам города проведена железная дорога. Двадцать лет тому назад никто бы не догадался, что из Т*** можно что-нибудь возить; теперь не только возят, но даже прямо говорят, что и конца этой возке не будет. Двадцать лет тому назад почти весь местного производства хлеб потребляли на месте; теперь — запрос на хлеб стал так велик, что съесть его весь сделалось как бы щекотливым. Свистнет паровоз, загрохочет поезд — и увозит бунты за бунтами куда-то в синюю даль. И даже не знает бессмысленная чернь, куда исчезает ее трудовой хлеб и кого он будет питать...

Во-вторых, кабаков было не больше пяти-шести на весь город; теперь на каждый переулок не менее пяти-шести кабаков.

В-третьих, город осенью и весной утопал в грязи, а летом задышался от пыли; теперь — соборную площадь уж вымостили, да, того гляди, вымостят и Московскую улицу.

В-четвертых, прежде был городничий, который всем ведал, всех карал и миловал; теперь — до того доведено самоуправление, что даже в городские головы выбран отставной корнет.

В-пятых, прежде правосудие предоставлялось уездным судам, и я как сейчас вижу толпу голодных подьячих, которые за рубль серебра готовы были вам всякое удовлетворение сделать. Теперь настоящего суда нет, а судит и рядит какой-то совершенно безрассудный отставной поручик из местных помещиков, который, не ожидая даже рубля серебром, в силу одного лишь собственного легкомыслия, готов во всякую минуту вконец обездолить вас.

В-шестых, наконец, прежде совсем не было адвокатов, а были люди, носившие название «ябедников», «приказных

строк», «крапивного семени» и т. д., которые ловили клиентов по кабакам и писали неосновательные просьбы за косушку. Нынче и в Т*** завелось до десяти «аблакатов», которые и за самую неосновательную просьбу меньше красненькой не возьмут.

Вместе с общим обновлением изменилось и положение Дерунова. Еще ехавши по железной дороге в Т***, я уже слышал, что имя его упоминалось, как имя главного местного воротилы. Разбогател он страшно и уже не сколачивал по копеечке, а прямо орудовал. Арендовал у помещиков винокуренные заводы, в большинстве городов губернии имел винные склады, содержал громадное количество кабаков, скупал и откармливал скот и всю местную хлебную торговлю прибрал к своим рукам. Одним словом, это был монополист, который всякую чужую копейку считал гулящей и не успокоивался до тех пор, пока не залучит всё в свой карман.

Ранним утром поезд примчал нас в Т***. Я надеялся, что найду тут своих лошадей, но за мной еще не приехали. В ожидании я кое-как приютился в довольно грязной местной гостинице и, имея сердце чувствительное, разумеется, не утерпел, чтобы не повидаться с дорогими свидетелями моего детства: с постоянным двором и его бывшим владельцем.

Старого постоянного двора уже не было и следа. На месте его возвышались двухэтажные каменные палаты с пространными флигелями и амбарами, в которых помещались контора и склады. Ужасно это меня огорчило. Вот тут, на самом этом месте, была любезнейшая сердцу грязь; вот здесь я лакомился сдобными лепешками со сливками; вот там я дразнил индюка... И вдруг — ничего этого нет! Какие-то каменные палаты, от которых не веет ничем, отзывающимся сердечною теплотою! До такой степени это поразило меня, что, взойдя на парадное крыльцо, я даже предложил себе вопрос, не дать ли тягу. Кто знает, не окаменел ли и сам Дерунов, подобно своим палатам! Вспоминает ли о прежних сереньких днях, или же он и прошлое свое, вместе с другою ненужною ветошью, сбыл куда-нибудь в такое место, где его никакими способами даже отыскать нельзя! Я несчастлив, и потому очень понятно, что для меня всякая подробность прошлого имеет цену светлого воспоминания. Напротив того, Дерунов

счастлив — зачем же, спрашивается, ему прошлое, в котором все-таки было не без плутней, а следовательно, и не без потасовок за оные?

Теперь Дерунов — опора и столп. Авторитеты уважает, собственность чтит, насчет семейного союза нимало не сомневается. Он много и беспрекословно жертвует и получает за это медали; на нем почит множество благословений Синода; у него в доме останавливается, во время ревизии, губернатор; его чуть не боготворит исправник и тщетно старается подкузьмить мировой судья. В довершение всего, у него дочь выдана за полковника. Какое значение могу я иметь в его глазах, кроме значения ненужного напоминания прошлого? Я не могу ничего ни продать, ни купить, ни даже предложить какие-нибудь услуги. Я — ветошь прошлого, очевидец замасленной сибирки, загаженных мухами счетов, на которых он когда-то щелкал, приговаривая: «За самовар пять копеечек, овсеца меру брали — двадцать копеечек, за тепло — сколько пожалуете» и т. д. Зачем я пришел?

Но куда я раздумывал, в воротах дома показался сам старик Дерунов, который только что окончил свои распоряжения во дворе.

Несмотря на свои с лишком шестьдесят лет, он был совершенно бодр и свеж. Он представлял собою совершеннейший тип той породы крепких, сильных и румяных стариков, которых называют благолепными. Голубые глаза его слегка потускнели, вследствие старческой слезы, но смотрели по-прежнему благодушно, как будто говорили: зачем тебе в душу мою забираться? я и без того весь тут! Волоса побелели, но еще кудрявились, обрамливая обнаженный череп и образуя вокруг головы род облака. Та же приятная улыбка на губах, тот же мягкий, лишь слегка надтреснутый тенор. Словом сказать, передо мной стоял прежний Осип Иванов, но только посановитее и в то же время поумытее и пощеголевatee.

— Вам до меня? — обратился он ко мне с вопросом. Я назвал себя.

Старик постоял с минуту, как бы ища в своей памяти, но наконец вспомнил. И, сказать по правде, вспомнил с видимым удовольствием.

— Господи! — засуетился он около меня, — легко ли дело, сколько годов не видались! Поди, уж лет сорок прошло с тех пор, как ты у меня махонькой на постоялом лошадей кармливал!

— Сорок не сорок, а много-таки воды утекло!

— Что и говорить! Вот и у вас, сударь, головка-то беленька стала, а об стариках и говорить нечего. Впрочем, я на себя не пожалуюсь: ни единой во мне хворости до сей поры нет! Да что же мы здесь стоим! Милости просим наверх!

Пошли в дом; лестница отличная, светлая; в комнатах — благолепие. Сначала мне любопытно было взглянуть, каков-то покажется Осип Иваныч среди всей этой роскоши, но я тотчас же убедился, что для моего любопытства нет ни малейшего повода: до такой степени он освоился со своею новою обстановкой.

— Вот какую хижу я себе выстроил! — приветствовал он меня, когда мы вошли в кабинет, — теперь у меня простора вдоволь, хоть в дрожках по горницам разъезжай. А прежде-то что́ на этом месте было... чай, помните?

— Да не забыл-таки. И знаете ли, Осип Иваныч, как подходил к вашему дому да увидел, что прежнего постоянного двора нет — как будто жаль стало!

— Что жалеть-то! Вони да грязи мало, что ли, было? После постоянного-то у меня тут другой домик, чистый, был, да и в том тесно стало. Скоро пять лет будет, как вот эти палаты выстроил. Жить надо так, чтоб и светло, и тепло, и во всем чтоб приволье было. При деньгах да не пожить? за это и люди осудят! Ну, а теперь побеседуемте, сударь, закусимте; я уж вас от себя не пушу! Сказывай, сударь, зачем приехал? нужды нет ли какой?

Старик, очевидно, не знал, какой тон установить в отношении ко мне, и потому непрерывно переходил от «вы» на «ты».

— Да у вас, чай, дела; еще удержишь...

— Какие дела! всех дел не переделаешь! Для делов дельцы есть — ну, и пускай их, с богом, бегают! Господи! сколько годов, сколько годов-то прошло! Голова-то у тебя ведь почесть белая! Чай, в город-то в родной въехали, так диву дались!

— Да, порядочно-таки изменился!

— Постой, что еще вперед будет! Площадь-то какая прежде была? экипажи из грязи народом вытаскивали! А теперь посмотри — как есть красавица! Собор-то, собор-то! на кумпол-то взгляни! За пятнадцать верст, как по остреченскому тракту едешь, видно! Как с последней станции выедешь — всё перед глазами, словно вот рукой до города-то подать! Каменных домов сколько понастроили! А уж, как Московскую улицу вымостим да гостиный двор выстроим — чем не Москва будет!

— Хорошо-то хорошо... да ведь и прежде...

— Нечего, сударь, прежнего жалеть! Надо дело говорить: ничего в «прежнем» хорошего не было! Я и старик, а не жалею. Только вонь и грязь была. А этого добра, коли кому приятно, и нынче вдоволь достать можно. Поезжай в «Пешую слободу» да и живи там в навозе!

Осип Иваныч на минуту остановился и не то восторженно, не то иронически воскликнул:

— Одних питейных заведений у нас нынче числом шестьдесят пять штук!

— Да? ну, это, конечно, усовершенствование немало-важное...

— Не нравится? А мне так любо смотреть! ровно часовые по улице-то стоят! впустить впустят, а выпустить — и думать не могли!

— Что ж тут хорошего!

— А то и хорошо, что вольному воля! Прежде насчет всего запрет был, а нынче — воля! А впрочем, доложу вам, умному человеку на этот счет все едино: что запрет, что воля. Когда запрет был — у умного человека на предмет запрета выдумка была; воля пришла — у него на предмет этой самой воли выдумка готова! Умный человек никогда без хлеба не оставался. А что касается до прочих, так ведь и для них все равно. Только навыворот... ха-ха!

Осип Иваныч звонко и добродушно засмеялся и даже несколько, кажется, удивился, что и я вместе с ним не смеюсь.

— Да что ж ты унылой какой сделался! — сказал он, — а ты побравее, поповоротливее взглядывай! потрафляй! На меня смотри: чем был и чем стал!

— Да вам таки посчастливилось, кажется!

— Благословил Господь! А все-таки скажу, в нашем деле как кому потрафится! Сумел потрафить — с рублем будешь; не сумел — в трубу вылетел! Одно верно: руки склавши сидеть будешь — много не наживешь! Немало тоже я думы передумал, покуда решил колесо-то это завести. Прежде и я по зернышку клевал, ну, а потом вижу, люди горстями хватают, — подумал: «Не все же людям, и нам, может, частица перепадет!» Да об этом после! Что мы так-то сидим! Эй, чаю сюда! да закусочки! Господи! сколько лет, сколько зим! Еще от родителей ваших, сударь, ласку видел, вот оно когда знакомство-то наше началось! Недавно еще мимо Чемезова-то проезжал — вспоминал! как же! Дом-то барский, сказывают, уж обвалился; ни замков, ни заслонок, даже кирпичи из печей — и те

повытасканы. Пожалел я: стоит махина без окон, словно инвалид без глаз!

Осип Иваныч неодобрительно покачал головой. Между тем подали чай, а на другом столе приготавливали закуску.

— Туда, что ли, сударь, едете? — обратился ко мне Дерунов.

— Туда.

— Что делать предполагаете?

— Да посмотрю...

— По правде сказать, невелико вам нынче веселье, дворянам. Очень уж оплошали вы. Начнем хоть с тебя: шутка сказать, двадцать лет в своем родном гнезде не бывал! «Где был? зачем странствовал?» — спросил бы я тебя — так сам, чай, ответа не дашь! Служил семь лет, а выслужил семь реп!

— Всякому свое, Осип Иваныч. Может быть, и на нашей улице будет праздник!

— Знаю я, сударь, что начальство пристроить вас куда-нибудь желает. Да вряд ли. Не туда вы глядите, чтоб к какому ни на есть делу приспособиться!

— Уж будто и дела для нас никакого не найдется!

— Какое же дело! Вино вам предоставлено было одним курить — кажется, на что статья подходящая! — а много ли барыша нажили! Побились, побились, да к тому же Дерунову на поклон пришли — выручай! Нечего делать — выручил! Теперь все заводы в округе у меня в аренде состоят. Плачу аренду исправно, до ответственности не допускаю — загребай помещик денежки да живи на теплых водах!

— Воспитание, Осип Иваныч, не такое мы получили, чтоб об материальных интересах заботиться. Я вот по-латыни прежде хорошо знал, да, жаль, и ее позабыл. А кабы не позабыл, тоже утешался бы теперь!

— На пустые поля да на белоус глядючи. Так, сударь! А надолго ли, смею спросить, в Чемезово-то собрались?

— Нет, зачем надолго! Посмотреть да кой-чем распорядиться — и опять в Петербург!

— То-то. В деревне ведь тоже пить-есть надо. Земля есть, да ее не укусишь. А в Петербурге все-таки что-нибудь добудешь. А ты не обидься, что я тебя спрошу: кончать, что ли, с вотчиной-то хочешь?

— Хотелось бы. Крестьяне на выкупе, земля — обрезки кое-какие остались; не к рукам мне, Осип Иваныч!

— А не к рукам, так продать нужно. Дерунова за бока! Что ж, я и теперь послужить готов, как в старину служи-

вал. Даром денег не дам, а настоящую цену отчего не заплатить? Заплачу!

— Да ведь настоящая-то цена... кто ее знает, какая она?!

— Настоящая цена — христианская цена. Чтоб ни мне, ни тебе — никому не обидно; вот какая это цена! У тебя какая земля! И тебе она не нужна, и мне не нужна! Вот по этому самому мачтабу и прикладывай, чего она стóбит!

— Однако ведь вы охотитесь же купить!

— Так, балую. У меня теперь почеть четверть уезда земли-то в руках. Скупаю по малости, ежели кто от нужды продает. Да и услужить хочется — как хорошему человеку не услужить! Все мы Боговы слуги, все друг дружке тяготы нести должны. И с твоей землей у меня купленная земля по смежности есть. Твои-то клочки к прочим ежели присокупить — ан дача выйдет. А у тебя разве дача?

— Ну, кроме вас, и крестьяне, может быть, пожелают приобрести.

— Крестьяне? крестьянину, сударь, дани платить надо, а не о приобретении думать. Это не нами заведено, не нами и кончится. Всем он дань несет; не только казне-матушке, а и мне, и тебе, хоть мы и не замечаем того. Так ему свыше прописано. И по моему слабому разуму, ежели человек бедный, так чем меньше у него, тем даже лучше. Лишней обузы нет.

Суждение это было так неожиданно, что я невольно взглянул на моего собеседника, не рассердился ли он на что-нибудь. Но он по-прежнему был румян; по-прежнему невозмутимо-благодушно смотрели его глаза; по-прежнему на губах играла приятная улыбка.

— Да уж не рассердили ли вас чем-нибудь крестьяне, что вы от лишней обузы облегчить их хотите? — спросил я.

— Я-то сержусь! Я уж который год и не знаю, что за «сердце» такое на свете есть! На мужичка сердиться! И-и! да от кого же я и пользу имею, как не от мужичка! Я вот только тебе по-христианскому говорю: не вяжись ты с мужиком! не твое это дело! Предоставь мне с мужика получать! уж я своего не упущу, всё до копейки выберу!

— Послушайте, однако ж: почему же вы полагаете, что я не получу? Ведь это странно: вы получите, а я не получу!

— Ничего тут странного нет. Вы только подумайте, сударь, мое ли дело или ваше! Я вот аблаката нанимаю,

полторы тысячи ему плачу, так он у меня и в пир, и в мир. Ездит себе да покатывается. У меня в год-то, может, больше сотни дел во всех местах перебывает. Тут и в грош есть, и в тысячу. Так разложите эти полторы тысячи на сто дел — что выйдет! Плевое дело? А тебе из-за каждой срубленной елки, из-за каждой гривенной потравы аблакаты нанимать нужно! Резон ли это? Где ты столько денег найдешь, чтобы эту прорву насытить? Да и аблакаты-то где еще найдешь? за ним тоже в город ехать нужно, харчиться, убытчиться! Во что это тебе вскочит? А земля-то, сударь, хоть и нет у нее души, а чувствует она, матушка, что у ней настоящего радетеля нет!

— Да я не об земле. Я знаю, что я не радетель земле. Я землю мужикам продам, а с мужиков деньги получу.

— Разом ничего вы, сударь, с них не получите, потому что у них и денег-то настоящих нет. Придется в рассрочку дело оттягивать. А рассрочка эта вот что значит: поплатят они с грехом пополам годок, другой, а потом и надоест: всё плати да плати!

— Надоест! Это разве резон! ведь не бессудная же земля!

— И земля не бессудная, и резону не платить нет, а только ведь и деньга защитника любит. Нет у нее радетеля — она промеж пальцев прошла! есть радетель — она и сама собой в кармане запутается. Ну, положим, рассрочил ты крестьянам уплату на десять лет... примерно, хоть по полторы тысячи в год...

«По полторы тысячи! стало быть, пятнадцать тысяч в десять лет! — мелькнуло у меня в голове. — Однако, брат, ты ловок! сколько же *разом-то* ты намерен был мне отсыпать!»

— Ну, продал, заключил условие, уехал. Не управляющего же тебе нанимать, чтоб за полуторами тысячами смотреть. Уехал — и вся недолга! Ну год они тебе платят, другой платят; на третий — пишут: сенов не родилось, скот выпал... Неужто ж ты из Питера сюда поскачешь, чтоб с ними судиться?!

— Не поскачу, а напишу кому следует.

— Да ведь у них и взаправду скот выпал — неужто ты их зорить будешь!

— Однако, ведь вы взыскали бы?

— Я — другое дело. Я радетель. Я и землю соблюду, и деньги взыщу. Я всякое дело порядком поведу. Ежели бы я, например, и совсем за землей не смотрел, так у меня крестьянин синь пороха не украдет. Потому, у него

исстари составилось мнение, что у Дерунова ничего плохо не лежит. Опять же и насчет взысканий: не разоряю я, а исподволь взыскиваю. Вижу, коли у которого силы нет — в работу возьму. Дрова заставлю пилить, сено косить — мне всего много нужно. Ему приятно, потому что он гроша из кармана не вынул, а ровно бы на гулянках отработался, а мне и того приятнее, потому что я работой-то с него, вместо рубля, два получу!

— Ну, а вы... сколько бы вы мне за землю предложили?

— Пять тысяч — самая христианская цена. И деньги сейчас в столе — словно бы для тебя припасены. Пять тысяч на круг! тут и худая, и хорошая десятина — всё в одной цене!

— Ну, нет, это дешевенько. Лучше уж я посмотрю!

— Посмотри! что ж, и посмотреть не худое дело! Старики говаривали: «Свой глазок — смотрок!» И я вот стар-стар, а везде сам посмотрю. Большая у меня сеть раскинута, и не оглядишь всё — а все как-то сердце не на месте, как где сам недосмотришь! Так день-деньской и маюсь. А, право, пять тысяч дал бы! и деньги припасены в столе — ровно как тебя ждал!

Однако я ничего не ответил на этот новый вызов. Мы оба на минуту смолкли, но я инстинктивно почувствовал, что между нами вдруг образовалась какая-то натянутость. Я смотрел в сторону, Осип Иваныч тоже поглядывал куда-то в угол.

— Ну, а ваши дела как? — прервал я первое молчание.

— Нечего Бога гневить — дела хороши! Нынче только мозгами шевелить не ленись, а денюга сама к тебе привалит!

— Хлебом торгуете?

— Хлебом нынче за первый сорт торговать. Насчет податей строго стало, выкупные требуют — ну, и везут. Иному и самому нужно, а он от нужды везет. Очень эта операция нынче выгодная.

— Скот скупаете тоже, я слышал?

— И скот скупать хорошо, коли ко времю. Вот в марте кормы-то повыберутся, да и недоимки понуждать начнут — тут только не плошай! За бесценок целые табуны покупаем да на винокурных заводах на барду ставим! Хороший барыш бывает.

— Лесá, вино?

— И лесами подобрались — дрова в цене стали. И ви-

но — статья полезная, потому — воля. Я нынче фабрику миткалевую завел: очень уж здесь народ дешев, а провоз-то по чугунке не бог знает чего стоит! Да что! Я хочу тебя спросить: пошли нынче акции, и мне тоже предлагали, да я не взял!

— Что ж так!

— Опаску имею. Намеднись даже генерал ко мне из Питера приезжал. Снял, вишь, железную дорогу, так в учредители звал. Очень хвалил!

— За чем же стало?

— То-то, что Сибирь-то еще у меня в памяти! Забыть бы об ней надо! Еще бы вольнее орудовать можно было!

— С какой же тут стати Сибирь?

— Да ведь на грех мастера нет. Толковал он мне много, да мудрено что-то. Я ему говорю: «Вот рубль — желаю на него пятнадцать копеечек получить». А он мне: «Зачем твой рубль? Твой рубль только для прилику, а ты просто задаром еще другой такой рубль получишь!» Ну, я и поусумнился. Сибирь, думаю. Вот сын у меня, Николай Осипыч, — тот сразу эту механику понял!

— Должно быть, ваш генерал помещение для облигаций выгодное нашел; ну, акции-то и пойдут, как будто на придачу.

— Вот это самое и он толковал, да вычурно что-то. Много, ах, много нынче безместных-то шляется! То с тем, то с другим. Намеднись тоже Прокофий Иваныч — помещик здешний, Томилиным прозывается — с каменным углем напрашивался: будто бы у него в имении не есть этому углю конца. Счастливики вы, господа дворяне! Нет-нет да что-нибудь у вас и окажется! Совсем было капут вам — ан вдруг на лес потребитель явился. Лесá извели — уголь явился. Того гляди, золото окажется — ей-богу, так!

— Вот как вы все земли-то купите, вам все и достанется: и уголь, и золото! Ну, а семейство ваше как?

— Живем помаленьку. Жена, слава богу, поперек себя шире стала. В проферанец играть выучилась! Я ей, для покою, и компанию составил: капитан тут один, да бывший судья, да Глафирин Николай Петрович.

— Это предводитель-то?

— Был предводителем, а нынче он, как и прочие, на Бога да на каменный уголь надежду имеет. Сколь прежде был лют, столь нынче смирен. Собираются с обеда да и обыгрывают Анну Ивановну помаленьку. Мне не убыточно, им — рублишко на молочишко, а ей — моцион!

— А дети?

— Старший сын, Николай, дельный парень вышел. С понятием. Теперь он за сорок верст, в С***, хлеб закупать уехал! С часу на час домой жду. Здесь-то мы хлеб нынче не покупаем; станция, так конкурентов много развелось, приказчиков с Москвы насылают, цены набивают. А подалее — поглуше. Ну, а младший сын, Яков Осипыч, — тот с изьянцем. С год места на глаза его не пущаю, а по времени, пожалуй, и совсем от себя отпихну!

— Жалко.

— Непочтителен. Я уж его и в смиренный за непочтение сажал — всё нейметя. Теперь на фабрику к Астафью Астафьичу — англичанин, в управителях у меня живет — под начало его отдал. Жаль малого — да не что станешь делать! Кажется, кабы не жена у него да не дети — давно бы в солдаты сдал!

— И женат?

— Женат, четверо детей. Жена у него, в добрый час молвить, хорошая женщина! Уж так она мне приятна! так приятна! и покорна, и к дому радельна, словом сказать, для родителей лучше не надо! Все здесь, со мною живут, всех у себя приютит! Потому, хоть и противник он мне, а все родительское-то сердце болит! Не по нем, так по присным его! Кровь ведь моя! ты это подумай!

— Что говорить! Стало быть, только двое сыновей у вас и есть?

— Сынов двое, да дочь еще за полковника выдана. Хороший человек, настоящий. Не пьет; только одну рюмку, перед обедом. Бережлив тоже. Живут хорошо, с деньгами.

— Еще бы не с деньгами! чай, порядочный куш в приданое-то отсыпали!

— Нет, я на этот счет с оглядкой живу. Ласкать ласкаю, а баловать — боже храни! Не видевши-то денег, она все лишний раз к отцу с матерью забежит, а дай ей деньги в руки — только ты ее и видел. Э, эх! все мы, сударь, люди, все человеки! все денежку любим! Вот помирать стану — всем распределю, ничего с собой не унесу. Да ты что об семье-то заговорил? или сам обзавестись хочешь?

— Куда мне! И одному-то вряд прожить, а то еще с семьей!

— Не говори ты этого, сударь, не грехи! В семье ли человек или без семьи? Теперича мне хоть какую угодно принцессу предоставь — разве я ее на мою Анну Ивановну променяю! Спаси господи! В семью-то придешь — ров-

но в раю очутишься! Право! Благодать, тишина, всякий при своем месте — истинный рай земной!

Осип Иваныч зевнул и перекрестил рот. Разговор видимо истощился. Я уже встал с намерением проститься, но гостеприимный хозяин и слышать не хотел, чтоб я уехал, не отведав его хлеба-соли. Кстати, в эту самую минуту послышался стук подъезжающего к крыльцу экипажа.

— Да вот и Николай Осипыч воротился! — сказал Осип Иваныч, подходя к окну, — так и есть, он самый! Познакомитесь! Он хоть и не воспитывался в коммерческом, а малый с понятием! Кстати, может, и мимо Чемезова проезжал.

Через минуту в комнату вошел средних лет мужчина, точь-в-точь Осип Иваныч, каким я знал его в ту пору, когда он был еще мелким прасолом. Те же ласковые голубые глаза, та же приятнейшая улыбка, те же выющиеся каштановые с легкою проседию волоса. Вся разница в том, что Осип Иваныч ходил в сибирке, а Николай Осипыч носит пиджак. Войдя в комнату, Николай Осипыч помолился и подошел к отцу, к руке. Осип Иваныч отрекомендовал нас другу другу.

— Ну, что, как торги?

— Торговал, папенька, за первый сорт. Только в С*** задержечка вышла. Ездил в Р*** — там купил.

— Что так? не чикуновские ли приказчики наехали?

— Нет, благодарение богу, окромя нас, еще никого не видать. А так, промежду мужичков каприз сделался. Цену, кажется, давали им настоящую, шесть гривен за пуд — ан нет: «нынче, видишь ты, и во сне таких цен не слыхано»!

— Во сне и всё хорошие цены снятся! Так и не продали?

— Не продали. Все, как есть, в Р*** уехали. Приехали — а там опять мы же. Только уж я там, папенька, по пятидесяти копеечек купил.

— И дело. Вперед наука. Вот десять копеек на пуд убытку понес да задаром тридцать верст проехал. Следовательно, в предбудущем, что ему ни дай — возьмет. Однако, это, брат, в наших местах новость! Скажи пожалуй, стачку затеяли! Да за стачки-то нынче, знаешь ли, как! Что ж ты исправнику не шепнул!

— Ничего, папенька, покамест еще своими мерами справляемся-с.

— Ну, ладно. И то сказать, окромя нас и покупщиков-то солидных здесь нет. Испугать вздумали! нет, брат! ростом не вышли! Бунтовать не позволено!

— Истинный, папенька, бунт был! Просто, как есть, стали все заодно — и шабаш. Вы, говорят, из всего уезда кровь пьете! Даже смешно-с.

— Никогда прежде бунтов не бывало, а нынче, смотри-ка, бунты начались!

— Да какой же это бунт, Осип Иваныч! — вступился я.

— А по-твоему, барин, не бунт! Мне для чего хлеб-то нужен? сам, что ли, экую махину съем! в амбаре, что ли, я гноить его буду? В казну, сударь, в казну я его ставлю! Армию, сударь, хлебом продовольствую! А ну, как у меня из-за них, курицыных сынов, хлеба не будет! Помирать, что ли, армии-то! По-твоему, это не бунт!

На сей раз Осип Иваныч совершенно явно и довольно нагло говорил мне «ты». Он возмущался так искренно, что даже изменил своему обычному благодушию. Признаюсь откровенно, я и не подумал возразить ему. Соображение, что, по милости мужиков, не соглашающихся взять *настоящую* цену, армия может встретить препятствие в продовольствии, было так решительно и притом так полно современности, что я даже сам испугался, каким образом оно прежде не пришло мне в голову. Конечно, я понимал, что и против такого капитального соображения не невозможны возражения, но, с другой стороны, что может произойти, если вдруг Осипу Иванычу в моем скромно выраженном мнении вздумается заподозрить или «превратное толкование», или наклонность к «распространению вредных идей»! Скажу я, например, что, при неисправности подрядчика, военное ведомство может распорядиться насчет его залогов, а он вдруг растолкует, что я армии и флоты отрицаю, основы потрясаю, авторитетов не признаю! Разве этих примеров не бывало! Разве не обвиняли фабриканты своих рабочих в бунте за то, что они соглашались работать не иначе, как под условием увеличения заработной платы! Поэтому я призвал на помощь возможное при подобных обстоятельствах гражданское мужество и воскликнул:

— Ну, да, армия... конечно! армия! Представьте, я и не подумал!

— А я так денно и ночью об этом думаю! Одна подушка моя знает, сколь много я беспокоюсь из-за этого переношу! Ну, да ладно. Давали христианскую цену — не взя-

ли, так на предбудущее время и пятидесяти копеек напроситесь. Нет ли еще чего нового?

— Кандауровского барина чуть-чуть не увезли-с.

— Как увезли? куда?

— Неизвестно-с. И за что — никто не знает. Сказывали, этта, будто господин становой писал. Ни с кем будто не знакомится, книжки читает, дома по вечерам сидит...

— Не было ли поступков за ним каких?

— Поступков не было. И становой, сказывают, писал: поступков, говорит, нет, а ни с кем не знакомится, книжки читает... так и ожидали, что увезут! Однако ответ от вышнего начальства вышел: дожидаться поступков. Да барин-то сам догадался, что нынче с становым шутка плохая: сел на машину — и айда в Петербург-с!

— Да, строгонько ноне насчет этих чтений стало. Насчет вина свободно, а насчет чтений строго. За ум взялись.

— А разве что-нибудь у вас было? Беспокойства какие-нибудь? — любопытствовал я.

— Мало ли у нас тут сквернословиев было!

— Однако ведь вы сами говорите, что за кандауровским баринком никаких поступков не было?

— А кто его знает! Может, он промежду себя революцию пуцал. Не по-людски живет! ни с кем хлеба-соли не водит! Кому вдомек, что у него на уме!

— Позвольте, Осип Иваныч! ведь если так рассуждать, то, пожалуй, кандауровский-то барин и хорошо сделал, что в Петербург бежал! Один бежит, другой бежит...

— А коли кто задумал бежать — никто не держит! Слава богу! И окромя довольно народу останется!

Сказавши это, Осип Иваныч опрокинулся на спину и, положив ногу на ногу, левую руку откинул, а правой забарабанил по ручке дивана. Очевидно было, что он собрался прочесть нам прорицание, но с таким при этом расчетом, что он будет и разглагольствовать, и на бобах разводиться, а мы будем слушать да поучаться.

— Мы здесь живем в тишине и во всяком благом поспешении, — сказал он солидно, — каждый при своем занятии находится. Я, например, при торговле состою; другой — рукомесло при себе имеет; третий — от земли питается. Что кому свыше определено. Чтений для нас не полагается.

Осип Иваныч умолк на минуту и окинул нас взглядом. Я сидел, съезжившись и как бы сознаваясь в какой-то вине; Николай Осипыч, как говорится, ел родителя глазами.

По-видимому, это поощрило Дерунова. Он сложил обе руки на животе и глубокомысленно вертел одним большим пальцем вокруг другого.

— Главная причина, — продолжал он, — коли-ежели без пользы читать, так от чтений даже для рассудка не без ущерба бывает. День человек читает, другой читает — смотришь, по времени и мечтать начнет. И возмечтает неявленная и неудобьблагоемая. Отобьется от дела, почтение к старшим потеряет, начнет сквернословить. Вот его в ту пору сцарапают, раба божьего, — и на цугундер. Веди себя благородно, не мути, унылости на других не наводи. Так ли, по-твоему, сударь?

— Да что ж «по-моему»? Меня ведь не спросят!

— Вот это ты дельное слово сказал. Не спросят — это так. И ни тебя, ни меня, никого не спросят, сами всё, как следует, сделают! А почему тебя не спросят, не хочешь ли знать? А потому, барин, что уши выше лба не растут, а у кого ненароком и вырастут сверх меры — подрезать маленечко можно!

Видя, что мысли Дерунова принимают унылый и не совсем безопасный оборот, я серьезно обеспокоился. Несмотря на смутную форму его речи, ясно было, что она направлена в мой огород. Как ни робко выражено было мною сомнение насчет правильности наименования бунтовщиками мужиков, не соглашавшихся взять предлагаемую им за хлеб цену, но даже и оно видимо омрачило благодушие старика. Стало быть, кроме благодушия, в нем, с течением времени и под влиянием постоянной удачи в делах, развилась еще и другая черта: претензия на непререкаемость. С минуты на минуту я ждал, что от намеков он перейдет к прямым обвинениям и что я, к ужасу своему, встречу лицом к лицу с вопросом: нужны ли армии или нет? Напрасно буду я заверять, что тут даже вопроса не может быть, — моего ответа не захотят понять и даже не выслушают, а будут с настойчивостью, достойною лучшей участи, приставать: «Нет, ты не отлынивай! ты говори прямо: нужны ли армии или нет?» И если я, наконец, от всей души и от всего моего помышления возопию: «Нужны!» и, в подтверждение искренности моих слов, потребую шампанского, чтоб провозгласить тост за процветание армий и флотов, то и тогда удостоюсь только иронической похвалы, вроде: «ну, брат, ловкий ты парень!» или: «знает кошка, чье мясо съела!» и т. д.

Поэтому, в отвращение дальнейших бедствий, я воспользовался первою паузой, чтоб переменить разговор.

— Вы давно не бывали в Чемезове? — обратился я Николаю Осипычу.

— Сегодня только проезжал. Следом за мной и старик Лукьяныч за вами приехал. В гостинице кормить остановился.

— Ну, вот и прекрасно. Стало быть, я и поеду.

— Постой! погоди! как же насчет земли-то! берешь, что ли, пять тысяч? — остановил меня Осип Иваныч и, обращаясь к сыну, прибавил: — Вот, занадельную землю у барина покупаю, пять тысяч надавал.

— Пять тысяч-с! — удивился Николай Осипыч.

— Много денег, сам знаю, что много! Ради родителей вызволить барина хотел, как еще маленьким человеком будучи, ласку от них видел!

— Берите-с! — обратился ко мне Николай Осипыч, как будто даже со страхом, — этакая цена! да за такую цену обеими руками ухватиться надобно!

— И я то же говорю, а барин вот ломается.

— Не ломаюсь, а осмотреться желаю. Надеюсь, что имею на это право!

— Кто об твоих правах говорит! Любуйся! смотри! А главная причина: никому твоя земля не нужна, следовательно, смотри на нее или не смотри — краше она от того не будет. А другая причина: деньги у меня в столе лежат, готовы. И в Чемезово ехать не нужно. Взял, получил — и кати без хлопот обратно в Питер!

Но я встал и решительно начал откланиваться.

— Стало быть, ты и хлеба-соли моей отведать не хочешь! Ну, барин, не ждал я! А родители-то! родители-то какие у тебя были!

Осип Иваныч тоже встал с дивана и по всем правилам гостеприимства взял мою руку и обеими руками крепко сжал ее. Но в то же время он не то печально, не то укоризненно покачивал головой, как бы говоря: «Какие были родители и какие вышли дети!»

— Да не обидел ли я тебя тем, что насчет чтений-то просто сказал? — продолжал он, стараясь сообщить своему голосу особенно простодушный тон, — так ведь у нас, стариков, уж обычай такой: не всё по голове гладим, а иной раз и против шерсти причесать вздумаем! Не погневайся!

— Полноте! Мне и в голову не приходило, что ваши слова могли относиться ко мне!

— К тебе не к тебе, а ты тоже на ус мотай! От стариков-то не отворачивайся. Ежели когда и поучат, тебя жа-

леючи, — нисколько тебе убытку от этого и будет! Кандауровский-то барин недалеко от твоей вотчины жил! Так-то!

Мы простились довольно холодно, хотя Дерунов соблюл весь заведенный в подобных случаях этикет. Жал мне руки и в это время смотрел в глаза, откинувшись всем корпусом назад, как будто не мог на меня наглядеться, проводил до самого крыльца и на прощанье сказал:

— Забеги, как из Чемезова в обратный поедешь! И с крестьянами коли насчет земли не поладишь — только слово шепни — Дерунов купит! Только что уж в ту пору я пяти тысяч не дам! Ау, брат! Ты с первого слова не взял, а я со второго слова — не дам!

Лукьяныч выехал за мной в одноколке, на одной лошади. На вопрос, неужто не нашлось попросторнее экипажа, старик ответил, что экипажей много, да в лом их лучше отдать, а лошадь одна только и осталась, прочие же «кои пали, а кои так изничтожились».

— Ну, брат, не красиво же у вас там! — вздохнул я.

— Какая красота! Был, было, дворянин, да черт переменял! Вот полюбуетесь на усадьбу-то!

В Лукьяныче олицетворялась вся история Чемезова. Он был охранителем его во времена помещичьего благоденствия, и он же охранял его и теперь, когда Чемезово сделалось, по его словам, таким местом, где, «куда ни плюнь, все на пусто попадешь». Не раз писывал он мне письма, в которых изображал упадок родного гнезда, но, наконец, убедившись в моем равнодушии, прекратил всякое настояние. С немногими оставшимися в живых стариками и старухами, из бывших дворовых, ютился он в подвальном этаже барского дома, получая ничтожное содержание из доходов, собираемых с кой-каких сенных покосов, и, не без тайного ропота на мое легкомыслие, взирал, как разрушение постепенно клало свою руку на все окружающее. Упала оранжерея, вымерз грунтовой сарай, загдох сад, перевелся скот, лошади выстаивали свои лета и падали. Потом сначала в одной из комнат дома грохнулся потолок, за нею в другой комнате... Птицы и град повыбили из окон стекла, крыша проржавела и дала течь. Долгое время, кое-как, своими средствами, замазывали и законопачивали, но когда наконец изо всех щелей вдруг полилось и посыпалось — бросили и заботились только

о том, как бы сохранить от разрушения нижний этаж, в котором жили старики дворовые. Вот зрелище, которое ожидало меня впереди и от присутствия при котором я охотно бы отказался, если б в последнее время меня с особенною назойливостью не начала преследовать мысль, что надо во что бы то ни стало покончить...

И вот я ехал «кончать». С чем кончать, как кончать — я сам хорошенько не знал, но знал наверное, что тем или другим способом я «кончу», то есть уеду отсюда свободный от Чемезова. Куда-нибудь! Как-нибудь! во что бы то ни стало! — вот единственная мысль, которая работала во мне и которая еще более укрепилась после свидания с Деруновым. Должно быть, и Лукьяныч угадал эту мысль, потому что лицо его, на минуту просветлевшее при свидании со мною, вдруг нахмурилось под влиянием недоброго предчувствия. С старческой медленностью, беспрестанно вздыхая, закладывал он лохматого мерина в убогую одноколку, и, быть может, в это время в его воображении особенно ярко рисовалась сравнительная картина прежнего помещичьего приволья и теперешнего убожества. Покуда меня не было налицо, он мог и роптать, и сожалеть, и даже сравнивать, но ясного понимания положения вещей у него все-таки не было. Теперь перед ним стоял сам «барин» — и вот к услугам этого «барина» готова не рессорная коляска, запряженная четверней карачовых жеребцов, с молодцом-кучером в шелковой рубашке на козлах, а ободранная одноколка, с хромым меринком, который от старости едва волочил ноги, и с ним, Лукьянычем, поседевшим, сгорбившимся, одетым в какой-то неслыханный затрапез! Лукьяныч вдруг, в одну минуту, понял. «Барин», одноколка, дом без потолков, усадьба без оранжерей, сад без дорожек — все это ярко сопоставилось в его старческой голове. И затем, словно искра, засветилась мысль: «Да, надо кончить!» То есть та самая мысль, до которой иным, более сложным и болезненным процессом, додумался и я...

Мы сели рядом, кое-как скрючились и поехали.

Долго мы ехали большою дорогой и не заводили разговора. Мне все мерещился «кандауровский барин». «Чуть-чуть не увезли!» — как просто и естественно вылилась эта фраза из уст Николая Осипыча! Ни страха, ни сожаления, ни даже изумления. Как будто речь шла о поросенке, которого *чуть-чуть* не задавили дорогой!

За что? по какому резону? что случилось? — никому не известно! Известно только, что «в гости не ходил» и «книжки читал»...

Но, может быть, он дома один на один в потолок плевал? Может быть, он «Собранием иностранных романов» зачитывался? Неужто и это зазорно? Неужто и это занятие настолько подозрительно, что даже и ему нельзя предаваться в тишине, но должно производить публично, в виду всех?

И кто же этот сердцеведец, который счел своею обязанностью проникнуть в душу «кандауровского барина» и обличить ее тайные помыслы? — Увы! это становой пристав, это бывший куроед, а теперешний эксперт по части благонадежности или неблагонадежности обывательских убеждений!

Вот мы, жители столиц, часто на начальство ропщем. Говорим: «Стесняет, прав не дает». Нет, съездите-ка в деревню да у станового под началом поживите!

Что было бы с «кандауровским барином», если б начальство не написало: «дождаться поступков»! Что стало бы с ним, если б судьба его зависела единственно от усмотрения сердцеведца-станового!

Становой! какая метаморфоза, если посравнить с добрым старым временем!

Я помню, смотрит, бывало, папенька в окошко и говорит: «Вот пьяницу станового везут». Приедет ли становой к помещику по делам — первое ему приветствие: «Что, пьяница! видно, кур по уезду собирать ездешь!» Заикнется ли становой насчет починки мостов — ответ: «Кроме тебя, ездить здесь некому, а для тебя, пьяницы, и эти мосты — таковские». Словом сказать, кроме «пьяницы» да «куроеда», и слов ему никаких нет!

Я знаю, что такую манеру обращаться с агентом полицейской власти похвалить нельзя; но согласитесь, однако ж, что и метаморфоза чересчур уж резка. Все был «куроед», и вдруг — сердцевед!

В прежние времена говаривали: «Тайные помышления Бог судит, ибо он один в совершенстве видит сокровенную человеческую мысль...» Нынче все так упростилось, что даже становой, нимало не робея, говорит себе: «А дай-ка и я понюхаю, чем в человеческой душе пахнет!» И нюхает.

Я сижу дома и, запершись от людей, Поль де Кока читаю, а становой уже нечто насчет «превратных толкований» умозаключил! Не по случаю Поль де Кока умозаключил (в этом смысле он так образован, что даже Баркова наизусть знает), а по случаю моей любви к уединению. Он думает: «Зачем я уединяюсь, когда прочие въявь все срамоты производят?» И вот он начинает сослежать меня.

Я держу у себя Гришку-лакея, думаю, что живу за ним, как за каменной стеной, а он уж и Гришку развратил и потихоньку его выпросил, что и как, почтителен ли я к начальству, не затеваю ли революций и т. п. Он даже не ждет с моей стороны «поступков», а просто, на основании Гришкиных показаний, проникает в тайники моей души и одним почерком пера производит меня или в звание «столпа и опоры», или в звание «опасного и беспокойного человека», смотря по тому, как бог ему на душу положит! Это бывший-то куроед!

Куроед, совместивший в своем одном лице всю академию нравственных и политических наук! Куроед-сердцеведец, куроед-психолог, куроед-политикан! Куроед, принимающий на себя расценку обывательских убеждений и с самым невозмутимым видом одним выдающий аттестат благонадежности, а другим — аттестат неблагонадежности!

Ужели же и впрямь нет другого дела для куроедов!

Очевидно, тут есть недоразумение, в существовании которого много виноват т—ский исправник. Он призвал к себе подведомственных ему куроедов и сказал им: «Вы отвечаете мне, что в ваших участках тихо будет!» Но при этом не разъяснил, что читать книжки, не ходить в гости и вообще вести уединенную жизнь — вовсе не противоречит общепринятому понятию о «тишине».

И вот куроеды взбаламутились и с помощью Гришек, Прошек и Ванек начинают орудовать. Не простой тишины они ищут, а тишины прозрачной, обитающей в открытом со всех сторон помещении. Везде, даже в самой несомненной тишине, они видят или нарушение тишины, или подстрекательство к такому нарушению.

Еще на днях один становой щеголь мне говорил: «Понастоящему, нас не становыми приставами, а начальниками станов называть бы надо, потому что я, например, за весь свой стан отвечаю: чуть ежели кто ненадежен или в мыслях нетверд — сейчас же к сведению должен дать знать!» Взглянул я на него — во всех статьях куроед! И глаза врозь, и руки растопырил, словно курицу поймать хочет, и носом воздух нюхает. Только вот мундир — мундир, это точно, что ловко сидит! У прежних куроедов таких мундирчиков не бывало!

И этот-то щеголь судит «моя тайная и сокровенная», судит, потому что я живу у него в стану, а он «за весь стан отвечает». Он залезает в мою душу и барахтается в ней на всей своей воле!

А «кандауровский барин» между тем плюет себе в потолок и думает, что это ему пройдет даром. Как бы не так! Еще счастлив твой бог, что начальство за тебя заступилось, «поступков ожидать» велело, а то быть бы бычку на веревочке! Да и тут ты не совсем отбоярился, а вынужден был в Петербург удирать! Ты надеялся всю жизнь в Кандауровке, в халате и в туфлях, изжить, ни одного потолка неисплеванным не оставить — ан нет! Одевайся, обувайся, надевай сапоги и кати, неведомо зачем, в Петербург!

Какие жестокие времена!

Да и один ли становой! один ли исправник! Вон Дерунов и партикулярный человек, которому ничего ни от кого не поручено, а попробуй поговори-ка с ним по душе! Ничего-то он в психологии не смыслит, а ежели нужно, право, не хуже любого доктора философии всю твою душу по ниточке разберет!

Проста наша психология! ах, как проста! Только одно слово от себя прилги или скрой одно слово — и вся человеческая подноготная словно на ладони! Вот, например, я давеча насчет бунтов говорил, что нельзя назвать бунтовщиками крестьян за то только, что они хлеб по шести гривен отдать не соглашались! Прибавь Дерунов от себя только десять следующих слов: «и при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил» — и дело в шляпе. Я знаю, меня не казнят даже и за это, но знаю также, что ни в Навозном, ни в Соломенном мне не будет житья. Удирай! беги во все лопатки в Петербург, чтобы там, на глазах у начальства, невинную свою душу спасти!

Я удивляюсь даже, что Деруновы до такой степени скромны и сдержанны. Имей я их взгляды на бунты и те удобства, которыми они пользуются для проведения этих взглядов, я всякого бы человека, который мне нагрубил или просто не понравился, со свету бы сжил. Писал бы да пописывал: «И при сем, якобы армий совсем не нужно, говорил!» И наверное получил бы удовлетворение...

Какой необыкновенный мир — этот мир Деруновых! как все в нем перепутано, скомкано, захламощено всякого рода противоречивыми примесями! Как все колеблется и проваливается, словно половицы в парадных комнатах старого чemezовского дома, в которых даже крысы отка-зались жить!

Имеет ли, например, Осип Иваныч право называться столпом? Или же, напротив того, он принадлежит к числу самых злых и отъявленных отрицателей собственности, семейного союза и других основ? Бьюсь об заклад, что

никакой мудрец не даст на эти вопросы сколько-нибудь положительных ответов.

Что он всем своим нутром рьяный и упорный поборник всевозможных союзов — в этом я, конечно, не сомневаюсь. Это доказывается одним тем, что он богат (следовательно, чтит «собственность»), что он держит в порядке семью (следовательно, чтит «семейный союз»), что он, из уважения «к высшему начальству», жертвует на «общепольное устройство» (следовательно, чтит союз государственный). Но понимает ли он сам, что он «поборник»? Не говорит ли в этом случае одно его нутро, которое влечет его быть «радетелем» и «защитником» без всякого участия в том его сознания?

Вот этого-то я именно и не могу себе объяснить.

Ведь сам же он, и даже не без самодовольства, говорил давеча, что по всему округу сеть разостлал? Стало быть, он кого-нибудь в эту сеть ловит? кого ловит? не таких ли же представителей принципа собственности, как и он сам? Воля ваша, а есть тут нечто сомнительное!

Когда давеча Николай Осипыч рассказывал, как он ловко мужичков окружил, как он и в С., и в Р. сеть закинул и довел людей до того, что хоть задаром хлеб отдавай, — разве Осип Иваныч вознегодовал на него? разве он сказал ему: «Бездельник! помни, что мужику точно так же дорога его собственность, как и тебе твоя!»? Нет, он даже похвалил сына, он назвал мужиков бунтовщиками и накричал с три короба о вреде стачек, отнюдь, по-видимому, не подозревая, что «стачку», собственно говоря, производил он один.

Или, наконец, насчет меня. С каким злорадством доказывал он мне, что я ничего из Чемезова не извлеку и что нет для меня другого выхода, кроме как прибегнуть к нему, Дерунову, и порешить это дело на всей его воле! Предположим, что он прав; допустим, что я действительно не способен к «извлечениям» и, в конце концов, должен буду признать в Дерунове того суженого, которого, по пословице, конем не объедешь. Но разве он имел бы право поступать со мною так, как он поступил, если б был действительный и сознательный поборник принципа собственности? Не обязан ли он был утешить меня, наставить, укрепить? Не обязан ли был представить мне самый подробный и самый истинный расчет, ничего не утаивая и даже обещая, что буде со временем и еще найдутся какие-нибудь лишки, то и они пойдут не к нему, а ко мне в карман?

Нет, как хотите, а с точки зрения собственности — он не «столп»!

И кто же знает, столп ли он по части союзов семейного и государственного? Может быть, в государственном союзе он усматривает одни медали, которыми уснащена его грудь? Может быть, в союзе семейном...

Но здесь нить моих размышлений порвалась, и я, не смотря на неловкое положение тела, заснул настолько глубоко и сладко, что даже увидел сон.

Виделся мне становой пристав. Окончил будто бы он курс наук и даже получил в Геттингенском университете диплом на доктора философии. Сидит будто этот испытанный психолог и пишет:

«Проявился в моем стане купец 1-й гильдии Осип Иванович Дерунов, который собственности не чтит и в действиях своих по сему предмету представляется не без опасности. Искусственными мерами понижает он на базарах цену на хлеб и тем вынуждает местных крестьян сбывать свои продукты за бесценок. И даже на днях, встретив чемезовского помещика (имярек), наглыми и бесстыжими способами вынуждал его продать ему свое имение за самую ничтожную цену.

А потому благоволил вышнее начальство оногo Дерунова из подведомственного мне стана извлечь и поступить с ним по законам, водворив в места более отдаленные и безопасные».

.....
— Знатно, сударь, уснули! — приветствовал меня Лукьяныч, когда я, при первом сильном толчке одноколки, очнулся, — даже кричали во сне. Крикнете: «Вор!» — и опять уснете!

Я чувствую, что сейчас завяжется разговор, что Лукьяныч горит нетерпением что-то спросить, но только не знает, как приступить к делу. Мы едем молча еще с добрую версту по мостовнику: я истребляю папиросу за папиросоу, Лукьяныч исподлобья взглядывает на меня.

— Кончатъ приехали? — наконец произносит он.

— Да надо бы... всему есть конец, Лукьяныч!

— Это так точно. (Лукьяныч нервно передергивает вожжами.) У Осипа Иванова побывали?

— Был.

— Покупает, значит?

— Надавал пять тысяч.

— Ловок, толстобрюхой!

Молчание.

— Конечно, — вновь начинает Лукьяныч, — многие нынче так-то говорят: пропади, мол, оно пропадом!

Опять молчание.

— Как же быть-то, Лукьяныч?

— Вот и я это самое говорю: ничего не поделаешь! пропади, мол, оно пропадом!

Опять молчание.

— Прежде люди по местам сидели. Нынче все, ровно жида, разбежались.

— Согласись, однако ж, что мне здесь делать нечего.

— Папенька с маменькой нашли бы, что делать. А вам что! Пропади оно пропадом — и делу конец!

— Заладил одно! Ты бы лучше сказал, подходящую ли цену дает Дерунов?

— Стало быть, для него подходящая, коли дает!

— Да для меня-то? для меня-то подходящая ли?

— И для вас, коли-ежели...

— Не лучше ли крестьянам предложить?

— Что ж, и крестьянам... тоже с удовольствием...

— Вот Дерунов говорит, что крестьянам-то подати впору платить!

— Знает, толстобрюхой!

В этом роде мы еще с четверть часа поговорили, и все настоящего разговора у нас не было. Ничего не поймешь. Хороша ли цена Дерунова? — «знамо хороша, коли сам дает». Выстоят ли крестьяне, если им землю продать? — «знамо выстоят, а може, и не придется выстоять, коли-ежели...»

— Слушай! ты что такое говоришь!

— Что говорю! знамо, мы рабы, и слова у нас рабские.

— Я тебя об деле спрашиваю, а ты меня или дразнишь, или говорить не хочешь!

— Об чем говорить, коли вы сами никакого дела не открываете!

— Я кончать хочу! Понимаешь, хочу кончать!

— И кончать тоже с умом надо. Сами в глаза своего дела не видели, а кругом пальца обернуть его хотите. Ни с мужиками разговору не имели, ни какова такова земля у вас есть — не знаете. Сколько лет терпели, а теперь в две минуты конец хотите сделать!

В самом деле, ведь я ничего не знаю. Ни земли не знаю, ни «своего дела». Странно, как это соображение ни разу не пришло мне в голову. В течение многих лет одно

у меня было в мыслях: кончить. И вот, наскучив быть столько времени под гнетом одного и того же вопроса, я сел в одно прекрасное утро в вагон и помчался в Т***, никак не предполагая, что «конец» есть нечто сложное, требующее осмотров, покупателей, разговоров, запрашиваний, хлопаний по рукам и т. п. Оказывается, однако ж, что в мире ничто не делается спустя рукава и что если бы захотел даже, в видах сокращения переписки, покончить самым безвыгодным для меня образом, то и тут мне предстояло бесчисленное множество всякого рода формальностей. Как бы, вместо «конца»-то, не прийти к самому ужаснейшему из всех «начал»: к началу целого ряда процессов, которые могут отравить всю жизнь? При этой мысли мне сделалось так скверно, что даже померещилось: не лучше ли бросить? то есть оставить все по-прежнему и воротиться назад?

Во всяком случае, я решился до времени не докучать Лукьянычу разговорами о «конце» и свел речь на Дерунова.

— А ходко пошел Осип Иванов!

— Голова на плечах есть! Оттого!

— Крестьян, говорят, шибко притесняет?

— Чем притесняет? нынче — воля!

— Чудак! разве вольного человека нельзя притеснить?

— Засилие взял, а потому и окружил кругом. На какой базар ни сунься — везде от него приказчики. Какое слово скажут, так тому и быть!

— Повезло ему! Богат, у всех в почтении, в семье счастлив!

— В двух семьях...

— Как в двух! неужто у него и на стороне семья есть?

— Не на стороне, а в своем доме. Анну-то Ивановну он нынче отставил, у сына, у Яшеньки, жену отнял!

Признаюсь, это известие меня озадачило. Как! этот благолепный старик, который праздника в праздник не вменяет, ежели двух обеден не отстоит, который еще давеча говорил, что свою Анну Ивановну ни на какую принцессу не променяет... снохач!!

— Да не врут ли, Лукьяныч? Сказывают, Яшенька-то ведь у него непутный!

— Запивает, известно!

— Ну, видишь ли!

— С этого самого и запил, что сраму стерпеть не мог!

Кончено. С невыносимую болью в сердце я должен был сказать себе: Дерунов — не столп! Он не столп относительно собственности, ибо признает священную только лично ему принадлежащую собственность. Он не столп относительно семейного союза, ибо снохач. Наконец, он не может быть столпом относительно союза государственного, ибо не знает даже географических границ русского государства...

Но где же искать «столпов», если даже Осип Иванович не столп?





**ГОСПОДА
ГОЛОВЛЕВЫ**

Роман



СЕМЕЙНЫЙ СУД

Однажды бурмистр из дальней вотчины, Антон Васильев, окончив барыне Арине Петровне Головлевой доклад о своей поездке в Москву для сбора оброков с проживающих по паспортам крестьян и уже получив от нее разрешение идти в людскую, вдруг как-то таинственно замялся на месте, словно бы за ним было еще какое-то слово и дело, о котором он и решался и не решался доложить.

Арина Петровна, которая насквозь понимала не только малейшие телодвижения, но и тайные помыслы своих приближенных людей, немедленно обеспокоилась.

— Что еще? — спросила она, смотря на бурмистра в упор.

— Все-с, — попробовал было отвильнуть Антон Васильев.

— Не ври! еще есть! по глазам вижу!

Антон Васильев, однако ж, не решался ответить и продолжал переступать с ноги на ногу.

— Сказывай, какое еще дело за тобой есть? — решительным голосом прикрикнула на него Арина Петровна. — Говори! не виляй хвостом... сума переметная!

Арина Петровна любила давать прозвища людям, составлявшим ее административный и домашний персонал. Антона Васильева она прозвала «переметной сумой» не за то, чтоб он в самом деле был когда-нибудь замечен в предательстве, а за то, что был слаб на язык. Имение, которым он управлял, имело своим центром значительное торговое село, в котором было большое число трактиров. Антон Васильев любил попить чайку в трактире, похвастаться всемогуществом своей барыни и во время этого

хвастовства незаметным образом провирался. А так как у Арины Петровны постоянно были в ходу различные тяжбы, то частенько случалось, что болтливость доверенного человека выводила наружу барынины военные хитрости прежде, нежели они могли быть приведены в исполнение.

— Есть, действительно... — пробормотал, наконец, Антон Васильев.

— Что? что такое? — взволновалась Арина Петровна.

Как женщина властная и притом в сильной степени одаренная творчеством, она в одну минуту нарисовала себе картину всевозможных противоречий и противодействий и сразу так усвоила себе эту мысль, что даже побледнела и вскочила с кресла.

— Степан Владимырьч дом-то в Москве продали... — доложил бурмистр с расстановкой.

— Ну?

— Продали-с.

— Почему? как? не мни! сказывай!

— За долги... так нужно полагать! Известно, за хорошие дела продавать не станут.

— Стало быть, полиция продала? суд?

— Стало быть, что так. Сказывают, в восьми тысячах с аукциона дом-то пошел.

Арина Петровна грузно опустилась в кресло и уставилась глазами в окно. В первые минуты известие это, по-видимому, отняло у нее сознание. Если б ей сказали, что Степан Владимырьч кого-нибудь убил, что головлевские мужики взбунтовались и отказываются идти на барщину или что крепостное право рушилось, — и тут она не была бы до такой степени поражена. Губы ее шевелились, глаза смотрели куда-то вдаль, но ничего не видели. Она не приметил даже, что в это самое время девчонка Дуняшка ринулась было с разбега мимо окна, закрывая что-то передником, и вдруг, увидев барыню, на мгновение закружилась на одном месте и тихим шагом поворотила назад (в другое время этот поступок вызвал бы целое следствие). Наконец она, однако, опамятовалась и произнесла:

— Какова потеха!

После чего опять последовало несколько минут грозного молчания.

— Так ты говоришь, полиция за восемь тысяч дом-то продала? — переспросила она.

— Так точно.

— Это — родительское-то благословение! хорош... мерзавец!

Арина Петровна чувствовала, что, ввиду полученного известия, ей необходимо принять немедленное решение, но ничего придумать не могла, потому что мысли ее путались в совершенно противоположных направлениях. С одной стороны, думалось: «Полиция продала! ведь не в одну же минуту она продала! чай, опись была, оценка, вызовы к торгам? Продала за восемь тысяч, тогда как она за этот самый дом, два года тому назад, собственными руками двенадцать тысяч, как одну копейку, выложила! Кабы знать да ведать, можно бы и самой за восемь-то тысяч с аукциона приобрести!» С другой стороны, приходило на мысль и то: «Полиция за восемь тысяч продала! Это — родительское-то благословение! Мерзавец! за восемь тысяч родительское благословение спустил!»

— От кого слышал? — спросила, наконец, она, окончательно остановившись на мысли, что дом уже продан и что, следовательно, надежда приобрести его за дешевую цену утрачена для нее навсегда.

— Иван Михайлов, трактирщик, сказывал.

— А почему он вовремя меня не предупредил?

— Поопáсился, стало быть.

— Поопáсился! вот я ему покажу: «поопáсился!» Вызвать его из Москвы, и как явится — сейчас же в рекрутское присутствие и лоб забрить! «Поопáсился!»

Хотя крепостное право было уже на исходе, но еще существовало. Не раз случалось Антону Васильеву выслушивать от барыни самые своеобразные приказания, но настоящее ее решение было до того неожиданно, что даже и ему сделалось не совсем ловко. Прозвище «сума переметная» невольно ему при этом вспомнилось. Иван Михайлов был мужик обстоятельный, об котором и в голову не могло прийти, чтобы над ним могла стрястись какая-нибудь беда. Сверх того, это был его приятель душевный и кум — и вдруг его в солдаты, ради того только, что он, Антон Васильев, как сума переметная, не сумел язык за зубами попридержать!

— Простите... Ивана-то Михайлыча! — заступился было он.

— Ступай... потатчик! — прикрикнула на него Арина Петровна, но таким голосом, что он и не подумал упорствовать в дальнейшей защите Ивана Михайлова.

Но, прежде нежели продолжать мой рассказ, я попрошу читателя поближе познакомиться с Ариной Петровной Головлевой и семейным ее положением.

Арина Петровна — женщина лет шестидесяти, но еще

бодрая и привыкшая жить на всей своей воле. Держит она себя грозно; единолично и бесконтрольно управляет обширным головлевским имением, живет уединенно, расчетливо, почти скупое, с соседями дружбы не водит, местным властям доброхотствует, а от детей требует, чтоб они были в таком у нее послушании, чтобы при каждом поступке спрашивали себя: что-то об этом маменька скажет? Вообще имеет характер самостоятельный, непреклонный и отчасти строптивый, чему, впрочем, немало способствует и то, что во всем головлевском семействе нет ни одного человека, со стороны которого она могла бы встретить себе противодействие. Муж у нее — человек легкомысленный и пьяненький (Арина Петровна охотно говорит об себе, что она ни вдова, ни мужняя жена); дети частью служат в Петербурге, частью пошли в отца и, в качестве «постылых», не допускаются ни до каких семейных дел. При этих условиях Арина Петровна рано почувствовала себя одинокою, так что, говоря по правде, даже от семейной жизни совсем отвыкла, хотя слово «семья» не сходит с ее языка и, по наружности, всеми ее действиями исключительно руководят непрестанные заботы об устройстве семейных дел.

Глава семейства, Владимир Михайлыч Головлев, еще смолodu был известен своим безалаберным и озорным характером и для Арины Петровны, всегда отличавшейся серьезностью и деловитостью, никогда ничего симпатичного не представлял. Он вел жизнь праздную и бездельную, чаще всего запирался у себя в кабинете, подражал пению скворцов, петухов и т. д. и занимался сочинением так называемых «вольных стихов». В минуты откровенных излияний он хвастался тем, что был другом Баркова и что последний будто бы даже благословил его на одре смерти. Арина Петровна сразу не залюбила стихов своего мужа, называла их паскудством и паясничаньем, а так как Владимир Михайлыч, собственно, для того и женился, чтоб иметь всегда под рукой слушателя для своих стихов, то понятно, что размолвки не заставили долго ждать себя. Постепенно разрастаясь и ожесточаясь, размолвки эти кончились со стороны жены полным и презрительным равнодушием к мужу-шуту, со стороны мужа — искреннею ненавистью к жене, ненавистью, в которую, однако ж, входила значительная доля трусости. Муж называл жену «ведьмою» и «чертом», жена называла мужа — «ветряною мельницей» и «бесструнной балалайкой». Находясь в таких отношениях, они пользовались совместною жизнью в

продолжение с лишком сорока лет, и никогда ни тому, ни другой не приходило в голову, чтобы подобная жизнь заключала в себе что-либо противоестественное. С течением времени озорливость Владимира Михайлыча не только не уменьшилась, но даже приобрела еще более злостный характер. Независимо от стихотворных упражнений в барковском духе он начал попивать и охотно подкарауливал в коридоре горничных девок. Сначала Арина Петровна отнеслась к этому новому занятию своего мужа брезгливо и даже с волнением (в котором, однако ж, больше играла роль привычка властности, нежели прямая ревность), но потом махнула рукой и наблюдала только за тем, чтоб девки-поганки не носили барину ерофеича. С тех пор, сказавши себе раз навсегда, что муж ей не товарищ, она все внимание свое устремила исключительно на один предмет: на округление головлевского имения, и действительно в течение сорокалетней супружеской жизни успела удесятерить свое состояние. С изумительным терпением и зоркостью подкарауливала она дальние и ближние деревни, разузнавала по секрету об отношениях их владельцев к опекунному совету и всегда как снег на голову являлась на аукционах. В круговороте этой фантастической погони за благоприобретением Владимир Михайлыч все дальше и дальше уходил на задний план, а наконец и совсем одичал. В минуту, когда начинается этот рассказ, это был уже дряхлый старик, который почти не оставлял постели, а ежели изредка и выходил из спальни, то единственно для того, чтоб просунуть голову в полурастворенную дверь жениной комнаты, крикнуть: «Черт!» — и опять скрыться.

Немного более счастлива была Арина Петровна и в детях. У нее была слишком независимая, так сказать, холостая натура, чтобы она могла видеть в детях что-нибудь, кроме лишней обузы. Она только тогда дышала свободно, когда была одна со своими счетами и хозяйственными предприятиями, когда никто не мешал ее деловым разговорам с бурмистрами, старостами, ключницами и т. д. В ее глазах дети были одною из тех фаталистических жизненных обстановок, против совокупности которых она не считала себя вправе протестовать, но которые тем не менее не затрагивали ни одной струны ее внутреннего существа, всецело отдавшегося бесчисленным подробностям жизнестроительства. Детей было четверо: три сына и дочь. О старшем сыне и об дочери она даже говорить не любила; к младшему сыну была более или менее равно-

душна и только среднего, Порфишу, не то чтоб любила, а словно побаивалась.

Степан Владимырьч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута. К несчастью, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия: неслышно подъезжала она к крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избивение Степки-балбеса. Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.

— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна. — Убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!

Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, покладливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут делаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.

Двадцати лет Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малей-

шего позова к труду, а, взамен того, гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванию; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и *riqueassitte*¹ и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он, естественно, тяготел все ниже и ниже, так что к концу четвертого курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.

Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала плечами и промолвила: «Дивлюсь!» Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям; протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными. Четыре года бился Головлев в Петербурге и, наконец, должен был сказать себе, что надежда устроиться когда-нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «Я заранее в сем была уверена» — и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено: определить Степку-балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам. Что делал и как вел себя Степан Владимирыч в надворном суде — неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.

¹ Прихлебателя (*фр.*).

В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!» — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость. Но — увы! — он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие-нибудь четыре-пять лет он прогорел окончательно и был рад-радехонек поступить в качестве заместителя в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан. На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на ногах — сапоги навывпуск и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и невдолге проиграл всё. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал. Но наконец наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь — в Головлево...

После Степана Владимырыча старшим членом головлевского семейства была дочь Анна Владимировна, об которой Арина Петровна тоже не любила говорить.

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Аннушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь уезд учинила скандал. Когда дочь вышла из института, Арина Петровна поселила ее в деревне, в чайные сделать из нее дарового домашнего секретаря и бухгалтера, а вместо того Аннушка в одну прекрасную ночь бежала из Головлева с корнетом Улановым и повенчалась с ним.

— Так, без родительского благословения, как собаки, и повенчались! — сетовала по этому случаю Арина Петровна. — Да хорошо еще, что кругом наля-то муженек обвел! Другой бы попользовался — да и был таков! Ищи его потом да свищи!

И с дочерью Арина Петровна поступила столь же ре-

шительно, как и с постылым сыном: взяла и «выбросила ей кусок». Она отделила ей капитал в пять тысяч и деревнюшку в тридцать душ с упалою усадьбой, в которой из всех окон дуло и не было ни одной живой половицы. Года через два молодые капитал прожили, и корнет неизвестно куда бежал, оставив Анну Владимировну с двумя дочерьми-близнецами: Аннинькой и Любинькой. Затем и сама Анна Владимировна через три месяца скончалась, и Арина Петровна волей-неволей должна была приютить круглых сирот у себя. Что она и исполнила, поместив малюток во флигеле и приставив к ним кривую старуху Палашку.

— У Бога милостей много, — говорила она при этом, — сиротки хлеба не бог знает что съедят, а мне на старости лет — утешение! Одну дочку Бог взял — двух дал!

И в то же время писала к сыну Порфирию Владимирычу: «Как жила твоя сестрица беспутно, так и умерла, покинув мне на шею своих двух щенков»...

Вообще, как ни циничным может показаться это замечание, но справедливость требует сознаться, что оба эти случая, по поводу которых произошло «выбрасывание кусков», не только не произвели ущерба в финансах Арины Петровны, но косвенным образом даже способствовали округлению головлевского имения, сокращая число пайщиков в нем. Ибо Арина Петровна была женщина строгих правил и, раз «выбросивши кусок», уже считала поконченными все свои обязанности относительно постылых детей. Даже при мысли о сиротах-внучках ей никогда не представлялось, что со временем придется что-нибудь уделить им. Она старалась только как можно больше выжать из маленького имения, отделенного покойной Анне Владимировне, и откладывать выжатое в опекунский совет. Причем говорила:

— Вот и для сирот денежки прикапливаю, а что они прокормлением да уходом стóят — ничего уж с них не беру! За мою хлеб-соль, видно, Бог мне заплатит!

Наконец младшие дети, Порфирий и Павел Владимирычи, находились на службе в Петербурге: первый — по гражданской части, второй — по военной. Порфирий был женат, Павел — холостой.

Порфирий Владимирыч известен был в семействе под тремя именами: Иудушки, кровопивушки и откровенного мальчика, каковые прозвища еще в детстве были ему даны Степкой-балбесом. С младенческих лет любил он приластаться к милому другу маменьке, украдкой поцеловать ее в плечико, а иногда и слегка понаушничать. Неслышно от-

ворит, бывало, дверь маменькиной комнаты, неслышно прокрадется в уголок, сядет и, словно очарованный, не сводит глаз с маменьки, покуда она пишет или возится со счетами. Но Арина Петровна уже и тогда с какой-то подозрительностью относилась к этим сыновним заискиваниям. И тогда этот пристально устремленный на нее взгляд казался ей загадочным, и тогда она не могла определить себе, что именно он исходит из себя: яд или сыновнюю почтительность.

— И сама понять не могу, что у него за глаза такие, — рассуждала она иногда сама с собою, — взглянет — ну, словно вот петлю закидывает. Так вот и поливает ядом, так и подманивает!

И припомнились ей при этом многозначительные подробности того времени, когда она еще была «тяжела» Порфишей. Жил у них тогда в доме некоторый благочестивый и прозорливый старик, которого называли Порфишей-блаженненьким и к которому она всегда обращалась, когда желала что-либо провидеть в будущем. И вот этот-то самый старец, когда она спросила его, скоро ли последуют роды и кого-то Бог даст ей, сына или дочь, — ничего прямо ей не ответил, но три раза прокричал петухом и вслед за тем пробормотал:

— Петушок, петушок! востер ноготок! Петух кричит, наседке грозит: наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет!

И только. Но через три дня (вот оно — три раза-то прокричал!) она родила сына (вот оно — петушок, петушок!), которого и назвали Порфирием, в честь старца-провидца...

Первая половина пророчества исполнилась; но что могли означать таинственные слова: «Наседка — кудах-тах-тах, да поздно будет»? — вот об этом-то и задумывалась Арина Петровна, взглядывая из-под руки на Порфишу, покуда тот сидел в своем углу и смотрел на нее своим загадочным взглядом.

А Порфиша продолжал себе сидеть кротко и бесшумно и все смотрел на нее, смотрел до того пристально, что широко раскрытые и неподвижные глаза его подергивались слезою. Он как бы провидел сомнения, шевелившиеся в душе матери, и вел себя с таким расчетом, что самая придирчивая подозрительность — и та должна была признать себя безоружною перед его кротостью. Даже рискуя надоесть матери, он постоянно вертелся у ней на глазах, словно говорил: смотри на меня! я ничего не утаиваю! я весь послушливость и преданность, и притом послушли-

вость не токмо за страх, но и за совесть. И как ни сильно говорила в ней уверенность, что Порфишка-подлец только хвостом лебезит, а глазами все-таки петлю накидывает, но ввиду такой беззаветности и ее сердце не выдерживало. И невольно рука ее искала лучшего куска на блюде, чтоб передать его ласковому сыну, несмотря на то что один вид этого сына поднимал в ее сердце смутную тревогу чего-то загадочного, недоброго.

Совершенную противоположность с Порфирием Владимирычем представлял брат его, Павел Владимирыч. Это было полнейшее олицетворение человека, лишенного каких бы то ни было поступков. Еще мальчиком он не выказывал ни малейшей склонности ни к ученью, ни к играм, ни к общительности, но любил жить особняком, в отчуждении от людей. Забьется, бывало, в угол, надуется и начнет фантазировать. Представляется ему, что он толокна наелся, что от этого ноги сделались у него тоненькие, и он не учится. Или — что он не Павел — дворянский сын, а Давыдка-пастух, что на лбу у него выросла болонá, как и у Давыдки, что он арапником щелкает и не учится. Поглядит-поглядит, бывало, на него Арина Петровна, и так и раскипит ее материнское сердце.

— Ты что, как мышь на крупу, надулся! — не утерпит — прикрикнет она на него, — или уж с этих пор в тебе яд-то действует! нет того, чтобы к матери подойти: маменька, мол, приласкайте меня, душенька!

Павлуша покидал свой угол и медленными шагами, словно его в спину толкали, приближался к матери.

— Маменька, мол, — повторял он каким-то неестественным для ребенка басом, — приласкайте меня, душенька!

— Пошел с моих глаз... тихоня! ты думаешь, что забьешься в угол, так я и не понимаю! Насквозь тебя понимаю, голубчик! все твои планы-проекты как на ладони вижу!

И Павел тем же медленным шагом отправлялся назад и забивался опять в свой угол.

Шли годы, и из Павла Владимирыча постепенно образовывалась та апатичная и загадочно-угрюмая личность, из которой, в конечном результате, получается человек, лишенный поступков. Может быть, он был добр, но никому добра не сделал; может быть, был и неглуп, но во всю жизнь ни одного умного поступка не совершил. Он был гостеприимен, но никто не льстился на его гостеприимство; он охотно тратил деньги, но ни полезного, ни приятного результата от этих трат ни для кого никогда не про-

исходило; он никого никогда не обидел, но никто этого не вменял ему в достоинство; он был честен, но не слышали, чтоб кто-нибудь сказал: «Как честно поступил в таком-то случае Павел Головлев». В довершение всего он нередко огрызался против матери и в то же время боялся ее как огня. Повторяю, это был человек угрюмый, но за его угрюмостью скрывалось отсутствие поступков — и ничего больше.

В зрелом возрасте различие характеров обоих братьев всего резче высказалось в их отношениях к матери. Иудушка каждую неделю аккуратно слал к маменьке обширное послание, в котором пространно уведомлял ее о всех подробностях петербургской жизни и в самых изысканных выражениях уверял в бескорыстной сыновней преданности. Павел писал редко и кратко, а иногда даже загадочно, словно клещами вытаскивал из себя каждое слово. «Деньги, столько-то и на такой-то срок, бесценный друг маменька, от доверенного вашего, крестьянина Ерофеева, получил, — уведомлял, например, Порфирий Владимыч, — а за присылку оных, для употребления и на мое содержание, согласно вашему, милая маменька, соизволению, приношу чувствительнейшую благодарность и с нелицемерно сыновнею преданностью целую ваши ручки. Об одном только грущу и сомнением мучусь: не слишком ли утруждаете вы драгоценное ваше здоровье непрерывными заботами об удовлетворении не только нужд, но и прихотей наших?! Не знаю, как брат, а я...» и т. д. А Павел по тому же поводу выражался: «Деньги, столько-то на такой-то срок, дражайшая родительница, получил, и, по-моему расчету, следует мне еще шесть с полтиной дополучить, в чем и прошу вас меня почтеннейше извинить». Когда Арина Петровна посылала детям выговоры за мотовство (это случалось нередко, хотя серьезных поводов и не было), то Порфиша всегда с смирением покорялся этим замечаниям и писал: «Знаю, милый дружок маменька, что вы несете непосильные тяготы ради нас, недостойных детей ваших; знаю, что мы очень часто своим поведением не оправдываем ваших материнских об нас попечений и, что всего хуже, по свойственному человекам заблуждению, даже забываем о сем, в чем и приношу вам искреннее сыновнее извинение, надеясь со временем от порока сего избавиться и быть, в употреблении присылаемых вами, бесценный друг маменька, на содержание и прочие расходы денег, осмотрительным». А Павел отвечал так: «Дражайшая родительница! хотя вы долгов за меня еще не

платили, но выговор в названии меня мотом беспрепятственно принимаю, в чем и прошу чувствительнейше принять уверение». Даже на письмо Арины Петровны, с извещением о смерти сестрицы Анны Владимировны, оба брата отозвались различно. Порфирий Владимырьч писал: «Известие о кончине любезной сестрицы и доброй подруги детства Анны Владимировны поразило мое сердце скорбию, каковая скорбь еще более усилилась при мысли, что вам, милый друг маменька, посылается еще новый крест в лице двух сирот-малюток. Ужели еще недостаточно, что вы, общая наша благодетельница, во всем себе отказываете и, не щадя своего здоровья, все силы к тому направяете, дабы обеспечить свое семейство не только нужным, но и излишним? Право, хоть и грешно, но иногда невольно поропщешь. И единственное, по моему мнению, для вас, родная моя, в настоящем случае убежище — это сколь можно чаще припоминать, что вытерпел сам Христос». Павел же писал: «Известие о кончине сестры, погибшей жертвою, получил. Впрочем, надеюсь, что Всевышний успокоит ее в своих сенях, хотя сие и неизвестно».

Перечитывала Анна Петровна эти письма сыновей и все старалась угадать, который из них ей злодеем будет. Прочтет письмо Порфирия Владимырьча, и кажется, что вот он-то и есть самый злодей.

— Ишь ведь как пишет! ишь как языком-то вертит! — восклицала она. — Недаром Степка-балбес Иудушкой его прозвал! Ни одного-то ведь слова верного нет! все-то он лжет! и «милый дружок маменька», и про тягости-то мои, и про крест-то мой... ничего он этого не чувствует!

Потом примется за письмо Павла Владимырьча, и опять чудится, что вот он-то и есть ее будущий злодей.

— Глуп-глуп, а смотри, как исподтишка мать козыряет! «В чем и прошу чувствительнейше принять уверение...», милости просим! Вот я тебе покажу, что значит «чувствительнейше принимать уверение»! Выброшу тебе кусок, как Степке-балбесу, — вот ты и узнаешь тогда, как я понимаю твои «уверения»!

И в заключение из ее материнской груди вырывался поистине трагический вопль:

— И для кого я всю эту прорву коплю! для кого я припасаю! ночей недосыпаю, куска недоедаю... для кого?!

Таково было семейное положение Головлых в ту минуту, когда бурмистр Антон Васильев доложил Арине Петровне о промотании Степкой-балбесом «выброшенного

куска», который, ввиду дешевой его продажи, получал уже сугубое значение «родительского благословения».

Арина Петровна сидела в спальне и не могла прийти в себя. Что-то такое шевелилось у нее внутри, в чем она не могла дать себе ясного отчета. Участвовала ли тут каким-то чудом явившаяся жалость к постылому, но все-таки сыну, или говорило одно нагое чувство оскорбленного самовластия — этого не мог бы определить самый опытный психолог: до такой степени перепутывались и быстро сменялись в ней все чувства и ощущения. Наконец из общей массы накопившихся представлений яснее других выделилось опасение, что «постылый» опять сядет ей на шею.

«Анютка щенков своих навязала, да вот еще балбес...» — рассчитывала она мысленно.

Долго просидела она таким образом, не молвив ни слова и смотря в окно в одну точку. Принесли обед, до которого она почти не коснулась; пришли сказать: барину водки пожалуйста! — она, не глядя, швырнула ключ от кладовой. После обеда она ушла в образную, велела засветить все лампадки и затворилась, предварительно заказав истопить баню. Все это были признаки, которые несомненно доказывали, что барыня «гневаается», и потому в доме все вдруг смолкло, словно умерло. Горничные ходили на цыпочках; ключница Акулина совалась как помешанная: назначено было после обеда варенье варить, и вот пришло время, ягоды вычищены, готовы, а от барыни ни приказа, ни отказа нет; садовник Матвей пришел было с вопросом, не пора ли персики обирать, но в девичьей так на него цыкнули, что он немедленно отретировался.

Помолившись Богу и вымывшись в баньке, Арина Петровна почувствовала себя несколько умиротворенною и вновь потребовала Антона Васильева к ответу.

— Ну, а что же балбес делает? — спросила она.

— Москва велика — и в год ее всю не исходить.

— Да ведь, чай, пить-есть надо?

— Около своих мужичков прокармливаются. У кого пообедают, у кого на табак гривенничек выпросят.

— А кто позволил давать?

— Помилуйте, сударыня! Мужички разве обижаются! Чужим неимущим подают, а уж своим господам отказать!

— Вот я им ужо... подавальщикам! Сошлю балбеса к тебе в вотчину — и содержите его всем обществом на свой счет!

— Вся ваша власть, сударыня.

— Что? что ты такое сказал?

— Вся, мол, ваша власть, сударыня. Прикажете, так и прокормим!

— То-то... прокормим! ты у меня говори, да не заговаривайся!

Молчание. Но Антон Васильев недаром получил от барыни прозвище «переметной сумы». Он не вытерпливает и вновь начинает топтаться на месте, сгорая желанием нечто доложить.

— Да еще какой прокурат! — наконец произносит он. — Сказывают, как из похода-то воротился, сто рублей денег с собой принес. Не велики деньги сто рублей, а и на них бы сколько-нибудь прожить можно...

— Ну?

— Поправиться, вишь, полагал, в аферу пустился...

— Говори, не мни!

— В немецкое, чу, собрание сvez. Думал дурака найти в карты обыграть, ан заместо того сам на умного попался. Он было и наутек, да в прихожей, сказывают, задержали. Что было денег — всё обрала!

— Чай, и бокам досталось?

— Было всего. На другой день приходит к Ивану Михайлычу да сам же и рассказывает. И даже удивительно это: смеется... веселый! словно бы его по головке погладили!

— Нíшто ему, лишь бы ко мне на глаза не показывался!

— А надо полагать, что так будет.

— Что ты! да я его на порог к себе не пушу!

— Не иначе, что так будет! — повторяет Антон Васильев, — и Иван Михайлыч сказывал, что он проговаривался: «Шабаш! говорит, пойду к старухе хлеб всухомятку есть!» Да ему, сударыня, коли по правде сказать, и деваться-то, кроме здешнего места, некуда. По своим мужичкам долго в Москве не находится. Одежа тоже нужна, покой...

Вот этого-то именно и боялась Арина Петровна, это-то именно и составляло суть того неясного представления, которое бессознательно тревожило ее: «Да, он явится, ему некуда больше идти — этого не миновать! Он будет здесь, вечно у нее на глазах, клятóй, постылый, забытый! Для чего же она выбросила ему в то время «кусок»? Она думала, что, получивши «что следует», он канул в вечность, — ан он возрождается! Он придет, будет требовать,

будет всем мозолить глаза своим нищенским видом. И надо будет удовлетворять его требованиям, потому что он человек наглый, готовый на всякое буйство. «Его» не спрячешь под замок; «он» способен и при чужих явиться в отребье, способен произвести дебош, бежать к соседям и рассказать им вся сокровенная головлевских дел. Сослать его разве в Суздаль-монастырь? — Но кто ж его знает, полно, есть ли еще этот Суздаль-монастырь, и в самом ли деле он для того существует, чтоб освобождать огорченных родителей от лицемерия строптивых детей? Сказывают еще, что смирительный дом есть... да ведь смирительный дом — ну, как ты его туда, экого сорокалетнего жеребца, приведешь?» Одним словом, Арина Петровна совсем растерялась при одной мысли о тех невзгодах, которые грозят взбудоражить ее мирное существование с приходом Степки-балбеса.

— Я его к тебе в вотчину пришлю! корми на свой счет! — пригрозила она бурмистру, — не на вотчинный счет, а на собственный свой!

— За что так, сударыня?

— А за то, что не каркай. Кра! кра! «не иначе, что так будет»... пошел с моих глаз долой... ворона!

Антон Васильев повернул было налево кругом, но Арина Петровна вновь остановила его:

— Стой! погоди! так это верно, что он в Головлево лыжи наострил? — спросила она.

— Стану ли я, сударыня, лгать! Верно говорил: к старухе пойду хлеб всухомятку есть!

— Вот я ему покажу ужо, какой для него у старухи хлеб припасен!

— Да что, сударыня, недолго он у вас наживет.

— А что такое?

— Да кашляет очень сильно... за левую грудь все хватается... Не заживется!

— Этакие-то, любезный, еще дольше живут! и нас всех переживет! Кашляет да кашляет — что ему, жеребцу долговязому, делается! Ну, да там посмотрим. Ступай теперь: мне нужно распоряжение сделать.

Весь вечер Арина Петровна думала и наконец-таки надумала: созвать семейный совет для решения балбесовой участи. Подобные конституционные замашки не были в ее нравах, но на этот раз она решилась отступить от преданий самодержавия, дабы решением всей семьи оградить себя от нареканий добрых людей. В исходе предстоящего совещания она, впрочем, не сомневалась и потому с лег-

ким духом села за письма, которыми предписывалось Порфирию и Павлу Владимирычам немедленно прибыть в Головлево.

Покуда все это происходило, виновник кутерьмы, Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он сел в Москве, у Рогожской, в один из так называемых «дележанов», в которых в былое время езжали, да и теперь еще кое-где ездят, мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. «Дележан» ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлыч вез на свой счет Степана Владимирыча, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги.

— Так уж вы, Степан Владимирыч, так и сделайте: на поворотке слезьте да пешком, как есть в костюме, — так и отъявитесь к маменьке! — условливался с ним Иван Михайлыч.

— Так, так, так! — подтверждал и Степан Владимирыч. — Много ли от поворотки — пятнадцать верст пешком пройди! мигом отхватаю! В пыли, в навозе — так и явлюсь!

— Увидит маменька в костюме-то — может, и пожалует!

— Пожалует! как не пожалеть! Мать — ведь она старуха добрая!

Степану Головлеву нет еще сорока лет, но по наружности ему никак нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки. Это чрезмерно длинный, нечесаный, почти невымытый малый, худой от недостатка питания, с впалою грудью, с длинными, заgreбистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильною проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навывкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны с которой содраны и проданы на выжигу; на ногах — стоптанные, порыжелые и заплатанные сапоги навывпуск; из-за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей, — рубашка, которую он с истинно ополченским цинизмом сам называет «блошницею». Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не вы-

ражает внутреннего недовольства, а есть следствие какого-то смутного беспокойства, что вот-вот еще минута, и он, как червяк, подохнет с голоду.

Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой; говорит и тогда, когда Иван Михайлыч слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора. Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось четыре человека, а потому приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырёх верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки; по временам заползают туда косые лучи солнца и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность «дележана», — а он все говорит.

— Да, брат, тяпнул-таки я на своем веку горя, — рассказывает он, — пора и на боковую! Не объем же ведь я ее, а куска-то хлеба, чай, как не найдись! Ты как, Иван Михайлыч, об этом думаешь?

— У маменьки вашей много кусков!

— Только не про меня — так, что ли, ты хочешь сказать? Да, дружище, деньжищ у нее — целая прорва, а для меня пятака медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела! За что? Ну, да теперь, брат, шалишь! с меня взятки гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня вздумает — не пойду! Есть не даст — сам возьму! Я, брат, отечеству послужил — теперь мне всякий помочь обязан! Одного боюсь: табáку не будет давать — скверность!

— Да, уж с табачком, видно, проститься придется!

— Так я бурмистра за бока! может, лысый черт, и подарить барину!

— Подарить отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?

— Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия — это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал!

— Вот и с водочкой тоже проститься придется!

— Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна — мокроту разбивает. Мы, брат, как походом под Севастополь шли — еще до Серпухова не дошли, а уж по ведру на брата вышло!

— Чай, очунели?

— Не помню. Кажется, что-то было. Я, брат, вплоть до Харькова дошел, а хоть убей — ничего не помню. Пом-

ню только, что и деревнями шли и городами шли, да еще, что в Туле откупщик нам речь говорил. Прослезился, подлец! Да, тянула-таки в ту пору горя наша матушка Русь православная! Откупщики, подрядчики, приемщики — как только Бог спас!

— А вот маменьке вашей так и тут барышок вышел. Из нашей вотчины больше половины ратников домой не вернулось, так за каждого, сказывают, зачетную рекрутскую квитанцию нынче выдать велют. Ан она, квитанция-то, в казне с лишком четыре ста стоит.

— Да, брат, у нас мать — умница! Ей бы министром следовало быть, а не в Головлеве пенки с варенья снимать! Знаешь ли что! Несправедлива она ко мне была, обидела она меня, — а я ее уважаю! Умна как черт, — вот что главное! Кабы не она — что бы мы теперь были? Были бы при одном Головлеве — сто одна душа с половиной! А она — посмотри, какую чертову пропасть она накупила!

— Будут ваши братцы при капитале!

— Будут. Вот я так ни при чем останусь — это верно. Да, вылетел, брат, я в трубу! А братья будут богаты, особенно Кровопивушка. Этот без мыла в душу влезет. А впрочем, он ее, старую ведьму, со временем порешит; он и именье и капитал из нее высосет — я на эти дела провидец! Вот Павел-брат — тот душа-человек! он мне табаку потихоньку пришлет — вот увидишь! Как приду в Головлево — сейчас ему цидулу: так и так, брат любезный, успокой! Э-э-эх, эхма! вот кабы я богат был!

— Что ж бы вы сделали?

— Во-первых, сейчас бы тебя озолотил...

— Меня зачем же! Вы об себе, а я и так, по милости вашей маменьки, доволен.

— Ну, нет — это, брат, аттанде! я бы тебя главнокомандующим надо всеми именьями сделал! Да, друг, накормил, обогрел ты служивого — спасибо тебе! Кабы не ты, понтировал бы я теперь пешедралом до дома предков моих! И вольную бы тебе сейчас в зубы, и все бы перед тобой мои сокровища открыл — пей, ешь и веселись! А ты как обо мне полагал, дружище?

— Нет, уж про меня вы, сударь, оставьте. Что бы еще-то вы сделали, кабы богаты были?

— Во-первых, сейчас бы штучку себе завел. В Курске ходил я к владычице молебен служить, так одну видел... ах, хороша штучка! Веришь ли, ни одной-то минуты не было, чтоб она спокойно на месте постояла!

— А может, она бы в штучки-то и не пошла?

— А деньги на что! презренный металл на что? Мало ста тысяч — двести бери! Я, брат, коли при деньгах, ничего не пожалею, только чтоб в свое удовольствие пожить! Я, признаться сказать, ей и в ту пору через ефрейтора три целковеньких посулил — пять, бестия, запросила!

— А пяти-то, видно, не случилось?

— И не знаю, брат, как сказать. Говорю тебе: все словно как во сне видел. Может, она даже и была у меня, да я забыл. Всю дорогу, целых два месяца — ничего не помню! А с тобой, видно, этого не случилось?

Но Иван Михайлыч молчит. Степан Владимырыч вглядывается и убеждается, что спутник его мерно кивает головой и по временам, когда касается носом чуть не колен, как-то нелепо вздрагивает и опять начинает кивать в такт.

— Эхма! — говорит он, — уж и укачало тебя! на боковую просишься! Разжирел ты, брат, на чаях да на харчах-то трактирных! А у меня так и сна нет! нет у меня сна — да и шабаш! что бы теперь, однако ж, какую бы штуkenцию предпринять! Разве вот от плода сего виноградного...

Головлев озирается кругом и удостоверяется, что и прочие пассажиры спят. У купца, который рядом с ним сидит, голову об перекладину колотит, а он все спит. И лицо у него сделалось глянцевоe, словно лаком покрыто, и мухи кругом рот облепили.

«А что, если б всех этих мух к нему в хайло препроводить — то-то бы, чай, небо с овчинку показалось», — вдруг осеняет Головлева счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но на половине пути что-то припоминает и останавливается.

— Нет, полно проказничать — баста! Спите, други, и почивайте! А я покуда... и куда это он полштоф засунул? Ба! вот он, голубчик! Полезай, полезай сюда! спаси, Го-о-споди, люди твоя, — запевает он вполголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки, и прикладывая ко рту горлышко. — Ну вот, теперь ладно! тепло сделалось! Или еще? Нет, ладно... до станции-то верст двадцать еще будет, успею натенькаться... или еще? Ах, прах ее побери, эту водку! Увидишь полштоф — так и подманивает! Пить скверно, да и не пить нельзя — потому сна нет! Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня!

Булькнув еще несколько глотков из горлышка, он засовывает полштоф на прежнее место и начинает набивать трубку.

— Важно! — говорит он. — Сперва выпили, а теперь трубочки покурим! Не даст, ведьма, мне табаку, не даст — это он верно сказал. Есть-то даст ли? Обьедки, чай, какие-нибудь со стола посылать будет! Эхма! были и у нас денежки — и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и всё на сем свете! сегодня ты и сыт и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь...

А завтра — где ты, человек?

Однако надо бы и закусить что-нибудь. Пьешь-пьешь, словно бочка с изъямом, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть, как говорил пресвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может, и через Кромь! Не в том, впрочем, дело — а как бы закуски теперь добыть. Помнится, что он в мешочек колбасу и три французских хлеба положил! Небось икорки пожалел купить! Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит! Чай, и провизию-то под себя сгреб!

Он шарит кругом себя и ничего не нашаривает.

— Иван Михайлыч! а Иван Михайлыч! — окликает он.

Иван Михайлыч просыпается и с минуту словно не понимает, каким образом он очутился *vis-à-vis*¹ с барином.

— А меня только что было сон заводить начал! — наконец говорит он.

— Ничего, друг, спи! Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?

— Поесть захотелось? да ведь прежде, чай, выпить надо!

— И то дело! где у тебя полштоф-то?

Выпивши, Степан Владимырыч принимается за колбасу, которая оказывается твердою, как камень, соленую, как сама соль, и облеченною в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его.

— Белорыбицы бы теперь хорошо, — говорит он.

— Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил: беспременно напомни об белорыбице — и вот словно грех случился!

— Ничего, и колбасы поедим. Походом шли — не то едали. Вот папенька рассказывал: англичанин с англича-

¹ Лицом к лицу (*фр.*).

нином об заклад побился, что дохлую кошку съест, — и съел!

— Тсс... съел?

— Съел. Только тошнило его после! Ромом вылечился. Две бутылки залпом выпил — как рукой сняло. А то еще один англичанин об заклад бился, что целый год одним сахаром питаться будет.

— Выиграл?

— Нет, двух суток до году не дожил — околел! Да ты что ж сам-то? водочки бы долбанул?

— Сроду не пивал.

— Чаем одним наливаешься? Нехорошо, брат; оттого и брюхо у тебя растет. С чаем надобно тоже осторожно: чашку выпей, а сверху рюмочкой прикрой. Чай мокроту накапливает, а водка разбивает. Так, что ли?

— Не знаю; вы люди ученые — вам лучше знать.

— То-то. Мы как походом шли — с чаями-то да с кофеями нам некогда было возиться. А водка святое дело: отвинтил манерку, налил, выпил — и шабаш. Скоро уж больно нас в ту пору гнали, так скоро, что я дней десять не мывшись был!

— Много вы, сударь, трудов приняли!

— Много не много, а попробуй попонтируй-ка по столбовой! Ну, да вперед-то идти все-таки нешто было: жертвуют, обедами кормят, вина вволю. А вот как назад идти — чувствовать-то уж и перестали!

Головлев с усилием грызет колбасу и, наконец, прожевывает один кусок.

— Солоненька, брат, колбаса-то! — говорит он. — Впрочем, я не прихотлив! Мать-то ведь тоже разносолами потчевать не станет: щец тарелку да каши чашку — вот и все!

— Бог милостив! Может, и пирожка в праздничек пожалует!

— Ни чаю, ни табаку, ни водки — это ты верно сказал. Говорят, она нынче в дураки играть любить стала — вот разве это? Ну, позовет играть и напоит чайком. А уж насчет прочего — ау, брат!

На станции остановились часа на четыре кормить лошадей. Головлев успел покончить с полуштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры ушли в избу и расположились обедать.

Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши закуснуть, Степан Владимырьч, наконец, убеждается, что са-

мое лучшее для него — это последовать за прочими пассажирами в избу. Там на столе уже дымится щи и в сторонке, на деревянном лотке, лежит большой кус говядины, которую Иван Михайлыч крошит на мелкие куски. Головлеву садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения.

— Хлеб да соль, господа! — наконец говорит он. — Щи-то, кажется, жирные?

— Ничего щей! — отзывается Иван Михайлыч. — Да вы бы, сударь, и себе спросили!

— Нет, я только к слову, сыт я!

— Чего сыты! Колбасы кусок съели, а с ее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте-ка! вот я велю в сторонке для вас столик накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину в сторонке — вот так!

Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлеву догадывается, что его «проникли», хотя он, не без нахальства, всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайлыча своим казначеем. Брови у него насуслены, табачный дым так и валит изо рта. Он готов отказаться от еды, но требования голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность, и он как ни в чем не бывало говорит, обращаясь к Ивану Михайлычу:

— Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить!

Переваливаясь, отправляется он на сеник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном. В пять часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади стоят у пустых яслей и чешутся мордами об крапиху, он начинает будить ямщика.

— Дрыхнет, каналья! — кричит он. — Нам к спеху, а он приятные сны видит!

Так идет дело до станции, с которой дорога повертывает на Головлево. Только тут Степан Владимырь несколько остепеняется. Он явно упадает духом и делается молчаливым. На этот раз уж Иван Михайлыч ободряет его и паче всего убеждает бросить трубку.

— Вы, сударь, как будете к усадьбе подходить, трубку-то в крапиву бросьте! после найдете!

Наконец лошади, долженствующие везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступает момент расставания.

— Прощай, брат! — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайлыча. — Заест она меня!

— Бог милостив! вы тоже не слишком пугайтесь!

— Заест! — повторяет Степан Владимирыч таким убежденным тоном, что Иван Михайлыч невольно опускает глаза.

Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать, опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева.

Иван Михайлыч некоторое время следит за ним и потом бросается ему вдогонку.

— Вот что, барин! — говорит он, нагоняя его. — Давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел — не оброните как-нибудь ненароком!

Степан Владимирыч, видимо, колеблется и не знает, как ему поступить в этом случае. Наконец он протягивает Ивану Михайлычу руку и говорит сквозь слезы:

— Понимаю... служивому на табак... благодарю! А что касается до того... заест она меня, друг любезный! вот помни мое слово — заест!

Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через пять минут уж далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащи молодой лесной поросли. Время стоит еще раннее, шестой час в начале; золотистый утренний туман вьется над проселком, едва пропуская лучи только что показавшегося на горизонте солнца; трава блестит; воздух напоен запахами ели, грибов и ягод; дорога идет зигзагами по низменности, в которой кишат бесчисленные стада птиц. Но Степан Владимирыч ничего не замечает; все легкомыслие вдруг соскочило с него, и он идет, словно на Страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо: еще три-четыре часа — и дальше идти уже некуда. Он припоминает свою старую головлевскую жизнь, и ему кажется, что перед ним растворяются двери сырого подвала, что, как только он перешагнет за порог этих дверей, так они сейчас захлопнутся — и тогда все кончено. Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до него не касающиеся, но несомненно характеризующие головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович (в просторечии «Мишка-буян»), который тоже принадлежал к числу «постылых» и которого дедушка Петр Иваныч заточил к дочери в Головлево, где он жил в людской и ел из одной чашки с собакой Трезоркой. Вот тетенька Вера

Михайловна, которая из милости жила в головлевской усадьбе у братца Владимира Михайлыча и которая умерла «от умеренности», потому что Арина Петровна корила ее каждым куском, съедаемым за обедом, и каждым поленом дров, употребляемым для отопления ее комнаты. То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти, — и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухой, и даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слова, некуда бежать — везде она, властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него головой. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, буффонства, вдруг словно осветилась перед его умственным оком. Он идет теперь в Головлево, он знает, что ожидает там его, — и все-таки идет, и не может не идти. Нет у него другой дороги, нет! Самый последний из людей может что-нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба — он один *ничего не может*. Эта мысль словно впервые проснулась в нем. И прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове: «Заест!»

Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая головлевская колокольня.

Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись; он снял картуз и перекрестился. Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся домой, но он тотчас же понял, что в применении к нему подобные воспоминания составляют только одно обольщение. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился на головлевской земле, на той постылой земле, которая родила его постылым, вскормила постылым, выпустила постылым на все четыре стороны и теперь, постылого же, вновь принимает его в свое лоно. Солнце стояло уже высоко и беспощадно падало бесконечные головлевские поля. Но он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить.

Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его. Барская усадьба смотрела из-за деревьев так мирно, словно в ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие Медузиной головы. Там чудился ему гроб. «Гроб! гроб! гроб!» — повторял он бессознательно про себя. И не решился-таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.

Попадья при виде его закручинилась и захлопотала об яичнице; деревенские мальчишки столпились вокруг и смотрели на барина изумленными глазами; мужики, проходя мимо, молча снимали шапки и как-то загадочно взглядывали на него; какой-то старик дворовый даже подбежал и попросил у барина ручку поцеловать. Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место, пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко и жутко.

Наконец поп пришел и сказал, что «маменька готовы принять» Степана Владимырыча. Через десять минут он был уже там. Арина Петровна встретила его торжественно-строгим и смерила с ног до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе. И в комнаты не допустила, а так на девичьем крыльце свиделась и рассталась, приказав проводить молодого барина через другое крыльцо к папеньке. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.

— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! — крикнул он, покуда Степан Владимырыч целовал его руку. Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил: — Съест! съест! съест!

«Съест!» — словно эхо откликнулось и в его душе.

Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его и — захлопнулись.

Потянулся ряд вялых, безобразных дней, один за другим утопающих в серой, зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали.

Дня через три бурмистр **Финоген Ипатыч** объявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одёжу и, сверх того, по фунту **Фалера**¹ в месяц. Он выслушал маменькину волю и только заметил:

— Ишь ведь старая! Пронюхала, что **Жуков** два рубля, а **Фалер** рубли девяносто стоит, — и тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянула! Верно, нищему на мой счет подать собиралась!

Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался проселком в **Головлево**, вновь куда-то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с «маменькиным положением». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать. На сцену выступил насущный день, с его цинической наготою, и выступил так назойливо и нагло, что всецело заполонил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесповоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме **Арины Петровны**?

Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не выпуская трубки изо рта и напевая кой-какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми, и наоборот. Когда в конторе находился налицо земский, то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые **Ариной Петровной**.

— И куда она экую прорву деньжищ деваает! — удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации. — Братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаречно, отца солеными полотками кормит... В ломбард? больше некуда, как в ломбард кладет.

Иногда в контору приходил и сам **Финоген Ипатыч** с оброками, и тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у **Степана Владимировича**.

— Ишь пропасть какая деньжищ! — восклицал он. — И всё-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на, мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!

¹ Известный в то время табачный фабрикант, конкурировавший с **Жуковым**. (Примеч. автора.)

И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом-земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтоб она души в нем не чаяла.

— В Москве у меня мещанин знакомый был, — рассказывал Головлев, — так он «слово» знал... Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет... И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги — словом, все!

— Порчу, стало быть, какую ни на есть пуцал! — догадывался Яков-земский.

— Ну, уж там как хочешь разумеи, а только истинная это правда, что такое «слово» есть. А то еще один человек сказывал: возьми, говорит, живую лягушку и положи ее в глухую полночь в муравейник: к утру муравьи ее всю объедят, останется одна косточка; вот эту косточку ты возьми, и покуда она у тебя в кармане — что хочешь у любой бабы проси, ни в чем тебе отказу не будет.

— Что ж, это хоть сейчас сделать можно!

— То-то, брат, что сперва проклятие на себя наложить нужно! Кабы не это... то-то бы ведьма мелким бесом передо мной заплясала.

Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все-таки не обреталось. Все либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на «маменькином положении», поправляя его некоторыми произвольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимырьч поголовно обложил данью в свою пользу, в виде табаку, чаю и сахару. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно приносили остатки маменькиного обеда, а так как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наестся. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал. По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью: яйцом, ватрушкой и т. д.

Еще при первом свидании Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья-бытья.

— Покуда — живи! — сказала она. — Вот тебе угол в конторе, пить-есть будешь с моего стола, а на прочее — не погневайся, голубчик! Разносолов у меня отроду не бывало, а для тебя и подавно заводить не стану. Вот братья ужó приедут: какое положение они промежду себя для тебя присоветуют — так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, а как братья решат — так тому и быть!

И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу (повидимому, он решил, что об этом и думать нечего), а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку и сколько именно.

«А может, и денег отвалит! — прибавлял он мысленно. — Порфишка-кровопивец — тот не даст, а Павел... Скажу ему: дай, брат, служивому на вино... даст! как, чай, не дать!»

Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность, которою он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева. Одно его тревожило: сердце у него беспокойно было и как-то странно трепыхалось в груди, в особенности когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди.

«Эх, кабы околеть! — думалось ему при этом. — Нет ведь, не околею! А может быть!..»

Но когда однажды утром земский таинственно доложил ему, что ночью братцы приехали, — он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось; хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие постланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана; хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, посмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя, броситься к матери в ноги, вымолить ее про-

щение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца. Еще в доме было все тихо, а он уж сбегал к повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты — небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное — полоток соленый да сбоку две пары котлеточек, на жаркое — баранина да сбоку четыре бекасика, на пирожное — малиновый пирог со сливками.

— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару. — Пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!

— Это как будет угодно маменьке, сударь.

— Эхма! А было время, что и я дупелей едал! едал, братец! Однажды с поручиком Гремякиным даже на пари побился, что сряду пятнадцать дупелей съем, — и выиграл! Только после этого целый месяц смотреть без отвращения на них не мог!

— А теперь и опять бы покушали?

— Не даст! А чего бы, кажется, жалеть. Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней — сама на свой счет живет! И дупель некупленный и баран некупленный — а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины — ну и не даст! Сгноит, а не даст! А на завтрак что заказано?

— Печенка заказана, грибы в сметане, сочни...

— Ты бы хоть соченька мне прислал... постарайся, брат!

— Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой пронесет.

Все утро прождал Степан Владимырьч, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец часов около одиннадцати принес земский два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальней.

Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее под руки; седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки. Степка-балбес называл такие торжественные приемы архиерейским служением, мать — архиерейшею, а девок Польку и Юльку — архи-

ерейшинами жезлоносцами. Но так как был уже второй час ночи, то свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку для целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирыч изъявил готовность хоть весь остаток ночи прокалякать с милым другом маменькой, то махнула рукой, сказав:

— Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.

На другой день утром оба сына отправились к папеньке ручку поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул:

— Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи... вон!

Тем не менее Порфирий Владимирыч вышел из папенькиного кабинета взволнованный и заплаканный, а Павел Владимирыч, как «истинно бесчувственный идол», только ковырял пальцем в носу.

— Нехорош он у вас, добрый друг маменька! ах, как нехорош! — воскликнул Порфирий Владимирыч, бросаясь на грудь к матери.

— Разве очень сегодня слаб?

— Уж так слаб! так слаб! Не жилец он у вас!

— Ну, поскрипит еще!

— Нет, голубушка, нет! И хотя ваша жизнь никогда не была особенно радостна, но как подумаешь, что столько ударов за раз... право, даже удивляешься, как это вы силу имеете переносить эти испытания!

— Что ж, мой друг, и перенесешь, коли Господу Богу угодно! знаешь, в Писании-то что сказано: тяготы друг другу носите — вот и выбрал меня он, батюшко, чтоб семейству своему тяготы носить!

Арина Петровна даже глаза зажмурила: так это хорошо ей показалось, что все живут на всем на готовеньком, у всех-то все припасено, а она одна — целый-то день мается да всем тяготы носит.

— Да, мой друг! — сказала она после минутного молчания. — Тяжеленько-таки мне на старости лет! Припасла я детям на свой пай — пора бы и отдохнуть! Шутка сказать — четыре тысячи душ! этакой-то машиной управлять в мои лета! за всяким ведь погляди! всякого уследи! да походи, да побегай! Хоть бы эти бурмистры да управители наши: ты не гляди, что он тебе в глаза смотрит! одним-то глазом он на тебя, а другим — в лес норовит! Самый это народ... малoverный! Ну, а ты что? — прервала она вдруг, обращаясь к Павлу. — В носу ковыряешь?

— Мне что ж! — огрызнулся Павел Владимырьч, обеспокоенный в самом разгаре своего занятия.

— Как что! все же отец тебе — можно бы и пожалеть!

— Что ж — отец! Отец как отец... как всегда! Десять лет он такой! Всегда вы меня притесняете!

— Зачем мне тебя притеснять, друг мой, я мать тебе! Вот Порфиша: и приласкался и пожалел — все как след доброму сыну сделал, а ты и на мать-то путем посмотреть не хочешь, все исподлобья да сбоку, словно она — не мать, а ворог тебе! Не укуси, сделай милость!

— Да что же я...

— Постой! помолчи минутку! дай матери слово сказать! Помнишь ли, что в заповеди-то сказано: что отца твоего и мать твою — и благо ти будет... стало быть, ты «блага»-то себе не хочешь?

Павел Владимырьч молчал и смотрел на мать недоумевающими глазами.

— Вот видишь, ты и молчишь, — продолжала Арина Петровна, — стало быть, сам чувствуешь, что блохи за тобой есть. Ну, да уж бог с тобой! Для радостного свидания оставим этот разговор. Бог, мой друг, все видит, а я... ах, как давно я тебя насквозь понимаю! Ах, детушки, детушки! вспомните мать, как в могилке лежать будет, вспомните — да поздно уж будет!

— Маменька! — вступился Порфирий Владимырьч, — оставьте эти черные мысли! оставьте!

— Умирать, мой друг, всем придется, — сентенциозно произнесла Арина Петровна. — Не черные это мысли, а самые, можно сказать... божественные! Хирею я, детушки, ах, как хирею! Ничего-то во мне прежнего не осталось — слабость да хворость одна! Даже девки-поганки заметили это — и в ус мне не дуют! Я слово — они два! я слово — они десять! Одну только угрозу и имею на них, что молодым господам, дескать, пожалуюсь! Ну, иногда и поприхнут!

Подали чай, потом завтрак, в продолжение которых Арина Петровна все жаловалась и умилялась сама над собой. После завтрака она пригласила сыновей в свою спальную.

Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет.

— Балбес-то ведь явился! — начала она.

— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфи-

рий Владимирыч не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.

— Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало: сколько бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи матери всегда про меня кусок хлеба найдется! Сколько я в своей жизни ненависти от него видела! сколько от одних его буффонств да каверзов мучения вытерпела! Что я в ту пору трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть! — и все как с гуся вода! Наконец билась-билась, думаю: господи, да коли он сам об себе радеть не хочет — неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусок, авось свой грош в руки попадет — постепеннее будет! И выкинула. Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну копейку, двенадцать тысячек серебром денег выложила! И что ж! не прошло после того и трех лет — ан он и опять у меня на шее повис! Долго ли мне надругательства-то эти переносить?

Порфиша вскинул глазами в потолок и грустно покачал головою, словно бы говорил: «А-а-ах! дела! дела! и нужно же милого друга маменьку так беспокоить! сидели бы все смирно, ладком да мирком, — и ничего бы этого не было, и маменька бы не гневалась... а-а-ах, дела, дела!» Но Арина Петровна, как женщине, не терпящей, чтобы течение ее мыслей было чем бы то ни было прерываемо, движение Порфиши не понравилось.

— Нет, ты погоди головой-то вертеть, — сказала она, — ты прежде выслушай! Каково мне было узнать, что он родительское-то благословение, словно обглоданную кость, в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей недосыпала, куска недоедала, а он — на-тко! Словно вот взял, купил на базаре бирюльку — не зандобилась, и выкинул ее за окно! Это родительское-то благословение!

— Ах, маменька! Это такой поступок! такой поступок! — начал было Порфирий Владимирыч, но Арина Петровна опять остановила его:

— Стой! погоди! когда я прикажу, тогда свое мнение скажешь! И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил! Виноват, мол, маменька, так и так — не воздержался! Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести! Не сумел недостойный сын пользоваться, — пусть попользуются достойные дети! Ведь он шутя-шутя, дом-то, пятнадцать процентов в год интересу принесет! Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бед-

ность выкинула! А то — на-тко! сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился! Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил!

— А главное, маменька, что он с родительским благословением так низко поступил! — поспешил скороговоркой прибавить Порфирий Владимырьч, словно опасался, чтоб маменька вновь не прервала его.

— И это, мой друг, да и то. У меня, голубчик, деньги-то не шальные; я не танцами, да курантами приобретала их, а хрѣбтом да потом. Я как богатства-то достигала? Как за папеньку-то я шла, у него только и было что Головлево, сто одна душа, да в дальних местах, где двадцать, где тридцать — душ с полтора ста набралось! А у меня, у самой-то — и всего ничего! И ну-тко, при таких-то средствах, какую махину выстроила! Четыре-то тысячи душ — их ведь не скроешь! И хотела бы в могилку с собой унести, да нельзя! Как ты думаешь, легко мне они, эти четыре тысячи душ, достались? Нет, друг мой любезный, так нелегко, так нелегко, что, бывало, ночью не спишь — все тебе мерещится, как бы так дельцо умненько обделать, чтоб до времени никто и пронюхать об нем не мог! Да чтобы кто-нибудь не перебил, да чтобы копеечки лишенькой не истратить! И чего я не попробовала! И слякоть-то, и распутицу-то, и гололедицу-то — всего отведала! Это уж в последнее время я в тарантасах-то роскошничать начала, а в первое-то время соберут, бывало, тележонку крестьянскую, кибитчонку кой-какую на нее навяжут, пару лошадок запрягут — я и плетусь трюх-трюх до Москвы! Плетусь, а сама все думаю: а ну, как кто-нибудь именье-то у меня перебьет! Да и в Москву приедешь, у Рогожской на постоялом остановишься, вони да грязи — все я, друзья мои, вытерпела! На извозчика, бывало, гривенничка жаль, — на своих на двоих от Рогожской до Солянки пруй! Даже дворники — и те дивятся: барыня, говорят, ты молоденькая и с достатком, а такие труды на себя принимаешь! А я все молчу да терплю. И денег-то у меня в первый раз всего тридцать тысяч на ассигнации было — папенькины кусочки дальние, душ со сто, продала, — да с этой-то суммой и пустилась я, шутка сказать, тысячу душ покупать! Отслужила у Иверской молебен, да и пошла на Солянку счастья попытать. И что ж ведь! Словно видела заступница мои слезы горькие — оставила-таки имение за мной! И чудо какое: как я тридцать тысяч, кроме казенного долга, надавала, так словно вот весь аукцион

перерезала! Прежде и галдели и горячились, а тут и надбавлять перестали, и стало вдруг тихо-тихо кругом. Встал это присутствующий, поздравляет меня, а я ничего не понимаю! Стряпчий тут был, Иван Николаич, подошел ко мне: с покупочкой, говорит, сударыня! а я словно вот столб деревянный стою! И как ведь милость-то Божия велика! Подумайте только: если б, при таком моем исступлении, вдруг кто-нибудь на озорство крикнул: тридцать пять тысяч даю! — ведь я, пожалуй, в беспамятстве-то и все сорок надавала бы! А где бы я их взяла?!

Арина Петровна много раз уже рассказывала детям эпопею своих первых шагов на арене благоприобретения, но, по-видимому, она и доднесь не утратила в их глазах интереса новизны. Порфирий Владимирыч слушал маменьку то улыбаясь, то вздыхая, то закатывая глаза, то опуская их, смотря по свойству перипетий, через которые она проходила. А Павел Владимирыч даже большие глаза раскрыл, словно ребенок, которому рассказывают знакомую, но никогда не надоедающую сказку.

— А вы, чай, думаете, даром состояние-то матери досталось! — продолжала Арина Петровна. — Нет, друзья мои! даром-то и прыщ на носу не вскочит: я после первой-то покупки в горячке шесть недель вылежала! Вот теперь и судите: каково мне видеть, что после таких-то, можно сказать, истязаний трудовые мои денежки, ни дай ни вынеси за что, в помойную яму выброшены!

Последовало минутное молчание. Порфирий Владимирыч готов был ризы на себе разодрать, но опасался, что в деревне, пожалуй, некому починить их будет; Павел Владимирыч, как только кончилась «сказка» о благоприобретении, сейчас же опустил ся, и лицо его приняло прежнее апатичное выражение.

— Так вот я за тем вас и призвала, — вновь начала Арина Петровна. — Судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет. Его осудите — он будет виноват, меня осудите — я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! — прибавила она совсем неожиданно.

Порфирий Владимирыч почувствовал, что праздник на его улице наступил, и разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей.

— Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, — сказал он, — то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следо-

вать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, — все принадлежит родителям. Поэтому родители могут судить детей; дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, вел-ли-ко-леп-но! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног! Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство...

— Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить, так оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать: какой такой подвох у Порфишки-кровопивца в голове засел.

— Нет, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать, не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять — вообще судить не могу. Вы мать — вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы — вы наградите нас, провинились — накажете. Наше дело — повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости — и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас. Кто знает? Может быть, это и нужно так! Так-то и здесь: брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, чёрно, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни!

— Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами знаете!

— Ах, маменька, маменька! и не грех это вам! Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — а вы... ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!

— Ну, а ты как? — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимирычу.

— Мне что ж! разве вы меня послушаетесь? — заговорил Павел Владимирыч словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал: — Известно, виноват... на куски рвать... в ступе истолочь... вперед известно... мне что ж.

Пробормотавши эти бессвязные слова, он остановился и

с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим.

— Ну, голубчик, с тобой — после! — холодно оборвала его Арина Петровна. — Ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь... ах, не ошибись, мой друг! Покаешься после — да поздно будет!

— Я что ж! Я ничего!.. Я говорю: как хотите! что же тут... непочтительного? — спасовал Павел Владимырьч.

— После, мой друг, после с тобой поговорим! Ты думаешь, что офицер, так и управы на тебя не найдется! Найдется, голубчик, ах, как найдется! Так, значит, вы оба от сѹдбища отказываетесь?

— Я, милая маменька...

— И я тоже. Мне что! По мне, пожалуй, хоть на куски...

— Да замолчи, Христа ради... недобрый ты сын! (Арина Петровна понимала, что имела право сказать «негодяй», но ради радостного свидания воздержалась.) Ну, ежели вы отказываетесь, то приходится мне уж собственным судом его судить. И вот какое мое решение будет: попробую и еще раз добром с ним поступить: отделию ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить — и пусть себе живет, вроде как убогого, на прокормлении у крестьян!

Хотя Порфирий Владимырьч и отказался от суда над братом, но великодушные маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера.

— Маменька! — воскликнул он, — вы больше чем великодушны! Вы видите перед собой поступок... ну, самый низкий, черный поступок... и вдруг все забыто, все прощено! Вел-ли-ко-лепно. Но извините меня... боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, а на вашем месте... я бы так не поступил!

— Это почему?

— Не знаю... Может быть, во мне нет этого великодушия... этого, так сказать, материнского чувства... Но все как-то сдается: а что, ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?

Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у Арины Петровны, но что в то же время существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.

— Вологодское-то именье ведь папенькино, родовое, — процедила она сквозь зубы, — рано или поздно все-таки

придется ему из папенькинова имения часть выделять.

— Понимаю я это, милый друг маменька...

— А коли понимаешь, так, стало быть, понимаешь и то, что, выделивши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство с него требовать, что он от папеньки отделен и всем доволен?

— Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда, по доброте вашей, ошибку сделали! Надо было тогда, как вы дом покупали, — тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино именье не вступщик!

— Что делать! не догадалась!

— Тогда он, на радостях-то, какую угодно бумагу бы подписал! А вы, по доброте вашей... ах, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!

— «Ах» да «ах» — ты бы в ту пору, ахало, ахал, как время было. Теперь ты все готов матери на голову свалить, а чуть коснется до дела — тут тебя и нет! А впрочем, не об бумаге и речь: бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас, чай, умрет, а до тех пор балбесу тоже пить-есть надо. Не выдаст бумаги — можно и на порог ему указать: жди папенькиной смерти! Нет, я все-таки знать желаю: почему тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить?

— Промотает он ее, голубушка! дом промотал — и деревню промотает!

— А промотает, так пусть на себя и пеняет!

— К вам же ведь он тогда придет!

— Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пушу! Не только хлеба — воды ему, постылому, не вышлю. И люди меня за это не осудят, и Бог не накажет. На-тко! дом прожил, имение прожил — да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть!

— И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!

— Говорю тебе: на порог не пушу! Что ты, как сорока, заладил: «придет» да «придет» — не пушу!

Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в окно. Она и сама смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободит ее от «постылого», что в конце концов он все-таки и ее промотает и опять придет к ней и что, как мать, она не может отказать ему в угле, но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда, что он, даже заточенный в контору, будет, словно привидение, ежемгновенно преследовать ее воображение, — эта мысль

до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала.

— Ни за что! — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла.

А Порфирий Владимирович смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.

— А ведь вы, маменька, гневаетесь! — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.

— А по-твоему, в пляс, что ли, я пуститься должна?

— А-а-ах! а что в Писании насчет терпенья-то сказано? В терпении, сказано, стяжите души ваши! в терпении — вот как! Бог-то, вы думаете, не видит? Нет, он все видит, милый друг маменька! Мы, может быть, и не подозреваем ничего, сидим вот: и так прикинем и этак примерим, — а он там уж и решил: дай, мол, пошлю я ей испытание! А-а-ах! а я-то думал, что вы, маменька, паинька!

Но Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка-кровопиец только петлю закидывает, и потому окончательно рассердилась.

— Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь! — прикрикнула она на него. — Мать об деле говорит, а он — скоморошничает! Нечего зубы-то мне заговаривать! сказывай, какая твоя мысль! В Головлеве, что ли, его, у матери на шее, оставить хочешь?

— Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать.

— Так... так... знала я, что ты это присоветуешь. Ну хорошо. Положим, что сделается по-твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть, — ну, да, видно, пожалеть обо мне некому. Молода была — крест несла, а старухе и подавно от креста отказываться не след. Допустим это, будем теперь об другом говорить. Покуда мы с папенькой живы — ну, и он будет жить в Головлеве, с голоду не помрет. А потом как?

— Маменька! друг мой! Зачем же черные мысли?

— Черные ли, белые ли — подумать все-таки надо. Не молоденькие мы. Поколеем оба — что с ним тогда будет?

— Маменька! да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? в таких ли мы правилах вами были воспитаны?

И Порфирий Владимирович взглянул на нее одним из тех загадочных взглядов, которые всегда приводили ее в смущение.

«Закидывает!» — откликнулось в душе ее.

— Я, маменька, бедному-то еще с большею радостью помогу! богатому что! Христос с ним! у богатого и своего довольно! А бедный — знаете ли, что Христос про бедного-то сказал?

Порфирий Владимирыч встал и поцеловал у маменьки ручку.

— Маменька! позвольте мне брату два фунта табаку подарить! — попросил он.

Арина Петровна не отвечала. Она смотрела на него и думала: «Неужто он в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонит?»

— Ну, делай как знаешь! В Головлеве так в Головлеве ему жить! — наконец сказала она. — Окружил ты меня кругом! опутал! начал с того: как вам, маменька, будет угодно! а под конец заставил-таки меня под свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистник он мне, всю жизнь он меня казнил да позорил, а наконец и над родительским благословением моим надругался, а все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти, — нет тебе моего благословения! Нет, нет и нет! Ступайте теперь оба к нему! чай, он и буркалы-то свои проглядел, вас высматриваючи!

Сыновья ушли, а Арина Петровна встала у окна и следила, как они, ни слова друг другу не говоря, переходили через красный двор к конторе. Порфиша беспрестанно снимал картуз и крестился: то на церковь, белевшуюся вдали, то на часовню, то на деревянный столб, к которому была прикреплена кружка для подаваний. Павлуша, по-видимому, не мог оторвать глаз от своих новых сапогов, на кончике которых так и переливались лучи солнца.

— И для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала... для кого? — вырвался из груди ее вопль.

Братцы уехали; головлевская усадьба запустела. С усиленною ревностью принялась Арина Петровна за прерванные хозяйственные занятия; притихла стукотня поварских ножей на кухне, но зато удвоилась деятельность в конторе, в амбарах, кладовых, погребях и т. д. Лето-припасуха приближалось к концу; шло варенье, соленье, приготовление впрок; отовсюду стекались запасы на зиму, из всех вотчин возами привозилась бабья натуральная повинность: сушеные грибы, ягоды, яйца, овощи и проч. Все это мержалось, принималось и присовокуплялось к запасам

прежних годов. Недаром у головлевской барыни была выстроена целая линия погребов, кладовых и амбаров; все они были полным-полнехоньки, и немало было в них порченого материала, к которому приступить нельзя было ради гнилого запаха. Весь этот материал сортировался к концу лета, и та часть его, которая оказывалась ненадежною, сдавалась в застольную.

— Огурчики-то еще хороши, только сверху немножко словно поослизли, припахивают, — ну, да уж пусть дворовые полакомятся, — говорила Арина Петровна, приказывая оставить то ту, то другую кадку.

Степан Владимырьч удивительно освоился с своим новым положением. По временам ему до страсти хотелось «дерябнуть», «куликнуть» и вообще «закатиться» (у него, как увидим дальше, были даже деньги для этого), но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что «самое время» еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалась удачам и неудачам головлевского скопидомства. В каком-то азарте пробирался он от конторы к погребам в одном халате, без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромождавших красный двор (Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде, и закипало-таки ее родительское сердце, чтоб Степку-балбеса хорошенько осадить, но, по размышлении, она махнула на него рукой), и там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось и, наконец, исчезало в зияющей бездне погребов и кладовых. В большей части случаев он оставался доволен.

— Сегодня рыжиков из Дубровина привезли две телеги — вот, брат, так рыжики! — в восхищении сообщал он земскому. — А мы уж думали, что на зиму без рыжиков останемся! Спасибо, спасибо дубровинцам! молодцы дубровинцы, выручили!

Или:

— Сегодня мать карасей в пруду наловить велела — ах, хороши старики! Больше чем в пол-аршина есть! Должно быть, мы всю эту неделю карасями питаться будем!

Иногда, впрочем, и печалился:

— Огурчики-то, брат, нынче не удались! Корявые да с пятнами — нет настоящего огурца, да и шабаш! Видно,

прошлогодними питаться придется, а нынешние — в застольную, больше некуда!

Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.

— Сколько, брат, она добра перегноила — страсти! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все в застольную велела отдать! Разве это дело? Разве расчет таким образом хозяйство вести! Свежего запаса пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест!

Уверенность Арины Петровны, что с Степки-балбеса какую угодно бумагу без труда стрбовать можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер земскому:

— Сегодня, брат, я всё бумаги подписывал. Отказные всё — чист теперь! Ни плошки, ни ложки — ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится! Успокоил старуху!

С братьями он расстался мирно и был в восторге, что теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтобы не обозвать Порфишу кровопивушкой и Иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли. На прощанье братцы расщедрились и даже дали денег, причем Порфирий Владимырьч сопровождал свой дар следующими словами:

— Маслица в лампадку занадобится или Богу свечечку поставить захочется — ан деньги-то и есть! Так-то, брат! Живи-ко, брат, тихо да смирно — и маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойно, и всем нам весело и радостно. Мать — ведь она добрая, друг!

— Добрая-то добрая, — согласился и Степан Владимырьч, — только вот солониной протухлой кормит!

— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? — сам виноват, сам именице-то спустил! А именице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именице! Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку и телятинку, а не то так и соусу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку. Так ли, брат, я говорю?

Если б Арина Петровна слышала этот диалог, наверно, она не воздержалась бы, чтоб не сказать: «Ну, затарантила таранта!» Но Степка-балбес именно тем и счастлив

был, что слух его, так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению.

Одним словом, Степан Владимирыч проводил братьев дружелюбно и не без самодовольства показал Якову-земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.

— Теперь, брат, мне надолго станет! — сказал он. — Табак у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина недоставало — захотим, и вино будет! Впрочем, покуда еще придержусь — времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался! Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: «То-то я огурцов недо-считываюсь, — ан вот оно что!»

Но вот, наконец, и октябрь на дворе; полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимой. Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что на ногах у него были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи. Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди, которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении. Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков.

Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков. С утра, чуть

брезжил свет, уж весь горизонт был сплошь обложен ими; облака стояли словно застывшие, очарованные; проходил час, другой, третий, а они всё стояли на одном месте, и даже не заметно было ни малейшей перемены ни в колере, ни в очертаниях их. Вон это облако, что пониже и почернее других: и давеча оно имело разорванную форму (точно поп в рясе с распростертыми врозь руками), отчетливо выступавшую на белесоватом фоне верхних облаков, — и теперь, в полдень, сохранило ту же форму. Правая рука, правда, покорооче сделалась, зато левая безобразно вытянулась, и льет из нее, льет так, что даже на темном фоне неба обозначилась еще более темная, почти черная полоса. Вон и еще облако подальше: и давеча оно громадным косматым комом висело над соседней деревней Нагловкой и, казалось, угрожало задушить ее — и теперь тем же косматым комом на том же месте висит, а лапы книзу протянуло, словно вот-вот спрыгнуть хочет. Облака, облака и облака — так весь день. Часов около пяти после обеда совершается метаморфоза: окрестность постепенно заволакивается, заволакивается и, наконец, совсем пропадает. Сначала облака исчезнут и все затянется безразличной черной пеленою; потом куда-то пропадет лес и Нагловка; за нею утонет церковь, часовня, ближний крестьянский поселок, фруктовый сад, и только глаз, пристально следящий за процессом этих таинственных исчезновений, еще может различать стоящую в нескольких саженях барскую усадьбу. В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают, не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется беспричинное, невыразимое утомление; одна только мысль мечется, сосет и давит — и эта мысль: «Гроб! гроб! гроб!» Вон эти точки, что давеча мелькали на темном фоне грязи, около деревенских гумен, — их эта мысль не гнетет, и они не гибнут под бременем уныния и истомы: они ежели и не борются прямо с небом, то, по крайней мере, барахтаются, что-то устраивают, ограждают, ухичивают. Стоит ли ограждать и ухичивать то, над устройством чего они день и ночь выбиваются из сил, — это не приходило ему на ум, но он сознавал, что даже и эти безыменные точки стоят неизмеримо выше его, что он и барахтаться не может, что ему нечего ни ограждать, ни ухичивать.

Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна по-прежнему не отпускала для него свечей. Не-

сколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылого в такой мере, чтоб он только не умер с голоду. Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней; сначала он что-то припоминал, потом перестал и припомянуть. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылел ему, и он затворялся в своей комнате, чтоб остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиток и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону: и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца. Наконец он не выдержал.

— Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти, — сказал он однажды земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго.

Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней. Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши скреблись за отставшими от стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, пошаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу; но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась, и язык начинал бормотать что-то несвязное. Притупленное воображение силилось создать какие-то образы, помертвевая память пробовала прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним

и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени. Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и на ней тонкий, притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом — ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но, по мере того как убывало содержание штофа, по мере того как голова раскалялась, — даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотанье, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись; самая тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском. Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единым жизненным звуком, зловеще лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий — и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое существование как бы прекращалось. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия сознательной жизни, вместе с тем, несомненно, указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий. Стоны за стенами вырывались из груди, нисколько не нарушая сна; органический недуг продолжал свою разъедающую работу, не причиняя, по-видимому, физических болей.

Утром он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались тоска, отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет, словно вниз покатится, то начнет колотить с такою силой, что рука невольно хватается за грудь. Ни одной мысли, ни одного желания. Перед глазами печка — и мысль до того переполняется этим представлением, что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку, окно, окно, окно... Не

нужно ничего, ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и, недокуренная, опять выпадает из рук; язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее: сидеть и молчать, молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота.

Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как «балбес» проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Порфишкой, погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из вида, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняет ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие. Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что, наконец, для одних (и в том числе для нее) содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других — постылое и невольное. Поэтому хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимырьч «нехорош», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много-много если она отвечала на них стереотипною фразой:

— Небось отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!

Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимырьч ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее, — это стоявший на столе штоф, на дне которого еще

плескалось немного жидкости и который впопыхах не догадались убрать.

— Это что? — спросила она, как бы не понимая.

— Стало быть... занимались, — отвечал, заминаясь, бурмистр.

— Кто доставал? — начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.

Комната была грязна, черна, заслякощена, так что даже ей, не знавшей и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями, подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкой грязью, на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена, или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и исчез постылый. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога и поля — все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? Куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаяючи шел дождь.

— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин.

Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна, с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. Из-за балбеса да такая кутерьма! — ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в вологодскую деревню сослать, — так нет, лебезит проклятый Иудушка: оставьте, маменька, в Головлеве! — вот и купайся теперь с ним! Жил бы он там заглазно, как хотел — и Христос бы с ним! Свое дело сделала: один кусок промотал — другой выбросила. А другой бы промотал — ну, и не погневайся, батюшка! Бог — и тот на ненасытную утробу не напасется! И все бы у нас было смирно да мирно, а теперь — лёгко ли штуку какую удрал! ищи его по лесу да свищи! Хорошо еще, как живого в дом привезут — ведь с пьяных-то глаз и в петлю угодить недолго! Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был

таков! Мать ночей недосыпала, куска недоедала, а он, на-тко, какую моду выдумал — вешаться вздумал! И добро бы худо ему было, есть-пить бы не давали, работой бы изнуляли — а то слонялся целый день взад и вперед по комнате как оглашенный, ел да пил, ел да пил! Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал — вот так одолжил сынок любезный!

Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от Головлева.

Целые сутки после того он проспал, на другие — проснулся. По обыкновению, он начал шагать взад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны, Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окна шторы и проч. На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимырьч проснулся, она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним.

— Ты куда ж это от матери уходил? — начала она. — Знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал — каково бы ему было при его-то положении?

Но Степан Владимырьч, по-видимому, остался равнодушным к материнской ласке и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле.

— Ах, дурачок, дурачок! — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее, — хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней — слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила-то и не одевала-то... ах, дурачок, дурачок!

То же молчание и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну точку взор.

— И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт —

слава богу! И теплѣхонько тебе и хорошихонько... чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так и не прогневайся, друг мой, — на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть — ан посмотришь на улицу, и в церковь-то Божию в этакую мѳкреть ехать охоты нет!

Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но балбес словно окаменел. Сердце мало-помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается.

— А ежели ты чем недоволен был — кушанья, может быть, недостало или из белья там, — разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца — ну, захотелось тебе винца, ну и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки — неужто матери жалко? А то на-тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!

Но напрасны были все льстивые слова: Степан Владимыч не только не расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слышал.

С этих пор он безусловно замолчал. По целым дням ходил по комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что-то выразить, но не находил слова. По-видимому, он не утратил способности мыслить; но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения. Арина Петровна, с своей стороны, думала, что он непременно подождет усадьбу.

— Целый день молчит! — говорила она. — Ведь думает же, балбес, об чем-нибудь, куда молчит! вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит!

Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Слово черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно

оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир...

В декабре того же года Порфирий Владимыч получил от Арины Петровны письмо следующего содержания:

«Вчера утром постигло нас новое ниспосланное от Господа испытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а наутро найден в постеле мертвым — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнского сердца прискорбнее: так, без напутствия, и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного.

Сие да послужит нам всем уроком: кто семейными узами небрежет — всегда должен для себя такого конца ожидать. И неудачи в сей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения в жизни следующей — все из сего источника происходит. Ибо, как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность наше в ничто обратят. Таковы правила, кои всякий живущий в сем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ.

Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему в вечность были отданы сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит соборне. Сорокоусты же и поминовения и подчас совершаются, как следует, по христианскому обычаю. Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не советую. Ибо — кто может сие знать? — мы здесь ропщем, а его душа в горних увеселяется!»

ПО-РОДСТВЕННОМУ

Жаркий июльский полдень. На дубровинской барской усадьбе словно все вымерло. Не только досужие, но и рабочие люди разбрелись по углам и улеглись в тень. Собаки раскинулись под навесом громадной ивы, стоящей посреди красного двора, и слышно, как они хлопают зубами, ловя в полусне мух. Даже деревья стоят понурые и неподвижные, точно замученные. Все окна, как в барском доме, так и в людских, отворены настежь. Жар так и окачивает сверху горячей волной; земля, покрытая коротенькой, опаленной травой, пылает; нестерпимый свет, словно золотистой дымкой, задернул окрестность, так что с трудом можно различать предметы. И барский дом, когда-то

выкрашенный серой краской, а теперь побелевший, и маленький палисадник перед домом, и березовая роща, отделенная от усадьбы проезжей дорогой, и пруд, и крестьянский поселок, и ржаное поле, начинающееся сейчас за околицей, — все тонет в светящейся мгле. Всякие запахи, начиная с благоуханий цветущих лип и кончая миазмами скотного двора, густо массой стоят в воздухе. Ни звука. Только с кухни доносится дробное отбивание поварских ножей, предвещающее неизменную окрошку и битки за обедом.

Внутри господского дома царствует бесшумная тревога. Старуха барыня и две молодые девушки сидят в столовой и, не притрогиваясь к вязанью, брошенному на столе, словно застыли в ожидании. В девичьей две женщины занимаются приготовлением горчичников и примочек, и мерное звяканье ложек, подобно крику сверчка, прорезывается сквозь общее оцепенение. В коридоре осторожно двигаются девчонки на босу ногу, перебегая по лестнице из антресолей в девичью и обратно. По временам сверху раздается крик: «Что ж горчичники? заснули? а?» — и вслед за тем стрелой промчится девчонка из девичьей. Наконец слышится скрип тяжелых шагов по лестнице, и в столовую входит полковой доктор. Доктор — человек высокий, широкоплечий, с крепкими румяными щеками, которые так и прыщут здоровьем. Голос у него звонкий, походка твердая, глаза светлые и веселые, губы полные, сочные, вид открытый. Это жуир в полном смысле слова, несмотря на свои пятьдесят лет, жуир, который и прежде не отступал и долго еще не отступит ни перед какой попойкой, ни перед каким объединением. Одет полетнему, щеголем, в пикейный сюртучок необычайной белизны, украшенный светлыми гербовыми пуговицами. Он входит, причмокивая губами и присасывая языком.

— Вот что, голубушка, принеси-ка ты нам водочки да закусить что-нибудь! — отдает он приказание, останавливаясь в дверях, ведущих в коридор.

— Ну что? как? — тревожно спрашивает старуха барыня.

— У Бога милостей без конца, Арина Петровна! — отвечает доктор.

— Как же это? стало быть...

— Да так же. Денька два-три протянет, а потом — шабаш!

Доктор делает многозначительный жест рукою и вполголоса мурлыкает:

- *Кувыркoм, кувыркoм, ку-выр-кoм по-ле-тит!*
- Как же это так? лечили-лечили доктора — и вдруг!
- Какие доктора?
- Земский наш да вот городской приезжал.
- Доктора!! кабы ему месяц назад заволоку здоровенную соорудить — был бы жив!
- Неужто ж так-таки ничего и нельзя?
- Сказал: у Бога милостей много, а больше ничего прибавить не могу.
- А может быть, и подействует?
- Что подействует?
- А вот, что теперь... горчичники эти...
- Может быть-с.

Женщина, в черном платье и в черном платке, приносит поднос, на котором стоят графин с водкой и две тарелки с колбасой и икрой. При появлении ее разговор смолкает. Доктор наливает рюмку, высматривает ее на свет и щелкает языком.

— За ваше здоровье, маменька! — говорит он, обращаясь к старухе барыне и проглатывая водку.

— На здоровье, батюшка!

— Вот от этого самого Павел Владимыч и погибает во цвете лет — от водки от этой! — говорит доктор, приятно морщась и тыкая вилкой в кружок колбасы.

— Да, много через нее людей пропадает.

— Не всякий эту жидкость вместить может — оттого! А так как мы вместить можем, то и повторим! Ваше здоровье, сударыня!

— Кушайте, кушайте! вам — ничего!

— Мне — ничего! у меня и легкие, и почки, и печенка, и селезенка — всё в исправности. Да, бишь! вот что! — обращается он к женщине в черном платье, которая приостановилась у дверей, словно прислушиваясь к барскому разговору. — Что у вас нынче к обеду готовлено?

— Окрошка, да битки, да цыплята на жаркое, — отвечает женщина, как-то кисло улыбаясь.

— А рыба соленая у вас есть?

— Как, сударь, рыбы не быть! осетрина есть, севрюжина... Найдется рыбы — довольно!

— Так скомандуй ты нам к обеду ботвиньи с осетринкой... звеньшко, знаешь, да пожирнее! как тебя: Улитушкой, что ли, звать?

— Улитой, сударь, люди зовут.

— Ну, так живо, Улитушка, живо!

Улитушка уходит; на минуту водворяется тяжелое мол-

чание. Арина Петровна встает с своего места и высматривает в дверь, точно ли Улитушка ушла.

— Насчет сироток-то говорили ли вы ему, Андрей Осипыч? — спрашивает она доктора.

— Разговаривал-с.

— Ну, и что ж?

— Все одно и то же-с. Вот как выздоровею, говорит, непременно и духовную и векселя напишу.

Молчание, еще более тяжелое, водворяется в комнате. Девицы берут со стола канвовые работы, и руки их с заметною дрожью выдвигают шов за швом; Арина Петровна как-то безнадежно вздыхает; доктор ходит по комнате и насвистывает: *кувырком, ку-вы-ы-рком!*

— Да вы бы хорошенько ему сказали!

— Чего еще лучше: подлец, говорю, будешь, если сирот не обеспечишь. Да, мамашечка, опростоволосились вы! Кабы месяц тому назад вы меня позвали, я бы и заволоку ему соорудил, да и насчет духовной постарался бы... А теперь все Иудушке, законному наследнику, достанется... непременно!

— Бабушка! что ж это такое будет! — почти сквозь слезы жалуется старшая из девиц. — Что ж это дядя с нами делает!

— Не знаю, милая, не знаю. Вот даже насчет себя не знаю. Сегодня — здесь, а завтра — уж и не знаю где... Может быть, бог приведет где-нибудь в сарайчике ночевать, а может быть, и у мужичка в избе.

— Господи! какой этот дядя глупый! — восклицает младшая из девиц.

— А вы бы, молодая особа, язычок-то на привязи придержали! — замечает доктор и, обращаясь к Арине Петровне, прибавляет: — Да что же вы сами, мамашечка! сами бы уговорить его попробовали!

— Нет, нет, нет! Не хочет! даже видеть меня не хочет! Намеднись сунулась было я к нему: «Напутствовать, что ли, меня пришли?» — говорит.

— Я думаю, что это все больше Улитушка... она его против вас настраивает.

— Она! именно она! И все Порфишке-кровопивцу передает! Сказывают, что у него и лошади в хомутах целый день стоят, на случай ежели брат отходить начнет! И представьте, на днях она даже мебель, вещи, посуду — всё переписала: на случай, дескать, чтобы не пропало чего! Это она нас-то, нас-то воровками представить хочет!

— А вы бы ее по-военному... кувырком, знаете, кувырком...

Но не успел доктор развить свою мысль, как в комнату вбежала вся запыхавшаяся девчонка и испуганным голосом крикнула:

— К барину! доктора барин требует!

Семейство, которое выступает на сцену в настоящем рассказе, уже знакомо нам. Старуха барыня — не кто иная, как Арина Петровна Головлева; умирающий владелец дубровинской усадьбы — ее сын, Павел Владимырьч; наконец две девушки, Аннинька и Любинька — дочери покойной Анны Владимировны Улановой, той самой, которой некогда Арина Петровна «выбросила кусок». Прошло не больше десяти лет с тех пор, как мы видели их, а положения действующих лиц до того изменились, что не осталось и следа тех искусственных связей, благодаря которым головлевская семья представлялась чем-то вроде неприступной крепости. Семейная твердыня, воздвигнутая неутомимыми руками Арины Петровны, рухнула, но рухнула до того незаметно, что она, сама не понимая, как это случилось, сделалась соучастницею и даже явным двигателем этого разрушения, настоящею душою которого был, разумеется, Порфишка-кровопивец.

Из бесконтрольной и бранчивой обладательницы головлевских имений Арина Петровна сделалась скромною приживалкой в доме младшего сына, приживалкой праздною и не имеющею никакого голоса в хозяйственных распоряжениях. Голова ее поникла, спина сгорбилась, глаза потухли, поступь сделалась вялою, порывистость движений пропала. От нечего делать она научилась, на старости лет, вязанию, но и оно не спорится у ней, потому что мысль ее постоянно где-то витает, — где? — она и сама не всегда разберет, но, во всяком случае, не около вязальных спиц. Посидит, повяжет несколько минут — и вдруг руки сами собой опустятся, голова откинется на спинку кресел, и начнет она припоминать... Припоминает, припоминает, куда старческая дремота не охватит всего старческого существа. Или встанет и начнет бродить по комнатам и все чего-то ищет, куда-то заглядывает, словно женщина, которая всю жизнь была в ключах и не понимает, где и как она их потеряла.

Первый удар властности Арины Петровны был нанесен не столько отменой крепостного права, сколько теми приготовлениями, которые предшествовали этой отмене. Сна-

чала простые слухи, потом дворянские собрания с их адресами, потом губернские комитеты, потом редакционные комиссии — все это изнуряло, поселяло смуту. Воображение Арины Петровны, и без того богатое творчеством, рисовало ей целые массы пустяков. То вдруг вопрос представится: «Как это я Агашку звать буду? чай, Агафьюшкой... а может, и Агафьей Федоровной величать придется!» То представится: ходит она по пустому дому, а людишки в людскую забралась и жрут! Жрать надоест — под стол бросают! То покажется, что заглянула она в погреб, а там Юлька с Фёшкой так-то за обе щеки уписывают, так-то уписывают! Хотела было она реприманд им сделать — и поперхнулась. «Как ты им что-нибудь скажешь! теперь они вольные, на них поди и суда нет!»

Как ни ничтожны такие пустяки, но из них постепенно созируется целая фантастическая действительность, которая втягивает в себя всего человека и совершенно парализует его деятельность. Арина Петровна как-то вдруг выпустила из рук бразды правления и в течение двух лет только и делала, что с утра до вечера восклицала:

— Хоть бы одно что-нибудь — пан либо пропал! а то: первый призыв! второй призыв! ни богу свеча, ни черту кочерга!

В это время, в самый развал комитетов, умер и Владимир Михайлыч. Умер примиренный, умиротворенный, отрехшись от Баркова и всех дел его. Последние слова его были:

— Благодарю моего Бога, что не допустил меня наряду с холопами предстать перед лицо свое!

Слова эти глубоко запечатлелись в восприимчивой душе Арины Петровны, и смерть мужа вместе с фантазмагориями будущего наложила какой-то безнадежный колорит на весь головлевский обиход. Как будто и старый головлевский дом, и все живущее в нем — все разом собралось умереть.

Порфирий Владимырьч по немногим жалобам, вылившимся в письмах Арины Петровны, с изумительной чуткостью отгадал сумятицу, овладевшую ее помыслами. Арина Петровна уже не выговаривала и не учительствовала в письмах, но больше всего уповала на божью помощь, «которая, по нынешнему легковерному времени, и рабов не оставляет, а тем паче тех, кои, по недостаткам своим, надежнейшей опорой для церкви и ее украшения были». Иудушка инстинктом понял, что ежели маменька начинает уповать на Бога, то это значит, что в ее существ-

вовании кроется некоторый изъян. И он воспользовался этим изъяном с свойственной ему лукавою ловкостью.

Перед самым концом эмансипационного дела он совсем неожиданно посетил Головлево и нашел Арину Петровну унывающей, почти измученною.

— Что? как? что в Петербурге поговаривают? — был первый ее вопрос по окончании взаимных приветствий.

Порфиша потупился и сидел молча.

— Нет, ты в мое положение войди! — продолжала Арина Петровна, поняв из молчания сына, что хорошего ждать нечего. — Теперь у меня одних поганок в девичьей тридцать штук сидит — как с ними поступить? Ежели они на моем иждивении останутся — чем я их кормить стану? Теперь у меня и капустки, и картофельцу, и хлеба — всего довольно, ну, и питаемся понемногу! Картофельцу нет — велишь капустки сварить; капустки нет — огурчиками извернешься! А ведь тогда я сама за всем на базар побеги, да за все денежки заплати, да купи, да подай — где на этакую ораву напасешься?

Порфиша глядел милому другу маменьке в глаза и горько улыбался в знак сочувствия.

— Ежели же их на все на четыре стороны выпустят: бегите, мол, милые, вытаращивши глаза! — ну, уж не знаю! Не знаю! не знаю! не знаю, что из этого выйдет!

Порфиша ухмыльнулся, как будто ему и самому очень уж смешно показалось, «что из этого выйдет».

— Нет, ты не смейся, мой друг! Это дело так серьезно, так серьезно, что разве уж Господь им разуму прибавит — ну, тогда... Скажу хоть бы про себя: ведь и я не огрызок; как-никак, а и меня пристроить ведь надобно. Как тут поступить? Ведь мы какое воспитание-то получили? Потанцевать, да попеть, да гостей принять — что я без поганок-то без своих делать буду? Ни я подать, ни принять, ни приготовить для себя — ничего ведь я, мой друг, не могу!

— Бог милостив, маменька!

— Был милостив, мой друг, а нынче, видно, — ау! Милостив, милостив, а тоже с расчетцем: были мы хороши — и нас царь небесный жаловал; стали дурны — ну, и не прогневайтесь! Уж я что думаю: не бросить ли все за добра-ума. Право! выстрою себе избушку около папенькиной могилки, да и буду жить да поживать!

Порфирий Владимырьч наострил уши; на губах его показалась слюна.

— А именьями кто же распоряжаться будет? — возразил он осторожно, словно закидывая удочку.

— Не погневайтесь, и сами распорядитесь! Слава богу — припасла! Не всё мне одной тяготы носить...

Арина Петровна вдруг словно споткнулась и подняла голову. В глаза ее бросилось осклабляющееся, слюнявое лицо Иудушки, все словно маслом подернутое, все проникнутое каким-то плотоядным внутренним сиянием.

— Да ты, никак, уж хоронить меня собрался! — сухо заметила она. — Не рано ли, голубчик! не ошибись!

Таким образом, на первый раз дело кончилось ничем. Но есть разговоры, которые, раз начавшись, уже не прекращаются. Через несколько часов Арина Петровна вновь возвратилась к прерванной беседе.

— Уеду к Сергию-троице, — мечтала она, — разделю имение, куплю на посадке дómичек — и заживу!

Но Порфирий Владимырьч, искушенный давешним опытом, на этот раз смолчал.

— Прошлого года, как еще покойник папенька был жив, — продолжала мечтать Арина Петровна, — сидела я у себя в спальне одна и вдруг слышу, словно мне кто шепчет: съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу! съезди к чудотворцу!.. да ведь до трех раз! Я этак, знаешь, обернулась — нет никого! Однако думаю: ведь это — видение мне! Что ж, говорю, коли моя вера угодна Богу — я готова! И только что я это выговорила, как вдруг это в комнате... такое благоухание! такое благоухание разлилось! Разумеется, сейчас же велела укладываться, а к вечеру уж в дороге была!

У Арины Петровны даже слезы на глазах выступили. Иудушка воспользовался этим, чтобы поцеловать у маменьки ручку, причем позволил себе даже обнять ее за талию.

— Вот теперь вы — паинька! — сказал он. — Ах! хорошо, голубушка, коли кто с Богом в ладу живет! И он к Богу с молитвой, и Бог к нему с помощью. Так-то, добрый друг маменька!

— Пстой! Я еще не все досказала! Приезжаю я на другой день вечером в посад, и прямо — к угоднику. А там всенощная: поют, свечки горят, благоухание от кадил — и не знаю, где я, на земле или на небеси! Пошла я от всенощной к иеромонаху Ионе и говорю: чтой-то, ваше высокопреподобие, больно у вас сегодня хорошо в храме! А он мне: «Чего, сударыня! ведь нынче отцу Аввакуму видение за всенощной было! Только что начал он руки на молитву заводит — смотрит, ан в самом кумполе свет, и голубь на него смотрит!» Вот с этих пор я себе и положила: какова

пора ни мера, а конец жизни у Сергия-троицы пожить!

— А об нас-то кто позаботится? об детях-то ваших кто похлопочет? Ах, маменька, маменька!

— Ну, не маленькие, и сами об себе промыслите! А я... удалюсь я с Аннушкиными сиротками к чудотворцу и заживу у него под крылышком! Может быть, и из них у которой-нибудь явится желание Богу послужить, так тут и Хотьков рукой подать! Куплю себе домишек, огородец вскопаю; капустки, картофельцу — всего у меня довольно будет!

Несколько дней сряду велся этот праздный разговор; несколько раз делала Арина Петровна самые смелые предположения, брала их назад и опять делала, но, наконец, довела дело до такой точки, что и отступить уж было нельзя. Не далее как через полгода после Иудушкиной побывки положение дел было следующее: Арина Петровна не уехала ни к Сергию-троице, ни в домик у могилки мужа, а имение разделила, оставив при себе только капитал. При этом Порфирию Владимирычу была выделена лучшая часть, а Павлу Владимирычу — похуже.

Арина Петровна осталась по-прежнему в Головлеве, причем, разумеется, не обошлось без семейной комедии. Иудушка пролил слезы и умолил доброго друга маменьку управлять его имением безотчетно, получать с него доходы и употреблять по своему усмотрению, «а что вы мне, голубушка, из доходов уделите, я всем, даже малостью, буду доволен». Напротив того, Павел поблагодарил мать холодно («точно укусить хотел»), тотчас же вышел в отставку («так, без материнского благословения, как оглашенный, и выскочил на волю!») и поселился в Дубровине.

С этих пор на Арину Петровну нашло затмение. Тот внутренний образ Порфирушки-кровопивца, который она когда-то с такою редкою проницательностью угадывала, вдруг словно туманом задернулся. Казалось, она ничего больше не понимала, кроме того, что, несмотря на раздел имения и освобождение крестьян, она по-прежнему живет в Головлеве и по-прежнему ни перед кем не отчитывается. Тут же, под боком, живет другой сын — но какая разница! Тогда как Порфиша и себя и семью — все вверил маменькиному усмотрению, Павел не только ни об чем с ней не советуется, но даже при встречах как-то сквозь зубы говорит.

И чем больше затмевался ее рассудок, тем больше раскипалось в ней сердце ревностью к ласковому сыну. Порфирий Владимирыч ничего у ней не просил — она сама

шла навстречу его желаниям. Мало-помалу она начала находить недостатки в фигуре головлевских дач. В таком-то месте чужая земля врезывалась в дачу — хорошо было бы эту землю прикупить; в таком-то месте можно бы хуторок отдельный устроить, да покосцу мало, а тут, по смежности, и покосец продажный есть — ах, хорош покос! Арина Петровна увлекалась и как мать и как хозяйка, желающая выставить во всем блеске свои способности перед ласковым сыном. Но Порфирий Владимырьч словно в непроницаемую скорлупу схоронился. Напрасно Арина Петровна соблазняла его покупками — на все ее предложения приобрести такой-то лесок или такой-то покосец он неизменно отвечал: «Я, добрый друг маменька, и тем доволен, что вы, по милости вашей, мне пожаловали».

Ответы эти только разжигали Арину Петровну. Увлекаясь, с одной стороны, хозяйственными задачами, с другой — полемическими соображениями относительно «подлеца Павлушки», который жил подле и знать ее не хотел, она совершенно утратила представление о своих действительных отношениях к Головлеву. Прежняя горячка приобретения с новою силою овладела всем ее существом, но приобретения уже не за свой собственный счет, а за счет любимого сына. Головлевское имение разрослось, округлилось и зацвело.

И вот в ту самую минуту, когда капитал Арины Петровны до того умалился, что сделалось почти невозможным самостоятельное существование на проценты с него, Иудушка при самом почтительном письме прислал ей целый тюк форм счетоводства, которые должны были служить для нее руководством на будущее время, при составлении годовой отчетности. Тут, рядом с главными предметами хозяйства, стояли: малина, крыжовник, грибы и т. д. По всякой статье был особенный счет приблизительно следующего содержания:

К 18** году состояло кустов малины	00
К сему поступило вновь посаженных	00
С наличного числа кустов собрано ягод	00п. 00ф. 00 зол.
Из сего числа:	
Вами, милый друг маменька, употреблено	00п. 00ф. 00 зол.
Израсходовано на варенье для дома	
Его Превосходительства Порфирия Владимыряча Головлева	00п. 00ф. 00 зол.
Дано мальчику N в награду за добронравие	1 ф.
Продано простому народу за лакомство	00п. 00ф. 00 зол.
Сгнило, по неимению в виду покупателей, а равно и от других причин	00п. 00ф. 00 зол.
И т. д. и т. п.	

Примечание. В случае ежели урожай отчетного года менее против прошлого года, то здесь должны быть объясняемы причины сего, как-то: засуха, дожди, град и проч.

Арина Петровна так и ахнула. Во-первых, ее поразила скупость Иудушки: она никогда и не слыхивала, чтоб крыжовник мог составлять в Головлеве предмет отчетности, а он, по-видимому, на этом предмете всего больше и настаивал; во-вторых, она очень хорошо поняла, что все эти формы не что иное, как конституция, связывающая ее по рукам и по ногам.

Кончилось дело тем, что после продолжительной полемической переписки Арина Петровна, оскорбленная и негодующая, перебралась в Дубровино, а вслед за тем Порфирий Владимирыч вышел в отставку и поселился в Головлеве.

С этих пор для старухи начался ряд мутных дней, посвященных насильственному покою. Павел Владимирыч, как человек, лишенный поступков, был как-то особенно придирчив в отношении к матери. Он принял ее довольно сносно, то есть обязался кормить и поить ее и сирот-племянниц, но под двумя условиями: во-первых, не ходить к нему на антресоли и, во-вторых, не вмешиваться в распоряжения по хозяйству. Последнее условие в особенности волновало Арину Петровну. Всем в доме Павла Владимирыча заправляли: во-первых, ключница Улитушка, женщина ехидная и уличенная в секретной переписке с кровопивцем Порфишкой, и, во-вторых, бывший папенькин камердинер Кирюшка, ничего не смысливший в полеводстве и ежедневно читавший Павлу Владимирычу холуйского свойства поучения. Оба крали немилосердно. Сколько раз болело сердце Арины Петровны при виде господствовавшего в доме расхищения! сколько раз порывалась она предупредить, раскрыть сыну глаза насчет чая, сахару, масла! Всего этого выходили массы, и неоднократно Улитушка, нимало не стесняясь присутствием старухи барыни, даже в глазах ее, прятала в карман целые пригоршни сахару. Арина Петровна видела все это и должна была оставаться безмолвной свидетельницей расхищения. Потому что, едва разевала она рот, чтобы заметить что-нибудь, как Павел Владимирыч в ту же минуту ее осаживал.

— Маменька, — говорил он, — надобно, чтоб кто-нибудь один в доме распоряжался! Это не я говорю, все так поступают. Я знаю, что мои распоряжения глупые, ну и пусть будут глупые. А ваши распоряжения умные — ну и

пусть будут умные! Умны вы, даже очень умны, а Иудушка все-таки без угла вас оставил!

К довершению всего Арина Петровна сделала ужасное открытие: Павел Владимырьч пил. Страсть эта вьелась в него крадучись, благодаря деревенскому одиночеству, и, наконец, получила то страшное развитие, которое должно было привести к неизбежному концу. В первое время, когда в доме поселилась мать, он как будто еще совестился; довольно часто сходил с антресолей вниз и разговаривал с матерью. Замечая, как путается его язык, Арина Петровна долго думала, что это происходит от глупости. Она не любила, когда он приходил «разговаривать», и считала эти разговоры большим для себя притеснением. В самом деле, он постоянно и как-то нелепо роптал. То дождя по целым неделям нет, то вдруг такой зарядит, словно с цепи сорвется; то жук одолел, все деревья в саду обглодал; то крот появился, все луга изрыл. Все это представляло неистощимый источник для ропота. Сойдет, бывало, с антресолей, сядет против матери и начнет:

— Кругом тучи ходят — Головлево далеко ли? у кровопивца вчера проливной был! — а у нас нет да и нет! Ходят тучки, похаживают кругом — и хоть бы те капля на наш пай!

Или:

— Ишь льет-поливает! рожь только что зацвела, а он знай поливает! Половину сена уж сгноили, а он прыскает да попрыскивает! Головлево далеко ли? — кровопивец давно с поля убрался, а мы сиди-посиди! Придется скотину зимой гнилым сеном кормить!

Молчит-молчит Арина Петровна, слушая глупые речи, но иногда не вытерпит и молвит:

— Ты бы побольше руки сложа сидел!

Не успеет она это вымолвить, как Павел Владимырьч уж и взбеленился.

— А вы что ж мне прикажете делать? В Головлево дождик, что ли, перевести?

— Не дождик, а вообще...

— Нет, вы скажите, что, по-вашему, делать мне нужно? Не «вообще», а прямо... Климат, что ли, я для вас переменить должен? Вот в Головлеве: нужен был дождик — и был дождик; не нужно дождя — и нет его! Ну, и растет там все... А у нас — все напротив! вот посмотрим, как-то вы станете разговаривать, как есть нечего будет!

— Стало быть, божья воля такова...

— Так вы так и говорите, что божья воля! А то «вообще» — вот какое объяснение нашли!

Иногда дело доходило до того, что он даже собственностью отягощался.

— И зачем только это Дубровино мне досталось? — жаловался он. — Что в нем?

— Чем же Дубровино не усадьба! земля хорошая, всего довольно... И что тебе вдруг вздумалось!

— А то и вздумалось, что, по нынешнему времени, совсем собственности иметь не надо! Деньги — это так! Деньги взял, положил в карман и удрал с ними! А недвижимость эта...

— Да что ж это за время такое за особенное, что уж и собственности иметь нельзя?

— А такое время, что вы вот газет не читаете, а я читаю. Нынче адвокаты везде пошли — вот и понимаете. Узнает адвокат, что у тебя собственность есть, — и почнет кружить!

— Как же он тебя кружить будет, коль скоро у тебя праведные документы есть?

— Так и будет кружить, как кружат. Или вот Порфишка-кровопивец: наймет адвоката, а тот и будет тебе повестку за повесткой присылать!

— Что ты! не бессудная, чай, земля?

— Оттого и будут повестки присылать, что не бессудная. Кабы бессудная была, и без повесток бы отняли, а теперь с повестками. Вон у товарища моего, у Горлопятова, дядя умер, а он возьми да сдуру и прими после него наследство! Наследства-то оказался грош, а долгов — на сто тысяч: векселя, да все фальшивые. Вот и судят его третий год сряду: сперва дядино имение обрали, а потом и его собственное с аукциону продали! Вот тебе и собственность!

— Неужто такой закон есть?

— Кабы не было закона — не продали бы. Стало быть, всякий закон есть. У кого совести нет, для того все законы открыты, а у кого есть совесть, для того и закон закрыт. Поди отыскивай его в книге-то!

Арина Петровна всегда уступала в этих спорах. Не раз ее подмывало крикнуть: вон с моих глаз, подлец! — но подумает-подумает, да и смолчит. Только разве про себя поропщет:

— Господи! и в кого я этаких извергов уродила! Один — кровопивец, другой — блаженный какой-то! Для кого я припасала! ночей недосыпала, куска недоедала... для кого?!

И чем больше овладевал Павлом Владимырьчем запой, тем фантастичнее и, так сказать, внезапнее становились его разговоры. Наконец Арина Петровна начала замечать, что тут есть что-то неладное. Например: с утра в шкапчик в столовой ставится полный графин водки, а к обеду уж ни капли в нем нет. Или сидит она в гостиной и слышит какой-то таинственный скрип, происходящий в столовой около заветного шкапчика; крикнет: «Кто там?» — и слышит, что чьи-то шаги быстро, но осторожно удаляются по направлению к антресолям.

— Матушки! да никак он у вас пьет? — спросила она однажды Улитушку.

— Занимаются-с, — отвечала та, язвительно улыбаясь.

Убедившись, что мать отгадала его, Павел Владимырьч окончательно перестал церемониться. В одно прекрасное утро шкапчик совсем исчез из столовой, и на вопрос Арины Петровны, куда он девался, Улитушка отвечала:

— На антресоли перенести приказали; там им свободнее заниматься будет.

Действительно, на антресолях графинчики следовали друг за другом с изумительной быстротой. Уединившись с самим собой, Павел Владимырьч возненавидел общество живых людей и создал для себя особенную, фантастическую действительность. Это был целый глупо-героический роман, с превращениями, исчезновениями, внезапными обогащениями, роман, в котором главными героями были: он сам и кровопивец Порфишка. Он сам не сознавал вполне, как глубоко залегла в нем ненависть к Порфишке. Он ненавидел его всеми помыслами, всеми внутренностями, ненавидел беспрестанно, ежеминутно. Словно живой, метался перед ним этот паскудный образ, а в ушах раздавалось слезно-лицемерное пустословие Иудушки, пустословие, в котором звучала какая-то сухая, почти отвлеченная злоба ко всему живому, не подчиняющемуся кодексу, созданному преданием лицемерия. Павел Владимырьч пил и припоминал. Припоминал все обиды и унижения, которые ему приходилось вытерпеть благодаря претензии Иудушки на главенство в доме. В особенности же припоминал раздел имения, рассчитывал каждую копейку, сравнивал каждый клочок земли — и ненавидел. В разгоряченном вине воображении создавались целые драмы, в которых вымещались все обиды и в которых обидчиком являлся уже он, а не Иудушка. То будто выиграл он двести тысяч и приезжает сообщить об этом Порфишке (целая сцена с разговорами), у которого от зависти даже перекосило ли-

цо. То будто умер дедушка (опять сцена с разговорами, хотя никакого дедушки не было), ему оставил миллион, а Порфишке-кровопивцу — шиш. То будто он изобрел средство делаться невидимкой и через это получил возможность творить Порфишке такие пакости, от которых тот начинает стонать. В изобретении этих проказ он был неистощим, и долго нелепый хохот оглашал антресоли, к удовольствию Улитушки, спешившей уведомить о происходящем братца Порфирия Владимыча.

Он ненавидел Иудушку и в то же время боялся его. Он знал, что глаза Иудушки источают чарующий яд, что голос его, словно змей, заползает в душу и парализует волю человека. Поэтому он решительно отказался от свиданий с ним. Иногда кровопивец приезжал в Дубровино, чтоб поцеловать ручку у доброго друга маменьки (он выгнал ее из дома, но почтительности не прекращал), — тогда Павел Владимыч запирает антресоли на ключ и сидит взаперти все время, покуда Иудушка калякал с маменькой.

Таким образом шли дни за днями, покуда, наконец, Павел Владимыч не очутился лицом к лицу с смертным недугом.

Доктор переночевал «для формы» и на другой день рано утром уехал в город. Оставляя Дубровино, он высказал прямо, что больному остается жить не больше двух дней и что теперь поздно думать об каких-нибудь «распоряжениях», потому что он и фамилии путем подписать не может.

— Подпишет он вам «обмокни» — потом и с судом, пожалуй, не разделаетесь, — прибавил он. — Ведь Иудушка хоть и очень маменьку уважает, а дело о подлоге все-таки начнет, и ежели по закону мамашеньку в места не столь отдаленные ушлют, так ведь он только молебен в путь шествующим отслужит!

Арина Петровна целое утро ходила как в отупении. Попробовала было встать на молитву — не внушит ли что Бог? — но и молитва на ум не шла, даже язык как-то не слушался. Начнет: *Помилуй мя, Боже, по велицей милости твоей*, и вдруг, сама не знает как, съедет на от лукавого. «Очисти! очисти!» — машинально лепечет язык, а мысль так и летает: то на антресоли заглянет, то на погреб зайдет («сколько добра по осени было — всё растащи-ли!»), то начнет что-то припоминать — далекое-далекое. Всё сумерки какие-то, и в этих сумерках люди, много людей, и все они копошатся, стараются, припасают. *Блажен муж... блажен муж... яко кадило... научи мя... научи мя...* Но вот и язык мало-помалу смяк, глаза смотрят на

образа и не видят; рот раскрыт широко, руки сложены на поясе, и вся она стоит неподвижно, словно застыла.

Наконец она села и заплакала. Слезы так и лились из потухших глаз по старческим засохшим щекам, задерживаясь в углублениях морщин и капая на замасленный ворот старой ситцевой блузы. Это было что-то горькое, полное безнадежности и вместе с тем бессильно строптивое. И старость, и немощи, и беспомощность положения — все, казалось, призывало ее к смерти, как к единственному примиряющему исходу, но в то же время замешивалось и прошлое с его властностью, довольством и простором, и воспоминания этого прошлого так и впивались в нее, так и притягивали ее к земле. «Умереть бы!» — мелькало в ее голове, а через мгновение то же слово сменялось другим: «Пожить бы!» Она не вспоминала ни об Иудушке, ни об умирающем сыне — оба они словно перестали существовать для нее. Ни об ком она не думала, ни на кого не негодовала, никого не обвиняла; она даже забыла, есть ли у нее капитал и достаточен ли он, чтоб обеспечить ее старость. Тоска, смертная тоска охватила все ее существо. Тошно! горько! — вот единственное объяснение, которое она могла бы дать своим слезам. Эти слезы пришли изда-лека; капля по капле копились они с той самой минуты, как она выехала из Головлева и поселилась в Дубровине. Ко всему, что теперь предстояло, она была уже подготовлена, все она ожидала и предвидела, но ей никогда как-то не представлялось с такою ясностью, что этому ожидаемому и предвиденному должен наступить конец. И вот теперь этот конец наступил, конец, полный тоски и безнадежного одиночества. Всю-то жизнь она что-то устраивала, над чем-то убивалась, а оказывается, что убивалась над призраком. Всю жизнь слово «семья» не сходило у нее с языка; во имя семьи она одних казнила, других награждала; во имя семьи она подвергала себя лишениям, истязала себя, изуродовала всю свою жизнь — и вдруг выходит, что семьи-то именно у нее и нет!

«Господи! да неужто ж и у всех так!» — вертелось у нее в голове.

Она сидела, опершись головой на руку и обратив обмоченное слезами лицо навстречу поднимающемуся солнцу, как будто говорила ему: видь!! Она не стонала и не кляла, а только потихоньку всхлипывала, словно захлебывалась слезами. И в то же время на душе у ней так и горело:

«Нет никого! нет никого! нет! нет! нет!»

Но вот иссякли и слезы. Умывши лицо, она без цели

побрела в столовую, но тут девицы осадили ее новыми жалобами, которые на этот раз показались ей как-то особенно назойливыми.

— Что ж это, бабушка, будет! Неужто ж мы так без ничего и останемся! — роптала Аннинька.

— Какой этот дядя глупый! — вторила ей Любинька.

Около полудня Арина Петровна решилась проникнуть к умирающему сыну. Осторожно, чуть ступая, взошла она по лестнице и ощупью отыскала впотьмах двери, ведущие в комнаты. На антресолях царствовали сумерки; окна занавешены были зелеными шторами, сквозь которые чуть-чуть пробивался свет; давно не возобновляемая атмосфера комнат пропиталась противною смесью разнородных запахов, в составлении которой участвовали и ягоды, и пластыри, и лампадное масло, и те особенные миазмы, присутствие которых прямо говорит о болезни и смерти. Комнат было всего две: в первой сидела Улитушка, чистила ягоды и с ожесточением сдувала мух, которые шумным роем вились над ворохами крыжовника и нахально садились ей на нос и на губы. Сквозь полуотворенную дверь из соседней комнаты, не переставая, доносился сухой и короткий кашель, от времени до времени разрешающийся мучительною экспекторацией. Арина Петровна остановилась в нерешительной позе, вглядываясь в сумерки и как бы выжидая, что предпримет Улитушка в виду ее прихода. Но Улитушка даже не шевельнулась, словно была уже слишком уверена, что всякая попытка подействовать на больного останется бесплодною. Только сердитое движение скользнуло по ее губам, и Арине Петровне послышалось произнесенное шепотом слово «черт».

— Ты бы, голубушка, вниз пошла! — обратилась Арина Петровна к Улитушке.

— Это еще что за новости! — огрызнулась последняя.

— Мне с Павлом Владимыричем говорить нужно. Ступай!

— Помилуйте, сударыня! как же я их оставлю? А ежели что вдруг случится — ни подать, ни принять.

— Что там? — раздалось глухо из спальни.

— Прикажи, мой друг, Улите уйти. Мне с тобой переговорить нужно.

На этот раз Арина Петровна действовала настолько настойчиво, что осталась победительницей. Она перекрестилась и вошла в комнату. Около внутренней стены, подалее от окон, стояла постель больного. Он лежал на спине, покрытый белым одеялом, и почти бессознательно

дымил папироской. Несмотря на табачный дым, мухи с каким-то ожесточением налетали на него, так что он беспрестанно то той, то другой рукой проводил около лица. Это были руки до такой степени бессильные, лишенные мускулов, что ясно представляли очертания кости, почти одинаково узкой от кисти до плеча. Голова его как-то безнадежно прильнула к подушке, лицо и все тело горели в сухом жару. Большие круглые глаза ввалились и смотрели беспредметно, как бы чего-то искали; нос вытянулся и заострился, рот был полуоткрыт. Он не кашлял, но дышал с такую силой, что казалось, вся жизненная энергия сосредоточилась в его груди.

— Ну что? как ты сегодня себя чувствуешь? — спросила Арина Петровна, опускаясь в кресло у его ног.

— Ничего... завтра... то бишь сегодня... когда это лекарь у нас был?

— Сегодня был лекарь.

— Ну, значит, завтра...

Больной заметался, как бы сиюсья припомнить слово.

— Встать можно будет? — подсказала Арина Петровна. — Дай бог, мой друг, дай бог!

Оба замолкли на минуту. Арине Петровне хотелось сказать что-то, но для того, чтобы сказать, нужно было разговаривать. Вот этого-то именно разговора и не могла она никогда найти, когда была с глазу на глаз с Павлом Владимычем.

— Иудушка... живет? — спросил, наконец, сам больной.

— Что ему делается! живет да поживает.

— Чай, думает: вот братец Павел умрет — и еще, по милости божией, именьице мне достанется!

— И все когда-нибудь умрем, и после всех именья пойдут... законным наследникам...

— Только не кровопивцу. Собакам выброшу, а не ему!

Случай выходил отличный: сам Павел Владимыч заговаривал. Арина Петровна не преминула воспользоваться этим.

— Надо бы подумать об этом, мой друг! — сказала она, словно мимоходом, не глядя на сына и рассматривая на свет руки, точно они составляли в эту минуту главный предмет ее внимания.

— Об чем «об этом»?

— А вот хоть бы насчет того, если ты не желаешь, чтоб брату именье твое осталось...

Больной молчал. Только глаза его неестественно расширились, и лицо все больше и больше рдело.

— Можно бы, друг мой, и то в соображение взять, что у тебя племянницы-сироты есть — какой у них капитал? Ну, и мать тоже... — продолжала Арина Петровна.

— Всё Иудушке спустить успели?

— Как бы то ни было... Знаю, что сама виновата... Да ведь и не бог знает, какой грех... Думала тоже, что сын... Да и тебе бы можно не попомнить этого матери.

Молчание.

— Что же! скажи хоть что-нибудь!

— А вы как скоро собираетесь меня хоронить?

— Не хоронить, а все-таки... И прочие христиане... Не все сейчас умирают, а вообще...

— То-то «вообще»! Вы всегда «вообще»! Думаете, что я и не вижу!

— Что же ты видишь, мой друг?

— А то и вижу, что вы меня за дурака считаете! Ну, и положим, что я дурак, и пусть буду дурак! зачем же приходите к дураку? и не приходите! и не беспокойтесь!

— Я и не беспокоюсь; я только вообще... что всякому человеку предел жизни положен...

— Ну и ждите!

Арина Петровна понурила голову и раздумывала. Она очень хорошо видела, что дело ее стоит плохо, но безнадежность будущего до того терзала ее, что даже очевидность не могла убедить в бесплодности дальнейших попыток.

— Не знаю, за что ты меня ненавидишь! — произнесла она наконец.

— Нисколько... я вас... нисколько! Я даже очень... Помилуйте! вы нас так вели... всех равно...

Он говорил это порывисто, захлебываясь; в звуках голоса слышался какой-то надорванный и в то же время торжествующий хохот; в глазах показались искры; плечи и ноги беспокойно вздрагивали.

— Может, я и в самом деле чем-нибудь провинилась, так уж прости, Христа ради!

Арина Петровна встала и поклонилась, коснувшись рукой до земли. Павел Владимирович закрыл глаза и не отвечал.

— Положим, что насчет недвижимости... Это точно, что в теперешнем твоём положении нечего и думать, чтобы распоряжения делать... Порфирий законный наследник — ну, пускай ему недвижимость и достаётся... А движимость, а капитал как? — решила прямо объясниться Арина Петровна.

Павел Владимырьч вздрогнул, но молчал. Очень возможно, что при слове «капитал» он совсем не об инсинуациях Арины Петровны помышлял, а просто ему подумалось: вот и сентябрь на дворе, проценты получать надобно... шестьдесят семь тысяч шестьсот на пять помножить да на два потом разделить — сколько это будет?

— Ты, может быть, думаешь, что я смерти твоей желаю, так разуверься, мой друг! Ты только живи, а мне, старухе, и горюшка мало! Что мне! мне и тепленько, и сытенько у тебя, и даже ежели из сладенького чего-нибудь захочется — всё у меня есть! Я только насчет того говорю, что у христиан обычай такой есть, чтобы в ожидании предбудущей жизни...

Арина Петровна остановилась, словно искала подходящего слова.

— Присных своих обеспечивать, — dokonчила она, смотря в окно.

Павел Владимырьч лежал неподвижно и потихоньку откашливался, ни одним движением не выказывая, слушает он или нет. По-видимому, причитания матери надоели ему.

— Капитал-то можно бы при жизни из рук в руки передать, — молвила Арина Петровна, как бы вскользь бросая предположение и вновь принимаясь рассматривать на свет свои руки.

Большой чуть-чуть дрогнул, но Арина Петровна не заметила этого и продолжала:

— Капитал, мой друг, и по закону к перемещению допускается. Потому это вещь наживная: вчера он был, сегодня — нет его. И никто в нем отчета не может спрашивать — кому хочю, тому и отдаю.

Павел Владимырьч вдруг как-то зло засмеялся.

— Палочкина историю, должно быть, вспомнили! — зашипел он. — Тот тоже *из рук в руки* жене капитал отдал, а она с любовником убежала!

— У меня, мой друг, любовников нет!

— Так без любовника убежите... с капиталом!

— Как ты, однако, меня понимаешь!

— Никак я вас не понимаю... Вы на весь свет меня дураком прославили — ну, и дурак я! И пусть буду дурак! Смотрите, какие штуки-фигуры придумали — капитал им из рук в руки передай! А сам что? — в монастырь, что ли, прикажете мне спастись идти да оттуда глядеть, как вы моим капиталом распорядиться будете?

Он выговорил все это залпом, злобствуя и волнуясь, и

затем совсем изнемог. В продолжение, по крайней мере, четверти часа после того он кашлял во всю мочь, так что было даже удивительно, что этот жалкий человеческий остов еще заключает в себе столько силы. Наконец он отдышался и закрыл глаза.

Арина Петровна потерянно оглядывалась кругом. До сих пор ей все как-то не верилось, теперь — она окончательно убедилась, что всякая новая попытка убедить умирающего может только приблизить день торжества Иудушки. Иудушка так и мелькал перед ее глазами. Вот он идет за гробом, вот отдает брату последнее Иудино лобзание, и две паскудные слезинки вытекли из его глаз. Вот и гроб опустили в землю. «Прррощай, брат!» — восклицает Иудушка, подергивая губами, закатывая глаза и стараясь придать своему голосу ноту горести, и вслед за тем обращается вполборота к Улитушке и говорит: «Кутью-то, кутью не забудьте в дом взять! да на чистенькую скатертцу поставьте... братца опять в доме помянуть!» Вот кончился и поминальный обед, во время которого Иудушка без устали говорит с батюшкой об добродетелях покойного и встречает со стороны батюшки полное подтверждение этих похвал. «Ах, брат! брат! не захотел ты с нами пожить!» — восклицает он, выходя из-за стола и протягивая руку ладонью вверх под благословение батюшки. Вот, наконец, все, слава богу, наелись и даже выпались после обеда; Иудушка расхаживает хозяином по комнатам дома, принимает вещи, заносит в опись и по временам подозрительно взглядывает на мать, ежели в чем-нибудь встречает сомнение.

Все эти неизбежные сцены будущего так и метались перед глазами Арины Петровны. И как живой звенел в ее ушах маслянисто-пронзительный голос Иудушки, обращенный к ней:

— А помните, маменька, у брата золотенькие запоночки были... хорошенькие такие, еще он их по праздникам надевал... и куда только эти запоночки девались — ума приложить не могу!

Не успела Арина Петровна сойти вниз, как на бугре у дубровинской церкви показалась коляска, запряженная четверней. В коляске, на почетном месте, восседал Порфирий Головлев без шапки и крестился на церковь; против него сидели два его сына: Петенька и Володенька. У Арины Петровны так и захолонуло сердце: «Почуяла Лиса Патрикевна, что мертвиной пахнет!» — подумалось ей;

девицы тоже струсили и как-то беспомощно жались к бабушке. В доме, до сих пор тихом, вдруг поднялась тревога: захлопали двери, забежали люди, раздались крики: «Барин едет! барин едет!» — и все население усадьбы разом высыпало на крыльцо. Одни крестились, другие просто стояли в выжидательном положении, но все, очевидно, сознавали, что то, что до сих пор происходило в Дубровине, было лишь временное, что только теперь наступает настоящее, заправское, с заправским хозяином во главе. Многим из старых, заслуженных дворовых выдавалась при «прежнем» барине месячина; многие держали коров на барском сене, имели огороды и вообще жили «свободно» — всех, естественно, интересовал вопрос, оставит ли «новый» барин старые порядки или заменит их новыми, головлевскими.

Иудушка между тем подъехал и по сделанной ему встрече уже заключил, что в Дубровине дело идет к концу. Не торопясь вышел он из коляски, замахал руками на дворовых, бросившихся барину к ручке, потом сложил обе руки ладонями внутрь и начал медленно взбираться по лестнице, шепотом произнося молитву. Лицо его в одно и то же время выражало и скорбь, и твердую покорность. Как человек, он скорбел; как христианин — роптать не осмеливался. Он молился «о ниспослании», но больше всего уповал и покорялся воле провидения. Сыновья, в паре, шли сзади его. Володенька передразнивал отца, то есть складывал руки, закатывал глаза и шевелил губами; Петенька наслаждался представлением, которое давал брат. За ними безмолвной гурьбой следовал кортеж дворовых.

Иудушка поцеловал маменьку в ручку, потом в губы, потом опять в ручку; потом потрепал милого друга за талию и, грустно покачав головою, произнес:

— А вы всё унываете! Нехорошо это, друг мой! ах, как плохо! А вы бы спросили себя: что, мол, Бог на это скажет? Скажет: «Вот я в премудрости своей все к лучшему устрою, а она ропщет!» Ах, маменька! маменька!

Потом перецеловал обеих племянниц и с тою же пленительною родственностью в голосе сказал:

— И вы, стрекозы, туда же в слезы! чтоб у меня этого не было! Извольте сейчас улыбаться — и дело с концом!

И он затопал на них ногами или, лучше сказать, делал вид, что топает, но, в сущности, только благосклонно шутил.

— Посмотрите на меня! — продолжал он. — Как брат — я скорблю! Не раз, может быть, и всплакнул... Жаль брата, очень, даже до слез жаль. Всплакнешь, да и

опомнишься: а Бог-то на что! Неужто Бог хуже нашего знает, как и что? Поразмыслишь эдак — и ободришься. Так-то и всем поступать надо! И вам, маменька, и вам, племяннушки, и вам... всем! — обратился он к прислуге. — Посмотрите на меня, каким я молодцом хожу!

И он с тою же пленительностью представил из себя «молодца», то есть выпрямился, отставил одну ногу, выпятил грудь и откинул назад голову. Все улыбнулись, но кисло как-то, словно всякий говорил себе: ну, пошел теперь паук паутину ткать!

Окончив представление в зале, Иудушка перешел в гостиную и вновь поцеловал у маменьки ручку.

— Так так-то, милый друг маменька! — сказал он, усаживаясь на диване. — Вот и брат Павел...

— Да, и Павел... — потихоньку отозвалась Арина Петровна.

— Да, да, да... раненько бы! раненько! Ведь я, маменька, хоть и бодрюсь, а в душе тоже... очень-очень об брате скорблю! Не любил меня брат, крепко не любил — может, за это Бог и посылает ему!

— В этакую минуту можно бы и забыть про это! Старые-то дразги оставить надо...

— Я, маменька, давно позабыл! Я только к слову говорю: не любил меня брат, а за что — не знаю! Уж я ли, кажется... и так и сяк, и прямо, и стороной, и «голубчик», и «братец» — пятится от меня, да и шабаш! Ан Бог-то взял да невидимо к своему пределу и приурочил!

— Говорю тебе: нечего поминать об этом! Человек на ладан уж дышит!

— Да, маменька, великая это тайна — смерть! Не весте ни дня, ни часа — вот это какая тайна! Вот он всё планы планировал, думал, уж так высоко, так высоко стоит, что и рукой до него не достанешь, а Бог-то разом, в одно мгновенье, все его мечтания опроверг. Теперь бы он, может, и рад грешки свои поприкрыть — ан они уж в книге живота записаны, значатся. А из этой, маменька, книги, что там записано, не скоро выскоблишь!

— Чай, раскаянье-то приемлется!

— Желаю! от души брату желаю! Не любил он меня, а я — желаю! Я всем добра желаю! и ненавидящим и обидящим — всем! Несправедлив он был ко мне — вот Бог болезнь ему послал, не я, а Бог! А много он, маменька, страдает?

— Так себе... Ничего. Доктор был, даже надежду подал, — солгала Арина Петровна.

— Ну, вот как хорошо! Ничего, мой друг! не огорчайтесь! может быть, и отдышится. Мы-то здесь об нем сокрушаемся да на Создателя ропщем, а он, может быть, сидит себе тихохонько на постельке да Бога за исцеленье благодарит!

Эта мысль до того понравилась Иудушке, что он даже полегоньку хихикнул.

— А ведь я к вам, маменька, погостить приехал, — продолжал он, словно делая маменьке приятный сюрприз, — нельзя, голубушка... по-родственному! Не ровён случай — все же, как брат... и утешить, и посоветовать, и распорядиться... ведь вы позволите?

— Какие я позволения могу давать! сама здесь гостья!

— Ну, так вот что, голубушка. Так как сегодня у нас пятница, так уж вы прикажете, если ваша такая милость будет, мне постненького к обеду изготовить. Рыбки там, что ли, соленькой, грибков, капустки — мне ведь немного нужно! А я между тем по-родственному... на антресоли к брату поплетусь — может быть, и успею. Не для тела, так для души что-нибудь полезное сделаю. А в его положении душа-то, пожалуй, поважнее. Тело-то мы, маменька, микстурками да припарочками подправить можем, а для души лекарства поосновательнее нужны.

Арина Петровна не возражала. Мысль о непредотвратимости «конца» до такой степени охватила все ее существо, что она в каком-то оцепенении присматривалась и прислушивалась ко всему, что происходило кругом нее. Она видела, как Иудушка, побрякивая, встал с дивана, как он сгорбился, зашаркал ногами (он любил иногда притвориться немощным: ему казалось, что так почтеннее); она понимала, что внезапное появление кровопивца на антресолях должно глубоко взволновать больного и, может быть, даже ускорить развязку; но после волнений этого дня на нее напала такая усталость, что она чувствовала себя точно во сне.

Покуда это происходило, Павел Владимырьч находился в неописанной тревоге. Он лежал на антресолях совсем один и в то же время слышал, что в доме происходит какое-то необычное движение. Всякое хлопанье дверьми, всякий шаг в коридоре отзывались чем-то таинственным. Некоторое время он звал и кричал во всю мочь, но, убедившись, что крики бесполезны, собрал все силы, приподнялся на постели и начал прислушиваться. После общей беготни, после громкого говора голосов вдруг наступила мертвая тишина. Что-то неизвестное, страшное обступило

его со всех сторон. Дневной свет сквозь опущенные гардины лился скупой, и так как в углу, перед образом, теплилась лампадка, то сумерки, наполнявшие комнату, казались еще темнее и гуще. В этот таинственный угол он и уставился глазами, точно в первый раз его поразило нечто в этой глубине. Образ в золоченом окладе, в который непосредственно ударяли лучи лампы, с какой-то изумительной яркостью, словно что-то живое, выступал из тьмы; на потолке колебался светящийся кружок, то вспыхивая, то бледнея, по мере того как усиливалось или слабело пламя лампы. Внизу господствовал полусвет, на общем фоне которого дрожали тени. На той же стене, около освещенного угла, висел халат, на котором тоже колебались полосы света и тени, вследствие чего казалось, что он движется. Павел Владимырьч всматривался-всматривался, и ему почудилось, что там, в этом углу, все вдруг задвигалось. Одиночество, беспомощность, мертвая тишина — и посреди этого тени, целый рой теней. Ему казалось, что эти тени идут, идут, идут... В неопisanном ужасе, раскрыв глаза и рот, он глядел в таинственный угол и не кричал, а стонал. Стонал глухо, порывисто, точно лаял. Он не слышал ни скрипа лестницы, ни осторожного шарканья шагов в первой комнате — как вдруг у его постели выросла ненавистная фигура Иудушки. Ему померещилось, что он вышел оттуда, из этой тьмы, которая сейчас в его глазах так таинственно шевелилась, что там есть и еще, и еще... тени, тени, тени без конца! Идут, идут...

— Зачем? откуда? кто пустил? — инстинктивно крикнул он, бессильно опускаясь на подушку.

Иудушка стоял у постели, всматривался в больного и скорбно покачивал головой.

— Больно? — спросил он, сообщая своему голосу ту степень елейности, какая только была в его средствах.

Павел Владимырьч молчал и бессмысленными глазами уставился в него, словно усиливался понять. А Иудушка тем временем приблизился к образу, встал на колени, умилился, сотворил три земных поклона, встал и вновь очутился у постели.

— Ну, брат, вставай! Бог милости прислал! — сказал он, садясь в кресло, таким радостным тоном, словно и в самом деле «милость» у него в кармане была.

Павел Владимырьч, наконец, понял, что перед ним не тень, а сам кровопивец во плоти. Он как-то вдруг съежился, как будто знобить его начало. Глаза Иудушки смотрели светло, по-родственному, но больной очень хорошо ви-

дел, что в этих глазах скрывается «петля», которая вот-вот сейчас выскочит и захлестнет ему горло.

— Ах, брат, брат! какая ты бяка сделался! — продолжал подшучивать по-родственному Иудушка. — А ты возьми да и прибодришься! Встань, да и побегии! Труском-труском — пусть-ка, мол, маменька полюбуется, какими мы молодцами стали! Фу-ты! ну-ты!

— Иди, кровопивец, вон! — отчаянно крикнул больной.

— А-а-ах! брат, брат! Я к тебе с лаской да с утешением, а ты... какое ты слово сказал! А-а-ах, грех какой! И как это язык у тебя, дружок, повернулся, чтоб этакое слово родному брату сказать! Стыдно, голубчик, даже очень стыдно. Пстой-ка, я лучше подушечку тебе поправлю!

Иудушка встал и ткнул в подушку пальцем.

— Вот так! — продолжал он. — Вот теперь славно! Лежи себе хорошоохонько — хоть до завтра поправлять не нужно!

— Уйди... ты!

— Ах, как болезнь-то, однако, тебя испортила! Даже характер в тебе — и тот какой-то строптивый стал! Уйди да уйди — ну, как я уйду! Вот тебе испить захочется — я водички подам; вон лампадка не в исправности — я и лампадочку поправлю, маслица деревяненького подолью. Ты полежишь, я посижу, тихо да смирно — и не увидим, как время пройдет!

— Уйди... кровопивец!

— Вот ты меня бранишь, а я за тебя Богу помолюсь. Я ведь знаю, что ты это не от себя, а болезнь в тебе говорит. Я, брат, привык прощать — я всем прощаю. Вот и сегодня — еду к тебе, встретился по дороге мужичок и что-то сказал. Ну и что ж! и Христос с ним! он же свой язык осквернил! А я... да не только я не рассердился, а даже перекрестил его — право!

— Ограбил... мужика?

— Кто? я-то! Нет, мой друг, я не граблю; это разбойники по большим дорогам грабят, а я по закону действую. Лошадь его в своем лугу поймал — ну, и ступай, голубчик, к мировому! Коли скажет мировой, что травить чужие луга дозволяется — и бог с ним! А скажет, что травить не дозволяется — нечего делать! штраф пожалуйте! По закону я, голубчик, по закону.

— Иуда! предатель: мать по миру пустил!

— И опять-таки скажу: хочешь сердись, хочешь не сердись, а не дело ты говоришь. И если б я не был

христианин, я бы тоже... попретендовать за это на тебя мог!

— Пустил, пустил, пустил... мать по миру!

— Ну, перестань же, перестань! Вот я богу помолюсь: может быть, ты и попокойнее будешь...

Как ни сдерживал себя Иудушка, но ругательства умирающего до того его проняли, что даже губы у него искривились и побелели. Тем не менее лицемерие было до такой степени потребностью его натуры, что он никак не мог прервать раз начатую комедию. С последними словами он действительно встал на колени и с четверть часа воздевал руки и шептал. Исполнивши это, он возвратился к постели умирающего с лицом успокоенным, почти ясным.

— А ведь я, брат, об деле с тобой поговорить приехал, — сказал он, усаживаясь в кресло. — Ты меня вот бранишь, а я об душе твоей думаю. Скажи, пожалуйста, когда ты в последний раз утешение принял?

— Господи! да что ж это... уведите его! Улитка! Агашка! Кто тут есть? — стонал больной.

— Ну, ну, ну! успокойся, голубчик! знаю, что ты об этом говорить не любишь! Да, брат, всегда ты дурным христианином был и теперь таким же остаешься. А не худо бы, ах, как бы не худо в такую минуту об душе-то подумать! Ведь душа-то наша... ах, как с ней осторожно обращаться нужно, мой друг! Церковь-то что нам предписывает? Приносите, говорит, моления, благодарения... А еще: христианския кончины живота нашего безболезненны, непостыдны, мирны — вот что, мой друг! Послать бы тебе теперь за батюшкой, да искренно, с раскаяньем... Ну-ну! не буду! не буду! А право бы так...

Павел Владимырьч лежал весь багровый и чуть не задышался. Если б он мог в эту минуту разбить себе голову, он, несомненно, сделал бы это.

— Вот и насчет имения — может быть, ты уж и распорядился? — продолжал Иудушка. — Хорошенькое, очень хорошенькое именьеце у тебя — нечего сказать. Земля даже лучше, чем в Головлеве: с песочком суглиночек-то! Ну и капитал у тебя... я ведь, брат, ничего не знаю. Знаю только, что ты крестьян на выкуп отдал, а что и как — никогда я этим не интересовался. Вот и сегодня: еду к тебе и говорю про себя: должно быть, у брата Павла капитал есть! а впрочем, думаю, если и есть у него капитал, так, уж наверно, он насчет его распоряжение сделал!

Больной отвернулся и тяжело вздыхал.

— Не сделал? — ну и тем лучше, мой друг! По зако-

ну — оно даже справедливее. Ведь не чужим, а своим же присным достанется. Я вот на что уж хил — одной ногой в могиле стою! а все-таки думаю: зачем же мне распоряжение делать, коль скоро закон за меня распорядиться может. И ведь как это хорошо, голубчик! Ни свары, ни зависти, ни кляуз... закон!

Это было ужасно. Павлу Владимирычу почудилось, что он заживо уложен в гроб, что он лежит словно скованный, в летаргическом сне, не может ни одним членом пошевелить и выслушивает, как кровопивец ругается над телом его.

— Уйди... ради Христа... уйди! — начал он, наконец, молить своего мучителя.

— Ну-ну-ну! успокойся! уйду! Знаю, что ты меня не любишь... стыдно, мой друг, очень стыдно родного брата не любить! Вот я так тебя люблю! И детям всегда говорю: хоть брат Павел и виноват передо мной, а я его все-таки люблю! Так ты, значит, не делал распоряжений — и прекрасно, мой друг! Бывает, впрочем, иногда, что и при жизни капитал растащат, особенно кто без родных, один... ну, да уж я поприщу... А? что? надоел я тебе? Ну, ну, так и быть, уйду! Дай только Богу помолюсь!

Он встал, сложил ладони и наскоро пошептал.

— Прощай, друг! не беспокойся! Почивай себе хорошошенько, — может, и даст бог! А мы с маменькой потолкуем да поговорим — может быть, что и попридумаем! Я, брат, постеньного себе к обеду изготовить просил... рыбки соленькой, да грибков, да капустки — так ты уж меня извини! Что? или опять надоел? Ах, брат, брат!.. ну-ну, уйду, уйду! Главное, мой друг, не тревожься, не волнуй себя — спи да почивай! Хрр... хрр... — шутиливо поддразнил он в заключение, решаясь, наконец, уйти.

— Кровопивец! — раздалось ему вслед таким пронзительным криком, что даже он почувствовал, что его словно обожгло.

Покуда Порфирий Владимирыч растабарывает на антресолях, внизу бабушка Арина Петровна собрала вокруг себя молодежь (не без цели что-нибудь выведать) и беседует с нею.

— Ну, ты как? — обращается она к старшему внуку, Петеньке.

— Ничего, бабушка, вот на будущий год в офицеры выйду.

— Выйдешь ли? который уж ты год обещаешь! Экзамены, что ли, у вас трудные — бог тебя знает!

— Он, бабушка, на последних экзаменах из «Начатков» срезался. Батюшка спрашивает: что есть Бог? а он: Бог есть дух... и есть дух... и святому духу...

— Ах, бедный ты, бедный! как же это ты так? Вот они, сироты, — и то, чай, знают!

— Еще бы! Бог есть дух, невидимый... — спешит блеснуть своими познаниями Аннинька.

— Его же никто же не виде нигде же, — перебивает Любинька.

— Всеведущий, всеблагий, всемогущий, вездесущий, — продолжает Аннинька.

— Камо пойду от духа твоего и от лица твоего камо бегу? аще взыду на небо — тамо еси, аще сниду во ад — тамо еси...

— Вот и ты бы так отвечал, — с эполетами теперь был бы. А ты, Володя, что с собой думаешь?

Володя багровеет и молчит.

— Тоже, видно: «и святому духу»! Ах, детки, детки! На вид какие вы шустрые, а никак науку преодолеть не можете. И добро бы отец у вас баловник был... что, как он теперь с вами?

— Все то же, бабушка.

— Колотит? А я ведь слышала, что он перестал драться-то?

— Меньше, а все-таки... А главное, надоедает уж очень.

— Этого я что-то уж и не понимаю. Как это отец надоедать может?

— Очень, бабушка, надоедает. Ни уйти без спросу нельзя, ни взять что-нибудь... совсем подлость!

— А вы бы спрашивались! язык-то, чай, не отвалится!

— Нет уж. С ним только заговори, он потом и не отвяжется. Пстой да погоди, потихоньку да полегоньку... уж очень, бабушка, скучно он разговаривает!

— Он, бабушка, за нами у дверей подслушивает. Только на днях его Петенька и накрыл...

— Ах вы проказники! Что ж он?

— Ничего. Я ему говорю: «Это не дело, папенька, у дверей подслушивать; пожалуй, недолго и нос вам расквасить!» А он: «Ну-ну! ничего, ничего! я, брат, яко тать в нощи!»

— Он, бабушка, на днях яблоко в саду поднял да к себе в шкапик и положил, а я взял да и съел. Так он по-

том искал его, искал, всех людей к допросу требовал...

— Что это, скуп, что ли, он очень сделался?

— Нет, и не скуп, а так как-то... пустяками все занимается. Бумажки прячет, паданцев ищет...

— Он всякое утро проскомидию у себя в кабинете служит, а потом нам по кусочку просвиры дает... черствой-пречерствой! Только мы однажды с ним штуку сделали: подсмотрели, где у него просвиры лежат, надрезали в просвире дно, вынули мякиш да чухонского масла и положили!

— Однако ж вы тоже... головорезы!

— Нет, вы представьте на другой день его удивленье! Просвира, да еще с маслом!

— Чай, на порядках досталось вам!

— Ничего... Только целый день плевался и все словно про себя говорил: шельмы! Ну, мы, разумеется, на свой счет не приняли. А ведь он, бабушка, вас боится!

— Чего меня бояться... не пугало, чай!

— Боится — это верно; думает, что вы проклянете его. Он этих проклятиев — страх как трусит!

Арина Петровна задумывается. Сначала ей приходит на мысль: а что, ежели и в самом деле... прокляну? Так-таки возьму да и прокляну... пррроклиннаю! Потом на смену этой мысли поступает другой, более насущный вопрос: что-то Иудушка? какие-то проделки он там, наверху, проделывает? так, чай, и извивается! Наконец ее осеняет счастливая мысль.

— Володя! — говорит она, — ты, голубчик, легонький! сходил бы потихоньку да подслушал бы, что у них там?

— С удовольствием, бабушка.

Володенька на цыпочках направляется к дверям и исчезает в них.

— Как это вы к нам сегодня надумали? — начинает Арина Петровна допрашивать Петеньку.

— Мы, бабушка, давно собирались, а сегодня Улитушка прислала с нарочным сказать, что доктор был и что не нынче, так завтра дядя непременно умереть должен.

— Ну, а насчет наследства... был у вас разговор?

— Мы, бабушка, целый день всё об наследствах говорим. Он все рассказывает, как прежде, еще до дедушки было... даже Горюшкино, бабушка, помнит. «Вот, говорит, кабы у тетеньки Варвары Михайловны детей не было — нам бы Горюшкино-то принадлежало! И дети-то, говорит, бог знает от кого — ну, да не нам других судить! Сами у

ближнего сучец в глазу видим, а у себя и бревна не замечаем... так-то, брат!»

— Ишь ведь какой! Замужем, чай, тетенька-то была; коли что и было — все муж прикрыл!

— Право, бабушка. И всякий раз, как мы мимо Горюшкина едем, всякий-то раз он эту историю поднимает. И бабушка Наталья Владимировна, говорит, из Горюшкина взята была — по всем бы правам ему в головлевском роде быть должно; ан папенька покойник за сестрою в приданое отдал! А дыни, говорит, какие в Горюшкине росли! По двадцати фунтов весу — вот какие дыни!

— Уж в двадцать фунтов! чтой-то я об таких не слыхивала! Ну, а насчет Дубровина какие его предположения?

— Тоже в этом роде. Арбузы да дыни... пустяки все! В последнее время, впрочем, все спрашивал: «А как вы, детки, думаете, велик у брата Павла капитал?» Он, бабушка, уж давно все вычислил: и выкупной ссуды сколько, и когда имение в опекунский совет заложено, и сколько долгу уплачено... Мы и бумажку видели, на которой он вычисления делал, только мы ее, бабушка, унесли... Мы его, бабушка, этой бумажкой чуть с ума не свели! Он ее в стол положит, а мы возьмем да в шкаф переложим; он в шкапу на ключ запрет, а мы подберем ключ да в просвиры засушем... Раз он в баню мыться пошел, — смотрит, на полке бумажка лежит!

— Веселье у вас там!

Возвращается Володенька; все глаза устремляются на него.

— Ничего не слышать, — сообщает он шепотом, — только и слышно, что отец говорит: «Безболезненны, непостыдны, мирны», а дядя ему: «Уйди, кровопивец!»

— А насчет «распоряжения»... не слышал?

— Кажется, было что-то, да не разобрал... Очень уж, бабушка, плотно отец дверь захлопнул. Жужжит — и только... А потом дядя вдруг как крикнет: «У-уй-дди!» Ну, я поскорей-поскорей, да и сюда!

— Хоть бы сиротам... — тоскует в раздумье Арина Петровна.

— Уж если отцу достанется, он, бабушка, никому ничего не даст, — удостоверяет Петенька. — Я даже так думаю, что он и нас-то наследства лишит.

— Не в могилу же с собой унесет?

— Нет, а какое-нибудь средство выдумает. Он намеднись недаром с попом поговаривал: «А что, говорит, ба-

Тюшка, если бы вавилонскую башню выстроить — много на это денег потребуется?»

— Ну, это он так... может, из любопытства...

— Нет, бабушка, проект у него какой-то есть. Не на вавилонскую башню, так в Афон пожертвует, а уж нам не даст!

— А большое, бабушка, у отца имение будет, когда дядя умрет? — любопытствует Володенька.

— Ну, это еще Богу известно, кто прежде кого умрет.

— Нет, бабушка, отец наверно рассчитывает. Давеча, только мы до дубровинской ямы доехали, он даже картуз снял, перекрестился: «Слава богу, говорит, опять по своей земле поедем!»

— Он, бабушка, все уж распределил. Лесок увидал: «Вот, говорит, кабы на хозяина — ах, хорош бы был лесок!» Потом на покосец посмотрел: «Ай да покосец! смотри-ка, смотри-ка, стогов-то что наставлено! тут прежде конный заводец был.»

— Да, да... и лесок и покосец — все ваше, голубчики, будет! — вздыхает Арина Петровна. — Батюшки! да, никак, на лестнице-то скрипнуло!

— Тише, бабушка, тише! Эт он... яко тать в нощи... у дверей подслушивает.

Наступает молчание; но тревога оказывается ложною. Арина Петровна вздыхает и шепчет про себя: «Ах, детки, детки!» Молодые люди в упор глядят на сироток, словно пожрать их хотят, сиротки молчат и завидуют.

— А вы, кузина, мамзель Лотар видели? — заговаривает Петенька.

Аннинька и Любинька взглядывают друг на друга, точно спрашивают, из истории это или из географии.

— В «Прекрасной Елене»... она на театре Елену играет.

— Ах да... Елена... это Парис? «Будучи прекрасен и молод, он разжег сердца богинь...» Знаем! знаем! — обрадовалась Любинька.

— Это, это самое и есть. А как она *cas-ca-ader caas-ca-der* выделывает... прелесть!

— У нас давеча доктор все «кувырком» пел.

— «Кувырком» — это покойная Лядова... вот, кузина, прелесть-то была! Когда умерла, так тысячи две человек за гробом шли... думали, что революция будет!

— Да ты об театрах, что ли, болтаешь? — вмешивается Арина Петровна. — Так им, мой друг, не по театрам ездить, а в монастырь...

— Вы, бабушка, все нас в монастыре похоронить хотите! — жалуется Аннинька.

— А вы, кузина, вместо монастыря-то в Петербург укатите! Мы вам там все покажем!

— У них, мой друг, не удовольствия на уме должны быть, а божественное, — продолжает наставительно Арина Петровна.

— Мы их, бабушка, в Сергиеву пустынь на лихаче прокатим, — вот и божественное будет!

У сироток даже глазки разгорелись и кончики носиков покраснели при этих словах.

— А как, говорят, поют у Сергия! — восклицает Аннинька.

— С тем уж, кузина, возьмите. *Трисвятую песнь припевающе* — даже отец так не споет. А потом мы бы вас по всем трем Подъяческим покатали.

— Мы бы вас, кузина, всему-всему научили! В Петербурге ведь таких, как вы, барышень очень много: ходят да каблучками постукивают.

— Разве что этому научите! — вступается Арина Петровна. — Уж оставьте вы их, Христа ради... учителя! Тоже учить собрались... наукам, должно быть! Вот я с ними, как Павел умрет, в Хотьков уеду... и так-то мы там заживем!

— А вы всё сквернословите! — вдруг раздалось в дверях.

Посреди разговора никто и не слышал, как подкрался Иудушка, яко тать в ночи! Он весь в слезах, голова поникла, лицо бледно, руки сложены на груди, губы шепчут. Некоторое время он ищет глазами образа, наконец находит и с минуту возносит свой дух.

— Плох! ах, как плох! — наконец восклицает он, обнимая милого друга маменьку.

— Неужто уж так?

— Очень-очень дурен, голубушка... а помните, каким он прежде молодцом был!

— Ну, когда же молодцом... что-то я этого не помню!

— Ах, нет, маменька, не говорите! Всегда он... я как сейчас помню, как он из корпуса вышел: стройный такой, широкоплечий, кровь с молоком... Да, да! Так-то, мой друг маменька! Все мы под богом ходим! сегодня и здоровы, и сильны, и пожить бы, и пожуировать бы, и сладенького бы скушать, а завтра...

Он махнул рукой и умилился.

— Поговорил ли он, по крайней мере?

— Мало, голубушка; только и молвил: «Прощай, брат!»

А ведь он, маменька, чувствует! чувствует, что ему плохо приходится!

— Будешь, батюшка, чувствовать, как грудь-то ходуном ходит!

— Нет, маменька, я не об том. Я об прозорливости; прозорливость, говорят, человеку дана; который человек умирает — всегда тот заранее чувствует. Вот грешникам — тем в этом утешенье отказано.

— Ну-ну! об «распоряжении» не говорил ли чего?

— Нет, маменька. Хотел он что-то сказать, да я остановил. Нет, говорю, нечего об распоряжениях разговаривать! Что ты мне, брат, по милости своей, оставишь, я всем буду доволен, а ежели и ничего не оставишь — и даром за упокой помяну! А как ему, маменька, пожить-то хочется! так хочется! так хочется!

— И всякому пожить хочется!

— Нет, маменька, вот я об себе скажу. Ежели Господу Богу угодно призвать меня к себе — хоть сейчас готов!

— Хорошо, как к Богу, а ежели к сатане угодишь?

В таком духе разговор длился и до обеда, и во время обеда, и после обеда. Арине Петровне даже на стуле не сидится от нетерпения. По мере того как Иудушка растабарывает, ей все чаще и чаще приходит на мысль: а что, ежели... прокляну? Но Иудушка даже и не подозревает того, что в душе матери происходит целая буря; он смотрит так ясно и продолжает себе потихоньку да полегоньку притеснять милого друга маменьку своей безнадежною канителью.

«Прокляну! прокляну! прокляну!» — все решительнее и решительнее повторяет про себя Арина Петровна.

В комнатах пахнет ладаном, по дому раздается протяжное пение, двери отворены настежь, желающие поклониться покойному приходят и уходят. При жизни никто не обращал внимания на Павла Владимировича, с смертью его — всем сделалось жалко. Припоминали, что он «никого не обидел», «никому грубого слова не сказал», «ни на кого не взглянул косо». Все эти качества, казавшиеся прежде отрицательными, теперь представлялись чем-то положительным, и из неясных обрывков обычного похоронного празднословия вырисовывался тип «добротного барина». Многие в чем-то раскаивались, сознавались, что по временам пользовались простотою покойного в ущерб ему, — да ведь кто же знал, что этой простоте так скоро конец

настанет? Жила-жила простота, думали, что ей и веку не будет, а она вдруг... А была бы жива простота — и теперь бы накаливали: накаливай, ребята! что дуракам в зубы смотреть! Один мужичок принес Иудушке три целковых и сказал:

— Должок за мной покойному Павлу Владимычу был. Записок промежду нас не было — так вот!

Иудушка взял деньги, похвалил мужичка и сказал, что он эти три целковых на маслицо для «неугасимой» отдаст.

— И ты, дружок, будешь видеть, и все будут видеть, а душа покойного радоваться будет. Может, он что-нибудь и вымолит там для тебя! Ты и не ждешь — ан вдруг тебе Бог счастье пошлет!

Очень возможно, что в мирской оценке качеств покойного неясно участвовало и сравнение. Иудушку не любили. Не то чтобы его нельзя было обойти, а очень уж он пустяки любил, надоедал да приставал. Даже земельные участки немногие решались у него кортомить, потому что он сдст участок да за каждый лишний запаханый или закошенный вершок, за каждую пропущенную минуту в уплате денег сейчас начнет съемщика по судам таскать. Многих он так-то затаскал и сам ничего не выиграл (его привычку кляузничать так везде знали, что, почти не разбирая дел, отказывали в его претензиях), и народ волокитами да прогулами разорил. «Не купи двора, а купи соседа», — говорит пословица, а у всех на знати, каков сосед головлевский барин. Нужды нет, что мировой тебя оправит, он тебя своим судом, сатанинским, изведет. И так как злость (даже не злость, а скорее нравственное окостенение), прикрытая лицемерием, всегда наводит какой-то суеверный страх, то новые «соседи» (Иудушка очень приветливо называет их «соседушками») боязливо кланялись в пояс, проходя мимо кровопивца, который весь в черном стоял у гроба с сложенными ладонями и воздетыми вверх глазами.

Покуда покойник лежал в доме, домашние ходили на цыпочках, заглядывали в столовую (там, на обеденном столе, был поставлен гроб), качали головами, шептались. Иудушка притворялся чуть живым, шаркал по коридору, заходил к «покойничку», умилялся, поправлял на гробе покров и шептался с становым приставом, который составлял описи и прикладывал печати. Петенька и Володенька суетились около гроба, ставили и зажигали свечи, подавали кадило и проч. Аннинька и Любинька плакали и сквозь слезы тоненькими голосами подпевали дьячкам на панихи-

дах. Дворовые женщины, в черных коленкорových платьях, утирали передниками раскрасневшиеся от слез носы.

Арина Петровна тотчас же, как последовала смерть Павла Владимыча, ушла в свою комнату и заперлась там. Ей было не до слез, потому что она сознавала, что сейчас же должна была на что-нибудь решиться. Оставаться в Дубровине она и не думала... «ни за что!» — следовательно, предстояло одно: ехать в Погорелку, имение сирот, то самое, которое некогда представляло «кусок», выброшенный ею непочтительной дочери Анне Владимировне. Принявши это решение, она почувствовала себя облегченною, как будто Иудушка вдруг и навсегда потерял всякую власть над нею. Спокойно пересчитала пятипроцентные билеты (капиталу оказалось: своего пятнадцать тысяч, да столько же сиротского, ею накопленного) и спокойно же сообразила, сколько нужно истратить денег, чтоб привести погорелковский дом в порядок. Затем немедленно послала за погорелковским старостой, отдала нужные приказания насчет найма плотников и присылки в Дубровино подвод за ее и сиротскими пожитками, велела готовить тарантас (в Дубровине стоял ее *собственный* тарантас, и она имела *доказательства*, что он ее *собственный*) и начала укладываться. К Иудушке она не чувствовала ни ненависти, ни расположения: ей просто сделалось противно с ним дело иметь. Даже ела она неохотно и мало, потому что с нынешнего дня приходилось есть уже не Павлово, а Иудушкино. Несколько раз Порфирий Владимыч заглядывал в ее комнату, чтоб покалякать с милым другом маменькой (он очень хорошо понимал ее приготовления к отъезду, но делал вид, что ничего не замечает), но Арина Петровна не допускала его.

— Ступай, мой друг, ступай! — говорила она. — Мне некогда.

Через три дня у Арины Петровны все было уже готово к отъезду. Отстояли обедню, отпели и схоронили Павла Владимыча. На похоронах все произошло точно так, как представляла себе Арина Петровна в то утро, как Иудушке приехать в Дубровино. Именно так крикнул Иудушка: «Прощай, брат!» — когда опускали гроб в могилу, именно так же обратился он вслед за тем к Улитушке и торопливо сказал:

— Кутью-то! кутью-то не позабудьте взять! да в столовой на чистенькую скатертцу поставьте... чай, и в доме братца помянуть придется!

К обеду, который, по обычаю, был подан сейчас как

пришли с похорон, были приглашены три священника (в том числе отец благочинный) и дьякон. Дьячкам была устроена особая трапеза в прихожей. Арина Петровна и сироты вышли в дорожном платье, но Иудушка и тут сделал вид, что не замечает. Подойдя к закуске, Порфирий Владимирыч попросил отца благочинного благословить яствие и питье, затем налил себе и духовным отцам по рюмке водки, умилился и произнес:

— Новопреставленному! вечная память! Ах, брат, брат! оставил ты нас! а кому бы, кажется, и пожить, как не тебе. Дурной ты, брат! нехороший!

Сказал, перекрестился и выпил. Потом опять перекрестился и проглотил кусочек икры, опять перекрестился — и балычка отведал.

— Кушайте, батюшка! — убеждал он отца благочинного. — Все это запасы покойного брата! любил покойник покушать! И сам хорошо кушал, а еще больше других любил угостить! Ах, брат, брат! оставил ты нас! Нехороший ты, брат! недобрый!

Словом сказать, так зарапортовался, что даже позабыл об маменьке. Только тогда вспомнил, когда уж рыжичков зачерпнул и совсем было собрался ложку в рот отправить.

— Маменька! голубчик! — всполошился он, — а я-то, простофиля, уписываю — ах, грех какой! Маменька! закуськи! рыжичков-то, рыжичков! Дубровинские ведь рыжички-то! знаменитые!

Но Арина Петровна только безмолвно кивнула головой в ответ и не двинулась. Казалось, она с любопытством к чему-то прислушивалась. Как будто какой-то свет пролился у ней перед глазами, и вся эта комедия, к повторению которой она с малолетства привыкла, в которой сама всегда участвовала, вдруг показалась ей совсем новою, невиданною.

Обед начался с родственных пререканий. Иудушка настаивал, чтоб маменька на хозяйское место села; Арина Петровна отказывалась.

— Нет, ты здесь хозяин — ты и садись, куда тебе хочется! — сухо проговорила она.

— Вы хозяйка! вы, маменька, везде хозяйка! и в Головлеве и в Дубровине — везде! — убеждал Иудушка.

— Нет уж! садись! Где мне хозяйкой Бог приведет быть, там я и сама сяду где вздумается! А здесь ты хозяин — ты и садись!

— Так мы вот что сделаем! — умилился Иудушка. — Мы хозяйский-то прибор незанятым оставим! Как будто

брат здесь невидимо с нами сотрапезует... он хозяин, а мы гостями будем!

Так и сделали. Покуда разливали суп, Иудушка, выбрав приличный сюжет, начинает беседу с батюшками, преимущественно, впрочем, обращая речь к отцу благочинному.

— Вот многие нынче в бессмертие души не верят... а я верю! — говорит он.

— Уж это разве отчаянные какие-нибудь! — отвечает отец благочинный.

— Нет, и не отчаянные, а наука такая есть. Будто бы человек сам собою... Живет это, и вдруг — умер!

— Очень уж много этих наук нынче развелось — поубавить бы! Наукам верят, а в Бога не верят. Даже мужики — и те в ученые норовят.

— Да, батюшка, правда ваша. Хотят, хотят в ученые попасть. У меня вот нагловские: есть нечего, а намеднись приговор написали, училище открывать хотят... ученые!

— Против всего нынче науки пошли. Против дождя — наука, против вёдра — наука. Прежде, бывало, попросту: придут да молебен отслужат — и даст бог. Вёдро нужно — вёдро Господь пошлет; дождя нужно — и дождя у Бога не занимать стать. Всего у Бога довольно. А с тех пор как по науке начали жить — словно вот отрезало, все пошло безо времени. Сеять нужно — засуха, косить нужно — дождик!

— Правда ваша, батюшка, святая ваша правда. Прежде, как Богу-то чаще молились, и земля лучше родила. Урожайи-то были не нынешние, сам-четвёрт да сам-пят, — сторицею давала земля. Вот маменька, чай, помнит? Помните, маменька? — обращается Иудушка к Арине Петровне с намерением и ее вовлечь в разговор.

— Не слыхала, чтоб в нашей стороне... Ты, может, об ханаанской земле читал — там, сказывают, действительно это бывало, — сухо отзывается Арина Петровна.

— Да, да, да, — говорит Иудушка, как бы не слыша замечания матери, — в Бога не верят, бессмертия души не признают... а жрать хотят!

— Именно только бы жрать бы да пить бы! — вторит отец благочинный, засучивая рукава своей рясы, чтоб положить на тарелку кусок поминального пирога.

Все принимаются за суп; некоторое время только и слышится, как лязгают ложки об тарелки да фыркают попы, дуя на горячую жидкость.

— А вот католики, — продолжает Иудушка, переста-

вая есть, — так те хотя бессмертия души и не отвергают, но, взамен того, говорят, будто бы душа не прямо в ад или в рай попадает, а на некоторое время... в среднее какое-то место поступает.

— И это опять неосновательно.

— Как бы вам сказать, батюшка... — задумывается Порфирий Владимирыч, — коли начать говорить с точки зрения...

— Нечего об пустяках и говорить. Святая церковь как поет? Поет: в месте злачном, в месте прохладном, иде же несть ни печали, ни воздыхания... Об каком же тут «среднем» месте еще разговаривать!

Иудушка, однако ж, не вполне соглашается и хочет кой-что возразить. Но Арина Петровна, которую начинает уж коробить от этих разговоров, останавливает его.

— Ну уж, ешь, ешь... богослов! и суп, чай, давно простыл! — говорит она и, чтобы переменить разговор, обращается к отцу благочинному: — С рожью-то, батюшка, убрались?

— Убрался, сударыня? нынче рожь хороша, а вот яровые — не обещают! Овсы зерна не успели порядком налить, а уж мешаться начали. Ни зерна, ни соломы ожидать нельзя.

— Везде нынче на овсы жалуются! — вздыхает Арина Петровна, следя за Иудушкой, как он вычерпывает ложкой остатки супа.

Подают другое кушанье: ветчину с горошком. Иудушка пользуется этим случаем, чтоб возобновить прерванный разговор.

— Вот жида этого кушанья не едят, — говорит он.

— Жида — пакостники, — отзывается отец благочинный, — их за это свиным ухом дразнят.

— Однако ж вот и татары... Какая-нибудь причина этому да есть...

— И татары тоже пакостники — вот и причина.

— Мы конины не едим, а татары — свиной брезгают. Вот в Париже, сказывают, крыс во время осады ели.

— Ну, те — французы!

Таким образом идет весь обед. Подают карасей в сметане — Иудушка объясняет:

— Кушайте, батюшка! Это караси особенные: покойный братец их очень любил!

Подают спаржу — Иудушка говорит:

— Вот это так спаржа! В Петербурге за этукую спар-

жу рублик серебрцом платить надо. Покойный братец сам за нею ухаживал! Вон она, бог с ней, — толстая какая!

У Арины Петровны так и кипит сердце: целый час прошел, а обед только в половине. Иудушка словно нарочно медлит: поест, потом положит ножик и вилку, покалякает, потом опять поест и опять покалякает. Сколько раз в бывалое время Арина Петровна крикивала за это на него: «Да ешь же, прости господи, сатана!» — да, видно, он позабыл маменькины наставления. А может быть, и не позабыл, а нарочно делает, мстит. А может быть, даже и не мстит сознательно, а так нутро его, от природы ехидное, играет. Наконец подали жаркое; в ту самую минуту, как все встали и отец дьякон затянул «о блаженном успении» — в коридоре поднялась возня, послышались крики, которые совсем уничтожили эффект зауспокойного возгласа.

— Что там за шум! — крикнул Порфирий Владимирыч. — В кабак, что ли, забрались?

— Не кричи, сделай милость! это я... это мои сундуки перетаскивают, — отозвалась Арина Петровна и не без иронии прибавила: — Будешь, что ли, осматривать?

Все вдруг смолкли, даже Иудушка не нашелся и побледнел. Он, впрочем, сейчас же сообразил, что надо как-нибудь замаять неприятную апострофу матери, и обратясь к отцу благочинному, начал:

— Вот тетерев, например... В России их множество, а в других странах...

— Да ешь, Христа ради: нам ведь двадцать пять верст ехать; надо засветло поспевать, — прервала его Арина Петровна. — Петенька! поторопи там, голубчик, чтоб пирожное подавали!

Несколько минут длилось молчание. Порфирий Владимирыч живо доел свой кусок тетерьки и сидел бледный, постукивая ногой в пол и вздрагивая губами.

— Обижаете вы меня, добрый друг маменька! крепко вы меня обижаете! — наконец произносит он, не глядя, впрочем, на мать.

— Кто тебя обидит! И чем это я так... крепко тебя обидела?

— Очень-очень обидно... так обидно! так обидно! В такую минуту... уезжать!.. Всё жили да жили... и вдруг... И, наконец, эти сундуки, осмотр... Обидно!

— Уж коли ты хочешь все знать, так я могу и ответ дать. Жила я тут, покуда сын Павел был жив; умер он — я и уезжаю. А что касается до сундуков, так Улитка давно

за мной, по твоему приказанью, следит. А по мне, лучше прямо сказать матери, что она в подозрении состоит, нежели, как змея, из-за чужой спины на нее шипеть.

— Маменька! друг мой! да вы... да я... — простонал Иудушка.

— Будет! — не дала ему продолжать Арина Петровна. — Я высказалась.

— Но чем же, друг мой, я мог...

— Говорю тебе: я высказалась — и оставь. Отпусти меня, ради Христа, с миром. Тарантас, чу, готов.

Действительно, на дворе раздались бубенчики и стук подъезжающего экипажа. Арина Петровна первая встала из-за стола, за ней поднялись и прочие.

— Ну, теперь присядемте на минутку, да и в путь! — сказала она, направляясь в гостиную.

Посидели, помолчали, а тем временем Иудушка совсем уж успел оправиться.

— А не то пожили бы, маменька, в Дубровине... посмотрите-ка, как здесь хорошо! — сказал он, глядя матери в глаза с ласковостью провинившегося пса.

— Нет, мой друг, будет! не хочу я тебе, на прощание, неприятного слова сказать... а нельзя мне здесь оставаться! Не у чего! Батюшка! помолимтесь!

Все встали и помолились; затем Арина Петровна со всеми перещеловалась, всех благословила... по-родственному и, тяжело ступая ногами, направилась к двери. Порфирий Владимирыч во главе всех домашних проводил ее до крыльца, но тут при виде тарантаса его смутил бес любознательности. «А тарантас-то ведь братцев!» — блеснуло у него в голове.

— Так увидимся, добрый друг маменька! — сказал он, подсаживая мать и искоса поглядывая на тарантас.

— Коли Бог велит... отчего же не увидеться!

— Ах, маменька, маменька! проказница вы, право! Велите-ка тарантас-то отложить, да с богом на старое гнездышко... Право! — лебезил Иудушка.

Арина Петровна не отвечала; она совсем уж уселась и крестное знамение даже сотворила, но сиротки что-то медлили.

А Иудушка между тем поглядывал да поглядывал на тарантас.

— Так тарантас-то, маменька, как же? вы сами доставите или прислать за ним прикажете? — наконец не выдержал он.

Арина Петровна даже затряслась вся от негодования.

— Тарантас — мой! — крикнула она таким болезненным криком, что всем сделалось и неловко и совестно. — Мой! мой! мой тарантас! Я его... у меня доказательства... свидетели есть! А ты... а тебя... ну, да уж подожду... посмотрю, что дальше от тебя будет! Дети! долго ли?

— Помилуйте, маменька! я ведь не в претензии... если б даже тарантас был дубровинский...

— Мой тарантас, мой! Не дубровинский, а мой! не смей говорить... слышишь!

— Слушаю, маменька... Так вы, голубушка, не забывайте нас... попросту, знаете, без затей! Мы к вам, вы к нам... по-родственному!

— Сели, что ли? трогай! — крикнула Арина Петровна, едва сдерживая себя.

Тарантас дрогнул и покатился мелкой рысцей по дороге. Иудушка стоял на крыльце, махал платком и, покуда тарантас не скрылся совсем из виду, кричал ему вслед:

— По-родственному! Мы к вам, вы к нам... по-родственному!

СЕМЕЙНЫЕ ИТОГИ

Никогда не приходило Арине Петровне на мысль, что может наступить минута, когда она будет представлять собой «лишний рот», — и вот эта минута подкралась, и подкралась именно в такую пору, когда она, в первый раз в жизни, практически убедилась, что нравственные и физические ее силы подорваны. Такие минуты всегда приходят внезапно; хотя человек, быть может, уж давно надломлен, но все-таки еще перемогается и стоит, — и вдруг откуда-то сбоку наносится последний удар. Подстеречь этот удар, сознать его приближение очень трудно; приходится просто и безмолвно покориться ему, ибо это тот самый удар, который недавнего бодрого человека мгновенно и беспелляционно превращает в развалину.

Тяжело было положение Арины Петровны, когда она, разорвавши с Иудушкой, поселилась в Дубровине, но тогда она, по крайней мере, знала, что Павел Владимирович хоть и косо смотрит на ее вторжение, но все-таки он человек достаточный, для которого лишний кусок не много значит. Теперь — дело приняло совсем иной оборот: она стояла во главе такого хозяйства, где все «куски» были на счету. А она знала цену этим «кускам», ибо, проведя всю жизнь в деревне, в общении с крестьянским людом, вполне усвоила себе крестьянское представление об ущер-

бе, который наносит «лишний рот» хозяйству, и без того уже скудному.

Тем не менее первое время по переселении в Погорелку она еще бодрилась, хлопотливо устраивалась на новом месте и выказывала прежнюю ясность хозяйственных соображений. Но хозяйство в Погорелке было суетливое, мелочное, требовало ежеминутного личного присмотра, и хотя сгоряча ей показалось, что достигнуть точного учета там, где из полушек составляются гроши, а из грошей гривенники, не составляет никакой мудрости, однако скоро она должна была сознаться, что это убеждение ошибочно. Мудрости действительно не было, но и не было ни прежней охоты, ни прежних сил. К тому же дело происходило осенью, в самый разгар хозяйственных итогов, а между тем время стояло ненастное и полагало невольный предел усердию Арины Петровны. Явились старческие немощи, не позволявшие выходить из дома, настали длинные, тоскливые осенние вечера, осуждавшие на фаталистическую праздность. Старуха волновалась и рвалась, но ничего не могла сделать.

С другой стороны, она не могла не заметить, что и с сиротами делается что-то неладное. Они вдруг заскучили и опустили головы. Какие-то смутные планы будущего волновали их — планы, в которых представления о труде шли попеременно с представлениями об удовольствиях, конечно самого невинного свойства. Тут были и воспоминания об институте, в котором они воспитывались, и вычитанные урывками мысли о людях труда, и робкая надежда с помощью институтских связей ухватиться за какую-то нить и при ее пособии войти в светлое царство человеческой жизни. Над всей этой смутностью тем не менее господствовала одна щемящая и очень определенная мысль: во что бы ни стало уйти из постылой Погорелки. И вот в одно прекрасное утро Аннинька и Любинька объявили бабушке, что долее оставаться в Погорелке не могут и не хотят. Что это ни на что не похоже, что они в Погорелке никого не видят, кроме попа, который к тому же постоянно при свидании с ними почему-то заговаривает о девах, погасивших свои светильники, и что вообще — «так нельзя». Девушки говорили резко, ибо боялись бабушки, и тем больше напускали на себя храбрости, чем больше ждали с ее стороны гневной вспышки и отпора. Но, к удивлению, Арина Петровна выслушала их сетования не только без гнева, но даже не выказав поползновения к бесплодным поучениям, на которые так торовата

бессильная старость. Увы! это была уж не та властная женщина, которая во времена бны с уверенностью говорила: «Уеду в Хотьков и внучат с собой возьму». И не одно старческое бессилие участвовало в этой перемене, но и понимание чего-то лучшего, более справедливого. Последние удары судьбы не просто смирили ее, но еще осветили в ее умственном кругозоре некоторые уголки, в которые мысль ее, по-видимому, никогда дотоле не заглядывала. Она поняла, что в человеческом существе кроются известные стремления, которые могут долго дремать, но, раз проснувшись, уже неотразимо влекут человека туда, где прорезывается луч жизни, тот отрадный луч, появление которого так давно подстерегали глаза среди безнадежной мглы настоящего. И, раз поняв законность подобного стремления, она уж была бессильна противодействовать ему. Правда, она отговаривала внучек от их намерения, но слабо, без убеждения; она беспокоилась насчет ожидающего их будущего, тем более что сама не имела никаких связей в так называемом свете, но в то же время чувствовала, что разлука с девушками есть дело должное, неизбежное. Что с ними будет? — этот вопрос вставал перед ней назойливо и ежеминутно; но ведь ни этим вопросом, ни даже более страшными не удержишь того, кто рвется на волю. А девушки только об том и твердили, чтоб вырваться из Погорелки. И действительно, после немногих колебаний и отсрочек, сделанных в угоду бабушке, уехали.

С отъездом сирот погорелковский дом окунулся в какую-то безнадежную тишину. Как ни сосредоточенна была Арина Петровна по природе, но близость человеческого дыхания производила и на нее успокоительное действие. Проводивши внучек, она, может быть в первый раз, почувствовала, что от ее существа что-то оторвалось и что она разом получила какую-то безграничную свободу, до того безграничную, что она уже ничего не видела перед собой, кроме пустого пространства. Чтоб как-нибудь скрыть в собственных глазах эту пустоту, она распорядилась немедленно заколотить парадные комнаты и мезонин, в котором жили сироты («кстати, и дров меньше выходить будет», — думала она при этом), а для себя отделила всего две комнаты, из которых в одной помещался большой киот с образами, а другая представляла в одно и то же время спальную, кабинет и столовую. Прислугу тоже, ради экономии, распустила, оставив при себе только старую, едва таскающую ноги ключницу Афимьюшку да одноглазую солдатку Марковну, которая готовила кушанье и стирала

белье. Но все эти предосторожности помогли мало: ощущение пустоты не замедлило проникнуть и в те комнаты, в которых она думала отгородиться от него. Беспомощное одиночество и унылая праздность — вот два врага, с которыми она очутилась лицом к лицу и с которыми отныне обязывалась коротать свою старость. А вслед за ними не заставила себя ждать и работа физического и нравственного разрушения, работа тем более жестокая, чем меньше отпора дает ей праздная жизнь.

Дни чередовались днями с тем удручающим однообразием, которым так богата деревенская жизнь, если она не обставлена ни комфортом, ни хозяйственным трудом, ни материалом, дающим пищу для ума. Независимо от внешних причин, делавших личный хозяйственный труд недоступным, Арине Петровне и внутренне сделалась противною та грошовая суета, которая застигла ее под конец жизни. Может быть, она бы и перемогла свое отвращение, если б была в виду цель, которая оправдывала бы ее усилия, но именно цели-то и не было. Всем она опостылела, надоела, и ей всё и все опостытели, надоели. Прежняя лихорадочная деятельность вдруг уступила место сонливой праздности, а праздность мало-помалу развратила волю и привела за собой такие наклонности, о которых, конечно, и во сне не снилось Арине Петровне за несколько месяцев тому назад. Из крепкой и сдержанной женщины, которую никто не решался даже назвать старухой, получилась развалина, для которой не существовало ни прошлого, ни будущего, а существовала только минута, которую предстояло прожить.

Днем она большею частью дремала. Сядет в кресло перед столом, на котором разложены вонючие карты, и дремлет. Потом вздрогнет, проснется, взглянет в окно и долго, без всякой сознательной мысли, не отрывает глаз от расстилающейся без конца дали. Погорелка была печальная усадьба. Она стояла, как говорится, на тычке, без сада, без тени, без всяких признаков какого бы то ни было комфорта. Даже палисадника впереди не было. Дом был одноэтажный, словно придавленный, и весь почерневший от времени и непогод; сзади расположены были немногочисленные службы, тоже приход ршие в ветхость; а кругом стлались поля, поля без конца; даже лесу на горизонте не было видно. Но так как Арина Петровна с детства почти безвыездно жила в деревне, то эта бедная природа не только не казалась ей унылою, но даже говорила ее сердцу и пробуждала остатки чувств, которые в ней тепли-

лись. Лучшая часть ее существа жила в этих нагих и бесконечных полях, и взоры инстинктивно искали их во всякое время. Она вглядывалась в полевую даль, вглядывалась в эти измокшие деревни, которые, в виде черных точек, пестрели там и сям на горизонте; вглядывалась в белые церкви сельских погостов, вглядывалась в пестрые пятна, которые бродячие в лучах солнца облака рисовали на равнине полей, вглядывалась в этого неизвестного мужика, который шел между полевых борозд, а ей казалось, что он словно застыл на одном месте. Но при этом она ни об чем не думала, или, лучше сказать, у нее были мысли до того разорванные, что ни на чем не могла остановиться на более или менее продолжительное время. Она только глядела, глядела до тех пор, пока старческая дремота не начинала вновь гудеть в ушах и не заволакивала туманом и поля, и церкви, и деревни, и бредущего вдали мужика.

Иногда она, по-видимому, припоминала; но память прошлого возвращалась без связи, в форме обрывков. Внимание ни на чем не могло сосредоточиться и непрерывно перебегало от одного далекого воспоминания к другому. По временам, однако ж, ее поражало что-нибудь особенное, не радость — на радости прошлое ее было до жестокости скупое, — а обида какая-нибудь, горькая, непереносная. Тогда внутри ее словно загоралось, тоска заползала в сердце, и слезы подступали к глазам. Она начинала плакать, плакала тяжело, с болью, плакала так, как плачет жалкая старость, у которой слезы льются точно под тяжестью кошмара. Но, покуда слезы лились, бессознательная мысль продолжала свое дело и, незаметно для Арины Петровны, отвлекала ее от источника, породившего печальное настроение, так что через несколько минут старуха и сама с удивлением спрашивала себя, что такое случилось с нею.

Вообще она жила как бы не участвуя лично в жизни, а единственно в силу того, что в этой развалине еще хоронились какие-то забытые концы, которые надлежало собрать, учесть и подвести итоги. Покуда эти концы были еще налицо, жизнь шла своим чередом, заставляя развалину производить все внешние отправления, какие необходимы для того, чтоб это полусонное существование не рассыпалось в прах.

Но ежели дни проходили в бессознательной дремоте, то ночи были положительно мучительны. Ночью Арина Петровна боялась; боялась воров, привидений, чертей,

словом, всего, что составляло продукт ее воспитания и жизни. А защита против всего этого была плохая, потому что, кроме ветхой прислуги, о которой было сказано выше, ночной погорелковский штат весь воплощался в лице хроменького мужичка Федосеюшки, который за два рубля в месяц приходил с села сторожить по ночам господскую усадьбу и обыкновенно дремал в сенцах, выходя в урочные часы, чтоб сделать несколько ударов в чугунную доску. Хотя же на скотном дворе и жило несколько работников и работниц, но скотная изба отстояла от дома сажень в двадцати и вызвать оттуда кого-нибудь было делом далеко не легким.

Есть что-то тяжелое, удручающее в бессонной деревенской ночи. Часов с девяти или много-много с десяти жизнь словно прекращается и наступает тишина, наводящая страх. И делать нечего, да и свечей жаль — поневоле приходится лечь спать. Афимьюшка, как только сняли со стола самовар, по привычке, приобретенной еще при крепостном праве, постелила войлок поперек двери, ведущей в барынину спальную; затем почесалась, позевала и, как только повалилась на пол, так и замерла. Марковна возилась в девичьей несколько долее и все что-то бормотала, кого-то ругала; но вот, наконец, и она притихла, и через минуту уж слышно, как она поочередно то храпит, то бредит. Сторож несколько раз звякнул в доску, чтоб заявить о своем присутствии, и умолк надолго. Арина Петровна сидит перед нагоревшей сальной свечой и пробует разогнать сон пасьянсом; но едва принимается она за раскладывание карт, как дремота начинает одолевать ее. «Того и гляди, еще пожар со сна наделаешь!» — говорит она сама с собой и решается лечь в кровать. Но едва успела она утонуть в пуховиках, как приходит другая беда; сон, который целый вечер так и манил, так и ломал, вдруг совсем исчез. В комнате и без того натоплено; из открытого душника жар так и валит, а от пуховиков атмосфера делается просто нестерпимою. Арина Петровна ворочается с боку на бок; и хочется ей покликать кого-нибудь, и знает она, что на ее клич никто не придет. Загадочная тишина царит вокруг — тишина, в которой настроженное ухо умеет отличить целую массу звуков. То хлопнуло где-то, то раздался вдруг вой, то словно кто-то прошел по коридору, то пролетело по комнате какое-то дуновение и даже по лицу задело. Лампадка горит перед образом и светом своим сообщает предметам какой-то обманчивый характер, точно это не предметы, а только

очертания предметов. Рядом с этим сомнительным светом является другой, выходящий из растворенной двери соседней комнаты, где перед киотом зажжено четыре или пять лампад. Этот свет желтым четырехугольником лег на полу, словно врезался в мрак спальни, не сливаясь с ним. Всюду тени, колеблющиеся, беззвучно движущиеся. Вот мышь заскреблась за обоями. «Шт... паскудная!» — крикнет на нее Арина Петровна, и опять все смолкнет. Опять тени, опять неизвестно откуда берущийся шепот. В чуткой, болезненной дремоте проходит большая часть ночи, и только к утру сон настоящим образом вступает в свои права. А в шесть часов Арина Петровна уж на ногах, измученная бессонной ночью.

Ко всем этим причинам, достаточно обрисовывающим жалкое существование, которое вела Арина Петровна, присоединялись еще две: скудость питания и неудобства помещения. Ела она мало и дурно, вероятно думая этим наверстать ущерб, производимый в хозяйстве недостаточностью надзора. Что же касается до помещения, то погорелковский дом был ветх и сыр, а комната, в которой заперлась Арина Петровна, никогда не освежалась и по целым неделям оставалась неубранною. И вот среди этой полной беспомощности, среди отсутствия всякого комфорта и ухода приближалась дряхлость.

Но чем больше она дряхлела, тем сильнее сказывалось в ней желание жизни. Или, лучше сказать, не столько желание жизни, сколько желание «полакомиться», сопряженное с совершенным отсутствием идеи смерти. Прежде она боялась смерти, теперь — как будто совсем позабыла об ней. И так как ее жизненные идеалы немногим различались от идеалов любого крестьянина, то и представление о «хорошем житье», которым она себя обольщала, было довольно низменного свойства. Все, в чем она отказывала себе в течение жизни — хороший кусок, покой, беседа с живыми людьми, — все это сделалось предметом самых упорных помышлений. Все наклонности завязтой приживалки — празднословие, льстивая угодливость ради подачки, прожорливость — росли с изумительной быстротой. Она питалась дома людскими щами с несвежей солониной — и в это время мечтала о головлевских запасах, о карасях, которые водились в дубровинских прудах, о грибах, которыми полны были головлевские леса, о птице, которая откармливалась в Головлеве на скотном дворе. «Супцу бы теперь с гусиным потрохом или рыжичков бы в сметане», — мелькало в ее голове, мелькало до того

живо, что даже углы губ у нее опускались. Ночью она ворочалась с боку на бок, замирая от страха при каждом шорохе, и думала: «Вот в Головлеве и запоры крепкие, и сторожа верные, стучат себе да постукивают в доску не устаючи — спи себе, как у Христа за пазушкой!» Днем ей по целым часам приходилось ни с кем не вымолвить слова, и во время этого невольного молчания само собой приходило на ум: «Вот в Головлеве — там людно, там есть и душу с кем отвести!» Словом сказать, ежеминутно припоминалось Головлево, и по мере этих припоминаний оно делалось чем-то вроде светозарного пункта, в котором сосредоточивалось «хорошее житье».

И чем чаще смущалось воображение представлением о Головлеве, тем сильнее развращалась воля и тем дальше уходили вглубь недавние кровные обиды. Русская женщина, по самому складу ее воспитания и жизни, слишком легко мирится с участью приживалки, а потому и Арина Петровна не минула этой участи, хотя, казалось, все ее прошлое предостерегало и оберегало ее от этого ига. Не сделай она «в то время» ошибки, не отдели сыновей, не доверься Иудушке, она бы была и теперь брюзгливой и требовательной старухой, которая заставляла бы детей смотреть из ее рук. Но так как ошибка была сделана бесповоротно, то переход от брюзжаний самодурства к покорности и льстивости приживалки составлял только вопрос времени. Покуда силы сохраняли остатки прежней крепости, переход не выказывался наружу, но как только она себя признала безвозвратно осужденною на беспомощность и одиночество, так тотчас же в душу начали заползть все поползновения малодушия и мало-помалу окончательно развратили и без того уже расшатанную волю. Иудушка, который в первое время, приезжая в Погорелку, встречал там лишь самый холодный прием, вдруг перестал быть ненавистным. Старые обиды забылись как-то само собой, и Арина Петровна первая сделала шаг к сближению.

Началось с выпрашиваний. Из Погорелки являлись к Иудушке гонцы сначала редко, потом чаще и чаще. То рыжичков в Погорелке не родилось, то огурчики от дождей вышли с пятнышками, то индюшки, по нынешнему вольному времени, переколели, «да приказал бы ты, сердечный друг, карасиков в Дубровине половить, в коих и покойный сын Павел старухе матери никогда не отказывал». Иудушка морщился, но открыто выражать неудовольствие не решался. Жаль ему было карасей, но он пуще всего боялся, что мать его проклянет. Он помнил, как она раз гово-

рила: «Приеду в Головлево, прикажу открыть церковь, позову попа и закричу: проклинаю!» — и это воспоминание останавливало его от многих пакостей, на которые он был великий мастер. Но, выполняя волю «доброего друга маменьки», он все-таки вскользь намекал своим окружающим, что всякому человеку положено нести от Бога крест и что это делается не без цели, ибо, не имея креста, человек забывается и впадает в разврат. Матери же писал так: «Огурчиков, добрый друг маменька, по силе возможности посылаю; что же касается до индюшек, то, сверх пущенных на племя, остались только петухи, кои для вас, по огромности их и ограниченности вашего стола, будут бесполезны. А не угодно ли вам будет пожаловать в Головлево разделить со мною убогую трапезу: тогда мы одного из сих тунеядцев (именно тунеядцы, ибо мой повар Матвей преискусно оных каплунит) велим зажарить и всласть с вами, дражайший друг, покушаем».

С этих пор Арина Петровна зачастила в Головлево. Отведывала с Иудушкой и индюшек и уток; спала всласть и ночью и после обеда и отводила душу в бесконечных разговорах о пустяках, на которые Иудушка был тороват по природе, а она сделалась тороватой вследствие старости. Даже и тогда не прекратила посещений, когда до нее дошло, что Иудушка, наскучив продолжительным вдовством, взял к себе в экономки девицу из духовного звания, именем Евпраксию. Напротив того, узнав об этом, она тотчас же поехала в Головлево и, не успев еще вылезти из экипажа, с каким-то ребяческим нетерпением кричала Иудушке: «А ну-ка, ну, старый греховодник! кажи мне, кажи свою кралю!» Целый этот день она провела в полном удовольствии, потому что Евпраксеюшка сама служила ей за обедом, сама постелила для нее постель после обеда, а вечером она играла с Иудушкой и его кралей в дураки. Иудушка тоже был доволен такой развязкой и в знак сыновней благодарности велел при отъезде Арины Петровны в Погорелку положить ей в тарантас, между прочим, фунт икры, что было уже высшим знаком уважения, ибо икра — предмет не свой, а купленный. Этот поступок так тронул старуху, что она не вытерпела и сказала:

— Ну, вот за это спасибо! И Бог тебя, милый дружок, будет любить за то, что мать на старости лет покоишь да холишь. По крайности, приеду уже в Погорелку — не скучно будет. Всегда я икорку любила — вот и теперь, по милости твоей, полакомлюсь!

Прошло лет пять со времени переселения Арины Пет-

ровны в Погорелку. Иудушка как засел в своем родовом Головлеве, так и не двигается оттуда. Он значительно постарел, вылинял и потускнел, но шильничает, лжет и пустословит еще пуще прежнего, потому что теперь у него почти постоянно под руками добрый друг маменька, которая ради сладкого старушечьего куска сделалась обязательной слушательницей его пустословия.

Не надо думать, что Иудушка был лицемер в смысле, например, Тартюфа или любого современного французского буржуа, соловьем рассыпающегося по части общественных основ. Нет, ежели он и был лицемер, то лицемер чисто русского пошиба, то есть просто человек, лишенный всякого нравственного мерила и не знающий иной истины, кроме той, которая значится в азбучных прописях. Он был невежествен без границ, сутяга, лгун, пустослов и в довершение всего боялся черта. Все это такие отрицательные качества, которые отнюдь не могут дать прочного материала для действительного лицемерия.

Во Франции лицемерие вырабатывается воспитанием, составляет, так сказать, принадлежность «хороших манер» и почти всегда имеет яркую политическую или социальную окраску. Есть лицемеры религии, лицемеры общественных основ, собственности, семейства, государственности, а в последнее время народились даже лицемеры «порядка». Ежели этого рода лицемерие и нельзя назвать убеждением, то во всяком случае — это знамя, кругом которого собираются люди, которые находят расчет лицемерить именно тем, а не иным способом. Они лицемерят сознательно, в смысле своего знамени, то есть и сами знают, что они лицемеры, да, сверх того, знают, что это и другим небезызвестно. В понятиях француза-буржуа вселенная есть не что иное, как обширная сцена, где дается бесконечное театральное представление, в котором один лицемер подает реплику другому. Лицемерие — это приглашение к приличию, к декоруму, к красивой внешней обстановке, и что всего важнее, лицемерие — это узда. Не для тех, конечно, которые лицемерят, плавая в высотах общественных эмпиреев, а для тех, которые нелегально кишат на дне общественного котла. Лицемерие удерживает общество от разнузданности страстей и делает последнюю привилегией лишь самого ограниченного меньшинства. Пока разнузданность страстей не выходит из пределов небольшой и плотно организованной корпорации — она не только безопасна, но даже поддерживает и питает традиции изящества. Изящное погибло бы, если б не суще-

ствовало известного числа *cabinets particuliers*¹, в которых оно культивируется в минуты, свободные от культа официального лицемерия. Но разнузданность становится положительно опасною, как только она делается общедоступною и соединяется с предоставлением каждому свободы предъявлять свои требования и доказывать их законность и естественность. Тогда возникают новые общественные наслоения, которые стремятся ежели не совсем вытеснить старые, то, по крайней мере, в значительной степени ограничить их. Спрос на *cabinets particuliers* до того увеличивается, что, наконец, возникает вопрос: не проще ли на будущее время совсем обходиться без них? Вот от этих-то нежелательных возникновений и вопросов и оберегает дирижирующие классы французского общества то систематическое лицемерие, которое, не довольствуясь почвою обычая, переходит на почву легальности и из простой черты нравов становится законом, имеющим характер принудительный.

На этом законе уважения к лицемерию основан, за редкими исключениями, весь современный французский театр. Герои лучших французских драматических произведений, то есть тех, которые пользуются наибольшим успехом именно за необыкновенную реальность изображаемых в них житейских пакостей, всегда улучают под конец несколько свободных минут, чтоб подправить эти пакости громкими фразами, в которых объявляет святость и сладости добродетели. Адель может в продолжение четырех актов всячески осквернять супружеское ложе, но в пятом она непременно во всеуслышание заявит, что семейный очаг есть единственное убежище, в котором французскую женщину ожидает счастье. Спросите себя: что было бы с Аделью, если б авторам вздумалось продолжить свою пьесу еще на пять таких же актов, и вы можете безошибочно ответить на этот вопрос, что в продолжение следующих четырех актов Адель опять будет осквернять супружеское ложе, а в пятом опять обратится к публике с тем же заявлением. Да и нет надобности делать предположения, а следует только из Théâtre Français отправиться в Gymnase, оттуда в Vaudeville или в Variétés, чтоб убедиться, что Адель везде одинаково оскверняет супружеское ложе и везде же под конец объявляет, что это-то ложе и есть единственный алтарь, в котором может священнодействовать честная француженка. Это до такой степени вьелось

¹ Отдельных кабинетов (*фр.*).

в нравы, что никто даже не замечает, что тут кроется самое дурацкое противоречие, что правда жизни является рядом с правдою лицемерия и обе идут рука об руку, до того перепутываясь между собой, что становится затруднительным сказать, которая из этих двух правд имеет более прав на признание.

Мы, русские, не имеем сильно окрашенных систем воспитания. Нас не муштруют, из нас не вырабатывают будущих поборников и пропагандистов тех или других общественных основ, а просто оставляют расти, как крапива растет у забора. Поэтому между нами очень мало лицемеров и очень много лгунов, пустосвятов и пустословов. Мы не имеем надобности лицемерить ради каких-нибудь общественных основ, ибо никаких таких основ не знаем, и ни одна из них не прикрывает нас. Мы существуем совсем свободно, то есть прозябаем, лжем и пустословим сами по себе, без всяких основ.

Следует ли по этому случаю радоваться или соболезнавать — судить об этом не мое дело. Думаю, однако ж, что если лицемерие может внушить негодование и страх, то беспредметное лганье способно возбудить доuku и омерзение. А потому самое лучшее — это, оставив в стороне вопрос о преимуществах лицемерия сознательного перед бессознательным или наоборот, запереться и от лицемеров и от лгунов.

Итак, Иудушка не столько лицемер, сколько пакостник, лгун и пустослов. Запершись в деревне, он сразу почувствовал себя на свободе, ибо нигде, ни в какой иной сфере, его наклонности не могли бы найти себе такого простора, как здесь. В Головлеве он ниоткуда не встречал не только прямого отпора, но даже малейшего косвенного ограничения, которое заставило бы его подумать: вот, дескать, и напакостил бы, да людей совестно. Ничье суждение не беспокоило, ничей нескромный взгляд не тревожил, — следовательно, не было повода и самому себя контролировать. Безграничная неряшливость сделалась господствующею чертою его отношений к самому себе. Давным-давно влекла его к себе эта полная свобода от каких-либо нравственных ограничений, и ежели он еще раньше не переехал на житье в деревню, то единственно потому, что боялся праздности. Проведя более тридцати лет в тусклой атмосфере департамента, он приобрел все привычки и вожделения закоренелого чиновника, не допускающего, чтобы хотя одна минута его жизни оставалась свободною от переливания из пустого в порожнее.

Но, взглядевшись в дело пристальнее, он легко пришел к убеждению, что мир делового бездельничества настолько подвижен, что нет ни малейшего труда перенести его куда угодно, в какую угодно сферу. И действительно, как только он поселился в Головлеве, так тотчас же создал себе такую массу пустяков и мелочей, которую можно было не переставая переворачивать без всякого опасения когда-нибудь исчерпать ее. С утра он садился за письменный стол и принимался за занятия; во-первых, учитывал скотницу, ключницу, приказчика, сперва на один манер, потом на другой; во-вторых, завел очень сложную отчетность, денежную и материальную: каждую копейку, каждую вещь заносил в двадцати книгах, подводил итоги, то терял полкопейки, то целую копейку лишнюю находил. Наконец брался за перо и писал жалобы к мировому судье и к посреднику. Все это не только не оставляло ни одной минуты праздной, но даже имело все внешние формы усидчивого, непосильного труда. Не на праздность жаловался Иудушка, а на то, что не успевал всего переделать, хотя целый день корпел в кабинете, не выходя из халата. Груды тщательно подшитых, но не обревизованных рапортчиков постоянно валялись на его письменном столе, и в том числе целая годовая отчетность скотницы Феклы, деятельность которой с первого раза показалась ему подозрительной и которую он тем не менее никак не мог найти свободную минуту учесть.

Всякая связь с внешним миром была окончательно порвана. Он не получал ни книг, ни газет, ни даже писем. Один сын его, Володенька, кончил самоубийством, с другим, Петенькой, он переписывался коротко и лишь тогда, когда посылал деньги. Густая атмосфера невежественности, предрассудков и кропотливого переливания из пустого в порожнее царила кругом него, и он не ощущал ни малейшего поползновения освободиться от нее. Даже о том, что Наполеон III уже не царствует, он узнал лишь через год после его смерти от станowego пристава, но и тут не выразил никакого особенного ощущения, а только перекрестился, пошептал: «Царство небесное!» — и сказал:

— А как был горд! Фу-ты! Ну-ты! И то нехорошо и другое неладно! Цари на поклон к нему ездили, принцы в передней дежурили! Ан Бог-то взял да в одну минуту все его мечтания ниспроверг!

Собственно говоря, он не знал даже, что делается у него в хозяйстве, хотя с утра до вечера только и делал, что считал да учитывал. В этом отношении он имел все

качества закоренелого департаментского чиновника. Представьте себе столоначальника, которому директор, под веселую руку, сказал бы: «Любезный друг! для моих соображений необходимо знать, сколько Россия может ежегодно производить картофеля, — так потрудитесь сделать подробное вычисление!» Встал ли бы в тупик столоначальник перед подобным вопросом? Задумался ли бы он, по крайней мере, над приемами, которые предстоит употребить для выполнения заказанной ему работы? Нет, он поступил бы гораздо проще: начертил бы карту России, разлиновал бы ее на совершенно равные квадратики, доискался бы, какое количество десятин представляет собой каждый квадратик, потом зашел бы в мелочную лавочку, узнал, сколько сеется на каждую десятину картофеля и сколько *средним числом* получается, и в заключение, при помощи Божией и первых четырех правил арифметики, пришел бы к результату, что Россия *при благоприятных условиях* может производить картофелю столько-то, а *при неблагоприятных условиях* — столько-то. И работа эта не только удовлетворила бы его начальника, но, наверное, была бы помещена в сто втором томе каких-нибудь «Трудов».

Даже экономку он выбрал себе как раз подходящую к той обстановке, которую создал. Девица Евпраксия была дочь дьячка при церкви Николы в Капельках и представляла во всех отношениях чистейший клад. Она не обладала ни быстротой соображения, ни находчивостью, ни даже расторопностью, но взамен того была работяща, безответна и не предъявляла почти никаких требований. Даже тогда, когда он «приблизил» ее к себе, — и тут она спросила только: можно ли ей, когда захочется, кваску холоденького без спросу испить? — так что сам Иудушка умилился ее бескорыстию и немедленно отдал в ее распоряжение сверх кваса две кадушки моченых яблоков, уволив ее от всякой по этим статьям отчетности. Наружность ее тоже не представляла особенной привлекательности для любителя, но в глазах человека неприхотливого и знающего, что ему нужно, была вполне удовлетворительна. Лицо широкое, белое, лоб узкий, обрамленный желтоватыми негустыми волосами, глаза крупные, тусклые, нос совершенно прямой, рот стертый, подернутый тою загадочною, словно куда-то убегающей улыбкой, какую можно встретить на портретах, писанных доморощенными живописцами. Вообще ничего выдающегося, кроме разве спины, которая была до того широка и могуча, что у человека

самого равнодушного невольно поднималась рука, чтобы, как говорится, «дать девке разá» между лопаток. И она знала это и не обижалась, так что когда Иудушка в первый раз слегка потрепал ее по жирному загривку, то она только лопатками передернула.

Среди этой тусклой обстановки дни проходили за днями, один как другой, без всяких перемен, без всякой надежды на вторжение свежей струи. Только приезд Арины Петровны несколько оживлял эту жизнь, и надо сказать правду, что ежели Порфирий Владимырьч поначалу морщился, завидев вдали маменькину повозку, то с течением времени он не только привык к ее посещениям, но и полюбил их. Они удовлетворяли его страсти к пустословию, ибо ежели он находил возможность пустословить один на один с самим собою, по поводу разнообразных счетов и отчетов, то пустословить с добрым другом маменькой было для него еще поваднее. Собравшись вместе, они с утра до вечера говорили и не могли наговориться. Говорили обо всем: о том, какие прежде бывали урожаи и какие нынче бывают; о том, как прежде живали помещики и как нынче живут; о том, что соль, что ли, прежде лучше была, а только нет нынче прежнего огурца.

Эти разговоры имели то преимущество, что текли, как вода, и без труда забывались; следовательно, их можно было возобновлять без конца с таким же интересом, как будто они только сейчас в первый раз пущены в ход. При этих разговорах присутствовала и Евпраксеюшка, которую Арина Петровна так полюбила, что ни на шаг не отпускала от себя. Иногда, наскучив беседою, все трое садились за карты и засиживались до поздней ночи, играя в дураки. Пробовали учить Евпраксеюшку в вист с болваном, но она не поняла. Громадный головлевский дом словно оживал в такие вечера. Во всех окнах светились огни, мелькали тени, так что проезжий мог думать, что тут и невесть какое веселье затеялось. Самовары, кофейники, закуски целый день не сходили со стола. И сердце Арины Петровны веселилось и играло, и загащивалась она вместо одного дня на три и на четыре. И даже, уезжая в Погорелку, уже заранее придумывала повод, чтоб как-нибудь поскорее вернуться к соблазнам головлевского «хорошего житья».

Ноябрь в исходе, земля на неоглядное пространство покрыта белым саваном. На дворе ночь и метелица; рез-

кий, холодный ветер буровит снег, в одно мгновение наметает сугробы, захлестывает все, что попадет на пути, и всю окрестность наполняет воплем. Село, церковь, ближний лес — все исчезло в снежной мгле, крутящейся в воздухе; старинный головлевский сад могуче гудит. Но в барском доме светло, тепло и уютно. В столовой стоит самовар, вокруг которого собрались: Арина Петровна, Порфирий Владимыч и Евпраксеюшка. В сторонке поставлен ломберный стол, на котором брошены истрепанные карты. Из столовой открытые двери ведут с одной стороны в образную, всю залитую огнем зажженных лампад; с другой — в кабинет барина, в котором тоже теплится лампадка перед образом. В жарко натопленных комнатах душно, пахнет деревянным маслом и чадом самоварного угля. Евпраксея, усевшись против самовара, перемывает чашки и вытирает их полотенцем. Самовар так и заливается; то загудит во всю мочь, то словно засыпать начнет и пронзительно засопит. Клубы пара вырываются из-под крышки и окутывают туманом чайник, уж с четверть часа стоящий на конфорке. Сидящие беседуют.

— А ну-ко, сколько ты раз сегодня дурой осталась? — спрашивает Арина Петровна Евпраксеюшку.

— Не осталась бы, кабы сама не поддалась. Вам же удовольствии сделать хочу, — отвечает Евпраксеюшка.

— Сказывай. Видела я, какое ты удовольствие чувствовала, как я давеча под тебя тройками да пятерками подваливала. Я ведь не Порфирий Владимыч: тот тебя балует, все с одной да с одной ходит, а мне, матушка, не из чего.

— Да еще бы, вы плутовали!

— Вот уж этого греха за мной не водится!

— А кого я давеча поймала? кто семерку треф с восьмеркой червей за пару спустить хотел? Уж это я сама видала, сама уличила!

Говоря это, Евпраксеюшка встает, чтоб снять с самовара чайник, и поворачивается к Арине Петровне спиной.

— Эх у тебя спина какая... Бог с ней! — невольно вырывается у Арины Петровны.

— Да, у нее спина... — машинально отзывается Иудушка.

— Spина да spина... бесстыдники! И что моя spина вам сделала!

Евпраксеюшка смотрит направо и налево и улыбается. Spина — это ее конек. Давеча даже старик Савельич, повар, и тот загляделся и сказал: «Ишь ты spина! ровно

плита!» И она не пожаловалась на него Порфирию Владимирычу.

Чашки поочередно наливаются чаем, и самовар начинает утихать. А метель разыгрывается пуще и пуще; то целым снежным ливнем ударит в стекла окон, то каким-то невыразимым плачем прокатится вдоль печного борова.

— Метель-то, видно, взаправду взялась, — замечает Арина Петровна, — визжит да повизгивает!

— Ну и пушай повизгивает. Она повизгивает, а мы здесь чаек попиваем — так-то, друг мой маменька! — отзывается Порфирий Владимирыч.

— Ах, нехорошо теперь в поле, коли кого такая милость божья застанет!

— Кому нехорошо, а нам горяшка мало. Кому темненько да холодненько, а нам и светлехонько и теплехонько. Сидим да чаек попиваем. И с сахарцем, и со сливочками, и с лимонцем. А захотим с ромцём — и с ромцём будем пить.

— Да, коли ежели теперича...

— Позвольте, маменька. Я говорю: теперича в поле очень нехорошо. Ни дороги, ни тропочки — все замело. Опять же волки. А у нас здесь и светленько, и уютненько, и ничего мы не боимся. Сидим мы здесь да посиживаем, ладком да мирком. В карточки захотелось поиграть — в карточки поиграем; чайку захотелось попить — чайку попьем. Сверх нужды пить не станем, а сколько нужно, столько и выпьем. А отчего это так? Оттого, милый друг маменька, что милость божья не оставляет нас. Кабы не он, царь небесный, может, и мы бы теперь в поле плутали и было бы нам и темненько и холодненько... В зипунишечке каком-нибудь, кушачок плохонькой, лаптишечки...

— Чтой-то уж и лаптишечки! Чай, тоже в дворянском званье родились? какие ни есть, а все-таки сапожнйшки носим!

— А знаете ли вы, маменька, отчего мы в дворянском званье родились? А все оттого, что милость божья к нам была. Кабы не она, и мы сидели бы теперь в избушечке, да горела бы у нас не свечечка, а лучинушка, а уж насчет чайку да кофейку — об этом и думать бы не смели! Сидели бы; я бы лаптишечки ковырял, вы бы щец там каких-нибудь пустеньких поужинать собирали, Евпраксеюшка бы краснó ткала... А может быть, на беду, десятский еще с подводой бы выгнал...

— Ну, и десятский в этакую пору с подводой не нарядит!

— Как знать, милый друг маменька! А вдруг полки́ идут! Может быть, война или возмущение — чтоб были полки́ в срок на местах! Вот намеднись становой сказывал мне, Наполеон Третий помер — наверное, теперь французы куролесить начнут! Натурально, наши сейчас вперед — ну и давай, мужичок, подводку! Да в стыть, да в метель, да в бездорожицу — ни на что не посмотрят: поезжай, мужичок, коли начальство велит! А нас с вами покамест еще поберегут, с подводой не выгонят!

— Это что и говорить! велика для нас милость божия!

— А я что же говорю? Бог, маменька, — все. Он нам и дровец для тепла, и провизийцы для пропитанья — все он. Мы-то думаем, что всё сами, на свои деньги приобретаем, а как посмотрим, да поглядим, да сообразим — ан все Бог. А коли он не захочет, ничего у нас не будет. Я вот теперь хотел бы апельсинчиков, и сам бы поел, и милого дружка маменьку угостил бы, и всем бы по апельсинчику дал, и деньги у меня есть, чтоб апельсинчиков купить, взял бы вынул — давай! Ан Бог говорит: тпру! вот я и сижу: филозо́в без огурцов.

Все смеются.

— Рассказывайте! — отзывается Евпраксеюшка. — Вот у меня дяденька понáмарем у Успенья в Песочном был; уж как, кажется, был к Богу усерден — мог бы Бог что-нибудь для него сделать! — а как застигла его в поле метелица — все равно замерз.

— И я про то же говорю. Коли захочет Бог — замерзнет человек, не захочет — жив останется. Опять и про молитву надо сказать: есть молитва угодная и есть молитва неугодная. Угодная достигает, а неугодная — все равно что она есть, что ее нет. Может, дяденькина-то молитва неугодная была — вот она и не достигла.

— Помнится, я в двадцать четвертом году в Москву ездила — еще в ту пору я Павлом была тяжела, — так ехала я в декабре месяце в Москву...

— Позвольте, маменька. Вот я об молитве кончу. Человек обо всем молится, потому что ему всего нужно. И маслица нужно, и капустки нужно, и огурчиков — ну, словом, всего. Иногда даже чего и не нужно, а он все, по слабости человеческой, просит. Ан Богу-то сверху виднее. Ты у него маслица просишь, а он тебе капустки либо лучку даст; ты об вёдрышке да об тепленькой погодке хлопочешь, а он тебе дождичка да с градцем пошлет. И должен ты это понимать и не роптать. Вот мы в прошлом сентябре все морозцев у Бога просили, чтоб озими

у нас не подопрели, а н Бог морозцу не дал — ну, и сопрели наши озими.

— Еще как сопрели-то! — соболезнует Арина Петровна. — В Новинках у мужичков все озимое поле хоть брось. Придетса весной перепахивать да яровым засевать.

— То-то вот и есть. Мы здесь мудрствуем да лукавим, и так прикинем, и этак примерим, а Бог разом, в один момент, все наши планы-соображения в прах обратит. Вы, маменька, что-то хотели рассказать, что с вами в двадцать четвертом году было?

— Что такое! ништо уж я позабыла! Должно быть, все об ней же, об милости божьей. Не помню, мой друг, не помню.

— Ну, бог даст, в другое время вспомните. А покуда там на дворе крутит да мутит, вы бы, милый друг, вареньица покушали. Это вишенки, головлевские! Евпраксеюшка сама варила.

— И то ем. Вишенки-то мне, признаться, теперь в редкость. Прежде, бывало, частенько-таки лакомливалась ими, ну а теперь... Хороши у тебя в Головлеве вишни, сочные, крупные; вот в Дубровине, как ни старались разводить, — всё несладки выходят. Да ты, Евпраксеюшка, французской-то водки клала в варенье?

— Как не класть! как выучили, так и делала. Да вот я об чем хотела спросить: вы, как огурцы солите, кладете кардамону?

Арина Петровна на некоторое время задумывается и даже руками разводит.

— Не помню, мой друг; кажется, прежде и кардамону клала. Теперь — не кладу: теперь какое мое соленье! а прежде клала... даже очень хорошо помню, что клала! Да вот домой приеду, в рецептах пороюсь, не найду ли. Я ведь, как в силах была, все примечала да записывала. Где что понравится, я сей час все выпрошу, запишу на бумажку да дома и пробую. Я один раз такой секрет, такой секрет достала, что тысячу рублей давали — не открывает тот человек, да и дело с концом! А я ключнице четверточок сунула — она мне все до капли пересказала!

— Да, маменька, в свое время вы были... министр!

— Министр не министр, а могу Бога благодарить: не растранжирила, а присовокупила. Вот и теперь поедаю от трудов своих праведных: вишни-то в Головлеве ведь я развела!

— И спасибо вам за это, маменька, большое спасибо! Вечное спасибо и за себя и за потомков — вот как!

Иудушка встает, подходит к маменьке и целует у ней ручку.

— И тебе спасибо, что мать покоишь! Да, хороши у тебя запасы, очень хороши.

— Что у нас за запасы! вот у вас бывали запасы, так это так. Сколько одних погребов было, и нигде ни одного местечка пустого!

— Бывали и у меня запасы — не хочу солгать, никогда не была бездомовницей. А что касается до того, что погребов было много, так ведь тогда и колесо большое было, ртов-то вдесятеро против нынешнего было. Одной дворни сколько — всякому припаси да всякого накорми. Тому огурчика, тому кваску — понемножку да помаленьку — ан, смотришь, и многонько всего изойдет.

— Да, хорошее было время. Всего тогда много было. И хлеба и фруктов — всего в избытии!

— Навозу копили больше — оттого и родилось.

— Нет, маменька, и не от этого. А было божье благословение — вот от чего. Я помню, однажды папенька из сада яблоко апорт принес, так все даже удивились: на тарелке нельзя было уместить.

— Этого не помню. Вообще знаю, что были яблоки хорошие, а чтобы такие были, в тарелку величиной, — этого не помню. Вот караса в двадцать фунтов в дубровинском пруде в ту коронацию изловили — это точно, что было.

— И караси и фрукты — все тогда крупное было. Я помню, арбузы Иван-садовник выводил — вот какие!

Иудушка сначала оттопыривает руки, потом скругляет их, причем делает вид, что никак не может обхватить.

— Бывали и арбузы. Арбузы, скажу тебе, друг мой, к году бывают. Иной год их и много и они хороши, другой год и немного и невкусные, а в третий год и совсем ничего нет. Ну, и то еще надо сказать: что где поведется. Вон у Григорья Александрыча, в Хлебникове, ничего не родилось — ни ягод, ни фруктов, ничего. Одни дыни. Только уж и дыни бывали!

— Стало быть, ему на дыни милость божья была!

— Да, уж конечно. Без божьей милости нигде не обойдешься, никуда от нее не убежишь!

Арина Петровна уж выпила две чашки и начинает поглядывать на ломберный стол. Евпраксеюшка тоже так и горит нетерпением сразиться в дураки. Но планы эти расстраиваются по милости самой Арины Петровны, потому что она внезапно что-то припоминает.

— А ведь у меня новость есть, — объявляет она, — письмо вчера от сироток получила.

— Молчали-молчали, да и откликнулись. Видно, туго пришлось, денег просят?

— Нет, не просят. Вот полюбуйся.

Арина Петровна достает из кармана письмо и отдает Иудушке, который читает:

«Вы, бабушка, больше нам ни индюшек, ни кур не посылайте. Денег тоже не посылайте, а копите на проценты. Мы не в Москве, а в Харькове, поступили на сцену в театр, а летом по ярмаркам будем ездить. Я, Аннинька, в «Периколе» дебютировала, а Любинька в «Анютиных глазках». Меня несколько раз вызывали, особенно после сцены, где Перикола выходит навеселе и поет: *я гото-о-ва, готова, готооова!* Любинька тоже очень понравилась. Жалованья мне директор положил по сту рублей в месяц и бенефис в Харькове, а Любиньке по семидесяти пяти в месяц и бенефис летом, на ярмарке. Кроме того, подарки бывают от офицеров и от адвокатов. Только адвокаты иногда фальшивые деньги дают, так нужно быть осторожной. И вы, милая бабушка, всем в Погорелке пользуйтесь, а мы туда никогда не приедем и даже не понимаем, как там можно жить. Вчера первый снег выпал, и мы с здешними адвокатами на тройках ездили; один на Плеваку похож — чудо как хорош! Поставил на голову стакан с шампанским и плясал трепака — прелесть как весело! Другой не очень собой хорош, вроде петербургского Языкова. Представьте, расстроил себе воображение чтением «Собрания лучших русских песен и романсов» и до того ослаб, что даже в суде падает в обморок. И так почти каждый день проводим то с офицерами, то с адвокатами. Катаемся, в лучших ресторанах обедаем, ужинаем и ничего не платим. А вы, бабушка, ничего в Погорелке не жалейте, и что там растет: хлеб, цыплят, грибы — все кушайте. Мы бы и капитал с удово...

Прощайте, приехали наши кавалеры — опять на тройках кататься зовут. Милка! божественная! прощайте!

Аннинька.

И я тоже — Любинька».

— Тьфу! — отплеивается Иудушка, возвращая письмо. Арина Петровна сидит задумавшись и некоторое время не отвечает.

— Вы им, маменька, ничего еще не отвечали?

— Нет еще, и письмо-то вчера только получила, с тем

и поехала к вам, чтобы показать, да вот за тем да за сем чуть было не позабыла.

— Не отвечайте. Лучше.

— Как же я не отвечу? Ведь я им отчетом обязана. Погорелка-то ихняя.

Иудушка тоже задумывается: какой-то зловещий план мелькает в его голове.

— А я все об том думаю, как они себя соблюдут в вертепе-то этом? — продолжает между тем Арина Петровна. — Ведь это такое дело, что тут только раз оступись — потом уж чести-то девичьей и не воротишь! Ищи ее потом да свищи!

— Очень она им нужна! — огрызается Иудушка.

— Как бы то ни было... Для девушки — это даже, можно сказать, первое в жизни сокровище... Кто потом эдакую-то за себя возьмет?

— Нынче, маменька, и без мужа все равно что с мужем живут. Нынче над предписаниями-то религии смеются. Дошли до куста, под кустом обвенчались — и дело в шляпе. Это у них гражданским браком называется.

Иудушка вдруг спохватывается, что ведь и он находится в блудном сожителстве с девицей духовного звания.

— Конечно, иногда, по нужде... — поправляется он, — коли ежели человек в силах и притом вдовый... по нужде и закону перемена бывает!

— Что говорить! В нужде и кулик соловьем свищет. И святые в нужде согрешали, не то что мы, грешные!

— Так вот оно и есть. На вашем месте, знаете ли, что бы я сделал?

— Посоветуй, мой друг, скажи.

— Я бы от них полную уверенность на Погорелку вытребовал.

Арина Петровна пугливо взглядывает на него.

— Да у меня и то полная уверенность на управление есть, — произносит она.

— Не на одно управление. А так, чтобы и продать, и заложить, и, словом, чтоб всем можно было по своему усмотрению распорядиться...

Арина Петровна опускает глаза в землю и молчит.

— Конечно, это такой предмет, что надо его обдумать. Подумайте-ка, маменька! — настаивает Иудушка.

Но Арина Петровна продолжает молчать. Хотя вследствие старости сообразительность у нее значительно при-тупела, но ей все-таки как-то не по себе от инсинуаций Иудушки. И боится-то она Иудушки: жаль ей тепла, и

простора, и избытка, которые царствуют в Головлеве, и в то же время сдается, что недаром он об доверенности заговорил, что это он опять новую петлю накидывает. Положение ее делается настолько натянутым, что она начинает уже внутренне бранить себя, зачем ее дернуло показывать письмо. К счастью, Евпраксеюшка является на выручку.

— Что ж! будем, что ли, в карты-то играть? — спрашивает она.

— Давай! давай! — спешит ответить Арина Петровна и живо выскакивает из-за чая. Но по дороге к ломберному столу ее посещает новая мысль.

— А ты знаешь ли, какой сегодня день? — обращается она к Порфирию Владимировичу.

— Двадцать третье ноября, маменька, — с недоумением отвечает Иудушка.

— Двадцать третье-то двадцать третье, да помнишь ли ты, что двадцать третьего-то ноября случилось? Про панихидку-то небось позабыл?

Порфирий Владимирович бледнеет и крестится.

— Ах, господи! вот так беда! — восклицает он. — Да так ли? точно ли? позвольте-ка, я в календаре посмотрю.

Через несколько минут он приносит календарь и отыскивает в нем вкладной лист, на котором написано:

«23 ноября. Память кончины милого сына Владимира. Покойся, милый прах, до радостного утра!

и моли Бога за твоего Папу, который в сей день будет неуклонно творить по тебе поминовения и с литургиею».

— Вот тебе и на! — произносит Порфирий Владимирович. — Ах, Володя, Володя! недобрый ты сын! дурной! Видно, не молишься Богу за папу, что он даже память у него отнял! как же быть-то с этим, маменька?

— Не бог знает что случилось — и завтра панихидку отслужишь. И панихидку и обеденку — все справим. Все я, старая да беспамятная, виновата. С тем и ехала, чтобы напомнить, да все дорогой и растеряла.

— Ах, грех какой! Хорошо еще, что лампадки в образной зажжены. Точно ведь свыше что меня озарило. Ни праздник у нас сегодня, ни что — просто с введеньева дня лампадки зажжены, — только подходит ко мне давеча Евпраксеюшка, спрашивает: «Лампадки-то боковые тушить, что ли?» А я, точно вот толкнуло меня, подумал эдак с минуту и говорю: «Не тронь! Христос с ними, пускай погорят!» Ан вот оно что!

— И то хорошо, хоть лампадки погорели! И то для

души облегчение! Ты где садишься-то? опять, что ли, под меня ходить будешь или крале своей станешь мирволить?

— Да уж я и не знаю, маменька, мне можно ли...

— Чего не можно! Садись! Бог простит! не нарочно ведь, не с намерением, а от забвения. Это и с праведниками случалось! Завтра вот чем свет встанем, обеденку отстоим, панихидочку отслужим — все как следует сделаем. И его душа будет радоваться, что родители да добрые люди об нем вспомнили, и мы будем покойны, что свой долг выполнили. Так-то, мой друг. А горевать не след — это я всегда скажу: первое, гореваньем сына не воротишь, а второе — грех перед Богом!

Иудушка урезонивается этими словами и целует у маменьки руку, говоря:

— Ах, маменька, маменька! золотая у вас душа — право! Кабы не вы — ну что бы я в эту минуту делал! Ну просто пропал бы! Как есть растерялся бы, пропал!

Порфирий Владимырьч делает распоряжение насчет завтрашней церемонии, и все садятся за карты. Сдают раз, сдают другой, Арина Петровна горячится и негодует на Иудушку за то, что он ходит под Евпраксеюшку все с одной. В промежутках сдач Иудушка предается воспоминаниям о погибшем сыне.

— А какой ласковый был! — говорит он. — Ничего, бывало, без позволения не возьмет. Бумажки нужно — «Можно, папа, бумажки взять?» — «Возьми, мой друг!» Или: «Не будете ли, папа, такой добренький, сегодня карасиков в сметане к завтраку заказать?» — «Изволь, мой друг!» Ах, Володя! Володя! Всем ты был пайка, только тем не пайка, что папку оставил!

Проходит еще несколько туров; опять воспоминания:

— И что такое с ним вдруг случилось — и сам не понимаю! Жил хорошохонько да смирнехонько, жил да поживал, меня радовал — чего бы, кажется, лучше! вдруг — бац! Ведь грех-то, представьте, какой! подумайте только об этом, маменька, на что человек посягнул! на жизнь свою, на дар отца небесного! Из-за чего? зачем? чего ему недоставало? Денег, что ли? Жалованья я, кажется, никогда не задерживаю; даже враги мои и те про меня этого не скажут. Ну, а ежели маловато показалось — так не прогневайся, друг! У папы денежки тоже вот где сидят! Коли мало денег — умеи себя сдерживать. Не все сладенького, не все с сахарцом, часком и с кваском покушай! Так-то, брат! Вот папа твой, и надеялся он давеча денежек получить, ан приказчик пришел: терпенковские

крестьяне оброка не платят! Ну, нечего делать, написал к мировому прошение! Ах, Володя, Володя! Нет, не пайка ты, бросил папку! Сиротой оставил!

И чем живее идет игра, тем обильнее и чувствительнее делаются воспоминания.

— И какой умный был! Помню я такой случай. Лежал он в кори — лет не больше семи ему было, — только подходит к нему покойница Саша, а он ей и говорит: «Мама! мама! ведь правда, что крылышки только у ангелов бывают?» Ну, та и говорит: «Да, только у ангелов». — «Отчего же, говорит, у папы, как он сюда сейчас входил, крылышки были?»

Наконец разыгрывается какая-то гомерическая игра. Иудушка остается дураком с целыми восемью картами на руках, в числе которых козырные туз, король и дама. Поднимается хохот, подтрунивание, и всему этому благосклонно вторит сам Иудушка. Но среди общего разгара веселости Арина Петровна вдруг стихает и прислушивается.

— Стойте! не шумите! кто-то едет! — говорит она. Иудушка с Евпраксеюшкой тоже прислушиваются, но без результата.

— Говорю вам: едут! Она... чу! ветром сюда вдруг подуло... Чу! едет! и даже близко!

Вновь начинают вслушиваться и действительно слышат какое-то далекое позвякивание, то доносимое, то относимое ветром. Проходит минут пять, и колокольчик слышится уже явственно, а вслед за ним и голоса на дворе.

— Молодой барин! Петр Порфирьич приехали! — доносится из передней.

Иудушка встал и застыл на месте, бледный как полотно.

Петенька вошел как-то вяло, поцеловал у отца руку, потом соблюл тот же церемониал относительно бабушки, поклонился Евпраксеюшке и сел. Это был малый лет двадцати пяти, довольно красивой наружности, в дорожной офицерской форме. Вот все, что можно сказать про него, да и сам Иудушка едва ли знал что-нибудь больше. Взаимные отношения отца и сына были таковы, что их нельзя было даже назвать натянутыми: совсем как бы ничего не существовало. Иудушка знал, что есть человек, значащийся по документам его сыном, которому он обязан в известные сроки посылать условленное, то есть им же самим определенное, жалованье и от которого взамен того он имеет право требовать почтения и повиновения.

Петенька, с своей стороны, знал, что есть у него отец, который может его во всякое время притеснить. Он довольно охотно ездил в Головлево, особенно с тех пор как вышел в офицеры, но не потому, чтобы находил удовольствие беседовать с отцом, а просто потому, что всякого человека, не отдавшего себе никакого отчета в жизненных целях, как-то инстинктивно тянет в *свое место*. Но теперь он, очевидно, приехал по нужде, по принуждению, вследствие чего он не выразил даже ни одного из тех знаков радостного недоумения, которыми обыкновенно ознаменовывает всякий блудный дворянский сын свой приезд в родное место.

Петенька был неразговорчив. На все восклицания отца: «Вот так сюрприз! ну, брат, одолжил! а я-то сию да думаю: кого это, прости господи, по ночам носит? — а вот он кто!» и т. д. — он отвечал или молчанием, или принужденною улыбкою. А на вопрос: «И как это тебе вдруг вздумалось?» — ответил даже грубо: так вот, вздумалось и приехал.

— Ну, спасибо тебе! спасибо! вспомнил про отца! обрадовал! Чай, и про бабушку-старушку вспомнил?

— И про бабушку вспомнил.

— Стой! да тебе, может быть, вспомнилось, что сегодня годовщина по брате Володеньке?

— Да, и про это вспомнилось.

В таком тоне разговор длился с полчаса, так что нельзя было понять, взаправду ли отвечает Петенька или только отделявается. Поэтому, как ни вынослив был Иудушка относительно равнодушия своих детей, однако и он не выдержал и заметил:

— Да, брат, неласков ты! нельзя сказать, чтоб ты ласковый сын был!

Смолчи на этот раз Петенька, прими папенькино замечание с кротостью, а еще лучше, поцелуй у папеньки ручку и скажи ему: «Извините меня, добренький папенька! я ведь с дороги устал!» — и все бы обошлось благополучно. Но Петенька поступил совсем как неблагодарный.

— Какой есть! — ответил он так грубо, словно хотел сказать: да отвяжись ты от меня, сделай милость!

Тогда Порфирию Владимирычу сделалось так больно, так больно, что и он уж не нашел возможным молчать.

— Кажется, как я об вас заботился! — сказал он с горечью. — Даже и здесь сидишь, а все думаешь: как бы получше, как покладнее, да чтобы всем было хорошо-

хонько да уютненько, без нужды да без горюшка. А вы всё от меня прочь да прочь!

— Кто же... вы?

— Ну, ты... да, впрочем, и покойник, царство ему небесное, был такой же...

— Что ж! я вам очень благодарен!

— Никакой я от вас благодарности не вижу! Ни благодарности, ни ласки — ничего!

— Характер неласковый — вот и все. Да вы что все во множественном говорите? один уж умер...

— Да, умер, Бог наказал. Бог непокорных детей наказывает. И все-таки я его помню. Он непокорен был, а я его помню. Вот завтра обеденку отстоим и панихидку отслужим. Он меня обидел, а я все-таки свой долг помню. Господи ты боже мой! да что ж это нынче делается! Сын к отцу приехал и с первого же слова уже фыркает? Так ли мы, в наше время, поступали! Бывало, едешь в Головлево-то, да за тридцать верст все твердишь: помяни, Господи, царя Давыда и всю кротость его! Да вот маменька живой человек — она скажет! А нынче... не понимаю! не понимаю!

— И я не понимаю. Приехал я смирно, поздоровался с вами, ручку поцеловал, теперь сижу, вас не трогаю, пью чай, а коли дадите ужинать — и поужинаю. С чего всю эту историю подняли?

Арина Петровна сидит в своем кресле и вслушивается. И сдастся ей, что она все ту же знакомую повесть слышит, которая давно, и не запомнит она когда, началась. Закрылась было совсем эта повесть, да вот и опять нет-нет возьмет да и раскроется на той же странице. Тем не менее она понимает, что подобная встреча между отцом и сыном не обещает ничего хорошего, и потому считает долгом вмешаться в распрю и сказать примирительное слово.

— Ну, ну, петухи индейские! — говорит она, стараясь придать своему поучению шуточный тон. — Только что свиделись, а уж и разодрались! Так и наускаивают друг на дружку, так и наускаивают! Смотри, сейчас перья полетят! Ах-ах-ах! горе какое! А вы, молодцы, смиреннько посидите да ладком между собой поговорите, а я, старуха, послушаю да полюбуюсь на вас! Ты, Петенька, — уступи! Отцу, мой друг, всегда нужно уступить, потому что он — отец! Ежели иной раз и горьконько что от отца покажется, а ты прими с готовностью, да с покорностью, да с почтением, потому что ты — сын! Может, из горького-то да вдруг сладкое делается, — вот ты и в выигрыше! А ты,

Порфирий Владимирыч, — снизойди! Он — сын, человек молодой, неженный. Он семьдесят пять верст по ухабам да по сугробам проехал: и устал, и иззяб, и уснуть ему хочется! Вот чай-то уж и кончили, вели-ка подавать ужинать, да и на покой! Так-то, други мои! Разбредемся все по своим местам, помолимся, ан сердце-то у нас и пройдет. И все, какие у нас дурные мысли были, — все сном Бог прогонит! А завтра ранехонько встанем да об покойнике помолимся. Обеденку отстоим, панихидку отслушаем, а потом, как воротимся домой, и побеседуем. И всякий, отдохнувши, свое дело по порядку, как следует расскажет. Ты, Петенька, про Петербург, а ты, Порфирий, — про деревенское свое житье. А теперь поужинаем — и с богом, на боковую!

Это увещание оказывает свое действие не потому, чтобы оно заключало что-нибудь действительно убедительное, а потому, что Иудушка и сам видит, что он зарапортовался, что лучше как-нибудь миром покончить день. Поэтому он встает с своего места, целует у маменьки ручку, благодарит «за науку» и приказывает подавать ужинать. Ужин проходит сурово и молчаливо.

Столовая опустела, все разошлись по своим комнатам. Дом мало-помалу стихает, и мертвая тишина ползет из комнаты в комнату и, наконец, доползает до последнего убежища, в котором дольше прочих закоулков упорствовала обрядовая жизнь, то есть до кабинета головлевского барина. Иудушка, наконец, покончил с поклонами, которые он долго-долго отсчитывал перед образами, и тоже улегся в постель.

Лежит Порфирий Владимирыч в постели, но не может сомкнуть глаз. Чует он, что приезд сына предвещает что-то не совсем обыкновенное, и уже заранее в голове его зарождаются всевозможные пустословные поучения. Поучения эти имеют то достоинство, что они ко всякому случаю пригодны и даже не представляют собой последовательного сцепления мыслей. Ни грамматической, ни синтаксической формы для них тоже не требуется: они накапливаются в голове в виде отрывочных афоризмов и появляются на свет божий по мере того, как наползают на язык. Тем не менее, как только случится в жизни какой-нибудь казус, выходящий из ряда обыкновенных, так в голове поднимается такая суматоха от наплыва афоризмов, что даже сон не может умиротворить ее.

Не спится Иудушке: целые массы пустяков обступили его изголовье и давят его. Собственно говоря, загадочный

приезд Петеньки не особенно волнует его, ибо, что бы ни случилось, Иудушка уже *ко всему* готов заранее. Он знает, что *ничто* не застанет его врасплох и *ничто* не заставит сделать какое-нибудь отступление от той сети пустых и насквозь прогнивших афоризмов, в которую он закутался с головы до ног. Для него не существует ни горя, ни радости, ни ненависти, ни любви. Весь мир, в его глазах, есть гроб, могущий служить лишь поводом для бесконечного пустословия. Уж на что было больше горя, когда Володя покончил с собой, а он и тут устоял. Это была очень грустная история, продолжавшаяся целых два года. Целых два года Володя перемогался; сначала выказывал гордость и решимость не нуждаться в помощи отца; потом ослаб, стал молить, доказывать, грозить. И всегда встречал в ответ готовый афоризм, который представлял собой камень, подавший голодному человеку. Сознавал ли Иудушка, что это камень, а не хлеб, или не сознавал — это вопрос спорный; но, во всяком случае, у него ничего другого не было, и он подавал свой камень как единственное, что он мог дать. Когда Володя застрелился, он отслужил по нем панихиду, записал в календаре день его смерти и обещал и на будущее время каждого 23 ноября служить панихиду «и с литургиею». Но когда, по временам, даже и в нем поднимался какой-то тусклый голос, который бормотал, что все-таки разрешение семейного спора самоубийством — вещь по малой мере подозрительная, тогда он выводил на сцену целую свиту готовых афоризмов, вроде «Бог непокорных детей наказывает», «гордым Бог противится» и проч. — и успокоивался.

Вот и теперь. Нет сомнения, что с Петенькой случилось что-то недоброе, но, что бы ни случилось, он, Порфирий Головлев, должен быть выше этих случайностей. Сам запутался — сам и распутывайся; умел кашу заварить — умей ее и расхлебывать; любишь кататься — люби и саночки возить. Именно так; именно это самое он и скажет завтра, об чем бы ни сообщил ему сын. А что, ежели и Петенька, подобно Володе, откажется принять камень вместо хлеба? Что, ежели и он... Иудушка отплевывается от этой мысли и приписывает ее наваждению лукавого. Он переворачивается с боку на бок, усиливается уснуть и не может. Только что начнет заводить его сон — вдруг: и рад бы до неба достать, да руки коротки! или: по одежке протягивай ножки... вот я... вот ты... прятки вы очень, а знаешь пословицу: поспешность потребна только блох ловить? Обступили кругом пустяки, ползут, лезут, дают. И не спит

Иудушка под бременем пустословия, которым он надеется завтра утолить себе душу.

Не спится и Петеньке, хотя дорога порядком-таки изломала его. Есть у него дело, которое может разрешиться только здесь, в Головлеве, но такое это дело, что и невесть как за него взяться. По правде говоря, Петенька отлично понимает, что дело его безнадежное, что поездка в Головлево принесет только лишние неприятности, но в том-то и штука, что есть в человеке какой-то темный инстинкт самосохранения, который пересиливает всякую сознательность и который так и подталкивает: испробуй все до последнего! Вот он и приехал, да вместо того чтоб закалить себя и быть готовым перенести все, чуть было с первого шагу не разругался с отцом. Что-то будет из этой поездки? совершится ли чудо, которое должно превратить камень в хлеб, или не совершится?

Не прямее ли было бы взять револьвер и приставить его к виску: господа! я не достоин носить ваш мундир! я растратил казенные деньги! и потому сам себе произношу справедливый и строгий суд! Бац — и все кончено! Исключается из списков умерший: поручик Головлев! Да, это было бы решительно и... красиво. Товарищи сказали бы: ты был несчастен, ты увлекался, но... ты был благородный человек! Но он, вместо того чтобы сразу поступить таким образом, довел дело до того, что поступок его стал всем известен, — и вот его отпустили на определенный срок, с тем чтобы в течение его растрата была непременно пополнена. А потом — вон из полка. И для достижения этой-то цели, в конце которой стоял позорный исход только что начатой карьеры, он поехал в Головлево, поехал с полной уверенностью получить камень вместо хлеба!

А может быть, что-нибудь и будет?! Ведь случается же... Вдруг нынешнее Головлево исчезнет и на месте его очутится новое Головлево, с новой обстановкой, в которой он... Не то чтобы отец... умрет — зачем? — а так... вообще, будет новая «обстановка»... А может быть, и бабушка — ведь у ней деньги есть! Узнает, что беда впереди, — и вдруг даст! «На, скажет, поезжай скорее, куда срок не прошел!» И вот он едет, торопит ямщиков, насилу поспекает на станцию — и является в полк как раз за два часа до срока! «Молодец Головлев! — говорят товарищи. — Руку, благородный молодой человек! и пусть отныне все будет забыто!» И он не только остается в полку по-прежнему, но производится сначала в штабс-капитаны, потом в капи-

таны, делается полковым адъютантом (казначеем он уж был), и, наконец, в день полкового юбилея...

Ах! поскорее бы эта ночь прошла! Завтра... ну, завтра пусть будет что будет! Но что он должен будет завтра выслушать... ах, чего только он не выслушает! Завтра... но для чего же завтра? ведь есть и еще целый день впереди... Ведь он выговорил себе два дня, собственно, для того, чтоб иметь время убедить, растрогать... Черта с два! убедить тут, растрогаешь! Нет уж...

Тут мысли его окончательно путаются и постепенно, одна за другой, утопают в сонной мгле. Через четверть часа головлевская усадьба всецело погружается в тяжкий сон.

На другой день рано утром весь дом уже на ногах. Все поехали в церковь, кроме, впрочем, Петеньки, который остался дома под предлогом, что устал с дороги. Наконец отслушали обедню и панихиду и воротились домой. Петенька, по обыкновению, подошел к руке отца, но Иудушка подал руку боком, и все заметили, что он даже не перекрестил сына. Напились чаю, поели поминальной кутьи; Иудушка ходил мрачный, шаркал ногами, избегал разговоров, вздыхал, беспрестанно складывал руки, в знак умной молитвы, и совсем не глядел на сына. С своей стороны, и Петенька ежился и молча курил папироску за папироской. Вчерашнее натянутое положение не только не улучшилось за ночь, но приняло такие резкие тоны, что Арина Петровна серьезно обеспокоилась и решила разведать у Евпраксеюшки, не случилось ли чего-нибудь.

— Что такое сделалось? — спросила она, — что они с утра, словно вóроги, друг на друга смотрят?

— А я почем знаю? разве я в ихние дела вхожу! — отгрызнулась Евпраксея.

— Уж не ты ли? Может, и внучек к тебе пристаёт?

— Чего ко мне приставать! Просто давеча подкараулил меня в коридоре, а Порфирий Владимирыч и увидели!

— Н-да, так вот оно что!

И действительно, несмотря на крайность своего положения, Петенька отнюдь не оставил присущего ему легкомыслия. И он тоже загляделся на могучую спину Евпраксеюшки и решил ей высказать это. С этою, собственно, целью он и в церковь не поехал, надеясь, что и Евпраксея в качестве экономки останется дома. И вот, когда в доме все стихло, он накинул на плечи шинель и притаился в коридоре. Прошла минута, другая, хлопнула дверь, ведущая из сеней в девичью, и в конце коридора показалась

Евпраксея, держа в руках поднос, на котором лежал теплый сдобный крендель к чаю. Но не успел еще Петенька вытянуть ее хорошенько между лопатками, не успел произнести: «Вот это так спина!» — как дверь из столовой отворилась, и в ней показался отец.

— Ежели ты сюда пакостничать, мерзавец, приехал, так я тебя с лестницы велю сбросить! — произнес Иудушка каким-то бесконечно злым голосом.

Разумеется, Петенька в один момент стушевался.

Он не мог, однако ж, не понять, что утреннее происшествие было не из таких, чтобы благоприятно подействовать на его фонды. Поэтому он решился молчать и отложить объяснение до завтра. Но в то же время он не только ничего не делал, чтоб унять раздражение отца, но, напротив того, вел себя самым неосмотрительным и дурацким образом. Не переставая курил папироски, не обращая никакого внимания на то, что отец усиленно отмахивался от облаков дыма, которыми он наполнил комнату. Затем поминутно кидал умильно-дурацкие взоры на Евпраксеюшку, которая под влиянием их как-то вкось улыбалась, что тоже замечал Иудушка.

День потянулся вяло. Попробовала было Арина Петровна в дураки с Евпраксеюшкой сыграть, но ничего из этого не вышло. Не игралось, не говорилось, даже пустяки как-то не шли на ум, хотя у всех были в запасе целые непочатые углы этого добра. Насилу пришел обед, но и за обедом все молчали. После обеда Арина Петровна собралась было в Погорелку, но Иудушку даже испугало это намерение доброго друга маменьки.

— Христос с вами, голубушка! — воскликнул он. — Что ж, одного, что ли, вы меня оставить хотите, с глазу на глаз с этим... дурным сыном? Нет, нет! и не думайте! не пушу!

— Да что такое? случилось, что ли, что-нибудь промежу вас! сказывай! — спросила она его.

— Нет, покамест еще ничего не случилось, но вы увидите... Нет, вы уж не оставьте меня! пусть уж при вас... Это недаром! недаром он прикатил... Так если что случится — уж вы будьте свидетельницей!

Арина Петровна покачала головой и решилась остаться.

После обеда Порфирий Владимырьч удалился спать, услав предварительно Евпраксеюшку на село к попу; Арина Петровна, отложив отъезд в Погорелку, тоже ушла в свою комнату и, усевшись в кресло, дремала. Петенька

счел это время самым благоприятным, чтоб попытать счастья у бабушки, и отправился к ней.

— Что ты? в дурачки, что ли, с старухой поиграть пришел? — встретила его Арина Петровна.

— Нет, бабушка, я к вам за делом.

— Ну, рассказывай, говори.

Петенька с минуту помялся на месте и вдруг брякнул:

— Я, бабушка, казенные деньги проиграл.

У Арины Петровны даже в глазах потемнело от неожиданности.

— И много? — спросила она перепуганным голосом, глядя на него остановившимися глазами.

— Три тысячи.

Последовала минута молчания; Арина Петровна беспокойно смотрела из стороны в сторону, точно ждала, не явится ли откуда к ней помощь.

— А ты знаешь ли, что за это и в Сибирь недолго попасть? — наконец произнесла она.

— Знаю.

— Ах, бедный ты, бедный!

— Я, бабушка, у вас хотел займы попросить... я хороший процент заплачу.

Арина Петровна совсем испугалась.

— Что ты, что ты! — заметалась она. — Да у меня и денег только на гроб да на поминовенье осталось! И сыта я только по милости внучек да вот чем у сына полакомлюсь! Нет, нет, нет! Ты уж меня оставь! Сделай милость, оставь! Знаешь что, ты бы у папеньки попросил!

— Нет, уж что! от железного попа да каменной просвиры ждать! Я, бабушка, на вас надеялся!

— Что ты! что ты! да я бы с радостью, только какие же у меня деньги! и денег у меня таких нет! А ты бы к папеньке обратился, да с лаской, да с почтением! вот, мол, папенька, так и так: виноват, мол, по молодости, штрафился... Со смешком да с улыбочкой, да ручку поцелуй, да на коленки встань, да поплачь — он это любит, — ну и развяжет папенька мошну для милого сына.

— А что вы думаете! сделать разве! Стойте-ка! стойте! а что, бабушка, если б вы ему сказали: коли не дашь денег — прокляну! Ведь он этого давно боится, проклятья-то вашего.

— Ну, ну, зачем проклинать! Попроси и так. Попроси, мой друг! Ведь ежели отцу и лишний разок поклонись, так ведь голова не отвалится: отец он! Ну, и он с своей стороны увидит... сделай-ко это! право!

Петенька ходит подбоченившись взад и вперед, словно обдумывает; наконец останавливается и говорит:

— Нет уж. Все равно — не даст. Что бы я ни делал, хоть бы лоб себе разбил кланявшись, — все одно не даст. Вот кабы вы проклятием пригрозили. Так как же мне быть-то, бабушка?

— Не знаю, право. Попробуй — может, и смягчишь. Как же ты это, однако ж, такую себе волю дал: легко ли дело — казенные деньги проиграл? научил тебя, что ли, кто-нибудь?

— Так вот, взял да и проиграл. Ну, коли у вас своих денег нет, так из сиротских дайте!

— Что ты? опомнись! как я могу сиротские деньги давать? Нет уж, сделай милость, уволь ты меня! не говори ты со мной об этом, ради Христа!

— Так не хотите? Жаль. А я бы хороший процент дал. Пять процентов в месяц хотите? Ну, через год капитал на капитал?

— И не соблазняй ты меня! — замахала на него руками Арина Петровна. — Уйди ты от меня, ради Христа! еще папенька неравно услышит, скажет, что я же тебя возмутила! Ах ты, господи! Я, старуха, отдохнуть хотела, даже задремала совсем, а он вон с каким делом пришел!

— Ну, хорошо. Я уйду. Стало быть, нельзя? Прекрасно-с. По-родственному. Из-за трех тысяч рублей внук в Сибирь должен пойти. Напутственный-то молебен отслужить не забудьте!

Петенька хлопнул дверью и ушел. Одна из его легкомысленных надежд лопнула — что теперь предпринять? Остается одно: во всем открыться отцу. А может быть... Может быть, что-нибудь...

— Пойду сейчас и покончу разом! — говорил он себе. — Или нет! Нет, зачем же сегодня... Может быть, что-нибудь... да, впрочем, что же такое может быть? Нет, лучше завтра... Все-таки, хоть нынче день... Да, лучше завтра! Скажу — и уеду.

На том и покончил, что завтра — всему конец...

После объяснения с бабушкой вечер потянулся еще вялее. Даже Арина Петровна притихла, узнавши действительную причину приезда Петеньки. Иудушка пробовал было заигрывать с маменькой, но, видя, что она об чем-то задумывается, замолчал. Петенька тоже ничего не делал, только курил. За ужином Порфирий Владимирович обратился к нему с вопросом:

— Да скажешь ли ты наконец, зачем ты сюда пожаловал?

— Завтра скажу, — угрюмо ответил Петенька.

Петенька встал рано после почти совсем бессонной ночи. Все та же раздвоенная мысль преследовала его — мысль, начинавшаяся надеждой: может быть, и даст! и неизменно кончавшаяся вопросом: и зачем я сюда приехал? Может быть, он не понимал своего отца, но, во всяком случае, он не знал за ним ни одного чувства, ни одной слабой струны, за которую предстояла бы возможность ухватиться и эксплуатируя которую можно было бы чего-нибудь достигнуть. Он чувствовал только одно: что в присутствии отца он находится лицом к лицу с чем-то неизъяснимым, неуловимым. Незнание, с какого конца подойти, с чего начать речь, порождало ежели не страх, то, во всяком случае, беспокойство. И так шло с самого детства. Всегда, с тех пор как он начал себя помнить, дело было поставлено так, что лучше, казалось, совсем отказаться от какого-нибудь предположения, нежели поставить его в зависимость от решения отца. Так было и теперь. С чего он начнет? как начнет? что скажет?.. Ах, зачем только он приехал?

Им овладела тоска. Тем не менее он понял, что впереди оставалось только несколько часов и что, следовательно, надо же что-нибудь делать. Набравшись напускной решимости, застегнувши сюртук и пошептавши что-то на ходу, он довольно твердым шагом направился к отцовскому кабинету.

Иудушка стоял на молитве. Он был набожен и каждый день охотно посвящал молитве несколько часов. Но он молился не потому, что любил Бога и надеялся посредством молитвы войти в общение с ним, а потому, что боялся черта и надеялся, что Бог избавит его от лукавого. Он знал множество молитв, и в особенности отлично изучил технику молитвенного стояния. То есть знал, когда нужно шевелить губами и закатывать глаза, когда следует складывать руки ладонями внутрь и когда держать их воздетыми, когда надлежит умиляться и когда стоять чинно, творя умеренные крестные знамения. И глаза и нос его краснели и увлажнялись в определенные минуты, на которые указывала ему молитвенная практика. Но молитва не обновляла его, не просветляла его чувства, не вносила никакого луча в его тусклое существование. Он мог мо-

литься и проделывать все нужные телодвижения и в то же время смотреть в окно и замечать, не идет ли кто без спросу в погреб и т. д. Это была совершенно особенная, частная формула жизни, которая могла существовать и удовлетворять себя совсем независимо от общей жизненной формулы.

Когда Петенька вошел в кабинет, Порфирий Владимырь стоял на коленях с воздетыми руками. Он не переменил своего положения, а только подрыгал одной рукой в воздухе, в знак того, что еще не время. Петенька расположился в столовой, где уже был накрыт чайный прибор, и стал ждать. Эти полчаса показались ему вечностью, тем более что он был уверен, что отец заставляет его ждать нарочно. Напускная твердость, которою он вооружился, мало-помалу стала уступать место чувству досады. Сначала он сидел смирно, потом принялся ходить взад и вперед по комнате, и, наконец, стал что-то насвистывать, вследствие чего дверь кабинета приотворилась и оттуда послышался раздраженный голос Иудушки:

— Кто хочет свистать, тот может для этого на конюшню идти!

Немного погодя Порфирий Владимырь вышел, одетый весь в черном, в чистом белье, словно приготовленный к чему-то торжественному. Лицо у него было светлое, умиленное, дышащее смирением и радостью, как будто он сейчас только «сподобился». Он подошел к сыну, перекрестил и поцеловал его.

— Здравствуй, друг, — сказал он.

— Здравствуйте!

— Каково почивал? постельку хорошо ли постлали? клопиков, блошек не чувствовал ли?

— Благодарю вас. Спал.

— Ну, спал — так и слава богу. У родителей только и можно сладенько поспать. Это уж я по себе знаю, как ни хорошо, бывало, устроишься в Петербурге, а никогда так сладко не уснешь, как в Головлеве. Точно вот в колыбельке тебя покачивает. Так как же мы с тобой: попьем чайку, что ли, сначала, или ты сейчас что-нибудь сказать хочешь?

— Нет, лучше теперь поговорим. Мне через шесть часов уехать надо, так, может быть, и обдумать кой-что время понадобится.

— Ну, ладно. Только я, брат, говорю прямо: никогда я не обдумываю. У меня всегда ответ готов. Коли ты правильного чего просишь — изволь! никогда я ни в чем пра-

вильном не откажу. Хоть и трудненько иногда и не по силам, а ежели правильно — не могу отказать! Натура такая. Ну, а ежели просишь неправильно — не прогневайся! Хоть и жалко тебя — а откажу! У меня, брат, вывертов нет! Я весь тут, на ладони. Ну, пойдем, пойдем в кабинет! Ты поговоришь, а я послушаю! Послушаем, послушаем, что такое!

Когда оба вошли в кабинет, Порфирий Владимирыч оставил дверь слегка приотворенною, и затем ни сам не сел, ни сына не посадил, а начал ходить взад и вперед по комнате. словно он инстинктивно чувствовал, что дело будет щекотливое и что объясняться об таких предметах на ходу гораздо свободнее. И выражение лица скрыть удобнее и прекратить объяснение, ежели оно примет слишком неприятный оборот, легче. А с помощью приотворенной двери и на свидетелей можно сослаться, потому что маменька с Евпраксеюшкой, наверное, не замедлят явиться к чаю в столовую.

— Я, папенька, казенные деньги проиграл, — разом и как-то тупо высказался Петенька.

Иудушка ничего не сказал. Только можно было заметить, как дрогнули у него губы. И вслед за тем он, по обыкновению, начал шептать.

— Я проиграл три тысячи, — пояснил Петенька, — и ежели послезавтра их не внесу, то могут произойти очень неприятные для меня последствия.

— Что ж, внеси! — любезно молвил Порфирий Владимирыч.

Несколько туров отец и сын сделали молча. Петенька хотел объясняться дальше, но чувствовал, что у него захватило горло.

— Откуда же я возьму деньги? — наконец выговорил он.

— Я, любезный друг, твоих источников не знаю. На какие ты источники рассчитывал, когда проигрывал в карты казенные деньги, из тех и плати.

— Вы сами очень хорошо знаете, что в подобных случаях люди об источниках забывают!

— Ничего я, мой друг, не знаю. Я в карты никогда не игрывал — только вот разве с маменькой в дурачки сыграешь, чтоб потешить старушку. И, пожалуйста, ты меня в эти грязные дела не впутывай, а пойдем-ка лучше чайку попьем. Попьем да посидим, может, и поговорим об чем-нибудь, только уж, ради Христа, не об этом.

И Иудушка направился было к двери, чтобы юркнуть в столовую, но Петенька остановил его.

— Позвольте, однако ж, — сказал он, — надобно же мне как-нибудь выйти из этого положения!

Иудушка усмехнулся и посмотрел Петеньке в лицо.

— Надо, голубчик! — согласился он.

— Так помогите же!

— А это — это уж другой вопрос. Что надобно как-нибудь выйти из этого положения — это так, это ты правду сказал. А как выйти — это уж не мое дело!

— Но почему же вы не хотите помочь?

— А потому, во-первых, что у меня нет денег для покрытия твоих дрянных дел, а во-вторых — и потому, что вообще это до меня не касается. Сам напугал — сам и выпутывайся. Любишь кататься — люби и саночки возить. Так-то, друг. Я ведь и давеча с того начал, что ежели ты просишь правильно...

— Знаю, знаю. Много у вас на языке слов...

— Пстой, попридержи свои дерзости, дай мне досказать. Что это не одни слова — это я тебе сейчас докажу... Итак, я тебе давеча сказал: если ты будешь просить должного, дельного — изволь, друг! всегда готов тебя удовлетворить! Но ежели ты приходишь с просьбой не дельною — извини, брат! На дрянные дела у меня денег нет, нет и нет! И не будет — ты это знай! И не смей говорить, что это одни «слова», а понимай, что эти слова очень близко граничат с делом.

— Подумайте, однако ж, что со мной будет!

— А что Богу угодно, то и будет, — отвечал Иудушка, слегка воздевая руки и искоса поглядывая на образ.

Отец и сын опять сделали несколько туров по комнате. Иудушка шел нехотя, словно жаловался, что сын держит его в плену. Петенька, подбоченившись, следовал за ним, кусая усы и нервно усмехаясь.

— Я последний сын у вас, — сказал он, — не забудьте об этом!

— У Иова, мой друг, Бог и всё взял, да он не роптал, а только сказал: Бог дал, Бог и взял — твори, Господи, волю свою! Так-то, брат!

— То Бог взял, а вы сами у себя отнимаете. Володя...

— Ну, ты, кажется, пошлости начинаешь говорить!

— Нет, это не пошлости, а правда. Всем известно, что Володя...

— Нет, нет, нет! Не хочу я твои пошлости слушать! Да и вообще — довольно. Что надо было высказать, то

ты высказал. Я тоже ответ тебе дал. А теперь пойдем и будем чай пить. Посидим да поговорим, потом поедем, выпьем на прощанье — и с богом. Видишь, как Бог для тебя милостив! И погодка унялась, и дорожка поглаже стала. Полегоньку да помаленьку, трюх да трюх — и не увидишь, как доплетешься до станции!

— Послушайте! наконец, я прошу вас! ежели у вас есть хоть капля чувства...

— Нет, нет, нет! не будем об этом говорить! Пойдем в столовую: маменька, поди, давно без чаю соскучилась. Не годится старушку заставлять ждать.

Иудушка сделал крутой поворот и почти бегом направился к двери.

— Хоть уходите, хоть не уходите, я этого разговора не оставлю! — крикнул ему вслед Петенька. — Хуже будет, как при свидетелях начнем разговаривать!

Иудушка воротился назад и встал прямо против сына.

— Что тебе от меня, негодяй, нужно... сказывай! — спросил он взволнованным голосом.

— Мне нужно, чтоб вы заплатили те деньги, которые я проиграл.

— Никогда!!

— Так это ваше последнее слово?

— Видишь? — торжественно воскликнул Иудушка, указывая пальцем на образ, висевший в углу. — Это видишь? Это папенькино благословение... Так вот я при нем тебе говорю: никогда!!

И он решительным шагом вышел из кабинета.

— Убийца! — пронеслось вдогонку ему.

Арина Петровна сидит уже за столом, и Евпраксеюшка делает все приготовления к чаю. Старуха задумчива, молчалива и даже как будто стыдится Петеньки. Иудушка, по обычаю, подходит к ее ручке, и, по обычаю же, она машинально крестит его. Потом, по обычаю, идут вопросы, все ли здоровы, хорошо ли почивали, на что следуют обычные односложные ответы.

Уже накануне вечером она была скучна. С тех пор как Петенька попросил у нее денег и разбудил в ней воспоминание о «проклятии», она вдруг впала в какое-то загадочное беспокойство, и ее неотступно начала преследовать мысль: «А что, ежели прокляну?» Узнавши утром, что в кабинете началось объяснение, она обратилась к Евпраксеюшке с просьбой:

— Поди-ка, сударка, подслушай потихоньку у дверей, что они там говорят!

Но Евпраксеюшка хотя и подслушала, но была настолько глупа, что ничего не поняла.

— Так, промежду себя разговаривают! Не очень кричат! — объяснила она, возвратившись.

Тогда Арина Петровна не вытерпела и сама отправилась в столовую, куда тем временем и самовар был уже подан. Но объяснение уж приходило к концу; слышала она только, что Петенька возвышает голос, а Порфирий Владимирыч словно зудит в ответ.

«Зудит! именно зудит! — вертелось у нее в голове. — Вот и тогда он так же зудел! и как это я в то время не поняла!»

Наконец оба, и отец и сын, появились в столовой. Петенька был красен и тяжело дышал; глаза у него смотрели широко, волосы на голове растрепались, лоб был усеян мелкими каплями пота. Напротив, Иудушка вошел бледный и злой; хотел казаться равнодушным, но, несмотря на все усилия, нижняя губа его дрожала. Насилу мог он выговорить обычное утреннее приветствие милому другу маменьке.

Все заняли свои места вокруг стола; Петенька сел несколько поодаль, отвалился на спинку стула, положил ногу на ногу и, закуривая папироску, иронически посматривал на отца.

— Вот, маменька, и погодка у нас унялась, — начал Иудушка, — какое вчера смятение было, ан Богу стоило только захотеть — вот у нас тишь да гладь да божья благодать! так ли, друг мой?

— Не знаю; не выходила я из дому сегодня.

— А мы кстати дорогого гостя провожаем, — продолжал Иудушка, — я давеча еще где-то встал, посмотрел в окно — ан на дворе тихо да спокойно, точно вот ангел божий пролетел и в одну минуту своим крылом все это возмущение усмирил!

Но никто даже не ответил на ласковые Иудушкины слова; Евпраксеюшка шумно пила с блюдечка чай, дую и отфыркиваясь; Арина Петровна смотрела в чашку и молчала; Петенька, раскачиваясь на стуле, продолжал посматривать на отца с таким иронически вызывающим видом, точно вот ему больших усилий стоит, чтоб не прыснуть со смеха.

— Теперича ежели Петенька и не шибко поедет, — опять начал Порфирий Владимирыч, — и тут к вечеру лег-

ко до станции железной дороги поспеет. Лошади у нас свои, не мученые, часика два в Муравьеве покормят — мигом домчат. А там — фиюю! пошла машина погромыхивать! Ах, Петька! Петька! недобрый ты! остался бы ты здесь с нами, погостил бы — право! И нам было бы веселее, да и ты бы — смотри, как бы ты здесь в одну неделю поправился!

Но Петенька все продолжает раскачиваться на стуле и поглядывать на отца.

— Ты что на меня все смотришь? — закипает, наконец, Иудушка. — Узоры, что ли, видишь?

— Смотрю, жду, что еще от вас будет!

— Ничего, брат, не высмотришь! как сказано, так и будет. Я своего слова не изменю!

Наступает минута молчания, в продолжение которой явственно раздается шепот:

— Иудушка!

Порфирий Владимирыч, несомненно, слышал эту апострофу (он даже побледнел), но делает вид, что восклицание до него не относится.

— Ах, детки, детки! — говорит он, — и жаль вас, и хотелось бы приласкать да приголубить вас, да, видно, нечего делать — не судьба! Сами вы от родителей бежите, свои у вас завелись друзья-приятели, которые дороже для вас и отца с матерью. Ну, и нечего делать! Подумаешь-подумаешь — и покоришься. Люди вы молодые, а молодому, известно, приятнее с молодым побыть, чем со стариком-ворчуном! Вот и смиряешь себя и не ропщешь; только и просишь отца небесного: твори, Господи, волю свою!

— Убийца! — вновь шепчет Петенька, но уже так явственно, что Арина Петровна со страхом смотрит на него. Перед глазами ее что-то вдруг пронеслось, словно тень Степки-балбеса.

— Ты про кого это говоришь? — спрашивает Иудушка, весь дрожа от волнения.

— Так, про одного знакомого.

— То-то! так ты так и говори! Ведь Бог знает, что у тебя на уме: может быть, ты из присутствующих когонибудь так честишь!

Все смолкают; стаканы с чаем стоят нетронутыми. Иудушка тоже откидывается на спинку стула и нервно покачивается. Петенька, видя, что всякая надежда потеряна, ощущает что-то вроде предсмертной тоски и под влиянием ее готов идти до крайних пределов. И отец и

сын с какою-то неизъяснимою улыбкой смотрят друг другу в глаза. Как ни вышколил себя Порфирий Владимирыч, но близится минута, когда и он не в состоянии будет сдерживаться.

— Ты бы лучше за добра́-ума уехал! — наконец высказывается он. — Да!

— И то уеду.

— Чего ждатель-то! Я вижу, что ты на ссору лезешь, а я ни с кем ссориться не хочу. Живем мы здесь тихо да смирно, без ссор да без свар — вот бабушка-старушка здесь сидит, хоть бы ее ты посовестился! Ну, зачем ты к нам приехал?

— Я вам говорил, зачем.

— А коли затем только, так напрасно трудился. Уезжай, брат! Эй, кто там? велите-ка для молодого барина кибитку закладывать. Да цыпленочка жареного, да икорки, да еще там чего-нибудь... яичек, что ли... в бумажку заверните. На станции, брат, и закусишь, покуда лошадей подкормят. С богом!

— Нет! я еще не поеду. Я еще в церковь пойду, попрошу панихиду по убиенном рабе божием Владимире отслужить.

— По самоубийце то есть...

— Нет, по убиенном.

Отец и сын смотрят друг на друга во все глаза. Так и кажется, что оба сейчас вскочат. Но Иудушка делает над собой нечеловеческое усилие и оборачивается со стулом лицом к столу.

— Удивительно! — говорит он надорванным голосом, — у-ди-ви-тель-но!

— Да, по убиенном! — грубо настаивает Петенька.

— Кто же его убил? — любопытствует Иудушка, по видимому все-таки надеясь, что сын опомнится.

Но Петенька, нимало не смущаясь, выпаливает как из пушки:

— Вы!!!

— Я?

Порфирий Владимирыч не может прийти в себя от изумления. Он торопливо поднимается со стула, обращается лицом к образу и начинает молиться.

— Вы! вы! вы! — повторяет Петенька.

— Ну, вот! ну, слава богу! вот теперь полегче стало, как помолился! — говорит Иудушка, вновь присаживаясь к столу. — Ну, постой, погоди! хоть мне как отцу можно было бы и не входить с тобой в объяснения, — ну, да уж

пусть будет так! Стало быть, по-твоему, я убил Володеньку?

— Да, вы!

— А по-моему, это не так. По-моему, он сам себя застрелил. Я в то время был здесь в Головлеве, а он — в Петербурге. При чем же я тут мог быть? как мог я его за семьсот верст убить?

— Уж будто вы и не понимаете?

— Не понимаю... видит бог, не понимаю!

— А кто Володю без копейки оставил? кто ему жалованье прекратил? кто?

— Те-те-те! так зачем он женился против желанья отца?

— Да ведь вы же позволили?

— Кто? я? Христос с тобой! Никогда я не позволял ни когда!

— Ну да, то есть вы и тут по своему обыкновению поступили. У вас ведь каждое слово десять значений имеет; пойдй угадывай!

— Никогда я не позволял! Он мне в то время написал: «Хочу, папа, жениться на Лидочке». Понимаешь: «хочу», а не «прошу позволения». Ну, и я ему ответил: коли хочешь жениться, так женись, я препятствовать не могу! Только всего и было.

— Только всего и было, — поддразнивает Петенька, — а разве это не позволение?

— То-то что нет. Я что сказал? я сказал: не могу препятствовать — только и всего. А позволяю или не позволяю — это другой вопрос. Он у меня позволения и не просил, он прямо написал: *хочу*, папа, жениться на Лидочке — ну, и я насчет позволения умолчал. *Хочешь* жениться — ну, и Христос с тобой! женись, мой друг, хоть на Лидочке, хоть на разлидочке — я препятствовать не могу!

— А только без куска хлеба оставить можете. Так вы бы так и писали: не нравится, дескать, мне твое намерение, а потому, хоть я тебе не препятствую, но все-таки предупреждаю, чтоб ты больше не рассчитывал на денежную помощь от меня. По крайней мере, тогда было бы ясно.

— Нет, этого я никогда не позволю себе сделать! Чтоб я стал употреблять в дело угрозы совершеннолетнему сыну — никогда!! У меня такое правило, что я никому не препятствую! Захотел жениться — женись! Ну, а насчет последствий — не погневайся! Сам должен был предусматривать — на то и ум тебе от Бога дан. А я, брат,

в чужие дела не вмешиваюсь. И не только сам не вмешиваюсь, да не прошу, чтоб и другие в мои дела вмешивались. Да, не прошу, не прошу, не прошу, и даже... запрещаю! Слышишь ли, дурной, непочтительный сын, — запрещаю!

— Запрещайте, пожалуй! всем ртов не замажете!

— И хоть бы он раскаялся! хоть бы он понял, что отца обидел! Ну, сделал пошлость — ну, и раскайся! Попроси прощения! простите, мол, душенька папенька, что вас огорчил! А то на-тко!

— Да ведь он писал вам; он объяснял, что ему жить нечем, что дольше ему терпеть нет сил...

— С отцом не объясняются-с. У отца прощения просят — вот и все.

— И это было. Он так был измучен, что и прощенья просил. Все было, все!

— А хоть бы и так — опять-таки он не прав. Попросил раз прощенья, видит, что папа не прощает, — и в другой раз попроси!

— Ах, вы!

Сказавши это, Петенька вдруг перестает качаться на стуле, оборачивается к столу и облакачивается на него обеими руками.

— Вот и я... — чуть слышно произносит он.

Лицо его постепенно искажается.

— Вот и я... — повторяет он, раздражаясь истерическими рыданиями.

— А кто ж вино...

Но Иудушке не удалось покончить свое поучение, ибо в эту самую минуту случилось нечто совершенно неожиданное. Во время описанной сейчас перестрелки об Арине Петровне словно позабыли. Но она отнюдь не оставалась равнодушной зрительницей этой семейной сцены. Напротив того, с первого же взгляда можно было заподозрить, что в ней происходит что-то не совсем обыкновенное и что, может быть, настала минута, когда перед умственным ее оком предстали во всей полноте и наготе итоги ее собственной жизни. Лицо ее оживилось, глаза расширились и блестели, губы шевелились, как будто хотели сказать какое-то слово — и не могли. И вдруг, в ту самую минуту, когда Петенька огласил столовую рыданиями, она грузно поднялась с своего кресла, протянула вперед руку, и из груди ее вырвался вопль:

— Прро-кли-ннаааа!

ПЛЕМЯННУШКА

Иудушка так-таки и не дал Петеньке денег, хотя, как добрый отец, приказал в минуту отъезда положить ему в повозку и курочки, и телятинки, и пирожок. Затем он, несмотря на стужу и ветер, самолично вышел на крыльцо проводить сына, справился, ловко ли ему сидеть, хорошо ли он закутал себе ноги, и, возвратившись в дом, долго крестил окно в столовой, посылая заочное напутствие повозке, увозившей Петеньку. Словом, весь обряд выполнил как следует, по-родственному.

— Ах, Петька, Петька! — говорил он, — дурной ты сын! нехороший! Ведь вот что набедокурил... ах-ах-ах! И что бы, кажется, жить потихоньку да полегоньку, смирененько да ладненько, с папкой да с бабушкой-старушкой — так нет! Фу-ты! ну-ты! У нас свой царь в голове есть! своим умом проживем! Вот и ум твой! Ах, горе какое вышло!

Но ни один мускул при этом не дрогнул на его деревянном лице, ни одна нота в его голосе не прозвучала чем-нибудь похожим на призыв блудному сыну. Да, впрочем, никто и не слышал его слов, потому что в комнате находилась одна Арина Петровна, которая, под влиянием только что испытанного потрясения, как-то разом потеряла всякую жизненную энергию и сидела за самоваром, раскрыв рот, ничего не слыша и без всякой мысли глядя вперед.

Затем жизнь потекла по-прежнему, исполненная праздной суеты и бесконечного пустословия...

Вопреки ожиданиям Петеньки, Порфирий Владимирович вынес материнское проклятие довольно спокойно и ни на волос не отступил от тех решений, которые, так сказать, всегда готовые сидели в его голове. Правда, он слегка побледнел и бросился к матери с криком:

— Маменька! душенька! Христос с вами! успокойтесь, голубушка! Бог милостив! все устроится!

Но слова эти были скорее выражением тревоги за мать, нежели за себя. Выходка Арины Петровны была так внезапна, что Иудушка не догадался даже притвориться испуганным. Еще накануне маменька была к нему милостива, шутила, играла с Евпраксеюшкой в дурачки — очевидно, стало быть, что ей только что-нибудь на минуту помстилось, а преднамеренного, «настоящего» не было ничего. Действительно, он очень боялся маменькиного проклятия, но представлял его себе совершенно иначе. В праздном его уме на этот случай целая обстановка сложилась:

образа, зажженные свечи, маменька стоит среди комнаты, страшная, с почерневшим лицом... и проклинает! Потом: гром, свечи потухли, завеса разодралась, тьма покрыла землю, а вверху, среди туч, виднеется разгневанный лик Иеговы, освещенный молниями. Но так как ничего подобного не случилось, то значит, что маменька просто сблажила, показалось ей что-нибудь — и больше ничего. Да и не с чего было ей «настоящим образом» проклинать, потому что в последнее время у них не было даже предложений для столкновения. С тех пор как он заявил сомнение насчет принадлежности маменьке тарантаса (Иудушка соглашался внутренне, что *тогда* он был виноват и заслуживал проклятия), воды утекло много; Арина Петровна смирилась, а Порфирий Владимырьч только и думал об том, как бы успокоить доброго друга маменьку.

— Плоха старушка, ах, как плоха! временем даже забываться уж начала! — утешал он себя. — Сядет, голубушка, в дураки играть — смотришь, ан она дремлет!

Справедливость требует сказать, что ветхость Арины Петровны даже тревожила его. Он еще не приготовился к утрате, ничего не обдумал, не успел сделать надлежащие выкладки: сколько было у маменьки капитала при отъезде из Дубровина, сколько капитал этот мог приносить в год доходу, сколько она могла из этого дохода тратить и сколько присовокупить. Словом сказать, не проделал еще целой массы пустяков, без которых он всегда чувствовал себя застигнутым врасплох.

«Старушка крепонька! — мечталось ему иногда. — Не проживет она *всего* — где прожить! В то время как она нас отделяла, хороший у нее капитал был! Разве сироткам чего не передала ли — да нет, и сироткам не много даст! Есть у старушки деньги, есть!»

Но мечтания эти покуда еще не представляли ничего серьезного и улетучивались, не задерживаясь в его мозгу. Масса обыденных пустяков и без того была слишком громадна, чтобы увеличивать ее еще новыми, в которых покамест не настояло насущной потребности. Порфирий Владимырьч всё откладывал да откладывал и только после внезапной сцены проклятия спохватился, что пора начинать.

Катастрофа наступила, впрочем, скорее, нежели он предполагал. На другой день после отъезда Петеньки Арина Петровна уехала в Погорелку и уже не возвращалась в Головлево. С месяц она провела в совершенном уединении, не выходя из комнаты и редко-редко позволяя себе

промолвить слово даже с прислугою. Вставши утром, она по привычке садилась к письменному столу, по привычке же начинала раскладывать карты, но никогда почти не доканчивала и словно застывала на месте с вперенными в окно глазами. Что она думала и даже думала ли об чем-нибудь — этого не разгадал бы самый проникательный знаток сокровеннейших тайн человеческого сердца. Казалось, она хотела что-то вспомнить, хоть, например, то, каким образом она очутилась здесь, в этих стенах, и — не могла. Встревоженная ее молчанием, Афимьюшка заглядывала в комнату, поправляла в кресле подушки, которыми она была обложена, пробовала заговорить об чем-нибудь, но получала только односложные и нетерпеливые ответы. Раза с два в течение этого времени приезжал в Погорелку Порфирий Владимирыч, звал маменьку в Головлево, пытался распалить ее воображение представлением об рыжечках, карасиках и прочих головлевских соблазнах, но она только загадочно улыбалась на его предложения.

Одним утром она, по обыкновению, собралась встать с постели и не могла. Она не ощущала никакой особенной боли, ни на что не жаловалась, а просто не могла встать. Ее даже не встревожило это обстоятельство, как будто оно было в порядке вещей. Вчера сидела еще у стола, была в силах бродить — нынче лежит в постели, «неможется». Ей даже покойнее чувствовалось. Но Афимьюшка всполошилась и потихоньку от барыни послала гонца к Порфирию Владимирычу.

Иудушка приехал рано утром на другой день; Арине Петровне было уж значительно хуже. Обстоятельно расспросил он прислугу, что маменька кушала, не позволила ли себе чего лишнего, но получил ответ, что Арина Петровна уж с месяц почти ничего не ест, а со вчерашнего дня и вовсе отказалась от пищи. Потужил Иудушка, помахал руками и, как добрый сын, прежде чем войти к матери, погрелся в девичьей у печки, чтоб не охватило большую холодным воздухом. И, кстати (у него насчет покойников какой-то дьявольский нюх был), тут же начал распорядиться. Расспросил насчет попа, дома ли он, чтоб в случае надобности можно было сейчас же за ним послать, справился, где стоит маменькин ящик с бумагами, заперт ли он, и, успокоившись насчет существенного, призвал кухарку и велел приготовить обедать для себя.

— Мне немного надо! — говорил он. — Курочка есть? Ну, супцу из курочки сварите! Может быть, солонинка

есть — солонинки кусочек приготовьте! Жаркóвца какого-нибудь... вот я и сыт!

Арина Петровна лежала, распростершись навзничь на постели, с раскрытым ртом и тяжело дыша. Глаза ее смотрели широко; одна рука выбилась из-под заячьего одеяла и застыла в воздухе. Очевидно, она прислушивалась к шороху, который произвел приезд сына, а может быть, до нее долетали и самые приказания, отдаваемые Иудушкой. Благодаря опущенным шторам в комнате царствовали сумерки. Светильни догорали на дне лампадок, и слышно было, как они трещали от прикосновения с водою. Воздух был тяжел и смраден; духота от жарко натопленных печей, от чада, распространяемого лампадками, и от миазмов стояла невыносимая. Порфирий Владимирыч, в валеных сапогах, словно змей, проскользнул к постели матери; длинная и сухощавая его фигура загадочно колебалась, охваченная сумерками. Арина Петровна следила за ним не то испуганными, не то удивленными глазами и жалась под одеялом.

— Это я, маменька, — сказал он, — что это как вы развинтились сегодня! ах-ах-ах! То-то мне нынче не спалось: всю ночь вот так и поталкивало: дай, думаю, поведаю, как-то погорелковские друзья поживают! Утром сегодня встал, сейчас это кибиточку, парочку лошадушек — и вот он-он!

Порфирий Владимирыч любезно хихикнул, но Арина Петровна не отвечала и все больше и больше жалась под одеялом.

— Ну, Бог милостив, маменька! — продолжал Иудушка. — Главное, в обиду себя не давайте! Плюньте на хворость, встаньте с постельки да пройдитесь молодцом по комнате! вот так!

Порфирий Владимирыч встал со стула и показал, как молодцы прохаживаются по комнате.

— Да постойте, дайте-ка я шторку подниму да посмотрю на вас! Э! да вы молодец молодцом, голубушка! Стоит только подбодриться, да Богу помолиться, да прифрантиться — хоть сейчас на бал! Дайте-ка, вот я вам святой водицы богоявленской привез, откушайте-ка!

Порфирий Владимирыч вынул из кармана пузырек, отыскал на столе рюмку, налил и поднес больной. Арина Петровна сделала было движение, чтобы поднять голову, но не могла.

— Сирот бы... — простонала она.

— Ну вот, уж и сиротки понадобились! Ах, маменька,

маменька! Как это вы вдруг... на-тко! Капельку прихворнули — и уж духом упали! Все будет! и к сироткам эстафету пошлем, и Петьку из Питера выпишем — все чередом сделаем! Не к спеху ведь; мы с вами еще поживем! да еще как поживем-то! Вот лето настанет — в лес по грибы вместе пойдем; по малину, по ягоду, по черну смородину! А не то — так в Дубровино карасей ловить поедем! Запряжем старика савраску в длинные дроги, потихоньку да полегоньку, трюх-трюх, сядем и поедем!

— Сирот бы... — повторила Арина Петровна тоскливо.

— Приедут и сиротки. Дайте срок — всех скличем, все приедем. Приедем да кругом вас и обсядем. Вы будете насадка, а мы цыплятки... цып-цып-цып! Все будет, коли вы будете паинька. А вот за это вы уж не паинька, что хворать вздумали. Ведь вот вы что, проказница, затеяли... ах-ах-ах! чем бы другим пример подавать, а вы вот как! Нехорошо, голубушка! ах, нехорошо!

Но как ни старался Порфирий Владимырьч и шуточками и прибауточками подбодрить милого друга маменьку, силы ее падали с каждым часом. Послали в город нарочного за лекарем, и так как больная продолжала тосковать и звать сироток, то Иудушка собственноручно написал Анниньке и Любиньке письмо, в котором сравнил их поведение с своим, себя называл христианином, а их — неблагодарными. Ночью лекарь приехал, но было уже поздно. Арину Петровну, как говорится, в один день «сварило». Часу в четвертом ночи началась агония, а в шесть часов утра Порфирий Владимырьч стоял на коленях у постели матери и вопил:

— Маменька! друг мой! благословите!

Но Арина Петровна не слыхала. Открытые глаза ее тускло смотрели в пространство, словно она старалась что-то понять и не понимала.

Иудушка тоже не понимал. Он не понимал, что открывавшаяся перед его глазами могила уносила последнюю связь его с живым миром, последнее живое существо, с которым он мог делить прах, наполнявший его. И что отныне этот прах, не находя истока, будет накапливаться в нем до тех пор, пока окончательно не задушит его.

С обычною суетливостью окунулся он в бездну мелочей, сопровождающих похоронный обряд. Служил панихиды, заказывал сорокоусты, толковал с попом, шаркал ногами, переходя из комнаты в комнату, заглядывал в столовую, где лежала покойница, крестился, воздевал глаза к небу, вставал по ночам, неслышно подходил к двери,

вслушивался в монотонное чтение псаломщика и проч. Причем был приятно удивлен, что даже особенных издержек для него по этому случаю не предстояло, потому что Арина Петровна еще при жизни отложила сумму на похороны, расписав очень подробно, сколько и куда следует употребить.

Схоронивши мать, Порфирий Владимирыч немедленно занялся приведением в известность ее дел. Разбирая бумаги, он нашел до десяти разных завещаний (в одном из них она называла его «непочтительным»); но все они были писаны еще в то время, когда Арина Петровна была властной барыней, и лежали неоформленными, в виде проектов. Поэтому Иудушка остался очень доволен, что ему не привелось даже покривить душой, объявляя себя единственным законным наследником оставшегося после матери имущества. Имущество это состояло из капитала в пятнадцать тысяч рублей и из скудной движимости, в числе которой был и знаменитый тарантас, едва не послуживший яблоком раздора между матерью и сыном. Арина Петровна тщательно отделяла свои счета от опекунских, так что сразу можно было видеть, что принадлежит ей и что — сироткам. Иудушка немедленно заявил себя где следует наследником, опечатав бумаги, относящиеся до опеки, роздал прислуге скудный гардероб матери; тарантас и двух коров, которые, по описи Арины Петровны, значились под рубрикой «мои», отправил в Головлево и затем, отслуживши последнюю панихидку, отправился восвояси.

— Ждите владелиц, — говорил он людям, собравшимся в сенях, чтоб проводить его, — приедут — милости просим! не приедут — как хотят! Я, с своей стороны, все сделал; счета по опеке привел в порядок, ничего не скрыл, не утаил — все у всех на глазах делал. Капитал, который после маменьки остался, принадлежит мне — по закону; тарантас и две коровы, которые я в Головлево отправил, — тоже мои, по закону. Может быть, даже кой-что из моего *здесь* осталось — ну, да бог с ним! сироткам и Бог велел подавать! Жаль маменьку! добрая была старушка! пёчная! Вот и об вас, об прислуге, позаботилась, гардероб свой вам оставила. Ах, маменька, маменька! нехорошо вы это, голубушка, сделали, что нас сиротами покинули! Ну, да уж если так Богу угодно, то и мы святой его воле покоряться должны! Только бы вашей душе было хорошо, а об нас... что уж об нас думать!

За первой могилой скоро последовала и другая.

К истории сына Порфирий Владимирыч отнесся до-

вольно загадочно. Газет он не получал, ни с кем в переписке не состоял, и потому сведений о процессе, в котором фигурировал Петенька, ниоткуда иметь не мог. Да вряд ли он и желал что-нибудь знать об этом предмете. Вообще он был человек, который пуще всего сторонился от всяких тревог, который по уши погряз в тину мелочей самого паскудного самосохранения и которого существование вследствие этого нигде и ни на чем не оставило после себя следов. Таких людей довольно на свете, и все они живут особняком, не умея и не желая к чему-нибудь приютиться, не зная, что ожидает их в следующую минуту, и лопааясь под конец, как лопаются дождевые пузыри. Нет у них дружеских связей, потому что для дружества необходимо существование общих интересов; нет и деловых связей, потому что даже в мертвом деле бюрократизма они выказывают какую-то уж совершенно нестерпимую мертвенность. Тридцать лет сряду Порфирий Владимырьч толкался и мелькал в департаменте; потом в одно прекрасное утро исчез — и никто не заметил этого. Поэтому он узнал об участии, постигшей сына, последний, когда весть об этом распространилась уже между дворовыми. Но и тут притворился, что ничего не знает, так что когда Евпраксеюшка заикнулась однажды упомянуть об Петеньке, то Иудушка замахал на нее руками и сказал:

— Нет, нет, нет! и не знаю, и не слышал, и слышать не хочу! Не хочу я его грязных дел знать!

Но, наконец, узнать все-таки привелось. Пришло от Петеньки письмо, в котором он уведомлял о своем предстоящем отъезде в одну из дальних губерний и спрашивал, будет ли папенька высылать ему содержание в новом его положении. Весь день после этого Порфирий Владимырьч находился в видимом недоумении, сновал из комнаты в комнату, заглядывал в образную, крестился и охал. К вечеру, однако ж, собрался с духом и написал:

«Преступный сын Петр!

Как верный подданный, обязанный чтить законы, я не должен был бы даже отвечать на твое письмо. Но как отец, причастный человеческим слабостям, не могу, из чувства сострадания, отказать в благом совете детищу, ввергнувшему себя, по собственной вине, в пучину зол. Итак, вот вкратце мое мнение по сему предмету. Наказание, коему ты подвергся, тяжело, но вполне тобою заслужено — такова первая и самая главная мысль, которая отныне всегда должна тебе в твоей новой жизни сопутст-

воватъ. А все остальные прихоти и даже воспоминания об оных ты должен оставить, ибо в твоём положении все сие может только раздражать и побуждать к ропоту. Ты уже вкусил от горьких плодов высокоумия, попробуй же вкусить и от плодов смирения, тем более что ничего другого для тебя в будущем не предстоит. Не ропщи на наказание, ибо начальство даже не наказывает тебя, но преподаёт лишь средства к исправлению. Благодарить за сие и стараться загладить содеянное — вот об чём тебе непрестанно думать надлежит, а не о роскошном препровождении времени, коего, впрочем, я и сам, никогда не быв под судом, не имею. Последуй же сему совету благоразумия и возродись для новой жизни, возродись совершенно, довольствуясь тем, что начальство, по милости своей, сочтёт нужным тебе назначить. А я, с своей стороны, буду неустанно молить подателя всех благ о ниспослании тебе твердости и смирения, и даже в сей самый день, как пишу сии строки, был в церкви и воссылал о сем горячие мольбы. Затем благословляю тебя на новый путь и остаюсь
негодующий, но все ещё любящий отец твой

Порфирий Головлев».

Неизвестно, дошло ли до Петеньки это письмо; но не дальше как через месяц после его отсылки Порфирий Владимыч получил официальное уведомление, что сын его, не доехавши до места ссылки, слег в одном из попутных городков в больницу и умер.

Иудушка очутился один, но сгоряча все-таки еще не понял, что с этой новой утратой он уже окончательно пущен в пространство, лицом к лицу с одним своим пустошловием. Это случилось вскоре после смерти Арины Петровны, когда он был весь поглощен в счета и выкладки. Он перечитывал бумаги покойной, усчитывал всякий грош, отыскивал связь этого гроша с опекунскими грошами, не желая, как он говорил, ни себе присвоить чужого, ни своего упустить. Среди этой сутолоки ему даже не представлялся вопрос, для чего он все это делает и кто воспользуется плодами его суеты? С утра до вечера корпел он за письменным столом, критикуя распоряжения покойной и даже фантазируя, так что за хлопотами мало-помалу запустил и счета по собственному хозяйству.

И все в доме стихло. Прислуга, и прежде предпочитавшая ютиться в людских, почти совсем обросила дом, а

являясь в господские комнаты, ходила на цыпочках и говорила шепотом. Чувствовалось что-то выморочное и в этом доме, и в этом человеке, что-то такое, что наводит невольный и суеверный страх. Сумеркам, которые и без того окутывали Иудушку, предстояло сгущаться с каждым днем все больше и больше.

Постом, когда спектакли прекратились, приехала в Головлево Аннинька и объявила, что Любинька не могла ехать вместе с нею, потому что еще раньше законтрактровалась на весь великий пост и вследствие этого отправилась в Ромны, Изюм, Кременчуг и проч., где ей предстояло давать концерты и пропеть весь каскадный репертуар.

В течение короткой артистической карьеры Аннинька значительно выровнялась. Это была уже не прежняя наивная, малокровная и несколько вялая девушка, которая в Дубровине и в Погорелке, неуклюже покачиваясь и потихоньку попевая, ходила из комнаты в комнату, словно не зная, где найти себе место. Нет, это была девица вполне определившаяся, с резкими и даже развязными манерами, по первому взгляду на которую можно было без ошибки заключить, что она за словом в карман не полезет. Наружность ее тоже изменилась и довольно приятно поразила Порфирия Владимировича. Перед ним явилась рослая и статная женщина с красивым румяным лицом, с высокою, хорошо развитою грудью, с серыми глазами навывкате и с отличнейшей пепельной косой, которая тяжело опускалась на затылок, — женщина, которая, по-видимому, проникнута была сознанием, что она-то и есть та самая «Прекрасная Елена», по которой суждено вздыхать господам офицерам. Ранним утром приехала она в Головлево и тотчас же уединилась в особенную комнату, откуда явилась в столовую к чаю в великолепном шелковом платье, шумя треном и очень искусно маневрируя им среди стульев. Иудушка хотя и любил своего бога паче всего, но это не мешало ему иметь вкус к красивым, а в особенности к крупным женщинам. Поэтому он сначала перекрестил Анниньку, потом как-то особенно отчетливо поцеловал ее в обе щеки и при этом так странно скосил глаза на ее грудь, что Аннинька чуть заметно улыбнулась.

Сели за чай; Аннинька подняла обе руки кверху и потянулась.

— Ах, дядя, как у вас скучно здесь! — начала она, слегка позевывая.

— Вот-на! не успела повернуться — уж и скучно показалось! А ты поживи с нами — тогда и увидим: может, и

весело покажется! — ответил Порфирий Владимирыч, которого глаза вдруг подернулись масляным отблеском.

— Нет, не интересно! Что у вас тут? Снег кругом, соседей нет... Полк, кажется, у вас здесь стоит?

— И полк стоит, и соседи есть, да, признаться, меня это не интересует. А впрочем, ежели...

Порфирий Владимирыч взглянул на нее, но не закончил, а только крикнул. Может быть, он и с намерением остановился, хотел раззадорить ее женское любопытство; во всяком случае, прежняя, едва заметная улыбка вновь скользнула на ее лице. Она облокотилась на стол и довольно пристально взглянула на Евпраксеюшку, которая, вся покрасневшись, перетирает стаканы и тоже исподлобья взглядывала на нее своими большими мутными глазами.

— Это моя новая экономка... усердная! — молвил Порфирий Владимирыч.

Аннинька чуть заметно кивнула головой и потихоньку замурлыкала: «Ah! ah! que j'aime... que j'aime... les mili-mili-mili-taires!..»¹ — причем поясница ее как-то сама собой вздрагивала. Воцарилось молчание, в продолжение которого Иудушка, смиренно опустив глаза, помаленьку прихлебывал чай из стакана.

— Скука! — опять зевнула Аннинька.

— Скука да скука! заладила одно! Вот погоди, поживи... Ужо велим саночки заложить — катайся сколько душе угодно.

— Дядя! отчего вы в гусары не пошли?

— А оттого, мой друг, что всякому человеку свой предел от Бога положен. Одному — в гусарах служить, другому — в чиновниках быть, третьему — торговать, четвертому...

— Ах да! четвертому, пятому, шестому... я и забыла! И все это Бог распределяет... так ведь?

— Что ж, и Бог! над этим, мой друг, смеяться нечего! Ты знаешь ли, что в Писании-то сказано: без воли божией...

— Это насчет вблоса? — знаю и это! Но вот беда: нынче всё шиньоны носят, а это, кажется, не предусмотрено! Кстати: посмотрите-ка, дядя, какая у меня чудесная коса... Не правда ли, хороша?

Порфирий Владимирыч приблизился (почему-то на цыпочках) и подержал косу в руке. Евпраксеюшка тоже

¹ Ah! ah! как я люблю... как я люблю... вое...вое...военных! (фр.)

потянулась вперед, не выпуская из рук блюдечка с чаем, и сквозь стиснутый в зубах сахар процедила:

— Шильон, чай?

— Нет, не шиньон, а собственные мои волосы. Я когда-нибудь их перед вами распушу, дядя!

— Да, хороша коса, — похвалил Иудушка и как-то погано распустил при этом губы; но потом спохватился, что по-настоящему от подобных соблазнов надобно отплевываться, и присовокупил: — Ах, егоза! егоза! все у тебя косы да шлейфы на уме, а об настоящем-то, об главном-то и не догадываешься спросить?

— Да, об бабушке... Ведь она умерла?

— Скончалась, мой друг! и как еще скончалась-то! Мирно, тихо, никто и не слышал! Вот уж именно непостыдные кончины живота своего удостоилась! Обо всех вспомнила, всех благословила, призвала священника, причастилась... И так это вдруг спокойно, так спокойно ей сделалось! Даже сама, голубушка, это высказала: «Что это, говорит, как мне вдруг хорошо!» И представь себе: только что она это высказала, — вдруг начала вздыхать! Вздохнула раз, другой, третий — смотрим, ее уж и нет!

Иудушка встал, поворотился лицом к образу, сложил руки ладонями внутрь и помолился. Даже слезы у него на глазах выступили: так хорошо он солгал! Но Аннинька, по-видимому, была не из чувствительных. Правда, она задумалась на минуту, но совсем по другому поводу.

— А помните, дядя, — сказала она, — как она меня с сестрой, маленьких, кислым молоком кормила? Не в последнее время... в последнее время она отличная была... а тогда, когда она еще богата была?

— Ну-ну, что старое поминать! Кислым молоком кормили, а вишь, какую, бог с тобой, выпоили! На могилку-то поедешь, что ли?

— Поедем, пожалуй!

— Только знаешь ли что! ты бы сначала очистилась!

— Как это... очистилась?

— Ну, все-таки... актриса... ты думаешь, бабушке это легко было? Так прежде чем на могилку-то ехать, обеденку бы тебе отстоять, очиститься бы! Вот я завтра пораньше велю отслужить, а потом и с богом!

Как ни нелепо было Иудушкино предложение, но Аннинька все-таки на минуту смешалась. Но вслед за тем она сдвинула сердито брови и резко сказала:

— Нет, я так... я сейчас пойду!

— Не знаю, как хочешь! а мой совет такой: отстояли

бы завтра обеденку, напились бы чайку, приказали бы пару лошадушек в кибиточку заложить и покатали бы вместе. И ты бы очистилась, и бабушкиной бы душе...

— Ах, дядя, какой вы, однако, глупенький! Бог знает какую чепуху несете, да еще настаиваете!

— Что? не понравилось? Ну, да уж не взыщи — я, брат, прямик! Неправды не люблю, а правду и другим выскажу и сам выслушаю! Хоть и не по шерстке иногда правда, хоть и горьконько — а все ее выслушаешь! И должно выслушать, потому что она — правда. Так-то, мой друг! Ты вот поживи-ка с нами, да по-нашему — и сама увидишь, что так-то лучше, чем с гитарой с ярмарки на ярмарку переезжать.

— Бог знает что вы, дядя, говорите! с гитарой!

— Ну, не с гитарой, а около того. С торбаном, что ли. Впрочем, ведь ты меня первая обидела, глупым назвала, а мне, старику, и подавно можно правду тебе высказать.

— Хорошо, пусть будет правда; не будем об этом говорить. Скажите, пожалуйста, после бабушки осталось наследство?

— Как не остаться! Только законный наследник-то был налицо!

— То есть вы... И тем лучше. Она у вас здесь, в Головлеве, похоронена?

— Нет, в своем приходе, подле Погорелки, у Николы на Вопле. Сама пожелала.

— Так я поеду. Можно у вас, дядя, лошадей нанять?

— Зачем нанимать? свои лошади есть! Ты, чай, не чужая! Племяннушка... племяннушкой мне приходишься! — всхлопотался Порфирий Владимирыч, осклабясь «по-родственному». — Кибиточку... парочку лошадушек — слава те господи! не пустодомом живу! Да не поехать ли и мне вместе с тобой! И на могилке бы побывали и в Погорелку бы заехали! И туда бы заглянули, и там бы посмотрели, и поговорили бы, и подумали бы, что и как... Хорошенькая ведь у вас усадьбица, полезные в ней местечки есть!

— Нет, я уж одна... зачем вам? Кстати: ведь и Петенька тоже умер?

— Умер, дружок, умер и Петенька. И жалко мне его, с одной стороны, даже до слез жалко, а с другой стороны, сам виноват! Всегда он был к отцу непочтителен — вот Бог за это и наказал! А уж ежели что Бог в премудрости своей устроил, так нам с тобой переделывать не приходится!

— Понятное дело, не переделаем. Только я вот об чем думаю: как это вам, дядя, жить не страшно?

— А чего мне страшиться? видишь, сколько у меня благодати кругом? — Иудушка обвел рукою, указывая на образа. — И тут благодать и в кабинете благодать, а в об-разной так настоящий рай! Вон сколько у меня заступников!

— Все-таки... Всегда вы один... страшно!

— А страшно, так встану на колени, помолюсь — и все как рукой снимет! Да и чего бояться? днем — светло, а ночью у меня везде, во всех комнатах, лампадки горят! С улицы, как стемнеет, словно бал кажет! А какой у меня бал! Заступники да угодники божии — вот и весь мой бал!

— А знаете ли: ведь Петенька-то перед смертью писал к нам?

— Что ж! как родственник... И за то спасибо, что хоть родственные чувства не потерял!

— Да, писал! Уж после суда, когда решение вышло. Писал, что он три тысячи проиграл и вы ему не дали. Ведь вы, дядя, богатый?

— В чужом кармане, мой друг, легко деньги считать. Иногда нам кажется, что у человека золотые горы, а поглядеть да посмотреть, так у него на маслице да на свечечку — и то не его, а Богово!

— Ну, мы, стало быть, богаче вас. И от себя сложились, и кавалеров наших заставили подписаться — шесть-сот рублей собрали и послали ему.

— Какие же это «кавалеры»?

— Ах, дядя! да ведь мы... актрисы! вы сами же сейчас предлагали мне «очиститься»!

— Не люблю я, когда ты так говоришь!

— Что ж делать! Любите или не любите, а что сделано, того не переделаешь. Ведь, по-вашему, и тут Бог!

— Не кощунствуй, по крайней мере. Все можешь говорить, а кощунствовать... не позволяю! Куда же вы деньги послали?

— Не помню. В городок какой-то... Он сам назначил.

— Не знаю. Кабы были деньги, я должен был после смерти их получить! Не истратил же он всех разом! Не знаю, ничего я не получил. Смотрителишки да конвойные, чай, воспользовались!

— Да ведь мы и не требуем — это так, к слову сказалось. А все-таки, дядя, страшно: как это так — из-за трех тысяч человек пропал!

— То-то что не из-за трех тысяч. Это нам так кажет-

ся, что из-за трех тысяч — вот мы и твердим: три тысячи! три тысячи! А Бог...

Иудушка совсем уж было расхотелся, хотел объяснить во всей подробности, как Бог... провидение... невидимыми путями... и все такое... Но Аннинька бесцеремонно зевнула и сказала:

— Ах, дядя, скука какая у вас!

На этот раз Порфирий Владимырьч серьезно обиделся и замолчал. Долго ходили они рядом взад и вперед по столовой: Аннинька зевала, Порфирий Владимырьч в каждом углу крестился. Наконец доложили, что поданы лошади, и началась обычная комедия родственных проводов. Головлев нашел шубу, вышел на крыльцо, расцеловался с Аннинькой, кричал на людей: «Ноги-то! ноги-то теплее закутывайте!» или «Кутейки-то! кутейки-то взяли ли? ах, не забыть бы!» — и крестил при этом воздух.

Съездила Аннинька на могилку к бабушке, попросила воплинского батюшку панихидку отслужить, и когда дьячки уныло затянули вечную память, то поплакала. Картина, среди которой совершалась церемония, была печальная. Церковь, при которой схоронили Арину Петровну, принадлежала к числу бедных; штукатурка местами обвалилась и обнажила большими заплатами кирпичный остов; колокол звонил слабо и глухо; риза на священнике обветшала. Глубокий снег покрывал кладбище, так что нужно было разгребать дорогу лопатами, чтоб дойти до могилы; памятника еще не существовало, а стоял простой белый крест, на котором даже надписи никакой не значилось. Погост стоял уединенно, в стороне от всякого селения; неподалеку от церкви ютились почерневшие избы священника и причетников, а кругом во все стороны стлалась сиротливая снежная равнина, на поверхности которой по местам торчал какой-то хворост. Крепкий мартовский ветер носился над кладбищем, беспрестанно захлестывая ризу на священнике и относя в сторону пение причетников.

— И кто бы, сударыня, подумал, что под сим скромным крестом, при бедной нашей церкви, нашла себе успокоение богатейшая некогда помещица здешнего уезда! — сказал священник по окончании литии.

При этих словах Аннинька и еще поплакала. Ей вспомнилось: *где стол был яств — там гроб стоит*, и слезы так и лились. Потом она пошла к батюшке в хату, напилась чаю, побеседовала с матушкой, опять вспомнила: *и бледна смерть на всех глядит* — и опять много и долго плакала.

В Погорелку не было дано знать о приезде барышни, и потому там даже комнат в доме не истопили. Аннинька, не снимая шубы, прошла по всем комнатам и остановилась на минуту только в спальне бабушки и в образной. В бабушкиной комнате стояла ее постель, на которой так и лежала неубранная груда замасленных пуховиков и несколько подушек без наволочек. На письменном столе валялись разбросанные лоскутья бумаги; пол был не метен, и густой слой пыли покрывал все предметы. Аннинька присела в кресло, в котором сживала бабушка, и задумалась. Сначала явились воспоминания прошлого, потом на смену им пришли представления настоящего. Первые проходили в виде обрывков, мимолетно и не задерживаясь; вторые оседали плотно. Давно ли рвалась она на волю, давно ли Погорелка казалась ей постылою — и вот теперь, вдруг, ее сердце переполнило какое-то болезненное желание пожить в этом постылом месте. Тихо здесь; неудобно, неприглядно, но тихо, так тихо, что словно все кругом умерло. Воздуху много и простору, вон оно поле, — так бы и побежала. Без цели, без оглядки, только чтоб дышалось сильнее, чтоб грудь саднило. А там, в этой полукочевой среде, из которой она только что вырвалась и куда опять должна возвратиться, — что ее ждет? и что она от туда вынесла? — Воспоминание о пропитанных вонью гостиницах, об вечном гвалте, несущемся из общей столовой и из биллиардной, о нечесаных и немых полах, об репетициях среди царствующих на сцене сумерек, среди плотных раскрашенных кулис, до которых дотронуться гнусно, на сквозном ветру, на сырости... Вот и только! А потом: офицеры, адвокаты, циничные речи, пустые бутылки, скатерти, залитые вином, облака дыма и гвалт, гвалт, гвалт! И что они говорили ей! с каким цинизмом к ней прикасались!.. Особливо тот, усатый, с охрипшим от перепоя голосом, с воспаленными глазами, с вечным запахом конюшни... ах, что он говорил! Аннинька при этом воспоминании даже вздрогнула и зажмурила глаза. Потом, однако ж, очнулась, вздохнула и перешла в образную. В ките стояло уже немного образов, только те, которые несомненно принадлежали ее матери, а остальные, бабушкины, были вынуты и увезены Иудушкой, в качестве наследника, в Головлево. Образовавшиеся вследствие этого пустые места смотрели словно выколотые глаза. И лампад не было — все взял Иудушка; только один желтого воска огарок сиротливо ютился, забытый в крохотном жестяном подсвечнике.

— Они и кiotку хотели было взять, все доискивались, точно ли она барышнина приданая была? — донесла Афимьюшка.

— Что ж? и пусть бы брал. А что, Афимьюшка, бабушка долго перед смертью мучилась?

— Не то чтобы очень, всего с небольшим сутки лежали. Так, словно сами собой извелись. Ни больны настоящим манером не были, ничто! Ничего почесть и не говорили, только про вас с сестрицей раза с два помянули.

— Образа-то, стало быть, Порфирий Владимирыч увез?

— Он увез. Собственные, говорит, маменькины образа! И тарантас к себе увез, и двух коров. Все, стало быть, из барыниных бумаг усмотрел, что не ваши были, а бабенькины. Лошадь тоже одну оттягать хотел, да Федулыч не отдал: наша, говорит, это лошадь, старинная погорелковская, — ну, оставил, побоялся.

Походила Аннинька и по двору, заглянула в службы, на гумно, на скотный двор. Там среди навозной топи стоял «оборотный капитал»: штук двадцать тощих коров да три лошади. Велела принести хлеба, сказав при этом: «Я заплачу!» — и каждой корове дала по кусочку. Потом скотница попросила барышню в избу, где был поставлен на столе горшок с молоком, а в углу у печки, за низенькой перегородкой из досок, ютился новорожденный теленок. Аннинька поела молочка, побежала к теленочку, сгоряча поцеловала его в морду, но сейчас же брезгливо вытерла губы, говоря, что морда у теленка противная, вся в каких-то слюнях. Наконец вынула из портмоне три желтеньких бумажки, раздала старым слугам и стала собираться.

— Что ж вы будете делать? — спросила она, усаживаясь в кибитку, старика Федулыча, который в качестве старосты следовал за барышней с скрещенными на груди руками.

— А что нам делать! жить будем! — просто ответил Федулыч.

Анниньке опять взгрустнулось: ей показалось, что слова Федулыча звучат иронией. Она постояла-постояла на месте, вздохнула и сказала:

— Ну, прощайте!

— А мы было думали, что вы к нам вернетесь! с нами поживете! — молвил Федулыч.

— Нет уж... что! Все равно... живите!

И опять слезы полились у нее из глаз, и все при этом тоже заплакали. Как-то странно это выходило: вот и ниче-

го, казалось, ей не жаль, даже помянуть нечем — а она плачет. Да и они: ничего не было сказано выходящего из ряда будничных вопросов и ответов, а всем сделалось тяжело, «жалко». Посадили ее в кибитку, укутали, и все разом глубоко вздохнули.

— Счастливо! — раздалось за ней, когда повозка тронулась.

Ехавши мимо погоста, она вновь велела остановиться и одна, без причта, пошла по расчищенной дороге к могиле. Уже порядком стемнело, и в домах церковников загорелись огни. Она стояла, ухватившись одной рукой за надгробный крест, но не плакала, а только пошатывалась. Ничего особенного она не думала, никакой определенной мысли не могла формулировать, а горько ей было, всем существом горько. И не над бабушкой, а над самой собой горько. Бессознательно пошатываясь и наклоняясь, она простояла тут с четверть часа, и вдруг ей представилась Любинька, которая, быть может, в эту самую минуту соловьем разливается в каком-нибудь Кременчуге, среди развеселой компании...

Ah! ah! que j'aime, que j'aime!
Que j'aime les mili-mili-taires!

Она чуть не упала. Бегом добежала до повозки, села и велела как можно скорее ехать в Головлево.

Аннинька воротилась к дяде скучная, тихая. Впрочем, это не мешало ей чувствовать себя несколько голодной (дяденька впопыхах даже курочки с ней не отпустил), и она была очень рада, что стол для чая был уж накрыт. Разумеется, Порфирий Владимырьч не замедлил вступить в разговор.

— Ну что, побывала?

— Побывала.

— И на могилке помолилась? панихидку отслужила?

— Да, и панихидку.

— Священник-то, стало быть, дома был?

— Конечно, был; кто же бы панихиду служил?

— Да, да... И дьячки оба были? вечную память пропели?

— Пропели.

— Да. Вечная память! вечная память покойнице. Печная старушка, родственная была!

Иудушка встал со стула, обратился лицом к образам и помолился.

— Ну, а в Погорелке как застала? благополучно?

— Право, не знаю. Кажется, все на своем месте стоит.

— То-то «кажется»! Нам всегда «кажется», а посмотришь да поглядишь — и тут кривёнько, и там гнилёнько... Вот так-то мы и об чужих состояниях понятие себе составляем: «кажется»! все «кажется»! А впрочем, хорошенькая у вас усадьбица: преудобно вас покойница-маменька устроила, немало даже из собственных средств на усадьбу употребила... Ну, да ведь сиротам не грех и помочь!

Слушая эти похвалы, Аннинька не выдержала, чтоб не подразнить сердобольного дяденьку.

— А вы зачем, дядя, из Погорелки двух коров увели? — спросила она.

— Коров? каких это коров? Это Чернавку да Приведёнку, что ли? Так ведь они, мой друг, маменькины были!

— А вы ее законный наследник? Ну что ж! и владейте! Хотите, я вам еще теленочка велю прислать?

— Вот-вот-вот! ты уж и раскипятилась? А ты дело говори. Как, по-твоему, чьи коровы были?

— А я почем знаю! в Погорелке стояли!

— А я знаю, у меня доказательства есть, что коровы маменькины. Собственной ее руки я реестр отыскал, там именно сказано: «мой».

— Ну, оставим. Не стоит об этом говорить.

— Вот лошадь в Погорелке есть, лысенская такая — ну, об этой верно сказать не могу. Кажется, будто бы маменькина лошадь, а впрочем, не знаю! А чего не знаю, об том и говорить не могу!

— Оставим это, дядя.

— Нет, зачем оставлять! Я, брат, — прямой, я всякое дело начистоту вести люблю! Да отчего и не поговорить! Своего всякому жалко: и мне жалко и тебе жалко — ну, и поговорим! А коли говорить будем, так скажу тебе прямо: мне чужого не надобно, но и своего я не отдам. Потому что хоть вы мне и не чужие, а все-таки...

— И образá даже взяли! — опять не воздержалась Аннинька.

— И образá взял и все взял, что мне, как законному наследнику, принадлежит.

— Теперь киот-то весь словно в дырах...

— Что ж делать! И перед таким помолись! Богу ведь не киот, а молитва твоя нужна! Коли ты искренно приступаешь, так и перед плохенькими образами молитва твоя дойдет. А коли ты только так: болты-болты! да по сторо-

нам поглядеть, да книксен сделать — так и хорошие образа тебя не спасут!

Тем не менее Иудушка встал и возблагодарил Бога за то, что у него «хорошие» образа.

— А ежели не нравится старый киот — новый вели сделать. Или другие образа на место вынутых поставь. Прежние — маменька-покойница наживала да устраивала, а новые — ты уж сама наживи!

Порфирий Владимырьч даже хихикнул: так это рассуждение казалось ему резонно и просто.

— Скажите, пожалуйста, что же мне теперь делать предстоит? — спросила Аннинька.

— А вот погоди. Сначала отдохни, да понежься, да поспи. Побеседуем да посудим, и так посмотрим, и этак прикинем — может быть, вдвоем что-нибудь и выдумаем!

— Мы совершеннолетние, кажется?

— Да-с, совершеннолетние-с. Можете сами и действиями своими, и имением управлять!

— Слава богу, хоть это!

— Честь имеем поздравить-с!

Порфирий Владимырьч встал и полез целоваться.

— Ах, дядя, какой вы странный, все целуетесь!

— Отчего же и не поцеловаться! Не чужая ты мне — племяннушка! Я, мой друг, по-родственному! Я для родных всегда готов! Будь хоть троюродный, хоть четвероюродный — я всегда...

— Вы лучше скажите, что мне делать? в город, что ли, надобно ехать? хлопотать?

— И в город поедем, и похлопочем — все в свое время сделаем. А прежде — отдохни, поживи! Слава богу! не в трактире, а у родного дяди живешь! И поесть, и чайку попить, и вареньем полакомиться — всего вдоволь есть! А ежели кушанье какое не понравится — другого спроси! Спрашивай, требуй! Щец не захочется — супцу подать вели! Котлеточек, уточки, поросеночка... Евпраксеюшку за бока бери!.. А кстати, Евпраксеюшка! вот я поросеночком-то похвастался, а хорошенько и сам не знаю, есть ли у нас?

Евпраксеюшка, державшая в это время перед ртом блюдечко с горячим чаем, утвердительно повела носом воздух.

— Ну, вот видишь! и поросеночек есть! Всего, значит, чего душенька захочет, того и проси! Так-то!

Иудушка опять потянулся к Анниньке и по-родственному похлопал ее рукой по коленке, причем, конечно, не-

взначай, слегка позамешкался, так что сиротка инстинктивно отодвинулась.

— Но ведь мне ехать надо, — сказала она.

— Об том-то я и говорю. Потолкуем да поговорим, а потом и поедем. Благословясь да Богу помолясь, а не так как-нибудь: прыг да шмыг! Поспесишь — людей насмешишь! Спешат-то на пожар, а у нас, слава богу, не горит! Вот Любиньке — той на ярмарку спешить надо, а тебе что! Да вот я тебя еще что спрошу: ты в Погорелке, что ли, жить будешь?

— Нет, в Погорелке мне незачем.

— И я то же хотел тебе сказать. Поселись-ко у меня. Будем жить да поживать — еще как заживем-то!

Говоря это, Иудушка глядел на Анниньку такими масляными глазами, что ей сделалось неловко.

— Нет, дядя, я не поселюсь у вас. Скучно.

— Ах, глупенькая, глупенькая! И что тебе эта скука далась! Скучно да скучно, а чем скучно — и сама, чай, не скажешь! У кого, мой друг, дело есть да кто собой управлять умеет — тот никогда скуки не знает. Вот я, например: не вижу, как и время летит! В будни — по хозяйству; там посмотришь, тут поглядишь, туда сходишь, побеседуешь, посудишь — смотришь, ан день и прошел! А в праздник — в церковь! Так-то и ты! Поживи с нами — и тебе дело найдется, а дела нет — с Евпраксеюшкой в дурачки садись или саночки вели заложить — катай да покатывай! А лето настанет — по грибы в лес поедем! на траве чай станем пить!

— Нет, дядя, напрасно вы и предлагаете!

— Право бы, пожила.

— Нет. А вот что: устала я с дороги, так спать нельзя ли мне лечь?

— И баиньки можно. И кровать у меня готова для тебя, и все как следует! Хочется тебе баиньки — почивай, Христос с тобой! А все-таки ты об этом подумай: куда бы лучше, кабы ты с нами в Головлеве осталась!

Аннинька провела ночь беспокойно. Нервная блажь, которая застигла ее в Погорелке, продолжалась. Бывают минуты, когда человек, который дотоле только существовал, вдруг начинает понимать, что он не только воистину живет, но что в его жизни есть даже какая-то язва. Откуда она взялась, каким образом и когда именно образовалась — в большей части случаев он хорошо себе не объ-

ясняет и чаще всего приписывает происхождение язвы совсем не тем причинам, которые в действительности ее обусловили. Но для него оценка факта даже не нужна: достаточно и того, что язва существует. Действие такого внезапного откровения, будучи для всех одинаково мучительным, в дальнейших практических результатах видоизменяется, смотря по индивидуальным темпераментам. Одних сознание обновляет, воодушевляет решимостью начать новую жизнь на новых основаниях; на других оно отражается лишь преходящею болью, которая не произведет в будущем никакого перелома к лучшему, но в настоящем высказывается даже болезненнее, нежели в том случае, когда встревоженной совести, вследствие принятых решений, все-таки представляются хоть некоторые просветы в будущем.

Аннинька не принадлежала к числу таких личностей, которые в сознании своих язв находят повод для жизненного обновления, но тем не менее, как девушка неглупая, она отлично понимала, что между теми смутными мечтами о трудовом хлебе, которые послужили ей исходным пунктом для того, чтобы навсегда покинуть Погорелку, и положением провинциальной актрисы, в котором она очутилась, существует целая бездна. Вместо тихой жизни труда она нашла бурное существование, наполненное бесконечными кутежами, наглым цинизмом и беспорядочною, ни к чему не приводящею суетою. Вместо лишений и суровой внешней обстановки, с которыми она когда-то примирялась, ее встретило относительное довольство и роскошь, об которых она, однако ж, не могла теперь вспоминать без краски на лице. И вся эта перестановка как-то незаметно для нее самой случилась: шла она куда-то в хорошее место, но вместо одной двери попала в другую. Желания ее были действительно очень скромные. Сколько раз, бывало, сидя в Погорелке на мезонине, она видела себя в мечтах серьезною девушкой, трудящейся, алчущей образовать себя, с твердостью переносящей нужду и лишения ради идеи блага (правда, что слово «благо» едва ли имело какое-нибудь определенное значение); но едва она вышла на широкую дорогу самодеятельности, как сама собою сложилась такая практика, которая сразу разбила в прах всю мечту. Серьезный труд не приходит сам собой, а дается только упорному исканию и подготовке, ежели и не полной, то хотя до известной степени помогающей исканию. Но требованиям этим не отвечали ни темперамент, ни воспитание Анниньки. Темперамент ее вовсе не

отличался страстностью, а только легко раздражался; материал же, который дало ей воспитание и с которым она собралась войти в трудовую жизнь, был до такой степени несостоятелен, что не мог послужить основанием ни для какой серьезной профессии. Воспитание это было, так сказать, институтско-опереточное, в котором перевес брала едва ли не оперетка. Тут в хаотическом беспорядке перемешивались и задача о летящем стаде гусей, и па с шалью, и проповедь Петра Пикардского, и проделки Елены Прекрасной, и ода к Фелице, и чувства признательности к начальникам и покровителям благородных девиц. В этом беспорядочном винегрете (вне которого она с полным основанием могла назвать себя *tabula rasa*¹) трудно было даже разобраться, а не то что исходную точку найти. Не любовь к труду пробуждала такая подготовка, а любовь к светскому обществу, желание быть окруженной, выслушивать любезности кавалеров и вообще погрузиться в шум, блеск и вихрь так называемой светской жизни.

Если бы она следила за собой пристальнее, то даже в Погорелке, в те минуты, когда в ней еще только зарождались проекты трудовой жизни, когда она видела в них нечто вроде освобождения из плена египетского, — даже и тогда она могла бы изловить себя в мечтах не столько работающей, сколько окруженной обществом единомыслящих людей и коротающей время в умных разговорах. Конечно, и люди этих мечтаний были умные, и разговоры их — честные и серьезные, но все-таки на сцене первенствовала праздничная сторона жизни. Бедность была опрятная, лишения свидетельствовали только об отсутствии излишеств. Поэтому когда на деле мечты о трудовом хлебе разрешились тем, что ей предложили занять опереточное амплуа на подмостках одного из провинциальных театров, то, несмотря на контраст, она колебалась недолго. Наскоро освежила она институтские сведения об отношениях Елены к Менелаю, дополнила их некоторыми биографическими подробностями из жизни великолепного князя Тавриды и решила, что этого было совершенно достаточно, чтобы воспроизводить «Прекрасную Елену» и «Отрывки из Герцогини Герольштейнской» в губернских городах и на ярмарках. При этом, для очистки совести, она припоминала, что один студент, с которым она познакомилась в Москве, на каждом шагу восклицал: «Святое искусство!» — и тем охотнее сделала эти слова девизом

¹ Чистая доска (лат.); здесь в смысле: ничего не знающая.

своей жизни, что они приличным образом развязывали ей руки и придавали хоть какой-нибудь наружный декорум ее вступлению на стезю, к которой она инстинктивно рвалась всем своим существом.

Жизнь актрисы взбудоражила ее. Одинокая, без руководящей подготовки, без сознанный цели, с одним только темпераментом, жаждущим шума, блеска и похвал, она скоро увидела себя кружащеюся в каком-то хаосе, в котором толпилось бесконечное множество лиц, без всякой связи сменявших одно другое. Это были лица разнообразнейших характеров и убеждений, так что самые мотивы для сближения с тем или другим отнюдь не могли быть одинаковыми. Тем не менее и тот, и другой, и третий равно составляли ее круг, из чего должно было заключить, что тут, собственно говоря, не могло быть и речи об мотивах. Ясно, стало быть, что ее жизнь сделалась чем-то вроде въезжего дома, в ворота которого мог стучаться каждый, кто сознавал себя веселым, молодым и обладающим известными материальными средствами. Ясно, что тут дело шло совсем не об том, чтобы *подбирать* себе общество по душе, а об том, чтобы примоститься к какому бы то ни было обществу, лишь бы не изнывать в одиночестве. В сущности, «святое искусство» привело ее в полойную яму, но голова ее сразу так закружилась, что она не могла различить этого. Ни немые рожи коридорных, ни захватанные, покрытые слизью декорации, ни шум, вонь и гвалт гостиниц и постоялых дворов, ни цинические выходы поклонников — ничто не отрезвляло ее. Она не замечала даже, что постоянно находится в обществе одних мужчин и что между нею и другими женщинами, имеющими *постоянное положение*, легла какая-то непреодолимая преграда.

Отрезвил на минуту приезд в Головлево.

С утра, почти с самой минуты приезда, ее уж что-то мутило. Как девушка впечатлительная, она очень быстро проникалась новыми ощущениями и не менее быстро применялась ко всяким положениям. Поэтому с приездом в Головлево она вдруг почувствовала себя «барышней». Припомнила, что у нее есть что-то свое: свой дом, свои могилы, и захотелось ей опять увидеть прежнюю обстановку, опять подышать тем воздухом, из которого она так недавно без оглядки бежала. Но впечатление это немедленно же должно было разбиться при столкновении с действительностью, встретившеюся в Головлеве. В этом отношении ее можно было уподобить тому человеку, который с

приветливым выражением лица входит в общество давно не виденных им людей и вдруг замечает, что к его приветливости все относятся как-то загадочно. Погано скошенные на ее бюст глаза Иудушки сразу напомнили ей, что позади у нее уже образовался своего рода скарб, с которым не так-то легко расчитаться. И когда, после наивных вопросов погорелковской прислуги, после назидательных вздохов воплинского батюшки и его попадьи и после новых поучений Иудушки, она осталась одна, когда она проверила на досуге впечатления дня, то ей сделалось уже совсем несомненно, что прежняя «барышня» умерла навсегда, что отныне она только актриса жалкого провинциального театра и что положение русской актрисы очень недалеко отстоит от положения публичной женщины.

До сих пор она жила как во сне. Обнажалась в «Прекрасной Елене», являлась пьяною в «Периколе», вела всевозможные бесстыдства в «Отрывках из Герцогини Герольштейнской» и даже жалела, что на театральных подмостках не принято представлять «la chose» и «l'amour», воображая себе, как бы она обольстительно вздрагивала поясницей и шикарно вертела хвостом. Но ей никогда не приходило в голову вдумываться в то, что она делает. Она об том только старалась, чтоб все выходило у ней «мило», с «шиком» и в то же время нравилось офицерам расквартированного в городе полка. Но что это такое и какого сорта ощущения производят в офицерах ее вздрагивания — она об этом себя не спрашивала. Офицеры представляли в городе решающую публику, и ей было известно, что от них зависел ее успех. Они вторгались за кулисы, бесцеремонно стучались в двери ее уборной, когда она была еще полуодета, называли ее уменьшительными именами — и она смотрела на все это как на простую формальность, род неизбежной обстановки ремесла, и спрашивала себя только об том, «мило» или «не мило» выдерживает она в этой обстановке свою роль? Но ни тела своего, ни души она покуда еще не сознавала публичными. И вот теперь, когда она на минуту опять почувствовала себя «барышней», ей вдруг сделалось как-то невыносимо мерзко. Как будто с нее сняли все покровы до последнего и всенародно вывели ее обнаженною; как будто все эти подлые дыхания, зараженные запахами вина и конюшни, разом охватили ее; как будто она на всем своем теле почувствовала прикосновение потных рук, слюнявых губ и блуждание мутных, исполненных плотоядной животности глаз, которые бессмысленно скользят по кривой

линии ее обнаженного тела, словно требуют от него ответа: что такое «la chose»?

Куда идти? где оставить этот скарб, который надавливал ее плечи? Вопрос этот безнадежно метался в ее голове, но именно только метался, не находя и даже не ища ответа. Ведь и это был своего рода сон: и прежняя жизнь была сон, и теперешнее пробуждение — тоже сон. Огорчилась девочка, расчувствовалась — вот и все. Пройдет. Бывают минуты хорошие, бывают и горькие — это в порядке вещей. Но и те и другие только скользят, а отнюдь не изменяют однажды сложившегося хода жизни. Чтоб дать последней другое направление, необходимо много усилий, нужна не только нравственная, но и физическая храбрость. Это почти то же, что самоубийство. Хотя перед самоубийством человек проклинает свою жизнь, хотя он положительно знает, что для него смерть есть свобода, но орудие смерти все-таки дрожит в его руках, нож скользит по горлу, пистолет, вместо того чтоб бить прямо в лоб, бьет ниже, уродует. Так-то и тут, но еще труднее. И тут предстоит убить свою прежнюю жизнь, но, убив ее, самому остаться живым. То «ничто», которое в заправском самоубийстве достигается мгновенным спуском курка, — тут, в этом особом самоубийстве, которое называется «обновлением», достигается целым рядом суровых, почти аскетических усилий. И достигается все-таки «ничто», потому что нельзя же назвать нормальным существование, которого содержание состоит из одних усилий над собой, из лишений и воздержаний. У кого воля изнежена, кто уже подточен привычкой легкого существования — у того голова закружится от одной перспективы подобного «обновления». И инстинктивно, отворачивая голову и замуривая глаза, стыдясь и обвиняя себя в малодушии, он все-таки опять пойдет по утопанной дороге.

Ах! великая вещь — жизнь труда! Но с нею сживаются только сильные люди да те, которых осудил на нее какой-то проклятый прирожденный грех. Только таких он не пугает. Первых — потому что, сознавая смысл и ресурсы труда, они умеют отыскивать в нем наслаждение; вторых — потому что для них труд есть прежде всего прирожденное обязательство, а потом и привычка.

Анниньке даже на мысль не приходило основаться в Погорелке или в Головлеве, и в этом отношении ей большую помощь оказала та деловая почва, на которую ее поставили обстоятельства и которой она инстинктивно не покидала. Ей был дан отпуск, и она уже заранее распре-

делила все время его и назначила день отъезда из Головлева. Для людей слабохарактерных те внешние грани, которые обставляют жизнь, значительно облегчают бремя ее. В затруднительных случаях слабые люди инстинктивно жмутся к этим граням и находят в них для себя оправдание. Так именно поступила и Аннинька: она решила как можно скорее уехать из Головлева, и ежели дядя будет приставать, то оградить себя от этих приставаний необходимостью явиться в назначенный срок.

Проснувшись на другой день утром, она прошлась по всем комнатам громадного головлевского дома. Везде было пустынно, неприятно, пахло отчуждением, выморочностью. Мысль поселиться в этом доме без срока окончательно испугала ее. «Ни за что! — твердила она в каком-то безотчетном волнении. — Ни за что!»

Порфирий Владимырьч и на другой день встретил ее с обычной благосклонностью, в которой никак нельзя было различить, хочет ли он приласкать человека или намерен высосать из него кровь.

— Ну что, торопыга, выпалась? куда-то теперь торопиться будешь? — пошутил он.

— И то, дядя, тороплюсь; ведь я в отпуску, надобно на срок поспевать.

— Это опять скоморошничать? не пущу!

— Пускайте или не пускайте — сама уеду!

Иудушка грустно покачал головой.

— А бабушка-покойница что скажет? — спросил он тоном ласкового укора.

— Бабушка и при жизни знала. Да что это, дядя, за выражения у вас? вчера с гитарой меня по ярмаркам посылали, сегодня об скоморошничестве разговор завели? Слышите! я не хочу, чтоб вы так говорили!

— Эге! видно, правда-то кусается! А вот я так люблю правду! По мне, ежели правда...

— Нет, нет! не хочу я, не хочу! ни правды, ни неправды мне вашей не надо! Слышите! не хочу я, чтоб вы так выражались!

— Ну-ну! раскипятилась! пойдём-ка, стрекоза, за добра ума, чай пить! Самовар-то уж, чай, давно хр-хр... да зз-зз... на столе делает.

Порфирий Владимырьч шуточкой да смешком хотел изгладить впечатление, произведенное словом «скоморошничать», и в знак примирения даже потянулся к племян-

нице, чтоб обнять ее за талию, но Анниньке все это показалось до того глупым, почти гнусным, что она брезгливо уклонилась от ожидавшей ее ласки.

— Я вам серьезно повторяю, дядя, что мне надо торопиться! — сказала она.

— А вот пойдем сначала чайку попьем, а потом и поговорим!

— Да почему же непременно после чаю? почему нельзя до чаю поговорить?

— А потому что потому. Потому что все чередом делать надо. Сперва одно, потом — другое, сперва чайку попьем да поболтаем, а потом и об деле переговорим. Все успеем.

Перед таким непреборимым пустословием оставалось только покориться. Стали пить чай, причем Иудушка самым злостным образом длил время, помаленьку прихлебывая из стакана, крестясь, похлопывая себя по ляжке, калякая об покойнице маменьке и проч.

— Ну вот, теперь и поговорим, — сказал он наконец. — Ты долго ли намерена у меня погостить?

— Да больше недели мне нельзя. В Москве еще побывать надо.

— Неделя, мой друг, — большое дело; и много дела можно в неделю сделать и мало дела — как взяться.

— Мы, дядя, лучше больше сделаем.

— Об том-то я и говорю. И много можно сделать и мало. Иногда много хочешь сделать, а выходит мало, а иногда будто и мало делается, ан смотришь, с божьею помощью, все дела незаметно прикончил. Вот ты спешишь, в Москве тебе побывать, вишь, надо, а зачем, коли тебя спросить, — ты и сама путем не сумеешь ответить. А помоему, вместо Москвы-то лучше бы это время на дело употребить.

— В Москву мне необходимо, потому что я хочу попытать, нельзя ли нам на тамошнюю сцену поступить. А что касается до дела, так ведь вы сами же говорите, что в неделю можно много дела наделать.

— Смотря по тому, как возьмешься, мой друг. Ежели возьмешься как следует — все у тебя пойдет и ладно и плавно; а возьмешься не так, как следует, — ну, и застрянет дело, в долгий ящик оттянется.

— Так вы меня поруководите, дядя!

— То-то вот и есть. Как нужно, так «вы меня поруководите, дядя!», а не нужно — так и скучно у дяди и поскорее бы от него уехать! Что, небось неправда?

— Да вы только скажите, что мне делать нужно?

— Стой, погоди! Так вот я и говорю: как нужен дядя — он и голубчик, и миленький, и душенька, а не нужен — сейчас ему хвост покажут! А нет того, чтоб спроситься у дяди: как, мол, вы, дяденька-голубчик, полагаете — можно мне в Москву съездить?

— Какой вы, дядя, странный! Ведь мне в Москве необходимо быть, а вы вдруг скажете, что нельзя?

— А скажу: нельзя — и посиди! Не посторонний сказал, дядя сказал — можно и послушаться дядю. Ах, мой друг, мой друг! Еще хорошо, что у вас дядя есть — все же и пожалеть об вас и остановить вас есть кому! А вот как у других — нет никого! Ни их пожалеть, ни остановить — одни растут. Ну, и бывает с ними... всякие случайности в жизни бывают, мой друг!

Аннинька хотела было возразить, однако поняла, что это значило бы только подливать масла в огонь, и смолчала. Она сидела и безнадежно смотрела на расходившегося Порфирия Владимировича.

— Вот я давно хотел тебе сказать, — продолжал между тем Иудушка, — не нравится мне, куда как не нравится, что вы по этим... по ярмаркам ездите! Хоть тебе и нелюбо, что я об гитарах говорил, а все-таки...

— Да ведь мало сказать: не нравится! Надобно на какой-нибудь выход указать!

— Живи у меня — вот тебе и выход!

— Ну нет... это... ни за что!

— Что так?

— А то, что нечего мне здесь делать. Что у вас делать? Утром встать — чай пить идти, за чаем думать: вот завтракать подадут! за завтраком — вот обедать накрывать будут! за обедом — скоро ли опять чай? А потом ужинать и спать... умрешь у вас!

— И все, мой друг, так делают. Сперва чай пьют, потом, кто привык завтракать — завтракают, а вот я не привык завтракать — и не завтракаю; потом обедают, потом вечерний чай пьют, а наконец, и спать ложатся. Что же! кажется, в этом ни смешного, ни предосудительного нет! Вот если б я...

— Ничего предосудительного, только не по мне.

— Вот если б я кого-нибудь обидел, или осудил, или дурно об ком-нибудь высказался — ну, тогда точно! можно бы и самого себя за это осудить! А то чай пить, завтракать, обедать... Христос с тобой! да и ты, как ни прятка, а без пищи не проживешь!

— Ну да, все это хорошо, да только не по мне!

— А ты не все на свой аршин меряй — и об старших подумай! «По мне» да «не по мне» — разве можно так говорить! А ты говори: «по-божьему» или «не по-божьему» — вот это будет дельно, вот это будет так! Коли ежели у нас в Головлеве не по-божьему, ежели мы против Бога поступаем, грешим, или ропщем, или завидуем, или другие дурные дела делаем — ну, тогда мы действительно виноваты и заслуживаем, чтоб нас осуждали. Только и тут еще надобно доказать, что мы точно не по-божьему поступаем. А то на-тко! «не по мне!» Да скажу терепича хоть про себя — мало ли что не по мне! Не по мне вот, что ты так со мной разговариваешь да родственную мою хлеб-соль хаешь, — однако я сiju молчу! Дай, думаю, я ей тихим манером почувствовать дам — может быть, она и сама собой образумится! Может быть, покуда я шуточкой да усмешечкой на твои выходки отвечаю, ан ангел-то твой хранитель и наставит тебя на путь истинный! Ведь мне не за себя, а за тебя обидно! А-а-ах, мой друг, как это нехорошо! И хоть бы я что-нибудь тебе дурное сказал, или дурно против тебя поступил, или обиду бы какую-нибудь ты от меня видела — ну, тогда бог бы с тобой! Хоть и велит Бог от старшего даже поучение принять — ну, да уж если я тебя обидел, бог с тобой! Сердись на меня! А то сiju я смирнехонько да тихохонько, сiju, ничего не говорю, только думаю, как бы получше да поудобнее, чтобы всем на радость да на утешение — а ты! фу-ты, ну-ты! — вот ты на мои ласки какой ответ даешь! А ты не сразу все выговаривай, друг мой, а сначала подумай, да Богу помолись, да попроси его вразумить себя! И вот коли ежели...

Порфирий Владимирыч разглагольствовал долго, не переставая. Слова бесконечно тянулись одно за другим, как густая слюна. Аннинька с безотчетным страхом глядела на него и думала: как это он не захлебнется? Однако так-таки не сказал дяденька, что ей предстоит делать по случаю смерти Арины Петровны. И за обедом пробовала она ставить этот вопрос, и за вечерним чаем, но всякий раз Иудушка начинал гянуть какую-то постороннюю канитель, так что Аннинька не рада была, что и возбудила разговор, и об одном только думала: когда же все это кончится?

После обеда, когда Порфирий Владимирыч отправился спать, Аннинька осталась один на один с Евпраксеюшкой, и ей вдруг припала охота вступить в разговор с дяденькиной экономкой. Ей захотелось узнать, почему Евпраксе-

юшке не страшно в Головлеве и что дает ей силу выдерживать потоки пустопорожных слов, которые с утра до вечера извергали дяденькины уста.

— Скучно вам, Евпраксеюшка, в Головлеве?

— Чего нам скучать? мы не господа!

— Все же... всегда вы одни... ни развлечений, ни удовольствий у вас — ничего!

— Каких нам удовольствий надо! Скучно — так в окошко погляжу. Я и у папеньки, у Николы в Капельках, жила, немного веселости-то видела!

— Все-таки дома, я полагаю, вам было лучше... Товарки были, друг к другу в гости ходили, играли...

— Что уж!

— А с дядей... Говорит он все что-то скучное и долго как-то. Всегда он так?

— Всегда, цельный день так говорят.

— И вам не скучно?

— Мне что! Я ведь не слушаю!

— Нельзя же совсем не слушать. Он может заметить это, обидеться.

— А почему он знает! Я ведь смотрю на него. Он говорит, а я смотрю да этим временем про свое думаю.

— Об чем же вы думаете?

— Обо всем думаю. Огурцы солить надо — об огурцах думаю, в город за чем посылать надо — об этом думаю. Что по домашности требуется — обо всем думаю.

— Стало быть, вы хоть и вместе живете, а на самом-то деле все-таки одни?

— Да почесть что одна. Иногда разве вечером вздумает в дураки играть — ну, играем. Да и тут: середь самой игры остановятся, сложат карты и начнут говорить. А я смотрю. При покойнице, при Арине Петровне, веселее было. При ней он лишнее-то говорить побаивался; нет-нет да и остановит старуха. А нынче ни на что не похоже, какую волю над собой взял!

— Вот видите ли! ведь это, Евпраксеюшка, страшно! Страшно, когда человек говорит и не знаешь, зачем он говорит, что говорит и кончит ли когда-нибудь. Ведь страшно? неловко ведь?

Евпраксеюшка взглянула на нее, словно ее впервые озарила какая-то удивительная мысль.

— Не вы одни, — сказала она, — многие у нас их за это не любят!

— Вот как!

— Да. Хоть бы лакеи — ни один долго ужиться у нас

не может; почестъ каждый мѣсяцъ меняемъ. Приказчики тоже. И все из-за этого.

— Надоедаетъ?

— Тиранитъ. Пьяницы — те живутъ, потому что пьяница не слышитъ. Ему хоть в трубу труби — у него все равно голова какъ горшкомъ прикрыта. Такъ опять беда: они пьяницъ не любятъ.

— Ахъ, Евпраксеюшка, Евпраксеюшка! а онъ еще меня в Головлевѣ жить уговариваетъ!

— А что жъ, барышня! вы бы и заправду с нами пожили! можетъ быть, они бы и посовѣстились при васъ!

— Ну нетъ! слуга покорная! ведь у меня терпенья не достанетъ в глаза ему смотреть!

— Что и говорить! вы — господа! у васъ своя воля! Однако, чай, воля-воля, а тоже и по чужой дудочкѣ подплясывать приходится!

— Еще какъ часто-то!

— То-то и я думала! А я вотъ еще что хотела васъ спросить: хорошо в актрисахъ служить?

— Свой хлебъ — и то хорошо.

— А правда ли, Порфирий Владимирычъ мнѣ сказывали: будто бы актрис чужие мужчины зѣвсе за талию держатъ?

Аннинька на минуту вспыхнула.

— Порфирий Владимирычъ не понимаетъ, — отвѣтила она раздражительно, — оттого и несетъ чепуху. Онъ даже того различить не можетъ, что на сценѣ происходитъ игра, а не действительность.

— Ну, однако! То-то и онъ, Порфирий-то Владимирычъ... Какъ увидѣлъ васъ, — даже губы распустилъ! «Племяннушка» да «племяннушка!» какъ и путный! А у самого бесстыжие глаза такъ и бегаютъ!

— Евпраксеюшка! зачемъ вы глупости говорите!

— Я-то? мнѣ — что! Поживете — сами увидите! А мнѣ что! Откажутъ отъ мѣста — я опять къ батюшкѣ уйду. И то ведь скучно здѣсь; правду вы это сказали.

— Чтобъ я могла здѣсь остаться, это вы напрасно даже предполагаете. А вотъ что скучно в Головлевѣ — это такъ. И чемъ дольше вы будете здѣсь жить, темъ будетъ скучнее.

Евпраксеюшка слегка задумалась, потомъ зевнула и сказала:

— Я когда у батюшка жила, тощяя-претощяя была. А теперъ — ишь какая! печь печью сделалась! Скука-то, стало быть, прокъ идетъ!

— Все равно долго не выдержите. Вот помяните мое слово, не выдержите.

На этом разговор кончился. К счастью, Порфирий Владимирыч не слышал его — иначе он получил бы новую и благодарную тему, которая, несомненно, освежила бы бесконечную канитель его нравоучительных разговоров.

Целых два дня еще мучил Порфирий Владимирыч Анниньку. Все говорил: вот потерпи да погоди! потихоньку да полегоньку! благословясь да Богу помолясь! и проч. Со всем ее истомил. Наконец на пятый день собрался-таки в город, хотя и тут нашел средство истерзать племянницу. Она уж стояла в передней в шубе, а он, словно назло, целый час проклажался. Одевался, умывался, хлопал себя по ляжкам, крестился, ходил, сидел, отдавал приказания вроде: «Так так-то, брат!» или «Так ты уж тово... смотри, брат, как бы чего не было!» Вообще поступал так, как бы оставлял Головлево не на несколько часов, а навсегда. Замаевши всех: и людей и лошадей, полтора часа стоявших у подъезда, он, наконец, убедился, что у него самого пересохло в горле от пустяков, и решил ехать.

В городе все дело покончилось, покуда лошади ели овес на постоялом дворе. Порфирий Владимирыч представил отчет, по которому оказалось, что сиротского капитала, по день смерти Арины Петровны, состояло без малого двадцать тысяч рублей в пятипроцентных бумагах. Затем просьба о снятии опеки вместе с бумагами, свидетельствовавшими о совершеннолетию сирот, была принята, и тут же последовало распоряжение об упразднении опекунского управления и о сдаче имения и капиталов владельцам. В тот же день вечером Аннинька подписала все бумаги и описи, изготовленные Порфирием Владимирычем, и наконец свободно вздохнула.

Остальные дни Аннинька провела в величайшей ажитации. Ей хотелось уехать из Головлева немедленно, сейчас же, но дядя на все ее порывания отвечал шуточками, которые, несмотря на добродушный тон, скрывали за собой такое дурацкое упорство, какого никакая человеческая сила сломить не в состоянии.

— Сама сказала, что неделю поживешь — ну, и поживи! — говорил он. — Что тебе! не за квартиру платить — и без платы милости просим! И чайку попить и покушать — все, чего тебе вздумается, все будет!

— Да ведь мне, дядя, необходимо! — спрашивалась Аннинька.

— Тебе не сидится, а я лошадок не дам! — шутил

Иудушка. — Не дам лошадок, и сиди у меня в плену! Вот неделя пройдет — ни слова не скажу!! Отстоим обеденку, поедим на дорожку, чайку попьем, побеседуем... Наглядимся друг на друга — и с богом! Да вот что! не съездить ли тебе опять на могилку в Воплино? Все бы с бабушкой простилась — может, покойница и благой бы совет тебе подала!

— Пожалуй! — согласилась Аннинька.

— Так мы вот как сделаем: в среду раненко здесь обеденку отслушаем да на дорожку пообедаем, а потом мои лошадки довезут тебя до Погорелки, а оттуда до Двориков уж на своих, на погорелковских лошадках поедешь. Сама помещица! свои лошадки есть!

Приходилось смириться. Пошлость имеет громадную силу; она всегда застаёт свежего человека врасплох, и, в то время как он удивляется и осматривается, она быстро опутывает его и забирает в свои тиски. Всякому, вероятно, случалось, проходя мимо клоаки, не только зажимать нос, но и стараться не дышать; точно такое же насилие должен делать над собой человек, когда вступает в область, насыщенную празднословием и пошлостью. Он должен притупить в себе зрение, слух, обоняние, вкус; должен победить всякую восприимчивость, одеревенеть. Только тогда миазмы пошлости не задушат его. Аннинька поняла это, хотя и поздно; во всяком случае, она решила предоставить дело своего освобождения из Головлева естественному ходу вещей. Иудушка до того победил ее непреоборимостью своего празднословия, что она не смела даже уклониться, когда он обнимал ее и по-родственному гладил по спине, приговаривая: «Вот теперь ты паинька!» Она невольно каждый раз вздрагивала, когда чувствовала, что костлявая и слегка трепещущая рука его ползет по ее спине, но от дальнейших выражений гадливости ее удерживала мысль: «Господи! хоть бы через неделю-то отпустил!» К счастью для нее, Иудушка был малый небрезгливый, и хотя, быть может, замечал ее нетерпеливые движения, но помалчивал. Очевидно, он придерживался той теории взаимных отношений полов, которая выражается пословицей: люби не люби, да почаще взглядывай!

Наконец наступил нетерпеливо ожидаемый день отъезда. Аннинька поднялась чуть не в шесть часов утра, но Иудушка все-таки упредил ее. Он уже совершил обычное молитвенное стояние и, в ожидании первого удара церковного колокола, в туфлях и халатном сюртуке слонялся по комнатам, заглядывал, подслушивал и проч. Очевидно, он

был ажитирован и при встрече с Аннинькой как-то искоса взглянул на нее. На дворе уже было совсем светло, но время стояло скверное. Все небо было покрыто сплошными темными облаками, из которых сыпалась весенняя изморось — не то дождь, не то снег; на почерневшей дороге поселка виднелись лужи, предвещавшие зажоры в поле; сильный ветер дул с юга, обещая гнилую оттепель; деревья обнажились от снега и беспорядочно покачивали из стороны в сторону своими намокшими голыми вершинами; господские службы почернели и словно ослизли. Порфирий Владимырьч подвел Анниньку к окну и указал рукой на картину весеннего возрождения.

— Уж ехать ли, полно? — спросил он. — Не остаться ли?

— Ах нет, нет! — испуганно вскрикнула она. — Это... это... пройдет!

— Вряд ли. Ежели ты в час выедешь, то вряд ли раньше семи до Погорелки доедешь. А ночью разве можно в теперешнюю ростепель ехать — все равно придется в Погорелке ночевать.

— Ах нет! я и ночью, я сейчас же поеду... я ведь, дядя, храбрая! да и зачем же дожидаться до часу? Дядя! голубчик! позвольте мне теперь уехать!

— А бабенка что скажет? Скажет: вот так внучка! приехала, попрыгала и даже благословиться у меня не захотела!

Порфирий Владимырьч остановился и замолчал. Некоторое время он семенял ногами на одном месте и то взглядывал на Анниньку, то опускал глаза. Очевидно, он решался и не решался что-то высказать.

— Постой-ка, я тебе что-то покажу! — наконец решился он и, вынув из кармана свернутый листок почтовой бумаги, подал его Анниньке. — На-тко, прочти!

Аннинька прочла:

«Сегодня я молился и просил боженьку, чтоб он оставил мне мою Анниньку. И боженька мне сказал: возьми Анниньку за полненькую тальицу и прижми ее к своему сердцу».

— Так, что ли? — спросил он, слегка побледнев.

— Фу, дядя! какие гадости! — ответила она, растерянно смотря на него.

Порфирий Владимырьч побледнел еще больше и, произнеся сквозь зубы: «Видно, нам гусаров нужно!», перекрестился и, шаркая туфлями, вышел из комнаты.

Через четверть часа он, однако ж, возвратился как ни в чем не бывало и уж шутил с Аннинькой.

— Так как же? — говорил он. — В Воплино отсюда заедешь? с старушкой, бабенькой, проститься хочешь? простись! простись, мой друг! Это ты хорошее дело затеяла, что про бабеньку вспомнила! Никогда не нужно родных забывать, а особливо таких родных, которые, можно сказать, душу за нас полагали!

Отслушали обедню с панихидой, поели в церкви кутьи, потом домой приехали, опять кутьи поели и сели за чай. Порфирий Владимирыч, словно назло, медленнее обыкновенного прихлебывал чай из стакана и мучительно растягивал слова, разглагольствуя в промежутке двух глотков. К десяти часам, однако ж, чай кончился, и Аннинька взмолилась:

— Дядя! теперь мне можно ехать?

— А покушать? отобедать-то на дорожку! Неужто ж ты думала, что дядя так тебя и отпустит! И ни-ни! и не думай! Этого и в заводе в Головлеве не бывало! Да маменька-покойница на глаза бы меня к себе не пустила, если б знала, что я родную племяннушку без хлеба-соли в дорогу отпустил! И не думай этого! и не воображай!

Опять пришлось смириться. Прошло, однако ж, полтора часа, а на стол и не думали накрывать. Все разбрелись: Евпраксеюшка, гремя ключами, мелькала на дворе, между кладовой и погребом; Порфирий Владимирыч толковал с приказчиком, изнуряя его беспутными приказа-ниями, хлопая себя по ляжкам и вообще ухищряясь как-нибудь затянуть время. Аннинька ходила одна взад и вперед по столовой, поглядывая на часы, считая свои шаги, а потом секунды: раз, два, три... По временам она смотрела на улицу и убеждалась, что лужи делаются все больше и больше.

Наконец застучали ложки, ножи, тарелки; лакей Степан пришел в столовую и кинул скатерть на стол. Но, казалось, частица праха, наполнявшего Иудушку, перешла и в него. Еле-еле он передвигал тарелками, дул в стаканы, смотрел через них на свет. Ровно в час сели за стол.

— Вот ты и едешь! — начал Порфирий Владимирыч разговор, приличествующий проводам.

Перед ним стояла тарелка с супом, но он не прикасался к ней и до того умильно смотрел на Анниньку, что даже кончик носа у него покраснел. Аннинька торопливо глотала ложку за ложкой. Он тоже взялся за ложку и уж

совсем было погрузил ее в суп, но сейчас же опять положил на стол.

— Уж ты меня, старика, прости! — зудил он. — Ты вот на почтовых суп скушала, а я — на долгих ем. Не люблю я с божьим даром небрежно обращаться. Нам хлеб для поддержания существования нашего дан, а мы его зря разбрасываем — видишь, ты сколько накрошила? Да и вообще я все люблю основательно да осмотревшись делать — крепче выходит. Может быть, тебя это сердит, что я за столом через обруч, — или как это там у вас называется, — не прыгаю; ну, да что ж делать! и посердись, ежели тебе так хочется! Посердишься, посердишься, да и простишь! И ты не все молода будешь, не все через обручи будешь скакать, и в тебе когда-нибудь опытку прибавится — вот тогда ты и скажешь: а дядя-то, пожалуй, прав был! Так-то, мой друг. Теперь, может быть, ты слушаешь меня да думаешь: фяка дядя! старый ворчун дядя! А как поживешь с мое — другое запоешь, скажешь: пай дядя! добру меня учил!

Порфирий Владимирыч перекрестился и проглотил две ложки супу. Сделавши это, он опять положил ложку в тарелку и опрокинулся на спинку стула в знак предстоящего разговора.

«Кровопийца!» — так и вертелось на языке у Анниньки. Но она сдержалась, быстро налила себе стакан воды и залпом его выпила. Иудушка словно нюхом отгадывал, что в ней происходит.

— Что! не нравится! что ж, хоть и не нравится, а ты все-таки дядю послушай! Вот я уж давно с тобой насчет этой твоей поспешности поговорить хотел, да все недосужно было. Не люблю я в тебе эту поспешность, легкомыслие в ней видно, нерассудительность. Вот и в ту пору вы зря от бабушки уехали — и огорчить старушку не повеселились! — а зачем?

— Ах, дядя! зачем вы об этом вспоминаете! ведь это уж сделано! С вашей стороны это даже нехорошо!

— Постой! я не об том, хорошо или нехорошо, а об том, что хотя дело и сделано, но ведь его и переделать можно. Не только мы, грешные, а и Бог свои действия переменяет: сегодня пошлет дожидчка, а завтра — вёдрышка даст! А! ну-тко! ведь не бог же знает какое сокровище — театр! Ну-тко! решишь-ка!

— Нет, дядя, оставьте это! прошу вас!

— А еще тебе вот что скажу: нехорошо в тебе твое легкомыслие, но еще больше мне не нравится то, что ты

так легко к замечаниям старших относишься. Дядя добра тебе желает, а ты говоришь: оставьте! Дядя к тебе с лаской да с приветом, а ты на него фыркаешь. А между тем знаешь ли ты, кто тебе дядю дал? Ну-ко, скажи, кто тебе дядю дал?

Аннинька взглянула на него с недоумением.

— Бог тебе дядю дал — вот кто! Бог! Кабы не Бог, была бы ты теперь одна, не знала бы, как с собою поступить и какую просьбу подать, и куда подать, и чего на эту просьбу ожидать. Была бы ты как в лесу; один бы тебя обидел, другой бы обманул, а третий и просто-напросто посмеялся бы над тобой! А как дядя-то у тебя есть, так мы, с божьей помощью, в один день все твое дело вокруг пальца повернули. И в город съездили, и в опеке побывали, и просьбу подали, и резолюцию получили! Так вот оно, мой друг, что дядя-то значит!

— Да я и благодарна вам, дядя!

— А коли благодарна дяде, так не фыркай на него, а слушайся. Добра тебе дядя желает, хоть иногда тебе и кажется...

Аннинька едва могла владеть собой. Оставалось еще одно средство отделаться от дядиных поучений: притвориться, что она, хоть в принцепе, принимает его предложение остаться в Головлеве.

— Хорошо, дядя, — сказала она, — я подумаю. Я сама понимаю, что жить одной, вдали от родных, не совсем удобно... Но, во всяком случае, теперь я решиться ни на что не могу. Надо подумать.

— Ну видишь ли, вот ты и поняла. Да чего же тут думать! Велим лошадей распрячь, чемоданы твои из кибитки вынуть — вот и думанье все!

— Нет, дядя, вы забываете, что у меня есть сестра!

Неизвестно, убедил ли этот аргумент Порфирия Владимыча, или вся сцена эта была ведена им только для прилику, и он сам хорошенько не знал, точно ли ему нужно, чтоб Аннинька осталась в Головлеве, или совсем это не нужно, а просто блажь в голову на минуту забрела. Но, во всяком случае, обед после этого пошел поживее. Аннинька со всем соглашалась, на все давала такие ответы, которые не допускали никакой придирки для пустословия. Тем не менее часы показывали уж половину третьего, когда обед кончился. Аннинька выскочила из-за стола, словно все время в паровой ванне высидела, и подбежала к дяде, чтоб попрощаться с ним.

Через десять минут Иудушка, в шубе и в медвежьих

сапогах, провожал уж ее на крыльцо и самолично наблюдал, как усаживали барышню в кибитку.

— С горы-то полегче — слышишь! Да и в Сенькине на косогоре — смотри не вывали! — приказывал он кучеру.

Наконец Анниньку укутали, усадили и застегнули фартук у кибитки.

— А то бы осталась! — еще раз крикнул ей Иудушка, желая, чтоб и при собравшихся челядинцах все обошлось как следует, по-родственному. — По крайней мере, приедешь, что ли? говори!

Но Аннинька чувствовала себя уже свободною, и ей вдруг захотелось пошкольничать. Она высунулась из кибитки и, отчеканивая каждое слово, отвечала:

— Нет, дядя, не приеду! Страшно с вами!

Иудушка сделал вид, что не слышит, но губы у него побелели.

Освобождение из головлевского плена до такой степени обрадовало Анниньку, что она ни разу даже не остановилась на мысли, что позади ее, в бессрочном плену, остается человек, для которого, с ее отъездом, порвалась всякая связь с миром живых. Она думала только об себе: что она вырвалась и что теперь ей хорошо. Влияние этого ощущения свободы было так сильно, что когда она вновь посетила воплинское кладбище, то в ней уже не замечалось и следа той нервной чувствительности, которую она обнаружила при первом посещении бабушкиной могилы. Спокойно отслушала она панихиду, без слез поклонилась могиле и довольно охотно приняла предложение священника откусать у него в хате чашку чая.

Обстановка, в которой жил воплинский батюшка, была очень убогая. В единственной чистой комнате дома, которая служила приемною, царствовала какая-то унылая нагота: по стенам было расставлено с дюжину крашенных стульев, обитых волосяной материей, местами значительно продранной, и стоял такой же диван с выпяченной спинкой, словно грудь у генерала дореформенной школы; в одном из простенков виднелся простой стол, покрытый загаженным сукном, на котором лежали исповедные книги прихода, и из-за них выглядывала чернильница с воткнутым в нее пером; в восточном углу висел киот с родительским благословением и с зажженною лампадкой; под ним стояли два сундука с матушкиным приданым, покрытые серым, выцветшим сукном. Обоев на стенах не было; посредине одной стены висело несколько полинявших дагер-

ротипных портретов преосвященных. В комнате пахло как-то странно, словно она издавна служила кладбищем для тараканов и мух. Сам священник, хотя человек еще молодой, значительно потускнел в этой обстановке. Жидкие беловатые волосы повисли на его голове прямыми прядями, как ветви на плакучей иве; глаза, когда-то голубые, смотрели убито; голос вздрагивал, борода обострилась; шалоновая ряса худо запахивалась спереди и висела как на вешалке. Попадья, женщина тоже молодая, от ежегодных родов казалась еще более изнуренною, нежели муж.

Тем не менее Аннинька не могла не заметить, что даже эти забытые, изнуренные и бедные люди относятся к ней не так, как к настоящей прихожанке, а скорее с сожалением, как к заблудшей овце.

— У дяденьки побывали? — начал батюшка, осторожно принимая чашку чая с подноса у попадьи.

— Да, почти с неделю прожила.

— Теперь Порфирий Владимырьч главный помещик по всей нашей округе сделался — нет их сильнее. Только удачи им в жизни как будто не видится. Сперва один сынок помер, потом и другой, а наконец, и родительница. Удивительно, как это они вас не упросили в Головлеве поселиться.

— Дядя предлагал, да я сама не осталась.

— Что ж так?

— Да лучше, как на свободе живешь.

— Свобода, сударыня, конечно, дело не худое, но и она не без опасностей бывает. А ежели при этом иметь в предмете, что вы Порфирью Владимырьчу ближайшей родственницей, а следственно, и прямой всех его имений наследницей доводите, то можно бы, мнится, насчет свободы несколько и постеснить себя.

— Нет, батюшка, свой хлеб лучше. Как-то легче живет, как чувствуешь, что никому не обязан.

Батюшка тускло взглянул на нее, как будто хотел спросить: да ты, полно, знаешь ли, что такое «свой хлеб»? — но посовестился и только робко запахнул полы своей ряски.

— А много ли вы жалованья в актрисах-то получаете? — вступила в разговор попадьи.

Батюшка окончательно оробел и даже заморгал в сторону попадьи. Он так и ждал, что Аннинька обидится. Но Аннинька не обиделась и без всякой ужимки ответила:

— Теперь я получаю полтора ста рублей в месяц, а

сестра — сто. Да бенефисы нам даются. В год-то тысяч шесть обе получим.

— Что ж так сестрице меньше дают? достоинством, что ли, они хуже? — продолжала любопытствовать матушка.

— Нет, а жанр у сестры другой. У меня голос есть, я пою — это публике больше нравится, а у сестры голос послабее — она в водевилях играет.

— Стало быть, и там тоже: кто попом, кто дьяконом, а кто и в дьячках служит?

— Впрочем, мы поровну делимся: у нас уж сначала так было условлено, чтобы деньги пополам делить.

— По-родственному? Чего же лучше, коли по-родственному? А сколько это, поп, будет? шесть тысяч рублей, ежели на месяцá разделить, сколько это будет?

— По пятисот целковых в месяц, а на двух разделить — по двести по пятидесяти.

— Вона что денег-то! Нам бы и в год не прожить! а что я еще хотела вас спросить: правда ли, что с актрисами обращаются словно они не настоящие женщины?

Поп совсем было всполошился и даже полы ряски распустил; но, увидев, что Аннинька относится к вопросу довольно равнодушно, подумал: «Эге! да ее, видно, и в самом деле не прошибешь!» — и успокоился.

— То есть как же это: не настоящие женщины? — спросила Аннинька.

— Ну, да вот будто целуют их, обнимают, что ли... Даже будто, когда и не хочется, и тогда они должны.

— Не целуют, а делают вид, что целуют. А об том, хочется или не хочется, — об этом и речи в этих случаях не может быть, потому что все делается по пьесе: как в пьесе написано, так и поступают.

— Хоть и по пьесе, а все-таки... Иной с слюнявым рылом лезет, на него и глядеть-то претит, а ты губы ему подставлять должна!

Аннинька невольно заалелась: в воображении ее вдруг промелькнуло слюнявое лицо храброго ротмистра Папкова, которое именно «лезло», и — увы! — даже не «по пьесе» лезло!

— Вы совсем не так представляете себе, как оно на сцене происходит! — сказала она довольно сухо.

— Конечно, мы в театрах не бывали, а все-таки, чай, со всячинкой там бывает. Частенько-таки мы с попом об вас, барышня, разговариваем; жалеем мы вас, даже очень жалеем.

Аннинька молчала; священник сидел и пощипывал бородку, словно решался и сам сказать свое слово.

— Впрочем, сударыня, и во всяком звании и приятности и неприятности бывают, — наконец высказался он, — но человек, по слабости своей, первыми восхищается, а о последних старается позабыть. Для чего позабыть? а именно для того, сударыня, дабы и сего последнего наименования о долге и добродетельной жизни, по возможности, не иметь перед глазами.

И потом, вздохнув, присовокупил:

— А главное, сударыня, сокровище свое надлежит соблюсти!

Батюшка учительно взглянул на Анниньку; матушка уныло покачала головой, как бы говоря: где уж!

— И вот это-то сокровище, мнится, в актерском звании соблюсти — дело довольно сумнительное, — продолжал батюшка.

Аннинька не знала, что и сказать на эти слова. Мало-помалу ей начинало казаться, что разговор этих простодушных людей о «сокровище» совершенно одинакового достоинства с разговорами господ офицеров «расквартированного в здешнем городе полка» об «la chose». Вообще же она убедилась, что и здесь, как у дяденьки, видят в ней явление совсем особенное, к которому хотя и можно отнестись снисходительно, но в некотором отдалении, дабы «не замараться».

— Отчего у вас, батюшка, церковь такая бедная? — спросила она, чтоб переменить разговор.

— Не с чего ей богатой быть — оттого и бедна. Помещики все по службам разъехались, а мужичкам подняться не из чего. Да их и всех-то с небольшим двести душ в приходе!

— Вот колокол у нас чересчур уж плох! — вздохнула матушка.

— И колокол, и прочее все. Колокол-то у нас, сударыня, всего пятнадцать пудов весит, да и тот, на грех, раскололся. Не звонит, а шумит как-то — даже предсудительно. Покойница Арина Петровна пообещались было новый соорудить, и ежели были бы они живы, то и мы, всеконечно, были бы теперь при колоколе.

— Вы бы дяде сказали, что бабушка обещала!

— Говорил, сударыня, и он, надо правду сказать, довольно-таки благосклонно доуку мою выслушал. Только ответа удовлетворительного не мог мне дать: не слышал, вишь, от маменьки ничего! никогда, вишь, покойница об

этом ему не говаривала! А ежели бы, дескать, слышал, то беспременно бы волю ее исполнил!

— Когда, чай, не слыхать! — молвила попадья. — Вся округа знает, а он не слыхал!

— Вот мы и живем таким родом. Прежде хоть в надежде были, а нынче и совсем без надежды остаемся. Иногда служить не на чем: ни просфор, ни красного вина. А об себе уж и не говорим.

Аннинька хотела встать и проститься, но на столе появился новый поднос, на котором стояли две тарелки, одна с рыжиками, другая с кусочками икры, и бутылка мадеры.

— Посидите! не обессудьте! откушайте!

Аннинька повиновалась, наскоро проглотила два рыжичка, но отказалась от мадеры.

— Вот об чем я еще хотела спросить, — говорила между тем попадья, — в приходе у нас девушка одна есть, Лыщевского дворового дочка; так она в Петербурге у одной актрисы в услуженье была. Хорошо, говорит, в актрисах житье, только билет каждый месяц выправлять надо... правда ли это?

Аннинька смотрела во все глаза и не понимала...

— Это для свободы, — пояснил батюшка, — а, впрочем, думается, что она неправду говорит. Напротив, я слышал, что многие актрисы даже пенсии от казны за службу удостоиваются.

Аннинька убедилась, что чем дальше в лес, тем больше дров, и стала окончательно прощаться.

— А мы было думали, что вы теперь из актрис-то выйдете? — продолжала приставать попадья.

— Зачем же?

— Все-таки. Вы — барышня. Теперь совершенные лета получили, имение свое есть — чего лучше!

— Ну, и после дяденьки вы же прямая наследница, — присовокупил батюшка.

— Нет, я здесь жить не буду.

— А мы-то как надеялись! Всё промежду себя говорили: непременно наши барышни в Погорелке жить будут! А летом у нас здесь даже очень хорошо: в лес по грибы ходить можно! — соблазняла матушка.

— У нас грибов и не в дождливое лето очень довольно! — вторил ей батюшка.

Наконец Аннинька уехала. По приезде в Погорелку первым ее словом было: «Лошадей! пожалуйста, поскорее лошадей!» Но Федулыч только плечами передернул в ответ на эту просьбу.

— Чего «лошадей»! мы еще и не кормили их! — брюзжал он.

— Да отчего ж, наконец. Ах, боже мой! точно все сговорились!

— Сговорились и есть. Как не сговориться, коли всякому видимо, что в ростепель ночью ехать нельзя. Все равно в поле, в зажоре просидите — так, по-нашему, лучше уж дома!

Бабенькины апартаменты были вытоплены. В спальней стояла совсем приготовленная постель, а на письменном столе пыхтел самовар; Афимьюшка оскребала на дне старинной бабенькиной шкатулочки остатки чая, сохранившиеся после Арины Петровны. Покуда настаивался чай, Федулыч, скрестивши руки, лицом к барышне, держался у двери, а по обеим сторонам стояли скотница и Марковна в таких позах, как будто сейчас, по первому манию руки, готовы были бежать куда глаза глядят.

— Чай-то еще бабенькин, — первый начал разговор Федулыч, — от покойницы на доньшке остался. Порфирий Владимирыч и шкатулочку собрались было увезти, да я не согласился. Может быть, барышни, говорю, приедут, так чайку испить захочется, покуда своим разживутся. Ну, ничего! еще пошутит: «Ты, говорит, старый плут, сам выпьешь!» смотри, говорит, шкатулочку-то после в Головлево доставь!» Гляди, завтра же за нею пришлет!

— Напрасно вы ему тогда не отдали.

— Зачем отдавать — у него и своего чаю много. А теперь по крайности мы после вас попьем. Да вот что, барышня: вы нас Порфирию Владимирычу, что ли, препоручите?

— И не думала.

— Так-с. А мы было давеча бунтовать собрались. Коли ежели, думаем, нас к головлевскому барину под начало отдадут, так все в отставку проситься будем.

— Что так? неужто дядя так страшен?

— Не очень страшен, а тиранит, слов не жалеет. Словами-то он сгноить человека может.

Аннинька невольно улыбнулась. Именно гной какой-то просачивался сквозь разглагольствования Иудушки! Не простое пустословие это было, а язва смердящая, которая непрестанно точила из себя гной.

— Ну, а с собой-то вы как же, барышня, решили? — продолжал допытываться Федулыч.

— То есть что же я должна с собой «решить»? — слегка смешалась Аннинька, предчувствуя, что ей и здесь

придется выдержать разглагольствие о «сокровище».

— Так неужто же вы из актерок не выйдете?

— Нет... то есть я еще об этом не думала... Но что же дурного в том, что я, как могу, свой хлеб достаю?

— Что хорошего! по ярмаркам с торбаном ездить! пьяниц утешать! Чай, вы — барышня!

Аннинька ничего не ответила, только брови насупила.

В голове ее мучительно стучал вопрос: «Господи! да когда же я отсюда уеду!»

— Разумеется, вам лучше знать, как над собой поступить, а только мы было думали, что вы к нам возвратитесь. Дом у нас теплый, просторный — хоть в горелки играй! очень хорошо покойница бабенка его устроила! Скучно сделалось — санки запряжем, а летом — в лес по грибы ходить можно!

— У нас здесь всякие грибы есть: и рыжички, и волнушечки, и груздочки, и белые, и подосиннички — страсть сколько! — соблазнительно прошамкала Афимьюшка.

Аннинька облокотилась обеими руками на стол и старалась не слушать.

— Сказывала тут девка одна, — бесчеловечно настаивал Федулыч, — в Петербурге она в услуженье жила, так говорила, будто все актерки — белетные. Каждый месяц должны в части белет представлять!

Анниньку словно обожгло: целый день она всё эти слова слышит!

— Федулыч! — с криком вырвалось у нее, — что я вам сделала? неужели вам доставляет удовольствие оскорблять меня?

С нее было довольно. Она чувствовала, что ее душит, что еще одно слово — и она не выдержит.

НЕДОЗВОЛЕННЫЕ СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ

Однажды, незадолго до катастрофы с Петенькой, Арина Петровна, гостя в Головлеве, заметила, что Евпраксеюшка словно бы поприпухла. Воспитанная в практике крепостного права, при котором беременность дворовых девок служила предметом подробных и не лишенных занимательности исследований и считалась чуть не доходною статьею, Арина Петровна имела на этот счет взгляд острый и безошибочный, так что для нее достаточно было остановить глаза на туловище Евпраксеюшки, чтобы по-

следняя, без слов и в полном сознании виновности, отвернула от нее свое загоревшееся полымем лицо.

— Ну-тка, ну-тка, сударка! смотри на меня! тяжела? — допрашивала опытная старушка провинившуюся голубицу; но в голосе ее не слышалось укоризны, а, напротив, он звучал шутливо, почти весело, словно пахло на нее старым, хорошим времечком.

Евпраксеюшка не то стыдливо, не то самодовольно безмолвствовала, и только пуще и пуще алели ее щеки под испытующим взглядом Арины Петровны.

— То-то! еще вчера я смотрю — поджимаешься ты! Ходит, хвостом вертит — словно и путевая! Да ведь меня, брат, хвостами-то не обманешь! Я на пять верст вперед ваши девичьи штуки вижу! Ветром, что ли, надуло? с которых пор? Признавайся! сказывай!

Последовал подробный допрос и не менее подробное объяснение. Когда замечены первые признаки? имеется ли на примете бабушка-повитушка? знает ли Порфирий Владимырьч об ожидающей его радости? бережет ли себя Евпраксеюшка, не поднимает ли чего тяжелого? и т. д. Оказалось, что Евпраксеюшка беременна уж пятый месяц; что бабушки-повитушки на примете покуда еще нет; что Порфирию Владимырьчу хотя и было докладывано, но он ничего не сказал, а только сложил руки ладонями внутрь, пошептал губами и посмотрел на образ, в знак того, что все от Бога, и он, царь небесный, сам обо всем промыслит; что, наконец, Евпраксеюшка однажды не остереглась, подняла самовар и в ту же минуту почувствовала, что внутри у нее что-то словно оборвалось.

— Однако оглашенные вы, как я на вас посмотрю! — тужила Арина Петровна, выслушавши эти признания. — Придется, видно, мне самой в это дело взойти! На-тко, пятый месяц беременна, а у них даже бабушки-повитушки на примете нет! Да ты хоть бы Улитке, глупая, показала!

— И то собиралась, да барин Улитушку-то не очень...

— Вздор, сударыня, вздор! Там провинилась ли, нет ли Улитка перед барином — это само собой! а тут этаким случай — а он на-поди! Что нам, целоваться, что ли, с ней? Нет, неминуемое дело, что мне самой придется в это дело вступить!

Арина Петровна хотела было взгрустнуть, пользуясь этим случаем, что вот и до сих пор, даже на старости лет, ей приходится тяготы носить; но предмет разговора был

так привлекателен, что она только губами чмокнула и продолжала:

— Ну, сударка, теперь только распоясывайся! Любо было кататься — попробуй-ка саночки повозить! Попробуй! попробуй! Я вот трех сынов да дочку вырастила, да пятерых детей маленькими схоронила — я знаю! Вот они где у нас, мужчинки-то сидят! — прибавила она, ударяя себя кулаком по затылку.

И вдруг ее словно озарило:

— Батюшки, да, никак, еще под постный день! Постой, погоди! сосчитаю!

Начали по пальцам считать, сочли раз, другой, третий — выходило именно как раз под постный день.

— Ну, так, так! это — святой-то человек! Ужо, погоди, подразню его! Молитвенник-то наш! в какую рюху попал! подразню! не я буду, если не подразню! — шутила старушка.

Действительно, в тот же день, за вечерним чаем, Арина Петровна в присутствии Евпраксеюшки подшучивала над Иудушкой:

— Смиренник-то наш! смотри, какую штуку удрал! Уж и взаправду не ветром ли крале-то твоей надуло? Ну, брат, удивил!

Иудушка сначала брезгливо пожимался при маменькиных шуточках, но, убедившись, что Арина Петровна говорит «по-родственному», «всей душой», и сам мало-помалу повеселел.

— Проказница вы, маменька! право, проказница! — шутил и он в свою очередь; но, впрочем, по своему обыкновению, отнесся к предмету семейного разговора уклончиво.

— Чего «проказница»! серьезно об этом переговорить надо! Ведь это — какое дело-то! «Тайна» тут — вот я тебе что скажу! Хоть и не настоящим манером, а все-таки... Нет, надо очень, да и как еще очень об этом деле поразмыслить! Ты как думаешь: здесь, что ли, ей рожать велишь или в город повезешь?

— Не знаю я, маменька, ничего я, душенька, не знаю! — уклонялся Порфирий Владимирович. — Проказница вы! право, проказница!

— Ну, так постой же, сударка! Ужо мы с тобой на прохладе об этом деле потолкуем! И как и что — все подробно определим! А то ведь эти мужчинки — им бы только прихоть свою исполнить, а потом отдувайся наша сестра за них, как знает!

Сделавши свое открытие, Арина Петровна почувствовала себя как рыба в воде. Целый вечер проговорила она с Евпраксеюшкой и наговориться не могла. Даже щеки у ней разгорелись и глаза как-то по-юношески заблестели.

— Ведь это, сударка, как бы ты думала? Ведь это... божественное! — настаивала она. — Потому что хоть и не тем порядком, а все-таки настоящим манером... Только ты у меня смотри! Ежели да под постный день — боже тебя сохрани! и засмею тебя! и со свету сгоню!

Призвали на совет и Улитушку. Сначала об настоящем деле поговорили, что и как, не нужно ли промывательное поставить или моренковой мазью живот потерять, потом опять обратились к излюбленной теме и начали по пальцам рассчитывать — и все выходило именно как раз на постный день! Евпраксеюшка алела, как маков цвет, но не отнекивалась, а ссылалась на подневольное свое положение.

— Мне что ж! — говорила она. — Мое дело — как «они» хотят! Коли ежели барин прикажут — может ли наша сестра против их приказаньев идти!

— Ну, ну, тихоня! не лебези хвостом! — шутила Арина Петровна. — Сама, чай...

Словом сказать, женщины занялись этим делом всласть. Арина Петровна целый ряд случаев из своего прошлого вспомнила и, разумеется, не преминула повествовать об них. Сначала рассказала про свои личные беременности. Как она Степкой-балбесом мучилась, как, будучи беременной Павлом Владимычем, ездила на перекладной в Москву, чтобы дубровинского аукциона не упустить, да потом из-за этого на тот свет чуть-чуть не отправилась, и т. д. и т. д. Все роды были чем-нибудь замечательные; одни только достались легко — это были роды Иудушки.

— Просто даже вот ни на эстолько тягости не чувствовала! — говорила она. — Сижу, бывало, и думаю: «Господи! да неужто я тяжела!» И как настало время, прилегла я этак на минуточку на кровать и уж сама не знаю как — вдруг разрешилась! Самый это легкий для меня сын был! Самый, самый легкий!

Потом начались рассказы про дворовых девок: скольких она сама «заставала», скольких выслеживала при помощи доверенных лиц, и преимущественно Улитушки. Старческая память с изумительною отчетливостью хранила эти воспоминания. Во всем ее прошлом, сером, всецело поглощенном мелким и крупным скопидомством, сослежи-

вание вожделеющих дворовых девок было единственным романтическим элементом, затрогивавшим какую-то живую струну.

Это была своего рода беллетристика в скучном журнале, в котором читатель ожидает встретиться с исследованиями о сухих туманах и о месте погребения Овидия — и вдруг вместо того читает: Вот *мчится тройка удалая*. Развязки нехитрых романов девичьей обыкновенно бывали очень строгие и даже бесчеловечные (виновную выдавали замуж в дальнюю деревню, непременно за мужика-вдовца, с большим семейством; виновного — разжаловывали в скотники или отдавали в солдаты); но воспоминания об этих развязках как-то стерлись (память культурных людей относительно прошлого их поведения вообще снисходительна), а самый процесс сослеживания «амурной интриги» так и мелькал до сих пор перед глазами, словно живой. Да и не мудрено! этот процесс во времена оны велся с таким же захватывающим интересом, с каким ныне читается фельетонный роман, в котором автор, вместо того чтоб сразу увенчать взаимное вожделение героев, на самом патетическом месте ставит точку и пишет: *продолжение впрдь*.

— Немало я таки с ними мученьев приняла! — повествовала Арина Петровна. — Иная до последней минуты перемогається, лебезит — все надеется обмануть! Ну, да меня, голубушка, не перехитришь! я сама на этих делах зубы съела! — прибавила она почти сурово, словно грозясь кому-то.

Наконец следовали рассказы из области беременности, так сказать, политических, относительно которых Арина Петровна являлась уже не карательницей, а укрывательницей и потаковщицей.

Так, например, у папеньки Петра Иваныча, дряхлого семидесятилетнего старика, тоже «сударка» была и тоже оказалась вдруг с прибылью, и нужно было, по высшим соображениям, эту прибыль от старика утаить. А она, Арина Петровна, как на грех, была в ту пору в ссоре с братцем Петром Петровичем, который тоже, ради каких-то политических соображений, беременность эту сослеживал и хотел старику глаза насчет «сударки» открыть.

— И как бы ты думала! почти на глазах у папеньки мы всю эту механику выполнили! Спит, голубчик, у себя в спальне, а мы рядышком орудуем! Да шепотком, да на цыпочках! Сама я собственными руками и рот-то ей зажимала, чтоб не кричала, и белье-то собственными руками

убирала, а сына-то ее — прехорошенький, здоровенький такой родился! — и того, села на извозчика да в воспитательный спровадила! Так что братец, как через неделю узнал, только ахнул: ну, сестра!

Была и еще политическая беременность: с сестрицей Варварой Михайловной дело случилось. Муж у нее в поход под турка уехал, а она возьми да и не остерегись! Прискакала как угорелая в Головлево — спасай, сестра!

— Ну, мы хоть в то время в контрах промежду себя были, однако я и виду ей не подала: честь честью ее приняла, утешила, успокоила, да под видом гошенья так это дело кругленько обделала, что муж и в могилу ушел — ничего не знал!

Так повествовала Арина Петровна, и, надо сказать правду, редкий рассказчик находил себе таких внимательных слушателей. Евпраксеюшка старалась не проронить слова, как будто бы перед ней проходили воочию перипетии какой-то удивительной волшебной сказки; что же касается до Улитушки, то она, как соучастница большей части рассказываемого, только углами губ причмокивала.

Улитушка тоже расцвела и отдохнула. Тревожная была ее жизнь. С юных лет сгорала она холопским честолюбием, и во сне и наяву бредила, как бы господам послужить да над своим братом покомандовать — и все неудачно. Только что занесет, бывало, ногу на ступеньку повыше, а не оттуда словно невидимая сила какая шархнет и опять встопчет в самую преисподнюю. Всеми качествами полезной барской слуги обладала она в совершенстве: была ехидна, злоязычна и всегда готова на всякое предательство, но в то же время страдала какою-то неудержимой повадливостью, которая всю ее ехидность обращала в ничто. В былое время Арина Петровна охотно пользовалась ее услугой, когда нужно было секретное расследование по девичьей сделать или вообще сомнительное дело какое-нибудь округлить, но никогда не ценила ее заслуги и не допускала ни до какой солидной должности. Вследствие этого Улитка и жаловалась и языком язвила; но на жалобы ее не обращалось внимания, потому что всем было ведомо, что Улитка — девка злая, сейчас тебя в преисподнюю проклянет, а через минуту, помани ее только пальцем, — она и опять прибежит, станет на задних лапках служить. Так и промыкалась она, куда-то все выбиваясь и никогда ничего не успевая достигнуть, до тех пор, пока исчезновение крепостного права окончательно не положило предела ее холопскому честолюбию.

В молодости ее был даже случай, который подавал ей надежды очень серьезные. В одну из своих побывок в Головлеве Порфирий Владимырьч свел с ней связь и даже, как гласило головлевское предание, имел от нее ребенка, за что и состоял долгое время под гневом у маменьки Арины Петровны. Поддерживалась ли эта связь впоследствии, при дальнейших наездах Иудушки в отчий дом — неизвестно; но, во всяком случае, когда Порфирий Владимырьч собрался в Головлево совсем на жительство, мечтаньям Улитушки пришлось рухнуть самым обидным образом. Немедленно по приезде Иудушки она кинулась к нему с целым ворохом сплетен, в которых Арина Петровна обвинялась чуть не в мошенничестве; но «барин» сплетни выслушал благосклонно, а на Улитку взглянул все-таки холодно и прежней ее «заслуги» не попомнил. Обманутая в расчетах и обиженная, Улитушка перекинулась в Дубровино, где братец Павел Владимырьч, из ненависти к братцу Порфирию Владимырьчу, охотно принял ее и даже сделал эконолкою. Тут ее фонды как будто поправились. Павел Владимырьч сидел на антресолях и выпивал рюмку за рюмкой, а она с утра до вечера бойко бегала по кладовым и погребам, гремела ключами, громко языничала и даже завела какие-то контры с Ариной Петровной, которую чуть не сжила со свету.

Но Улитушка слишком любила всякие предательства, чтобы в тишине пользоваться выпавшим на ее долю хорошим житьем. Это было то самое время, когда Павел Владимырьч испивал уже настолько, что можно было с известными надеждами относиться к исходу этого беспробудного пьянства. Порфирий Владимырьч понял, что в таком положении дела Улитушка представляет неоцененный клад, и вновь поманил ее пальцем. Ей было дано из Головлева приказание — не отходить ни на шаг от облюбленной жертвы, ни в чем ей не противоречить, даже в ненависти к братцу Порфирию Владимырьчу, а только всеми мерами устранять вмешательство Арины Петровны. Это было одно из тех родственных злодейств, на которые Иудушка не то чтоб решался по зрелом размышлении, а как-то само собой проделывал, как самую обыкновенную затею. Излишне было бы говорить, что Улитушка выполнила поручение в точности. Павел Владимырьч не переставал ненавидеть брата, но чем больше он ненавидел, тем больше пил и тем меньше становился способен выслушивать какие-либо замечания Арины Петровны насчет «распоряжения». Каждое движение умирающего, каждое его слово

немедленно делались известными в Головлеве, так что Иудушка мог с полным знанием дела определить минуту, когда ему следует выйти из-за кулис и появиться на сцену настоящим господином созданного им положения. И он воспользовался этим, то есть нагрнулся в Дубровино именно тогда, когда оно, так сказать, само отдалось ему в руки.

За эту услугу Порфирий Владимырьч подарил Улитушке шерстяной материи на платье, но до себя все-таки не допустил. Опять шарахнулась Улитушка с высоты величия в преисподнюю, и на этот раз, казалось, так, что уж никто на свете ее никогда не поманит пальцем.

В виде особенной милости за то, что она «за братцем последние минуты ходила», Иудушка отделил ей угол в избе, где вообще ютились оставшиеся, по упразднении крепостного права, заслуженные дворовые. Там Улитушка окончательно смирилась, так что когда Порфирий Владимырьч облюбовал Евпраксеюшку, то она не только не выказала никакой строптивости, но даже первая пришла к «бариновой сударке» на поклон и поцеловала ее в плечико.

И вдруг, в ту минуту, когда она уже сама сознавала себя забытою и заброшенною, — ей опять посчастливилось: Евпраксеюшка забеременела. Вспомнили, что где-то в людской избе ютится «золотой человек», и поманили его пальцем. Правда, не сам «барин» поманил, но и того уж достаточно, что он не попрепятствовал. Улитушка ознаменовала свое вступление в господский дом тем, что взяла у Евпраксеюшки из рук самовар и с форсом и несколько избочась принесла его в столовую, где в то время сидел и Порфирий Владимырьч. И «барин» не сказал ни слова. Ей показалось, что он даже улыбнулся, когда в другой раз, с тем же самоваром в руках, она встретила его в коридоре и еще издали закричала:

— Барин! посторонись — ожгу!

Призванная Ариной Петровной на семейный совет, Улитушка некоторое время кобянилась и не хотела сесть. Но когда Арина Петровна ласково на нее прикрикнула:

— Садись-ко! садись! нечего штуки-фигуры выкидывать! Царь всех нас равными сделал — садись! — то и она села: сначала смирнехонько, а потом и язык распустила.

Эта женщина тоже припоминала. Много всякого гною скопилось в ее памяти из прежней крепостной практики. Независимо от выполнения деликатных поручений по предмету сослеживания девичьих вождедений, Улитушка состояла в головлевском доме в качестве аптекарши и

лекарки. Сколько она поставила в своей жизни горчичников, рожков и в особенности клистиров! Ставила она клистиры и старому барину Владимиру Михайлычу, и старой барыне Арине Петровне, и молодым барчукам всем до единого — и сохранила об этом самые благодарные воспоминания. И вот теперь для этих воспоминаний представилось почти неоглядное поле...

Головлевский дом как-то таинственно оживился. Арина Петровна то и дело наезжала из Погорелки к «доброму сыну», и под ее надзором деятельно шли приготовления, которым покуда не давалось еще названия. После вечернего чая все три женщины забирались в Евпраксеюшкину комнату, лакомились домашним вареньем; играли в дураки и до поздних петухов предавались воспоминаниям, от которых «сударка» по временам шибко алела. Всякий самый ничтожный случай служил поводом к новым и новым рассказам. Подаст Евпраксеюшка вареньица малинового — Арина Петровна расскажет, как она, будучи беременна дочкой Сонькой, даже запаху малины выносить не могла.

— Только в дом принесут — я уж и слышу, что ее принесли. Так вот благим матом и кричу: «Вон! вон ее, проклятую, несите!» А после, как выпросталась, — и опять ничего! И опять полюбила!

Принесет Евпраксеюшка икорки закусить — Арина Петровна и насчет икорки случай вспомнит.

— А вот с икоркой у меня случай был — так именно диковинный! В ту пору я — с месяц ли, с два ли я только что замуж вышла — и вдруг так ли мне этой икры захотелось, вынь да положь! Заберусь это, бывало, потихоньку в кладовую и все ем, все ем! Только и говорю я своему благоверному: что, мол, это, Владимир Михайлыч, значит, что я все икру ем? А он этак улыбнулся и говорит: «Да ведь ты, мой друг, тяжела!» И точно, ровно через девять месяцев после того я и выпросталась, Степку-балбеса родила!

Порфирий Владимыч между тем продолжал с прежнеею загадочностью относиться к беременности Евпраксеюшки и даже ни разу не высказался определенно относительно своей прикосновенности к этому делу. Весьма естественно, что это стесняло женщин, мешало их изливаниям, и потому Иудушку почти совсем обросили и без церемонии гнали вон, когда он заходил вечером на огонек в Евпраксеюшкину комнату.

— Ступай-ка, ступай, молодец! — весело говорила Арина Петровна. — Ты свое дело сделал, теперь наше,

женское дело наступило! На нашей улице праздник!

Иудушка смиренно удалялся и хотя при этом не упускал случая попенять доброму другу маменьке, что она сделалась к нему немилостива, но в глубине души был очень доволен, что его не тревожат и что Арина Петровна приняла горячее участие в затруднительном для него обстоятельстве. Если б этого участия не было — бог знает что бы ему пришлось предпринять, чтобы смять это пакостное дело, при одном воспоминании о котором он ежился и отплевывался. А теперь, благодаря опытности Арины Петровны и ловкости Улитушки, он надеялся, что «беда» пройдет без огласки и что ему самому, быть может, придется узнать о результате ее, когда уже все совсем будет кончено.

Расчеты Порфирия Владимировича, однако ж, не оправдались. Сначала случилась катастрофа с Петенькой, а недолго за нею последовала и смерть Арины Петровны. Приходилось расплачиваться самолично, и притом без всякой надежды на какую-нибудь паскудную комбинацию. Нельзя было отослать Евпраксеюшку, яко непотребную, к родным, потому что, благодаря вмешательству Арины Петровны, дело зашло слишком далеко и было у всех на знати. На усердие Улитушки тоже надежда была плоха, потому что хоть она и ловкая девка, но ежели ей довериться, то, пожалуй, и от судебного следователя потом не убережешься. В первый раз в жизни Иудушка серьезно и искренно возроптал на свое одиночество, в первый раз смутно понял, что окружающие люди — не просто пешки, годные только на то, чтоб морочить их.

— И что бы ей стоило крошечку погодить, — сетовал он втихомолку на милого друга маменьку, — устроила бы все как следует, умнехонько да смирнехонько — и Христос бы с ней! пришло время умирать — делать нечего! жалко старушку, да коли так Богу угодно, и слезы наши, и доктора, и лекарства наши, и мы все — всё против воли божией бессильно! Пожила старушка, попользовалась. И сама барыней век прожила, и детей господами оставила! Пожила — и будет!

И, по обыкновению, суетливая его мысль, не любившая задерживаться на предмете, представляющем какие-нибудь практические затруднения, сейчас же перекидывалась в сторону, к предмету более легкому, по поводу которого можно было празднословить бессрочно и беспрепятственно.

— И как ведь скончалась-то, именно только праведни-

ки такой кончины удостоиваются! — лгал он самому себе, сам, впрочем, не понимая, лжет он или говорит правду, — без болезни, без смуты... так! Вздохнула — смотрим, а ее уж и нет! Ах, маменька, маменька! И улыбочка на лице и румянчик... И ручка сложена, как будто благословить хочет, и глазки закрыла... адьё!

И вдруг в самом разгаре жалостливых слов опять словно кольнет его. Опять эта пакость... тьфу! тьфу! тьфу! Ну что бы стоило маменьке крошечку повременить! И всего-то с месяц, а может быть, и меньше осталось — так вот на-поди!

Некоторое время пробовал было он и на вопросы Улитушки так же отнекиваться, как отнекивался перед милым другом маменькой: «Не знаю! ничего я не знаю!» Но к Улитушке, как бабе наглой и притом же почувствовавшей свою силу, не так-то легко было подойти с подобными приемами.

— Я, что ли, знаю! я, что ли, кузов-то строила! — на первых же порах обрезала она его так, что он понял, что отныне расчеты на счастливое соединение роли прелюбоддея с ролью постороннего наблюдателя результатов собственного прелюбоддея окончательно рухнули для него.

Беда надвигалась все ближе и ближе, беда неминуемая, почти осязаемая! Она преследовала его ежеминутно и, что всего хуже, парализовала его пустомыслие. Он употреблял всевозможные усилия, чтоб смять представление об ней, утопить его в потоке праздных слов, но это удавалось ему только отчасти. Пробовал он как-нибудь спрятаться за непререкаемость законов высшего произволения и, по обыкновению, делал из этой темы целый клубок, который бесконечно разматывал, припутывая сюда и притчу о волосе, с человеческой головы не падающем, и легенду о здании, на песце строимом; но в ту самую минуту, когда праздные мысли беспрепятственно скатывались одна за другой в какую-то загадочную бездну, когда бесконечное разматывание клубка уж казалось вполне обеспеченным, — вдруг, словно из-за угла, врывалось одно слово и сразу обрывало нитку. Увы! это слово было: «прелюбоддеяние» и обозначало такое действие, в котором Иудушка и перед самим собой сознаться не хотел.

И вот когда после тщетных попыток забыть и убить делалось, наконец, ясным, что он пойман, — на него нападала тоска. Он принимался ходить по комнате, ни об чем не думая, а только ощущая, что внутри у него сосет и дрожит.

Это была совсем новая узда, которую в первый раз в жизни узнало его праздномыслие. До сих пор, в какую бы сторону ни шла его пустопорожняя фантазия, повсюду она встречала лишенное границ пространство, на протяжении которого складывались всевозможные комбинации. Даже погибель Володьки, Петьки, даже смерть Арины Петровны не затрудняли его праздномыслия. Это были факты обыкновенные, общепризнанные, для оценки которых существовала и обстановка общепризнанная, искони обусловленная. Панихиды, сорокоусты, поминальные обеды и проч. — все это он, по обычаю, отбыл как следует и всем этим, так сказать, оправдал себя и перед людьми и перед провидением. Но прелюбодеяние... это что же такое? Ведь это — обличение целой жизни, это — обнаружение ее внутренней лжи! Хотя и прежде его разумели кляузником, положим даже — «кровопивцем», но во всей этой людской мблви было так мало юридической подкладки, что он мог с полным основанием возразить: докажи! И вдруг теперь: прелюбодей! Прелюбодей уличенный, несомненный (он даже мер никаких, по милости Арины Петровны (ах, маменька! маменька!), не принял, даже солгать не успел), да еще и под «постный день»... тьфу!.. тьфу! тьфу!

В этих внутренних собеседованиях с самим собою, как ни запутано было их содержание, замечалось даже что-то похожее на пробуждение совести. Но представлялся вопрос: пойдет ли Иудушка дальше по этому пути, или же пустомыслие и тут сослужит ему обычную службу и представит новую лазейку, благодаря которой он, как и всегда, успеет выйти сухим из воды?

Покуда Иудушка изнывал таким образом под бременем пустоутробия, в Евпраксеюшке мало-помалу совершался совсем неожиданный внутренний переворот. Ожидание материнства, по-видимому, разрешило умственные узы, связывавшие ее. До сих пор она ко всему относилась безучастно, а на Порфирия Владимыча смотрела как на «барина», к которому у ней существовали подневольные отношения. Теперь она впервые что-то поняла, нечто вроде того, что у нее свое дело есть, в котором она — «сама большая» и где помыкать ею безвозбранно нельзя. Вследствие этого даже выражение ее лица, обыкновенно тупое и нескладное, как-то осмыслилось и засветилось.

Смерть Арины Петровны была первым фактом в ее полубессознательной жизни, который подействовал на нее

отрезвляющим образом. Как ни своеобразны были отношения старой барыни к предстоящему материнству Евпраксеюшки, но все-таки в них просвечивало несомненное участие, а не одна паскудно-гадливая уклончивость, которая встречалась со стороны Иудушки. Поэтому Евпраксеюшка начала видеть в Арине Петровне что-то вроде заступы, как бы подозревая, что впереди готовится на нее какое-то нападение. Предчувствие этого нападения преследовало ее тем упорнее, что оно не было освещено сознанием, а только наполняло все ее существо постоянною тоскливою смутой. Мысль была недостаточно сильна, чтоб указать прямо, откуда придет нападение и в чем оно будет состоять; но инстинкты уже были настолько взбудоражены, что при виде Иудушки чувствовался безотчетный страх. Да, оно придет оттуда! — отзывалось во всех сердечных ее тайниках, — оттуда, из этого наполненного прахом гроба, к которому она доселе была приставлена как простая наймитка и который каким-то чудом сделался отцом и властелином *ее* ребенка! Чувство, которое пробуждалось в ней при этой последней мысли, было похоже на ненависть и даже непременно перешло бы в ненависть, если б не находило для себя отвлечения в участии Арины Петровны, которая добродушной своей болтовней не давала ей времени задуматься.

Но вот Арина Петровна сначала удалилась в Погорелку, а наконец и совсем угасла. Евпраксеюшке сделалось совсем жутко. Тишина, в которую погрузился головлевский дом, нарушалась только шурианьем, возвещавшим, что Иудушка, крадучись и подобравши полы халата, бродит по коридору и подслушивает у дверей. Изредка кто-нибудь из челядинцев набежит со двора, хлопнет дверью в девичьей, и опять изо всех углов так и ползет тишина. Тишина мертвая, наполняющая существо суеверною, саднящей тоской. А так как Евпраксеюшка в это время была уже на сносях, то для нее не существовало даже ресурса хозяйственных хлопот, которые в былое время настолько утомляли ее физически, что она к вечеру ходила уже как сонная. Пробовала было она приласкаться к Порфирию Владимирычу, но попытки эти каждый раз вызывали краткие, но злобные сцены, которые даже на ее неразвитую натуру действовали мучительно. Поэтому приходилось сидеть сложа руки и думать, то есть тревожиться. А поводы для тревоги с каждым днем становились больше и больше, потому что смерть Арины Петровны развязала руки Улитушке и ввела в головлевский дом новый элемент спле-

тен, сделавшихся отныне единственным живым делом, на котором отдыхала душа Иудушки.

Улитушка поняла, что Порфирий Владимирыч трусит и что в этой пустоутробной и изолгавшейся натуре трусость очень близко граничит с ненавистью. Сверх того, она отлично знала, что Порфирий Владимирыч не способен не только на привязанность, но даже и на простое жаленье; что он держит Евпраксеюшку лишь потому, что, благодаря ей, домашний обиход идет, не сбиваясь с однажды намеченной колеи. Заручившись этими несложными данными, Улитушка имела полную возможность ежеминутно питать и лелеять то чувство ненависти, которое закипало в душе Иудушки каждый раз, когда что-нибудь напоминало ему о предстоящей «беде».

В скором времени целая сеть сплетен опутала Евпраксеюшку со всех сторон. Улитушка то и дело «докладывала» барину. То придет пожалуется на безрассудное распоряжение домашнею провизией.

— Чтой-то, барин, как у вас добра много выходит! Давеча пошла я на погреб за солониной; думаю, давно ли другую кадку зачали, — смотрю, ан ее там куска с два ли, с три на доньшке лежит!

— Неужто? — уставлялся в нее глазами Иудушка.

— Кабы не сама своими глазами видела — не поверила бы! Даже удивительно, куда этакая прорва идет! Масла, круп, огурцов — всего! У других господ кашу-то людям с гусиным жиром дают — таковские! — а у нас — всё с маслом, да всё с чухонским!

— Неужто? — почти пугался Порфирий Владимирыч.

То придет и невзначай о барском белье доложит.

— Вы бы, баринушка, остановили Евпраксеюшку-то. Конечно, дело ее — девичье, непривычное, а вот хоть бы насчет белья... Целые вороха она этого белья извела на простыни да на пеленки, а белье-то все тонкое.

Порфирий Владимирыч только сверкнет глазами в ответ, но вся его пустая утроба так и повернется при этих словах.

— Известно, младенца своего жалеет! — продолжает Улитушка медоточивым голосом. — Думает, и невесть что случилось... прынец народится! А между прочим мог бы он, младенец-то, и на посконных простыньках уснуть... в ихнем звании!

Иногда она даже попросту поддразнивала Иудушку.

— А что я вас хотела, баринушка, спросить, — начинала она, — как вы насчет младенца-то располагаете? сын-

ком, что ли, своим его сделаете, или, по примеру прочих, в воспитательный...

Но Порфирий Владимырьч в самом начале прерывал вопрос таким мрачным взглядом, что Улитушка умолкала.

И вот посреди закипавшей со всех сторон ненависти все ближе и ближе надвигалась минута, когда появление на свет крошечного плачущего «раба божия» должно было разрешить чем-нибудь царствовавшую в головлевском доме нравственную сумятицу и в то же время увеличить собой число прочих плачущих «рабов божиих», населяющих вселенную.

Седьмой час вечера. Порфирий Владимырьч успел уже выспаться после обеда и сидит у себя в кабинете, исписывая цифирными выкладками листы бумаги. На этот раз его занимает вопрос: сколько было бы у него теперь денег, если б маменька Арина Петровна подаренные ему при рождении дедушкой Петром Ивановичем на зубок сто рублей ассигнациями не присвоила себе, а положила бы вкладом в ломбард на имя малолетнего Порфирия? Выходит, однако, немного: всего восемьсот рублей ассигнациями.

— Положим, что капитал и небольшой, — праздномыслит Иудушка, — а все-таки хорошо, когда знаешь, что про черный день есть. Зандобилось — и взял. Ни у кого не попросил, никому не поклонился — сам взял, свое, кровное, дедушкой подаренное! Ах, маменька! маменька! и как это вы, друг мой, так очертя голову действовали!

Увы! Порфирий Владимырьч уже успокоился от тревог, которые еще так недавно парализовали его праздномыслие. Своеобразные проблески совести, пробужденные затруднениями, в которые его поставили беременность Евпраксеюшки и неожиданная смерть Арины Петровны, мало-помалу затихли. Пустомыслие сослужило и тут свою обычную службу, и Иудушке в конце концов удалось-таки с помощью невероятных усилий утопить представление о «беде» в бездне праздных слов. Нельзя, чтоб он сознательно на что-нибудь решился, но как-то сама собой вдруг вспомнилась старая, излюбленная формула: «Ничего я не знаю! ничего я не позволяю и ничего не разрешаю!» — к которой он всегда прибегал в затруднительных обстоятельствах, и очень скоро положила конец внутренней сумятице, временно взволновавшей его. Теперь он уж смотрел на предстоящие роды как на дело, до него не относящееся, а потому и самому лицу своему постарался сообщить выражение бесстрастное и непроницаемое. Он почти игнорировал Евпраксеюшку и даже не называл ее по

имени, а ежели случалось иногда спросить об ней, то выражался так: «А что́ та... все еще больна?» Словом сказать, оказался настолько сильным, что даже Улитушка, которая, в школе крепостного права, довольно-таки понаторела в науке сердцеведения, поняла, что бороться с таким человеком, который на все готов и на все согласен,— совершенно нельзя.

Головлевский дом погружен в тьму; только в кабинете у барина да еще в дальней боковушке, у Евпраксеюшки, мерцает свет. На Иудушкиной половине царствует тишина, прерываемая щелканьем на счетах да шуршаньем карандаша, которым Порфирий Владимирыч делает на бумаге цифирные выкладки. И вдруг среди общего безмолвия в кабинет врывается отдаленный, но раздирающий стон. Иудушка вздрагивает; губы его моментально трясутся; карандаш делает неподлежащий штрих.

— Сто двадцать один рубль да двенадцать рублей десять копеек... — шепчет Порфирий Владимирыч, усиливаясь заглушить неприятное впечатление, произведенное стоном.

Но стоны повторяются чаще и чаще и делаются, наконец, беспокойными. Работа становится настолько неудобною, что Иудушка оставляет письменный стол. Сначала он ходит по комнате, стараясь не слышать; но любопытство мало-помалу берет верх над пустоутробием. Потихоньку приотворяет он дверь кабинета, просовывает голову в тьму соседней комнаты и в выжидательной позе прислушивается.

«Ахти! никак, и лампадку перед иконой «Утоли моя печали» засветить позабыли!» — мелькает у него в голове.

Но вот послышались в коридоре чьи-то ускоренные, тревожные шаги. Порфирий Владимирыч поспешно юркнул головой опять в кабинет, осторожно притворил дверь и на цыпочках рысцой подошел к образу. Через секунду он уже был «при всей форме», так что когда дверь распахнулась и Улитушка вбежала в комнату, то она застала его стоящим на молитве со сложенными руками.

— Как бы Евпраксеюшка-то у нас Богу душу не отдала! — сказала Улитушка, не побоявшись нарушить молитвенное состояние Иудушки.

Но Порфирий Владимирыч даже не обернулся к ней, а только поспешнее обыкновенного зашевелил губами и вместо ответа помахал одной рукой в воздухе, словно отмахиваясь от назойливой мухи.

— Что рукою-то дрыгаете! плоха, говорю, Евпраксе-

юшка — того гляди, помрет! — грубо настаивала Ули-тушка.

На сей раз Иудушка обернулся, но лицо у него было такое спокойное, елейное, как будто он только что, в созерцании божества, отложил всякое житейское попечение и даже не понимает, по какому случаю могут тревожить его.

— Хоть и грех, по молитве, бранить, но как человек не могу не попенять: сколько раз я просил не тревожить меня, когда я на молитве стою! — сказал он приличествующим молитвенному настроению голосом, позволив себе, однако, покачать головой в знак христианской укоризны. — Ну, что еще такое у вас там?

— Чему больше быть: Евпраксеюшка мучится, разродиться не может! точно в первый раз слышите... ах, вы! хоть бы взглянули!

— Что же смотреть! доктор я, что ли? совет, что ли, дать могу? Да и не знаю я, никаких я ваших дел не знаю! Знаю, что в доме больная есть, а чем больна и отчего больна — об этом и узнавать, признаться, не любопытствовал! Вот за батюшкой послать, коли больная трудна, — это я присоветовать могу! Пошлете за батюшкой, вместе помолитесь, лампадочки у образов засвѣтите... а после мы с батюшкой чайку попьем!

Порфирий Владимирыч был очень доволен, что он в эту решительную минуту так категорически выразился. Он смотрел на Улитушку светло и уверенно, словно говорил: а ну-тка опровергни теперь меня! Даже Улитушка не нашлась в виду этого благодушия.

— Пришли бы! взглянули бы! — повторила она в другой раз.

— Не приду, потому что ходить незачем. Кабы за делом, я бы и без зова твоего пошел. За пять верст нужно по делу идти — за пять верст пойду; за десять верст нужно — и за десять верст пойду! И морозец на дворе и метелица, а я все иду да иду! Потому знаю: дело есть, нельзя не идти!

Улитушке думалось, что она спит и в сонном видении сам сатана предстал перед нею и разглагольствует.

— Вот за попом послать, это — так. Это дельно будет. Молитва — ты знаешь ли, что об молитве-то в Писании сказано? Молитва — *недугующих исцеление* — вот что сказано! Так ты так и распорядись! Пошлите за батюшкой, помолитесь вместе... и я в это же время помолюсь! Вы там, в образной, помолитесь, а я здесь, у себя, в каби-

нете, у Бога милости попрошу... Общими силами: вы там, я тут — смотришь, ан молитва-то и дошла!

Послали за батюшкой, но, прежде нежели он успел прийти, Евпраксеюшка, в терзаниях и муках, уж разрешилась. Порфирий Владимырьч мог догадаться по беготне и хлопанью дверьми, которые вдруг поднялись в стороне девичьей, что случилось что-нибудь решительное. И действительно, через несколько минут в коридоре вновь слышались торопливые шаги, и вслед за тем в кабинет на всех парусах влетела Улитушка, держа в руках крохотное существо, завернутое в белье.

— На-тко-те! Поглядите-тко-те! — возгласила она торжественным голосом, поднося ребенка к самому лицу Порфирия Владимыряча.

Иудушку на мгновение словно бы поколебало, даже корпус его пошатнулся вперед, и в глазах блеснула какая-то искорка. Но это было именно только на одно мгновение, потому что вслед за тем он уже брезгливо отвернул свое лицо от младенца и обеими руками замахал в его сторону.

— Нет, нет... и незачем... и не мое это дело! Ваши это пай! — лепетал он, выражая всем лицом своим бесконечную гадливость.

— Да вы хоть бы спросили: мальчик или девочка? — увещевала его Улитушка.

— Нет, нет.. и незачем... и не мое это дело! Ваши это дела, а я не знаю... Ничего я не знаю, и знать мне не нужно... Уйди от меня, ради Христа! уйди!

Опять сонное видение, и опять сатана... Улитушку даже взорвало.

— А вот я возьму да на диван вам и брошу... нянчитесь с ним! — пригрозила она.

Но Иудушка был не такой человек, которого можно было пронять. В то время, когда Улитушка произносила свою угрозу, он уже повернулся лицом к образам и скромно воздевал руками. Очевидно, он просил Бога простить всем: и тем, «иже ведением и неведением», и тем, «иже словом, и делом, и помышлением», а за себя благодарил, что он — не тать, и не мздоимец, и не прелюбодей, и что Бог, по милости своей, укрепил его на стезе праведных. Даже нос у него вздрагивал от умиления, так что Улитушка, наблюдавшая за ним, плюнула и ушла.

— Вот одного Володьку Бог взял — другого Володьку дал! — как-то совсем некстати сорвалось у него с мысли;

но он тотчас же подметил эту неожиданную игру ума и мысленно проговорил: «Тьфу! тьфу! тьфу!»

Пришел и батюшка, попел и покадил. Иудушка слышал, как дьячок тянул: «Заступница усердная!», — и сам разохотился — подтянул дьячку. Опять прибежала Улигушка, крикнула в дверь:

— Володимером назвали!

Странное совпадение этого обстоятельства с недавнею абберрацией мысли, тоже напоминавшей о погибшем Володьке, умилило Иудушку. Он увидел в этом божеское произволение и, на этот раз уже не отплевываясь, сказал самому себе:

— Вот и слава богу! одного Володьку Бог взял, другого — дал! Вот оно, Бог-то! В одном месте теряешь, думаешь, что и не найдешь, — ан Бог-то возьмет да в другом месте сторицей вознаградит!

Наконец доложили, что самовар подан и батюшка ожидает в столовой. Порфирий Владимирыч окончательно стих и умилился. Отец Александр действительно уже сидел в столовой в ожидании Порфирия Владимирыча. Головлевский батюшка был человек политичный и старавшийся придерживаться в сношениях с Иудушкой светского тона; но он очень хорошо понимал, что в господской усадьбе еженедельно и под большие праздники совершаются все-нощные бдения, а сверх того каждое первое число служитя молебен, и что все это доставляет причту не менее ста рублей в год дохода. Кроме того, ему не безызвестно было, что церковная земля еще не была надлежащим образом отмежевана и что Иудушка не раз, проезжая мимо поповского луга, говаривал: «Ах, хорош лужок!» Поэтому в светское обращение батюшки примешивалась и немалая доля «страха иудейска», который выражался в том, что батюшка при свиданиях с Порфирием Владимирычем старался приводить себя в светлое и радостное настроение, хотя бы и не имел повода таковое ощущать, и когда последний в разговоре позволял себе развивать некоторые ереси относительно путей провидения, предбудущей жизни и прочего, то, не одобряя их прямо, видел, однако, в них не кощунство или богохульство, но лишь свойственное дворянско-му званию дерзновение ума.

Когда Иудушка вошел, батюшка торопливо благословил его и еще торопливее отдернул руку, словно боялся, что кровопивец укусит ее. Хотел было он поздравить своего духовного сына с новорожденным Владимиром, но

подумал, как-то еще отнесется к этому обстоятельству сам Иудушка, и остерегся.

— Мжица на дворе ныне, — начал батюшка, — по народным приметам, в коих, впрочем, частицею и суеверие примечается, оттепель таковая погода предзнаменует.

— А может быть, и мороз; мы загадываем про оттепель — а Бог возьмет да морозцу пошлет! — возразил Иудушка, хлопотливо и даже почти весело присаживаясь к чайному столу, за которым на сей раз хозяйничал лакей Прохор.

— Это точно, что человек нередко, в мечтании своем, стремится недосягаемая достигнуть и к недоступному доступ найти. А вследствие того или повод для раскаяния, или и самую скорбь для себя обретает.

— А потому и надо нам от гаданий да от заглядываний подальше себя держать, а быть довольными тем, что Бог пошлет. Пошлет Бог тепла — мы теплу будем рады; пошлет Бог морозцу — и морозцу милости просим! Велим пожарче печечки натопить, а которые в путь шествуют, те в шубки покрепче завернутся — вот и тепленько нам будет!

— Справедливо!

— Многие нынче любят кругом да около ходить: и то не так, и другое не по-ихнему, и третье вот этак бы сделать, а я этого не люблю. И сам не загадываю, и других не похваляю. Высокоумие это — вот я какой взгляд на такие попытки имею!

— И это справедливо.

— Мы все здесь — странники; я так на себя и смотрю! Вот чайку попить, закусить что-нибудь, легонькое... это нам дозволено! Потому Бог нам тело и прочие части дал... Этого и правительство нам не воспрещает: кушать кушайте, а язык за зубами держите!

— И опять-таки вполне справедливо! — крикнул батюшка и от внутреннего ликования стукнул об блюдечко доньшком опорожненного стакана.

— Я так рассуждаю, что ум дан человеку не для того, чтоб испытывать неизвестное, а для того, чтоб воздерживаться от грехов. Вот ежели я, например, чувствую плотскую немощь или смущение и призываю на помощь ум: укажи, мол, пути, как мне ту немощь побороть — вот тогда я поступаю правильно! Потому что в этих случаях ум действительно пользу оказать может.

— А больше все-таки вера, — слегка поправил батюшка.

— Вера — сама по себе, а ум сам по себе. Вера на цель указывает, а ум — пути изыскивает. Туда толкнется, там постучится... блуждает, а между тем и полезное что-нибудь отыщет. Вот лекарства разные, травы целебные, пластыри, декокты — все это ум изобретает и открывает. Но надобно, чтоб все было согласно с верою — на пользу, а не на вред.

— И против этого возразить ничего не могу!

— Я, батя, книжку одну читал, так там именно сказано: услугами ума, ежели оный верою направляется, отнюдь не следует пренебрегать, ибо человек без ума в скором времени делается игрищем страстей. А я даже так думаю, что и первое грехопадение человеческое оттого произошло, что дьявол, в образе змия, рассуждение человеческое затмил.

Батюшка на это не возражал, но и от похвалы воздержался, потому что не мог себе еще уяснить, к чему склоняется Иудушкина речь.

— Часто мы видим, что люди не только впадают в грех мысленный, но и преступления совершают — и всё через недостаток ума. Плоть искушает, а ума нет — вот и летит человек в пропасть. И сладенького-то хочется, и веселенького, и приятенького, и в особенности ежели женский пол... как тут без ума уберечись! А коли ежели у меня есть ум, я взял канфарки или маслица; там потер, в другом месте подсыпал — смотришь, искушение-то с меня как рукой сняло!

Иудушка замолчал, как бы выжидая, что скажет на это батюшка, но батюшка все еще недоумевал, к чему клонится Иудушкина речь, и потому только крикнул и без всякого резона сказал:

— Вот у меня на дворе куры... Суетятся, по случаю солноворота; бегают, мечутся, места нигде сыскать не могут...

— И все оттого, что ни у птиц, ни у зверей, ни у пресмыкающихся ума нет. Птица — это что такое? Ни у ней горя, ни заботушки — летает себе! Вот давеча смотрю в окно: копаются воробьи носами в навозе — и будет с них! А человеку — этого мало!

— Однако в иных случаях и Писание на птиц небесных указывает!

— В иных случаях — это так. В тех случаях, когда и без ума вера спасает — тогда птицам подражать нужно. Вот Богу молиться, стихи сочинять...

Порфирий Владимирыч умолк. Он был болтлив по при-

роде, и, в сущности, у него так и вертелось на языке происшествие дня. Но, очевидно, не созрела еще форма, в которой приличным образом могли быть выражены разглагольствия по этому предмету.

— Птицам ум не нужен, — наконец сказал он, — потому что у них соблазнов нет. Или, лучше сказать, есть соблазны, да никто с них за это не взыскивает. У них все натуральное: ни собственности нет, за которой нужно присмотреть, ни законных браков нет, а следовательно, нет и вдовства. Ни перед Богом, ни перед начальством они в ответе не состоят: один у них начальник — петух!

— Петух! петух! это так точно! он у них — вроде как султан турецкий!

— А человек все так сам для себя устроил, что ничего у него натурального нет, а потому ему и ума много нужно. И самому чтобы в грех не впасть и других бы в соблазн не ввести. Так ли, батя?

— Истинная это правда. И Писание советует соблазняющее око истребить.

— Это ежели буквально понимать, а можно, и не истребляя ока, так устроить, чтобы оно не соблазнялось. К молитве чаще обращаться, озлобление телесное усмирять. Вот я, например: и в поре и нельзя сказать, чтоб хил... Ну, и прислуга у меня женская есть... а мне и горюшка мало! Знаю, что без прислуги нельзя, — ну и держу! И мужскую прислугу держу и женскую — всякую! Женская прислуга тоже в хозяйстве нужна. На погреб сходить, чайку налить, насчет закуски распорядиться... ну, и Христос с ней! Она свое дело делает, я — свое... вот мы и поживаем!

Говоря это, Иудушка старался смотреть батюшке в глаза, батюшка тоже, с своей стороны, старался смотреть в глаза Иудушке. Но, к счастью, между ними стояла свечка, так что они могли вволю смотреть друг на друга и видеть только пламя свечи.

— А притом я и так еще рассуждаю: ежели с прислугой в короткие отношения войти — непременно она командовать в доме начнет. Пойдут это дрызги да непорядки, перекоры да грубости: ты слово, а она — два... А я от этого устраняюсь.

У батюшки даже в глазах зарябило: до того пристально он смотрел на Иудушку. Поэтому, и чувствуя, что светские приличия требуют, чтобы собеседник хоть от времени до времени вставлял слово в общий разговор, он покачал головой и произнес:

— Тсс...

— А ежели при этом еще так поступать, как другие... вот как соседка мой, господин Анпетов, например, или другой соседка, господин Утробин... так и до греха недалеко. Вон у господина Утробина: никак, с шесть человек этой пакости во дворе копаются... А я этого не хочу. Я говорю так: коли Бог у меня моего ангела-хранителя отнял — стало быть, так его святой воле угодно, чтоб я вдовцом был. А ежели я, по милости божьей, — вдовец, то, стало быть, должен вдоветь честно и ложе свое нескверно содержать. Так ли, батя?

— Тяжко, сударь!

— Сам знаю, что тяжко, и все-таки исполняю. Кто говорит: тяжко! — а я говорю: чем тяжче, тем лучше, только бы Бог укрепил! Не всем сладенького да легонького — надо кому-нибудь и для Бога потрудиться! *Здесь* себя сократишь — *там* получишь! *Здесь* — «трудом» это называется, а *там* — заслугой зовется! Справедливо ли я говорю?

— Уж на что же справедливее!

— Тоже и об заслугах надо сказать. И они неравные бывают. Одна заслуга — большая, а другая заслуга — малая! А ты как бы думал!

— Как же возможно! Большая ли заслуга или малая!

— Так вот оно на мое и выходит. Коли человек держит себя аккуратно: не срамословит, не суесловит, других не осуждает, коли он притом никого не огорчил, ни у кого ничего не отнял... ну, и насчет соблазнов этих вел себя осторожно — так и совесть у того человека завсегда покойна будет. И ничто к нему не пристанет, никакая грязь! А ежели кто из-за угла и осудит его, так, по моему мнению, такие осуждения даже в расчет принимать не следует. Плунуть на них — и вся недолга!

— В сих случаях христианские правила прощение преимущественнее рекомендуют!

— Ну, или простить! Я всегда так и делаю: коли меня кто осуждает, я его прощу да еще Богу за него помолюсь! И ему хорошо, что за него молитва до Бога дошла, да и мне хорошо: помолился, да и забыл!

— Вот это правильно: ничто так не облегчает души, как молитва! И скорби, и гнев, и даже болезнь — все от нее, как тьма ночная от солнца, бежит!

— Ну, вот и слава богу! И всегда так вести себя нужно, чтобы жизнь наша, словно свеча в фонаре, вся со всех сторон видна была... И осуждать меньше будут — потому, не за что! Вот хоть бы мы: посидели, поговорили, побесе-

довали — кто же может нас за это осудить? А теперь пойдем да Богу помолимся, а потом и баиньки. А завтра опять встанем... так ли, батюшка?

Иудушка встал и с шумом отодвинул свой стул, в знак окончания собеседования. Батюшка, с своей стороны, тоже поднялся и занес было руку для благословения; но Порфирий Владимирыч, в виде особого на сей раз расположения, поймал его руку и сжал ее в обеих своих.

— Так Владимиром, батюшка, назвали? — сказал он, печально качая головой в сторону Евпраксеюшкиной комнаты.

— В честь святого и равноапостольного князя Владимира, сударь.

— Ну и слава богу! Прислуга она усердная, верная, а вот насчет ума — не взыщите! Оттого и впадают они... в пре-лю-бо-де-яние!

Весь следующий день Порфирий Владимирыч не выходил из кабинета и молился, прося себе у Бога вразумления. На третий день он вышел к утреннему чаю не в халате, как обыкновенно, а одетый по-праздничному в сюртук, как он всегда делал, когда намеревался приступить к чему-нибудь решительному. Лицо у него было бледно, но дышало душевным просветлением; на губах играла блаженная улыбка; глаза смотрели ласково, как бы всепрощающе; кончик носа, вследствие молитвенного угобжения, слегка покраснел. Он молча выпил свои три стакана чаю и в промежутках между глотками шевелил губами, складывал руки и смотрел на образ, как будто все еще, несмотря на вчерашний молитвенный труд, ожидал от него скорой помощи и предстательства. Наконец, пропустив последний глоток, потребовал к себе Улитушку и встал перед образом, дабы еще раз подкрепить себя божественным собеседованием, а в то же время и Улите наглядно показать, что то, что имеет произойти вслед за сим, — дело не его, а Богово. Улитушка, впрочем, с первого же взгляда на лицо Иудушки поняла, что в глубине его души решено предательство.

— Вот я и Богу помолился! — начал Порфирий Владимирыч и в знак покорности его святой воле опустил голову и развел руками.

— И распрекрасное дело! — ответила Улитушка, но в голосе ее звучала такая несомненная пронизательность, что Иудушка невольно поднял на нее глаза.

Она стояла перед ним в обыкновенной своей позе, одну руку положив поперек груди, другую — уперши в подбородок; но по лицу ее так и светились искорки смеха.

Порфирий Владимирыч слегка покачал головой в знак христианской укоризны.

— Небось Бог милости прислал? — продолжала Улитушка, не смущаясь предостерегательным движением своего собеседника.

— Все-то ты кощунствуешь! — не выдержал Иудушка. — Сколько раз я и лаской и шуточкой старался тебя от этого остеречь, а ты все свое! Злой у тебя язык... ехидный!

— Ничего я, кажется... Обыкновенно, коли Богу помолились — значит, Бог милости прислал!

— То-то вот «кажется»! А ты не все, что тебе «кажется», зря болтай; иной раз и помолчать умей! Я об деле, а она — «кажется»!

Улитушка только переступила с ноги на ногу вместо ответа, как бы выражая этим движением, что все, что Порфирий Владимирыч имеет сказать ей, давным-давно ей известно и переизвестно.

— Ну, так слушай же ты меня, — начал Иудушка, — молился Богу, и вчера молился, и сегодня, и все выходит, что как-никак, а надо нам Володьку пристроить!

— Известно надо пристроить! Не щенок — в болото не бросишь!

— Стой, погоди! дай мне слово сказать... язва ты, язва! Ну! Так вот я и говорю: как-никак, а надо Володьку пристроить. Первое дело, Евпраксеюшку пожалеть нужно, а второе дело — и его человеком сделать.

Порфирий Владимирыч взглянул на Улитушку, вероятно ожидая, что вот-вот она всласть с ним покалякает, но она отнеслась к делу совершенно просто и даже цинически.

— Мне, что ли, в воспитательный-то везти? — спросила она, смотря на него в упор.

— Ах-ах! — вступился Иудушка, — уж ты и решила... тарантá егоровна! Ах, Улитка, Улитка! все-то у тебя на уме прыг да шмыг! все бы тебе поболтать да поегозить! А почему ты знаешь: может, я и не думаю об воспитательном? Может, я так... другое что-нибудь для Володьки придумал?

— Что ж, и другое что — и в этом худого нет!

— Вот я и говорю: хоть, с одной стороны, и жалко Володьку, а с другой стороны, коли порассудить да поразмыслить — ан выходит, что дома его держать нам не приходится!

— Известное дело! что люди скажут? скажут: откуда, мол, в головлевском доме чужой мальчишечка проявился?

— И это, да еще и то: пользы для него никакой дома не будет. Мать молода — баловать будет; я, старый, хотя и сбоку припеку, а за верную службу матери... туда же, пожалуй! Нет-нет — да и снизойдешь. Где бы за проступок посечь малого, а тут за тем да за сем... да и слез бабьих да крику не оберешься — ну, и махнешь рукой! Так ли?

— Справедливо это. Надоест.

— А мне хочется, чтобы все у нас хорошохоныко было. Чтоб из него, из Володьки-то, со временем настоящий человек вышел. И Богу слуга, и царю подданный. Коли ежели Бог его крестьянством благословит, так чтобы землю работать умел... Косить там, пахать, дрова рубить — всего чтобы понемножку. А ежели ему в другое звание судьба будет, так чтобы ремесло знал, науку... Оттуда, слышь, и в учителя некоторые попадают!

— Из воспитательного-то? прямо генералами делают!

— Генералами не генералами, а все-таки... Может, и знаменитый какой-нибудь человек из Володьки выйдет! А воспитывают их там — отлично! Это уж я сам знаю! Кроватки чистенькие, мамки здоровенькие, рубашечки на детушках беленькие, рожочки, сбсочки, пеленочки... словом, все!

— Чего лучше... для незаконных!

— А ежели он и в деревню в питомцы попадет — что ж, и Христос с ним! К трудам приучаться с малолетства будет, а ведь труд — та же молитва! Вот мы — мы настоящим манером молимся! Встанем перед образом, крестное знамение творим, и ежели наша молитва угодна Богу, то он подает нам за нее! А мужичок — тот трудится! Иной и рад бы настоящим манером помолиться, да ему вряд и в праздник поспеть. А Бог все-таки видит его труды — за труды ему подает, как нам за молитву. Не всем в палатах жить, да по балам прыгать — надо кому-нибудь и в избе-ночке курненькой пожить, за землицей-матушкой походить да похолить ее! А счастье-то — еще бабушка надвое сказала — где оно? Иной и в палатах и в неженье живет, да через золото слезы льет, а другой и в соломку зароется, хлебца с кваском покушает, а на душе-то у него рай! Так, что ли, я говорю?

— Чего лучше, как рай на душе!

— Так мы вот как с тобой, голубушка, сделаем. Возьми-ка ты проказника Володьку, заверни его тепленько да уютненько, да и скатай с ним живым манером в Москву. Кибиточку я распоряжусь снарядить для вас крытенькую, лошабочек парочку прикажу заложить, а дорога у нас те-

перь гладкая, ровная: ни ухабов, ни выбоин — кати да покатывай! Только ты у меня смотри: чтоб все честь честью было. По-моему, по-головлевски... как я люблю! Сосочка чтобы чистенькая, рожочек... рубашончек, простынек, свивальничков, пеленочек, одеяльцев — всего чтобы вдоволь было! Бери! командуй! а не дадут, так меня, старого, за бока бери — мне жалуйся! А в Москву приедешь — на постоялом остановись. Харчи там, самоварчик, чайку — требуй! Ах, Володька, Володька! вот грех какой случился! И жаль расстаться с тобой, а делать, брат, нечего! Сам после пользу увидишь, сам будешь благодарить!

Иудушка слегка воздел руками и потрепетал губами в знак умной молитвы. Но это не мешало ему исподлобья взглядывать на Улитушку и подмечать язвительные мелькания, которыми подергивалось лицо ее.

— Ты что? сказать что-нибудь хочешь? — спросил он ее.

— Ничего я. Известно, мол: будет благодарить, коли благодетелей своих отыщет.

— Ах ты, дурная, дурная! да разве мы без билета его туда отдадим! А ты билетец возьми! По билетцу-то мы и сами его как раз отыщем! Вот выхолят, выкормят, уму-разуму научат, а мы с билетцем и тут как тут: пожалуйста молодца нашего, Володьку-проказника, назад! С билетцем-то мы его со дна морского выудим... Так ли я говорю?

Но Улитушка ничего не ответила на вопрос; только язвительные мелькания на лице ее выступили еще резче прежнего. Порфирий Владимырьч не выдержал.

— Язва ты, язва! — сказал он, — дьявол в тебе сидит, черт... тьфу! тьфу! тьфу! Ну, будет. Завтра, чуть свет, возьмешь ты Володьку, да скорехонько, чтобы Евпраксеюшка не слыхала, и отправляйтесь с богом в Москву. Воспитательный-то знаешь?

— Важивала, — однословно ответила Улитушка, как бы намекая на что-то в прошлом.

— А важивала — так тебе и книги в руки. Стало быть, и входы и выходы — все должно быть тебе известно. Смотри же, помести его да начальников низенько попроси — вот так!

Порфирий Владимырьч встал и поклонился, коснувшись рукою земли.

— Чтоб ему хорошо там было! не как-нибудь, а настоящим бы манером! Да билетец, билетец-то выправь. Не забудь! По билету мы его после везде отыщем! А на расходы я тебе две двадцатипятирублевеньких отпущу.

Знаю ведь я, все знаю! И там сунуть придется, и в другом месте барашка в бумажке подарить... Ахти, грехи наши, грехи! Все мы люди, все человеки, все сладенького да хорошенького хотим! Вот и Володька наш! Кажется, великли, и всего с ноготок, а поди-ка сколько уж денег стоит!

Сказавши это, Иудушка перекрестился и низенько поклонился Улитушке, молчаливо рекомендуя ей не оставить проказника Володьку своими попечениями. Будущее приبلудной семьи было устроено самым простым способом.

На другое утро после этого разговора, покуда молодая мать металась в жару и бреду, Порфирий Владимирыч стоял перед окном в столовой, шевелил губами и крестил стекло. С красного двора выезжала рогожная кибитка, увозившая Володьку. Вот она поднялась на горку, поравнялась с церковью, повернула налево и скрылась в деревне. Иудушка сотворил последнее крестное знамение и вздохнул.

— Вот батя намеднись про оттепель говорил, — сказал он самому себе, — ан Бог-то морозцу вместо оттепели послал! Морозцу, да еще какого! Так-то и всегда с нами бывает! Мечтаем мы, воздушные замки строим, умствуем, думаем и Бога самого перемудрить, — а Бог возьмет да в одну минуту все наше высокоумие в ничто обратит!

ВЫМОРОЧНЫЙ

Агония Иудушки началась с того, что ресурс праздности, которым он до сих пор так охотно злоупотреблял, стал видимо сокращаться. Все вокруг него опустело: одни перемерли, другие — ушли. Даже Аннинька, несмотря на жалкую будущность кочующей актрисы, не соблазнилась голловлевскими привольями. Оставалась одна Евпраксеюшка, но независимо от того, что это был ресурс очень ограниченный, и в ней произошла какая-то порча, которая не замедлила пробиться наружу и раз навсегда убедить Иудушку, что красные дни прошли для него безвозвратно.

До сих пор Евпраксеюшка была до такой степени беззащитна, что Порфирий Владимирыч мог угнетать ее без малейших опасений. Благодаря крайней неразвитости ума и врожденной дряблости характера, она даже не чувствовала этого угнетения. Покуда Иудушка срамословил, она безучастно смотрела ему в глаза и думала совсем о другом. Но теперь она вдруг нечто поняла, и ближайшим результатом пробудившейся способности понимания яви-

лось внезапное, еще несознанное, но злое и непобедимое отвращение.

Очевидно, пребывание в Головлеве погорелковской барышни не прошло бесследно для Евпраксеюшки. Хотя последняя и не могла дать себе отчета, какого рода боли вызвали в ней случайные разговоры с Аннинькой, но внутренне она почувствовала себя совершенно взбудораженною. Прежде ей никогда не приходило в голову спросить себя, зачем Порфирий Владимирыч, как только встретит живого человека, так тотчас же начинает опутывать его целою сетью словесных обрывков, в которых ни за что уцепиться невозможно, но от которых делается невыносимо тяжело; теперь ей стало ясно, что Иудушка, в строгом смысле, не разговаривает, а «тиранит», и что, следовательно, не лишнее его «осадить», дать почувствовать, что и ему пришла пора «честь знать». И вот она начала вслушиваться в его бесконечные словоизлияния и действительно только одно в них и поняла: что Иудушка пристаёт, досаждаёт, зудит.

«Вот барышня говорила, будто он и сам не знает, зачем говорит, — рассуждала она сама с собою, — нет, в нем это злость действует! Знает он, который человек против него защиты не имеет, — ну и вертит им, как ему любо!»

Впрочем, это было еще второстепенное обстоятельство. Главным образом действие приезда Анниньки в Головлево выразилось в том, что он взбунтовал в Евпраксеюшке инстинкты ее молодости. До сих пор эти инстинкты как-то тупо тлели в ней, теперь — они горячо и привязчиво вспыхнули. Многие она поняла из того, к чему прежде относилась совсем безучастно. Вот, например: почему же ни-будь да не согласилась Аннинька остаться в Головлеве, так-таки напрямик и сказала: страшно! Почему так? — а потому просто, что она молода, что ей «жить хочется». Вот и она, Евпраксеюшка, тоже молода... Да, молода! Это только так кажется, будто молодость в ней жиром заплыла — нет, временем куда тоже шибко она сказывается! И зовет и манит; то замрет, то опять вспыхнет. Думала она, что и с Иудушкой дело обойдется, а теперь вот... «Ах ты, гнилушка старая! ишь ведь как обошел!» Хорошо бы теперича с дружкой пожить, да с настоящим, с молоденьким! Обнялися бы, завалилися, стал бы милый дружок целовать-миловать, ласковые слова на ушко говорить: ишь, мол, ты белая да рассыпчатая! «Ах, кикимора проклятая! нашел ведь чем — костями своими старыми прельстить! Смотри, чай, и у погорелковской барышни молодчик есть!

Беспрерывно есть! То-то она подобрала хвосты да удрала! А тут вот сиди в четырех стенах, жди, пока ему, старому, в голову вступит!..»

Разумеется, Евпраксеюшка не сразу заявила о своем бунте, но, однажды вступивши на этот путь, уже не останавливалась. Отыскивала прицепки, припоминала прошлое, и между тем, как Иудушка даже не подозревал, что внутри ее зреет какая-то темная работа, она молчаливо, но ежеминутно разжигала себя до ненависти. Сперва явились общие жалобы, вроде «чужой век заел»; потом наступила очередь для сравнений. «Вот в Мазулине Палагеюшка у барина в экономках живет: сидит руки скламши, да и в шелковых платьях ходит. Ни она на скотный, ни на погреб — сидит у себя в покойчике да бисером вяжет!» И все эти обиды и протесты заканчивались одним общим воплем:

— Уж как же у меня теперича против тебя, распостылого, сердце разожглось! Ну так разожглось! так разожглось!

К этому главному поводу присоединился и еще один, который был в особенности тем дорог, что мог послужить отличнейшею прицепкою для вступления в борьбу. А именно: воспоминание о родах и об исчезновении сына Володьки.

В то время, когда произошло это исчезновение, Евпраксеюшка отнеслась к этому факту как-то тупо. Порфирий Владимирыч ограничился тем, что объявил ей об отдаче новорожденного в добрые руки, а чтобы утешить, подарил ей новый шалевоу платок. Затем все опять заплыло и пошло по-старому. Евпраксеюшка даже рьянее прежнего окунулась в тину хозяйственных мелочей, словно хотела на них сорвать неудавшееся свое материнство. Но продолжало ли потихоньку теплиться материнское чувство в Евпраксеюшке, или просто ей блажь в голову вступила, во всяком случае, воспоминание о Володьке вдруг воскресло. И воскресло в ту самую минуту, когда на Евпраксеюшку повеяло чем-то новым, свободным, вольным, когда она почувствовала, что есть иная жизнь, сложившаяся совсем иначе, нежели в стенах головлевского дома. Понятно, что придирка была слишком хороша, чтоб не воспользоваться ею.

— Ишь ведь что сделал! — разжигала она себя. — Робенка отнял! словно щенка в омуте утопил!

Мало-помалу мысль эта овладела ею всецело. Она и сама поверила какому-то страстному желанию вновь соединиться с ребенком, и чем назойливее разгоралось это

желание, тем больше и больше силы приобретала ее досада против Порфирия Владимыча.

— По крайности теперь хоть забава бы у меня была! Володя! Володюшка! рожóнный мой! Где-то ты? чай, к панёвнице в деревню спихнули! Ах, прóпасти на вас нет, господа вы прокляты! Наделают робят, да и забросят, как щенят в яму: никто, мол, не спросит с нас! Лучше бы мне в ту пору ножом себя по горлу полыхнуть, нéчем ему, охавернику, над собой надругаться давать!

Явилась ненависть, желание досадить, изгадить жизнь, извести; началась несноснейшая из всех войн — война придирок, поддразниваний, мелких укулов. Но именно только такая война и могла сломить Порфирия Владимыча.

Однажды, за утренним чаем, Порфирий Владимыч был очень неприятно изумлен. Обыкновенно он в это время источал из себя целые массы словесного гноя, а Евпраксеюшка, с блюдечком чая в руке, молча внимала ему, зажав зубами кусок сахару и от времени до времени фыркая. И вдруг, только что начал он развивать мысль (к чаю в этот день был подан теплый, свежее испеченный хлеб), что хлеб бывает разный: видимый, который мы едим и через это тело свое поддерживаем, и невидимый, духовный, который мы *вкушаем* и тем стяжаем себе душу, как Евпраксеюшка, самым бесцеремонным образом, перебила его разглагольствия.

— Сказывают, в Мазулине Палагеюшка хорошо живет! — начала она, обернувшись всем корпусом к окну и развязно покачивая ногами, сложенными одна на другую.

Иудушка слегка вздрогнул от неожиданности, но на первый раз, однако, не придал этому случаю особенного значения.

— И ежели мы долго не едим хлеба видимого, — продолжал он, — то чувствуем голод телесный; если же продолжительное время не вкушаем хлеба духовного...

— Палагеюшка, слышь, в Мазулине хорошо живет! — вновь перебила его Евпраксеюшка, и на этот раз уже, очевидно, неспроста.

Порфирий Владимыч вскинул на нее изумленные глаза, но все-таки воздержался от выговора, словно бы почуял что-то недоброе.

— А хорошо живет Палагеюшка — так и Христос с ней! — кратко молвил он в ответ.

— Ейный-то господин, — продолжала колобродить Евпраксеюшка, — никаких неприятностей ей не делает, ни работой не принуждает, а между прочим з́авсе в шелковых платьях водит!

Изумление Порфирия Владимыря росло. Речи Евпраксеюшки были до такой степени ни с чем не сообразны, что он даже не нашелся, что предпринять в данном случае.

— И на всякий день у нее платья разные, — словно во сне бредила Евпраксеюшка, — на сегодня одно, на завтра другое, а на праздник особенное. И в церкву в коляске четверней ездят: сперва она, потом господин. А поп, как увидит коляску, трезвонить начинает. А потом она у себя в своей комнате сидит. Коли господину желательно с ней время провести, господина у себя принимает, а не то так с девушкой, с горничной ейной, разговаривает или бисером вяжет!

— Ну, так что ж? — очнулся, наконец, Порфирий Владимырь.

— Об том-то я и говорю, что Палагеюшкино житье очень уж хорошо!

— А твое небожь худо житье? Ах-ах-ах, какая ты, однако ж... ненасытная!

Смолчи на этот раз Евпраксеюшка, Порфирий Владимырь, конечно, разразился бы целым потоком бездельных слов, в котором бесследно потонули бы все дурацкие намеки, возмутившие правильное течение его празднословия. Но Евпраксеюшка, по-видимому, и намерения не имела молчать.

— Что говорить! — огрызнулась она, — и мое житье не худое! В затрапезах не хожу, и то слава те господи! В прошлом году за два ситцевых платья по пяти рублей отдали... расшиблись!

— А шерстяное-то платье позабыла? а платок-то недавно кому купили? ах-ах-ах!

Вместо ответа Евпраксеюшка уперлась в стол рукой, в которой держала блюдечко, и метнула в сторону Иудушки косой взгляд, исполненный такого глубокого презрения, что ему с непривычки сделалось жутко.

— А ты знаешь ли, как Бог за неблагодарность-то наказывает? — как-то нерешительно залепетал он, надеясь, что хоть напоминание о Боге сколько-нибудь образумит неизвестно с чего взбаламутившуюся бабу. Но Евпраксеюшка не только не пронялась этим напоминанием, но тут же на первых словах оборвала его.

— Нечего! нечего зубы-то заговаривать! нечего на Бога

указывать! — сказала она. — Не маленькая! Будет! по-властвовали! потиранили!

Порфирий Владимирович замолчал. Налитой стакан с чаем стоял перед ним почти остывший, но он даже не притрогивался к нему. Лицо его побледнело, губы слегка вздрагивали, как бы усиливаясь сложиться в усмешку, но без успеха.

— А ведь это — Анюткины штуки! это она, ехидная, натравила тебя! — наконец произнес он, сам, впрочем, не отдавая себе ясного отчета в том, что говорит.

— Какие же это штуки?

— Да вот что ты разго ривать-то со мной начала... Она! она научила! Некому другому, как ей! — волновался Порфирий Владимирович. — Смотри-тка-те, ни с того ни с сего вдруг шелковых платьев захотелось! Да ты знаешь ли, бесстыдница, кто из вашего звания в шелковых-то платьях ходит?

— Скажите, так буду знать!

— Да просто самые... ну, самые беспутные, те только ходят!

Но Евпраксеюшка даже этим не усовестилась, но, напротив того, с какою-то наглою резонностью ответила:

— Не знаю, почему они беспутные... Известно, господа требуют... Который господин нашу сестру на любовь с собой склонил... ну, и живет она, значит... с ним! И мы с вами не молебны, чай, служим, а тем же, чем и мазулинский барин, занимаемся.

— Ах, ты... тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирович даже помертвел от неожиданности. Он смотрел во все глаза на взбунтовавшуюся наперсницу, и целая масса праздных слов так и закипала у него в груди. Но в первый раз в жизни он смутно заподозрил, что бывают случаи, когда и праздным словом убить человека нельзя.

— Ну, голубушка! с тобой, я вижу, сегодня не поговорить! — сказал он, вставая из-за стола.

— И сегодня не поговорите, и завтра не поговорите... никогда! Будет! повластвовали! Наслушалась я довольно; послушайте теперь вы, каковы мои слова будут.

Порфирий Владимирович бросился было на нее с сжатыми кулаками, но она так решительно выпятила вперед свою грудь, что он внезапно опешил. Оборотился лицом к образу, воздел руки, потрепал губами и тихим шагом побрел в кабинет.

Весь этот день ему был не по себе. Он еще не имел

определенных опасений за будущее, но уже одно то волновало его, что случился такой факт, который совсем не входил в обычное распределение его дня, и что факт этот прошел безнаказанно. Даже к обеду он не вышел, а притворился больным и скромненько, притворно ослабевшим голосом попросил принести ему поесть в кабинет.

Вечером, после чаю, который в первый раз в жизни прошел совершенно безмолвно, он встал, по обыкновению, на молитву; но напрасно губы его шептали обычное последование на сон грядущий; возбужденная мысль даже внешним образом отказывалась следить за молитвой. Какое-то дрянное, но неотступное беспокойство овладело всем его существом, а ухо невольно прислушивалось к слабеющим отголоскам дня, еще раздававшимся то там, то сям, в разных углах головлевского дома. Наконец, когда пронесся где-то за стеной последний отчаянный зевок и вслед за тем все вдруг стихло, словно окунулось куда-то глубоко на дно, он не выдержал. Бесшумно крадучись, побрел он вдоль коридора и, подойдя к Евпраксеюшкиной комнате, приложил к двери ухо, чтоб подслушать. Евпраксеюшка была одна, и слышно было только, как она, зевая, произносит: «Господи! Спас милостивый! Успленья матушка» — и в то же время горстью чешет себе поясницу. Порфирий Владимирыч попробовал взяться за ручку двери замка, но дверь была заперта.

— Евпраксеюшка! ты здесь? — окликнул он.

— Здесь, да не про вас! — огрызнулась она так грубо, что Иудушке осталось молча отретироваться в кабинет.

На другой день последовал другой разговор. Евпраксеюшка, как нарочно, выбирала время утреннего чая для узвления Порфирия Владимирыча. Словно она чутьем чуяла, что все его бездельничества распределены с такою точностью, что нарушенное утро причиняло беспокойство и боль уже на целый день.

— Посмотрела бы я, хоть бы глазком бы полюбовалась, как некоторые люди живут! — начала она как-то загадочно.

Порфирия Владимирыча всего передернуло. «Начинается!» — подумал он, но смолчал и ждал, что дальше будет.

— Право! с дружкой с милым да с молоденьким! Ходят по комнатам парочкой, да друг на дружку любят-ся! Ни он словом бранным ее не попрекнет, ни она против его. «Душенька моя» да «друг мой», только и разговора у них! Мило! благородно!

Эта материя была особенно ненавистна для Порфирия

Владимирыча. Хотя он и допускал прелюбодеяние в размерах строгой необходимости, но все-таки считал любовное времяпрепровождение бесовским искушением. Однако он и на этот раз смалодушничал, тем больше что ему хотелось чаю, который уже несколько минут прел на конфорке, а Евпраксеюшка и не думала наливать его.

— Конечно, из нашей сестры много глупых бывает, — продолжала она, нахально раскачиваясь на стуле и барабана рукой по столу, — иную так осетит, что она из-за ситцевого платья на все готова, а другая и просто, безо всего себя потеряет!.. Квасу, говорит, огурцов пей-ешь сколько хочется! Нашли, чем прельстить!

— Так неужто ж из интереса одного... — рискнул робко заметить Порфирий Владимирыч, следя глазами за чайником, из которого уже начинал валить пар.

— Кто говорит: из-за интереса из-за одного? уж не я ли интересанкой сделалась! — вдруг кинулась в сторону Евпраксеюшка. — Куска, видно, стало жалко! Куском попрекать стали?

— Я не попрекаю, а так говорю: не из одного, говорю, интереса люди...

— То-то «говорю»! Вы говорите, да не заговаривайтесь! Ишь ты! из интересу я служу! а позвольте спросить, какой такой интерес я у вас нашла? Окромя квасу да огурцов.

— Ну, не один квас да огурцы... — не удержался, увлекся, в свою очередь, Порфирий Владимирыч.

— Что ж, сказывайте! сказывайте, что еще?

— А кто к Николе каждый месяц четыре мешка муки посылает?

— Ну-с, четыре мешка! еще чего нет ли?

— Круп, масла постного... словом, всего...

— Ну, круп, масла постного... уж для родителей-то жалко стало! Ах, вы!

— Я не говорю, что жалко, а вот ты...

— Я же виновата сделалась! Мне куска без попреков съесть не дадут, да я же виновата состою!

Евпраксеюшка не выдержала и залилась слезами. А чай между тем прел да прел на конфорке, так что Порфирий Владимирыч не на шутку встревожился. Поэтому он перемог себя, тихонько подсел к Евпраксеюшке и потрепал ее по спине.

— Ну, добро, наливай-ка чай... чего разрюмилась!

Но Евпраксеюшка еще раза два-три всхлипнула, надула губы и уперлась мутными глазами в пространство.

— Вот ты сейчас об молоденьких говорила, — продолжал он, стараясь придать своему голосу ласкающую интонацию, — что ж, ведь и мы тово... не перестарки, чай, тоже!

— Нашли чего! отстаньте от меня!

— Право-ну! Да я... знаешь ли ты... когда я в департаменте служил, так за меня директор дочь свою выдать хотел!

— Протухлая, видно, была... кособокая какая-нибудь!

— Нет, как следует девица... а как она *Не шей ты мне, матушка* пела! так пела! так пела!

— Она-то пела, да подпеватель-то был плохой!

— Нет, я, кажется...

Порфирий Владимырьч недоумевал. Он не прочь был даже поподличать, показать, что и он может в парочке пройтись. В этих видах он начал как-то нелепо раскачиваться всем корпусом и даже покусился обнять Евпраксеюшку за талию, но она грубо уклонилась от его протянутых рук и сердито крикнула:

— Говорю чстью: уйди, домовой! не то кипятком ошпарю! И чаю мне вашего не надо! ничего не надо! Ишь что вздумали — куском попрекать начали! Уйду я отсюда! Вот те Христос уйду!

И она действительно ушла, хлопнув дверью и оставив Порфирия Владимырьча одного в столовой.

Иудушка был совсем озадачен. Он начал было сам наливать себе чай, но руки его до того дрожали, что потребовалась помощь лакея.

— Нет, этак нельзя! надо как-нибудь это устроить... сообразить! — шептал он, в волнении расхаживая взад и вперед по столовой.

Но именно ни «устроить», ни «сообразить» он ничего не был в состоянии. Мысль его до того привыкла перескакивать от одного фантастического предмета к другому, нигде не встречая затруднений, что самый простой факт обыденной действительности заставлял его врасплох. Едва начинал он «соображать», как целая масса пустяков обступала его со всех сторон и закрывала для мысли всякий просвет на действительную жизнь. Ленъ какая-то обуяла его, общая умственная и нравственная анемия. Так и тянуло его прочь от действительной жизни на мягкое ложе призраков, которое он мог перестанавливать с места на место, одни пропускать, другие выдвигать, — словом, распоряжаться, как ему хочется.

И опять целый день провел он в полном одиночестве,

потому что Евпраксеюшка на этот раз уже ни к обеду, ни к вечернему чаю не явилась, а ушла на целый день на село к попу в гости и возвратилась только поздно вечером. Даже заняться ничем он не мог, потому что и пустяки на время как будто оставили его. Одна безвыходная мысль тиранила: надо как-нибудь устроить, надо! Ни праздных выкладок он не мог делать, ни стоять на молитве. Он чувствовал, что к нему приступает какой-то недуг, которого он покуда еще не может определить. Не раз останавливался он перед окном, думая к чему-нибудь приковать колеблющуюся мысль, чем-нибудь развлечь себя, и все напрасно. На дворе начиналась весна, но деревья стояли голые, даже свежей травы еще не показывалось. Вдали виднелись черные поля, по местам испещренные белыми пятнами снега, еще державшегося в низких местах и ложбинах. Дорога сплошь чернела грязью и сверкала лужами. Но все это представлялось ему словно сквозь сетку. Около мокрых служб царствовало полнейшее безлюдье, хотя везде все двери были настежь; в доме тоже никого докликаться было нельзя, хотя до слуха беспрестанно долетали какие-то звуки вроде отдаленного хлопанья дверьми. Вот бы теперь невидимкой оборотиться хорошо да подслушать, что об нем хамово отродье говорит! Понимают ли подлецы его милости или, может быть, за его же добро да его же судачат? Ведь им хоть с утра до вечера в хайло-то пихай, все мало, все как с гуся вода! Давно ли, кажется, новую кадку с огурцами начали, а уж... Но только что он начал забываться на этой мысли, только что начинал соображать, сколько в кадке может быть огурцов и сколько следует, при самом широком расчете, положить огурцов на человека, как опять в голове мелькнул луч действительности и разом перевернул вверх дном все его расчеты.

«Ишь ты ведь! даже не спросилась — ушла!» — думалось ему, покуда глаза бродили в пространстве, усиливаясь различить поповский дом, в котором, по всем вероятностям, в эту минуту соловьем разливалась Евпраксеюшка.

Но вот и обед подали; Порфирий Владимирыч сидит за столом один и как-то вяло хлебает пустой суп (он терпеть не мог суп без ничего, но она сегодня нарочно велела именно такой сварить).

«Чай, и попу-то до смерти тошно, что она к нему напросилась! — думается ему. — Все же лишний кусок подать надо! И щец, и каши... а для гостьи, пожалуй, и жарковца какого-нибудь...»

Опять фантазия его разыгрывается, опять он начинает

забываться, словно сон его заводит. Сколько лишних ложек щец пойдет? сколько каши? и что поп с попадьею говорят по случаю прихода Евпраксеюшки? как они промежду себя ругают ее... Все это, и кушанья и речи, так и мечется у него, словно живое, перед глазами.

«Поди из чашки так все вместе и хлебают! Ушла! сумела где себе найти лакомство! на дворе слякоть, грязь — долго ли до беды! Придет ужо, хвосты обтрепанные принесет... ах ты, гадина! именно гадина! Да, надо, надобно как-нибудь...»

На этой фразе мысль неизменно обрывалась. После обеда лег он, по обыкновению, заснуть, но только измучился, проворочавшись с боку на бок. Евпраксеюшка пришла домой уж тогда, когда стемнело, и так прокралась в свой угол, что он и не заметил. Приказывал он людям, чтоб непременно его предупредили, когда она воротится, но и люди, словно стакнулись, смолчали. Попробовал он опять толкнуться к ней в комнату, но и на этот раз нашел дверь запертою.

На третий день, утром, Евпраксеюшка хотя и явилась к чаю, но заговорила еще грознее и шибче.

— Где-то Володюшка мой теперь? — начала она, приторно давая своему голосу слезливый тон.

Порфирий Владимырьч совсем помертвел при этом вопросе.

— Хоть бы глазком на него взглянула, как он, родимый, там мается! А то, пожалуй, и помер уж... право!

Иудушка трепетно шевелил губами, шепча молитву.

— У нас все не как у людей! Вот у мазулинского господина Палагеюшка дочку родила — сейчас в батистдикос нарядили, постельку розовенькую для ей устроили... Одной мамке сколько сарафанов да кокошников надарили! А у нас... э-эх... вы!

Евпраксеюшка круто повернула голову к окну и шумно вздохнула.

— Правду говорят, что все господа проклятые! Народят детей — и забросят в болото, словно щенят! И горюшка им мало! И ответа ни перед кем не дадут, словно и Бога на них нет! Волк — и тот этого не сделает!

У Порфирия Владимыряча так и вертело все нутро. Он долго перемогал себя, но, наконец, не выдержал и процедил сквозь зубы:

— Однако... новые моды у тебя завелись! уж третий день сряду я твои разговоры слушаю!

— Что ж, и моды! Моды — так моды! не все вам одним

говорить — можно, чай, и другим слово вымолвить! Правону! Ребенка прижили — и что с ним сделали! В деревне, чай, у бабы в избе сгноили! ни призору за ним, ни пищи, ни одежи... лежит, поди, в грязи да соску прокислую сосет!

Она прослезилась и концом шейного платка утерла глаза.

— Вот уж правду погорелковская барышня сказала, что страшно с вами. Страшно и есть. Ни удовольствия, ни радости, одни только каверзы... В тюрьме арестанты лучше живут. По крайности, если б у меня теперича ребенок был — все бы я забаву какую ни на есть видела. А то натко! был ребенок — и того отняли!

Порфирий Владимирыч сидел на месте и как-то мучительно мотал головой, точно его и в самом деле к стене прижали. По временам из груди его даже вырывались стоны.

— Ах, тяжело! — наконец произнес он.

— Нечего «тяжело»! сама себя раба бьет, коли плохо жнет! Право, съезжу я в Москву, хоть глазком на Володьку взгляну! Володька! Володенька ми-и-илый! Барин! Съезжу-ка, что ли, я в Москву?

— Незачем! — глухо отозвался Порфирий Владимирыч.

— Ан съезжу! и не спрошусь ни у кого, и никто запретить мне не может! Потому я — мать!

— Какая ты мать! Ты девка гулящая — вот ты кто! — разразился, наконец, Порфирий Владимирыч. — Сказывай, что тебе от меня надобно?

К этому вопросу Евпраксеюшка, по-видимому, не готовилась. Она уставилась в Иудушку глазами и молчала, словно размышляя, чего ей в самом деле надобно?

— Вот как! уж девкой гулящей звать стали! — вскрикнула она, заливаясь слезами.

— Да! девка гулящая! девка, девка! тьфу! тьфу! тьфу!

Порфирий Владимирыч окончательно вышел из себя, вскочил с места и почти бегом выбежал из столовой.

Это была последняя вспышка энергии, которую он позволил себе. Затем он как-то быстро осунулся, оступел и струсил, тогда как приставаньям Евпраксеюшки и конца не было видно. У ней была в распоряжении громадная сила: упорство тупоумия, и так как эта сила постоянно была в одну точку: досадить, изгадить жизнь, то по временам она являлась чем-то страшным. Мало-помалу арена столовой сделалась недостаточною для нее; она врывалась в кабинет и там настигала Иудушку (прежде она и подумать

не посмела бы войти туда, когда барин «занят»). Придет, сядет к окну, упрется посоловелыми глазами в пространство, почешется лопатками об косяк и начнет колобродить. В особенности же пришлось ей по сердцу одна тема для разговоров — тема, в основании которой лежала угроза оставить Головлево. В сущности, она никогда серьезно об этом не думала и даже была бы очень изумлена, если б ей вдруг предложили возвратиться в родительский дом; но она догадывалась, что Порфирий Владимырьч пуще всего боится, чтоб она не ушла. Приговаривалась она к этому предмету всегда помаленьку, окольными путями. Помолчит, почешет в ухе и вдруг словно бы что вспомнит.

— Сегодня у Николы, поди, блины пекут!

Порфирий Владимырьч при этом вступлении зеленеет от злости. Перед этим он только что начал очень сложное вычисление — на какую сумму он может продать в год молока, ежели все коровы в округе примрут, а у него одного, с божьею помощью, не только останутся невредимы, но даже будут давать молока против прежнего вдвое. Однако, ввиду прихода Евпраксеюшки и поставленного ею вопроса о блинах, он оставляет свою работу и даже усиливается улыбнуться.

— Отчего же там блины пекут? — спрашивает он, осклабясь всем лицом своим. — Ах, батюшки, да ведь и в самом деле родительская сегодня! а я-то, ротозей, и позабыл! Ах, грех какой! маменьку-то, покойницу, и помянуть будет нечем!

— Поела бы я блинков... родительских!

— А кто ж тебе не велит! распорядись! Кухарку Марьюшку за бока! а не то так Улитушку! Ах, хорошо Улитка блины печет!

— Может, она и другим чем на вас потрафила? — язвит Евпраксеюшка.

— Нет, грех сказать, хорошо, даже очень хорошо Улитка блины печет! Легкие, мягкие — ай, поешь!

Порфирий Владимырьч хочет шуточкой да смешком развлечь Евпраксеюшку.

— Поела бы я блинов, да не головлевских, а родительских! — кобянится она.

— И за этим у нас дело не станет! Архипушку-кучера за бока! вели парочку лошадушек заложить, кати себе да покатывай!

— Нет уж! что уж! попалась птица в западню... сама глупа была! Кому меня, этакую-то нужно? Сами гулящей девкой недавно назвали... Чего уж!

— Ах-ах-ах! И не стыдно тебе напраслину на меня говорить! А ты знаешь ли, как Бог-то за напраслину наказывает?

— Назвали, прямо так-таки гулящей и назвали! вот и образ тут, при нем, при батюшке! Ах, распостылое мне это Головлево! сбегу я отсюда! право, сбегу!

Говоря это, Евпраксеюшка ведет себя совершенно непринужденно, раскачивается на стуле, копается в носу, почесывается. Очевидно, она разыгрывает комедию, дразнит.

— Я, Порфирий Владимирыч, вам что-то хотела сказать, — продолжает она колобродить, — ведь мне домой надобно!

— Погостить, что ли, к отцу с матерью собралась?

— Нет, я совсем. Останусь, значит, у Николы.

— Что так? обиделась чем-нибудь?

— Нет, не обиделась, а так... надо же когда-нибудь... Да и скучно у вас... инда страшно! В доме-то словно все вымерло! Людишки — вольница, всё по кухням да по людским прячутся, сиди в целом доме одна; еще зарежут, того гляди! Ночью спать ляжешь — изо всех углов шепоты ползут.

Однако проходили дни за днями, а Евпраксеюшка и не думала приводить в исполнение свою угрозу. Тем не менее действие этой угрозы на Порфирия Владимирыча было очень решительное. Он вдруг как-то понял, что, несмотря на то, что с утра до вечера изнывал в так называемых трудах, он, собственно говоря, ровно ничего не делал и мог бы остаться без обеда, не иметь ни чистого белья, ни исправного платья, если б не было чьего-то глаза, который смотрел за тем, чтоб его домашний обиход не прерывался. До сих пор он как бы не чувствовал жизни, не понимал, что она имеет какую-то обстановку, которая создается не сама собой. Весь его день шел однажды заведенным порядком; все в доме группировалось лично около него и ради его; все делалось в свое время; всякая вещь находилась на своем месте — словом сказать, везде царствовала такая неизменная точность, что он даже не придавал ей никакого значения. Благодаря этому порядку вещей, он мог на всей своей воле предаваться и празднословию и праздномыслию, не опасаясь, чтобы уколы действительной жизни когда-нибудь вывели его на свежую воду. Правда, что вся эта искусственная махинация держалась на волоске; но человеку, постоянно погруженному в самого себя, не могло и в голову прийти, что этот волосок есть нечто очень тонкое, легко рвущееся. Ему казалось, что жизнь

установилась прочно, навсегда... И вдруг все это должно рушиться, рушиться в один миг, по одному дурацкому слову: нет уж! что уж! уйду! Иудушка совершенно растерялся. «Что, ежели она в самом деле уйдет?» — думалось ему. И он мысленно начинал строить всевозможные нелепые комбинации с целью как-нибудь удержать ее, и даже решался на такие уступки в пользу бунтующей Евпраксеюшкиной младости, которые ему никогда бы прежде и в голову не пришли.

— Тьфу! тьфу! тьфу! — отплевывался он, когда возможность столкновения с кучером Архипушкой или с конторщиком Игнатом представлялась ему во всей обидной наготе своей.

Скоро, однако ж, он убедился, что страх его насчет ухода Евпраксеюшки был по малой мере неоснователен, и вслед за тем существование его как-то круто вступило в новый и совершенно для него неожиданный фазис. Евпраксеюшка не только не уходила, но даже заметно притихла с своими приставами. Взамен того она совершенно обросила Порфирия Владимыча. Наступил май, пришли красные дни, и она уж почти совсем не являлась в дом. Только по постоянному хлопанью дверей Иудушка догадывался, что она за чем-нибудь прибежала к себе в комнату, с тем чтобы вслед за тем опять исчезнуть. Вставая утром, он не находил на обычном месте своего платья и должен был вести продолжительные переговоры, чтобы получить чистое белье, чай и обед ему подавали то спозаранку, то слишком поздно, причем прислуживал полупьяный лакей Прохор, который являлся к столу в запятанном сюртуке и от которого вечно воняло какою-то противной смесью рыбы и водки.

Тем не менее Порфирий Владимыч уж и тому был рад, что Евпраксеюшка оставляла его в покое. Он примирился даже с беспорядком, лишь бы знать, что в доме все-таки есть некто, кто этот беспорядок держит в своих руках. Его страшила не столько безурядица, сколько мысль о необходимости личного вмешательства в обстановку жизни. С ужасом представлял он себе, что может наступить минута, когда ему самому придется распоряжаться, приказывать, надсматривать. В предвидении этой минуты он старался подавить в себе всякий протест, закрывал глаза на наступавшее в доме безначалие, ступшевался, молчал. А на барском дворе между тем шла ежедневная открытая гульба. С наступлением тепла головлевская усадьба, дотоле степенная и даже урюмая, оживи-

лась. Вечером все население дворовых, и заштатные, и состоящие на действительной службе, и стар, и млад, — все высыпало на улицу. Пели песни, играли на гармонике, хохотали, взвизгивали, бегали в горелки. На Игнате-конторщике появилась ярко-красная рубаха и какая-то неслыханно узенькая жакетка, борты которой совсем не закрывали его молодецки выпяченной груди. Архип-кучер самовольно завладел выездною шелковой рубашкой и плисовой безрукавкой и, очевидно, соперничал с Игнатом в планах насчет сердца Евпраксеюшки. Евпраксеюшка бегала между ними и, словно шальная, кидалась то к одному, то к другому. Порфирий Владимырьч боялся взглянуть в окно, чтоб не сделаться свидетелем любовной сцены; но не слышать не мог. По временам в ушах его раздавался звук полновесного удара: это кучер Архипушка всей пятерней дал разá Евпраксеюшке, гоняясь за нею в горелках (и она не рассердилась, а только присела слегка); по временам до него доносился разговор:

— Евпраксея Никитишна! а Евпраксея Никитишна! — зывает пьяненький Прохор с барского крыльца.

— Чего надобно?

— Ключ от чаю пожалуйста, барин чаю просят!

— Подождет... кикимора!

В короткое время Порфирий Владимырьч совсем одичал. Весь обычный ход его жизни был взбудоражен и извращен, но он как-то уж перестал обращать на это внимание. Он ничего не требовал от жизни, кроме того, чтоб его не тревожили в его последнем убежище — в кабинете. Насколько он прежде был придирчив и надоедлив в отношениях к окружающим, настолько же теперь сделался боязлив и угрюмо-покорен. Казалось, всякое общение с действительной жизнью прекратилось для него. Ничего бы не слышать, никого бы не видеть — вот чего он желал. Евпраксеюшка могла целыми днями не показываться в доме, людишки могли сколько хотели вольничать и бездельничать на дворе — он ко всему относился безучастно, как будто ничего не было. Прежде, если б конторщик позволил хотя малейшую неаккуратность в доставлении рапортичек о состоянии различных отраслей хозяйственного управления, он, наверное, истиранил бы его поучениями; теперь — ему по целым неделям приходилось сидеть без рапортичек, и он только изредка тяготился этим, а именно, когда ему нужна была цифра для подкрепления

каких-нибудь фантастических расчетов. Зато в кабинете, один на один с самим собою, он чувствовал себя полным хозяином, имеющим возможность праздномыслить сколько душе угодно. Подобно тому как оба брата его умерли, одержимые запоем, так точно и он страдал той же болезнью. Только это был запой иного рода — запой праздномыслия. Запершись в кабинете и засевши за письменный стол, он с утра до вечера изнывал над фантастической работой: строил всевозможные несбыточные предположения, учитывал самого себя, разговаривал с воображаемыми собеседниками и создавал целые сцены, в которых первая случайно взбредшая на ум личность являлась действующим лицом.

В этом омуте фантастических действий и образов главную роль играла какая-то болезненная жажда стяжания. Хотя Порфирий Владимырьч и всегда вообще был мелочен и наклонен к кляузе, но, благодаря его практической нелепости, никаких прямых выгод лично для него от этих наклонностей не получалось. Он надоедал, томил, тиранил (преимущественно самых беззащитных людей, которые, так сказать, сами напрашивались на обиду), но и сам чаще всего терял от своей затейливости. Теперь эти свойства всецело перенеслись на отвлеченную, фантастическую почву, где уже не имелось места ни для отпора, ни для оправданий, где не было ни сильных, ни слабых, где не существовало ни полиции, ни мировых судов (или, лучше сказать, существовали, но единственно в видах ограждения его, Иудушкиных, интересов) и где, следовательно, он мог свободно опутывать целый мир сетью кляуз, притеснений и обид.

Он любил мысленно вымучить, разорить, обездолжить, пососать кровь. Перебирал, одну за другой, все отрасли своего хозяйства: лес, скотный двор, хлеб, луга и проч., и на каждой созидал узорчатое здание фантастических притеснений, сопровождаемых самыми сложными расчетами, куда входили и штрафы, и ростовщичество, и общие бедствия, и приобретение ценных бумаг, — словом сказать, целый запутанный мир праздных помещичьих идеалов. А так как тут все зависело от произвольно предполагаемых переплат или недоплат, то каждая переплаченная или недоплаченная копейка служила поводом для переделки всего здания, которое таким образом видоизменялось до бесконечности. Затем, когда утомленная мысль уже не в силах была следить с должным вниманием за всеми подробностями спутанных выкладок по операциям стяжания,

он переносил арену своей фантазии на вымыслы более растяжимые. Припоминал все столкновения и пререкания, какие случались у него с людьми не только в недавнее время, но и в самой отдаленной молодости, и разрабатывал их с таким расчетом, что всегда из всякого столкновения выходил победителем. Он мстил мысленно своим бывшим сослуживцам по департаменту, которые опередили его по службе и растравили его самолюбие настолько, что заставили отказаться от служебной карьеры; мстил однокашникам по школе, которые некогда пользовались своею физической силой, чтоб дразнить и притеснять его; мстил соседям по имению, которые давали отпор его притязаниям и отстаивали свои права; мстил слугам, которые когда-нибудь сказали ему грубое слово или просто не оказали достаточной почтительности; мстил маменьке Арине Петровне за то, что она просадила много денег на устройство Погорелки, денег, которые, «по всем правам», следовали ему; мстил братцу Степке-балбесу за то, что он прозвал его Иудушкой; мстил тетеньке Варваре Михайловне за то, что она, в то время когда уж никто этого не ждал, вдруг народила детей «с бору да с сосенки», вследствие чего сельцо Горюшкино навсегда ускользнуло из головлевского рода. Мстил живым, мстил мертвым.

Фантазируя таким образом, он незаметно доходил до опьянения; земля исчезала у него из-под ног, за спиной словно вырастали крылья. Глаза блестели, губы тряслись и покрывались пеной, лицо бледнело и принимало угрожающее выражение. И, по мере того как росла фантазия, весь воздух кругом него населялся призраками, с которыми он вступал в воображаемую борьбу.

Существование его получило такую полноту и независимость, что ему ничего не оставалось желать. Весь мир был у его ног, разумеется, тот немудреный мир, который был доступен его скудному мирозерцанию. Каждый простейший мотив он мог варьировать бесконечно, за каждый мог по нескольку раз приниматься сызнова, разрабатывая всякий раз на новый манер. Это был своего рода экстаз, ясновидение, нечто подобное тому, что происходит на спиритических сеансах. Ничем не ограничиваемое воображение создает мнимую действительность, которая вследствие постоянного возбуждения умственных сил претворяется в конкретную, почти осязаемую. Это — не вера, не убеждение, а именно умственное распутство, экстаз. Люди обесчеловечиваются; их лица искажаются, глаза

горят, язык произносит произвольные речи, тело производит произвольные движения.

Порфирий Владимирыч был счастлив. Он плотно запирает окна и двери, чтоб не слышать, спускал шторы, чтоб не видеть. Все обычные жизненные отправления, которые прямо не соприкасались с миром его фантазии, он делал на скорую руку, почти с отвращением. Когда пьяненький Прохор стучался в дверь его комнаты, докладывая, что подано кушать, он нетерпеливо вбегал в столовую, наперекор всем прежним привычкам, спеша съедал свои три перемены кушанья и опять скрывался в кабинет. Даже в манерах у него, при столкновении с живыми людьми, явилось что-то отчасти робкое, отчасти глупо-насмешливое, как будто он в одно и то же время и боялся и вызывал. Утром он спешил встать как можно раньше, чтобы сейчас же приняться за работу. Молитвенное стояние сократил; слова молитвы произносил безучастно, не вникая в их смысл; крестные знамения и воздеяния рук творил машинально, неотчетливо. Даже представление об аде и его мучительных возмездиях (за каждый грех — возмездие особенное), по-видимому, покинуло его.

А Евпраксеюшка между тем млела в чаду плотского вожделения. Гарцуя в нерешимости между конторщиком Игнатом и кучером Архипушкой, и в то же время кося глазами на краснорожего плотника Илюшу, который с целой артелью подрядился вывесить господский погреб, она ничего не замечала, что делается в барском доме. Она думала, что барин какую-нибудь «новую комедию» разыгрывает, и немало веселых слов было произнесено по этому поводу в дружеской компании почувствовавших себя на свободе людишек. Но однажды, как-то случайно, зашла она в столовую в то время, когда Иудушка наскоро доедал кусок жареного гуся, и вдруг ей сделалось жутко.

Порфирий Владимирыч сидел в засаленном халате, из которого местами выбивалась уж вата; он был бледен, нечесан, оброс какой-то щетиной вместо бороды.

— Баринушка! что такое? что случилось? — бросилась она к нему в испуге.

Но Порфирий Владимирыч только глупо-язвительно улыбнулся в ответ на ее восклицание, словно хотел сказать: а ну-ка, попробуй теперь меня чем-нибудь уязвить!

— Баринушка! да что такое? Говорите! что случилось? — повторила она.

Он встал, уставил в нее исполненный ненависти взгляд и с расстановкою произнес:

— Если ты, девка распутная, еще когда-нибудь... в кабинет ко мне... Убью!

Благодаря этой случайности, существование Порфирия Владимыча, с внешней стороны, изменилось к лучшему. Не чувствуя никаких материальных помех, он свободно отдался своему одиночеству, так что даже не видал, как прошло лето. Август уж перевалил на вторую половину; дни сократились; на дворе непрерывно сеял мелкий дождь, земля взмокла; деревья стояли понуро, роняя на землю пожелтевшие листья. На дворе и около людской царствовала невозмутимая тишина; дворовые ютились по своим углам, частью вследствие хмурой погоды, частью вследствие того, что догадались, что с барином происходит что-то неладное. Евпраксеюшка окончательно очнулась; забыла и о шелковых платьях, и о милых дружках и по целым часам сидела в девичьей на ларе, не зная, как ей быть и что предпринять. Пьяненький Прохор дразнил ее, что она извела барина, опоила его и что не миновать ей за это по Владимирке погулять.

А Иудушка между тем сидит, запершись, у себя в кабинете и мечтает. Ему еще лучше, что на дворе свежее сделалось; дождь, без усталости дребезжащий в окна его кабинета, наводит на него полудремоту, в которой еще свободнее, шире развертывается его фантазия. Он представляет себя невидимкою и в этом виде мысленно инспектирует свои владения в сопровождении старого Ильи, который еще при папеньке Владимире Михайловиче старостой служил и давным-давно на кладбище схоронен.

— Умный мужик Илья! старинный слуга! Нынче такие-то люди выводятся. Нынче что: поюлить да потарантить, а чуть до дела коснется — и нет никого! — рассуждает сам с собою Порфирий Владимыч, очень довольный, что Илья из мертвых воскрес.

Не торопясь да Богу помолясь, никем не видимые, через поля и овраги, через доли и луга, пробираются они на пустошь Уховщину и долго не верят глазам своим. Стоит перед ними лесище стена стеной, стоит да только вершинами в вышине гудёт. Деревья все одно к одному, красные — сосняк; которые в два, а которые и в три обхвата; стволы у них прямые, обнаженные, а вершины могучие, пушистые; долго, значит, еще этому лесу стоять можно!

— Вот, брат, так лесок! — в восхищении восклицает Иудушка.

— Заказничёк! — объясняет старик Илья. — Еще при покойном дедушке вашем, при Михайле Васильиче, с образами обошли — вон он какой вырос!

— А сколько, по-твоему, тут десятин будет?

— Да в ту пору ровно семьдесят десятин мерили, ну, а нынче... тогда десятина-то хозяйственная была, против нынешней в полтора раза побольше.

— Ну, а как ты думаешь, сколько на каждой десятине примерно дерев сидит?

— Кто их знает! у Бога они сосчитаны!

— А я так думаю, что непременно шестьсот — семьсот на десятину будет. Да не на старую десятину, а на нынешнюю, на тридцатку. Постой! погоди! ежели по шестисот... ну, по шестисот по пятидесяти положить — сколько же на ста пяти десятинах дерев будет?

Порфирий Владимырьч берет лист бумаги и умножает 105 на 650: оказывается 68 250 дерев.

— Теперича ежели весь этот лес продать... по разноте... как ты думаешь, можно по десяти рублей за дерево взять?

Старик Илья трясет головой.

— Мало! — говорит он. — Ведь это — какой лес: из каждого дерева два мельничных вала выйдет, да еще строевое бревно, хоть в какую угодно стройку, да семеричёк, да товарничку, да сучья... По-вашему, мельничный-то вал — сколько он стоит?

Порфирий Владимырьч притворяется, что не знает, хотя он давно уже все до последней копейки определил и установил.

— По здешнему месту один вал десяти рублей стоит, а кабы в Москву, так и цены бы ему, кажется, не было! Ведь это — какой вал! его на тройке только-только увезти! да еще другой вал, потоньше, да бревно, да семеричёк, да дров, да сучьев... Ан дерево-то, бедно-бедно, в двадцати рублях пойдет.

Слушает Порфирий Владимырьч Ильины речи и не наслушается их! Умный, верный мужик этот Илья! Да и все вообще управление ему как-то необыкновенно удачно привел Бог сладить! В помощниках у Ильи старый Вавило служит (тоже давно на кладбище лежит) — вот, брат, так кряж! В конторщиках маменькин земский Филипп-перевезёнец (из вологодских деревень его лет шестьдесят тому назад перевезли); полесовщики всё испытанные, неутомимые; псы у амбаров — злые! И люди и псы — все готовы за барское добро хоть черту горло перегрызть.

— А ну-тко, брат, давай прикинем: сколько это будет, ежели всю пустошь по разноте распродать?

Порфирий Владимырьч снова рассчитывает мысленно, сколько стоит большой вал, сколько вал поменьше, сколько строевое бревно, семерик, дрова, сучья. Потом складывает, умножает, в ином месте отсекает дроби, в другом прибавляет. Лист бумаги наполняется столбцами цифр.

— На-тко, брат, смотри, что вышло! — показывает Иудушка воображаемому Илье какую-то совсем неслыханную цифру, так что даже Илья, который, и со своей стороны, не прочь от приумножения барского добра, и тот словно съежился.

— Что-то как будто и многовато! — говорит он, в раздумье поводя лопатками.

Но Порфирий Владимырьч уже откинул все сомнения и только веселенько хихикает.

— Чудак, братец, ты! Это уж не я, а цифра говорит... Наука, братец, такая есть, арифметика называется... уж она, брат, не солжет! Ну, хорошо, с Уховщиной теперь покончили: пойдём-ка, брат, в Лисьи Ямы, давно я там не бывал! Сдается мне, что мужики там пошаливают, ой, пошаливают мужики! Да и Гаранька-сторож... знаю! знаю! Хороший Гаранька, усердный сторож, верный — это что и говорить! а все-таки... Маленько он как будто сшибаться стал!

Идут они неслышно, невидимо, сквозь чащу березовую, едва пробираются и вдруг останавливаются, притаивши дыхание. На самой дороге лежит на боку мужицкий воз, а мужик стоит и тужит, глядячи на сломанную ось. Потужил-потужил, выругал ось, да и себя кстати ругнул, вытянул лошадь кнутом по спине («ишь ворона!»), однако делать что-нибудь надо — не стоять же на одном месте до завтра! Озирается вор-мужиchonко, прислушивается: не едет ли кто, потом выбирает подходящую березку, вынимает топор... А Иудушка все стоит, не шелохнется... Дрогнула березка, зашаталась и вдруг, словно сноп, повалилась наземь. Хочет мужик отрубить от комля, сколько на ось надобно, но Иудушка уж решил, что настоящий момент наступил. Крадучись, подползает он к мужику и мигом выхватывает из рук его топор.

— Ах! — успевает только крикнуть застигнутый врасплох вор.

— «Ах!» — передразнивает его Порфирий Владимырьч. — А чужой лес воровать дозволяется? «Ах!», а чью березку-то, свою, что ли, срубил?

— Простите, батюшка!

— Я, братец, давно всем простил! Сам Богу грешен и других осуждать не смею! Не я, а закон осуждает. Ось-то, которую ты срубил, на усадьбу привези, да и рублик штрафа кстати уж захвати; а покуда пускай топорик у меня полежит! Небось, брат, сохранно будет!

Довольный тем, что успел на самом деле доказать Илье справедливость своего мнения насчет Гараньки, Порфирий Владимырьч с места преступления заходит мысленно в избу полесовщика и делает приличное поучение. Потом он отправляется домой и по дороге ловит в господском овсе трех крестьянских кур. Воротившись в кабинет, он опять принимается за работу, и целая особенная хозяйственная система вдруг зарождается в его уме. Все растущее и прозябающее на его земле, сеянное и несеянное, обращается в деньги по разноте, и притом со штрафом. Все люди вдруг сделались порубщиками и потравщиками, а Иудушка не только не скорбит об этом, но, напротив, даже руки себе потирает от удовольствия.

— Травите, батюшки, рубите! мне же лучше, — повторяет он, совершенно довольный.

И тут же берет новый лист бумаги и принимается за выкладки и вычисления.

Сколько на десятине овса растет и сколько этот овес может денег принести, ежели его куры мужицкие помнут и за все помятое штраф уплатят?

«А овес-то хоть и помят, ан после дождичка и опять поправился!» — мысленно присовокупляет Иудушка.

Сколько в Лисьих Ямах березок растет и сколько за них можно денег взять, ежели их мужики воровским манером порубят и за все порубленное штраф заплатят?

«А березка-то, хоть она и срублена, ко мне же в дом на отопленье пойдет, — стало быть, дров самому пилить не надо!» — опять присовокупляет Иудушка мысленно.

Громадные колонны цифр испещряют бумагу, сперва рубли, потом десятки, сотни, тысячи... Иудушка до того устает за работой и, главное, так волнуется ею, что весь в поту встает из-за стола и ложится отдохнуть на диван. Но взбунтовавшееся воображение и тут не укрощает своей деятельности, а только избирает другую, более легкую тему.

— Умная женщина была маменька Арина Петровна, — фантазирует Порфирий Владимырьч, — умела и спросить, да и приласкать умела — оттого и служили ей все с удо-

вольствием! однако и за ней грешки водились! Ой, много было за покойницей блох!

Не успел Иудушка помянуть об Арине Петровне, а она уж и тут как тут; словно чувствует ее сердце, что она ответ должна дать: сама к милому сыну из могилы явилась.

— Не знаю, мой друг, не знаю, чем я перед тобой провинилась! — как-то уныло говорит она. — Кажется, я...

— Те-те-те, голубушка! лучше уж не грешите! — без церемонии обличает ее Иудушка. — Коли на то пошло, так я все перед вами сейчас выложу! Почему вы, например, тетеньку Варвару Михайловну в ту пору не остановили?

— Как же ее останавливать! она и сама в полных летах была, сама имела право распоряжаться собою!

— Ну, нет-с, позвольте-с! Муж-то какой у нее был? Старенький да пьяненький — ну, самый, значит... бесплодный! А между тем у ней четверо детей проявилось... откуда, спрашиваю я вас, эти дети взялись?

— Что это, друг мой, как ты странно говоришь! как будто я в этом причинна!

— Причинны не причинны, а все-таки повлиять могли! Смешком да шуточкой, «голубушка» да «душенька» — смотришь, она бы и посовестилась! А вы всё напротив! На дыбы да с кондачка! Варька да Варька, да подлая, да бесстыжая! чуть не со всей округой ее перевенчали! вот она и того... и она тоже на дыбы встала! Жаль! Горюшкино-то наше бы теперь было!

— Далось тебе это Горюшкино! — говорит Арина Петровна, очевидно становясь в тупик перед обвинением сына.

— Мне что Горюшкино! Мне, пожалуй, и ничего не надо! Было бы на свечку да на маслице — вот я и доволен! А вообще, по справедливости... Да, маменька, и рад бы смолчать, а не сказать не могу: большой грех на вашей душе лежит, очень, очень большой!

Арина Петровна уже ничего не отвечает, а только руками разводит, не то подавленная, не то недоумевающая.

— Или бы вот, например, другое дело, — продолжает между тем Иудушка, любясь смущением маменьки, — зачем вы для брата Степана в ту пору дом в Москве купали?

— Надо было, мой друг; надо же было и ему какой-нибудь кусок выбросить, — оправдывается Арина Петровна.

— А он взял да и промотал его! И добро бы вы его не знали: и буян-то он был, и сквернослов, и непочтитель-

ный — нет-таки. Да еще папенькину вологодскую деревеньку хотели ему отдать! А деревенька-то какая! вся в одной меже, ни соседей, ни чересплосицы, лесок хорошенький, озерцо... стоит как облупленное яичко, Христос с ней! хорошо, что я в то время случился да воспрепятствовал... Ах, маменька, маменька, и не грех это вам!

— Да ведь сын он... пойми, все-таки — сын!

— Знаю я, и даже очень хорошо понимаю! И все-таки не нужно было этого делать, не следовало! Дом-то двенадцать тысяч серебром заплачен — а где они? Вот тут двенадцать тысяч плакали, да Горюшкино тетеньки Варвары Михайловны, бедно-бедно, тысяч на пятнадцать оценить нужно... Ан денег-то и многонько выйдет!

— Ну, ну, полно! уж перестань! не сердись, Христа ради!

— Я, маменька, не сержусь, а только по справедливости сужу... что правда, то правда — терпеть не могу лжи! с правдой родился, с правдой жил, с правдой и умру! Правду и Бог любит, да и нам велит любить. Вот хоть бы про Погорелку; всегда скажу, много, ах как много денег вы извели на устройство ее.

— Да ведь я сама в ней жила...

Иудушка очень хорошо читает на лице маменьки слова: кровопивец ты несуразный! — но делает вид, что не замечает их.

— Нужды нет, что жили, а все-таки... Киотка-то и до сих пор в Погорелке стоит, а чья она? Лошадь маленькая — тоже; шкатулочка чайная... сам собственными глазами еще при папеньке в Головлеве ее видел! а вещичка-то хорошенькая!

— Ну, что уж!

— Нет, маменька, не говорите! оно, конечно, сразу не видно, однако как тут рубль, в другом месте — полтина, да в третьем — четвертачок... Как посмотришь да поглядишь... А впрочем, позвольте, я лучше сейчас все на цифрах прикину! Цифра — святое дело; она уж не солжет!

Порфирий Владимырьч опять устремляется к столу, чтоб привести, наконец, в полную ясность, какие убытки ему нанесла добрый друг маменька. Он стучит на счетах, выводит на бумаге столбцы цифр — словом, готовит все, чтоб изобличить Арину Петровну. Но, к счастью для последней, колеблющаяся его мысль не может долго удержаться на одном и том же предмете. Незаметно для него самого к нему подкрадывается новый предмет стяжания и, словно каким волшебством, дает его мысли совсем иное

направление. Фигура Арины Петровны, еще за минуту перед тем так живо мелькавшая у него в глазах, вдруг окунулась в омуте забвения. Цифры смешались...

Давно уж собирался Порфирий Владимырьч высчитать, что может принести ему полеводство, и вот теперь наступил самый удобный для этого момент. Он знает, что мужик всегда нуждается, всегда ищет занять и всегда же отдает без обмана, с лихвой. В особенности щедр мужик на свой труд, который «ничего не стоит» и на этом основании всегда, при расчетах, принимается ни во что, в знак любви. Много-таки на Руси нуждающегося народа, ах, как много! Много людей, не могущих определить сегодня, что ждет их завтра, много таких, которые, куда бы ни обратили тоскливые взоры — везде видят только безнадежную пустоту, везде слышат только одно слово: отдай! отдай! И вот вокруг этих-то безнадежных людей, около этой-то перекатной голи стелет Иудушка свою бесконечную паутину, по временам переходя в какую-то неистовую фантастическую оргию.

На дворе апрель, и мужику, по обыкновению, нечего есть. «Проелись, голубчики! зиму-то пропраздновали, а к весне и животы подвело!» — рассуждает Порфирий Владимырьч сам с собою, а он, как нарочно, только-только все счета по прошлогоднему полеводству в ясность привел. В феврале были обмолочены последние скирды хлеба, в марте зерно лежало ссыпанное в закрома, а на днях вся наличность уже разнесена по книгам в соответствующие графы. Иудушка стоит у окна и поджидает. Вот вдали, на мосту, показался в тележонке мужик Фока. На поворотке в Головлево он как-то торопливо задергал вожжами и за неимением кнута пугнул рукой лошадь, еле передвигающую ноги.

— Сюда! — шепчет Иудушка. — Ишь у него лошады-то! как только жива! А покормить ее с месяц-другой — ничего животок будет! Рубликов двадцать пять, а не то и все тридцать отдашь за нее.

Между тем Фока подъехал к людской избе, привязал к изгороди лошадь, подкинул ей охапку сеной трухи и через минуту уже переминается с ноги на ногу в девичьей, где Порфирий Владимырьч имеет обыкновение принимать подобных посетителей.

— Ну, друг! что скажешь хорошенького? — начинает Порфирий Владимырьч.

— Да вот, сударь, ржицы бы...

— Что так! свою-то, видно, уж съели? Ах, ах, грех ка-

кой! Вот кабы вы поменьше водки пили, да побольше трудились, да Богу молились, и земля-то почувствовала бы! Где нынче зерно — смотришь, ан, в ту пору два или три получилось бы! Занимать-то бы и не надо!

Фока как-то нерешительно улыбается вместо ответа.

— Ты думаешь, Бог-то далеко, так он и не видит? — продолжает морализовать Порфирий Владимирыч. — Ан Бог-то — вот он. И там, и тут, и вот с нами, куда мы с тобой говорим, — везде он! И все он видит, все слышит, только делает вид, будто не замечает. Пускай, мол, люди своим умом поживут; посмотрим, будут ли они меня помнить! А мы этим пользуемся, да, вместо того чтоб Богу на свечку из достатков своих уделить, мы — в кабак да в кабак! Вот за это за самое и не подает нам Бог ржицы — так ли, друг?

— Это уж что говорить! Это так точно!

— Ну, так вот видишь ли, и ты теперь понял. А почему понял? потому что Бог милость свою от тебя отвратил. Уродись у тебя ржица, ты бы и опять фордыбачить стал, а вот как Бог-то...

— Справедливо это, и кабы ежели мы...

— Пстой! дай я скажу! И всегда так бывает, друг, что Бог забывающим его напоминает об себе. И роптать мы на это не должны, а должны понимать, что это для нашей же пользы делается. Кабы мы Бога помнили, и он бы об нас не забывал. Всего бы нам подал: и ржицы, и овсеца, и картофельцу — на, кушай! И за скотинкой бы за твоей наблюдаю — вишь, лошадь-то у тебя! в чем только дух держится! и птице, ежели у тебя есть, и той бы настоящее направление дал!

— И это вся ваша правда, Порфирий Владимирыч.

— Бога чтить — это первое, а потом — старших, которые от самих царей отличие получили, помещиков, например.

— Да мы, Порфирий Владимирыч, и то, кажется...

— Тебе вот «кажется», а поразмысли да посуди, — ан, может, и не так на поверку выйдет. Теперь, как ты за ржицей ко мне пришел, грех сказать! очень ты ко мне почтителен и ласков; а в позапрошлом году, помнишь, когда жнеи мне понадобились, а я к вам, к мужичкам, на поклон пришел? помогите, мол, братцы, вызвольте! вы что на мою просьбу ответили? Самим, говорят, жать надо! Нынче, говорят, не прежнее время, чтоб на господ работать, нынче — воля! Воля, а ржицы нет!

Порфирий Владимирович учительливо взглядывает на Фоку; но тот не шелохнется, словно оцепенел.

— Горды вы очень, от этого самого вам и счастья нет. Вот я, например: кажется, и Бог меня благословил, и царь пожаловал, а я — не горжусь! Как я могу гордиться! что я такое! червь! козявка! тьфу! А Бог-то взял да за смиренность за мое и благословил меня! И сам милостию своею зыскал, да и царю внушил, чтобы меня пожаловал.

— Я так, Порфирий Владимирович, меаю, что прежде, при помещиках, не в пример лучше было! — льстит Фока.

— Да, брат, было и ваше времечко! поприздновали, пожили! Всего было у вас: и ржицы, и сенца, и картофельцу! Ну, да что уж старое поминать! я не злопамятен; я, брат, давно об жнеях позабыл, только так, к слову вспомнилось! Так как же ты говоришь, ржицы тебе понадобилось?

— Да, ржицы бы...

— Купить, что ли, собрался?

— Где купить! в одолжение, значит, до новой!

— Ахти-хти! Ржица-то, друг, нынче кусается! Не знаю уж, как и быть мне с тобой...

Порфирий Владимирович впадает в минутное раздумье, словно и действительно не знает, как ему поступить: «И помочь человеку хочется, да и ржица кусается»...

— Можно, мой друг, можно и в одолжение ржицы дать, — наконец говорит он, — да, признаться сказать, и нет у меня продажной ржи: терпеть не могу божьим даром торговать! Вот в одолжение — это так, это я с удовольствием. Я, брат, ведь помню: сегодня я тебя одолжу, а завтра — ты меня одолжишь! Сегодня у меня избыток — бери, одоляйся! четверть хочешь взять — четверть бери! осьминка понадобилась — осьминку отсыпай! А завтра, может быть, так дело повернет, что и мне у тебя под окошком постучать придется: одолжи, мол, Фокушка, ржицы осьминку — есть нечего!

— Где уж! пойдете ли, сударь, вы!..

— Я-то не пойду, а к примеру... И не такие, друг, повороты на свете бывают! Вот в газетах пишут: какой столб Наполеон был, да и тот прогадал, не потрафил. Так-то, брат. Сколько же тебе требуется ржицы-то?

— Четвертцу бы, коли милость ваша будет.

— Можно и четвертцу. Только заранее я тебе говорю: кусается, друг, нынче рожь, куда как кусается! Так вот как мы с тобой сделаем: я тебе шесть четвертичков отме-

рить велю, а ты мне, через восемь месяцев, два четверичка приполнцу отдашь — так оно четвертца в аккурат и будет! Процентом я не беру, а от избытка ржицей...

У Фоки даже дух занялся от Иудушкинова предложения; некоторое время он ничего не говорит, только лопатками пошевеливает.

— Не многовато ли будет, сударь? — наконец произносит он, очевидно робея.

— А много — так к другим обратись! Я, друг, не неволю, а от души предлагаю. Не я за тобой посылал, сам ты меня нашел. Ты — с запросцем, я — с ответцем. Так-то, друг!

— Так-то так, да словно бы приполну-то уж много?

— Ах, ах, ах! А я еще думал, что ты — справедливый мужик, степенный! Ну, а мне-то, скажи, чем мне-то жить прикажешь? Я-то откуда расходы свои должен удовлетворять? Ведь у меня сколько расходов — знаешь ли ты? Конца-краю, голубчик, расходам у меня не видно. Я и тому дай, и другого удовлетвори, и третьему вынь да положи! Всем надо, все Порфирий Владимырыча теребят, а Порфирий Владимырыч отдувайся за всех! Опять и то: кабы я купцу рожь продал — я бы денежки сейчас на стол получил. Деньги, брат, — святое дело. С деньгами накоплю я себе билетов, положу в верное место и стану пользоваться процентами! Ни заботушки мне, ни горюшка, отрезал купончик — пожалуйста денежки! А за рожью-то я еще походи, да похлопочи около нее, да постарайся! Сколько ее усохнет, сколько на россыпь пойдет, сколько мышь съест! Нет, брат, деньги — как можно! И давно бы мне за ум взяться пора! давно бы в деньги все обратить, да и уехать от вас!

— А вы с нами, Порфирий Владимырыч, поживите.

— И рад бы, голубчик, да сил моих нет. Кабы прежние силы, конечно, еще пожил бы, повоевал бы. Нет! пора, пора на покой! Уеду отсюда к Троице-Сергию, укроюсь под крылышко угоднику — никто и не услышит меня. А уж мне-то как хорошо будет: мирно, честно, тихо, ни гвалту, ни свары, ни шума — точно на небеси!

Словом сказать, как ни вертится Фока, а дело слаживается, как хочется Порфирию Владимырычу. Но этого мало: в самый момент, когда Фока уж согласился на условия займа, является на сцену какая-то Шелепиха. Так, пустошонка ледащая, с десятинку покосцу, да и то вряд ли... Так вот бы...

— Я тебе одолжение делаю — и ты меня одолжи, —

говорит Порфирий Владимирыч, — это уж не за проценты, а так, в одолжение! Бог за всех, а мы друг по дружке! Ты десятинку-то шутя скосишь, а я тебя напередки попомню! я, брат, ведь прост! Ты мне на рублик послужишь, а я...

Порфирий Владимирыч встает и в знак окончания дела молится на церковь. Фока, следуя его примеру, тоже крестится.

Фока исчез; Порфирий Владимирыч берет лист бумаги, вооружается счетами, а костяшки так и прыгают под его проворными руками... Мало-помалу начинается целая оргия цифр. Весь мир застилается в глазах Иудушки словно дымкой; с лихорадочною торопливостью переходит он от счетов к бумаге, от бумаги к счетам. Цифры растут, растут...

РАСЧЕТ

На дворе декабрь в половине; окрестность, схваченная неоглядным снежным саваном, тихо цепенеет; за ночь намело на дороге столько сугробов, что крестьянские лошади тяжело барахтаются в снегу, вывозя пустые дровнишки. А к головлевской усадьбе и следа почти нет. Порфирий Владимирыч до того отвык от посещений, что и главные ворота, ведущие к дому, и парадное крыльцо с наступлением осени наглухо заколотил, предоставив домочадцам сообщаться с внешним миром посредством девичьего крыльца и боковых ворот.

Утро; бьет одиннадцать. Иудушка, одетый в халат, стоит у окна и бесцельно поглядывает вперед. Спозаранку бродил он взад и вперед по кабинету и все об чем-то думал и высчитывал воображаемые доходы, так что, наконец, запутался в цифрах и устал. И плодовитый сад, раскинутый против главного фасада господского дома, и поселок, приютившийся на задах сада, — все утонуло в снежных сувоях. После вчерашней вьюги день выдался морозный, и снежная пелена сплошь блестит на солнце миллионами искр, так что Порфирий Владимирыч невольно щурит глаза. На дворе пустынно и тихо; ни малейшего движения ни у людской, ни около скотного двора; даже крестьянский поселок угомонился, словно умер. Только над поповым домом вьется сизый дымок и останавливает на себе внимание Иудушки.

«Одиннадцать часов било, а попадья еще не отстряпалась, — думается ему, — вечно эти попы трескают!»

Выйдя из этого пункта, он начинает соображать: будни или праздник сегодня, постный или скоромный день, и что должна стряпать попадья — как вдруг внимание его отвлекается в сторону. На горке, при самом выезде из деревни Нагловки, показывается черная точка, которая постепенно придвигается и растет. Порфирий Владимирыч вглядывается и, разумеется, прежде всего задается целой массой праздных вопросов. Кто едет? мужик или другой кто? Другому, впрочем, некому — стало быть, мужик... да, мужик и есть! Зачем едет? ежели за дровами, так ведь нагловский лес по ту сторону деревни... наверное, шельма, в барский лес воровать собрался! Ежели на мельницу, так тоже, выехавши из Нагловки, надо взять вправо... Может быть, за попом? кто-нибудь умирает или уж и умер?.. А может быть, и родился кто? Какая же это баба родила? Ненила по осени с прибылью ходила, да той, кажется, еще рано... Ежели уродился мальчик, так в ревизию со временем попадет — сколько бишь в Нагловке, по последней ревизии, душ? А ежели девочка, так тех в ревизию не записывают, да и вообще... А все-таки и без женского пола нельзя... тьфу!

Иудушка отплевывается и смотрит на образ, как бы ища у него защиты от лукавого.

Очень вероятно, что он долго блуждал бы таким образом мыслью, если б показавшаяся у Нагловки черная точка обыкновенным порядком помелькала и исчезла; но она все росла и росла и, наконец, повернула на гать, ведущую к церкви. Тогда Иудушка совершенно отчетливо увидел, что едет небольшая рогоженная кибитка, запряженная парой, гусем. Вот она поднялась на взлобок и поравнялась с церковью («не благочинный ли? — мелькнуло у него, — то-то у попа не отстряпались о сю пору!»), вот повернула вправо и направилась прямо к усадьбе. «Так и есть, сюда!» Порфирий Владимирыч инстинктивно запахнул халат и отпрянул от окна, словно боясь, чтоб проезжий не заметил его.

Он отгадал: повозка подъехала к усадьбе и остановилась у боковых ворот. Из нее поспешно выскочила молодая женщина. Одета она была совсем не по сезону, в городское ватное пальто, больше для вида, нежели для тепла, отороченное барашком, и, видимо, закоченела. Особа эта, никем не встреченная, вприскокку побежала на девичье крыльцо, и через несколько секунд уж слышно было, как хлопнула в девичьей дверь, а следом за этим опять хлопнула другая дверь, а затем во всех ближайших

к выходу комнатах началась ходьба, хлопанье и суета.

Порфирий Владимырьч стоял у двери кабинета и прислушивался. Он так давно не видал никого постороннего и вообще так отвык от общества людей, что его взяла оторопь. Прошло с четверть часа; ходьба и хлопанье дверью не перемежались, а ему все еще не докладывали. Это еще больше взволновало его. Ясно, что приезжая принадлежала к числу лиц, которые, в качестве «присных», не дают никакого повода сомневаться относительно своих прав на гостеприимство. Кто же у него «присные»? Он начал припоминать, но память как-то тупо ему служила. Был у него сын Володька да сын Петька, была маменька Арина Петровна... давно, ах, давно это было! Вот в Горюшкине с прошлой осени поселилась Надька Галкина, покойной тетеньки Варвары Михайловны дочь, — неужто ж она? Да нет, та уж однажды пыталась ворваться в головлевское капище, да шиш съела! «Не смеет она! не посмеет!» — твердил Иудушка, приходя в негодование при одной мысли о возможности приезда Галкиной. Но кто же может быть еще?

Покуда он таким образом припоминал, Евпраксеюшка осторожно подошла к двери и доложила:

— Погорелковская барышня, Анна Семеновна, приехала.

Действительно, это была Аннинька. Но она до такой степени изменилась, что почти не было возможности узнать ее. В Головлево явилась на этот раз уж не та красивая, бойкая и кипящая молодостью девушка, с румяным лицом, серыми глазами навывкате, с высокой грудью и тяжелой пепельной косой на голове, которая приезжала сюда вскоре после смерти Арины Петровны, а какое-то слабое, тщедушное существо с впалой грудью, вдавленными щеками, с нездоровым румянцем, с вялыми телодвижениями, существо сутулое, почти сгорбленное. Даже великолепная ее коса выглядела как-то мизерно, и только глаза вследствие общей худобы лица казались еще больше, нежели прежде, и горели лихорадочным блеском. Евпраксеюшка долгое время вглядывалась в нее, как в незнакомую, но наконец-то узнала.

— Барышня! вы ли? — вскрикнула она, всплеснув руками.

— Я. А что?

Сказавши это, Аннинька тихонько засмеялась, точно хотела прибавить: «Да, вот как! отделали-таки меня!»

— Дядя здоров? — спросила она.

— Что дяденька! так нішто... Только слава, что живут, а то и не видим их почесть никогда!

— Что же с ним?

— Да так... от скуки, видно, с ними сделалось...

— Неужто и на бобах разводить перестал?

— Нынче они, барышня, молчат. Все говорили, и вдруг замолчали. Слышим иногда, как промежду себя в кабинете что-то разговаривают и даже смеются будто, а выдут из комнаты — и опять замолчат. Сказывают, с покойным ихним братцем, Степаном Владимыричем, то же было... Все были веселы — и вдруг замолчали. Вы-то, барышня, всё ли здоровы?

Аннинька только махнула рукой в ответ...

— Сестрица всё ли здорова?

— Уж целый месяц как в Кречетове при большой дороге в могиле лежит.

— Чтой-то, спаси господи! уж и при дороге?

— Известно, как самоубийц хоронят.

— Господи! всё барышни были — и вдруг сами на себя ручку наложили... Как же это так?

— Да, сперва «были барышни», а потом отравились — только и всего. А я вот струсилa, жить захотела! к вам вот приехала! Ненадолго, не пугайтесь... умру!

Евпраксеюшка глядела на нее во все глаза, словно не понимала.

— Что на меня глядите? хороша? Ну, какова есть... А впрочем, после об этом... после... Теперь велите-ка ящика рассчитать да дядю предупредите.

Говоря это, она вынула из кармана старенький портмоне и достала оттуда две желтеньких бумажки.

— А вот и имущество мое! — прибавила она, указывая на жиденький чемодан. — Тут все: и родовое и благоприобретенное! Иззябла я, Евпраксеюшка, очень иззябла! Вся я больна, ни одной косточки во мне не больной нет, а тут, как нарочно, холодище... Еду да об одном только думаю: вот доберусь до Головлева, так хоть умру в тепле! Водки бы мне... есть у вас?

— Да вы бы, барышня, чайку лучше; самовар сейчас будет готов.

— Нет, чай — потом, а теперь водки бы... Вы дяде, впрочем, не сказывайте об водке-то куда. Все само собой после увидится.

Покамест в столовой накрывали к чаю, явился и Порфирий Владимырич. В свою очередь, и Аннинька с изумлением встретила в нем: до такой степени он по-

худел, выцвел и задичал. Он обошелся с Аннинькой как-то странно: не то чтобы прямо холодно, а как будто ему до нее совсем дела нет. Говорил мало, вынужденно, точно актер, с трудом припоминающий фразы из давнишних ролей. Вообще был рассеян, как будто в голове его в это время шла совсем другая и очень важная работа, от которой его досадным образом оторвали по пустякам.

— Ну вот ты и приехала! — сказал он. — Чего хочешь? чаю? кофею? распорядись!

В прежнее время, при родственных свиданиях, роль чувствительного человека обыкновенно разыгрывал Иудушка, но на этот раз расчувствовалась Аннинька, и расчувствовалась взаправду. Должно быть, очень у нее наболело внутри, потому она бросилась к Порфирию Владимирычу на грудь и крепко его обняла.

— Дядя! я к вам! — крикнула она и вдруг залилась слезами.

— Ну что ж! милости просим! комнат у меня довольно — живи!

— Больна я, дяденька! очень, очень больна!

— А больна, так Богу молиться надо! Я и сам, когда болен — все молитвой лечусь!

— Умирать я приехала к вам, дядя!

Порфирий Владимирыч испытующим оком взглянул на нее, и чуть заметная усмешка скользнула по его губам.

— Доигралась? — произнес он чуть слышно, почти про себя.

— Да, доигралась. Любинька — та «доигралась» и умерла, а я вот... живу!

При известии о смерти Любиньки Иудушка набожно покрестился и молитвенно пошептал. Аннинька между тем села к столу, облокотилась и, смотря в сторону церкви, продолжала горько плакать.

— Вот плакать и отчаиваться — это грех! — учительно заметил Порфирий Владимирыч. — По-христиански-то, знаешь ли, как надо? не плакать, а покоряться и уповать — вот как по-христиански надлежит!

Но Аннинька откинулась на спинку стула и, тоскливо повесив руки, повторила:

— Ах, уж и не знаю! не знаю, не знаю, не знаю!

— Ежели ты об сестрице так убиваешься — так и это грех! — продолжал между тем поучать Иудушка, — потому что хотя и похвально любить сестриц и братьев, однако, если Богу угодно одного из них или даже и нескольких призвать к себе...

— Ах, нет, нет! вы, дядя, добрый? добрый вы? скажите!

Аннинька опять бросилась к нему и обняла.

— Ну, добрый, добрый! ну, говори! хочется чего-нибудь? закусочки? чайку, кофейку? требуй! распорядись!

Анниньке вдруг вспомнилось, как в первый приезд ее в Головлево дяденька спрашивал: «Телятинки хочется? поросеночка? картофельцы?» — и она поняла, что никакого другого утешения ей здесь не сыскать.

— Благодарю вас, дядя, — сказала она, снова присаживаясь к столу, — ничего особенного мне не нужно. Я заранее уверена, что буду всем довольна.

— А будешь довольна, так и слава богу! В Погорелку-то поедешь, что ли?

— Нет, дядя, я покамест у вас поживу. Ведь вы ничего не имеете против этого?

— Христос с тобой! живи! Ежели я и спросил про Погорелку, так потому, что на случай поездки распоряжение нужно сделать: кибиточку, лошадушек...

— Нет! после, после!

— И прекрасно. Когда-нибудь после съездишь, а покуда с нами поживи. По хозяйству поможешь — я ведь один! Краля-то эта, — Иудушка почти с ненавистью указал на Евпраксеюшку, разливавшую чай, — все по людским рыскает, так иной раз и не докличешься никого, весь дом пустой! Ну, а покамест прощай. Я к себе пойду. И помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь... так-то, друг! Давно ли Любинька-то скончалась?

— Да с месяц, дядя.

— Так мы завтра ранехонько к обеденке сходим, да кстати и панихидку по новопреставленной рабе божией Любви отслужим... Так прощай покуда! Кушай-ка чай-то, а ежели закусочки захочется с дорожки, и закусочки подать вели. А в обед опять увидимся. Поговорим, побеседуем; коли нужно что — распорядимся, а не нужно — и так посидим!

Так произошло это первое родственное свидание. С окончанием его Аннинька вступила в новую жизнь в том самом постылом Головлеве, из которого она, уж дважды в течение своей недолгой жизни, не знала как вырваться.

Аннинька пошла под гору очень быстро. Вызванное головлевской поездкой (после смерти бабушки Арины Петровны) сознание, что она «барышня», что у нее есть свое

гнездо и свои могилы, что не все в ее жизни исчерпывается вонью и гвалтом гостиниц и постоялых дворов, что есть, наконец, убежище, в котором ее не достигнут подлые дыханья, зараженные запахом вина и конюшни, куда не ворвется тот «усатый», с охрипшим от перепоя голосом и воспаленными глазами (ах, что он ей говорил! какие жесты в ее присутствии делал!), — это сознание улетучилось почти сейчас вслед за тем, как только пропало из вида Головлево.

Аннинька отправилась в ту пору из Головлева прямо в Москву и начала хлопотать, чтоб ее и сестру приняли на казенную сцену. С этой целью она обращалась и к маман, директорисе института, в котором она воспитывалась, и к некоторым институтским товаркам. Но везде ее приняли как-то странно. Маман, отнесшаяся к ней в первую минуту довольно радушно, как только узнала, что она играет на провинциальном театре, вдруг переменяла благосклонное выражение лица на важное и строгое, а товарки, большею частью замужние женщины, взглянули на нее с таким нахальным изумлением, что она просто-напросто струсила. Только одна, более добродушная, нежели другие, желая показать участие, спросила:

— А скажи, душка, правда ли, что когда вы, актрисы, одеаетесь в уборных, то вам стягивают корсеты офицеры?

Одним словом, ее попытки утвердиться в Москве так и остались попытками. Надо, впрочем, сказать правду, что и настоящих задатков она для успеха на столичной сцене не имела. И она и Любинька принадлежали к числу тех бойких, но не особенно даровитых актрис, которые всю жизнь играют одну и ту же роль. Анниньке удалась «Перикола», Любиньке — «Анютини глазки» и «Полковник старых времен». И затем, за что бы они ни принимались — везде выходили «Перикола» и «Анютини глазки», а в большинстве случаев, пожалуй, и совсем ничего не выходило. Приходилось Анниньке играть и «Прекрасную Елену» (по обязанностям службы даже и часто); она накладывала на свои пепельные волосы совершенно огненный парик, делала в тунике разрез до самого пояса, но и за всем тем выходило посредственно, вяло, даже не цинично. От «Елены» она перешла к «Отрывкам из Герцогини Герольштейнской», и так как тут к бесцветной игре прибавилась еще совершенно бессмысленная постановка, то вышло уже что-то совсем глупое. Наконец взялась играть Клеретту в «Дочери рынка», но здесь, стараясь наэлектризовать публику, до такой степени переиграла, что и неприхотли-

вым провинциальным зрителям показалось, что по сцене мечется даже не актриса, желающая «угодить», а просто какая-то непристойная лохань. Вообще об Анниньке составила репутация, что она актриса проворная, обладающая недурным голосом, а так как при этом у нее была красивая внешность, то в провинции она могла, пожалуй, делать сборы. Но и только. Заставить говорить об себе она не могла и никакой определенной физиономии не имела. Даже в среде провинциальной публики ее партию составляли исключительно служители всех родов оружия, главная претензия которых заключалась в том, чтобы иметь свободный вход за кулисы. В столице же она была мыслима не иначе, как навязанная очень сильным покровительством, но и за всем тем от публики она, наверное, заслужила бы только незавидное прозвище «арфистки».

Приходилось возвращаться в провинцию. В Москве Аннинька получила от Любиньки письмо, из которого узнала, что их труппа перекочевала из Кречетова в губернский город Самоварнов, чему она, Любинька, очень рада, потому что подружилась с одним самоварновским земским деятелем, который до того увлекся ею, что «готов, кажется, земские деньги украсть», лишь бы выполнить все, что она ни пожелает. И действительно, приехавши в Самоварнов, Аннинька застала сестру среди роскошной, сравнительно, обстановки и легкомысленно решившею бросить сцену. В минуту приезда у Любиньки находился и «друг» ее, земский деятель Гаврило Степаныч Люлькин. Это был отставной гусарский штабс-ротмистр, еще недавно *bel-hotme*¹, но теперь уже слегка отяжелевший. Лицо у него было благородное, манеры благородные, образ мыслей благородный, но в то же время все вместе взятое внушало уверенность, что человек этот отнюдь не обратится в бегство перед земским ящиком. Любинька приняла сестру с распростертыми объятиями и объявила, что в ее квартире для нее приготовлена комната.

Но, под влиянием недавней поездки в «свое место», Аннинька рассердилась. Между сестрами завязался горячий разговор, а потом произошла и размолвка. Невольно вспомнилось при этом Анниньке, как воплинский батюшка говорил, что трудно в актерском звании «сокровище» соблюсти.

Аннинька поселилась в гостинице и прекратила всякие сношения с сестрой. Прошла святая; на фоминой начались

¹ Красавец мужчина (*фр.*).

спектакли, и Аннинька узнала, что на место сестры уже выписана из Казани девица Налимова, актриса неважная, но зато совершенно беспрепятственная в смысле телодвижений. По обыкновению, Аннинька вышла перед публикой в «Периколе» и привела самоварновских обывателей в восторг. Возвратившись в гостиницу, она нашла в своем номере пакет, в котором оказалась сторублевая бумажка и коротенькая записка, гласившая: «А в случае чего, и еще столько же. Купец, торгующий модным товаром, Кукишев». Аннинька рассердилась и пошла жаловаться хозяину гостиницы, но хозяин объявил, что у Кукишева такое уж «обнаковение», чтоб всех актрис с приездом поздравлять, а впрочем-де, он человек смирный и обижаться на него не стоит. Следуя этому совету, Аннинька запечатала в конверт письмо и деньги и, возвратив на другой день все по принадлежности, успокоилась.

Но Кукишев оказался более упорным, нежели как об нем отозвался хозяин гостиницы. Он считал себя в числе друзей Люлькина и находился в приятельских отношениях к Любиньке. Человек он был состоятельный и, сверх того, подобно Люлькину, в качестве члена городской управы состоял в самых благоприятных условиях относительно городского ящика. И при сем, подобно тому же Люлькину, обладал неустрашимостью. Наружность он имел, с гостинодворской точки зрения, обольстительную. А именно напоминал того жука, которого, по словам песни, вместо ягод нашла в поле Маша:

Жука черного с усами
И с курчавой головой,
С черно-бурьими бровями —
Настоящий милый мой!

Затем, заручившись такою наружностью, он тем более считал себя вправе дерзать, что Любинька прямо обещала ему свое содействие.

Вообще, Любинька, по-видимому, окончательно сожгла свои корабли, и об ней ходили самые неприятные для сестрина самолюбия слухи. Говорили, что каждый вечер у ней собирается кутежная ватага, которая ужинает с полуночи до утра. Что Любинька председатель в этой компании и, представляя из себя «цыганку», полураздетая (при этом Люлькин, обращаясь к пьяным друзьям, восклицал: «Посмотрите! вот это так грудь!»), с распущенными волосами и с гитарой в руках, поет:

Ах, как было мне приятно
С этим милым усачом!

Аннинька слушала эти рассказы и волновалась. И что всего более изумляло ее — это то, что Любинька поет романс об усаче на цыганский манер: точь-в-точь как московская Матреша! Аннинька всегда отдавала полную справедливость Любиньке, и если б ей сказали, например, что Любинька «неподражаемо» поет куплеты из «Полковника старых времен», — она, разумеется, нашла бы это совершенно натуральным и охотно поверила бы. Да этому нельзя было и не верить, потому что и курская, и тамбовская, и пензенская публика до сих пор помнит, с какою неподражаемою наивностью Любинька своим маленьким голоском заявляла о желании быть *подполковником*... Но чтобы Любинька могла петь по-цыгански, на манер Матрешы — это извините-с! это — ложь-с! Вот она, Аннинька, *может* так петь — это несомненно. Это ее жанр, это ее ампула, и весь Курск, видевший ее в пьесе «Русские романсы в лицах», охотно засвидетельствует, что она *может*.

И Аннинька брала в руки гитару, перекидывала через плечо полосатую перевязь, садилась на стул, клала ногу на ногу и начинала: и-эх! и-ах! И действительно: выходило именно точка в точку так, как у цыганки Матрешы.

Как бы то ни было, но Любинька роскошничала, а Люлькин, чтобы не омрачить картины хмельного блаженства какими-нибудь отказами, по-видимому, уже приступил к позаимствованиям из земского ящика. Не говоря о массе шампанского, которая всякую ночь выпивалась и выливалась на пол в квартире Любиньки, она сама делалась с каждым днем капризнее и требовательнее. Явились на сцену сперва выписанные из Москвы платья от m-те Минангуá, а потом и бриллианты от Фульда. Любинька была расчетлива и не пренебрегала ценностями. Пьяная жизнь — сама по себе, а золото и камешки, и в особенности выигрышные билеты — сами по себе. Во всяком случае, жилось не то чтобы весело, а буйно, беспардонно, из угара в угар. Одно было неприятно: оказывалось нужным заслуживать благосклонное внимание господина полицмейстера, который хотя и принадлежал к числу друзей Люлькина, но иногда любил дать почувствовать, что он в некотором роде власть. Любинька всегда угадывала, когда полицмейстер бывал недоволен ее угощением, потому что в таких случаях к ней являлся на другой день утром частный пристав и требовал паспорт. И она покорялась: утром подавала частному приставу закуску и водку, а вечером собственноручно делала для господина полицмейстера какой-то «шведский» пунш, до которого он был большим охотник.

Кукишев видел это разливанное море и сгорал от зависти. Ему захотелось во что бы ни стало иметь точно такой же въезжий дом и точь-в-точь такую же «кралю». Тогда можно было бы и время разнообразнее проводить: сегодня ночь — у люлькинской «кralи», завтра ночь — у его, Кукишева, «кralи». Это была его заветная мечта, мечта глупого человека, который чем глупее, тем упорнее в достижении своих целей. И самую подходящую личностью для осуществления этой мечты представлялась Аннинька.

Однако ж Аннинька не сдавалась. До сих пор кровь еще не говорила в ней, хотя она имела много поклонников и не стеснялась в обращении с ними. Была одна минута, когда ей казалось, что она готова полюбить местного трагика, Милославского 10-го, который и в свою очередь, по-видимому, сгорал к ней страстью. Но Милославский 10-й был так глуп и притом так упорно нетрезв, что ни разу ничего ей не высказал, а только таращил глаза и как-то нелепо икал, когда она проходила мимо. Так эта любовь и заглохла в самом зачатке. На всех же остальных поклонников Аннинька просто смотрела как на неизбежную обстановку, на которую провинциальная актриса осуждена самими условиями своего ремесла. Она покорялась этим условиям, пользовалась теми маленькими льготами (рукоплескания, букеты, катанья на тройках, пикники и проч.), которые они ей предоставляли, но дальше этого, так сказать, внешнего распутства не шла.

Так поступила она и теперь. В продолжение целого лета она неуклонно пребывала на стезе добродетели, ревниво ограждая свое «сокровище» и как бы желая заочно доказать воплинскому батюшке, что и в среде актрис встречаются личности, которым не чуждо геройство. Однажды она даже решила пожаловаться на Кукишева начальнику края, который благосклонно ее выслушал и за геройство похвалил, рекомендовав и на будущее время пребывать в оном. Но вместе с сим, увидев в ее жалобе лишь предлог для косвенного нападения на его собственную, начальника края, персону, изволил присовокупить, что, истратив силы в борьбе с внутренними врагами, не имеет твердого основания полагать, чтобы он мог быть в требуемом смысле полезным. Выслушав это, Аннинька покраснела и ушла.

Между тем Кукишев действовал так ловко, что успел заинтересовать в своих домогательствах и публику. Публика как-то вдруг догадалась, что Кукишев прав и что девица Погорельская 1-я (так она печаталась в афишах) не бог

весть какая «фря», чтобы разыгрывать из себя недотрогу. Образовалась целая партия, которая поставила себе задачей обуздать строптивную выскочку. Началось к того, что закулисные завсегдаи стали обегать ее уборную и свили себе гнездо по соседству, в уборной девицы Налимовой. Потом — не выказывая, впрочем, прямо враждебных действий — начали принимать девицу Погорельскую при ее выходах с такой убийственною воздержанностью, как будто на сцену появился не первый сюжет, а какой-нибудь оглашенный статист. Наконец настояли на том, чтобы антрепренер отобрал у Анниньки некоторые роли и отдал их Налимовой. И, что еще любопытнее, во всей этой подпольной интриге самое деятельное участие принимала Любинька, у которой Налимова состояла на правах наперсницы.

К осени Аннинька с изумлением увидела, что ее заставляют играть Ореста в «Прекрасной Елене» и что из прежних первых ролей за ней оставлена только Перикола, да и то потому, что сама девица Налимова не решилась соперничать с ней в этой пьесе. Сверх того, антрепренер объявил ей, что, ввиду охлаждения к ней публики, жалованье ее сокращается до семидесяти пяти рублей в месяц с одним полубенефисом в течение года.

Аннинька струсила, потому что при таком жалованье ей приходилось переходить из гостиницы на постоянный двор. Она написала письма к двум-трем антрепренерам, предлагая свои услуги, но отовсюду получила ответ, что нынче и без того от Перикол отбою нет, а так как, сверх того, из достоверных источников сделалось известно об ее строптивности, то и тем больше надежд на успех не предвидится.

Аннинька проживала последние запасные деньги. Еще неделя — и ей не миновать было постоянного двора, наравне с девицей Хорошавиной, игравшей Парфенису и пользовавшейся покровительством квартального надзирателя. На нее начало находить что-то вроде отчаяния, тем больше что в ее номер каждый день таинственная рука подбрасывала записку одного и того же содержания: «Перикола! покорись! Твой Кукишев». И вот в эту тяжелую минуту к ней совсем неожиданно ворвалась Любинька.

— Скажи на милость, для какого принца ты свое сокровище бережешь? — спросила она кратко.

Аннинька оторопела. Прежде всего ее поразило, что и воплинский батюшка, и Любинька в одинаковом смысле употребляют слово «сокровище». Только батюшка видит в

сокровище «основу», а Любинька смотрит на него как на пустое дело, от которого, впрочем, «подлецы мужчины» способны доходить до одурения.

Затем она невольно спросила себя: что такое в самом деле это сокровище? действительно ли оно сокровище и стоит ли беречь его? — и увы! не нашла на этот вопрос удовлетворительного ответа. С одной стороны, как будто совестно остаться без сокровища, а с другой... ах черт побери! да неужели же весь смысл, вся заслуга жизни в том только и должны выразиться, чтобы каждую минуту вести борьбу за сокровище?

— Я в полгода успела тридцать выигрышных билетов скопить, — продолжала между тем Любинька, — да вещей сколько... Посмотри, какое на мне платье!

Любинька повернулась кругом, обернулась сперва спереди, потом сзади и дала себя осмотреть со всех сторон. Платье было действительно и дорогое и изумительно сшитое: прямо от Минангуа из Москвы.

— Кукишев — добрый, — опять начала Любинька, — он тебя, как куколку, вырядит, да и денег даст. Театр-то можно будет и побоку... достаточно!

— Никогда! — горячо вскрикнула Аннинька, которая еще не забыла слов: святое искусство!

— Можно и остаться, если хочешь. Старший оклад опять получишь, впереди Налимовой пойдешь.

Аннинька молчала.

— Ну, прощай. Меня внизу ждут наши. И Кукишев там. Едем?

Но Аннинька продолжала молчать.

— Ну подумай, коли есть над чем подумать... А когда надумаешь — приходи! Прощай!

17 сентября, в день Любинькиных именин, афиша самоварновского театра возвещала *экстраординарное* представление. Аннинька явилась вновь в роли Прекрасной Елены и в тот же вечер, «на сей только раз», роль Ореста выполнила девица Погорельская 2-я, то есть Любинька. К довершению торжества, и тоже «на сей только раз», девицу Налимову одели в трико и коротенькую визитку, слегка тронули лицо сажей, вооружили железным листом и выпустили на сцену в роли кузнеца Клеона. Ввиду всего этого и публика была как-то восторженно настроена. Едва показалась из-за кулис Аннинька, как ее встретил такой гвалт, что она, совсем уже отвыкшая от оваций, почувствовала, что к ее горлу подступают рыдания. А когда, в третьем акте, в сцене ночного пробуждения, она встала с ку-

шетки почти обнаженная, то в зале поднялся в полном смысле слова стон. Так что один чересчур наэлектризованный зритель крикнул появившемуся в дверях Менелаю: «Да уйди ты, постылый человек, вон!» Аннинька поняла, что публика простила ее. С своей стороны, Кукишев, во фраке, в белом галстуке и белых перчатках, с достоинством заявил о своем торжестве и в антрактах поил в буфете шампанским знакомых и незнакомых. Наконец и антрепренер театра, преисполненный ликования, явился в уборную Анниньки и, встав на колена, сказал:

— Ну, вот, барышня, теперь — вы паинька! И потому с нынешнего же вечера по-прежнему переводитесь на высший оклад с соответствующим числом бенефисов-с!

Одним словом, все ее хвалили, все поздравляли и заявляли о сочувствии, так что она и сама, сначала робевшая и как бы не находившая места от гнетущей тоски, совершенно неожиданно прониклась убеждением, что она... выполнила свою миссию!

После спектакля все отправились к имениннице, и тут поздравления усугубились. В квартире Любиньки собралась такая толпа и сразу так надымила табаком, что трудно было дышать. Сейчас же сели за ужин, и полилось шампанское. Кукишев ни на шаг не отходил от Анниньки, которая, по-видимому, была слегка смущена, но в то же время уже не тяготилась этим ухаживанием. Ей казалось немножко смешно, но и лестно, что она так легко приобрела себе этого рослого и сильного купчину, которому она может подкову согнуть и разогнуть и которому она может все приказать, и что захочет, то с ним и сделает. За ужином началось общее веселье, то пьяное, беспорядочное веселье, в котором не принимают участия ни ум, ни сердце и от которого на другой день болит голова и ощущаются позывы на тошноту. Только один из присутствующих, трагик Милославский 10-й, глядел угрюмо и, уклоняясь от шампанского, рюмка за рюмкой хлопал водку-простеца. Что касается до Анниньки, то она некоторое время воздерживалась от «упоения»; но Кукишев был так настоятелен и так жалко умолял на коленях: «Анна Семеновна! за вами дыбет-с (debet)! Позвольте просить-с! за наше блаженство-с! совет да любовь-с! Сделайте ваше одолжение-с» — что ей хоть и досадно было видеть его глупую фигуру и слушать его глупые речи, но она все-таки не могла отказаться, и не успела опомниться, как у нее закружилась голова. Любинька, с своей стороны, была так великодушна, что сама предложила Анниньке спеть «Ах, как было мне

приятно с этим милым усачом», что последняя и выполнила с таким совершенством, что все воскликнули: «Вот это так уж точно... по-Матрешину!» Взамен того Любинька мастерски спела куплеты о том, как приятно быть *подполковником*, и всех сразу убедила, что это настоящий ее жанр, в котором у нее точно так же нет соперниц, как у Анниньки — в песнях с цыганским пошибом. В заключение Милославский 10-й и девица Налимова представили «сцену-маскарад», в которой трагик декламировал отрывки из «Уголино» («Уголино», трагедия в пяти действиях, соч. Н. Полевого), а Налимова подавала ему реплики из неизданной трагедии Баркова. Выходило нечто до такой степени неожиданное, что девица Налимова чуть-чуть не затмила девиц Погорельских и не сделалась героинею вечера.

Было уже почти светло, когда Кукишев, оставивши дорогую именинницу, усаживал Анниньку в коляску. Благочестивые мещане возвращались от заутрени и, глядя на расфранченную и слегка пошатывавшуюся девицу Погорельскую 1-ю, угрюмо ворчали:

— Люди из церкви идут, а они вино жрут... пропасти на вас нет!

От сестры Аннинька отправилась уже не в гостиницу, а на *свою* квартиру, маленькую, но уютную и очень мило отделанную. Туда же следом за ней вошел и Кукишев.

Вся зима прошла в каком-то неслыханном чаду. Аннинька окончательно закружилась, и ежели по временам вспоминала об «сокровище», то только для того, чтобы сейчас же мысленно присовокупить: «Какая я, однако ж, была дура!» Кукишев, под влиянием гордого сознания, что его идея насчет «крали» равного достоинства с Любинькой осуществилась, не только не жалел денег, но, подстрекаемый соревнованием, выписывал непременно два наряда, когда Люлькин выписывал только один, и ставил две дюжины шампанского, когда Люлькин ставил одну. Даже Любинька начала завидовать сестре, потому что последняя успела за зиму накопить сорок выигрышных билетов, кроме порядочного количества золотых безделушек с камешками и без камешков. Они, впрочем, опять сдружились и решили все накопленное хранить сообща. При этом Аннинька все еще о чем-то мечтала и в интимной беседе с сестрой говорила:

— Когда *все* это кончится, то мы поедем в Погорелку. У нас будут деньги, и мы начнем хозяйничать.

На что Любинька очень цинично возражала:

— А ты думаешь, что это когда-нибудь кончится... дура!

На несчастье Анниньки, у Кукишева явилась новая «идея», которую он начал преследовать с обычным упорством. Как человеку неразвитому и притом несомненно неумному, ему казалось, что он очутится наверху блаженства, если его «кряля» будет «делать ему аккомпанемент», то есть вместе с ним станет пить водку.

— Хлопнемте-с! вместе-с! по одной-с! — приставал он к ней беспрестанно (он всегда говорил Анниньке «вы», во-первых, ценя в ней дворянское звание и, во-вторых, желая показать, что и он недаром жил в «мальчишках» в московском гостинном дворе).

Аннинька некоторое время отнекивалась, ссылаясь на то, что и Люлькин никогда не заставлял Любиньку пить водку.

— Однако ж оне из любви к господину Люлькину все-таки кушают-с! — возразил Кукишев. — Да и позвольте вам доложить, краличка-с, разве нам господа Люлькины образец-с? Они — Люлькины-с, а мы с вами — Кукишевы-с! Оттого мы и хлопнем по-нашему-с, по-кукишевски-с!

Одним словом, Кукишев настоял. Однажды Аннинька приняла из рук своего возлюбленного рюмку, наполненную зеленой жидкостью, и разом опрокинула ее в горло. Разумеется, невзвидела света, поперхнулась, закашлялась, закружилась и этим привела Кукишева в неистовый восторг.

— Позвольте вам доложить, краличка! вы не так кушаете-с! вы слишком уж скоро-с! — поучал он ее, когда она немного успокоилась. — Пакальчик (так называл он рюмку) следует держать в ручках вот так-с! Потом поднести к устам и не торопясь: раз, два, три... Господи баслави!

И он спокойно и серьезно опрокинул рюмку в горло, точно вылил содержание ее в лохань. Даже не поморщился, а только взял с тарелки миниатюрный кусочек черного хлеба, обмакнул в солонку и пожевал.

Таким образом, Кукишев добился осуществления и второй своей «идеи» и начал уж помышлять о том, какую бы такую новую «идею» выдумать, чтобы господам Люлькиным в нос бросилось. И, разумеется, выдумал.

— Знаете ли что-с? — вдруг объявил он. — Ужо, как лето наступит, отправимтесь-ка мы с господами Люлькиными за канпанию ко мне на мельницу-с, возьмем с собой саквояж-с (так называл он коробок с вином и закуской) и искупаемся в речке-с, с обоюдного промежду себя согласия-с!

— Ну, уж этому-то никогда не бывать! — возражала с негодованием Аннинька.

— Отчего так-с? Сначала искупаемся-с, потом чуточку хлопнем-с, а потом немного проклажé и опять искупаемся-с! расчудесное будет дело-с!

Неизвестно, осуществилась ли эта новая «идея» Кукишева, но известно, что целый год длился этот пьяный угар, и в продолжение этого времени ни городская управа, ни земская таковая ж не обнаружили ни малейшего беспокойства относительно господ Кукишева и Люлькина. Люлькин, впрочем, ездил, для вида, в Москву и, воротившись, сказывал, что продал на сруб лес, а когда ему напомнили, что он уже четыре года тому назад, когда жил с цыганкой Домашкой, продал лес, то он возражал, что тогда он сбыл урочище Дрыгаловское, а теперь — пустошь Дашкину Стыдобушку. Причем для придания своему рассказу большего вероятия, присовокупил, что проданная пустошь была так названа потому, что при крепостном праве в этом лесу «застали» девку Дашку и тут же на месте наказывали за это розгами. Что касается Кукишева, то он для отвода глаз распускал под рукой слух, что беспошлинно провез из-за границы в карандашах партию кружев и эту операцией нажил хороший барыш.

Тем не менее в сентябре следующего года полицмейстер попросил у Кукишева заимообразно тысячу рублей, и Кукишев имел неблагоприятные отзывы. Тогда полицмейстер начал о чем-то перешептываться с товарищем прокурора («Оба у меня шампанское каждый вечер лакали!» — показывал впоследствии на суде Кукишев). И вот 17 сентября, в годовщину кукишевских «любвей», когда он вместе с прочими вновь праздновал именины Любиньки, прибежал гласный из городской управы и объявил Кукишеву, что в управе собралось присутствие и составляется протокол.

— Стало быть, «дюбét» нашли? — довольно развязно воскликнул Кукишев и без дальних разговоров последовал за посланным в управу, а оттуда в острог.

На другой день сполошилась и земская управа. Собрались члены, послали в казначейство за денежным ящиком, считали, пересчитывали, но как ни хлопали на счетах, а в конце концов оказалось, что и тут «дюбét». Люлькин присутствовал при ревизии бледный, угрюмый, но... благородный!

Когда «дюбét» обнаружился вполне осязательно и члены, каждый про себя, обсуждали, какое Дрыгаловское урочище придется каждому из них продавать для пополнения растраты, Люлькин подошел к окну, вынул из кар-

мана револьвер и тут же всадил себе пулю в висок.

Много говору наделало в городе это происшествие. Судили и сравнивали. Люлькина жалели, говорили: «По крайней мере, благородно покончил!» Об Кукишеве отзывались: «Аршинником родился, аршинником и умрет!» А об Анниньке и Любиньке говорили прямо, что это — «они», что это — «из-за них» и что их тоже не мешало бы засадить в острог, чтобы подобным прощелыгам впредь неповадно было.

Следователь, однако ж, не засадил их в острог, но зато так настрашал, что они совсем растерялись. Нашлись, конечно, люди, которые приятельски советовали припрятать что поценнее, но они слушали и ничего не понимали. Благодаря этому, адвокат истцов (обе управы наняли одного и того же адвоката), отважный малый, в видах обеспечения исков, явился в сопровождении судебного пристава к сестрам, и все, что нашел, описал и опечатал, оставив в их распоряжении только платья и те золотые и серебряные вещи, которые, судя по выгравированным надписям, оказывались приношениями восхищенной публики. Любинька успела, однако ж, при этом захватить пачку бумажек, подаренную ей накануне, и спрятать за корсет. В этой пачке оказалось тысяча рублей — все, чем сестры должны были неопределенное время существовать.

В ожидании суда их держали в Самоварном месяца четыре. Затем начался суд, на котором они, а в особенности Аннинька, выдержали целую пытку. Кукишев был циничен до мерзости; даже надобности не было в тех подробностях, которые он выложил, но он, очевидно, хотел порисоваться перед самоварновскими дамами и излагал решительно все. Прокурор и частный обвинитель, люди молодые и тоже желавшие доставить самоварновским дамам удовольствие, воспользовались этим, чтоб сообщить процессу игривый характер, в чем, конечно, и успели. Аннинька несколько раз падала в обморок, но частный обвинитель, озабочиваясь обеспечением иска, решительно не обращал на это внимания и ставил вопрос за вопросом. Наконец следствие кончилось, и предоставлено было слово заинтересованным сторонам. Уж поздно ночью присяжные вынесли Кукишеву обвинительный приговор, с смягчающими, впрочем, обстоятельствами, вследствие чего он был тут же приговорен к ссылке на жительство в Западную Сибирь, в места не столь отдаленные.

С окончанием дела сестры получили возможность уехать из Самоварного. Да и время было, потому что спря-

танная тысяча рублей подходила под исход. А сверх того, антрепренер кречетовского театра, с которым они предварительно сошлись, требовал, чтобы они явились в Кречетов немедленно, грозя в противном случае прервать переговоры. О деньгах, вещах и бумагах, опечатанных по требованию частного обвинителя, не было ни слуху ни духу.

Таковы были последствия небрежного обращения с «сокровищем». Измученные, истерзанные, подавленные общим презрением, сестры утратили всякую веру в свои силы, всякую надежду на просвет в будущем. Они похудели, опустили, струсил. И к довершению всего Аннинька, побывавшая в школе Кукишева, приучилась пить.

Дальше пошло еще хуже. В Кречетове, едва успели сестры выйти из вагона, как их тотчас же разобрали по рукам. Любиньку принял ротмистр Папков, Анниньку — купец Забвенный. Но прежних приволий уже не было. И Папков и Забвенный были люди грубые, драчуны, но тратились умеренно (Забвенный выражался: глядя по товару), а через три-четыре месяца и значительно охладели. К довершению рядом с умеренными любовными успехами шли и чересчур умеренные успехи сценические. Антрепренер, выписавший сестер в расчете на скандал, произведенный ими в Самоварнове, совсем неожиданно просчитался. На первом же представлении, когда обе девицы Погорельские были на сцене, кто-то из райка крикнул: «Эх вы, подсудимые!» — и кличка эта так и осталась за сестрами, сразу решив их сценическую судьбу.

Потянулась вялая, глухая, лишенная всякого умственного интереса жизнь. Публика была холодна, антрепренер дулся, покровители — не заступались. Забвенный, который, подобно Кукишеву, мечтал, как он будет «понуждать» свою кралю прохаживаться с ним по маленькой, как она сначала будет жеманиться, а потом мало-помалу уступит, был очень обижен, когда увидел, что школа уже пройдена сполна и что ему остается только одна утеха: собирать приятелей и смотреть, как Анютка «водку жрет». С своей стороны, и Папков был недоволен и находил, что Любинька похудела, или, как он выражался, «постервела».

— У тебя прежде телеса были, — допрашивал он ее, — сказывай, куда ты их девала?

И вследствие этого не только не церемонился с нею, но даже не раз, под пьяную руку, бивал.

К концу зимы сестры не имели ни покровителей «настоящих», ни «постоянного положения». Они еще держались кой-как около театра, но о «Периколах» и «Полков-

никах старых времен» не было уж и речи. Любинька, впрочем, выглядела несколько бодрее, Аннинька же, как более нервная, совсем опустила и, казалось, позабыла о прошлом и не сознавала настоящего. Сверх того, она начала подозрительно кашлять: навстречу ей, видимо, шел какой-то загадочный недуг...

Следующее лето было ужасно. Мало-помалу сестер начали возить по гостиницам к проезжающим господам, и на них установилась умеренная такса. Скандалы следовали за скандалами, побоища за побоищами, но сестры были живучи, как кошки, и все льнули, все желали жить. Они напоминали тех жалких собачонок, которые, несмотря на ошпаривания, израненные, с перешибленными ногами, все-таки лезут в облюбванное место, визжат и лезут. Держать при театре подобные личности оказывалось неудобным.

В эту мрачную годину только однажды луч света ворвался в существование Анниньки. А именно, трагик Милославский 10-й прислал из Самоварнова письмо, в котором настоятельно предлагал ей руку и сердце. Аннинька прочла письмо и заплакала. Целую ночь она металась, была, как говорится, сама не своя, но наутро послала короткий ответ: «Для чего? для того, что ли, чтоб вместе водку пить?» Затем мрак сгустился пуще прежнего, и снова начался бесконечный подлый угар.

Любинька первая очнулась, или, лучше сказать, не очнулась, а инстинктивно почувствовала, что жить довольно. Работы впереди уже не предвиделось: и молодость, и красота, и зачатки дарования — все как-то вдруг пропало. О том, что есть у них приют в Погорелке, ей ни разу даже не вспомнилось. Это было что-то далекое, смутное, совсем забытое. Если их прежде не манило в Погорелку, то теперь и подавно. Да, именно теперь, когда приходилось почти умирать с голоду, теперь-то меньше всего и манило туда. С каким лицом она явится? — с лицом, на котором всевозможные пьяные дыхания выжгли тавро: подлая! Везде они легли, эти проклятые дыхания, везде они чувствуются, на всяком месте. И что всего ужаснее, и она и Аннинька настолько освоились с этими дыханиями, что незаметно сделали их неразрывною частью своего существования. Им не омерзительны ни трактирная вонь, ни гвалт постоянных дворов, ни цинизм пьяных речей, так что если б они ушли в Погорелку, то им, наверное, всего этого будет не доставать. Но, кроме того, ведь и в Погорелке надо чем-нибудь существовать. Сколько уж лет они мыка-

ются по белу свету, а об доходах с Погорелки что-то не слышать. Не миф ли она? не вымерли ли там все? Все эти свидетели далекого и вечно памятного детства, когда их, сироток, бабенька Арина Петровна воспитывала на кислом молоке и попорченной солонине... Ах, что это было за детство! что это за жизнь... вся вообще! Вся жизнь... вся, вся, вся жизнь!

Ясно, что надо умереть. Раз эта мысль осветила совесть, она делается уж неотвязною. Обе сестры нередко пробуждались от угара, но у Анниньки эти пробуждения сопровождались истериками, рыданиями, слезами и проходили быстрее. Любинька была холоднее по природе, а потому не плакала, не проклинала, а только упорно помнила, что она «подлая». Сверх того, Любинька была рассудительна и как-то совершенно ясно сообразила, что жить даже и расчета нет. Совсем ничего не видится впереди, кроме позора, нищеты и улицы. Позор — дело привычки, его можно перенести, но нищете — никогда! Лучше покончить разом, со всем.

— Надо умереть, — сказала она однажды Анниньке тем же холодно-рассудительным тоном, которым два года тому назад спрашивала ее, для кого она бережет свое «сокровище».

— Зачем? — как-то испуганно возразила Аннинька.

— Я тебе серьезно говорю: надо умереть! — повторила Любинька. — Пойми! очнись! постарайся!

— Что ж... умрем! — согласилась Аннинька, едва ли, однако же, сознавая то суровое значение, которое заключало в себе это решение.

В тот же день Любинька наломала головок от фосфорных спичек и приготовила два стакана настоя. Один из них выпила сама, другой подала сестре. Но Аннинька мгновенно струсила и не хотела пить.

— Пей... подлая! — кричала на нее Любинька. — Сестрица! милая! голубушка! пей!

Аннинька, почти обезумев от страха, кричала и металась по комнате. И в то же время инстинктивно хваталась руками за горло, словно пыталась задавиться.

— Пей! пей... подлая!

Артистическая карьера девиц Погорельских кончилась. В тот же день вечером Любинькин труп вывезли в поле и зарыли. Аннинька осталась жива.

По приезде в Головлево Аннинька очень быстро внесла в старое Иудушкино гнездо атмосферу самого беспар-

донного кочеванья. Вставала поздно; затем, неодетая, нечесаная, с отяжелевшей головой, слонялась вплоть до обеда из угла в угол и до того вымученно кашляла, что Порфирий Владимирыч, сидя у себя в кабинете, всякий раз пугался и вздрагивал. Комната ее вечно оставалась неприбранною; постель стояла в беспорядке; принадлежности белья и туалета валялись разбросанные по стульям и на полу. В первое время она виделась с дядей только во время обеда и за вечерним чаем. Головлевский владыка выходил из кабинета весь одетый в черное, говорил мало и только по-прежнему изнурительно долго ел. По-видимому, он присматривался, и Аннинька по скошенным в ее сторону глазам его догадывалась, что он присматривался именно к ней.

Вслед за обедом наступали ранние декабрьские сумерки, и начиналась тоскливая ходьба по длинной анфиладе парадных комнат. Аннинька любила следить, как постепенно потухают мерцания серого зимнего дня, как меркнет окрестность и комнаты наполняются тенями и как потом вдруг весь дом окунется в непроницаемую мглу. Она чувствовала себя легче среди этого мрака и потому почти никогда не зажигала свечей. Только в конце длинной залы стрекотала и оплывала дешевенькая пальмовая свечка, образуя своим пламенем небольшой светящийся круг. Некоторое время в доме происходило обычное послеобеденное движение: слышалось лязганье перемываемой посуды, раздавался стук выдвигаемых и задвигаемых ящиков, но вскоре доносилось топанье удаляющихся шагов, и затем наступала мертвая тишина. Порфирий Владимирыч ложился на послеобеденный отдых, Евпраксеюшка зарывалась в своей комнате в перину. Прохор уходил в людскую, и Аннинька оставалась совершенно одна. Она ходила взад и вперед, напевая вполголоса и стараясь утомить себя и, главное, ни о чем не думать. Идя по направлению к зале, вглядывалась в светящийся круг, образуемый пламенем свечи; возвращаясь назад, усиливалась различить какую-нибудь точку в сгустившейся мгле. Но, назло усилиям, воспоминания так и плыли ей навстречу. Вот уборная, оклеенная дешевенькими обоями по дощатой перегородке с неизбежным трюмо и не менее неизбежным букетом от подпоручика Папкова 2-го; вот сцена с законченными, захватанными и скользкими от сырости декорациями; вот и она сама вертится на сцене, именно только вертится, воображая, что играет; вот театральный зал, со сцены кажущийся таким нарядным, почти блестящим, а в

действительности убогий, темный, с сборною мебелью и с ложами, обитыми обшарпанным малиновым плисом. И в заключение обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца. Потом гостиница с вонючим коридором, слабо освещенным коптящею керосиновой лампой; номер, в который она по окончании спектакля впопыхах забегаёт, чтоб переодеться для дальнейших торжеств, номер с неприбранной с утра постелью, с умывальником, наполненным грязной водой, с валяющеюся на полу простыней и забытыми на спинке кресла кальсонами; потом общая зала, полная кухонного чада, с накрытым посредине столом; ужин, котлеты под горошком, табачный дым, гвалт, толкотня, пьянство, разгул. И опять обер-офицеры, обер-офицеры, обер-офицеры без конца...

Таковы были воспоминания, относившиеся к тому времени, которое она когда-то называла временем своих успехов, своих побед, своего благополучия...

За этими воспоминаниями начинался ряд других. В них выдающуюся роль играл постоянный двор, уже совсем вонючий, с промерзающими зимой стенами, с колеблющимися полами, с дощатою перегородкой, из щелей которой выглядывают глянцевитые животы клопов. Пьяные и драчливые ночи; проезжие помещики, торопливо вынимающие из тощих бумажников зелененькую; хваты-купцы, подбадривающие «актерок» чуть не с нагайкой в руках. А наутро головная боль, тошнота и тоска, тоска без конца. В заключение — Головлево.

Головлево — это сама смерть, злобная, пустоутробная; это смерть, вечно подстерегающая новую жертву. Двое дядей тут умерли; двое двоюродных братьев здесь получили «особенно тяжкие» раны, последствием которых была смерть; наконец и Любинька... Хоть и кажется, что она умерла где-то в Кречетове «по своим делам», но начало «особенно тяжких» ран, несомненно, положено здесь, в Головлеве. Все смерти, все отравы, все язвы — все идет отсюда. Здесь происходило кормление протухлой солониной, здесь впервые раздались в ушах сирот слова: постылые, нищие, дармоеды, ненасытные утробы и проч.; здесь ничто не проходило им даром, ничто не укрывалось от пронизательного взора черствой и блажной старухи: ни лишний кусок, ни изломанная грошова кукла, ни изорванная тряпка, ни стоптанный башмак. Всякое правонарушение немедленно восстанавливалось или укоризной, или шлепком. И вот, когда они получили возможность располагать собой и поняли, что можно бежать от этого паскудства,

они и бежали... *туда!* И никто не удержал их от бегства, да и нельзя было удержать, потому что хуже, постылее Головлева не предвиделось ничего.

Ах, если б все это забыть! если б можно было хоть в мечте создать что-нибудь иное, какой-нибудь волшебный мир, который заслонил бы собой и прошедшее и настоящее. Но, увы! действительность, которую она пережила, была одарена такою железною живучестью, что под гнетом ее сами собой потухли все проблески воображения. Напрасно мечта усиливается создать ангельчиков с серебряными крылышками — из-за этих ангельчиков неумолимо выглядывают Кукишевы, Люлькины, Забвенные, Папковы... Господи! да неужто же все утрачено? неужто даже способность лгать, обманывать себя — и та потонула в ночных кутежах, в вине и разврате? Надо, однако ж, как-нибудь убить это прошлое, чтоб оно не отравляло крови, не рвало на куски сердца! Надо, чтоб на него легло что-нибудь тяжелое, которое раздавило бы его, уничтожило бы совсем, дотла!

И как все это странно и жестоко сложилось! нельзя даже вообразить себе, что возможно какое-нибудь будущее, что существует дверь, через которую можно куда-нибудь выйти, что может хоть что-нибудь случиться. Ничего случиться не может. И что всего несноснее: в сущности, она уже умерла, и между тем внешние признаки жизни — налицо. Надо было *тогда* кончать, вместе с Любинькой, а она зачем-то осталась. Как не раздавила ее та масса срама, которая в то время со всех сторон надвинулась на нее? И каким ничтожным червем нужно быть, чтобы выползти из-под такой груды разом налетевших камней?

Вопросы эти заставляли ее стонать. Она бегала и кружилась по зале, стараясь уgomонить взбудораженные воспоминания. А навстречу так и плыли: и герцогиня Герольштейнская, потрясающая гусарским ментиком, и Клеретта Анго, в подвенечном платье, с разрезом впереди до самого пояса, и Прекрасная Елена, с разрезами спереди, сзади и со всех боков... Ничего, кроме бесстыдства и наготы... вот в чем прошла вся жизнь! Неужели все это было?

Около семи часов дом начинал вновь пробуждаться. Слышались приготовления к предстоящему чаю, а наконец, раздавался и голос Порфирия Владимырыча. Дядя и племянница садились у чайного стола, разменивались замечаниями о проходящем дне, но так как содержание этого дня было скудное, то и разговор оказывался скудный же.

Напившись чаю и выполнив обряд родственного целования на сон грядущий, Иудушка окончательно заползал в свою нору, а Аннинька отправлялась в комнату к Евпраксеюшке и играла с ней в мельники.

С одиннадцати часов начинался разгул. Предварительно удостоверившись, что Порфирий Владимырьч угомонился, Евпраксеюшка ставила на стол разное деревенское соленье и графин с водкой. Припоминались бессмысленные и бесстыжие песни, раздавались звуки гитары, и в промежутках между песнями и подлым разговором Аннинька выпивала. Пила она сначала «по-кукишевски», хладнокровно, «господи баслави!», но потом постепенно переходила в мрачный тон, начинала стонать, проклинать...

Евпраксеюшка смотрела на нее и «жалела».

— Посмотрю я на вас, барышня, — говорила она, — и так мне вас жалко! так жалко!

— А вы выпейте вместе — вот и не жалко будет! — возражала Аннинька.

— Нет, мне как возможно! Меня и то уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили, а ежели да при этом...

— Ну, нечего, стало быть, и разговаривать. Давайте-ка лучше я вам «Усача» спою.

Опять раздавалось бречанье гитары, опять поднимался гик: и-ах! и-ох! Далеко за полночь на Анниньку, словно камень, сваливался сон. Этот желанный камень на несколько часов убивал ее прошедшее и даже угомонял недуг. А на другой день, разбитая, полуобезумевшая, она опять выползала из-под него и опять начинала жить.

И вот в одну из таких паскудных ночей, когда Аннинька лихо распевала перед Евпраксеюшкой репертуар своих паскудных песен, в дверях комнаты вдруг показалась изнуренная, мертвенно-бледная фигура Иудушки. Губы его дрожали; глаза ввалились и при тусклом мерцании пальмовой свечи казались как бы незрячими впадинами; руки были сложены ладонями внутрь. Он постоял несколько секунд перед обомлевшими женщинами и затем, медленно повернувшись, вышел.

Бывают семьи, над которыми тяготеет как бы обязательное предопределение. Особенно это замечается в среде той мелкой дворянской сошки, которая, без дела, без связи с общей жизнью и без правящего значения, сначала ютилась, под защитой крепостного права, рассеянная по

лицу земли русской, а ныне, уже без всякой защиты, доживает свой век в разрушающихся усадьбах. В жизни этих жалких семей и удача и неудача — все как-то слепо, не гадано, не думано.

Иногда над подобной семьей вдруг прольется как бы струя счастья. У захудалых корнета и корнетши, смиренно хиреющих в деревенском захолустье, внезапно появляется целый выводок молодых людей, крепоньких, чистеньких, проворных и чрезвычайно быстро усваивающих жизненную суть. Одним словом, «умниц». Все сплошь умницы — и юноши и юницы. Юноши — отлично кончают курс в «заведениях» и уже на школьных скамьях устраивают себе связи и покровительства. Вовремя умеют выказать себя скромными (*j'aime cette modestie!*¹ — говорят про них начальники) и вовремя же — самостоятельными (*j'aime cette indépendance!*²); чутко угадывают всякого рода веяния и ни с одним из них не порывают, не оставив назади надежной лазейки. Благодаря этому, они на всю жизнь обеспечивают для себя возможность без скандала и во всякое время сбросить старую шкуру и облечься в новую, а в случае чего и опять надеть старую шкуру. Словом сказать, это истинные делатели века сего, которые всегда начинают искательством и почти всегда кончают предательством. Что же касается до юниц, то и они, в мере своей специальности, содействуют возрождению семьи, то есть удачно выходят замуж, и затем обнаруживают столько такта в распоряжении своими атурами, что без труда завоевывают видные места в так называемом обществе.

Благодаря этим случайно сложившимся условиям, удача так и плывет навстречу захудалой семье. Первые удачники, бодро выдержавши борьбу, в свою очередь воспитывают новое чистенькое поколение, которому живется уже легче, потому что главные пути не только намечены, но и проторены. За этим поколением вырастут еще поколения, покуда, наконец, семья естественным путем не войдет в число тех, которые, уж без всякой предварительной борьбы, прямо считают себя имеющими прирожденное право на пожизненное ликование.

В последнее время, по случаю возникновения запроса на так называемых «свежих людей», запроса, обусловленного постепенным вырождением людей «не свежих», примеры подобных удачливых семей начали прорываться до-

¹ Мне нравится эта скромность! (фр.)

² Мне нравится эта независимость! (фр.)

вольно часто. И прежде бывало, что от времени до времени на горизонте появлялась звезда с «косицей», но это случилось редко, во-первых, потому, что стена, окружавшая ту беспечальную область, на воротах которой написано: «Здесь во всякое время едят пироги с начинкой», почти не представляла трещин, а во-вторых, и потому, что для того, чтобы, в сопровождении «косицы», проникнуть в эту область, нужно было воистину иметь за душой что-либо солидное. Ну, а нынче и трещин порядочно прибавилось, да и самое дело проникновения упростилось, так как от пришельца солидных качеств не спрашивается, а требуется лишь «свежесть» и больше ничего.

Но наряду с удачливыми семьями существует великое множество и таких, представителям которых домашние пенаты, с самой колыбели, ничего, по-видимому, не дарят, кроме безвыходного злополучия. Вдруг, словно вша, нападает на семью не то невзгода, не то порок и начинает со всех сторон есть. Расползается по всему организму, прокрадывается в самую сердцевину и точит поколение за поколением. Появляются коллекции слабосильных людишек, пьяниц, мелких развратников, бессмысленных празднотлюбцев и вообще неудачников. И чем дальше, тем мельче вырабатываются людишки, пока, наконец, на сцену не выходят чудосочные зауморыши, вроде однажды уже изображенных мною Головлят¹, зауморыши, которые при первом же натиске жизни не выдерживают и гибнут.

Именно такого рода злополучный фатум тяготел над головлевской семьей. В течение нескольких поколений три характеристические черты проходили через историю этого семейства: праздность, непригодность к какому бы то ни было делу и запой. Первые две приводили за собой пустословие, пустомыслие и пустоутробие, последний — являлся как бы обязательным заключением общей жизненной неурядицы. На глазах у Порфирия Владимырыча сгорело несколько жертв этого фатума, а, кроме того, предание гласило еще о дедах и прадедах. Все это были озорливые, пустомысленные и никуда не пригодные пьянчуги, так что головлевская семья, наверное, захудала бы окончательно, если бы посреди этой пьяной неурядицы случайным метеором не блеснула Арина Петровна. Эта женщина, благодаря своей личной энергии, довела уровень благосостояния семьи до высшей точки, но и за всем тем ее труд пропал даром, потому что она не только не передала своих

¹ См. рассказ «Семейные итоги». (Примеч. автора.)

качеств никому из детей, а, напротив, сама умерла, опутанная со всех сторон праздностью, пустословием и пустоутробием.

До сих пор Порфирий Владимырьч, однако ж, крепился. Может быть, он сознательно оберегался пьянства, в виду бывших примеров, но, может быть, его покуда еще удовлетворял запой пустомыслия. Однако ж окрестная молва недаром обрекала Иудушку заправскому, «пьяному» запою. Да он и сам по временам как бы чувствовал, что в существовании его есть какой-то пробел; что пустомыслие дает многое, но не все. А именно: недостает чего-то оглушающего, острого, которое окончательно упразднило бы представление о жизни и раз навсегда выбросило бы его в пустоту.

И вот вождеденный момент подвернулся сам собою. Долгое время, с самого приезда Анниньки, Порфирий Владимырьч, запершись в кабинете, прислушивался к смутному шуму, доносившемуся до него с другого конца дома; долгое время он отгадывал и недоумевал... И, наконец, учуял.

На другой день Аннинька ожидала поучений, но таковых не последовало. По обычаю, Порфирий Владимырьч целое утро просидел, запершись в кабинете, но когда вышел к обеду, то вместо одной рюмки водки (для себя) налил две и, молча, с глуповатой улыбкой, указал рукой на одну из них Анниньке. Это было, так сказать, молчаливое приглашение, которому Аннинька и последовала.

— Так ты говоришь, что Любинька умерла? — спохватился Иудушка в середине обеда.

— Умерла, дядя.

— Ну, царство небесное! Роптать — грех, а помянуть — следует. Помянем, что ли?

— Помянемте, дядя.

Выпили еще по одной, и затем Иудушка умолк: очевидно, он еще не вполне оправился после своей продолжительной одичалости. Только после обеда, когда Аннинька, выполняя родственный обряд, подошла поблагодарить дяденьку поцелуем в щеку, он, в свою очередь, потрепал ее по щеке и вымолвил:

— Вот ты какая!

Вечером в тот же день, во время чая, который на сей раз длился продолжительнее обыкновенного, Порфирий Владимырьч некоторое время с той же загадочной улыбкой поглядывал на Анниньку, но, наконец, предложил:

— Закусочки, что ли, велеть поставить?

— Что ж, велите!

— То-то, лучше уж у дяди на глазах, чем по закоулкам... По крайней мере, дядя...

Иудушка не договорил. Вероятно, он хотел сказать, что дядя, по крайней мере, «удержит», но слово как-то не выговорилось.

С этих пор каждый вечер в столовой появлялась закуска. Наружные ставни окон затворялись, прислуга удалялась спать, и племянница с дядей оставались глаз на глаз. Первое время Иудушка как бы не поспевал, но достаточно было недолговременной практики, чтоб он вполне сравнялся с Аннинькой. Оба сидели, не торопясь выпивали и между рюмками припоминали и беседовали. Разговор, сначала безразличный и вялый, по мере того как головы разгорячались, становился живее и живее и, наконец, неизменно переходил в беспорядочную ссору, основу которой составляли воспоминания о головлевских умертвиях и увечьях.

Зачинщицею этих ссор всегда являлась Аннинька. Она с беспощадною назойливостью раскапывала головлевский архив и в особенности любила дразнить Иудушку, доказывая, что главная роль во всех увечьях, наряду с покойной бабушкой, принадлежала ему. При этом каждое слово ее дышало такою циническою ненавистью, что трудно было себе представить, каким образом в этом замученном, полупотухшем организме могло еще сохраняться столько жизненного огня. Эти поддразнивания уязвляли Иудушку до бесконечности; но он возражал слабо и больше сердился, а когда Аннинька в своем озорливом науськиванье заходила слишком далеко, то кричал криком и проклинал.

Такого рода сцены повторялись изо дня в день, без изменения. Хотя все подробности скорбного семейного синодика были исчерпаны очень быстро, но синодик этот до такой степени неотступно стоял перед этими подавленными существами, что все мыслительные их способности были как бы прикованы к нему. Всякий эпизод, всякое воспоминание прошлого растревляли какую-нибудь язву, и всякая язва напоминала о новой свите головлевских увечий. Какое-то горькое, мстительное наслаждение чувствовалось в разоблачении этих отрав, в их расценке и даже в преувеличениях. Ни в прошлом, ни в настоящем не оказывалось ни одного нравственного устоя, за который можно бы удержаться. Ничего, кроме жалкого скопидомства, с одной стороны, и бессмысленного пустоутробия — с другой. Вместо хлеба — камень, вместо поучения — коло-

тушка. И, в качестве варианта, паскудное напоминание о дармоедстве, хлебогадстве, о милостыне, об утаенных кусках... Вот ответ, который получало молодое сердце, жаждавшее привета, тепла, любви. И что ж! по какой-то горькой насмешке судьбы, в результате этой жестокой школы оказалось не суровое отношение к жизни, а страстное желание насладиться ее отравками. Молодость сотворила чудо забвения; она не дала сердцу окаменеть, не дала сразу развиваться в нем начаткам ненависти, а, напротив, опьянила его жаждой жизни. Отсюда бесшабашный, закулисный угар, который в течение нескольких лет не дал прийти в себя и далеко отодвинул вглубь все головлевское. Только теперь, когда уже почуялся конец, в сердце вспыхнула сосущая боль, только теперь Аннинька настоящим образом поняла свое прошлое и начала настоящим образом ненавидеть.

Хмельные беседы продолжались далеко за полночь и если б их не смягчала хмельная же беспорядочность мыслей и речей, то они, на первых же порах, могли бы разрешиться чем-нибудь ужасным. Но, к счастью, ежели вино открывало неистощимые родники болей в этих замученных сердцах, то оно же и умиротворяло их. Чем глубже надвигалась над собеседниками ночь, тем бессвязнее становились речи и бессильнее обуревавшая их ненависть. Под конец не только не чувствовалось боли, но вся насущная обстановка исчезла из глаз и заменялась светящеюся пустотой. Языки запутывались, глаза закрывались, телодвижения коснели. И дядя и племянница тяжело поднимались с места и, пошатываясь, расходились по своим логовищам.

Само собой разумеется, что в доме эти ночные похождения не могли оставаться тайной. Напротив того, характер их сразу определился настолько ясно, что никому не показалось странным, когда кто-то из домочадцев по поводу этих походов произнес слово «уголовщина». Головлевские хоромы окончательно оцепенели; даже по утрам не видно было никакого движения. Господа просыпались поздно, и затем, до самого обеда, из конца в конец дома раздавался надрывающий душу кашель Анниньки, сопровождаемый непрерывными проклятиями. Иудушка со страхом прислушивался к этим раздирающим звукам и угадывал, что и к нему тоже идет навстречу беда, которая окончательно раздавит его.

Отовсюду, из всех углов этого постылого дома, казалось, выползали «умертвия». Куда ни пойдешь, в какую

сторону ни повернешься, везде шевелятся серые призраки. Вот папенька Владимир Михайлович, в белом колпаке, дразнящийся языком и цитирующий Баркова; вот братец Степка-балбес и рядом с ним братец Пашка-тихоня; вот Любинька, а вот и последние отпрыски головлевского рода: Володька и Петька... И все это хмельное, блудное, измученное, истекающее кровью... И над всеми этими призраками витает живой призрак, и этот живой призрак — не кто иной, как сам он, Порфирий Владимирович Головлев, последний представитель выморочного рода...

В конце концов постоянные припоминания старых умертвий должны были оказать свое действие. Прошлое до того выяснилось, что малейшее прикосновение к нему производило боль. Естественным последствием этого был не то испуг, не то пробуждение совести, скорее даже последнее, нежели первое. К удивлению, оказывалось, что совесть не вовсе отсутствовала, а только была загнана и как бы позабыта. И вследствие этого утратила ту деятельную чуткость, которая обязательно напоминает человеку о ее существовании.

Такие пробуждения одичалой совести бывают необыкновенно мучительны. Лишенная воспитательного ухода, не видя никакого просвета впереди, совесть не дает примирения, не указывает на возможность новой жизни, а только бесконечно и бесплодно терзает. Человек видит себя в каменном мешке, безжалостно отданным в жертву агонии раскаяния, именно одной агонии, без надежды на возврат к жизни. И никакого иного средства утишить эту бесплодную разъедающую боль, кроме шанса воспользоваться минутой мрачной решимости, чтобы разбить голову о камни мешка...

Иудушка в течение долгой пустоутробной жизни никогда даже в мыслях не допускал, что тут же, о бок с его существованием, происходит процесс умертвия. Он жил себе потихоньку да помаленьку, не торопясь да Богу помолясь, и отнюдь не предполагал, что именно из этого-то и выходит более или менее тяжелое увечье. А следовательно, тем меньше мог допустить, что он сам и есть виновник этих увечий.

И вдруг ужасная правда осветила его совесть, но осветила поздно, без пользы, уже тогда, когда перед глазами стоял лишь бесповоротный и непоправимый факт. Вот он состарился, одичал, одной ногой в могиле стоит, а нет на

свете существа, которое приблизилось бы к нему, «пожалело» бы его. Зачем он один? зачем он видит кругом не только равнодушие, но и ненависть? отчего все, что ни прикасалось к нему, — все погибло? Вот тут, в этом самом Головлеве, было когда-то целое человечье гнездо — каким образом случилось, что и пера не осталось от этого гнезда? Из всех выпестованных в нем птенцов уцелела только племянница, но и та явилась, чтоб надругаться над ним и доконать его. Даже Евпраксеюшка — уж на что простодушна — и та ненавидит. Она живет в Головлеве, потому что отцу ее, пономарю, ежемесячно посылается отсюда домашний запас, но живет, несомненно, ненавидя. И ей он, Иуда, нанес тяжчайшее увечье, и у ней он сумел отнять свет жизни, отняв сына и бросив его в какую-то безымянную яму. К чему привела вся его жизнь? Зачем он лгал, пустословил, притеснял, скопидомствовал? Даже с материальной точки зрения, с точки зрения «наследства» — кто воспользуется результатами этой жизни? кто?

Повторяю: совесть проснулась, но бесплодно. Иудушка стонал, злился, метался и с лихорадочным озлоблением ждал вечера не для того только, чтобы бестиально упиться, а для того, чтобы утопить в вине совесть. Он ненавидел «распутную девку», которая с такою холодной наглостью бередила его язвы, и в то же время неудержимо влекся к ней, как будто еще не все между ними было высказано, а оставались еще и еще язвы, которые тоже необходимо было растравить. Каждый вечер он заставлял Анниньку повторить рассказ о Любинькиной смерти, и каждый вечер в уме его больше и больше созревала идея о саморазрушении. Сначала эта мысль мелькнула случайно, но, по мере того как процесс умертвий выяснялся, она прокрадывалась глубже и глубже и, наконец, сделалась единственной светящеюся точкой во мгле будущего.

К тому же и физическое его здоровье резко пошатнулось. Он уже серьезно кашлял и по временам чувствовал невыносимые приступы удушья, которые, независимо от нравственных терзаний, сами по себе в состоянии наполнить жизнь сплошной агонией. Все внешние признаки специального головлевского отравления были налицо, и в ушах его уже раздавались стоны братца Павлушки-тихони, задохшегося на антресолях дубровинского дома. Однако ж эта впалая, худая грудь, которая, казалось, ежеминутно готова была треснуть, оказывалась удивительно живучею. С каждым днем вмещала она все большую и большую массу физических мук, а все-таки держалась, не уступала.

Как будто и организм, своей неожиданной устойчивостью, мстил за старые умертвия. «Неужто ж это не конец?» — каждый раз с надеждой говорил Иудушка, чувствуя приближение припадка; а конец все не приходил. Очевидно, требовалось насилие, чтобы ускорить его.

Одним словом, с какой стороны ни подойди, все расчеты с жизнью покончены. Жить и мучительно и не нужно; всего нужнее было бы умереть; но беда в том, что смерть не идет. Есть что-то изменнически-подлое в этом озорливом замедлении умирания, когда смерть призывается всеми силами души, а она только обольщает и дразнит...

.

Дело было в исходе марта, и страстная неделя подходила к концу. Как ни опустился в последние годы Порфирий Владимирыч, но установившееся еще с детства отношение к святости этих дней подействовало и на него. Мысли сами собой настраивались на серьезный лад; в сердце не чувствовалось никакого иного желания, кроме жажды безусловной тишины. Согласно с этим настроением и вечера утратили свой безобразно пьяный характер и проводились молчаливо, в тоскливом воздержании.

Иудушка и Аннинька сидели вдвоем в столовой. Не далее как час тому назад кончилась всенощная, сопровождаемая чтением двенадцати евангелий, и в комнате еще слышался сильный запах ладана. Часы пробили десять, домашние разошлись по углам, и в доме водворилось глубокое, сосредоточенное молчание. Аннинька, взявши голову в обе руки, облокотилась на стол и задумалась; Порфирий Владимирыч сидел напротив, молчаливый и печальный.

На Анниньку эта служба всегда производила глубоко потрясающее впечатление. Еще будучи ребенком, она горько плакала, когда батюшка произносил: «И сплетше венец из терния, возложиша на главу его, и трость в десницу его» — и всхлипывающим дискантиком подпевала дьячку: «Слава долготерпению твоему, Господи! слава тебе!» А после всенощной, вся взволнованная, прибежала в девичью и там, среди сгустившихся сумерек (Арина Петровна не давала в девичью свечей, когда не было работы), рассказывала рабыням «страсти господни». Лились тихие рабыи слезы, слышались глубокие рабыи вздыхания. Рабыни чуяли сердцами своего господина и искупителя, верили, что он воскреснет, воистину воскреснет. И Аннинька тоже чуяла и верила. За глубокой ночью истязаний, подлых

издевок и покиваний для всех этих нищих духом виднелось царство лучей и свободы. Сама старая барыня Арина Петровна, обыкновенно грозная, делалась в эти дни тихой, не брюзжала, не попрекала Анниньку сиротством, а гладила ее по головке и уговаривала не волноваться. Но Аннинька даже в постели долго не могла успокоиться, вздрагивала, металась, по нескольку раз в течение ночи вскакивала и разговаривала сама с собой.

Потом наступили годы учения, а затем и годы странствования. Первые были бессодержательными, вторые — мучительно пошлы. Но и тут, среди безобразий актерского кочевья, Аннинька ревниво выделяла «святые дни» и отыскивала в душе отголоски прошлого, которые помогали ей по-детски умиляться и вздыхать. Теперь же, когда жизнь выяснилась вся, до последней подробности, когда прошлое проклялось само собою, а в будущем не предвиделось ни раскаяния, ни прощения, когда иссяк источник умиления, а вместе с ним иссякли и слезы, — впечатление, произведенное только что выслушанным сказанием о скорбном пути, было поистине подавляющим. И тогда, в детстве, над нею тяготела глубокая ночь, но за тьмою все-таки предчувствовалась лучи. Теперь — ничего не предчувствовалось, ничего не предвиделось: ночь, вечная, бессменная ночь — и ничего больше. Аннинька не вздыхала, не волновалась и, кажется, даже ни о чем не думала, а только впала в глубокое оцепенение.

С своей стороны, и Порфирий Владимырьч с не меньшей аккуратностью с молодых ногтей читал «святые дни», но читал исключительно с обрядной стороны, как истый идолопоклонник. Каждогодно, накануне великой пятницы, он приглашал батюшку, выслушивал евангельское сказание, вздыхал, воздевал руки, стучался лбом в землю, отмечал на свече восковыми катышками число прочитанных евангелий и все-таки ровно ничего не понимал. И только теперь, когда Аннинька разбудила в нем сознание «умертвий», он понял впервые, что в этом сказании идет речь о какой-то неслыханной неправде, совершившей кровавый суд над Истиной...

Конечно, было бы преувеличением сказать, что по поводу этого открытия в душе его возникли какие-либо жизненные сопоставления, но несомненно, что в ней произошла какая-то смута, почти граничащая с отчаянием. Эта смута была тем мучительнее, чем бессознательнее прожилося то прошлое, которое послужило ей источником. Было что-то страшное в этом прошлом, а что именно —

в массе невозможно припомнить. Но и позабыть нельзя. Что-то громадное, которое до сих пор неподвижно стояло, прикрытое непроницаемою завесою, и только теперь двинулось навстречу, каждоминутно угрожая раздавить. Если б еще оно взаправду раздавило — это было бы самое лучшее; но ведь он живуч — пожалуй, и выползет. Нет, ждать развязки от естественного хода вещей — слишком гадательно; надо самому создать развязку, чтобы покончить с непосильною смутю. Есть такая развязка, есть. Он уже с месяц приглядывается к ней, и теперь, кажется, не проминёт. «В субботу приобщаться будем — надо на могилку к покойной маменьке проститься сходить!» — вдруг мелькнуло у него в голове.

— Сходим, что ли? — обратился он к Анниньке, сообщая ей вслух о своем предположении.

— Пожалуй... съездимте...

— Нет, не съездимте, а... — начал было Порфирий Владимирыч и вдруг оборвал, словно сообразил, что Аннинька может помешать.

«А ведь я перед покойницей маменькой... ведь я ее замучил... я!» — бродило между тем в его мыслях, и жажда «проститься» с каждой минутой сильнее и сильнее разгоралась в его сердце. Но «проститься» не так, как обыкновенно прощаются, а пасть на могилу и застыть в воплях смертельной агонии.

— Так ты говоришь, что Любинька сама от себя умерла? — вдруг спросил он, видимо, с целью подбодрить себя.

Сначала Аннинька словно не расслышала вопроса дяди, но, очевидно, он дошел до нее, потому что через две-три минуты она сама ощутила непреодолимую потребность возвратиться к этой смерти, измучить себя ею.

— Так и сказала: пей... подлая?! — переспросил он, когда она подробно повторила свой рассказ.

— Да... сказала.

— А ты осталась? не выпила?

— Да... вот живу...

Он встал и несколько раз в видимом волнении прошелся взад и вперед по комнате. Наконец подошел к Анниньке и погладил ее по голове.

— Бедная ты! бедная ты моя! — произнес он тихо.

При этом прикосновении в ней произошло что-то неожиданное. Сначала она изумилась, но постепенно лицо ее начало искажаться, искажаться, и вдруг целый поток истерических, ужасных рыданий вырвался из ее груди.

— Дядя! вы добрый? скажите, вы добрый? — почти криком кричала она.

Прерывающимся голосом, среди слез и рыданий, твердила она свой вопрос, тот самый, который она предложила еще в тот день, когда после «странствия» окончательно воротилась для водворения в Головлеве, и на который он в то время дал такой нелепый ответ.

— Вы добрый? скажите! ответьте! вы добрый?

— Слышала ты, что за всеобщей сегодня читали? — спросил он, когда она, наконец, затихла. — Ах, какие это были страдания! Ведь только такими страданиями и можно... И простил! всех навсегда простил!

Он опять начал большими шагами ходить по комнате, убиваясь, страдая и не чувствуя, как лицо его покрывается каплями пота.

— Всех простил! — вслух говорил он сам с собою. — Не только тех, которые *тогда* напоили его оцтом с желчью, но и тех, которые и после, вот теперь, и впредь, во веки веков будут подносить к его губам оцет, смешанный с желчью... Ужасно! ах, это ужасно!

И вдруг, остановившись перед ней, спросил:

— А ты... простила?

Вместо ответа она бросилась к нему и крепко его обняла.

— Надо меня простить! — продолжал он. — За всех... и за себя... и за тех, которых уж нет... Что такое! что такое сделалось?! — почти растерянно восклицал он, озираясь кругом, — где... *все?*..

.

Измученные, потрясенные, разошлись они по комнатам. Но Порфирий Владимычу не спалось. Он ворочался с боку на бок в своей постели и все припоминал, какое еще обязательство лежит на нем. И вдруг в его памяти совершенно отчетливо восстановились те слова, которые случайно мелькнули в его голове часа за два перед тем. «Надо на могилку к покойнице маменьке проститься сходить»... При этом напоминании ужасное, томительное беспокойство овладело всем существом его...

Наконец он не выдержал, встал с постели и надел халат. На дворе было еще темно, и ниоткуда не доносилось ни малейшего шороха. Порфирий Владимыч некоторое время ходил по комнате, останавливался перед освещенным лампадкой образом исповителя в терновом венце и

вглядывался в него. Наконец он решился. Трудно сказать, насколько он сам сознавал свое решение, но через несколько минут он, крадучись, добрался до передней и щелкнул крючком, замыкавшим входную дверь.

На дворе выл ветер и крутилась мартовская мокрая метелица, посылая в глаза целые ливни талого снега.

Но Порфирий Владимырь шел по дороге, шагая по лужам, не чувствуя ни снега, ни ветра и только инстинктивно запахивая полы халата.

На другой день, рано утром, из деревни, ближайшей к погосту, на котором была схоронена Арина Петровна, прискакал верховой с известием, что в нескольких шагах от дороги найден закоченевший труп головлевского барина. Бросились к Анниньке, но она лежала в постели в бессознательном положении, со всеми признаками горячки. Тогда снарядили нового верхового и отправили его в Горюшкино к «сестрице» Надежде Ивановне Галкиной (дочке тетеньки Варвары Михайловны), которая уже с прошлой осени зорко следила за всем, происходившим в Головлеве.

1880





СКАЗКИ

(1869—1889)



ПРОПАЛА СОВЕСТЬ

Пропала совесть. По-старому толпились люди на улицах и в театрах; по-старому они то догоняли, то перегоняли друг друга; по-старому суетились и ловили на лету куски, и никто не догадывался, что чего-то вдруг стало не хватать и что в общем жизненном оркестре перестала играть какая-то дудка. Многие начали даже чувствовать себя бодрее и свободнее. Легче сделался ход человека: ловчее стало подставлять ближнему ногу, удобнее льстить, пресмыкаться, обманывать, наушничать и клеветать. Всякую *болезнь* вдруг как рукой сняло; люди не шли, а как будто неслись; ничто не огорчало их, ничто не заставляло задуматься; и настоящее, и будущее — все, казалось, так и отдавалось им в руки, — им, счастливым, не заметившим о пропаже совести.

Совесть пропала вдруг... почти мгновенно! Еще вчера эта надоедливая приживалка так и мелькала перед глазами, так и чудилась возбужденному воображению, и вдруг... ничего! Исчезли досадные призраки, а вместе с ними улеглась и та нравственная смута, которую приводила за собой обличительница-совесть. Оставалось только смотреть на божий мир и радоваться: мудрые мира поняли, что они, наконец, освободились от последнего ига, которое затрудняло их движения, и, разумеется, поспешили воспользоваться плодами этой свободы. Люди остервенились; пошли грабежи и разбои, началось вообще разорение.

А бедная совесть лежала между тем на дороге, истерзанная, оплеванная, затоптанная ногами пешеходов. Всякий швырял ее, как негодную ветошь, подальше от себя;

всякий удивлялся, каким образом в благоустроенном городе, и на самом бойком месте, может валяться такое вопиющее безобразие. И бог знает, долго ли бы пролежала таким образом бедная изгнанница, если бы не поднял ее какой-то несчастный пропоец, позарившийся с пьяных глаз даже на негодную тряпицу, в надежде получить за нее шкалик.

И вдруг он почувствовал, что его пронизала словно электрическая струя какая-то. Мутными глазами начал он озираться кругом и совершенно явственно ощутил, что голова его освобождается от винных паров и что к нему постепенно возвращается то горькое сознание действительности, на избавление от которого были потрачены лучшие силы его существа. Сначала он почувствовал только страх, тот тупой страх, который повергает человека в беспокойство от одного предчувствия какой-то грозящей опасности; потом всполошилась память, заговорило воображение. Память без пощады извлекала из тьмы постыдного прошлого все подробности насилий, измен, сердечной вялости и неправд: воображение облекало эти подробности в живые формы. Затем, сам собой, проснулся суд...

Жалкому пропойцу все его прошлое кажется сплошным безобразным преступлением. Он не анализирует, не спрашивает, не соображает: он до того подавлен вставшею перед ним картиною его нравственного падения, что тот процесс самоосуждения, которому он добровольно подвергает себя, бьет его несравненно сильнее и строже, нежели самый строгий людской суд. Он не хочет даже принять в расчет, что большая часть того прошлого, за которое он себя так клянет, принадлежит совсем не ему, бедному и жалкому пропойцу, а какой-то тайной, чудовищной силе, которая крутила и вертела им, как крутит и вертит в степи вихрь ничтожною былинкою. Что такое его прошлое? почему он прожил его так, а не иначе? что такое он сам? — все это такие вопросы, на которые он может отвечать только удивлением и полнейшею бессознательностью. Иго строило его жизнь; под игом родился он, под игом же сойдет и в могилу. Вот, пожалуй, теперь и явилось сознание — да на что оно ему нужно? затем ли оно пришло, чтоб безжалостно поставить вопросы и ответить на них молчанием? затем ли, чтоб погубленная жизнь вновь хлынула в разрушенную храмину, которая не может уже выдержать наплыва ее?

Увы! проснувшееся сознание не приносит ему с собой ни примирения, ни надежды, а встрепенувшаяся совесть

указывает только один выход — выход бесплодного самообвинения. И прежде кругом была мгла, да и теперь та же мгла, только населившаяся мучительными привидениями; и прежде на руках звенели тяжелые цепи, да и теперь те же цепи, только тяжесть их вдвое увеличилась, потому что он понял, что это цепи. Льются рекой бесполезные пропойцевы слезы; останавливаются перед ним добрые люди и утверждают, что в нем плачет вино.

— Батюшки! не могу... несносно! — криком кричит жалкий пропоец, а толпа хохочет и глумится над ним. Она не понимает, что пропоец никогда не был так свободен от винных паров, как в эту минуту, что он просто сделал несчастную находку, которая разрывает на части его бедное сердце. Если бы она сама набрела на эту находку, то уразумела бы, конечно, что есть на свете горесть, лютейшая всех горестей, — это горесть внезапно обретенной совести. Она уразумела бы, что и она — настолько же подъяремная и изуродованная духом толпа, насколько подъяремен и нравственно искажен взывающий перед нею пропоец.

«Нет, надо как-нибудь ее сбыть! а то с ней пропадешь, как собака!» — думает жалкий пьяница и уже хочет бросить свою находку на дорогу, но его останавливает близстоящий хожалый.

— Ты, брат, кажется, подбрасыванием подметных пасквилей заниматься вздумал! — говорит он ему, грозя пальцем, — у меня, брат, и в части за это посидеть недолго!

Пропоец проворно прячет находку в карман и удаляется с нею. Озираясь и крадучись, приближается он к питейному дому, в котором торгует старинный его знакомый, Прохорыч. Сначала он заглядывает потихоньку в окошко и, увидев, что в кабаке никого нет, а Прохорыч один-одинехонек дремлет за стойкой, в одно мгновение ока растворяет дверь, вбегает, и прежде, нежели Прохорыч успевает опомниться, ужасная находка уже лежит у него в руке.

Некоторое время Прохорыч стоял с вытаращенными глазами; потом вдруг весь вспотел. Ему почему-то померещилось, что он торгует без патента; но, оглядевшись хорошенько, он убедился, что все патенты, и синие, и зеленые, и желтые, налицо. Он взглянул на тряпицу, которая очути-

лась у него в руках, и она показалась ему знакомою.

«Эге! — вспомнил он, — да, никак, это та самая тряпка, которую я насилу сбыл перед тем, как патент покупать! да! она самая и есть!»

Убедившись в этом, он тотчас же почему-то сообразил, что теперь ему разориться надо.

— Коли человек делом занят, да этакая пакость к нему привяжется, — говори, пропало! никакого дела не будет и быть не может! — рассуждал он почти машинально и вдруг весь затрясся и побледнел, словно в глаза ему глянул неведомый дотоле страх.

— А ведь куда скверно спаивать бедный народ! — шептала проснувшаяся совесть.

— Жена! Арина Ивановна! — вскрикнул он вне себя от испуга.

Прибежала Арина Ивановна, но как только увидела, какое Прохорыч сделал приобретение, так не своим голосом закричала: «Караул! батюшки! грабят!»

«И за что я, через этого подлеца, в одну минуту всего лишиться должен?» — думал Прохорыч, очевидно, намекая на пропойца, всучившего ему свою находку. А крупные капли пота между тем так и выступали на лбу его.

Между тем кабак мало-помалу наполнялся народом, но Прохорыч, вместо того, чтоб с обычною любезностью потчевать посетителей, к совершенному изумлению последних не только отказывался наливать им вино, но даже очень трогательно доказывал, что в вине заключается источник всякого несчастья для бедного человека.

— Коли бы ты одну рюмочку выпил — это так! это даже пользительно! — говорил он сквозь слезы, — а то ведь ты норовишь, как бы тебе целое ведро сожрать! И что ж? сейчас тебя за это самое в часть сволокут; в части тебе под рубашку засыплют, и выдешь ты оттоль, словно кабы награду какую получил! А и всей-то твоей награды было сто лозанов! Так вот ты и подумай, милый человек, стоит ли из-за этого стараться, да еще мне, дураку, трудовые твои денежки платить!

— Да что ты, никак, Прохорыч, с ума спятил! — говорили ему изумленные посетители.

— Спятишь, брат, коли с тобой такая оказия случится! — отвечал Прохорыч, — ты вот лучше посмотри, какой я нынче патент себе выправил!

Прохорыч показывал всученную ему совесть и предлагал, не хочет ли кто из посетителей воспользоваться ею. Но посетители, узнавши, в чем штука, не только не изъяв-

ляли согласия, но даже боязливо сторонились и отходили подальше.

— Вот так патент! — не без злобы прибавлял Прохорыч.

— Чтó ж ты теперь делать будешь? — спрашивали его посетители.

— Теперича я полагаю так: остается мне одно — помереть! Потому обманывать я теперь не могу; водкой спаивать бедный народ тоже не согласен; чтó же мне теперича делать, кроме как помереть?

— Резон! — смеялись над ним посетители.

— Я даже так теперь думаю, — продолжал Прохорыч, — всю эту посудину, какая тут есть, перебить и вино в канаву вылить! Потому, коли ежели кто имеет в себе эту добродетель, так тому даже самый запах сивушный может нутро перевернуть!

— Только смей у меня! — вступилась наконец Арина Ивановна, сердца которой, по-видимому, не коснулась благодать, внезапно осенившая Прохорыча, — ишь добродетель какая выискалась!

Но Прохорыча уже трудно было пронять. Он заливался горькими слезами и все говорил, все говорил.

— Потому, — говорил он, — что ежели уж с кем это несчастье случилось, тот так несчастным и должен быть. И никакого он об себе мнения, что он торговец или купец, заключить не смеет. Потому что это будет одно его напрасное беспокойство. А должен он о себе так рассуждать: «Несчастный я человек в сем мире — и больше ничего».

Таким образом в философических упражнениях прошел целый день, и хотя Арина Ивановна решительно воспротивилась намерению своего мужа перебить посуду и вылить вино в канаву, однако они в тот день не продали ни капли. К вечеру Прохорыч даже развеселился и, ложась на ночь, сказал плачущей Арине Ивановне:

— Ну вот, душенька и любезнейшая супруга моя! хоть мы и ничего сегодня не нажили, зато как легко тому человеку, у которого совесть в глазах есть!

И действительно, он, как лег, так сейчас и уснул. И не метался во сне, и даже не храпел, как это случалось с ним в прежнее время, когда он наживал, но совести не имел.

Но Арина Ивановна думала об этом несколько иначе. Она очень хорошо понимала, что в кабацком деле совесть совсем не такое приятное приобретение, от которого можно было бы ожидать прибытка, и потому решила во что

бы то ни стало отделаться от непрошеной гостьи. Скрепя сердце, она переждала ночь, но как только в запыленные окна кабака забрезжил свет, она выкрала у спящего мужа совесть и стремглав бросилась с нею на улицу.

Как нарочно, это был базарный день: из соседних деревень уже тянулись мужики с возами, и квартальный надзиратель Ловец самолично отправлялся на базар для наблюдения за порядком. Едва завидела Арина Ивановна поспевающего Ловца, как у ней блеснула уже в голове счастливая мысль. Она во весь дух побежала за ним, и едва успела поравняться, как сейчас же, с изумительною ловкостью, сунула потихоньку совесть в карман его пальто.

Ловец был малый не то чтоб совсем бесстыжий, но стеснять себя не любил и запускать лапу довольно свободно. Вид у него был не то чтоб наглый, а *устремительный*. Руки были не то чтоб слишком озорные, но охотно зацепляли все, что попадалось по дороге. Словом сказать, был лихоимец порядочный.

И вдруг этого самого человека начало коробить.

Пришел он на базарную площадь, и кажется ему, что все, что там ни наставлено, и на возах, и на рундуках, и в лавках, — все это не его, а чужое. Никогда прежде этого с ним не бывало. Протер он себе бесстыжие глаза и думает: «Не очумел ли я, не во сне ли все это мне представляется?» Подошел к одному возу, хочет запустить лапу, ан лапа не поднимается; подошел к другому возу, хочет мужика за бороду вытрясти — о, ужас! длани не простираются!

Испугался.

«Что это со мной нынче сделалось? — думает Ловец, — ведь этаким манером, пожалуй, и напередки все дело себе испорчу! Уж не воротиться ли, за добра ума, домой?»

Однако понадеялся, что, может быть, и пройдет. Стал погуливать по базару; смотрит, лежит всякая живность, разостланы всякие материи, и все это как будто говорит: «Вот и близок локоть, да не укусишь!»

А мужики между тем осмелились: видя, что человек очумел, глазами на свое добро хлопают, стали шутики шутить, стали Ловца *Фофаном Фофанычем* звать.

— Нет, это со мною болезнь какая-нибудь! — решил Ловец и так-таки без кульков, с пустыми руками, и отправился домой.

Возвращается он домой, а Ловчиха-жена уж ждет, думает: «Сколько-то мне супруг мой любезный нынче кулков принесет?» И вдруг — ни одного. Так и закипело в ней сердце, так и накинулась она на Ловца.

— Куда кульки девал? — спрашивает она его.

— Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... — начал было Ловец.

— Где у тебя кульки, тебя спрашивают?

— Перед лицом моей совести свидетельствуюсь... — вновь повторил Ловец.

— Ну, так и обедай своею совестью до будущего базара, а у меня для тебя нет обеда! — решила Ловчиха.

Понурил Ловец голову, потому что знал, что Ловчихино слово твердое. Снял он с себя пальто — и вдруг словно преобразился совсем! Так как совесть осталась, вместе с пальто, на стенке, то сделалось ему опять и легко, и свободно, и стало опять казаться, что на свете нет ничего чужого, а всё его. И почувствовал он вновь в себе способность глотать и загрывать.

— Ну, теперь вы у меня не отвертитесь, дружки! — сказал Ловец, потирая руки, и стал поспешно надевать на себя пальто, чтоб на всех парусах лететь на базар.

Но, о чудо! едва успел он надеть пальто, как опять начал корячиться. Просто как будто два человека в нем сделалось: один, без пальто, — бесстыжий, загрибистый и лапистый; другой, в пальто — застенчивый и робкий. Однако хоть и видит, что не успел за ворота выйти, как уж присмилел, но от намерения своего идти на базар не отказался. «Авось-либо, думает, превозмогу».

Но чем ближе он подходил к базару, тем сильнее билось его сердце, тем неотступнее сказывалась в нем потребность примириться со всем этим средним и малым людом, который из-за гроша целый день бьется на дождю да на слякоти. Уж не до того ему, чтоб на чужие кульки засматриваться; свой собственный кошелек, который был у него в кармане, сделался ему в тягость, как будто он вдруг из достоверных источников узнал, что в этом кошельке лежат не его, а чьи-то чужие деньги.

— Вот тебе, дружок, пятнадцать копеек! — говорит он, подходя к какому-то мужику и подавая ему монету.

— Это за что же, Фофан Фофаныч?

— А за мою прежнюю обиду, друг! прости меня, Христа ради!

— Ну, Бог тебя простит!

Таким образом обошел он весь базар и роздал все

деньги, какие у него были. Однако, сделавши это, хоть и почувствовал, что на сердце у него стало легко, но крепко призадумался.

— Нет, это со мною сегодня болезнь какая-нибудь приключилась, — опять сказал он сам себе, — пойду-ка я лучше домой, да кстати уж захвачу по дороге побольше нищих, да и накормлю их, чем бог послал!

Сказано — сделано: набрал он нищих видимо-невидимо и привел их к себе во двор. Ловчиха только руками развела, ждет, какую он еще дальше проказу сделает. Он же потихоньку прошел мимо нее и ласково таково сказал:

— Вот, Федосьюшка, те самые странные люди, которых ты просила меня привести: покорми их, ради Христа!

Но едва успел он повесить свое пальто на гвоздик, как ему и опять стало легко и свободно. Смотрит в окошко и видит, что на дворе у него нищая братия со всего городу сбита! Видит и не понимает: «Зачем? неужто всю эту уйму сечь предстоит?»

— Что за народ? — выбежал он на двор в исступлении.

— Как что за народ? это всё странные люди, которых ты накормить велел! — огрызнулась Ловчиха.

— Гнать их! в шею! вот так! — кричал он не своим голосом и, как сумасшедший, бросился опять в дом.

Долго ходил он взад и вперед по комнатам и все думал, что такое с ним случилось? Человек он был всегда исправный, относительно же исполнения служебного долга просто лев, и вдруг сделался тряпицею!

— Федосья Петровна! матушка! да свяжи ты меня, ради Христа! чувствую, что я сегодня таких дел наделаю, что после целым годом поправить нельзя будет! — взмолился он.

Видит и Ловчиха, что Ловцу ее круто пришлось. Раздела его, уложила в постель и напоила горяченьким. Только через четверть часа пошла она в переднюю и думает: «А посмотрю-ка я у него в пальто; может, еще и найдутся в карманах какие-нибудь грошики?» Обшарила один карман — нашла пустой кошелек; обшарила другой карман — нашла какую-то грязную, замасленную бумажку. Как развернула она эту бумажку — так и ахнула!

— Так вот он нынче на какие штуки пустился! — сказала она себе, — совесть в кармане завел!

И стала она придумывать, кому бы ей эту совесть сбить, чтоб она того человека не в конец отяготила, а только маленько в беспокойство привела. И придумала, что самое лучшее ей место будет у отставного откупщика, а

ныне финансиста и железнодорожного изобретателя, еврея Шмуля Давыдовича Бржоцкого.

— У этого, по крайности, шея толста! — решила она, — может быть, и побьется малое дело, а выдержит!

Решивши таким образом, она осторожно сунула совесть в штемпельный конверт, написала на нем адрес Бржоцкого и опустила в почтовый ящик.

— Ну, теперь можешь, друг мой, смело идти на базар, — сказала она мужу, воротившись домой.

Самуил Давыдыч Бржоцкий сидел за обеденным столом, окруженный всем своим семейством. Подле него помещался десятилетний сын Рувим Самуилович и совершал в уме банкирские операции.

— А сто, папаса, если я этот золотой, который ты мне подарил, буду отдавать в рост по двадцати процентов в месяц, сколько у меня к концу года денег будет? — спрашивал он.

— А какой процент: простой или слозный? — спросил, в свою очередь, Самуил Давыдыч.

— Разумеется, папаса, слозный!

— Если слозный и с усецением дробей, то будет сорок пять рублей и семьдесят девять копеек!

— Так я, папаса, отдам!

— Отдай, мой друг, только надо благонадежный залог брать!

С другой стороны сидел Иосель Самуилович, мальчик лет семи, и тоже решал в уме своем задачу: летело стадо гусей; далее помещался Соломон Самуилович, за ним Давыд Самуилович и соображали, сколько последний должен первому процентов за взятые заимообразно леденцы. На другом конце стола сидела красивая супруга Самуила Давыдыча, Лия Соломоновна, и держала на руках крошечную Рифочку, которая инстинктивно тянулась к золотым браслетам, украшавшим руки матери.

Одним словом, Самуил Давыдыч был счастлив. Он уже собирался кушать какой-то необыкновенный соус, украшенный чуть не страусовыми перьями и брюссельскими кружевами, как лакей подал ему на серебряном подносе письмо.

Едва взял Самуил Давыдыч в руки конверт, как заметался во все стороны, словно угорь на угольях.

— И сто зе это такое! и зацем мне эта вессь! — завопил он, трясясь всем телом.

Хотя никто из присутствующих ничего не понимал в этих криках, однако для всех стало ясно, что продолжение обеда невозможно.

Я не стану описывать здесь мучения, которые претерпел Самуил Давыдыч в этот памятный для него день; скажу только одно: этот человек, с виду тщедушный и слабый, геройски вытерпел самые лютые истязания, но даже пятиалтынного возратить не согласился.

— Это сто зе! это ницего! только ты крепце дерзи меня, Лия! — уговаривал он жену во время самых отчаянных пароксизмов, — и если я буду спрашивать скатулку — ни-ни! пусть луци умру!

Но так как нет на свете такого трудного положения, из которого был бы невозможен выход, то он найден был и в настоящем случае. Самуил Давыдыч вспомнил, что он давно обещал сделать какое-нибудь пожертвование в некоторое благотворительное учреждение, состоявшее в заведовании одного знакомого ему генерала, но дело это почему-то изо дня в день все оттягивалось. И вот теперь случай прямо указывал на средство привести в исполнение это давнее намерение.

Задумано — сделано. Самуил Давыдыч осторожно распечатал присланный по почте конверт, вынул из него щипчиками посылку, переложил ее в другой конверт, запрятал туда еще сотенную ассигнацию, запечатал и отправился к знакомому генералу.

— Зелаю, васе превосходительство, позертвование сделать! — сказал он, кладя на стол пакет перед обрадованным генералом.

— Что же-с! это похвально! — отвечал генерал, — я всегда это знал, что вы... как еврей... и по закону Давидову... Плясаше — играше... так, кажется?

Генерал запутался, ибо не знал наверное, точно ли Давид издавал законы, или кто другой.

— Тоцно так-с; только какие зе мы евреи, васе превосходительство! — заспешил Самуил Давыдыч, уже совсем облегченный, — только с виду мы евреи, а в дусе совсем-совсем русские!

— Благодарю! — сказал генерал, — об одном сожалею... как христианин... отчего бы вам, например?.. а?..

— Васе превосходительство... мы только с виду... поверьте цести, только с виду!

— Однако?

— Васе превосходительство!

— Ну, ну, ну! Христос с вами!

Самуил Давыдыч полетел домой словно на крыльях. В этот же вечер он уже совсем позабыл о претерпенных им страданиях и выдумал такую диковинную операцию ко всеобщему уязвлению, что на другой день все так и ахнули, как узнали.

И долго таким образом шаталась бедная, изгнанная совесть по белому свету, и перебивала она у многих тысяч людей. Но никто не хотел ее приютить, а всякий, напротив того, только о том думал, как бы отделаться от нее и хоть бы обманом, да сбить с рук.

Наконец наскучило ей и самой, что негде ей, бедной, голову приклонить и должна она свой век проживать в чужих людях, да без пристанища. Вот и взмолилась она последнему своему содержателю, какому-то мещанинишке, который в проходном ряду пылью торговал и никак не мог от той торговли разжиться.

— За что вы меня тираните! — жаловалась бедная совесть, — за что вы мной, словно отымалкой какой, помыкаете?

— Чтó же я с тобою буду делать, сударыня совесть, коли ты никому не нужна? — спросил, в свою очередь, мещанинишка.

— А вот что, — отвечала совесть, — отыщи ты мне маленькое русское дитя, раствори ты передо мной его сердце чистое и схорони меня в нем! авось он меня, неповинный младенец, приютит и выхолит, авось он меня в меру возраста своего произведет, да и в люди потом со мной выйдет — не погнушается.

По этому ее слову все так и сделалось. Отыскал мещанинишка маленькое русское дитя, растворил его сердце чистое и схоронил в нем совесть.

Растет маленькое дитя, а вместе с ним растет в нем и совесть. И будет маленькое дитя большим человеком, и будет в нем большая совесть. И исчезнут тогда все неправды, коварства и насилия, потому что совесть будет не робкая и захочет распоряжаться всем сама.

ДИКИЙ ПОМЕЩИК

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядячи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть» и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды Богу этот помещик:

— Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но Бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, — видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

— Одно только слово написано, — молвит глупый помещик, — а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет — сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету на господском лесу соберется — сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

— Больше я нынче этими штрафами на них действую! — говорит помещик соседям своим, — потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть; куда ни глянут — все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет — помещик кричит: моя вода! курица за околицу выбредет — помещик кричит: моя земля! И земля, и вода, и воздух — все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к Господу Богу:

— Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый Бог слезную молитву сиротскую, и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик — никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе поскон-

ные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский; сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто, и ставить театр и занавес поднимать некому.

— Куда же ты крестьян своих девал? — спрашивает Садовский у помещика.

— А вот Бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

— Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

— Да я уж и то сколько дней невымытый хожу!

— Стало быть, шампиньоны на лице растить собрался? — сказал Садовский и с этим словом и сам уехал и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гран-пасьянс да гран-пасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пультку-другую сыграть!»

Сказано — сделано; написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали — и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

— А оттого это, — хвастается помещик, — что Бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

— Ах, как это хорошо! — хвалят помещика генералы. — Стало быть, теперь у вас этого холопьяго запаху нисколько не будет?

— Нисколько, — отвечает помещик.

Сыграли пультку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

— Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? — спрашивает помещик.

— Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкафу и вынимает

оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

— Что ж это такое? — спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

— А вот, закусите чем бог послал!

— Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

— Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня Бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

— Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? — накинулись они на него.

— Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще куда есть...

— Однако, брат, глупый же ты помещик! — сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гран-пасьянс.

— Посмотрим, — говорит, — господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать. И, как назло, сколько раз ни разложит, все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

— Уж если, — говорит, — сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь покуда довольно гран-пасьянс раскладывать, пойду позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб всё паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовитый сад разведет: вот тут будут груши, сливы; вот тут — персики, тут — грецкий орех! Посмотрит в окошко — ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Моск-

ве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу посмотреться — ан там уж пыли на вершок насело...

— Сенька! — крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет: — Ну, пускай себе до поры до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, — и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещицней непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: быть твердым и не взирать! Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра...

— Ева, мой друг! — говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

— Сенька! — опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит... и поникнет головою.

— Чем бы, однако, заняться? — спрашивает он себя. — Хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая занесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкаф, вынул два печатных пряника и думает: ну, этот, кажется, останется доволен!

— Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные вдруг исчезли? — спрашивает исправник.

— А вот так и так, Бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил.

— Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

— Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

— Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

— Уж это... не знаю... я, с своей стороны, платить не согласен!

— А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий существовать не может?

— Я что ж... я готов! рюмку водки... я заплачу!

— Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на

базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

— Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать вот целых два пряника!

— Глупый же вы, господин помещик! — молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чувствует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто вследствие одной его непреклонности остановились и подати и регалии и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» — и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарама? или, быть может, Варнавиным?»

— Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! — говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то я, может быть, мужика бы моего милого увидал!» Походит помещик и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: а глупый ты, господин помещик! Видит он, бежит через комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гран-пасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышинный аппетит.

— Кшш... — бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и через мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери

дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

— Сенька! — вскрикнул помещик, но вдруг спохватился... и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

— Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин князь Урус-Кучум-Кильдибаев от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморгаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рывканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит это заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, — а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские отношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

— Хочешь, Михайло Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? — сказал он медведю.

— Хотеть — отчего не хотеть! — отвечал медведь. — Только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил.

— А почему так?

— А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительство-

вал помещикам, но ввиду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: а как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься? Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каком-то человеко-медведе и подзревает он того самого глупого помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

— И откуда вы, шельмы, берете!!

Что же сделалось, однако, с помещиком? — спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доньше. Раскладывает гран-пасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

ПРЕМУДРЫЙ ПИСКАРЬ

Жил-был пискарь. И отец, и мать у него были умные; помаленьку да полегоньку аридовы веки в реке прожили, и ни в уху, ни к щуке в хайло не попали. И сыну то же заказали: «Смотри, сынок, — говорил старый пискарь,

умирая, — коли хочешь жизнью жуировать, так гляди в оба!»

А у молодого пискаря ума палата была. Начал он этим умом раскидывать и видит: куда ни обернется — везде ему мат. Кругом, в воде, всё большие рыбы плавают, а он всех меньше; всякая рыба его заглотать может, а он никого заглотать не может. Да и не понимает: зачем глотать? Рак может его клешней пополам перерезать, водяная блоха — в хребет впиться и до смерти замучить. Даже свой брат пискарь — и тот, как увидит, что он комара изловил, целым стадом так и бросятся отнимать. Отнимут и начнут друг с дружкой драться, только комара задаром растреплют.

А человек? — что это за ехидное создание такое! каких каверз он ни выдумал, чтоб его, пискаря, напрасною смертью погублять! И неводá, и сети, и вёрши, и наротá, и, наконец... уду! Кажется, что может быть глупее уды? — Нитка, на нитке крючок, на крючке — червяк или муха надеты... Да и надеты-то как?.. в самом, можно сказать, неестественном положении! А между тем, именно на уду всего больше пискарь и ловится!

Отец-старик не раз его насчет уды предостерегал. «Пуще всего берегись уды! — говорил он. — Потому что хоть и глупейший это снаряд, да ведь с нами, пискарями, что глупее, то вернее. Бросят нам муху, словно нас же приглубить хотят, ты в нее вцепишься — ан в мухе-то смерть!»

Рассказывал также старик, как однажды он чуть-чуть в уху не угодил. Ловили их в ту пору целою артелью, во всю ширину реки невод растянули да так версты с две по дну волоком и волокли. Страсть сколько рыбы тогда попало! И щуки, и окуни, и головли, и плотва, и гольцы, — даже лещей-лежебоков из тины со дна поднимали! А пискарям так и счет потеряли. И каких страхов он, старый пискарь, натерпелся, покуда его по реке волокли, — это ни в сказке сказать, ни пером описать. Чувствует, что его везут, а куда — не знает. Видит, что у него с одного боку — щука, с другого — окунь; думает, вот-вот, сейчас, или та, или другой его съедят, а они — не трогают... «В ту пору не до еды, брат, было!» У всех одно на уме: смерть пришла! а как и почему она пришла — никто не понимает. Наконец, стали крылья у невода сводить, выволокли его на берег и начали рыбу из мотни в траву валить. Тут-то он и узнал, что такое уха. Трепещется на песке что-то красное; серые облака от него вверх бегут; а жарко таково, что он сразу разомлел. И без того без воды тошно, а тут еще поддают...

Слышит — «костер», говорят. А на «костре» на этом черное что-то положено, и в нем вода, точно в озере, во время бури, ходуном ходит. Это — «котел», говорят. А под конец стали говорить: вали в «котел» рыбу — будет «уха»! И начали туда нашего брата валить. Шваркнет рыбак рыбину — та сначала окунется, потом, как полоумная, выскочит, потом опять окунется — и присмирееет. «Ухи», значит, отведала. Валили-валили сначала без разбора, а потом один старичок глянул на него и говорит: какой от него, от малыша, прок для ухи! пушай в реке порастет! Взял его под жабры, да и пустил в вольную воду. А он, не будь глуп, во все лопатки — домой! Прибежал, а пискариха его из норы ни жива ни мертва выглядывает...

И что же! сколько ни толковал старик в ту пору, что такое уха и в чем она заключается, однако и поднесь в реке редко кто здоровые понятия об ухе имеет!

Но он, пискарь-сын, отлично запомнил поучения пискаря-отца, да и на ус себе намотал. «Надо глядеть в оба, — сказал он себе, — а не то как раз пропадешь!» — и стал жить да поживать. Первым делом, нору для себя такую придумал, чтоб ему забраться в нее было можно, а никому другому — не влезть! Долбил он носом эту нору целый год, и сколько страху в это время принимал, ночуя то в иле, то под водяным лопухом, то в осоке. Наконец, однако, выдолбил на славу. Чисто, аккуратно — именно только одному поместиться впору. Вторым делом, насчет житья своего решил так: ночью, когда люди, звери, птицы и рыбы спят, — он будет моцион делать, а днем — станет в норе сидеть и дрожать. Но так как пить-есть всё-таки нужно, а жалованья он не получает и прислуги не держит, то будет он выбегать из норы около полдён, когда вся рыба уж сыта, и, бог даст, может быть, козьявку-другую и промыслит. А ежели не промыслит, так и голодный в норе заляжет и будет опять дрожать. Ибо лучше не есть, не пить, нежели с сытым желудком жизни лишиться.

Так он и поступал. Ночью моцион делал, в лунном свете купался, а днем забирался в нору и дрожал. Только в полдни выбежит кой-чего похватать — да что в полдень промыслишь! В это время и комар под лист от жары прячется, и букашка под кору хоронится. Поглотает воды — и шабаш.

Лежит он день-деньской в норе, ночей не досыпает, куска не доедает, и всё-то думает: кажется, что я жив? ах, что-то завтра будет?

Задремлет, грешным делом, а во сне ему снится, что у

него выигрышный билет и он на него двести тысяч выиграл. Не помня себя от восторга, перевернется на другой бок — глядь, ан у него целых полрыла из норы высунулось... Чтó, если б в это время щуренок поблизости был! ведь он бы его из норы-то вытащил!

Однажды проснулся он и видит: прямо против его норы стоит рак. Стоит неподвижно, словно околдованный, вытиражив на него костяные глаза. Только усы по течению воды пошевеливаются. Вот когда он страху набрался! И целых полдня, покуда совсем не стемнело, этот рак его поджидал, а он тем временем всё дрожал, всё дрожал.

В другой раз, только что успел он перед зорькой в нору воротиться, только что сладко зевнул, в предвкушении сна, — глядит, откуда ни возьмись, у самой норы щука стоит и зубами хлопает. И тоже целый день его стерегла, словно видом его одним сыта была. А он и щуку надул: не вышел из норы, да и шабаш.

И не раз, и не два это с ним случалось, а почесть что каждый день. И каждый день он, дрожа, победы и одоления одерживал, каждый день восклицал: слава тебе господи! жив!

Но этого мало: он не женился и детей не имел, хотя у отца его была большая семья. Он рассуждал так: отцу шутя можно было прожить! В то время и щуки были добрее, и окуни на нас, мелюзгу, не зарились. А хотя однажды он и попал было в уху, так и тут нашелся старичок, который его вызволил! А нынче, как рыба-то в реках повывелась, и пискари в честь попали. Так уж тут не до семьи, а как бы только самому прожить!

И прожил премудрый пискарь таким родом с лишком сто лет. Всё дрожал, всё дрожал. Ни друзей у него, ни родных; ни он к кому, ни к нему кто. В карты не играет, вина не пьет, табаку не курит, за красными девушками не гоняется — только дрожит да одну думу думает: слава богу! кажется, жив!

Даже щуки, под конец, и те стали его хвалить: вот, кабы все так жили — то-то бы в реке тихо было! Да только они это нарочно говорили; думали, что он на похвалу-то отрекомендуется — вот, мол, я! — тут его и хлоп! Но он и на эту штуку не поддался, а еще раз своею мудростью козни врагов победил.

Сколько прошло годов после ста лет — неизвестно, только стал премудрый пискарь помирать. Лежит в норе и думает: слава богу, я своею смертью помираю, так же, как умерли мать и отец. И вспомнились ему тут щучьи слова:

вот, кабы все так жили, как этот премудрый пискарь живет... А ну-тка, в самом деле, что бы тогда было?

Стал он раскидывать умом, которого у него была палата, и вдруг ему словно кто шепнул: ведь этак, пожалуй, весь пискарий род давно перевелся бы!

Потому что, для продолжения пискарьего рода, прежде всего нужна семья, а у него ее нет. Но этого мало: для того чтоб пискаря семья укреплялась и процветала, чтоб члены ее были здоровы и бодры, нужно, чтоб они воспитывались в родной стихии, а не в норе, где он почти ослеп от вечных сумерек. Необходимо, чтоб пискари достаточное питание получали, чтоб не чуждались обществу, друг с другом хлеб-соль бы водили и друг от друга добродетелями и другими отличными качествами заимствовались. Ибо только такая жизнь может совершенствоваться пискарью породу и не дозволит ей измельчать и вырождаться в снетка.

Неправильно полагают те, кои думают, что лишь те пискари могут считаться достойными гражданами, кои, обезумев от страха, сидят в норах и дрожат. Нет, это не граждане, а по меньшей мере бесполезные пискари. Никому от них ни тепло, ни холодно, никому ни чести, ни бесчестия, ни славы, ни бесславия... живут, даром место занимают да корм едят.

Всё это представилось до того отчетливо и ясно, что вдруг ему страстная охота пришла: вылезу-ка я из норы да гоголем по всей реке проплыву! Но едва он подумал об этом, как опять испугался. И начал, дрожа, помирать. Жил — дрожал, и умирал — дрожал.

Вся жизнь мгновенно перед ним пронеслась. Какие были у него радости? кого он утешил? кому добрый совет подал? кому доброе слово сказал? кого приютил, обогрел, защитил? кто слышал об нем? кто об его существовании вспомнит?

И на все эти вопросы ему пришлось отвечать: никому, никто.

Он жил и дрожал — только и всего. Даже вот теперь: смерть у него на носу, а он всё дрожит, сам не знает, из-за чего. В норе у него темно, тесно, повернуться негде; ни солнечный луч туда не заглянет, ни теплом не пахнет. И он лежит в этой сырой мгле, незрячий, изможденный, никому не нужный, лежит и ждет: когда же, наконец, голодная смерть окончательно освободит его от бесполезного существования?

Слышно ему, как мимо его норы шмыгают другие ры-

бы, — может быть, как и он, пискари — и ни одна не заинтересуется им. Ни одной на мысль не придет: дай-ка, спрошу я у премудрого пискаря, каким он манером умудрился с лишком сто лет прожить, и ни щука его не заглотала, ни рак клешней не перешиб, ни рыболов на уду не поймал? Плывут себе мимо, а может быть, и не знают, что вот в этой норе премудрый пискарь свой жизненный процесс завершает!

И что всего обиднее: не слышать даже, чтоб кто-нибудь премудрым его называл. Просто говорят: слышали вы про остолопа, который не ест, не пьет, никого не видит, ни с кем хлеба-соли не водит, а всё только распостылюю свою жизнь бережет? А многие даже просто дураком и срамцом его называют и удивляются, как таких идолов вода терпит.

Раскидывал он таким образом своим умом и дремал. То есть не то что дремал, а забываться уж стал. Раздались в его ушах предсмертные шепоты, разлилась по всему телу истома. И привиделся ему тут прежний соблазнительный сон. Выиграл будто бы он двести тысяч, вырос на целых пол-аршина и сам щук глотает.

А куда ему это снилось, рыло его, помаленьку да полегоньку, целиком из норы и высунулось.

И вдруг он исчез. Что тут случилось — щука ли его заглотала, рак ли клешней перешиб, или сам своею смертью умер и всплыл на поверхность — свидетелей этому делу не было. Скорее всего — сам умер, потому что какая сласть щуке глотать хворого, умирающего пискаря, да к тому же еще и *премудрого*?

ОБМАНЩИК-ГАЗЕТЧИК И ЛЕГКОВЕРНЫЙ ЧИТАТЕЛЬ

Жил-был газетчик, и жил-был читатель. Газетчик был обманщик — все обманывал, а читатель был легковерный — всему верил. Так уж исстари повелось на свете: обманщики обманывают, а легковерные верят. *Suum cuique*¹.

Сидит газетчик в своей берлоге и знай себе обманывает да обманывает. «Берегитесь! — говорит, — дифтерит обывателей косит!» «Дождей, — говорит, — с самого начала весны нет — того гляди, без хлеба останемся!» «Пожа-

¹ Каждому свое (*лат.*).

ры деревни и города истребляют!» «Добро казенное и общественное врозь тащат!» А читатель читает и думает, что газетчик ему глаза открывает. «Такая, говорит, уж у нас свобода книгопечатания: куда ни взгляни — везде либо дифтерит, либо пожар, либо неурожай»...

Дальше — больше. Смекнул газетчик, что его обманы по сердцу читателю пришлись, — начал еще пуще поддавать. «Никакой, говорит, у нас обеспеченности нет! не выходи, говорит, читатель, на улицу: как раз в кутузку попадешь!» А легковёрный читатель идет гоголем по улице и приговаривает: «Ах, как верно газетчик про нашу необеспеченность выразился!» Мало того: другого легковёрного читателя встретит и того спросит: «А читали вы, как прекрасно сегодня насчет нашей необеспеченности газетчик продернул?» — «Как не читать! — ответит другой легковёрный читатель, — бесподобно! Нельзя, именно нельзя у нас по улицам ходить — сейчас в кутузку попадешь!»

И все свободой книгопечатания не нахвалятся. «Не знали мы, что у нас везде дифтерит, — хором поют легковёрные читатели, — ан оно вон что!» И так им от этой уверенности на душе легко стало, что скажи теперь этот самый газетчик, что дифтерит был, да весь вышел, пожалуй, и газетину его перестали бы читать.

А газетчик этому рад, потому что для него обман — прямая выгода. Истина-то не всякому достается — поди, добивайся! — пожалуй, за нее и десятью копейками со строчки не отбоярись! То ли дело обман! Знай пиши да обманывай. Пять копеек со строчки — целые вороха обманов со всех сторон тебе нанесут!

И такая у газетчика с читателем дружба завелась, что и водой их не разольешь. Что больше обманывает газетчик, то больше богатеет (а обманщику чего же другого и нужно!); а читатель, что больше его обманывают, то больше пятаков газетчику несет. И распивочно, и навынос — всяко газетчик копейку зашибает!

«Штанов не было! — говорят про него завистники, — а теперь, смотрите, как козыряет! Лъстеца себе нанял рассказчика из народного быта завел! Блаженствует!»

Пробовали было другие газетчики истиной его подкузьмить — авось, дескать, и на нашу приваду подписчик побежит, — так куда тебе! Не хочет ничего знать читатель, только одно и твердит:

Тьмы низких истин мне дороже
Нас возвышающий обман...

Долго ли, коротко ли так дело шло, но только нашлись добрые люди, которые пожалели легковверного читателя. Призвали обманщика-газетчика и говорят ему: «Будет с тебя, бесстыжий и неверный человек! До сих пор ты торговал обманом, а отныне — торгуй истиной!»

Да, кстати, и читатели начали понемножку отрезвляться, стали цидулки газетчику посылать. Гулял, дескать, я сегодня с дочерью по Невскому, думал на Съезжей ночевать (дочка даже бутербродами, на случай, запаслась, — говорила: «Ах, как будет весело!»), а вместо того благополучно оба воротились домой. Так как же, мол, такой утешительный факт с вашими передовицами об нашей не-обеспеченности согласовать?

Натурально, газетчик, с своей стороны, только того и ждал. Признаться сказать, ему и самому надоело обманывать. Сердце-то у него давно уж к истине склонялось, да что же поделаешь, коли читатель только на обман клюет! Плачешь, да обманываешь. Теперь же, когда к нему со всех сторон с ножом к горлу пристают, чтоб он истину говорил, — что ж, он готов! Истина, так истина, черт побери! Обманом два каменных дома нажил, а остальные два каменные дома приходится истиной наживать!

И начал он каждый день читателя истиной донимать! Нет дифтерита, да и шабаш! И кутузок нет, и пожаров нет; если же и выгорел Конотоп, так после пожара он еще лучше выстроился. А урожай, благодаря наступившим теплым дождям, оказался такой, что и сами ели-ели, да наконец и немцам стали под стол бросать: подавись!

Но что всего замечательнее — печатает газетчик только истину, а за строку всё пять копеек платит. И истина в цене упала с тех пор, как стали ею распивочно торговать. Выходит, что истина, что обман — все равно, цена грош. А газетные столбцы не только не сделались оттого скучнее, но еще больше оживились. Потому что ведь ежели благорастворение воздухов вплотную разделявать начать — это такая картина выйдет, что отдай всё, да и мало!

Наконец читатель окончательно отрезвился и прозрел. И прежде ему недурно жилось, когда он обман за истину принимал, а теперь уж и совсем от сердца отлегло. В булочную зайдет — там ему говорят: «Надо быть, со временем хлеб дешев будет!», в курятную лавку заглянет — там ему говорят: «Надо быть, со временем рябчики нипочем будут!»

— Ну, а покудова как?

— Покудова рубль двадцать копеечек за пару!

Вот какой, с божьею помощью, поворот!

И вот, однажды, вышел легковерный читатель франтом на улицу. Идет, «в надежде славы и добра», и тросточкой помахивает: знайте, мол, что отныне я вполне обеспечен!

Но на этот раз, как на грех, произошло следующее:

Не успел он несколько шагов сделать, как случилась юридическая ошибка, и его посадили в кутузку.

Там он целый день просидел не евши. Потому что хоть его и потчевали, но он посмотрел-посмотрел, да только молвил: «Вот они, урожаи-то наши, каковы!»

Там же он схватил дифтерит.

Разумеется, на другой день юридическая ошибка объяснилась, и его выпустили на поруки (не ровен случай, и опять понадобится). Он возвратился домой и умер.

А газетчик-обманщик и сейчас жив. Четвертый каменный дом под крышу подводит и с утра до вечера об одном думает: чем ему напередки легковерного читателя ловчее обманывать: обманом или истиною?

1884

КАРАСЬ-ИДЕАЛИСТ

Карась с ершом спорил. Карась говорил, что можно на свете одною правдою прожить, а ерш утверждал, что нельзя без того обойтись, чтоб не слукавить. Что именно разумел ерш под выражением «слукавить» — неизвестно, но только всякий раз, как он эти слова произносил, карась в негодовании восклицал:

— Но ведь это подлость!

На что ерш возражал:

— Вот уж увидишь!

Карась — рыба смиренная и к идеализму склонная: недаром его монахи любят. Лежит она больше на самом дне речной заводи (где потише) или пруда, зарывшись в ил, и выбирает оттуда микроскопических ракушек для своего продовольствия. Ну, натурально, полежит-полежит, да что-нибудь и выдумает. Иногда даже и очень вольное. Но так как караси ни в цензуру своих мыслей не представляют, ни в участке не прописывают, то в политической неблагонадежности их никто не подозревает. Если же иногда и видим, что от времени до времени на карасей устраивается

облава, то отнюдь не за вольнодумство, а за то, что они вкусны.

Ловят карасей, по преимуществу, сетью или неводом; но чтобы ловля была удачна, необходимо иметь снаровку. Опытные рыбаки выбирают для этого время сейчас вслед за дождем, когда вода бывает мутна, и затем, заводя невод, начинают хлопать по воде канатом, палками и вообще производить шум. Заслышав шум и думая, что он возвещает торжество вольных идей, карась снимается со дна и начинает справляться, нельзя ли и ему как-нибудь пристроиться к торжеству. Тут-то он и попадает во множестве в мотню, чтобы потом сделаться жертвою человеческого чревоугодия. Ибо, повторяю, караси представляют такое лакомое блюдо (особливо изжаренные в сметане), что предводители дворянства охотно потчуют ими даже губернаторов.

Что касается до ершей, то это рыба уже тронутая скептицизмом и притом колючая. Будучи сварена в ухе, она дает бесподобный бульон.

Каким образом случилось, что карась с ершом сошлись, — не знаю; знаю только, что однажды, сошедшись, сейчас же заспорили. Поспорили раз, поспорили другой, а потом и во вкус вошли, свидания друг другу стали назначать. Сплывутся где-нибудь под водяным лопухом и начнут умные речи разговаривать. А плотва-белобрюшка резвится около них и ума-разума набирается.

Первым всегда задирает карась.

— Не верю, — говорил он, — чтобы борьба и свара были нормальным законом, под влиянием которого будто бы суждено развиваться всему живущему на земле. Верю в бескровное преуспеяние, верю в гармонию и глубоко убежден, что счастье — не праздная фантазия мечтательных умов, но рано или поздно делается общим достоянием!

— Дождидайся! — иронизировал ерш.

Ерш спорил отрывисто и беспокойно. Это рыба нервная, которая, по-видимому, помнит немало обид. Накипело у ней на сердце... ах, накипело! До ненависти покуда еще не дошло, но веры и наивности уж и в помине нет. Вместо мирного жития, она повсюду распрю видит; вместо прогресса — всеобщую одичалость. И утверждает, что тот, кто имеет претензию жить, должен все это в расчет принимать. Карася же считает «блажененьким», хотя в то же время сознает, что с ним только и можно «душу отводить».

— И дождусь! — отзывался карась. — И не я один, все дождутся. Тьма, в которой мы плаваем, есть порождение горькой исторической случайности; но так как ныне, благодаря новейшим исследованиям, можно эту случайность по косточкам разобрать, то и причины, ее породившие, нельзя уже считать неустранимыми. Тьма — совершившийся факт, а свет — чаемое будущее. И будет свет, будет!

— Значит, и такое, по-твоему, время придет, когда и щук не будет?

— Каких таких щук? — удивился карась, который был до того наивен, что когда при нем говорили: на то щука в море, чтоб карась не дремал, то он думал, что это что-нибудь вроде тех никс и русалок, которыми малых детей пугают, и, разумеется, ни крошечки не боялся.

— Ах, фофан ты, фофан! Мировые задачи разрешать хочешь, а о щуках понятия не имеешь!

Ерш презрительно пошевеливал плавательными перьями и уплывал восвосяи; но, спустя малое время, собеседники опять где-нибудь в укромном месте сплывались (в воде-то скучно) и опять начинали диспутировать.

— В жизни первенствующую роль добро играет, — разглагольствовал карась, — зло — это так, по недоразумению допущено, а главная жизненная сила все-таки в добре замыкается.

— Держи карман!

— Ах, ерш, какие ты несообразные выражения употребляешь! «Держи карман!» разве это ответ?

— Да тебе, по-настоящему, и совсем отвечать не следует. Глупый ты — вот тебе и сказ весь!

— Нет, ты послушай, что я тебе скажу. Что зло никогда не было зиждущей силой — об этом и история свидетельствует. Зло душило, давило, опустошало, предавало мечу и огню, а зиждущей силой являлось только добро. Оно устремлялось на помощь угнетенным, оно освобождало от цепей и оков, оно пробуждало в сердцах плодотворные чувства, оно давало ход парениям ума. Не будь этого воистину зиждущего фактора жизни, не было бы и истории. Потому что ведь, в сущности, что такое история? История — это повесть освобождения, это рассказ о торжестве добра и разума над злом и безумием.

— А ты, видно, доподлинно знаешь, что зло и безумие посрамлены? — подтрунивал ерш.

— Не посрамлены еще, но будут посрамлены — это я тебе верно говорю. И опять-таки сошлюсь на историю.

Сравни, что некогда было, с тем, что есть, — и ты без труда согласишься, что не только внешние приемы зла смягчились, но и самая сумма его приметно уменьшилась. Возьми хоть бы нашу рыбную породу. Прежде нас во всякое время ловили, и преимущественно во время «хода», когда мы, как одурелые, сами прямо в сеть лезем, а нынче именно во время «хода»-то и признается вредным нас ловить. Прежде нас, можно сказать, самыми варварскими способами истребляли — в Урале, сказывают, во время багрения вода на многие версты от рыбьей крови красная стояла, а нынче — шабаш. Неводы, да верши, да уды — больше чтобы ни-ни! Да и об этом еще в комитетах рассуждают: какие неводы? по какому случаю? на какой предмет?

— А тебе, видно, не все равно, каким способом в уху попасть?

— В какую такую уху? — удивлялся карась.

— Ах, прах тебя побери! Карасем зовется, а об ухе не слыхал! Какое же ты после этого право со мной разговаривать имеешь? Ведь чтобы споры вести и мнения отстаивать, надо, по малой мере, с обстоятельствами дела наперед познакомиться. О чем же ты разговариваешь, коли даже такой простой истины не знаешь: что каждому карасю впереди уготована уха? Брысь... заколю!

Ерш ошетинивался, а карась быстро, насколько позволяла его неуклюжесть, опускался на дно. Но через сутки друзья-противники опять сплывались и новый разговор затевали.

— Намеднись в нашу заводу щука заглядывала, — объявлял ерш.

— Та самая, о которой ты намеднись упоминал?

— Она. Приплыла, заглянула, молвила: чтой-то будто уж слишком здесь тихо! должно быть, тут карасям вод?.. И с этим уплыла.

— Что же мне теперича делать?

— Изготавливаться — только и всего. Ужо, как приплывет она да уставится в тебя глазищами, ты чешую-то да перья подбери поплотнее, да прямо и полезай ей в хайло!

— Зачем же я полезу? Кабы я был в чем-нибудь виноват...

— Глуп ты — вот в чем твоя вина. Да и жирен вдобавок. А глупому да жирному и закон повелевает щуке в хайло лезть!

— Не может такого закона быть! — искренне возмущался карась. — И щука зря не имеет права глотать, а

должна прежде объяснения потребовать. Вот я с ней объяснюсь, всю правду выложу. Правдой-то я ее до седьмого пота прошибу.

— Говорил я тебе, что ты фофан, и теперь то же самое повторяю: фофан! фофан! фофан!

Ерш окончательно сердился и давал себе слово на будущее время воздерживаться от всякого общения с карасем. Но через несколько дней, смотришь, привычка опять взяла свое.

— Вот кабы все рыбы между собой согласились... — загадочно начинал карась.

Но тут уж и самого ерша брала оторопь. «О чем это фофан речь заводит? — думалось ему. — Того гляди, провретя, а тут головель неподалеку похаживает. Ишь, и глаза в сторону, словно не его дело, скосил, а сам, знай, прислушивается».

— А ты не всякое слово выговаривай, какое тебе на ум взбредет! — убеждал он карася. — Не для чего пасты-то разевать; можно и шепотком, что нужно, сказать.

— Не хочу я шептаться, — продолжал карась невозмутимо, — а говорю прямо, что ежели бы все рыбы между собой согласились, тогда...

Но тут ерш грубо прерывал своего друга.

— С тобой, видно, гороху наевшись, говорить надо! — кричал он на карася и, наостривши лыжи, уплывал от него восвояси.

И досадно ему, да и жалко карася было. Хоть и глуп он, а все-таки с ним одним по душе поговорить можно. Не разболтает он, не продаст — в ком нынче качества-то эти сыщешь? Слабое нынче время, такое время, что на отца с матерью надеяться нельзя. Вот плотва, хоть и нельзя об ней прямо что-нибудь худое сказать, а все-таки, того гляди, не понимаючи, сболтнет! А об головлях, язях, линиях и прочей челяди и говорить нечего! За червяка присягу под колоколами принять готовы! Бедный карась! ни за грош он между ними пропадет!

— Посмотри ты на себя, — говорил он карасю, — ну, какую ты, не ровён час, оборону из себя представить можешь? Брюхо у тебя большое, голова малая, на выдумки негораздая, рот — чутошный. Даже чешуя на тебе и та не серьезная. Ни проворства в тебе, ни юркости — как есть увалень! Всякий, кто хочет, подойди к тебе и ешь!

— Да за что же меня есть, коли я не провинился? — по-прежнему упорствовал карась.

— Слушай, дурья порода! Едят-то разве «за что»?

Разве потому едят, что казнить хотят? Едят потому, что есть хочется, — только и всего. И ты, чай, ешь. Не попусту носом-то в иле роешься, а ракушек вылавливаешь. Им, ракушкам, жить хочется, а ты, простофиля, ими мамон с утра до вечера набиваешь. Сказывай: какую такую они вину перед тобой сделали, что ты их ежеминутно казнишь? Помнишь, как ты намеднись говорил: вот кабы все рыбы между собой согласились... А что, если бы ракушки между собой согласились, — сладко ли бы тебе, простофиле, тогда было?

Вопрос был так прямо и так неприятно поставлен, что карась сконфузился и слегка покраснел.

— Но ракушки — ведь это... — пробормотал он смущенно.

— Ракушки — ракушки, а караси — караси. Ракушками караси лакомятся, а карасями — щуки. И ракушки ни в чем не повинны, и караси не виноваты, а и те и другие должны ответ держать. Хоть сто лет об этом думай, а ничего другого не выдумаешь.

Спрятался после этих ершовых слов карась в самую глубь тины и стал на досуге думать. Думал, думал и, между прочим, ракушек ел да ел. И что больше ест, то больше хочется. Наконец, однако ж, додумался.

— Я не потому ем ракушек, чтоб они виноваты были — это ты правду сказал, — объяснил он ершу, — а потому я их ем, что они, эти ракушки, самой природой мне для еды предоставлены.

— Кто же тебе это сказал?

— Никто не сказал, а я сам, собственным наблюдением, дошел. У ракушки не душа, а пар; ее ешь, а она и не понимает. Да и устроена она так, что никак невозможно, чтоб ее не проглотить. Потяни рылом воду, ан в зобу у тебя уж видимо-невидимо ракушек кишит. Я и не ловлю их — сами в рот лезут. Ну, а карась — совсем другое. Караси, брат, от десяти вершков бывают, — так с таким стариком еще поговорить надо, прежде нежели его съесть. Надо, чтобы он серьезную пакость сделал, — ну, тогда, конечно...

— Вот как щука проглотит тебя, тогда ты и узнаешь, что надо для этого сделать. А до тех пор лучше помалчивал бы.

— Нет, я не стану молчать. Хоть я отроду щук не видывал, но только могу судить по рассказам, что и они к голосу правды не глухи. Помилуй-скажи: может ли такое злодейство статься! Лежит карась, никого не трогает, и

вдруг, ни дай, ни вынеси за что, к щуке в брюхо попадает! Ни в жизнь я этому не поверю.

— Чудак! да ведь намеднись, на глазах у тебя, монах целых два невода вашего брата из заводи вытащил... Как ты думаешь: любоваться, что ли, он на карасей-то будет?

— Не знаю. Только это еще бабушка надвое сказала, что с теми карасями сталось: йно их съели, йно в сажалку посадили. И живут они там припеваючи на монастырских хлебах!

— Ну, живи, коли так, и ты, сорвиголова!

Проходили дни за днями, а диспутам карася с ершом и конца было не видать. Место, в котором они жили, было тихое, даже слегка зеленою плесенью подернутое, самое для диспутов благоприятное. О чем ни калякай, какими мечтами ни задавайся — безнаказанность полная. Это до такой степени ободрило карася, что он с каждым сеансом все больше и больше тон своих экскурсий в область эмпиреев повышал.

— Надобно, чтобы рыбы любили друг друга, — ораторствовал он, — чтобы каждая за всех, а все за каждую — вот когда настоящая гармония осуществится!

— Желал бы я знать, как ты с своею любовью к щуке подъедешь! — расхолаживал его ерш.

— Я, брат, подъеду! — стоял на своем карась. — Я такие слова знаю, что любая щука в одну минуту от них в карася превратится!

— А ну-тка, скажи!

— Да просто спрошу: знаешь ли, мол, щука, что такое добродетель и какие обязанности она в отношении к ближним налагает?

— Огорошил, нечего сказать! А хочешь, я тебе за этот самый вопрос иглой живот прокалю?

— Ах, нет! сделай милость, ты этим не шути!

Или:

— Только тогда мы, рыбы, свои права сознаём, когда нас с малых лет в гражданских чувствах воспитывать будут!

— А на кой тебе ляд гражданские чувства понадобятся?

— Все-таки...

— То-то «все-таки». Гражданские-то чувства только тогда ко двору, когда перед ними простор открыт. А что же ты с ними, в тине лежа, делать будешь?

— Не в тине, а вообще...

— Например?

— Например, монах меня в ухе захочет сварить, а я ему скажу: не имеешь, отче, права без суда такому ужасному наказанию меня подвергать!

— А он тебя, за грубость, на сковороду либо в золу в горячую... Нет, друг, в тине жить, так не гражданские, а остолопы чувства надо иметь, — вот это верно. Схоронился, где погуше, и молчи, остолоп!

Или еще:

— Рыбы не должны рыбами питаться, — бредил наяву карась. — Для рыбьего продовольствия и без того природа многое множество вкусных блюд уготовала. Ракушки, мухи, черви, пауки, водяные блохи; наконец, раки, змеи, лягушки. И все это добро, все на потребу.

— А для щук на потребу караси, — отрезвлял его ерш.

— Нет, карась сам себе довлеет. Ежели природа ему не дала оборонительных средств, как тебе, например, то это значит, что надо особый закон, в видах обеспечения его личности, издать!

— А ежели тот закон исполняться не будет?

— Тогда надо внушение опубликовать: лучше, дескать, совсем законов не издавать, ежели оные не исполнять.

— И ладно будет?

— Полагаю, что многие устыдятся.

Повторяю: дни проходили за днями, а карась все бредил. Другому за это хоть щелчок бы в нос дали, а ему — ничего. А растабарывал бы он таким родом аридовы веки, если бы хоть крошечку поостерегся. Но он так уж о себе возмечтал, что совсем из расчета вышел. Припускал да припускал, как вдруг к нему головель с повесткой: завтра, дескать, щука изволит в заводь прибыть, так ты, карась, смотри! чуть свет ответ держать явись!

Карась, однако ж, не оробел. Во-первых, он столько разнообразных отзывов о щуке слышал, что и сам познакомиться с ней любопытствовал; а во-вторых, он знал, что у него такое магическое слово есть, которое, ежели его сказать, сейчас самую лютую щуку в карася превратит. И очень на это слово надеялся.

Даже ерш, видя такую его веру, задумался, не слишком ли он уж далеко зашел в отрицательном направлении. Может быть, и в самом деле щука только того и ждет, чтобы ее полюбили, благой совет ей дали, ум и сердце ее просветили? Может быть, она... добрая? Да и карась, пожалуй, совсем не такой простофиля, каким по наружности

кажется, а, напротив того, с расчетцем свою карьеру облаживает? Вот завтра явится он к щуке да прямо и ляпнет ей самую сущую правду, какой она отроду ни от кого не слыхивала. А щука возьмет да и скажет: за то, что ты мне, карась, самую сущую правду сказал, жалую тебя этой заводью; будь ты над нею начальник!

Приплыла наутро щука, как пить дала. Смотрит на нее карась и дивится: каких ему про щуку сплётоток ни наплели, а она — рыба как рыба! Только рот до ушей да хайлб такое, что как раз ему, карасю, пролезть.

— Слышала я, — молвила щука, — что очень ты, карась, умен и разглагольствовать мастер. Хочу я с тобой диспут иметь. Начинай.

— Об счастьяи я больше думаю, — скромно, но с достоинством ответил карась. — Чтобы не я один, а все были бы счастливы. Чтобы всем рыбам во всякой воде свободно плавать было, а ежели которая в тину спрятаться захочет, то и в тине пускай полежит.

— Гм... и ты думаешь, что такому делу статья возможно?

— Не только думаю, но и всечасно сего ожидаю.

— Например: плыву я, а рядом со мною... карась?

— Так что же такое?

— В первый раз слышу. А ежели я обернусь да карася-то... съем?

— Такого закона, ваше высокостепенство, нет; закон говорит прямо: ракушки, комары, мухи и мошки да послужат для рыб пропитанием. А кроме того, позднейшими разными указами к пище сопричислены: водяные блохи, пауки, черви, жуки, лягушки, раки и прочие водяные обыватели. Но не рыбы.

— Маловато для меня. Головель! неужто такой закон есть? — обратилась щука к головлю.

— В забвении, ваше высокостепенство! — ловко вывернулся головель.

— Я так и знала, что не можно такому закону быть. Ну, а еще ты чего всечасно, карась, ожидаешь?

— А еще ожидаю, что справедливость восторжествует. Сильные не будут теснить слабых, богатые — бедных. Что объявится такое общее дело, в котором все рыбы свой интерес будут иметь и каждая свою долю делать будет. Ты, щука, всех сильнее и ловче — ты и дело на себя по сильнее возьмешь; а мне, карасю, по моим скромным способностям, и дело скромное укажут. Всякий для всех, и все для всякого — вот как будет. Когда мы друг за друж-

ку стоять будем, тогда и подкузьмить нас никто не сможет. Невод-то еще где покажется, а уж мы драло! Кто под камень, кто на самое дно в ил, кто в нору или под корягу. Уху-то, пожалуй что, видно, бросить придется.

— Не знаю. Не очень-то любят люди бросать то, что им вкусным кажется. Ну, да это еще когда-то будет. А вот что: так, значит, по-твоему, и я работать буду должна?

— Как прочие, так и ты.

— В первый раз слышу. Поди просппись!

Проспался ли, нет ли карась, но ума у него, во всяком случае, не прибавилось. В полдень опять он явился на диспут, и не только без всякой робости, но даже против прежнего веселее.

— Так ты полагаешь, что я работать стану и ты от моих трудов лакомиться будешь? — прямо поставила вопрос щука.

— Все друг от дружки... от общих, взаимных трудов...

— Понимаю: «друг от дружки»... а между прочим, и от меня... гм! Думается, однако ж, что ты это зазорные речи говоришь. Головель! как, по-нынешнему, такие речи называются?

— Сицилизмом, ваше высокостепенство!

— Так я и знала. Давненько я уж слышу: бунтовские, мол, речи карась говорит! Только думаю: дай лучше сама послушаю... Ан вон ты каков!

Молвивши это, щука так выразительно щелкнула по воде хвостом, что как ни прост был карась, но и он догадался.

— Я, ваше высокостепенство, ничего, — пробормотал он в смущении, — это я по простоте...

— Ладно. Простота хуже воровства, говорят. Ежели дуракам волю дать, так они умных со свету сживут. Наговорили мне о тебе с три короба, а ты — карась как карась, — только и всего. И пяти минут я с тобой не разговариваю, а уж до смерти ты мне надоел.

Щука задумалась и как-то так загадочно на карася посмотрела, что он уж и совсем понял. Но, должно быть, она еще после вчерашнего обжорства сыта была, и потому зевнула и сейчас же захрапела.

Но на этот раз карасю уж не так благополучно обошлось. Как только щука умолкла, его со всех сторон обступили головли и взяли под караул.

Вечером, еще не успело солнышко сесть, как карась в третий раз явился к щуке на диспут. Но явился уже под стражей и притом с некоторыми повреждениями. А имен-

но: окунь, допрашивая, покусал ему спину и часть хвоста.

Но он все еще бодрился, потому что в запасе у него было магическое слово.

— Хоть ты мне и супротивник, — начала опять первая щука, — да, видно, горе мое такое: смерть диспуты люблю! Будь здоров, начинай!

При этих словах карась вдруг почувствовал, что сердце в нем загорелось. В одно мгновение он подобрал живот, затрепыхался, защелкал по воде остатками хвоста и, глядя щуке прямо в глаза, во всю мочь гаркнул:

— Знаешь ли ты, что такое добродетель?

Щука разинула рот от удивления. Машинально потянула она воду и, вовсе не желая проглотить карася, проглотила его.

Рыбы, бывшие свидетельницами этого происшествия, на мгновенье остолбенели, но сейчас же опомнились и поспешили к щуке узнать, благополучно ли она поужинать изволила, не подавилась ли. А ерш, который уж заранее все предвидел и предсказал, выплыл вперед и торжественно провозгласил:

— Вот они, диспуты-то наши, каковы!

1884

ЛИБЕРАЛ

В некоторой стране жил-был либерал, и притом такой откровенный, что никто слова не молвит, а он уж во все горло гаркает: «Ах, господа, господа! что вы делаете! ведь вы сами себя губите!» И никто на него за это не сердился, а, напротив, все говорили: «Пускай предупреждает — нам же лучше!»

— Три фактора, — говорил он, — должны лежать в основании всякой общественности: свобода, обеспеченность и самостоятельность. Ежели общество лишено свободы, то это значит, что оно живет без идеалов, без горения мысли, не имея ни основы для творчества, ни веры в предстоящие ему судьбы. Ежели общество сознает себя необеспеченным, то это налагает на него печать подавленности и делает равнодушным к собственной участи. Ежели общество лишено самостоятельности, то оно становится неспособным к устройству своих дел и даже мало-помалу утрачивает представление об отечестве.

Вот как мыслил либерал, и, надо правду сказать, мыслил правильно. Он видел, что кругом него люди, словно отравленные мухи, бродят, и говорил себе: «Это оттого,

что они не сознают себя строителями своих судеб. Это колодники, к которым и счастье, и злосчастье приходит без всякого с их стороны предвидения, которые не отдаются беззаветно своим ощущениям, потому что не могут определить, действительно ли это ощущения, или какая-нибудь фантазмагория». Одним словом, либерал был твердо убежден, что лишь упомянутые три фактора могут дать обществу прочные устои и привести за собою все остальные блага, необходимые для развития общественности.

Но этого мало: либерал не только благородно мыслил, но и рвался благое дело делать. Заветнейшее его желание состояло в том, чтобы луч света, согревавший его мысль, прорезал окрестную тьму, осенил ее и все живущее напоил благоволением. Всех людей он признавал братьями, всех одинаково призывал насладиться под сению излюбленных им идеалов.

Хотя это стремление перевести идеалы из области эмпиреев на практическую почву припахивало не совсем благонадежно, но либерал так искренно пламенел, и притом был так мил и ко всем ласков, что ему даже неблагонадежность охотно прощали. Умел он и истину с улыбкой высказать, и простачком, где нужно, прикинуться, и бескорыстием щегольнуть. А главное, никогда и ничего он не требовал наступя на горло, а всегда только *по возможности*.

Конечно, выражение «по возможности» не представляло для его ретивости ничего особенно лестного, но либерал примирялся с ним, во-первых, ради общей пользы, которая у него всегда на первом плане стояла, и, во-вторых, ради ограждения своих идеалов от напрасной и преждевременной гибели. Сверх того, он знал, что идеалы, его одушевляющие, имеют слишком отвлеченный характер, чтобы воздействовать на жизнь непосредственным образом. Что такое свобода? обеспеченность? самодеятельность? Все это отвлеченные термины, которые следует наполнить несомненно осязательным содержанием, чтобы в результате вышло общественное цветение. Термины эти, в своей общности, могут воспитывать общество, могут повышать уровень его верований и надежд, но блага осязаемого, разливающего непосредственное ощущение довольства, принести не могут. Чтобы достичь этого блага, чтобы сделать идеал общедоступным, необходимо разменять его на мелочи и уже в этом виде применять к исцелению недугов, удручающих человечество. Вот тут-то, при размене на мелочи, и вырабатывается само собой это выражение:

«по возможности», которое, из двух приходящих в соприкосновение сторон, одну заставляет *в известной степени* отказаться от замкнутости, а другую — *в значительной степени* сократить свои требования.

Все это отлично понял наш либерал и, заручившись этими соображениями, препоясался на брань с действительностью. И прежде всего, разумеется, обратился к сведущим людям.

— Свобода — ведь, кажется, тут ничего предосудительного нет? — спросил он их.

— Не только не предосудительно, но и весьма похвально, — ответили сведущие люди, — ведь это только клеветают на нас, будто бы мы не желаем свободы; в действительности мы только об ней и печалимся... Но, разумеется, в пределах...

— Гм... «в пределах»... понимаю! А что вы скажете насчет обеспеченности?

— И это милости просим... Но, разумеется, тоже в пределах.

— А как вы находите мой идеал общественной самодеятельности?

— Его только и недоставало. Но, разумеется, опять-таки в пределах.

Что ж! в пределах, так в пределах! Сам либерал хорошо понимал, что иначе нельзя. Пусти-ка савраса без узды — он в один момент того накуролесит, что годами потом не поправишь! А с уздою — святое дело! Идет саврас и оглядывается: а ну-тко я тебя, саврас, кнутом шарашну... вот так!

И начал либерал «в пределах» орудовать: там урвет, тут урежет; а в третьем месте и совсем спрячется. А сведущие люди глядят на него и не нарадуются. Одно время даже так работой его увлеклись, что можно было подумать, что и они либералами сделались.

— Действуй! — поощряли они его, — тут обойди, здесь ступай, а там и вовсе не касайся. И будет все хорошо. Мы бы, любезный друг, и с радостью готовы тебя, козла, в огород пустить, да сам видишь, каким тыном у нас огород обнесен!

— Вижу-то, вижу, — соглашался либерал, — но только как мне стыдно свои идеалы ломать! так стыдно! ах, как стыдно!

— Ну, и постыдись маленько: стыд глаза не выест! зато, *по возможности*, все-таки затею свою выполнишь!

Однако, по мере того, как либеральная затея *по воз-*

можности осуществлялась, сведущие люди догадывались, что даже и в этом виде идеалы либерала не розами пахнут. С одной стороны, чересчур широко задумано; с другой стороны — недостаточно созрело, к восприятию не готово.

— Невмоготу нам твои идеалы! — говорили либералу сведущие люди, — не готовы мы, не выдержим!

И так подробно и отчетливо все свои несостоятельности и подлости высчитывали, что либерал, как ни горько ему было, должен был согласиться, что действительно, в предприятии его существует какой-то фаталистический орех: не лезет в штаны, да и баста.

— Ах, как это печально! — роптал он на судьбу.

— Чудак! — утешали его сведущие люди, — есть отчего плакать! Тебе что нужно? — будущее за твоими идеалами обеспечить? — так ведь мы тебе в этом не препятствуем. Только не торопись ты, ради Христа! Ежели нельзя «по возможности», так удовольствуйся тем, что отвоюешь «хоть что-нибудь»! Ведь и «хоть что-нибудь» свою цену имеет. Помаленьку да полегоньку, не торопясь да Богу помолясь — смотришь, ан одной ногой ты уж и в капище! В капище-то, с самой постройки его, никто не заглядывал; а ты взял да и заглянул... И за то Бога благодари.

Делать нечего, пришлось и на этом помириться. Ежели нельзя «по возможности», так «хоть что-нибудь» старайся урвать, и на том спасибо скажи. Так либерал и поступил, и вскоре так свыкся с своим новым положением, что сам дивился, как он был так глуп, полагая, что возможны какие-нибудь иные пределы. И уподобления всякие на подмогу к нему явились. И пшеничное, мол, зерно не сразу плод дает, а также поцеремонится. Сперва надо его в землю посадить, потом ожидать, покуда в нем произойдет процесс разложения, потом оно даст росток, который прозябнет, в трубку пойдет, восколосится и т. д. Вот через сколько волшебств должно перейти зерно прежде, нежели даст плод сторицею! Так же и тут, в погоне за идеалами. Посадил в землю «хоть что-нибудь» — сиди и жди.

И точно: посадил либерал в землю «хоть что-нибудь» — сидит и ждет. Только ждет-пождет, а не прозябает «хоть что-нибудь» и вся недолга. На камень оно, что ли, попало или в навозе сопрело — поди, разбирай!

— Что за причина такая? — бормотал либерал в великом смущении.

— Та самая причина и есть, что загребаешь ты черес-

чур широко, — отвечали сведущие люди. — А народ у нас между тем слабый, расподлеющий. Ты к нему с добром, а он норовит тебя же в ложку утопить. Большую надо сноровку иметь, чтобы с этим народом в чистоте себя сохранить!

— Помилуйте! что уж теперь о чистоте говорить! С каким я запасом-то в путь вышел, а кончил тем, что весь его по дороге растерял. Сперва «по возможности» действовал, потом на «хоть что-нибудь» съехал — неужто можно и еще дальше под гору идти?

— Разумеется, можно. Не хочешь ли, например, «применительно к подлости»?

— Как так?

— Очень просто. Ты говоришь, что принес нам идеалы, а мы говорим: «Прекрасно; только ежели ты хочешь, чтобы мы почувствовали, то действуй применительно».

— Ну?

— Значит, идеалами-то не превозносись, а по нашему масштабу их сократи, да применительно и действуй. А потом, может быть, и мы, коли пользу увидим... Мы, брат, тоже травленные волки, прожектеров-то видели! Намедни генерал Крокодилов вот этак же к нам отъявился: «Господа, говорит, мой идеал — кутузка! пожалуйте!» Мы сдуру-то поверили, а теперь и сидим у него под ключом.

Крепко задумался либерал, услышав эти слова. И без того от первоначальных его идеалов только одни ярлыки остались, а тут еще подлость прямую для них прописывают! Ведь этак, пожалуй, не успеешь оглянуться, как и сам в подлецах очутишься. Господи! вразуми!

А сведущие люди, видя его задумчивость, с своей стороны, стали его понуждать. «Коли ты, либерал, заварил кашу, так уж не мудри, вари до конца! Ты нас взбудоражил, ты же нас и ублаготвори... действуй!»

И стал он действовать. И все применительно к подлости. Попробует иногда, грешным делом, в сторону улизнуть; а сведущий человек сейчас его за рукав: «Куда, либерал, глаза скосил? гляди прямо!»

Таким образом шли дни за днями, а за ними шло вперед и дело преуспевания «применительно к подлости». Идеалов и в помине уж не было — одна мразь осталась, — а либерал все-таки не унывал. «Что ж такое, что я свои идеалы по уши в подлости завязил? Зато я сам, яко столп, невредим стою! Сегодня я в грязи валяюсь, а завтра выглянет солнышко, обсушит грязь — я и опять молодец-

молодцом!» А сведущие люди слушали эти его похвальбы и поддакивали: «Именно так!»

И вот, шел он однажды по улице с своим приятелем, по обыкновению, об идеалах калякал и свою мудрость на чем свет превозносил. Как вдруг он почувствовал, словно бы на щеку ему несколько брызгов пало. Откуда? с чего? Взглянул либерал наверх: не дождик ли, мол? Однако видит, что в небе ни облака, и солнышко, как угорелое, на зените играет. Ветерок хоть и подувает, но так как помои из окон выливать не указано, то и на эту операцию подозрение положить нельзя.

— Что за чудо! — говорит приятелю либерал, — дождя нет, помоев нет, а у меня на щеку брызги летят!

— А видишь, вон за углом некоторый человек притаился, — ответил приятель, — это его дело! Плкнуть ему на тебя за твои либеральные дела захотелось, а в глаза сделать это смелости не хватает. Вот он, «применительно к подлости», из-за угла и плюнул; а на тебя ветром брызги нанесло.

1885

КОНЯГА

Коняга лежит при дороге и тяжело дремлет. Мужичок только что выпряг его и пустил покормиться. Но Коняга не до корма. Полоса выбралась трудная, с камешком: в великую силу они с мужичком ее одолели.

Коняга — обыкновенный мужичий живот, замученный, побитый, узкогрудый, с выпяченными ребрами и обожженными плечами, с разбитыми ногами. Голову Коняга держит понуро; грива на шее у него свалялась; из глаз и ноздрей сочится слизь; верхняя губа отвисла, как блин. Немного на такой животине наработаешь, а работать надо. День-деньской Коняга из хомута не выходит. Летом с утра до вечера землю работает; зимой, вплоть до ростепели, «произведения» возит.

А силы Коняге набрать неоткуда: такой ему корм, что от него только зубы нахлопаешь. Летом, покуда в ночную гоняют, хоть травкой мягонькой поживится, а зимой перевозит на базар «произведения» и ест дома резку из прелой соломы. Весной, как в поле скотину выгонять, его жердями на ноги поднимают; а в поле ни травинки нет; кой-где только торчит махрами созрелая ветошь, которую прошлой осенью скотский зуб ненароком обошел.

Худое Конягино житье. Хорошо еще, что мужик попался добрый и даром его не калечит. Выедут оба с сохой в поле: ну, милый, упирайся! — услышит Коняга знакомый окрик и понимает. Всем своим жалким остовом вытянется, передними ногами упирается, задними — забирает, морду к груди пригнет. Ну, каторжный, вывози! А за сохой сам мужичок грудью напирает, руками, словно клещами, в соху впился, ногами в комьях земли грузнет, глазами следит, как бы соха не слукавила, огреха бы не дала. Пройдут борозду из конца в конец — и оба дрожат: вот она, смерть, пришла! Обоим смерть — и Коняге, и мужику; каждый день смерть.

Пыльный мужицкий проселок узкой лентой от деревни до деревни бежит: юркнет в поселок, вынырнет и опять неведомо куда побежит. И на всем протяжении, по обе стороны, его поля сторожат. Нет конца полям; всю ширь и даль они заполонили; даже там, где земля с небом слилась, и там всё поля. Золотящиеся, зеленеющие, обнаженные — они железным кольцом охватили деревню, и нет у нее никуда выхода, кроме как в эту зияющую бездну полей. Вот он, человек, вдали идет; может, ноги у него от спешной ходьбы подсекаются, а издали кажется, что он всё на одном месте топчется, словно освободиться не может от одолевающего пространства полей. Не вглубь уходит эта малая, едва заметная точка, а только чуть тускнеет. Тускнеет, тускнеет и вдруг неожиданно пропадет, точно пространство само собой ее засосет.

Из века в век цепенеет грозная, неподвижная громада полей, словно силу сказочную в плену у себя сторожит. Кто освободит эту силу из плена? Кто вызовет ее на свет? Двум существам выпала на долю эта задача: мужику да Коняге. И оба от рождения до могилы над этой задачей бьются, пот проливают кровавый, а поле и поднесь своей сказочной силы не выдало, — той силы, которая разрешила бы узы мужику, а Коняге исцелила бы наболевшие плечи.

Лежит Коняга на самом солнечном припеке; кругом ни деревца, а воздух до того накалился, что дыханье в гортани захватывает. Изредка пробежит по проселку вихрами пыль, но ветер, который поднимает ее, приносит не освежение, а новые и новые ливни зноя. Оводы и мухи, как бешеные, мечутся над Конягой, забиваются к нему в уши и в ноздри, впиваются в побитые места, а он — только ушами автоматически вздрагивает от укулов. Дремлет ли Коняга, или помирает — нельзя угадать. Он и пожаловаться не может, что всё нутро у него от зноя да от кро-

вавой натуги сожгло. И в этой утехе Бог бессловесной животине отказал.

Дремлет Коняга, а над мучительной агонией, которая заменяет ему отдых, не сновидения носятся, а бессвязная подавляющая хмара. Хмара, в которой не только образов, но даже чудищ нет, а есть громадные пятна, то черные, то огненные, которые и стоят, и движутся вместе с измученным Конягой, и тянут его за собой всё дальше и дальше в бездонную глубину.

Нет конца полю, не уйдешь от него никуда! Исходил его Коняга с сохой вдоль и поперек, и всё-таки ему конца-краю нет. И обнаженное, и цветущее, и цепенеющее под белым саваном — оно властно раскинулось вглубь и вширь, и не на борьбу с собою вызывает, а прямо берет в кабалу. Ни разгадать его, ни покорить, ни истощить нельзя: сейчас оно помертвело, сейчас — опять народилось. Не поймешь, что тут смерть и что жизнь. Но и в смерти, и в жизни первый и неизменный свидетель — Коняга. Для всех поле — раздолье, поэзия, простор; для Коняги оно — кабала. Поле давит его, отнимает у него последние силы и всё-таки не признает себя сытым. Ходит Коняга от зари до зари, а впереди его идет колышущееся черное пятно и тянет, тянет за собой. Вот теперь оно колышется перед ним, и теперь ему, сквозь дремоту, слышится окрик: ну, милый! ну, каторжный! ну!

Никогда не потухнет этот огненный шар, который от зари до зари льет на Конягу потоки горячих лучей; никогда не прекратятся дожди, грозы, вьюги, мороз... Для всех природа — мать, для него одного она — бич и истязание. Всякое проявление ее жизни отражается на нем мучительством, всякое цветение — отравой. Нет для него ни благоухания, ни гармонии звуков, ни сочетания цветов; никаких ощущений он не знает, кроме ощущения боли, усталости и злосчастия. Пускай солнце напоет природу теплом и светом, пускай лучи его вызывают к жизни и ликование — бедный Коняга знает об нем только одно: что оно прибавляет новую отраву к тем бесчисленным отравам, из которых соткана его жизнь.

Нет конца работе! Работой исчерпывается весь смысл его существования: для нее он зачат и рожден, и вне ее он не только никому не нужен, но, как говорят расчетливые хозяева, представляет ущерб. Вся обстановка, в которой он живет, направлена единственно к тому, чтобы не дать замереть в нем той мускульной силе, которая исходит из себя возможность физического труда. И корма, и

отдыха отмеривается ему именно столько, чтоб он был способен выполнить свой урок. А затем пускай поле и стихии калечат его — никому нет дела до того, сколько новых ран прибавилось у него на ногах, на плечах и на спине. Не благополучие его нужно, а жизнь, способная выносить иго работы. Сколько веков он несет это иго — он не знает; сколько веков предстоит нести его впереди — не рассчитывает. Он живет, точно в темную бездну погружается, из всех ощущений, доступных живому организму, знает только ноющую боль, которую дает работа.

Самая жизнь Коняги запечатлена клеймом бесконечности. Он не живет, но и не умирает. Поле, как головоног, присосалось к нему бесчисленными щупальцами и не спускает его с урочной полосы. Какими бы наружными отличками ни наделил его случай, он всегда один и тот же: побитый, замученный, еле живой. Подобно этому полю, которое он орошает своею кровью, он не считает ни дней, ни лет, ни веков, а знает только вечность. По всему полю он разбрелся, и там, и тут одинаково вытягивается всем своим жалким остовом, и везде всё он, всё один и тот же, безмянный Коняга. Целая масса живет в нем, не умирающая, не расчленимая и не истребимая. Нет конца жизни — только одно это для этой массы и ясно. Но что такое сама эта жизнь? зачем она опутала Конягу узами бессмертия? откуда она пришла и куда идет? — вероятно, когда-нибудь на эти вопросы ответит будущее... Но, может быть, и оно останется столь же немо и безучастно, как и та темная бездна прошлого, которая населила мир привидениями и отдала им в жертву живых.

Дремлет Коняга, а мимо него пустоплясы проходят. Никто, с первого взгляда, не скажет, что Коняга и Пустопляс — одного отца дети. Однако предание об этом родстве еще не совсем заглохло.

Жил, во времена бны, старый конь, и было у него два сына: Коняга и Пустопляс. Пустопляс был сын вежливый и чувствительный, а Коняга — неотесанный и бесчувственный. Долго терпел старик Конягину неотесанность, долго обоих сыновей вел ровно, как подобает чадолюбивому отцу, но, наконец, рассердился и сказал: «Вот вам на веки вечные моя воля: Коняге — солома, а Пустоплясу — овес». Так с тех пор и пошло. Пустопляса в теплое стойло поставили, соломки мяконькой постелили, медовой сытой напоили и пшена ему в ясли засыпали; а Конягу привели в хлев и бросили охапку прелой соломы: хлопай зубами, Коняга! А пить — вон из той лужи.

Совсем было позабыл Пустопляс, что у него братец на свете живет, да вдруг с чего-то загрустил и вспомнил. «Надоело, говорит, мне стойло теплое, прискучила сыта медовая, не лезет в горло пшено ярое; пойду проведаю, каково-то мой братец живет!»

Смотрит — ан братец-то у него бессмертный! Бьют его чем ни попада, а он живет; кормят его соломою, а он живет! И в какую сторону поля ни взгляни, везде всё братец орудует; сейчас ты его здесь видел, а мигнул глазом — он уж вон где ногами вывертывает. Стало быть, добродетель какая-нибудь в нем есть, что палка сама от него сокрушается, а его сокрушить не может!

И вот начали пустоплясы кругом Коняги похаживать. Один скажет:

— Это оттого его ничем донять нельзя, что в нем от постоянной работы здравого смысла много накопилось. Понял он, что уши выше лба не растут, что плетью обуха не перешибешь, и живет себе смиренхонько, весь опутанный пословицами, словно у Христа за пазушкой. Будь здоров, Коняга! Делай свое дело, бди!

Другой возразит:

— Ах, совсем не от здравого смысла так прочно сложилась его жизнь! Что такое здравый смысл? Здравый смысл — это нечто обыденное, до пошлости ясное, напоминающее математическую формулу или приказ по полиции. Не это поддерживает в Коняге несокрушимость, а то, что он в себе жизнь духа и дух жизни носит! И куда он будет вмещать эти два сокровища, никакая палка его не сокрушит!

Третий молвит:

— Какую вы, однако, галиматью городите! Жизнь духа, дух жизни — что это такое, как не пустая перестановка бессодержательных слов? Совсем не потому Коняга неуязвим, а потому, что он «настоящий труд» для себя нашел. Этот труд дает ему душевное равновесие, примиряет его и со своею личною совестью, и с совестью масс, и наделяет его тою устойчивостью, которую даже века рабства не могли победить! Трудись, Коняга! упирайся! загребай! и почерпай в труде ту душевную ясность, которую мы, пустоплясы, утратили навсегда.

А четвертый (должно быть, прямо с конюшни от кабатчика) присовокупляет:

— Ах, господа, господа! всё-то вы пальцем в небо падаете! Совсем не оттого нельзя Конягу донять, чтобы в нем особенная причина засела, а оттого, что он спокон

веку к своей юдоли привышен. Теперича хоть целое дерево об него обломай, а он всё жив. Вот он лежит — кажется, и духу-то в нем нисколько не осталось, — а взбодри его хорошенько кнутом, он и опять ногами вывертывать пошел. Кто к какому делу приставлен, тот то дело и делает. Сосчитайте-ка, сколько их, калек этаких, по полю разбрелось — и все как один. Калечьте их теперича сколько угодно — их вот ни на эстолько не убавится. Сейчас — его нет, а сейчас — он опять из-под земли выскочил.

И так как все эти разговоры не от настоящего дела завелись, а от грусти, то поговорят-поговорят пустоплясы, а потом и перекосятся начнут. Но, на счастье, как раз в самую пору проснется мужик и разрешит все споры словами:

— Н-но, каторжный, шевелись!

Тут уж у всех пустоплясов заодно дух от восторга займется.

— Смотрите-ка, смотрите-ка! — закричат они вкупе и влюбое. — Смотрите, как он вытягивается, как он передними ногами упирается, а задними загребаёт! Вот уж именно дело мастера боится! Упираться, Коняга! Вот у кого учиться надо! Вот кому надо подражать! Н-но, каторжный, н-но!

1885

БОГАТЫРЬ

В некотором царстве Богатырь родился. Баба-яга его родила, вспоила, вскормила, выходила, и когда он с коломенскую версту вырос, сама на покой в пустыню ушла, а его пустила на все четыре стороны: «Иди, Богатырь, совершай подвиги!»

Разумеется, прежде всего Богатырь в лес ударился; видит, один дуб стоит — он его с корнем вырвал; видит, другой стоит — он его кулаком пополам перешиб; видит, третий стоит и в нем дупло — залез Богатырь в дупло и заснул.

Застонала мать зеленая дубровушка от храпов его перекатистых; побежали из лесу звери лютые, полетели птицы пернатые; сам леший так испугался, что взял в охапку лешачиху с лешачатами — и был таков.

Пошла слава про Богатыря по всей земле. И свои, и чужие, и други, и супостаты не надивятся на него: свои боятся *вообще* потому, что ежели не бояться, то каким же образом жить? А, сверх того, и надежда есть: беспреречно

Богатырь для того в дупло залег, чтоб еще больше во сне сил набраться: «Вот ужо проснется наш Богатырь и нас перед всем миром воспрославит». Чужие, в свой черед, опасаются: «Слышь, мол, какой стон по земле пошел — никак, в «оной» земле Богатырь родился! Как бы он нам звону не задал, когда проснется!»

И все ходят кругом на цыпочках и шепотом повторяют: «Спи, Богатырь, спи!»

И вот прошло сто лет, потом двести, триста и вдруг целая тысяча. Улита ехала-ехала, да наконец и приехала. Синица хвасталась-хвасталась, да и в самом деле моря не зажгла. Варили-варили мужика, покуда всю сырость из него не выварили: ау, мужик! Всё приделали, всё прикончили, друг дружку обворовали начисто — шабаш! А Богатырь все спит, все незрячими очами из дупла прямо на солнце глядит да перекастистые храпы кругом на сто верст пущает.

Долго глядели супостаты, долго думали: «Могущественная, должно быть, оная страна, в коей боятся Богатыря за то только, что он в дупле спит!»

Однако стали помаленьку умом-разумом раскидывать; начали припоминать, сколько раз насылались на оную страну беды жестокие, и ни разу Богатырь не пришел на выручку людишкам. В таком-то году людишки сами промеж себя звериным обычаем передрались и много народу зря погубили. Горько тужили в ту пору старики, горько взывали: «Приди, Богатырь, рассуди безвременье наше!» А он, вместо того, в дупле проспал. В таком-то году все поля солнцем выжгло да градом выбило: думали, придет Богатырь, мирских людей накормит, а он, вместо того, в дупле просидел. В таком-то году и города и селенья огнем попалило, не стало у людишек ни крова, ни одежи, ни ешева; думали: «Вот придет Богатырь и мирскую нужду исправит» — а он и тут в дупле проспал.

Словом сказать, всю тысячу лет оная страна всеми болями переболела, и ни разу Богатырь ни ухом не повел, ни оком не шевельнул, чтобы узнать, отчего земля кругом стоном стонет.

Что ж это за Богатырь такой?

Многострадальная и долготерпеливая была оная страна и имела веру великую и неослабную. Плакала — и верила; вздыхала — и верила. Верила, что когда источник слез и воздыханий иссякнет, то Богатырь улучит минуту и спасет ее. И вот минута наступила, но не та, которую ждали обыватели. Поднялись супостаты и обступили стра-

ну, в коей Богатырь в дупле спал. И прямо все пошли на Богатыря. Сперва один к дуплу остороженько подступил — воняет; другой подошел — тоже воняет. «А ведь Богатырь-то гнилой!» — молвили супостаты и ринулись на страну.

Супостаты были жестоки и неумолимы. Они жгли и рубили все, что попадало навстречу, мстя за тот смешной вековой страх, который внушал им Богатырь. Заметались людишки, видя лихое безвременье, кинулись навстречу супостату — глядят, идти не с чем. И вспомнили тут про Богатыря, и в один голос возопили: «Поспешай, Богатырь, поспешай!»

Тогда совершилось чудо: Богатырь не шелохнулся. Как и тысячу лет тому назад, голова его неподвижно глядела незрячими глазами на солнце, но уже тех храпов могучих не выпускала, от которых некогда содрогалась мать зеленая дубровушка.

Подошел в ту пору к Богатырю дурак Иванушка, перешиб дупло кулаком — смотрит, ан у Богатыря гадюки туловище вплоть до самой шеи отъели.

Спи, Богатырь, спи!

1886

ХРИСТОВА НОЧЬ

(Предание)

Равнина еще цепенеет, но среди глубокого безмолвия ночи под снежною пеленою уже слышится говор пробуждающихся ручьев. В оврагах и ложбинах этот говор принимает размеры глухого гула и предостерегает путника, что дорога в этом месте изрыта зазорами. Но лес еще молчит, придавленный инеем, словно сказочный богатырь железною шапкою. Темное небо сплошь усыпано звездами, льющими на землю холодный и трепещущий свет. В обманчивом его мерцании мелькают траурные точки деревьев, утонувших в сугробах. Печать сиротливости, заброшенности и убожества легла и на застывшую равнину, и на безмолвствующий проселок. Все сковано, беспомощно и безмолвно, словно задавлено невидимой, но грозной кабалой.

Но вот в одном конце равнины раздалось гудение полночного колокола; навстречу ему, с противоположного

конца, понеслось другое, за ним — третье, четвертое. На темном фоне ночи вырезались горящие шпили церквей, и окрестность вдруг ожила. По дороге потянулись вереницы деревенского люда. Впереди шли люди серые, замученные жизнью и нищетою, люди с истерзанными сердцами и с поникшими долу головами. Они несли в храм свое смирение и свои вздыхания; это было все, что они могли дать воскресшему Богу. За ними, поодаль, следовали в праздничных одеждах деревенские богатеи, кулаки и прочие властелины деревни. Они весело гуторили меж собою и несли в храм свои мечтания о предстоящем недельном ликовании. Но скоро толпы народные утонули в глубине проселка; замер в воздухе последний удар призывного благовеста, и все опять торжественно смолкло.

Глубокая тайна почуялась в этом внезапном перерыве начавшегося движения, — как будто за наступившим молчанием надвигалось чудо, долженствующее вдохнуть жизнь и возрождение. И точно: не успел еще заалеть восток, как желанное чудо совершилось. Воскрес поруганный и распятый Бог! воскрес Бог, к которому искони огорченные и недугующие сердца вопиют: «Господи, поспешай!»

Воскрес Бог и наполнил Собою вселенную. Широкая степь встала навстречу Ему всеми своими снегами и буранами. За степью потянулся могучий лес и тоже почуял приближение Воскресшего. Подняли матерые ели к небу мохнатые лапы; заскрипели вершинами столетние сосны; загудели овраги и реки; выбежали из нор и берлог звери, вылетели птицы из гнезд; все почуяли, что из глубины грядет нечто светлое, сильное, источающее свет и тепло, и все вопияли: «Господи! Ты ли?»

Господь благословил землю и воды, зверей и птиц и сказал им:

— Мир вам! Я принес вам весну, тепло и свет. Я сниму с рек ледяные оковы, одену степь зеленою пеленою, наполню лес пением и благоуханиями. Я напитаю и напою птиц и зверей и наполню природу ликованием. Пускай законы ее будут легки для вас; пускай она для каждой былинки, для каждого чуть заметного насекомого начертит круг, в котором они останутся верными прирожденному назначению. Вы не судимы, ибо выполняете лишь то, что вам дано от начала веков. Человек ведет непрестанную борьбу с природой, проникая в ее тайны и не предвидя конца своей работе. Ему необходимы эти тайны, потому что они составляют неизбежное условие его благоденствия и преуспевания. Но природа сама себе довлеет, и в этом ее пре-

имущество. Нет нужды, что человек мало-помалу проникает в ее недра — он покоряет себе только атомы, а природа продолжает стоять перед ним в своей первобытной неприступности и подавляет его своим могуществом. Мир вам, степи и леса, звери и пернатые! и да согреют и оживят вас лучи Моего воскресения!

Благословивши природу, Воскресший обратился к людям. Первыми вышли навстречу к нему люди плачущие, согбенные под игом работы и загубленные нуждою. И когда он сказал им: «Мир вам!» — то они наполнили воздух рыданиями и пали ниц, молчаливо прося об избавлении.

И сердце Воскресшего вновь затуманилось тою великою и смертельною скорбью, которою оно до краев переполнилось в Гефсиманском саду, в ожидании чаши, Ему уготованной. Все это многострадальное воинство, которое пало перед Ним, несло бремя жизни имени Его ради; все они первые приклонили ухо к Его слову и навсегда запечатлели Его в сердцах своих. Всех их Он видел с высот Голгофы, как они метались вдали, окутанные сетями рабства, и всех Он благословил, совершая Свой крестный путь, всем обещал освобождение. И все они с тех пор жадуют Его и рвутся к Нему. Все с беззаветною верою простирают к Нему руки: «Господи! Ты ли?»

— Да, это Я, — сказал Он им. — Я разорвал узы смерти, чтобы прийти к вам, слуги Мои верные, сострадальцы Мои дорогие! Я всегда и на всяком месте с вами, и везде, где пролита ваша кровь, — тут же пролита и Моя кровь вместе с вашею. Вы чистыми сердцами беззаветно уверовали в Меня, потому только, что проповедь Моя заключает в себе правду, без которой вселенная представляет собой вместилище погубления и ад крошечный. Люби Бога и люби ближнего, как самого себя, — вот эта правда, во всей ее ясности и простоте, и она наиболее доступна не богословам и начетчикам, а именно вам, простым и удрученным сердцам. Вы верите в эту правду и ждете ее пришествия. Летом, под лучами знойного солнца, за сохою, вы служите ей; зимой, длинными вечерами, при свете дымящейся лучины, за скудным ужином, вы учите ей детей ваших. Как ни кратка она сама по себе, но для вас в ней замыкается весь смысл жизни и никогда не иссякающий источник новых и новых собеседований. С этой правдой вы встаете утром, с нею ложитесь на сон грядущий и ее же приносите на алтарь Мой в виде слез и воздыханий, которые слаще аромата кадильного растворяют сердце Мое. Знайте же: хотя никто не провидит вперед, когда

пробьет ваш час, но он уже приближается. Пробьет этот желанный час, и явится свет, которого не победит тьма. И вы свергнете с себя иго тоски, горя и нужды, которое удручает вас. Подтверждаю вам это, и как некогда с высот Голгофы благословлял вас на стяжание душ ваших, так и теперь благословляю на новую жизнь в царстве света, добра и правды. Да не уклонятся сердца ваши в словеса лукавствия, да пребудут они чисты и просты, как доднесь, а слово Мое да будет истина. Мир вам!

Воскресший пошел далее и встретил на пути своих людей. Тут были и богатеи, и мироеды, и жестокие правители, и тати, и душегубцы, и лицемеры, и ханжи, и неправедные судьи. Все они шли с сердцами, преисполненными праха, и весело разговаривали, встречая не воскресение, а грядущую праздничную суету. Но и они остановились в смятении, почувствовав приближение Воскресшего.

Он также остановился перед ними и сказал:

— Вы — люди века сего и духом века своего руководитесь. Стяжание и любоначалие — вот двигатели ваших действий. Зло наполнило все содержание вашей жизни, но вы так легко несете иго зла, что ни единый скрупул вашей совести не дрогнул перед будущим, которое готовит вам это иго. Все окружающее вас представляется как бы призванным служить вам. Но не потому овладели вы всею, что сильны сами по себе, а потому, что сила унаследована вами от предков. С тех пор вы со всех сторон защищены, и сильные мира считают вас присными. С тех пор вы идете с огнем и мечом вперед и вперед; вы крадете и убиваете, безнаказанно изрыгая хулу на законы Божеские и человеческие, и тщеславитесь, что таково искони унаследованное вами право. Но говорю вам: придет время — и недалеко оно, — когда мечтания ваши рассеются в прах. Слабые также познают свою силу; вы же сознаете свое ничтожество перед этою силой. Предвидели ли вы когда-нибудь этот грозный час? смущало ли вас это предвидение за себя и за детей ваших?

Грешники безмолвствовали на этот вопрос. Они стояли, потупив взоры и как бы ожидая еще горшего. Тогда Воскресший продолжал:

— Но во имя Моего воскресения Я и перед вами открываю путь к спасению. Этот путь — суд вашей собственной совести. Она раскроет перед вами ваше прошлое во всей его наготе; она вызовет тени погубленных вами и поставит их на страже у изголовий ваших. Скрежет зубов-

ный наполнит дома ваши; жены не познают мужей, дети — отцов. Но когда сердца ваши засохнут от скорби и тоски, когда ваша совесть переполнится, как чаша, не могущая вместить переполняющей ее горечи, — тогда тени погубленных примирятся с вами и откроют вам путь к спасению. И не будет тогда ни татей, ни душегубцев, ни мздоимцев, ни ханжей, ни неправедных властителей, и все одинаково возвеселятся за общею трапезой в обители Моей. Идите же и знайте, что слово Мое — истина!

В эту самую минуту восток заалел, и в редющем сумраке леса выступила безобразная человеческая масса, качающаяся на осине. Голова повесившегося, почти оторванная от туловища, свесилась книзу; вóроны уже выклевали у нее глаза и выели щеки. Самое туловище было по местам обнажено от одежд и, зияя гнойными ранами, размахивало по ветру руками. Стая хищных птиц кружилась над телом, а более смелые бесстрашно продолжали дело разрушения.

То было тело предателя, который сам совершил суд над собой.

Все предстоявшие с ужасом и отвращением отвернулись от представившегося зрелища; взор Воскресшего воспылал гневом.

— О, предатель! — сказал он, — ты думал, что вольною смертью избавился от давившей тебя измены; ты скоро сознал свой позор и поспешил окончить расчеты с постыдною жизнью. Преступление так ясно выступило перед тобой, что ты с ужасом отступил перед общим презрением и предпочел ему душевное погубление. «Единый миг, — сказал ты себе, — и душа моя погрузится в безрассветный мрак, а сердце перестанет быть доступным угрызениям совести». Но да не будет так. Сойди с дерева, предатель! да возвратятся тебе выклеванные очи твои, да закроются гнойные раны и да восстановится позорный твой облик в том же виде, в каком он был в ту минуту, когда ты лобзал предаваемого тобой. Живи!

По этому слову, перед глазами у всех, предатель сошел с дерева и пал на землю перед Воскресшим, моля Его о возвращении смерти.

— Я всем указал путь к спасению, — продолжал Воскресший, — но для тебя, предатель, он закрыт навсегда. Ты проклят Богом и людьми, проклят на веки веков. Ты не убил друга, раскрывшего перед тобой душу, а застиг его врасплох и предал на казнь и поругание. За это я осуждаю тебя на жизнь. Ты будешь ходить из града в

град, из веси в весь и нигде не найдешь крова, который бы приютил тебя. Ты будешь стучаться в двери — и никто не отворит их тебе; ты будешь умолять о хлебе — и тебе подадут камень; ты будешь жаждать — и тебе подадут сосуд, наполненный кровью преданного тобой. Ты будешь плакать, и слезы твои превратятся в потоки огненные, будут жечь твои щеки и покрывать их струпиями. Камни, по которым ты пойдешь, будут вопиять: «Предатель! будь проклят!» Люди на торжищах расступятся перед тобой, и на всех лицах ты прочтешь: «Предатель! будь проклят!» Ты будешь искать смерти и на суше, и на водах — и везде смерть отвратится от тебя и прошипит: «Предатель! будь проклят!» Мало того: на время судьба сжалится над тобою, ты обрешь друга и предашь его, и этот друг из глубины темницы возопит к тебе: «Предатель! будь проклят!» Ты получишь способность творить добро, но добро это отравит души облагодетельствованных тобой. «Будь проклят, предатель! — возопиют они, — будь проклят и ты, и все дела твои!» И будешь ты ходить из века в век с неусыпающим червем в сердце, с погубленною душою. Живи, проклятый! и будь для грядущих поколений свидетельством той бесконечной казни, которая ожидает предательство. Встань, возьми, вместо посоха, древесный сук, на котором ты чаял найти смерть, — и иди!

И едва замерло в воздухе слово Воскресшего, как предатель встал с земли, взял свой посох, и скоро шаги его смолкли в той необъятной, загадочной дали, где его ждала жизнь из века в век. И ходит он доднесь по земле, рассеивая смуту, измену и рознь.





СОДЕРЖАНИЕ

ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ

Введение	6
--------------------	---

ПРОШЛЫЕ ВРЕМЕНА

Первый рассказ подьячего	14
Второй рассказ подьячего	24
Неприятное посещение	30

МОИ ЗНАКОМЦЫ

Обманутый подпоручик	48
Порфирий Петрович	56
Княжна Анна Львовна	70
Приятное семейство	86

БОГОМОЛЬЦЫ, СТРАННИКИ И ПРОЕЗЖИЕ

Общая картина	104
Отставной солдат Пименов	117
Пахомовна	126
Хрептюгин и его семейство	131
Госпожа Музовкина	143

ДРАМАТИЧЕСКИЕ СЦЕНЫ И МОНОЛОГИ

Просители	156
Выгодная женитьба	188
Что такое коммерция?	202
Скука	214

ПРАЗДНИКИ

Елка	223
«Христос воскрес!»	230

ЮРОДИВЫЕ

Неумелые	238
Озорники	245
Надорванные	253

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАТУРЫ

Корепанов	260
Лузгин	267
Владимир Константинович Буеракин	281
Горехвастов	297

В ОСТРОГЕ

Посещение первое	315
Посещение второе	325
Аринушка	335

КАЗУСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Старец	343
Матушка Мавра Кузьмовна	371
Первый шаг	424
Дорога (<i>Вместо эпилога</i>)	441

Из цикла очерков
«ПРИЗРАКИ ВРЕМЕНИ»
(1863—1869)

Русские «гулящие люди» за границей	448
Сила событий	462

Из цикла
«ДЛЯ ДЕТЕЙ»
(1869)

Добрая душа	485
-----------------------	-----

Из цикла рассказов
«ПОМПАДУРЫ И ПОМПАДУРШИ»
(1863—1874)

Помпадур борьбы, или Проказы будущего	496
---	-----

Из цикла очерков
«БЛАГОНАМЕРЕННЫЕ РЕЧИ»
(1872—1876)

Столп	532
-----------------	-----

ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ. *Роман* (1875—1876)

Семейный суд	564
По-родственному	614
Племяннушка	699
Недозволенные семейные радости	742
Выморочный	769
Расчет	798

СКАЗКИ (1869—1889)

Пропала совесть	836
Дикий помещик	847
Премудрый пискарь	853
Обманщик-газетчик и легковерный читатель	858
Карась-идеалист	861
Либерал	871
Коняга	876
Богатырь	881
Христова ночь	883

БИБЛИОТЕКА
РОССИЙСКОЙ КЛАССИКИ

Литературно-художественное
издание

Салтыков-Щедрин
Михаил Евграфович

ГУБЕРНСКИЕ ОЧЕРКИ



ГОСПОДА ГОЛОВЛЕВЫ



СКАЗКИ

Ответственный за выпуск
Н. В. Снегирева

Художественно-технический
редактор
М. В. Гагарина

Корректоры
Л. А. Лазарева и И. Н. Мокина

ЛР № 040215 от 17.01.92.
Сдано в набор 09.03.94. Подписано к печати 17.10.94.
Формат 84×108¹/₃₂. Бум. типогр. № 2.
Шрифт Таймс. Печать высокая.
Усл. печ. л. 47,04. Печ. л. 56,0.
Тираж 100 000 экз. (1-й завод 1 — 35 000 экз.).
Заказ № 923. С 011.

Ассоциация
«Книга. Просвещение. Милосердие».
113035, Москва, 1-й Кадашевский пер., 12.

АООТ «Ярославский полиграфкомбинат».
150049, Ярославль, ул. Свободы, 97.

Салтыков-Щедрин М. Е.

С16 Губернские очерки. Господа Головлевы. Сказки. Библиотека российской классики/Оформл. худ. М. Осиповой. — М.: Ассоциация «Книга. Просвещение. Милосердие», 1995. — 891 с.: ил.

ISBN 5—86088—017—0

В книгу вошли «Губернские очерки», рассказы из циклов разных лет, роман «Господа Головлевы» и широко известные сказки.

С-Щ $\frac{4702010000-011}{63Б(03)-95}$ Без объявл.

84Р1

Ассоциация «КНИГА. ПРОСВЕЩЕНИЕ. МИЛОСЕРДИЕ»
силами ведущих издательств России
выпускает уникальную по содержанию и исполнению
300-т томную «Библиотеку Российской классики» (БРК).
В производстве находится уже более 100 томов.

В рамках «БРК» будут выпущены лучшие произведения известных российских писателей, в отдельных случаях являющихся раритетными.

Выпуск книг планируется осуществить в течение 3—5 лет. Книги будут выпускаться в академическом и едином исполнении, в твердом переплете, сшитые. Ассоциация гарантирует удовлетворение заявок и отправку книг наложенным платежом. Чтобы стать владельцем БРК необходимо стать подписчиком или приобрести привилегированную акцию Акционерного общества открытого типа Фирмы «ОНИК».

Для того, чтобы стать подписчиком «БРК» необходимо:

1. Перечислить через сберегательный банк по месту жительства организационный взнос Ассоциации «Книга. Просвещение. Милосердие» на р/с 606915 в Октябрьском филиале МИБ г. Москвы МФО 201070:

- для инвалидов, ветеранов взнос равен 3800 рублей;
- для членов профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания — 4000 рублей;
- для других подписчиков 4500 рублей.

Направить письмом по адресу: 115201, Москва, Каширское ш., д. 16, Силаевой Л. В. ксерокопии удостоверения инвалида или профсоюзного билета вместе с копией соответствующего банковского перевода организационного взноса и указать точный домашний адрес, по которому следует высылать подписку.

Став подписчиком «БРК» Ассоциация организует отправку книг, по мере издания томов библиотеки, наложенным платежом по домашнему адресу подписчика.

Для того чтобы стать акционером Фирмы «ОНИК» необходимо:

1. Приобрести привилегированную акцию Выпуска-2 Фирмы «ОНИК», для этого необходимо перечислить через сберегательный банк по месту жительства 35 тыс.

рублей на р/с 467608 в Коммерческом народном банке г. Москвы МФО 191016, к/с 434161000 в РКЦ ГУ ЦБ МФО 201791.

Направить письмом по адресу: 113035, Москва, 1-й Кадашевский пер., 12, Фирма «ОНИК» копию банковского перевода на приобретение акции-(й) с указанием точного домашнего адреса, по которому следует выслать акцию-(и);

Став акционером Фирмы «ОНИК» Ассоциация организует отправку книг «БРК», по мере издания томов библиотеки, наложенным платежом по домашнему адресу акционера, с 10 % скидкой от стоимости.

Акционер Фирмы «ОНИК» освобождается от уплаты организационного взноса «БРК», и будет внесен в 301 том.

Контактные телефоны: [095] 112-32-61, 198-76-11.

По вопросам оптовой закупки книг обращаться по адресу: 113035, г. Москва, 1-й Кадашевский переулок, д. 12.

Начиная с 1994 года
Ассоциация «КНИГА. ПРОСВЕЩЕНИЕ. МИЛОСЕРДИЕ»
совместно с Фирмой «КОРПУС БЕТТА»
осуществляет отправку книг наложенным платежом.

Если Вы любитель детективов и хотите получать их по 2—3 экземпляра прекрасно оформленными, в твердом переплете российских и зарубежных авторов ведущих издательств России, то Ассоциация обеспечит Вам эту услугу при условии перечисления почтой взноса в размере 1460 рублей по адресу: 121433, Москва, а/я 243 Толстоног Г. Л. с указанием в почтовом уведомлении перевода своего адреса и пометкой «Абонент А».

Если Вы любитель авантюрно-любовных романов, то Вам необходимо перечислить 2760 рублей с пометкой «Абонент Б».

Если Вам нужна прекрасная детская литература, перечислите взнос 2160 рублей с пометкой «Абонент В».

Если Вы любитель исторической и приключенческой литературы, перечислите взнос 2560 рублей с пометкой «Абонент Г».

Если Вы любитель литературы по домоводству, садоводству, кулинарии, перечислите взнос 2960 рублей с пометкой «Абонент Д».

Если Вы большой любитель искусства и хотите иметь дорогостоящие и прекрасно оформленные альбомы по

живописи, перечислите взнос 4460 рублей с пометкой «Абонент Е».

Если Вы любитель жанра фантастики и мистики, перечислите взнос 2860 рублей с пометкой «Абонент Ж».

На один из перечисленных Вами взносов будет высылаться по одному комплекту книг. Ваши адреса и абонент будут внесены в компьютер и Вы будете регулярно получать книги. Оплата стоимости книг и почтовых услуг производятся на почте.

Цены на все книги ниже рыночных, на уровне цен издательств.

Контактный телефон: (095) 112-32-61

